Библиотека Всемирной Литературы

Жорж Санд

Консуэло



Консуэло
Жорж Санд

Аннотация
Жорж Санд. Консуэло
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX

Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Глава XLII
Глава XLIII
Глава XLIV
Глава XLV
Глава XLVI

Глава XLVII
Глава XLVIII
Глава XLIX
Глава L
Глава LI
Глава LII
Глава LIII
Глава LIV
Глава LV
Глава LVI
Глава LVII
Глава LVIII
Глава LIX
Глава LX
Глава LXI
Глава LXII
Глава LXIII
Глава LXIV
Глава LXV
Глава LXVI
Глава LXVII
Глава LXVIII
Глава LXIX
Глава LXX
Глава LXXI
Глава LXXII

Глава LXXIII
Глава LXXIV
Глава LXXV
Глава LXXVI
Глава LXXVII
Глава LXXVIII
Глава LXXIX
Глава LXXX
Глава LXXXI
Глава LXXXII
Глава LXXXIII
Глава LXXXIV
Глава LXXXV
Глава LXXXVI
Глава LXXXVII
Глава LXXXVIII
Глава LXXXIX
Глава XC
Глава XCI
Глава XCII
Глава XCIII
Глава XCIV
Глава XCV
Глава XCVI
Глава XCVII
Глава XCVIII

Глава XCIX
Глава C
Глава CI
Глава CII
Глава CIII
Глава CIV
Глава CV
Заключение
Конец «Консуэло»

Аннотация

Творчество французской писательницы Жорж Санд (настоящее имя Аврора Дюпен) стало одним из самых значительных явлений в европейской культуре XIX века. Жорж Санд была творческой, яркой, свободолюбивой и талантливой натурой. И многие героини произведений Жорж Санд похожи на свою создательницу. Прототипом Консуэло послужила французская певица Полина Виардо, и самый известный роман писательницы повествует о призвании истинного художника, о нелегком бремени таланта, дарованного судьбой, а порой трагическом выборе между успехом, славой и личным счастьем, радостью семейной жизни…

Жорж Санд
Консуэло

Глава I

Да, да, сударыня, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

— In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto[1], — пропела Констанца с вызывающим видом.

— Amen[2], — хором подхватили все остальные девочки.

— Скверный злюка, — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

— Не по адресу! — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам

---

[1] Примечания: 1
Во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).

[2] Примечания: 2
Аминь (*лат.*).

нескольких поколений юных особ женского пола. — И все-таки, — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, — эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка — не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и уж, конечно, не Розина, и еще того менее Микела…

— Значит, это я!

— Нет, я!

— Вовсе нет, я!

— Я!

— Я! — закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности — к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика), — маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку,

с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он — всегда такой скупой — только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.

— Консуэло? Испанка? — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот,

вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

— Консуэло, — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, — иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе, которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринуж-

денно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или не выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

— Хорошо, дочь моя, — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. — Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами.

— Si, signor professore[3], — ответила Консуэло. — А теперь мне можно уйти?

— Да, дитя мое. Девицы, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бума-

---

[3] Примечания: 3
Хорошо, синьор профессор (*лат.*).

ги — неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, — которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колена, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

— Стыдно вам, красавицы! — сказал он. — Эта девочка — а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней — только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснитель-

но слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание!

— Не мог не выпалить своего любимого словечка, — крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. — Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

— Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? — сказала Джульетта. — Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

— Мне говорили, что ее мать цыганка, — добавила Микелина, — и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.

— Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, — сказала красавица Клоринда, — я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

— Вы потеряли бы не так уж много! — воз-

разила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

— Она совсем нехороша собой, — добавила еще одна. — Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет, бесспорно: она дурнушка.

— Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой панегирик в честь Консуэло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

Глава II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие для замужества или для поступления в монастырь, как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоем месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое

повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным

лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или у еще более древних народов, но она принадлежала к потомкам Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для zingarelle[4]. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной ebbrea[5]. Она была спокойна, как вода

---

[4] Примечания: 4
Цыганок (*итал.*).

[5] Примечания: 5
Еврейки (*итал.*).

лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности.

Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой четырнадцатилетней девочке особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал — до того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее обезьяной, лимоном, чернушкой. Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой оригинальности, правда, малоприятной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех

безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, — это и есть настоящая, истинная некрасивость, другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, — подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца: такою именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он

разглядывал всех с большим вниманием, и, когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый молодой синьор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

— Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!

— А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? — спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

— Для того, чтобы вас поздравить, — ответил молодой человек. — Я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами, — вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса,

то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

— Клянусь Богом, это так, — проговорил профессор с самодовольной важностью, насладившись в то же время большой понюшкой табаку.

— Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг, — настаивал граф. — Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвышенна, так сурова, что редко кто из них может передать всю ее красоту…

— Они не могут передать эту красоту, потому что не чувствуют ее сами, — с грустью промолвил профессор. — В свежих, звучных, сильных голосах, слава Богу, недостатка у нас нет, а вот что до музыкальных натур — увы, они так редки, так несовершенны…

— Ну, одна-то у вас есть, и притом изумительно одаренная, — возразил граф. — Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее, наконец!

— А ведь правда, она доставила вам удовольствие? — спросил профессор, избегая ответа.

— Она растрогала меня, довела до слез… И при помощи таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.

— А что же такое я вам говорил? — торжествующе спросил маэстро.

— Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве — это простота, — ответил граф.

— Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

— Конечно. Однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица — она одна — стоит по ту сторону пропасти, а все остальные — по эту!

— Это верно и к тому же хорошо сказано, — потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

— Ну, а ее имя? — настаивал граф.

— Чье имя? — лукаво переспросил профессор.

— Ах, Боже мой! Да имя сирены, или, вернее,

архангела, которого я только что слушал.

— А для чего вам это имя, граф? — строго спросил Порпора.

— Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?

— Я объясню вам причину, если вы предварительно откроете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

— Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

— Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня-завтра у вас ее, в свою очередь, может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы… Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я

сказал правду.

— Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, — возразил граф, улыбаясь, — какое зло усматриваете вы в этом?

— А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.

— Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

— Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы — к игровым песенкам, от алтаря — к подмосткам, от великого — к смешному, от Аллегри и Палестрины — к Альбиони и к цирюльнику Аполлини?

— Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь открыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее никаких видов, пока не

узнаю, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

— Решительно отказываюсь.

— И вы думаете, что я не открою его сам?

— Увы! Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его, но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

— Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: я видел ваше таинственное божество, я его угадал, узнал…

— Вот как! Вы убеждены в этом? — недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

— Глаза и сердце открыли мне ее, и в доказательство я сейчас набросаю ее портрет: она высока ростом — это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, — бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы, синие глаза и приятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с рубином, — прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

— Браво! — насмешливо воскликнул Порпора. — В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы — Клоринда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предложени-

ями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а дерзкие взгляды — возвышенному уму.

— Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? — с некоторым смущением проговорил граф.

— А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? — лукаво спросил маэстро.

— Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне; моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

— Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

— Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки; не мой ли это питомец Андзолетто, самый смышленый и самый

красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас позаниматься с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолетто вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют fiori di mare[6]. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Курчавые и вместе

[6] Примечания: 6
Морскими цветами (*итал.*).

с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку, вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.

— В самом деле, красивый мальчик! — проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. — Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для его лет делом; ведь ему, наверное, лет восемнадцать?

— Скоро будет девятнадцать, signor profesor[7], — ответил Андзолетто по-венециански. — А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

— Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь

---

[7] Примечания: 7
Господин профессор (*итал.*).

украшения, — проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолетто к своей ученице.

— О, это не для меня, господин профессор, — ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника, — это ожерелья для продажи, чтобы купить потом риса и кукурузы.

— Она бедна, и ей еще приходится кормить свою мать, — пояснил Порпора. — Послушай, Консуэло, — сказал он девочке, — когда вам с матерью придется туго, обращайся ко мне, но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?

— О, вам незачем запрещать ей это, signor profesor, — с живостью возразил Андзолетто. — Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

— Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! — сказал граф.

— Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я делюсь с этой девочкой.

— Она твоя родственница?

— Нет, она чужестранка, это Консуэло.

— Консуэло? Какое странное имя, — заметил граф.

— Прекрасное имя, синьор, — возразил Андзолетто, — оно означает утешение…

— В добрый час! Как видно, она твоя подруга?

— Она моя невеста, синьор.

— Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.

— Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.

— В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.

— О, мы подождем, — проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы, затем профессор велел Андзолетто прийти к нему на следующий день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

— Как вы находите эту девочку? — спросил профессор графа.

— Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мальчика каждая женщина — красавица».

— Прекрасно, — ответил профессор, — теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная красавица — Консуэло.

— Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький кузнечик? Быть не может, маэстро!

— Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она будет соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул:

— Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности таких дурнушек!

— Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений? — спросил профессор.

— Разумеется.

— Вы обещаете мне это? — добавил Порпора.

— О, клянусь вам! — ответил граф.

Глава III

Рожденный под небом Италии, взращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзолетто, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилетний красавец юноша, беспрепятственно проводивший целые дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Венеции, разумеется, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истаскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а девственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием Мадонны, и, чтобы поупражнять свой голос, он стал петь с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо, собирая ракушки: он — для еды,

она — чтобы делать из них четки и украшения; встречались и в церквах, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная, как и почему, сделался ее другом и постоянным спутником. До сих пор Андзолетто знал в любви одно лишь наслаждение. К Консуэло он испытывал чувство дружбы, но, будучи сыном народа и страны, где страсти довлеют над привязанностями, не сумел дать этой дружбе иное название, кроме любви. Когда он заговорил об этом с Консуэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?». На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся».

С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолетто любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом. Несомненно одно: юное сердце Андзолетто уже знало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые нарушают покой людей пресыщенных и вносят разлад в их существование.

Предоставленный своим бурным инстинктам, стремясь к наслаждениям, любя лишь то, что мог-

ло дать ему счастье, и ненавидя все, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, то есть жаждая жить и ощущая жизнь с необычной остротой, он пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделением, он время от времени сходился с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойно, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать, как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзолетто забавлялся с ней детскими играми, как мальчик, но в то же время свято уважал ее четырнадцать лет, как мужчина, и вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции, жизнь такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была жизнь Павла и Виргинии

в померанцевых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительных нежных матерей, которые заботились бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем в открытой лодке, без весел и руля; без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману; до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы, забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они с пылким вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея ни малейшей возможности по-настоящему нарядиться: он — вывернув наизнанку старую куртку, она — прицепив себе на голову пышный бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца,

уплетая морские фрукты[8], стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная опасных ласк, не чувствуя себя влюбленными друг в друга, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Андзолетто появлялись новые любовницы, Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. А он, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, свободной от всяких тайн и угрызений совести.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Андзолетто, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им от ученика:

---

[8] Примечания: 8

Разные сорта дешевых ракушек, любимое кушанье простого народа в Венеции. (*Прим. автора.*)

прежде всего — серьезного и терпеливого склада ума, затем — скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец, — отсутствия какого бы то ни было предварительного музыкального обучения. «Не хочу даже и слышать об ученике, — говорил он, — чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, хоть Порпора и признал необычайные способности юного Андзолетто, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь продвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности.

Граф направил своего питомца к профессору

Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группето, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Андзолетто исполнилось двадцать три года, он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-Самуэле на первых ролях.

Однажды вечером все аристократы-любители и все самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем, решающем испытании. Впервые в жизни Андзолетто сбросил свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои прекрасные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, набрал в легкие воздуха и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным «до» на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой — свисток.

Нечего говорить, что Андзолетто волновался в душе, но его волнение почти не было заметно: его

зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу, и едва лишь до него донесся одобрительный шепот любителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легкостью вокализации, как радость и надежда переполнили все его существо. Андзолетто, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный, и, в восторге от сознания своего успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, вкус его не всегда был тонок, а исполнение на протяжении всей арии не всегда безупречно, но он всякий раз исправлял свои промахи смелостью приемов и порывами вдохновения. Он не передал те эффекты, о которых мечтал композитор, но нашел новые, о которых никто не думал — ни автор, их создавший, ни профессор, их истолковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Эти дерзкие находки захватили и увлекли всех. За один новый оттенок ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства — десять нарушений методы. Так в искусстве малейший проблеск таланта, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет

людей быстрее, нежели все заученные, общеизвестные приемы.

Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, что именно вызвало такой энтузиазм, но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей много аплодировали, но успех молодого дебютанта настолько затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и комплиментами, Андзолетто вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело:

— Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?

Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва удостаивала взглядом, — какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного юношу? Теперь, наконец, она его заметила и поразилась его красоте. Его огненный взор проник ей в душу. Побежденная, очарованная, она в свою очередь бросила на него долгий много-

значительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолетто покорил всех своих слушателей и обезоружил самого грозного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только на сцене, но и в администрации театра и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.

Глава IV

В этом взрыве единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерою дебюта, только один из слушателей — он сидел на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, — оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время как его учтивый коллега профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзолетто, позировал перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел, опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к догарессе, понемногу разъехалось и у клавесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строгому маэстро.

— Дорогой профессор, — сказал он, — вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше

молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно раскрылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

— Послушайте, signor profesor, — сказала по-венециански прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в scuola[9], — я хочу вас просить об одной милости…

— Прочь, несчастная! — с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. — Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.

— Он уже смягчается, — проговорила Корилла, одной рукою взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теребить пышный белый галстук профессора. — Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения во всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше

---

[9] Примечания: 9
Школе (*итал.*).

значения, чем все трубы, вещающие о славе.

— Вы были очень строги ко мне, господин профессор, — проговорил Андзолетто, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. — Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор. И если это не удалось мне сегодня, то не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей анафемы.

— Мальчик, предоставь женщинам медоточивые, лукавые речи, — сказал профессор, стремительно поднимаясь с места и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, — не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, робкий; вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока

хватит сил! Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Изображая страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь… гениальность!.. Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого, талант твой будет бесплоден… Я прочитал в твоих глазах, в глубине твоей души: у тебя нет преклонения перед искусством, нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог… ты смог бы… но

нет… слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно…

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, поглощенный, очевидно, дальнейшим обдумыванием своего загадочного приговора.

Хотя присутствовавшие и пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее несколько мгновений все испытывали тягостное ощущение чего-то печального, тревожного… Андзолетто, по-видимому, первый перестал думать об этом, несмотря на то, что слова профессора вызвали в нем радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее, и, быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра, — не потому, что был жаден к богатству, а потому, что был, как говорится, истым фанатиком изящных искусств. По-моему, это слово определяет весьма распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся

большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное. Культ искусства — выражение слишком современное, неизвестное сто лет назад, — означает совсем не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с артистическим вкусом в том смысле, как это тогда понимали: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, — показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра — это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику! Когда иностранцам случалось расспрашивать профессора Порпору о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи гости начали расходиться.

— Андзоло, где ты живешь? — спросила дебютанта Корилла, оставшись с ним вдвоем на балконе.

При этом неожиданном вопросе Андзолетто покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости.

— Что ты нашел такого удивительного в моем вопросе? — смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андзолетто поспешил ответить:

— Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы достоин приютить исполненного гордости смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кориллы?

— Что ты, льстец, хочешь этим сказать? — возразила она, устремляя на него самый жгучий взгляд, какой ей удалось извлечь из своего дьявольского арсенала.

— Что это счастье мне еще не дано, но что если

б я был этим счастливцем, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам.

— Или подобно cuccali[10]! — громко смеясь, воскликнула певица.

Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская — к жуку: «Легкомыслен, как жук».

— Насмехайтесь надо мной, презирайте меня, — ответил Андзолетто, — только думайте обо мне хоть немного.

— Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами, — возразила она, — то я увожу тебя в своей гондоле, и, если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.

— Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора! В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца.

— Ну, так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас, — проговорила Корилла, понизив голос, — а то как

---

[10] Примечания: 10
Морским чайкам (*итал.*).

бы Дзустиньяни не рассердился на меня за то, что я с такой снисходительностью выслушиваю твой вздор.

В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолетто тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того как Корилла появилась на лестнице, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла всемогуща, — говорил он себе, — но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы, он бросит свою легкомысленную любовницу и она потеряет свое могущество?».

И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолетто, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее, по венецианскому обычаю, до гондолы, поддерживая под круглый локоть.

— А вы что тут делаете? — обратился к рас-

терявшемуся Андзолетто гондольер примадонны. — Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой идет сам граф.

Андзолетто, не сознавая хорошенько, что он делает, забился в глубину гондолы. Он совсем потерял голову. Но, оказавшись внутри, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с любовницей в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому, как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши.

Андзолетто, не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал:

— Раз поют, значит, вам надо сидеть смирно и

ждать без страха.

«Я еще не знаю этих обычаев», — подумал Андзолетто и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своих мучительных опасений. Корилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Уже стоя на носу, она не переставала посылать ему пожелания felicissima notte[11] до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.

— Какова Корилла? — говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго. — Даю голову на отсечение — она не одна в гондоле.

— А почему вам могла прийти в голову такая мысль? — спросил Барбериго.

— Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.

— И вы не ревнуете?

— Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам

---

[11] Примечания: 11
Счастливой ночи (*итал.*).

о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант — это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистовства?

— Понимаю. Но кто же, однако, счастливый любовник этой взбалмошной принцессы на сегодняшний вечер?

Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолетто был единственный, о ком они не подумали.

Глава V

Между тем жестокая борьба происходила в душе этого счастливого избранника в то время, как ночь и волны в своем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны, Андзолетто чувствовал нарастание страсти, еще более разжигаемой удовлетворенным тщеславием; с другой стороны, его пыл охлаждался страхом быстро попасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый, как истый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолюбии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствование подле нее будет недолгим, и если он не уклонился сразу от этой опасной чести, то только потому, что не предполагал свою победу столь близкой и был покорен и похищен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его галантность, а его уже полюбили — за молодость,

красоту, за нарождающуюся славу! «Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения сразу же после моего торжества, мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, — решил Андзолетто с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроенные головы. — Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада?» — думал он. Однако он быстро нашелся — разыграл недоверие, ревность, обиду, и с таким увлечением, с такой страстью, что примадонна была поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему:

Андзолетто. Я знаю, что вы меня не любите и никогда не полюбите. Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.

Корилла. А если б я вдруг тебя полюбила?

Андзолетто. Я был бы в полном отчаянии, потому что потом свалился бы с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценою всего моего будущего счастья, потерял бы через какой-нибудь час.

Корилла. Что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны?

Андзолетто. Во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что про

вас говорят.

Корилла. Кто же так злословит обо мне?

Андзолетто. Все мужчины, так как все они обожают вас. Корилла. Значит, если б я имела глупость влюбиться в тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы меня?

Андзолетто. Не знаю, найду ли я в себе силы бежать от вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше с вами встречаться.

— В таком случае, — сказала Корилла, — мне хочется сделать этот опыт просто из любопытства… Андзолетто, кажется, я люблю тебя.

— А я этому не верю. И если не бегу от вас, то только потому, что прекрасно понимаю — вы смеетесь надо мной. Но вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите.

— Как видно, ты хочешь одолеть меня хитростью?

— А почему бы нет? Но я не так страшен, раз сам даю вам средство победить меня.

— Какое же?

— Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство.

— Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата

розы, а нужно ее сорвать да еще спрятать под стеклянный колпак. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и так упрям!

— И вы презираете меня за это?

— Напротив, благодаря этому ты нравишься мне еще больше. Покойной ночи, Андзолетто, мы скоро увидимся.

Она протянула ему свою красивую руку, и он страстно поцеловал ее.

«Ловко же я отделался», — думал он, мчась по галереям вдоль канала.

Не надеясь в столь поздний час достучаться в лачугу где он обычно ночевал, Андзолетто решил растянуться у первого попавшегося порога и насладиться тем райским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но впервые в жизни он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб решиться на нее лечь. Хоть мостовая Венеции чище и белее всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для черного костюма из тончайшего сукна и притом самого элегантного покроя. К тому же те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги могли подшутить над ним, сонным, и

нарочно испачкать роскошный наряд дармоеда. Действительно, что бы подумали эти лодочники о человеке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту минуту Андзолетто пожалел о своем милом красно-коричневом шерстяном плаще, правда выцветшем, потертом, но еще плотном и отлично защищающем от нездоровых туманов, поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец февраля, и хотя в здешних краях в такое время года солнце уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень холодны. Андзолетто пришло в голову забраться в одну из гондол стоявших у берега, но все они оказались запертыми. Наконец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая внутрь он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился на него.

— Какого дьявола! — послышался грубый, охрипший голос из глубины. — Кто вы и что вам надо?

— Это ты, Дзанетто? — отвечал Андзолетто, узнав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дружелюбно. — Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом.

— А ты кто?

— Андзолетто. Разве ты не узнаешь меня?

— Нет, черт возьми, не узнаю! На тебе такая одежда, какой у Андзолетто быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не пустил в свою гондолу человека, у которого есть нарядная одежда и нет угла где спать.

«Пока что, — подумал Андзолетто, — покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо, чтобы мои капиталы соответствовали моим успехам. Пора уж мне иметь в кармане несколько цехинов, не то я не смогу играть ту роль, которую мне дали».

Сильно не в духе, он пошел бродить по пустынным улицам, боясь остановиться, чтобы не схватить простуду, — от усталости и гнева он был весь в испарине.

«Только бы мне не охрипнуть из-за этой истории! — думал он. — Завтра господин граф пожелает, чтобы его чудесного молодого певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик, и если после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, я буду хоть немного хрипеть, тот немедленно объявит, что у меня нет голоса.

А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: «Ах, если б вы слышали его вчера!» — «Так он не всегда одинаков?» — спросит другой. — «Не слабого ли он здоровья?» — «А может быть, он переутомился вчера», — добавит третий. — «В самом деле, он слишком молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Прежде чем выпускать его на сцену, вам, знаете ли, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал». И граф ответит ему: «Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не нужен». И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения и, желая удостовериться, что у меня здоровые легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знатных вельмож! Ах, поскорее бы мне избавиться от него, и тогда, завоевав славу, расположение публики, пользуясь конкуренцией театров, я стану петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге».

Так, рассуждая сам с собой, Андзолетто дошел до одной из маленьких площадей, которые в Венеции называют corti, хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на общую площадку, то, что теперь в Париже называется cite

— кварталом. Однако что касается правильности расположения, изящества и благоустройства, то этим дворам далеко до наших современных кварталов. Это скорее маленькие темные площадки иногда представляющие собой тупики, а иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они малолюдны, населяют их обычно люди бедные и незначительные, все больше простой люд — рабочие и прачки, развешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу, — неудобство, которое прохожий переносит с большим терпением, ибо знает, что и его самого тоже только терпят, а права на проход он, собственно, не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному, отворив окна своей комнатушки вдыхать воздух этих закоулков! В самом центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий перед ним раскрывается вдруг жизнь неимущего класса с ее шумными, деревенскими и не всегда чистоплотными привычками. Горе артисту, если для размышлений ему нужна тишина: от утренней зари до ночи шум, производимый курами, собаками, детьми, играющими и орущими на этом тесном пространстве, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в мастерских — все это не даст ему ни минуты покоя.

Хорошо еще, если не явится импровизатор и не начнет горланить свои сонеты и свои песни до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет еще Бригелла, расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение диалогов с avocato, с tedesco, с diavolo[12], пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками — счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать.

Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без претензии, с таинственными тенями в углублениях, являют собой картину бесконечно живописного беспорядка, полного безотчетного, причудливого изящества. Все хорошеет под лунными лучами; малейший архитектурный эффект усиливается и приобретает оригинальность, каждый балкон, увитый виноградом, переносит нас в романтическую Испанию, населяет воображение приключениями рыцарей плаща и шпаги. А прозрачное небо, в

[12] Примечания: 12
С адвокатом, с немцем, с дьяволом (*итал.*).

котором поверх этих темных угловатых контуров тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы…

Как раз в ту минуту, когда все часы, словно перекликаясь, пробили два часа пополуночи, Андзолетто очутился на Корте-Минелли, у церкви Сан-Фантино. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти с самого захода солнца. Не успел он ступить на площадку, как чей-то ласковый голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем, и, подняв глаза, он увидел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэло в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую еще ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью, на цыпочках, взобрались они по ветхой извилистой деревянной лесенке, ведущей на крышу, и, усевшись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его поцелуями; этот шепот, словно таинственный ветерок или лепет духов, парочками летающих в тумане, реет каждую ночь вокруг затейливых

труб, которые, словно красные чалмы, увенчивают все венецианские дома.

— Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжечка? — прошептал Андзолетто.

— Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о своем сегодняшнем выступлении! Ну, говори, говори же скорее, хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил ли ангажемент?

— А ты, моя добрая Консуэло, скажи, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бранила меня? — расспрашивал Андзолетто, почувствовав угрызения совести при виде доверчивой кротости бедной девушки.

— Нисколько, — ответила она, целомудренно обнимая его за шею. — Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если озябла, то уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужинала ли я? Право, не помню. Беспокоилась ли? И не думала! Бранила ли тебя? Никогда в жизни!

— Ты просто ангел, — сказал Андзолетто, целуя ее. — О мое утешение! Как жестоки и коварны другие сердца!

— Что же случилось? Чем так огорчили сына

моей души? — воскликнула Консуэло, вплетая в милое венецианское наречие смелые и странные метафоры своего родного языка.

Андзолетто рассказал обо всем, что произошло, даже о своем ухаживании за Кориллой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это по-своему, передавая лишь то, что не могло огорчить Консуэло: ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все это было почти полной правдой. Однако существует сотая доля правды, которую никогда не смогло выявить ни одно судебное следствие, в которой никогда не сознавался своему адвокату ни один клиент и до которой никогда не добирался ни один судья — разве только случайно, — ибо именно в этих немногих оставшихся неосвещенными фактах или намерениях и кроется повод, причина, цель — словом, ключ всех тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте, а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются речи ораторов, как ни хладнокровны судьи.

Что касается Андзолетто, то незачем говорить, что некоторые свои грешки он обошел молчанием, некоторые жгучие ощущения, пережитые перед публикой, осветил совсем иначе, а о стра-

хах и волнениях, перенесенных им в гондоле, он и вовсе забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не рассказал о гондоле, а свои льстивые любезности по адресу примадонны изобразил в виде остроумных насмешек, благодаря которым он спасся от ее опасных сетей, умудрившись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности рассказать обо всем так, как оно было в действительности, то есть о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря осторожности и умелому обхождению, — зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать в Консуэло ревность? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы — вы сами — не рассказываете возлюбленному или, вернее, избранному вами супругу о всех поклонниках, которых вы отвадили, о всех его соперниках, которыми вы пожертвовали, — и не только до замужества, но и потом, на всех балах, еще вчера, даже сегодня утром?! Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Андзолетто, и делаете это не для того, чтобы показать себя в выгодном освещении, не для того, чтобы ранить ревнивую душу, не для того,

чтобы еще больше возгордился тот, кто и без того уже горд вашей любовью, но просто потому, что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать все это, как будто исполняя свой долг, и, исповедуясь, похвастаться перед своим духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при этом рассказываете почти все, замалчивая какой-нибудь пустяк — о нем вы никогда не упомянете, — тот ваш взгляд, ту улыбку, которые и вызвали дерзкое объяснение самонадеянного нахала. Вот этим взглядом, этой улыбкой, этим пустячком как раз и была гондола, о которой Андзолетто, с наслаждением переживая вновь все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не знала ревности; это горькое, мрачное чувство свойственно душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственное, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, — это лестный, но суровый приговор, вынесенный почтенным маэстро, профессором Порпорой, ее обожаемому Андзолетто. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные слова учителя и, после того как он снова в точности передал их, долго молчала, глубоко задумавшись.

— Консуэлина, — проговорил Андзолетто, не обращая большого внимания на ее молчание, — становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Подумай, дорогая, ведь все наше будущее зависит от твоего голоса — больше даже, чем от моего.

— Я никогда не простужаюсь, — ответила она, — а вот тебе холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою мантилью.

— Чем мне поможет этот кусок дырявой тафты? Я предпочел бы с полчасика погреться в твоей комнате.

— Хорошо, — ответила Консуэло, — но тогда нам придется помолчать, а то соседи услышат нас и осудят. Люди они неплохие и не очень донимают меня за нашу любовь, потому что знают, что ты никогда не приходишь ко мне по ночам. Право, лучше бы ты пошел спать к себе.

— Это немыслимо: до рассвета мне не откроют, и мне придется мерзнуть еще целых три часа. Слышишь, как у меня от холода стучат зубы?

— В таком случае идем, — проговорила Консуэло, вставая. — Я запру тебя в своей комнате, а сама вернусь сюда, на террасу: если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя скромно.

И она действительно провела его к себе в

комнату, довольно большую, но убогую; цветы, когда-то написанные на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой. Большая деревянная кровать с матрацем из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатах, соломенный стул, небольшой столик, старинная гитара да филигранное распятие составляли все богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький спинет и куча полуистлевших нот, которыми великодушно ссужал ее профессор Порпора, дополняли обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста, влюбленной в красивого искателя приключений.

Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Андзолетто не оставалось ничего иного как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он присел на самый край кровати, как, измученный усталостью, повалился на большую подушку.

— Моя дорогая, моя хорошая женушка, — пробормотал он, — я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за один час крепкого сна и все сокровища мира за то, чтобы укрыть

ноги краешком этого одеяла. Никогда в жизни мне не было так холодно, как в этом проклятом фраке; после бессонной ночи меня знобит, словно в лихорадке.

Минуту Консуэло колебалась. Восемнадцатилетняя сирота, совсем одна на свете, она, в сущности, отвечала за свои поступки только перед Богом. Веря в обещания Андзолетто, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но под влиянием чувства стыдливости, которое Андзолетто никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу немного неделикатной. Тем не менее она подошла к нему и взяла его за руку — рука была холодна, а когда Андзолетто прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что лоб юноши пылает.

— Ты болен! — воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. — Если так, конечно, поспи часок на моей постели.

Андзолетто не заставил ее дважды повторять это предложение.

— Добра, как сам Бог, — прошептал он, вытягиваясь на матраце из морской травы.

Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, прикрыла ему ноги.

Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему:

— Андзолетто, кровать, на которой ты сейчас заснешь, — та, где я спала вместе с матерью последние годы ее жизни. Здесь она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, сейчас я расскажу тебе, что она заставила меня обещать ей в свои последние минуты. «Консуэло, — сказала она, — поклянись мне перед распятием, что Андзолетто ляжет в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвенчаетесь в церкви».

— И ты поклялась?

— И я поклялась. Но сейчас, впервые позволив тебе лечь здесь, я уступила тебе не место матери, а мое собственное.

— А ты, бедняжка, так и не заснешь? — воскликнул Андзолетто, делая над собой усилие и приподнимаясь. — Какой я, однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!

— Нет! Нет! — сказала Консуэло, ласково заставляя его лечь обратно на подушку. — Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно глядит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей

обещание — не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, ничего дурного не делаю. Упокой, Господи, ее душу!

Тут Консуэло перекрестилась. Андзолетто уже заснул. Уходя, Консуэло прошептала:

— Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не захворал.

— Добра, как Бог, — в полусне повторил Андзолетто, даже не заметив, что невеста оставила его одного.

Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Через некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.

Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волнения сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную ей на завтрашний день ее учителем Порпорой.

Глава VI

Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и новые увлечения — Корилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, — далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которой эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла его играть.

И вот в тот самый вечер, когда Андзолетто так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами Кориллы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и для собственного успокоения направился во дворец,

где жила его любовница.

Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, однако же, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, который ставил гондолу примадонны под навес, специально для этого приспособленный. Несколько цехинов развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник. Выяснить же, кто он такой, ему не удалось. Гондольеру этот человек был неизвестен: он видел Андзолетто бродящим около театра и дворца Дзустиньяни сотни раз, однако ночью, в черном фраке, напудренного, он не узнал его.

Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться усмешками над своим соперником — единственной местью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных увлечений, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в залу, где должны были собраться юные ученицы.

Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзу-

стиньяни уже не был его музыкальным противником, — напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено высшее руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно при нетерпимости профессора к модной светской музыке, — нетерпимости, которой он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на преподавание и распространение музыки серьезной. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что написал.

— Дорогой маэстро, — сказал граф, отводя его в сторону, — необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артистка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей succeditrice[13]. (Прости, дорогой читатель,

---

[13] Примечания: 13
Преемницу (*итал.*).

так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.)

— У меня нет того, что вам нужно, — сухо ответил Порпора.

— Как, маэстро! — воскликнул граф. — Вы опять впадаете в черную меланхолию? Неужели после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы откажете мне в самом маленьком одолжении, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом?

— Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, — истинная правда. Поверьте человеку, который искренне к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является истинным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся дебютантке.

— Все это так, — сказал граф, — но ведь мы сами создали Кориллу, мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть

не менее очаровательные ученицы. Уж этого вы не станете отрицать, маэстро! Согласитесь, что Клоринда — красивейшее создание в мире.

— Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима… Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние. А поет она фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания… Правда, у публики тоже нет ушей… Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удается многим другим.

При этих словах профессор невольно посмотрел на Андзолетто, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс, якобы для того, чтобы переговорить с ним, и, стоя поблизости, слушал во все уши.

— Все равно, — сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, — я стою на своем. Давно я не слышал Клоринду. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Андзолетто, — прибавил он, смеясь, — ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, выбери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что господин профессор и я ждем их здесь.

Андзолетто повиновался. Но шалости ради или с иной целью он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак мог бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Каттина хромая!»

К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.

— Что за великолепные волосы! — шепнул граф на ухо Порпоре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.

— На этой голове гораздо больше, чем внутри, — ответил, даже не понижая голоса, суровый критик.

Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певиц самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».

— Если его сиятельство позволит мне сказать два слова насчет того дела, которое так его беспокоит… — шепнул Андзолетто на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.

— Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое

мы ищем? — спросил граф.

— Да, ваше сиятельство.

— В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?

— В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда ваше сиятельство делает смотр своему женскому батальону.

— Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, и мои глаза никогда еще не видели его блеска? Если маэстро Порпора сыграл со мной такую шутку…

— Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет только в хоре, когда ее приглашают. Профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.

— Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она?

— Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта рядом с

Кориллой, ту бы сразу освистали.

— И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечернях?

— Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрозили, что прогонят ее с хоров, если только она появится среди них…

— Так, значит, это девушка дурного поведения?

— О Боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения, как и я сам, — однако же ваше сиятельство милостиво приближает меня к себе… А эти злые ведьмы пригрозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.

— Где же я смогу послушать это чудо?

— Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании.

— Твоя уверенность внушает мне желание поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее… Я пытаюсь припомнить, но…

— В церкви Мендиканти в день генеральной

репетиции «Salve, Regina» Перголезе…

— Вспомнил! — воскликнул граф. — Голос, выразительность, понимание необыкновенные!

— И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.

— Да, но… помнится, она некрасива.

— Некрасива, ваше сиятельство? — переспросил изумленный Андзолетто.

— Как ее звали?.. Кажется, это была испанка… еще такое странное имя…

— Консуэло, ваше сиятельство.

— Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с профессором еще посмеялись над вашим романом. Консуэло! Так, так… любимица профессора, умница, но уж очень некрасива.

— Некрасива? — повторил ошеломленный Андзолетто.

— Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен.

— Она моя подруга, ваше сиятельство.

— Подругой мы называем и сестру и любовницу. Кто же она тебе?

— Сестра, ваше сиятельство.

— Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориллу, надо быть

ангелом красоты, твоя же Консуэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некрасива, а просто безобразна.

В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Андзолетто все еще стоял, потрясенный, и, вздыхая, повторял: «Безобразна!».

Глава VII

Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, что у Андзолетто не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло, а между тем это правда. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой — привлекательной или неприметной — проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзолетто: в Венеции не очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзолетто как раз и подходит, и к тому же за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем молодые люди из этого

не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразлучному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за подругой Андзолетто. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или, может быть, ее наружность никого не прельщала? Последнее предположение наиболее правдоподобно.

А между тем всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы переделываются, по выражению пожилых француженок из простонародья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится если не красивой, то по крайней мере миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она становится хорошенькой слишком рано…

Вступив в пору юности, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками, и про нее перестали говорить, что она некрасива; да она и в самом деле уже не была некрасивой. Но поскольку она не была ни дофиной, ни инфантой и ее не окружали придворные, крича о том, как день ото дня расцветает красота царственного ре-

бенка, поскольку некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Андзолетто: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту».

Андзолетто слыхал, что ее звали дурнушкой в те времена, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону — он мечтал о театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопытство, этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде.

Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограни-

чивалась и с течением времени почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на Пьяццетту разучивать свой урок и съедать свой рис в обществе Андзолетто, когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в разных кафе, где она выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но впавшей в отчаяние матери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без смирения. Привязанность к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь — все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолетто часто на это жаловался, но, видя, что его упреки

бесполезны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Андзолетто не был так усидчив в работе, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и так же плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью для Андзолетто, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него оказывалось много часов для безделья, и тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. Он пытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются… Он понял, что безделье и распущенность — не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Избавившись от порочных страстей, конечно, лишь из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за учение, но это уединение показалось ему тягостным, тоскливым и трудным. Он по-

чувствовал, что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться из земли к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд — наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние, а бездействие — тяжко, болезненно, просто гибельно, если оно вообще возможно. Впрочем, эти натуры не знают его; даже когда кажется, будто они предаются праздности, даже и тогда они работают; у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что именно в это время они создают что-то, но в действительности они лишь выявляют то, что уже было создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я отвечу, что на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь я старше тебя. Ах, отчего я

не могу сказать тебе, что мне удалось проследить божественную тайну этой напряженной умственной деятельности на примере собственного бедного разума! Увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.

Консуэло работала не покладая рук и всегда с удовольствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Андзолетто, будь он предоставлен самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолетто, сам того не сознавая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия — всего того, что при последнем его выступлении погрузило Порпору в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища Андзолетто похитил

у Консуэло, и это объяснялось тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолетто, а когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с проворством котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.

Эти предосторожности имели место и позже, когда Консуэло сделалась сиделкой у постели матери. Андзолетто, не в силах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни загораться вдохновением, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую жизнь и из вечера в вечер вместе с нею терпеть насмешки и вспышки раздражения умирающей. За несколько месяцев до смерти несчастная женщина стала страдать не так сильно и, покоренная дочерней любовью, открыла свое сердце более добрым чувствам. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолетто, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолетто был ровный характер и приятное

обхождение. Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец завоевало сердце матери, и перед смертью она заставила детей поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолетто дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя — подругой, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет и не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже знаем, взяла с Консуэло особую клятву, что та не будет принадлежать возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за отсутствия религиозности у Андзолетто и из-за его независимого характера.

Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, чтобы приобщиться к будущей профессии Андзолетто. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила на своем чердаке одна, он встречался с ней ежедневно, но не чувствовал к

ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее.

Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки достаточно развил в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, со временем они добьются блестящей карьеры. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть было не в ее характере. Она была готова и дальше заниматься музыкой исключительно по призванию, а общность интересов, возникавшая у нее с Андзолетто благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, внезапно решив ускорить осуществление их мечтаний, Андзолетто даже не предупредил ее и в тот самый момент, когда Дзустиньяни раздумывал, кем бы заменить Кориллу, с редкой проницательностью угадал мысли своего покро-

вителя и сделал то неожиданное предложение, о котором уже шла речь.

Некрасивость Консуэло, это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибся, внесло страх и смятение в душу Андзолетто. И он побрел на Корте-Минелли, останавливаясь на каждом шагу, чтобы по-новому представить себе образ подруги и в сотый раз задать себе вопрос: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?».

Глава VIII

— Что ты так смотришь на меня? — спросила Консуэло, видя, что Андзолетто, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. — Можно подумать, что ты никогда меня не видел.

— Это правда, Консуэло, — ответил он, — я никогда тебя не видел.

— Что ты говоришь? В своем ли ты уме?

— О Господи! — воскликнул Андзолетто. — У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, и оно мешает мне видеть тебя.

— Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!

— Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся все выяснить. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?

— Ну конечно, раз я тебя люблю.

— А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?

— Откуда мне знать?

— Но когда ты смотришь на других мужчин, различаешь же ты, красивы они или некрасивы?

— Различаю, но для меня ты красивее всех

красавцев.

— Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?

— И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого дело?

— Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я безобразен?

— Пожалуй, я и не заметила бы этого.

— Значит, по-твоему, можно любить и некрасивого?

— Почему же нет? Ведь любишь же ты меня.

— Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же! Ты в самом деле некрасива?

— Мне всегда это говорили. А разве сам ты этого не видишь?

— Нет, нет, право, не вижу.

— Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень довольна этим.

— Вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кориллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так, или это только мое заблуждение. Понимаешь, я отлично знаю твое лицо, знаю, что оно хорошее и нравится мне. Когда я раздражен, оно действует

на меня успокоительно, когда грустен, оно утешает меня, когда удручен, оно поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэло, действительно ли ты некрасива.

— Я еще раз спрашиваю: какое тебе до этого дело?

— Мне необходимо знать это. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?

— Но ведь любил же ты мою бедную мать, а она сделалась под конец совершенным страшилищем. А я-то как любила ее!

— И ты считала ее уродливой?

— Нет. А ты?

— Я и не думал о ее наружности. Но это совсем не то, Консуэло… Я говорю о другой любви — о любви страстной, а ведь тебя я люблю именно такой любовью, правда? Я не могу обходиться без тебя, не могу с тобой расстаться. Ведь это настоящая любовь, как по-твоему?

— А чем иным могло бы это быть?

— Дружбой.

— Да. Возможно, что это и есть дружба.

Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно посмотрела на Андзолетто. А тот, погрузившись в задумчивость, впервые задал

себе вопрос, что он испытывал к Консуэло — любовь или дружбу — и о чем говорили это спокойствие чувств, это целомудрие, которое он так легко сохранял вблизи нее, — об уважении или о безразличии. В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза, фигуру — все то, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый раз взволнованная Консуэло была смущена взглядом своего друга: она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в силах смотреть в глаза Андзолетто, она отвернулась. Андзолетто все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его прервать, Консуэло вдруг ощутила невыразимую тревогу, крупные слезы одна за другой покатились по ее щекам, и, закрывая лицо руками, она воскликнула:

— О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой!

— Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! — воскликнул Андзолетто, испуганный ее слезами, которые вызвал у нее впервые, и поспешно по-братски обнял ее.

Но в этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому вместо свежей, прохладной щеки поцелуй его

встретил горячее плечо, едва прикрытое косынкой из грубого черного кружева.

Когда первая вспышка страсти запылает в сильном молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение.

— Не знаю, что со мной, — проговорила Консуэло, вырываясь с дотоле не испытанным страхом из объятий своего друга, — но мне нехорошо, мне кажется, будто я умираю…

— Не надо умирать, дорогая, — говорил Андзолетто, нежно поддерживая ее, — теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица.

Действительно, Консуэло была очень хороша в эту минуту. И Андзолетто, почувствовав это всем своим существом, не мог удержаться, чтобы не высказать ей своего восхищения, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает требованиям, предъявляемым сценой.

— Да скажи, наконец, зачем тебе понадобилось сегодня, чтобы я была красива? — спросила Консуэло, внезапно побледнев и обессилев.

— А разве тебе самой не хочется быть красивой, милая Консуэло?

— Да, для тебя.

— А для других?

— Какое мне до них дело?

— А если бы от этого зависело наше будущее?

Тут Андзолетто, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он передал ей не слишком лестные для нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, которая поняла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, вытерла слезы и рассмеялась.

— Как, — воскликнул Андзолетто, пораженный таким полным отсутствием тщеславия, — ты ничуть не взволнована, не смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что далеко не некрасивы.

— Послушай, — ответила она, улыбаясь, — раз ты придаешь такое значение подобному вздору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой: при моей наружности это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь уже не некрасива.

— В самом деле? Ты это слышала? Кто же говорил тебе это, Консуэло?

— Во-первых, моя мать: ее никогда не смущала моя некрасивость. Она не раз повторяла, что это

пройдет и что сама она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих, знавших ее, слыхала, что в двадцать лет она была самой красивой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бедняков красота — дело одного мгновения: сегодня ты еще не красива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько да не очень голодать.

— Консуэло, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбогатею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть, сколько тебе угодно.

— В добрый час! Да поможет нам Господь в остальном!

— Да, но все это не решает дела сейчас: необходимо узнать, найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.

— Проклятый граф! Только бы он не был слишком требователен.

— Но, уж во всяком случае, ты не дурнушка.

— Да, я не дурнушка. Еще недавно я слышала, как стекольщик — тот, что живет напротив нас, — сказал жене: «А знаешь, Консуэло совсем

недурна: у нее прекрасная фигура, а когда она смеется, так просто сердце радуется; когда же запоет — делается и вовсе красивой».

— А что ответила на это его жена?

— Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше занимайся своим делом; женатому человеку нечего заглядываться на девушек».

— И видно было, что она сердится?

— Еще как!

— Это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошибся. Ну, а еще что?

— А потом графиня Мочениго, — я шью на нее, и она всегда принимала во мне участие, — так вот, на прошлой неделе вхожу я к ней, а она и говорит доктору Анчилло: «Посмотрите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее прелестная фигура».

— А доктор что ответил?

— Он ответил: «Действительно, сударыня, я не узнал бы ее, клянусь вам! Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть. Увидите, из нее выйдет красавица».

— Не слыхала ли ты еще чего?

— Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра — она заказывает мне вышивки для своих алтарей — тоже сказала одной из монахинь: «Разве

я была не права, когда говорила, что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию? Каждый раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу Бога, чтобы она не впала в грех и всегда пела только в церкви».

— А что ответила сестра?

— Она ответила: «Ваша правда, мать настоятельница, сущая правда». Сейчас же после этого я побежала в их церковь поглядеть на святую Цецилию. Ее написал великий художник, и она такая красавица!

— И она похожа на тебя?

— Немножко.

— Почему же ты никогда мне об этом не говорила?

— Да я как-то не думала об этом.

— Милая моя Консуэло, так, значит, ты красива?

— Не знаю, но я уже не так дурна собой, как говорили раньше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, люди просто не хотят меня огорчать теперь, когда я стала взрослой.

— Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько. Начать с того, что у тебя самые красивые глаза в мире!

— Зато рот слишком велик, — вставила, смеясь, Консуэло, разглядывая себя в осколок разбитого зеркала.

— Рот не мал, но какие чудесные зубы, — продолжал Андзолетто, — просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты смеешься.

— В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты должен непременно рассмешить меня.

— А волосы какие чудесные, Консуэло!

— Вот это правда. На, посмотри…

Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли.

— У тебя высокая грудь, тонкая талия, а плечи… До чего они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике.

— Нога у меня довольно маленькая, — желая переменить разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чудесную ножку — ножку настоящей андалузки, какую почти невозможно встретить в Венеции.

— Ручка — тоже прелесть, — прибавил Андзолетто, впервые целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески пожимал. — Ну, покажи мне свои руки повыше!

— Ты ведь их сто раз видел, — возразила она, снимая митенки.

— Да нет же! Я никогда еще их не видел, — сказал Андзолетто.

Это невинное и вместе с тем опасное расследование начинало странным образом волновать юношу. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взглядов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее.

Быть может, он был не совсем слеп и раньше; быть может, впервые Консуэло, сама того не сознавая, сбросила с себя выражение спокойной беспечности, допустимое лишь при безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взволнованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже ставшая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося кокетства, а от чувства пробудившейся стыдливости, пережитого и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистым блеском глаз действительно напоминала святую Цецилию из монастыря Санта-Кьяра.

Андзолетто не в силах был оторвать от нее взгляда. Солнце зашло. В большой комнате с одним маленьким оконцем быстро темнело,

и в этом полусвете Консуэло стала еще красивее, — казалось, будто вокруг нее реет дыхание неуловимых наслаждений. В голове Андзолетто пронеслась мысль отдаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой дотоле силой, но холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось дать волю своим пылким восторгам и проверить, может ли красота Консуэло пробудить в нем такую же страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы, которыми он обладал прежде. Но он не посмел поддаться этому искушению, недостойному той, что вызвала в нем такие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять это новое для него сладостное ощущение заставляла желать, чтобы оно длилось как можно дольше.

Вдруг Консуэло, которая уже не могла больше выносить охватившее ее смущение, заставила себя вернуться к прежней беззаботной веселости и принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из какой-то оперы и сопровождая пение трагическими жестами, словно на сцене.

— Да ведь это великолепно! — с восторгом и изумлением воскликнул Андзолетто, увидев, что она способна прибегать к таким сценическим

трюкам, каких никогда еще ему не показывала.

— Совсем не великолепно! — сказала Консуэло, садясь. — Надеюсь, ты это говоришь в шутку?

— Уверяю тебя, на сцене это было бы великолепно. Поверь, здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти: это так же эффектно, как то, за что ей аплодируют с таким неистовством.

— Мой милый Андзолетто, я вовсе не хочу, чтобы она лопнула от зависти к такому фиглярству. И если бы публика вздумала аплодировать мне только потому, что я умею подражать Корилле, то я бы больше не захотела и появляться перед ней.

— Ты, значит, надеешься превзойти Кориллу?

— Да, надеюсь или откажусь от всего.

— Как же ты это сделаешь?

— Пока еще не знаю…

— Попробуй.

— Нет, все это одни мечты; и пока не будет решено, дурна я собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки. Может быть, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился господин граф, Консуэло действительно уродлива.

Это последнее предположение дало Андзолетто силы уйти.

Глава IX

В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его биографам, Никколо Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик Скарлатти, учитель певцов Гассе, Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберто (известного под именем Порпорино) и певиц Минготти, Габриэлли, Мольтени, — словом, родоначальник самой знаменитой школы пения своего времени, Никколо Порпора прозябал в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А между тем некогда он стоял во главе консерватории Оспедалетто в этом самом городе, и то был самый блестящий период его жизни. Именно в ту пору им были написаны и поставлены лучшие его оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения духовной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он, правда не без некоторых усилий, добился там покровительства императора Карла VI. Он пользовался также

благоволением саксонского двора[14], а затем был приглашен в Лондон, где в течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с самим великим Генделем, звезда которого как раз в эту пору несколько потускнела. Но в конце концов гений Генделя восторжествовал, и Порпора, уязвленный в своей гордости и почти без денег, возвратился в Венецию, где не без труда занял место директора уже другой консерватории. Он написал здесь еще несколько опер и поставил их на сцене, но это было нелегко; последняя же опера, хотя и написанная в Венеции, пошла только в лондонском театре, где не имела никакого успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; слава и успех могли бы еще возродить его, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Кафарелли, все более и более забывавших своего учителя, окончательно разбила его сердце, ожесточила его, отравила ему старость. Известно, что он скончался в Неаполе на восьмидесятом году жизни в нищете и горе.

В то время, когда граф Дзустиньяни, предвидя уход Кориллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу, Порпора переживал при-

[14] Примечания: 14

Николло Порпора давал там уроки пения и композиции принцессе Саксонской, впоследствии французской дофине, матери Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. (*Прим. автора.*).

падок раздражения, и его неудовольствие имело некоторое основание. Если в Венеции любили и исполняли музыку Йомелли, Лотти, Кариссими, Гаспарини и других превосходных мастеров, то это не мешало публике одновременно увлекаться без разбора легкой музыкой Кокки, Буини, Сальваторе Аполлини и других более или менее бездарных композиторов, чей легкий и вульгарный стиль был по душе людям посредственным. Оперы Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгневанному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрывший сердце и уши для современной музыки, пытался задушить ее славою и авторитетом стариков. С чрезмерной суровостью он порицал грациозные произведения Галуппи и даже своеобразные фантазии Кьодзетто — популярного в Венеции композитора. С ним можно было разговаривать лишь о падре Мартини, о Дуранте, о Монтеверди, о Палестрине; не знаю, благоволил ли он даже к Марчелло и к Лео. Вот почему первые попытки графа Дзустиньяни пригласить на сцену его неизвестную ученицу, бедную Консуэло, которой он желал, однако, и славы и счастья, Порпора встретил холодно и с грустью. Он был слишком опытным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не

знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный талант, выращенный на шедеврах старых композиторов, будет подвергнут профанации, приводила старика в ужас. Опустив голову, подавленным голосом он ответил графу:

— Ну что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый ум, бросьте его собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж такова в наши дни судьба гения.

Серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если этот суровый учитель так ценит ее, значит, есть за что.

— Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В самом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное существо?

— Вы ее услышите, — проговорил Порпора с видом человека, покорившегося неизбежному, и повторил: — Такова ее судьба.

Граф все же сумел рассеять уныние маэстро, обнадежив его обещанием серьезно пересмотреть оперный репертуар своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как только ему удастся избавиться от Кориллы, плохие оперы, ставившиеся, по его словам, лишь по ее капризу и ради ее успеха, он намекнул весьма ловко, что будет

очень сдержан в отношении постановок опер Гассе, и даже заявил, что в случае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло, то день, когда ученица покроет своего учителя двойною славой, передав его мысли в соответствующем стиле, будет торжеством для оперной сцены Сан-Самуэле и счастливейшим днем в жизни самого графа.

Порпора, убежденный его доводами, немного смягчился и втайне уже желал, чтобы дебют его ученицы, которого он сначала побаивался, полагая, что она может придать новый блеск творениям его соперника, состоялся. Однако, поскольку граф выразил опасение насчет наружности Консуэло, он наотрез отказался дать ему возможность прослушать ее в узком кругу и без подготовки. На все настояния и вопросы графа он отвечал:

— Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка, столь бедно одетая, естественно, робеет перед таким вельможей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, она не встречала в жизни никакого внимания и, понятно, нуждается в том, чтобы немного заняться своим туалетом и подготовиться. К тому же Консуэло принадлежит к числу людей, чьи лица удивительно

преображаются под влиянием вдохновения. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Предоставьте это мне; если вам она не подойдет, я возьму ее к себе и найду способ сделать из нее хорошую монахиню, которая прославит школу, где будет преподавать.

Такова была в действительности та будущность, о которой до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.

Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предстоит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда девушка наивно выразила опасение, что тот найдет ее некрасивой, учитель убедил ее в том, что граф во время богослужения будет сидеть в церкви и не увидит ее за решеткой органа, но все же посоветовал ей одеться поприличней, ибо после службы собирался представить ее графу. Как ни беден был благородный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму, и Консуэло, взволнованная, растерянная, впервые в жизни занялась своей особой и наспех принарядилась. Она решила также испытать свой голос и, запев, нашла его таким сильным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очарованному и тоже взволнованному Андзолетто:

— Ах! Зачем нужно певице еще что-то, кроме

умения петь?

Глава X

Накануне торжественного дня Андзолетто нашел дверь в комнату своей подруги запертою на задвижку и, только прождав на лестнице около четверти часа, смог, наконец, войти и взглянуть на Консуэло в праздничном одеянии, которое ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило ее облик, что Андзолетто простоял в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она, или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала.

— Ну вот! — воскликнула она. — Я вижу, что не нравлюсь тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносной, если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на меня, ни малейшего удовольствия?

— Подожди, подожди, — возразил Андзолетто. — Прежде всего я в восторге от твоей прелестной талии — она очень выигрывает от этого длинного лифа, а кружевная косынка придает

тебе такой благородный вид! Юбка падает широкими складками и сидит на тебе прекрасно… Но мне жаль твоих черных волос… Да, мне кажется, что прежде было лучше. Ничего не поделаешь — они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть синьорой.

— А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу пудру, она обесцвечивает и старит самых красивых, а в этих нарядных тряпках я кажусь себе какой-то чужой. Словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что ты того же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда тоже примеряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая! Вот счастливица, достаточно только взглянуть на нее, чтобы убедиться в ее красоте! Мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней.

— Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал.

— И она пела плохо?

— Так, как поет всегда.

— Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Клоринда — при всем своем тщеславии она ведь совсем не плохая девушка — потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души пожалела бы ее и разделила с ней ее

горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить друг друга… И все из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь! Как это грустно, любимый мой! И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем другой, не той, что была прежде.

Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.

— Плакать теперь? Как можно! — воскликнул Андзолетто. — У тебя потускнеют глаза, распухнут веки! А твои глаза, Консуэло… Смотри не порти их — они самое красивое, что у тебя есть.

— Или менее некрасивое, чем все остальное, — произнесла она, утирая слезы. — Оказывается, когда отдаешь себя сцене, не имеешь права даже плакать.

Андзолетто пытался ее утешить, но она была печальна в течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхнула пудру со своих прекрасных, черных как смоль волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое платьице, которое обычно надевала по воскресеньям, и,

увидав себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успокоилась. Затем, пламенно помолившись, она стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолетто на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно по воскресеньям, — она репетировала арию, которую должна была исполнять.

— Как! — вскричал он. — Еще не причесана, не одета! Ведь скоро идти. О чем ты думаешь, Консуэло?

— Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И хочу остаться в таком виде, — сказала она решительным тоном. — Все эти нарядные платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь: это дело решенное. Я просила Бога вдохновить меня, а матушку — наставить, как мне себя вести. И вот Господь внушил мне быть скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что говорила всегда: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках Божьих». Я видела, как она взяла мое нарядное платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное пла-

тьице и белую кисейную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф, как сделала это она во сне, надела свое черное платьице, косынку, и вот я готова. И чувствую себя куда храбрее с тех пор, как отказалась от тех средств нравиться, которые мне чужды. Послушай лучше мой голос, — все зависит от него.

И она исполнила руладу…

— О Господи! Мы погибли! — воскликнул Андзолетто. — Голос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверно, плакала вчера вечером! Хороша, нечего сказать! Повторяю тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей, переодевайся, а я пока сбегаю за румянами. Ты бледна как мертвец.

Между ними разгорелся жаркий спор. Андзолетто был даже несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и расплакалась. Это еще более вывело из себя Андзолетто, и размолвка была в разгаре, когда на часах пробило без четверти два: оставалось ровно столько времени, чтобы бегом добежать до церкви. Андзолетто разразился проклятиями. Консуэло, бледнее утренней звезды,

глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Андзолетто.

— Друг мой! — воскликнула она. — Не брани, не проклинай меня! Лучше поцелуй меня покрепче, чтобы разрумянить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исайи и пусть Господь не покарает нас за то, что мы усомнились в его помощи!

Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежала с ним к церкви Мендиканти. Церковь была битком набита поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Андзолетто ни жив ни мертв направился к графу, который заранее условился встретиться с ним здесь, а Консуэло поднялась на хоры. Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал у пюпитра. Консуэло и не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз, следит за каждым ее движением.

Но разглядеть ее лицо он еще не мог: придя, она тотчас опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться. «Господи, — шептала она, — ты знаешь, что я прошу

возвысить меня, не стремясь при этом унизить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя сцене и мирскому искусству, я не хочу забыть тебя, не хочу вести порочной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и я молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу тебе, лишь ради того, чтобы я могла соединиться с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье».

Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с колен, косынка ее сползла на плечи, — тут граф и Андзолетто, полные нетерпения и тревоги, наконец смогли увидеть ее. Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В безмятежном взгляде не было видно мелкой жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что-то трогательное и внушающее уважение.

— Мужайся, дочь моя, — шепнул ей профессор, — ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии; он здесь и будет слушать тебя.

— Кто, Марчелло? — спросила удивленная Консуэло, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.

— Да, Марчелло. А ты пой как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно.

В самом деле, Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил — как композитор, как писатель и как государственный деятель. Он всегда выказывал много внимания Порпоре, который и попросил Марчелло прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «I cieli immensi narrano», который Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого глубокого захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о

злобствующих соперницах, о самом Андзолетто, она помнила только о Боге и о Марчелло. В композиторе она видела сейчас посредника между собою и тем сияющим небом, славу которого готовилась воспеть. Мог ли какой-нибудь сюжет быть прекраснее, могла ли быть возвышеннее идея!

I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria;
Il firmamento lucido,
All' universe annunzia,
Quanto sieno, mirabili
Delia sua destra le opere[15].

Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, голос, который мог исходить только от существа, обладающего выдающимся умом и большим

---

[15] Примечания: 15

Безмерное небо глаголет
Творца-вседержителя славу;
И свод лучезарный вещает
По всей беспредельной вселенной
О том, как велики и дивны
Деянья Господней десницы (итал.).

сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:

— Клянусь Богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза, святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!

У Андзолетто подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока, наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и гордостью.

Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, приличных только в театре. У графа не хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло. Еще во время богослужения, пока священники читали псалмы, Консуэло спустилась в церковь, так как Марчелло пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был так взволнован, что едва мог говорить.

— Дочь моя, — начал он прерывающимся голосом, — прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я

слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину, Куццони, всех самых великих певиц мира; они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один смертный!

Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэло низко склонилась, как бы намереваясь встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца. Но, поднимаясь, она кинула на Андзолетто взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня!».

Глава XI

В течение остальной части богослужения Консуэло проявила такую мощь и такие блестящие данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее безупречно чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение, всем поющим казалось, что

иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Порпора выслушивал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел на Консуэло, и Андзолетто прекрасно понимал, что говорит его взгляд.

По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько

аристократов — любителей музыки, светские попечители школы и, наконец, красавец Андзолетто в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хитро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию: у одних — чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, у других — чтобы неминуемым разочарованием отомстить за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта нищенка Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей

школы и единственным ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло! Гнев исказил ее лицо, она стала такой некрасивой, какою никогда не была Консуэло и какою стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Андзолетто, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограниченна, а Андзолетто слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.

Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался, видя, что такт, здравый смысл и обаяние, которые девушка обнаруживает в разговоре, не менее велики, чем талант и умение, проявленные ею в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его

друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпора, граф Барбериго и несколько других знатных молодых людей приняли предложение графа. Андзолетто также был допущен. Консуэло, со смущением подумав о том, что ей придется быть одной в обществе стольких мужчин, тихонько попросила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни, не понимавший причины ухаживания Андзолетто за бедной красавицей и довольный тем, что юноша уделяет ей больше внимания, чем своей невесте, охотно исполнил ее просьбу. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, отличался немалым самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее коварной Корилле, граф, считая это вполне естественным, сразу же начал ухаживать за Консуэло. Усевшись с ней рядом и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но бесхитростная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и прямой, да-

же в голову не могло прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала и мысли о желании графа поухаживать за нею. Она питала все то же почтение к знатному вельможе, покровителю ее и Андзолетто, и простодушно, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой.

Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, приписать ли их веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или же наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, — я хочу сказать, была просвещена, особенно сто лет тому назад, да еще при наличии такого друга, как Андзолетто. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало какое-то необъяснимое смущение, он испытывал чувство неуверенности, чуть ли не почтительности, в котором не мог дать себе отчета.

Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой, и охотно

возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, — думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. — Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщинами, молодой Барбериго задал себе вопрос, с какой стати этот ничтожный мальчишка Андзолетто захватил себе белокурую Клоринду, и, подойдя к ней, попытался намекнуть юному тенору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания за девицами он взялся за весла. Андзолетто, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему.

— Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло, — громко обратился он к Клоринде. — До чего она дойдет сегодня? Ей мало фурора, который она произвела своим пением

во всем городе, — она еще строит глазки нашему бедному графу. Если он и не потерял окончательно голову, то, уж наверно, потеряет, и тогда горе синьоре Корилле.

— О, этого можно не бояться! — лукаво возразила Клоринда. — Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолетто, она его невеста. Они пылают друг к другу страстью Бог знает сколько лет.

— Долгие годы любви могут быть забыты в одно мгновение, — возразил Барбериго, — особенно когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не находите, прекрасная Клоринда?

Андзолетто не в силах был долго выносить такие насмешки. Тысячи змей уж начинали шевелиться в его сердце. До этой минуты ему и в голову не приходило подобное подозрение. Ни о чем не думая, он радовался победе своей подруги, и если в течение двух часов он забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то единственно для того, чтобы дать какой-то выход своему восторгу и удовлетворить тщеславие. Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Андзолетто сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время на середине

лодки между Порпорой и другими гостями графа, и, постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. После первой же попытки нарушить беседу графа с Консуэло Андзолетто заметил, что его появление пришлось не по вкусу Дзустиньяни: тот ответил холодно и даже сухо на несколько бессодержательных вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.

— Великий Порпора не мой учитель, — заметил Андзолетто шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство, — он учитель Консуэло, и если глубокоуважаемому графу угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала уроков ни у кого, кроме как у своего старого профессора… — ласково и вкрадчиво продолжал он, нагибаясь к графу.

— Милейший Дзото, — перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, — мне надо что-то вам сказать на ухо. — И, нагнувшись к нему, проговорил: — Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в

течение хотя бы одного вечера…

Андзолетто похолодел с головы до ног.

— Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее, — задыхаясь, проговорил он.

— Это можно сделать в двух словах, любезный друг: гондола за гондолу, — отрезал граф.

Андзолетто так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид.

— Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы! — невозмутимо проговорил граф. — Потом расскажете мне, это очень меня интересует…

— Я это вижу, ваше сиятельство, — ответил взбешенный Андзолетто, который был способен сейчас погубить все свое будущее.

— Что же ты медлишь? — наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. — В таком случае пойду я, господин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам.

И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую

ее от старого учителя, и присела подле него на корточки.

Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться.

— Андзолетто, — улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо, — вот вся моя месть, дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от короткого невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?

— Ваше сиятельство, — в сильном волнении вскричал Андзолетто, — уверяю вас честью…

— Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? — спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.

— Неужели вы предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость? — спросил Андзолетто, к которому успела вернуться его обычная находчивость.

— Сделал он ее или не сделал, в данную минуту

мне это глубоко безразлично, — сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле нее.

Глава XII

Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец — коснулись способов выражения и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел: он был против того, чтобы духовная музыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе ее украшения, пассажи и рулады.

— Значит ли это, что вы, маэстро, отвергаете трудные пассажи и фиоритуры, которые, однако, создали успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли? — спросил его Андзолетто.

— Я отвергаю их в церкви, — ответил маэстро, — а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу,

чтобы они были на месте, и главное — чтобы ими не злоупотребляли; я требую соблюдения строгого вкуса, изобретательности, изящества, требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и герою пьесы, чувствам, которые он выражает, и положению, в котором он находится. Пусть нимфы и пастушки щебечут, как пташки, и своим лепетом подражают журчанию фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона может только рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными фиоритурами свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и бурные страсти, это ей не удастся. И напрасно будет она метаться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот, в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, она не имела себе равных. Но явилась Куццони, передававшая с присущей ей чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, нежность, — и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли

из вашего сердца воспоминание о всех чудесах, которые расточала перед вами Фаустина. Ибо существует талант, так сказать, материальный, и существует гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает… Есть то, что удивляет, и то, что восхищает… Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде, но если я и показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, когда слышу, как большинство моих учеников ими злоупотребляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длительным умилением публики ради мимолетных возгласов удивления и лихорадочного восторга.

Никто не стал оспаривать это мнение, неизменно правильное по отношению ко всем видам искусства и применимое ко всем проявлениям таланта истинно артистических натур. Один лишь граф, сгорая желанием узнать, как исполняет Консуэло светскую музыку, стал для вида противоречить чересчур суровым взглядам Порпоры. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает ереси своего старого учителя, а напротив, не сводит с него глаз, как бы побуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться к ней самой с вопросом, сможет ли

она петь на сцене с тем же умением и чистотой, с какими пела в церкви.

— Сомневаюсь, — ответила она с искренним смирением, — чтобы мне удалось найти такое же вдохновение на сцене; боюсь, что там я много потеряю.

— Этот скромный и умный ответ успокаивает меня, — сказал граф. — Я уверен, что публика, страстная, увлекающаяся, правда немного капризная, вдохновит вас и вы снизойдете изучить те трудные, но полные блеска арии, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше.

— Изучить! — с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь.

— Изучить! — воскликнул Андзолетто с гордым презрением.

— Да, да, конечно, изучить, — согласилась с обычной своей кротостью Консуэло. — Хоть я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтобы уже теперь была в состоянии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими на нашей сцене…

— Ты лжешь! — с горячностью вскричал Андзолетто. — Синьор граф, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего

репертуара, и вы увидите, на что она способна!

— Если б только я не боялся, что она устала… — нерешительно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпеливым ожиданием.

Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпору, как бы ожидая его приказаний.

— Ну что ж, — сказал профессор, — она не так легко устает, и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, давайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, высокочтимый граф, выбрать арию и самому проаккомпанировать ей на клавесине?

— Боюсь, что ее пение и ее присутствие так взволнуют меня, что я буду брать фальшивые ноты, — ответил Дзустиньяни. — Почему бы вам, маэстро, самому не аккомпанировать ей?

— Я хочу видеть ее поющей, — ответил Порпора. — Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не подумал на нее взглянуть. А мне надо знать, как она держится, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, в числе твоих экзаменаторов буду и я.

— В таком случае я сам буду аккомпанировать ей, — заявил Андзолетто, усаживаясь за клавесин.

— Вы будете слишком смущать меня, маэст-

ро, — обратилась Консуэло к Порпоре.

— Смущение — признак глупости, — ответил учитель, — тот, кто по-настоящему любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю: «Консуэло никуда не годится!».

И, нисколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, чтобы дать правильный темп ритурнели. Выбор пал на блестящую, причудливую и трудную арию из комической оперы Галуппи «Diavolessa»[16]; граф пожелал сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря огромному дарованию, девушка, почти не упражняясь, самостоятельно добилась умения проделывать своим гибким и сильным голосом все известные в то время вокальные фигуры. Правда, Порпора сам советовал ей делать эти упражнения и изредка прослушивал ее, желая убедиться, что она не совсем их забросила, но, в

---

[16] Примечания: 16
«Дьяволица» (*итал.*).

общем, уделял этому жанру так мало времени и внимания, что даже не подозревал, на что способна в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учителю за его жестокость и подшутить над ним, Консуэло решилась уснастить причудливую арию из «Diavolessa» множеством фиоритур и пассажей, дотоле считавшихся невыполнимыми. При этом она импровизировала так просто, словно читала их по нотам и старательно разучивала прежде. В ее импровизациях было столько искусных модуляций, столько выразительности и поистине дьявольской энергии, а сквозь эту бурную веселость внезапно прорывалось такое мрачное отчаяние, что слушатели переходили от восхищения к ужасу, и Порпора, вскочив с места, громко воскликнул:

— Да ты сама воплощенный дьявол!

Консуэло закончила арию сильным крещендо, вызвавшим неистовые крики восторга, и со смехом опустилась на стул.

— Ах ты скверная девчонка! — сказал ей Порпора. — Тебя мало повесить! Ну и подшутила же ты надо мной! Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей! Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала брать у меня уроки, — быть может, для того,

чтобы похитить все мои тайны композиции и преподавания, превзойти меня во всем, а потом выставить старым педантом.

— Маэстро, — возразила Консуэло, — я только повторила то, что вы сами проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и вот вы, послушно выполнив его волю почти до конца, приготовили ему в последней фуге хорошенький дивертисмент: начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом стали без конца повторять их в ускоренном темпе всеми голосами. Вы только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом сами приказали мне исполнить их. Вот почему я преподнесла их вам в таком количестве — хотела доказать, что и я способна на излишества. А теперь прошу простить меня.

— Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол, — ответил Порпора. — А теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое. И пой, как знаешь сама, — я вижу, что больше не в состоянии быть твоим учителем.

— Вы всегда будете моим уважаемым, моим любимым учителем! — воскликнула девушка,

бросаясь ему на шею и горячо обнимая его. — Целых десять лет вы кормили и учили меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская неблагодарность. Пусть же Бог сию минуту отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности!

Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Она не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на Консуэло глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней оживление и веселость на весь остаток вечера. После целого часа восторженных похвал, возгласов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть все стали просить ее показать себя и в трагической роли. Она исполнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Йомелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще более прекрасна, чем в церкви: лихорадочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчезла святая, на ее месте

была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериго, Андзолетто, все присутствующие, кажется даже старик Порпора, совсем обезумели. Клоринда задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэло, что завтра же будет составлен и подписан ее ангажемент, и она попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать, не спрашивая, в чем эта милость будет заключаться, — как некогда делали рыцари. Граф дал ей слово, и все разошлись, испытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас все великое и гениальное.

Глава XIII

В то время как Консуэло одерживала победу за победой, Андзолетто жил только ею, совершенно забыв о себе; но когда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил, как холоден был с ним Дзустиньяни все последние часы, и страх потерять навсегда его расположение отравил всю радость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэло на лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, все-таки удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпорой, он собрался было пойти с Консуэло вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал, что, по приказанию его сиятельства, гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолетто.

— Синьора привыкла ходить на собственных ногах, — грубо отрезал он. — Она очень благодарна графу за его любезность.

— А по какому праву вы отказываетесь за нее? — спросил граф, который шел за ними следом.

Оглянувшись, Андзолетто увидел Дзустиньяни: граф был не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают своих гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как человек, приготовившийся к ночным похождениям. Андзолетто пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзустиньяни тот тонкий, остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды.

— Надеюсь, синьора, — обратился граф к Консуэло решительным тоном, — вы не захотите обидеть и огорчить меня, отказавшись от моей гондолы и не позволив усадить вас в нее.

Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, приняла это предложение, поблагодарила и, опершись своим красивым округлым локтем на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Андзолетто произошел безмолвный, но выразительный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, смерил Андзолетто взглядом, а тот, застыв на последней

ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни. Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле — и граф встретил бы смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной молчаливой сцене было то, что оба соперника наблюдали друг за другом и ни тот, ни другой не стремился ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, намеревался своей кажущейся нерешительностью лишь помучить соперника, и помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Андзолетто, приготовившегося заколоть его. У Андзолетто тоже хватило силы воли ждать, не выдавая себя, пока граф соблаговолит кончить свою жестокую шутку или простится с жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью. Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу, сказал:

— Я позволяю вам также войти в мою гондолу, впредь вы будете знать, как должен вести себя воспитанный человек.

Он посторонился, чтобы пропустить Андзолетто, и, приказав гондольерам грести к Корте-Минелли, остался на берегу, неподвижный, как статуя. Казалось, он спокойно ждал нового поку-

шения на свою жизнь со стороны униженного соперника.

— Откуда графу известно, где ты живешь? — было первое, что спросил Андзолетто у своей подруги, как только дворец Дзустиньяни скрылся из вида.

— Я сама сказала ему, — ответила Консуэло.

— А зачем ты сказала?

— Затем, что он у меня спросил.

— Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадобилось это знать?

— Очевидно, для того, чтобы приказать отвезти меня домой.

— Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы самому явиться к тебе?

— Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу? Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, и мне совсем она не нужна.

— Хорошо, что она не нужна тебе, Консуэло, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть для тебя чрезмерный позор.

— Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не понимаю, милый Андзолетто. И меня удивляет, почему, вместо того чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то

странные вещи.

— Неожиданному — это правда, — с горечью заметил Андзолетто.

— А мне казалось, что и в церкви и вечером во дворце, когда мне аплодировали, ты был в еще большем восторге, чем я. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с особенной силой ощущала свое счастье; ведь я видела, как оно отражается на твоем лице. Но вот уже несколько минут, как ты мрачен и сам не свой, — таким ты бываешь иногда, когда у нас нет хлеба или когда будущее рисуется нам с тобой неверным и печальным.

— А что хорошего сулит мне будущее? Быть может, оно в действительности не так уж неверно, но радоваться мне нечему.

— Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор…

— Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама это отлично знаешь.

— Надеюсь, что нет, но если бы даже и так, мы не можем завидовать друг другу.

Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Андзолетто сразу успокоился.

— Да, ты права! — воскликнул он, прижимая

невесту к груди. — Мы не можем завидовать друг другу, так же как не можем обмануть друг друга.

Произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил о начатой интрижке с Корилой, и вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды. При этой мысли он снова помрачнел, Консуэло тоже задумалась.

— Почему ты сказал, — проговорила она после некоторого молчания, — что мы не можем обмануть друг друга? Конечно, это правда, но почему ты вдруг подумал об этом?

— Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, — прошептал Андзолетто. — Боюсь, что гондольеры подслушают нас и передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире и глубже, чем у наемных. Позволь мне подняться к тебе в комнату, — попросил он Консуэло, когда они пристали к берегу у Корте-Минелли.

— Ты знаешь, что это против наших привычек и против нашего уговора, — отвечала она.

— О, не отказывай мне, — вскричал Андзолет-

то, — не приводи меня в отчаяние и бешенство!

Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.

— Скажи, что с тобой? — грустно спросила она. — У тебя такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером.

— А сама ты не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?

— Нет, даю тебе слово!

— Так поклянись, что ты ничего не подозреваешь, поклянись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед которым ты молишься утром и вечером…

— О! Клянусь тебе распятием и душой моей матери!

— А нашей любовью клянешься?

— Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением…

— Я верю тебе, Консуэло: ведь если бы ты солгала, это была бы первая ложь в твоей жизни.

— Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем же дело?

— Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро ты поймешь меня… О! Когда насту-

пит эта минута, тебе и так все будет слишком ясно… Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!

— О Боже! Какое же ужасное несчастье грозит нам? Боюсь, что в эту убогую комнату, где до сих пор у нас с тобой не было секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые каким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я предчувствовала, что возвращусь в отчаянии. Что же я такого сделала, что мне нельзя насладиться днем, который казался таким прекрасным? Я ли не молила Бога так искренне, так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я ли не старалась петь как только могла лучше! И разве я не огорчалась унижением Клоринды! Разве не заручилась обещанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли, причем он не подозревает, что дал мне это обещание и уже не может взять назад свое слово! Повторяю: что же сделала я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предсказываешь и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты?

— Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Клоринды, Консуэло?

— Я добьюсь этого, если только граф — человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, и это

единственная возможная для нее будущность…

— И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая хоть кое-что знает, ради невежественной Клоринды?

— Розальба не расстанется с Кориллой — ведь они сестры, они уйдут вместе. Клориндой же мы с тобой займемся и научим ее использовать наилучшим образом свой милый голосок. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьи роли, уже и то хорошо: это будет первым шагом в ее карьере, началом ее самостоятельного существования.

— Ты просто святая, Консуэло! И ты не понимаешь, что эта облагодетельствованная тобой дура, которая должна бы почитать себя счастливой, если ее возьмут на третьи или даже на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что сама ты на первых?

— Что мне до ее неблагодарности! Увы! Я слишком хорошо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарные!

— Ты? — И Андзолетто расхохотался, целуя ее с прежней братской нежностью.

— Конечно, — ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. — В

моей душе постоянно живет и всегда будет жить благородный образ Порпоры. Он часто высказывал при мне глубокие, полные горечи мысли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его, и вот из его печалей, из его глубокого негодования, из речей, которые я слышала от него, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также, что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива. Знаю, что блестящая карьера — тяжкий крест, а слава — терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла об этих вещах, что, кажется, ничто уже не сможет удивить меня, и если когда-нибудь мне самой придется столкнуться со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не была опьянена своим сегодняшним успехом, вот почему также я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не понимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты будешь любить меня, я не стану человеконенавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку.

Слушая свою подругу, Андзолетто снова приободрился и повеселел. Консуэло имела на него огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все большую твердость и прямодушие — качества, которых так не хватало ему самому. Поговорив с ней четверть часа, он совершенно забыл о муках ревности, и, когда она снова начала расспрашивать о причине его беспокойства, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же придумал объяснение.

— Я боюсь одного: чтобы граф не нашел меня недостойным выступать перед публикой рядом с тобой. Сегодня он не предлагал мне петь, а я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. По-видимому, он совсем забыл о моем существовании; даже не заметил, что, аккомпанируя тебе на клавесине, я совсем недурно с этим справился. Наконец, говоря о твоем ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимание на такую странность?

— Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я соглашусь только при этом условии? Разве не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил

ему об этом совершенно определенно?

— Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хвастовством с моей стороны?

— В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Андзолетто! Уж я так ее распишу, что он мне поверит! Но только ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом.

— Решенное, но не подписанное! А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.

— Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конечно, нет! Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим.

— Ты клянешься?

— Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю.

Тут на глаза девушки навернулись слезы, и она опустилась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше очарования.

«В самом деле, какой я дурак, — подумал Андзо-

летто, — совсем с ума спятил. Как мог я допустить мысль, что граф соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо! Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда, что Консуэло не для него. И разве он проявил бы такое великодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в жалкой и смешной роли фата? Нет! Конечно, нет! Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влюбится в нее, — все это будет только способствовать моей карьере: она сумеет добиться от него всего, не подвергая себя никакой опасности. Скоро она будет разбираться в этих делах лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства милейшего графа лишь послужат мне на пользу, принесут мне славу».

И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам подруги, отдаваясь порыву страстного восторга, который испытывал впервые, но который в последние несколько часов подавляла охватившая его ревность.

— Красавица моя! — воскликнул он. — Святая! Дьяволица! Королева! Прости, что я думал о себе, вместо того чтобы, оказавшись в этой комнате

наедине с тобой, с обожанием повергнуться перед тобой ниц. Сегодня утром я вышел отсюда, ссорясь с тобой, и должен был вернуться не иначе, как на коленях! Как можешь ты меня любить, как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошенькой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб!

— Я не заслуживаю всех этих громких слов, — сказала она, обнимая его. — А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей единой, общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту печаль и сомнения. У тебя не хватило веры в Бога — и это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил в какой-нибудь низости меня. Но я буду молиться за тебя, я скажу: «Господи, прости ему, как я ему прощаю!».

Консуэло была очень хороша в эту минуту, она говорила о своей любви так просто и так естественно, примешивая к ней, по своему обыкновению, испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной уступчивости. Усталость и волнения пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу,

что Андзолетто, и без того уже возбужденный ее необычайным успехом, увидел девушку в совершенно новом свете и вместо обычной спокойной и братской любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, чему завидуют и оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожделений, разгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем безумные желания, и впервые она была в опасности, находясь в его объятиях.

— Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! — задыхаясь, воскликнул он. — Будь моей, моей навсегда!

— Когда хочешь, хоть завтра, — с ангельской улыбкой ответила Консуэло.

— Завтра? Почему завтра?

— Ты прав, теперь уже за полночь, — значит, мы можем обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни у тебя, а венчальный обряд не потребует долгих приготовлений. У меня есть ненадеванное ситцевое платье. Знаешь, друг мой, когда я его шила, я говорила себе: «У меня нет денег на подвенечное платье, и, если моему милому не сегодня-завтра захочется со

мной обвенчаться, мне придется быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несчастье». Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его и спрятала в шкаф: она, бедная, знала, что делает. Итак, все готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности. Ага, негодный, тебе нужно было сперва убедиться в том, что я не урод?

— Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребенок! — с тоской воскликнул Андзолетто. — Разве можно так, вдруг, обвенчаться тайно от всех! Граф и Порпора, покровительство которых нам еще необходимо, очень рассердятся, если мы решимся на этот шаг, не посоветовавшись с ними, даже не известив их. Твой старый учитель недолюбливает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Значит, чтобы добиться их согласия на наш брак, нужно время. А если даже мы и решим обвенчаться тайно, то нам понадобится по крайней мере несколько дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.

— Я как-то не подумала об этом, — сказала Консуэло. — Так о чем же ты мне говорил только что? Зачем ты, недобрый, сказал мне: «Будь моей женой», если знал, что пока это невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзолетто. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда можно пожениться, но хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию и еще — знаешь чему? — твоей доброй воле. Я ведь прекрасно видела, что ты не торопишься со свадьбой, но не сердилась на тебя. Ты часто повторял, что, прежде чем жениться, надо обеспечить будущность своей семье, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным. Стало быть, со свадьбой придется подождать. Надо, чтобы оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? И еще — надо заручиться успехом у публики. Что ж, мы вернемся к этому разговору после наших дебютов. Но отчего ты так побледнел, Андзолетто? Боже мой, отчего ты сжимаешь кулаки? Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на друга?

— О Консуэло! Как ты спокойна! Как ты чиста и

как холодна! — с каким-то бешенством вскричал Андзолетто.

— Я? Я холодна? — в свою очередь вскричала, недоумевая, юная испанка, пунцовая от негодования.

— Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре…

Консуэло, стремительно вскочившая было с места, теперь опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго молчала, а когда Андзолетто снова захотел обнять ее, тихонько оттолкнула его.

— Послушай, — сказала она, — нам необходимо объясниться, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уверять, будто я не понимаю того, что давно уже прекрасно поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три четверти Европы, недаром насмотрелась на распущенные, дикие нравы бродячих артистов, недаром — увы! — догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей бедной матери, чтобы не знать того, что, впрочем, всякая девушка из

народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла поверить, Андзолетто, что ты хочешь принудить меня нарушить клятву, которую я дала Богу в присутствии моей умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что аристократки — до меня подчас долетают их разговоры — называют репутацией. Я слишком незаметное существо, чтобы обращать внимание на то, что люди думают о моей чести, — для меня честь состоит в том, чтобы исполнять свои обещания, и, по-моему, к тому же самому обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы, — меня ведь так мало учили религии. Конечно, у меня не может быть таких прекрасных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц, растущих в монастыре и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть своя религия, и я придерживаюсь ее как умею, как могу. Я не считаю, что наша любовь, становясь с годами все более пылкой, должна стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь на поцелуи, которые дарю тебе, но знаю, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко можно обуздать.

— Легко! — воскликнул Андзолетто, горячо прижимая ее к груди. — Легко! Я так и знал, что ты холодна!

— Пусть я буду холодна! — вырываясь из его объятий, воскликнула Консуэло. — Но Господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю.

— Так иди же к нему! — крикнул Андзолетто с досадой. — Со мной тебе небезопасно. И я убегаю, чтобы не стать нечестивцем.

Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло, которая никогда не отпускала его без примирения, даже если между ними возникала самая пустячная ссора, удержит его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась; когда он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой невероятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, недвижимо, и пролежала она до утра.

Глава XIV

— Признаюсь тебе, я влюблен в нее до безумия, — говорил граф Дзустиньяни своему другу Барбериго этой же теплой и тихой ночью, сидя с ним в два часа утра на балконе своего дворца.

— Тем самым ты даешь понять, что я не должен влюбляться в нее, — отозвался юный и блестящий Барбериго. — Подчиняюсь, ибо право первенства за тобой. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, сделай милость, предупреди меня — тогда и я попытаю счастья…

— Не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.

— Нет, но мне кажется, что забава эта носила весьма серьезный характер, раз она заставляла тебя бросать столько денег и творить столько безумств.

— Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на сей раз это больше, чем увлечение, — это, право же, истинная страсть.

Никогда в жизни я не встречал существа, которое было бы так своеобразно красиво, как Консуэло. Она словно светильник: по временам пламя его начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, это пламя разгорается так ярко, что сами звезды, выражаясь языком поэтов, бледнеют перед ним.

— Ах! — проговорил, вздыхая, Барбериго. — Это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, естественная манера держаться, без всякого кокетства, — как эта девушка меняется, какой божественной становится она, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Счастливец Дзустиньяни, в чьих руках судьба этой нарождающейся славы!

— Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Напротив, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то что я целый день следил за ней, изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову.

— Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты положительно ослеп. Я же лишен надежды, а потому вижу ясно, и сейчас в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэло — цветок невинности. Она любит этого юнца Андзолетто и будет любить его еще несколько дней. Если ты грубо коснешься этой детской привязанности, ты только усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, быстро охладеет к своему избраннику.

— Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка! У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Корилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!

— Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, — возразил Барбериго. — Главное — узнать, кто он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит для Консуэло скорее. Во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.

— Значит, по-твоему, мне нужно желать того, чего я страшусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что об этом думаешь ты сам?

— По-моему, они не любовники.

— Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец, нравы подобных людей…

— Консуэло — чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.

— Ты приводишь меня в восторг!

— Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь возле себя неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолетто будет именно таким. Я достаточно наблюдал его вчера в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы иметь возможность безошибочно предсказать все его будущие ошибки и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Брачные узы легко расторжимы между людьми этого класса, и ты сам знаешь, что любовь этих женщин — пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.

— Твои слова приводят меня в отчаяние, а меж-

ду тем я сознаю, что ты прав.

На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэло, Андзолетто, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и для аристократов почти всегда проходили безнаказанно. Андзолетто не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.

Андзолетто скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого разговора было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вскочил и побежал на Корте-Минелли. Дверь у Консуэло была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати, неподвижную и бледную, как

труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и, поднявшись с пола, она бросилась на свою кровать, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолетто молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в какой-то летаргии, столь не похожей на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолетто вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости и обняла его, но вслед за тем отдернула руки и с ужасом отшатнулась.

— Я вижу, ты боишься меня теперь и, вместо того чтобы поцеловать меня, хочешь убежать! — с отчаянием в голосе проговорил Андзолетто. — Да, я жестоко наказан! Прости меня, Консуэло! Я сторожил здесь твой сон больше часа. Разве после этого ты можешь не доверять своему другу? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорблю

нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, прогони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэло?

Консуэло молча прижала к груди белокурую голову венецианца и залилась слезами. Слезы облегчили ее душу, и, снова опустив свою голову на маленькую, жесткую подушку, она тихо проговорила:

— Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз — мы так дурно с тобой расстались.

— Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! — ответил ласково Андзолетто. — Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часок-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще помнит о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила

и веришь мне.

Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.

Андзолетто так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одного дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его решение.

«Спасибо вам, любезные господа, — думал Андзолетто, — вы преподали мне урок вашей собственной морали, и «негодный мальчишка», поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого повесы-развратника из вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, знатный и мудрый Барбериго, идут впрок, полезно поучиться в вашей школе!».

Среди этих размышлений Андзолетто, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок: как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде полога, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое, замечательно пропорциональное тело. В розовой полумгле она лежала, точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у святой, — девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Андзолетто мысленно воскликнул: «О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение, и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которое никогда не достанется тебе!».

В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум; тонкий слух Андзолетто уловил плеск

воды о домишко, в котором жила Консуэло. К Корте-Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Андзолетто был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он увидел графа Дзустиньяни: выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Андзолетто не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски мансарды Консуэло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было войти беспрепятственно и без шума, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выдавая внутреннего волнения.

Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его, показавшись наиболее благоприятным условием обольщения. Он привез с собою уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят

не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолетто был отомщен за вчерашнюю унизительную сцену у гондолы.

— Ваше сиятельство, господин граф! — воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен этим неожиданным появлением. — Сейчас я разбужу мою… невесту.

— Нет! — ответил граф, который уже успел прийти в себя и повернулся к Андзолетто спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло. — Я счастлив, что вижу ее такою, и запрещаю тебе будить ее.

«Да, да! Любуйся ею! — думал Андзолетто. — Мне только это и нужно».

Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым ласковым и веселым видом стал выражать свой восторг.

— Ты был прав, Дзото, — сказал он непринужденно, — Консуэло — лучшая певица во всей

Италии, а я ошибался, сомневаясь в том, что она еще и красивейшая женщина в мире.

— Но ведь вы, высокочтимый граф, считали ее уродом, — заметил лукаво Андзолетто.

— И ты, конечно, передал ей все мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине.

— Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?

Тут Консуэло слегка пошевелилась.

— Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэло. Вот что, — добавил граф, когда Андзолетто, исполнив его приказание, очистил стол, — пока она спит, ты можешь и сам взглянуть на этот контракт.

— Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель! И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кориллы?

— Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы заплатим ей, только и всего.

— Но если Корилла пустит в ход интриги?

— Если она пойдет на это, мы упрячем ее в тюрьму.

— Бог мой! Для синьора графа нет преград!

— Да, Дзото, — ответил сухо граф, — мы именно таковы: если уж мы чего-нибудь хотим, то добиваемся этого наперекор всему и всем.

— Как! Условия ангажемента те же, что у Корилллы? Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?

— Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее самой, — прибавил граф, слегка повысив голос, так как заметил, что Консуэло просыпается. — Ее судьба в ее руках.

Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати. Не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:

— Вы слишком добры, синьор граф, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу анга-

жемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. Что, если в этот день я окажусь не в голосе, растеряюсь, наконец, просто буду некрасивой… Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им…

— Некрасивой в такой день, Консуэло! — воскликнул граф, пожирая ее глазами. — Вы — некрасивой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! — продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. — Если вы восхитительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?!

Андзолетто, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям Дзустиньяни, тотчас успокоило его.

— Синьор граф, — сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу, — смотрите не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно ни разу не обманывало меня. Кто бы я ни была — урод или красавица, но я от-

казываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать откровенно, что не стану ни дебютировать, ни заключать контракт, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не будет также приглашен в ваш театр, У нас с ним должна быть одна сцена и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться.

Это неожиданное признание немного удивило графа, но он тотчас оправился от своего смущения.

— Вы правы, Консуэло, — ответил он, — и я вовсе не собираюсь вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Однако мы не должны закрывать глаза на то, что хоть у него и большой талант, все-таки ему далеко до вас.

— Я думаю иначе, — горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой.

— Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал, — улыбаясь, заметил Дзустиньяни. — Не отпирайтесь, моя красавица! Помните, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими недостатками».

— Я очень благодарен господину профессору! — принужденно улыбаясь, сказал Андзолетто.

— Ничего, он изменит свое мнение, — весело проговорила Консуэло. — Публика заставит моего дорогого, славного учителя убедиться в обратном.

— Ваш дорогой, славный учитель — лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, — возразил граф. — Пусть же Андзолетто продолжает пользоваться вашими указаниями. Это послужит ему только на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования.

— Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я стою твердо…

— Вы, может быть, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю? Так продиктуйте сами, Консуэло. Вот вам перо — сами вычеркните, сами добавляйте; моя подпись внизу.

Консуэло взялась за перо. Андзолетто побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил

кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэло написала там, где еще оставалось место над подписью графа: «Андзолетто и Консуэло обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.

— Подписывай не читая, — сказала она, — этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие.

Андзолетто все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.

— Консуэло! — воскликнул Дзустиньяни. — Право, вы странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь идемте оба ко мне обедать, — добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло.

Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Андзолетто подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок.

«Как видно, у меня будет на что сшить себе подвенечное платье», — подумала Консуэло,

оставшись одна.

Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выбежав на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особую учтивость, остался с Андзолетто ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзустиньяни может оказаться так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная, шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь помощи своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.

Глава XV

Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, попытался возбудить ее тщеславие, предложив ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит лишь гордость простолюдинки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули нажиться на этом и не поскупились на материю. Через два дня она превратилась в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она восхитила своим пением его и его друзей. Консуэло все-таки была красива, хотя этот наряд не шел к характеру ее красоты, а

нужен был лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако она их не привлекла. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее — девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия — не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин, жаждущих одного — блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарялось веселой, детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы и тайные чувства, она мгновенно преображалась — огонь гениальности и любви загорался в ней, и она приводила в восторг, увлекала, покоряла, совершенно не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.

Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло. У этого светского человека была артистическая душа, и Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь

этот вельможа не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить.

Он вооружился терпением и решил попытаться пробудить в ней чувство соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы разбудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, уставшая от грома рукоплесканий, но совсем не захваченная ими. У Кориллы она не нашла подлинного таланта, благородной страсти, величия. Она считала себя достаточно сведущей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии — восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не таланту, то успеху Кориллы.

— Успех этот ничто в сравнении с тем, какой предстоит вам, — сказал он ей. — Он дает лишь

слабое представление о победах, которые ожидают вас, если вы покажете себя публике такою, какой показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?

— Нисколько, синьор граф, — улыбаясь, ответила Консуэло. — Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с этой ролью. Корилла исполняет ее блестяще, но, мне кажется, в ней есть и другие, не использованные ею эффекты.

— Как? Вы не думаете о публике?

— Нет, я думаю о партитуре, о замысле композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти самое себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая для этого силы в местах менее трудных. Как видите, господин граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо публики, которая ничего в этом не понимает и ничему не может меня научить.

Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили Дзустиньяни, что он не решился рас-

спрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, подчинить себе этот необычный ум.

К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных шарлатанских объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которые мы в наше время сумели довести до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к бахвальству выдуманных биографий и к той всесильной машине, что зовется клакой. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги, но они происходили в узком кругу, а все решала сама публика, наивно увлекаясь одними артистами, столь же искренно не любя других. И не всегда при этом главную роль играло искусство. Тогда — как и теперь — в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки, но прежде не умели скрывать так искусно причины разногласий и

относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном итоге скрывались все те же мелкие человеческие чувства — только цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой.

В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее, как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого — он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать светскую болтовню. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, — здание славы Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде, и ему приписывалось полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать. Бедная Консуэло еще и не подозревала о чувствах графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовнице.

Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка — какая-то уличная певичка, которая ничего не умеет и обладает лишь красивым голосом да сносной наружностью».

Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных; были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в числе интригующих были обманутые и отвергнутые любовники Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них.

Истинные dilettantiti musica[17] также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением

---

[17] Примечания: 17
Любители музыки (*итал.*).

на сцене превосходной певицы туда вернутся и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, чьи более легковесные произведения всегда предпочитала Корилла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется серьезно взяться за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры — все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно заступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани.

Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорчали и промедление и все эти тревоги, связанные с ее начинающейся карьерой. Она готова была дебютировать без всяких приготовлений, сразу, как только разучит новую оперу. Совершенно не разбираясь в этой массе интриг, она считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без

них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала не насмешки, а зависть, делал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам, но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу.

Андзолетто отнюдь не разделял отвращения своей подруги к разным побочным средствам. Его собственный успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к нему не с таким интересом; к тому же тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассным певцом, и заставить забыть его не так-то легко. Правда, Андзолетто тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивительно искусно умела выдвигать его на первый план в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходящим его собственный, Андзолетто часто пел очень хорошо. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг в начале его

пения, потом проигрывал в сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но он и сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэло никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на Корте-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Андзолетто был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы.

Среди всех этих треволнений Андзолетто пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Корилла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и к его мести, что она получила блестящее предложение от Итальянской оперы в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над несбыточными мечтаниями графа и его приближенных. Андзолетто решил обезоружить этого страшного врага, действуя

лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отдыхают и посещения весьма редки.

Глава XVI

Он застал Кориллу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в изящнейшем неглиже, как говорили в то время. Однако при дневном свете Андзолетто не мог не заметить, как изменилось ее лицо: не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее верные поклонники. Тем не менее она встретила его очень весело.

— А, это ты, плутишка? — воскликнула она, шутливо похлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. — Опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли ты разубедить меня в том, что ты самый коварный из всех поклонников и самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из мужчин, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение после столь нежных признаний хоть каплю огорчило меня. И величайший глупец, что заставили себя ждать: через сутки я и думать о вас забыла.

— Сутки? Да это страшно много! — ответил Андзолетто, целуя выше локтя сильную, полную

руку Кориллы. — Ах, если б я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю: будь я настолько легковерен, чтобы принять за чистую монету то, что вы мне говорили…

— То, что я говорила, советую забыть. Если бы ты пришел ко мне тогда, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти сегодня?

— Разве это дурно — не хотеть пресмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда они…

— Доканчивай! Когда они в опале? Это очень великодушно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный друг! — И Корилла, откинувшись на черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом.

Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная примадонна казалась несколько поблекшей, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее красивом, цветущем лице, все же Андзолетто, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в том уголке его души, куда Консуэло не пожелала снизойти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчины, развратившиеся слишком рано, могут еще

испытывать чувство дружбы к честной, безыскусственной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. На издевательства Кориллы Андзолетто отвечал признаниями в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю «любовь» за неимением более подходящего термина, хотя употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которое внушают такие холодные, возбуждающие низменные инстинкты женщины, как Корилла, значит осквернять его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более дружелюбно.

— Признаюсь, ты нравился мне целый вечер, — сказала она, — но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславен, а значит, фальшив и способен на любое предательство. На тебя нельзя положиться. Тогда, ночью, в моей гондоле ты разыграл деспота и ревнивца. После пресных ухаживаний наших знатных молодых людей я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка: ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и женишься… На ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице

Дзустиньяни. Позор нам обоим, всем троим, нет — всем четверым! — невольно разгорячившись, крикнула она, отнимая у Андзолетто руку.

— Жестокая! — вскричал он, силясь снова поймать эту пухлую ручку. — Вам бы следовало понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что меня интересовало до этой решительной минуты… О том же, что произошло после, вы можете догадаться сами. Да и стоит ли нам думать об этом теперь, когда…

— Я не намерена довольствоваться намеками и недомолвками. Скажи прямо: ты все еще любишь цыганку? Ты женишься на ней?

— Если я ее люблю, то почему же не женился на ней до сих пор?

— Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он сам этого хочет. Говорят даже, что у него есть основание желать, чтобы это произошло поскорее, а у девочки и подавно…

Андзолетто покраснел, услыхав, как оскорбляют ту, которую в глубине души он почитал больше всех на свете.

— Ага! Мои предположения тебя оскорбили! — воскликнула Корилла. — Прекрасно! Это все, что я хотела знать. Ты любишь ее. Когда же свадьба?

— Никакой свадьбы не будет.

— Значит, вы делитесь с графом? Недаром ты в такой милости у него.

— Ради Бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о ком бы то ни было, кроме нас с вами.

— Согласна! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга…

Андзолетто был возмущен. Он встал с намерением уйти. Но уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины, которую хотел умиротворить. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный, стыдясь своей жалкой роли.

Корилла горела желанием толкнуть его на измену — не потому, что любила, а потому, что видела в этом способ отомстить Консуэло, хотя была не так уж уверена в том, что соперница заслужила все эти оскорбления.

— Вот видишь, — сказала она, пронизывая Андзолетто взглядом, который словно пригвоздил его к порогу будуара, — я имела основание не верить тебе: сейчас ты обманываешь одну из нас. Кого же — ее или меня?

— Ни ту, ни другую! — крикнул он, стремясь оправдаться в собственных глазах. — Я не любовник ее и никогда им не был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.

— Не лги! Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или забыться. Благодарю покорно!

— Повторяю, я вовсе не ревную, и, чтобы доказать, что во мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же как и я, вовсе не ее любовник, — она чиста, как ребенок; и единственный, кто виноват перед вами, — это граф Дзустиньяни.

— Значит, я могу сделать так, чтобы цыганку освистали, и это нисколько не огорчит тебя? Хорошо! Тебе предстоит сидеть в моей ложе и освистать ее, а потом, после спектакля ты станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся скорее, а то я передумаю.

— Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы ведь знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я тоже должен буду стать жертвой вашего гнева. Что же сделал я, несчастный, чем заслужил вашу немилость? У меня была мечта — прекрасная, пагубная: целый вечер я воображал, что вы хоть немного сочувствуете мне, что ваше покровительство поможет мне выдвинуться. Но, оказывается, вы презираете, ненавидите меня. А я-то любил вас, боготворил вас так, что вынужден был бежать… Что ж, если я внушаю вам такое

отвращение, губите меня, ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, с глазу на глаз, вы скажете, что я не противен вам, я готов претерпеть при публике ваш гнев.

— Ах ты змея! — воскликнула Корилла. — Где, скажи, всосал ты этот яд лести, которым полны и речи твои и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удерживает страх: кто ты — очаровательнейший любовник или опаснейший враг?

— Я — ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже не будь я пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас знает каждый, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с вами огорчила и раздосадовала графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей, она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки? Ведь она трепещет при одном звуке вашего громкого имени и произносит его не иначе как с почтением. Вы приписываете ей наглые притязания, а она на них совсем не способна. Причины вашего предубеждения мне ясны — с одной стороны, стремление графа показать ее своим друзьям и

старания этих услужливых друзей преувеличить ее достоинства, с другой — ваши поклонники. Вместо того чтобы внести в вашу душу покой, убедить, что ваша слава непоколебима, а соперница трепещет, они, напротив, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так удивляет, так поражает меня, что я просто не знаю, как рассеять ваши сомнения.

— Прекрасно знаешь, болтун проклятый! — сказала Корилла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недоверия. — Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются убедить в обратном, и что способности — правда, совсем иного склада, чем у меня, — у нее, безусловно, есть, раз сам строгий Порпора во всеуслышание говорит об этом.

— Вы ведь знаете Порпору. И, стало быть, знаете его странности, скажу больше — его мании. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить ее выше всех звезд, обожаемых публикой; для этого надо только, чтобы ученица внимательно слушала его изречения и педантично выполняла

его уроки. С каких пор придаете вы значение причудам этого сумасшедшего старика?

— Так у нее нет таланта?

— У нее красивый голос, и она неплохо поет в церкви, а о театре, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления; что до ее сценических способностей, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградило небо.

— Она растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела до наглости!

— Бедная девочка! Видно, у нее много врагов! Вы ее услышите, божественная Корилла, вы почувствуете к ней благородное сострадание и тогда, вместо того чтобы устроить ей провал, как только что шутя грозили, сами поддержите ее.

— Или ты лжешь, или мне солгали мои друзья.

— Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появиться соперница. Испугаться за вас! И испугаться кого? Ребенка! Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ваших силах! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше оценил бы вас и не оскорбил бы страхом перед соперницей, даже если б то была сама Фаустина или сама Мольтени!

— Не подумай, что я испугалась ее. Я не завистлива и не зла, а так как чужие успехи никогда мне не вредили, они никогда и не огорчат меня. Но если хотят меня унизить, заставить страдать…

— Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? Посмей она только, она бы уже давно сама пришла к вам за советом и помощью. Но эта девочка так застенчива! К тому же и ей оклеветали вас: наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить.

— Ах, так ей сказали это? В таком случае мне понятно твое присутствие здесь.

— Нет, синьора, вы, очевидно, не понимаете настоящей его причины; я ни минуты не верил этой клевете на вас и никогда не поверю. Нет, синьора, нет, вы не понимаете меня!

Черные глаза Андзолетто засверкали, и он опустился на колени у ног Кориллы, изображая на своем лице самую нежную любовь.

Корилла была не лишена и проницательности и хитрости, но, как это случается *с* самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее и она нередко попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Андзолетто она не встречала мужчины. Она не смогла устоять перед его медоточивыми речами, а вкусив с

ним радость удовлетворенной мести, постепенно привязалась к нему, узнав также и радость обладания. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума и своими бурными вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать тайну их связи. Андзолетто, тоже по-своему влюбленный в нее (правда, сердце его все-таки не могло изменить Консуэло), был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влияние на Кориллу, пока это было ему необходимо, то есть помешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, обуздать. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные роли, кроме этой, надо сказать, не удавшейся ей и на сцене. Тем не

менее она покорилась, боясь утратить наслаждения, которыми еще не насытилась и на которые Андзолетто, чтобы сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше удалось убедить Кориллу, будто граф, несмотря на свою досаду, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что разлюбил ее, а сам втайне ревнует.

— Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой, — говорил он ей, — конец всему: и дебюту и, пожалуй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосторожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне охладел, и я думаю, что он будет вечно преследовать меня своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя.

При создавшихся обстоятельствах это было малоправдоподобно: граф был бы в восторге, если бы узнал, что Андзолетто изменяет своей невесте. Однако тщеславной Корилле хотелось верить обману, и она поверила. Поверила и тому, что ей нечего бояться любви Андзолетто к Консуэло. Когда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что был для бедной девушки только братом, его уверения звучали крайне убедительно, — тем более что по сути дела это было правдой — и ему удалось усыпить ревность

Кориллы. Великий день близился, а ее интриги против Консуэло прекратились; она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная дебютантка провалится и без ее стараний, а Андзолетто будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом не принимала участия. Помимо того, Андзолетто сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпроводила, притом довольно резко.

Разрушая таким образом втихомолку планы женщины, которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль перед графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими приемами, посещениями и дерзкой ложью сумел обезоружить грозного врага, способного помешать их успеху. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверения Андзолетто, будто Корилла опечалена разрывом с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождений, подбивал юношу на разные подлые проделки. Все это удивляло и

огорчало Консуэло.

— Было бы гораздо лучше, — говорила она своему жениху, — если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, и мне грустно видеть, что о ней ты нисколько не думаешь.

— Не беспокойся, дорогая Консуэло, — отвечал Андзолетто. — Ты заблуждаешься, считая, что публика может быть одновременно и беспристрастной и просвещенной. Люди понимающие очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало смыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.

Глава XVII

Ревность Андзолетто к графу несколько поутихла: его отвлекали и жажда успеха и пылкость Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала. Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как пока что это удавалось ему не более, чем в первый день, то он не решался слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзолетто раздражал его своим надзором, то, быть может, он с досады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолетто предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Итак, он изощрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, стараясь понравиться,

а Консуэло принимала это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царящей в аристократической среде, страстным тяготением своего покровителя к музыке и его природной добротой. Она чувствовала к нему истинную дружбу, глубокую благодарность; он же, испытывая от близости этой чистой, преданной души и счастье, и тревогу, уже побаивался того чувства, которое могло вызвать в ней его решительное признание.

В то время как он со страхом, но и не без удовольствия переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала насчет его победы вся Венеция), Корилла тоже ощущала в себе какой-то переворот. Она любила если не благородной, то пылкой любовью, — ее властная и раздражительная натура склонилась под игом юного Адониса, — подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца-охотника и впервые смирившейся и оробевшей перед избранным ею смертным. Она покорилась настолько, что пыталась даже казаться добродетельной, — качество, которым вовсе не обладала, — и ощущала при этом некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не секрет, что обожествление другого существа

возвышает и облагораживает души, наименее склонные к величию и самоотверженности.

Испытанное потрясение отразилось и на ее даровании: в театре заметили, что она играет патетические роли естественнее и с большим чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее натуры были, если можно так выразиться, надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение, потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, она в этой борьбе ослабела физически, и окружающие замечали с изумлением — одни со злорадством, другие с испугом, — что с каждым днем она теряет свои природные данные. Голос то и дело изменял ей. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на спектакле, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, зааплодировавшие было ей, принуждены были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг.

Наконец, великий день настал. Зала была так переполнена, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной ложе, выхо-

дившей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, блистая драгоценностями и цветами, заполняли сияющий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, занимали часть сцены. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе у авансцены. Оркестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась, меж тем как Андзолетто, облекшись в костюм античного воина, правда, с причудливым налетом современности, едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить себя за кулисами кипрским вином.

Опера, которую ставили, была написана не классиком, не новатором, не строгим композитором старого времени и не смелым современником. Это было неизвестное творение какого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, которые, несомненно, возникли бы среди композиторов-соперников, исполняй он свое собственное произведение или творение другого известного композитора, предложил, — думая

прежде всего об успехе своей ученицы, — а потом и разучил партитуру «Гипермнестры». Это было первое лирическое произведение некоего молодого немца, у которого не только в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни приверженцев и которого попросту звали господином Христофором Глюком.

Когда на сцене появился Андзолетто, восторженный шепот пронесся по зале. Тенор, которого он заменил, прекрасный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, когда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем, и прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, когда на сцене вместо угреватого толстяка появился двадцатичетырехлетний юноша, свежий, как роза, белокурый, как Феб, сложенный, как статуя Фидия, настоящий сын лагун: bianco, crespo e grassotto[18].

Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было его отличного голоса, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У де-

---

[18] Примечания: 18
Белокурый, курчавый и плотный (*итал.*).

бютанта были великолепные данные, перед ним открывалась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и особенно по венецианскому обычаю.

Успех вернул Андзолетто смелость, и когда он снова появился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: все видели и слышали только ее.

— Вот она!.. — раздавалось со всех сторон.

— Кто? Испанка?

— Да, дебютантка! Любовница Дзустиньяни.

Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишнего смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой величественной полнотой звука, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков.

— Ах коварный! Он насмеялся надо мной! — вскричала Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолетто, который, не удержавшись, взглянул на нее с плохо скрываемой усмешкой, и броси-

лась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.

Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту послышался надтреснутый голос старика Лотти:

— Amici miei, questo e un portento![19]

Когда она исполняла выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали бис, семь раз вызывали на сцену, в театре стоял восторженный гул. Словом, неистовство венецианских музыкантов-любителей проявилось со всем его пленительным и в то же время комическим жаром.

— Чего они так кричат? — спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. — Можно подумать, что они собираются побить меня камнями!

С этой минуты Андзолетто, безусловно, отошел на второй план. Его принимали хорошо, но только потому, что все были довольны. Снисходительная холодность к его промахам и не слишком восторженное отношение к удачам говорили о том, что если женщинам — этому экспансивному, шумному большинству — и нравилась его наружность, то мужчины были о нем невысокого мнения и все свое восхищение при-

---

[19] Примечания: 19
Друзья мои, это чудо (*итал.*).

берегали для примадонны. Ни один из тех, кто явился в театр с враждебными намерениями, не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и трех человек, которые устояли бы против стихийного увлечения и непреодолимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.

Опера имела большой успех, хотя, в сущности, самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как говорят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». В ней было мало мест, которые бы поражали слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и даже Клориндой. Клоринда, принятая благодаря протекции Консуэло, прогнусавила глухим голосом и с вульгарным акцентом свою второстепенную роль, обезоружив всех красотою плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа!

В последнем антракте Андзолетто, все время украдкой следивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выходит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав

юношу, Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный тенор укротил пыл любовницы, ударив ее кулаком в грудь с такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на руки своей сестры Розальбы.

— Подлец! Изменник! Разбойник! — задыхаясь, бормотала она. — И ты, и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!

— Несчастная, посмей только сделать сегодня хоть шаг, хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку — и я заколю тебя на глазах у всей Венеции! — прошипел сквозь стиснутые зубы бледный Андзолетто, вытащив нож, с которым он никогда не расставался и которым владел с искусством истинного сына лагун.

— Он сделает то, что говорит, — с ужасом прошептала Розальба. — Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть!

— Да, да, совершенно верно, и помните это, — ответил Андзолетто, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая ее на ключ.

Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански — таинственным шепотом и молниеносно, — все же, когда дебю-

тант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил среди хористов и статистов о том, что щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал поверенным в подобных закулисных происшествиях. История эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то образом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проникла в глубину партера. Связь Андзолетто с Кориллой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он увивался вокруг Клоринды, и вот разнесся слух, что последняя в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров.

Это повергло в отчаяние многих (главным образом представительниц прекрасного пола), но для большинства явилось просто очаровательным скандальчиком. Зрители спрашивали друг друга, не будет ли приостановлено представление и не

появится ли прежний тенор Отефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не была особенно трагической, Консуэло силой своей игры, выразительностью пения сделала ее такою. Она заставила проливать слезы, и когда появился тенор, его царапина вызвала только улыбки. Однако из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолетто был менее блестящ, чем мог бы быть, и все лавры в этот вечер достались Консуэло. В конце ее опять вызывали и проводили горячими аплодисментами.

После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолетто совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти оттуда. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после шумного спектакля, этого никто не заметил. Но на следующий день кто-то сопоставил сломанную дверь с полученной тенором царапиной, и это навело людей на мысль о любовной интриге, которую Андзолетто так тщательно скрывал до сих пор.

Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг которого граф, устроивший роскошный

банкет в честь Консуэло, усадил своих гостей, едва известные венецианские поэты начали приветствовать певицу мадригалами и сонетами, сочиненными в ее честь еще накануне, как лакей тихонько сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал украдкой:

«Если ты не придешь ко мне сию же минуту, я явлюсь за тобой сама и закачу тебе скандал, где бы ты ни был — хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!».

Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолетто вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусочек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в передней, он нацарапал карандашом:

«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».

Деспот знал, что для женщины, обладающей таким характером, страх был единственной уздой, угроза — единственным средством укротить ее. Однако он невольно помрачнел и за ужином был рассеян. А как только встали из-за стола, сбежал и помчался к Корилле.

Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном жалости. За истерикой последовали

потоки слез; она сидела у окна растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на груди, вздрагивавшей от рыданий. Она отослала сестру, служанку, и проблеск невольной радости озарил ее лицо, когда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но Андзолетто знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать. Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он решил держаться уже взятой на себя роли — быть неумолимым и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил, что пришел проститься навсегда. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем сломив и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Глядя на высокомерную красавицу, которая валялась в пыли у его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и каким-то смутным волнением, он уступил ее исступленной страсти, и она снова познала его ласки. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолетто ни на миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдер-

жал роль оскорбленного повелителя, который снизошел до прощения.

Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на пытки, причиняемые ей любовью.

— Ну да, я ревнива, — говорила она, — и, если хочешь, хуже того — завистлива. Не могу видеть, как моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой, как жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без пощады и без сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха и горечь падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что я еще полна сил, что успех, богатство, заманчивые надежды — все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неужели, по-твоему, найдется на свете хоть что-нибудь, что могло бы утешить меня в том, что я покинута всеми друзьями, сброшена с трона, куда еще при мне возведен другой кумир? И этот позор — первый в жизни, единственный за всю мою карьеру — обрушился на меня в твоем

присутствии! Скажу более: этот позор — дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила, потеряв власть над собой, потеряв волю. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла, что я разыграла перед тобой лицемерное благородство и лживое великодушие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолетто. Я была оскорблена — ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я притворялась спокойной. Я была недоверчива — ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние — ты мне говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена — ты мне велел молчать, и я молчала. Что же я могла сделать еще? Ведь я играла роль, мне несвойственную, и приписывала себе мужество, которого во мне нет. А теперь, когда это напускное мужество покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который должен был бы пожалеть меня, ты топчешь меня ногами и собираешься оставить умирать в том болоте, куда сам же меня завел. Ах, Андзолетто! У тебя каменное сердце, и для тебя я стою не больше, чем морской песок, который приносит и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова потребность твоей сильной натуры, но

все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки, а готова страдать еще и еще…

— Но послушай, друг мой, — продолжала она, обнимая его еще нежнее, — все, что ты заставил меня выстрадать, ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда думаю о твоей будущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолетто, дорогой мой Андзолетто! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я — я это вижу и говорю тебе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет — все это только на его погибель, и я — орудие соперницы, наступившей ногой на головы нам обоим».

— Что хочешь ты этим сказать, безумная? — вскричал Андзолетто. — Я не понимаю тебя.

— А между тем ты бы должен был понять меня, понять хотя бы то, что произошло сегодня. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И — увы! — она всегда будет петь так: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, лучше тебя, мой дорогой Андзо-

летто… Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее некрасивость затмила твою красоту? Да, она некрасива, я признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны вызвать более сильные ощущения, чем совершеннейшие красавицы мира… Разве ты не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный младенец нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с ним — это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты должен видеть все это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц чувствовала себя парализованной. И чем ближе был день ее торжества, тем слабее делался мой голос, тем заметнее убывали мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда

я собственными глазами видела это торжество — несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что буду дрожать, что мне не удастся издать ни одного звука… И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолетто! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к гибели и была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься с нею, для тебя в Венеции нет будущности! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, тебе придется влачить самое жалкое, самое тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть рядом с ней?». И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, — это или муж, или любовник божественной певицы».

Андзолетто стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке.

— Ты сошла с ума, милая Корилла! — ответил он. — Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас больное воображение. Что до меня, то, повторяю, я не любовник ее и, безусловно, никогда не буду ее мужем. Так же, как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на этого воробья — не так ли он привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Все-таки Андзолетто вернулся к себе в мрачном расположении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.

— В конце концов, — сказал он себе, кулаком взбивая подушку, чтобы устроиться поудобнее, — если графу суждено добиться своего, так, пожалуй, для меня же лучше, чтобы это случилось поскорее.

Глава XVIII

Когда Андзолетто проснулся, он почувствовал, что проснулась также и его ревность к графу Дзустиньяни. Тысячи противоречивых чувств бушевали в его душе, и прежде всего новое чувство — зависть к таланту и успеху Консуэло, которую накануне пробудила в нем Корилла. Зависть эта возрастала в нем по мере того, как он снова и снова сравнивал торжество своей невесты с собственным, как казалось его оскорбленному самолюбию, провалом. Затем его стала мучить мысль, что, быть может, не только в глазах общества, но и на самом деле он уже оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и знаменитой и всемогущей, женщины, чьей единственной великой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы заглушить другое. Ему представлялись два исхода: либо увезти Консуэло из Венеции, тем самым разлучив ее с графом, и отправиться вместе с ней искать счастья в другом месте, либо, уступив ее сопернику, самому бежать как можно дальше и добиваться одному

успеха, который она уже не сможет затмить. Все более и более мучаясь этой нерешительностью, Андзолетто, вместо того чтобы найти успокоение у своей истинной подруги, ринулся опять в омут, отправившись к Корилле. Та подлила масла в огонь, доказывая даже энергичнее, чем накануне, всю невыгодность его положения.

— Нет пророка в своем отечестве, — говорила она, — и тебе не следует жить в городе, где ты родился, где тебя видели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий может сказать (ведь знатные люди страх как любят хвастаться благодеяниями, подчас даже воображаемыми, которые они оказывают артистам): «Я ему покровительствовал; я первый заметил в нем талант; это я порекомендовал его такому-то; это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил ты здесь на улице, мой бедный Андзолетто, и потому, раньше чем узнать о твоем таланте, все уже заметили твое красивое лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо, или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин. Консуэло невзрачна, она домоседка и представляется здесь чужеземной диковинкой. К тому же она испанка, и у нее не венецианский выговор.

Ее красивое, хотя несколько странное произношение понравилось бы всем, даже будь оно отвратительно, потому что оно ново для слуха. Три четверти небольшого успеха в первом акте тебе дала твоя красота, а в последнем акте к ней уже пригляделись.

— Прибавь к этому, что та ссадина под глазом, которой ты меня наградил, — зачем только я простил тебе ее? — немало уменьшила и это последнее, ничтожное преимущество.

— Быть может, оно и ничтожно в глазах мужчин, но очень велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь царить в салонах; без помощи мужчин ты провалишься на сцене. Но как же можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда твоим соперником является женщина — женщина, которая не только покоряет серьезных любителей пения, но опьяняет своей грацией, своей женственностью даже тех, кто ничего не понимает в музыке! О, сколько таланта и умения нужно было Стефанини, Саверио и всем мужчинам, которые появлялись со мною на сцене и хотели со мной бороться!

— В таком случае, дорогая Корилла, мне столь же рискованно появляться на сцене вместе с тобой, как и с Консуэло. И если бы я надумал от-

правиться вслед за тобой во Францию, твои слова послужили бы мне хорошим предостережением.

Эта фраза, вырвавшаяся у Андзолетто, была для Кориллы лучом света. Она поняла, что добилась большего, чем ожидала, так как мысль покинуть Венецию уже, очевидно, созревала в уме ее возлюбленного. Как только у нее блеснула надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблазнить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои достоинства, с безграничной скромностью уверяя, что она гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настолько большая артистка, не настолько красивая женщина, чтобы воспламенять публику. А так как это было, в сущности, более верно, чем она думала, то ей и нетрудно было убедить в этом Андзолетто: он ведь никогда не заблуждался на ее счет и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. Итак, в это свидание их совместная работа и побег были почти решены, и Андзолетто стал серьезно думать об этом, хотя на всякий случай и оставлял себе лазейку для отступления.

Видя, что у Андзолетто еще остаются какие-то сомнения, Корилла начала убеждать его продолжать дебюты, предсказывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего успеха. В

душе она была убеждена в обратном и рассчитывала, что неудачи окончательно отвратят его и от Венеции и от Консуэло…

Выйдя от любовницы, Андзолетто направился к своей подруге; он не мог противостоять желанию ее увидеть. Впервые он начал и закончил день без ее чистого поцелуя. Но после того, что произошло у него с Кориллой, ему было стыдно видеть свою невесту, и он старался себя уверить, будто идет к ней лишь затем, чтобы убедиться в ее измене, увериться, что она его разлюбила. «Вне всякого сомнения, — говорил он себе, — граф воспользовался удобным случаем, а тут еще досада самой Консуэло, вызванная моим исчезновением! Просто невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бедняжкой ночь наедине, не соблазнил ее». Однако при одной мысли об этом на лбу у него выступал холодный пот, сердце разрывалось, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что Консуэло, должно быть, в отчаянии, мучится угрызениями совести, рыдает… Но тут некий внутренний голос, заглушая все остальные, подсказывал ему, что такое чистое, благородное существо не может пасть столь внезапно, столь позорно, и, замедляя шаг, он думал о себе самом, о гнусности своего поведения, о своем эгоизме,

тщеславии, лживости, о всем дурном, чем полны были его жизнь и совесть.

Когда он пришел, Консуэло в своем черном платьице сидела за столом такая же, как всегда: в ее взгляде, во всем ее существе сияло спокойствие, целомудрие. С обычной радостью она кинулась ему навстречу и стала расспрашивать с тревогой, но без малейшего упрека или недоверия, как он провел время без нее.

— Мне нездоровилось, — ответил Андзолетто, подавленный сознанием своего глубокого падения. — Помнишь, я ударился головой о декорацию — я еще показывал тебе след? Тогда я сказал тебе, что это пустяки, но потом у меня так разболелась голова, мне пришлось уйти из дворца Дзустиньяни — я боялся упасть там в обморок — и все утро пролежать в постели.

— Ах Боже мой! — воскликнула Консуэло, целуя ссадину, оставленную ее соперницей. — Тебе было больно? Больно и теперь?

— Нет, сейчас мне гораздо лучше. Забудь об этом. Лучше скажи мне, как ты одна вернулась домой ночью?

— Одна? О нет, граф проводил меня до дому в своей гондоле.

— Так я и знал! — воскликнул Андзолетто

каким-то странным голосом. — И, конечно… оставшись с тобой наедине, чего только он не наговорил тебе… каких только любезностей не напел!

— А что бы он мог сказать мне такого, чего не говорил уже сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого порока… К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый учитель тоже захотел проводить меня. О, это чудесный друг!

— Какой учитель? Какой чудесный друг? — переспросил рассеянно Андзолетто, уже успокоившись и думая о другом.

— Как какой? Да Порпора, конечно! О чем это ты вдруг задумался?

— Я думаю о твоем вчерашнем триумфе. Конечно, и ты думаешь о нем?

— Клянусь тебе, меньше, чем о твоем!

— О моем! Не издевайся надо мной, милая Консуэло! Мой успех был так жалок, что больше походил на провал.

Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей удивительной выдержке она была недостаточно хладнокровна, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпавшими на ее

долю и на долю того, кого она любила. При подобного рода овациях самый опытный артист может впасть в заблуждение и принять поддержку со стороны клакеров за шумный успех. Консуэло, чуть ли не испугавшись этого страшного шума, не могла в нем разобраться и не заметила предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзолетто. В простоте душевной она пожурила его за чрезмерную требовательность к судьбе, но, видя, что ей не удается ни убедить его, ни разогнать его тоску, стала кротко упрекать его за то, что он слишком любит славу и слишком большое значение придает благосклонности толпы.

— Я всегда говорила, — сказала она, — что плоды искусства куда дороже тебе, чем само искусство. А вот мне кажется, раз сделал все, что мог, и сознаешь, что это сделано хорошо, то немножко больше, немножко меньше похвал ничего не прибавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь, что мне сказал Порпора, когда я в первый раз пела во дворце Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится».

— Ты и твой Порпора можете питаться этими прекрасными изречениями, — прервал ее Андзолетто с досадой. — Нет ничего легче, как философствовать по поводу горестей жизни, зная

только ее радости. Порпора, хотя беден и имеет врагов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седели под их сенью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что такое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на верхнюю ступеньку лестницы, ты упрекаешь человека, который не так крепко, как ты, стоит на ногах, в том, что у него кружится голова. Это не великодушно, Консуэло, и крайне несправедливо. А потом твой довод неприменим ко мне: ты говоришь, что надо презирать одобрение публики, если доволен сам. Ну, а если во мне нет внутреннего сознания, что я пел хорошо? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен собой? Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен? Разве ты не слыхала, как скверно я пел?

— Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже, чем всегда. Волнение почти не отразилось на твоем голосе; впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо знал, вышло у тебя хорошо.

— А то, чего я не знал? — спросил Андзолетто, устремив на нее свои большие черные глаза, под которыми от усталости и огорчения появились черные круги.

Консуэло вздохнула и, помолчав немного, проговорила, целуя его:

— А то, чего ты не знаешь, надо выучить. Если б только ты захотел серьезно позаниматься на репетициях… Ведь, помнишь, я тебе говорила… Но к чему упреки — надо поскорее исправить, что можно. Давай заниматься хоть по два часа в день, и ты увидишь, как быстро мы с тобой преодолеем все трудности.

— Разве этого можно достичь в один день?

— Конечно, нет, но не больше, чем в несколько месяцев.

— А ведь я пою завтра и снова выступаю перед публикой, которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по достоинствам.

— Но эта же публика заметит и твои успехи.

— Кто знает! А что, если она относится ко мне враждебно?

— Она уже доказала тебе обратное.

— Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходительна?

— Да, мой друг, нахожу: в тех местах, где ты был слаб, публика все-таки отнеслась к тебе доброжелательно, а когда ты оказывался на высоте — она воздавала тебе должное.

— Но в ожидании лучшего со мной заключат

самый жалкий ангажемент.

— Граф — воплощенная щедрость, он не скупится на деньги. К тому же он предлагает мне столько, что мы оба сможем жить более чем роскошно.

— Прекрасно! Значит, я, по-твоему, буду жить твоими триумфами?

— А разве я мало жила на твои средства?

— Тут дело даже не в деньгах. Пусть он платит немного — это мне безразлично, но вдруг он пригласит меня на вторые или на третьи роли?

— У него нет никого под рукой на первые; он давно уже рассчитывает на тебя и имеет в виду только тебя. К тому же он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против нашего брака? Наоборот, он, по-видимому, даже желает этого и часто меня спрашивает, когда, наконец, я приглашу его на свадьбу!

— Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам, любезный граф!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удержала меня от дебюта, пока мои недостатки, которые так хорошо тебе известны, не были исправлены с помощью серьезной работы. Ведь, повторяю, ты отлично знала об этих недо-

статках.

— А разве я не была откровенна? Сколько раз я предупреждала тебя! Но ты всегда повторял, что публика ровно ничего не смыслит. И, узнав о твоем блестящем успехе, после того как ты в первый раз пел в салоне графа, я подумала, что…

— Что светские люди понимают в этом не более простых смертных?

— Я подумала, что на твои достоинства обратят больше внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно и было и в том и в другом случае.

«В сущности, она права, — подумал Андзолетто. — И если бы только я мог отложить свои дебюты… Но я рискую быть замененным другим тенором, а тот, уж конечно, не уступит мне потом своего места».

— Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, — попросил он Консуэло, пройдясь несколько раз по комнате.

— Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много смелости и мало подготовки — подъем скорее лихорадочный, чем прочувствованный, в драматических местах больше надуманности, чем душевного трепета. Ты недостаточно ясно представил себе роль в целом. Разучив ее от-

рывками, ты увидел в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты не уловил ни постепенного ее развития, ни общего вывода. Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голосом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при первом же выходе. При малейшей возможности ты гнался за эффектами, и все твои эффекты были одинаковы. Уже в конце первого акта публика знала тебя наизусть, но, не подозревая, что это все, ждала от тебя в финале еще чего-то необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. Приподнятость исчезла, и голос ослабел. Ты почувствовал это сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот маневр публика поняла, и вот почему, к великому твоему удивлению, она оставалась холодна в тех местах, когда тебе казалось, что ты наиболее патетичен… В эту минуту она видела в тебе не артиста, увлеченного страстью, а только актера, жаждущего успеха.

— А как же, скажи, делают другие? — топнув ногой, воскликнул Андзолетто. — Разве я не слышал всех, кому последние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало публике неистово ему аплодировать.

— Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны публики было непонимание. Вероятно, она помнила старые его заслуги и не хотела дать ему почувствовать его закат.

— Ну, а Корилла, этот свергнутый тобою кумир, разве она не форсировала своего голоса, разве не делала усилий, которые так мучительно было наблюдать? Разве, когда ее превозносили до небес, она и в самом деле была захвачена страстью?

— Вот именно потому, что я находила все ее приемы фальшивыми, эффекты — отвратительными, а пение и игру — лишенными вкуса и благородства, я, как и ты, была убеждена в том, что публика понимает не слишком много, и вышла на сцену так спокойно.

— Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, — тяжко вздыхая, проговорил Андзолетто.

— Чем, мой любимый?

— И ты еще спрашиваешь! Мы ошибались с тобой, Консуэло. Публика все понимает. То, что заслоняет от нее невежество, ей подсказывает сердце. Публика — это большой ребенок, она хочет, чтобы ее развлекали и умиляли. Она довольствуется тем, что ей дают, но стоит показать ей лучшее, как она сейчас же начинает сравни-

вать и понимать. Корилла фальшивила, у нее не хватало дыхания, но еще неделю назад она могла пленять. Явилась ты, и Корилла погибла. Она уничтожена, погребена. Выступи она теперь — ее освищут. Если бы я выступил раньше вместе с ней, успех мой был бы так же головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел после нее у графа. Но рядом с тобой я померк. Так должно было быть, и так будет всегда. Публике нравилась мишура, она фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не понимает, как могла поддаваться столь грубому обману. Она больше не может терпеть фальшивые бриллианты и отбрасывает их. В этом-то, Консуэло, и состоит мое несчастье: я — венецианское стеклышко — выступил вместе с жемчужиной со дна морского…

Консуэло не поняла, сколько правды и горечи было в словах ее жениха. Она приписала их его любви, и на всю эту, как ей казалось, милую лесть ответила улыбками и поцелуями. Она уверила Андзолетто, что он перещеголяет ее, если только захочет постараться, и возродила в нем мужество, доказывая, что петь, как она, совсем легко. Она говорила это искренне, так как для нее не

существовало трудностей и она не подозревала, что работа для тех, кто ее не любит и у кого нет усидчивости, является главным и непреодолимым препятствием.

Глава XIX

Поощряемый чистосердечием Консуэло и коварными советами Кориллы, настаивавшей на его вторичном выступлении, Андзолетто с жаром принялся за работу и на втором представлении «Гипермнестры» спел первый акт гораздо лучше. Публика оценила это. Но так как пропорционально возрос и успех Консуэло, он, видя это подтверждение ее превосходства, остался недоволен собой и снова пал духом. С этой минуты все стало представляться ему в мрачном свете. Андзолетто казалось, что его совсем не слушают, что сидящие вблизи зрители шепотом судачат на его счет, что даже его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Корилла, к которой он в антракте зашел в ложу, чтобы узнать ее мнение, с притворным беспокойством спросила, не болен ли он.

— Откуда ты это взяла? — раздраженно спросил он.

— Потому что голос твой нынче звучит как-то

глухо и вид у тебя подавленный. Андзолетто, дорогой, приободрись, напряги свои силы — они парализованы страхом или унынием.

— Разве я плохо спел свою выходную арию?

— Гораздо хуже, чем на первом представлении! У меня так сжималось сердце, что я боялась упасть в обморок.

— Однако мне аплодировали!

— Увы!.. Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Продолжай, только старайся, чтобы голос звучал чище…

«Консуэло, — думал он, — конечно, хотела дать мне хороший совет. Сама она в своих поступках руководствуется инстинктом, и это ее вывозит. Но откуда у нее может быть опыт, как может она научить меня победить эту строптивую публику? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего таланта, а того, что я улучшил манеру пения, никто и не заметил. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не видел во время моего дебюта в доме графа, что могу покорить даже тех, кого не могу убедить? Ведь признал же во мне старик Порпора талант — правда, находя на нем пятна! Так пусть же публика преклонится пред моим талантом и терпит мои недостатки».

Во втором акте он лез из кожи вон, выкидывая

невероятные штуки, и его слушали с удивлением. Некоторые стали аплодировать, но их заставили умолкнуть. Большая часть публики недоумевала, спрашивая себя, был ли тенор божествен или отвратителен.

Еще немного дерзости — и, пожалуй, Андзолетто мог бы еще выйти победителем, но эта неудача так смутила его, что он совсем растерялся и позорно провалил конец партии.

На третьем спектакле он приободрился и решил действовать по-своему, не следуя советам Консуэло: он пустил в ход самые своеобразные приемы, самые смелые музыкальные фокусы. И вдруг — о, позор! — среди гробового молчания, которым были встречены эти отчаянные попытки, послышались свистки. Добрая, великодушная публика своими аплодисментами заставила свистки умолкнуть, но трудно было не понять, что означала эта благосклонность к человеку и это порицание артисту. Вернувшись в уборную, Андзолетто в бешенстве сорвал с себя костюм и разодрал его в клочья. Как только кончился спектакль, он убежал к Корилле и заперся с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать со своей любовницей хоть на край света.

Три дня он не виделся с Консуэло. Не то чтобы

он возненавидел ее или охладел к ней: в глубине своей истерзанной души он так же нежно ее любил и смертельно страдал, не видя ее, но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал над собой власть этого существа, которое своей гениальностью уничтожало его перед публикой, но вместе с тем внушало ему безграничное доверие и могло делать с ним все что угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от Кориллы, насколько он привязан к своей благородной невесте и как велико ее влияние на него до сих пор. Кориллу это глубоко огорчило, но она нашла в себе силы не выдать себя. Разыграв сочувствие, она вызвала Андзолетто на откровенность и, узнав о его ревности к графу, решилась на отчаянный шаг — тихонько довела до сведения Дзустиньяни о своей связи с Андзолетто. Она рассчитывала, что граф не упустит случая сообщить об этом предмету своей страсти и, таким образом, для Андзолетто будет отрезана всякая возможность возвращения к невесте.

Просидев целый день одна в своей мансарде, Консуэло сначала удивилась, а потом начала беспокоиться. Когда же и весь следующий день прошел в тщетном ожидании и смертельной тревоге, она, лишь только стало темнеть, накинула

на голову плотную шаль (знаменитая певица не была гарантирована от сплетен) и побежала в дом, где жил Андзолетто. Уже несколько недель, как граф предоставил ему в одном из своих многочисленных домов более приличное помещение. Она его не застала и узнала, что он редко ночует дома.

Однако это не навело Консуэло на мысль об измене. Хорошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжничеству, она решила, что он, не сумев привыкнуть к новому роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из своих прежних пристанищ. Она уже решилась было отправиться на дальнейшие поиски, как у двери на улицу столкнулась лицом к лицу с Порпорой.

— Консуэло, — тихо проговорил старик, — напрасно ты закрываешь от меня лицо: я слышал твой голос и, конечно, не мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?

— Я ищу своего жениха, — ответила Консуэло, беря под руку старого учителя, — и мне нечего краснеть, признаваясь в этом моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я беспокоюсь: я не видела Андзолетто после спектакля уже целых

два дня. Боюсь, не заболел ли он.

— Заболел? Он? — переспросил профессор, пожимая плечами. — Пойдем со мною, бедное дитя, нам надо поговорить. Раз ты наконец решила быть со мной откровенной, я также буду откровенен с тобой. Обопрись на мою руку и поговорим дорогой. Выслушай меня, Консуэло, и хорошенько вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем всемогущего Бога, который вложил в мое сердце отеческое чувство к тебе.

— О мой учитель, лучше попросите, чтобы я пожертвовала жизнью, чем этой любовью! — печально ответила она.

— Я не прошу, а требую! — решительно сказал Порпора. — Твой возлюбленный проклят. Если ты сейчас же не откажешься от него, он будет для тебя источником мук и позора.

— Дорогой учитель, — проговорила она с грустной, кроткой улыбкой, — вы ведь не раз уже говорили мне это, и я тщетно пыталась последовать вашему совету. Вы ненавидите бедного мальчика. Но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-нибудь вы откажетесь от своего предубеждения против него.

— Консуэло, — начал профессор еще более ре-

шительным тоном, — я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с тобой как артист с артисткой и в женихе твоем видел тоже только артиста. Сейчас же я говорю с тобой как мужчина с женщиной и говорю о мужчине. Ты, женщина, любишь недостойного мужчину, и я убежден в том, что говорю.

— Боже мой! Андзолетто недостоин моей любви! Он! Мой единственный друг, мой покровитель, мой брат! Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, как бережно относился ко мне с самого детства! Позвольте вам все, все рассказать. — И она поведала ему историю своей жизни и своей любви, что, в сущности, было одно и то же.

Порпора был тронут, но оставался непоколебим.

— Во всем этом, — проговорил он, — я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель. Что же касается Андзолетто, то я понимаю, что ему необходимо было твое общество, твои уроки; ведь, что ты там ни говори, а тем немногим, что он знает и чего стоит, он обязан именно тебе. Это так же верно, как и то, что твой целомудренный, непорочный возлюбленный близок со всеми падшими женщинами Венеции,

что он утоляет зажигаемую тобой страсть в вертепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь для того, чтобы извлечь пользу из твоих знаний.

— Будьте осторожны в своих словах, — задыхаясь, проговорила Консуэло. — Я привыкла вам верить, как Богу, дорогой учитель, но я не хочу вас слушать, не хочу верить тому, что вы говорите о моем Андзолетто... Пустите! — прибавила она, пытаясь высвободить свою руку из-под руки профессора. — Вы просто убиваете меня!

— Нет! Я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вернуть к жизни, открыв тебе правду! — ответил старик, прижимая руку девушки к своему возмущенному великодушному сердцу. — Я знаю, что я жесток, Консуэло, но я не умею быть иным. Я колебался, я медлил с этим ударом, пока было возможно. Я все надеялся, что глаза твои откроются и ты сама увидишь, что делается вокруг тебя. Но жизнь не научила тебя ничему, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть. Я не допущу этого — я удержу тебя на краю пропасти. В последние десять лет ты была единственным существом, которое я любил и ценил. Ты не должна погибнуть! Нет, нет, не должна!

— Но, друг мой, мне не грозит никакая опас-

ность! Неужели вы не верите мне, когда я клянусь вам всем святым, что не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смертью? Андзолетто тоже сдержал эту клятву. И если я еще не жена его, то, значит, и не любовница.

— Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем и другим!

— Да ведь моя мать сама взяла с нас такое обещание!

— А между тем сейчас, ночью, ты шла к человеку, который не хочет и не может быть твоим мужем…

— Кто вам это сказал?

— Да разве Корилла ему позволит?..

— Корилла? Но что общего между ним и Кориллой?

— Мы в двух шагах от дома этой девки… Ты ищешь своего жениха… Так пойдем за ним туда. Что? Хватит ли у тебя мужества на это?

— Нет, нет! Тысячу раз нет! — воскликнула Консуэло, еле держась на ногах и прислоняясь к стене. — Не отнимайте у меня жизни, дорогой учитель, ведь я еще совсем не жила! Поймите, ведь вы убиваете меня!

— Ты должна испить эту чашу, — продолжал неумолимый старик. — Мне здесь принадлежит

роль судьи. Своей кротостью и снисходительностью я порождал только неблагодарных, а следовательно, и жалких людей. Теперь я вижу: тем, кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это единственная польза, которую может еще принести мое сердце, иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне, мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет подле тебя более мягкого, более нежного друга. Но я таков, каким меня сделала жизнь, я должен влиять на других, и, если я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен показывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэло, между нами нет места слабости! Идем в этот дворец! Я хочу, чтобы ты застала Андзолетто в объятиях развратной Кориллы. Если ты не в состоянии идти — я потащу тебя, если упадешь — понесу на руках. Когда в сердце старого Порпоры пылает огонь божественного гнева, силы у него найдутся!

— Пощадите, пощадите! — вскричала бледная как полотно Консуэло. — Оставьте мне хоть сомнение… Позвольте еще день… один только день… верить в него. Я не готова к этой пытке…

— Нет! Ни одного дня, ни одного часа! — отрезал старик непреклонным тоном. — Упустив этот

час, я, быть может, уже не смогу воочию показать тебе истину, а тем днем, который ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной! Я хочу этого, я приказываю!

— Хорошо! Я пойду! — проговорила Консуэло, которой любовь вдруг придала силы. — Но пойду только для того, чтобы доказать вашу несправедливость и верность моего жениха. Вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтоб и я заблуждалась вместе с вами! Идемте же, палач, идемте, я не боюсь вас!

Боясь, как бы девушка не раздумала, Порпора схватил ее за руку своей жилистой, крепкой, как железные клещи, рукой и потащил в дом, где жил сам. Здесь, проведя ее по бесконечным коридорам и заставив подняться по бесконечным лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, поверх крыши более низкого и совершенно необитаемого дома, был виден дворец Кориллы. Он был темен сверху донизу, светилось лишь одно окно, выходившее на мрачный, безмолвный фасад необитаемого дома. Казалось, что это окно недосягаемо для чьих бы то ни было взоров, ибо выступ балкона мешал видеть снизу. На одном с ним уровне не было ничего, выше же

— лишь крыша дома, где жил Порпора, но и с нее невозможно было заглянуть во дворец певицы. Однако Корилла не знала, что на углу этой крыши имелся бортик, образовывавший род ниши под открытым небом. И сюда профессор по какому-то свойственному артистам капризу убегал каждый вечер от себе подобных, чтобы, спрятавшись за широкой печной трубой, любоваться звездами и обдумывать свои музыкальные творения на духовные или же предназначенные для сцены сюжеты. Таким образом, случай открыл профессору тайну связи Андзолетто и Кориллы, а Консуэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному Порпорой, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы. Она тотчас отвернулась. Порпора, боясь, как бы этот удар не заставил ее потерять сознание, подхватил ее и — откуда только взялись силы! — почти снес в нижний этаж, к себе в кабинет, где поспешил закрыть дверь и окно, чтобы сохранить в тайне взрыв отчаяния, которого он ожидал.

Глава XX

Но никакого взрыва не произошло. Консуэло сидела безмолвная и убитая. Порпора заговорил было с ней, но она сделала знак, чтобы он ни о чем ее не спрашивал. Вдруг она поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с холодной водой, и залпом, стакан за стаканом, опорожнила его. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив ни слова, снова села напротив учителя.

Суровый старик не понял всей глубины ее страдания.

— Ну что? — сказал он. — Обманул я тебя? Что ты думаешь делать теперь?

Мучительная дрожь пробежала по ее словно окаменевшему телу, и, проведя рукой по лбу, она проговорила:

— Думаю ничего не делать, пока не пойму того, что случилось.

— А что тебе надо еще понять?

— Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я силюсь найти причину своего несчастья — и не нахожу. Что дурного сделала я Андзолетто,

чтобы он мог разлюбить меня? Какой совершила проступок, чтобы он мог меня презирать? Вы-то, конечно, не можете ответить мне, раз я сама, роясь в глубине своей совести, не в состоянии отыскать ключ к этой тайне. О, тут есть какая-то непостижимая тайна! Мать моя верила в силу любовных зелий… Уж не чародейка ли эта Корилла?

— Бедная девочка! — сказал профессор. — Правда, здесь дело не обошлось без чар, но имя им — Тщеславие. Действует тут и яд, и зовется он Завистью. Корилла могла влить в него этот яд, но не она создала его душу, способную впитывать его. Яд уже был в порочной крови Андзолетто. Лишняя капля его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он всегда был, — в клятвопреступника.

— Какое же тщеславие? Какая зависть?

— Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, превзойти и тебя, а бешеная зависть — к тебе, затмившей его.

— Да может ли это быть? Неужели может мужчина завидовать преимуществам женщины? Неужели может возлюбленный относиться со злобой к успеху любимой? Значит, есть много такого, чего я не знаю и что не в состоянии понять.

— Ты никогда этого не поймешь, но на каждом шагу будешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если он тщеславный артист, узнаешь, что возлюбленный может со злобой относиться к успехам любимой женщины, если сфера их деятельности — театр. Ведь актер, Консуэло, не мужчина, он женщина. Он живет своим болезненным тщеславием, думает лишь об удовлетворении этого тщеславия, выступает, чтобы опьяниться тщеславием… Красота женщины вредит ему, ее талант затмевает, умаляет его собственный. Женщина — его соперник, или, вернее, он — соперник женщины; в нем вся мелочность, все капризы, вся требовательность, все смешные стороны кокетки. Таков характер большинства мужчин, подвизающихся на сцене. Бывают, конечно, великие исключения, но они так редки, так ценны, что пред ними надо преклоняться, им следует оказывать больше уважения, чем самым известным ученым. Но Андзолетто не исключение. Из всех тщеславных он наитщеславнейший: вот в чем секрет его поступков.

— Но какая непонятная месть! Какой жалкий, бессмысленный способ отмщения! — проговорила Консуэло. — Как может Корилла утешить его

в том, что публика в нем разочаровалась? Если б только он откровенно признался мне в своих мучениях… Ведь стоило ему сказать одно слово, и я, быть может, поняла бы его, во всяком случае — отнеслась бы к нему с сочувствием: стушевалась бы, лишь бы уступить ему место.

— Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них счастье. А в любви не то же ли самое? Разве наслаждения, доставляемые любимому существу другими, не кажутся отвратительными? Твоему возлюбленному внушает омерзение публика, венчающая тебя лаврами, тогда как тебе внушает ненависть соперница, опьяняющая его наслаждением. Разве не так?

— Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, и я должна в нее вникнуть.

— Это истина! Андзолетто ненавидит тебя за твой успех на сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему дарит в своем будуаре Корилла.

— Нет, я не в состоянии ненавидеть его, и вы помогли мне понять, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым она его опьяняет и о котором я не могу думать без ужаса. Но

почему же? Не знаю. Ведь если это преступление безотчетно, Андзолетто тоже не так уж виновен, относясь с ненавистью к моему успеху.

— Ты готова все истолковать так, чтобы найти оправдание его поведению и чувствам… Нет, Андзолетто не так невинен и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он обманывает, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправдать. Впрочем, я вовсе не хотел пробуждать в тебе ненависть, а только спокойствие и безразличие. Поступки этого человека проистекают из его характера. Ты его никогда не переделаешь. Примирись с этим и думай о себе.

— О себе? То есть о себе одной? О себе, без надежды, без любви?

— Думай о музыке, о божественном искусстве! Неужели, Консуэло, ты посмеешь сказать, что любишь искусство только ради Андзолетто?

— Я любила искусство и ради самого искусства. Но я никогда не разделяла в мыслях эти две неразделимые вещи: свою жизнь и жизнь Андзолетто. И когда эта неотъемлемая половина моей жизни будет от меня отнята, я не представляю себе, как я смогу любить еще что-либо.

— Андзолетто был для тебя только идеей, которой ты жила; ты заменишь ее другой — более

возвышенной, более чистой, более живительной. Твоя душа, твой талант, все твое существо не будет более во власти непрочного, обманчивого образа, ты постигнешь высокий идеал, свободный от земной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишься священными брачными узами с самим Богом!

— Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы мне когда-то советовали?

— Нет, это значило бы ограничить твое артистическое дарование одним жанром музыки, а ты должна охватить все. Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной девой, невестой священного идеала!

— То, что вы говорите, так возвышенно, так полно таинственных образов. Позвольте мне уйти, дорогой учитель. Я должна сосредоточиться и понять себя.

— Совершенно верно, Консуэло, ты должна понять себя. До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю свою будущность существу, которое стоит ниже тебя во всех отношениях. Ты не понимала своего назначения, не видела, что тебе нет равных и что, следовательно, у тебя не может быть спутника в этом мире. Тебе

нужно одиночество, нужна полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страсти, ни каких бы то ни было уз. Вот как я всегда представлял себе твое будущее, вот как я понимал твой жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному, ты утратишь свою божественность. Ах, если бы Минготти и Мольтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания, послушались меня, они не имели бы соперниц на земле! Но женщина слаба и любопытна: тщеславие ослепляет ее, суетные желания волнуют, причуды увлекают... Спрашивается, что дало им удовлетворение этих порывов? Душевные бури, усталость, потерю или ослабление их таланта! Разве ты не захочешь превзойти их, Консуэло? Разве у тебя нет стремления, парящего выше суетных благ земных? Разве ты не согласишься заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать прекраснейший венец, каким когда-либо был увенчан гений?

Долго еще говорил Порпора с выразительностью и красноречием, которых мне не передать. Консуэло слушала его, опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав все, он умолк, она проговорила:

— Учитель, вы великий человек, но я слишком

ничтожна, чтобы понять вас. Мне кажется, что вы оскорбляете человеческую природу, осуждая самые благородные ее страсти. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вложенные в нас самим Богом, и как бы обожествляете чудовищный, противоестественный эгоизм. Быть может, я поняла бы вас лучше, будь я более доброй христианкой. Постараюсь ею сделаться — вот все, что я могу вам обещать.

Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с истерзанной душой. Порпора, этот великий композитор и непреклонно суровый человек, пошел проводить ее до дому. Дорогой он продолжал наставлять ее, но убедить так и не смог. Все же после разговора с ним ей стало немного легче, ибо он открыл ей широкое поле для глубоких и серьезных размышлений. На фоне их преступление Андзолетто тускнело, как частность, послужившая болезненным, но значительным началом бесконечных дум. Много часов провела она в молитве, слезах и размышлениях. И наконец, заснула с сознанием чистой совести и с надеждой на милосердие и помощь Бога.

На следующий день Порпора зашел к ней сказать, что назначена репетиция «Гипермнестры» для Стефанини, который должен петь вместо

Андзолетто, ибо Андзолетто заболел — не встает с постели и жалуется на потерю голоса. Первым побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним ухаживать.

— Избавь себя от этого труда, — остановил ее профессор, — Андзолетто чувствует себя прекрасно — таково мнение театрального врача. Вот увидишь, вечером он отправится к Корилле. Но граф Дзустиньяни, который отлично понимает, что все это значит, и не будет особенно горевать, если молодой тенор прекратит свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини ненадолго вернуться на сцену.

— Боже мой! Что же задумал Андзолетто? Неужели он так пал духом, что собирается бросить сцену?

— Да, сцену театра Сан-Самуэле. Через месяц он едет с Кориллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от тени, которую на него бросает твой успех, отдает свою судьбу в руки женщины менее опасной, а потом, конечно, бросит ее, как только перестанет в ней нуждаться.

Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу, готовому разорваться. Быть может, в ней жила еще надежда вернуть Андзолетто, быть может,

она собиралась, кротко пожурив его, сказать ему, что лучше сама уйдет со сцены. Весть эта была для нее как удар кинжала. Мысль, что она больше не увидит того, кого любила так сильно, не укладывалась в ее голове.

— Это какой-то дурной сон! — вскричала она. — Мне надо пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит весь этот бред. Он не может уехать с этой женщиной, — это было бы для него гибелью. Я не могу этого допустить! Я удержу его, объясню, в чем его истинные интересы, если правда, что никакие другие доводы уже не действуют на него… Пойдемте со мной, дорогой учитель! Нельзя же бросить его так.

— Я сам брошу тебя, и брошу навсегда, — закричал в негодовании Порпора, — если ты допустишь подобное малодушие! Умолять этого негодяя! Отвоевывать его у какой-то Кориллы! О святая Цецилия, берегись своего цыганского происхождения и старайся побороть в себе безрассудные бродяжнические инстинкты! Идем, тебя ждут на репетиции. А сегодня вечером ты насладишься пением с таким мастером, как Стефанини. Ты увидишь артиста просвещенного, скромного и великодушного.

Порпора потащил ее в театр, и здесь, впервые

Консуэло поняла весь ужас жизни артиста — эту зависимость от публики, вечную необходимость заглушать собственные чувства, подавлять собственные волнения для того, чтобы постоянно изображать чужие чувства и заставлять волноваться других. Эта репетиция, затем переодевание и сам спектакль были для нее настоящей пыткой. Андзолетто не появлялся. Через день ей пришлось выступить в комической опере Галуппи «Arcifanfano, re dematti»[20]. Вещь эту ставили ради Стефанини, который превосходно исполнял в ней комическую роль. Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызывала слезы. Затаив в груди смертельную тоску, она все-таки умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забавной. Два-три раза рыдания начинали душить ее, но они изливались в какой-то неестественной веселости, которая испугала бы тех, кто мог бы понять ее причину. Когда она вернулась в свою уборную, с ней случилась истерика. Публика громко требовала ее, желая устроить овацию. Так как она все не выходила, поднялся страшный гам, зрители порывались ломать скамейки, перелезать через рампу… Стефанини пришел за

[20] Примечания: 20
«Арчифанфано, король сумасшедших» (*итал.*).

ней и, полуодетую, растрепанную, бледную как смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цветами. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуждена была нагнуться, чтобы его поднять.

— Дикие звери! — шептала она, возвращаясь за кулисы.

— Красавица моя, — сказал ей старый певец, поддерживая ее под руку, — ты совсем больна. Но вот эти пустяки, — прибавил он, передавая ей целый сноп подобранных для нее цветов, — чудодейственное средство от всех недугов. Подожди, свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать нездоровье и усталость только в те дни, когда тебя забудут увенчать лаврами.

«До чего они пусты и ничтожны!» — подумала бедная Консуэло.

Вернувшись в свою уборную, она упала без чувств на ложе из цветов, подобранных на сцене и как попало брошенных на софу. Камеристка побежала за доктором. Граф Дзустиньяни на несколько минут остался наедине с прекрасной певицей, бледной и надломленной, как ветки жасмина, в которых она утопала. Взволнованный, опьяненный страстью, Дзустиньяни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился

к ней, надеясь своими ласками привести ее в чувство. Но первое же прикосновение его губ к чистым губам Консуэло пробудило в ней отвращение. Она пришла в себя и оттолкнула его, словно змею.

— Прочь! — крикнула она, точно в бреду. — Прочь любовь, ласки, сладкие речи!.. Никогда не будет у меня ни любви, ни мужа, ни семьи, ни любовника. Учитель мой прав: свобода, одиночество, высокий идеал, слава!..

И тут она разразилась такими раздирающими сердце рыданиями, что перепуганный граф бросился на колени и стал ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой истерзанной души, а его бушующая страсть, которая в эту минуту дошла до предела, невольно рвалась наружу. Ему слишком понятно было отчаяние обманутой любви. Он стал говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека, не потерявшего еще надежды на взаимность. Консуэло как будто слушала его и, машинально отнимая у него свою руку, улыбнулась ему растерянной улыбкой, в которой графу почудилось слабое поощрение. Некоторые мужчины проявляют безукоризненный такт и большую проницательность в светских отношениях, но ничего не смыслят в отношениях

иного рода. Явился доктор и прописал входившие тогда в моду успокоительные капли. Затем Консуэло закутали в плащ и отнесли в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с певицей, поддерживая ее и продолжая нашептывать ей слова любви, казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными, что он не переставал надеяться на успех. Спустя четверть часа, не слыша отклика, граф стал молить Консуэло сказать ему хоть одно слово, подарить хоть один взгляд.

— Что же мне сказать? — проговорила она, как бы очнувшись от сна. — Я не слышала вас.

Дзустиньяни был обескуражен, но решил, что более удобного случая, пожалуй, никогда не представится и что сейчас эта надломленная душа более доступна, чем будет потом, когда девушка вооружится рассудком. Он снова заговорил о своей любви, и снова ответом было то же молчание, та же растерянность. Но все его попытки обнять и поцеловать Консуэло встречали неизменное сопротивление — инстинктивное, для гнева у нее не было сил. Когда гондола причалила, Дзустиньяни хотел было на минуту удержать певицу, все еще надеясь добиться от нее хоть одного обнадеживающего слова.

— Простите, синьор граф, — наконец, прого-

ворила она кротко, но равнодушно. — Я сейчас очень слаба и плохо вас слушала, но поняла все. Да, я прекрасно вас поняла. Дайте мне ночь на размышление, дайте мне прийти в себя! А завтра, да… завтра я вам отвечу откровенно.

— Завтра! О дорогая Консуэло! Да это целая вечность! Но я готов покориться, если вы позволите мне надеяться, что, по крайней мере, ваша дружба…

— Да! да! Вы можете надеяться, — странным тоном ответила Консуэло, выходя на берег. — Но не идите за мной, — прибавила она, повелительным жестом указывая ему на гондолу, — иначе вам уже не на что будет надеяться.

Стыд и негодование вернули ей силы, но то был первый, лихорадочный подъем, вылившийся, когда она стала подниматься по лестнице, в какой-то страшный, язвительный смех.

— Вы очень веселы, Консуэло! — послышался в темноте голос, при звуке которого она едва не лишилась сознания. — Поздравляю вас с таким веселым расположением духа!

— О да! — воскликнула она, с силой хватая Андзолетто за руку и быстро поднимаясь с ним к себе в комнату. — Благодарю тебя. Андзолетто, ты прав, что поздравляешь меня: я действительно

весела, да, да, бесконечно весела!

Андзолетто, ожидая ее, уже успел зажечь лампу, и когда голубоватый свет упал на их измученные лица, они испугались друг друга.

— Мы очень счастливы, не правда ли, Андзолетто? — резко сказала она, горько усмехнувшись, и слезы так и потекли у нее из глаз. — Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?

— Я думаю, Консуэло, — ответил он с такой же горестной усмешкой, хотя глаза его при этом оставались сухи, — что нам было не особенно легко на него согласиться, но что в конце концов мы с ним свыкнемся.

— Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кориллы.

— А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой господина графа.

— Господина графа? Тебе, значит, было известно, Андзолетто, что граф хочет сделать меня своей любовницей?

— И чтобы не мешать тебе, моя милая, я скромно удалился.

— Ах, ты знал это? И выбрал этот момент, чтоб меня бросить?

— Разве я поступил плохо? Разве ты недовольна своей судьбой? Граф — великолепный любовник!

Куда же было соперничать с ним жалкому, провалившемуся дебютанту!

— Порпора был прав: вы низкий человек! Уйдите отсюда! Вы не стоите того, чтобы я оправдывалась перед вами, и, мне кажется, ваше сожаление даже оскорбило бы меня. Слышите? Уходите! Но, уходя, знайте, что вы можете дебютировать в Венеции и даже вернуться с Кориллой в Сан-Самуэле: никогда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном балагане, величаемом театром!

— Значит, дочь вашей матери, цыганки, собирается изображать знатную даму на вилле Дзустиньяни, на берегу Бренты? Что ж, это блестящее будущее, и я очень рад за вас!

— О, моя дорогая матушка! — воскликнула Консуэло, бросаясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло, в свое время служившее смертным покрывалом цыганке.

Андзолетто был испуган и потрясен отчаянием Консуэло, ужасными рыданиями, разрывавшими ей грудь. Угрызения совести внезапно проснулись в нем, и он бросился к подруге, чтобы обнять ее и поднять с пола. Но тут она сама вскочила на ноги и, оттолкнув его с не свойственной ей силой, вытолкала за дверь, крича ему вслед:

— Прочь отсюда! Прочь из моего сердца! Прочь из моей памяти! Прощай! Прощай навсегда!

Намерение, с которым Андзолетто шел к Консуэло, было чудовищно эгоистично, и все же это было лучшее, что он мог придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консуэло, он, казалось ему, нашел способ все примирить: рассказать ей об опасности, угрожающей со стороны влюбленного Дзустиньяни, и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэло. Он прекрасно знал, что она не способна ни на какие компромиссы, не способна пользоваться покровительством, из-за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной душе все-таки жила непоколебимая уверенность в невинности Консуэло; он знал, что найдет ее такой же целомудренной, верной и преданной, какою оставил несколько дней назад. Но как совместить это преклонение перед нею, желание оставаться ее женихом и другом с твердым намерением продолжать связь с Кориллой? Дело в том, что он хотел вместе с любовницей вернуться на сцену и, конечно, в такой момент, когда его успех всецело был в руках Кориллы, не мог расстаться с нею. Таков был дерзкий и подлый план, созревший в его голове, а к Консуэло

он относился так, как итальянские женщины относятся к мадоннам: в часы раскаяния они молят их о прощении, а когда грешат, прикрывают их лик занавеской.

Однако когда он увидел ее на сцене в комической роли, такой блестящей и на вид такой веселой, в душу его закрался страх, что он потерял на обдумывание своего плана слишком много времени. Увидев, что она вошла в гондолу графа, а потом услышав ее истерический смех и не почувствовав в нем всего отчаяния измученной души, он решил, что опоздал, и в нем закипела досада. Но когда, возмущенная его оскорблениями, она с презрением выгнала его, он снова почувствовал к ней уважение, смешанное со страхом, и долго стоял на лестнице, а потом бродил по берегу, ожидая, что она его позовет. Он отважился даже постучаться к ней и, стоя за дверью, молить о прощении, но гробовое молчание царило в комнате, куда ему уже никогда не суждено было войти вместе с Консуэло. Смущенный, подавленный, ушел он к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова и добиться большего успеха.

«Так или иначе, — говорил он себе, — план мой будет осуществлен: она знает о любви графа, дело наполовину сделано».

Измученный усталостью, Андзолетто долго спал на следующее утро, а после полудня отправился к Корилле.

— Поразительная новость! — воскликнула она, раскрывая ему объятия. — Консуэло уехала!

— Уехала? С кем? Куда?

— В Вену, куда ее отправил Порпора и куда сам он собирается ехать за ней следом. Эта хитрая девчонка провела нас всех: она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу.

— Уехала! Уехала, не сказав мне ни слова! — закричал Андзолетто, бросаясь к двери.

— О! Теперь тебе уже не найти ее в Венеции! — злобно и торжествующе глядя на него, проговорила Корилла. — С рассветом она села на корабль и отправилась в Пеллестрину. Сейчас она уже далеко. Дзустиньяни, которого она провела (он воображал, что пользуется у нее успехом), просто в бешенстве, даже захворал. Только что по его поручению приходил Порпора и просил меня петь в сегодняшнем спектакле. Стефанини страшно устал от театра, жаждет отдохнуть, наконец, на своей вилле и мечтает, чтобы ты возобновил свои дебюты. Итак, знай: завтра тебе предстоит снова выступить в «Гипермнестре». Сейчас я иду

на репетицию, меня ждут. Если не веришь, пойди прогуляйся по городу — сам убедишься, что все это правда.

— О фурия! Ты победила! — вскричал Андзолетто. — Но ты убиваешь меня!

И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.

Глава XXI

В самом неловком положении после бегства Консуэло очутился граф Дзустиньяни. Дав повод думать и говорить всей Венеции, будто дебютировавшая дива — его любовница, как мог он без ущерба для своего самолюбия объяснить ее молниеносное таинственное исчезновение теперь — едва он признался ей в любви? Правда, некоторым приходило в голову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал певицу в одной из своих загородных вилл. Но когда Порпора со свойственной ему суровой правдивостью рассказал, что Консуэло уехала в Германию и будет ждать там его приезда, людям оставалось только ломать себе голову над причинами такого странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих, делал вид, будто нисколько не удивлен случившимся, но огорчение помимо его воли прорывалось наружу, и всем стало ясно, что успех у Консуэло, с которым его поздравляли, был мнимым успехом. Вскоре большая часть истины выплыла наружу: узнали и об измене Андзолетто, и о соперничестве Кориллы, и об отчаянии

бедной испанки, которую все принялись горячо и искренне жалеть.

Первым делом Андзолетто прибежал к Порпоре, но старик сурово оттолкнул его.

— Перестань меня расспрашивать, тщеславный юноша, бессердечный и неверный, — ответил ему с негодованием профессор, — ты никогда не стоил любви этой благороднейшей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней сталось. Я приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след. Если же когда-нибудь вы случайно встретитесь, надеюсь, что твой образ совершенно изгладится из ее сердца и памяти. Этого я хочу и этого добиваюсь.

От Порпоры Андзолетто отправился на Корте-Минелли. Комната Консуэло была уже сдана новому жильцу и вся заставлена принадлежностями его производства. Это был рабочий, изготовлявший мелкие изделия из стекла. Он давно жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою мастерскую.

— А, это ты, сынок! — обратился он к юному тенору. — Верно, зашел навестить меня в новом помещении? Славно тут у меня будет, и жена рада-радешенька, что теперь сможет разместить внизу детвору. Ты что смотришь? Уж не забыла

ли чего Консуэлина? Ищи, милый, смотри хорошенько! Я за это в обиде не буду.

— А куда же дели ее мебель? — спросил Андзолетто. У него защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, связанном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями его прошлой жизни, не осталось от Консуэло никакого следа.

— Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате. И хорошо сделала: старуха бедна и хоть немножко выручит за нее. Да, наша Консуэло всегда была добрая. Она не только никому не осталась должна, но, уезжая, еще всех понемногу одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Но все-таки как-то странно она уехала: среди ночи, никого не предупредив. Едва рассвело, пришел господин Порпора и распорядился всем, словно по духовному завещанию. Все соседи жалели о ней и только утешались тем, что теперь она, должно быть, будет жить в каком-нибудь дворце на Большом канале, — ведь она стала богатой, важной синьорой. Я всегда говорил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколько она училась! Когда же свадьба, Андзолетто? Надеюсь, ты меня не обойдешь — возьмешь у меня побольше безделушек, чтоб одарить девушек нашего квартала?

— Конечно, конечно, — пробормотал, растерявшись, Андзолетто.

Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в это время местные кумушки продавали с аукциона кровать и стол Консуэло, — кровать, на которой столько раз он видел ее спящей, стол, за которым она всегда сидела, разбирая ноты…

— Боже мой! От нее уже ничего не осталось, — невольно вырвалось у него, и он убежал, ломая руки.

В эту минуту он готов был заколоть Кориллу.

Через три дня они с Кориллой появились на сцене, и оба были жестоко освистаны. Пришлось даже, не окончив представления, опустить занавес. Андзолетто был вне себя от бешенства, Корилла — невозмутима.

— Вот до чего довело меня твое покровительство! — сказал он ей угрожающим тоном, когда они остались одни.

— Не много же надо, чтобы огорчить тебя, бедный мальчик, — спокойно ответила ему примадонна, — видно, что ты совсем не знаешь публику и никогда не подвергался ее капризам. Я была так уверена в провале, что даже не потрудилась повторить роль. Тебя же не предупредила только потому, что знала — тебе не

хватит храбрости выйти на сцену, если ты будешь знать заранее, что нас освищут. А теперь ты должен узнать, что нас ожидает впереди. В следующий раз нас примут еще хуже. Быть может, три, четыре, шесть, восемь представлений пройдут таким же образом. Но среди этих бурь выкуется партия в нашу пользу. Будь мы самыми захудалыми актеришками на свете, дух противоречия и независимости все равно создал бы нам рьяных сторонников. Есть много людей, которые воображают, что они станут важнее, если будут оскорблять других, но немало и таких, которые считают, что, покровительствуя другим, они тем самым возвышают себя. После десятка представлений, когда театральная зала будет являть собою поле битвы, когда свистки будут перемежаться аплодисментами, строптивые выбьются из сил, упрямцы надуются, а мы с тобой вступим в новую эру. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама хорошенько не зная почему, будет слушать нас довольно холодно. Это явится как бы нашим новым дебютом. И вот тут-то нам с тобой нужно будет увлечь, покорить слушателей! К этому моменту я предсказываю тебе большой успех, дорогой Андзолетто: злые чары, тяготевшие над тобой, успеют рассеяться,

ты попадешь в атмосферу благожелательности и восхвалений, и это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни, какое впечатление ты произвел, когда первый раз пел у Дзустиньяни. Ты не успел тогда закрепить свою победу: более блестящая звезда тут же затмила тебя. Но эта звезда скрылась за горизонтом, и теперь готовься подняться со мной на небеса.

Все случилось именно так, как предсказала Корилла. Действительно, в течение нескольких дней любовникам пришлось дорого расплачиваться за потерю, которую понесла публика в лице Консуэло. Но их дерзкое упорство перед бурей истощило гнев публики, слишком яростный, чтобы быть долговечным. Дзустиньяни поддерживал Кориллу. С Андзолетто дело обстояло несколько иначе. После многократных безуспешных попыток пригласить в Венецию нового тенора — театральный сезон в это время почти кончался и ангажементы со всеми театрами Европы были уже заключены — графу пришлось оставить юношу в качестве борца в этом состязании между его театром и публикой. Репутация театра была слишком блестяща, чтобы можно было потерять ее из-за того или другого артиста; такие пустяки не могли сокрушить

освященные временем традиции. Все ложи были абонированы на сезон. В них дамы, так же как всегда, принимали гостей и так же, по обыкновению, болтали. Истинные любители музыки некоторое время продолжали сердиться, но их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно. Наконец, и любителям надоело злобствовать. И в один прекрасный вечер Корилла, исполнившая с огнем свою арию, была единодушно вызвана слушателями. Она появилась, таща за собой Андзолетто, которого вовсе не вызывали. Он, казалось, скромно и боязливо уступал ласковому насилию. Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и месяца, как Консуэло, блеснувшая подобно молнии на летнем небе, была забыта. Корилла производила фурор по-прежнему, но заслуживала его, пожалуй, больше прежнего: соперничество придало ей огня, а любовь — чувства. Андзолетто же хотя и не избавился от своих недостатков, зато научился проявлять свои бесспорные достоинства. К недостаткам привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная наружность пленяла женщин, он стал самым желанным гостем в салонах, а ревность Кориллы придавала ухажи-

ваниям за ним еще большую остроту. Клоринда также проявляла на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и вялую, непомерно глупую чувственность, представляющую интерес для известного сорта зрителей. Дзустиньяни, чтобы забыться, — огорчение его было довольно серьезно, — сделал Клоринду своей любовницей, осыпал ее бриллиантами, выпускал на первые роли, надеясь заменить ею Кориллу, которая на следующий сезон была приглашена в Париж.

Корилла относилась без всякой злобы к этой сопернице, не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие выдвигать эту холодную, наглую, ни перед чем не останавливавшуюся бездарность. Теперь эти два существа, живя в полном согласии, держали в руках всю администрацию. Они не допускали в репертуар ни одной серьезной вещи и мстили Порпоре, не принимая его опер и с блеском выдвигая оперы самых недостойных его соперников. С необыкновенным единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всячески покровительствовали тем, кто перед ними пресмыкался. Благодаря им, публика в Венеции восхищалась в этот сезон совершенно ничтожными произведениями,

забыв настоящие, великие творения искусства, царившие здесь прежде.

Андзолетто среди своих успехов и благополучия — граф заключил с ним контракт на довольно выгодных условиях — чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под гнетом своего жалкого счастья. Он возбуждал жалость, когда нехотя шел на репетицию под руку с торжествующей Кориллой, по-прежнему божественно красивый, но бледный, утомленный, со скучающим и самодовольным видом человека, принимающего поклонение, но разбитого, раздавленного тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт. Даже на сцене, играя вместе со своей пылкой любовницей, он своими красивыми позами и дерзкой томностью усиленно старался выказывать равнодушие к ней. Когда она пожирала его глазами, он всем своим видом словно говорил публике: «Не думайте, что я отвечаю на ее любовь. Напротив, тот, кто меня избавит от нее, окажет мне большую услугу».

Дело в том, что Андзолетто, избалованный и развращенный Кориллой, обращал теперь против нее самой эгоизм и неблагодарность, с какими она приучила его относиться ко всем остальным людям. В душе его, несмотря на все

пороки, жило одно чистое, настоящее чувство — неискоренимая любовь к Консуэло. Благодаря врожденному легкомыслию, он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой любви не мог, и среди самого низменного распутства она являлась для него укором и пыткой. Он изменял Корилле направо и налево: сегодня — с Клориндой, чтобы тайком отомстить графу, завтра — с какой-нибудь известной светской красавицей, а там — с самой неопрятной из статисток. Ему ничего не стоило из таинственного будуара светской дамы перенестись в безумную оргию и от исступленных ласк Кориллы — к беззаботному веселью разгульного пира. Казалось, он хочет заглушить всякое воспоминание о прошлом. Но среди всех этих безумств всюду по пятам следовал некий призрак, и когда по ночам ему случалось со своими шумными собутыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Корте-Минелли, он не мог удержаться от рыданий.

Корилла, долго сносившая оскорбительное обращение Андзолетто и, как вообще все низкие натуры, склонная любить именно за презрение к себе и обиды, все же начала тяготиться этой пагубной страстью. Она льстила себя надеждой, что поработит, приручит это непокорное существо,

и с ожесточением трудилась над этим, принося в жертву все; но, убедившись, что никогда ничего не добьется, возненавидела любовника и стала стремиться отомстить ему собственными похождениями. Однажды ночью, когда Андзолетто с Клориндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил другую, быстро несущуюся гондолу; потушенный фонарь указывал на то, что на ней происходит тайное любовное свидание. Он бы не обратил внимания на это обстоятельство, но Клоринда, которая боялась быть узнанной и постоянно была настороже, шепнула ему:

— Вели грести медленнее — это гондола графа, я узнала гондольера.

— Напротив, пойдем быстрее, — возразил Андзолетто, — надо догнать ее: мне хочется узнать, какой изменой граф платит сегодня за твою.

— Нет! Нет! Повернем назад! — вскричала Клоринда. — У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух! Не будем ему мешать.

— Эй, налегай на весла! — крикнул Андзолетто своему гондольеру. — Я хочу догнать вон ту гондолу, впереди.

Несмотря на ужас и мольбы Клоринды, приказ этот был мгновенно выполнен. Обе гондолы коснулись друг друга, и до ушей Андзолетто донесся

плохо сдерживаемый смех.

— Прекрасно! — сказал он. — Справедливость торжествует! Это Корилла наслаждается вечерней прохладой с господином графом!

С этими словами Андзолетто вскочил на нос своей гондолы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно грести. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее. Тут, потому ли, что среди взрывов смеха Кориллы он услышал свое имя, или на него нашло безумие, только он громко произнес:

— Дорогая Клоринда, ты, бесспорно, самая красивая, самая привлекательная женщина в мире.

— Я только что это самое говорил Корилле, — произнес граф, показываясь из-под навеса своей гондолы и чрезвычайно непринужденно приближаясь к соседней. — А теперь, когда наши прогулки окончены, мы, как честные люди, владеющие равноценными сокровищами, можем произвести обмен.

— Господин граф воздает должное моей честности, — в том же тоне ответил Андзолетто. — Если его сиятельству будет угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда, взять свое добро там, где его найдет.

Неизвестно, с каким намерением — быть

может, желая выказать свое презрение и поиздеваться над Андзолетто и их общими любовницами, — граф протянул было руку, чтобы опереться на руку юноши, но молодой тенор, взбешенный, дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и с диким возгласом: «Женщина за женщину, гондола за гондолу, господин граф!» — мгновенно опрокинул ее.

Бросив затем свои жертвы на произвол судьбы и предоставив ошеломленной Клоринде распутывать последствия этого приключения, Андзолетто добрался вплавь до противоположного берега, помчался по темным извилистым улочкам, прибежал домой, моментально переоделся, захватил с собой все имевшиеся у него деньги, вышел на дорогу, бросился в первый попавшийся, готовый к отплытию баркас и, несясь на нем к Триесту, с торжеством прищелкнул пальцами, глядя, как купола и колокольни Венеции постепенно исчезают в предрассветной мгле.

Глава XXII

Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Чехию от Баварии и носящих в этих местах название Boehmer-Wald (Богемский лес), еще лет сто тому назад возвышался старый, очень обширный замок, называвшийся, не знаю в силу какого предания, замком Исполинов. Хотя издали он и походил на старинную крепость, но теперь представлял собою лишь барскую усадьбу, отделанную внутри в стиле Людовика XIV, уже тогда устаревшем, но все же пышном и благородном. Феодальная архитектура тоже подверглась весьма удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья.

Члены этой семьи, чешской по происхождению, онемечили свою фамилию, отрекшись от Реформации в самый трагический момент Тридцатилетней войны. Их доблестный и благородный предок, непоколебимый протестант, был зверски убит бандами солдат-фанатиков на горе, недалеко от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состояние своих малых детей,

перейдя в католичество и поручив воспитание наследников Рудольштадта иезуитам. Через два поколения, когда над безгласной и угнетенной Чехией окончательно утвердилось австрийское иго, а слава и бедствия Реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты продолжали жить в своем поместье богато, но скромно, как благочестивые христиане, верные католики, добрые аристократы и преданные слуги Марии-Терезии. В былые времена они выказали немало доблести и отваги на службе у императора Карла VI. И потому всех удивляло, что последний представитель этого знатного и доблестного рода, молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштадта, не принял участия в только что закончившейся войне за престолонаследие и достиг тридцатилетнего возраста, не познав и не ища иной чести и славы, кроме той, какою обладал по рождению и состоянию. Его странное поведение возбудило подозрение императрицы: а не является ли он единомышленником ее врагов? Но когда граф Христиан удостоился чести принять императрицу в своем замке, он сумел дать ей по поводу поведения сына объяснения, по-видимому, вполне ее удовлетворившие. Содержание беседы Марии-Терезии с

графом Рудольштадтом осталось загадкой для всех. Какая-то странная тайна окутывала очаг этой набожной и щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто из соседей не посещал уже десять лет; никакие дела, никакие развлечения, никакие политические волнения не могли вынудить Рудольштадтов выехать из своего поместья. Они платили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя никакого волнения по поводу опасностей и бедствий, угрожавших стране в целом, и, казалось, жили какой-то своей жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, что вызывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась лишь в добрых и благородных поступках. Не зная, чем объяснить эту безрадостную, обособленную жизнь членов семьи Рудольштадт, их обвиняли то в человеконенавистничестве, то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каждом шагу и то и другое, оставалось лишь упрекать их в апатичности и холодности. Говорили, будто граф Христиан не пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного сына и последнего представителя рода в этих гибельных войнах, а императрица согласилась принять взамен его военной службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить

целый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие дочерей-невест, решили, что граф поступил очень хорошо; когда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-видимому, женить сына на дочери своего брата, барона Фридриха, и что юная баронесса Амалия уже вышла из пражского монастыря, где она воспитывалась, и будет жить отныне в замке Исполинов, близ своего кузена, — эти дамы в один голос заявили, что замок Рудольштадтов — медвежья берлога, а обитатели его необщительны и дики, один хуже другого. Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и свято хранили ее.

Однажды вечером эта почтенная семья сидела за столом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в то время еще питались наши предки в славянских землях, невзирая на тонкости двора Людовика XV, уже изменившего привычки большей части европейской аристократии. Громадный камин, где пылали толстые дубовые поленья, распространял тепло в просторной мрачной зале. Граф Христиан только что прочитал громким голосом молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя. Многочисленные слуги — все пожилые,

степенные, с длинными усами, в национальных костюмах, в широких шароварах мамлюков, — неторопливо служили своим высокочтимым господам. Капеллан замка занял место по правую руку графа, а юная баронесса Амалия — по левую, со стороны сердца, как любил говорить граф с видом отеческим и суровым. Барон Фридрих, его младший брат, которого он всегда называл своим молодым братом (ему еще не было шестидесяти), сел напротив. Канонисса Венцеслава Рудольштадт, его сестра, почтенная шестидесятилетняя особа, необычайно худая и с огромным горбом, уселась на одном конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених Амалии, бледный, рассеянный и угрюмый, поместился на другом, напротив своей достойной тетки.

Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, был меньше чем кто бы то ни было расположен внести оживление в трапезу — это было не в его привычках. Капеллан был так предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что говорил лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот этого хочет. Граф же был человек такого спокойного, сосредоточенного склада, что почти никогда не искал у других отвлечения от собственных мыслей.

Барон Фридрих был человек менее глубокий, но более живой и деятельный. Такой же кроткий и доброжелательный, как старший брат, он не обладал его умом, и в нем было меньше внутреннего огня. Его религиозность была лишь делом привычки и приличия. Единственной его страстью была охота; он проводил на ней целые дни и возвращался вечером отнюдь не усталый — организм у него был поистине железный, — но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он ел за десятерых, а пил за тридцать человек. За десертом он обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные рассказы о том, как его собака Сапфир затравила зайца, как другая собака, Пантера, выследила волка, как взвился в воздух его сокол Аттила. Барона выслушивали с терпеливым добродушием, после чего, сидя у камина в большом кресле, обитом черной кожей, он незаметно засыпал и спал так до тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что пора ложиться в постель.

Самой разговорчивой из всей семьи была канонисса. Ее можно было назвать даже болтливой: ведь по крайней мере два раза в неделю она по четверти часа обсуждала с капелланом генеалогию чешских, саксонских и венгерских

фамилий. Она знала как свои пять пальцев все родословные, начиная от королей и кончая самым захудалым дворянином.

Что же касается графа Альберта, то в его наружности было что-то пугающее и торжественное. В каждом жесте его чувствовалось некое предзнаменование, в каждом слове слышался приговор. Почему-то (понять это, очевидно, мог только посвященный в семейную тайну), стоило Альберту открыть рот, что, надо сказать, случалось далеко не каждый день, как все, и родные и слуги, смотрели на него с глубоким страхом и нежной, мучительной тревогой, — все, кроме юной Амалии, которая относилась к словам своего кузена с раздражением и насмешкой и осмеливалась — она одна! — отвечать ему то пренебрежительно, то шутливо, в зависимости от расположения духа.

Эта молодая белокурая девушка, румяная, живая и прекрасно сложенная, была удивительно хороша собой. Когда камеристка, стремясь разогнать ее тоску, называла юную баронессу жемчужиной, та отвечала ей: «Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена в недрах моей скучнейшей семьи — в этом ужасном замке Исполинов». Из приведенных слов

читателю ясно, какая резвая пташка была заключена в этой беспощадной клетке.

В тот вечер торжественное молчание, обычно царившее за семейным столом, а особенно во время первой перемены (оба старых аристократа, канонисса и капеллан обладали солидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года), было нарушено графом Альбертом.

— Какая ужасная погода! — проговорил он, тяжело вздыхая.

Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа в зале с закрытыми дубовыми ставнями, они никак не могли знать, что за это время погода переменилась к худшему. Полнейшая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвещало надвигающейся грозы.

Тем не менее никто не решился противоречить Альберту, лишь одна Амалия пожала плечами. После минутного тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали медленно переменять блюда.

— Неужели вы не слышите, как бушует ветер среди елей Богемского Леса? Неужели оглушительный рев потока не доносится до вас? — уже громко спросил Альберт, пристально глядя на отца.

Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя глаз с куска дичи, который он в эту минуту разрезал с такой энергией, будто это был гранит:

— Действительно, ветер на заходе солнца предвещает дождь. Весьма вероятно, что завтра будет дурная погода.

Альберт как-то странно улыбнулся, и снова все погрузилось в мрачное молчание, однако не прошло и пяти минут, как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стекла в огромных оконных рамах, завыл, завизжал, ударил, как кнутом, по воде, наполнявшей ров, и унесся ввысь, к горным вершинам, с таким пронзительным и жалобным стоном, что все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такою же загадочной улыбкой, как и в первый раз.

— В эту минуту, — проговорил он, — гроза гонит к нам одну душу. Хорошо, если б вы, господин капеллан, помолились за тех, кто путешествует в наших суровых горах в такую ужасную бурю.

— Я молюсь ежечасно и от всего сердца, — ответил дрожащий капеллан, — за тех, кто странствует по тяжким путям жизни, среди бурь людских страстей.

— Не отвечайте ему, господин капеллан, — сказала Амалия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупреждавшие ее со всех сторон, чтобы она не продолжала этого разговора. — Вы хорошо знаете, что моему кузену доставляет удовольствие мучить других, говоря загадками. Что касается меня, то я вовсе не склонна разгадывать их.

Граф Альберт, по-видимому, обращал не больше внимания на пренебрежительный тон своей двоюродной сестры, чем она — на его странные рассуждения. Он поставил локоть прямо в свою тарелку, которая почти всегда стояла перед ним пустой и чистой, и устремил взгляд на камчатную скатерть, словно считая на ней цветочки и звездочки, — в действительности же погруженный в какую-то восторженную думу.

Глава XXIII

Неистовая буря разразилась еще во время ужина. Ужин здесь всегда продолжался два часа — ни больше, ни меньше, даже в постные дни, которые строго соблюдались, причем граф никогда не освобождал себя от ига семейных привычек, столь же священных для него, как установления римской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бесконечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вторили шуму ветра и раскатам грома ревом эха, слишком хорошо знакомым обитателям замка, чтобы это явление природы могло так уж сильно их обеспокоить. Однако необыкновенное возбуждение графа Альберта невольно передалось всей семье, и барон, которому помешали наслаждаться вкусной трапезой, был бы, несомненно раздосадован, если бы его доброжелательная кротость могла ему изменить хоть на одно мгновение. Он только глубоко вздохнул, когда страшный удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, который разрезал в эту минуту.

— Кончено дело! — сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, удрученному своей неудачей.

— Да, дядюшка, вы правы! — громко воскликнул граф Альберт, вставая с места. — Кончено дело! Гусит сражен — его сожгла молния. Больше он не зазеленеет весной.

— Что ты хочешь этим сказать, мой дорогой сын? — с грустью спросил старик Христиан. — Ты говоришь о большом дубе на Шрекенштейне?[21]

— Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить два десятка монахов-августинцев.

— Он начинает принимать века за недели! — прошептала канонисса, осеняя себя широким крестным знамением. — Если вы и видели во сне, дорогое дитя мое, — повысив голос, обратилась она к племяннику, — события, которые произошли в действительности или еще должны произойти (ведь по странной случайности ваши фантазии не раз сбывались), то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей. С ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых воспоми-

---

[21] Примечания: 21

Шрекенштейн — скала Ужаса; в этих краях многие места носят такое название. (*Прим. автора*).

наний, принадлежащих истории.

— А я, — с живостью добавила Амалия, довольная, что может наконец дать волю своему язычку, — была бы очень благодарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного дерева-виселицы; ветви его напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красным мхом, словно сочится кровь. По вечерам ни разу не проходила я мимо него без содрогания: шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрипы, что, предав себя в руки Божьи, я убегала оттуда без оглядки.

— Амалия, — снова заговорил молодой граф, впервые за много дней отнесшись со вниманием к словам своей кузины, — вы хорошо сделали, что не проводили под Гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах и чего вы никогда не смогли бы забыть.

— Замолчите! — вскричала молодая баронесса, вздрогнув и отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. — Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы — нагонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите раскрыть рот.

— Дай Бог, дорогая Амалия, чтобы ваш кузен го-

ворил это только ради забавы, — кротко заметил старый граф.

— Нет, отец, я говорю вам вполне серьезно: дуб на скале Ужаса свалился, раскололся на четыре части, и вы завтра же можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не Гуситом, а Кающимся; а скалу Ужаса вам давно следовало назвать скалой Искупления.

— Довольно, довольно, сын мой, — проговорил старик в страшной тревоге, — отгони от себя эти грустные картины и предоставь Богу судить людские деяния.

— Мрачные картины канули в вечность: они перестали существовать вместе с дубом — орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли во прах. Вместо скелетов, которые раскачивались на его ветвях, я вижу цветы и плоды, колеблемые ветерком на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, который каждую ночь разводил костер под Гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, и, мои дорогие родные, опасность миновала, путешественники теперь в безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает. Я чувствую, что возрождаюсь к жизни.

— О мой дорогой сын! Если бы это было так! — с глубокой нежностью проговорил взволнованным голосом старик. — Если б только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели Господь ниспошлет мне такую милость — вернет моему любимому Альберту покой, надежду и свет веры?

Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и внезапно погрузился в безмятежный сон.

— Этого еще недоставало! — сказала юная баронесса, обращаясь к своему отцу. — Засыпать за столом! Очень любезно, нечего сказать!

— Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого в его состоянии должно наступить хотя бы временное улучшение, — сказал капеллан, с любопытством глядя на молодого человека.

— Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить, — приказал граф Христиан.

— Боже милосердный, — сложив набожно руки, горячо молилась канонисса, — осуществи его предсказания, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!

— Аминь! — благоговейно произнес капеллан. — Вознесем же сердца наши к милосердному

Богу, — продолжал он, — и, воздав ему благодарность за принятую пищу, будем молить его об исцелении этого благородного молодого человека, предмета наших общих забот.

Все встали для благодарственной молитвы и молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштадтов. Старик Христиан был так взволнован, что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.

Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, радостно и как-то по-детски остановил его:

— Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея! Если твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и посадить в мое большое кресло: для сна нет лучше кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина, среди дружеских лиц.

— Это правда, — ответил граф. — Его действительно можно перенести в гостиную и положить на большой диван.

— После еды очень вредно спать лежа, — возразил барон. — Поверьте, я это знаю по опыту. Его надо посадить в мое кресло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле.

Христиан понял, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его: и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника, причем сон его был так близок к летаргическому, что он даже и не почувствовал этого. Барон же с сияющим, гордым видом уселся у камина в другое кресло и стал греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествующе улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот сон должен подействовать на графа Альберта самым благотворным образом. Добряк собирался пожертвовать ради молодого графа не только своим креслом, но и самим послеобеденным сном, чтобы оберегать его покой вместе со всеми членами семьи, но через четверть часа он до того освоился с новым креслом, что вскоре храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали.

Вдруг загудел большой колокол замка (тот, в который звонили только в случае необычных посещений), и несколько минут спустя старик Ганс, старейший из слуг, вошел в комнату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его

графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего господина. Граф Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с просьбой прочитать вслух. Полная любопытства и нетерпения, Амалия подошла поближе к свече и прочитала вслух следующее:

Высокочтимый и любезный господин граф!

Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать вам услугу. Этим вы осчастливили меня еще больше, чем всеми теми услугами, которые некогда оказали мне и которые живут в моем сердце и в моей памяти. Несмотря на все мое стремление выполнить приказание вашего сиятельства, я, однако ж, не надеялся так скоро, как мне бы того хотелось, найти подходящую для этой цели особу. Однако неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания вашего сиятельства, и я спешу направить к вам молодую особу, удовлетворяющую требуемым условиям, правда, лишь отчасти. Посылаю ее поэто-

му временно, дабы ваша высокочтимая, любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски не приведут к более совершенным результатам.

Девица, которая будет иметь честь передать вам это письмо, – моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как того желает любезная баронесса Амалия, предупредительной и приятной компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого вы ищете в наставнице: свободно говоря на нескольких иностранных языках, она вряд ли знакома с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, голосом, манерой держать себя. Не менее будете вы удовлетворены ее кротостью и благородством ее характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо неблаговидный поступок или проявит недостойные чув-

ства. Она не хочет быть связанной в своих обязанностях по отношению к вашему уважаемому семейству и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а, как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме вашего сиятельства, – компаньонку и подругу.

Синьор Корнер, получивший назначение при посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде. Но, по всей вероятности, приказ этот прибудет не раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его достойная супруга, а моя великодушная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные дни и где оставил достойных

уважения друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном вечной привязанности к вам и глубокой благодарности. Итак, высокочтимый граф, я препоручаю и вверяю вам мою приемную дочь, прося у вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отблагодарить вас за ваши милости и постарается быть приятной и полезной молодой баронессе. Не позже как через три месяца я приеду за ней и привезу вам на ее место наставницу, которая может заключить с вашей высокочтимой семьей договор на более продолжительный срок.

В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя, с почтением и гордостью, самым покорным слугой и преданнейшим другом вашего сиятельства, chirissima, stimatissima, illustrissima[22].

[22] Примечания: 22
Светлейшего, почтеннейшего, именитейшего (*итал.*).

Никколо Порпора,
капельмейстер, композитор
и учитель пения. Венеция,
мес… дня… 17… года.

Амалия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом повторил несколько раз:

— Почтенный Порпора, чудесный друг, достойный, уважаемый человек!..

— Конечно, конечно, — сказала канонисса Венцеслава, испытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого человека может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой стороны — желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. — Надо как можно лучше встретить и принять ее… Лишь бы она не соскучилась здесь…

— Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драгоценная учительница? — воскликнула юная баронесса, не слушая рассуждений тетки. — Должно быть, она скоро явится и сама? Я с нетерпением жду ее!

Граф Христиан позвонил.

— Ганс, кто передал вам это письмо? — спросил он старого слугу.

— Одна дама, ваше сиятельство!

— Она уже здесь! — воскликнула Амалия. — Где же она? Где?

— В почтовой карете, у подъемного моста.

— И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того чтобы сейчас же ввести в гостиную?

— Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с места. Мост за собой я велел поднять, а затем вручил письмо господину графу.

— Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших гостей ждать в такую ужасную погоду! Можно подумать, что мы живем в крепости и всякий, кто к ней приближается, враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..

Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжение юной хозяйки; казалось, даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал приказаний своего старого господина.

— Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания, — произнес, наконец, граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. —

Теперь, Ганс, велите открыть ворота и опустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженными факелами — она у нас желанная гостья!

Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья допускались не иначе, как с бесконечными предосторожностями. Каноница пошла распорядиться, чтобы для приезжей приготовили ужин. Амалия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, считая за честь самолично встретить гостью, и пылкой юной баронессе пришлось величественным, медленным шагом прошествовать до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка — Консуэло.

Глава XXIV

Три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амалия забрала себе в голову, что ей необходимо — не столько для занятий, сколько для развлечения — иметь компаньонку, и в своем одиночестве она не раз силилась представить себе, какова же будет ее подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она боялась, как бы он не прислал ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет наставницу старше двадцати пяти лет, — словно было недостаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей.

Письмо Порпоры привело ее в восторг, и она сейчас же создала в уме совершенно новый образ: музыкантша, приемная дочь профессора, молодая девушка, а главное — венецианка, была, по мнению Амалии, как бы нарочно для нее создана, создана по ее образу и подобию.

Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвы-

чайно смущенную девушку. Ибо, не говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэло, об усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов: эта ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг — во всем этом было что-то поистине зловещее. Какой контраст со «сводом лучезарным» Марчелло и гармонической тишиной венецианских ночей, с доверчивой свободой ее прошлой жизни на лоне любви и жизнерадостной поэзии! Когда карета медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад, и, охваченная ужасом, она поручила свою душу Богу.

Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед хозяевами замка. Когда же она увидела графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблекшим от старости и горя, его длинную, сухую, одеревенелую фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она

подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и, приняв все окружающее за какую-то галлюцинацию, невольно отшатнулась, едва сдержав крик ужаса.

Старый граф, объясняя себе поведение Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия в тряской карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо, и попытался сказать ей несколько приветливых, любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешностью невыразительной и холодной, за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость теперь удвоилась, и под его внешностью, на первый взгляд важной и суровой, таились детская конфузливость и способность теряться. Так как он счел своим долгом говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык недурно, но отвык от него), это еще более увеличило его смущение, и он едва смог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный, таинственный язык привидений.

Амалия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на шею, чтобы сразу ее приручить, тоже не нашлась, что сказать: с ней случилось то, что бывает с самыми смелыми людьми, — ее заразили

застенчивость и сдержанность окружающих.

Консуэло ввели в большую комнату, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился в нерешительности, и дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул.

— Дядюшка, — сказала Амалия, поняв замешательство старого графа, — мне кажется, нам лучше принять синьору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно, страшно озябла от нашего холодного горного ветра, да еще в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от усталости, и уверена, что она нуждается в хорошем ужине и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая синьора? — добавила она, решаясь, наконец, пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку Консуэло.

Звук этого свежего, молодого голоса, говорившего по-итальянски с резко выраженным немецким акцентом, сразу успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым обменялись девушки, мгновенно рассеял холод между ними.

Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь, она пожала ей руку и призналась, что стук кареты совсем оглушил ее, а гроза очень напугала. Охотно подчиняясь всем заботам Амалии, она пересела поближе к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все возрастающей любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя и к ней вернулась способность видеть, слышать, отвечать.

Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпоре, и Консуэло с радостью отметила, что старый граф говорит о нем, как о своем друге, не только равном ему, но как будто даже в чем-то его превосходящем. Потом заговорили о путешествии Консуэло, о дороге, по которой она ехала, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее.

— Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и более опасным грозам, — отвечала Консуэло. — Плывя по городу в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бу-

шует, словно море в непогоду. Она с такой силой несет наши хрупкие гондолы вдоль стен, что они могут вдребезги разбиться о них, прежде чем нам удастся пристать. Но несмотря на то, что я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвились на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось! «Гусит» упал!». Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?

Ни граф, ни Амалия не ответили на этот вопрос. Они только вздрогнули и переглянулись.

— Итак, мой дорогой сын не ошибся! — произнес старый граф. — Странно! Очень, очень странно!

Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амалия, сложив руки, прошептала:

— Тут какое-то колдовство! Видно, сам дьявол с нами!

Эти загадочные слова снова навлекли на Консуэло суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштадтов. Внезапная бледность Амалии, торжественное молчание старых слуг

в красных шароварах, с удивительно похожими друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми, безжизненными глазами рабов, привыкших к своему вечному рабству; эта сумрачная комната, отделанная черным дубом, которую не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей; унылые крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамильные портреты на стенах; громадные вырезанные из дерева головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены, — все до мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшуюся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, тоже не могло способствовать ее успокоению.

— Милая синьора, — сказала та, собираясь угостить ее ужином, — будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов: если вы расскажете их кому-нибудь, никто не поверит, но вы должны дать слово, что обо всем сохраните вечное молчание!..

Не успела баронесса произнести эти слова, как дверь медленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она

никогда не расставалась, вошла в столовую с таким величественно-приветливым видом, какого она не принимала с достопамятного дня, когда императрица Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала замку Исполинов великую честь: остановилась здесь на час отдохнуть и выпить стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая смотрела на нее блуждающим взором, забыв даже встать от изумления и испуга, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки речь, такую обстоятельную и длинную, как будто она давным-давно выучила ее наизусть, поцеловала девушку в лоб. Бедняжка, похолодев как мрамор, решила, что это поцелуй самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно пробормотала слова благодарности.

Заметив, что она смутила гостью более, чем предполагала, канонисса удалилась в гостиную, а Амалия разразилась громким смехом.

— Держу пари, — воскликнула она, — вы подумали, что перед вами тень королевы Либуше! Успокойтесь! Это канонисса — моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее существо в мире.

Едва успев опомниться от пережитого волне-

ния, Консуэло услышала за своей спиной скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренными шагами, и грузный человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица толстых слуг казались бледными и худощавыми, молча прошествовал через всю комнату и вышел в большую дверь, которую лакеи почтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогнулась, а Амалия снова расхохоталась.

— Это, — сказала она, — барон Рудольштадт, самый заядлый охотник, самый большой соня и лучший из отцов. Он только что пробудился от своего послеобеденного сна в гостиной. Ровно в девять часов он встает с кресла и, совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через эту комнату, поднимается в полусне по лестнице и, ничего не сознавая, ложится в постель. С рассветом он просыпается бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начинает энергично готовить к охоте собак, лошадей и соколов.

Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан. Он тоже был толст, но мал ростом и бледен, как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь не полезна для тяжеловесных славянских натур, и полно-

та священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гостье, что-то шепотом сказал слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэло не в состоянии была отличить друг от друга, до того они были во всем одинаковы, могучи и степенны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворяться, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось новое существо, поразительнее всех прежних: то был молодой человеке высокого роста, с необыкновенно красивым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная шуба, отороченная куньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застежками. Длинные черные как смоль волосы в беспорядке свисали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от природы шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив, замерли на месте, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к шедшему за ним графу Христиану, он проговорил мелодичным голосом, в котором чувствовалось

необычайное благородство:

— Уверяю вас, отец, никогда я не был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благодать снизошла на наш дом.

— Да услышит тебя Господь, дитя мое! — ответил старик, простирая руки как бы для благословения.

Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись, с кротким, ясным лицом дошел до середины комнаты, слегка улыбнулся Амалии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэло. Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее.

— Эта молодая особа, — сказала ему по-немецки канонисса, — та самая, которая…

Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей», потом вдруг отвернулся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно вышел через большую дверь.

— Я надеюсь, моя милая, что вы извините… — обратилась к Консуэло канонисса.

— Простите, что я перебиваю вас, тетушка, —

сказала Амалия, — но вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает этого языка.

— Извините меня, милая синьора, — ответила по-итальянски Консуэло, — но в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала, и немецкий помню настолько, чтобы прекрасно все понимать. Правда, я не решаюсь заговорить по-немецки, но если вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро научусь.

— Значит, совсем как я, — снова заговорила по-немецки канонисса, — я все понимаю, что говорит мадемуазель, а вот разговаривать на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу просить ее извинить невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон. Дело в том, что этот молодой человек сегодня сильно занемог и после случившегося с ним обморока еще так слаб, что, верно, не заметил ее… Не так ли, братец? — прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища извинения в глазах графа Христиана.

— Милая сестра, — ответил старик, — вы очень великодушны, желая найти оправдание для моего сына. Но мы попросим синьору не слишком удивляться тому, что она видит. Завтра мы ей

все объясним с той откровенностью, с какою можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в ближайшем будущем — другом нашей семьи.

То был час, когда все расходились по своим комнатам, а в замке все было подчинено таким строгим правилам, что, вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казавшиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй, не обращая внимания на их присутствие, вынести стулья и погасить свечи. Консуэло к тому же мечтала поскорее уйти к себе, и Амалия проводила гостью в нарядную, комфортабельную комнату, которую она велела приготовить рядом со своей собственной.

— Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой, — сказала Амалия, когда канонисса, исполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. — Мне не терпится познакомить вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам придется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверно, так устали, что больше всего хотите отдохнуть.

— Это ничего не значит, синьора, — ответила Консуэло. — Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужденное, что, боюсь, я всю ночь

не сомкну глаз. Поэтому вы можете говорить со мной сколько угодно, но только по-немецки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно канонисса не очень сильны в итальянском языке.

— Давайте условимся так, — сказала Амалия, — вы сейчас ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и отпущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас и мы будем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать. Согласны?

— От всего сердца, — ответила новая гувернантка.

Глава XXV

— Так знайте же, дорогая… — сказала Амалия, закончив свои приготовления и начиная беседу. — Однако я до сих пор не знаю вашего имени, — улыбаясь, прибавила она. — Пора бы нам отбросить все титулы и церемонии: я хочу, чтобы вы меня звали просто Амалией, а я вас буду называть…

— У меня иностранное имя, его трудно произнести, — ответила Консуэло. — Мой добрый учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем: покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам. И вот отныне я разделяю честь носить его имя с великим певцом Уберти: его зовут Порпорино, а меня — Порпорина. Но это слишком длинно, и вы, если хотите, зовите меня просто Нина.

— Прекрасно! Пусть будет Нина, — согласилась Амалия. — А теперь слушайте — мне надо рассказать вам довольно длинную историю. Ведь если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем

доме.

— Я вся слух и внимание, — сказала Консуэло, ставшая Порпориной.

— Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об истории Чехии? — спросила юная баронесса.

— Увы, нет! — ответила Консуэло. — Мой учитель, должно быть, писал вам, что я не получила никакого образования. Единственное, что я немного знала, это история музыки; что же касается истории Чехии, то она так же мало известна мне, как и история всех других стран мира.

— В таком случае, — сказала Амалия, — я вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. Триста с лишним лет тому назад угнетенный и забитый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король издевался над его достоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока, наконец, не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия

реформирована, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию послужила казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского — двух мужественных чешских ученых, стремившихся исследовать и разъяснить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор, им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили национальное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, продлившаяся долгие годы. Эта кровавая война известна под названием гуситской. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми. Чехия наводила ужас на всю Европу. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны — бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и осквернённые храмы, повешенные или брошенные в кипящую

смолу священники и монахи. С другой стороны — обращенные в развалины города, опустошенные края, измена, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, целые овраги, до краев наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы еще долго оставались непобедимыми, мы и теперь с ужасом произносим их имена. А между тем их любовь к родине, их непоколебимая твердость, их легендарные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и молодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства.

— А зачем их скрывать? — наивно спросила Консуэло.

— Да потому, что после долгой, упорной борьбы Чехия снова подпала под иго рабства, потому, моя дорогая Нина, что Чехии больше не существует… Наши властители прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране — это и политическая ее свобода. Вот почему они задушили и ту и другую.

— До чего я невежественна! — воскликнула Консуэло. — Никогда я не слышала о подобных вещах и даже не подозревала, что люди бывали так несчастны и так злы.

— Сто лет спустя после Яна Гуса, — продолжала Амалия, — новый ученый, новый фанатик — бедный монах по имени Мартин Лютер — снова пробудил в народе дух национальной гордости, внушил Чехии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужеземному игу и призвал народ восстать против пап. Наиболее могущественные короли оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соединилась с нами, чтобы раздавить нас, и вот новая война, названная Тридцатилетней, сокрушила, уничтожила нашу нацию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей более сильного противника. Австрия обращалась с нами как с побежденными: она отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено либо бежать с родины, либо переменить свою национальность, отказавшись от своего происхождения, сменив свои фамилии на немецкие (запомните это), отрекшись от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разру-

шены, — словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь всего лишь провинция империи. В славянской земле слышен немецкий говор, — этим сказано все.

— Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его? Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем.

— Тише! Тише! — воскликнула юная баронесса. — Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. Здесь, в замке, только у одного человека хватает храбрости и безумия произносить вслух то, что вы сказали сейчас, дорогая Нина! И человек этот — мой кузен Альберт.

— Так вот причина грусти, которая написана на его лице! — сказала Консуэло. — При первом же взгляде я прониклась к нему невольным уважением.

— О моя прекрасная львица святого Марка! — воскликнула Амалия, пораженная благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо подруги. — Вы все принимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней мой кузен возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.

— Одно может не мешать другому, — возразила

Консуэло. — Но что вы хотите сказать этим, милая баронесса? Объясните.

— Так слушайте же меня хорошенько, — продолжала Амалия. — Наша семья строго католическая — она свято хранит верность церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки по саксонской линии всегда были правоверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя тетя-канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами наших предков, немецких графов и баронов, перед святой церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштадты предпочли скорее лишиться своих протестантских курфюрстов, нежели покинуть лоно римской церкви. Но тетушка никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеку.

— Вы все больше возбуждаете мое любопытство, но не удовлетворяете его. Пока что я поняла только одно: я не должна обнаруживать перед вашими благородными родными, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии.

Вы можете, милая баронесса, положиться на мою осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно.

— Да, это будет разумно, потому что, предупреждаю вас еще раз, мои родные страшно старомодны в этом вопросе. Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста: я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь: тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут лютеранских пререканий, — надо признаться, не менее нудных. Гуситы — эта такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал — это французский дух; и, мне кажется, ничто не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. Время от времени мне удается тайком насладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы я вижу и счастье,

и свободу, и развлечения.

— Вы все больше повергаете меня в изумление, — простодушно сказала Консуэло. — Только что, рассказывая о подвигах ваших древних чехов, вы, казалось, и сами были воодушевлены их героизмом. Я приняла вас за их сторонницу и даже немного за еретичку.

— Я больше, чем еретичка, больше, чем сторонница чехов, — со смехом ответила Амалия, — я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское, и потихоньку, про себя, протестую против Австрии — самой чопорной и самой лицемерной ханжи, какие только бывают на свете.

— А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И такой же поклонник французского духа? Если так, вы должны отлично понимать друг друга.

— Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь, после всех необходимых предисловий, надо, наконец, рассказать вам о нем.

У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого брака. Вторично он женился сорока лет, и от второй жены у него было пять сыновей, которые, как и их мать, умерли от какой-то наследственной болезни — от длительных стра-

даний, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена была чистокровная чешка, по слухам — красавица и умница. Я не знала ее. В большой гостиной вы увидите ее портрет — в ярко-красном плаще и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он шестой и последний из ее детей. Из всех них только он один достиг тридцатилетнего возраста, и то не без труда: здоровый на вид, он перенес тяжкие недуги, и до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, что он намного переживет тот роковой возраст, за который не перешагнула и его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная, и болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то необыкновенные, суеверные мысли. Когда ему было четыре года, он уверял, будто часто видит у своей кровати мать, хотя она умерла и сам он видел, как ее хоронили; по ночам он просыпался от звуков ее голоса. Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать этот призрак, сколько отслу-

жил месс, стремясь его умиротворить! Но ничто не помогло. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях, но однажды признался кормилице, что он и теперь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы помешать ей приходить к нему.

Это был невеселый, молчаливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игрушками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это нагоняло на него еще большую тоску. Наконец, решили не препятствовать более его склонности к учению. И действительно, получив возможность удовлетворить эту свою страсть, он несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить их было немыслимо. Так, например, при виде нищих он заливался слезами, отдавал им все свои детские сокровища, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка, грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися

по нескольку часов. Все это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые прекрасные свойства, доведенные до крайности, превращаются в недостатки или делают человека смешным. Разум маленького Альберта не развивался параллельно с чувствами и воображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того короля варваров, который, слушая рассказ о страданиях Христа, воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось: я изрубил бы тех злых евреев на тысячи кусков!».

Альберт не желал принять людей такими, какими они были прежде и каковы они еще и сейчас. Он винил Бога за то, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своему доброму, нежному сердцу, он, сам того не замечая, стал безбожником и мизантропом. Не в силах понять то, на что сам он был неспособен, Альберт в восемнадцать лет, словно малое дитя, оказался не в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую его положением. Если какой-нибудь человек высказывал при нем одну из тех эгоистических

мыслей, которыми кишит наш мир и без которых мир этот, пожалуй, не может существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого человека, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу отдалялся от него, и ничто не могло заставить его быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обойденными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, играть с которыми всякому другому ребенку было бы и скучно и противно. Своего пристрастия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в этом убедитесь.

Так как при всех своих странностях он был бесспорно умен, обладал прекрасной памятью, имел способность к искусствам, то его отец и добрая тетушка Венцеслава, воспитывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в обществе. Его наивные выходки они объясняли некоторой дикостью — следствием деревенского образа жизни, а когда он заходил в них слишком далеко, старались под каким-нибудь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеться. Но, несмотря на все его достоинства и дарования, граф и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура

все более и более порывает со светскими обычаями и условностями.

— Но до сих пор, — прервала свою собеседницу Консуэло, — я не вижу ничего такого, что говорило бы об упомянутом вами безумии.

— Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа, — ответила Амалия. — Но, быть может, я утомила вас своей болтовней и вы попробуете уснуть?

— Ничуть, дорогая баронесса, прошу вас — продолжайте, — отвечала Консуэло.

И Амалия продолжала свой рассказ.

Глава XXVI

— Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких особых странностей в поведении моего бедного кузена? Сейчас я приведу вам более убедительные доказательства. Мой дядя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и самые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с необыкновенной щедростью раздавали милостыню, причем делали это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой кузен считал, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги неимущим, сами стали нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, с горечью оплакивая судьбу несчастных, которые вечно надрываются за работой, вечно страдают, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал нищим, считая, конечно, что это капля в море, и тут же начинал просить еще более крупные суммы, отказывать в которых ему не решались, так что деньги текли у него

из рук, как вода. Он столько роздал, что во всей округе вы уже не встретите ни одного бедняка, но я должна сказать, что нам от этого не легче: требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются, и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь, благодаря щедротам и сладким речам своего молодого господина, высоко подняли голову. Не будь над нами императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, а с другой — все-таки оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из соседних округов. Они голодают вследствие войны, но благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта известна на тридцать миль вокруг) сели нам на шею, особенно со времени всех этих перипетий с престолонаследием императора Карла.

Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, говорил ему, что ведь отдать все в один день — значит лишить себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас, тогда как над головами тысяч бедняков лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из

нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? А разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других нет ничего? Разве заветы Христа переменились?».

Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого человека в строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на один из тех требуемых временем компромиссов, на которых, как мне кажется, и основано всякое общественное устройство.

Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие государям право посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего честолюбия и тщеславия. Его нетерпимость становилась

опасной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы эта фанатическая любовь к добродетели не повредила им. Не менее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При такой экзальтированной набожности его вполне могли принять за еретика, достойного костра или виселицы. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с королями на спокойствие и благо народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников и честолюбие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. И при всем этом Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, погруженный в глубочайшие размышления, охваченный исступленным восторгом, словно святой. Он соблюдал посты и предавался воздержанию гораздо строже, чем того требовала церковь. Говорили даже, что он носит власяницу и что понадобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало способствовавших его чрезмерной экзальтации.

Когда наши добрые и разумные родные увиде-

ли, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому же еще как противник святой церкви и Священной Римской империи рискует попасть в тюрьму, они с грустью в душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их главными государственными установлениями, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить среди людей, и жить так, как живут они. И вот его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, который понял с полуслова свою роль и взялся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту непримиримую душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды — тщеславие, честолюбие, безразличноспокойное отношение к религии, политике и морали. Не хмурьтесь так, милая Порпорина! Мой почтенный дядя — простой и добрый человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества и излишних рассуждений примирять терпимость с религией, долг христианина

— с обязанностями владетельного вельможи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион таких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт, мудр тот, кто идет вместе с веком и вместе с обществом. А кто стремится вернуться на две тысячи лет назад, тот безумец: никого не убедив, он только приводит в негодование людей своего круга.

Альберт путешествовал восемь лет. Он посетил Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Домой он вернулся через Венгрию, Южную Германию и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные, писал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, своему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия.

Вернувшись домой в начале прошлого года, он после первых объятий и поцелуев сразу же удалился, как мне рассказывали, в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов; затем вышел оттуда страшно бледный и отправился один в горы. В это время

аббат вел откровенную беседу с канониссой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и нравственном состоянии молодого графа. «Граф Альберт, — сказал он им, — уж не знаю, право, отчего — оттого ли, что путешествие сразу изменило его, оттого ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, — граф Альберт, говорю я, с первого дня нашей совместной поездки был таким же, каким вы увидите его сегодня: кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учтивым. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся — безумных трат, резких выходок, высокопарных речей, экзальтированного аскетизма, — мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не выразил желания самостоятельно распорядиться теми суммами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал его желания и, видя, что к нашей карете подходит нищий, спешил подать милостыню прежде, чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия

оказался очень удачным: почти не видя нищеты и недугов, молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его пылкая набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, проводил время в лучшем обществе, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности, дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычное, так это именно чувство меры, осторожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и

страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь щедро наделенном красотой, знатностью и богатством».

Впрочем, в этом отчете не было ничего нового, — он являлся лишь подтверждением частых писем аббата к родным, — но они все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились лишь теперь, когда он подтвердил полное моральное перерождение моего кузена, видимо не опасаясь, что тот на глазах родственников немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго, и когда, наконец, молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. Если в первую минуту свидания лицо его сияло нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько обратились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил с изумлением: «Право, я не нахожу ничего особенного в лице графа — у него все то же благородное, спокойное выражение, какое я привык видеть на протяжении тех восьми лет,

что имел честь состоять при нем».

Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом.

— Когда мы расстались с Альбертом, — сказал он сестре, — на щеках его еще играл румянец юности, а внутреннее возбуждение часто — увы! — придавало блеск его глазам и живость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного солнца, немного похудевшим, вероятно от усталости, и более серьезным, как это и приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он выглядит гораздо лучше?

— В его серьезности чувствуется грусть, — ответила моя добрая тетушка. — Я никогда в жизни не видела двадцативосьмилетнего молодого человека, который был бы таким вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам.

— Граф всегда был скуп на слова, — возразил аббат.

— Прежде это было не так, — сказала каноница. — Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и такие дни, когда он воодушевлялся и говорил целыми часами.

— Я никогда не замечал, — возразил аббат, —

чтобы он изменял той сдержанности, которую вы наблюдаете в нем теперь.

— Неужели он больше нравился вам, когда говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас? — спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. — Ох, эти женщины!

— Да, но тогда он все-таки жил, — сказала она, — а теперь он производит впечатление выходца с того света, равнодушного ко всему земному.

— Таков характер молодого графа, — сказал аббат, — он человек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатлениями, да, говоря откровенно, и не поддается влиянию никаких внешних воздействий. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных; так уж он создан, и я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной предприимчивости.

— О! Я готова поклясться, что его истинный характер вовсе не таков! — воскликнула канонисса.

— Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против столь редкого преимущества, — сказал аббат.

— В самом деле, сестрица, — сказал граф Христиан, — я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, безрассудно смел. Вернулся он к нам таким, каким ему подобает быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение окружающих.

— Но вернулся истертым, как старинная книга, — проговорила тетушка, — а может быть, ожесточенным и презирающим все, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад видеть нас, а мы-то ждали его с таким нетерпением!

— Граф и сам с нетерпением стремился домой, — заметил аббат, — я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не выказывал. Он ведь так необщителен. По природе своей он очень сдержанный человек.

— Наоборот, по природе он очень экспансивен, — горячо возразила канонисса. — Подчас он бывал вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала.

— По отношению ко мне ему никогда ничего не

приходилось заглаживать, — сказал аббат.

— Поверьте, сестрица, так гораздо лучше, — настаивал мой дядя.

— Увы! — воскликнула канонисса. — Неужели всегда у него будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?

— Это гордое, благородное выражение, приличествующее человеку его круга, — сказал аббат.

— Нет! Это просто каменное лицо! — воскликнула канонисса. — Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не добрую и нежную, какой я ее знала, а ледяную и неподвижную, такую, какой она нарисована на портрете в дубовой раме.

— Повторяю вашему сиятельству, — настаивал аббат, — что таково было обычное выражение лица графа Альберта на протяжении этих восьми лет.

— Увы! Значит, вот уже восемь ужасных лет, как он никому не улыбнулся! — воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетушка. — За те два часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой, Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже выбранить, как бывало. Быть может, и теперь, как

прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на шею!

— Сохрани вас Бог от такой неосторожности, дорогая сестра, — проговорил граф Христиан, заставляя плачущую тетушку отвернуться от Альберта. — Не поддавайтесь материнской слабости, — продолжал он, — мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение, господин аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную душу. Смотрите, не испортите все, что он сделал, причудами своей ребячливой нежности.

Канонисса согласилась с этими доводами и постаралась примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к ней привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату: «Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним, как с больным ребенком, а не как с мужчиной, аббат погубил его».

Вечером, отходя ко сну, все начали прощаться; Альберт почтительно склонился под отцовским благословением; когда же канонисса прижала его к своей груди и он заметил, что она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже задрожал и, словно почувствовав нестерпимую

боль, вдруг вырвался из ее объятий.

— Видите, сестрица, — шепотом сказал граф, — он отвык от душевных волнений, вы ему вредите.

Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с тревогой следил глазами за сыном, желая проверить, как тот относится к аббату: не предпочитает ли он теперь его всем своим родственникам? Но Альберт с холодной вежливостью поклонился гувернеру.

— Дорогой сын, — проговорил граф, — мне кажется, что я поступил сообразно твоим желаниям и симпатиям, попросив господина аббата не покидать тебя, как он имел намерение сделать, а остаться с нами возможно дольше. Мне не хотелось бы, чтобы наше счастье — счастье снова быть вместе — омрачилось для тебя каким-либо огорчением, и я хочу надеяться, что твой уважаемый друг поможет нам сделать для тебя эту радость безоблачной.

Альберт ответил на это лишь глубоким поклоном, и какая-то странная улыбка мелькнула на его губах.

— Увы, — сказала бедная канонисса, когда племянник вышел, — вот как он улыбается теперь!

Глава XXVII

— Во время отсутствия Альберта граф и канонисса строили много всяких планов о будущности своего дорогого мальчика, особенно о его женитьбе. С его красотой, именем и со все еще очень значительным состоянием Альберт мог рассчитывать на самую лучшую партию. Однако на тот случай, если бы остатки апатии и нелюдимости помешали его светским успехам, обожавшие его родные держали для него в запасе молодую девушку с таким же знатным именем, как и у него самого, — его кузину, носящую ту же фамилию. Единственная дочь, она была менее богата, чем он, но довольно хороша собой — такими бывают в шестнадцать лет девочки, красивые свежестью молодости. Эта молодая особа — баронесса Амалия фон Рудольштадт, ваша покорная слуга и новая подруга.

«Она, — говорили между собой старики, сидя у камина, — не видела еще ни одного мужчины. Воспитанница монастыря, она с радостью пойдет замуж, лишь бы вырваться оттуда. Претендовать на лучшую партию она не может. А что касается

странностей, которые могут сохраниться в характере ее двоюродного брата, то воспоминания детства, родство, несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и заставят ее, хотя бы из родственного чувства, молчаливо выносить то, чего, быть может, не стала бы терпеть чужая». В согласии моего отца они не сомневались: по правде сказать, собственной воли у него никогда не было, и всю жизнь он поступал так, как того хотели его старший брат и сестра Венцеслава.

После двух недель внимательного наблюдения дядя и тетка поняли, что последнему отпрыску их рода, вследствие меланхоличности и полнейшей замкнутости характера, не суждено покрыть их имя новой славой. Молодой граф не проявлял ни малейшего желания блистать на каком-либо поприще: его не тянуло ни к военной карьере, ни к гражданской, ни к дипломатической. На все предложения он отвечал с покорным видом, что готов подчиниться воле родных, но что ему самому не нужно ни роскоши, ни почестей. В сущности, апатичный характер Альберта был повторением, но в более сильной степени, характера его отца, у которого терпение граничит с безразличием, а скромность является чем-то вроде самоотречения. Что выставляет моего дядю

в несколько ином свете и чего нет у его сына, так это его горячая, притом лишенная всякой напыщенности и тщеславия, преданность общественному долгу. Альберт, казалось, признавал теперь семейные обязанности, но к обязанностям общественным, как мы их понимаем, относился, по-видимому, не менее равнодушно, чем в детские годы. Наши отцы, его и мой, сражались под знаменами Монтекукули против Тюренна. В войну они вносили фанатизм, подогретый сознанием величия империи. В то время считалось долгом слепо повиноваться и слепо верить своим властелинам. Наше более просвещенное время срывает ореол с монархов, и современная молодежь осмеливается не верить ни императорской короне, ни папской тиаре. Когда дядя пытался пробудить в сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все его речи ровно ничего не говорят этому скептически настроенному человеку, ко всему относящемуся с презрением.

«Если уж это так, не будем ему перечить, — решили дядя с теткой, — не будем вредить этому печальному выздоровлению, в результате которого вместо рассерженного юноши нам вернули угасшего мужчину. Пусть живет спокойно, как ему хочется. Пусть будет усидчивым ученым-фи-

лософом, как некоторые из его предков, или же страстным охотником, подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, творящим добро помещиком, каким старается быть его отец. Пусть он ведет отныне спокойную, безобидную жизнь старика; он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодости. Но так как нельзя допустить, чтобы с ним угас и наш род, надо поскорее женить его, дабы наследники нашего имени восполнили этот пробел на блестящих страницах нашей истории. Кто знает, быть может, по воле провидения рыцарская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забурлит с новой силой и отвагой в жилах его потомков?».

И тут же было решено поговорить с Альбертом о женитьбе.

Сначала ему лишь намекали об этом, но, видя, что он и к женитьбе относится с таким же равнодушием, как ко всему прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво. Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение вести себя в женском обществе.

«Надо правду сказать, — говорила тетушка, — что, будь я молодой женщиной, такой угрюмый претендент, как наш Альберт, внушил бы мне больше страха, чем желания выйти за него замуж,

и я бы даже горб свой не променяла на его речи».

«Значит, нам нужно прибегнуть к последнему средству, — решил дядя, — женить его на Амалии. Он знал ее ребенком, смотрит на нее как на сестру, поэтому будет с нею менее застенчив. А так как она характера веселого и решительного, то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альберта из этой меланхолии, которой он поддается все больше и больше».

Альберт не отклонил этого проекта, но и не высказался за него, — он только согласился увидеться со мной и познакомиться ближе. Решено было ни о чем меня не предупреждать, чтобы избавить от обиды отказа, вполне возможного с его стороны. Написали об этом моему отцу и, получив его согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разрешении на наш брак, необходимом ввиду близкого родства. Тем временем отец взял меня из монастыря, и в одно прекрасное утро мы подъехали к замку Исполинов. Наслаждаясь свежим деревенским воздухом, я с нетерпением ждала минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, полный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал.

Первое, что меня поразило в Альберте, это

его красота и благородная осанка. Признаюсь вам, милая Нина, что мое сердечко сильно забилось, когда он поцеловал мне руку, и в течение нескольких дней каждый его взгляд, каждое слово приводили меня в восторг. Его серьезность нисколько не отталкивала меня, а он, по-видимому, не чувствовал в моем присутствии ни малейшего стеснения. Как в дни детства, он говорил мне «ты», и когда, из опасения нарушить светские приличия, старался поправиться, родные разрешали ему это и даже просили сохранять в обращении со мной прежнюю фамильярность. Моя веселость порой вызывала у него непринужденную улыбку, и наша добрая тетушка, вне себя от восторга, приписывала мне одной честь этого исцеления, которое уже считала окончательным. Словом, он относился ко мне кротко и ласково, как к ребенку, и пока что я довольствовалась этим, уверенная, что в недалеком будущем он обратит более серьезное внимание на мою задорную улыбку и на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы ему понравиться.

Однако вскоре, к моему огорчению, мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью, а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетушка обратила его внимание

на прелестное небесно-голубое платье, чудесно обрисовывавшее мою фигуру. А он стал уверять, что платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой любитель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости, вмешался, говоря, что он отлично понимает, почему граф Альберт не разглядел цвета моего платья. Казалось бы, моему кузену представлялся удобный случай сказать мне какую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и золота моих волос. Но он лишь сухо возразил аббату, что различать цвета умеет не хуже его и что платье мое красно, как кровь.

Не знаю почему, но эти странные слова и резкий тон вызвали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала больше бояться его, чем любить. Вскоре я совсем его разлюбила, а теперь и не боюсь, и не люблю. Я просто жалею его — и только. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и поймете меня.

На следующий день мы собирались отправиться за покупками в Тусту, ближайший город. Я очень радовалась предстоящей прогулке. Альберт должен был верхом сопровождать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня в седло. Кареты были поданы и стояли у подъезда,

а Альберт все не появлялся. Его камердинер доложил, что постучался к нему утром, как обычно. Камердинера снова послали справиться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альберта была мания всегда одеваться самому, без чьей-либо помощи, и только выйдя из своей комнаты, он разрешал камердинеру войти туда. Напрасно стучались к нему — он не отвечал. Обеспокоенный этим молчанием, старый граф решил сам отправиться в комнату сына, но ему не удалось ни открыть дверь, запертую изнутри, ни добиться от Альберта хотя бы одного слова. Все начали уже сильно тревожиться, но аббат весьма спокойно объявил, что у графа Альберта бывают иногда припадки непробудного сна, нечто вроде оцепенения, и если его внезапно разбудить, то он бывает очень возбужден и дурно себя чувствует в течение нескольких дней.

«Но ведь это болезнь!» — с тревогой воскликнула канонисса.

«Не думаю, — отвечал аббат, — я никогда не слышал, чтобы он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал в подобных случаях, не находили у графа никакой болезни, а это состояние объясняли переутомлением, физическим или умственным. Они настоятельно советовали

не противиться его потребности в полном покое и забвении».

«И часто это с ним бывает?» — спросил дядя.

«Я наблюдал такое явление лишь пять-шесть раз за все восемь лет, — ответил аббат, — и так как я никогда не тревожил его, то оно проходило без всяких неприятных последствий».

«И долго оно продолжается?» — спросила я в свою очередь, очень раздосадованная.

«Более или менее, — сказал аббат, — в зависимости от того, сколько времени длилась бессонница, предшествовавшая этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это наперед невозможно, так как граф сам не помнит причины или не хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает это с редкой скромностью».

«Значит, он очень начитан?» — спросила я.

«Чрезвычайно», — ответил аббат.

«И никогда этого не выказывает?»

«Он это скрывает, да, пожалуй, и сам не подозревает всей глубины своих знаний».

«На что же они ему в таком случае?»

«Гений как красота, — ответил льстивый иезуит, глядя на меня маслеными глазками, — это милости неба, не внушающие ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен».

Я поняла его наставление и, как вы можете себе представить, еще больше разозлилась. Решено было отложить прогулку до пробуждения моего кузена. Но когда по прошествии двух часов он так и не появился, я скинула свою великолепную амазонку и села вышивать за пяльцы. Не скрою, при этом я изорвала много шелка и пропустила немало крестиков. Дерзость Альберта возмутила меня. Как смел он, сидя над своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со мной и теперь спать непробудным сном, в то время как я его жду?! Время шло, и поневоле пришлось отказаться от поездки в город. Мой отец, вполне удовлетворившись объяснениями аббата, взял ружье и преспокойно отправился стрелять зайцев. Тетушка, менее спокойная, раз двадцать поднималась к комнате племянника, чтобы послушать у его дверей. Но там царила мертвая тишина, не слышно было даже его дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал читать с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окно с досады. Наконец, уже под вечер, тетушка, сияя от радости, пришла сказать, что Альберт встал и

одевается. Аббат посоветовал нам при появлении молодого графа не проявлять ни удивления, ни беспокойства, не предлагать ему никаких вопросов и только стараться отвлечь его, если он будет огорчен случившимся.

«Но если мой кузен не болен, значит, он помешанный?» — воскликнула я, вспылив.

Я сейчас же пожалела о сказанном, увидев, как изменилось от моих жестоких слов лицо бледного дяди. Но когда Альберт, как ни в чем не бывало, вошел, не найдя нужным даже извиниться и, видимо, нимало не подозревая о нашем недовольстве, я возмутилась и поздоровалась с ним очень сухо. Он даже не заметил этого. Видимо, он был весь погружен в свои думы.

Вечером моему отцу пришло в голову, что Альберта может развеселить музыка. Я еще ни разу не пела при нем; моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, искусная Порпорина, мне хвастаться своими познаниями в музыке, но вы сами убедитесь, что у меня недурной голосок и есть врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя: мне больше хотелось плакать, чем петь. Альберт не проронил ни слова, не выказал ни малейшего желания послушать меня. Наконец, я все-таки согласилась, но пела очень

плохо, и Альберт, словно я терзала ему слух, был настолько груб, что после нескольких тактов вышел из комнаты. Мне пришлось призвать на помощь все мое самолюбие, всю мою гордость, чтобы не расплакаться и допеть арию, не порвав со злости струн арфы. Тетушка вышла вслед за племянником, отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать от нее, что с сыном. Один аббат рассыпался передо мной в комплиментах, но они злили меня еще больше, чем безразличие остальных.

«По-видимому, мой кузен не любит музыки», — сказала я.

«Напротив, он очень ее любит, — отвечал аббат, — но это зависит...»

«От того, как поют», — прервала я его.

«...От его душевного состояния, — продолжал он, не смутившись. — Иногда музыка ему приятна, иногда вредна. По-видимому, вы так его растрогали, что он не в силах был владеть собой и ушел, испугавшись, как бы не обнаружить свои чувства. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал».

В лести иезуита было что-то хитрое и насмешливое, возбуждавшее во мне ненависть к этому человеку. Но скоро я была избавлена от него, как

вы это сейчас увидите.

Глава XXVIII

— На следующий день моей тетушке, которая становится разговорчивой лишь тогда, когда она чем-нибудь взволнована, пришла в голову злосчастная мысль затеять беседу с аббатом и капелланом. А так как, помимо родственных привязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное в мире, что ее интересует, — это величие нашего рода, то она не преминула распространиться насчет своей родословной, доказывая обоим священникам, что наш род, особенно по женской линии, самый знаменитый, самый чистый — словом, наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал терпеливо, капеллан — с благоговением, как вдруг Альберт, казалось совершенно не слушавший тетушку, прервал ее с легким раздражением:

«Мне кажется, милая тетушка, что вы заблуждаетесь относительно превосходства нашего рода. Правда, и дворянство и титулы получены нашими предками довольно давно, но род, потерявший свое имя и, так сказать, отрекшийся от него, сменивший его на имя женщины, чу-

жой по национальности и по вере, — такой род утрачивает право гордиться своими старинными доблестями и верностью своей стране».

Это замечание задело канониссу за живое, и, заметив, что аббат насторожился, она сочла нужным возразить племяннику.

«Я не согласна с вами, дорогой мой, — сказала она. — Не раз бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще более, присоединив к своему имени имя материнской ветви, дабы не лишить своих наследников чести происходить от женщины славного рода».

«Но здесь этот пример неприменим, — возразил Альберт с несвойственной ему настойчивостью. — Я понимаю, что можно соединить два славных имени. И нахожу вполне справедливым, чтобы женщина передала детям свое имя, присоединив его к имени мужа. Но полное уничтожение имени мужа кажется мне оскорблением со стороны той, которая этого требует, и низостью со стороны того, кто этому подчиняется».

«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого прошлого, — проговорила с глубоким вздохом канонисса, — и приводите пример еще менее удачный, чем мой. Господин аббат, слу-

шая вас, мог подумать, что какой-то мужчина, наш предок, был способен на низость. Раз вы так прекрасно осведомлены о вещах, которые, как я думала, вам почти неизвестны, вы не должны были делать подобное замечание по поводу политических событий… столь далеких от нас, благодарение Богу…»

«Если сказанное мною вам неприятно, тетушка, я сейчас приведу факт, который смоет всякое позорное обвинение с памяти нашего предка Витольда, последнего из Рудольштадтов. Это, мне кажется, очень интересует мою кузину, — заметил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная тем, что он, вопреки своей обычной молчаливости и философскому образу мыслей, вдруг пустился в такой спор. — Да будет вам известно, Амалия, что нашему прадеду Братиславу едва исполнилось четыре года, когда его мать, Ульрика Рудольштадтская, сочла нужным заклеймить его позором, отняв у него его настоящее имя, имя его отцов — Подебрад, и дав ему взамен то саксонское имя, которое мы теперь носим вместе с вами: вы — не краснея за него, а я — не гордясь им».

«Я считаю по меньшей мере бесполезным вспоминать о вещах, столь далеких от нашей

эпохи», — проговорил граф Христиан, которому, видимо, было не по себе.

«Мне кажется, тетушка заглянула в еще более далекое прошлое, рассказывая нам превеликие заслуга Рудольштадтов, и, по-моему, нет ничего дурного, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он чех, а не саксонец по происхождению, что его зовут Подебрад, а не Рудольштадт, станет рассказывать о событиях, которые произошли всего каких-нибудь сто двадцать лет тому назад».

«Я знал, — вмешался аббат, слушавший Альберта с большим интересом, — что ваш именитый род в прошлом был в родстве с королевским родом Георга Подебрада, но не подозревал, что вы прямые его потомки, имеющие право носить его имя».

«Это потому, — ответил Альберт, — что тетушка, так хорошо разбирающаяся в генеалогии, сочла нужным изъять из своей памяти то древнее и благородное древо, от которого происходим мы. Но то генеалогическое древо, на котором кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная история, еще высится на соседней горе».

Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и больше, а лицо дяди делалось все мрач-

нее, аббат, хотя в нем и было задето любопытство, попробовал переменить разговор. Но мое любопытство было слишком сильно.

«Что вы хотите сказать этим, Альберт?» — воскликнула я, подходя к нему.

«Я хочу сказать то, что должно быть известно женщине из рода Подебрадов, — ответил он. — Я хочу сказать, что на старом дубе скалы Ужаса, на который вы ежедневно смотрите из своего окна, Амалия, и под сень которого я советую вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей, которые теперь почти не растут на нем».

«Это ужасная история, — пробормотал перепуганный капеллан, — не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Альберту».

«Местное предание, а быть может, нечто еще более достоверное, — ответил Альберт. — Как ни сжигай семейные архивы и исторические документы, господин капеллан, как ни воспитывай детей в неведении минувшего, как ни заставляй молчать простодушных людей с помощью софизмов, а слабых — с помощью угроз, — ни страх перед деспотизмом, ни боязнь ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого — они несутся

отовсюду. Нет! Нет! Они слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить их умолкнуть. Когда мы спим, они говорят с нашими душами устами призраков, поднимающихся из могил, дабы предупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят даже из древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастьях и подвигах наших отцов…»

«Зачем, бедный мой мальчик, ты мучаешь себя такими горестными мыслями и роковыми воспоминаниями?» — проговорила канонисса.

«Это ваша генеалогия, тетушка, это путешествие, только что совершенное вами в прошлые века, — это они пробудили во мне воспоминание о пятнадцати монахах, которых собственноручно повесил на ветвях дуба один из моих предков… Да, мой предок, самый великий, самый страшный, самый упорный, тот, кого звали «Грозный слепец», непобедимый Ян Жижка, поборник чаши!».

Громкое, ненавистное имя главы таборитов — сектантов, которые во время Гуситских войн превосходили своим упорством, своей храбростью и жестокостью всех остальных ре-

форматов, — поразило, как удар грома, обоих священников. Капеллан даже осенил себя крестным знамением, а тетушка, сидевшая рядом с Альбертом, невольно отодвинулась от него.

«Боже милостивый! — воскликнула она. — Да о чем и о ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат! Нет, никогда, никогда наша семья не имела ничего общего с тем окаянным, чье гнусное имя он только что произнес».

«Говорите за себя, тетушка, — решительно возразил Альберт. — Вы Рудольштадт в душе, хотя в действительности происходите от Подебрадов. Но в моих жилах течет на несколько капель больше чешской крови и на несколько капель меньше иностранной. В родословном древе моей матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков, она принадлежала к чистой славянской расе. Вы, тетушка, по-видимому, не интересуетесь благородным происхождением, на которое не можете претендовать, а я, дорожа моим славным происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и напомнить вам, если вы забыли, что у Яна Жижки была дочь, которая вышла замуж за графа Прахалица, и что мать моя, будучи сама Прахалиц, является по женской линии прямым потомком Яна Жижки так точно, как вы, тетушка,

потомок Рудольштадтов».

«Это бред, это заблуждение, Альберт…».

«Нет, дорогая тетушка, это вам может подтвердить господин капеллан, человек правдивый, богобоязненный; у него в руках были дворянские грамоты, удостоверяющие этот факт».

«У меня?» — вскричал капеллан, бледный как мертвец.

«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господином аббатом, — с горькой иронией ответил Альберт. — Вы ведь только исполнили свой долг католического священника и австрийского подданного, когда сожгли эти документы на следующий день после смерти моей матери».

«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем этого был один Господь, — проговорил капеллан, еще больше бледнея. — Граф Альберт, кто мог открыть вам это?».

«Я уже сказал вам, господин капеллан: голос, говорящий громче, чем голос священника».

«Что же это за голос, Альберт?» — спросила я, сильно заинтересованная.

«Голос, говорящий во время сна», — ответил Альберт.

«Но это ничего не объясняет, дорогой сын», — сказал граф Христиан задумчиво и грустно.

«Голос крови, дорогой отец!» — ответил Альберт тоном, заставившим всех нас вздрогнуть.

«О Боже мой! — воскликнул дядя, стискивая руки. — Опять те же сны, та же игра больного воображения, которые когда-то так терзали его бедную мать. — И, наклонившись к тетушке, он тихо прибавил: — Должно быть, во время своей болезни она обо всем этом говорила при ребенке, и, очевидно, ее слова запечатлелись в его детском мозгу».

«Это невозможно, братец, — ответила каноница, — Альберту не было и трех лет, когда он потерял мать».

«Вероятнее всего, — вполголоса заговорил капеллан, — что в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых еретических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хранила в силу семейных традиций. Тем не менее перед смертью у нее хватило нравственных сил пожертвовать ими».

«Нет, от них ничего не сохранилось, — проговорил Альберт, не пропустивший ни одного слова, сказанного капелланом, несмотря на то, что тот говорил очень тихо, а сам он возбужденно прохаживался по большой гостиной и в это время был на другом ее конце. — Вы прекрасно знаете,

господин капеллан, что уничтожили все и что на следующий день после ее кончины все обыскали и перерыли в ее комнате».

«Кто же это сумел так засорить твою память, Альберт? — строго спросил граф Христиан. — Какой вероломный или безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум, рассказав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных событиях?».

«Ни один из слуг мне этого не говорил, отец, клянусь моей верой и совестью».

«Значит, это дело рук врага рода человеческого», — пробормотал с ужасом капеллан.

«Пожалуй, было бы более правдоподобно и более по-христиански, — вставил аббат, — допустить, что граф Альберт одарен исключительной памятью и что события, которые обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись навсегда в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я легко могу предположить, что ум этот развился чрезвычайно рано, а что касается его памяти, то она поистине необыкновенна».

«Память моя кажется вам такой необыкновенной лишь потому, что вы сами совершенно лишены ее, — сухо возразил Альберт. — Например, вы не помните, что вы делали в тысяча

шестьсот девятнадцатом году, после того как мужественный, верный протестант Витольд Подебрад (ваш дед, дорогая тетушка), последний предок, носивший наше имя, обагрил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин аббат, что вы забыли о том, как вели себя при этих обстоятельствах».

«Признаюсь, совершенно забыл», — ответил аббат с насмешливой улыбкой, что было не очень учтиво в ту минуту, когда всем нам стало ясно, что Альберт бредит.

«В таком случае, я вам напомню, — сказал Альберт, ничуть не смущаясь. — Вы начали с того, что поспешили дать совет императорским солдатам, только что прикончившим Витольда Подебрада, бежать или спрятаться, так как вы знали, что пильзенские рабочие, имевшие мужество признавать себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли отомстить за смерть своего вождя, готовясь растерзать в клочья его убийц. Затем вы отправились к моей прабабке Ульрике, дрожащей и запуганной вдове Витольда, и предложили ей прощение императора Фердинанда Второго, сохранение ее поместий, титулов, свободы, жизни ее детей — при условии, что она будет следовать вашим советам и платить золотом

за ваши услуги. Она согласилась: материнская любовь толкнула ее на такой малодушный поступок. Она не почтила мученической кончины своего благородного супруга. Она родилась католичкой и отреклась от собственной веры только из любви к мужу. Она не нашла в себе сил пойти на нищету, изгнание, гонения ради того, чтобы сохранить детям веру, которую их отец только что запечатлел своей кровью, и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех своих предков — гуситов, каликстинов, таборитов, сирот, союзных братьев и лютеран» (Все это, милая Порпорина, названия различных сект, объединявших ересь Яна Гуса с ересью Мартина Лютера; к ним, по-видимому, принадлежала и та ветвь рода Подебрадов, от которой происходим мы).

«Словом, — продолжал Альберт, — саксонка испугалась и уступила. Вы завладели замком, вы заставили императорских солдат покинуть его, вы спасли наши поместья. Вы спасли все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей тетушке, на ее счастье, не удалось восстановить родословное древо Подебрадов и она нашла себе пищу более удобоваримую — родословную Рудольштадтов. За ваши труды вы получили большую награду — вы разбогатели,

очень разбогатели. Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в Вену и припасть к стопам императора, который тут же милостиво разрешил ей переменить подданство ее детей, воспитывать их под вашим руководством в католической вере, а в будущем отдать на военную службу и позволить сражаться под теми знаменами, против которых так мужественно боролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы были зачислены в ряды войск австрийского тирана…»

«Ты и твои сыновья!..» — с отчаянием воскликнула тетушка, видя, что он совсем заговаривается.

«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», — ответил пресерьезно Альберт.

«Это имена моего отца и дяди, — пояснил граф Христиан. — Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столетия отделяет нас от этих горестных событий, совершившихся по воле Божьей…».

Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить нас в том, что он — Братислав, сын Витольда, и первый из Подебрадов, носивший материнское имя — Рудольштадт. Он рассказал нам о своем детстве и о пытках, которые перенес граф Витольд и о которых он сохранил самое

ясное воспоминание. Виновником мученической смерти Витольда он считал иезуита Дитмара (которым, по его мнению, был не кто иной, как его аббат). Он говорил также о глубокой ненависти, которую испытывал в детстве к этому Дитмару, к Австрии, к императорской династии и к католикам. Затем его воспоминания стали как-то путаться; он добавил множество непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвращении людей с того света на землю, основываясь при этом на веровании гуситов, утверждавших, будто через сто лет после своей смерти Ян Гус вернется в Чехию, чтобы завершить начатое дело. По словам Альберта, предсказание это исполнилось, так как Лютер, по его мнению, — это воскресший Ян Гус. Одним словом, в его речах была какая-то странная смесь ереси, суеверия, туманной метафизики и поэтического бреда. И все это говорилось так убедительно, с такими точными, интересными подробностями событий, которых он якобы был свидетелем и которые касались не только Братислава, но и Яна Жижки и многих других покойников (он уверял, что все это — его собственные прошлые воплощения), что мы молчали, пораженные, не решаясь ни остановить его, ни противоречить ему. Дядя и

тетушка, ужасно страдавшие от этого, по их мнению, нечестивого безумия, тем не менее хотели до конца разобраться в нем: ведь оно впервые обнаружилось так открыто, и надо же было знать источник беды, чтобы потом иметь возможность с ней бороться. Аббат попытался обратить все в шутку, уверяя, что граф Альберт, забав-ник и насмешник, тешит себя, мистифицируя нас своей невероятной эрудицией.

«Он так много читал, — сказал он, — что был бы в состоянии таким вот образом, глава за главой, рассказать нам историю всех веков, притом с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могли бы подумать, будто он действительно сам присутствовал при всех описанных им сценах».

Канонисса, которая при всей своей пламенной набожности была склонна к суеверию и уже начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень неприязненно к разглагольствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои шуточные пояснения до более веселого случая; затем она стала всячески пытаться вернуть племянника к действительности.

«Берегитесь, тетушка, — нетерпеливо ответил Альберт на ее увещания, — берегитесь, чтобы я

вам не сказал, кто вы такая. До сих пор я гнал от себя эту мысль, но что-то говорит мне, что подле меня стоит сейчас саксонка Ульрика».

«Так вы думаете, бедное дитя мое, — ответила канонисса, — что эта благоразумная, самоотверженная прабабка, сумевшая сохранить своим детям жизнь, а потомкам — независимость, состояние, почести, все, чем они теперь пользуются, — вы думаете, что она возродилась снова во мне? Знайте же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии была бы сделать даже больше, чем она. Я пожертвовала бы своей жизнью, если бы этой ценой могла исцелить ваш помутившийся рассудок».

Альберт некоторое время молча смотрел на тетку, и в его взгляде сквозь суровость проглядывала нежность.

«Нет, нет, — сказал он наконец, подходя к ней и опускаясь у ее ног на колени, — вы ангел, и некогда вы причастились из деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: сегодня ее голос доносился до меня несколько раз».

«Предположите, что это я, Альберт, — проговорила я, пытаясь его развеселить, — только не очень сердитесь на меня за то, что я не предала вас палачам в тысяча шестьсот девятнадцатом

году».

«Вы — моя мать! — воскликнул он, глядя на меня страшными глазами. — Не говорите мне этого, так как я не могу вас простить. Господь возродил меня в лоне более сильной женщины, он закалил кровью Жижки мое естество, каким-то образом сбившееся с правильного пути. Амалия, не смотрите на меня, а главное, не говорите со мной! Это ваш голос, Ульрика, причинил мне сегодня столько страданий!»

С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив нас в самом угнетенном состоянии, ибо мы с горечью убедились в расстройстве его ума.

Было два часа пополудни. Перед этим мы спокойно отобедали. За обедом ничего, кроме воды, Альберт не пил, так что его безумные речи никак нельзя было объяснить опьянением. Тетушка с капелланом сейчас же побежали за ним вслед: считая его тяжелобольным, они хотели чем-нибудь помочь ему. Но — непостижимая вещь! — Альберт исчез, как по волшебству. Его нигде не могли найти: ни в его комнате, ни в комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из закоулков замка. Его всюду искали — в саду, у речного заповедника, в окрестных лесах, в горах. Ни один человек не видел его ни вблизи,

ни издали. Он бесследно исчез. Никто в замке в ту ночь не ложился спать. Слуги с факелами искали его до рассвета.

Все семейство молилось. Следующий день прошел в той же тревоге, а следующая ночь — в том же унынии. Не могу вам передать весь мой ужас — ведь до сих пор я ни разу не испытывала подобных волнений и не переживала столь важных семейных событий. Я была убеждена, что Альберт лишил себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нервный припадок, меня трясла лихорадка. Несмотря на страх, внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во мне все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило сил отправиться на охоту: он воображал, что где-то в глубине лесов нападет на след Альберта. Бедная моя тетушка, терзаемая горем, не падала духом, была деятельна, мужественна, ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молился день и ночь. Видя его горячую веру и стоическую покорность воле Божьей, я пожалела, что не набожна.

Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что совершенно спокоен. «Правда, — говорил он, — граф Альберт во время наших путешествий ни разу не исчезал на такой долгий срок, но

иногда он испытывал потребность уединиться и сосредоточиться». По мнению аббата, лучшее средство против странностей молодого графа заключалось в том, чтобы никогда ему не перечить и делать вид, будто ничего не замечаешь. На самом же деле этот интриган и величайший эгоист думал лишь о том, чтобы получать большое жалованье, и потому старался как можно дольше протянуть срок своего пребывания в гувернерах, вводя семью в заблуждение и приписывая себе несуществующие заслуги. Занятый своими делами и развлечениями, он предоставлял Альберта самому себе и, видимо, совершенно не препятствовал развитию его странностей. Очень возможно, что он не раз видел его нездоровым и возбужденным. И, уж конечно, не мешал ему безудержно предаваться его больной фантазии. Несомненно одно, что аббат умел скрывать все это от тех, кто мог бы рассказать нам что-либо об Альберте. Все письма, полученные дядей от друзей, были полны похвал по поводу наружности и внутренних качеств его сына. Очевидно, Альберт нигде и ни на кого не производил впечатления больного или не вполне нормального человека. Как бы то ни было, но его внутренняя жизнь за все эти восемь лет странствий оставалась для

нас непроницаемой тайной. По прошествии трех суток, видя, что Альберт все не появляется, и опасаясь, как бы это происшествие не повредило его собственным делам, аббат собрался ехать в Прагу, якобы на поиски молодого графа, которого, по его словам, могло привести в этот город желание разыскать какую-нибудь книгу.

«Альберт подобен ученым, — говорил он, — которые так погружены в свои изыскания, что для удовлетворения этой невинной страсти готовы забыть весь мир».

Засим аббат уехал и больше не вернулся.

После целой недели мучительной тревоги, когда мы стали уже совсем отчаиваться, тетушка, проходя вечером мимо комнаты Альберта, вдруг увидела в открытую дверь, что он преспокойно сидит в кресле и гладит собаку, сопровождавшую его в таинственном путешествии. На его платье не видно было ни грязи, ни дыр, только золотое шитье потемнело, словно он побывал в сыром месте или провел эти ночи под открытым небом. Обувь его также была в порядке, — видимо, он ходил не много. Только борода и волосы свидетельствовали о том, что он давно ими не занимался. С этого дня, надо сказать, он перестал бриться и пудрить волосы, как другие мужчи-

ны, — вот почему он вам, Нина, и показался привидением.

Тетушка с криком бросилась к нему.

«Что с вами, милая тетушка? — спросил он, целуя ей руку. — Можно подумать, что вы меня не видели целую вечность».

«Бедный мальчик, — воскликнула она, — ведь ты пропадал целую неделю, ни словом нас не предупредив! Вот уже семь ужасных дней, семь ужасных ночей, как мы тебя ищем, плачем о тебе, молимся за тебя».

«Семь дней? — повторил Альберт, с удивлением глядя на нее. — То есть вы хотите сказать, милая тетушка, — семь часов? Ведь я ушел на прогулку только сегодня утром и, как видите, вернулся, не опоздав к ужину. Неужели я мог до такой степени встревожить вас своим коротким отсутствием?».

«Да, конечно, — проговорила канонисса, боясь ухудшить болезненное состояние племянника, раскрыв ему правду. — Это я обмолвилась: я хотела сказать — семь часов. А тревожилась я потому, что ты не привык к таким длинным прогулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, и это вывело меня из равновесия».

«Милая тетушка, чудесный мой друг! — нежно проговорил Альберт, целуя ее руки. — Вы меня

любите, как малого ребенка. Но отец, надеюсь, не разделял вашей тревоги?».

«Ничуть. Он ждет тебя к ужину. Воображаю, как ты, должно быть, голоден».

«Не очень: я ведь хорошо позавтракал».

«Где и когда, Альберт?».

«Да здесь, сегодня утром, с вами вместе, милая тетушка. Но я вижу, что вы все еще не пришли в себя. Как я огорчен, что так напугал вас. Но мог ли я это предвидеть?».

«Ну, ведь ты меня знаешь. Лучше расскажи, где ты ел и где спал с того времени, как ушел из дома».

«С сегодняшнего утра? Да как же я мог хотеть спать, как мог проголодаться?».

«А быть может, тебе нездоровится?».

«Ничуть».

«Ты не устал? Должно быть, ты много ходил, взбирался на горы? Это очень утомительно. Где же ты был?».

Альберт прикрыл глаза рукой, как бы силясь вспомнить, но не смог.

«Признаться, ничего не помню, — наконец, проговорил он. — Уж очень я был занят своими мыслями. Я шел, ничего не замечая, как, помните, бывало в детстве. Ведь я никогда не мог ответить

ни на один из ваших вопросов».

«Ну, а во время своих путешествий ты обращал больше внимания на то, что видел?».

«Иной раз, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и забыл, благодарение Богу».

«А почему “благодарение Богу”?».

«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные вещи», — ответил он, вставая с мрачным видом, которого до сих пор тетушка в нем не замечала.

Тут она поняла, что не следует больше заставлять его говорить, и поспешила к дяде сообщить, что сын его нашелся. Никто в доме еще не знал этого, никто не видел, как он вернулся. Он появился так же незаметно, как исчез.

Бедный дядя, столь мужественно переносивший горе, не выдержал радости — с ним сделался обморок. Так что, когда Альберт вошел в его комнату, отец выглядел хуже сына. Альберт, который после своих длительных путешествий обычно ничего не замечал из происходившего вокруг, в этот вечер казался совсем другим. Он был очень нежен с отцом, встревожился его плохим видом, допытывался о причине. Когда же ему рискнули намекнуть на то, что довело его отца до такого состояния, он ничего не понял, и из его искренних

ответов было видно, что он решительно ничего не помнит о своем исчезновении, длившемся неделю.

— То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на сон, милая баронесса, — проговорила Консуэло. — Это способно не усыпить меня, как вы ожидали, а свести с ума. Мыслимо ли, чтобы человек прожил целую неделю, ничего не сознавая?

— И представьте, это ничто по сравнению с тем, что вы еще услышите от меня. Я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне, пока вы собственными глазами не убедитесь, что я не только ничего не преувеличиваю, но, напротив, о некоторых вещах умалчиваю, чтобы сократить свой рассказ. Знайте, я говорю вам лишь о том, что видела собственными глазами, и все-таки иногда спрашиваю себя: что же такое Альберт — колдун или человек, издевающийся над нами? Однако поздно; боюсь, что я злоупотребляю вашей любезностью.

— Нет, это я злоупотребляю вашей, — ответила Консуэло. — Вы, должно быть, очень устали от своего рассказа. Хотите, отложим продолжение этой невероятной истории до завтра?

— Хорошо. Итак, до завтра, — сказала юная

баронесса, обнимая ее.

Глава XXIX

Консуэло, выслушав эту действительно невероятную историю, долго не могла заснуть. Темная, дождливая ночь, полная каких-то звуков, похожих на стоны, еще усиливала незнакомый ей дотоле суеверный страх. «Значит, над некоторыми людьми тяготеет непостижимый рок? — говорила она себе. — Чем провинилась перед Богом эта молодая девушка, только что так откровенно и наивно рассказывавшая о своем оскорбленном самолюбии, о своих обманутых радужных надеждах? А что дурного сделала я сама, чтобы моя единственная любовь была так чудовищно поругана и разбита? Какой грех совершил этот нелюдимый Альберт Рудольштадт, чтобы потерять рассудок и способность управлять собственной жизнью? И какое же отвращение должно было возыметь провидение к Андзолетто, чтобы предоставить его, как оно это сделало, дурным склонностям и соблазнам разврата!».

Побежденная усталостью, она, наконец, заснула и погрузилась в бессвязные и бесконечные сновидения. Два-три раза она просыпалась и

снова засыпала, не будучи в силах дать себе отчет в том, где она, и считая, что все еще находится в пути. Порпора, Андзолетто, граф Дзустиньяни и Корилла — все по очереди проходили перед ее глазами, произнося странные, горестные речи, упрекая ее в каком-то преступлении, за которое она несла наказание, хотя и не помнила, чтобы совершала его. Но все эти видения отступали перед образом Альберта. Он беспрестанно появлялся перед ней со своей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой и рассеянными по нему блестками погребальный покров.

Проснувшись, она увидела у своей постели Амалию, уже изящно одетую, свежую, улыбающуюся.

— Знаете, милая Порпорина, — обратилась к ней юная баронесса, целуя ее в лоб, — в вас есть что-то странное. Видно, мне суждено жить с необыкновенными существами, потому что и вы тоже принадлежите к их числу, это несомненно. Вот уже четверть часа, как я смотрю на вас, спящую, чтобы рассмотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Признаюсь, меня это отчасти тревожит, и хоть я и поставила крест на своей любви к Альберту, мне все же было бы немного

обидно, начни он заглядываться на вас. Он ведь здесь единственный мужчина, а я до сих пор была единственной женщиной. Теперь нас две, и, если вы меня затмите, я вам этого не прощу.

— Вам вздумалось насмехаться, — ответила Консуэло. — Это невеликодушно с вашей стороны. Оставьте ваши злые шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенного? Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Думаю, что это именно так.

— Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас, при первом взгляде на вас, когда вы лежали такая бледная, полузакрыв огромные, скорее остановившиеся, чем сонные глаза, свесив с кровати худую руку, сознаюсь — я пережила минуту торжества. Но чем больше я смотрела на вас, тем больше поражала меня ваша неподвижность, ваш поистине царственный вид. Знаете, рука ваша — это рука королевы, а в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, что-то покоряющее — я и сама не знаю что. И вдруг вы начали казаться мне до ужаса красивой, а между тем взгляд у вас очень кроткий. Скажите мне, Нина, что вы за человек? В одно и то же время вы и привлекаете и пугаете меня. Мне очень совестно всех тех глупостей, которые сегодня ночью я успела вам

наговорить. Вы мне еще ничего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки.

— Если у меня вид королевы, что, право, никогда не приходило мне в голову, — ответила Консуэло, грустно улыбаясь, — то разве только королевы жалкой, развенчанной. Красота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хотите знать мое мнение о вас, милая баронесса Амалия, то вы подкупили меня своей откровенностью и добротой.

— Я-то откровенна — это правда, но откровенны ли вы, Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная честность, но способны ли вы открывать душу? Думаю, что нет.

— Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя теперешняя покровительница и хозяйка моей судьбы, должны вызвать меня на откровенность.

— Вы правы. Но ваше благоразумие пугает меня. Скажите, вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие?

— Я не имею на это никакого права. Я ваша учительница музыки, и только. К тому же бедная девушка, вышедшая из народа, как я, всегда должна знать свое место.

— Вы девушка из народа, гордая Порпорина?!

О, это неправда! Этого не может быть! Скорее вы кажетесь мне таинственным отпрыском какого-нибудь княжеского рода. Чем занималась ваша мать?

— Она пела, так же как и я.

— А ваш отец?

Консуэло смутилась. Она не приготовила заранее ответов на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы. Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце, и ей даже не приходило в голову поинтересоваться, кто он был.

— Так я и знала, — воскликнула, заливаясь смехом, Амалия, — ваш отец был испанский гранд или венецианский дож!

Тон этого разговора показался Консуэло легкомысленным и обидным.

— По-вашему, — заметила Консуэло с оттенком неудовольствия, — честный мастеровой или бедный артист не имеет права передать своему ребенку прирожденное благородство? Вам кажется, что дети народа должны быть непременно грубы и уродливы?

— То, что вы сказали, — это колкость по адресу моей тети Венцеславы, — возразила баронесса, смеясь еще громче. — Ну простите меня, дорогая

Нина, если я немножко вас рассердила, и позвольте мне придумать о вас самый красивый роман. Однако, милочка, одевайтесь живее: сейчас зазвонит колокол, и тетушка скорее уморит всех нас голодом, чем прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки, давайте ключи. Должно быть, вы привезли из Венеции прехорошенькие туалеты и теперь просветите меня по части мод: ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране.

Консуэло, торопясь причесаться и даже не слыша, что ей говорит баронесса, отдала девушке ключи, а Амалия, схватив их, поспешно принялась открывать первый сундук, воображая, что он полон платьев; но, к великому ее удивлению, в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых нот — печатных, полустертых от долгого употребления, и рукописных, на первый взгляд совершенно неудобочитаемых.

— Что это такое? — воскликнула она, вытирая поспешно свои хорошенькие пальчики. — У вас, милая Нина, престранный гардероб.

— Это сокровища, — ответила Консуэло, — обращайтесь с ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы величайших композиторов, и я согласилась бы скорее потерять голос, чем не

вернуть ноты маэстро Порпоре, который доверил их мне.

Амалия открыла второй сундук; он был полон нотной бумаги и сочинений о музыке, композиции, гармонии и контрапункте.

— А! Понимаю. Это ваш ларчик с драгоценностями, — проговорила она смеясь.

— Другого у меня нет, — отвечала Консуэло, — и я хочу надеяться, что и вы будете часто пользоваться им.

— В добрый час! Вижу, что вы строгая учительница. Но вы не обидитесь, милая Нина, если я спрошу, где же ваши платья?

— А вон в той маленькой картонке, — ответила Консуэло и, открыв ее, показала баронессе простенькое черное шелковое платье, аккуратно сложенное.

— И это все? — спросила Амалия.

— Да, все, кроме моего дорожного костюма. Через несколько дней я сделаю себе на смену еще такое же черное платье.

— Так вы в трауре, моя дорогая?

— Быть может, синьора, — серьезно ответила Консуэло.

— В таком случае простите меня. Я должна была сама догадаться по вашему виду, что у вас горе,

и я еще больше люблю вас за это. Это сблизит нас, потому что у меня ведь тоже есть причина быть грустной и я могла бы уже носить траур по предназначенному мне супругу. Ах, милая Нина, не ужасайтесь моей веселости, часто я стараюсь заглушить ею глубокое огорчение.

Они обнялись и спустились в гостиную, где их уже ждали.

Консуэло сразу заметила, что в своем простом черном платье и белой косынке, скромно заколотой под самым подбородком булавкой из черного янтаря, она произвела на каноницу благоприятное впечатление. Старый граф Христиан, казалось, теперь меньше ее стеснялся, а любезен был так же, как накануне. Барон Фридрих, учтивости ради не поехавший в этот день на охоту, заранее приготовил для гостьи, желая поблагодарить ее за заботы, которые она принимала на себя в отношении его дочери, уйму любезных фраз, но так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев с ней рядом, он до того наивно усердствовал, угощая ее, что сам встал из-за стола голодный. Капеллан поинтересовался, в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции, затем стал расспрашивать о пышности богослужения в тамошних церквах, об их убран-

стве. Из ответов Консуэло он заключил, что она часто посещала церкви, а когда он узнал, что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое уважение.

На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть, — именно потому, что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она увидела его в зеркале и успела заметить, что одет он очень изысканно, хотя по-прежнему в черном. У него, несомненно, был весьма аристократический вид, но борода, длинные, небрежно свисавшие волосы и загорелое, с желтоватым отливом, лицо придавали ему сходство с красивым, мечтательным рыбаком с берегов Адриатического моря.

Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музыкальное ухо Консуэло, мало-помалу придала ей храбрости, и она подняла на него глаза. Ее удивило, что у него облик и манеры вполне здравомыслящего человека. Говорил он мало, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей руку, правда, не глядя на нее (этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня), но весьма непринужденно и учтиво. Вся дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантасти-

ческого героя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука оказалась теплой и мягкой, как у совершенно здорового человека. Впрочем, Консуэло едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова, а взгляд Амалии, следивший за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить свое достоинство перед этой насмешливой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.

— Знаете, коварная Порпорина, — начала Амалия, садясь рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, — вы делаете чудеса с моим кузеном!

— Пока что я этого не замечаю, — ответила Консуэло.

— Это потому, что вы не соблаговолили обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к столу или вывести из-за стола, тогда как в отношении

вас он проделал это как нельзя более любезно! Правда, сегодня он, по-видимому, переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании.

— Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, — сказала Консуэло.

— Не правда ли, дорогая тетушка, — обратилась Амалия вполголоса к канониссе, которая подошла и уселась между ней и Консуэло, — не правда ли, мой кузен чрезвычайно любезен с милой Порпориной?

— Не насмехайтесь над ним, Амалия, — кротко ответила Венцеслава. — Синьора и без того скоро узнает причину наших горестей.

— Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня прекрасно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы подумать, что он никогда не был болен.

— В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно поражает меня, — сказала канонисса, —

но я уже боюсь верить, что такое счастье может длиться долго.

— Каким добрым и благородным он выглядит! — заметила Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее любимцу.

— Вы находите? — спросила Амалия, пронизывая подругу лукавым и шаловливым взглядом.

— Да, нахожу, — ответила Консуэло решительно. — Я еще вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена.

— О милая девушка! — воскликнула канонисса, вдруг отбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руку Консуэло. — Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боялась, что наш Альберт может напугать вас! Мне очень тяжко бывает читать на лицах людей отчуждение, которое вызывают подобные болезни. Но вы, я вижу, отзывчивый человек и сразу поняли, что в этом больном, измученном теле скрывается возвышенная душа, достойная лучшей доли.

Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей канониссы, порывисто поцеловала ей руку. Она уже чувствовала больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амалии.

Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабрившись, подошел к синьоре Порпорине, чтобы попросить ее об одном одолжении. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат (эта застенчивость, очевидно, была у них в роду, а потому неудивительно, что она дошла до крайней степени у графа Альберта), барон скороговоркой пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством извинений, которые Амалия постаралась перевести и объяснить Консуэло.

— Мой отец спрашивает, — сказала Амалия, — чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добротой, если попросим прослушать мое пение и высказать свое мнение о постановке моего голоса.

— С удовольствием, — ответила Консуэло, быстро подходя к клавесину и открывая его.

— Вот увидите, — шепнула ей Амалия, устанавливая ноты на пюпитр, — Альберт сейчас же сбежит, как ни прекрасны ваши глаза и мои.

Действительно, не успела Амалия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно надеясь быть незамеченным.

— Уже и то хорошо, — все так же тихо сказала

Амалия, продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через несколько тактов, — что он со злости не хлопнул дверью, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать — даже мил.

Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали приговора, который Консуэло должна была вынести своей ученице.

Амалия храбро выбрала арию из «Ахилла на Скиросе» Перголезе и пропела ее от начала до конца свежим, резким голосом, очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слыхавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не улыбнуться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может, даже она когда-то брала уроки у хорошего учителя, но природное легкомыслие мешало ей усвоить основательно что бы то ни было. По той же причине, переоценивая свои силы, она с чисто немецким хладнокровием исполняла

самые смелые и трудные пассажи и, нимало не смущаясь, искажала их. Рассчитывая загладить свои промахи, она форсировала интонацию, усиливала аккомпанемент, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, и изменяла всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэло, не имей она перед глазами нот, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемой вещи.

Между тем граф Христиан, который прекрасно разбирался в музыке, но воображал, судя по себе, что племянница страшно смущена, время от времени повторял, чтобы ободрить ее:

— Хорошо, Амалия, хорошо! Отличная музыка, право же, отличная!

Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела на Консуэло, стараясь предугадать ее мнение по выражению глаз, а барон, не признававший никакой иной музыки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пения, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от этих рулад: никогда до приезда Амалии ему не приходилось слышать ничего подобного, и он, блаженно улыбаясь, покачивал в такт своей

большой головой.

Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству. Она решила с глазу на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем чему-нибудь научиться, а пока ограничилась тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало.

Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереться в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального произведения, которое только что слышала опошленным, мысленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу неприятное впечатление.

Глава XXX

Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло почувствовала себя более непринужденно с этими людьми — она уже успела несколько освоиться с ними — и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе — это было решено ею заранее — и, рассказывая о среде, в которой ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в ней играла. Тщетно старалась любопытная Амалия заставить ее больше рассказать о себе, — Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Причин было много: начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Андзолетто, в случае если бы он стал ее разыскивать, не мог напасть на ее след, — совершенно излишняя предосторожность, ибо

Андзолетто после нескольких слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный в ту пору своими дебютами и своим успехом в Венеции.

С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и одинокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простодушные, набожные люди о ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, никого не посвящая в радостные и горестные минуты своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось — и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души, а раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь че-

ловеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой, деятельной жизни. Перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, играя совершенно другую роль, стать каким-то новым существом.

Это полное отречение от радостей тщеславия, которые утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вернуть хоть частицу былого счастья, — говорила она себе, — счастья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения неизбежно примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и

сильные, которые довольствуются похвалами и тешатся торжеством, — мое не таково: мне дорого обошлось это испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть нескольких друзей!..».

Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Венеции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви. Прежде чем снова выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он недостаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция, что он найдет ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений.

То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими

лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. То было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом. Словом, то была уже не потаенная, еще не понятая красота прежней scolare Zingarella[23], не блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, — теперь это была неясная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководствуется святостью своих побуждений.

Ее хозяева, простодушные и сердечные старики, движимые инстинктивным стремлением ко всему благородному, впитывали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на них из ангельской души Консуэло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное

---

[23] Примечания: 23
Ученицы-цыганочки (*итал.*).

чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способностей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэло — в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему природой. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно с грустью опускался по вечерам в свое кресло, сгорбленный тяжестью лет и горя, на этот раз все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы средоточие своей семьи и принимая участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.

— Видно, Господь услышал наши горячие молитвы, — обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. — Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.

— Да, возблагодарим Господа! — проговорил

старый граф. — Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения, но в течение всего дня, а особенно вечером, я был убежден, что мой сын излечился навсегда.

— Простите меня, — заметила канонисса, — но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, думая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда верила в то, что он во власти двух противоположных сил, которые оспаривают одна у другой его душу: ведь часто после речей, словно внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы, и особенно его последние слова перед уходом: «Мир Господень снизошел на этот дом». Альберт почувствовал, что на него снизошла Божья благодать, и я верю в его исцеление, как в чудо, обещанное Богом.

Капеллан был слишком робок, чтобы сразу согласиться с таким смелым утверждением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким сентенциям, как: «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в Бога», и к разным другим — скорее утешительным, чем

новым.

Граф Христиан колебался между желанием согласиться с суровыми догмами своей доброй сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкому и осторожному догматизму капеллана. Чтобы переменить тему, он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника; это было именно то, о чем Консуэло стала бы молить Бога, если бы ее спросили, чего она хочет.

Наблюдения Амалии были более точны. Теперь для нее было ясно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрыть хаотичность своих мыслей при людях, не внушающих ему доверия или, наоборот, пользующихся его особенным уважением. При некоторых друзьях и родственниках, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности

своего характера. И вот, когда Консуэло выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амалия, мучимая тайной досадой, попыталась вновь разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне.

— Ах, друг мой, — сказала она, — не доверяйте этому обманчивому спокойствию: это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы! Если бы воля родных предназначила вас в жены подобному маньяку, если бы, желая победить ваше молчаливое сопротивление, они составили молчаливый заговор и до бесконечности держали вас пленницей в этом ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если бы вам пришлось ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, — вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.

— Мне кажется просто невероятным, — сказала Консуэло, — что вас могут принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь

вы, по-видимому, кумир всех ваших родных.

— Меня ни к чему не могут принудить, — они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному Богу известно, когда в них умрет, наконец, нелепая надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первое время после своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, который предполагался уже двадцать раз, но так и не был осуществлен. Ах, милая Нина, если бы вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы оказали бы мне величайшую услугу.

— К сожалению, я могу лишь развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным средством и снотворным.

— Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа. Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше…

Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное

отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.

«Он был больше не нужен вам, — ответили ему, — и вернулся к своим делам. Разве до сих пор вы не замечали его отсутствия?»

«Я заметил, — ответил Альберт, — что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета — чего именно».

«Так вы очень страдаете, Альберт?» — спросила канонисса.

«Да, очень», — ответил он таким тоном, словно его спросили, хорошо ли он спал.

«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен?» — в свою очередь, спросил его граф Христиан.

«Очень», — тем же тоном ответил Альберт.

«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался, дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях, я бы немедленно избавил тебя от них?»

«Это так мало прибавляло к моему горю, — ответил Альберт с ужасающим спокойствием. — Я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, отец, но если бы вы удалили аббата, это

мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверное, заменили бы его другим надзирателем».

«Скажи лучше — дорожным спутником. При моей любви к тебе, мой сын, мне больно слышать слово надзиратель».

«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как мучили меня, удаляя от себя и из этого дома, где провидение повелевало мне жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою, и хотя я лучше понимал, что было бы полезнее для нас с вами, мне пришлось подчиниться. Таков был мой долг, и я выполнил его».

«Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязанность к нам, но не можешь ли ты выразить свою мысль яснее?»

«Это очень легко, — ответил Альберт, — и настало время сделать это».

Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа его, наконец, перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласковыми взглядами впервые в жизни излить свои чувства.

По-видимому, он решил довериться нам, и вот что он поведал:

«Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите, как на больного и безумного. Не чувствуй я ко всем вам такой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, решился бы углубить разделяющую нас пропасть и доказал бы вам, что, в то время как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло доступ к истине и к свету. Но, не отказавшись от всего того, что составляет ваш покой, веру и благополучие, вы не в силах были бы понять меня. Когда невольно в порыве восторга мне случается произнести несколько неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего разума — все это до такой степени связано, перепутано ложью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стремясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Между тем и наяву и во сне, и в тиши и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я человек

слишком любящий и слишком слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и велению судьбы. Вот в чем мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понимаете ли вы меня теперь?».

Дядя, тетка и капеллан понимали отчасти, что Альберт создал для себя религию и нравственные правила, совершенно отличные от их собственных, но, будучи правоверными католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не решались вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда было еще очень смутное представление о некоторых особенностях его детства и ранней юности, и потому я решительно ничего не могла понять. К тому же, Нина, в то время я так же мало, как и вы теперь, была осведомлена о том, что такое гуситство, что такое лютеранство. Потом я много и часто слышала об этом, и, правду сказать, бесконечные пререкания на эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на меня невыносимую тоску. Итак, я с нетерпением ждала от Альберта более подробных разъяснений, но их так и не последовало.

«Я вижу, — сказал наконец Альберт, пораженный воцарившимся вокруг него молчанием, — что вы не хотите меня понять из боязни понять слишком хорошо. Пусть будет по-вашему. Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тяготеющую надо мной. Вечно несчастный, вечно одинокий, вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу поддержку и убежище лишь в обещанном мне утешении».

«Что же это за утешение, мой сын? — спросил смертельно огорченный граф Христиан. — Не можем ли мы сами дать тебе его, и неужели мы никогда не сможем понять друг друга?».

«Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам дано только это. И пусть небо будет свидетелем, что наше бесконечное, непоправимое разномыслие никогда не уменьшало моей любви к вам».

«А разве этого недостаточно? — сказала канонисса, беря Альберта за руку, в то время как брат ее пожимал другую его руку. — Разве ты не можешь забыть свои странные мысли, свои удивительные верования и жить любовью среди нас?».

«Я и живу ею, — отвечал Альберт. — Любовь — это благо, которое дает радость или горечь,

в зависимости от того, одну ли веру исповедуют люди, связанные ею. Сердца наши, дорогая тетушка Венцеслава, бьются в унисон, а разум враждует, — и это большое несчастье для всех нас! Я знаю, что вражда эта продлится еще века; вот почему я буду ждать в этом столетии некоего блага, которое мне обещано и которое даст мне силы надеяться».

«Что же это за благо, Альберт? Не можешь ли ты сказать мне?».

«Не могу, потому что оно неведомо и мне самому. Но оно придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать не возвещала мне этого во сне; и все голоса леса, когда я вопрошаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу я бледный, излучающий свет лик ангела, пролетающего над скалой Ужаса. Здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого дуба, в то время, когда мои современники звали меня Жижкой, я был охвачен гневом Божьим и впервые стал орудием Господнего возмездия. Здесь же, у подножия этой самой скалы, я видел, когда звался Братиславом, как под ударом сабли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца Витольда. И это грозное исступление научило меня печали и состраданию, этот день роковой

расплаты, когда лютеранская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика и душегубца, каким я был сто лет назад, в человека слабого и мягкосердечного».

«Боже милостивый! — в ужасе воскликнула тетушка, осеняя себя крестным знамением. — Безумие снова овладело им!».

«Не прерывайте его, сестрица, — остановил каноницу граф Христиан, сделав над собой страшное усилие. — Дайте ему высказать все. Говори же, сын мой. Что сказал тебе ангел у скалы Ужаса?».

«Он сказал мне, что мое утешение уже близко, — ответил Альберт с лицом, сияющим от восторга, — и снизойдет оно в мое сердце, когда мне исполнится тридцать лет».

Бедный дядя поник головой. Указывая на возраст, в котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на собственную смерть. По-видимому, покойная графиня часто во время своей болезни предсказывала, что ни она, ни один из ее сыновей не доживут до тридцатилетнего возраста. Кажется, тетушка Ванда тоже была немного ясновидящей, чтобы не сказать больше; но определенно я ничего об этом не знаю: никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспо-

минания.

Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные этим предсказанием, пытался вынудить Альберта высказаться относительно аббата. Ведь с него-то и начался разговор.

Альберт, в свою очередь, сделал над собой усилие, чтобы ответить капеллану.

«Я говорю вам о божественном и вечном, — сказал он после некоторого колебания, — а вы напоминаете мне о мимолетном, пустом и суетном, о том, что уже почти забыто мною».

«Говори же, сын мой, говори, — вмешался граф Христиан. — Дай нам узнать тебя сегодня!».

«Вы до сих пор не знали меня, отец, и не узнаете в те короткие мгновения, которые вы называете этой жизнью. Но если вас интересует, почему я путешествовал, почему терпел присутствие этого неверного, невнимательного стража, которого приставили ко мне с тем, чтобы он ходил за мной по пятам, как голодный ленивый пес, привязанный к руке слепого, то я в нескольких словах могу объяснить вам это. Слишком долго я мучил вас. Необходимо было убрать с ваших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим увещеваниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы звали моим безумием, но необходимо

было успокоить вас, дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спутником, данным мне вами, и я предоставил ему возможность возить меня по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел также дать ему возможность поддерживать в вас надежду и спокойствие, сообщая о моей кротости и терпении. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настолько умен, что даже и не делал усилий открыть их. Он гулял со мною, одевал и кормил меня, как малого ребенка. Я отказался от той жизни, какую считал для себя правильной, я приучил себя спокойно смотреть на царящие на земле горе, несправедливость и безумие. Я увидел людей и их установления. Негодование сменилось в моем сердце жалостью, когда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В детстве я любил только мучеников; теперь я стал относиться с состраданием и к палачам — жалким грешникам, которые искупают в этой жизни преступления, совершенные ими в прежних воплощениях, и которых Бог обрек за это быть злыми, — пытка, в тысячу раз более жестокая, нежели та, которую испытывают их невинные жертвы. Вот почему теперь я раздаю милостыню

только для того, чтобы облегчить бремя богатства для себя, себя одного, вот почему я больше не тревожу вас своими проповедями, — я понял, что время быть счастливым еще не настало, так как, говоря языком людей, время быть добрым еще далеко».

«Ну, а теперь, когда ты избавился от этого, как ты называешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не видя несчастий, которые ты постепенно устраняешь вокруг себя, не встречая препятствий своим великодушным порывам, — скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой усилие, изгнать из сердца тревогу?».

«Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные, — проговорил Альберт. — Сегодня я не скажу ничего!».

И он сдержал слово даже на больший срок — не раскрывал рта целую неделю.

Глава XXXI

— История Альберта будет закончена в нескольких словах, милая Порпорина, так как мне почти нечего прибавить к уже рассказанному. В течение полутора лет, проведенных мною здесь, фантазии Альберта, о которых вы теперь имеете представление, то и дело повторялись. Только его воспоминания о том, чем он был и что видел в прошлые века, приобрели какую-то страшную реальность — особенно с тех пор, как в нем проявилась необыкновенная, поразительная способность, о которой вы, быть может, слыхали, но в которую я не верила, пока не получила тому доказательств. Говорят, что в других странах эта способность зовется ясновидением и что будто лица, обладающие ею, пользуются большим уважением среди людей суеверных. Что касается меня, то я совершенно не знаю, что думать об этом, не берусь объяснить и вам, но нахожу в этом лишний повод не выходить замуж за человека, который видит за сотни миль каждый мой шаг и в состоянии читать все мои мысли. Для этого надо быть по меньшей мере святой, а разве это

возможно, когда живешь с человеком, как видно, предавшимся дьяволу?

— Вы обладаете способностью все вышучивать, — заметила Консуэло. — Я просто поражаюсь, как вы можете говорить так весело о вещах, от которых у меня волосы на голове становятся дыбом. В чем же заключается это ясновидение?

— Альберт видит и слышит то, чего никто другой не может ни видеть, ни слышать. Если в дом собирается прийти человек, к которому он расположен (причем никто не знает об этом), он заранее отправляется ему навстречу. Точно так же — стоит ему почувствовать приближение того, кого он не любит, как он уходит к себе и запирается.

Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остановился и пошел в обход, прокладывая себе путь среди скал и терновника, для того только, чтобы не пройти по какому-то месту, где, однако, не было ничего примечательного. Через несколько минут они вернулись к этому месту, и Альберт опять поступил точно так же. Отец мой, заметив это, сделал вид, будто что-то потерял, и под этим предлогом хотел подвести его к подножию той ели, которая, по-видимому, внушала ему такую неприязнь. Однако Альберт не только не подошел

к ней, но постарался даже не наступить на тень, отбрасываемую елью поперек дороги, а когда мой отец несколько раз прошел по ней, Альберт был явно взволнован и встревожен. Когда же отец остановился у самого ствола, Альберт вскрикнул и стал настойчиво убеждать его уйти оттуда. Он долго отказывался объяснить эту причуду, но, уступая наконец просьбам всей семьи, поведал, что под этим деревом было когда-то совершено страшное преступление и зарыты трупы. Капеллан, предполагая, что Альберт мог откуда-нибудь узнать о том, что в былое время на этом месте было совершено убийство, решил, что его долг разузнать об этом, дабы предать погребению забытые человеческие останки.

«Подумайте хорошенько о том, что вы собираетесь делать, — сказал капеллану Альберт с тем печальным и в то же время насмешливым видом, который ему свойствен. — Мужчина, женщина и ребенок, которых вы найдете там, были гуситами. Поэтому пьяница Венцеслав, скрываясь в наших лесах и боясь, как бы они не увидели и не выдали его, велел своим солдатам убить их».

С моим кузеном об этом событии больше не заговаривали. Но дядя решил проверить, что это было у его сына — наитие или фантазия, — и

велел ночью раскопать место, указанное моим отцом. Там действительно нашли три скелета — мужчины, женщины и ребенка. Скелет мужчины был покрыт громадным деревянным щитом, какой носили гуситы; щит этот легко было распознать по выгравированной на нем чаше с такой латинской надписью: «О смерть, как горестно вспоминать о тебе злым людям, но с каким спокойствием думает о тебе тот, кто поступает справедливо, памятуя о своей кончине».

Останки их перенесли подальше, в глубь леса, и когда через несколько дней Альберт проходил мимо этой ели, отец мой заметил, что он делает это без малейшего неудовольствия, хотя по виду здесь ничего не переменилось, а земля была попрежнему покрыта камнями и песком. Он уже забыл о волнении, которое испытал здесь, а когда с ним заговорили об этом, с трудом припомнил, как было дело.

«По-видимому, вы ошиблись, — сказал он моему отцу. — Должно быть, я получил предостережение в другом месте. Я уверен, что здесь ничего нет, так как не чувствую ни холода, ни дрожи, ни душевной боли».

Тетушка склонна приписывать эту способность Альберта особой милости провидения, но кузен

мой всегда так мрачен, так измучен и так несчастен, что трудно постигнуть, за что провидение могло бы наградить его таким пагубным даром. Если бы я верила в существование дьявола, то полагала бы более правильным предположение капеллана, считающего все галлюцинации Альберта делом рук врага рода человеческого. Дядя Христиан, который более рассудителен и более тверд в религии, чем все мы, разъясняет весьма правдоподобно многое из того, что происходит с его сыном. Он думает, что, несмотря на все старания иезуитов во время Тридцатилетней войны и в последующий период сжечь все еретические писания в Чехии, и, в частности, те, что находились в замке Исполинов, несмотря на тщательные поиски, которые произвел наш капеллан во всех углах дома после смерти тетушки Ванды, в каком-нибудь тайнике замка могли сохраниться исторические документы времен гуситов, и Альберт нашел их. Дядя Христиан полагает, что чтение этих вредных рукописей произвело сильнейшее впечатление на больное воображение его сына, и некоторые подробности событий прошлого, совершенно теперь забытые, но сохранившиеся в точности в этих рукописях, он наивно приписывает собственным воспо-

минаниям о своем прежнем существовании на земле. Этим легко объясняются все сказки, которые он нам рассказывает, и его непостижимые исчезновения на целые дни и даже недели. Надо вам сказать, что эти исчезновения повторялись не раз, и притом трудно предполагать, чтобы он скрывался где-нибудь вне замка. Каждый раз, когда он исчезал, найти его было совершенно невозможно, хотя мы твердо уверены в том, что ни один крестьянин не давал ему ни пристанища, ни пищи. Мы уже знаем, что у него бывают припадки летаргии и он лежит целыми днями, запершись в своей комнате. Если в это время взломать дверь и начать суетиться вокруг него, с ним случаются судороги. С тех пор как об этом узнали, его, конечно, оставляют в полном покое. По-видимому, в это время в голове его происходят престранные вещи, но никакие звуки, никакое видимое волнение не выдают их, и мы узнаем о них лишь впоследствии, из его же рассказов. Очнувшись, он чувствует себя вначале гораздо лучше и становится вполне разумным, но потом у него снова появляется возбужденное состояние, которое все усиливается, пока не наступает новый приступ. Он как будто предчувствует продолжительность своих припадков, потому

что перед особенно длительными обыкновенно уходит куда-то и прячется, — должно быть, в какой-нибудь горной пещере или в каком-нибудь подвале замка, которые известны ему одному. Открыть его убежище до сих пор не удалось. Это особенно трудно сделать по той причине, что едва лишь за ним начинают следить, наблюдать или просто расспрашивать его, он сейчас же серьезно заболевает. Поэтому родные решили предоставить ему полную свободу: ведь эти исчезновения, так сильно пугавшие нас вначале, теперь кажутся нам благотворными кризисами в его болезни. Когда Альберт исчезает, тетушка, правда, сильно горюет, а дядя молится, но никто не делает попыток найти его. А я, скажу вам откровенно, просто очерствела. Печаль с течением времени превратилась у меня в скуку и отвращение. Для меня лучше умереть, чем стать женой этого маньяка. Я признаю за ним большие достоинства, но хотя, быть может, вы и скажете, что мне не следовало бы придавать значения его странностям, раз они являются следствием болезни, все-таки они раздражают меня — это бич как моей жизни, так и жизни всей нашей семьи.

— Мне кажется, что это не совсем справедливо, милая баронесса, — сказала Консуэло. — Теперь

я прекрасно понимаю ваше нежелание выйти замуж за графа Альберта, но почему вы перестали относиться к нему с участием, этого я постичь не могу.

— Видите ли, мне трудно отделаться от убеждения, что в его помешательстве есть что-то преднамеренное. У него очень сильный характер, и я знаю тысячи случаев, когда ему удавалось овладеть собой. Он даже может, если захочет, отдалить наступление припадка: я сама видела, как он отлично справлялся с ним, когда окружающие не обращали на его состояние особого внимания. И наоборот, когда он видит, что мы готовы поверить ему, боимся за него, он словно нарочно злоупотребляет той слабостью, которую мы к нему питаем, и пытается удивить нас своими выходками. Вот отчего я сержусь и часто прошу его покровителя Вельзевула раз навсегда избавить нас от него.

— Как жестоко вы шутите над несчастным человеком, — сказала Консуэло. — Его душевная болезнь кажется мне скорее удивительной и поэтичной, нежели отталкивающей.

— Воля ваша, милая Порпорина! — возразила Амалия. — Восхищайтесь сколько хотите этими колдовскими фокусами, раз вы в них верите. Я

же беру пример с нашего капеллана, который поручает свою душу Богу и не пытается понять непонятное; я прибегаю к помощи разума и не силюсь постичь то, что найдет когда-нибудь естественное объяснение, но пока еще нам непонятно. Одно несомненно в злосчастной судьбе моего кузена: его разум окончательно отказался работать, а воображение так распустило свои крылья в его мозгу, что череп того и гляди треснет. Что же скрывать! Надо прямо употребить то слово, которое мой бедный дядя Христиан, стоя на коленях перед императрицей Марией-Терезией (она ведь не стала бы довольствоваться недомолвками и намеками), принужден был произнести, обливаясь слезами: «Альберт Рудольштадтский — маньяк, или, если хотите, чтобы звучало приличнее, душевнобольной».

Консуэло ответила лишь глубоким вздохом. Амалия в эту минуту произвела на нее впечатление скверного, бессердечного существа. Но она силилась все же оправдать ее в своих глазах, представляя себе, что должна была выстрадать эта девушка за полтора года такой печальной жизни, жизни, полной бесконечных тревог и волнений. Потом, возвращаясь к собственному горю, она подумала: «Как жаль, что я не могу объяснить

поступки Андзолетто сумасшествием. Если бы среди упоений и разочарований своего дебюта он потерял рассудок, я бы не перестала любить его — я чувствую это, и, если бы его неверность, его неблагодарность можно было приписать безумию, я бы по-прежнему его обожала и тотчас полетела бы ему на помощь».

Прошло несколько дней, однако Альберт ничем не подтвердил уверений своей двоюродной сестры относительно его умственного расстройства. Но вот в один прекрасный день, когда капеллан, совершенно того не желая, чем-то раздосадовал его, он вдруг произнес какие-то бессвязные слова и, по-видимому, заметив это сам, выскочил из гостиной и заперся в своей комнате. Все думали, что он долго пробудет у себя, но через час, бледный и истомленный, он вернулся в гостиную, стал пересаживаться с одного стула на другой, несколько раз останавливался возле Консуэло, хотя, по-видимому, обращал на нее не больше внимания, чем в предыдущие дни, и, наконец, забившись в глубокую нишу окна, опустил голову на руки и остался недвижим.

Амалия в это время как раз собиралась приступить к уроку музыки и теперь особенно спешила начать его, шепотом объясняя Консуэло, что хо-

чет таким способом выпроводить эту зловещую фигуру, от которой веет могильным холодом и которая убивает в ней всякую веселость.

— Мне кажется, — ответила Консуэло, — нам лучше подняться в вашу комнату. Для аккомпанемента достаточно будет вашего спинета. Если граф Альберт действительно не любит музыки, зачем нам увеличивать его страдания и тем самым страдания его родных?

Последний довод убедил Амалию, и они вместе поднялись в комнату баронессы, оставив дверь открытой, поскольку там немного пахло угаром. Амалия собралась было, как всегда, выбрать эффектные арии, однако Консуэло, начавшая уже проявлять строгость, заставила ее взяться за простые, но серьезные мелодии духовных сочинений Палестрины. Молодая баронесса зевнула, рассердилась и заявила, что это варварская и снотворная музыка.

— Это потому, что вы ее не понимаете, — возразила Консуэло. — Дайте я спою несколько отрывков, чтобы показать вам, как чудесно написана эта музыка для голоса, не говоря уже о том, что она божественна по своему замыслу.

С этими словами она села к спинету и запела. Впервые ее голос пробудил эхо в старом замке;

прекрасный резонанс его высоких холодных стен увлек Консуэло. Ее голос, давно молчавший, — молчавший с того самого вечера, когда она пела в Сан-Самуэле, а затем упала без чувств от изнеможения и горя, — не только не пострадал от мук и волнений, но стал еще прекраснее, еще удивительнее, еще задушевнее. Амалия была восхищена и вместе с тем потрясена: она поняла наконец, что не имеет ни малейшего представления о музыке и что вообще вряд ли когда-либо чему-нибудь научится. Вдруг перед молодыми девушками появился Альберт с бледным, задумчивым лицом. Все время, пока продолжалось пение, он, удивленный и растроганный, неподвижно стоял посреди комнаты. Только окончив петь, Консуэло заметила его и немного испугалась. Но Альберт, став перед ней на оба колена и устремив на нее свои большие черные глаза, полные слез, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого акцента:

— О Консуэло! Консуэло! Наконец-то я нашел тебя!

— Консуэло? — воскликнула девушка, недоумевая и тоже по-испански. — Отчего вы так называете меня, граф?

— Я зову тебя Утешением, — продолжал Аль-

берт все еще по-испански, — потому что мне в моей печальной жизни было обещано утешение, а ты и есть то утешение, которое Господь наконец посылает мне, одинокому и несчастному.

— Я никогда не думала, — заговорила Амалия, сдерживая гнев, — чтобы музыка могла оказать такое магическое действие на моего дорогого кузена. Голос Нины создан, чтобы творить чудеса, это правда, но я не могу не заметить вам обоим, что было бы учтивее по отношению ко мне, да и вообще приличнее, говорить на языке, мне понятном.

Альберт, очевидно, не слышал ни единого слова из того, что сказала его невеста. Он продолжал стоять на коленях, глядя на Консуэло с невыразимым удивлением и восторгом, и растроганно повторял:

— Консуэло! Консуэло!

— Как это он вас называет? — с запальчивостью спросила молодая баронесса свою подругу.

— Он просит меня спеть испанский романс, которого я не знаю, — в страшном смущении ответила Консуэло. — Но, мне кажется, нам нужно покончить с пением, — продолжала она, — видимо, музыка слишком волнует сегодня графа.

И она встала, собираясь уйти.

— Консуэло! — повторил Альберт по-испански. — Если ты покинешь меня, моя жизнь кончена и я не захочу более возвращаться на землю!

С этими словами он упал без чувств у ее ног; перепуганные девушки позвали слуг, чтобы те унесли его и оказали ему помощь.

Глава XXXII

Графа Альберта с осторожностью положили на кровать, и, в то время как двое слуг, которые его перенесли, бросились искать капеллана, являвшегося как бы домашним врачом, и графа Христиана, приказавшего раз навсегда предупреждать его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки — Амалия и Консуэло — принялись разыскивать канониссу. Но прежде чем кто-либо из этих лиц успел прийти к больному, — а они сделали это с величайшей поспешностью, — Альберт исчез. Дверь его спальни была открыта, постель едва смята, — его отдых, по-видимому, продолжался не более минуты, — и все в комнате находилось в обычном порядке. Его искали всюду, но, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не нашли. Тогда вся семья впала в то самое состояние мрачной покорности судьбе, о котором Амалия рассказывала Консуэло, и все стали ждать в молчаливом страхе (вошло уже в привычку его не выказывать), трепеща и надеясь, возвращения этого необыкновенного молодого человека.

Консуэло хотела бы скрыть от родных Альберта странную сцену, происшедшую в комнате Амалии, но та успела уже все рассказать, описав в самых ярких красках внезапное и сильное впечатление, какое произвело на ее кузена пение Порпорины.

— Теперь уже нет сомнения, что музыка вредна ему, — заметил капеллан.

— В таком случае, — ответила Консуэло, — я постараюсь всеми силами, чтобы он никогда больше не слышал моего пения, а во время наших уроков с баронессой мы будем так запираться, что ни единый звук не долетит до ушей графа Альберта.

— Это очень стеснит вас, дорогая синьора, — возразила канонисса, — но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше пребывание у нас более приятным.

— Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости, — ответила Консуэло, — и мое единственное желание — заслужить ваше доверие и дружбу.

— Вы благородная девушка, — сказала канонисса, протягивая ей свою руку, длинную, сухую и блестящую, как желтая слоновая кость. — Но послушайте, — добавила она, — я вовсе не думаю,

чтобы музыка была действительно так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что мне рассказала Амалия о сцене, которая произошла сегодня утром в ее комнате, я, напротив, вижу, что он испытал радость, быть может, слишком сильную. И, возможно, его страдание было вызвано именно тем, что вы слишком скоро прервали ваши чудесные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Я слышала, что он прекрасно владеет этим языком, так же как и многими другими, усвоенными им с поразительной легкостью во время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько различных языков, он отвечает, что знал их еще до своего рождения и теперь лишь вспоминает, так как на одном языке он говорил тысячу двести лет тому назад, а на другом — участвуя в крестовых походах. Подумайте, какой ужас! Раз мы ничего не должны скрывать от вас, дорогая синьора, вы еще услышите от племянника немало странных рассказов о его, как он выражается, прежних существованиях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке, которого никто из нас здесь не знает.

В эту минуту Консуэло почувствовала какое-то

безотчетное смущение. Тем не менее она решила сказать почти всю правду и тут же объяснила, что граф Альберт умолял ее продолжать петь и не уходить, говоря, что она приносит ему большое утешение.

— Утешение! — воскликнула проницательная Амалия. — Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетушка, как много оно значит в устах моего кузена.

— В самом деле, он часто повторяет это слово, и оно имеет для него какой-то пророческий смысл, — отозвалась Венцеслава, — но я нахожу, что в этом разговоре он мог употребить его в самом обыкновенном смысле.

— А какое слово он повторял вам несколько раз, милая Порпорина? — настойчиво допрашивала Амалия. — Это было какое-то особенное слово, но волнение помешало мне его запомнить.

— Я и сама не поняла его хорошенько, — ответила Консуэло, делая над собой страшное усилие, чтобы солгать.

— Милая Нина, — сказала ей на ухо Амалия, — вы умны и осторожны, но ведь я тоже неглупа и прекрасно поняла, что вы и есть то магическое утешение, которое было обещано Альберту как раз на тридцатом году жизни. Не пытайтесь

скрыть, что вы это поняли лучше меня: это небесное предопределение, и я не ревную к нему.

— Послушайте, дорогая Порпорина, — сказала канонисса, подумав несколько минут. — Когда Альберт вот так исчезал — внезапно, словно по волшебству, — нам всегда казалось, что он скрывается где-то поблизости, быть может, даже в самом замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному. Не знаю почему, но мне пришло в голову, что, если б вы сейчас запели и он услышал ваш голос, он вернулся бы к нам.

— Если б это было так! — проговорила Консуэло, готовая подчиниться.

— А если Альберт где-то поблизости и музыка только ухудшит его состояние? — заметила ревнивая Амалия.

— Ну что ж? — сказал граф. — Надо сделать эту попытку. Я слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пением рассеивать черную меланхолию испанского короля, подобно тому как юному Давиду удавалось игрой на арфе укрощать ярость Саула. Попробуйте, великодушная Порпорина: душа столь чистая, как ваша, должна распространять вокруг себя благотворное влияние.

Консуэло, растроганная, села за клавесин и

запела испанский церковный гимн в честь Богоматери-утешительницы, которому выучила ее в детстве мать. Он начинался словами «Consuelo de mi alma» («Утешение моей души»). Она спела его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете своей тревоги, всецело отдавшись чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила и в самом замке и вокруг него; окна и двери были распахнуты настежь, чтобы голос Консуэло мог разноситься как можно дальше. Луна своим зеленоватым светом заливала амбразуры огромных окон. Все вокруг было спокойно. Душевные муки слушателей сменились чистым религиозным чувством, как вдруг тяжелый вздох, словно вырвавшийся из глубины человеческой груди, откликнулся на последние звуки голоса Консуэло. Вздох этот был так явствен и продолжителен, что все присутствующие услышали его; даже дремавший барон Фридрих приоткрыл глаза, думая, что его кто-то окликнул. Все побледнели и переглянулись, точно говоря друг другу: «Это не я. Может быть, это вы?». Амалия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть, а Консуэло, которой показалось, что вздох этот раздался совсем подле нее, хотя она сидела за клавесином доволь-

но далеко от всех остальных, так испугалась, что не могла вымолвить ни слова.

— Боже милосердный! — проговорила в ужасе канонисса. — Слышали вы этот вздох? Мне показалось, что он исходил из недр земли.

— Скажите лучше, тетушка, — воскликнула Амалия, — что он пронесся над нашими головами, как дуновение ночи.

— Должно быть, в то время как мы были поглощены музыкой, сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату, а потому мы услышали легкий шум ее крыльев лишь тогда, когда она уже вылетела из окна, — высказал свое предположение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха.

— А может быть, это собака Альберта? — сказал граф Христиан.

— Здесь нет Цинабра, — возразила Амалия, — ведь где Альберт, там и Цинабр. И все-таки кто-то странно вздохнул. Решись я подойти к окну, я могла бы увидеть, не подслушивал ли кто-нибудь пение из сада, но, признаюсь, если б от этого зависела даже моя жизнь, у меня все равно не хватило бы мужества.

— Для девушки без предрассудков, для маленького французского философа вы недостаточно

храбры, дорогая баронесса, — шепотом сказала ей Консуэло, силясь улыбнуться, — попробую, не окажусь ли я смелее.

— Нет, нет, не ходите туда, моя милая, — громко ответила ей Амалия, — и не храбритесь: вы бледны как смерть, и вам еще может сделаться дурно.

— Как при вашем горе вы можете быть способны на такие детские выходки, дорогая Амалия? — проговорил граф Христиан, медленным, твердым шагом направляясь к окну.

Выглянув наружу и никого не увидев, он спокойно закрыл окно со словами:

— Как видно, действительные горести недостаточно остры для пылкого воображения женщин. Их изобретательный ум всегда стремится добавить к ним какие-нибудь вымышленные страдания. В этом вздохе нет, конечно, ничего таинственного. Кто-то из нас, растроганный прекрасным голосом и огромным талантом синьорины, безотчетно для себя самого издал нечто вроде восторженного возгласа, вырвавшегося из глубины души. Быть может, это произошло даже со мной, хотя я сам этого и не заметил. Ах, Порпорина, если вам и не удастся излечить Альберта, то, по крайней мере, вы сумеете излить небесный

бальзам на раны не менее глубокие, чем те, от которых страдает он.

Эти слова доброго старика, всегда разумного и спокойного, несмотря на удручавшие его семейные невзгоды, тоже были небесным бальзамом для Консуэло. Ей захотелось опуститься перед ним на колени и попросить благословить ее так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и как благословил ее Марчелло в тот прекрасный день ее жизни, с которого началась для нее вереница печальных и одиноких дней.

Глава XXXIII

Прошло несколько дней, а о графе Альберте не было никаких известий. Консуэло, которой такое положение внушало мучительную тревогу, удивлялась, видя, что семейство Рудольштадтов переносит гнет этой страшной неизвестности, не проявляя ни отчаяния, ни нетерпения. Привычка к самым тяжелым переживаниям порождает какую-то видимость апатии, а иногда и подлинное очерствение, уязвляющее и даже раздражающее души, чья чувствительность еще не притупилась от продолжительных несчастий. Среди всех этих унылых впечатлений и необъяснимых происшествий Консуэло жила словно в кошмаре, и ей казалось удивительным, что порядок в доме почти не нарушался: как всегда, была деятельна канонисса, по-прежнему барон увлекался охотой, так же неизменно исполнял свои религиозные обязанности капеллан, такой же веселой и насмешливой была Амалия. Эта веселость и живость молодой баронессы особенно возмущали Консуэло. Ей было совершенно непонятно, как та могла хохотать и дурачиться, в то время как сама

она едва в силах была читать или шить.

Канонисса между тем вышивала покров на алтарь замковой часовни. Это было чудо терпения, вкуса и аккуратности. Совершив обход дома, она усаживалась за свои пяльцы, хотя бы для нескольких стежков, пока ей не приходилось снова идти в амбары, в кладовые или в погреба. И надо было видеть, какое значение придавала она всем этим мелочам, как это тщедушное существо своей ровной, полной достоинства, размеренной, но всегда быстрой походкой обходило все закоулки своего маленького царства, тысячу раз за день исколесив во всех направлениях тесное и унылое пространство своих домашних владений. Консуэло не понимала также уважения и восхищения, с каким все в замке и в округе относились к этой роли неутомимой и рачительной экономки, которую пожилая дама взяла на себя с явной готовностью и охотой. Глядя, как она с мелочной бережливостью улаживает ничтожнейшие дела, можно было счесть ее подозрительной или алчной. А между тем в серьезных случаях она проявляла величие и великодушие. И все-таки этих благородных качеств и особенно той чисто материнской нежности, за которые ее так и ценила и почитала Консуэло, было бы недостаточно

для окружающих, чтобы сделать ее героиней семейного очага. Для того чтобы всеми были признаны ее действительно незаурядный ум и сильный характер, нужно было также — и, пожалуй, прежде всего — это священнодействие при ведении обширного хозяйства замка со всеми его пустяками. Не проходило дня без того, чтобы граф Христиан, барон или капеллан не провожали ее восторженным восклицанием: «Сколько мудрости, сколько мужества, сколько силы духа в нашей канониссе!».

Даже Амалия, не умевшая отличать в жизни высокое от пустого, заполнявшего, правда, в другой форме, ее собственное существование, не осмеливалась подтрунивать над хозяйственным пылом тетки, который представлялся Консуэло единственным пятном на лучезарном нравственном облике чистой и любвеобильной горбуньи Венцеславы. Цыганочке, родившейся на большой дороге и брошенной в мир без иного руководителя и покровителя, кроме собственной гениальности, столько забот, такая затрата энергии, такая радость, получаемая от содержания в порядке каких-то вещей и съестных припасов, казались чудовищной тратой душевных и умственных сил. Ей, ничего не имевшей и не жаждавшей

никаких земных благ, тяжело было видеть, как эта прекрасная женщина добровольно надрывается в бесконечных заботах о хлебе, вине, дровах, пеньке, скоте и мебели. Если бы ей предложили самой все эти блага (предмет вожделения большинства людей), она предпочла бы взамен хоть один миг былого счастья, свои лохмотья, свое чудесное небо, свою чистую любовь, свою свободу на венецианских лагунах. Эти горькие и вместе с тем драгоценные воспоминания рисовались ей все в более и более ярких красках, по мере того как она удалялась от этих радостных образов прошлого, погружаясь в ледяную сферу, называемую реальной жизнью.

У нее сжималось сердце, когда с наступлением сумерек канонисса с большой связкой ключей делала в сопровождении Ганса обход всех строений, всех дворов: запирались все выходы, осматривались все закоулки, где могли бы спрятаться злоумышленники, как будто никто не мог заснуть спокойно за этими грозными стенами, пока во рвы, окружающие замок, не ринутся с ревом воды горного потока, пленника расположенного неподалеку шлюза, пока не будут заперты все решетчатые ворота и не будут подняты все подъемные мосты. Как часто приходилось Кон-

суэло во время дальних странствий ночевать с матерью у большой дороги, подостлав под себя лишь полу изодранного материнского плаща! Как часто приветствовала она зарю на белых каменных плитах Венеции, омытых волнами, ни на секунду не опасаясь за свое целомудрие — единственное богатство, которым она дорожила. «Увы, — говорила она себе, — как жалки эти люди, им надо охранять столько добра! День и ночь пекутся они о своей безопасности и, постоянно стремясь к ней, не имеют времени ни добиться ее, ни пользоваться ею». Теперь и она, подобно Амалии, уже томилась в этой мрачной тюрьме, в этом угрюмом замке Исполинов, куда, казалось, боялось заглянуть и само солнце. Но в то время как юная баронесса мечтала о балах, нарядах и поклонниках, Консуэло мечтала о борозде в поле, о кусте в лесу или о лодке вместо любого дворца и о бесконечном звездном небе вместо всяких других зрелищ.

Вследствие сурового климата и затворничества Консуэло поневоле изменила своей венецианской привычке — поздно ложиться и поздно вставать. После многих часов бессонницы, возбуждения, жутких снов ей наконец удалось приноровиться к этим диким монастырским

законам, и теперь она вознаграждала себя одинокими утренними прогулками в ближних горах. Ворота открывали и спускали мосты, едва начинало светать, и в то время как Амалия, до полуночи читавшая тайком романы, спала до самого завтрака, Порпорина шла в лес дышать на свободе свежим воздухом и бродить по росистой траве.

Однажды утром, спускаясь на цыпочках к выходу, чтобы никого не разбудить, она запуталась среди бесчисленных лестниц и бесконечных коридоров замка, в которых еще не умела хорошо разобраться. Заблудившись в лабиринте галерей и переходов, она прошла через какую-то незнакомую ей комнату, похожую на переднюю, надеясь, что тут есть выход в сад. Но вместо этого она очутилась на пороге маленькой часовенки, сооруженной в прекрасном старинном стиле и едва освещенной розеткой — крошечным окошечком в сводчатом потолке. Бледный свет падал оттуда только на середину молельни, оставляя все кругом в таинственном полумраке. Солнце еще не вставало, рассвет был серый и туманный. Сперва Консуэло подумала, что попала в ту самую часовню замка, где уже однажды, в воскресенье, слушала обедню. Она знала, что та часовня вы-

ходила в сад. Но, прежде чем уйти, ей захотелось помолиться, и она опустилась на колени на первой же каменной плите. Однако, как это часто бывает с артистическими натурами, вскоре она отвлеклась, и, несмотря на старание отдаться возвышенным мыслям, молитва поглотила ее не настолько, чтобы помешать ей бросить любопытный взгляд по сторонам. Она тут же поняла, что находится вовсе не в той часовне, где думала, а в каком-то новом месте, где еще никогда не была. Здесь был другой неф, другая лепка. Эта незнакомая часовня была очень мала, но все же рассмотреть ее в полумраке было трудно, и больше всего поразила Консуэло белевшая перед алтарем статуя, стоявшая на коленях в той застывшей и суровой позе, какую в былые времена придавали надгробным изваяниям. Девушка решила, что попала в усыпальницу каких-нибудь славных предков графской семьи, и, сделавшись за свое пребывание в Чехии несколько боязливой и суеверной, поспешила окончить молитву и встала, собираясь уйти.

Но в ту минуту, когда она в последний раз робко посмотрела на коленопреклоненную фигуру, стоявшую от нее шагах в десяти, она ясно увидела, как статуя разжала каменные руки и, тяжко

вздыхая, осенила себя крестом.

Консуэло едва не упала без чувств, но не могла оторвать блуждающий взор от страшной каменной фигуры. Теперь она была еще более убеждена в том, что это статуя: ведь, не услышав вырвавшегося из ее груди крика ужаса, фигура снова сложила свои большие белые руки, видимо не имея ничего общего с внешним миром.

Глава XXXIV

Если бы изобретательная и плодовитая Анна Рэдклиф была на месте простодушного и неумелого повествователя этой весьма правдивой истории, она не упустила бы столь удобного случая поводить вас, милая читательница, по коридорам, винтовым лестницам, люкам и мрачным подземельям на протяжении по меньшей мере полудюжины прекрасных и увлекательных томов, с тем чтобы только в седьмом разоблачить все тайны своего искусного сооружения. Но читательница-вольнодумка, которую нам приходится развлекать, в наше время, пожалуй, не отнеслась бы так добродушно к невинной литературной уловке романиста. И так как обмануть ее было бы очень трудно, уж лучше как можно скорее открыть разгадку всех наших загадок. Откроем даже сразу целых две: Консуэло, едва успев прийти в себя, узнала в ожившей статуе, стоявшей перед нею, старого графа Христиана, читавшего про себя утренние молитвы в своей молельне, а в тяжком вздохе, который невольно вырвался у него, как это часто случается со стариками, она

признала тот самый дьявольский вздох, который послышался ей в тот вечер, когда она пела гимн Богоматери-утешительнице.

Немного устыдившись своего испуга, Консуэло, исполненная почтения, продолжала стоять, точно прикованная к месту, опасаясь потревожить столь пламенную молитву. Это было трогательное и торжественное зрелище — старик, распростертый на каменных плитах, который от всего сердца возносит на рассвете Богу свои молитвы, погруженный в экстаз и, видимо, совершенно отрешившийся от реального мира. На благородном лице графа Христиана не отражалось никаких мучительных переживаний. Свежий ветерок, врывавшийся в дверь, которую Консуэло оставила полуоткрытой, развевал серебристые волосы, обрамлявшие полукругом его затылок; широкий лоб старика, сливавшийся с большой лысиной, блестел, словно старый, пожелтевший мрамор. В старомодном белом шерстяном халате, слегка напоминавшем монашескую рясу и спадавшем с его исхудавших плеч недвижными тяжелыми складками, он действительно походил на надгробную статую. И когда он снова застыл в своей молитвенной позе, Консуэло принуждена была дважды посмотреть на него, чтобы опять не под-

даться первоначальному заблуждению.

Став в сторонке, откуда было лучше видно, она принялась внимательно наблюдать за ним, и вот, все еще полная восхищения и умиления, она вдруг невольно подумала о том, сможет ли эта молитва старика способствовать исцелению его несчастного сына, и вообще были ли в этой душе, столь пассивно подчинявшейся догматам религии и суровым приговорам судьбы, тот пыл, тот разум, то рвение, которые Альберт должен был бы найти в душе своего отца? У сына тоже была мистически настроенная душа, он тоже вел набожную и созерцательную жизнь, но из всего того, что ей рассказала Амалия, и из того, что ей довелось видеть самой за несколько дней, проведенных в замке, у Консуэло сложилось такое впечатление, будто у Альберта никогда не было ни советчика, ни руководителя, ни друга — никого, кто бы мог направить его воображение, умерить пылкость его чувствований и смягчить фанатическую суровость его добродетели. Она поняла, каким одиноким и даже чужим чувствовал он себя в своей семье, которая упорно противоречила ему или молчаливо жалела, как еретика или сумасшедшего. Она и сама начинала чувствовать нечто вроде раздражения при виде

этой бесконечной, бесстрастной молитвы, которая была обращена к небу, дабы поручить ему то, что давно должны были сделать люди: искать беглеца, найти его, убедить и вернуть домой. Ведь каково должно было быть отчаяние и невыразимое смятение этого доброго, привязчивого молодого человека, если он мог бросить своих близких, не думая о страшном беспокойстве и волнениях, которые он доставляет самым дорогим для него существам.

Принятое всеми решение никогда ему не прекословить и в минуты ужаса притворяться спокойными казалось прямому и здравому уму Консуэло какой-то преступной небрежностью или грубой ошибкой. Она чувствовала в этом гордость и эгоизм людей ограниченных, нетерпимых к чужим верованиям, считающих, что на небо ведет лишь один путь — тот, который сурово начертан рукою священника.

«Господи! — от всего сердца молилась Консуэло. — Неужели возвышенная душа Альберта, такая пламенная, такая милосердная, не загрязненная человеческими страстями, неужели в твоих глазах она менее драгоценна, чем души терпеливых, но праздных людей, которые терпят мирское зло и не возмущаются тем, что справед-

ливость и истина попраны на земле? Возможно ли, чтобы дьявол владел этим юношей, который в детстве отдавал все свои игрушки, все свои вещи детям бедняков, а достигнув зрелости, хотел раздать все свои богатства, дабы облегчить человеческое горе? А они, эти знатные господа, кроткие и благодушные, оплакивающие бесплодными слезами людские несчастья и облегчающие их ничтожными подаяниями, не ошибаются ли они, воображая, будто скорее заслужат рай своими молитвами и подчинением императору и папе, чем великими делами и огромными жертвами? Нет, Альберт не безумец! Какой-то внутренний голос говорит мне, что это прекраснейший образец праведника и святого из всех, созданных природой. И если тягостные сны и странные призраки затмили ясность его рассудка, если, наконец, он душевнобольной, как они думают, то его довели до этого тупое неприятие его взглядов, отсутствие понимания и сердечное одиночество. Я видела каморку, где некогда был заперт Тассо, которого сочли сумасшедшим, и я подумала тогда, что, быть может, он просто был доведен до отчаяния несправедливостью. Я не раз слышала в гостиных Венеции, как называли безумцами тех христианских мучеников,

над трогательной историей которых я в детстве проливала слезы, — их чудеса считали там шарлатанством, а их откровения — болезненным бредом. Но по какому праву эти люди, этот набожный старик, эта робкая канонисса, верящие в чудеса святых и в гениальность поэтов, — по какому праву они произносят над своим чадом такой позорный и отталкивающий приговор, применимый лишь к убогим и преступным? Сумасшедший! Но ведь сумасшествие — это нечто ужасное, отталкивающее, это наказание Божье за тяжкие преступления, а тут человека считают безумным из-за того, что он добр! Я думала, что, если кто-то изнемог под тяжестью незаслуженного несчастья, он имеет право на уважение и сочувствие. А что, если бы я сошла с ума, если бы в тот ужасный день, когда я увидела Андзолетто в объятиях другой, я стала богохульствовать, неужели и я потеряла бы тогда всякое право на советы, на поддержку, на духовную заботу обо мне моих братьев христиан? Значит, они прогнали бы меня и позволили бродить по большим дорогам, думая про себя: «Для нее уже нет спасения, подадим ей милостыню и не станем разговаривать с ней — она слишком много страдала и уже не может понимать нас». А ведь именно так от-

носятся здесь к несчастному графу Альберту! Его кормят, одевают, за ним ухаживают, — словом, ему бросают подачку в виде мелочных забот. Но с ним не разговаривают: молчат, когда он спрашивает, опускают головы или отворачиваются, когда он пытается в чем-то убедить. Когда же он, чувствуя весь ужас одиночества, стремится к еще большему уединению, ему предоставляют возможность бежать куда-то, а сами ждут его и молят Бога, чтобы он сохранил им его и вернул живым и невредимым, словно между ним и теми, кого он любит, — целый океан. Между тем все предполагают, что он где-то рядом. Меня просят петь, чтобы разбудить его на тот случай, если он лежит в летаргическом сне за какой-нибудь толстой стеной или в дупле какого-нибудь старого дерева поблизости. Как могли они не проникнуть в тайны этого старинного здания, как могли, разыскивая, не дорыться до самых недр земли? О, будь я на месте отца или тетки Альберта, я не оставила бы камня на камне, пока не нашла бы его! Ни одно дерево в лесу не уцелело бы, пока не отдало бы его мне».

Погруженная в свои мысли, Консуэло тихонько вышла из молельни графа Христиана и, сама не зная как, набрела на дверь, выходившую наружу.

Блуждая по лесу, она отыскивала самые дикие, самые непроходимые тропинки; бродила она, влекомая романтическим, полным героизма стремлением и надеждой разыскать Альберта. В этом смелом желании не было никаких низменных побуждений, не было и тени безрассудной прихоти. Правда, Альберт заполонил ее воображение, ее мечты, но она разыскивала в этих пустынных местах не молодого красавца, увлеченного ею, чтобы встретиться с ним наедине, а несчастного благородного человека, которого мечтала спасти или хотя бы успокоить своею нежной заботой. Точно так же она стала бы разыскивать старого, больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или заблудившегося ребенка, чтобы вернуть его матери. Она сама была еще ребенком, но в ней уже пробудилось материнское чувство, у нее была наивная вера, пламенное милосердие, восторженная храбрость. Подобно Жанне д'Арк, мечтавшей об освобождении своей родины и решившейся на подвиг, она мечтала об этом паломничестве и предприняла его. Ей и в голову не приходило, что кто-нибудь может осмеять или осудить ее решение. Она не могла понять, как Амалия, близкая Альберту по крови и вначале надеявшаяся снискать его

любовь, не додумалась сама до такого плана и не осуществила его.

Она шла быстро, никакие препятствия не останавливали ее. Тишина, царившая в этих дремучих лесах, теперь не навевала на нее грусти и не пугала. Видя на песке следы волков, она нисколько не боялась встречи с их голодной стаей. Ей казалось, что ее направляет перст Божий, делающий ее неуязвимой. Она, знавшая наизусть Тассо (недаром распевала она его чуть не каждую ночь на лагунах), воображала, что идет под защитой талисмана, как некогда шел среди опасностей заколдованного леса великодушный Убальдо в поисках Ринальдо. Легкая, стройная, она пробиралась среди скал и колючих кустарников; на челе ее сияла тайная гордость, а на щеках выступил легкий румянец. Никогда в героических ролях не была она так прекрасна, а между тем в эту минуту она так же не думала о сцене, как, играя на ней, не думала о самой себе.

Поглощенная своими мечтами и мыслями, она изредка останавливалась.

«А что, если я вдруг встречу его, — спрашивала она себя, — что смогу я сказать ему, чтобы убедить его и успокоить? Я ведь ничего не знаю о таинственных и высоких материях, волную-

щих его. Я вижу их только сквозь поэтическую завесу, едва приподнятую перед моими глазами, ослепленными новыми видениями. Ведь мало рвения и любви к ближнему — надо еще обладать знанием и красноречием, чтобы найти слова, достойные быть выслушанными человеком, стоящим настолько выше меня, безумцем более мудрым, чем все рассудительные люди, среди которых я жила. Но Господь вдохновит меня, когда настанет эта минута, а теперь не стоит придумывать, я еще больше заплутаюсь в дебрях своего невежества. Ах! Если бы я прочла столько религиозных и исторических книг, как граф Христиан и канонисса Венцеслава, если бы знала наизусть все церковные правила и молитвы, — вот тогда я, может быть, смогла бы удачно применить их при случае, но ведь я едва поняла, а потому едва заучила несколько мест из катехизиса. Да и молиться-то я умею, только когда пою в церкви. Как ни сильно действует на Альберта музыка, не смогу же я убедить этого ученого богослова какой-нибудь музыкальной фразой. Ничего! Мне кажется, что в моем сердце, преисполненном решимости, больше силы, чем во всех ученых догматах его родных, очень добрых и кротких, но вместе с тем нерешительных и холодных, как

туманы и снега их страны».

Глава XXXV

После бесконечных поворотов и переходов по извилистым и путаным тропинкам леса, разбросанного по гористой и неровной местности, Консуэло очутилась на пригорке, среди скал и развалин, которые даже трудно было отличить друг от друга, — столь разрушительно действовала здесь когда-то рука человека, соперничая с разрушительной рукой времени. Лишь гора обломков высилась теперь там, где в былое время целая деревня была сожжена по приказу «Грозного слепца», знаменитого главы каликстинов Яна Жижки, потомком которого считал себя Альберт и от которого, быть может, он происходил на самом деле. В одну темную, зловещую ночь этот свирепый и неутомимый полководец отдал приказ своему войску взять приступом крепость Исполинов, находившуюся тогда в руках саксонцев, приверженцев императора. Послышался ропот солдат, а один из них, стоявший неподалеку, проговорил: «Этот проклятый слепой воображает, что все, как и он, могут обойтись без света!». Услышав это, Жижка обратился к одному

из четырех своих ближайших приверженцев (они безотлучно находились при нем, правя его лошадью или повозкой, сообщая ему самые точные сведения о топографии местности и передвижении неприятеля) и сказал, обнаружив при этом необыкновенную память и прозорливость, заменявшие ему зрение:

— Кажется, тут есть поблизости деревня?

— Да, отец, — ответил ему проводник таборитов, — направо от тебя, на холме, что против крепости.

Жижка подозвал недовольного солдата, чей ропот привлек его внимание.

— Мальчик, — сказал он ему, — ты жалуешься на темноту? Так отправляйся поскорее вон в ту деревню, что направо от меня на холме, и подожги ее: при свете пламени мы сможем выступить и сражаться.

Страшный приказ был выполнен. Пылающая деревня освещала передвижение и штурм таборитов. Замок Исполинов пал через два часа, и Жижка завладел им. Когда рассвело, Жижке доложили, что среди обгорелых развалин деревни, на самой вершине холма, с которого солдаты наблюдали накануне за действиями осажденных, уцелел, сохранив свою листву, молодой, но

уже крепкий дуб, единственный во всей округе. Очевидно, он не пострадал от пламени благодаря колодезной воде, питавшей его корни.

— Я хорошо знаю этот колодец, — ответил Жижка, — десять человек из наших были брошены туда проклятыми жителями этой деревни, и после того камень, закрывающий колодец, ни разу не был сдвинут с места. Пусть останется он там и послужит им надгробным памятником. Мы ведь не из тех, кто верит, будто блуждающие души умерших будут отогнаны от врат рая покровителем Рима — Петром-ключарем, которого они превратили в святого, отогнаны только потому, что тела их гниют в земле, не освященной жрецами Ваала. Пусть кости наших братьев почивают с миром в этом колодце, — души их живы, они уже возродились в новых телах, и эти мученики, хотя мы и не знаем их, сражаются среди нас. Что касается жителей деревни — они получили возмездие по заслугам. А дуб хорошо сделал, посмеявшись над пожаром: ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под своей тенью неверующих. Нам нужна виселица, вот мы ее и нашли. Приведите ко мне двадцать монахов-августинцев, которых мы захватили вчера в их монастыре и которые так неохотно

следуют за нами. Давайте-ка развесим их повыше на ветвях этого славного дуба! Такое украшение окончательно вернет ему здоровье.

Сказано — сделано. С этого времени дуб зовется Гуситом, камень на колодце — скалой Ужаса, а покинутый холм, где была разрушенная деревня, — Шрекенштейном.

Консуэло слышала уже со всеми подробностями эту мрачную историю от баронессы Амалии. Но так как она видела это место лишь издали и ночью, подъезжая к замку, то не узнала бы его, если бы не заглянула в овраг, пересекавший дорогу, и не увидела на дне его огромные обломки дуба, расщепленного молнией. Никто из деревенских жителей или из слуг замка не решился до сих пор ни порубить, ни вывезти их оттуда. Прошли столетия, и все-таки этот памятник ужаса, современник Яна Жижки, не переставал внушать людям сильнейший суеверный страх.

Видения и предсказания Альберта делали это трагическое место еще более волнующим. И вот измученная усталостью Консуэло, попав неожиданно одна на скалу Ужаса и даже присев на нее, вдруг почувствовала, что мужество ее покидает, а сердце сжимается. Ведь не только Альберт, но и все местные обитатели гор уверяли, что

страшные призраки действительно появляются здесь, обращая в бегство отважных охотников, решавшихся пробираться сюда за дичью. Вот почему этот холм, хоть и расположенный совсем недалеко от замка, служил надежным убежищем для волков и других хищников, спасавшихся здесь от барона и его собак. Невозмутимый Фридрих не очень-то верил в возможность встречи с дьяволом и даже ничего не имел против того, чтобы помериться с ним силами, но, суеверный по-своему в области наиболее ему близкой, он был убежден, что это место может погубить его собак, навлечь на них неведомые, неизлечимые болезни. Он потерял нескольких из них только потому, что позволил им напиться из чистых ручейков, образованных подземными ключами, вырывавшимися из холма и, быть может, сообщавшимися с водой заделанного колодца — могилы древних гуситов. И стоило его пинчеру Панкену или гончей Сапфиру начать носиться вокруг Шрекенштейна, как барон, свистя изо всех сил, немедленно отзывал их оттуда.

Консуэло, устыдившись приступа малодушия, сказала себе, что она его поборет, и решила посидеть еще немного на роковом камне, а затем медленно отойти от него, как подобает при по-

добном испытании человеку уравновешенному. Но отведя глаза от обуглившегося дуба, обломки которого валялись на дне глубокого оврага в двух сотнях шагов от нее, и оглянувшись вокруг, она вдруг увидела, что находится на скале Ужаса не одна, что какая-то загадочная фигура бесшумно уселась с ней рядом.

Это было существо с большой круглой головой, сидевшей на уродливом, худом и изогнутом, как у кузнечика, теле. На нем был какой-то странный балахон, неряшливый и даже грязный, не характерный ни для одной страны и ни для одной эпохи. Однако в этой фигуре, если не считать ее своеобразия и неожиданности появления, не было ничего страшного или враждебного. Кроткая, ласковая улыбка мелькала на толстых губах этого нелепого существа, и какое-то детское выражение смягчало выражение безумия, о котором свидетельствовали мутный, бессмысленный взгляд и торопливые движения. Консуэло, очутившись наедине с сумасшедшим в таком месте, куда, конечно, никто не пришел бы к ней на помощь, не на шутку перепугалась, несмотря на бесконечные поклоны и добродушный смех безумца. Она решила, чтобы не дразнить его, ответить на его поклоны и кивки, но тут же поспешно встала и,

бледная, дрожа от страха, пошла прочь.

Сумасшедший не стал ее преследовать и ничего не-сделал, чтобы вернуть ее. Он только влез на скалу Ужаса и, следя глазами за удалявшейся Консуэло, продолжал помахивать ей шапкой, прыгая, делая всевозможные движения руками и ногами и все время бормоча какое-то непонятное для девушки чешское слово. Отойдя от него на некоторое расстояние и несколько расхрабрившись, Консуэло оглянулась, чтобы хорошенько разглядеть его и расслышать. Она уже упрекала себя за то, что испугалась одного из тех несчастных, которых всегда так жалела и за презрение и равнодушие к которым так негодовала на других людей еще минуту назад. «Это добродушный безумец, — решила она, — быть может, он даже сошел с ума от любви. Только на этой проклятой скале, к которой никто не смеет приблизиться и где демоны и привидения более человечны, чем люди, ибо они не прогоняют его и не нарушают его веселого настроения, — только здесь он нашел убежище от бесчувствия и презрения себе подобных. Бедняга с седой бородой и сгорбленной спиной, ты смеешься и дурачишься, как малое дитя. Верно, Господь охраняет и благословляет тебя в твоем несчастье, раз он посылает тебе

веселые мысли, а не сделал тебя озлобленным человеконенавистником, каким ты имел бы право стать».

Сумасшедший, увидев, что она замедлила шаг, и словно поняв ее доброжелательный взгляд, заговорил с ней чрезвычайно быстро по-чешски. Голос у него был удивительно приятный, мелодичный, совершенно не соответствовавший его безобразной внешности. Консуэло, не поняв его, подумала, что надо дать ему милостыню, и, вынув из кармана монету, положила ее на большой камень, предварительно подняв руку, чтобы он видел, куда она ее кладет. Но сумасшедший стал хохотать еще пуще и, потирая руки, сказал ей на плохом немецком языке:

— Напрасно, напрасно… Зденко ничего не нужно. Зденко счастлив, очень счастлив! У Зденко есть утешение, утешение, утешение…

Затем, точно вспомнив слово, которое давно искал, он в радостном порыве закричал совершенно внятно, хотя и с очень дурным произношением:

— Consuelo, Consuelo, Consuelo de mi alma!

Пораженная, Консуэло остановилась и обратилась к нему тоже по-испански.

— Отчего ты так называешь меня? — крикнула она. — Кто сказал тебе это имя? Понимаешь ли

ты язык, на котором я говорю с тобой?

Напрасно ждала Консуэло ответа на все эти вопросы, — сумасшедший только прыгал, потирая руки, как человек, чрезвычайно довольный собой. Пока до нее долетали звуки его голоса, она слышала, как он повторял ее имя на разные лады, со смехом и криками радости, точно ученая птица, которая, смеясь, произносит заученное слово, чередуя его со своим щебетанием.

Возвращаясь в замок, Консуэло терялась в догадках.

«Кто мог выдать тайну моего инкогнито? — спрашивала она себя. — Первый попавшийся дикарь, встреченный мною в этой пустыне, зовет меня моим настоящим именем! Быть может, этот сумасшедший видел меня где-нибудь прежде? Такого рода люди ведут бродячий образ жизни; он мог быть в Венеции и видеть меня там».

Но тщетно силилась она воскресить в памяти лица всех нищих и бродяг, которых привыкла постоянно видеть на набережных и на площади святого Марка, — лица сумасшедшего со скалы Ужаса не было среди них.

Однако, когда она уже проходила по подъемному мосту, ей пришла в голову более обоснованная и более интересная догадка. Она решила прове-

рить свои подозрения и втайне поздравила себя с тем, что предпринятая ею прогулка осталась не совсем безрезультатной.

Глава XXXVI

Когда Консуэло, исполненная радостной надежды, снова очутилась в обществе удрученной и молчаливой семьи, она стала упрекать себя за то, что так строго осуждала втайне бесчувственность этих глубоко опечаленных людей. Граф Христиан и канонисса почти ничего не ели за завтраком, капеллан тоже не решался обнаружить свой аппетит, Амалия, по-видимому, была очень не в духе. Когда встали из-за стола, старый граф подошел к окну, посмотрел на усыпанную песком дорожку, идущую от речного заповедника, по которой мог вернуться Альберт, и, постояв с минуту, печально покачал головой, как бы говоря: «Еще один день, который дурно начался и так же дурно кончится».

Консуэло попыталась развлечь их, исполнив на клавесине кое-что из последних церковных произведений Порпоры, которые все они обычно слушали с особенным восхищением и интересом. Она страдала оттого, что, видя их такими угнетенными, не может поделиться с ними своими надеждами. Но когда граф взялся за книгу, а ка-

нонисса, сев за вышивание, подозвала ее к своим пяльцам, чтобы посоветоваться, какими крестиками — белыми или голубыми — заполнить середину узора, все мысли Консуэло сосредоточились невольно на Альберте. Быть может, он погибает от усталости и голода где-нибудь в лесу и, не будучи в силах найти дорогу, лежит, застигнутый летаргическим сном, на холодном камне, подвергаясь опасности стать добычей волков и змей в то самое время, как под искусными и неутомимыми пальцами кроткой Венцеславы распускаются на ткани бесчисленные роскошные цветы, орошаемые подчас пролитой украдкой, но бесплодной слезой.

Как только ей удалось заговорить с надувшейся Амалией, Консуэло спросила, кто тот странно одетый безумец, который блуждает по окрестностям и при встрече с людьми смеется как ребенок.

— А, это Зденко! — ответила Амалия. — Разве вы еще не видели его во время ваших прогулок? Он постоянно бродит всюду, потому что он бездомный.

— Сегодня утром я видела его впервые, — сказала Консуэло, — и решила, что он постоянный обитатель Шрекенштейна.

— Так вот куда вы уже успели слетать спо-

заранку? Я начинаю думать, милая Нина, что вы и сами не в своем уме: забраться одной ни свет ни заря в эти пустынные места, где можно встретиться с кем-нибудь и похуже безобидного дурачка Зденко?

— Например, с голодным волком? — улыбаясь, проговорила Консуэло. — Мне кажется, карабин барона, вашего отца, сделал безопасной всю округу.

— Дело не в одних диких зверях, — сказала Амалия. — Наши места не так безопасны, как вы думаете: здесь водятся самые злые на свете твари — разбойники и бродяги. Недавно закончившиеся войны разорили много народа и наплодили много нищих, которые привыкли просить милостыню с пистолетом в руке. Кроме того, здесь еще бродят целые тучи египетских цыган. Во Франции нам делают честь, именуя их богемцами, словно эти люди уроженцы наших гор, куда они хлынули, как только появились в Европе. Отовсюду гонимые, всеми отвергнутые, они трусливы и весьма предупредительны при встрече с вооруженным человеком, но могут повести себя очень дерзко с такой красивой девушкой, как вы, и я боюсь, как бы ваша склонность к рискованным прогулкам не подвергла вас большей опасности,

чем это допустимо для такой благоразумной особы, какую изображает из себя милая Порпорина.

— Милая баронесса, — возразила Консуэло, — хоть вы и считаете волчьи зубы ничтожной опасностью по сравнению с другими, мне грозящими, но, признаюсь, волков я боюсь все-таки гораздо больше, чем цыган. Цыгане — мои старые знакомые; да и вообще можно ли бояться людей слабых, бедных, преследуемых? Мне кажется, я всегда сумею поговорить с ними так, чтобы заслужить их доверие и симпатию. Как они ни безобразны, ни оборваны, ни презираемы, я все-таки не могу не испытывать к ним живейшего сочувствия.

— Браво, моя милая! — воскликнула, все более и более раздражаясь, Амалия. — Вы, оказывается, как и Альберт, питаете нежные чувства к нищим, разбойникам, сумасшедшим, и я вовсе не удивлюсь, если в одно прекрасное утро увижу, как вы гуляете с милейшим Зденко, опираясь, как делает это Альберт, на его довольно грязную и малонадежную руку.

Эти слова были для Консуэло проблеском света, которого она искала с самого разговора с Амалией, и они примирили ее с язвительным тоном собеседницы.

— Так, значит, граф Альберт дружит со Зденко? — спросила она с довольным видом, которого даже не пыталась скрыть.

— Это его самый близкий, самый дорогой друг, — с презрительной улыбкой ответила Амалия, — его спутник во время прогулок, поверенный его тайн, посредник, как говорят, его сношений с дьяволом. Только Зденко и Альберт осмеливаются в любое время отправляться на скалу Ужаса и обсуждать там самые нелепые религиозные вопросы. Только Альберт и Зденко не стыдятся сидеть на траве с цыганами, когда те делают привал под тенью наших елей, и делить с ними отвратительную пищу, которую эти люди готовят в своих деревянных мисках. Это у них называется причащаться, и, уж конечно, причащения тут бывают разные. Нечего сказать, хорошим супругом, хорошим возлюбленным будет мой кузен Альберт, когда той самой рукою, которою он только что пожимал зачумленную руку цыгана, возьмет руку невесты и поднесет ее к губам, недавно пившим вино из одной чаши со Зденко!

— Может, все, о чем вы говорите, и забавно, — проговорила Консуэло, — но я в этом ровно ничего не понимаю!

— Это потому, что вы не интересуетесь историей, — возразила Амалия, — и плохо слушали то, что я вам рассказывала о гуситах и о протестантах. Сколько дней я надрывала голос, чтобы научно объяснить вам таинственное поведение и нелепые религиозные обряды моего кузена! Разве не говорила я вам, что великий раскол между гуситами и католической церковью произошел из-за двух видов причастия? Базельский собор постановил, что давать мирянам кровь Христа под видом вина — осквернение святыни (удивительное умозаключение!), так как тот, кто вкушает Его тело, уже одновременно пьет и Его кровь! Понимаете?

— Мне кажется, что отцы собора сами хорошенько не понимали друг друга, — сказала Консуэло. — Чтобы быть логичными, они должны были бы сказать, что причащение вином излишне, но почему это осквернение святыни, раз, вкушая хлеб, пьют и кровь?

— Дело в том, что гуситы жаждали крови, и отцы собора прекрасно сознавали это. Они также жаждали крови этого народа, но высасывать ее хотели в виде золота. Римская церковь всегда чувствовала голод и жажду и всегда насыщалась жизненным соком народов, трудом и потом бед-

няков. Бедняки восстали и вернули себе свою кровь и пот в виде монастырских сокровищ и епископских митр. Вот вся суть распри, к которой, как я вам уже говорила, присоединилась жажда национальной независимости и ненависть к чужеземцам. Разногласие по поводу святого причастия послужило как бы знаменем для борьбы. Рим и его священнослужители в церквах употребляли золотые чаши с драгоценными каменьями; гуситы же, подражая бедности апостолов, пользовались деревянными чашами, протестуя против роскоши католической церкви. Вот почему Альберт, который вбил себе в голову стать гуситом, хотя теперь, в сущности, все это потеряло всякий смысл и всякое значение, и, вообразив, что знает истинное учение Яна Гуса лучше, чем знал его сам Ян Гус, придумывает всякие виды причастия и сам причащается на больших дорогах со всякими язычниками, нищими и юродивыми. Ведь причащаться в любое время, в любом месте и со всеми было у гуситов манией.

— Все это чрезвычайно странно, — ответила Консуэло, — и, по-моему, поведение графа Альберта можно объяснить только экзальтированным патриотизмом, который, признаюсь, переходит уже в настоящий бред. Идея, быть может, и глубо-

ка, но формы, в которые он ее облекает, кажутся мне слишком ребяческими для такого серьезного и образованного человека. Разве истинное причастие не состоит скорее в том, чтобы творить милостыню? Что значат пустые, отжившие обряды, наверное, непонятные и для тех, кого он заставляет принимать в них участие?

— Что касается милостыни, Альберт раздает ее щедрою рукой, и дай ему только волю, от его богатства очень скоро ничего не останется. По правде сказать, мне бы очень хотелось, чтоб оно растаяло в руках его нищих.

— Почему же?

— Да потому, что мой отец отказался бы тогда от мысли обогатить меня, выдав замуж за этого бесноватого. Надо вам сказать, милая Порпорина, — прибавила Амалия не без злого умысла, — что моя семья не отказалась еще от этого милого плана. На днях, когда в мозгу моего кузена наступило некоторое просветление, похожее на мимолетный луч солнца среди черных туч, отец возобновил наступление на меня с большей настойчивостью, чем я могла от него ожидать. Мы довольно сильно поссорились, после чего, как видно, решено попытаться взять меня скучным заточением, подобно тому, как

крепость берут измором. Итак, если я ослабею, если изнемогу и не выдержу натиска, мне придется выйти замуж за Альберта, и выйти против его воли, против своей воли и вопреки желанию третьей особы, которая делает вид, будто все это ей безразлично.

— Вот-вот, — ответила Консуэло, смеясь, — я ожидала этой колкости, и, конечно, вы удостоили меня своей утренней беседой лишь для того, чтобы высказать ее. Я принимаю ее с удовольствием, так как вижу в этой маленькой комедии, подсказанной ревностью, остаток вашей привязанности к графу Альберту, и притом более пылкой, чем вы хотите признать.

— Нина! — решительно вскричала молодая баронесса. — Если вы так думаете, вы совсем непроницательны, а если вам доставляет удовольствие это видеть, значит, вы мало меня любите. Правда, я своевольна, быть может, горда, но откровенна. Я уже говорила вам, что предпочтение, оказываемое вам Альбертом, восстанавливает меня, но вовсе не против вас, а против него. Оно уязвляет мое самолюбие, но вместе с тем подает надежду на исполнение моего желания. Мне бы хотелось, чтобы из-за вас он совершил какое-нибудь безумство. Это

развязало бы мне руки и дало возможность, не щадя его более, выказать то отвращение, с которым я долго боролась, но которое в конце концов почувствовала к нему уже без всякой примеси жалости или любви.

— Дай Бог, — кротко ответила Консуэло, — чтобы ваши слова были результатом вспышки гнева и оказались неправдой! Не то это была бы очень суровая правда, и притом в устах очень жестокого человека.

Язвительность и запальчивость, проявленные Амалией в этом разговоре, не произвели большого впечатления на великодушное сердце Консуэло. Уже несколько минут спустя все ее мысли снова сосредоточились на том, как вернуть Альберта его семье, и мечта эта вносила наивную радость в ее однообразную жизнь. Она была ей просто необходима, чтобы уйти от грозившей ей тоски — недуга, совершенно незнакомого и не свойственного ее деятельной, трудолюбивой натуре, — недуга, который мог стать для нее гибельным. Ведь по окончании длинного, скучного урока со своей непослушной и невнимательной ученицей ей ничего больше не оставалось, как упражнять свой голос и изучать старых мастеров. Но и это никогда не изменявшее ей утешение то

и дело ускользало от нее: праздная, беспокойная Амалия постоянно врывалась к ней, мешая ее занятиям своими пустыми вопросами и не идущими к делу замечаниями. Остальные члены семьи были невероятно угрюмы. Прошло уже пять мучительных дней, а молодой граф все не появлялся, и с каждым днем подавленность и уныние, вызванные его отсутствием, возрастали.

Как-то после обеда, гуляя с Амалией по саду, Консуэло вдруг увидела по ту сторону отделявшей их от полей канавы Зденко. Казалось, он говорил сам с собой и, судя по интонации, рассказывал себе какую-то историю. Консуэло остановила спутницу и попросила ее перевести то, что говорило это странное существо.

— Как могу я переводить бессмысленные бредни, в которых нет ни малейшей последовательности? — пожимая плечами, ответила Амалия. — Ну хорошо, вот что он бормотал, раз уже вам так хочется это знать: «Была однажды большая гора, совсем белая, совсем белая, рядом с ней большая гора, совсем черная, совсем черная, и рядом еще большая гора, совсем красная, совсем красная…» Ну что, вас это очень интересует?

— Может быть, если б я могла знать продолжение. Ах! Что бы я дала, чтобы понимать

по-чешски! Я хочу научиться этому языку.

— Это не такой легкий язык, как итальянский и испанский, но вы до того старательны, что, если возьметесь, наверное его одолеете. Если это вам доставит удовольствие, я обучу вас ему.

— Вы будете просто ангелом! Но только при условии, что в роли учительницы вы проявите больше терпения, чем в роли ученицы. А что говорит Зденко сейчас?

— Сейчас разговаривают его горы: «Отчего, гора красная, совсем красная, раздавила ты гору черную, совсем черную? А ты, гора белая, совсем белая, зачем позволила раздавить гору черную, совсем черную?».

Тут Зденко запел слабым, разбитым голосом, но так верно и с таким чувством, что Консуэло была растрогана до глубины души.

Песнь его была такова:

> Горы черные и горы белые, много вам понадобится воды с красной горы, чтобы выстирать ваши платья.
>
> Ваши платья, черные от преступлений и белые от праздности, ваши платья, загрязненные ложью, ваши платья, сверкающие гордыней.

Но вот они выстираны, хорошенько выстираны, оба ваши платья, не хотевшие переменить свой цвет. Вот они изношены, совсем изношены, ваши платья, не хотевшие влачиться по дороге!

Вот все горы красные, совсем красные. Нужны все воды неба, все воды неба, чтобы отмыть их.

— Что это? Импровизация или старинная народная песня? — спросила Консуэло у своей подруги.

— Кто может это знать? — ответила Амалия. — Ведь Зденко — неистощимый импровизатор и весьма искусный народный певец. Наши крестьяне очень любят его пение, а его почитают за святого, воображая, что его безумие — не прирожденное несчастье, а дар небес. Они его кормят, носятся с ним; пожелай он только, он получил бы самое лучшее жилище и был бы одет лучше всех. Все наперебой стремятся залучить его в свой дом: ведь считается, что он приносит счастье и предвещает удачу. Небо покрыто тучами, но стоит показаться Зденко, и все с облегченным вздохом повторяют: «Все хорошо! Здесь града не будет!» Выдастся плохой урожай — просят Зденко

спеть, и так как в своих песнях он всегда сулит годы плодородия и изобилия, то все утешаются, ожидая лучшего будущего. Но жить Зденко ни у кого не хочет. По натуре он бродяга, и его тянет в чащу лесов. Так и неизвестно, где проводит он ночи, где укрывается от холода и гроз. Ни разу за десять лет никто не видел, чтобы он вошел под чей-либо кров, кроме замка Исполинов; он утверждает, что во всех домах округи — его предки и что ему запрещено показываться им на глаза. Альберта же он провожает вплоть до его комнаты; он предан и покорен ему, как его пес Цинабр. Альберт — единственный человек, которому подчиняется это дикое, независимое существо, и он может одним словом прекратить неистощимую веселость, нескончаемые песни, неумолчную болтовню Зденко. Говорят, когда-то у Зденко был прекрасный голос, но он надорвал его своей болтовней, пением и смехом. Годами он не старше Альберта, а ведь на вид ему лет пятьдесят. Они были товарищами детства; тогда Зденко был сумасшедшим только наполовину. Он из старинного рода; один из его предков даже играл видную роль в гуситской войне. Так как в юности у Зденко была хорошая память и вообще неплохие способности, родители, ввиду его сла-

бого здоровья, решили сделать из него монаха. Долго видели его в одежде послушника какого-то нищенствующего ордена. Но подчинить его монастырским правилам так и не удалось: когда, бывало, его вместе с одним из монахов посылали в объезд для сбора пожертвований, а с ними — осла, нагруженного дарами правоверных, он вдруг бросал и суму, и осла, и монаха и надолго пропадал в лесах. После того как Альберт отправился путешествовать, Зденко впал в полное отчаяние, скинул рясу, убежал из монастыря и сделался настоящим бродягой. Меланхолия его мало-помалу рассеялась, но проблески рассудка, порой мерцавшие в его больном мозгу, окончательно исчезли. Речь его сделалась бессвязной, он стал проявлять непонятные причуды — словом, окончательно сошел с ума. Но так как он всегда трезв, пристоен и безобиден, то его можно считать скорее идиотом, чем сумасшедшим. Наши крестьяне зовут его не иначе как «юродивый».

— Все, что вы рассказали об этом несчастном человеке, внушает мне симпатию к нему, — проговорила Консуэло. — Мне хотелось бы с ним побеседовать. Говорит ли он хоть немного по-немецки?

— Он понимает этот язык и даже немного го-

ворит на нем, но, как все чешские крестьяне, ненавидит его. К тому же вы сами видите: он так погружен в свои мечтания, что вряд ли ответит, если вы его о чем-нибудь спросите.

— Попробуйте тогда заговорить с ним на его родном языке и привлечь его внимание, — сказала Консуэло.

Амалия окликнула Зденко несколько раз, спросила по-чешски, как его здоровье и не нужно ли ему чего, но ей так и не удалось ни заставить его поднять опущенную к земле голову, ни оторвать от игры в камешки. У него их было три: белый, черный и красный. Он поочередно бросал камни, стараясь одним сбить два других, и очень радовался, когда они падали.

— Вы видите, это бесполезно, — сказала Амалия. — Если он не голоден и не ищет Альберта, он никогда с нами не разговаривает. В том и в другом случае он появляется у ворот замка. Если он только голоден, то ожидает у ворот; ему приносят то, что он просит, он благодарит и уходит. Если же он хочет видеть Альберта, то входит в замок, направляется к его комнате и стучится в дверь, которая для него всегда открыта. Он проводит там целые часы — тихо, молча, словно боязливый ребенок, если Альберт работает; весело и ожив-

ленно болтая, когда тот расположен его слушать. По-видимому, Зденко никогда не бывает в тягость моему любезному кузену, и в этом отношении он счастливее всех нас, членов его семьи.

— А когда граф Альберт исчезает, как, например, сейчас, неужели Зденко, который так горячо его любит, Зденко, впавший в отчаяние, когда граф отправился путешествовать, Зденко, неразлучный его товарищ, — неужели он при этом не проявляет беспокойства?

— Никакого. Он уверяет в таких случаях, что Альберт отправился в гости к Господу Богу и скоро оттуда вернется. То же самое говорил он, примирившись, наконец, с путешествием Альберта по Европе.

— А вы не подозреваете, дорогая Амалия, что у Зденко, может быть, больше оснований, чем у всех вас, для этого спокойствия? Вам никогда не приходило в голову, что Зденко посвящен в тайну Альберта и что во время его припадков или летаргического сна он его охраняет?

— Да, у нас была эта мысль, и мы долго наблюдали за его действиями, но, так же как и его покровитель Альберт, он терпеть не может, когда за ним следят. Хитрее преследуемой собаками лисицы, он каждый раз умудрялся всех

обмануть, всех сбить с толку, замести все следы. По-видимому, он, подобно Альберту, обладает способностью, когда захочет, делаться невидимым. Бывали случаи, когда на глазах у всех он исчезал, словно проваливался сквозь землю или словно его окутывало непроницаемое облако. Так, по крайней мере, утверждают наши слуги и сама тетушка Венцеслава: ведь, несмотря на всю свою набожность, она не очень-то далеко ушла от них в представлении о власти сатаны.

— Но вы, милая баронесса? Не можете же вы верить в такой вздор?

— Я придерживаюсь взгляда дяди Христиана. Он полагает, что если Альберту в его таинственных исчезновениях помогает и содействует только этот сумасшедший, то очень опасно устранять его, и мы, выслеживая и затрудняя действия Зденко, рискуем оставить Альберта на целые часы и дни без ухода и даже без пищи, которую он может через него получать. Но, ради Бога, милая Нина, переменим разговор! Довольно заниматься этим идиотом! Он далеко не так меня интересует, как вас. Мне ужасно надоели все его рассказы и песни, а от его надтреснутого голоса у меня просто уши вянут.

— Я очень удивлена, — сказала Консуэло, под-

чиняясь уводившей ее подруге, — что вы не находите в его голосе необычайной прелести. А на меня, как он ни слаб, голос его производит больше впечатления, чем голоса величайших певцов.

— Это потому, что вам приелось прекрасное и вас прельщает новизна.

— Язык, на котором он поет, необыкновенно мягок, — настаивала Консуэло, — и вы заблуждаетесь, считая его мелодии монотонными; напротив, в них есть много оригинального и пленительного.

— Только не для меня! Мелодии эти ужасно мне надоели. Вначале я заинтересовалась содержанием его песен, принимая их, как и местные жители, за старинные народные песни, любопытные с исторической точки зрения, но так как он каждый раз передает их по-разному, то это, очевидно, не что иное, как импровизации; и вскоре я пришла к заключению, что слушать их не стоит, хотя наши горцы и воображают, что в них скрыт какой-то символический смысл.

Как только Консуэло удалось избавиться от Амалии, она побежала в сад и застала Зденко сидящим на том же месте, на краю канавы, и поглощенным все той же игрой. Убежденная, что

этот несчастный тайно сносится с Альбертом, она успела украдкой сбегать в буфетную и утащить оттуда пирожок из крупичатой муки и меда — собственноручное произведение канониссы: она запомнила, что Альберт, который вообще ел очень мало, оказывал — вероятно машинально — предпочтение этому кушанию, изготовляемому теткой для племянника с особым старанием. Завернув пирожок в белый платок и желая перебросить его Зденко через канаву, она окликнула его. Но так как он, видимо, не был расположен ее слушать, она, вспомнив, с каким пылом он выкрикивал ее имя, произнесла его вслух, сначала по-немецки. Зденко, казалось, услыхал ее, но, будучи в эту минуту меланхолически настроен, покачал, не глядя на нее, головой и со вздохом повторил тоже по-немецки: «Утешение, утешение», как бы говоря: «Утешения я больше не жду».

— Консуэло, — произнесла тогда молодая девушка, желая посмотреть, не пробудит ли в Зденко ее испанское имя ту радость, какую он выказывал этим утром, повторяя его.

Зденко тотчас прекратил свою игру в камешки и, радостный, сияющий, принялся скакать и прыгать, подбрасывая в воздух шапку, протягивая ей через канаву руки и при этом оживленно бормо-

ча что-то по-чешски.

— Альберт! — крикнула снова Консуэло, бросая ему пирожок.

Зденко, смеясь, поднял его, не развернув платка, и опять начал говорить без конца, но Консуэло, к своему отчаянию, ничего не поняла. Особенно прислушивалась она, стараясь запомнить одну фразу, которую он все повторял, низко кланяясь ей. Музыкальный слух помог ей точно уловить произношение этих слов. Как только Зденко бросился бежать, она тотчас записала итальянскими буквами эту фразу в свою памятную книжечку, собираясь спросить разъяснения у Амалии. Но, пока Зденко не скрылся из виду, ей захотелось послать Альберту что-нибудь такое, что более тонко сказало бы ему о ее сочувствии, и она снова окликнула сумасшедшего; послушный ее зову, тот вернулся, и она, отколов от пояса букетик из свежих и душистых цветов, за час перед тем сорванных в оранжерее, бросила его Зденко. Он поднял букет, снова стал кланяться, выкрикивать что-то, скакать и, наконец, исчез в густых кустах, через которые, казалось, не смог бы пробраться и заяц. Консуэло несколько секунд следила по верхушкам ветвей, качавшихся в направлении к юго-востоку, за его быстрым бегом, но нале-

тевший ветерок, качнувший разом все ветки зарослей, помешал ее наблюдениям, и она вернулась домой, еще более утвердившись в своем решении достигнуть намеченной цели.

Глава XXXVII

Когда Консуэло попросила Амалию перевести фразу, записанную в памятной книжке и запечатлевшуюся в ее мозгу, та сказала, что ровно ничего в ней не понимает, хотя дословно эта фраза и значит: «Обиженный да поклонится тебе!».

— Быть может, — прибавила она, — он подразумевает Альберта или самого себя, считая, что их обидели, принимая за сумасшедших: ведь они-то считают себя единственными разумными людьми на свете. Но стоит ли доискиваться смысла в речах безумного? Право, этот Зденко занимает ваше воображение гораздо больше, чем он того заслуживает.

— Во всех странах существует народное поверье, — ответила Консуэло, — что сумасшедшие бывают одарены высшей прозорливостью, недоступной умам положительным и холодным. Я вправе иметь предрассудки моего сословия и не могу поверить, чтобы безумный говорил эти непонятные для нас слова случайно.

— Попробуем спросить капеллана, — сказала Амалия. — Он большой знаток всяких местных

народных изречений, старинных и нынешних. Быть может, он объяснит нам и это.

И, тут же подбежав к священнику, она попросила его объяснить фразу Зденко.

Но эти непонятные ей слова поразили капеллана точно громом.

— Боже милостивый! — воскликнул он, бледнея. — Где ваше сиятельство могли услышать такое богохульство?

— Если это и богохульство, то я не понимаю его, — смеясь, ответила Амалия, — вот почему я жду вашего перевода.

— Дословно, на правильном немецком языке, это именно то, что вы только что сказали, баронесса: «Обиженный да поклонится тебе!» Но если вам угодно знать, что значит эта фраза в устах того идолопоклонника, который ее произнес, она значит… Я едва решаюсь даже выговорить: «Да будет дьявол с тобой!».

— Или попросту: «Иди к дьяволу!» — заливаясь пуще прежнего смехом, подхватила Амалия. — Нечего сказать, — продолжала она, — очень любезно! Вот что можно услышать, милая Нина, ведя разговоры с сумасшедшим! Вы, конечно, не ожидали, что Зденко со своей приветливой улыбкой и веселыми гримасами способен поднести

вам столь малоучтивое пожелание?

— Зденко! — воскликнул капеллан. — Так, стало быть, это изречение нашего жалкого идиота? Ну, слава Богу, а я, признаться, испугался, не другой ли кто… И совершенно напрасно… Это могло выйти только из головы Зденко, начиненной гнусностями старинной ереси. Откуда он их берет — все эти давно забытые, никому не известные вещи? Лишь нечистая сила может внушать ему подобное.

— Да ведь это просто скверное ругательство, которое в ходу у простого народа всех национальностей, — возразила Амалия, — и католики в данном случае не составляют исключения.

— Вы заблуждаетесь, баронесса, — сказал капеллан, — в устах сумасшедшего это вовсе не проклятие. Напротив: это дань почтения, благословение — вот что преступно! Эта мерзость идет от лоллардов, отвратительной секты, породившей, в свою очередь, секту вальденсов, от которой произошли гуситы…

— А от них произошло еще множество других сект, — добавила Амалия, напуская на себя серьезность, чтобы поиздеваться над добрым священником. — Но объясните же нам, господин капеллан, — продолжала она, — каким образом,

посылая ближнего к дьяволу, можно оказать ему любезность?

— Видите ли, по учению лоллардов сатана не был врагом рода человеческого, а напротив, был его покровителем и заступником. Они изображали его жертвой несправедливости и зависти. По их верованиям, архангел Михаил и другие небесные властители, низвергнувшие сатану в бездну, были истинными злыми духами, а Вельзевул, Люцифер, Астарот, Астарта и прочие исчадия ада — это сама невинность и свет. Лолларды верили, что могущество Михаила и его славного воинства скоро кончится и что сатана со своими проклятыми приспешниками будет восстановлен в своих правах и водворен обратно на небо. Словом, у них был нечестивый культ сатаны, и при встрече они приветствовали друг друга вот этой фразой: «Обиженный да поклонится тебе!», то есть: «Тот, которого отвергли и несправедливо осудили, пусть покровительствует и помогает тебе».

— Итак, — захлебываясь от смеха, проговорила Амалия, — теперь моя дорогая Нина находится под чудесным покровительством, и я не удивлюсь, если нам скоро придется прибегнуть к заклинаниям, чтобы помочь ей избавиться от действия чар Зденко.

Шутка эта немного смутила Консуэло. Она была не так уже уверена, что дьявол — плод воображения, а ад — поэтическая басня. Возможно, негодование и страх капеллана произвели бы на нее большее впечатление, если бы тот, выведенный из себя громким хохотом Амалии, не был в эту минуту так смешон. Взволнованная, взбудораженная суеверием одних и безверием других, Консуэло в этот вечер с большим трудом прочитала полагающиеся молитвы. В верования ее детских лет вкрались сомнения. До сих пор она относилась к религии без критики, теперь же ее встревоженный ум уже не довольствовался одними религиозными догматами, а стремился постичь их смысл. «В Венеции, — думала она, — мне приходилось видеть два вида набожности. Один — у монахов, монахинь и народа, который, быть может, заходит даже слишком далеко и приводит к тому, что, наряду с верой в таинства религии, в нем уживаются разные суеверия, ничего общего с этими таинствами не имеющие: верят они в какого-то Орко (беса лагун), в ведьм Маламокко — искательниц золота, в гороскопы, в обеты, приносимые святым по поводу дел не только не благочестивых, но иногда даже бесчестных; другой вид — это набожность высшего

духовенства и аристократии, представляющая собой сплошное лицемерие. Ведь люди эти посещают церковь, как театр, — чтобы послушать музыку, себя показать и на других посмотреть; они над всем смеются и не задумываются ни над какими религиозными вопросами, так как уверены, что в религии нет ничего серьезного, что она ни к чему не обязывает и что все сводится к внешней форме и обычаю. Андзолетто совершенно не был религиозен. Это было одним из моих огорчений, и я вижу теперь, что была права, боясь его неверия. А мой учитель Порпора… во что верит он? Не знаю… Он никогда не открывал мне этого, но в самые горестные и самые торжественные минуты моей жизни он говорил мне о Боге и о Божественных вещах. Слова его производили на меня сильное впечатление, но оставляли лишь страх и неуверенность. Должно быть, он веровал в Бога ревнивого и самовластного, дарующего гениальность и вдохновение только тем людям, которые в силу своей гордости отстраняют от себя горести и радости себе подобных. Сердце мое не признает такой суровой религии, и я не могу любить Бога, запрещающего мне любить. Какой же Бог есть истинный Бог? Кто научит меня этому? Моя бедная мать была набожна, но сколько

ребяческого идолопоклонства было в ее вере! Во что же верить и что думать? Скажу ли я вместе с беззаботной Амалией, что разум есть единственный Бог? Но ей неизвестен даже и этот Бог — чему же может она научить меня? Ведь трудно найти человека менее разумного. Можно ли жить без веры? Тогда зачем и жить? Ради чего стану я работать? Для чего мне, не имеющей никого в целом мире, обладать состраданием, добротой, совестью, великодушием, мужеством, если в мире нет высшего существа, разумного, полного любви, которое взвешивает мои поступки, помогает мне, одобряет, охраняет и благословляет меня? И откуда черпать в жизни силы и радость тем людям, у которых нет надежды, нет любви, стоящей выше всех человеческих заблуждений и человеческого непостоянства?».

«О высшая сила! — воскликнула она из глубины сердца, забыв обычные формулы молитвы. — Научи меня, что я должна делать. О высшая любовь! Научи меня, что я должна любить! О высшее знание! Научи меня, чему я должна верить!».

Предавшись молитве и размышлению, Консуэло не заметила, как пролетело время, и было уже далеко за полночь, когда, собираясь лечь в постель, она взглянула в окно на залитую лун-

ным светом окрестность. Вид, открывавшийся из ее окон, был неширок из-за надвинувшихся гор, но местность была очень живописна. На дне узкой извилистой долины несся горный поток. Обрамлявшие долину холмы разной высоты, поросшие у подножия луговой травой и замыкавшие горизонт, в нескольких местах как бы расступались, образуя ущелья, сквозь которые виднелись другие ущелья и другие горы, более крутые, сплошь покрытые темными елями. Позади этих печальных, суровых гор светила луна на ущербе, но вся окрестность — вечнозеленые хвойные леса, воды потока, бегущего меж крутых берегов, скалы, поросшие мхом и плющом, — все было погружено во мрак.

Сравнивая этот пейзаж со всеми теми, какие ей приходилось видеть в детстве, Консуэло вдруг подумала (эта мысль не приходила ей в голову прежде), что край, который был сейчас перед ее глазами, не представляет для нее ничего нового — потому ли, что она когда-то была в этой части Чехии, или потому, что эти места были чрезвычайно похожи на что-то, виденное ею раньше.

«Мы с матерью столько странствовали, что нет ничего удивительного, если я уже бывала здесь прежде, — думала она. — У меня сохранилось

ясное воспоминание о Дрездене и о Вене. Вполне возможно, что, направляясь из одной столицы в другую, мы проходили через Чехию. Что, если нас приютили тогда в одном из сараев именно этого замка, где теперь меня принимают как важную синьору? Что, если в ту пору нам за наше пение подавали кусок хлеба в тех самых хижинах, у дверей которых Зденко протягивает теперь руку, распевая свои старинные песни? В сущности, этот Зденко — бродячий артист, мой собрат и ровня, хоть сейчас и трудно этому поверить!».

В эту минуту взгляд ее упал на Шрекенштейн, вершина которого поднималась над более близкими горами, и ей показалось, будто это зловещее место окружено красноватым светом, слегка окрашивавшим и прозрачную лазурь неба. Она стала пристально смотреть туда, и этот неясный отблеск, то потухая, то разгораясь, стал, наконец, таким отчетливым и ярким, что его уже никак нельзя было принять за обман зрения. Быть может, там нашли себе временное убежище бродячие цыгане или разбойники? Одно было несомненно: в эту минуту на Шрекенштейне находились живые люди. Консуэло после своей наивной горячей молитвы божеству истины совсем не склонна была верить в присутствие

фантастических зловредных существ, которыми народная молва населяла эту скалу. Скорее это Зденко мог развести там костер, чтобы согреться от ночного холода. А если это действительно был Зденко, то не пылают ли в эту минуту сухие сучья леса для того, чтобы отогреть Альберта? Люди не раз видели этот свет на Шрекенштейне. О нем всегда говорили с ужасом, приписывая его появление чему-то сверхъестественному. Все постоянно твердили, что этот свет исходит из заколдованного ствола старого дуба Жижки. Но Гусит уже не существует — он валяется на дне оврага, а красный свет по-прежнему мерцает на вершине горы. «Как же может этот таинственный маяк не направить родных на поиски вероятного убежища Альберта?».

«Ох, эта апатия набожных душ! — подумала Консуэло. — Что это — благодеяние провидения или бессилие вялых натур?». Она тут же спросила себя, хватило ли бы у нее мужества пойти одной в столь поздний час на Шрекенштейн. И решила, что, побуждаемая милосердием, конечно, пошла бы. Впрочем, такое решение не было связано для нее ни с малейшим риском: крепкие запоры замка делали ее намерение неосуществимым.

Проснувшись утром, полная рвения, она по-

бежала на Шрекенштейн. Там все было тихо и пустынно. Трава вокруг скалы Ужаса не была примята, не было также никаких следов костра, никаких признаков ночных гостей. Обойдя скалу во всех направлениях, она нигде ничего не нашла. Она стала звать Зденко, затем попробовала засвистеть, думая вызвать этим лай Цинабра, несколько раз прокричала на всех языках, какие только знала, имя Консуэло, пропела несколько фраз из своего испанского гимна и даже исполнила чешскую песню Зденко, которую прекрасно запомнила. Ответа не было. Треск сухого мха под ее ногами да глухое журчание таинственных вод под скалами — таковы были единственные звуки, которые она услышала.

Устав от этих бесплодных розысков, она присела на скале, чтобы передохнуть немного, и уже собралась было уходить, как вдруг увидела у своих ног увядший и скомканный лепесток розы. Она подняла его, расправила и убедилась в том, что лепесток этот мог быть только из букета, брошенного ею Зденко, — в горах ведь розы не росли, да и время года было не то; розы пока цвели только в оранжереях замка. Эта незначительная находка утешила Консуэло: ее прогулка в конце концов была не так бесплодна, как ей

показалось сначала, и она еще более прониклась мыслью, что Альберта следует искать именно на Шрекенштейне.

Но, спрашивается, в какой недоступной пещере этой горы мог он скрываться? Очевидно, он находился в ней не всегда или же был в эту минуту погружен в летаргический сон. Возможно было и другое: что Консуэло ошиблась, приписывая своему голосу такую власть над ним, и восторг, проявленный им тогда, был не чем иным, как следствием безумия, и от этого восторга теперь в его памяти не осталось никакого следа. Быть может, сейчас он видит ее, слышит и смеется над нею, относясь с презрением к ее напрасным стараниям.

При этой мысли Консуэло почувствовала, как горячий румянец залил ей щеки, и быстро пошла прочь от Шрекенштейна, чуть ли не давая себе слово никогда больше сюда не возвращаться. Все же она оставила на скале маленькую корзиночку с фруктами, захваченную из дому.

Но на следующий день она нашла корзиночку нетронутой на том же месте. Даже к листьям, прикрывавшим фрукты, никто не прикоснулся, хотя бы из любопытства. Значит, либо ее дар был отвергнут, либо ни Альберт, ни Зденко не прихо-

дили сюда. А между тем красный отблеск елового костра опять всю ночь озарял вершину горы.

До самого рассвета Консуэло не ложилась, наблюдая это таинственное явление. Она несколько раз замечала, как свет то слабел, то усиливался, будто чья-то заботливая рука поддерживала его. Цыган в окрестности никто не видел. Чужие люди в лесу тоже не показывались. Крестьяне же, которых Консуэло расспрашивала об удивительном свете, появлявшемся на скале, все как один отвечали ей на ломаном немецком языке, что не годится совать нос в такие вещи и не следует вмешиваться в дела того света.

Между тем со времени исчезновения Альберта прошло уже целых девять дней. Никогда еще его отсутствие не было таким длительным, и это обстоятельство в соединении со зловещими предсказаниями, относящимися к тридцатилетию Альберта, не могло, конечно, внушать особенно радостных надежд его семье. Теперь уже все начали волноваться. Граф Христиан не переставал жалобно вздыхать, барон отправлялся на охоту, но и не думал убивать дичь, капеллан произносил какие-то особенные молитвы, Амалия не смела ни болтать, ни смеяться, а канонисса, бледная, ослабевшая, забросила хозяйственные дела,

позабыла о вышивании и, с утра до вечера перебирая четки, беспрестанно зажигала крошечные свечки перед образом Богоматери и казалась еще больше сгорбленной, чем обычно.

Консуэло отважилась было предложить произвести тщательные розыски на Шрекенштейне. Она призналась, что уже начала поиски сама, а канониссе даже конфиденциально поведала о случае с лепестком розы и о своих ночных наблюдениях над светящейся вершиной горы. Но те меры, которые задумала принять канонисса, заставили Консуэло пожалеть о своей откровенности. План Венцеславы был таков: выследить Зденко, припугнуть его, вооружить пятьдесят человек факелами и ружьями и попросить капеллана произнести на проклятой скале самые страшные заклинания, а барон в сопровождении Ганса и самых храбрых своих приспешников должен был в это самое время, среди ночи, произвести форменную осаду Шрекенштейна. Такой способ действий был бы вернейшим средством довести Альберта до полного безумия, а может быть, и до буйного помешательства. Консуэло удалось увещаниями и просьбами уговорить Венцеславу отказаться от этого плана и ничего не предпринимать, не посоветовавшись предвари-

тельно с ней. И вот что она предложила канониссе в конце концов: отправиться ночью вдвоем с ней (в сопровождении капеллана и Ганса, которые будут следовать за ними на некотором расстоянии) на вершину Шрекенштейна, чтобы посмотреть на этот таинственный свет вблизи. Однако подобный подвиг оказался канониссе не по силам — она была убеждена, что на скале Ужаса справляется бесовский шабаш, — и Консуэло добилась только одного — что в полночь ей откроют ворота замка и барон с несколькими слугами-добровольцами тихонько, безоружные, отправятся следом за нею. Эту попытку разыскать Альберта решили скрыть от графа Христиана: преклонный возраст и ослабевшее здоровье не позволяли ему предпринять такую экскурсию в холодную ночную пору, а узнав о ней, он тоже непременно захотел бы присоединиться к остальным.

Все было сделано, как того хотела Консуэло: барон, капеллан и Ганс следовали за нею на расстоянии ста шагов. Она шла одна и с храбростью, достойной Брадаманты, поднялась на Шрекенштейн. Но по мере того как она приближалась, свет, пробивавшийся, как ей казалось, из расселин верхней горы, постепенно угасал, и когда девушка добралась до гребня, вся гора сверху

донизу была погружена в глубокий мрак. Тишина и ужас одиночества царили кругом. Консуэло позвала Зденко, Цинабра и, содрогаясь, даже самого Альберта. Все молчало, лишь эхо повторяло ее неуверенно звучавший голос.

Удрученная, возвратилась она к своим спутникам. Они стали превозносить до небес ее храбрость и даже отважились, в свою очередь, осмотреть только что покинутые ею места, но безуспешно. Молча вернулись они в замок. Канонисса, ожидавшая на пороге, выслушала их рассказ, и последняя надежда покинула ее.

Глава XXXVIII

После того как добрая Венцеслава, глубоко опечаленная, поблагодарила Консуэло и поцеловала ее в лоб, девушка тихонько направилась в свою комнату, боясь разбудить Амалию, от которой скрыли эту ночную разведку. Консуэло жила на втором этаже, а комната канониссы находилась на первом. Поднимаясь по лестнице, Консуэло уронила свечку, которая погасла, прежде чем она успела ее поднять, и девушка решила, что доберется к себе без нее, тем более что уже начинало светать. Но потому ли, что она была необычайно взволнована, или потому, что напряжение, чрезмерное для женщины, подорвало ее мужество, она так растерялась, что, поднявшись до своего этажа, не остановилась, а продолжала подниматься и вошла в коридор третьего этажа, где, почти над ее комнатой, помещалась комната Альберта. Однако у входа она остановилась и вся похолодела от ужаса, увидев перед собой тощую черную тень, которая беззвучно, будто не касаясь ногами пола, проскользнула в ту комнату, куда направлялась она сама, принимая ее за свою.

Как ни была перепугана Консуэло, у нее все-таки хватило присутствия духа взглянуть на удаляющуюся фигуру, и она тотчас же в предрассветной мгле признала облик и странное одеяние Зденко. Но зачем в такое время пробирался он к ней в комнату и с каким поручением шел? Она не решилась в эту минуту заговорить с ним с глазу на глаз и направилась вниз, за канониссой. Очутившись на втором этаже, она узнала свой коридор и дверь своей комнаты и здесь только сообразила, что Зденко шел в комнату Альберта.

Теперь, когда она успокоилась и могла рассуждать здраво, тысяча предположений зашевелилась в ее мозгу. Каким образом мог этот человек проникнуть ночью в замок, когда все кругом на запоре и канонисса каждый вечер вместе со слугами осматривает весь дом? Появление Зденко подтверждало ее прежнюю уверенность в том, что в замке есть какой-то потайной выход и даже, может быть, существует никому не известный подземный путь, соединяющий замок со Шрекенштейном. Добежав до комнаты канониссы, Консуэло постучала в дверь. Старушка уже заперлась в своей келье; открыв девушке и увидев ее, побледневшую, без свечи, она вскрикнула от испуга.

— Успокойтесь, дорогая синьора, — проговорила Консуэло. — Снова приключилось нечто странное, хотя и вовсе не страшное: я только что видела, как Зденко вошел в комнату графа Альберта.

— Зденко? Вы бредите, дитя мое! Откуда он мог войти? Я заперла все двери так же тщательно, как всегда, и сама сторожила все время, пока вы были на Шрекенштейне. Мост был поднят, а когда вы прошли в замок, его снова подняли на моих глазах.

— Как бы там ни было, синьора, а Зденко находится в комнате графа Альберта. Вы сами можете в этом убедиться, если желаете.

— Сейчас же пойду и выгоню его, как он того заслуживает, — ответила канонисса. — Должно быть, этот полоумный пробрался сюда днем. Но что ему нужно? Верно, он ищет Альберта или ожидает его. Вот вам доказательство, моя дорогая, что он не больше нашего знает, где находится Альберт.

— Но все-таки пойдемте и расспросим его, — настаивала Консуэло.

— Минутку, одну минутку, — сказала канонисса. Собираясь лечь в постель, она сняла две юбки и теперь считала, что слишком легко одета,

оставшись только в трех. — Не могу же я, моя милая, в таком виде появиться перед мужчиной. Сходите пока за капелланом или за моим братом бароном — все равно, кого первого встретите. Мы не можем рисковать и пойти к сумасшедшему одни… Ах Боже мой! Что я! Ведь я и не подумала, что такой молоденькой девушке неприлично стучаться к мужчинам… Сейчас! Сейчас! Я буду готова в одну секунду.

Говоря это, старушка начала одеваться. Однако чем больше она спешила, тем меньше спорилось у нее дело: выбитая из обычной колеи, чего давно с нею не случалось, она совсем потеряла голову. Консуэло, беспокоясь, что из-за такой задержки Зденко успеет ускользнуть из комнаты Альберта и так спрятаться где-нибудь в замке, что его потом не найдешь, вооружилась всей своей энергией.

— Дорогая синьора, — сказала она, зажигая свечу, — вы потрудитесь позвать этих господ, а я постараюсь, чтобы Зденко от нас не ускользнул.

Быстро поднявшись наверх, она смелой рукой открыла дверь в комнату Альберта, но там было пусто. Она прошла в соседнюю комнату, подняла там все занавески, не побоялась даже заглянуть под кровать и прочую мебель. Зденко исчез, не оставив никаких следов своего пребывания.

— Никого! — воскликнула Консуэло, когда канонисса кое-как взобралась наверх в сопровождении Ганса и капеллана. Барон уже лег спать, и не было никакой возможности его добудиться.

— Я боюсь, — сказал капеллан, несколько недовольный тем, что его снова побеспокоили, — боюсь, что синьора Порпорина является жертвой своих иллюзий…

— Нет, господин капеллан, — с живостью возразила Консуэло, — у меня иллюзий меньше, чем у любого из здешних обитателей.

— Зато ни у кого нет такой силы духа и способности к самопожертвованию, как у вас, это несомненно, — сказал старик. — Но, синьора, вы с вашим пылким воображением видите указания там, где, к несчастью, их вовсе нет.

— Отец мой, — сказала канонисса, обращаясь к капеллану, — Порпорина смела, как лев, и умна, как ученый муж. Если она видела Зденко, значит, он был здесь. Надо искать его по всему дому, и так как, слава Богу, все на запоре, то ему от нас не ускользнуть.

Разбудили других слуг и стали искать повсюду. Не оставалось ни единого шкафа, который бы не открыли, ни единого стула, который бы не сдвинули с места. Перерыты были даже запасы

соломы на огромных чердаках. Наивный Ганс дошел до того, что заглянул в огромные охотничьи сапоги барона, — но и там ничего не оказалось! Все начали уже думать, что Зденко приснился Консуэло, но сама она была более чем когда-либо убеждена в том, что существует потайной выход из замка, и решила употребить всю свою настойчивость, всю свою волю, чтобы найти его. Поспав лишь несколько часов, она снова принялась за поиски. Часть здания, в которой помещалась ее комната (и где были также и апартаменты Альберта), примыкала или, лучше сказать, прислонялась к холму. Альберт сам выбрал и устроил себе жилище в этой части замка, откуда он мог наслаждаться живописным видом на юг и где на восточной стороне был разбит на искусственной земляной террасе прекрасный цветник, куда выходила дверь его рабочего кабинета. Он очень любил цветы и на вершине некогда бесплодного холма, покрытого теперь плодородной землей, разводил редкие растения. Терраса была окружена стеною из больших тесаных камней высотой по грудь, опиравшейся на фундамент из отвесных скал; и с этого цветущего бельведера, как бы висевшего над пропастью, открывался вид на крутой склон обрыва и на часть обшир-

ного горизонта, замыкаемого зубчатыми горами Богемского Леса. Консуэло, попавшая сюда впервые, пришла в восторг от живописного вида и красоты самой террасы; потом она попросила капеллана объяснить ей, каково было назначение этой террасы прежде, до того как замок из крепости превратился в резиденцию графов Рудольштадтов.

— В старину, — начал он рассказывать, — это был бастион, род укрепленной площадки, откуда гарнизон мог наблюдать за передвижением неприятельских войск в долине и по склонам окрестных гор. Ведь в горах нет ни одного прохода, который бы не был виден отсюда. В былое время эту площадку окружала высокая стена с проделанными в ней со всех сторон бойницами, предохранявшая защитников крепости от стрел или пуль неприятеля.

— А это что? — спросила Консуэло, подходя к устроенному посреди цветника колодцу, на дно которого вела крутая винтовая лестница.

— Это колодец, который в старину всегда в изобилии снабжал осажденных чудесной горной водой и был для крепости неоценимым благом!

— Значит, это вода, годная для питья? — сказала Консуэло, глядя на зеленоватую, пенистую

воду колодца. — А мне она кажется мутной.

— Теперь она уж негодна для питья, или, лучше сказать, не всегда бывает годна. Граф Альберт пользуется ею для поливки цветов. Надо сказать, что вот уже два года, как с этим водоемом происходят удивительные вещи. Питающий его источник, который пробивается неподалеку отсюда из горных недр, стал почему-то неравномерно подавать воду. Иногда по целым неделям уровень воды стоит так низко, что Альберт заставляет Зденко для поливки своих любимых цветов носить воду из другого колодца, что на большом дворе. И вдруг совершенно неожиданно, в одну ночь, а иногда и в один час, этот водоем наполняется тепловатой мутной водой — вот такой, как сейчас. Случается, что вода эта так же скоро исчезает, как и появляется, а бывает, что она держится долго, причем мало-помалу очищается и делается холодной и прозрачной, словно горный хрусталь. Очевидно, сегодня ночью произошло как раз такое явление, ибо еще вчера я сам видел, что колодец был полон прозрачной воды, а сейчас она мутна, точно кто-то опорожнил водоем, а потом снова наполнил его.

— Значит, в этих явлениях не наблюдается регулярности? — спросила Консуэло.

— Никакой. И я охотно занялся бы их исследованием, если бы граф Альберт, который со свойственной ему резкостью запрещает входить в свои комнаты и в цветник, не лишил меня этого развлечения. Я думал и продолжаю думать, что дно водоема заросло мхом и водорослями и что они-то и забивают отверстия, через которые поступают подземные воды, пока, вследствие сильного напора, вода наконец не пробьется.

— Но чем же объяснить внезапное исчезновение воды, которое вы иногда наблюдали?

— Тем, что граф потребляет слишком много воды для поливки своих цветов.

— Но, мне кажется, понадобилось бы немало рабочих рук, чтобы опорожнить этот водоем. Разве он неглубок?

— Неглубок? До его дна невозможно добраться!

— В таком случае ваше объяснение меня не удовлетворяет, — сказала Консуэло, пораженная тупостью капеллана.

— Ищите лучшего, — ответил тот, обиженный и немного сконфуженный собственной недогадливостью.

«Конечно, я найду лучшее», — подумала Консуэло, живо заинтересованная причудами водоема.

— О, если вы спросите графа Альберта, что все

это значит, — снова заговорил капеллан, желая маленьким вольнодумством восстановить свой престиж в глазах проницательной иностранки, — он вам, наверное, скажет, что это слезы его матери, то иссякающие, то снова вытекающие из недр гор. А знаменитый Зденко, которого вы считаете таким смышленым, будет вам клясться, что там живет сирена, услаждающая своим пением тех, у кого есть уши, чтобы ее слушать. Они вдвоем с графом окрестили этот водоем Источником слез. Это, возможно, весьма поэтично, но может удовлетворить лишь тех, кто любит языческие побасенки.

«Уж я-то не удовлетворюсь этим, — подумала Консуэло, — и узнаю, отчего эти слезы иссякают».

— Что касается меня, — продолжал капеллан, — то я убежден, что на дне колодца, в другом углу, имеется сток…

— Не будь этого, — перебила Консуэло, — колодец, раз он питается источником, всегда был бы полон до краев.

— Конечно, конечно, — согласился капеллан, не желая обнаруживать, что такое соображение не приходило ему в голову до сих пор. — Это само собой разумеется! Но, очевидно, в движении под-

земных вод произошли какие-то значительные изменения, поэтому-то уровень воды и колеблется, чего не было раньше.

— А что, эти водоемы — дело человеческих рук, или же это естественные подземные каналы? — допытывалась настойчивая Консуэло. — Вот что интересно было бы знать!

— Но это мудрено выяснить, — ответил капеллан, — поскольку граф Альберт не позволяет даже подойти к своему драгоценному водоему и строго-настрого запретил его чистить.

— Так я и думала, — проговорила Консуэло уходя. — И, мне кажется, необходимо твердо блюсти его желание: Бог знает, какое несчастье могло бы с ним случиться, если бы потревожили его сирену!

«Теперь я совершенно уверен, — решил капеллан, расставшись с Консуэло, — что рассудок этой молодой особы не в лучшем состоянии, чем у господина графа. Неужели сумасшествие заразительно? Или, быть может, маэстро Порпора и прислал нам ее сюда именно для того, чтобы деревенский воздух несколько освежил ей мозги? Видя, с каким упорством она добивается разъяснения тайны этого водоема, я побился бы об заклад, что она дочь какого-нибудь венеци-

анского инженера, строителя каналов, и что ей просто хочется прихвастнуть своими знаниями в этой области. Но ее последняя фраза, эта галлюцинация сегодня утром, когда она якобы видела Зденко, и прогулка на Шрекенштейн, которую она заставила нас сделать нынешней ночью, — все это свидетельствует, что ее расспросы о водоеме — фантазия того же рода. Уж не воображает ли она найти на дне этого колодца графа Альберта? Несчастные молодые люди. Как жаль, что вы не можете найти там рассудок и истину!».

Засим добряк капеллан, в ожидании обеда, принялся за свои молитвы.

«Видно, праздность и апатия странным образом ослабляют ум, — в свою очередь, думала Консуэло. — Чем иным можно объяснить, что этому святому человеку, так много читавшему и учившемуся, даже не приходит в голову, почему меня так интересует этот водоем. Прости меня, Боже, но этот твой служитель очень мало пользуется своей способностью рассуждать. И они еще говорят, что Зденко дурачок!».

Затем Консуэло отправилась давать урок пения молодой баронессе, рассчитывая после этого снова приняться за свои розыски.

Глава XXXIX

— Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как вода убывает и как она прибывает? — тихонько спросила Консуэло вечером капеллана, когда тот всецело был поглощен своим пищеварением.

— Что такое? Что случилось? — воскликнул он, вскакивая со стула и в ужасе тараща глаза.

— Я говорю о водоеме, — невозмутимо продолжала она. — Приходилось ли вам самому наблюдать, как происходит это странное явление?

— Ах да! Вы о водоеме? Понимаю! — ответил он с улыбкой сострадания.

«Вот, — подумал он, — опять начинается припадок безумия».

— Да ответьте же мне, добрейший капеллан, — сказала Консуэло, стремясь выяснить интересующий ее вопрос с тем жаром, какой она вносила во все свои умственные занятия, но совершенно не желая уколоть этого достойного человека.

— Признаюсь, синьора, — ответил он холодно, — лично я никогда не видел того, о чем вы

спрашиваете, и, поверьте, меня это не настолько беспокоит, чтобы ради этого я не спал по ночам.

— О! В этом я уверена, — с досадой отозвалась Консуэло.

Капеллан пожал плечами и с трудом поднялся со стула, чтобы избегнуть этого настойчивого дознания.

«Ну что же, если здесь никто не желает пожертвовать часом сна для такого важного открытия, я, если понадобится, посвящу этому целую ночь», — подумала Консуэло, и в ожидании того времени, когда все в замке разойдутся по своим комнатам, она, накинув плащ, пошла пройтись по саду.

Вечер был холодный, ясный, туман постепенно рассеивался, и полная луна всходила на небосклоне; звезды бледнели по мере ее восхождения, а сухой воздух доносил малейший звук. Консуэло, возбужденная, но вовсе не разбитая усталостью, бессонницей, своей великодушной и, быть может, несколько болезненной тревогой, была в каком-то лихорадочном состоянии, которого не могла успокоить даже вечерняя прохлада. Ей казалось, что она близка к цели. Романтическое предчувствие, которое она принимала за приказание и поощрение свыше, поддерживало ее энергию и воодушевляло ее. Она уселась на бугре,

поросшем травою и обсаженном лиственницами, и стала прислушиваться к тихому жалобному журчанию горного ручья на дне долины. Но вот ей почудилось, что временами к журчанию воды примешивается еще более нежный, более жалобный голос. Она прилегла на траву, чтобы, находясь ближе к земле, лучше уловить эти легкие, уносимые ветром звуки. Наконец, она различила голос Зденко. Он пел по-немецки, и она разобрала следующие слова, кое-как приспособленные к чешской мелодии, такой же наивной и меланхолической, как и та, что она слышала от него раньше:

Там, там душа в унынии и в тревоге ждет своего освобождения.

Освобождения и обещанного утешения.

Но, кажется, освобождение – в оковах, а утешение – неумолимо.

Там, там душа в унынии и в тревоге томится ожиданием.

Когда голос умолк, Консуэло поднялась и оглянулась, ища глазами Зденко; она обежала весь парк и сад, зовя его, и возвратилась, так и не увидев юродивого.

Но через час, после длинной общей молитвы за

графа Альберта, на которую были созваны даже слуги замка, когда все улеглись спать, Консуэло отправилась к Источнику слез и, усевшись на его каменной закраине, среди диких густых папоротников и посаженных Альбертом ирисов, стала пристально смотреть на неподвижную воду, в которой, словно в зеркале, отражалась луна, стоявшая в зените.

Так прошел час. Отважная девушка уже почувствовала, что глаза ее начинают смыкаться от усталости, когда легкий шум на поверхности воды разбудил ее. Она открыла глаза и увидела, что отражение луны в водоеме колышется, разбивается и расплывается светлыми кругами. В то же время до нее донеслось какое-то клокотание и глухой шум, сперва едва слышный, но затем все усиливавшийся. Вода стала убывать, кружась, как в воронке, и менее чем в четверть часа совсем исчезла в глубине.

Консуэло решилась спуститься вниз на несколько ступенек. Лестница, высеченная из гранитных глыб и вьющаяся спиралью в скале, была сооружена, по-видимому, для того, чтобы можно было подойти к воде на разных ее уровнях. Скользкие, покрытые илом ступеньки, без всяких перил, терялись в страшной глубине. Мрак, остаток

воды, плескавшейся еще на дне неизмеримой пропасти, невозможность удержаться слабыми ногами на вязкой тине — все это заставило Консуэло отказаться от своей безумной попытки. Пятясь, она с большим трудом поднялась наверх и, дрожащая, подавленная, присела на верхней ступеньке.

Между тем вода, казалось, продолжала убегать в недра земли: шум становился все глуше, пока совсем не затих. Консуэло хотела было сходить за фонарем, чтобы осмотреть сверху, насколько это возможно, внутренность колодца, но, опасаясь упустить приход того, кого ждала, осталась и терпеливо просидела, не двигаясь, еще почти целый час. Наконец ей показалось, что на дне колодца виден слабый свет, и, с тревогой нагнувшись, она увидела, что этот колеблющийся свет мало-помалу движется кверху. Вскоре она уже не сомневалась: Зденко поднимался по спиральной лестнице, держась за железную цепь, вделанную в скалу. По шуму, который он производил, хватаясь за эту цепь и бросая ее, Консуэло догадалась о том, что в колодце были своеобразные перила, которые кончались на известной высоте и существования которых она никак не могла бы предположить. Зденко нес с собой фонарь.

Он повесил его на крюк, очевидно для этой цели вбитый в скалу футах в двадцати ниже уровня земли, а затем легко и быстро поднялся по лестнице уже без помощи цепи или какой-либо видимой опоры. Однако Консуэло, следившая за ним с большим вниманием, заметила, что он придерживается за некоторые выступы скалы, за наиболее крепкие растения в стене и даже, может быть, за какие-нибудь согнутые, торчавшие в стене гвозди, нащупывая их привычной рукой. В тот момент, когда он поднялся настолько высоко, что мог бы заметить Консуэло, она спряталась за каменную полукруглую закраину, обрамлявшую водоем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы, составляя, видимо, с разбором и не торопясь, большой букет. Затем он направился в кабинет Альберта, и Консуэло видела через стеклянную дверь, как он долго рылся там в книгах, пока, наконец, не нашел той, которая, видимо, и была нужна, так как он вернулся к водоему довольный, смеясь и что-то бормоча еле слышно: как видно, его всегдашняя потребность говорить самому с собой боролась в нем со страхом разбудить обитателей замка.

Консуэло еще не решила, стоит ли к нему подойти и попросить проводить ее к Альберту. Надо

правду сказать: пораженная всем виденным, взволнованная затеянным ею делом, довольная тем, что ее предчувствия оправдались, но вместе с тем и ужасаясь при мысли, что надо будет спуститься в недра земли и в глубь вод, она в эту минуту не нашла в себе мужества пойти прямо к развязке и предоставила Зденко спуститься тем же способом, каким он и поднялся, снять свой фонарь и исчезнуть. По мере того как он уходил все глубже под землю, голос его становился все громче, и теперь Консуэло уже ясно слышала загадочные слова: «Освобождение — в оковах, утешение — неумолимо».

С замирающим сердцем Консуэло, нагнувшись над колодцем, раз десять собиралась окликнуть его. Наконец, сделав над собой героическое усилие, она уже совсем было решилась это сделать, но тут ей пришло в голову, что Зденко может от неожиданности поскользнуться на этой опасной лестнице, сорваться и разбиться насмерть. Она воздержалась и на этот раз, но дала себе слово, что завтра, в более подходящую минуту, будет храбрее.

Консуэло подождала еще, чтобы посмотреть, каким образом будет подниматься вода. Поднялась она гораздо быстрее, чем спустилась:

не прошло и четверти часа с того мгновения, когда Зденко скрылся со своим фонарем и голос его затих, как послышался глухой грохот, похожий на отдаленные раскаты грома, и вода хлынула с необычайной силой, кружась, бурля и колотясь о стены своей тюрьмы. Это внезапное вторжение воды было так страшно, что Консуэло затрепетала, ведь бедный Зденко, играя с такими опасностями, распоряжаясь таким образом силами природы, мог быть унесен бурным течением и выброшен на поверхность водоема, как эти плавающие, покрытые илом растения!

А между тем это происходило, должно быть, очень просто. Быть может, стоило только поднять и опустить шлюз или, приходя, положить камень, а уходя, снять его. Но этот человек, такой рассеянный, всегда погруженный в свои странные мечтания, разве не мог он ошибиться и сдвинуть камень чуточку раньше, чем следовало? Приходит ли он по тому самому подземному ходу, по которому устремляется и вода из источника? «Так или иначе, но я должна пробраться туда с ним или без него, — сказала себе Консуэло, — и это будет не позже завтрашней ночи, ибо там есть душа в тревоге и в унынии, которая ждет меня и томится ожиданием. Ведь не случайно же Зденко

пел это, и не без цели он, ненавидя немецкий язык и с трудом изъясняясь на нем, нынче вдруг заговорил по-немецки».

Наконец она пошла спать, но страшные кошмары терзали ее всю ночь. Лихорадочное состояние ее усиливалось, но, еще полная энергии и решимости, она не отдавала себе отчета в этом, а только поминутно просыпалась в испуге, воображая, что стоит на ступеньках той ужасной лестницы и не в силах на нее подняться, а вода под ней все прибывает и прибывает с глухим ревом и молниеносной быстротой.

За ночь она так осунулась, что утром все это заметили. Капеллан не мог удержаться, чтобы не шепнуть канониссе, что эта «приятная и любезная особа», по-видимому, не в своем уме. И добрая Венцеслава, не привыкшая видеть у окружающих ее людей столько мужества и самоотверженности, сама начала думать, что Порпорина по меньшей мере девушка весьма экзальтированная, нервная и легко поддающаяся возбуждению, — канонисса слишком надеялась на свои крепкие, обитые железом двери и верные ключи, постоянно бряцавшие у ее пояса, чтобы продолжать верить в появление и исчезновение Зденко позапрошлой ночью. Поэтому она

обратилась к Консуэло с ласковыми и полными сострадания словами, умоляя ее не принимать так близко к сердцу их семейное горе, подумать о своем здоровье, в то же время стараясь поддержать в девушке надежду на возвращение Альберта, — надежду, которая, надо сказать, уже почти умерла в глубине ее собственной души.

Но она была поражена и вместе с тем обрадована, когда Консуэло с блестящими от восторга глазами и радостной улыбкой, в которой сквозила некоторая гордость, ответила ей:

— Вы правы, что верите в его возвращение и ждете его, дорогая синьора. Граф Альберт не только жив, но, надеюсь, и неплохо себя чувствует, так как в своем убежище он еще интересуется любимыми книгами и цветами. В этом я убеждена и могу вам представить доказательства.

— Что вы хотите сказать этим, дорогое дитя мое? — воскликнула канонисса, поддаваясь ее уверенному тону. — Что вы узнали? Что открыли? Ради самого Бога, говорите, верните к жизни несчастную семью!

— Скажите графу Христиану, что его сын жив и находится недалеко отсюда. Это так же верно, как то, что я люблю вас и уважаю.

Канонисса вскочила, чтобы бежать к брату,

который еще не спускался в гостиную, но взгляд и вздох капеллана удержали ее на месте.

— Не будем так опрометчиво радовать моего бедного Христиана, — проговорила она, также вздыхая. — Знаете, дорогая, если бы ваши чудесные обещания не сбылись, мы нанесли бы несчастному отцу смертельный удар!

— Вы сомневаетесь в моих словах? — спросила с удивлением Консуэло.

— Упаси меня Бог, благородная Нина! Но вы можете заблуждаться! Увы, с нами самими это не раз случалось! Вы говорите, дорогая, о доказательствах. Не можете ли вы привести их нам?

— Не могу… или, скорее, мне кажется, что я не должна это делать, — с некоторым смущением проговорила Консуэло. — Я открыла тайну, которой граф Альберт, несомненно, придает большое значение, но не считаю себя вправе выдать ее без его согласия.

— Без его согласия! — воскликнула каноница, нерешительно глядя на капеллана. — Уж и вправду не видела ли она его?

Капеллан еле заметно пожал плечами, совершенно не понимая, как он терзает бедную канониссу своим недоверием.

— Я его не видела, — продолжала Консуэло, —

но скоро увижу, и вы тоже, надеюсь, увидите. Вот почему я и боюсь задержать его возвращение своей нескромностью, противной его воле.

— Да царит Божественная истина в твоем сердце, великодушное создание, и пусть говорит она твоими устами! — произнесла растроганная канонисса, глядя на Консуэло нежно, но все же с некоторым беспокойством. — Храни свою тайну, если она у тебя есть, и верни нам Альберта, если ты в силах это сделать! Одно могу сказать: если это осуществится, я буду целовать твои колени, как сейчас целую твой бедный лоб… влажный и горячий, — прибавила она, прикасаясь губами к прекрасному воспаленному лбу молодой девушки и взволнованно глядя на капеллана.

— Если она и безумна, — сказала Венцеслава капеллану, как только они остались наедине, — все-таки это ангел доброты, и мне кажется, она принимает наши страдания ближе к сердцу, чем мы сами. Ах, отец мой! Над этим домом тяготеет проклятие: здесь каждого, у кого бьется в груди благородное сердце, поражает безумие, и наша жизнь проходит в том, что мы жалеем тех, кем должны восхищаться.

— Я вовсе не отрицаю добрых побуждений юной иностранки, — возразил капеллан, — но

рассказ ее — бред, не сомневайтесь в этом, сударыня. Она, по-видимому, сегодня ночью видела во сне графа Альберта и вот неосторожно выдает нам свои сны за действительность. Остерегайтесь смутить благочестивую, покорившуюся душу вашего почтенного брата такими пустыми, легкомысленными уверениями. Быть может, не следовало бы также слишком поощрять и безрассудную храбрость синьоры Порпорины… Это может привести ее к опасностям иного рода, чем те, которым она так смело шла навстречу до сих пор…

— Я вас не понимаю! — с простодушной серьезностью ответила канонисса Венцеслава.

— Мне очень нелегко объяснить вам это… — проговорил достойный пастырь. — Но видите ли, мне кажется, что если бы тайное общение, понятно, самое чистое, самое бескорыстное, возникло между этой молодой артисткой и благородным графом…

— Ну и что же? — спросила канонисса с удивлением.

— Что же? А не думаете ли вы, сударыня, что внимание и заботливость, сами по себе весьма невинные, могут в короткое время, благодаря романтическим обстоятельствам и возвышенным

идеям, вылиться в нечто опасное для спокойствия и достоинства молодой музыкантши?

— Мне это никогда не пришло бы в голову! — воскликнула пораженная канонисса. — Неужели, отец мой, вы допускаете, что Порпорина может забыть свое скромное, зависимое положение и войти в какие-либо отношения с человеком, который стоит настолько выше ее, с моим племянником Альбертом фон Рудольштадтом!

— Граф Альберт фон Рудольштадт может сам невольно натолкнуть ее на это, проповедуя, что преимущества рождения и класса — одни лишь пустые предрассудки.

— Вы заронили в мою душу серьезное беспокойство, — сказала Венцеслава, в которой пробудились фамильная гордость и тщеславие, связанные со знатным происхождением, — единственные ее недостатки. — Неужели зло уже зародилось в этом юном сердце? Неужели причиной ее возбуждения, ее стремления разыскать Альберта является не прирожденное великодушие, не привязанность к нам, а менее чистые побуждения?

— Хочу надеяться, что пока этого еще нет — ответил капеллан, у которого была единственная страсть — разыгрывать при помощи своих

советов и рекомендаций влиятельную роль в графской семье, сохраняя при этом видимость робкого почтения и раболепной покорности. — Но вам все-таки следует, дочь моя, зорко следить за грядущими событиями и все время помнить о возможной опасности. Эта трудная роль как нельзя больше вам подходит, ибо небо наградило вас осторожностью и проницательностью.

Разговор этот сильно взволновал канониссу и дал совершенно новое направление ее тревогам. Словно забыв, что Альберт почти потерян для нее, что он, быть может, умирает или даже умер, она теперь была всецело озабочена мыслью о том, как предотвратить последствия того, что в душе называла неподходящей привязанностью. Она походила в этом на индейца из басни, который, спасаясь от свирепого тигра, влез на дерево и отгонял докучливую муху, жужжавшую над его головой.

В течение всего дня она не сводила глаз с Порпорины, следя за каждым ее шагом, тревожно взвешивая каждое ее слово. Наша героиня — а в данное время наша мужественная Консуэло была поистине героиней — не могла не заметить беспокойства канониссы, но была далека от того, чтобы объяснять его чем-либо иным, кроме недо-

верия к ее обещанию вернуть Альберта. Девушка и не старалась скрыть свое волнение, так как ее спокойная, чистая совесть подсказывала ей, что она может не краснеть за свой замысел, а гордиться им. Чувство смущения, которое вызвал в ней несколько дней назад восторженный пыл молодого графа, рассеялось перед серьезной решимостью действовать, свободной от малейшего тщеславия. Язвительные насмешки Амалии, угадывавшей ее план, хотя и не знавшей его подробностей, мало ее трогали. Едва обращая на них внимание, она отвечала лишь улыбкой, предоставляя канониссе прислушиваться к колкостям юной баронессы, запоминать их, истолковывать и находить в них страшный тайный смысл.

Глава XL

Однако, заметив, что канонисса следит за нею так внимательно, как никогда прежде, и опасаясь, как бы столь неуместное усердие не повредило ее планам, Консуэло стала вести себя более сдержанно, благодаря чему ей удалось среди дня ускользнуть от надзора Венцеславы и проворно направиться по дороге к Шрекенштейну. В эту минуту у нее было лишь одно стремление — встретить Зденко, добиться от него объяснений и окончательно выяснить, захочет ли он проводить ее к Альберту. Она увидела его довольно близко от замка, на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Казалось, он охотно шел ей навстречу и, поравнявшись, заговорил с ней очень быстро по-чешски.

— Увы! Я не понимаю тебя, — проговорила Консуэло, как только ей удалось вставить слово. — Я почти не знаю и немецкого языка. Это грубый язык, ненавистный нам обоим: тебе он говорит о рабстве, а мне об изгнании. Но раз это единственный способ понимать друг друга, не отказывайся говорить со мной по-немецки; мы

оба одинаково плохо говорим на нем, но я тебе обещаю выучиться по-чешски, если только ты захочешь меня учить.

После этих приятных ему слов Зденко стал серьезен и, протягивая ей свою сухую, мозолистую руку, которую она, не задумываясь, пожала, сказал по-немецки:

— Добрая девушка Божья, я выучу тебя своему языку и всем своим песням. С какой ты хочешь начать?

Консуэло решила, что надо подделаться к нему и к его причудам, употребляя при расспросах его же выражения.

— Я хочу, — сказала она, — чтобы ты спел мне балладу о графе Альберте.

— О моем брате Альберте, — отвечал он, — существует более двухсот тысяч баллад. Я не могу передать их тебе: ты их не поймешь. Каждый день я сочиняю новые, совсем непохожие на прежние. Попроси что-нибудь другое.

— Отчего же я тебя не пойму? Я — утешение. Слышишь, для тебя мое имя — Консуэло! Для тебя и для графа Альберта, который один здесь знает, кто я.

— Ты Консуэло? — воскликнул со смехом Зденко. — О, ты не знаешь, что говоришь. «Осво-

бождение — в оковах…».

— Я это знаю, — перебила она. — «Утешение — неумолимо». А вот ты, Зденко, ничего не знаешь: освобождение разорвало свои оковы, утешение разбило свои цепи.

— Ложь! Ложь! Глупости! Немецкие слова! — закричал Зденко, обрывая свой смех и переставая прыгать. — Ты не умеешь петь!

— Нет, умею, — возразила Консуэло. — Послушай!

И она спела первую фразу его песни о трех горах, которую прекрасно запомнила; разобрать и выучиться правильно произносить слова ей помогла Амалия.

Зденко слушал с восхищением и затем сказал ей вздыхая:

— Я очень люблю тебя, сестра моя, очень, очень. Хочешь, я тебя выучу еще другой песне?

— Да, песне о графе Альберте: сначала по-немецки, а потом ты выучишь меня петь ее и по-чешски.

— А как она начинается? — спросил он, лукаво на нее поглядывая.

Консуэло начала мотив вчерашней песни: «Там есть, там есть душа в тревоге и в унынье…».

— О! Это вчерашняя песня, сегодня я ее уже не

помню, — прервал ее Зденко.

— Ну так спой мне сегодняшнюю.

— А как она начинается? Скажи мне первые слова.

— Первые слова? Вот они, слушай: «Граф Альберт там, там, в пещере Шрекенштейна…».

Не успела она произнести эти слова, как выражение лица Зденко внезапно изменилось, глаза его засверкали от негодования. Он отступил на три шага, поднял руки, как бы проклиная Консуэло, и заговорил что-то по-чешски гневным и угрожающим тоном.

Сперва она испугалась, но, увидав, что он уходит, окликнула его, чтобы пойти за ним. Он обернулся и, подняв, по-видимому, без всякого усилия своими худыми и как будто такими слабыми руками огромный камень, яростно прокричал по-немецки:

— Зденко никогда никому не сделал зла. Зденко не оторвал бы крылышка у бедной мухи, а если б малое дитя захотело его убить, он дал бы себя убить малому дитяти. Но если ты хоть раз еще взглянешь на меня, вымолвишь одно слово, дочь зла, лгунья, австриячка, Зденко раздавит тебя, словно дождевого червя, хотя бы ему пришлось затем броситься в поток, чтобы смыть со своего

тела и души пролитую им человеческую кровь!

Консуэло в ужасе пустилась бежать и в конце тропинки встретила крестьянина, который, увидев ее, мертвенно-бледную, словно преследуемую кем-то, с удивлением спросил, уж не попался ли ей навстречу волк.

Консуэло, желая выпытать, бывают ли у Зденко припадки буйного помешательства, сказала ему, что она встретила юродивого и испугалась.

— Вам нечего бояться юродивого, — с усмешкой ответил крестьянин, усмотревший в этом трусливость барышни, — Зденко не злой, он всегда или смеется, или поет, или рассказывает истории, никому не понятные, но такие красивые.

— Но разве не бывает, чтобы он рассердился, стал угрожать и швырять камнями?

— Никогда, никогда! — ответил крестьянин. — Этого с ним не случалось и никогда не случится. Зденко вы можете не бояться: Зденко безгрешен, как ангел.

Несколько успокоившись, Консуэло решила, что крестьянин, пожалуй, прав и что она неосторожно сказанным словом сама вызвала у Зденко первый и единственный припадок бешенства. Она горько упрекала себя за это. «Я слишком поторопилась, — говорила она себе, — я пробу-

дила в мирной душе этого человека, лишенного того, что так гордо именуют разумом, неведомое ему страдание, которое теперь может снова проснуться в нем при малейшем поводе. Он был только маньяком, а я, кажется, довела его до сумасшествия».

Но ей стало еще тяжелее, когда она вспомнила о причине, вызвавшей гнев Зденко. Теперь уже не было сомнения: ее догадка о том, что Альберт скрывается где-то в недрах Шрекенштейна, была справедлива. Однако как тщательно и с какой подозрительностью оберегали Альберт и Зденко эту тайну даже от нее! Значит, они и для нее не делали исключения, значит, она не имела никакого влияния на графа Альберта. То наитие, благодаря которому он назвал ее своим утешением, символическая песня Зденко, призывавшая ее накануне, признание, которое Альберт сделал своему любимцу относительно имени Консуэло, все это, значит, было минутной фантазией, а не глубоким, постоянным внутренним чувством, указывавшим ему, кто его освободительница и утешительница. Даже то, что он назвал ее «утешением», словно угадав, как ее зовут, было, очевидно, простой случайностью. Она ни от кого не скрывала, что она испанка и владеет своим

родным языком еще лучше, чем итальянским. И вот Альберт, увлеченный ее пением, не зная другого слова, которое могло бы сильнее выразить то, чего жаждала его душа, чем было полно его воображение, именно с этим словом обратился к ней на языке, которым владел в совершенстве и которого не понимал никто, кроме нее.

Консуэло и до сих пор не создавала себе никаких особых иллюзий на этот счет. Но в их случайной, удивительной встрече чувствовался, казалось, перст судьбы, и ее воображение было невольно захвачено.

Теперь все было под сомнением. Забыл ли Альберт, переживая новую фазу экзальтации, тот восторг, который он испытал, увидев ее? Была ли она бессильна принести ему облегчение и спасение? А может быть, болезнь Зденко, который казался ей сначала таким сообразительным, готовым всячески помочь Альберту, была гораздо серьезнее, чем ей хотелось бы думать? Исполнял ли он приказания своего друга или совершенно забывал о них, когда с яростью запрещал молодой девушке подходить к Шрекенштейну и доискиваться истины?

— Ну что? — спросила ее тихонько Амалия, когда она вернулась домой. — Удалось вам видеть

Альберта, летящего в облаках заката? Не заставите ли вы его мощными заклинаниями вернуться сегодня ночью через дымовую трубу?

— Может быть, — ответила Консуэло не без досады.

Первый раз в жизни самолюбие ее было задето. Она вложила в свой замысел столько искренней самоотверженности, столько великодушного увлечения, что теперь страдала, видя, как насмехаются и издеваются над ее неудачей.

Весь вечер она была грустна, и канонисса, заметившая происшедшую в ней перемену, приписала ее боязни, которую испытывала Консуэло, заметив, что дала повод разгадать пагубное чувство, зародившееся в ее сердце.

Но канонисса жестоко ошиблась. Если бы Консуэло почувствовала какой-либо проблеск новой любви, в ней не было бы ни той горячей веры, ни той святой смелости, которые до сих пор направляли и поддерживали ее. Напротив, никогда еще, пожалуй, с такой горечью не переживала она возврат своей прежней страсти, как теперь, когда героическими подвигами и каким-то фанатическим человеколюбием стремилась заглушить ее.

Войдя вечером в свою комнату, она увидела на спинете старую, украшенную гербом книгу с зо-

лотым обрезом, в которой сейчас же признала ту, что унес Зденко из кабинета Альберта прошлой ночью. Она раскрыла ее на том месте, где была вложена закладка, и ей бросились в глаза первые слова Покаянного псалма: «De profundis clamavi ad te»[24]. Эти латинские слова были подчеркнуты, по-видимому, свежими чернилами, так как черта отпечаталась и на следующей странице. Консуэло перелистала всю книгу, оказавшуюся старинной, так называемой Кралицкой библией, изданной в 1579 году, и нигде не нашла больше никакого указания, никакой отметки на полях, никакой записки. Но разве этот крик, вырвавшийся из бездны, так сказать, из недр земли, не был сам по себе достаточно многозначителен и красноречив? Почему же между настойчивым, определенным желанием Альберта и недавним поведением Зденко существовало столь явное противоречие?

Консуэло остановилась на своем последнем предположении: Альберт, больной и подавленный, лежит в подземелье Шрекенштейна, а Зденко из-за своей безрассудной любви к нему не выпускает его оттуда. Быть может, граф — жертва

---

[24] Примечания: 24

Из бездны воззвал я к тебе (*лат.*).

этого по-своему обожающего его безумца, который держит его в плену, разрешая лишь изредка выглянуть на свет Божий и исполняя его поручения к Консуэло, а потом, повинуясь какому-то необъяснимому капризу или страху, сам же противится их осуществлению. «Ну что ж, — сказала себе Консуэло, — пусть меня ждет настоящая опасность — я пойду. Пусть глупцам и эгоистам покажется это смешным и безрассудным — я пойду. Пусть меня встретит оскорбительное равнодушие того, кто меня призывает, — я все-таки пойду. Впрочем, можно ли оскорбляться, если он и в самом деле не менее безумен, чем бедный Зденко? Пожалев их обоих, я лишь исполню свой долг. Я повинуюсь гласу Бога, вдохновляющего меня, и его деснице, влекущей меня с неодолимой силой».

Лихорадочное возбуждение, в котором она пребывала последние дни и которое после злосчастной встречи с юродивым сменилось страшным упадком духа, вновь охватило ее. Она снова почувствовала прилив сил, душевных и физических. Утаив от Амалии и книгу, и свое возбужденное состояние, и свой план, весело поболтав с ней и дав ей заснуть, Консуэло отправилась к Источнику слез, захватив с собой

потайной фонарь, который она раздобыла еще утром.

Прождала она довольно долго и из-за холода была вынуждена несколько раз входить в кабинет Альберта, чтобы хоть немного согреться. Она отважилась бросить беглый взгляд на груду книг, которые не стояли, как полагается, на полках шкафов, а были как попало свалены на полу посреди комнаты, точно кто-то бросил их туда с презрением и отвращением. В некоторые из них Консуэло решилась заглянуть. Почти все книги были латинские, и она могла только догадываться, что они трактуют о религиозных спорах и изданы или одобрены римской церковью. Она пыталась было разобрать их заглавия, как вдруг услыхала долгожданное клокотание воды в колодце. Прикрыв свой фонарь, она бросилась туда, спряталась за каменную закраину колодца и стала ждать Зденко. На этот раз он не задержался ни в цветнике, ни в кабинете… Он прошел через обе комнаты и вышел из апартаментов Альберта, как узнала потом Консуэло, чтобы посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей спальни графа Христиана, молится ли старик в своем горе, или спокойно спит. Эту заботливость, оказывается, он часто проявлял по собственному

почину, даже не получая на то приказаний Альберта, как мы это увидим из дальнейшего.

Консуэло не стала раздумывать, что делать. Все было решено заранее. Больше она уже не надеялась ни на рассудок, ни на благожелательность Зденко; она хотела добраться до того, кого считала пленником, одиноким, лишенным присмотра и ухода. Несомненно, между замком и Шрекенштейном существовал только один подземный ход. Пусть этот путь труден и опасен, но, во всяком случае, там можно пройти, раз Зденко по нему путешествовал каждую ночь. Конечно, крайне важно было иметь при себе свет, и Консуэло запаслась свечами, куском железа, трутом и кремнем, чтобы в случае надобности иметь возможность высечь огонь. Рассказ, слышанный ею от канониссы об осаде, выдержанной когда-то в замке тевтонским орденом, внушал ей уверенность, что она сможет подземным ходом добраться до Шрекенштейна. По словам Венцеславы, у этих рыцарей был в самой их трапезной колодец, питаемый водою из соседних горных источников. Когда их шпионам надо было выйти для наблюдения за неприятелем, вода из колодца выпускалась, и они проходили подземным ходом в подвластную им деревню. Консуэло помнила,

что, по местным преданиям, деревня, расположенная на холме, прозванном со времени пожара Шрекенштейном, была подчинена крепости Исполинов и во время осады поддерживала с ней тайные сношения. Стало быть, упорно разыскивая потайной ход, она имела для этого серьезное основание и рассуждала вполне здраво.

Она воспользовалась отсутствием Зденко, чтобы спуститься в водоем, но перед этим, встав на колени, поручила свою душу Богу и наивно осенила себя крестом, как тогда, за кулисами театра Сан-Самуэле, перед своим первым выходом на сцену; затем стала храбро спускаться по крутой винтовой лесенке, отыскивая в стене те точки опоры, которыми, как она видела, пользовался Зденко, и стараясь при этом не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Благополучно добравшись до железной цепи и взявшись за нее, Консуэло почувствовала себя более уверенно, и у нее хватило присутствия духа заглянуть на дно водоема. Там еще стояла вода, что сначала испугало девушку, но сейчас же у нее мелькнула мысль, что хотя водоем, быть может, и очень глубок, выход из подземелья, откуда появлялся Зденко, должен быть недалеко от поверхности земли. Она уже спустилась с пятидесяти ступе-

нек с той ловкостью и живостью, которой нет у девиц, воспитанных в гостиных, но которая у детей простолюдинов вырабатывается среди игр и сохраняется на всю жизнь. Единственной опасностью, которая ей угрожала, было поскользнуться на сырых ступеньках. Но Консуэло заранее нашла в каком-то углу старую шляпу с большими полями, которую долго носил на охоте барон Фридрих, выкроила из нее подошвы и подвязала их шнурками к своим ботинкам наподобие котурнов: в последнюю ночную экскурсию Зденко она заметила на его ногах такое же приспособление. На этих войлочных подошвах Зденко бесшумно двигался по коридорам замка, почему ей и казалось, что он скользит подобно тени, а не шагает, как человек. В былое время у гуситов было принято перед внезапным нападением на врага обувать подобным образом не только своих шпионов, но даже и лошадей.

Возле пятьдесят второй ступеньки Консуэло увидела каменную плиту пошире и низкую стрельчатую арку. Не задумываясь, она вошла в нее и, согнувшись, пробралась в узкую, низкую подземную галерею, необычайно прочно сделанную рукой человека и еще всю мокрую от только что схлынувшей воды.

Минут пять она шла по ней, не встречая никаких препятствий и не ощущая страха, как вдруг сзади послышался слабый шум. Быть может, это Зденко уже спускался, направляясь к Шрекенштейну, но она была намного впереди его и еще прибавила шагу, чтобы опасный спутник не догнал ее. Он никак не мог заподозрить, что она идет впереди, так что ему незачем было спешить, а пока он будет распевать свои жалобные песни и бормотать свои бесконечные сказки, она успеет дойти до Альберта и оказаться под его защитой.

Однако услышанный ею шум стал усиливаться — теперь он уже походил на рокот бурно несущихся вод. Что же могло случиться? Не догадался ли Зденко о ее намерении? Не открыл ли он шлюзы, чтобы задержать ее и утопить? Но сделать это он мог, лишь войдя сюда сам, а он, несомненно, был позади нее. Мысль эта, однако, не очень ее успокоила. Зденко был способен скорее пожертвовать жизнью, утонуть вместе с нею, чем допустить, чтобы убежище Альберта было открыто. На всем своем пути Консуэло не заметила ни заступа, ни шлюза, ни камня — ничего, чем можно было бы задержать воду и затем спустить ее. Вода могла быть только впереди нее, а между тем шум слышался сзади, и он все рос, усиливался,

приближался со страшным грохотом.

Внезапно Консуэло с ужасом заметила, что галерея, вместо того чтобы подниматься, опускается — сначала постепенно, а затем все круче и круче. Несчастная ошиблась дорогой! Впопыхах, из-за густого пара, поднимавшегося со дна колодца, она не заметила другой арки, значительно более широкой, находившейся как раз напротив той, в которую она вошла. Она попала в канал, служивший стоком для вод колодца, вместо того чтобы подняться по другому, который вел к резервуару или к источнику. Зденко, идя по противоположной дороге, преспокойно открыл шлюзы: вода ринулась водопадом на дно колодца и, наполнив его до стока, уже устремилась в галерею, по которой мчалась растерявшаяся, похолодевшая от ужаса Консуэло. Вскоре и эта галерея, в которую поступал излишек воды, должна была, в свою очередь, наполниться. По мере приближения к бездне, куда должна была хлынуть вода, спуск становился все круче. Еще секунда, еще мгновение — и канал будет затоплен. Свод, еще совсем мокрый, говорил о том, что вода заполняет его доверху, что спасения нет и, как ни мчись несчастная беглянка, ей все равно не спастись от несущегося позади нее бурного потока. Воздух

уже вытеснялся массой воды, приближавшейся со страшным шумом. Удушливая жара затрудняла дыхание, в союзе с ужасом и отчаянием отнимала жизнь. Уже грохот разъяренной воды раздавался совсем близко от Консуэло, уже рыжеватая пена, зловещая предвестница потока, появилась на мощеном полу галереи и опередила еле движущуюся, растерявшуюся жертву.

Глава XLI

— О матушка! — воскликнула Консуэло. — Открой мне свои объятия! О Андзолетто, я так любила тебя! О Боже, вознагради меня в лучшей жизни!

Едва из груди Консуэло успел вырваться этот вопль предсмертной тоски, как она споткнулась и ударилась о незамеченное препятствие. Какая неожиданность! Какая милость Божья! Это была крутая узкая лестница, поднимавшаяся куда-то вверх, и Консуэло полетела по ней на крыльях страха и надежды. Свод нависает над головой; поток несется, ударяется о лестницу, по которой Консуэло уже успела взбежать, заливает первые десять ступенек, обдает по самые щиколотки быстро убегающие от него ноги девушки и, наконец, достигнув низкого свода, оставшегося уже позади Консуэло, со страшным шумом низвергается в глубокий резервуар, над которым на крошечной площадке очутилась юная героиня, добравшаяся сюда ползком, в потемках, ибо страшный порыв ветра, пронесшийся перед вторжением воды, задул ее фонарь.

Консуэло падает на последнюю ступеньку, инстинкт самосохранения еще поддерживает ее, но она не знает, спасена ли она или, может быть, шумящий водопад — это новая грозящая ей опасность, а холодные брызги, обдающие ее волосы, — распростертая над нею ледяная рука смерти.

Между тем резервуар постепенно наполняется, и обильные воды источника несутся дальше в недра земли по другим, глубже проходящим стокам. Шум затихает, пары рассеиваются, в подземелье слышится звонкое журчанье воды, скорее благозвучное, чем страшное. Дрожащей рукой Консуэло удается зажечь фонарь. Сердце еще сильно бьется в груди, но мужество уже вернулось к ней. На коленях благодарит она Бога и свою матушку и, наконец, оглядывается кругом, направляя колеблющийся свет фонаря на то, что ее окружает.

Обширный, созданный природою грот распростер свой свод над пропастью, наполняемой водою из дальнего источника, теряющегося в недрах Шрекенштейна. Пропасть эта так глубока, что воды в ней не видно; если же бросить туда камень, он летит минуты две и погружается с шумом, напоминающим пушечный выстрел.

Долго потом эхо пещеры повторяет этот звук, а зловещее клокотание невидимой воды, точно лай адской своры, длится еще того дольше. Узкая тропинка, высеченная в одной из скалистых стен грота, вьется над пропастью и теряется в другой темной галерее, которая идет вверх, отклоняясь от потока, и уже не носит на себе никаких следов руки человеческой…

Таков путь, открывшийся перед Консуэло. Другого нет: вода залила и совершенно закрыла дорогу, по которой она пришла. Не ждать же ей тут возвращения Зденко! Здесь убийственно сыро, свет фонаря уже бледнеет, меркнет, грозит совсем погаснуть, а потом его не зажжешь.

Консуэло не падает духом, хотя прекрасно понимает, что это не путь на Шрекенштейн. Подземные галереи, открывающиеся перед ней, — игра природы: они ведут либо в тупики, либо в лабиринт, откуда ей не найти выхода. И все-таки она решается идти по ним, хотя бы для того, чтобы найти более сухое убежище до будущей ночи. Ночью снова появится Зденко, он остановит поток, вода в галерее схлынет, пленница сможет выбраться отсюда и вновь увидит над собой свет звезд.

Итак, Консуэло с новыми силами углубилась

в тайники подземелья. Но на этот раз она внимательно приглядывалась ко всем изменениям почвы и старалась все время идти вверх, не соблазняясь более просторными и прямыми на вид галереями, попадавшимися ей на каждом шагу. Она была уверена, что, действуя так, не встретит поток и сможет потом вернуться назад.

Она двигалась среди тысячи препятствий: громадные камни преграждали ей дорогу, ранили ноги; огромные летучие мыши, вспугнутые светом фонаря, целыми стаями бились вокруг него и, точно духи тьмы, носились над путницей. Но после первых минут изумления и страха каждое новое препятствие лишь придавало ей мужества. Местами приходилось перебираться через гигантские каменные глыбы, оторвавшиеся от скал, тоже грозивших обвалиться и висевших в каких-нибудь двадцати футах над ее головой; местами же проход так сужался и свод становился таким низким, что ей приходилось ползти в разреженном горячем воздухе. Так продвигалась она с полчаса, как вдруг, после одного особенно узкого прохода, через который, несмотря на всю ее стройность и гибкость, ей едва удалось пробраться, она попала из огня да в полымя: перед ней оказался Зденко, сначала окаменевший от

изумления и ужаса, а затем негодующий, разъяренный, угрожающий — такой, каким она уже видела его однажды.

В этом лабиринте, посреди бесчисленных препятствий, при мерцающем свете фонаря, то и дело затухавшего от недостатка воздуха, о бегстве нечего было и думать, и Консуэло решила, насколько хватит сил, защищать свою жизнь. С пеной у рта, с блуждающим взглядом Зденко, очевидно, на этот раз не думал ограничиться одними угрозами. Внезапно он принял необычайное по своей жестокости решение: он стал собирать огромные камни и наваливать их один на другой между собой и Консуэло, чтобы замуровать узкую галерею, где она находилась. Таким образом он мог быть уверен, что, не спуская воды в течение нескольких дней, уморит ее голодом — так пчела, найдя в своей ячейке назойливого шершня, залепляет воском вход в нее.

Но Зденко сооружал эту стену из гранита и притом воздвигал ее с неимоверной быстротой. Атлетическая сила, которую проявлял этот на вид худой, истощенный человек, ворочая и поднимая огромные глыбы, слишком красноречиво говорила Консуэло о том, что сопротивление немыслимо и что лучше вернуться назад, в на-

дежде найти какой-нибудь другой выход, чем доводить юродивого до последней степени ярости. Она попробовала растрогать его, уговорить, убедить своими речами.

— Зденко, — говорила она, — что ты делаешь, безумец? Альберт не простит тебе моей смерти. Альберт ждет и зовет меня. Я ведь друг его, его утешение, его спасение. Губя меня, ты этим губишь своего друга и брата.

Но Зденко, боясь поддаться действию ее слов и твердо решив продолжать начатое дело, запел на родном языке веселую, радостную песню, не переставая в то же время быстро возводить свою циклопическую стену.

Еще один камень, и сооружение будет закончено. Консуэло с ужасом смотрела на работу Зденко. «Никогда, — думала она, — не разрушить мне этой стены: тут нужны руки великана». Последний камень был положен, но вскоре Консуэло заметила, что Зденко принимается за сооружение второй стены. Очевидно, целая громада, целая крепость воздвигалась между нею и Альбертом. А Зденко все продолжал петь и, казалось, наслаждался своей работой.

И вдруг счастливая мысль осенила Консуэло. Она вспомнила о том еретическом заклинании,

которое перевела Амалия и которое так возмутило капеллана.

— Зденко! — крикнула она ему по-чешски сквозь щель уже разделяющей их, но не сплошной стены, — друг Зденко! Обиженный да поклонится тебе.

Едва успела она произнести эти слова, как они оказали на Зденко магическое действие. Выронив из рук огромный камень, он начал с тяжким вздохом разбирать стену еще более поспешно, чем складывал: окончив, он протянул руку Консуэло и молча помог ей перебраться через нагроможденные глыбы камней, после чего внимательно посмотрел на нее, странно вздохнул и, передав ей три ключа на красной ленте, указал на лежавшую перед нею дорогу и проговорил:

— Обиженный да поклонится тебе.

— А ты разве не хочешь быть моим проводником? — спросила она. — Доведи меня до твоего господина.

Зденко покачал головой.

— У меня нет господина, — возразил он, — у меня был друг. Ты отнимаешь его у меня. Веление судьбы свершилось. Иди, куда направляет тебя Бог. Я же буду плакать здесь, пока ты не вернешься.

Сев на груду камней, он закрыл лицо руками и не вымолвил больше ни слова.

Консуэло не стала задерживаться, чтобы утешить его. Она боялась, как бы в нем снова не пробудилась ярость, и, пользуясь своим временным влиянием на него, а главное, зная теперь, что она на верной дороге к Шрекенштейну, стрелой помчалась вперед. Во время своего мучительного хождения по неведомым галереям Консуэло мало подвинулась вперед, так что Зденко, идя несравненно более длинной, но недоступной для воды дорогой, встретился с ней на месте соединения двух подземных ходов: одного — искусно высеченного в скалах рукой человека, другого — жуткого, причудливого, полного всяких опасностей творения природы, причем оба хода шли по кругу под холмом, на котором возвышался замок с его службами. Консуэло не подозревала, что в эту минуту она находится под парком замка и, миновав все его ворота и рвы, идет по дороге, где никакие запоры и ключи канониссы не могут ее остановить. Пройдя некоторое расстояние по этой новой дороге, она призадумалась, не лучше ли вернуться, отказавшись от предприятия, полного таких препятствий и едва не ставшего для нее роковым? Ведь впереди, может

быть, ее ждут еще новые опасности? У Зденко снова мог возродиться его злобный умысел. А что, если он пустится за ней вдогонку? Что, если опять соорудит стену, чтобы отрезать ей путь к возвращению? Тогда как, отказавшись от своего намерения и попросив Зденко очистить ей дорогу к колодцу и выпустить из него воду, чтобы можно было выбраться на свет Божий, она вполне могла рассчитывать на то, что он охотно исполнит ее желание. Но еще слишком сильно было потрясение от пережитых ужасов, чтобы она могла решиться снова встретиться с этим странным существом. Страх, внушенный ей Зденко, все нарастал, по мере того как она удалялась от него, и теперь, когда ей удалось с таким поразительным присутствием духа разрушить его мстительный замысел, она готова была лишиться чувств при одном воспоминании об этом. И Консуэло пустилась бежать от Зденко, не имея мужества еще раз попробовать смягчить его и стремясь поскорее найти одну из тех волшебных дверей, от которых он дал ей ключи, чтобы создать преграду между собой и его безумием.

Но не отнесется ли Альберт, другой безумец, которого она так упорно и безрассудно считала кротким и уступчивым, — не отнесется ли он к

ней так же, как Зденко? Все здесь было покрыто мраком неизвестности, и Консуэло, очнувшись от своего романтического увлечения, спрашивала себя, не она ли самая безумная из всех троих, она, бросившаяся в эту бездну тайн и опасностей, далеко не будучи уверенной в благоприятном и успешном исходе?

Тем временем она продолжала идти по обширному подземелью, искусно сооруженному сильными руками людей средневековья. Это была прорубленная в скалах ровная галерея с низким стрельчатым сводом. Менее твердые породы, меловые жилы и вообще все места, грозившие обвалами, были укреплены сложенными из четырехугольных гранитных плит стенами, покрытыми причудливым орнаментом. Однако Консуэло не теряла времени на созерцание этого громадного сооружения, которое, благодаря своей прочности, могло простоять еще века. Она не спрашивала себя и о том, как могли теперешние владельцы замка не подозревать о существовании столь удивительной галереи. Она легко объяснила бы себе это, если бы вспомнила, что все исторические документы семьи Рудольштадт и этого поместья были сожжены в эпоху Реформации в Чехии, более ста лет назад. Но она не

глядела по сторонам и почти ни о чем не думала, радуясь тому, что она спасена, что под ногами ровная почва, что дышится легко и можно беспрепятственно бежать вперед. До Шрекенштейна оставалось еще порядочное расстояние, хотя подземный путь и был гораздо короче идущей туда же извилистой горной тропинки. Дорога казалась ей бесконечной, и, не имея возможности ориентироваться, Консуэло не знала даже, куда она ее приведет — к Шрекенштейну или куда-то дальше.

После четверти часа ходьбы она увидела, что свод опять стал выше и всякие следы архитектурной работы исчезли. Хотя громадные каменоломни и величественные гроты, через которые проходила Консуэло, были также созданы человеческими руками, но, заросшие растительностью, наполнявшиеся благодаря многочисленным щелям свежим воздухом, они не имели такого мрачного вида, как галереи. Здесь была тысяча возможностей укрыться и избежать преследования разъяренного врага. Вдруг шум бегущей воды заставил Консуэло вздрогнуть, — если бы в подобном положении она способна была шутить, она призналась бы себе, что даже барон Фридрих по возвращении с охоты не относился с большим

отвращением к воде, чем она в эту минуту.

Однако в скором времени она успокоилась и сообразила, что с тех пор, как она отдалилась от пропасти, с тех пор, как ее едва не затопило, она все время поднимается в гору. Зденко должен был бы иметь в своем распоряжении гидравлическую машину невероятных размеров и силы, чтобы поднять своего ужасного союзника — то есть поток — до того места, где находилась сейчас Консуэло. Очевидно, ей предстояло где-то встретиться с водой источника — со шлюзами или с самим источником. И если бы она была в состоянии рассуждать, то даже удивилась бы, не встретив до сих пор на своем пути этот таинственный Источник слез, питающий водоем.

Дело в том, что источник этот начинался в неведомых горных недрах, а галерея, пересекавшая его под прямым углом, встречалась с ним сначала около колодца, а потом около Шрекенштейна, где и предстояло встретиться с ним Консуэло. Шлюзы оставались далеко позади нее, на дороге, по которой Зденко прошел один. Консуэло же теперь приближалась к источнику, которого за последние несколько столетий не видел никто, кроме Альберта и Зденко. Вскоре она поравнялась с ручьем и пошла вдоль него, уже ничего не

боясь и не подвергаясь никакой опасности.

Тропинка, усыпанная свежим мелким песком, тянулась подле прозрачной, чистой воды, которая текла, тихо журча, меж довольно крутых берегов. Здесь снова чувствовалась рука человека. Эта тропинка была проложена по откосу плодородной земли: прекрасные растения, растущие у воды, дикий терновник в цвету, несмотря на суровое время года, обрамляли ручей своей зеленью. Воздуха, проникавшего сюда через множество щелей, было достаточно для жизни растений, но щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог проникнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде естественной теплицы; своды защищали ее от снега и холода, а воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин. Казалось, чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чудесных растений и выбирала из песка камешки, выбрасываемые водой на берег. Предположение это не было ошибочно: Зденко постарался сделать приятной, удобной и безопасной дорогу к убежищу Альберта.

Консуэло, все еще взволнованная пережитыми ужасами, начала ощущать благотворное влияние менее мрачной и даже поэтической обстановки. Бледные лучи луны, пробивавшиеся там и сям

сквозь расщелины скал и преломлявшиеся в струящейся воде, дуновение лесного ветерка, пробегавшее порой по неподвижным растениям, до которых вода не доходила, — все это говорило о том, что она все ближе и ближе подходит к поверхности земли. Консуэло чувствовала, что оживает, и встреча, предстоявшая в конце ее героического паломничества, рисовалась ей уже в менее мрачных красках. Наконец, она увидела, что тропинка, круто свернув в сторону от берега, ведет в короткую галерею, заново выложенную камнями, и обрывается у маленькой двери. По этой двери, казавшейся отлитой из металла — до того она была холодной, — красиво вился плющ.

Когда Консуэло поняла, что настал конец ее испытаниям и колебаниям, когда она прикоснулась усталой рукой к этому последнему препятствию, которое сейчас же могло быть устранено, так как ключ от двери был в другой ее руке, она вдруг смутилась, почувствовав прилив такой робости, которую труднее было побороть, чем все пережитые страхи. Итак, ей предстоит проникнуть, совсем одной, в место, скрытое от всех взоров, от всех человеческих помыслов, чтобы нарушить сон или мечты человека, которого она почти не знает, который ей ни отец, ни брат, ни супруг,

человека, который, быть может, любит ее, но которого сама она не может и не хочет полюбить.

«Бог направил меня и провел через самые ужасные опасности, — говорила она себе. — По его воле, скорее даже, чем благодаря его покровительству, добралась я сюда. Я пришла с пламенной душой, преисполненной милосердия, со спокойным сердцем, с чистой совестью и с полнейшим бескорыстием. Быть может, здесь меня ждет смерть, но это не страшит меня. Моя жизнь опустошена, и я лишусь ее без особого сожаления. Правда, было мгновение, когда я испытала его, но вот уже целый час, как я считаю себя приговоренной к ужасной смерти и отношусь к этому с таким спокойствием, какого даже от себя не ожидала. Быть может, это милость, которую Господь посылает мне в мою последнюю минуту. Быть может, мне предстоит погибнуть от руки разъяренного безумца, но я иду на это с твердостью мученицы. Я горячо верю в загробную жизнь и чувствую, что, если я паду здесь жертвою своей преданности, быть может никому не нужной, но глубоко благочестивой, я буду вознаграждена в лучшем мире. Так что же останавливает меня? Откуда во мне это невыразимое смущение, точно я собираюсь совершить дурной поступок и долж-

на краснеть перед тем, кого пришла спасти?».

Вот как Консуэло, слишком целомудренная, чтобы сознавать свое целомудрие, боролась с собой, почти упрекая себя за тонкость своих чувств. Ей и в голову не приходило, что она может подвергнуться опасности, более ужасной для нее, чем смерть. В своей непорочности она не допускала мысли, что может стать добычей животной страсти безумца. Но она инстинктивно боялась, что поступок ее может быть объяснен менее чистыми, менее возвышенными побуждениями, чем это было на самом деле. Однако она вложила ключ в замок, но, сделав это, раз десять собиралась его повернуть и все не решалась. Страшная усталость, общий упадок сил мешали ей проявить решимость в тот момент, когда решимость эта должна была быть вознаграждена на земле — актом великого милосердия, на небе — мученической кончиной.

Глава XLII

Наконец она решилась. У нее было три ключа. Следовательно, надо было пройти через три двери и две комнаты, чтобы добраться до той, где, как она предполагала, находился пленный Альберт. У нее будет еще время остановиться, если она почувствует, что силы ей изменяют.

Она вошла в комнату с низкими сводами, где не было никакой мебели, кроме ложа из сухого папоротника, на которое была брошена баранья шкура. Пара башмаков старинного фасона, совсем изношенных, указала ей, что это спальня Зденко. Тут же она обнаружила маленькую корзиночку, которую некоторое время назад принесла с фруктами на скалу Ужаса и которая только через два дня исчезла оттуда. Консуэло решилась открыть вторую дверь, заперев предварительно первую, так как она все еще с ужасом представляла себе возможность возвращения свирепого хозяина этого помещения. Вторая комната, куда она вошла, была, как и первая, с низкими сводами, но стены были обиты циновками и плетенками из прутьев, убранными мхом. Печка давала доста-

точно тепла, и, вероятно, из ее трубы, выведенной сквозь скалу наружу, временами и вылетали искры, отблеск которых давал загадочный свет, виденный Консуэло на вершине Шрекенштейна. Ложе Альберта, как и ложе Зденко, было сооружено из сухих листьев и трав, но Зденко покрыл его великолепными медвежьими шкурами, несмотря на требование Альберта соблюдать полнейшее равенство, — требование, которое, из-за страстной нежности к своему другу, Зденко, заботившийся о нем более, чем о себе самом, не всегда выполнял. Консуэло была встречена в этой комнате Цинабром; пес, услыхав, как повернулся ключ в замке, навострил уши и, с тревогой глядя на дверь, расположился у порога. Цинабр был не сторож, а друг. Ему с самого раннего возраста было так строго запрещено рычать и лаять на кого бы то ни было, что он совсем утратил эту естественную для собак привычку. Но, конечно, подойди к Альберту кто-либо с недобрыми намерениями, у Цинабра нашелся бы голос, а нападки кто-либо на его хозяина — он стал бы яростно его защищать. Осторожный и осмотрительный, как настоящий пустынник, он никогда не поднимал ни малейшего шума понапрасну, не обнюхав и не рассмотрев хорошенько человека. Он подошел

к Консуэло и, посмотрев на нее внимательным взглядом, в котором было что-то поистине человеческое, обнюхал ее платье и в особенности руку, в которой она долго держала ключи, данные ей Зденко; совершенно успокоенный этим, он позволил себе предаться приятным воспоминаниям о своем прежнем знакомстве с Консуэло и положил ей на плечи огромные косматые лапы, медленно помахивая и постукивая об пол своим прекрасным хвостом. Оказав ей такой дружеский и почтительный прием, он снова улегся на край медвежьей шкуры, покрывавшей ложе его хозяина, и по-стариковски лениво растянулся на ней, не переставая, однако, следить глазами за каждым шагом, за каждым движением гостьи.

Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэло окинула взглядом обитель отшельника, стремясь по ней получить представление о душевном состоянии живущего тут человека. Никаких признаков сумасшествия или отчаяния она не нашла. Здесь царили чистота и даже своеобразный порядок. Плащ и запасная смена платья висели на рогах зубра — эту диковинку Альберт вывез из дебрей Литвы, и она заменяла ему вешалку. Его многочисленные книги были аккуратно расставлены на полках из неотделан-

ных досок, покоящихся на искусно подобранных толстых сучьях. Стол и два стула были из того же материала и такой же работы. Гербарий, тетради старинных нот, совершенно неизвестных Консуэло, со славянскими заглавиями и текстом, еще красноречивее говорили о мирных, простых и серьезных занятиях анахорета. Старинная лампа висела посреди стола и освещала это меланхолическое святилище, где царила вечная ночь.

Консуэло обратила внимание еще на то, что здесь не было оружия. Несмотря на страсть богатых обитателей здешних лесов к охоте и к роскошным охотничьим принадлежностям, необходимым для этого развлечения, у Альберта не было ни ружья, ни ножа, его старый пес не был обучен великой охотничьей науке, что объясняло презрение и жалость, с какими барон Фридрих всегда смотрел на Цинабра. У Альберта было отвращение к крови, он был не в силах лишить жизни самое ничтожное творение и, конечно же, не мог видеть, когда на его глазах это делали другие. Он менее чем кто-либо испытывал радости жизни, однако у него к ней было безграничное, даже какое-то благоговейное почтение. Интересуясь всеми естественными науками, он занимался только минералогией и ботаникой. Энтомология

уже казалась ему слишком жестокой наукой, и он никогда не смог бы любознательности ради пожертвовать жизнью насекомого.

Консуэло знала об этих особенностях Альберта и вспомнила о них, увидев атрибуты его невинных занятий.

«Нет, мне нечего бояться такого кроткого, мирного существа, — сказала она себе. — Это келья святого, а не убежище безумца». Но чем более она успокаивалась относительно его душевного состояния, тем больше охватывало ее смущение. Казалось, она готова была разочароваться, что здесь не безумец и не умирающий. Мысль, что сейчас она появится перед обыкновенным здоровым мужчиной, делала ее все более и более нерешительной.

Она постояла так несколько минут в раздумье, не зная, каким образом дать знать о себе, как вдруг до нее донеслись звуки какого-то изумительного инструмента. Это скрипка Страдивариуса пела дивную мелодию — величественную, грустную, извлекаемую верной и искусной рукой. Никогда еще Консуэло не слышала ни такой совершенной скрипки, ни столь трогательного виртуоза. Мелодия была ей незнакома, но, судя по странной, наивной манере, она решила, что этот напев,

должно быть, стариннее всего того, что ей было известно из музыки. Она слушала с восторгом, и теперь ей стало ясно, отчего Альберт так хорошо понял ее после первой пропетой ею фразы… У него было истинное понимание настоящей, великой музыки. Он мог не быть ученым музыкантом, не знать всех блестящих приемов этого искусства, но в нем была искра Божия, дар проникновения, любовь к прекрасному. Когда он закончил играть, Консуэло, совершенно успокоенная, чувствуя к нему еще большую симпатию, чем раньше, уже собралась было постучать в дверь — последнюю преграду, как вдруг эта дверь медленно отворилась и перед нею появился молодой граф со взором, устремленным в землю, держа в опущенных руках скрипку и смычок. Он был страшно бледен, а волосы и костюм его находились в таком беспорядке, какого Консуэло никогда еще не доводилось видеть. Его глубокая задумчивость, подавленность, растерянность движений — все говорило если не о расстройстве ума, то, во всяком случае, об ослаблении воли. Он казался безмолвным, лишенным памяти призраком, одним из тех призраков, которые, по поверью славян, входят ночью в дома и там машинально, без смысла и цели, инстинктивно

делают то, что делали раньше в жизни, причем не узнают и не видят ни своих друзей, ни своих слуг, а те или убегают, или молча, похолодев от ужаса и удивления, смотрят на них.

То же самое испытала и Консуэло, видя, что граф Альберт не замечает ее, хотя она стоит от него всего в двух шагах. Цинабр поднялся и стал лизать руку хозяина. Альберт что-то дружески сказал ему по-чешски, а затем, следуя взором за собакой, которая подошла, ласкаясь, к Консуэло, перевел глаза на ноги девушки, обутые в эту минуту почти так же, как ноги Зденко, и стал внимательно их рассматривать; не поднимая головы, он произнес на родном языке несколько слов, которых она не поняла, но они походили на просьбу и заканчивались ее именем.

Найдя его в таком состоянии, Консуэло почувствовала, что ее робость окончательно исчезла. Полная сострадания, она теперь видела в нем только больного с истерзанной душой, который, не узнавая, все-таки зовет ее. И смело, доверчиво положив руку на руку молодого человека, она произнесла по-испански своим чистым, проникающим в душу голосом:

— Консуэло здесь.

Глава XLIII

Не успела Консуэло произнести свое имя, как граф Альберт поднял глаза и, посмотрев на нее, сразу изменился в лице. Он уронил на пол свою драгоценную скрипку с таким безразличием, словно никогда в жизни не играл на ней, и сложил руки с видом глубокого умиления и почтительной скорби.

— Бедная моя Ванда, наконец-то я вижу тебя в этом месте изгнания и муки! — воскликнул он, вздыхая так тяжело, что, казалось, грудь его готова была разорваться. — Моя дорогая, дорогая и несчастная сестра, злополучная жертва, отомщенная мной слишком поздно! Я не сумел защитить тебя. О, ты знаешь, что злодей, тебя опозоривший, погиб в мучениях и что рука моя обагрилась кровью его сообщников. Я пустил кровь рекой у проклятой церкви. В кровавых потоках смыл я бесчестие твое, мое и нашего народа. Чего же хочешь ты еще, беспокойная и мстительная душа? Времена рвения и гнева миновали, теперь настали дни раскаяния и искупления. Требуй от меня молитв, слез, но не

крови. Отныне я чувствую к ней отвращение и не хочу больше проливать ее… Нет, нет, ни одной капли крови! Ян Жижка будет наполнять свою чашу только неиссякаемыми слезами и горькими рыданиями!

Говоря это, Альберт, с блуждающим взором, в крайнем возбуждении, быстро кружил вокруг Консуэло, с ужасом отступая назад всякий раз, как она порывалась прервать его странное заклинание.

Консуэло не пришлось долго раздумывать, чтобы понять, какое направление принял бред молодого графа. Она слышала много рассказов о Яне Жижке и знала, что у этого грозного фанатика была сестра-монахиня, что сестра эта еще до начала Гуситской войны умерла в монастыре от стыда и горя, будучи обесчещена одним гнусным монахом, и что затем вся жизнь Жижки была долгой, великой местью за это преступление. Очевидно, в эту минуту Альберт, который по какой-то непонятной ассоциации вернулся к своей господствующей идее и вообразил, что он Ян Жижка, обращался к ней как к призраку Ванды, своей злосчастной сестры.

Консуэло решила не выводить его слишком резко из этого заблуждения.

— Альберт, — начала она, — ведь твое имя уже не Ян и мое не Ванда. Взгляни на меня хорошенько и согласись, что я, как и ты, изменилась и лицом и характером. Я пришла к тебе затем, чтобы напомнить то, о чем ты сам только что сказал мне. Да, времена рвения и гнева миновали. Правосудие людское больше чем удовлетворено, и я пришла возвестить тебе о правосудии Божьем. Господь повелевает нам прощать и забывать. Эти пагубные воспоминания, это упорство, с которым ты пользуешься своим недоступным для других людей даром — даром вновь переживать мрачные сцены своих прежних существований, — это упорство, повторяю, оскорбляет Бога, и он лишает тебя этого дара, так как ты злоупотребил им. Слышишь ли ты меня, Альберт, и понимаешь ли ты меня теперь?

— О матушка! — воскликнул Альберт, бледный, дрожащий, падая на колени и все еще с бесконечным ужасом смотря на Консуэло. — Я слышу вас и понимаю ваши слова. Я вижу, что вы преображаетесь, чтобы убедить и покорить меня. Нет, вы больше не Ванда Жижка, поруганная девственница, стонущая монахиня, вы Ванда Прахалиц. Люди звали ее графиней Рудольштадтской, и она носила под сердцем того злосчастного, которого

теперь они зовут Альбертом.

— Не по произволу людскому зоветесь вы так, — с твердостью возразила Консуэло, — это Господь заставил вас возродиться в других условиях, возложив на вас другие обязанности. Этих обязанностей, Альберт, вы либо не знаете, либо презираете их. С нечестивой гордыней углубляясь в прошлые века, вы стремитесь проникнуть в тайны судеб; обнимая взором настоящее и прошедшее, вы приравниваете себя к божеству. Но я говорю вам, и сама истина, сама вера говорят моими устами: эта мысль, постоянно обращенная к минувшему, — преступление, безрассудная дерзость. Та сверхъестественная память, которую вы себе приписываете, — фантазия. Какие-то слабые, мимолетные проблески вы приняли за достоверность, и ваше воображение обмануло вас. В своей гордыне вы воздвигаете целое призрачное сооружение, приписывая себе самые выдающиеся роли в истории ваших предков. Берегитесь, — быть может, вы совсем не тот, кем себя воображаете. Дабы наказать вас, вечное знание, быть может, раскроет вам на мгновение глаза и вы увидите в своей прежней жизни преступления менее славные и поводы для раскаяния менее доблестные, чем те, которыми вы осмеливаетесь хвалиться.

Альберт выслушал эту речь с боязливым вниманием, стоя на коленях и закрыв лицо руками.

— Говори, говори, голос неба! Я слышу, но не узнаю тебя, — прошептал он чуть слышно. — Если ты ангел горы, если ты то небесное видение, которое так часто являлось мне на скале Ужаса, — говори, приказывай моей воле, моей совести, моему воображению. Ты знаешь, что я тоскую по свету, и если я блуждаю во тьме, то только потому, что хочу рассеять ее, чтобы достичь тебя.

— Немного смирения, доверия и покорности вечным законам мудрости, недоступной человеку, — вот истинный путь для вас, Альберт, — сказала Консуэло. — Отрешитесь в душе, и отрешитесь непоколебимо, раз и навсегда, от желания познать то, что вне временного, предначертанного вам существования, — и Бог снова будет доволен вами, вы снова станете полезны другим, снова будете в мире с самим собой. Бросьте вашу науку, полную гордыни, и, не теряя веры в бессмертие, не сомневаясь в милосердии Божьем — оно прощает прошлое и покровительствует будущему, — старайтесь сделать плодотворной, полной человеколюбия настоящую вашу жизнь, которую вы презираете, тогда как должны были бы уважать ее, отдаться ей самоотверженно, всем

существом своим, всеми силами, со всей присущей вам добротой. А теперь, Альберт, взгляните на меня, и пусть ваши глаза прозрят. Я не сестра вам, не мать: я друг, которого посылает вам небо, приведшее меня сюда чудесными путями, чтобы вырвать вас из пут безумия и гордыни. Взгляните на меня и скажите чистосердечно и осознанно: кто я и как меня зовут?

Альберт, дрожащий, растерянный, поднял голову и снова взглянул на нее, но во взгляде его было теперь меньше безумия и меньше ужаса, чем раньше.

— Вы заставляете меня перешагнуть через пропасти, — сказал он ей. — Своими мудрыми речами вы смущаете мой ум, а ведь я, на свое несчастье, считал себя умнее других. Вы повелеваете мне познать и понять наше время и все человеческое. Я не могу это сделать. Чтобы забыть некоторые фазы моего существования, я должен пройти через ужасные потрясения, а чтобы войти в новую фазу, мне надо сделать усилие, которое сведет меня в могилу. Если вы прикажете мне именем силы, которая, я чувствую, выше моей, разделить ваши мысли, я вынужден буду повиноваться, но я знаю, какой борьбы мне это будет стоить, знаю, что заплачу за это жизнью.

Сжальтесь же вы, чьи чары имеют надо мной такую власть, помогите мне, — я изнемогаю. Скажите, кто вы? Я вас не знаю, я не помню, чтобы когда-либо видел вас, я даже не знаю, женщина вы или мужчина; вы стоите передо мной, точно таинственная статуя, и я тщетно силюсь припомнить, что она изображает. Помогите, помогите же мне, или я умру.

Лицо Альберта, вначале покрытое лихорадочным румянцем, при последних словах стало мертвенно-бледным. Он протянул к Консуэло руки, но тут же опустил их, видимо, близкий к обмороку.

Консуэло, для которой мало-помалу стали ясны тайные свойства его душевного недуга, почувствовала прилив новых сил; это было какое-то наитие. Она взяла его за руки, заставила подняться с колен и довела до стула. Альберт опустился на него, изнуренный невероятной усталостью, и тотчас склонился над столом, стоявшим рядом, почти теряя сознание. Борьба, о которой он сейчас говорил, была далеко не фантазией. Он умел овладевать своим рассудком и отгонять безумные видения, снедавшие его мозг, но это стоило ему огромного труда, огромных страданий, истощавших его силы. Когда припадок безумия

проходил сам собой, Альберт чувствовал себя после него бодрым и как бы обновленным; когда же, чтобы вернуться к нормальному состоянию, он делал усилие над своей еще могучей волей, физические силы его истощались и он впадал в каталептическое состояние. Консуэло поняла, что с ним происходит.

— Альберт, — сказала она, кладя свою холодную руку на его пылающий лоб. — Я вас знаю — и этого довольно. Я принимаю в вас участие — и этого тоже пока для вас довольно. Я запрещаю вам делать малейшие усилия, чтобы узнать меня и говорить со мной. Вы должны только слушать меня и, если мои слова покажутся вам неясными, не торопитесь понять их, а дайте мне объяснить их вам. Все, о чем я вас прошу, это пассивно повиноваться и ни о чем не рассуждать. Можете ли вы подчиниться голосу своего сердца и не думать ни о чем ином?

— О, как мне хорошо, когда я слушаю вас! — отвечал Альберт. — Говорите, говорите еще и еще… Моя душа — в ваших руках. Кто бы вы ни были, держите ее и не выпускайте, ибо она пойдет стучаться в двери вечности и разобьется о них. Скажите мне, кто вы, скажите скорей; если я сразу не пойму — объясните мне, я, помимо своей

воли, пытаюсь узнать вас, и это меня волнует.

— Я Консуэло, — ответила девушка, — и вы это знаете, раз вы инстинктивно говорите со мной на языке, который из всех тех, кто вас окружает, понимаю лишь я одна. Я друг, которого вы давно ждете и уже однажды узнали, когда я пела. С того дня вы покинули свою семью и скрываетесь здесь, и с этой же минуты я ищу вас. Вы несколько раз звали меня через Зденко, но он, исполняя другие ваши приказания, не пожелал вести меня к вам. Я добралась до вас, преодолевая тысячи опасностей…

— Нет, не пожелай этого Зденко, вы не смогли бы прийти сюда, — прервал ее Альберт, с трудом приподнимая голову над столом. — Вы мечта, я это хорошо знаю, и все, что я слышу, — игра моего воображения… О Боже, ты убаюкиваешь меня обманчивыми радостями, но внезапно я сам начинаю сознавать всю нелепость, всю несообразность своих мечтаний. Тогда я снова оказываюсь один, один во всем мире, со своим отчаянием, со своим безумием… О Консуэло! Консуэло! Мечта блаженная и губительная! Где же существо, носящее твое имя и временами принимающее твой образ? Нет! Ты существуешь только в моем воображении, ты — создание мо-

его бреда…

Альберт снова склонил голову на руки, становившиеся все неподвижнее и холоднее…

Консуэло видела, что ему грозит летаргия, но, будучи сама совершенно измучена и близка к обмороку, боялась, что не сможет предотвратить ее. Она попробовала отогреть руки Альберта в своих, но ее руки были почти так же безжизненны, как и его.

— О Боже, — в отчаянии проговорила она слабым голосом, — помоги двум несчастным, которые почти не в силах поддержать друг друга!

Сама еле живая, наедине с умирающим, она ниоткуда и ни от кого, кроме Зденко, не могла ждать помощи, а его возвращение казалось ей более страшным, чем желательным.

Ее молитва неожиданно взволновала Альберта.

— Кто-то молится подле меня, — проговорил он, приподнимая свою отяжелевшую голову. — Я не один! О нет, я не один! — прибавил он, смотря на руку Консуэло, сжимавшую его руку. — Рука помощи, таинственное сострадание, человеческое, братское сочувствие! Ты делаешь мою агонию сладостной и наполняешь мое сердце благодарностью!

Альберт прижался своими ледяными губами к руке Консуэло и замер…

Поцелуй этот, задев целомудрие девушки, вернул ее к жизни. Все же она не решилась отнять руку у несчастного и, борясь со смущением и изнеможением, еле держась на ногах, вынуждена была опереться на Альберта и положить другую руку ему на плечо.

— Я чувствую, что оживаю, — проговорил Альберт через несколько минут. — Мне кажется, что я в материнских объятиях. Тетушка Венцеслава, если это вы подле меня, простите, что я забыл вас, отца, всю семью, — до того забыл, что ваши имена едва не исчезли из моей памяти. Я вернусь к вам, не покидайте меня! Но отдайте мне Консуэло — ту, которую я ждал так долго и которую, наконец, нашел… Теперь я снова потерял ее. А без нее я не могу дышать…

Консуэло хотела что-то сказать ему, но, по мере того как память и силы, казалось, возвращались к Альберту, жизнь словно угасала в Консуэло. Пережитые ужасы, усталость, волнения, нечеловеческие усилия доконали ее — у нее больше не было сил бороться. Слова замерли на ее устах, ноги подкосились, в глазах потемнело; она упала на колени подле Альберта, и голова ее беспомощ-

но ударилась о его грудь. Тут Альберт, словно проснувшись, узнал ее, громко вскрикнул и крепко сжал в объятиях. Как сквозь завесу смерти, увидела Консуэло его радость, но она не испугала ее: это была святая, целомудренная радость. Девушка закрыла глаза и впала в состояние, которое не было ни сном, ни бодрствованием, а каким-то полнейшим безразличием, близким к бесчувствию.

Глава XLIV

Когда Консуэло очнулась, она почувствовала, что сидит на жесткой постели, и, не будучи еще в силах приподнять веки, попыталась, однако, припомнить, где она и что с ней. Но слабость ее была так велика, что это ей не удавалось. Волнения и усталость последних дней оказались выше ее сил, и она тщетно старалась вспомнить, что с ней произошло с момента отъезда из Венеции. Даже самый отъезд из этой приютившей ее родины, где она провела столько счастливых дней, казался ей сном, и для нее было облегчением — увы, слишком мимолетным — забыть хотя бы на минуту о своем изгнании и о несчастьях, вызвавших его. Итак, она вообразила, будто все еще находится в своей убогой комнатке на Корте-Минелли, лежит на старой материнской кровати и будто после бурной, тяжелой сцены с Андзолетто (неясные воспоминания о ней всплывали в ее памяти) теперь возвращается к жизни и надежде, ощущая его подле себя, слыша его прерывистое дыхание, его нежный шепот. Радость, томная и сладостная, охватила ее сердце, и она с усилием

приподнялась, чтобы взглянуть на своего раскаявшегося друга и протянуть ему руку. Но вместо этого она пожала холодную, незнакомую руку, вместо веселого солнца, заливавшего розовым светом белую занавеску ее окна, перед ней мерцал из-под мрачного свода, расплываясь в сыром воздухе, какой-то могильный свет, под собой она чувствовала шкуры диких зверей, а над ней склонилось среди зловещего молчания бледное лицо Альберта, похожего на привидение.

У Консуэло мелькнула мысль, что она живой попала в могилу, она снова закрыла глаза и с болезненным стоном опустилась на свое ложе. Потребовалось несколько минут, пока она смогла разобраться в том, где она и кто этот страшный человек, к которому она попала. Страх, до сих пор заглушавшийся и побежденный экзальтацией самопожертвования, теперь овладел ею настолько, что она не решалась даже открыть глаза, опасаясь увидеть нечто ужасное — приготовленный саван или раскрытый гроб. Почувствовав что-то на лбу, она дотронулась до него рукой. Это была гирлянда из листьев, которою ее увенчал Альберт. Она сняла ее и увидела в ней веточку кипариса.

— Я думал, что ты умерла, о моя душа, о мое утешение! — воскликнул Альберт, опускаясь подле

нее на колени. — И прежде чем последовать за тобой в могилу, я хотел украсить тебя эмблемой брака. Цветы не растут здесь вокруг меня, Консуэло. Только из темного кипариса мог я сплести для тебя свадебный венок. Вот он, не отвергай его. Если нам с тобой суждено умереть здесь, то позволь мне поклясться тебе: если я вернусь к жизни, у меня не будет другой супруги, кроме тебя, а если умру, то умру соединенным с тобой этой неразрывной клятвой.

— Как? Разве мы обручены? — с испугом, растерянно глядя по сторонам, воскликнула Консуэло. — Кто же связал нас брачными узами? Кто освятил наш брак?

— Судьба, мой ангел! — ответил Альберт с невыразимой нежностью и грустью. — Не думай уйти от нее! Странная судьба для тебя и еще более странная для меня. Ты не понимаешь меня, Консуэло, но ты должна узнать истину. Только что ты запретила мне переноситься воспоминаниями в прошлое, во тьму времен. Мое внутреннее «я» повиновалось тебе, и теперь я больше ничего не знаю о своей предшествующей жизни. Но я постиг свою теперешнюю и знаю ее; вся она мгновенно пронеслась передо мной, в то время как ты покоилась в объятиях смерти. Это твоя судьба,

Консуэло, принадлежать мне, однако ты никогда не будешь моею. Ты не любишь меня и никогда не полюбишь так, как я люблю тебя. Твоя любовь ко мне — только милосердие, преданность — только героизм. Ты святая, которую Господь посылает мне, и ты никогда не будешь для меня женщиной. Я должен умереть, снедаемый любовью, которую ты не можешь разделить. И все же ты будешь моей женой, как сейчас ты уже моя невеста: если мы с тобой погибнем здесь, ты из сострадания согласишься назвать меня своим мужем, хотя ни один поцелуй никогда не должен скрепить наш брак; если же мы увидим солнечный свет, то совесть заставит тебя исполнить по отношению ко мне то, что предначертано Богом.

— Граф Альберт, — сказала Консуэло, порываясь встать с ложа, покрытого шкурами черных медведей, напоминавшими погребальный покров, — я не знаю, что заставляет вас говорить так — слишком восторженная благодарность ко мне или все еще продолжающийся бред. У меня нет больше сил бороться с вашими иллюзиями, и если они обратятся против меня — а я ведь пришла к вам с опасностью для жизни, чтобы утешить вас и помочь вам, — то я чувствую, что не смогу постоять ни за свою жизнь, ни за сво-

боду. Если мое присутствие вызывает ваш гнев, а Господь покинул меня, то да будет Его святая воля. Вы думаете, что знаете много, но вы не подозреваете, насколько отравлена моя жизнь и с каким равнодушием я бы пожертвовала ею.

— Я знаю, что ты несчастна, моя бедная, моя святая Консуэло! Знаю, что на челе твоем терновый венец, но сорвать его с тебя мне не дано. Ни причин, ни следствий твоих несчастий я не знаю и не спрашиваю тебя о них. Но я мало любил бы тебя, я был бы недостоин твоего сострадания, если б с первой же нашей встречи не понял, не почувствовал той грусти, которою полны твое сердце и вся твоя жизнь. Чего же тебе бояться меня, о утешение моей души? Ты, такая стойкая и такая мудрая, ты, которой Господь внушил слова, покорившие и оживившие меня в один миг, — неужели в тебе вдруг стал угасать свет веры и разума, раз ты начинаешь страшиться своего друга, своего слуги, своего раба? Приди в себя, мой ангел, взгляни на меня: вот я у ног твоих и навсегда склоняю чело до земли. Чего ты хочешь? Что прикажешь? Быть может, ты желаешь выйти отсюда сейчас же, одна, без меня? Желаешь, чтобы я никогда больше не показывался тебе на глаза? Какой жертвы ты требуешь? Какую клятву

хочешь ты услышать от меня? Все могу я тебе обещать и во всем повиноваться тебе. Да, Консуэло, я даже могу стать спокойным, покорным и с виду таким же благоразумным человеком, как другие. Скажи, буду ли я тогда менее страшен тебе, менее неприятен? До сих пор я никогда не мог делать того, что хотел, отныне же мне дано будет выполнить все, что ты пожелаешь. Быть может, переделав себя так, как ты этого хочешь, я умру, но теперь моя очередь сказать тебе, что и моя жизнь всегда была отравлена и я с радостью отдам ее ради тебя.

— Дорогой великодушный Альберт, — сказала успокоенная и растроганная Консуэло, — говорите яснее, дайте мне, наконец, проникнуть в глубину вашей бездонной души. В моих глазах вы человек, стоящий выше всех других; с самой первой минуты нашей встречи я почувствовала к вам уважение и симпатию, и у меня нет причин скрывать это от вас. Мне все время говорили, будто вы безумец. Но я никогда этому не верила. Все эти рассказы только увеличивали мое уважение и доверие к вам. Тем не менее я не могла не признать, что вы страдаете каким-то душевным недугом, тяжелым и странным. И вот я, быть может самонадеянно, вообразила почему-то, что

смогу облегчить ваши страдания. Вы сами способствовали этому моему убеждению. Я пришла к вам, и вы рассказываете обо мне и о себе столько глубокого, столько правдивого, что я готова была бы преклониться пред вами, если бы не ваш фатализм, с которым я никак не могу согласиться. Могу я, не оскорбляя вас и не заставляя страдать, высказать вам все?

— Говорите, Консуэло, я заранее знаю, что вы хотите сказать.

— Хорошо, я дала себе слово высказать вам все. Вы приводите в отчаяние всех, кто вас любит. Они полагают, что должны оберегать от постороннего глаза и щадить то, что они называют вашим безумием; они боятся довести вас до крайнего раздражения, если дадут вам заметить, что видят его, скорбят о нем и страшатся его. Сама я не верю в это безумие и потому без всякого страха спрашиваю вас: почему вы с вашим умом временами производите впечатление безумного? Почему при всей своей доброте вы бываете неблагодарны и высокомерны? Почему такой просвещенный и религиозный человек, как вы, может предаваться бреду больного, разочарованного ума? Наконец, почему сейчас вы в одиночестве, заживо погребены в этом мрачном подземелье,

вдали от любящей семьи, которая разыскивает и оплакивает вас, вдали от ближних, о которых вы так ревностно заботитесь, и, наконец, вдали от меня? Ведь вы сами призывали меня и говорили, что меня любите, а между тем если я не погибла, идя к вам, то только благодаря неимоверному усилию воли и покровительству Божьему.

— Вы спрашиваете о тайне моей жизни, о загадке моей судьбы, но вы знаете все это лучше меня, Консуэло! Я сам ждал от вас раскрытия моей сущности, а вы задаете вопросы мне. О, я понимаю: вы хотите заставить меня исповедаться, раскаяться и принять твердое решение, которое помогло бы мне восторжествовать над самим собой. Я готов вам повиноваться. Но я не в состоянии в один миг познать себя, разобраться в себе и преобразиться. Дайте мне несколько дней или хотя бы часов на то, чтобы я мог выяснить для вас и для себя самого, безумен я или же владею своим рассудком. Увы! увы! И то и другое верно. И мое несчастье в том, что у меня нет на этот счет никаких сомнений. Но вот чего я еще не знаю в эту минуту: иду ли я к полной потере ума и воли, или же в состоянии справиться с демоном, который в меня вселился. Сжальтесь надо мной, Консуэло! Я весь еще во власти волнения, которое

сильнее меня. Я не помню то, что говорил вам, я не отдаю себе отчета в том, сколько времени вы здесь; я не понимаю, как можете вы быть здесь, если Зденко не захотел привести вас сюда; я не знаю даже, в каком мире витали мои мысли, когда вы явились предо мной. Увы, мне неизвестно, сколько веков нахожусь я в этом заключении, испытывая неслыханные страдания и борясь с ниспосланным мне бедствием. Когда эти страдания проходят, я уже ничего не помню. У меня остается только страшная усталость, оцепенение, какой-то ужас, который я хотел бы прогнать. Консуэло, дайте мне забыться хотя бы на несколько мгновений! Мои мысли прояснятся, язык развяжется. Я обещаю вам это, клянусь! Защитите меня от ослепительного света действительности! Он так долго был скрыт от меня в этой ужасной тьме, что глаза мои не в состоянии сразу вынести его. Вы приказали мне подчиниться голосу сердца, жить только сердцем. Да, вы мне это сказали, и мое сознание и память живут лишь с того мгновения, как вы заговорили со мной. Слова ваши внесли ангельский покой в мою душу. Сердце мое теперь живет полной жизнью, но разум еще дремлет. Я боюсь говорить вам о себе, так как могу запутаться в своих мыслях и опять напугать вас

своим бредом. Я хочу жить только чувством, но эта жизнь мне неведома; она могла бы стать для меня упоительной, отдайся я ей без боязни, что вы будете мной недовольны. Ах, Консуэло, зачем вы сказали, чтобы я подчинился голосу сердца? Теперь я прошу, выскажитесь яснее, позвольте мне думать о вас, видеть и понимать только вас… словом, любить вас. Боже мой! Я люблю! Люблю живое существо, подобное себе! Люблю его всеми силами души. Могу сосредоточить на нем весь свой пыл, всю святость своей любви! Мне вполне достаточно этого счастья, и я не настолько безумен, чтобы требовать большего!

— Ну хорошо, дорогой Альберт! Пусть ваша измученная душа найдет себе успокоение в тихой, нежной, братской любви. Бог — свидетель, что вы можете любить меня так, ничем не рискуя и ничего не боясь. Я чувствую к вам горячую дружбу, какое-то преклонение, которые не могут поколебать никакие мелочные, пустые разговоры и пересуды пошлых людей. Вы поняли благодаря какому-то Божественному, таинственному наитию, что жизнь моя разбита горем. Вы это сказали, и высшая истина говорила вашими устами. Я не могу любить вас иной любовью, чем любовью сестры; но не думайте, что во мне

говорят только милосердие, жалость. Правда, человеколюбие и сострадание дали мне мужество прийти сюда, но чувство симпатии и особое уважение к вашим душевным качествам дают мне смелость и право говорить с вами так, как я говорю. Раз навсегда откажитесь от заблуждения относительно вашего чувства: никогда не говорите мне ни о любви, ни о браке. Мое прошлое, мои воспоминания делают невозможной любовь между нами, а разница в нашем положении делает такой брак неприемлемым, даже унизительным для меня. Лелея подобные мечты, вы превратили бы мою самоотверженность в нечто безрассудное, почти преступное. Я готова дать вам клятвенное обещание быть вашей сестрой, вашим другом, вашей утешительницей всегда, когда вам только захочется открыть мне свою душу, вашей сиделкой, когда, страдая, вы будете мрачны и удручены. Поклянитесь, что вы никогда не посмотрите на меня другими глазами и не будете любить меня иначе.

— Великодушная женщина, — проговорил Альберт, бледнея. — Ты правильно рассчитываешь на мое мужество и хорошо знаешь мою любовь к тебе, раз добиваешься от меня такого обещания. Я был бы способен солгать впервые в жизни,

был бы готов унизиться до ложной клятвы, если бы ты этого потребовала. Но ты не потребуешь этого, Консуэло. Ты поймешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое мучение, а в мою совесть — угрызения, никогда еще не осквернявшие ее. Не тревожь себя мыслью, какого рода любовью люблю я тебя, ведь я и сам не отдаю себе в этом отчета; знаю только, что не назвать это чувство любовью было бы святотатством. Всему остальному я подчиняюсь: я принимаю твое сострадание, твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу; я всегда буду говорить с тобой только так, как ты мне разрешишь; я не произнесу ни единого слова, могущего смутить тебя; никогда не взгляну на тебя так, чтобы тебе пришлось опустить глаза; никогда не прикоснусь к твоей руке, если это прикосновение тебе неприятно; я даже не дотронусь до края твоих одежд, если ты боишься, что я могу осквернить их своим дыханием. Но ты будешь неправа, если станешь относиться ко мне с недоверием; лучше поддержи во мне это сладостное возбуждение, — оно дает мне жизнь, а тебе нечего его бояться. Я понимаю, что твое целомудрие испугалось бы слов любви, которую ты не хочешь разделить; я знаю, что ты из гордости оттолкнула бы изъявления страсти, которую ты не желаешь

ни пробуждать, ни поощрять. Успокойся же и безбоязненно поклянись мне быть моей сестрой и утешительницей, а я даю тебе клятву быть твоим братом и слугой. Не требуй от меня большего — я буду скромен и ненавязчив. С меня довольно, если ты будешь знать, что можешь повелевать и самовластно управлять мною… но не как братом, а как существом, которое отдалось тебе целиком и навсегда.

Глава XLV

Эти слова успокоили Консуэло относительно настоящего, но не рассеяли ее опасений насчет будущего. Фанатическое самоотречение Альберта вызывалось глубокой и непреодолимой страстью — в этом нельзя было сомневаться, видя торжественное выражение его лица и зная его глубокую натуру. Консуэло, смущенная и вместе с тем растроганная, спрашивала себя, сможет ли она и дальше отдавать свои заботы человеку, влюбленному в нее так откровенно и так безгранично. Она никогда не смотрела легко на подобного рода отношения, а с Альбертом каждой женщине следовало быть особенно осторожной. Она не сомневалась ни в его честности, ни в его обещаниях, но то, о чем она мечтала — вернуть ему покой, — теперь казалось ей совершенно несовместимым с его пламенной любовью, раз она не могла на нее отвечать. Со вздохом протянула она ему руку и, устремив глаза в землю, замерла, погрузившись в печальную задумчивость.

— Альберт, — проговорила она, наконец, подни-

мая на него взор и читая в его глазах мучительное и тревожное ожидание. — Вы не знаете меня, если предлагаете столь неподходящую для меня роль. Только женщина, способная злоупотребить этой ролью, могла бы на нее согласиться. Я не кокетка, не горда, не считаю себя тщеславной, и во мне нет ни малейшей склонности властвовать. Ваша любовь была бы для меня лестной, если бы я могла разделить ее; и если б я любила вас, то сейчас же сказала бы вам об этом. Я знаю, что причиняю вам боль, еще раз повторяя, что это не так, знаю, что говорить такие вещи человеку в вашем состоянии — жестоко, и вам следовало бы избавить меня от необходимости произнести эти слова, но так велит мне совесть, хоть сердце мое разрывается, следуя ее велению. Пожалейте меня: мне приходится причинить вам боль, быть может даже оскорбить вас в ту самую минуту, когда я охотно отдала бы жизнь, чтобы возвратить вам счастье и здоровье.

— Я знаю это, благородная девушка, — ответил Альберт с грустной улыбкой. — Ты так добра, так великодушна, что способна отдать жизнь за последнего из людей, но совесть твоя — я знаю и это — ни для кого не пойдет на уступки. Не бойся же оскорбить меня, обнаружив непреклонность,

которой я восхищаюсь, и стоическую холодность, которая сочетается у тебя с самым трогательным состраданием. А причинить мне боль ты не можешь, Консуэло: я ведь не заблуждался, я привык к жесточайшим страданиям, я знаю, что обречен в жизни на самые мучительные жертвы. Не обращайся же со мной, как с человеком слабым, как с юношей без сердца и самолюбия, повторяя то, что я уже знаю, — ибо я знаю, что ты никогда меня не полюбишь. Мне известна вся твоя жизнь, Консуэло, хоть я и не знаю ни имени твоего, ни твоей семьи, никаких подробностей твоего земного существования. Я знаю лишь историю твоей души, а остальное не имеет для меня значения. Ты любила, ты все еще любишь и всегда будешь любить человека, о котором я ничего не знаю, не хочу знать и у которого я не буду тебя оспаривать, разве только ты сама прикажешь мне это. Но знай, Консуэло, никогда ты не будешь принадлежать ни ему, ни мне, ни самой себе. Бог уготовил тебе особую участь. Я не пытаюсь заглянуть вперед и узнать твою судьбу, но цель ее и конец мне известны. Раба и жертва своей великой души, ты не получишь в этой жизни иной награды, кроме сознания своей силы и ощущения своей доброты. Несчастная в глазах окружающих, ты, несмотря

ни на что, будешь самым спокойным, самым счастливым из всех человеческих созданий, так как всегда будешь справедливейшей и лучшей между ними. Ибо жалости достойны лишь злые и подлые люди, дорогая сестра; и пока человек будет несправедлив и слеп, правильны будут слова Христа: «Блаженны гонимые, блаженны плачущие и надрывающиеся в труде».

Сила и величие, сиявшие на высоком и благородном челе Альберта, произвели на Консуэло такое неотразимое впечатление, что, забыв о своей роли гордой повелительницы и сурового друга, она почувствовала себя во власти этого человека, воодушевленного верой и энтузиазмом. Едва держась на ногах от усталости и волнения, она опустилась на колени и, сложив руки, начала горячо молиться вслух:

— О Господи, если ты вложил это пророчество в уста святого, да свершится воля твоя и да будет она благословенна! В детстве я молила тебя даровать мне счастье суетное, полное веселья, а ты уготовил мне такое суровое и тяжкое, какого я не могла себе представить. Сделай же так, чтобы глаза мои раскрылись и сердце покорилось. Доля моя, казавшаяся мне столь несправедливой, мало-помалу раскрывается перед моими глазами,

и я сумею, о Господи, примириться с нею, прося у тебя только того, чего каждый человек вправе ждать от твоей любви и справедливости: веры, надежды и милосердия.

Молясь так, Консуэло почувствовала, как слезы полились у нее из глаз. Она не старалась их удерживать. После стольких волнений, после всего пережитого этот кризис был для нее благодетелен, хотя и ослабил ее еще больше. Альберт молился и плакал вместе с ней, благословляя свои слезы, так долго проливавшиеся в одиночестве и, наконец, смешавшиеся со слезами великодушного и чистого существа.

— А теперь, — сказала Консуэло, поднимаясь с колен, — довольно думать о себе. Пора заняться другими и вспомнить о наших обязанностях. Я обещала вашим родным вернуть вас. Они в полном отчаянии, плачут и молятся о вас как об умершем. Хотите ли вы, дорогой Альберт, возвратить им радость и покой? Хотите ли вы последовать за мною?

— Уже? — с горечью воскликнул молодой граф. — Уже расстаться! Так скоро покинуть этот священный приют, где с нами один Бог, покинуть эту келью, ставшую мне дорогою с тех пор, как в ней появилась ты, покинуть это святилище

счастья, которое, быть может, я никогда уже не увижу, — покинуть ради того, чтобы вернуться в это холодное существование, полное фальши, условностей и предрассудков! О нет, душа моя, жизнь моя! Еще один день, который равен для меня целому веку блаженства! Дай мне забыть, что существует мир *лжи* и несправедливости, преследующий меня, как пагубный сон; дай мне не сразу, а постепенно вернуться к тому, что они называют рассудком. Я еще не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выносить зрелище их солнца и их безумия. Мне надо еще созерцать тебя, слушать твой голос. Притом я никогда еще не покидал так внезапно, без долгого раздумья, свое убежище — убежище ужасное, но и благодетельное, страшное и спасительное место искупления, куда я бегу без оглядки, где прячусь с дикой радостью и откуда ухожу всегда, испытывая сомнения слишком обоснованные и сожаления слишком длительные. Ты и не подозреваешь, Консуэло, какими крепкими узами прикован я к этой добровольной темнице! Ты не знаешь, что здесь я оставляю свое «я», настоящего Альберта, который, в сущности, и не выходит отсюда. Да, это «я» всегда пребывает тут, и призрак его зовет и преследует меня, когда я нахожусь в

другом месте. Здесь моя совесть, моя вера, мой свет — словом, вся моя действительная жизнь. Сюда я приношу с собой отчаяние, страх, безумие; нередко они нападают на меня и вступают со мной в ожесточенную борьбу. Но, видишь, там, вот за этой дверью, находится святилище, где я побеждаю все эти враждебные чувства и обновляюсь душой. Туда вхожу я осквернённый, охваченный смятением, а выхожу очищенный; и никто не знает, ценою каких пыток я покупаю терпение и покорность. Не вырывай меня отсюда, Консуэло! Позволь мне уйти медленными шагами, сотворив молитву.

— Войдем туда и помолимся вместе! — сказала Консуэло. — А потом уйдем. Время бежит, и, быть может, уж близок рассвет. Никто не должен знать дороги, ведущей отсюда в замок, никто не должен видеть нашего возвращения; надо, пожалуй, чтобы нас не видели возвращающимися вместе, потому что я не хочу выдавать тайну вашего убежища, Альберт, а пока никто ничего не подозревает. Я не хочу, чтобы меня допрашивали, не хочу лгать. Пусть у меня будет право почтительно молчать перед вашими родными. Пусть они думают, что мои обещания были не чем иным, как предчувствием, мечтою. А увидев,

что мы возвращаемся вместе, они могут в моей скрытности усмотреть злую волю, и, хотя для вас, Альберт, я готова пренебречь всем, мне не хотелось бы без крайней необходимости лишаться доверия и дружбы вашей семьи. Поспешим же! Я изнемогаю от усталости и если еще пробуду здесь, то, пожалуй, утрачу и последние силы, которые понадобятся мне для обратного пути. Помолимся же и пойдем!

— Ты изнемогаешь от усталости! Так отдохни же здесь, моя любимая! Спи, я благоговейно буду охранять твой сон, а если мое присутствие беспокоит тебя, запри меня в соседнем гроте. Железная дверь будет между нами, и, пока ты меня не позовешь, я буду молиться за тебя в моей церкви.

— А в то время как вы будете молиться, я же — предаваться отдыху, ваш отец будет переживать еще много мучительных часов. Я видела однажды, как он, стоя на каменном полу своей молельни, на коленях, ослабевший, согбенный от старости и горя, бледный, недвижимый, казалось, ждал только вести о вашей смерти, чтобы испустить дух. А ваша бедная тетушка будет метаться, как в жару, переходя с башни на башню и тщетно высматривая вас на горных тропинках. И сегодня в замке все опять сойдутся утром и разойдутся

вечером в отчаянии и смертельной тревоге. Альберт, вы, наверно, не любите ваших родных, раз так безжалостно, без угрызений совести, можете заставлять их томиться и страдать.

— Консуэло! Консуэло! — воскликнул Альберт, казалось, пробуждаясь от сна. — Не говори, не говори этого! Ты терзаешь мое сердце. Какое же преступление совершил я? Какие причинил бедствия? Почему они так тревожатся? Сколько же часов протекло с тех пор, как я ушел от них?

— Вы спрашиваете, сколько часов! Спросите лучше, сколько дней, сколько ночей — чуть ли не сколько недель!

— Дней, ночей?! Молчите, Консуэло, не говорите мне о моем несчастье! Я знал, что теряю здесь представление о времени, знал, что все, происходящее на поверхности земли, не доходит до этой гробницы, но не подозревал, что это забвение, это неведение может исчисляться днями и даже неделями!

— Не преднамеренная ли это забывчивость, друг мой? Ничто не говорит вам здесь об окончании и возрождении дня, эта вечная тьма родит вечную ночь. Кажется, у вас нет здесь даже и песочных часов. Не является ли это устранение всяких способов исчисления времени жестокой

предосторожностью, чтобы не слышать голосов природы и голоса сердца?

— Признаюсь, что, приходя сюда, я ощущаю потребность забыть все, что есть во мне от обыкновенного человека. Но, Боже мой, я не знал, что горе и думы способны до того поглотить мою душу, что часы могут протянуться для меня днями, а дни пролететь как часы. Что же я за человек? И как это никто ни разу не сказал мне об этом новом злополучном моем свойстве?

— Напротив, это признак огромной духовной силы. Она только отклонилась от своего пути и всецело направлена на мрачные размышления. Ваши близкие решили скрывать от вас горести, которые вы им причиняете, они считают нужным, чтобы уберечь вас от страданий, умалчивать о своих собственных. Но, по-моему, поступать так — значит недостаточно уважать вас, сомневаться в вашем сердце. А я, Альберт, не сомневаюсь в нем и потому ничего не скрываю от вас.

— Идем же, Консуэло, идем! — проговорил Альберт, торопливо набрасывая на себя плащ. — Несчастный! Я заставил страдать отца, которого обожаю, тетушку, которую нежно люблю! Не знаю, достоин ли я увидеть их. Я готов никогда не

возвращаться сюда, лишь бы не повторять такой жестокости. Но нет, я счастлив, я встретил дружеское сердце, — оно будет предостерегать меня, оно поможет мне вернуть уважение к самому себе. Наконец-то нашелся человек, который сказал мне в лицо всю правду и всегда будет говорить ее, не так ли, дорогая сестра?

— Всегда, Альберт, клянусь вам!

— Бог милосерден! Ведь существо, явившееся мне на помощь, именно то единственное из всех существ, которое я могу слушать, которому могу верить! Господь знает, что творит! Не подозревая о своем безумии, я обвинял в нем других. Увы! Скажи мой благородный отец то, что сейчас сказали мне вы, Консуэло, я не поверил бы даже ему. Потому что вы — олицетворение самой истины, олицетворение жизни, потому что вы одна можете убедить меня, можете дать моему помраченному уму небесное спокойствие, которое от вас исходит.

— Пойдемте же, — сказала Консуэло, помогая ему застегнуть плащ, чего он никак не мог сделать своей неверной, дрожащей рукой.

— Да, пойдем, — повторил он за нею, растроганным взором следя за тем, как она дружески помогает ему. — Но сначала поклянись мне,

Консуэло, что, если я вернусь сюда, ты не покинешь меня. Поклянись, что ты еще придешь сюда за мной, хотя бы для того, чтобы осыпать меня упреками, назвать неблагодарным, отцеубийцей, сказать мне, что я не стою твоих забот! О, не предоставляй меня самому себе! Ты видишь, что я весь в твоей власти и что одно твое слово убеждает и исцеляет меня лучше, чем целые века размышлений и молитв.

— А вы поклянитесь мне, — ответила Консуэло, кладя ему на плечи руки (толстый плащ придал ей смелости) и доверчиво улыбаясь, — поклянитесь, что никогда не вернетесь сюда без меня!

— Так, значит, ты придешь сюда со мной! — воскликнул он, глядя на нее в упоении, но не смея обнять ее. — Поклянись же мне в этом, а я даю тебе клятву никогда не покидать отцовского крова без твоего приказания или разрешения.

— Ну, так пусть Господь услышит и примет наше взаимное обещание, — сказала Консуэло вне себя от радости. — Мы с вами, Альберт, еще придем сюда помолиться в вашей церкви, и вы научите меня молиться. Ведь никто не учил меня этому, а я горю желанием познать Бога. Вы, друг мой, раскроете мне небо, а я, когда надо, буду напоминать вам о земных делах и человеческих

обязанностях.

— Божественная сестра! — сказал Альберт, и глаза его наполнились радостными слезами. — Поверь, мне нечему учить тебя. Это ты должна исповедать меня, узнать и переродить. Это ты научишь меня всему, даже молитве. О! Теперь мне не нужно одиночество, дабы возноситься душою к Богу. Теперь мне не нужно простираться над костьми моих предков, дабы понять и постичь бессмертие. Мне нужно только посмотреть на тебя, чтобы моя ожившая душа вознеслась к небу как благодарственный гимн, как очистительный фимиам.

Консуэло увела его, причем сама открыла и закрыла двери.

— Цинабр, сюда! — позвал Альберт своего верного товарища, подавая ему фонарь, лучше устроенный и более приспособленный для такого рода путешествий, чем тот, который захватила с собой Консуэло. Умное животное с гордым и довольным видом взяло в зубы дужку фонаря и двинулось в путь, останавливаясь, когда останавливался его хозяин, то замедляя, то ускоряя шаг, сообразно с его шагами, придерживаясь середины дороги, чтобы уберечь свою драгоценную ношу от ударов о скалы и кусты.

Консуэло шла с величайшим трудом: она чувствовала себя совсем разбитой, и, не будь руки Альберта, который поминутно поддерживал и подхватывал ее, она бы уже десять раз упала. Они спустились вместе вдоль ручья, по его прелестному свежему берегу.

— Это Зденко с такой любовью заботится о наяде здешних таинственных гротов, — пояснил Альберт. — Он расчищает русло реки, которое заносится гравием и ракушками, ухаживает за бледными цветами, вырастающими на берегах, и оберегает их от ее подчас слишком суровых ласк.

Консуэло взглянула сквозь расщелину скалы на небо — там блестела звезда.

— Это Альдебаран, звезда цыган, — проговорил Альберт. — Рассветать начнет только через час.

— Так, значит, это моя звезда, — отозвалась Консуэло. — Ведь я, дорогой граф, если не по рождению, то по своему положению нечто вроде цыганки. Мать мою в Венеции иначе и не звали, хотя она со своими испанскими предрассудками возмущалась этой оскорбительной кличкой. А меня там знали и теперь знают под именем Zingarella.

— Почему ты на самом деле не дитя этого гонимого племени! — воскликнул Альберт. — Я

еще больше любил бы тебя, если б это было возможно!

Консуэло, которая нарочно заговорила о цыганах, считая, что полезно напомнить графу Рудольштадтскому о различии в их происхождении и положении в обществе, вдруг вспомнила рассказы Амалии о симпатии Альберта к нищим и бродягам, а вспомнив, испугалась, чувствуя, что невольно поддалась бессознательному кокетству, и умолкла.

Но Альберт вскоре прервал молчание.

— Ваши слова, — начал он, — почему-то пробудили во мне одно воспоминание юности. Оно довольно незначительно, но все же я должен рассказать вам о нем, потому что с минуты нашей встречи с вами оно неоднократно, с какой-то странной настойчивостью, приходило мне в голову. Опирайтесь на меня покрепче, дорогая сестра, пока я буду вам рассказывать.

Мне было около пятнадцати лет; однажды вечером я возвращался один по тропинке, которая, обогнув Шрекенштейн, вьется затем по холмам к замку. Вдруг я заметил впереди себя высокую, худую, нищенски одетую женщину. Она тащила на спине тяжелую ношу и часто останавливалась то у одного камня, то у другого, чтобы присесть

и перевести дух. Я подошел к ней. Загорелая, иссушенная горем и нуждой, она все-таки была красива. Несмотря на лохмотья, в ней чувствовалась какая-то скорбная гордость: когда она протянула мне руку, у нее был такой вид, словно она не просит, а приказывает. Кошелек мой был пуст, и я предложил ей пойти со мной в замок, где я мог дать ей денег, предоставить ужин и ночлег.

«Хорошо, это даже лучше, — сказала она с иностранным акцентом, который я принял за цыганский. — Я смогу отблагодарить вас за гостеприимство, пропев вам песни разных стран, где мне пришлось побывать. Милостыню я прошу редко и делаю это только в крайней нужде».

«Бедная женщина! — сказал я. — У вас тяжелая ноша, а ваши бедные ноги, почти босые, все изранены. Дайте мне узел, я донесу его до дома, вам будет легче идти».

«Ноша эта с каждым днем становится все тяжелее, — промолвила женщина с печальной улыбкой, которая сразу превратила ее в красавицу. — Я ношу ее уже несколько лет, проделала с ней сотни миль и никогда не жалуюсь на это. Я никогда никому ее не доверяю, но вы кажетесь мне таким добрым юношей, что вам я могу позволить донести ее до дома».

Говоря это, она расстегнула плащ, закрывавший всю ее фигуру (из-под него выглядывал только гриф гитары), и я увидел ребенка пяти-шести лет, бледного, загорелого, как и мать, с кротким, спокойным личиком, растрогавшим мне сердце. Это была девочка, вся в лохмотьях, худая, но крепкая, спавшая ангельским сном на горячей, усталой спине бродячей певицы. Я взял ребенка на руки, но мне с трудом удалось удержать его, так как, проснувшись и увидев, что лежит на руках у чужого, девочка стала вырываться и плакать. Мать заговорила с ней на своем языке, стараясь успокоить ее. Мои ласки и заботы утешили ребенка, и, подходя к замку, мы были с нею уже совсем друзьями. Поужинав и уложив девочку в постель, которую я велел для них приготовить, бедная женщина переоделась в странный наряд, еще более жалкий, чем ее лохмотья; взяв гитару, она явилась в столовую, где мы сидели за ужином, и стала нам петь испанские, французские и немецкие песни. Мы были очарованы ее прекрасным голосом и тем чувством, с каким она их пела. Моя добрая тетушка была очень внимательна к ней и добра. Казалось, певица была тронута этим, но продолжала держаться так же гордо, уклончиво отвечая на все наши

вопросы. Ее ребенок интересовал меня больше, чем она сама. Мне хотелось еще посмотреть на девочку, позабавить ее и даже насовсем оставить у себя. Какое-то нежное чувство проснулось во мне к этому бедному, нуждающемуся в заботе маленькому существу, в нищете странствующему по свету. Всю ночь девочка снилась мне, а утром я побежал взглянуть на нее. Но цыганка уже исчезла, я помчался на гору, но и там не нашел ее. Она поднялась до рассвета и ушла по дороге, ведущей на юг, со своим ребенком и моей гитарой, которую я ей отдал, так как ее собственная, к великому ее огорчению, разбилась. — Альберт! Альберт! — в страшном волнении вскричала Консуэло. — Эта гитара в Венеции и хранится у моего учителя Порпоры; я возьму ее у него и никогда уже с нею не расстанусь. Она из черного дерева, с серебряным вензелем, который я прекрасно помню: «А. Р.». У матери моей была плохая память — слишком уж много разных вещей видела она на своем веку, — и она не помнила ни вашего имени, ни названия замка, ни даже самой страны, где все это случилось. Но она мне часто рассказывала о гостеприимстве, оказанном ей владельцем этой гитары, и о трогательной доброте юного красавца вельможи, который нес

меня целых полмили на руках и разговаривал с нею, как с равной. О дорогой Альберт, я тоже все это помню! По мере того как вы рассказывали, давно забытые образы один за другим вставали предо мной. Вот почему ваши горы показались мне не совсем уж незнакомыми, вот почему этот пейзаж все время смутно напоминал мне что-то. И главное — вот почему при первом же взгляде я почувствовала странный трепет и невольно с почтением склонилась перед вами, словно перед старым другом и покровителем, давно утраченным, но не забытым.

— А ты думаешь, Консуэло, — воскликнул Альберт, прижимая ее к груди, — что я не узнал тебя сразу с первой же минуты? Да, с годами ты выросла, изменилась, похорошела! Но у меня такая память (дар чудесный, хоть иногда и пагубный), которой не нужно ни глаз, ни слов, чтобы проникать сквозь толщу веков и дней. Правда, я не знал, что ты и есть моя дорогая маленькая Zingarella, но был уверен, что уже видел тебя, любил, прижимал к своему сердцу, которое с той минуты, неведомо для меня самого, привязалось к твоему и слилось с ним на всю жизнь.

Глава XLVI

Так, разговаривая, они дошли до разветвления двух дорог, где Консуэло встретила Зденко, и уже издали увидели свет фонаря, который он поставил подле себя на земле. Консуэло, знавшая теперь опасные причуды и атлетическую силу юродивого, невольно прижалась к Альберту.

— Почему вы боитесь этого кроткого и любящего человека? — спросил молодой граф, удивленный и вместе с тем обрадованный выражением этого испуга. — Зденко нежно привязан к вам. После приснившегося ему вчера дурного сна он, правда, не хотел исполнить мое желание и несколько неприязненно отнесся к вашему великодушному плану прийти за мной сюда. Но стоит мне проявить настойчивость, и он делается послушным, как ребенок. Стоит мне сказать одно слово, и он будет у ваших ног.

— Не унижайте его в моем присутствии, — сказала Консуэло. — Не усиливайте его ненависти ко мне. Когда мы его обгоним, я скажу вам, какие у меня причины опасаться и избегать его.

— Зденко — существо почти неземное, — воз-

разил Альберт, — и я никогда не поверю, чтобы он мог быть опасен для кого бы то ни было. Он постоянно находится в состоянии экстаза, что делает его чистым и милосердным, как ангел.

— Это состояние экстаза, которым я и сама восхищаюсь, Альберт, превращается в болезнь, когда оно длительно. Не заблуждайтесь на этот счет. Богу не угодно, чтобы человек отрешался до такой степени от ощущения и сознания действительности и так часто уносился в область туманных представлений абстрактного мира. Безумие и ярость — вот чем кончается такого рода опьянение. Оно является как бы возмездием за гордыню и праздность.

Цинабр остановился перед Зденко, посмотрел на него с дружелюбным видом, очевидно ожидая какой-нибудь ласки, которой, однако, тот его не удостоил. Юродивый сидел, обхватив голову обеими руками, в той же позе и на той же самой скале, где его оставила Консуэло. Альберт обратился к нему по-чешски, но он едва ответил. Он уныло качал головой, по щекам его струились слезы, а на Консуэло он не захотел и взглянуть. Альберт, повысив голос, стал выговаривать ему, но в тоне его было больше нежности и увещания, чем приказания и упрека. Наконец Зденко

поднялся и протянул руку Консуэло. Та, дрожа, пожала ее.

— Теперь, — заговорил Зденко по-немецки, глядя на нее кротко, хотя и с грустью, — тебе нечего бояться меня, но ты делаешь мне очень больно, и я чувствую, что рука твоя полна наших бед.

Он пошел вперед, обмениваясь время от времени несколькими словами с Альбертом. Они шли по просторной, прочно сделанной галерее, по которой Консуэло еще не проходила и которая привела их в пещеру с круглым сводом, где они снова очутились у источника, низвергавшегося в широкий искусственный бассейн, выложенный обтесанными камнями. Отсюда вода растекалась двумя потоками: один терялся в пещерах, другой устремлялся к водоему замка. Его-то и перекрыл Зденко, навалив своими исполинскими руками три огромных камня. Снимал же он их тогда, когда хотел опустить уровень воды в колодце ниже свода и лестницы, по которой можно было подняться на террасу молодого графа.

— Посидим здесь, — сказал Альберт своей спутнице, — пока вода из водоема уйдет через отводную трубу…

— Которая мне слишком хорошо известна, — проговорила Консуэло, дрожа всем телом.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Альберт, с удивлением глядя на нее.

— Я расскажу вам это когда-нибудь после, — ответила Консуэло. — А сейчас я не хочу ни расстраивать, ни волновать вас рассказом об опасностях, которые мне удалось преодолеть…

— Но что же такое она хочет рассказать? — с ужасом воскликнул Альберт, глядя на Зденко.

Зденко что-то ответил по-чешски, продолжая с равнодушным видом месить своими длинными загорелыми руками глину, которой он замазывал щели между камнями, ускоряя этим опорожнение цистерны.

— Объяснитесь, Консуэло! — обратился к ней страшно взволнованный Альберт. — Я ничего не понял из того, что он мне сказал. Зденко утверждает, что не он провел вас сюда, но что вы якобы сами прошли недоступными подземельями, куда слабая женщина никогда бы не отважилась пробраться, да просто и не смогла бы этого сделать. Он говорит (чего только не болтает этот несчастный), что вас вела судьба и что архангел Михаил (которого он называет гордецом и властолюбцем) провел вас через воды и бездну.

— Возможно, — улыбаясь, ответила Консуэло, — что в это дело и вмешался архангел Михаил,

ибо я действительно шла по руслу источника, опередила несшийся за мною поток, раза два-три считала себя уже погибшей, проходила по каким-то пещерам и каменоломням, где могла задохнуться или провалиться... И все-таки эти опасности были не так ужасны, как ярость Зденко в ту минуту, когда случай или провидение вывели меня на верную дорогу.

Тут Консуэло, все время говорившая с Альбертом по-испански, рассказала ему в немногих словах о своей встрече с его миролюбивым Зденко, о его попытке похоронить ее заживо, которая и была бы приведена в исполнение, если бы она не догадалась укротить его странным еретическим приветствием. Холодный пот выступил на лбу Альберта, когда он узнал эти невероятные подробности; слушая Консуэло, он не раз бросал на Зденко грозные взгляды, точно собираясь уничтожить его. Заметив это, Зденко тоже стал смотреть на него с вызовом и презрением. Консуэло дрожала, боясь, как бы эти два безумца не набросились друг на друга. Для нее теперь было ясно, что, несмотря на возвышенный ум и утонченность чувства, рассудок Альберта испытал тяжелые потрясения, от которых, пожалуй, никогда не оправится вполне. Она попыталась примирить

этих двух людей, ласково говоря с обоими, но Альберт встал и, подав Зденко ключи от своего тайного убежища, холодно сказал ему несколько слов. Тот немедленно подчинился, взял фонарь и, распевая непонятные песни, удалился.

— Консуэло, — сказал Альберт, когда Зденко скрылся из виду, — если бы это верное животное, лежащее у ваших ног, взбесилось — да, да, если бы мой бедный Цинабр своей яростью невольно подверг опасности вашу жизнь, мне пришлось бы его убить. Поверьте, рука моя не дрогнула бы, хотя мне никогда не приходилось проливать кровь даже и тех существ, которые стоят ниже человека. Будьте же спокойны, вам больше не грозит ни малейшая опасность.

— О чем вы говорите, Альберт? — спросила Консуэло, встревоженная этим неожиданным намеком. — Теперь мне нечего бояться. Зденко все-таки человек, хотя и потерявший рассудок по своей, а может быть, отчасти и по вашей вине. Не говорите ни о крови, ни о наказании. Вы обязаны вернуть его на путь истинный, излечить его, а не поддерживать его бред. А теперь идемте! Я дрожу при мысли, что рассветет раньше, чем мы успеем вернуться.

— Ты права, — проговорил Альберт, снова пус-

каясь в путь. — Сама мудрость говорит твоими устами, Консуэло. Мое безумие оказалось заразительным для этого несчастного, и ты явилась вовремя, чтобы отвести нас обоих от бездны, куда мы с ним катились. Исцеленный тобою, я постараюсь исцелить и Зденко… Но если это мне не удастся, если его безумие будет грозить твоей жизни, то хотя перед лицом Бога Зденко такой же человек, как и все, хотя он ангельски добр ко мне, хотя он единственный настоящий друг, которого я имел до сих пор на земле… будь уверена, Консуэло, я сумею вырвать его из своего сердца, и больше ты его никогда не увидишь.

— Довольно, довольно, Альберт, — прошептала Консуэло, уже не в силах после всех пережитых ужасов испытывать еще новые. — Не останавливайте своих мыслей на подобных предположениях! Я готова лучше сто раз умереть, чем внести в вашу жизнь необходимость совершить такой поступок и довести вас до отчаяния.

Но Альберт не слушал ее — видимо, рассудок его совсем помутился. Он уже не помнил, что надо поддерживать девушку, не замечал, что она шатается от усталости и чуть не падает на каждом шагу. Всецело поглощенный мыслями об опасностях, пережитых ею ради него, с ужасом

рисуя себе все это, охваченный каким-то восторженно-благодарным чувством, он мчался вперед, что-то отрывисто выкрикивая и не обращая внимания на то, что она с трудом тащится за ним.

В этом отчаянном положении Консуэло вспомнила о Зденко, который был позади и мог вернуться, вспомнила о потоке, который он, так сказать, все еще держал в своих руках и мог опять спустить в тот миг, когда она, лишенная помощи Альберта, стала бы одна подниматься к водоему. Ибо Альберт, во власти какого-то нового бреда, полагал, что она идет впереди, и, несясь за этим обманчивым призраком, оставлял ее во мраке. Это было слишком для женщины, даже для такой, как Консуэло. Цинабр бежал так же быстро, как и его хозяин, он со всех ног мчался вперед, унося в зубах фонарь. Свой же фонарь Консуэло оставила в убежище Альберта. Дорога то и дело изгибалась, вследствие чего свет поминутно исчезал. Наткнувшись впотьмах на какой-то выступ, Консуэло упала и не нашла сил подняться. Смертельный холод охватил ее. Еще одна страшная мысль промелькнула в ее мозгу: вероятно, Зденко получил приказание через определенный промежуток времени открыть шлюзы, чтобы, напустив воду, скрыть лестницу и выход из колодца: даже

независимо от своей ненависти к ней, он должен был по привычке выполнить эту необходимую предосторожность.

«Итак, все кончено! — подумала Консуэло, тщетно силясь ползти. — Я жертва неумолимого рока! Мне не выйти из этого рокового подземелья, глазам моим не увидеть больше дневного света!..».

Уже пелена, гуще окружавшего ее густого мрака, стала заволакивать ей взор, руки окоченели, какая-то апатия, похожая на последний, предсмертный сон, заглушила страх. И вдруг она почувствовала, как чьи-то могучие руки поднимают ее, сжимают и уносят по направлению к колодцу… чья-то пылающая грудь трепещет у самой ее груди, согревая ее; чей-то дружеский, ласковый голос шепчет ей нежные слова; Цинабр прыгает перед нею с качающимся фонарем. Это Альберт, придя в себя, уносит, спасает ее со страстью матери, потерявшей было и вновь нашедшей своего ребенка. За три минуты они дошли до канала, из которого только что ушла вода, достигли арки и лестницы колодца. Цинабр, привыкший к этому опасному подъему, бросился вперед, словно боясь, что помешает хозяину, путаясь у него под ногами. Альберт, держа одной

рукой Консуэло, а другой хватаясь за цепь, поднялся по винтовой лестнице в тот момент, когда вода уже бурлила на дне колодца. Эта новая опасность была не меньше других, перенесенных ею раньше, но Консуэло не ощущала страха. Альберт вообще обладал такой физической силой, перед которой сила Зденко казалась игрушечной, а в данную минуту, под влиянием невероятного возбуждения, сила эта стала просто сверхъестественной. Когда при свете занимающейся зари он опустил свою драгоценную ношу на закраину колодца, Консуэло, наконец, облегченно вздохнула и, оторвавшись от тяжело дышавшей груди Альберта, вытерла его высокий вспотевший лоб своим шарфом.

— Друг, — нежно сказала она, — если б не вы, я была бы мертва. Вы отплатили за все, что я сделала для вас. Я чувствую сейчас вашу усталость больше, чем вы сами, и мне кажется, что на вашем месте я бы не выдержала.

— О моя маленькая Zingarella! — с восторгом воскликнул Альберт, целуя шарф, которым она вытирала его лицо. — Ты не тяжелее для меня, чем в тот день, когда я нес тебя со Шрекенштейна в этот самый замок.

— Замок, откуда вы, Альберт, не выйдете боль-

ше без моего разрешения; не забывайте своих клятв!

— А ты своих! — ответил он, опускаясь перед ней на колени.

Он закутал Консуэло шарфом и провел ее в свою комнату, откуда она тихонько выскользнула к себе. Замок просыпался. На нижнем этаже уже слышался сухой, резкий кашель канониссы, возвещавший о ее пробуждении. Консуэло посчастливилось: никто не видел и не слышал, как она добралась до своей комнаты. Дрожащей рукою сняла она с себя разорванную и испачканную одежду и, заперев ее в свой дорожный сундук, вынула из замка ключ. У нее еще нашлись силы скрыть все следы своего таинственного путешествия; но едва положила она измученную голову на подушку, как ее охватил тяжелый, лихорадочный сон, полный фантастических видений и кошмаров, и она вытянулась на постели во власти неумолимой горячки.

Глава XLVII

Между тем канонисса Венцеслава после получасовой молитвы поднялась по лестнице и, как всегда, первым делом подумала о своем дорогом племяннике. Она направилась к дверям его комнаты и приложила ухо к замочной скважине, хотя меньше чем когда-либо надеялась услышать легкий шорох, который мог бы возвестить его возвращение. Каковы же были ее удивление и радость, когда до нее донеслось ровное дыхание спящего! Осенив себя крестом, она решилась тихонько отворить дверь и на цыпочках войти в комнату. Альберт спокойно спал на своей постели, а Цинабр, свернувшись клубком, — на соседнем кресле. Не разбудив ни того, ни другого, она побежала к графу Христиану, который, распростершись в своей часовне, молился с обычным смирением о возвращении ему сына на небесах или на земле.

— Братец, — тихо сказала Венцеслава, опускаясь на колени рядом с ним, — оставьте ваши молитвы и ищите в сердце своем самые горячие благодарения: Господь услышал вас!

Больше ей ничего не нужно было объяснять. Старик повернулся к сестре и, прочтя в ее маленьких светлых глазах сочувствие и безмерную радость, поднял к алтарю свои иссохшие руки и угасшим голосом воскликнул:

— Боже! Ты возвратил мне сына!

И оба в едином религиозном порыве стали поочередно произносить вполголоса слова прекрасной молитвы Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…»

Решено было не будить Альберта. Призвали барона, капеллана, всех слуг и благоговейно прослушали в домовой церкви замка обедню. Амалия искренно обрадовалась, узнав о возвращении кузена, но решила, что совершенно напрасно ради того, чтобы отпраздновать это счастливое событие, ее подняли в пять часов утра и заставили промучиться целую длинную обедню, во время которой ей пришлось подавить не один зевок.

— Почему ваша подруга, добрейшая Порпорина, не пришла поблагодарить Бога вместе с нами? — спросил граф Христиан племянницу, когда служба кончилась.

— Я пробовала ее разбудить, — ответила Амалия, — звала, тормошила, прибегала для этого ко всяким уловкам, но мне не удалось ни втолко-

вать ей что-либо, ни заставить ее открыть глаза. Если бы она не пылала в жару и не была красна, как огонь, я, право, подумала бы, что она мертва. Должно быть, она очень плохо спала эту ночь, и сейчас ее лихорадит.

— Так, видимо, она больна, эта достойная особа! — проговорил граф. — Дорогая сестра Венцеслава, вам бы следовало пойти взглянуть на нее и сделать все, что требует ее состояние. Избави Бог, чтобы такой радостный день был омрачен болезнью этой благородной девицы!

— Хорошо, братец, — ответила канонисса, бросая вопросительный взгляд на капеллана (в последнее время она ничего не предпринимала по отношению к Консуэло, не посоветовавшись с ним). — Но вы не беспокойтесь, Христиан, ничего страшного нет, просто синьора Нина очень нервна и, конечно, скоро выздоровеет... Но разве не удивительно, — обратилась она к капеллану, отведя его в сторону, — что эта девушка с такой уверенностью и точностью предсказала возвращение Альберта? Господин капеллан, уж не ошиблись ли мы с вами относительно нее? Может, она и вправду вроде святой и у нее бывают откровения?

— Святая присутствовала бы на обедне, а не

лежала в такую минуту в лихорадке, — глубокомысленно изрек капеллан.

Это мудрое замечание вызвало глубокий вздох у канониссы. Однако она пошла навестить Консуэло и обнаружила у нее сильный жар, сопровождаемый непреодолимой сонливостью. Был приглашен капеллан, который заявил, что болезнь может оказаться очень серьезной, если жар продлится. Он спросил молодую баронессу, как провела ночь ее соседка, не очень ли была беспокойна.

— Напротив, — ответила та, — ее совсем не было слышно. А я, по правде сказать, после всех ее предсказаний и чудесных сказок, которые она рассказывала в последние дни, ожидала услышать в ее комнате дьявольский шабаш. Но, должно быть, сатана уносил ее далеко отсюда или она имеет дело с очень благовоспитанными бесенятами, ибо, по-моему, тишина была полная и мой сон ни разу не был потревожен.

Капеллану эти шутки Амалии очень не понравились, а канонисса, у которой недостаток ума искупался сердечностью, сочла их попросту неуместными у постели тяжело больной подруги. Но она ничего не сказала, приписав колкости племянницы ее ревности, имевшей,

без сомнения, слишком основательную причину, и спросила капеллана, какие лекарства надо давать Порпорине.

Он прописал успокоительное средство, но оказалось невозможным заставить больную проглотить его: зубы ее были стиснуты и запекшиеся губы отказывались от всякого питья. Капеллан нашел это плохим признаком, но с апатией, заразившей, к несчастью, весь дом, отложил установление диагноза до следующего дня, сказав: «Посмотрим, надо выждать; сейчас еще ничего нельзя определить». Таковы вообще были приговоры этого эскулапа в рясе.

— Если не наступит перемена, — сказал он, выходя из комнаты Консуэло, — придется подумать о том, чтобы пригласить врача. На себя я не возьму лечение столь необычного нервного заболевания. Я помолюсь о синьоре; быть может, принимая во внимание то душевное состояние, в котором она пребывала в последнее время, помощь Господа окажется более действенной, чем помощь врачебного искусства.

Оставив подле Консуэло служанку, все отправились готовиться к завтраку. Канонисса собственноручно испекла пирог, вкуснейший из всех, когда-либо выходивших из ее искусных рук.

Она радовалась, представляя, с каким удовольствием Альберт после столь продолжительного поста полакомится своим любимым кушаньем. Красавица Амалия облеклась в новое, ослепительное платье, рассчитывая, что Альберт, увидя ее такой обольстительной, быть может, пожалеет, что обижал и раздражал ее. Каждый думал о том, как бы порадовать молодого графа. Позабыто было лишь одно существо, которым, однако, надо было заняться прежде всего, — бедная Консуэло, та, кому родные обязаны были возвращением Альберта и кого он, конечно, жаждал поскорее увидеть.

Альберт вскоре проснулся и, не прибегая к тщетным попыткам отдать себе отчет в том, что с ним было накануне, как это обычно бывало с ним после припадков безумия, увлекавших его в подземное убежище, сразу вспомнил свою любовь и счастье, которое дала ему Консуэло. Он вскочил, оделся, надушился и побежал обнять отца и тетку. Радость родных была неописуема, когда они увидели, что Альберт вполне в здравом уме, что он сознает свое долгое отсутствие, горячо и нежно упрашивает их простить его, обещая никогда больше не причинять им такого горя и беспокойства. Он увидел, в каком восторге были

его близкие оттого, что он вернулся к действительности. Но он заметил также их старания скрыть от него его прежнее состояние и был немного обижен тем, что с ним продолжают обращаться, как с ребенком, в то время как он снова стал взрослым человеком. Однако он покорился этой каре, в сущности ничтожной по сравнению с его виной, и сказал себе, что урок, который он получил, спасителен и Консуэло будет довольна, что он понял это и подчинился.

Сев за стол, окруженный ласками, вниманием, заботами, радостными слезами своей семьи, он с тревогой стал искать глазами ту, которая стала теперь необходимой для его счастья и спокойствия. Он видел, что ее место не занято, но не решался спросить, почему же не появляется Порпорина. Канонисса, заметив, что племянник, вздрагивая, оборачивается каждый раз, как отворяются двери, нашла нужным успокоить его, сказав, что их молодая гостья плохо спала прошлую ночь и теперь отдыхает, пожелав провести часть дня в постели.

Альберт прекрасно понимал, что его освободительница должна изнемогать от усталости, но все-таки при этом известии испуг отразился на его лице.

— Тетушка, — обратился он к канониссе, не будучи в силах скрывать дольше свое волнение, — если бы приемная дочь Порпоры была серьезно больна, мы не сидели бы, я полагаю, так спокойно за трапезой и беседой?

— Успокойтесь, Альберт, — вмешалась Амалия, вспыхнув от досады. — Нина сейчас видит вас во сне и предвещает ваше возвращение, в то время как мы здесь радостно празднуем его.

Альберт побледнел от негодования и, гневно глядя на двоюродную сестру, проговорил:

— Если кто здесь и ждал меня, забывшись сладким сном, то совсем не та особа, о которой вы упомянули. Свежесть ваших щек, прелестная кузина, говорит, что вы не потеряли ни единого часа сна в мое отсутствие и что в настоящую минуту совсем не нуждаетесь в отдыхе. От всего сердца благодарю вас за это, — ведь мне было бы особенно тяжело просить прощения у вас, хотя я со стыдом и болью прошу его у всех прочих членов и друзей моей семьи.

— Весьма благодарна за исключение, — отпарировала Амалия, побагровев от гнева. — Постараюсь и впредь заслуживать его, а свои бессонные ночи и свои заботы я приберегу для кого-нибудь другого — для того, кто сумеет оценить, а не вы-

смеивать их.

Эта легкая перестрелка — явление далеко не новое между Альбертом и его невестой, никогда, впрочем, не носившее до сих пор с обеих сторон столь резкого характера, — набросила, несмотря на всеобщие старания развлечь Альберта, какую-то тень грусти и принужденности на весь остаток утра. Канонисса несколько раз навещала больную и каждый раз находила ее все в более и более тяжелом состоянии. Беспокойство, проявленное Альбертом в отношении Консуэло, задело Амалию как личное оскорбление, и она ушла поплакать в свою комнату. Капеллан высказался в том смысле, что, если до вечера жар не уменьшится, нужно будет послать за врачом. Граф Христиан задержал сына подле себя, чтобы отвлечь его от тревожных мыслей, которых он не мог понять, продолжая считать их проявлением болезни. Но, стараясь привлечь сына ласковыми словами, добрый старик никак не мог найти темы для беседы и откровенных излияний, так как ни разу не осмелился исследовать душу сына до глубины, из опасения, что этот более сильный ум победит и разобьет его самого в религиозных вопросах. Правда, граф Христиан называл безумием и вольнодумством проблески яркого света, скво-

зившие в странных речах Альберта, — слабые глаза правоверного католика не выдерживали этого блеска, — но втайне он сочувствовал сыну, в то же время противясь своему желанию серьезно расспросить его. Каждый раз, когда граф Христиан пытался опровергнуть еретические суждения Альберта, прямые и веские доказательства последнего принуждали его умолкнуть. Природа не наделила старика красноречием, он не обладал способностью многословно и складно оспаривать взгляд противника и еще менее способен был прибегать к шарлатанству в споре, иными словами — стараться, за недостатком логики, произвести впечатление призрачной ученостью и показной уверенностью. Простодушный и скромный, он умолкал, упрекая себя, что в юные годы не изучил тех трудных предметов, в которых его побивал Альберт. Будучи уверен, что в бездне богословских наук таятся сокровища истины, которыми человек более ловкий и более ученый, чем он, сумел бы разбить ересь Альберта, он цеплялся за свою поколебленную веру и, чтобы не действовать более энергично, прикрывался своим невежеством и простотою, лишь усиливавшими гордыню вольнодумца и приносившими ему, таким образом, больше вреда, чем пользы.

Их разговор раз двадцать прерывался в силу какого-то обоюдного опасения и раз двадцать возобновлялся благодаря обоюдным усилиям, а под конец оборвался сам собой. Старый Христиан задремал в кресле, а Альберт, покинув его, пошел справиться о состоянии Консуэло, которое тем больше его пугало, чем больше окружающие старались скрыть ее болезнь.

Более двух часов проблуждал он по коридорам, подстерегая канониссу или капеллана, чтобы узнать хоть что-нибудь о Консуэло. Капеллан отвечал ему кратко и сдержанно, а канонисса, завидя издали племянника, спешила принять веселый вид и завести разговор совсем о другом, чтобы обмануть его кажущимся спокойствием. Но Альберт хорошо видел, что она начинает не на шутку тревожиться и все чаще и чаще заходит в комнату больной; от его наблюдательности не укрылось также и то, что никто не стеснялся поминутно открывать и закрывать двери, мало заботясь о том, что этот стук и возня могут потревожить Консуэло, спящую якобы мирным и столь необходимым ей сном. Он отважился даже подойти к этой комнате, за минутное пребывание в которой готов был бы отдать жизнь. Перед ней была другая комната, так что две плотных двери,

не пропускавшие ни малейшего звука, отделяли ее от коридора. Заметив эту попытку, канонисса заперла обе двери на ключ и на задвижку, а сама стала ходить через находившуюся рядом комнату Амалии, куда Альберт вошел бы справиться о больной не иначе, как со страшной неохотой. Наконец, видя, в каком он отчаянии, и боясь возвращения его недуга, тетка решилась на ложь: в душе моля Бога простить ей, она сказала племяннику, что больная чувствует себя гораздо лучше и даже собирается спуститься в столовую к обеду.

Альберт не мог усомниться в словах тетки, никогда до сих пор не осквернявшей своих чистых уст ложью, и отправился к старому графу, не зная, как дождаться часа, который должен был вернуть ему Консуэло и счастье.

Но этот желанный час пробил для него напрасно: Консуэло не появилась. Канонисса, делая в искусстве лжи большие успехи, рассказала, будто больная встала было, но, почувствовав некоторую слабость, предпочла обедать у себя в комнате. Она даже сделала вид, что посылает Консуэло лучшие куски самых изысканных блюд. Благодаря всем этим хитростям тревога Альберта несколько улеглась. Хотя он и испытывал гнетущую тоску, как бы предчувствуя страшное

несчастье, однако покорился, сделав над собой усилие, чтобы казаться спокойным.

Вечером Венцеслава с довольным видом, уже почти не притворяясь, сообщила, что Порпорине лучше: щеки ее уже не пылают, пульс скорее слаб, чем учащен, и, по-видимому, она должна хорошо провести ночь.

«Но почему же, несмотря на эти добрые вести, я все-таки холодею от ужаса?» — спрашивал себя молодой граф, прощаясь в обычное время перед сном со своими родными.

Дело в том, что добрейшая канонисса, несмотря на свою худобу и свой горб, никогда не болела, а потому ничего не понимала в болезнях. И вот, видя, что Консуэло из багрово-красной стала синевато-бледной, что ее бурлящая кровь как будто застыла в жилах, а грудь, не имевшая сил вдыхать воздух, кажется спокойной и неподвижной, она сочла ее выздоровевшей и сейчас же с детской доверчивостью объявила об этом. Но капеллан, несколько больше ее смысливший в заболеваниях, понимал прекрасно, что это кажущееся спокойствие — лишь предвестник жестокого кризиса, и, как только Альберт ушел к себе, предупредил канониссу, что наступил момент послать за доктором. К несчастью, город был далеко, ночь

темна, дороги ужасны, а Ганс, несмотря на все свое усердие, чрезвычайно медлителен. К тому же разразилась гроза, полил сильный дождь. Старая лошадь, на которой ехал старый слуга, всего пугалась, то и дело спотыкалась и кончила тем, что вместе с растерявшимся седоком, видевшим в каждом холме — Шрекенштейн, а в каждой сверкающей молнии — огненный полет злого духа, заблудилась в лесах. Только когда уже совсем рассвело, удалось Гансу выбраться на верную дорогу. Погоняя насколько было сил, свою лошадь, добрался он до города, где в это время доктор еще крепко спал. Проснувшись, доктор стал медленно одеваться, собираться и, наконец, пустился в путь. Таким образом, на все это были потрачены целые сутки.

Альберт тщетно старался уснуть. Снедавшая его тревога и зловещие раскаты грома всю ночь не давали ему сомкнуть глаз. Сойти вниз он не смел, боясь вызвать негодование тетки, которая и так уже утром отчитала его за неуместное и неприличное хождение возле комнат девиц. Он оставил свою дверь открытой, и несколько раз ему казалось, что внизу ходят. Он выскакивал на лестницу, но, никого не увидев и ничего не услышав, старался успокоить себя, объясняя на-

пугавшие его обманчивые звуки шумом дождя и порывами ветра. С той минуты, как Консуэло потребовала, чтобы он бережно относился к своему рассудку и душевному состоянию, Альберт терпеливо и твердо старался побороть в себе волнения и страхи, сдерживая свою любовь силой этой самой любви. Но вдруг среди раскатов грома и треска древних стен замка, которые стенали под натиском урагана, до него донесся долгий душераздирающий крик, пронзивший его, словно удар кинжала. Тут Альберт, который только что бросился, не раздеваясь, на постель, решив заснуть, вскочил, опрометью спустился по лестнице и постучал в дверь комнаты Консуэло. Но там уже снова царила тишина, и никто не открыл ему. Он решил было, что все это ему приснилось, но вот раздался новый крик, еще более страшный, еще более зловещий, от которого у него похолодело сердце. Уже без всяких колебаний бежит он темным коридором, стучится у двери Амалии, кричит, что это он, Альберт. Слышится стук закрывающейся задвижки, и голос Амалии повелительно приказывает ему удалиться. А между тем крики и стоны становятся все громче: это голос Консуэло, полный нестерпимой муки. Он слышит, как обожаемые уста в отчаянии вы-

крикивают его имя. С бешенством кидается он на дверь, срывает замок, задвижку и, отбросив на кушетку Амалию, которая разыгрывает оскорбленную невинность, ибо ее застали в шелковом капоте и кружевном чепчике, мертвенно-бледный, со вставшими дыбом волосами, врывается в комнату Консуэло.

Глава XLVIII

Консуэло в страшном бреду билась в руках двух самых сильных в доме служанок, которые едва удерживали ее в постели. Несчастной мерещились, как это бывает иногда при мозговой горячке, неслыханные ужасы, и она стремилась убежать от преследовавших ее страшных видений, а женщины, которые удерживали ее и старались успокоить, казались ей остервенелыми врагами, чудовищами, жаждущими ее гибели. Растерявшийся капеллан, который ждал, что она с минуты на минуту умрет, сраженная недугом, уже читал над ней отходную, а больная принимала его за Зденко, воздвигавшего вокруг нее стены под бормотание своих таинственных напевов. В дрожащей канониссе, пытавшейся своими слабыми силами помочь служанкам удержать ее, Консуэло видела призрак то одной, то другой Ванды — то сестры Жижки, то матери Альберта, и ей казалось, что обе они поочередно появляются в пустынном гроте отшельника и упрекают ее в том, что она, вторгшись в их владения, присвоила себе их права. Ее восклицания,

стоны, ее бред, непонятный для окружающих, были в прямой связи с теми мыслями и предметами, которые так сильно взволновали и поразили ее прошлой ночью. Консуэло чудился рев потока, и она делала руками такие движения, словно плыла. Она встряхивала свои разбросанные по плечам черные волосы и как бы сбрасывала с них воображаемую пену. Все время она ощущала присутствие Зденко: то позади нее он открывает шлюзы, то впереди с ожесточением преграждает ей путь. Она твердила все время о камнях и воде, что заставило капеллана сказать, качая головой: «Какое, однако, длительное и тяжелое сновидение. Не знаю, право, почему в последнее время она так неотступно думала об этом колодце? Наверное, это было начало болезни: слышите, она все время упоминает о нем в своем бреду».

В ту минуту, когда Альберт вне себя ворвался в ее комнату, Консуэло, выбившись совсем из сил, лепетала какие-то невнятные слова, а потом вдруг опять принялась дико кричать. Воображение ее, не сдерживаемое больше силой воли, заставляло девушку снова со страшным напряжением переживать испытанные ею ужасы. Но что-то похожее на смысл проскальзывало минутами в ее бреду, и она начинала звать Аль-

берта таким звучным и звенящим голосом, что, казалось, самые стены дома должны были содрогнуться. Потом эти крики переходили в рыдания, которые грозили задушить ее, хотя глаза ее с блуждающим взглядом были сухи и блестели устрашающим блеском.

— Я здесь! Я здесь! — закричал Альберт, бросаясь к ее постели.

Консуэло услыхала его и, вообразив, что Альберт бежит впереди, вырвалась из державших ее рук со стремительностью и силой, какие придает горячка даже самым слабым организмам, и, растрепанная, босая, в одной тонкой, измятой белой ночной сорочке, делавшей ее похожей на привидение, вышедшее из могилы, выбежала на середину комнаты. В ту минуту, когда ее уже собирались схватить, она с ловкостью дикой кошки перепрыгнула через стоявший перед нею спинет, метнулась к окну, приняв его за отверстие рокового колодца, стала одной ногой на подоконник, протянула руки и, снова выкрикнув в бурную, зловещую ночь имя Альберта, выбросилась бы из окна, если бы Альберт, еще более быстрый и сильный, чем она, не схватил ее за руки и не перенес обратно на кровать. Она его не узнала, но совершенно не сопротивлялась и перестала кри-

чать. Альберт, не жалея самых нежных слов, стал по-испански горячо уговаривать ее. Она слушала его, устремив глаза в одну точку, не видя и не отвечая ему; потом вдруг привстала, опустилась на своей кровати на колени и запела «Te Deum» Генделя, которого недавно начала с восторгом изучать. Никогда еще голос ее не звучал с такой силой, с таким чувством, никогда не была она так хороша, как в эту минуту экстаза: волосы ее распустились, яркий лихорадочный румянец горел на щеках, а глаза, казалось, читали что-то в небесах, приоткрывшихся для нее одной. Канонисса была до того растрогана, что тоже упала на колени у кровати и залилась слезами, а капеллан, несмотря на свою недоброжелательность, склонил голову, охваченный благоговейным почтением. Закончив строфу, Консуэло глубоко вздохнула, и Божественная радость озарила ее лицо.

— Я спасена! — крикнула она, падая навзничь, бледная и холодная как мрамор: глаза ее, хотя и открытые, словно потухли, губы посинели, руки окоченели.

На минуту воцарилось молчание, даже какое-то оцепенение. Амалия, не решавшаяся войти и наблюдавшая эту страшную сцену стоя у по-

рога, от ужаса упала в обморок. Канонисса и обе женщины бросились к ней на помощь. Консуэло, мертвенно-бледная, покоилась в объятиях Альберта, который, припав головой к груди умирающей, казался таким же мертвецом, как она. Канонисса, распорядившись уложить Амалию в кровать, снова появилась на пороге комнаты.

— Ну что, господин капеллан? — спросила она, совсем убитая.

— Это смерть, сударыня, — проговорил капеллан глухим голосом, опуская руку Консуэло после безуспешных попыток нащупать ее пульс.

— Нет! Это не смерть! Нет! Тысячу раз нет! — воскликнул Альберт, порывисто приподнимаясь. — Я лучше освидетельствовал ее сердце, чем вы ее пульс. Оно еще бьется, она дышит, она жива! О! Она будет жить! Не так и не теперь суждено ей кончить жизнь! Кто отважился подумать, что Бог приговорил ее к смерти? Настала минута, когда надо серьезно заняться ею. Господин капеллан, дайте мне ваш ящик. Я знаю, что ей нужно, а вы не знаете. Да делайте же то, что я вам говорю, несчастный! Вы не оказали ей помощи, хотя могли предотвратить этот ужасный припадок. Вы не сделали этого, не пожелали сделать! Вы скрыли от меня ее недуг, вы все обманули меня. Вы

хотели ее гибели, не правда ли? Ваша трусливая осторожность, ваше отвратительное равнодушие сковали вам язык и руки! Дайте мне ваш ящик, говорю я вам, и предоставьте мне действовать.

И так как капеллан не решался передать ему свои лекарства, боясь, чтобы в неопытных руках возбужденного, полупомешанного человека они не стали смертельным ядом, Альберт вырвал ящик из его рук. Не обращая внимания на уговоры тетки, он сам выбрал и определил надлежащую дозу быстро действующего и сильного успокоительного средства: Альберт был гораздо более сведущ во многих вещах, чем думали его близкие. В ту пору своей жизни, когда он еще отдавал себе отчет в болезненных явлениях своего мозга, он изучал на самом себе действие самых сильных средств. Человек смелый, к тому же вдохновленный страстной преданностью любимой женщине, он приготовил лекарство, к которому никогда не отважился бы прибегнуть капеллан. Ему удалось, вооружившись необыкновенным терпением и нежностью, разжать зубы больной и заставить ее проглотить несколько капель этого сильнодействующего средства. Через час, в продолжение которого он несколько раз давал ей это лекарство, Консуэло начала свобод-

но дышать, руки ее потеплели, лицо несколько оживилось. Она еще ничего не слышала и не чувствовала, но состояние ее уже походило на что-то вроде сна, губы немного порозовели. В это время появился доктор. Видя серьезность положения, он заявил, что его позвали слишком поздно и что он не ручается за исход болезни. По его мнению, надо было еще накануне пустить кровь, а теперь момент упущен и кровопускание может лишь вызвать новый припадок.

— Припадок должен повториться, — проговорил Альберт, — но кровь пустить надо.

Доктор — немец, тяжеловесный субъект с большим самомнением, привыкший к тому, что его слушают как оракула, ибо во всей округе у него не было конкурентов, — приподнял свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позволил себе так смело решить подобный вопрос.

— Говорю вам, необходимо сделать кровопускание, — настойчиво повторил Альберт. — Будет ли пущена кровь или не будет, припадок все равно повторится.

— Позвольте, — возразил доктор Вецелиус, — это вовсе не так неизбежно, как вы изволите думать. — И улыбнулся несколько презрительной, иронической улыбкой.

— Если припадок не повторится, все кончено, — проговорил Альберт, — вы сами должны это знать. Такая сонливость неизбежно ведет к притуплению умственных способностей, к параличу, к смерти. Ваш долг овладеть недугом, повысить его интенсивность, для того чтобы преодолеть его. Словом, вам надо бороться, а иначе к чему ваше присутствие здесь? Молитвы и погребение — не ваше дело. Пустите кровь, или я сам пущу ее!

Доктор прекрасно знал, что Альберт был прав, и вначале сам собирался пустить кровь, но ему казалось, что такому значительному лицу, как он, не подобает высказаться сразу и тотчас перейти к действию: ведь могли бы подумать, что болезнь проста и лечение несложно. А наш немец любил напустить на себя глубокомысленный вид, долго и мучительно исследовать больного, после чего внезапно его якобы осеняла гениальная мысль, и тогда он победоносно выходил из затруднений. Это давало возможность сказать то, что о нем говорили тысячу раз: «Болезнь была так запущена, приняла такое опасное течение, что сам доктор Вецелиус призадумался. Никто, кроме него, не смог бы уловить нужный момент и сделать то, что надо. Да, это человек чрезвычайно осторож-

ный, очень знающий, очень искусный! Такого доктора не найти и в Вене!».

Видя, что ему противоречат, припертый к стене нетерпением Альберта, он ответил:

— Если вы врач и пользуетесь тут авторитетом, то я совершенно не понимаю, зачем меня пригласили. Мне остается только уехать.

— Если вы не желаете своевременно приступить к делу, то можете удалиться, — проговорил Альберт.

Доктор Вецелиус, глубоко оскорбленный тем, что его пригласили к больной одновременно с каким-то неизвестным коллегой, относящимся к нему без должного почтения, встал и прошел в комнату Амалии: ему надо было заняться еще этой молодой нервической особой, не переставшей звать его к себе, и проститься с канониссой. Но последняя не отпустила его.

— О нет, дорогой доктор, вы не можете покинуть нас в таком положении! Подумайте, какая ответственность лежит на нас! Мой племянник вас обидел. Но стоит ли придавать значение вспыльчивости человека, который так мало владеет собой?

— Неужели это граф Альберт? — спросил пораженный доктор. — Я бы никогда не узнал его. Как

он переменился!

— Конечно, за те десять лет, что вы его не видели, в нем произошло много перемен.

— А я, признаться, считал его совершенно выздоровевшим, — не без ехидства заметил Вецелиус, — поскольку меня ни разу не приглашали к нему со времени его возвращения.

— Ах, любезный доктор, вы прекрасно знаете, что Альберт никогда не соглашался подчиниться указаниям науки.

— Но он, как видно, сам стал врачом?

— Он знает кое-что во всех областях, но всюду вносит свою стремительность и горячность. Ужасное состояние, в котором он застал эту девицу, очень его взволновало. Если бы не это — поверьте, вы бы нашли его более вежливым, более рассудительным, более признательным вам за те заботы, которые вы проявляли о нем, когда он был ребенком.

— Боюсь, что сейчас он более чем когда-либо нуждается в них, — возразил доктор, которому, несмотря на все почтение, питаемое к графской семье и к замку, все-таки легче было огорчить канониссу, намекая на сумасшествие ее племянника, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и от мелочной мести.

Жестокость доктора очень огорчила канониссу, тем более что обиженный Вецелиус мог распространить в округе слух о болезни ее племянника, а ведь она так тщательно ее скрывала. Однако, надеясь обезоружить доктора, она промолчала и только смиренно спросила, как он смотрит на предлагаемое Альбертом кровопускание.

— В настоящую минуту я считаю это нелепостью, — заявил Вецелиус, желая сохранить за собой инициативу и собственными устами изречь решение, когда ему заблагорассудится. — Я подожду часок-другой, послежу за больной, — продолжал он, — и, когда наступит нужный момент, будь это даже раньше, чем я предполагаю, я сделаю то, что надо. Но во время кризиса, при теперешнем состоянии ее пульса, я не могу сказать заранее ничего определенного.

— Так вы остаетесь у нас? Да благословит вас Бог, дорогой доктор!

— Коль скоро мой противник — молодой граф, — проговорил Вецелиус с сострадательно-покровительственной улыбкой, — меня ничто не может удивить: пусть себе говорит что хочет.

Доктор собирался уже вернуться в комнату Консуэло, дверь в которую была закрыта капелланом, чтобы Альберт не мог слышать приведенного

сейчас разговора, когда сам капеллан, бледный и растерянный, оставив больную, прибежал за ним.

— Ради Бога, доктор! — воскликнул он. — Идите, примените свой авторитет, ибо моего граф Альберт не признает, да, кажется, он не послушался бы и голоса самого Господа! Граф продолжает стоять на своем и, вопреки вашему запрету, все-таки хочет пустить умирающей кровь; и, уверяю вас, он это сделает, если только нам с вами не удастся силой или хитростью удержать его. Одному Богу известно, умеет ли он даже держать в руках ланцет! Он может если не убить, то, во всяком случае, искалечить ее несвоевременным кровопусканием.

— Конечно! — насмешливо проговорил доктор со злорадным эгоизмом бессердечного человека, тяжелым шагом направляясь к двери. — То ли еще мы с вами увидим, если мне не удастся образумить его!

Но когда он подошел к кровати, Альберт уже держал в зубах окровавленный ланцет; одной рукой он поддерживал руку Консуэло, в другой держал тарелку. Вена была вскрыта, и темная кровь обильно текла из нее.

Капеллан стал охать, возмущаться, призывать

небо в свидетели. Доктор попытался шутками отвлечь Альберта, думая потом незаметно закрыть вену, с тем чтобы снова открыть ее, когда ему вздумается, и весь успех приписать себе. Но Альберт остановил его выразительным взглядом. Когда вытекло достаточное количество крови, он с ловкостью опытного оператора наложил на ранку повязку, потом тихонько прикрыл руку Консуэло одеялом и, протянув канониссе флакон с нюхательными солями, чтобы та давала его вдыхать больной, пригласил капеллана и доктора в комнату Амалии.

— Господа, — обратился он к ним, — вы ничем не можете быть полезны лицу, которое я лечу. Нерешительность или предрассудки парализуют ваше усердие и ваши знания. Объявляю вам, что я все беру на себя и не хочу, чтобы вы отвлекали меня и мешали мне в столь серьезном деле. Поэтому я прошу господина капеллана идти читать свои молитвы, а господина доктора прописывать лекарства моей кузине. Я не допущу больше ни мрачных прогнозов, ни приготовлений к смерти у постели особы, к которой скоро должно вернуться сознание. Да будет вам это известно! Если я оскорбляю этим ученого и огорчаю друга, то готов буду просить у них прощения, когда смогу

думать о себе.

Высказав это все спокойным, ласковым тоном, так противоречившим сухости его слов, он вернулся в комнату Консуэло, запер за собой дверь на ключ и, положив его в карман, сказал канониссе:

— Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда без моего разрешения.

Глава XLIX

Ошеломленная канонисса не посмела ответить племяннику ни слова. В выражении его лица, во всей его осанке была такая непреклонность, что добрейшая тетушка даже испугалась и инстинктивно, с необыкновенной готовностью и образцовой аккуратностью, начала исполнять все его распоряжения. Доктор, видя, что его авторитет решительно не признается, и не рискуя вступать в препирательства с буйнопомешанным (так он рассказывал потом), счел за лучшее удалиться. Капеллан отправился читать свои молитвы. Альберт же с помогавшими ему теткой и двумя служанками провел весь день в комнате Консуэло, ни на минуту не ослабляя своего ухода за ней. После нескольких часов спокойствия у больной снова повторился припадок, почти такой же сильный, но менее продолжительный. Когда благодаря сильнодействующим успокоительным средствам припадок затих, Альберт стал уговаривать тетку пойти соснуть и прислать какую-нибудь женщину на смену двум служанкам, которым тоже нужно было дать отдых.

— А вы, Альберт, разве не хотите отдохнуть? — робко спросила Венцеслава.

— Нет, дорогая тетушка, я в этом не нуждаюсь.

— Увы, — ответила она, — вы себя убиваете, дитя мое… Дорого же нам обойдется эта иностранка! — добавила, уходя к себе, расхрабрившаяся старушка, заметив, что молодой граф не слушает ее.

Все же Альберт согласился немного перекусить, чтобы набраться сил, которые, он чувствовал, могли ему понадобиться. Он поел в коридоре стоя и не спуская глаз с двери, а потом бросил салфетку на пол и вернулся в комнату больной. Отныне дверь в комнату Амалии была заперта, чтобы те немногие лица, которых он допускал, проходили через коридор. Амалия, правда, сделала вид, будто хочет ухаживать за подругой. Но она бралась за все так неловко, приходила в такой ужас от всякого движения больной, так боялась новых судорог, что Альберт, выйдя из себя, попросил ее ни во что не вмешиваться, идти в свою комнату и заняться своими делами.

— В мою комнату? — отвечала Амалия. — Если бы даже приличие и позволяло мне спать в комнате, отделенной от вас одной дверью, — ведь вы, можно сказать, поселились у меня, — то неужели

вы думаете, что я в состоянии заснуть хоть на минуту, слыша эти раздирающие душу вопли, эту страшную агонию?

Альберт, пожав плечами, ответил ей, что в замке много других комнат и что она может выбрать любую, пока больная не будет перенесена в помещение, где ее соседство никого не обеспокоит.

Раздосадованная Амалия последовала этому совету. Тяжелее всего ей было смотреть на нежные, можно сказать, материнские заботы, которыми Альберт окружал ее соперницу.

— Ах, тетушка! — воскликнула она, бросаясь на шею канониссе, когда та устроила ее в собственной спальне, где велела поставить еще одну кровать рядом со своей. — Мы с вами не знали Альберта: теперь мы видим, как он умеет любить!

Несколько дней Консуэло находилась между жизнью и смертью. Но Альберт боролся с недугом так упорно и так искусно, что, наконец, ему удалось победить его. Как только девушка оказалась вне опасности, он велел перенести ее в одну из башен замка. Здесь дольше бывало солнце, и вид отсюда был красивее и шире, чем из других окон. Вообще комната эта со своей старинной мебелью более соответствовала серьезным вкусам Консуэ-

ло, чем та, куда нашли нужным поместить ее по приезде, и уже давно можно было понять из ее слов, что ей хотелось бы жить здесь. Здесь ей не угрожала назойливость подруги, и, несмотря на постоянное присутствие женщины, сменявшейся утром и вечером, она могла проводить, в сущности, наедине со своим спасителем, томительные и сладостные дни своего выздоровления. Они всегда говорили по-испански: нежные слова, осторожно выражавшие страсть Альберта, были милее для слуха Консуэло на языке, напоминавшем ей родину, мать, детство. Преисполненная горячей благодарности, измученная страданиями, от которых избавил ее один Альберт, она теперь предавалась тому дремотному покою, который наступает после тяжких потрясений. Память ее мало-помалу пробуждалась, но как-то неравномерно. Так, например, живо припоминая с чистой и понятной радостью помощь и самоотверженность Альберта в главные моменты их встреч, она в то же время неясно, как бы сквозь густое облако, прозревала заблуждения его рассудка и всю глубину его слишком серьезной страсти. Бывали часы, когда после сна или приема успокоительного лекарства все, что возбуждало в ней прежде недоверие и страх в

отношении ее великодушного друга, представлялось ей каким-то бредом. Она до того привыкла к нему и к его заботам о себе, что, когда он уходил, по ее же просьбе, обедать со своей семьей, она тревожилась и дурно себя чувствовала. Ей казалось, что успокоительные средства, приготовленные и поданные не им самим, производят на нее обратное действие; когда же он сам подносил их ей, она *с* медленной и полной значения улыбкой, удивительно трогательной на красивом лице, с которого еще не совсем исчезла тень смерти, говорила:

— Теперь, Альберт, я верю, что вы чародей: стоит вам повелеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и она моментально передает мне и ваше спокойствие и вашу силу.

Впервые в жизни Альберт был счастлив; а так как душа его, казалось, была способна с такой же силой чувствовать радость, с какой она чувствовала скорбь, то в этот период его жизни, период восторгов и упоения, он был счастливейшим человеком на земле. Комната, где он во всякое время, без докучных свидетелей, мог видеть любимую, стала для него раем. Ночью, когда в доме ложились спать, он, делая вид, будто тоже идет к себе, тихонько пробирался в

эту комнату. Сиделка, которой поручено было следить за больной, крепко спала; он прокрадывался к кровати своей дорогой Консуэло, глядел и не мог наглядеться на нее, спящую, бледную, поникшую, словно цветок после бури. Потом он усаживался в большое кресло (уходя, он никогда не забывал поставить его у постели больной) и проводил в нем всю ночь, засыпая таким чутким сном, что стоило Консуэло пошевельнуться, как он уже нагибался над нею и прислушивался к тому, что она бормотала слабым голосом; а когда девушка, взволнованная каким-нибудь сном, тревожимая остатками прежних страхов, искала его руки, дружеское пожатие всегда готово было ее успокоить. Если сиделка просыпалась, Альберт обыкновенно говорил ей, что только что вошел, и та была убеждена в том, что молодой граф раза два-три в ночь навещает свою больную. А между тем он не проводил в своей комнате и получаса. Консуэло, так же как и сиделка, ошибалась на этот счет. Правда, она гораздо чаще замечала присутствие Альберта, но была еще так слаба, что ему ничего не стоило ввести ее в заблуждение насчет продолжительности своих посещений. Иногда среди ночи, когда она начинала умолять его идти спать, он уверял ее, что уже близок рас-

свет и что он только что встал. Благодаря этим невинным обманам Консуэло, никогда не страдая от его отсутствия, в то же время не тревожилась, так как не знала, какую усталость он должен был чувствовать из-за нее.

Но, несмотря на все, усталость эта была так незначительна, что он даже не замечал ее. Любовь дает силы самым слабым, а у Альберта был необыкновенно крепкий организм, да к тому же никогда еще в сердце человеческом не жила такая огромная, живительная любовь. Когда с первыми лучами солнца Консуэло с трудом добиралась до своей кушетки, стоявшей у полуоткрытого окна, Альберт усаживался позади нее и в мчавшихся облаках и пурпурных лучах восходящего солнца силился прочесть те мысли, которые вид неба мог пробудить в его молчаливой подруге. Иногда он незаметно брал в руки кончик тонкого шарфа, который она набрасывала себе на голову и который теплый ветерок развевал по спинке кушетки, и, склонив голову, словно отдыхая, тихо прижимался к нему губами. Однажды Консуэло, потянув шарф к себе на грудь, обратила внимание на то, что конец его был теплым и влажным. Обернувшись с большей живостью, чем она это делала со времени болезни, она увидела на лице

друга необыкновенное возбуждение: щеки его пылали, глаза горели лихорадочным огнем, он тяжело дышал. Альберт мгновенно овладел собой, но все-таки успел прочесть испуг на лице Консуэло. Это глубоко опечалило его. Он предпочел бы увидеть в ее глазах презрение и суровость, нежели признаки страха и недоверия. Он решил следить за собой настолько внимательно, чтобы никогда больше воспоминанием о своем безумии не потревожить ту, которая исцелила его от этого безумия почти ценою собственной жизни и рассудка.

Альберт добился этого благодаря силе воли, какой не нашел бы в себе и более уравновешенный человек. Он давно уже привык сдерживать пылкость своих чувств, борясь с частыми и таинственными приступами своего недуга, и окружающие даже не подозревали, как велика была его власть над собой. Они не знали, что чуть ли не каждый день ему приходилось подавлять сильнейшие припадки и что только окончательно сокрушенный глубочайшим отчаянием и безумием он убегал в свою неведомую пещеру, оставаясь победителем даже в своем поражении, так как все же был в состоянии скрыть от людских взоров свое несчастье. Альберт при-

надлежал к числу безумцев, достойных самой глубокой жалости и самого глубокого уважения: он знал о своем безумии и чувствовал его приближение вплоть до момента, когда бывал всецело им охвачен. Но даже и тут, в самый разгар своих припадков, он сохранял смутное воспоминание о действительном мире и не желал показываться, пока окончательно не приходил в себя. Такое воспоминание о реальной деятельной жизни храним мы все, когда тяжелые сновидения погружают нас в мир вымысла и бреда. Мы боремся порой с этими ночными страхами, мы говорим себе, что это кошмар, и пытаемся проснуться, но какая-то злая сила вновь и вновь захватывает нас и снова повергает в ту страшную летаргию, где нас осаждают и терзают еще более зловещие и мучительные видения.

В подобных чередованиях протекала насыщенная бурными переживаниями и вместе с тем жалкая жизнь этого никем не понятого человека, чьи страдания могло облегчить только сильное, тонкое и мудрое существо. И такое существо появилось, наконец, в его жизни. Консуэло была как раз той чистой душою, которая, казалось, была создана именно для того, чтобы проникнуть в мрачную душу Альберта, до сих пор недоступную

для истинной привязанности. В заботливости молодой девушки, порожденной вначале романтическим энтузиазмом, в почтительной дружбе, вызванной затем признательностью за его самоотверженный уход во время ее болезни, было нечто пленительное и трогательное, нечто такое, что Господь счел, как видно, особенно подходящим для исцеления молодого графа. Весьма возможно, что, если бы Консуэло откликнулась, позабыв о прошлом, на его пылкую любовь, эти новые для него восторги и внезапная безмерная радость могли бы повлиять на него самым пагубным образом. Но застенчивая, целомудренная дружба девушки должна была медленно, но более верно способствовать его исцелению. Она являлась для него и уздой и благодеянием; и если обновленное сердце молодого человека было опьянено, то к опьянению примешивалось чувство долга, жажда самоотвержения, дававшие его мыслям иную пищу, а его воле — иную цель, нежели та, которая поглощала его до сих пор. Он испытывал одновременно и счастье быть любимым, так как никогда еще не был любим, и горе не быть любимым с такою страстью, какую испытывал сам, и, наконец, страх, что потеряет это счастье, если покажет, что он не вполне им

удовлетворен. Все эти чувства до такой степени заполняли его душу, что в ней не оставалось места для мрачных мыслей, на которые так долго наталкивали его бездействие и одиночество. Теперь он, словно по волшебству, избавился от них, и образ любимой удерживал его несчастья на расстоянии, встав, словно небесный щит, между ним и ими.

Итак, отдых для ума и покой для чувств, необходимые для восстановления сил юной больной, теперь лишь слегка и очень редко нарушались тайным волнением ее врача. Консуэло, как некий мифологический герой, спустилась в преисподнюю, чтобы вывести из нее своего друга, — и вынесла оттуда ужас и бред для себя самой. Теперь он, в свою очередь, старался освободить ее от этих зловещих спутников, и благодаря его нежным заботам и восторженной почтительности ему это удалось. Опираясь друг на друга, они вступали вместе в новую жизнь, не смея, однако, оглядываться назад и думать о той бездне, в которой только что побывали. Будущее было для них новою бездной, не менее таинственной и ужасной, куда они тоже не отваживались заглянуть. Зато они могли спокойно наслаждаться настоящим, этой благодетельной передышкой,

которую им ниспослало небо.

Глава L

Остальные обитатели замка были далеко не так спокойны. Взбешенная Амалия больше не удостаивала больную своими посещениями. Она подчеркнуто не разговаривала с Альбертом, не смотрела на него, даже не отвечала на его утреннее и вечернее приветствие. И ужаснее всего было то, что Альберт, по-видимому, совершенно не замечал ее досады.

Канонисса, видя явную, нескрываемую страсть племянника к авантюристке, не знала теперь ни минуты покоя. Она ломала себе голову, придумывая, как предотвратить опасность, как избежать скандала, и по этому поводу вела долгие беседы с капелланом. Но последний не очень-то желал прекращения создавшегося положения вещей. Давно уже никто не прибегал к его помощи в семейных делах, а со времени последних событий роль его снова сделалась более значительной: наконец-то он мог позволить себе такое удовольствие, как шпионить, разоблачать, предупреждать, предсказывать, советовать, — словом, мог по своему усмотрению вертеть домашними

делами, причем все это проделывал втихомолку, укрывшись от гнева молодого графа за юбками старой тетки. Оба они без конца находили новые поводы для тревоги, новые причины быть настороже, но ни разу им не удалось найти спасительный выход. Не было дня, когда бы добрейшая Венцеслава не пыталась вызвать своего племянника на решительное объяснение, но каждый раз его насмешливая улыбка или ледяной взгляд заставляли ее умолкнуть и разрушали ее планы. Ежеминутно она искала удобного случая проскользнуть к Консуэло, чтобы искусно и строго прочитать ей нотацию, но ежеминутно Альберт, точно предупрежденный ангелом-хранителем, появлялся на пороге комнаты и, подобно Юпитеру Громовержцу, одним движением бровей сокрушал гнев и замораживал мужество богов, враждебных его дорогой Трое. Все же канониссе удалось несколько раз заговорить с больной, и так как минуты, когда они оставались с глазу на глаз, были очень редки, то она старалась воспользоваться ими, чтобы наговорить разных нелепостей, казавшихся ей самой чрезвычайно многозначительными. Но Консуэло была так далека от приписываемых ей честолюбивых замыслов, что ровно ничего не понимала из этих

намеков. Ее удивление, чистосердечие, доверчивость моментально обезоруживали добрую канониссу, которая никогда в жизни не могла устоять против искренней интонации и ласкового слова. Сконфуженная, она шла к капеллану поведать ему о своем поражении, и остаток дня проходил в обсуждении планов на завтра.

Между тем Альберт, отлично догадываясь об этих уловках и видя, что разговоры тетки начинают удивлять и беспокоить Консуэло, решил положить им конец. Однажды он подкараулил Венцеславу в ту минуту, когда та ранехонько поутру, не рассчитывая встретить его, пробиралась к Консуэло; она уже взялась было за ручку двери, собираясь войти в комнату больной, как вдруг перед нею предстал племянник.

— Милая моя тетушка, — проговорил он, ласково отрывая ее руку от двери и поднося к своим губам, — мне надо сказать вам по секрету нечто очень для вас интересное, а именно: жизнь и здоровье особы, которая лежит здесь, для меня гораздо драгоценнее, чем моя собственная жизнь и собственное счастье. Я прекрасно знаю, что по наказу вашего духовника вы считаете долгом препятствовать проявлению моей преданности и стараетесь, насколько возможно, сократить

мои заботы о ней. Не будь этого влияния, ваше благородное сердце никогда не позволило бы вам горькими словами и несправедливыми упреками мешать выздоровлению больной, едва вырвавшейся из когтей смерти. Но раз уж фанатизм или мелочность пастыря могут делать чудеса, могут превращать искреннее благочестие и чистейшее милосердие в слепую жестокость, то я всеми силами буду противодействовать этому злодеянию, орудием которого согласилась сделаться моя бедная тетушка. Теперь я буду охранять свою больную день и ночь, я ни на минуту не покину ее, а если, несмотря на все мои старания, вы умудритесь отнять ее у меня, то клянусь самой страшной для верующих клятвой, я навсегда покину дом моих предков. Надеюсь, что господин капеллан, узнав от вас о моем решении, перестанет терзать вас и бороться с великодушными порывами вашего материнского сердца.

Бедная канонисса остолбенела и на речь племянника смогла ответить только слезами. Разговор происходил в конце коридора, куда Альберт увел ее, опасаясь, чтобы Консуэло не услышала их. Придя немного в себя, Венцеслава стала горячо упрекать племянника за его резкий, угрожающий тон и не преминула воспользовать-

ся случаем указать ему на все безрассудство его привязанности к девушке столь низкого происхождения, как Нина.

— Милая тетушка, — с улыбкой возразил Альберт, — вы забываете, что если в нас и течет царственная кровь Подебрадов, то предки наши, монархи, были возведены на престол восставшими крестьянами и храбрыми солдатами. Стало быть, каждый Подебрад в своем славном происхождении должен всегда видеть лишний повод для сближения со слабыми и неимущими, так как от них-то и пошли корни его силы и могущества; и все это было не так давно, чтобы об этом уже можно было забыть.

Когда Венцеслава рассказала капеллану об этом бурном разговоре, тот посоветовал ей не раздражать молодого графа настойчивостью и не доводить его до еще большего возмущения, терзая ту, которую он защищает.

— По этому поводу надо обратиться к графу Христиану, — сказал он. — Ваша чрезмерная мягкость усилила смелость его сына; пусть же ваши благоразумные доводы внушат, наконец, отцу чувство тревоги и заставят его принять решительные меры по отношению к опасной особе.

— Да неужели вы думаете, — возразила кано-

нисса, — что я не прибегала уже к этому средству? Но, увы, мой брат постарел на пятнадцать лет за те пятнадцать дней, что длилось последнее исчезновение Альберта. Его умственные силы так ослабли, что он совершенно не понимает моих намеков и как-то инстинктивно боится самой мысли о новом огорчении; словно ребенок, он радуется тому, что сын нашелся и рассуждает теперь, как разумный человек. Ему кажется, что Альберт совершенно выздоровел, и он не замечает, что бедный сын его охвачен новым безумием, более пагубным, чем прежнее. Уверенность Христиана так глубока, он так наивно тешит себя этой мыслью, что у меня не хватает мужества открыть ему глаза на все происходящее. Мне кажется, господин капеллан, что если бы брат услышал это разоблачение от вас, он принял бы его с большей покорностью, а благодаря вашим благочестивым увещаниям ваша беседа с ним была бы для него более полезной и менее тягостной.

— Это разоблачение слишком щекотливо, — ответил капеллан, — чтобы могло быть сделано столь скромным пастырем, как я. Оно было бы гораздо уместнее в устах сестры, которая может смягчить его горечь ласковыми словами, с какими я не смею обращаться к высокочтимому

главе семьи.

Обе эти почтенные особы потратили много дней на препирательства о том, кто из них первый отважится заговорить со старым графом. А пока они колебались — привычка к медлительности и апатия делали свое дело, — любовь в сердце Альберта все росла и росла. Консуэло заметно поправлялась, и никто не нарушал их нежной близости, которую благодаря неподдельной чистоте и глубокой любви никакой суровый страж не мог бы сделать ни более целомудренной, ни более сдержанной.

Между тем баронесса Амалия, не в силах дольше переносить свою унизительную роль, настойчиво просила отца увезти ее в Прагу. Барон Фридрих, предпочитавший пребывание в лесах жизни в городе, тем не менее обещал ей все, что угодно, но бесконечно откладывал день отъезда, не делая к нему никаких приготовлений. Дочка поняла, что надо ускорить развязку, и придумала способ быстро и внезапно осуществить свое желание. Сговорившись со своей горничной, хитрой и решительной француженкой, она однажды утром, когда отец собирался на охоту, стала просить его отвезти ее в соседний замок к знакомой даме, которой давно уже надо было отдать визит.

Барону не очень-то хотелось отказываться от своего ружья и охотничьей сумки, переодеваться и менять весь распорядок дня, но он надеялся, что такое потворство сделает дочь менее требовательной, что прогулка рассеет ее дурное настроение и она без особенного неудовольствия проведет в замке Исполинов несколько лишних дней. Заручившись одной неделей, этот добряк уже думал, что обеспечит себе свободу на всю жизнь: не в его привычках было заглядывать дальше. Итак, покорившись своей участи, он отправил Сапфира и Пантеру на псарню, а сокол Аттила вернулся на свой насест с угрюмым и недовольным видом, что вызвало у его хозяина тяжелый вздох.

Наконец, барон уселся с дочерью в карету и, как это с ним обычно бывало в подобных случаях, немедленно и крепко заснул. Тотчас же Амалия приказала кучеру повернуть и ехать на ближайшую почтовую станцию. Они домчались туда через два часа, и когда барон открыл глаза, почтовые лошади, которые должны были везти его в Прагу, были уже впряжены в карету.

— Что такое? Где мы? Куда мы едем? Амалия, что это ты выдумала, милочка? Что значит этот каприз или эта шутка?

На все эти вопросы молодая баронесса отвечала отцу лишь поцелуями и взрывами веселого смеха. И только когда увидела, что форейторы уже на лошади, а карета катит по большой дороге, она, внезапно приняв серьезный вид, весьма решительно заговорила:

— Милый папа, ни о чем не беспокойтесь. Наш багаж прекрасно уложен, каретные ящики полны всем необходимым для дороги. В замке Исполинов остались только ваше оружие и собаки. В Праге они вам не нужны, а впрочем, они будут вам присланы по первому же требованию. Дяде Христиану за завтраком передадут мое письмо. В нем я пишу, что нам необходимо было уехать, — и пишу так, что это не особенно огорчит его и не вызовет раздражения ни против вас, ни против меня. А теперь я смиренно прошу прощения за то, что обманула вас: но ведь прошел месяц с тех пор, как вы обещали мне сделать то, что я выполнила сейчас, — стало быть, в сущности, я не иду против вашей воли, увозя вас в Прагу. Правда, сегодня вы об этом не думали, но, я уверена, вы сами довольны, что избавлены от всех неприятностей, связанных с решением уехать и с дорожными сборами. Мое положение становилось невыносимым, а вы и не замечали этого.

Вот мое извинение и оправдание. Соблаговолите же обнять меня и не смотрите такими грозными глазами — я ужасно их боюсь.

Говоря это, Амалия, так же как и ее наперсница, едва удерживалась от смеха, ибо никогда в жизни у барона не было грозного взгляда ни для кого вообще, а для обожаемой дочки и подавно. В данную же минуту взгляд у него был растерянный и даже, надо признаться, несколько бессмысленный от удивления. Если он и был несколько раздосадован тем, что с ним сыграли такую шутку, если и был огорчен внезапной разлукой с братом и сестрой, с которыми даже не простился, то все случившееся до того его поразило, что неудовольствие тотчас сменилось у него восхищением.

— Как же это вы умудрились все устроить, не возбудив во мне ни малейшего подозрения? — допрашивал он. — Да, черт возьми, снимая охотничьи сапоги и отсылая верховую лошадь, я был далек от мысли, что еду в Прагу и что сегодня вечером не буду обедать с братом! Ну и странное приключение! Я уверен, что никто не поверит, когда я стану о нем рассказывать... Но скажите, Амалия, куда вы запрятали мою дорожную шапку? Не спать же мне, надвинув на уши эту шляпу с галунами!

— Ваша шапка? Вот она, милый папа, — проговорила юная плутовка, подавая ему меховую шапку, которую он тут же с простодушным удовольствием надел на голову.

— А моя дорожная фляжка? Наверно, ты забыла о ней, злая девчонка?

— Конечно, нет! — воскликнула Амалия, протягивая ему хрустальную бутылку, оплетенную русской кожей и отделанную серебром. — Я сама наполнила ее самым лучшим венгерским вином, какое только имеется в подвале у тети. Попробуйте-ка его, это ваше любимое.

— А моя трубка, а мой кисет с турецким табаком?

— Все тут, — сказала горничная, — мы ничего не забыли, обо всем позаботились, чтобы господину барону было приятно путешествовать.

— В добрый, час! — проговорил барон, набивая себе трубку. — Тем не менее, милая Амалия, вы со мной поступили прескверно. Вы делаете из вашего отца посмешище. По вашей милости все будут надо мной издеваться.

— Милый папа, — отвечала Амалия, — это я являюсь посмешищем в глазах света, давая повод думать, будто упорно хочу выйти замуж за кузена, который совершенно не удостаивает меня

своим вниманием и на моих глазах усиленно ухаживает за моей учительницей музыки. Достаточно долго терпела я такое унижение и не знаю, много ли найдется девушек моего круга, моей наружности и моих лет, которые отнеслись бы к этому так, как я, а не похуже. Я уверена, что есть девушки, которые скучают меньше, чем скучала я в последние полтора года, и которые, однако, убегают или позволяют похитить себя, лишь бы избавиться от этой скуки. Я же довольствуюсь тем, что убегаю, похищая собственного отца. Это более ново и более прилично. Что думает по этому поводу дорогой мой папочка?

— Ты у меня настоящий бесенок! — проговорил барон, целуя дочку.

Он очень весело провел остаток дороги, попивая, покуривая и отсыпаясь, ни на что больше не жалуясь и ничему больше не удивляясь.

В замке это событие не произвело того впечатления, на какое рассчитывала юная баронесса. Начать с Альберта: если бы ему не сообщили, он и через неделю не заметил бы этого, а когда канонисса объявила ему об отъезде родственников, он ограничился тем, что сказал:

— Вот единственная умная вещь, которую сделала умница Амалия с минуты своего приезда

сюда. Что касается добрейшего дяди, то, я надеюсь, он скоро к нам вернется.

— А я жалею об отъезде брата, — сказал старый Христиан. — В мои годы имеют значение недели и даже дни. То, что тебе, Альберт, кажется коротким сроком, для меня может стать вечностью, и я далеко не так уверен, как ты, что увижусь снова с моим тихим и беспечным братом Фридрихом. Ну, что же делать! Так пожелала Амалия, — прибавил он с улыбкой, сворачивая и откладывая в сторону необычайно ласковое и необычайно злое письмо, оставленное ему юной баронессой. — Ведь женщина не прощает обиды. Вы, дети мои, не были созданы друг для друга, и мои сладкие мечты развеялись как дым.

Говоря это, старый граф с какой-то меланхолической веселостью поглядел на сына, как бы ожидая уловить в его глазах тень сожаления. Но ничего подобного он в них не прочел, и Альберт, нежно пожав руку отца, дал ему понять, что благодарит его за отказ от проекта, который был так мало ему по сердцу.

— Да будет воля твоя, Господи! — снова заговорил старик. — И да будет сердце твое свободно, сын мой! Ты теперь здоров и кажешься спокойным и счастливым, живя среди нас. Я умру

утешенный, и благодарность отца принесет тебе счастье после нашей разлуки.

— Не говорите о разлуке, отец мой, — воскликнул молодой граф с глазами, полными слез, — я не в силах вынести эту мысль!

Тут капеллан встал и с деланно скромным видом вышел, предварительно приободрив взглядом уже несколько растроганную каноницу. Взгляд этот был и приказанием и сигналом. С душевной болью и со страхом она поняла, что наступила минута говорить. И вот, закрыв глаза, словно человек, бросающийся из окна во время пожара, она начала, путаясь и бледнея:

— Конечно, Альберт нежно любит отца и не захочет смертельно огорчить его…

Альберт поднял голову и посмотрел на тетку таким ясным, пронизывающим взором, что та смутилась и не смогла сказать ничего больше. Старый граф, казалось, не слышал этой странной фразы, и среди воцарившегося молчания бедная Венцеслава трепетала под взглядом племянника, словно куропатка, загипнотизированная собакой, делающей над ней стойку.

Но через несколько минут граф Христиан, очнувшись от своей задумчивости, ответил сестре так, как будто она продолжала говорить или как

будто он прочел в ее душе все то, что она собиралась ему открыть.

— Дорогая сестра, — сказал он, — позвольте мне дать вам совет: не терзайте себя тем, в чем вы ничего не понимаете. Вы в своей жизни не имели понятия о том, что такое сердечное влечение, а суровые правила канониссы не годятся для молодого человека.

— Боже милостивый! — прошептала вконец расстроенная канонисса. — Или брат не хочет меня понять, или разум и благочестие покинули его! Возможно ли, чтобы он по своей слабости стал поддерживать или так легко смотреть…

— Что поддерживать, тетушка? — спросил Альберт решительно и строго. — Говорите, раз уж вас заставляют это делать! Выразите яснее вашу мысль. Пора покончить с недомолвками, и пора нам узнать друг друга.

— Нет, сестра, не нужно, — возразил граф Христиан, — ничего нового вы мне не скажете. Я давно прекрасно понял вас, но только не подавал виду. Минута для объяснений по этому поводу еще не настала. Когда придет время, я буду знать, что мне надо делать.

И он намеренно заговорил о другом. Канонисса совсем упала духом, а Альберт встревожился, не

понимая, что хотел сказать отец.

Узнав, как глава семьи отнесся к его предостережению, переданному окольным путем, капеллан страшно перепугался. Граф Христиан, несмотря на свой равнодушный, нерешительный вид, никогда не был слабовольным. Не раз случалось ему, выйдя из своего, казалось бы, апатичного состояния, действовать энергично и разумно. Священник струсил, поняв, что зашел слишком далеко и может получить нагоняй. И он принялся поспешно уничтожать дело рук своих, уговаривая каноницу больше ни во что не вмешиваться. Две недели прошли самым мирным образом. Консуэло даже в голову не приходило, что она является причиной семейных тревог. Альберт по-прежнему заботился о ней, а об отъезде Амалии сообщил как о временной отлучке, не возбудив в Консуэло ни малейшего подозрения относительно его причины. Консуэло начала выходить из своей комнаты, и, когда она в первый раз прогуливалась по саду, старый Христиан своей слабой, дрожащей рукой поддерживал неверные шаги выздоравливающей.

Глава LI

То был чудесный день в жизни Альберта, когда вернувшаяся к жизни Консуэло, поддерживаемая его старым отцом, на глазах у всей семьи протянула ему руку и с несказанно кроткой улыбкой проговорила:

— Вот кто спас меня, кто ухаживал за мной, как за родной сестрой!

Но этот день, день апогея его счастья, сразу изменил, и притом больше, чем он мог это предвидеть, его отношения с Консуэло. Отныне, войдя снова в семейный круг, она довольно редко оставалась с ним наедине. Старый граф, казалось, еще больше полюбивший Консуэло после ее болезни, по-отцовски заботился о девушке, что глубоко трогало ее. Канонисса, правда, ничего больше не говорила, но все-таки считала своим долгом следить за каждым ее шагом и при появлении Альберта была всегда тут как тут. А так как молодой граф не обнаруживал больше никаких признаков умственного расстройства, то в замок стали усиленно приглашать родственников и соседей, чего давно уже не бывало. С какой-то

простодушной и трогательной гордостью старики хотели показать им, каким общительным и любезным сделался снова молодой граф Рудольштадт; поскольку же Консуэло, видимо, требовала и своими молчаливыми взглядами и собственным примером, чтобы он исполнил желание родных, ему волей-неволей пришлось вернуться к роли светского человека и гостеприимного хозяина замка.

Это внезапное превращение нелегко далось Альберту. Он покорился только ради той, которую любил. Но за это он жаждал награды в виде более продолжительных бесед, откровенных излияний. Он терпеливо выносил целые дни принуждения и скуки, лишь бы вечером услышать от нее слово одобрения и благодарности. Когда же между ними, как навязчивый призрак, появлялась канонисса и вырывала у него эту чистую радость, он озлоблялся и падал духом. Ночи его порой бывали ужасны, и он часто бродил у колодца, который всегда был полон прозрачной воды с того дня, когда он вышел из него, неся на руках Консуэло. Измученный тяжелыми думами, Альберт почти проклинал данный ей обет — не ходить больше в свою тайную обитель. Его страшила мысль о том, что, чувствуя себя несчастным, он уже не может в

недрах земли схоронить тайну своего страдания.

Конечно, и родные и его подруга не могли не обратить внимания на его измученный после бессонницы вид, на все чаще и чаще возвращавшиеся к нему мрачное расположение духа и рассеянность. Однако Консуэло нашла способ разгонять эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз, когда ей грозило ее потерять: она начинала петь, и тотчас молодой граф, очарованный и покорный, находил облегчение в слезах или в новом приливе восторга. Средство это действовало безошибочно, и когда Альберту удавалось перекинуться с Консуэло хоть несколькими словами наедине, он восклицал:

— Консуэло, ты нашла дорогу к моей душе! У тебя есть некая сила, недоступная простым смертным: ты говоришь языком богов, тебе дано выражать самые возвышенные чувства и передавать людям самые могучие переживания твоей вдохновенной души. Пой же всегда, когда заметишь, что я изнемогаю! На слова твоих песен я почти не обращаю внимания — они являются лишь темой, несовершенным указанием, которое служит для раскрытия и развития музыкальной мысли, я почти не слушаю их — до моего сердца доходит только твой голос, чувство, с каким ты

поешь, твое вдохновение! Музыка говорит о том таинственном и возвышенном, о чем мечтает душа, что она предчувствует. В ней обнаруживаются благороднейшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык. В музыке раскрывается бесконечное. И когда ты поешь, я принадлежу человечеству лишь благодаря тому божественному и вечному, что человечество почерпнуло у Создателя. Все то утешение и ободрение, в которых отказывают мне твои уста в обыденной жизни, все, что тирания света запрещает тебе высказать мне, — все сторицею воздает твое пение. Оно раскрывает мне твою сущность, и тогда душа моя обладает тобою в радости и в горе, в вере и в сомнениях, в порывах восторга и в неге мечты.

Иногда Альберт говорил все это Консуэло и в присутствии семьи — по-испански, но видимое неудовольствие тетки и правила учтивости не дозволяли девушке отвечать ему. Наконец однажды, очутившись наедине с ним в саду, когда Альберт снова заговорил о том, какое счастье дает она ему своим пением, Консуэло спросила:

— Почему, если вы считаете музыку более совершенной и убедительной, чем слова, почему вы сами не общаетесь со мною этим способом? Ведь

вы знаете музыку, быть может, еще лучше моего.

— Что вы хотите этим сказать, Консуэло? — воскликнул с удивлением молодой граф. — Я становлюсь музыкантом, только слушая вас.

— Не старайтесь меня обмануть, — ответила она. — Раз в жизни мне пришлось слышать поистине божественную игру на скрипке, и это играли вы, Альберт, в пещере Шрекенштейна. В тот день я услышала вас, прежде чем вы увидели меня. Я овладела вашей тайной, — простите мне и дайте услышать еще раз ту чудную мелодию, из которой в моей памяти удержалось несколько фраз и которая раскрыла мне в музыке еще неведомые красоты.

Консуэло попробовала вполголоса пропеть смутно запомнившуюся ей мелодию, и Альберт сейчас же узнал ее.

— Это гуситский народный гимн, — сказал он. — Стихи, положенные на музыку, — произведение моего предка Гинко Подебрада, сына короля Георга. Это один из поэтов нашей родины. У нас есть немало превосходных стихотворений — Стрея, Шимона Ломницкого и многих других, но они были запрещены имперской полицией. Эти духовные и национальные песни, положенные на музыку неизвестными гениями Чехии,

далеко не все уцелели в памяти чехов. Некоторые из них сохранились в народе, и Зденко, обладающий необычайной памятью и музыкальным чутьем, знает их довольно много. Я собрал их и записал. Они очень красивы, и вам будет интересно познакомиться с ними. Но услышать их вы сможете только в моем убежище — там моя скрипка и все собрание нот. Среди них есть очень ценные рукописные сборники старинных католических и протестантских композиторов. Ручаюсь, что вы не знакомы ни с Жоскеном, несколько мелодий которого нам передал по наследству Лютер в своих церковных песнопениях, ни с Клодом Ле Женом, ни с Аркадельтом, ни с Георгом Рау, ни с Бенедиктом Дуцисом, ни с Иоанном Вейсом. Скажите, дорогая Консуэло, не побудит ли вас интерес к этим любопытным произведениям еще раз прийти в мою пещеру, откуда я так давно изгнан, и посетить мою церковь, которую вы еще не знаете?

Предложение это хотя и возбудило любопытство молодой артистки, однако заставило ее вздрогнуть. Ужасная пещера будила в ней такие воспоминания, что она не могла без трепета подумать об этом, а мысль, что она может снова очутиться там наедине с Альбертом, невзирая

на все доверие к нему, была ей мучительна. Он сразу заметил это.

— Я вижу, хоть вы и обещали отправиться туда со мной, вас отталкивает самая мысль об этом паломничестве, — сказал он. — Не будем больше говорить об этом. Верный своей клятве, я не пойду в свое убежище без вас.

— Вы, Альберт, напомнили мне о моей клятве, — сказала она, — и я сдержу ее, как только вы этого потребуете. Но, милый мой доктор, вы все-таки не должны забывать, что мои силы еще недостаточно окрепли. Не можете ли вы все же показать мне здесь эти любопытные произведения и дать послушать замечательного артиста, который играет на скрипке гораздо лучше, чем я пою?

— Мне кажется, вы смеетесь надо мной, дорогая сестра. Но все равно — вы услышите меня только в моей пещере. Именно там я попытался заставить этот инструмент говорить то, что внушало мне сердце; до того я ничего не смыслил в нем, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но поверхностным профессором, которому отец платил большие деньги. Именно там я постиг, что такое музыка, постиг также, каким святотатственным глумлением заменяет ее большинство

людей. А я, признаюсь, не был бы в состоянии извлечь из скрипки ни единого звука иначе, как распростершись мысленно перед Богом. Даже если бы я видел, что вы равнодушно стоите рядом, внимательно прислушиваясь лишь к форме исполняемых мною вещей и стремясь определить степень моего таланта, то я, наверно, играл бы так плохо, что, пожалуй, вы не смогли бы и слушать. С тех пор как я немного овладел этим инструментом, который посвятил восхвалению Господа и жаркой молитве, я никогда не прикасался к нему иначе, как переносясь в идеальный мир и повинуясь вдохновению, которое ни вызвать, ни удержать не в моих силах. А когда у меня нет этого вдохновения, потребуйте, чтобы я исполнил самую простую музыкальную фразу, и я знаю, что, при всем желании угодить вам, память изменит мне, а пальцы будут неуверенны, как у ребенка, который берет первые ноты.

— Я думаю, что способна понять ваше отношение к музыке, — ответила растроганная Консуэло, внимательно выслушав его, — и надеюсь, что смогу присоединиться к вашей молитве с душой настолько сосредоточенной и благоговейной, что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах, дорогой Альберт, отчего мой учитель

Порпора не слышит того, что вы говорите о святом искусстве! Он стал бы перед вами на колени! Но даже этот великий артист менее суров, чем вы: он считает, что певец и виртуоз должны черпать вдохновение в симпатии и восхищении своих слушателей.

— Быть может, Порпора, что бы он ни говорил, соединяет в музыке религиозное чувство с человеческой мыслью. Быть может также, он относится к духовной музыке, как католик. Стань я на его точку зрения, я рассуждал бы, как он. Если бы я разделял веру и симпатии с народом, исповедующим одну со мной религию, я тоже искал бы в близости этих душ, проникнутых одним со мной религиозным чувством, то вдохновение, которое до сих пор вынужден был находить в одиночестве и которое поэтому бывало неполным. Если когда-нибудь, Консуэло, мне выпадет счастье слить в молитве, как я ее понимаю сердцем, твой божественный голос со звуками моей скрипки, — тогда, без сомнения, я поднимусь до такой высоты, какой никогда не достигал прежде, и молитва моя будет более достойна Бога. Не забывай, что до сих пор мои верования были ненавистны всем окружающим, а для других, для тех, кого эти верования не могли бы оскорбить, они явились

бы просто предметом насмешки. Вот почему слабое свое дарование я скрывал от всех, кроме Бога и бедняги Зденко. Отец мой любит музыку и хотел бы, чтобы моя скрипка, столь же священная для меня, как систр элевсинских мистерий, развлекала его. Но, Боже великий, что было бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать Амалии, поющей какую-нибудь каватину, и что сталось бы с моим отцом, если бы я заиграл одну из старинных гуситских мелодий, которые привели стольких чехов к каторге и к казни, или какой-нибудь из менее древних гимнов наших лютеранских предков, — ведь он стыдится своего происхождения! А более новых произведений, увы, Консуэло, я не знаю. Разумеется, они существуют, и некоторые из них превосходны. Все, что вы мне рассказали о Генделе и о других великих композиторах, на которых вы воспитывались, представляется мне гораздо выше во многих отношениях, чем то, чему я мог бы научить вас. Но чтобы ознакомиться с этой музыкой и изучить ее, мне надо было бы войти в новый музыкальный мир, а туда я мог бы решиться проникнуть только вместе с вами, чтобы вы щедрой рукой излили на меня те сокровища, которых я так долго не знал или которыми пренебрегал.

— А я, — сказала, улыбаясь, Консуэло, — пожалуй, и не взялась бы за это. Слышанное мною в пещере так прекрасно, так возвышенно, так неповторимо, что я побоялась бы набросать гравия в чистый и прозрачный, как хрусталь, источник. Теперь я вижу, Альберт, что в музыке вы гораздо больший знаток, чем я. Но не скажете ли вы мне что-нибудь и о светской музыке? Ведь она должна стать моей профессией. Я боюсь, что в светской музыке, как и духовной, я была до сих пор не на высоте своего призвания и что мои знания недостаточны и поверхностны.

— Напротив, Консуэло, я считаю вашу роль священной, и нахожу, что как ваша профессия — высшая из всех доступных женщине, так и душа ваша — достойнейшая из всех, способных выполнить эту высокую миссию.

— Постойте, постойте, милый граф, — с улыбкой возразила Консуэло, — я часто рассказывала вам о монастыре, где училась музыке, о церкви, где пела хвалы Творцу, и вы сделали вывод, что я посвятила себя церковному пению или скромному преподаванию в монастыре. А что, если я расскажу вам, что Zingarella в силу своего происхождения была в детстве предоставлена случайностям, что она занималась и духовной

музыкой и светской, причем и к той и к другой относилась с одинаковым жаром, не заботясь о том, куда приведет ее судьба — в монастырь или на театральные подмостки…

— Я убежден, что Бог отметил тебя и предназначил еще в утробе матери быть святой, а потому без тревог смотрю на жизненные случайности и уверен, что и на сцене ты будешь так же свята, как в монастыре.

— Как? При всей суровости своих взглядов вы не испугались бы общения с актрисой?

— На заре религий, — ответил он, — храм и театр были одинаково священны. При чистоте изначальных идей культовые обряды являлись зрелищем для народа, искусство зарождалось у подножия алтарей: самые танцы, посвященные в наши дни нечистому сладострастию, являлись музыкой чувства на празднествах богов. Музыка и поэзия — наивысшее выражение веры, а женщина, одаренная гениальностью и красотой, — жрица, пророчица и вдохновительница. Эти строгие, величавые формы прошлого заменились нелепыми и преступными разграничениями: католичество лишило празднества красоты, а торжественные церемонии — участия женщин: вместо того чтобы направить и обла-

городить любовь, оно изгнало и осудило ее. Но красота, женщина и любовь не могли утратить своей власти. И люди воздвигли им новые храмы, называемые театрами, в которых нет иного божества. Виноваты ли вы, Консуэло, что эти храмы обратились в вертепы разврата? Природа, которая создает свои чудеса, не заботясь о том, как они будут приняты людьми, выделила вас из всех женщин, чтобы вы расточали в мире сокровища своего могучего гения. А монастырь и могила — это одно и то же. Вы не могли бы схоронить дары провидения, не совершив самоубийства. Для вашего полета нужен большой простор. Некоторые существа не могут жить без проявления своего «я», они повинуются властному велению природы, воля Божья в этом отношении так определенна, что Бог отнимает у них способности, которыми их наделил, если они не пользуются ими как должно. Артист чахнет и гибнет в неизвестности, так же как мыслитель впадает в заблуждение и отчаяние в полном одиночестве, как всякий человеческий ум скудеет и гибнет в уединении и затворничестве. Идите же на сцену, Консуэло, если вас туда влечет, и выносите кажущееся бесчестие со смирением благочестивой души, обреченной на страдание, на тщетные

поиски своей родины в здешнем мире! Не бойтесь! Тьма и порок — не ваша стихия: дух святой властно отстранит их от вас.

Долго и с воодушевлением говорил Альберт, быстро шагая рядом с Консуэло под тенистыми деревьями речного заповедника. Он легко заразил девушку своим восторженным отношением к искусству, и она даже забыла о своем нежелании идти в пещеру. Видя, что он так горячо жаждет этого, она сама захотела побыть подольше наедине с этим пылким и вместе с тем застенчивым человеком, узнать его взгляды, которые он решался высказывать ей одной. Взгляды эти были новы для Консуэло, удивительно новы в устах аристократа того времени и той страны. Они поразили молодую артистку именно потому, что были смелым и откровенным выражением тех чувств, которые волновали ее самое. Будучи актрисой и в то же время человеком набожным, она ежедневно слыхала, как канонисса и капеллан беспощадно предавали проклятию комедиантов и балетных танцовщиков, ее собратьев. Теперь ей было возвращено то уважение, на которое она имела право, и об этом сказал серьезный, глубоко убежденный человек. Она почувствовала, что грудь ее дышит свободнее, сердце бьется спокой-

нее, что она вновь нашла свое место в жизни. В глазах ее блестели слезы, а щеки горели ярким румянцем невинности, когда в конце аллеи она увидела искавшую ее канониссу.

— О моя жрица! — прошептал Альберт, прижимая к груди ее руку, опиравшуюся на него. — Придете ли вы молиться в мою церковь?

— Да, — ответила она, — приду непременно.

— А когда?

— Когда захотите. Но считаете ли вы, что я уже в силах совершить такой подвиг?

— Да, так как мы отправимся на Шрекенштейн днем и дорогой не столь опасной, как через водоем. Хватит ли у вас храбрости встать завтра на рассвете и выйти из ворот замка, как только они будут открыты? Меня вы найдете в зарослях, что видны отсюда на склоне холма, у подножия каменного креста, и я буду вашим проводником.

— Ну хорошо, даю вам слово, — ответила, все-таки не без волнения, Консуэло.

— Сегодняшний вечер слишком прохладен для такой продолжительной прогулки, — сказала, подходя к ним, канонисса.

Альберт промолчал. Он не умел притворяться. Консуэло, чувствуя, что ни в чем не может упрекнуть себя, смело взяла под руку канониссу

и поцеловала ее плечо. Венцеслава хотела было обдать девушку холодом, но невольно поддалась обаянию этой прямой, любящей души, а потому только вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться за обращение ее на путь истинный.

Глава LII

Однако прошло несколько дней, а страстное желание Альберта все не могло исполниться. За Консуэло так тщательно следили, что хоть девушка вставала с зарей и первая переходила через подъемный мост, как только его опускали, однако на другой стороне тут же появлялась канонисса или капеллан, бродившие по обсаженной буками площадке перед замком и не спускавшие глаз с открытого места, через которое надо было перейти, чтобы добраться до поросшего кустами холма. Консуэло приходилось прогуливаться одной на виду у них и отказаться от встречи с Альбертом. А тот, видя из своего тенистого убежища этот неприятельский дозор, делал большой круг по лесу и, никем не замеченный, возвращался в замок.

— Вы сегодня очень рано гуляли, синьора Порпорина, — обратилась к ней как-то за завтраком канонисса, — разве вы не боитесь, что влажная утренняя роса может повредить вам?

— Это я, тетушка, посоветовал синьоре дышать свежим утренним воздухом и не сомневаюсь, что

эти прогулки принесут ей большую пользу, — вступился Альберт.

— Я полагала, что особе, посвятившей себя пению, — возразила канонисса несколько деланным тоном, — не следует выходить в наши туманные утра; но раз это по вашему указанию…

— Доверьтесь мнению Альберта, — сказал граф Христиан. — Он уже доказал, что он такой же хороший врач, как хороший сын и хороший друг.

Вынужденное притворство заставляло Консуэло краснеть и было для нее крайне тягостно. Когда она смогла украдкой перебросится с Альбертом несколькими словами, то кротко пожаловалась ему на это, умоляя отказаться от его проекта хотя бы до тех пор, пока не ослабнет бдительность тетки. Альберт послушался, но все же попросил ее не прекращать своих утренних прогулок в окрестностях парка, чтобы он мог присоединиться к ней в благоприятный момент.

Консуэло очень хотела бы уклониться от этого. Правда, она любила прогулки и чувствовала даже потребность ежедневно погулять хоть немного вне давящих стен и рвов замка, но ей было тяжело обманывать людей, которых она уважала и чьим гостеприимством пользовалась. Любовь, даже не очень сильная, на многое закрывает

глаза, но дружба размышляет, и Консуэло размышляла много... Стояли последние хорошие дни лета — ведь прошло уже несколько месяцев со времени ее появления в замке Исполинов. Но какое это было лето для Консуэло! Даже самой бледной осенью в Италии бывало больше света и тепла. Правда, и в этом тепловатом воздухе, в этом небе, часто покрытом легкими перистыми белыми облачками, была своя прелесть, своя красота. Одинокие прогулки были ей по душе, быть может, еще и потому, что ее не очень тянуло снова попасть в пещеру. Хотя Консуэло и решилась на это, она чувствовала, что Альберт снял бы с ее сердца большую тяжесть, вернув ей слово, и когда она не видела его умоляющих глаз, не слышала его вдохновенных речей, то в душе благословляла канониссу, избавлявшую ее от данного ею обещания все новыми и новыми препятствиями.

Однажды утром, гуляя вдоль берега горной речки, она высоко над собой увидела Альберта, перегнувшегося через балюстраду цветника. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, она все время чувствовала на себе беспокойный, страстный взгляд этого человека, воле которого она до некоторой степени подчи-

нилась.

«В какое странное положение попала я, — думалось ей. — Этот настойчивый друг наблюдает за мной, желая убедиться, верна ли я своей клятве, а между тем откуда-нибудь из замка за мной, вне всякого сомнения, тоже кто-то следит, опасаясь, чтобы я не встретилась с ним вопреки правилам приличия. Я не знаю, что происходит в уме у тех и у других. Баронесса Амалия не возвращается. Канонисса как будто чувствует ко мне недоверие и стала гораздо холодней. А граф Христиан относится ко мне дружелюбнее, чем раньше, и говорит, что боится появления Порпоры, которое, вероятно, повлечет за собой мой отъезд. Альберт точно забыл о том, что я запретила ему надеяться на мою любовь. Словно ожидая от меня всего, он не просит ни о чем на будущее, но не отказывается от своей страсти и, по-видимому, счастлив, хоть я и не могу на нее ответить. И, однако же, каждое утро, словно настоящая возлюбленная, я жду свидания с ним, втайне желая, чтобы оно не состоялось, и подвергаю себя порицанию, а быть может, и презрению семьи, которая не может понять ни моей дружбы с ним, ни вообще наших отношений. Да и как им понять, когда я сама не могу разобраться в них и даже не представляю

себе, чем все это кончится. Странная у меня судьба! Неужели я обречена вечно жертвовать собой либо для того, кого люблю, но кто не любит меня, либо для того, кого я уважаю, но не люблю?».

Эти размышления навеяли на нее глубокую грусть. Она ощущала потребность принадлежать только самой себе, эту высшую, самую законную потребность, которая является необходимым, непременным условием для движения вперед, для развития выдающегося артиста. Забота об Альберте, взятая ею на себя, тяготила ее, как цепи. Горькое воспоминание об Андзолетто и о Венеции неотступно преследовало ее среди бездействия и одиночества жизни, слишком монотонной и размеренной для ее сильной натуры.

Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз указывал ей как на место, где по странной случайности он видел ее впервые маленькой девочкой, привязанной ремнями к спине матери, которая носила ее по горам и долам и распевала, как стрекоза в басне, не задумываясь о грозящей старости и суровой нужде.

«Бедная
матушка, — подумала юная Zingarella, — снова я по воле неисповедимой судьбы в тех местах, которыми когда-то прошла и ты, едва запомнив их,

сохранив лишь воспоминание о трогательном гостеприимстве. Ты была молода и красива и, конечно, на своем пути встречала не одно место, где могла бы найти приют любви или где общество могло простить тебя и сделать другой, — словом, ты могла бы свою тяжелую бродячую жизнь переменить на спокойную и благополучную. Но ты чувствовала и всегда говорила, что благополучие — это неволя, а спокойствие — скука, убийственная для души артиста. Да, ты была права, я чувствую это. Вот и я в том самом замке, где когда-то, как и во всех других, ты согласилась остаться лишь на одну ночь. Я не знаю здесь ни нужды, ни усталости, со мной обходятся хорошо, даже балуют, богатый вельможа у моих ног — и что же? Я задыхаюсь в неволе, меня гложет скука».

Поддавшись необыкновенному унынию, Консуэло села на скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, словно надеясь обнаружить на нем следы босых ног матери. Овцы, бродившие здесь, оставили на колючем кустарнике клочки своей шерсти. Эта рыжевато-коричневая шерсть живо напомнила Консуэло грубое сукно, из которого был сделан материнский плащ, так долго укрывавший ее от холода и солнца, от пыли и

дождя. Она помнила, как потом, обратившись в лохмотья, он постепенно расползался на их плечах.

«И мы тоже, — говорила она себе, — были бедными бродячими овцами и, так же как они, оставляли на придорожных колючках клочья своих лохмотьев; но мы уносили с собой горделивую любовь к свободе и умели ею пользоваться».

Погруженная в эти мечты, Консуэло не отрывала глаз от покрытой желтым песком тропинки, которая красиво извивалась по холму среди зеленых елей и темного вереска и, расширяясь на дне долины, вела на север.

«Что может быть прекраснее дороги! — думала Консуэло. — Это символ деятельной, полной разнообразия жизни. Сколько радостных мыслей будят во мне прихотливые изгибы этой тропинки. Я не помню мест, по которым она вьется, а между тем когда-то, несомненно, ходила по ним. Но как чудесны, должно быть, эти места по сравнению с мрачной крепостью, вечно спящей на своих неподвижных утесах. Насколько этот матово-золотистый песок и огненно-золотой терновник, бросающий на него свою тень, заманчивее прямых аллей и чопорных буков надменного, холодного парка. Стоит мне только

взглянуть на эти длинные, как по линейке проведенные аллеи, и я уже чувствую усталость. К чему двигать ногами, когда и так уже все видно как на ладони! Другое дело — дорога, которая свободно убегает вперед и прячется в лесах! Она манит и влечет своими изгибами, своими тайнами. К тому же по этой дороге ходят все люди, она принадлежит всему миру. У нее нет хозяина, закрывающего и открывающего ее по своему желанию. Не только богатый и сильный может мять растущие по ее краям цветы и вдыхать их аромат — каждая птица может свить свое гнездо в ветвях ее деревьев, каждый бродяга может положить свою голову на ее камни. Ни стена, ни частокол не закрывают горизонта, — впереди лишь необъятный небесный простор и, насколько хватает глаз, дорога — земля свободы. Поля, леса, что находятся справа и слева, принадлежат хозяевам, а дорога — тому, у кого ничего нет, кроме нее! Зато как же он ее любит! Самый последний нищий — и тот чувствует к ней непреодолимую нежность. Пусть воздвигнут для него больницы, роскошные, как дворцы, они будут казаться ему тюрьмой. Его поэзией, его мечтой, его страстью всегда будет большая дорога. О матушка, матушка! Ты это знала и постоянно твердила мне об этом. Отчего

не могу я воскресить твой прах, покоящийся так далеко отсюда, под водорослями лагун! Отчего не можешь ты снова взять меня на свои сильные плечи и унести туда, где кружится ласточка над синеющими холмами, где воспоминания о прошлом и сожаления об утраченном счастье не могут догнать артиста-непоседу, несущегося быстрее их, и где каждый день новые горизонты, новый мир встают между ним и врагами его свободы! Бедная мать, отчего ты больше не можешь ни приласкать меня, ни побранить, осыпая то поцелуями, то шлепками, подобно ветру, который то ласкает, то сгибает в поле молодые колосья, чтобы снова поднять и снова согнуть их по своей прихоти. Твоя душа была сильнее моей, и ты вырвала бы меня не добром, так силой из сетей, в которых я запутываюсь все больше и больше!».

Погруженная в эти упоительные, но горестные мечтания, Консуэло вдруг услышала голос, который заставил ее вздрогнуть так сильно, как будто к ее сердцу прикоснулись раскаленным железом. То был мужской голос, доносившийся из глубины отдаленной лощины и напевавший на венецианском наречии песню «Эхо», одно из самых оригинальных произведений Кьодзетто. Певец пел неполным голосом, и дыхание его, по-

видимому, прерывалось ходьбой. Пропев наугад одну фразу, словно желая разогнать дорожную скуку, он начинал с кем-то разговаривать, затем снова принимался петь, по нескольку раз повторяя ту же модуляцию, точно для упражнения, и все приближался к тому месту, где неподвижная и дрожащая Консуэло уже была близка к обмороку. Разобрать, о чем говорил путешественник со своим спутником, она не могла: они были еще слишком далеко; видеть говорящих тоже было невозможно — выступ скалы закрывал ту часть лощины, по которой они шли. Но как могла она не узнать мгновенно этот голос, так хорошо ей знакомый, как могла не узнать песни, которой сама обучила своего неблагодарного ученика, заставляя его столько раз повторять ее!

Наконец, когда оба невидимых путешественника подошли ближе, она услышала, как один из них (этот голос был ей незнаком) сказал на ломаном итальянском языке, с сильным местным акцентом:

— Эй, синьор! Синьор! Не ходите туда, там лошадям не пройти, да и меня потеряете из виду; идите за мной вдоль горной речки. Видите дорогу? Вот она, перед нами, а вы пошли тропинкой для пешеходов.

Голос, столь хорошо знакомый Консуэло, стал как будто удаляться, затихать, но вскоре она опять услышала, как он спрашивал, чей это великолепный замок виден на том берегу.

— Замок Ризенбург, или замок Исполинов, — пояснил его спутник, бывалый проводник.

Через некоторое время проводник показался у подножия холма, ведя под уздцы двух взмыленных лошадей. Плохая дорога, размытая незадолго перед этим горной речкой, заставила всадников спешиться. Путешественник шел позади — на некотором расстоянии, и, наконец, Консуэло, перегнувшись над закрывавшей ее скалой, увидела его. Она увидела его в спину. К тому же дорожный костюм до того изменил не только его фигуру, но и самую походку, что Консуэло, не услышав голоса, пожалуй не узнала бы его. Но вот он остановился, рассматривая замок, снял свою широкополую шляпу и вытер платком лицо. Хотя Консуэло глядела на него издали и сверху, она тотчас же узнала эти густые золотистые кудри, узнала привычное движение руки, которым он отбрасывал волосы со лба, когда ему бывало жарко.

— У этого замка очень внушительный вид! — услышала Консуэло его восклицание. — Будь у меня время, я был бы не прочь попросить

живущих здесь исполинов накормить меня завтраком!

— И не пробуйте! — ответил на это проводник, качая головой. — Рудольштадты принимают у себя только нищих да родственников.

— Не слишком, значит, гостеприимны? В таком случае черт с ними!

— Видите ли, это оттого, что им надо кое-что скрывать, — пояснил проводник.

— Клад? Или преступление?

— О нет! У них сын сумасшедший.

— Тогда пусть черт заберет и его! Он окажет им только услугу!

Проводник засмеялся. Андзолетто снова запел.

— Ну вот, — обратился к нему проводник, останавливаясь, — наконец и кончилась плохая дорога. Если угодно, садитесь на лошадь, и мы мигом доскачем до Тусты. Дорога туда чудесная — один песок. Оттуда на Прагу идет большой тракт, и там вы достанете хороших почтовых лошадей.

— В таком случае, — проговорил Андзолетто, поправляя стремена, — теперь я могу сказать: черт побери и тебя. По правде говоря, твои кручи, твои горные дороги и ты сам порядком мне надоели.

С этими словами он быстро вскочил на коня,

пришпорил его и, не обращая внимания на едва поспевавшего за ним проводника, во весь опор поскакал на север. Он мчался, поднимая столбы пыли, по той самой дороге, на которую только что так долго смотрела Консуэло, никак не ожидая, что сейчас по ней пронесется, подобно роковому призраку, враг всей ее жизни, вечная мука ее сердца…

В неописуемом волнении глядела она ему вслед. Пока он был вблизи, она, трепеща и холодея от ужаса, думала только о том, как бы он не заметил ее. Когда же она увидела, что он удаляется, что вот-вот исчезнет из поля ее зрения и, быть может, навсегда, страшное отчаяние овладело ею. Она бросилась на верхушку скалы, чтобы как можно дольше не терять его из виду. Несокрушимая любовь снова с безумной силой вспыхнула в девушке, и ей страстно захотелось крикнуть, позвать его, но голос ее замер: ей показалось, что рука смерти сдавила ей горло, разрывает грудь; в глазах потемнело, глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в ушах… В изнеможении она упала со скалы, но тут же очутилась в объятиях незаметно подошедшего Альберта, который унес ее, полумертвую, в более уединенное и более укрытое убежище.

Глава LIII

Боязнь выдать своим волнением тайну, которая до сих пор была так глубоко скрыта в ее душе, возвратила Консуэло силы: она овладела собой и уверила Альберта, что в ее состоянии нет ничего особенного. В ту минуту, когда молодой граф подхватил ее на руки, бледную и близкую к обмороку, Андзолетто со своим проводником уже исчез вдали меж елей, и потому Альберт мог подумать, будто сам виновен в том, что Консуэло чуть не упала в пропасть. Мысль об опасности, которой он подверг ее, очевидно, испугав своим внезапным появлением, до того взволновала его, что в первые минуты он совершенно не заметил несообразности ее ответов. Консуэло, которой он по временам внушал еще какой-то суеверный страх, испугалась, как бы он силою своего прозрения не догадался хотя бы отчасти о ее тайне. Но Альберт, с тех пор как любовь заставила его жить обычной человеческой жизнью, казалось, совсем утратил свои прежние, почти сверхъестественные способности. Вскоре Консуэло окончательно справилась со своим волнением и, когда Альберт

предложил ей пойти с ним в его келью, отнеслась к его предложению с меньшей неприязнью, чем если бы это произошло несколькими часами раньше. Строгая душа и мрачная обитель этого человека, так горячо ей преданного, показались ей тем убежищем, где она в эту минуту надеялась найти покой и силы, необходимые для борьбы с воспоминаниями о своей страсти.

«Само провидение посылает мне этого друга среди моих испытаний, — думала она, — и то мрачное святилище, куда он хочет вести меня, является как бы могилой, куда мне лучше лечь, чем идти вслед за злым гением, только что пронесшимся предо мною. Да, да, пусть земля разверзнется под моими ногами и навек поглотит меня, если я последую за ним!».

— Дорогое Утешение, — начал Альберт, — я шел сказать вам, что тетушка сегодня все утро занята проверкой счетов своих фермеров и совсем забыла о нас, так что мы можем, наконец, осуществить наше паломничество. Впрочем, если вам все еще неприятно увидеть места, с которыми связано для вас столько мучений, столько ужасов…

— Нет, друг мой, нет, — не дала ему докончить Консуэло, — напротив, никогда я не была так расположена, как в эту минуту, помолиться в вашей

церкви и слить мою душу с вашей на крыльях того священного гимна, который вы обещали мне исполнить.

Они направились к Шрекенштейну, и, углубляясь в лес по дороге, противоположной той, какой проследовал Андзолетто, Консуэло почувствовала, что ей становится все легче, словно каждый шаг, отдалявший ее от юноши, разрушал роковые чары, власть которых она только что испытала. Она шла так быстро и так решительно, — правда, с серьезным, сосредоточенным видом, — что молодой граф мог бы приписать эту наивную поспешность единственному желанию сделать ему приятное, не будь основой его характера недоверие к себе и к своей судьбе.

Он привел ее к подножию Шрекенштейна, ко входу в пещеру, наполненную стоячей водой и заросшую густой растительностью.

— Эта пещера, где вы можете заметить некоторые остатки сводов, известна у окрестного населения под названием Подвал монаха. Одни думают, что, когда на месте этих развалин еще стоял укрепленный городок, это был и в самом деле монастырский подвал. Другие говорят, что в более поздние времена он служил убежищем некоему кающемуся преступнику, который,

желая искупить свои грехи, стал отшельником. Как бы то ни было, никто никогда не отваживается проникнуть в эту пещеру. Существует поверье, что вода в ней чрезвычайно глубока и даже смертельно ядовита, якобы из-за каких-то медных пластов, через которые она пробивается. На самом же деле вода эта и не глубока и не вредна: здесь скалистое дно, и мы легко пройдем по нему, если вы, Консуэло, захотите еще раз довериться моим сильным рукам и моей святой любви к вам.

Убедившись затем, что поблизости никого нет и никто не может наблюдать за ними, он взял ее на руки, чтобы она не замочила ног, и, войдя в воду по колено, стал пробираться со своей ношей сквозь кустарник и гирлянды плюща, скрывавшие задний свод пещеры. Вскоре он опустил ее на сухой мелкий песок. Здесь царил полный мрак. Альберт сейчас же зажег захваченный с собою фонарь, они тронулись в путь и после нескольких поворотов в подземных галереях, очень похожих на те, по которым Консуэло уже проходила с ним однажды, очутились у двери кельи, находившейся напротив той, где она была в первый раз.

— Вначале это подземное сооружение, — сказал Альберт, — служило убежищем во время войны

либо для основных жителей городка, стоявшего на горе, либо для владельцев замка Исполинов (городок был в вассальной зависимости от них), которые могли проникать сюда по знакомым вам потайным галереям. Если впоследствии, как утверждают, в Подвале монаха жил какой-то отшельник, то очень вероятно, что он мог знать об этом убежище. Когда я проник сюда впервые, мне показалось, что галерея, по которой мы сейчас пришли, была расчищена не так давно, тогда как галереи, ведущие в замок, я нашел до того заваленными гравием и землей, что мне стоило немалых трудов расчистить их. Кроме того, найденные мною обрывки циновок, кружка, распятие, лампа и, наконец, скелет человека, который лежал на спине со скрещенными на груди руками, — должно быть, он молился в последний раз перед последним сном, — все это доказало мне, что какой-то отшельник благочестиво и мирно закончил здесь свое таинственное существование. Наши крестьяне верят, что душа этого пустынника все еще обитает в недрах горы. Они утверждают, что не раз видели, как он блуждает по горе и даже витает над нею в лунные ночи, что они слышали, как он молится, плачет, стонет, и даже что какая-то странная, невнятная музыка,

нежная, как дуновение ветерка, доносилась до них, замирая на крыльях ночи. Знаете, Консуэло, когда возбуждение и отчаяние населяло природу вокруг меня призраками и ужасами, мне и самому чудилось, будто я вижу мрачного кающегося грешника, распростертого у подножия Гусита; порой мне даже казалось, что я слышу его жалобные, раздирающие душу стоны, поднимавшиеся со дна пропасти. Но с тех пор как я открыл эту келью и поселился в ней, я никогда не видел никакого отшельника, кроме самого себя, никакого призрака, кроме собственной особы, и не слышал иных стонов, кроме тех, что вырывались из моей груди.

Со времени своего первого свидания с Альбертом в этой самой пещере Консуэло ни разу не слышала от него безумных речей. Поэтому, беседуя с ним, она никогда не решалась касаться ни его странных слов, произнесенных в ту ночь, ни галлюцинаций, которые тогда им владели. Ее удивляло, что он, по-видимому, совершенно забыл о них, и, не смея напоминать ему об этом, она только спросила, действительно ли полный покой подобного уединения избавлял его от того возбужденного состояния, о котором он говорил.

— Не могу с точностью ответить вам на это, —

сказал он, — и если вы не настаиваете, то, по правде сказать, я не хотел бы вызывать это воспоминание. Мне кажется, что раньше со мной действительно бывали припадки настоящего безумия. Мои старания скрыть их еще больше их обостряли и делали более заметными. Когда благодаря Зденко, который владеет переходящей из рода в род тайной этих подземных сооружений, я нашел способ избавляться от тягостной для меня заботливости родных и скрывать свое отчаяние, мое существование изменилось. Я стал лучше владеть собой, а уверенность, что в случае особенно сильного приступа недуга я всегда могу скрыться от назойливых свидетелей, помогла мне разыгрывать в семье роль спокойного, покорного судьбе человека.

Консуэло поняла, что бедный Альберт заблуждается, но она чувствовала, что теперь не время его разубеждать. Радуясь, что он с таким хладнокровием говорит о прошлом, она принялась осматривать келью более внимательно, чем могла это сделать в свое первое посещение. Ей бросилось в глаза, что относительный порядок и чистота, замеченные ею в тот раз, перестали царить здесь: холод, сырые стены и плесень на книгах говорили о полной заброшенности этих

мест.

— Вы видите, я сдержал данное вам слово, — обратился к ней Альберт, которому с большим трудом удалось растопить печь, — моей ноги не было здесь с тех пор, как вы своим могущественным влиянием вырвали меня отсюда.

Тут Консуэло едва удержалась от вопроса, который готов был сорваться у нее с языка. Она чуть было не спросила: неужели и его друг Зденко, этот верный слуга и ревностный страж, неужели и он забросил и покинул это убежище? Но она вовремя вспомнила, в какую глубокую грусть впадал Альберт всякий раз, как она заговаривала о Зденко, спрашивая, что с ним сталось и почему со времени ужасной встречи с ним в подземелье она ни разу не видела его. Альберт всегда уклонялся от этого разговора: то он притворялся, будто не слышал вопроса, то, не отвечая прямо, просил ее успокоиться и больше не опасаться юродивого. Сперва она думала, что Зденко получил приказание никогда не попадаться ей на глаза и свято выполняет его. Но когда она возобновила свои одинокие прогулки, Альберт, желая окончательно ее успокоить, поклялся, страшно побледнев, что она нигде не встретит Зденко, так как тот отправился в очень далекое путешествие.

И действительно, с тех самых пор никто не видел его, и все решили, что либо он умер, забившись в какой-нибудь угол, либо навеки покинул родной край.

Консуэло не верила ни в эту смерть, ни в этот отъезд. Зная страстную привязанность Зденко к Альберту, она не могла допустить мысли, чтобы их разлука была окончательной. Мысль же о смерти возбуждала в ней глубокий ужас, в котором она боялась признаться самой себе, ибо всякий раз вспоминала при этом о страшной клятве, которую в исступлении дал ей Альберт: клятве пожертвовать жизнью несчастного, если это понадобится для спокойствия любимой. Но она гнала от себя это ужасное подозрение, вспоминая, как кроток и отзывчив был Альберт всю свою жизнь. К тому же вот уже несколько месяцев, как молодой граф был совершенно спокоен: очевидно, Зденко не совершил ничего, что могло бы привести его друга в такую ярость, как тогда в подземелье. Вообще Альберт как будто забыл об этой мучительной минуте, и Консуэло тоже старалась не вспоминать о ней. Из всех событий, имевших место в подземелье, он помнил только то, что происходило, когда он был в здравом уме. Поэтому Консуэло остановилась на мысли, что

Зденко было запрещено не только входить в замок, но даже приближаться к нему и что он, бедный, с досады или с горя обрек себя на добровольное заключение в подземном убежище. Она предполагала, что, вероятно, несчастный выходит оттуда только по ночам, чтобы подышать воздухом или поговорить на Шрекенштейне с Альбертом, который, без сомнения, заботится хотя бы о пропитании Зденко, — точно так, как Зденко столь долгое время заботился о его собственном. При виде заброшенной кельи Консуэло решила, что Зденко, рассердившись на хозяина, не хочет больше убирать его покинутое убежище; а так как, входя в пещеру, Альберт еще раз сказал, что ей совершенно нечего бояться, она, пользуясь тем, что ее друг возится над заржавленной, никак не открывавшейся дверью в церковь, попыталась открыть ту дверь, которая вела в келью Зденко, надеясь найти там следы его недавнего пребывания. Как только она повернула ключ, дверь легко открылась, но здесь было так темно, что она ничего не могла разглядеть. Подождав, пока Альберт вошел в таинственную молельню, которую он хотел привести в порядок, перед тем как принять гостью, она взяла фонарь и тихонько вернулась в комнату Зденко, все-таки немного боясь встре-

титься с ним лицом к лицу. Но там не было ни малейшего признака его пребывания. Постель из листьев и овечьих шкур была вынесена, грубо сколоченная скамейка, рабочие инструменты, войлочные сандалии — все исчезло бесследно. При виде сырости, блестевшей на стенах, трудно было даже предположить что вообще под этими сводами когда-либо мог спать человек.

Это открытие опечалило и ужаснуло Консуэло. Судьба несчастного Зденко была окружена мрачной тайной, и она с содроганием подумала что, может быть, сама явилась причиной какого-нибудь страшного события. В Альберте было два человека: мудрец и безумец. Один — кроткий, сострадательный, нежный; другой — странный, суровый, быть может, свирепый и беспощадный в своих решениях. Тут Консуэло вдруг вспомнила, как Альберту все мерещилось, будто он кровожадный фанатик — Ян Жижка; вспомнилось его пристрастие к событиям в Чехии времен гуситов; да и в самой его страсти к ней — страсти немой и терпеливой — было что-то властное, непостижимое… Все эти мысли в одно мгновение пронеслись в уме молодой девушки, казалось, подтверждая самые тяжкие ее подозрения. Похолодев от ужаса, она неподвижно стояла на голом, холодном полу,

словно боясь увидеть на нем следы крови.

Она все еще продолжала стоять, погруженная в эти зловещие думы, когда услышала, что Альберт настраивает свой инструмент; и вот скрипка запела тот старинный псалом, который Консуэло так жаждала услышать еще раз. Музыка была до того своеобразна, а Альберт вкладывал в нее столько чистого и глубокого чувства, что Консуэло, забыв все свои тревоги, медленно направилась к нему, словно повинуясь какой-то непреодолимой силе.

Глава LIV

Дверь «церкви» была открыта; Консуэло остановилась на пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и необычайное святилище. Так называемая церковь представляла собой просто огромную пещеру, высеченную, вернее — выдолбленную, в скалах руками природы, в основном подземными водами. Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в мрачные ниши, откуда неясно выступали очертания длинных сталактитов, похожих на призраки. Огромные причудливые нагромождения почвы, некогда принесенные сюда водой, были то скручены на стенах, как чудовищные змеи, которые, сплетясь, пожирали друг друга, то, вылезая из земли и опускаясь со сводов в виде чудовищных игл, походили на колоссальные зубы, оскаленные в раскрытых пастях, образуемых черными углублениями скал. Некоторые из них можно было принять за бесформенные статуи, исполинские изображения варварских богов древности.

Свойственная скалам растительность: огромные лишайники, жесткие, как чешуя драконов, гирлянды оленьих языков с широкими тяжелыми листьями, группы молодых кипарисов, недавно посаженных посредине площадки на бугорках наносной земли, похожих на могильные холмы, — все это придавало пещере мрачный, величественный и зловещий вид, поразивший воображение молодой артистки. Но первое чувство ужаса вскоре сменилось восторгом. Подойдя ближе, она увидела Альберта, стоявшего у источника, который пробивался в середине пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что клокотание обильных вод совсем не чувствовалось на его поверхности. Она была гладка и неподвижна, как глыба темного сапфира, а красивые водяные растения, посаженные по ее краям Альбертом и Зденко, стояли не шелохнувшись. Источник был горячий, и его теплые испарения придавали воздуху пещеры мягкость и влажность, благоприятные для растительности. Вода из бассейна вытекала несколькими ручейками: одни тотчас же с глухим шумом терялись где-то у подножия скал, другие, чистые, прозрачные, протекали по пещере и потом исчезали в темных углублениях, намного расширявших ее пределы.

Как только граф Альберт, который пока что только пробовал струны на своей скрипке, увидел Консуэло, он пошел ей навстречу и помог перейти через излучины источника. В более глубоких местах были переброшены стволы деревьев, в других же выступавшие из воды камни облегчали переход для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз даже переносил ее. Но на этот раз Консуэло пугал не поток, мрачно и бесшумно катившийся под ее ногами, а этот загадочный проводник, к которому девушку влекла неодолимая симпатия и от которого в то же время ее отталкивало какое-то не поддающееся определению чувство. Подойдя к источнику, она увидела на широком камне, возвышавшемся над ним на несколько футов, нечто такое, что мало способствовало ее успокоению. То было четырехугольное сооружение, искусно сложенное из человеческих костей и черепов — своеобразный надгробный памятник, какие можно видеть в катакомбах.

— Не пугайтесь, — сказал ей Альберт, заметив, что она вздрогнула, — это благородные останки мучеников моей религии, образующие алтарь, перед которым я люблю размышлять и молиться.

— Какая же у вас религия, Альберт? — с наив-

ной грустью спросила Консуэло. — Чьи это кости — гуситов или католиков? Разве и те и другие не были жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково горячей? Неужели правда, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших родителей и что реформы, последовавшие за реформами Яна Гуса, кажутся вам недостаточно суровыми и решительными? Скажите, Альберт, чему я должна верить из всего того, что мне о вас говорили?

— Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской, Прокопа Большого — мстительному Кальвину, подвиги таборитов — подвигам солдат Валленштейна, то это сущая правда, Консуэло. Но что вам до моих верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете Бога лучше, чем я. Я привел вас сюда вовсе не для того, чтобы отяготить вашу чистую душу, смутить вашу спокойную совесть своими думами и душевными муками! Оставайтесь такой, какая вы есть, Консуэло! Вы родились благочестивой и святой; более того — вы родились в бедности, неизвестности, и ничто не могло затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости. Мы можем, не препираясь, молиться вместе: вы, знающая все, ничему не учившись, и

я, знающий так мало, несмотря на все мои поиски. В каком бы храме вы ни молились, вы всегда будете обращаться к истинному Богу, и истинная вера будет гореть в вашей душе. Итак, не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы получить через вас откровение, хотел я соединить наши голоса и мысли перед алтарем, сложенным из костей моих предков.

— Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные останки, как вы их называете, за останки гуситов, с кровожадной яростью сброшенные в колодец Шрекенштейна во времена вашего предка Яна Жижки, который, как говорят, страшно отомстил за это. Мне рассказывали также, что, предав огню деревню, он велел засыпать колодец. Мне кажется, что я вижу на темном своде, прямо над головой, круг из обтесанных камней. Не значит ли это, что мы с вами находимся сейчас как раз под теми камнями, на которых я не раз сиживала, утомившись искать вас? Скажите, граф Альберт, не то ли это место, которое, как я слышала, вы окрестили камнем Искупления?

— Да, — ответил Альберт, — это здесь пытки и чудовищные жестокости освятили место моих молений и алтарь моей скорби. Вы видите огромные глыбы, что нависли над нашими головами, и

вот те, другие, у источника? Могучие руки таборитов сбросили их сюда по приказу того, кого звали Грозным слепцом, но глыбы эти только отвели воды к подземным руслам, куда они и пробились. Стенки колодца были разрушены, и, чтобы скрыть развалины, я посадил эти кипарисы. Но чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадобилась бы целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колодца, задержались там благодаря винтовой лестнице, подобной той, по которой вы отважились спуститься в водоем через мой цветник в замке Исполинов. Оседание горных пород с течением времени все больше и больше сдавливало и сдерживало эти глыбы. Теперь если и случится незначительному камешку сорваться оттуда, так это бывает только зимой, во время сильных ночных морозов, и вам, как видите, совершенно нечего бояться обвала.

— Вовсе не это заботит меня, Альберт, — возразила Консуэло, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил свою скрипку. — Я хочу знать, почему вы почитаете память и останки только этих жертв, как будто не было мучеников и у противной стороны, как будто преступления одних простительнее преступлений других.

Консуэло сказала это, строго и с недоверием

глядя на Альберта. Она снова вспомнила о Зденко, и все эти вопросы были как бы частью того справедливого дознания, которому она охотно подвергла бы его, если бы отважилась на это.

Мучительное волнение вдруг охватило графа, и Консуэло приняла это за признак нечистой совести. Он схватился руками за голову, потом прижал их к груди, точно боясь, что она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и девушка испугалась, не догадался ли он о ее подозрениях.

— Вы не знаете, какую причинили мне боль! — воскликнул он, наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя голову к этим высохшим черепам, казалось, смотревшим на него своими пустыми глазницами. — Нет! Вы не можете этого знать, Консуэло! И ваши холодные рассуждения будят во мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною. Вы не знаете, что говорите с человеком, пережившим века страданий, с человеком, который, послужив слепым орудием непреклонного правосудия Божьего, уже получил награду и понес кару. Я так много страдал, так много пролил слез, так старался искупить свою жестокую судьбу, заглаживая чудовищные преступления, которые меня заставлял совершать рок… И наконец, вообразил, что смогу забыть. За-

быть! Вот чего жаждало мое истерзанное сердце! Вот что было мольбой, мечтой каждой минуты моей жизни! Распростертый над этими скелетами, я годами молил здесь о сближении с людьми, о примирении с Богом! И когда я впервые увидел вас, Консуэло, я начал надеяться. А когда вы пожалели меня, начал верить в свое спасение. Взгляните на этот венок из засохших цветов, готовых уже рассыпаться в прах, — я увенчал им верхний череп моего алтаря. Вы не узнаете этих цветов, а я столько раз орошал их горькими и сладостными слезами: ведь это вы сорвали и передали их мне через свидетеля моих страданий, верного обитателя моей гробницы. И вот, плача и целуя эти цветы, я с тревогой спрашивал себя, сможете ли вы когда-нибудь почувствовать глубокую, настоящую любовь к такому преступнику, как я, к такому безжалостному фанатику, бездушному тирану…

— Но какие же преступления вы совершили? — решительно спросила Консуэло, волнуемая самыми разнообразными чувствами и став смелее при виде глубокого уныния Альберта. — Если вы хотите сделать мне какое-то признание, сделайте его здесь, сделайте его сейчас, чтобы я знала, могу ли оправдать вас и полюбить.

— Оправдать меня — да, можете, ибо тот Альберт Рудольштадтский, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка. Но тот, кто вам неизвестен — Ян Жижка, поборник чаши, — был вовлечен гневом Божьим в целый ряд беззаконий!..

Консуэло увидела, какую сделала оплошность, раздув тлевший под пеплом огонь и наведя бедного Альберта на разговор о том, что составляло предмет его помешательства. Но сейчас не время было разубеждать его с помощью рассуждений: она попробовала успокоить его, говоря с ним языком его недуга.

— Довольно, Альберт. Если ваше теперешнее существование было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего больше искупать и Господь прощает Яна Жижку.

— Бог не открывается непосредственно смиренным творениям, которые ему служат, — отвечал граф, качая головой. — Он унижает иди ободряет их, пользуясь одними для спасения или для наказания других. Когда, движимые духом милосердия, мы пытаемся укорять или утешать наших ближних, все мы являемся лишь исполнителями Его воли. Вам, юному созданию, не дано права отпускать мне грехи. У самого священника

нет этой великой власти, хотя церковь в своей гордыне приписывает ее ему. Но вы можете снискать для меня милость Божью, если полюбите меня. Ваша любовь может примирить меня с небом и заставить забыть о днях, называемых историей прошлых веков… Вы можете давать мне именем всемогущего Бога самые торжественные обещания, но я не смогу им поверить: я буду усматривать в них лишь благородный и великодушный фанатизм. Положите руку на свое сердце и спросите его, обитает ли в нем мысль обо мне, наполняет ли его моя любовь, и, если оно ответит «да», это «да» будет священной формулой отпущения моих грехов, моего искупления, будет тем чудом, которое даст мне покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы стать жрицей моей религии, и моя душа получит отпущение на небесах, как душа католика получает отпущение из уст духовника. Скажите, что вы меня любите! — воскликнул он, страстно порываясь к ней, словно желая заключить ее в объятия.

Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которой он требовал, а он снова упал на кости алтаря, тяжко стеная.

— Я знал, что она не сможет полюбить меня, — воскликнул Альберт, — знал, что никогда не буду

прощен, что никогда не забуду тех проклятых дней, когда еще не видел ее!

— Альберт, дорогой Альберт, — проговорила Консуэло, глубоко потрясенная силой его скорби, — имейте мужество выслушать меня. Вы говорите, что я хочу обмануть вас надеждой на чудо, а между тем сами вы требуете от меня еще большего чуда. Бог, который видит все и оценивает наши заслуги, может все простить, но такое слабое несовершенное создание, как я, — могу ли я понять и принять одним только усилием ума и преданности такую странную любовь, как ваша? Мне кажется, что это от вас зависит — внушить мне ту необыкновенную привязанность, какой вы от меня требуете и дать которую не в моей власти, особенно когда я еще так мало знаю вас. Поскольку мы заговорили с вами мистическим языком религии — меня немного научили ему в детстве, — я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы на вас снизошла благодать. А разве вы заслужили того подобия искупления, которого ищете в моей любви? Вы требуете от меня самого чистого, самого нежного, самого кроткого чувства, а мне кажется, что ваша душа не склонна ни к нежности, ни к кротости: в ней гнездятся самые мрачные мысли и вечное злопамятство.

— Что вы хотите сказать этим, Консуэло? Я не понимаю вас.

— Я хочу сказать, что вы беспрестанно находитесь во власти зловещих фантазий, мыслей об убийстве, кровавых видений. Вы плачете над преступлениями, якобы совершенными вами много веков назад, а между тем воспоминание о них вам дорого. Вы называете их славными, великими, вы приписываете их воле Божьей и праведному его гневу. Словом, вы одновременно и ужасаетесь и гордитесь, разыгрывая в своем воображении роль какого-то ангела-губителя. Если допустить, что вы действительно были в прошлом мстителем и разрушителем, то можно подумать, что в вас сохранился инстинкт мщения и разрушения, что в вас живет склонность, чуть ли не стремление, к этой страшной доле, раз вы все заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни и оплакиваете себя как преступника, приговоренного оставаться таковым и дальше.

— Нет, это не так, благодаря милосердию всемогущего Отца душ, он берет их обратно к себе и, восстановив своей любовью, возвращает их к деятельной жизни! — вздымая руки к небу, воскликнул Рудольштадт. — Нет, нет, во мне не сохранился инстинкт насилия и жестокости!

Довольно с меня и того, что я был обречен пройти огнем и мечом через те варварские времена, которые мы на нашем фанатическом и дерзком языке зовем «эпохой рвения и ярости». Но вы несведущи в истории, благородная девушка, вы не понимаете прошлого. Судьбы народов, в которых вам всегда, должно быть, выпадала миссия мира, роль ангела-утешителя, загадочны для вас. А вам надо познакомиться с этими ужасающими событиями, чтобы иметь представление о том, что порой повелевает праведный Бог несчастным людям.

— Говорите же, Альберт! Объясните мне, что могло быть такого важного и священного в бесплодных распрях о причащении, чтобы народы стали убивать друг друга во имя Божественной евхаристии?

— Вы правы, называя ее Божественной, — ответил Альберт, садясь у источника рядом с Консуэло. — Это подобие равенства, это таинство, установленное существом наивысшим среди людей, дабы увековечить принцип братства, достойно того, чтобы вы, равная самым могущественным и благородным представителям человечества, назвали его Божественным. А между тем существуют еще тщеславные безумцы,

которые считают, что стоят выше вас, считают кровь вашу менее драгоценной, чем кровь земных королей и князей! Что подумали бы вы обо мне, Консуэло, если бы я, потому только, что веду свой род от этих самых королей и князей, вообразил себя стоящим выше вас?

— Я простила бы вам этот предрассудок, священный для всей вашей касты. Восставать против него мне никогда не приходило в голову, и я счастлива, что родилась свободной и равной маленьким людям, потому что люблю их гораздо больше, чем великих мира сего.

— Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, но вы бы меня не уважали. Оставаясь здесь с глазу на глаз со мной, человеком, обожающим вас, вы не чувствовали бы себя так спокойно, как теперь, когда вы уверены, что для меня вы так же священны, как если бы по праву рождения были провозглашены императрицей Германии. О, позвольте мне думать, что божественную жалость, заставившую вас тогда, в первый раз, прийти сюда, вы почувствовали потому, что уже разгадали мой характер и мои взгляды на жизнь. Итак, дорогая сестра, признайте же в своем сердце (я обращаюсь к нему, не желая утомлять ваш мозг философскими рассуждения-

ми), что равенство священно, что это воля Отца людей и что долг людей — стремиться установить это равенство. В те времена, когда народы были горячими приверженцами обрядов своей религии, для них в причащении заключалось все равенство, каким только дозволяли пользоваться законы, установленные обществом. Бедные и слабые находили в нем утешение: оно помогало им переносить тяготы жизни, давая надежду, что когда-нибудь их потомки узнают лучшую жизнь. Чехи всегда хотели соблюдать обряд евхаристии в том виде, в каком его проповедовали и выполняли апостолы. То было поистине древнее братское единение, трапеза равенства, отображение царства Божьего, которое должно было осуществиться на земле. Но пришел день, когда римская церковь, подчинившая народы и царей своей деспотической и честолюбивой власти, пожелала отделить христианина от священника, народ — от духовенства. Она отдала чашу в руки своих служителей, дабы те скрыли божество в таинственных ковчегах. И вот эти священнослужители путем своих бессмысленных толкований превратили причащение в какой-то языческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их, священнослужителей,

соизволения. Они захватили ключи от совести людской, сделав исповедь тайной; и святая чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолить и обновить свою душу, исчезла в разукрашенной золотом шкатулке из кедра, откуда ее извлекали лишь для того, чтобы приблизить к устам священника. Он один стал достоин вкушать от крови и слез Христа. Смиренный верующий должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал в один голос: «Чашу, верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников и безумных! Чашу для всех нищих, всех убогих телом и духом!». Таков был крик возмущения, объединивший всю Чехию. Остальное вам известно, Консуэло. Вы уже знаете, что к этой первоначальной идее, отражавшей в религиозном символе всю радость, все благородные искания гордого и великодушного народа, присоединились, как следствие преследований и страшной борьбы с соседними народами, еще идеи свободы отечества и национальной чести. Завоевание чаши повлекло за собой другие благороднейшие завоевания и создало новое общество. Если же история, написанная невежественными или скептически настроенными людьми, рас-

скажет вам, будто только жажда крови и золота разожгла эти злополучные войны, не верьте: это ложь перед Богом и людьми. Правда, личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших предков, но то был все тот же извечный дух властолюбия и жадности, постоянно грызущий богатых и знатных. Они, и только они, позорили святое дело и десятки раз изменяли ему. Народ — грубый, но искренний, фанатичный, но вдохновенный — объединился в секты, поэтические названия которых вам известны: табориты, оребиты, сироты, союзные братья. Этот народ — мученик своей веры — бежал в горы, где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства, верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обитателях земного мира, ждал пришествия и торжества Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Голого и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей. Такое верование не кажется мне вымыслом, Консуэло. Наша роль на земле не так коротка, как принято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью. Что же касается желания капеллана, а быть может, и моих добрых, но слабых родных приписывать мне наивное и ребяческое увлечение культом

гуситов, то хоть я действительно в дни лихорадки и возбуждения как будто смешивал символ с принципом и образ с идеей, все же не презирайте меня слишком за это, Консуэло. В глубине души я никогда не думал воскрешать для себя эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши дни. Совсем другие образы и другие символы понадобились бы нынешним просвещенным людям, если бы только они согласились раскрыть глаза и если бы иго рабства не препятствовало народам искать религию свободы. Слишком строго и лживо перетолковывались мои симпатии, вкусы и привычки. Устав от бесплодных и суетных идей людей нашего века, я ощутил потребность укрепить свое соболезнующее сердце общением с людьми простодушными или несчастными. Мне нравилось разговаривать со всеми этими бродягами, юродивыми, со всеми обездоленными, лишенными земных благ и любви своих ближних. В бесхитростных рассуждениях тех, кого называют помешанными, я открывал иногда мимолетные, но поразительные проблески Божественной мысли. Мне приходилось также, выслушивая признания так называемых отверженных и преступников, рассказывавших о своем раскаянии и сожалениях, наталкиваться

на глубокие, хотя и загрязненные следы их справедливости и невиновности. И вот, видя меня сидящим за столом у невежды или у изголовья разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже колдун! Что я могу ответить на такие обвинения? Когда же я, потрясенный чтением истории своей родины и размышлениями над ней, не сдерживаясь, говорил вещи, похожие на бред (быть может, они и были бредом), меня стали бояться, принимая за безумца, одержимого дьяволом… Дьявол! А знаете ли вы, Консуэло, что это такое? Рассказать вам об этой таинственной аллегории, созданной священнослужителями всех религий?

— Да, друг мой, — сказала Консуэло, успокоенная и почти убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. — Объясните мне, что такое сатана. Сказать правду, хоть я не переставала верить в Бога и никогда открыто не восставала против того, чему меня учили о дьяволе, я все-таки никогда не верила в него. Если бы он действительно существовал, то Бог заковал бы его в цепи так далеко от себя и от нас, что мы ничего и не узнали бы о нем.

— Если бы он существовал, — отвечал Альберт, — то мог бы быть лишь чудовищным

созданием того Бога, в которого самые нечестивые софисты предпочитали не верить, лишь бы не быть вынужденными признать его за тип и идеал всяческого совершенства, познания и любви. Как могло совершенство породить зло, знание — ложь, любовь — ненависть и развращенность? Эту сказку надо отнести к младенческой поре рода человеческого, когда бедствия и страдания в мире физическом заставили трусливых детей земли думать, будто есть два Бога, два высших и созидающих духа: один — источник всех благ, а другой — всех зол; два начала, почти одинаковые, ибо царство Эблиса должно было существовать неисчислимый ряд веков и пасть лишь после ужасающих боев в сферах эмпирея. Но почему же после проповеди Христа и чистого света Евангелия духовенство осмелилось воскресить и утвердить в умах народов это грубое верование их древних предков? Потому что, вследствие неудовлетворительного или неправильного толкования апостольского учения, понятие о добре и зле оставалось неясным и незаконченным для человеческого ума. Был введен и освящен принцип полного разделения прав и назначения духа и плоти, прерогатив духовной и светской власти. Христианский аскетизм возвышал душу

и клеймил позором тело. Так как мало-помалу фанатизм довел это осуждение материальной жизни до крайности, а в обществе, несмотря на учение Христа, уцелел древний порядок деления на касты, небольшая группа людей продолжала жить и господствовать с помощью разума, в то время как огромное большинство прозябало во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные касты, особенно духовенство, стали тогда душою общества, народ же оставался только его телом. Кто же в таком случае был истинным покровителем мыслящих существ? Бог. А людей невежественных? Дьявол. Ибо Бог давал жизнь душе и возбранял жизнь чувственную, к которой сатана постоянно толкал людей слабых и грубых. Одна из таинственных и странных сект возмечтала, как и многие другие, восстановить права плоти и воссоединить в одном общем Божественном начале эти два произвольно разделенных начала. Секта эта попыталась утвердить любовь, равенство и братство как основу человеческого счастья. Это была справедливая и святая идея. Правда, при этих попытках бывали и крайности и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести из уничижения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из него служителя

и движущую силу добра. Таким образом, эти философы отпустили сатане его прегрешения, и он был восстановлен в сонме небесных духов. Поэтическими толкованиями они постарались превратить архангела Михаила и его воинство в угнетателей и узурпаторов славы и могущества, осуждая в их лице первосвященников и князей церкви, оттеснивших к вымыслам об аде религию равенства и основы счастья человеческого рода. Итак, мрачный и скорбный Люцифер вышел из бездны, где он, скованный, подобно Божественному Прометею, стонал столько веков. Его освободители все же не дерзали открыто взывать к нему, но посредством таинственных и загадочных формул выразили идею его апофеоза и будущего царствования над человечеством, которое слишком долго развенчивалось, унижалось и было оклеветано, как и он сам. Боюсь, однако, что я утомил вас своими объяснениями. Простите меня, дорогая Консуэло. Но вам изобразили меня антихристом и поклонником дьявола, а мне хотелось оправдаться перед вами и доказать, что я менее суеверен, чем те, кто меня обвиняет.

— Вы нисколько не утомили меня, — ответила, кротко улыбаясь, Консуэло, — и я очень рада узнать, что не вступила в союз с врагом рода

человеческого, прибегнув однажды ночью к приветствию лоллардов.

— Вы, оказывается, очень осведомлены по этой части, — заметил Альберт и снова принялся объяснять ей возвышенный смысл тех великих истин, называемых еретическими, которые были погребены под недобросовестными обвинениями и приговорами софистов католицизма. Все более и более воодушевляясь, он рассказал ей о своих исследованиях, размышлениях, мрачных фантазиях, которые довели его самого до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему более далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать свою исповедь как можно более понятной и простой, он достиг удивительной ясности изложения, говорил о себе с такой искренностью, с таким беспристрастием, как будто дело шло о другом человеке, и касался слабостей и болезненных явлений своего рассудка так свободно, словно давно излечился от этих опасных припадков. Он выражал свои мысли так здраво, что, отбросив вопрос о чувстве времени, которое, видимо, было для него утрачено (он каялся, например, в том, что когда-то воображал себя Яном Жижкой, Вратиславом, Подебрадом и другими героями минувшего, совершенно забывая, что за

полчаса перед тем впадал в такое же заблуждение). Консуэло не могла не видеть в нем человека выдающегося и просвещенного — человека, проповедующего более великодушные, а следовательно, и более справедливые идеи, нежели те, о каких ей приходилось слышать до сих пор.

Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в больших глазах молодой девушки, ее сообразительность, поразительная способность усваивать отвлеченные и возвышенные мысли так воодушевили Рудольштадта, что речь его зазвучала еще убедительнее, еще ярче. Консуэло, после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно ответить, уже не думала об удовлетворении своей природной любознательности, а только пребывала в каком-то восторженном удивлении, которое ей внушал Альберт. Она забыла все тревоги, пережитые за этот день, забыла об Андзолетто, о Зденко, о костях мертвецов, лежавших перед ее глазами. Какие-то чары завладели ею: живописное место, где она находилась, эти кипарисы, страшные скалы и мрачный алтарь показались ей при дрожащем свете факелов подобием волшебного Элизиума, где блуждали священные и величественные видения. Она бодрствовала, но ее

рассудок, подвергшийся напряжению, слишком сильному для ее поэтической натуры, был словно усыплен. Уже не слушая того, что говорил Альберт, она погрузилась в сладостный экстаз, умиляясь при мысли о сатане, которого он только что изобразил как великую, непризнанную идею, а ее артистическое воображение нарисовало его в виде красивого, страдальческого, бледного образа, родного брата Христа, склонившегося над нею, дочерью народа, отверженным ребенком мировой семьи. Вдруг она заметила, что Альберта уже нет подле нее, что он больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит в двух шагах от нее у алтаря и играет на скрипке мелодию, которая однажды так поразила и очаровала ее.

Глава LV

Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные песнопения неизвестных у нас и, должно быть, забытых в Чехии авторов, которые сохранились лишь благодаря драгоценной памяти Зденко и которые молодой граф записал после долгих трудов и дум. Он так глубоко проникся духом этих гимнов, на первый взгляд диких, но трогательных и истинно прекрасных для серьезного и просвещенного любителя, и до такой степени вжился в них, что мог подолгу импровизировать на эти темы, дополняя их собственными вариациями, повторяя и развивая основную тему произведения, но не поддаваясь чрезмерно своему собственному вдохновению, а сохраняя благодаря искусному и вдумчивому толкованию своеобразный, строгий и проникновенный характер этих старинных напевов. Консуэло хотела было запомнить эти чудесные образцы пламенного народного гения старой Чехии, но вскоре почувствовала, что не сможет — то ли из-за мечтательного настроения, в котором она пребывала, то ли из-за расплывчатости этой

музыки, чуждой ее уху.

Есть музыка, которую можно назвать естественной, так как она является плодом не науки и не размышления, а вдохновения, не поддающегося строгим правилам или канонам. Такова народная музыка, по преимуществу музыка крестьян. Сколько чудесных песен рождается и умирает среди них, так и не удостоившись точной записи и не получив окончательного отображения в виде определенной темы! Неизвестный артист, который импровизирует безыскусственную балладу, охраняя свои стада или идя за плугом (а таких еще немало даже в странах, кажущихся наименее поэтичными), редко когда сумеет запомнить и тем более записать свои мимолетные ощущения. От него эта баллада переходит к другим музыкантам, таким же детям природы, как и он сам, а те ее переносят из деревни в деревню, из хижины в хижину, причем каждый изменяет ее сообразно своему дарованию. Вот почему эти пастушеские песни и романсы, такие прелестные своей наивностью и глубиной чувства, большей частью утрачиваются и редко живут дольше ста лет в памяти народа. Ученые музыканты не особенно заботятся их собирать. Большинство пренебрегает ими, не обладая достаточно ясным

пониманием и возвышенным чувством, других же отталкивает то, что почти невозможно найти подлинную первоначальную мелодию, которая, быть может, уже не существует и для самого автора и которую, разумеется, никогда не признавали окончательной и неизменной многочисленные ее исполнители. Одни изменяли ее по своему невежеству, другие развивали, украшали и улучшали благодаря своему превосходству, ибо изучение искусства не заглушило в них непосредственности восприятия. Они и сами не сознавали, что преобразили первоначальное произведение, а их простодушные слушатели тоже этого не замечали. Крестьянин не исследует и не сравнивает. Если небо создало его музыкантом, он поет как птица — подобно соловью, который все время импровизирует, хотя основные элементы его пения, варьируемые до бесконечности, остаются неизменными. Плодовитость народного гения беспредельна. Крестьянину не нужно записывать свои произведения, — он творит без отдыха, подобно земле, им обрабатываемой; он творит ежечасно, подобно природе, его вдохновляющей.

В сердце Консуэло были и чистота, и поэзия, и чуткость — словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить народную музыку. В этом

тоже проявлялась великая артистка, и усвоенные ею научные теории не убили в ее таланте ни свежести, ни тонкости восприятия — этих сокровищ вдохновения и душевной юности. Бывало, она не раз тайком от Порпоры признавалась Андзолетто, что некоторые баллады рыбаков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу, чем все высокие произведения падре Мартини или маэстро Дуранте вместе взятые. Испанские песни и болеро, которые пела ее мать, были для нее тем наполненным поэзией источником, откуда она черпала теперь свои любимые воспоминания. Какое же впечатление должен был произвести на нее музыкальный гений Чехии, вдохновение этого народа — народа пастухов и воинов, фанатичного и сурового, сохранившего мягкость и нежность наряду с силой и энергией! Все в этой музыке было для нее ново и поразительно. Альберт передавал ее с редким пониманием народного духа и породившего ее могучего религиозного чувства. Импровизируя, он вносил в эту музыку глубокую меланхолию и раздирающую сердце жалобу — эти следы угнетения, запечатлевшиеся в душе его народа и в его собственной. И это смешение грусти и отваги, экзальтации и уныния, благодарственных гимнов и воплей

отчаяния было самым совершенным и самым глубоким выражением переживаний несчастной Чехии и несчастного Альберта.

Справедливо говорят, что цель музыки — возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробудит столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека; никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, своеобразие народов, бурю их страстей и тяжесть страданий. Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, смятение, энтузиазм, вера, сомнение, упоение славой, спокойствие — все это и еще многое другое музыка дает нам или отнимает у нас силою своего гения и в меру нашей восприимчивости. Она воссоздает даже внешний вид вещей и, не впадая в мелочные звуковые эффекты или в слепое подражание шумам действительности, показывает нам сквозь туманную дымку, возвышающую и обожествляющую их, те предметы внешнего мира, к которым она уносит наше воображение. Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские призраки древних соборов и в то же время заставили нас проникнуть в мысли народов, которые построили их и повергались там ниц, распевая религиозные гимны.

Для того, кто сумел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и для того, кто сумел бы должным образом ее слушать, нет надобности ездить по всему свету, знакомиться с разными национальностями, осматривать их памятники, читать их книги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням. Хорошо переданная еврейская мелодия переносит нас в синагогу, вся Шотландия отражается в подлинно шотландской песне, как вся Испания — в подлинно испанской. Таким образом мне удалось не раз побывать в Польше, в Германии, в Неаполе, в Ирландии, в Индии, и я лучше знаю этих людей и эти страны, чем если бы мне довелось изучать их целые годы. В одно мгновение я переносился к ним и жил их жизнью; обаяние музыки позволяло мне приобщиться к самой сущности этой жизни.

Постепенно Консуэло перестала слушать и даже слышать скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась, а чувства, отрешившись от внешних восприятий, витали в ином мире, увлекая ее дух в неведомые сферы, где обитали какие-то новые существа. Она видела, как в странном хаосе, ужасном и в то же время прекрасном, мечутся призраки былых героев Чехии; она слышала погребальный звон монастырских колоколов, и

грозные табориты, худые, полунагие, окровавленные, свирепые, спускались с вершин своих горных укреплений. Потом она видела ангелов смерти — на облаках, с чашей и мечом в руке; повиснув густой толпою над головами вероломных первосвященников, они изливали на проклятую землю чашу Божьего гнева. И ей чудилось, будто она слышит удары их тяжелых крыльев, видит, как кровь Христа крупными каплями падает позади них, чтобы погасить зажженный их яростью пожар. То ей рисовалась ночь, полная ужаса и мрака, и она слышала стоны и хрипение умирающих, покинутых на поле битвы; то мерещился ей ослепительно палящий день, и Грозный слепец, в круглой каске, заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах, проносился словно молния на своей повозке. Храмы открываются сами собой при его приближении, монахи прячутся в недра земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища. Тогда победителю приносят изможденных старцев, нищих, покрытых язвами, подобно Лазарю; прибегают юродивые, распевая и смеясь, как Зденко, проходят палачи, обрызганные запекшейся кровью, малые дети с непорочными руками и ангельскими личиками, женщины-воительницы со связками пик и

смоляных факелов, и все усаживаются за общий стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как на гравюрах к Апокалипсису Альбрехта Дюрера, подносит к их жаждущим устам деревянную чашу — чашу прощения, искупления и божественного равенства.

Этот ангел является во всех видениях, проносящихся в эту минуту перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных после Бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из всех гордых; он влачит за собою порванные им цепи, и его бурые крылья, истрепанные и повисшие, хранят на себе следы насилия и заточения. Скорбно улыбаясь людям, осквернённым злодеяниями, он прижимает к своей груди маленьких детей.

И вдруг Консуэло почудилось, будто скрипка Альберта заговорила и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой брат, любил вас не больше, чем я люблю. Пора вам узнать меня, пора, вместо того чтобы называть врагом рода человеческого, снова увидеть во мне друга, который поддержал вас в борьбе. Я не демон, я архангел, вождь праведного мятежа и покровитель великих битв. Как и Христос, я бог бедных, слабых и угнетенных. Когда он обещал вам царство Божие на земле,

когда возвещал второе свое пришествие, он этим хотел сказать, что после преследований вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с ним и со мною свободу и счастье. Мы должны были вернуться вместе, и действительно возвращаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем одно целое. Это он, Божественное начало, Бог разума, спустился в ту тьму, куда меня бросило невежество и где я, горя в пламени вожделения и гнева, претерпевал муки, подобные тем, что заставили и его испытать на кресте книжники и фарисеи всех времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми, ибо он разорвал мои цепи, загасил мой костер, примирил меня с Богом и с вами. Отныне правом и уделом слабого будет не хитрость и не страх, а гордость и сила воли. Иисус милосерден, кроток, нежен и справедлив; я тоже справедлив, но я силен, воинствен, суров и упорен. О народ! Разве ты не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца с тех пор, как ты существуешь? Того, кто среди всех твоих бедствий поддерживал тебя, говоря: «Добивайся счастья, не отрекайся от него. Счастье — твое право! Требуй его, и ты его добьешься!?». Разве ты не видишь на моем челе следов всех твоих страданий, а на моих истерзанных членах —

рубцов от оков, которые носил ты? Испей чашу, которую я тебе принес: ты найдешь в ней мои слезы, смешанные со слезами Христа и твоими собственными, и ты почувствуешь, что они одинаково жгучи и одинаково целительны».

Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью сердце Консуэло. Ей казалось, будто она видит падшего ангела, слышит, как он плачет и стонет подле нее. Он был высок, бледен, прекрасен, с длинными спутанными волосами над опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу челом. Она восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по привычке, и уже любила той братской, благоговейной любовью, какую рождают великие несчастья. Вдруг ей почудилось, будто, окруженный группой чешских братьев, он обратился именно к ней, мягко упрекая за недоверие и страх, почудилось, будто он притягивает ее к себе магнетическим взором, против которого она не в силах была устоять. Очарованная, не помня себя, она вскочила, бросилась к нему и, протянув руки, опустилась перед ним на колени. Альберт выронил скрипку, которая упала, издав жалобный стон, и с криком удивления и восторга заключил девушку в свои объятия. Это его она слышала, его видела, мечтая о мятежном

ангеле; это его лицо, ничем не отличающееся от созданного ею образа, притягивало и покоряло ее. Это ему, прижавшись сердцем к его сердцу, она прошептала прерывающимся голосом: «Твоя! Твоя, о ангел скорби! Твоя и Божья навеки!».

Но едва прикоснулся Альберт дрожащими губами к ее губам, как она похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей грудь и мозг, одновременно леденя и обжигая ее. Внезапно очнувшись от своей мечты, она была так потрясена, что ей показалось, будто она умирает, и, вырвавшись из объятий графа, упала на груду черепов, которые со страшным шумом обрушились на нее. Покрытая этими человеческими останками, видя перед собой Альберта, которого только что, в минуту безумного возбуждения, она обнимала, как бы давая ему этим право на свою душу и свою судьбу, Консуэло почувствовала такой страх, такую мучительную тоску, что, спрятав лицо в распустившихся волосах, она крикнула рыдая:

— Скорей отсюда, скорей! Во имя неба, воздуха, света! Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне вновь увидеть солнце!

Альберт, видя, что она все больше бледнеет и начинает бредить, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья. Но, охваченная ужасом, она

не поняла его движения, вскочила и кинулась бежать в глубь пещеры, не обращая внимания на извилистые воды потока, таившие в некоторых местах несомненную опасность.

— Ради Бога! — закричал Альберт. — Не туда! Остановитесь! Вам грозит смерть! Подождите меня!

Но его крики только усилили ее страх, и она, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросилась вперед, дважды с легкостью козы перепрыгнула через излучины потока и, наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь, обсаженную кипарисами, упала ничком на мягкую, недавно взрыхленную землю.

Этот толчок разрядил ее нервное состояние: ужас сменился в ней оцепенением. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, она лежала, не сознавая хорошенько, что с ней произошло, так что граф смог, наконец, подойти к ней. У него хватило присутствия духа захватить один из горевших на камнях факелов, в расчете на то, что если ему не удастся догнать ее, то он хотя бы осветит ей самое опасное и глубокое место потока, к которому она, видимо, устремлялась. Бедный молодой человек, совсем удрученный и разбитый этими внезапными и столь противоречивыми переживаниями,

не смел ни заговорить с ней, ни поднять ее. Тут она сама привстала и села на земляную насыпь, о которую только что споткнулась. Она тоже не решалась заговорить с Альбертом. Смущенная, опустив глаза, она рассеянно глядела в землю. Вдруг она заметила, что холмик, на котором она сидит, — недавно засыпанная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми ветками и засохшими цветами. Как ужаленная, она вскочила и, не будучи в силах справиться с новым охватившим ее припадком ужаса, вскричала:

— О Альберт, кого вы похоронили здесь?

— Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на свете до встречи с вами, — с глубочайшей скорбью ответил он. — Если это святотатство, Господь простит мне его! Я совершил его в минуту безумия, стремясь выполнить священный долг. Потом я вам скажу, какая душа обитала в том теле, что покоится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно скорее выйти на воздух. Идемте, Консуэло, покинем это место, где вы в течение одной минуты сделали меня и счастливейшим и несчастнейшим из смертных.

— О да! Выйдем отсюда! Я не знаю, какие испарения поднимаются здесь из земли, но чувствую, что умираю, теряю рассудок.

Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с факелом шел впереди, освещая своей спутнице каждый встречный камень. Когда он открывал дверь кельи, Консуэло, несмотря на свое болезненное состояние, как истая артистка, вспомнила о драгоценном инструменте.

— Альберт, — сказала она, — вы забыли у источника вашу чудесную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неведомых до сей поры переживаний, что я никак не могу допустить, чтобы она погибла от сырости в подземелье.

Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично теперь все, кроме Консуэло. Но она продолжала настаивать:

— Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же…

— Если она вам сделала только зло, пусть погибает! — с горечью проговорил он. — Во всю свою жизнь я не дотронусь до нее. Пусть она исчезнет и как можно скорее.

— Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне только зло, — возразила Консуэло, в которой снова проснулось благоговейное почтение к музыкальному дарованию графа. — Просто волнение оказалось выше моих сил — и восхищение превратилось в страдание. Друг мой, сходите же

за ней! Я хочу сама бережно уложить ее в футляр до той минуты, когда ко мне вернется мужество снова вложить ее в ваши руки и еще раз послушать ее.

Консуэло была тронута тем взглядом, которым поблагодарил ее граф за эти слова, позволяющие ему надеяться. Он повиновался и пошел за скрипкой в пещеру. Оставшись на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой безумный ужас, за страшное подозрение. С дрожью и краской стыда вспомнила она лихорадочный порыв, бросивший ее в объятия графа, но при этом не могла не преклониться перед скромностью и целомудренной застенчивостью этого человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться такой минутой, чтобы сказать ей хоть одно слово любви. Его грусть, вялость движений достаточно красноречиво говорили о том, что в нем умерла всякая надежда как на настоящее, так и на будущее. Она почувствовала к нему бесконечную благодарность за эту тонкость чувств и пообещала себе смягчить самыми ласковыми словами прощальные приветствия, которыми им предстояло обменяться при выходе из подземелья.

Но воспоминание о Зденко, подобно мстительному призраку, продолжало преследовать ее,

обвиняя Альберта против ее воли. Подойдя к двери, она увидела, что на ней написано что-то по-чешски. Все слова, за исключением одного, были ей понятны по той причине, что она знала их наизусть. На черной двери чья-то рука (это могла быть только рука Зденко) мелом написала: «Обиженный да… тебе». Одно слово было непонятно для Консуэло, и это изменение очень ее встревожило. Альберт возвратился и сам спрятал в футляр свою скрипку: у Консуэло не хватило мужества сделать это, да она и забыла о своем обещании. Ее снова охватило желание выйти поскорее из этого подземелья. Пока Альберт с трудом запирал заржавленный замок, она не смогла удержаться и, указав пальцем на таинственное слово, вопросительно взглянула на своего спутника.

— Оно значит, — со странным спокойствием ответил Альберт, — что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы только что с вами говорили, Консуэло…

— Да, сатана, я знаю. Но что же дальше?

— Так вот: «Сатана да простит тебе!».

— Что простит? — спросила она бледнея.

— Если страдание тоже требует прощения, то мне нужно долго молиться, — с какой-то светлой

грустью проговорил граф.

Они вышли в галерею и до самого Подвала монаха не проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь синеватыми отблесками сквозь листву, упал на лицо Альберта, Консуэло увидела, как безмолвные слезы медленно катятся по его щекам. Это огорчило девушку, но все же, когда Альберт боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в пещере, она решила, что скорее промочит ноги в этой солоноватой воде, но не позволит ему взять себя на руки. Свой отказ она объяснила тем, что у него совсем измученный вид, и уже хотела в своей легкой обуви войти в тину, как вдруг Альберт, загасив факел, проговорил:

— Прощайте же, Консуэло! Я вижу ваше отвращение и должен погрузиться в вечную ночь: как призрак, вызванный вами на мгновение, я сумел только напугать вас — и потому возвращаюсь в свою могилу.

— Нет, ваша жизнь принадлежит мне, — воскликнула Консуэло, оборачиваясь и удерживая его. — Вы дали мне клятву никогда не входить в эту пещеру без меня и не имеете права взять ее назад.

— Зачем же хотите вы бремя человеческой

жизни возложить на призрак? Одинокий человек — это только тень, а тот, кого не любят, одинок всюду и со всеми.

— Альберт! Альберт! Вы надрываете мне сердце! Пойдемте, несите меня отсюда! Быть может, при дневном свете я, наконец, яснее увижу свою судьбу.

Глава LVI

Альберт повиновался, и, когда они стали спускаться со Шрекенштейна в долину, Консуэло почувствовала, что волнение ее действительно утихает.

— Простите мне то страдание, которое я вам причинила, — проговорила она, слегка опираясь на его руку. — Теперь я не сомневаюсь, что в пещере у меня был припадок безумия.

— К чему вспоминать о нем, Консуэло? Я сам никогда не заговорил бы об этом с вами. Я понимаю, что вы хотите вычеркнуть его из своей памяти. И я тоже должен постараться забыть о нем.

— Друг мой, я не хочу ничего забывать, но прошу вас простить меня. Расскажи я вам странное видение, которое почудилось мне в тот момент, когда вы исполняли ваши чешские мелодии, вы бы поняли, что, поразив и напугав вас, я была поистине безумна. Не можете же вы допустить, что я забавлялась, играя вашим рассудком и вашим спокойствием… Бог свидетель, я и сейчас готова отдать за вас жизнь.

— Знаю, Консуэло, что вы не дорожите своей

жизнью! А я вот чувствую, что цепко ухватился бы за свою, если бы…

— Договаривайте же!

— Если б был любим так, как я люблю!

— Альберт, я люблю вас, насколько это для меня возможно, и, наверно, полюбила бы вас, как вы того заслуживаете, если бы…

— Ну, теперь договаривайте вы!

— Если б из-за непреодолимых препятствий это не было преступно с моей стороны.

— Какие же это препятствия? Я все ищу их и не могу найти. Видно, они в глубине вашего сердца, в ваших воспоминаниях!

— Не будем говорить о моих воспоминаниях: они так ужасны, что для меня было бы лучше умереть, чем снова пережить прошлое. Но ваше положение, ваше богатство, противодействие и возмущение ваших родных — где мне взять мужество, чтобы перенести все это? У меня нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и бескорыстия; что останется мне, если я пожертвую и этим?

— Моя любовь и ваша, если бы вы любили меня; но я чувствую, что этого нет, и прошу у вас лишь немного жалости. Как можете вы быть унижены, даря мне, словно милостыню, крупицу счастья?

Кто же из нас двоих был бы у ног другого? И как может мое богатство опозорить вас? Если оно тяготит тебя, как и меня, мы могли бы тотчас же раздать его бедным. Ведь я давным-давно решил поступить с ним согласно своим вкусам и взглядам, то есть избавиться от него, когда смерть отца прибавит к горю разлуки еще и горечь получения наследства. Итак, вас пугает богатство? Но я дал обет бедности. Вы боитесь блеска моего имени? Оно поддельно, а настоящее мое имя в опале. Я не верну его себе — это было бы неуважением к памяти отца, — но клянусь: в той безвестности, в которой я буду жить, имя Рудольштадт никого уже не ослепит, и вы не сможете упрекнуть меня в этом. Что же касается противодействия моих родных… О, будь это единственным препятствием!.. Скажите, что нет другого, и вы увидите!

— Это величайшее из всех препятствий, единственное, которое не в силах устранить ни вся моя преданность вам, ни вся благодарность.

— Вы лжете, Консуэло! Посмейте поклясться, что вы говорите правду! Это не единственное препятствие!

Консуэло была в нерешительности. Она никогда не лгала, а вместе с тем ей хотелось загладить страдания, причиненные другу, который спас ей

жизнь и три месяца заботился о ней, как самая нежная, любящая мать. Она надеялась смягчить свой отказ, сославшись на препятствия, которые действительно считала непреодолимыми. Но настойчивые расспросы Альберта смущали ее, а собственное сердце было для нее каким-то лабиринтом, где она заблудилась. Она не могла сказать себе с уверенностью, любит или ненавидит этого странного человека: ее влекла к нему таинственная, могучая симпатия, в то время как непреодолимый страх и что-то похожее на отвращение вызывали в ней дрожь при одной мысли о браке с ним.

Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Андзолетто. Да и могла ли она испытывать иное чувство, сравнивая этого грубого эгоиста, этого гнусного честолюбца, подлого и коварного, с Альбертом, таким великодушным, добрым, таким чистым, полным самых высоких и романтических достоинств? В этом сопоставлении было лишь одно темное пятно — посягательство Альберта на жизнь Зденко. Она никак не могла отделаться от этого подозрения. Но не была ли эта мысль плодом ее больного воображения, кошмаром, который мог рассеяться при первом же объяснении? И она решила, не откладывая,

попытаться выяснить это. С деланно рассеянным видом, словно не расслышав последних слов Альберта, она остановилась и, глядя на проходившего неподалеку крестьянина, воскликнула:

— Боже мой! Мне показалось, что это Зденко.

Альберт вздрогнул и, выпустив руку Консуэло, быстро пошел вперед, потом вдруг остановился и вернулся обратно со словами:

— Как вы ошиблись, Консуэло: этот человек ни единой черточкой не напоминает…

Он так и не смог произнести имя Зденко. Вид у него при этом был страшно взволнованный.

— Однако сначала вы тоже подумали, что это он, — возразила Консуэло, внимательно следя за ним.

— Я очень близорук, но мне следовало бы помнить, что такая встреча невозможна.

— Невозможна? Стало быть, Зденко очень далеко отсюда?

— Достаточно далеко, чтобы вы могли не бояться его безумия.

— Не можете ли вы объяснить, откуда у него взялась эта внезапная ненависть ко мне? Ведь он выказывал мне такую симпатию.

— Я уже говорил вам, что накануне того дня, когда вы спустились в подземелье, он видел

странный сон. Ему приснилось, будто мы с вами подошли к алтарю, вы дали мне слово стать моей женой и вдруг запели наши старинные чешские гимны — так громко, что содрогнулись своды церкви, и будто пока вы пели я, все больше и больше бледнея, проваливался сквозь пол церкви и, наконец, мертвый, был погребен в усыпальнице наших предков. Тогда, рассказывал он, вы быстро сбросили свадебный венок, толкнули ногой плиту, которая тут же и прикрыла меня, а сами пустились плясать на погребальном камне, распевая на неизвестном языке какие-то непонятные песни с выражением самой необузданной, самой бурной радости. В ярости он бросился на вас, но вы исчезли, словно дым, и тут он проснулся, страшно озлобленный, обливаясь холодным потом. Его крики и проклятия так громко отдавались под сводами кельи, что я тоже проснулся. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой сон и еще труднее было убедить в том, что сон этот не может оказать никакого влияния на мою судьбу. Мне было особенно трудно разуверить его, так как я и сам был болезненно возбужден, а также потому, что до тех пор никогда не пытался его опровергать, видя, что он так верит в свои видения и сны. Однако на

следующий день после этой беспокойной ночи мне показалось, что он либо совсем забыл о своем сне, либо перестал придавать ему значение, так как больше он не вспоминал о нем, и, когда я попросил его пойти поговорить с вами обо мне, он не оказал никакого сопротивления — по крайней мере, открыто. Ему, очевидно, никогда даже в голову не приходило, что вы захотите и сможете разыскать меня тут, и его безумие проснулось только тогда, когда он увидел, что вы решились на это. Во всяком случае, он не говорил мне о своей ненависти к вам до той минуты, пока мы, возвращаясь с вами из кельи, не встретили его в подземной галерее. Тут он лаконично сказал мне по-чешски, что твердо решил избавить меня от вас (это его подлинное выражение), то есть уничтожить вас при первой же встрече, ибо вы бич моей жизни и в ваших глазах он читает мой смертный приговор. Простите, что я передаю вам его безумные слова, и поймите теперь, почему мне было необходимо удалить его и от вас и от себя. Не будем больше говорить об этом, умоляю вас: тема эта мне очень тяжела. Я любил Зденко как свое второе я. Его безумие до того слилось с моим, что у нас одновременно являлись одни и те же мысли, одни и те же видения, даже физи-

ческие страдания у нас бывали одинаковы. Он был более простодушен и, следовательно, более поэт, чем я; у него был более ровный характер, и в то время как мне являлись ужасные и грозные призраки, он, благодаря своей более мягкой и более спокойной натуре, видел тихие и грустные. Основная разница между нами заключалась в том, что мои припадки то приходили, то уходили, а его экзальтированное состояние было постоянным. Я то бывал охвачен безумием, то становился бесстрастным, унылым зрителем своего несчастья, тогда как он жил словно в мире грез, где все внешние предметы принимали символические образы. И этот бред был всегда так полон любви и нежности, что в минуты моего просветления (конечно, самые мучительные для меня) мне был поистине необходим, чтобы воскресить и примирить меня с жизнью, тихий, но изобретательный безумец Зденко.

— О друг мой, — вырвалось у Консуэло, — вы должны были бы ненавидеть меня, и я сама себя ненавижу за то, что лишила вас такого драгоценного, такого преданного друга. Но разве не пора кончить с этим изгнанием? Я думаю, что буйство его уже прошло…

— Прошло… вероятно… — проговорил Альберт

с горькой, загадочной улыбкой.

— Так почему же, — продолжала Консуэло, стараясь отогнать мысль о смерти Зденко, — почему вы не призовете его обратно? Уверяю вас, я не буду его бояться, и нам вдвоем, наверно, удалось бы заставить его забыть свое предубеждение против меня…

— Не говорите этого, Консуэло, — уныло остановил ее Альберт, — возвращение его невозможно. Я пожертвовал своим лучшим другом, тем, кто был моим спутником, моим слугой, моей опорой, кто был для меня предусмотрительной, неутомимой матерью и в то же время простодушным, невежественным и послушным ребенком, тем, кто заботился о всех моих нуждах, о всех моих грустных, невинных удовольствиях, кто защищал меня от самого себя в минуты отчаяния и силой или хитростью задерживал меня в подземелье, если видел, что в мире живых, в обществе других людей, я еще не в состоянии ни поддерживать свое достоинство, ни сохранить жизнь. Жертву эту я принес без оглядки и раскаяния, ибо я должен был так поступить, поскольку вы, безбоязненно встретившая опасности подземелья, вы, возвратившая мне рассудок и сознание моих обязанностей, — вы стали для меня более

драгоценны и более священны, чем сам Зденко.

— Альберт, это заблуждение, а быть может, и кощунство! Нельзя сравнивать одну минуту мужества с преданностью целой жизни!

— Не думайте, что я поступил так под влиянием эгоистичной, варварской любви. Такую любовь я сумел бы заглушить в своем сердце и скорее заперся бы со Зденко в подземелье, чем разбил сердце и жизнь лучшего из людей. Но глас Божий прозвучал определенно. Я боролся со своим чувством: я бежал от вас, решил не встречаться с вами до тех пор, пока мои мечты и предчувствия, говорящие, что вы ангел, несущий мне спасение, не осуществятся. До этого пагубного, лживого сна, внесшего такую смуту в кроткую, набожную душу Зденко, он разделял со мной и мое влечение к вам, и мои страхи, и мои надежды, и мои благоговейные стремления. Несчастный, он отрекся от вас в тот день, когда вы открыли мне себя! Божественный свет, всегда озарявший тайники его мозга, вдруг погас, и Бог осудил его, вселив в него дух заблуждения и ярости. Я тоже должен был покинуть его, ибо вы явились предо мной в лучах славы, вы опустились ко мне на крыльях чуда. Чтобы раскрыть мне глаза, вы нашли слова, которых при вашем спокойном уме и артисти-

ческом образовании вы не могли взять из книг или подготовить заранее. Вас вдохновило сострадание и милосердие, и под их чудодейственным влиянием вы сказали то, что мне необходимо было услышать, чтобы узнать и постичь жизнь человеческую.

— Что же я вам сказала такого мудрого, такого значительного? Право, Альберт, я и сама не знаю.

— Я тоже не знаю, но сам Бог был в звуке вашего голоса, в ясности вашего взора. Подле вас я мгновенно понял то, до чего один не додумался бы за всю жизнь. Прежде я знал, что моя жизнь — искупление и мученичество, и ждал свершения своей судьбы во тьме и уединении, в слезах, в негодовании, в науке, в аскетизме, в умерщвлении своей плоти. Вы открыли предо мной иную жизнь, иное мученичество: вы научили меня терпению, кротости, самоотверженности. Вы начертали мне наивно и просто мои обязанности, начиная с обязанностей по отношению к моей семье — о них я совсем забыл, а родные по чрезмерной доброте своей скрывали от меня мои преступления. Благодаря вам я загладил их, и по спокойствию, которое тотчас же почувствовал, я понял, что это все, чего Бог требует от меня в

настоящем. Я знаю, конечно, что этим не исчерпываются мои обязанности, и жду откровения Божьего относительно дальнейшего моего существования. Но теперь я спокоен, у меня есть оракул, которого я могу вопрошать. Это вы, Консуэло! Провидение дало вам власть надо мной, и я не восстану против его воли. Итак, я не должен был ни минуты колебаться между высшей силой, наделенной даром переродить меня, и бедным, пассивным существом, которое только делило до этого мои горести и выносило мои беды.

— Вы говорите о Зденко, не правда ли? Но почему вам не приходит в голову, что Бог мог предназначить меня и для его исцеления? Вы видите, что у меня была какая-то власть над ним, раз мне удалось удержать его одним словом в ту минуту, когда рука его уже была занесена, чтобы погубить меня.

— О Боже, это правда, у меня не хватило веры, я испугался. Но я знаю, что значит клятва Зденко. Он, помимо моей воли, поклялся жить только для меня и свято выполнял эту клятву в течение всей моей жизни. Когда он поклялся уничтожить вас, мне даже в голову не пришло, что можно удержать его от выполнения его намерения. Вот почему я решился оскорбить, изгнать, сокру-

шить, уничтожить его самого.

— Уничтожить! О Боже! Альберт, что значит это слово в ваших устах? Где Зденко?

— Вы спрашиваете меня, как Бог спросил Каина: «Что сделал ты со своим братом?».

— О Господи! Но вы не убили его, Альберт!

Выкрикнув эти страшные слова, Консуэло крепко стиснула руку Альберта, глядя на него со страхом, смешанным с мучительным состраданием. Но она сейчас же отшатнулась, устрашенная холодным, гордым выражением этого бледного лица, которое показалось ей окаменевшим от муки.

— Я не убил его, — наконец произнес он, — но отнял у него жизнь — это несомненно. Неужели вы осмелитесь поставить мне это в вину, вы, ради которой я, пожалуй, убил бы таким же образом собственного отца? Вы, ради которой я не побоялся бы никаких угрызений совести, порвал бы самые дорогие, самые священные узы? Если я предпочел страху увидеть вас погибшей от руки безумца, раскаяние и сожаление, которые меня гложут, то неужели в вашем сердце не найдется хоть немного сострадания, чтобы не напоминать мне постоянно о моем горе и не упрекать меня за величайшую жертву, какую только я был в силах

вам принести? Ах, значит, и у вас бывают минуты жестокости! Видно, жестокость — удел всего рода человеческого!

В этом упреке — первом, который Альберт осмелился ей сделать, — было столько величия, что Консуэло прониклась страхом и яснее, чем когда-либо раньше, почувствовала, что он внушает ей ужас. Нечто вроде чувства оскорбленного самолюбия — чувства, пожалуй, мелкого, но неотделимого от сердца женщины, заступило место той сладостной гордости, которую она невольно испытала, слушая рассказ Альберта о его страстном поклонении ей. Она почувствовала себя униженной и, конечно, непонятой: ведь она стремилась узнать его тайну единственно потому, что намеревалась или, по всяком случае, желала ответить на его любовь, — в случае, если бы он снял с себя это страшное подозрение. Кроме того, она видела, что Альберт в душе обвиняет ее: вероятно, он считал, что если он и убил Зденко, то единственным существом, которое не имело права произнести над ним приговор, являлась та, ради чьей жизни была принесена в жертву другая жизнь, да еще жизнь, бесконечно дорогая для несчастного.

Консуэло не смогла ничего ответить; она попы-

талась было заговорить о другом, но ей помешали слезы. Увидя, что она плачет, Альберт, полный раскаяния, стал молить ее о прощении, но она попросила его никогда не касаться больше этой темы, столь опасной для его душевного равновесия, и прибавила с каким-то горьким унынием, что сама никогда не произнесет больше имени, вызывающего у них обоих такое ужасное душевное волнение. Во время остальной части пути оба чувствовали напряженность и тоску. Несколько раз порывались они заговорить, но из этого ничего не получалось. Консуэло не отдавала себе отчета в том, что она говорит, не слышала и того, что говорил ей Альберт. Однако он казался спокойным, словно Авраам или Брут после жертвы, принесенной по требованию суровой судьбы. Это грустное, но невозмутимое спокойствие при такой тяжести на душе казалось остатком безумия, и Консуэло могла оправдать своего друга, только вспомнив, что он все-таки безумен. Если бы, чтобы спасти ее жизнь, он убил своего противника в открытом бою, она увидела бы в этом только лишний повод для благодарности и, пожалуй, даже восхитилась бы его силой и храбростью. Но это таинственное убийство, совершенное, очевидно, во мраке подземелья, эта могила, вы-

рытая в молельне, это суровое молчание после преступления, этот стоический фанатизм, — ведь он дерзнул свести ее в пещеру и наслаждаться там музыкой, — все это в глазах Консуэло было чудовищно, и она чувствовала, что любовь этого человека не находит дороги к ее сердцу.

«Когда же мог он совершить убийство? — спрашивала она себя. — В течение последних трех месяцев я ни разу не видела, чтобы лицо его омрачилось, и ничто не давало мне повода заподозрить, что у него нечистая совесть. Неужели был день, когда он мог мою протянутую руку пожать рукой, на которой были капли крови? Какой ужас! Верно, он сделан из камня, изо льда, и любовь его ко мне какая-то зверская. А я так жаждала быть безгранично любимой! Так горевала, что меня недостаточно любят! Так вот какую любовь приберегало небо мне в утешение!».

Потом она снова принялась думать о том, когда именно мог совершить Альберт свое отвратительное жертвоприношение, и решила, что это могло произойти только во время ее серьезной болезни, когда она была безучастна ко всему окружающему; но тут ей вспомнился его нежный, заботливый уход, и она уж совсем не могла постичь, как в одном и том же человеке ужива-

лись два столь различных существа.

Погруженная в свои печальные размышления, она дрожащей рукой рассеянно брала цветы, которые Альберт, по обыкновению, срывал для нее по дороге, зная, что она их обожает. Ей даже не пришло в голову расстаться со своим другом, не доходя до замка, и вернуться одной, чтобы таким образом скрыть их долгую совместную прогулку. Да и Альберт — потому ли, что он тоже не подумал об этом, или не считал больше нужным притворяться перед своей семьей — ничего ей не сказал. И вот у самого входа в замок они столкнулись лицом к лицу с канониссой. Тут Консуэло (и, вероятно, также и Альберт) впервые увидела, как лицо этой женщины, об уродстве которой обыкновенно забывали благодаря его доброму выражению, запылало от гнева и презрения.

— Вам, мадемуазель, следовало бы давно вернуться, — обратилась она к Порпорине дрожащим, прерывающимся от негодования голосом. — Мы очень беспокоились о графе Альберте, отец его даже не пожелал завтракать без него. У него был назначен на сегодняшнее утро разговор с сыном, но вы нашли возможным заставить графа Альберта забыть об этом. Что же касается вас, то какой-то юнец, назвавший себя вашим

братом, ожидает вас в гостиной, притом слишком уж нетерпеливо.

Произнеся эти гневные слова, бледная Венцеслава, сама испугавшись собственной смелости, внезапно повернулась к ним спиной и убежала в свою комнату, где по крайней мере с час кашляла и рыдала.

Глава LVII

— Моя тетушка в странном расположении духа, — заметил Альберт Консуэло, поднимаясь с нею по ступенькам. — Прошу за нее прощения, друг мой; будьте уверены, что сегодня же она изменит и свое обращение и свою манеру говорить с вами.

— Моим братом? — в полном недоумении от только что сообщенного ей известия повторила Консуэло, не слыша слов молодого графа.

— А я и не знал, что у вас есть брат, — заметил Альберт, на которого язвительный тон тетки произвел более сильное впечатление, чем это сообщение. — Конечно, для вас большое счастье повидаться с ним, дорогая Консуэло, и я рад…

— Не радуйтесь, граф, — прервала его Консуэло, которую вдруг охватило тяжелое предчувствие, — мне, быть может, предстоит большое огорчение, и…

Вся дрожа, она остановилась и уже готова была попросить совета и защиты у своего друга, но побоялась слишком связать себя с ним. И вот, не смея ни принять, ни оттолкнуть того, кто

явился к ней, прикрывшись ложью, она вдруг почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и, побледнев, прислонилась к перилам на последней ступеньке крыльца.

— Вы боитесь недобрых вестей о вашей семье? — спросил Альберт, в котором тоже начинало пробуждаться беспокойство.

— У меня нет семьи, — отвечала Консуэло, делая усилие, чтобы идти дальше.

Она хотела было прибавить, что у нее нет и брата, но какое-то смутное опасение удержало ее. Однако, войдя в столовую, она услышала в соседней гостиной шаги человека, который быстро и с явным нетерпением ходил по комнате из угла в угол. Невольно она шагнула к графу, как бы стремясь укрыться за его любовью от надвигающихся на нее страданий, и схватила его за руку.

Пораженный Альберт почувствовал смертельную тревогу.

— Не входите без меня, — прошептал он. — Предчувствие, а оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот брат — враг и ваш и мой. Я холодею, мне страшно, точно я вынужден кого-то возненавидеть.

Консуэло высвободила руку, которую Альберт крепко прижимал к груди. Она содрогнулась при

мысли, что у него вдруг может явиться одна из его странных идей, одно из тех непреклонных решений, печальным примером которых служила для нее предполагаемая смерть Зденко.

— Расстанемся здесь, — сказала она ему по-немецки (из соседней комнаты ее могли уже слышать). — В данную минуту мне нечего бояться, но, если мне будет грозить опасность, поверьте, Альберт, я прибегну к вашей защите.

Испытывая мучительное беспокойство, но боясь быть навязчивым, он не посмел ослушаться ее, уйти же из столовой все-таки не решился. Консуэло поняла его колебания и, войдя в гостиную, закрыла обе двери, чтобы он не мог ни видеть, ни слышать, что должно было произойти.

Андзолетто (это был он, о чем она еще раньше догадалась по его дерзости, а потом — по походке) приготовился смело встретиться с ней и по-братски расцеловать при свидетелях. Когда же она вошла одна, бледная, но холодная и суровая, вся храбрость покинула его, и, бормоча что-то, он бросился к ее ногам. Ему не надо было притворяться: безграничная радость и нежность залили его сердце, когда, наконец, он нашел ту, которую, несмотря на свою измену, никогда не переставал любить. Он зарыдал, а так как она отнимала у

него руки, он целовал и обливал слезами край ее платья. Консуэло не ожидала увидеть такого Андзолетто. Четыре месяца он рисовался ей таким, каким показал себя в ночь разрыва: желчным, насмешливым, презреннейшим и ненавистнейшим из людей. Только сегодня утром она видела, как он нагло шел по дороге с бесшабашным, почти циничным видом. И вот он стоит перед ней на коленях, униженный, кающийся, весь в слезах, совсем как в бурные дни их страстных примирений, более привлекательный чем когда-либо, потому что дорожный костюм, грубоватый, но ловко на нем сидевший, очень шел ему, а загар путешествий придавал более мужественный характер его поразительно красивому лицу.

Трепеща, словно голубка, захваченная ястребом, она вынуждена была сесть и закрыть лицо руками, чтобы защитить себя от обаяния его взгляда. Андзолетто, приняв этот жест за проявление стыда, снова расхрабрился, и его первоначальный искренний порыв был сразу же загрязнен дурными мыслями. Покинув Венецию и те неприятности, которые явились своего рода возмездием за его поступки, он искал одного — удачи, но в то же время жаждал и надеялся найти свою дорогую Консуэло. В нем жила уверенность,

что такой поразительный талант не может долго оставаться в безвестности, и он везде старался напасть на ее след, вступая в разговоры с содержателями гостиниц, проводниками, встречными путешественниками. В Вене он нашел несколько знатных соотечественников и признался им в своем побеге. Те посоветовали ему поселиться где-нибудь подальше от Венеции и выждать, пока граф Дзустиньяни забудет или простит его проделку. Обещая ему свою помощь, они в то же время снабдили его рекомендательными письмами в Прагу, Берлин и Дрезден. Проезжая мимо замка Исполинов, Андзолетто не догадался расспросить проводника и только после часа быстрой езды, пустив лошадь шагом, чтобы дать ей отдохнуть, снова заговорил с ним, интересуясь окрестностями и их жителями. Естественно, что проводник принялся рассказывать о графах Рудольштадтских, об их образе жизни, о странностях графа Альберта, сумасшествие которого ни для кого не было тайной, особенно с тех пор, как к нему с такой нескрываемой неприязнью стал относиться доктор Вецелиус. Тут проводник для пополнения местных сплетен не преминул добавить, что граф Альберт только что превзошел все прежние чудачества: отказался жениться на

своей благородной кузине — красавице баронессе Амалии фон Рудольштадт, увлекшись какой-то авантюристкой, которая не очень хороша собой, но в которую, однако, все влюбляются, стоит ей только запеть, потому что у нее удивительный голос.

Оба эти признака были так характерны для Консуэло, что наш путешественник не мог не поинтересоваться именем авантюристки и, услыхав, что ее зовут Порпориной, отбросил всякие сомнения. В тот же миг он повернул коня обратно; моментально придумав, под каким предлогом и в качестве кого сможет он пробраться в столь строго охраняемый замок, он стал выпытывать у проводника новые сведения. Из болтовни этого человека он заключил, что Консуэло, несомненно, любовница молодого графа, который, конечно, женится на ней, так как, видимо, она околдовала всю семью; и вместо того чтобы выгнать ее, как она того заслуживала, все окружают ее таким вниманием и заботами, каких никогда не видела баронесса Амалия.

Эти подробности раззадорили Андзолетто не меньше, а пожалуй, еще больше, чем его истинная привязанность к Консуэло. Он не раз вздыхал о прежней жизни, которую она умела сделать

для него такой приятной, и прекрасно сознавал, что потеря ее советов и указаний если не губит окончательно его музыкальную карьеру, то сильно ей вредит. Наконец, помимо всего, юношу влекла к ней любовь, хотя и эгоистичная, но глубокая и непреодолимая. А теперь ко всему этому присоединилось тщеславное искушение отбить Консуэло у богатого и знатного любовника, расстроить ее блестящий брак, заставить говорить и в здешних краях и повсюду, что вот, мол, девушка предпочла убежать с ним, бедным артистом, вместо того чтобы стать графиней и владелицей замка. И он снова и снова заставлял проводника рассказывать о том, каким влиянием пользуется Порпорина в замке Исполинов, смакуя заранее, как этот самый человек будет повествовать другим путешественникам о красивом молодом иностранце, который вихрем влетел в негостеприимный замок Исполинов, пришел, увидел и победил, а через несколько часов или дней вышел оттуда, похитив у знаменитого, могущественного вельможи, графа Рудольштадтского, талантливейшую из певиц…

При этой мысли он с такой силой вонзил шпоры в бока бедной лошади и захохотал так громко, что проводник подумал, уж не безумнее ли этот

путешественник самого графа Альберта.

Канонисса встретила Андзолетто недоверчиво, но не решилась его выпроводить, надеясь, что, может быть, он увезет от них свою мнимую сестрицу. Узнав от нее, что Консуэло ушла прогуляться, Андзолетто был очень раздосадован. Ему подали завтрак, во время которого он стал расспрашивать слуг. Один из них, немного понимавший по-итальянски, простодушно сказал, что он видел синьору на горе с молодым графом Альбертом. Андзолетто испугался, как бы в первые минуты Консуэло не приняла его холодно и надменно. Он решил, что если девушка все еще целомудренная невеста сына хозяина замка, то она будет держать себя высокомерно, будет гордиться своим положением, а если она уже стала его любовницей, то окажется менее самоуверенной, опасаясь, как бы старый друг не испортил ей все дело. Победа над ней, невинной, рисовалась ему нелегкой, зато более блистательной; иное дело — победа над падшей. Но и в том и в другом случае можно было сделать попытку и надеяться на успех.

Андзолетто был слишком наблюдателен, чтобы не заметить досады и беспокойства канониссы по поводу долгой прогулки Порпорины с ее племян-

ником. Так как он еще не видел графа Христиана, то мог заключить, что проводник был плохо осведомлен, что на самом деле семейство со страхом и неудовольствием смотрит на любовь молодого графа к авантюристке и что она смиренно опустит голову перед своим первым возлюбленным.

После четырех мучительных часов ожидания Андзолетто, который успел за это время немало передумать, решил, судя по своей собственной, далеко не безупречной нравственности, что такое продолжительное пребывание Консуэло с его соперником говорит об их полной близости. Это придало ему смелости и решимости во что бы то ни стало дождаться ее, и после первого порыва нежности, охватившего его при появлении Консуэло, Андзолетто, видя, как она в смятении, задыхаясь, опустилась на стул, пришел к выводу, что стесняться нечего. Это сразу развязало ему язык. Он начал обвинять себя во всем, что произошло, притворялся униженным, проливал слезы, рассказывал об угрызениях совести и страданиях, изображая свои переживания гораздо более поэтическими, чем они могли быть при тех омерзительных развлечениях, которым он предавался, и, наконец, со всем красноречием венецианца и ловкого актера стал молить о про-

щении.

Консуэло, взволнованная сначала самим звуком его голоса, больше боялась собственной слабости, чем могущества соблазна. За последние четыре месяца она тоже много передумала, и это помогло ей настолько прийти в себя, чтобы узнать в страстных уверениях Андзолетто повторение того, что ей не раз приходилось слышать в последние дни их злосчастной любви. Ее оскорбило, что он повторяет все те же клятвы, те же мольбы, как будто ничего не произошло со времени тех ссор, когда она была еще так далеко от предчувствия его гнусной измены. Возмущенная его наглостью и красноречием — безмолвие стыда и слезы раскаяния были бы куда уместнее, — Консуэло встала и резко оборвала его разглагольствования, холодно проговорив:

— Довольно, Андзолетто. Я вам давно простила и больше не сержусь. Возмущение уступило место жалости: я забыла свои страдания, забыла и вашу вину. Нам больше нечего сказать друг другу. Благодарю за добрый порыв, который заставил вас прервать путешествие для примирения со мной. Как видите, вы были прощены заранее. Прощайте же и продолжайте свой путь.

— Уехать! Мне! Расстаться с тобой, снова

потерять тебя! — вскричал Андзолетто с непритворным испугом. — Нет, лучше прикажи мне сейчас же покончить с собой! Нет! Нет! Никогда я не соглашусь жить без тебя. Это невозможно, Консуэло, я уже убедился в этом. Там, где нет тебя, для меня нет ничего. Отвратительное мое честолюбие, мерзкое тщеславие, из-за которых я тщетно хотел пожертвовать своей любовью, принесли мне одни мучения, не дали ни минуты радости. Твой образ преследует меня всюду. Воспоминание о нашем счастье, таком чистом, целомудренном, таком восхитительном (ты и сама знаешь, что никогда не встретишь ничего похожего), всегда стоит перед моими глазами. Все химеры, которыми я пытаюсь себя окружить, возбуждают во мне глубокое отвращение. О Консуэло, вспомни чудесные венецианские ночи, нашу лодку, наши звезды, наши нескончаемые песни, вспомни твои уроки и наши долгие поцелуи! Вспомни твою узкую кровать, где я спал один, пока ты читала на террасе свои молитвы! Разве я не любил тебя тогда? Разве человек, который считал тебя святыней всегда, даже когда ты спала, оставаясь с ним наедине, разве такой человек не способен любить? Если я был негодяем по отношению к другим женщинам, то

разве я не был ангелом подле тебя? Чего мне это стоило, одному Богу известно! О! Не забывай же всего этого! Ты уверяла тогда, что любишь меня, а теперь все позабыла! Я же, неблагодарный, чудовище, подлец, ни на мгновение не мог забыть нашу любовь! И я не могу от нее отречься, а ты отказываешься без сожаления и без усилий! Но, видно, ты, святая, никогда не любила меня, а я, хоть я и дьявол, обожаю тебя…

— Возможно, — ответила Консуэло, пораженная искренностью его тона, — что вы непритворно сожалеете о потерянном, оскверненном вами счастье, но это наказание, которое вы заслужили, и я не должна препятствовать вам нести его. Счастье развратило вас, Андзолетто, так пусть же незначительное страдание вас очистит! Ступайте и помните обо мне, если эта скорбь целительна для вас, а если нет, забудьте, как забываю вас я, которой нечего ни искупать, ни исправлять.

— Ах! У тебя железное сердце! — воскликнул Андзолетто, удивленный и задетый за живое ее бесстрастным тоном. — Но не думай, что ты можешь так легко выгнать меня! Возможно, мой приезд стесняет тебя и мое присутствие тебе в тягость. Я прекрасно знаю, что ты готова пожертвовать воспоминаниями нашей любви

ради титула и богатства. Но этому не бывать! Я не отступлюсь от тебя! И если мне придется тебя потерять, то это произойдет не без борьбы! Если ты меня вынудишь, то знай: в присутствии всех твоих новых друзей я напомню тебе наше прошлое — скажу о клятве, которую ты мне дала у постели твоей умирающей матери и которую сто раз повторяла мне на ее могиле и в церквах, где мы, стоя на коленях, прижавшись друг к другу, слушали прекрасную музыку, а порою шептались. Смиренно, у ног твоих, я напомню тебе — тебе одной — о некоторых вещах, и ты выслушаешь меня, а если нет… горе нам обоим, Консуэло! Мне придется рассказать при твоем новом возлюбленном о фактах, ему неизвестных. Они ведь здесь ничего о тебе не знают, не знают даже, что ты была актрисой. Вот это я и доведу до их сведения, и посмотрим тогда, вернется ли к благородному графу Альберту его рассудок, чтобы оспаривать тебя у актера, твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего любовника! Не доводи меня до отчаяния, Консуэло, или…

— Что? Угрозы? Наконец-то я узнаю вас, Андзолетто! — с негодованием проговорила Консуэло. — Что ж, я предпочитаю видеть вас таким и благодарю, что вы сняли с себя маску. Да, слава Бо-

гу, теперь в моем сердце не будет ни сожалений, ни сострадания. Я вижу, сколько злобы в вашем сердце, сколько низости в вашем характере, сколько ненависти в вашей любви! Ступайте же, вымещайте на мне свою досаду — вы окажете мне этим большую услугу! Но если вы не научились еще клеветать так, как научились оскорблять, то не сможете сказать обо мне ничего, за что мне пришлось бы краснеть.

Высказав все это, она направилась к двери, открыла ее и собиралась уже выйти, как вдруг столкнулась с графом Христианом. При виде этого почтенного старика, который, поцеловав руку Консуэло, вошел в комнату с приветливым и величественным видом, Андзолетто, устремившийся было вслед за девушкой, чтобы удержать ее во что бы то ни стало, в смущении отступил, и от его смелости не осталось и следа.

Глава LVIII

— Прошу прощения, дорогая синьорита, — начал старый граф, — что я не оказал лучшего приема вашему брату. Я сделал распоряжение не беспокоить меня, так как все утро был занят не совсем обычными делами, и мое распоряжение было выполнено слишком хорошо, ибо мне даже не доложили о приезде гостя, который и для меня и для всей моей семьи может быть только самым дорогим и желанным.

Затем, обращаясь к Андзолетто, он прибавил:

— Поверьте, сударь, я очень рад видеть у себя такого близкого родственника любимой нами Порпорины. Очень прошу вас остаться и гостить у нас, сколько вам будет угодно. Полагаю, что после такой долгой разлуки вам есть о чем поговорить, да и побыть вместе — это уже большая радость. Надеюсь, здесь вы будете чувствовать себя как дома, наслаждаясь счастьем, которое я разделяю с вами.

Против обыкновения старый граф совершенно свободно говорил с посторонним человеком. Застенчивость его уже давно стала исчезать

подле кроткой Консуэло, а в этот день его лицо было озарено каким-то особенно ярким светом, напоминавшим солнце в час заката. Андзолетто растерялся перед величием, которое сияло на челе почтенного старца — человека с прямой и ясной душой. Юноша умел низко гнуть спину перед вельможами, в душе ненавидя и высмеивая их, — в аристократическом обществе, где в последнее время ему приходилось вращаться, у него было для этого слишком много поводов. Но никогда еще ему не доводилось встречать такого истинного достоинства, такой радушной, сердечной учтивости, как у старого владельца замка Исполинов. Он смущенно поблагодарил старика, почти раскаиваясь, что обманом выманил у него такой отеческий прием. Больше всего он боялся, что Консуэло может разоблачить его обман и сказать графу, что он вовсе не ее брат. Он чувствовал, что в эту минуту не в силах был бы ответить ей ни дерзостью, ни местью.

— Я очень тронута вашей добротой, господин граф, — ответила после минутного размышления Консуэло, — но брат мой, хотя он тоже бесконечно ее ценит, не может воспользоваться вашим любезным приглашением: неотложные дела заставляют его спешить в Прагу, и он уже про-

стился со мной…

— Но это невозможно! — воскликнул граф. — Вы почти не виделись!

— Он потерял несколько часов, ожидая меня, и теперь у него каждая минута на счету, — возразила Консуэло. — Он сам прекрасно знает, что ему нельзя пробыть здесь ни одного лишнего мгновения, — прибавила она, бросая на своего мнимого брата выразительный взгляд.

Эта холодная настойчивость вернула Андзолетто свойственные ему наглость и самоуверенность.

— Пусть будет как угодно дьяволу, то есть я хотел сказать — Богу, — поправился Андзолетто, — но я не в состоянии расстаться с моей дорогой сестрицей так поспешно, как этого требуют ее рассудительность и осторожность. Никакое, даже самое выгодное дело не стоит минуты счастья, и раз господин граф так великодушно разрешает мне остаться, я с великой благодарностью принимаю его приглашение. Обязательства мои в Праге будут выполнены немного позднее, только и всего.

— Вы рассуждаете, как легкомысленный юноша, — возразила Консуэло, задетая за живое. — Есть такие дела, когда честь ставят выше

выгоды…

— Я рассуждаю как брат, а ты всегда рассуждаешь, как королева, дорогая сестренка…

— Вы рассуждаете, как добрый юноша, — добавил старый граф, протягивая Андзолетто руку. — Я не знаю дел, которых нельзя было бы отложить до завтра. Правда, меня всегда упрекают за мою беспечность, но я не раз убеждался, что обдумать лучше, чем поспешить. Вот, например, дорогая Порпорина, уже много дней, даже, можно сказать, недель, как мне нужно обратиться к вам с одной просьбой, а я до сих пор все медлил, и, думается мне, так и надо было, — теперь для этого как раз настал час. Можете ли вы уделить мне сегодня час времени для беседы? Я шел просить вас об этом, когда узнал о приезде вашего брата. Мне кажется, что это радостное событие произошло очень кстати, и, быть может, присутствие вашего родственника будет совсем не лишним при нашем разговоре.

— Я всегда и в любое время к услугам господина графа, — ответила Консуэло. — Что до брата, то он еще мальчик, и я не ввожу его в курс дел, касающихся меня лично.

— Я это знаю, — дерзко вмешался Андзолетто, — но раз господин граф разрешает, мне не

надо иного позволения, чтобы присутствовать при этом таинственном разговоре.

— Позвольте мне судить о том, как должно поступать и мне и вам, — гордо возразила Консуэло. — Господин граф, я готова следовать за вами в ваши апартаменты и почтительно выслушать вас.

— Вы слишком строги к этому милому юноше — у него такое веселое, открытое лицо, — проговорил, улыбаясь, граф и, оборачиваясь к Андзолетто, прибавил: — Потерпите, дитя мое, придет и ваш черед. То, что я имею сказать вашей сестре, не может быть скрыто от вас, и, надеюсь, она скоро разрешит мне посвятить вас в эту тайну, как вы выразились.

Андзолетто имел наглость воспользоваться веселым радушием старика и удержал его руку в своей, как бы цепляясь за него, чтобы выведать тайну, в которую его не желала посвятить Консуэло. У него даже не хватило такта выйти из гостиной, чтобы избавить от этого самого графа. Оставшись один, он злобно топнул ногой, боясь, что Консуэло, научившаяся так хорошо владеть собой, может расстроить все его планы и, невзирая на его ловкость, выпроводить отсюда. Ему захотелось проскользнуть внутрь дома и попро-

бовать подслушать под всеми дверьми. С этой целью, выйдя из гостиной, он побродил сначала по саду, а затем отважился войти в коридор, где, встречая кого-нибудь из слуг, делал вид, будто любуется архитектурой замка. Но вот уже три раза в различных местах он наталкивался на одетого во все черное человека, необычайно сурового на вид, который, по-видимому, не обратил на него особого внимания. То был Альберт, как будто не замечавший его, но вместе с тем не спускавший с него глаз. Андзолетто, видя, что молодой граф на целую голову выше его и, бесспорно, очень красив, понял, что сумасшедший из замка Исполинов вовсе не такой ничтожный во всех отношениях соперник, каким он представлял его себе. Тогда он счел за лучшее вернуться в гостиную и в этой огромной комнате, рассеянно перебирая пальцами клавиши клавесина, начал пробовать свой красивый голос.

— Дочь моя, — сказал граф Христиан, приведя Консуэло в свой кабинет и пододвинув ей большое, обитое красным бархатом с золотой бахромой кресло, а сам усаживаясь с ней рядом на складном стуле, — я хочу просить вас об одной милости, хотя и не знаю, имею ли право на это сейчас, когда вы еще не понимаете моих наме-

рений. Могу ли я надеяться, что моя седина, моя симпатия и уважение к вам, а также дружба, которою подарил меня благородный Порпора, ваш приемный отец, — что все это вместе внушит вам достаточное доверие ко мне и, вы согласитесь, ничего не утаивая, раскрыть мне сердце?

Растроганная, но вместе с тем несколько испуганная таким вступлением, Консуэло поднесла к губам руку старика и взволнованно ответила:

— Да, господин граф, я уважаю и люблю вас так, как если б имела честь быть вашей дочерью, и могу без всякого страха и вполне откровенно ответить на все ваши вопросы касательно меня самой.

— Ничего другого я и не прошу у вас, дорогая дочь моя, и благодарю за это обещание. Поверьте, что я не способен им злоупотребить, так же, как, я уверен, и вы не способны изменить своему слову.

— Я верю вам, господин граф, и слушаю вас.

— Так вот, дитя мое, — сказал старик с каким-то наивным, но ободряющим любопытством. — Как ваша фамилия?

— У меня нет фамилии, — без малейшего колебания ответила Консуэло. — Мою мать все звали Розамундой. При крещении мне дали имя Мария-

Утешительница. Отца своего я никогда не знала.

— Но вам известна его фамилия?

— Нет, господин граф, я никогда не слыхала о ней.

— А маэстро Порпора удочерил вас? Он закрепил передачу вам своего имени законным актом?

— Нет, господин граф, между артистами это не принято, да оно и не нужно. У моего великодушного учителя ровно ничего нет, и ему нечего завещать. Что же касается его имени, то при моем положении в обществе совершенно безразлично, как я его ношу — по обычаю или по закону. Если у меня есть некоторый талант, имя это станет моим по праву, в противном же случае мне выпала честь, которой я недостойна.

Несколько минут граф хранил молчание, потом, снова беря руку Консуэло в свою, он заговорил:

— Благородная откровенность ваших ответов еще более возвысила вас в моих глазах. Не думайте, что я задавал все эти вопросы для того, чтобы, в зависимости от вашего рождения и положения в обществе, больше или меньше уважать вас. Я хотел знать, пожелаете ли вы сказать мне правду, и вполне убедился в вашей искренности. Я

бесконечно благодарен вам за это и нахожу, что вы с вашим характером более благородны, чем мы с нашими титулами.

Консуэло не могла не улыбнуться простодушию, с каким старый аристократ восхищался тем, что она, не краснея, открыла ему то, чего она вовсе не стыдилась. Восхищение это говорило об остатке упорного предрассудка, с которым, очевидно, благородно боролся граф Христиан, стараясь победить его в себе.

— А теперь, дорогое мое дитя, — продолжал он, — я предложу вам еще более щекотливый вопрос. Будьте снисходительны и простите мне мою смелость.

— Не бойтесь ничего, господин граф, я отвечу на все так же спокойно.

— Так вот, дитя мое, вы не замужем?

— Нет, господин граф.

— И… вы не вдова? У вас нет детей?

— Я не вдова, и у меня нет детей, — ответила Консуэло, едва удерживаясь от смеха, так как не понимала, к чему клонит граф.

— И вы ни с кем не связаны словом? — продолжал он. — Вы совершенно свободны?

— Простите, господин граф, я была обручена с согласия и даже по приказанию моей умираю-

щей матери с юношей, которого любила с детства и чьей невестой была до минуты моего отъезда из Венеции.

— Стало быть, вы не свободны? — проговорил граф со странной смесью огорчения и удовлетворения.

— Нет, господин граф, я совершенно свободна, — ответила Консуэло. — Тот, кого я любила, недостойно изменил мне, и я порвала с ним навсегда.

— Значит, вы его любили? — спросил граф после некоторого молчания.

— Да, всей душой, это правда.

— И… может быть, и теперь еще любите?

— Нет, господин граф, это невозможно.

— Вам не доставило бы никакого удовольствия вновь увидеть его?

— Увидеть его было бы для меня мукой.

— И вы никогда не позволяли ему?.. Он не осмелился… Но я боюсь вас оскорбить… Пожалуй, вы подумаете, что я хочу знать слишком много…

— Я понимаю вас, господин граф. Но раз уж я исповедуюсь, то вы узнаете обо мне решительно все и сможете сами судить, заслуживаю я вашего уважения или нет. Он позволял себе очень много, но осмеливался лишь на то, что разрешала ему я

сама. Так, мы часто пили из одной чашки, отдыхали на одной и той же скамье. Он спал в моей комнате, пока я молилась, ухаживал за мной во время моей болезни. Я ничего не боялась. Мы всегда были вместе, любили друг друга, уважали, должны были пожениться. Я поклялась моей матери, что останусь, как говорят, благоразумной девушкой. Слово это я сдержала, если быть благоразумной — значит верить человеку, который обманывает тебя, любить и уважать того, кто не заслуживает ни любви, ни уважения. И только после того, как он захотел сделаться для меня больше, чем братом, еще не сделавшись моим мужем, только тогда я начала защищаться. И только тогда, когда он изменил мне, я обрадовалась, что сумела так хорошо защитить себя. Этому бесчестному человеку ничего не стоит утверждать противное, но это не имеет большого значения для такой бедной девушки, как я. Лишь бы не сфальшивить во время пения, — больше ведь от меня ничего не требуется. Лишь бы я могла с чистой совестью целовать распятие, перед которым поклялась матери быть целомудренной, а что подумают обо мне другие — по правде сказать, не имеет для меня значения. У меня нет семьи, которой пришлось бы краснеть за меня, нет род-

ных, нет братьев, которые могли бы встать на мою защиту…

— Нет братьев? Но ведь один-то брат у вас есть?

Консуэло хотела было по секрету рассказать графу всю правду, но подумала, что с ее стороны было бы неблагородно искать у других защиты против того, кто так недостойно угрожал ей самой. Она решила, что должна найти в себе достаточно твердости, чтобы защитить себя и освободиться от Андзолетто. К тому же ее великодушное сердце не могло допустить, чтобы человек, которого она так свято любила прежде, был выгнан хозяином из дома. Разумеется, выпроваживая Андзолетто, граф Христиан сумел бы проявить должную учтивость, разумеется, Андзолетто был страшно виноват перед нею, и все же у нее не хватало духа подвергнуть его такому унижению. Поэтому она ответила на вопросы старика, что вообще смотрит на брата как на сорванца и никогда к нему не относилась иначе как к ребенку.

— Но, надеюсь, он не совсем уж бездельник? — спросил граф.

— Кто его знает, — ответила она. — Я стараюсь держаться от него как можно дальше. Наши ха-

рактеры, взгляды на жизнь слишком различны. Вы, наверное, заметили, что я не очень стремилась удерживать его здесь.

— Пусть будет так, как вы этого хотите, дитя мое; я считаю вас очень рассудительной. Теперь, когда вы рассказали мне все с такой благородной откровенностью…

— Простите, господин граф, — возразила Консуэло, — я рассказала вам о себе не все, так как вы не обо всем спросили. Мне неизвестно, почему вы сегодня делаете мне честь интересоваться моей жизнью. Очевидно, кто-то в этих местах отозвался обо мне неблагоприятно и вы желаете знать, не бесчестит ли мое пребывание ваш дом. До сих пор вы спрашивали меня о самых поверхностных вещах, и я считала нескромным без вашего разрешения занять вас рассказом о себе самой, но раз вам, по-видимому, угодно узнать всю мою жизнь, то я должна сообщить вам об одном обстоятельстве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах. Я не только могла бы посвятить себя театральной карьере, как вы часто мне советовали, но (хотя я уже не питаю к театру ни малейшего влечения) в прошлом сезоне я дебютировала в Венеции под именем Консуэло… Меня прозвали Zingarella, и вся Вене-

ция знает мое лицо и мой голос.

— Постойте! — воскликнул граф, ошеломленный этим новым открытием. — Так это вы то чудо, которое наделало столько шума в Венеции в прошлом году и о котором с таким восторгом кричали итальянские газеты? Прекраснейший голос и величайший талант, какого не бывало на памяти человеческой…

— В театре Сан-Самуэле, господин граф. Похвалы эти, конечно, очень преувеличены, но неопровержим тот факт, что я — та самая Консуэло, которая пела в нескольких операх. Словом, я актриса, или, выражаясь более изысканно, певица. Теперь решайте, заслуживаю ли я вашего доброго отношения.

— Непостижимо! И какая странная судьба! — проговорил граф, погружаясь в раздумье. — А говорили ли вы об этом здесь кому-нибудь… кому-нибудь, кроме меня, дитя мое?

— Господин граф, я почти все рассказала вашему сыну, правда, не вдаваясь в подробности, которые только что вам сообщила.

— Альберту, значит, известно ваше происхождение, ваша прежняя любовь, ваша профессия?

— Да, господин граф.

— Прекрасно, дорогая синьора. Не нахожу слов,

чтобы поблагодарить вас за ваше благородное чистосердечие, и обещаю, что вам не придется в нем раскаиваться. А теперь, Консуэло (да, да, теперь я припоминаю, именно так называл вас с самого начала Альберт, когда говорил с вами по-испански), позвольте мне собраться с силами. Я слишком взволнован. Нам с вами, дитя мое, о многом еще надо поговорить, и вы простите мое волнение перед таким важным, решительным шагом. Сделайте милость, подождите меня здесь одну минуту.

Он вышел, и Консуэло, следившая за ним взглядом, увидела через стеклянные двери, как старик вошел в свою молельню и благовейно опустился там на колени.

В сильном возбуждении, она терялась в догадках, думая о том, чем может кончиться столь торжественно начатый разговор. Сперва ей пришло в голову, что Андзолетто, ожидая ее, уже сделал то, что грозился сделать, — возможно, в беседе с капелланом или с Гансом он говорил о ней в таком тоне, который мог возбудить беспокойство и недоумение ее хозяев. Но граф Христиан не умел притворяться, а пока что его обращение с нею, его слова говорили скорее о возросшей привязанности, чем о пробужденном недоверии.

К тому же ее откровенные ответы поразили его именно своей неожиданностью; последнее же известие он воспринял просто как удар грома. И вот теперь он молится и просит Бога просветить или поддержать его при принятии какого-то важного решения. «Не собирается ли он просить меня уехать вместе с братом? Или намерен предложить мне денег? — спрашивала она себя. — Ах, избави меня Бог от подобного оскорбления. Но нет, он слишком деликатный, слишком добрый человек, чтобы решиться так унизить меня. Что же хотел он сказать мне вначале и что скажет сейчас? Очевидно, прогулка наша с графом Альбертом внушила ему серьезные опасения, и он собирается побранить меня? Ну что ж! Пожалуй, я и заслужила это, придется выслушать выговор, раз я не смогу ответить откровенно на вопросы, которые могут быть мне предложены относительно графа Альберта. Какой тягостный день! Еще несколько таких дней, и я уже не смогу превзойти своим пением ревнивых возлюбленных Андзолетто: в груди у меня все горит, а в горле совсем пересохло!».

Вскоре граф Христиан вернулся. Он был спокоен, и по его бледному лицу видно было, что благородство одержало верх в его душе.

— Дочь моя, — сказал он, усаживаясь рядом с нею и вынуждая ее остаться в роскошном кресле, которое она хотела ему уступить и где волей-неволей восседала с испуганным видом, — пора и мне быть с вами таким же откровенным, как были вы со мной. Консуэло, мой сын любит вас.

Девушка сначала покраснела, потом побледнела и попыталась было что-то сказать, но граф Христиан остановил ее.

— Это не вопрос, — сказал он, — я не имел бы права предложить его вам, и, быть может, вы не имели бы права на него ответить, ибо мне известно, что вы нисколько не поощряли надежд Альберта. Он сказал мне все, и я верю ему, ибо он никогда не лжет, так же как и я.

— И как я, — проговорила Консуэло, поднимая глаза к небу с выражением простодушной гордости. — Граф Альберт, должно быть, сказал вам, господин граф…

— Что вы отвергли всякую мысль о браке с ним, — договорил старик.

— Я обязана была это сделать, зная обычаи и мнение светского общества. Для меня ясно, что я не гожусь в жены графу Альберту уже по той причине, что, не считая себя ниже кого бы то ни было перед Богом, я не хочу принимать милости

и благодеяния от кого бы то ни было из людей.

— Мне известна ваша справедливая гордость, и я считал бы ее преувеличенной, если бы Альберт зависел только от себя самого; но поскольку вы были уверены, что я никогда не соглашусь на такой брак, вы не могли ответить иначе.

— А теперь, господин граф, — сказала Консуэло, поднимаясь, — мне понятно все остальное, и я умоляю вас избавить меня от унижения, которого я так страшилась. Я уеду из вашего дома и давно уже сделала бы это, если бы считала возможным уехать, не опасаясь за рассудок и саму жизнь графа Альберта, которые зависят от моего пребывания здесь в большей степени, чем бы мне хотелось. Теперь, когда вы уже знаете все то, что мне невозможно было вам сказать, вы сможете оберегать его, бороться с последствиями этой разлуки и вообще возьмете на себя заботу о нем: вы имеете на это гораздо больше права, чем я. Если я и присвоила себе нескромно это право, то Бог простит мне мое прегрешение, ибо ему известно, как чисты были помыслы, руководившие мной.

— Я знаю, — проговорил граф. — Господь внушил это моей совести, а Альберт — моему сердцу. Садитесь же, Консуэло, и не спешите обвинять меня в дурных намерениях. Я пригласил вас сюда

не для того, чтобы приказать вам оставить мой дом, а чтобы молить вас остаться в нем на всю жизнь.

— На всю жизнь! — повторила, чуть не падая в кресло, Консуэло, одновременно радуясь, что восстановлено ее достоинство, и ужасаясь такому предложению. — На всю жизнь! Господин граф, вы, верно, не думаете о том, что изволите говорить.

— Много я думал об этом, дочь моя, — ответил граф с грустной улыбкой, — и чувствую, что мне не придется в этом раскаиваться. Сын мой страстно любит вас, вы всецело завладели его душой, вы вернули его мне, вы пошли разыскивать его в таинственное место, которое он не пожелал назвать, но куда никто, сказал он мне, кроме матери или святой, не отважился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти его от одиночества и безумия, едва не погубивших его. Благодаря вам он больше не терзает нас своими исчезновениями. Одним словом, вы вернули ему спокойствие, здоровье, рассудок. Ведь нельзя не признаться, что мой бедный сын был помешан, а теперь он, несомненно, в здравом уме. Мы чуть ли не всю эту ночь проговорили с ним, и я вижу, что он, пожалуй, рассудительнее меня. Мне бы-

ло известно, что сегодня утром вы собирались отправиться вместе с ним на прогулку. Это с моего разрешения он просил вас о том, чего вы не пожелали слушать... Вы боялись меня, дорогая Консуэло. Вы думали, что старый Рудольштадт, закоснелый в аристократических предрассудках, не пожелает быть перед вами в долгу за сына. И вы ошиблись. Конечно, у старого Рудольштадта были и гордость и предрассудки, быть может, и теперь они имеются у него — он не хочет прихорашиваться перед вами, — но в порыве беспредельной признательности он отрешается от них и горячо благодарит вас за то, что вы вернули ему его последнее, его единственное дитя!

Говоря это, граф Христиан взял обе руки Консуэло и покрыл их поцелуями и слезами.

Глава LIX

Консуэло была глубоко растрогана этим изъявлением чувств, оправдавшим ее в собственных глазах и успокоившим ее совесть. До этой минуты она часто со страхом думала о том, что неосторожно отдается своим великодушным порывам. Теперь она получила одобрение и награду. Ее радостные слезы смешались со слезами старика, и некоторое время оба были так взволнованы, что не могли продолжать разговор.

Однако Консуэло все еще не понимала сделанного ей предложения, а граф, считая, что он высказался достаточно ясно, принимал ее молчание и слезы за доказательство согласия и признательности.

— Я иду за сыном, — проговорил, наконец, старик. — Пусть у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и присоединит свои благословения к моим.

— Подождите, господин граф! — воскликнула Консуэло, ошеломленная такой поспешностью. — Я не совсем понимаю, чего вы от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа Альберта ко

мне и преданность, выказанную ему мною. Вы удостаиваете меня своим доверием, зная, что я не злоупотреблю им. Но как я могу обещать вам посвятить всю жизнь такой странной дружбе? Я понимаю, что вы рассчитываете на время и на мою рассудительность, чтобы поддержать душевное спокойствие вашего благородного сына и охладить его пылкое чувство ко мне, но не уверена, надолго ли я сохраню эту власть над ним; притом, если бы даже подобная близость и не была опасна для такого восторженного человека, как граф Альберт, то я не вольна посвятить свою жизнь этой славной задаче. Я не принадлежу себе.

— О небо! Что вы говорите, Консуэло? Так, значит, вы не поняли меня? Или вы меня обманули, сказав, что свободны, что у вас нет никаких сердечных привязанностей, никаких обязательств, нет семьи?

— Но, господин граф, — возразила Консуэло, недоумевая. — У меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принадлежу искусству, которому посвятила себя с самого детства.

— Великий Боже, что вы говорите! Вы хотите вернуться на сцену?

— Не знаю еще. Я не солгала вам, сказав, что

меня больше не тянет туда. На этом бурном пути я испытала не только ужасные мучения, и я чувствую что с моей стороны было бы слишком смело дать обещание навсегда отказаться от этого поприща. Такова была моя судьба, и, видно, нельзя избежать будущего, которое человек однажды себе наметил. Впрочем, вернусь ли я на подмостки, буду ли выступать в концертах или давать уроки — все равно я остаюсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна? Где еще я могу сохранить независимость? Чем займу свой ум, привыкший к труду и жаждущий этих ощущений?

— О Консуэло, Консуэло! — с горестью воскликнул граф Христиан. — Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы любите моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите.

— А если бы я полюбила его со страстью, которая заставила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это, граф? — воскликнула Консуэло, теряя терпение. — Значит, вы считаете, что ни одна женщина не может влюбиться в графа Альберта, если просите меня остаться при нем навсегда?

— Что вы, дорогая Консуэло! Либо я высказался недостаточно ясно, либо вы принимаете меня

за безумца. Разве я не просил сейчас вашей руки и сердца для моего сына? Разве я не поверг к вашим стопам этот законный и, бесспорно, почетный союз? Если бы вы любили Альберта, то в счастливой жизни с ним, конечно, нашли бы вознаграждение за потерю вашей славы и ваших триумфов. Но вы не любите его, раз считаете невозможным отказаться ради него от того, что называете своей судьбой!

Это объяснение, независимо от воли добродушного Христиана, несколько запоздало. Не без ужаса и мучительного насилия над самим собой жертвовал старый аристократ ради счастья сына всеми своими взглядами, всеми убеждениями своей касты, и, когда после долгой и мучительной борьбы с Альбертом и с собственным «я», жертва, наконец, была принесена, — окончательное утверждение этого акта не так-то легко перешло из его сердца на уста. Консуэло почувствовала или угадала это, так как в ту минуту, когда Христиану показалось, что он не в состоянии добиться ее согласия на брак, лицо старика озарилось невольной радостью, к которой примешивалось какое-то странное смятение.

Консуэло мгновенно поняла свое положение. Гордость, быть может, несколько эгоистичная,

возбудила в ней неприязнь к предлагаемому браку.

— Так вы хотите, чтобы я стала женой графа Альберта? — сказала она, еще ошеломленная столь необыкновенным предложением. — И вы согласились бы назвать меня своей дочерью, согласились бы, чтобы я носила ваше имя, согласились бы представить меня вашим родственникам и друзьям?.. Ах, граф, как вы любите своего сына и как ваш сын должен любить вас!

— Если вы, Консуэло, видите в этом такое необычное великодушие, значит вашему сердцу оно недоступно или сам предмет кажется вам недостойным его.

Желая сосредоточиться, Консуэло закрыла лицо руками.

— Граф, — заговорила она после минутного молчания, — я точно во сне. Самолюбие невольно возмущается во мне при мысли о тех-унижениях, которыми будет полна моя жизнь, если я осмелюсь принять жертву, подсказанную вашей отеческой любовью.

— Но кто посмел бы унизить вас, Консуэло, раз отец и сын укрыли бы вас под защитой брака и семьи?

— А тетушка, граф? Ведь она здесь занимает

место родной матери, — разве она могла бы смотреть на это без краски негодования?

— Она сама присоединится к нашим мольбам, если вы дадите слово уступить. Не требуйте от человеческой природы того, что превышает ее силы: возлюбленный и отец могут вынести унижение, горе отказа, — моя сестра не справится с этим. Но, уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объятия, дочь моя.

— Граф, — обратилась к старику трепещущая Консуэло, — стало быть, граф Альберт говорил вам, что я люблю его?

— Нет, — ответил граф, вдруг вспомнив что-то, — Альберт говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Он сто раз повторял мне это, но я не мог ему поверить. Вашу сдержанность по отношению к нему я объяснял вашим прямодушием и скромностью; и все же я думал, что, освободив вас от сомнений, я добьюсь признания, в котором вы отказали ему.

— А что сказал он вам о нашей сегодняшней прогулке?

— Лишь несколько слов: «Попытайтесь, дорогой отец: это единственное средство узнать, гордость или отчуждение закрывают для меня ее сердце».

— Увы, граф! Что подумаете вы обо мне, если я

скажу вам, что и сама этого не знаю?

— Я подумаю, дорогая Консуэло, что это отчуждение. Ах, сын мой, бедный мой сын! Как ужасна его судьба! Единственная женщина, которую он смог полюбить, не любит его. Только этого несчастья нам недоставало.

— Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф, вы не понимаете, как может противиться моя гордость, раз вы жертвуете своею. Вам кажется, что для гордости такой девушки, как я, гораздо меньше оснований, а между тем, поверьте, в эту минуту в сердце моем происходит борьба не менее жестокая, чем та, из которой вы вышли победителем.

— Нет, я понимаю это. Не думайте, синьора, что я так мало уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы не суметь оценить гордость, опирающуюся на такие сокровища. Но то, что смогла победить отцовская любовь (видите, я говорю с вами совершенно откровенно), я думаю, сможет победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже, что вся жизнь Альберта, ваша жизнь и моя были бы борьбой со светскими предрассудками, от чего пришлось бы долго и много страдать и нам троим и моей сестре вместе с нами. Да разве наша взаимная любовь, чистая

совесть, преданность друг другу не помогли бы вам стать сильнее всего светского общества? Для великой любви ничтожны все те беды, которые так страшат вас и за себя и за нас. Но вы с тоской и страхом ищете в глубине своей души эту великую любовь и не находите ее, Консуэло, потому что ее там нет.

— О да, в этом, и только в этом препятствие, — проговорила Консуэло, крепко прижимая руки к сердцу, — все остальное пустяки. У меня тоже были предрассудки. Ваш пример доказывает, что я должна отбросить их, чтобы сравняться с вами в величии и героизме. Не будем больше говорить о моих чувствах, о моем ложном стыде, не надо даже касаться моей будущности и моего искусства, — добавила она со вздохом. — Я смогу и от этого отречься, если… если… если я люблю Альберта! Вот что нужно мне знать. Выслушайте меня, граф. Тысячу раз спрашивала я себя об этом, но никогда у меня не было того спокойствия, какое дает мне теперь ваше согласие. Как могла я раньше серьезно думать о чем-либо, когда даже самый этот вопрос казался мне безумием и преступлением? Теперь же, мне кажется, я сумею разобраться в себе и решить. Дайте мне несколько дней, чтобы подумать и понять, является ли

моя безмерная преданность ему, безграничное уважение, внушаемое мне его достоинствами, эта огромная симпатия, эта странная власть его слов надо мной, — является ли все это любовью или восхищением. Ведь все эти чувства, граф, живут во мне, но с ними борется во мне невыразимый ужас, глубокая печаль и (скажу вам без утайки, мой благородный друг!) воспоминание о любви менее восторженной, но более сладостной, более нежной — совсем непохожей на эту.

— Вы странная и благородная девушка! — с умилением проговорил граф Христиан. — Сколько мудрости и своеобразия в ваших словах и мыслях! Вы во многих отношениях похожи на моего бедного Альберта, а тревожная неуверенность ваших чувств напоминает мне мою жену, мою благородную и печальную красавицу Ванду!.. О Консуэло! Какое сладкое и вместе с тем горестное воспоминание будите вы в моей душе! Знаете, я хотел было сказать вам: победите свою нерешительность, справьтесь со своими опасениями, полюбите, этого несчастного, обожающего вас человека, полюбите хотя бы из сострадания, ведь вы добродетельны, вы великодушны! Быть может, он и не даст вам счастья, но спасая его, вы заслужите награду на небесах.

Однако вы напомнили мне его мать, отдавшуюся мне из чувства долга и дружбы. Она не могла любить меня, простого, добродушного, робкого человека, той восторженной любовью, которой жаждало ее сердце. До конца она была верна мне и великодушна, но как она страдала! Увы! Для меня ее любовь была и отрадой и мукой, а ее постоянство — гордостью и укором. С горя она умерла, а мое сердце было разбито навеки. И если сейчас я существо ничтожное, незаметное, мертвое, не слишком удивляйтесь этому, Консуэло. Я выстрадал то, чего никому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил об этом. Вам первой с трепетом открываю я свою душу. Нет, нет, пусть глаза мои закроются в скорби и сын мой сейчас же погибнет под тяжестью своей судьбы, но я не буду уговаривать вас пожертвовать собой, не буду убеждать Альберта принять от вас эту жертву! Я слишком хорошо знаю, что значит насиловать природу, бороться с ненасытной потребностью души. Обдумайте же все это не торопясь, дочь моя, — закончил со слезами старый граф, прижимая девушку к груди и с отеческой нежностью целуя ее высокий лоб. — Так будет лучше. Если вы все-таки откажете ему, то, подготовленный часами тревоги, он не будет до

такой степени убит этой страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня.

Условившись таким образом, они расстались, и Консуэло, боясь натолкнуться на Андзолетто, крадучись проскользнула по коридорам и заперлась в своей комнате, измученная волнениями и усталостью.

Прежде всего она решила попытаться немного отдохнуть. Чувствуя себя совершенно разбитой, она бросилась на постель и вскоре впала в тяжелое забытье, скорее изнуряющее, чем восстанавливающее силы. Ей хотелось уснуть, думая об Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в тех таинственных проявлениях сна, в которых мы надеемся порою найти пророческий ответ на волнующие нас вопросы. Но в ее отрывочных сновидениях в течение нескольких часов непрестанно появлялся не Альберт, а Андзолетто. Она видела Венецию, Корте-Минелли, свою первую любовь, безмятежную, радостную, поэтическую. А когда она просыпалась, воспоминание об Альберте всякий раз связывалось у нее с воспоминанием о зловещей пещере, где звук скрипки, удесятеренный эхом пустых подземелий, выдавал тени мертвецов и рыдал над свежей могилой Зденко. Страх и печаль как бы закрывали ее

сердце для любви, когда она представляла себе эту картину. Будущее, которое ей сулили, рисовалось только среди мрачной тьмы и кровавых видений, тогда как лучезарное, полное счастья прошлое заставляло дышать свободно ее грудь и радостно биться сердце. Ей казалось, что в этих снах, говоривших о прошлом, она слышит свой собственный голос, — он растет, растет, наполняет все вокруг и, могучий, уносится к небесам. А когда ей вспоминались фантастические звуки скрипки в пещере, этот же голос становился резким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, где-то под землей.

Все эти смутные видения до того утомили ее, что она встала с постели, чтобы прогнать их. Услышав первый призыв колокола, возвещавший, что обед будет подан через полчаса, она стала одеваться, продолжая думать все о том же. Но странная вещь! Впервые в жизни она с интересом смотрелась в зеркало, а своей прической и туалетом занялась гораздо внимательнее, чем волновавшими ее серьезными вопросами. Она невольно прихорашивалась, ей хотелось быть красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней не для того, чтобы возбудить страсть и ревность любящих ее соперников, —

она думала и могла думать только об одном из них. Альберт никогда ни единым словом не обмолвился о ее наружности. Охваченный своей страстью, быть может, он считал ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но мысли его были так возвышенны, а любовь так велика, что он побоялся бы осквернить ее, взглянув на нее восторженными глазами влюбленного или испытующим оком артиста. Для него она была всегда окутана облаком, сквозь которое взор его не дерзал проникнуть и которое его воображение окружало ослепительным ореолом. На внешние перемены он не обращал внимания: для него она всегда была одинаковой. Он видел ее мертвенно-бледной, иссохшей, увядшей, борящейся со смертью и более похожей на призрак, чем на женщину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чертах лишь более или менее угрожающие симптомы болезни, не замечая, что она подурнела, что, быть может, она способна внушить ужас или отвращение. Когда же к ней вернулись блеск и живость молодости, он даже не заметил, потеряла или выиграла от этого ее внешность. Для него она и в жизни и в смерти была идеалом всего молодого, высокого, идеалом несравненной красоты. Вот почему Консуэло, сидя перед зерка-

лом, никогда не думала об Альберте.

Совсем иначе обстояло дело с Андзолетто. С каким бесконечным вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, когда никак не мог решить, красива она или нет! Как замечал он малейшую черточку ее наружности, малейшее усилие понравиться ему! Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку, цвета, которые были ей к лицу, малейшую складку ее одежды! И с каким пылким воодушевлением хвалил он ее наружность, с каким томным сладострастием смотрел на нее! Целомудренная девушка не понимала тогда трепета своего сердца. Она не хотела понимать его и теперь, а между тем вновь ощущала его, и почти с той же силой, при мысли, что сейчас появится перед Андзолетто. Она сердилась на себя, краснела от стыда и досады, старалась наряжаться для одного Альберта — и все-таки выбирала и прическу, и ленты, и даже взгляды, которые нравились Андзолетто. «Увы! Увы! — думала она, закончив одеваться и отрываясь от зеркала. — Неужели я действительно могу думать только о нем и былое счастье имеет надо мною больше власти, чем презрение к этому человеку и обещания новой любви? Сколько я ни всматриваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и отчаяние.

Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю, что чудесные дни Венеции безвозвратно прошли, что невинность больше не будет обитать с нами, что душа Андзолетто развращена, ласки его способны только унизить меня, а моя жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, страхом и раскаянием?».

Придирчиво и строго разобравшись в себе, Консуэло поняла, что нисколько не заблуждается относительно Андзолетто и что от чувства к нему в ней не осталось и следа. Она уже не любила его в настоящем, боялась и почти ненавидела, думая о будущем, которое могло бы только развратить его еще больше, но она так обожала его в прошлом, что была не в силах вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее как бы портретом, напоминающим любимое существо и сладостные дни, и, подобно вдове, которая тайком от нового супруга любуется изображением его предшественника, она чувствовала, что умерший занимает в ее сердце больше места, чем живой.

Глава LX

Консуэло была девушкой рассудительной и обладала возвышенной душой, а потому не могла не знать, что из двух чувств, которые она внушала, наиболее искренним, наиболее благородным и наиболее ценным было, без сомнения, чувство Альберта. Теперь, когда оба очутились перед нею, ей сначала показалось, что она одержала победу над своим врагом. Глубокий взгляд Альберта, словно проникший ей в душу, долгое и крепкое пожатие его преданной руки дали ей понять, что он знает, чем кончился ее разговор с графом Христианом, и готов с покорностью и признательностью ждать своего приговора. В самом деле, Альберт не надеялся даже на такой ответ, и теперь его радовала самая нерешительность Консуэло — до того он был далек от самонадеянной заносчивости Андзолетто. Последний, наоборот, вооружился всей своей самоуверенностью. Примерно догадываясь о том, что происходит в замке, он решил идти напролом, рискуя даже быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иронический, дерзкий взгляд вызывали в

Консуэло глубочайшее отвращение, а когда он с наглым видом подошел, намереваясь вести ее к столу, она отвернулась и взяла руку, предложенную ей Альбертом.

Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, — старый Христиан усадил ее налево от себя, на место, прежде занимаемое Амалией, а после ее отъезда предоставленное Консуэло. Но вместо капеллана, обычно сидевшего слева от Консуэло, канонисса пригласила сесть между ними мнимого братца; таким образом, едкие колкости, тихо произносимые Андзолетто, могли достигать ушей молодой девушки, а непочтительные остроты, как он и рассчитывал, — вызывать негодование старого священника.

План Андзолетто был чрезвычайно прост: он хотел возбудить к себе ненависть, стать невыносимым для тех членов семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враждебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами, фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал создать самое отвратительное представление о среде и родственниках Консуэло. «Посмотрим, — говорил он себе, — переварят ли они братца, которого я им преподнесу».

Андзолетто, недоучившийся певец и посред-

ственный трагик, был прирожденным комиком. Он достаточно насмотрелся на светское общество и научился подражать изысканным манерам и любезным речам благовоспитанных людей, но подобная роль могла только примирять канониссу с низким происхождением невесты, а потому он начал показывать себя совсем с другой стороны, что ему давалось с большей легкостью. Убедившись в том, что Венцеслава, намеренно говорившая только на немецком языке, принятом при дворе и в благонравном обществе, тем не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальянских слов, Андзолетто стал без умолку болтать, то и дело прикладываясь к доброму венгерскому вину, действия которого он ничуть не опасался, ибо давно уже привык к самым крепким напиткам; он, однако, притворился, будто всецело находится под влиянием жгучих винных паров, желая выставить себя завзятым пьяницей.

План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сначала снисходительно смеявшийся над его шутовскими выходками, вскоре стал только натянуто улыбаться и вынужден был призвать на помощь всю свою светскую обходительность, все свои отеческие чувства, чтобы не поставить

на место несносного юношу, который мог стать шурином его благородного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыгивал на стуле, бормоча по-немецки нечто напоминающее заклинание злых духов. Обед был для него, таким образом, совершенно испорчен, и никогда в жизни его пищеварение так не страдало. Канонисса слушала все невоздержанные, грубые речи гостя со скрытым презрением и несколько злорадным удовольствием. При каждой новой выходке Андзолетто она поднимала глаза на брата, словно призывая его в свидетели, а добродушный Христиан опускал голову, силясь каким-нибудь, не всегда удачным, замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альберта, но Альберт был невозмутим — казалось, он не видит и не слышит своего бесцеремонного веселого гостя.

Из всех присутствующих более всех была удручена, несомненно, бедная Консуэло. Сначала она подумала, что распущенность и циничность Андзолетто, которых она раньше в нем не замечала, являются результатом его развратной жизни, ибо никогда прежде он не бывал таким в ее присутствии. Это настолько возмутило и поразило ее, что она хотела даже уйти из-за стола. Но когда она

поняла, что все это не что иное, как его хитрость, то вновь обрела хладнокровие, свойственное ей, скромной и полной достоинства девушке. Она никогда не стремилась проникнуть в тайны и во взаимоотношения семьи Рудольштадтов, чтобы разными происками добиться положения, которое ей ныне предлагали. Это положение ни на минуту не польстило ее тщеславию, и совесть говорила ей, насколько несправедливы обвинения, тайно возводимые на нее канониссой. Она знала, она прекрасно видела, что любовь Альберта, доверие его отца выше этого ничтожного испытания. Презрение, внушаемое ей низким и злобным в своей мести Андзолетто, придало ей еще больше силы. Глаза ее лишь раз встретились с глазами Альберта, и они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт ответил: «Несмотря ни на что!».

— Подожди радоваться, — шепнул ей Андзолетто, перехвативший и истолковавший этот взгляд по-своему.

— Вы очень добры ко мне, благодарю вас, — ответила Консуэло.

Они переговаривались с быстротой, свойственной венецианскому наречию, которое состоит словно из одних сливающихся друг с другом глас-

ных, так что итальянцы Рима и Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.

— Я сознаю, что в эту минуту ты ненавидишь меня, — говорил Андзолетто, — и воображаешь, что будешь ненавидеть вечно, но все-таки тебе от меня не уйти.

— Вы слишком рано сбросили маску, — сказала Консуэло.

— Но не слишком поздно, — возразил Андзолетто. — Сделайте милость, padre mio benedetto[25], — обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи половину вина, которое подносил ко рту. — Пейте смелее это славное винцо, оно столь же полезно для души и тела, как вино святой мессы!

— Ваше сиятельство, — обратился он к старому графу, протягивая свой бокал, — у вас там с левой стороны, возле самого сердца, стоит в запасе флакончик из желтого хрусталя, горящий, как солнце. Уверен, что стоит мне выпить одну каплю этого нектара, и я превращусь в полубога.

— Берегитесь, дитя мое, — проговорил граф, положив худую руку в перстнях на граненое горлышко графина, — вино стариков порою ско-

---

[25] Примечания: 25
Благочестивый отец мой (*итал.*).

вывает уста молодым.

— От злости ты стала красива, как бесенок, — заметил Андзолетто своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы все его поняли. — Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы Галуппи, которую ты так чудесно сыграла в прошлом году в Венеции. Кстати, ваше сиятельство, долго вы намерены держать здесь мою сестрицу в вашей золоченой, обитой шелком клетке? Предупреждаю: она птичка певчая, а птица, которой не дают петь, быстро теряет оперение. Я понимаю, что она счастлива здесь, но та славная публика, которую она свела с ума, настойчиво требует ее возвращения. Что касается меня, то, подари вы мне ваше имя, ваш замок, все вина вашего погреба с вашим почтеннейшим капелланом в придачу, я ни за что не расстанусь с моими театральными лампами, моими котурнами и моими руладами.

— Вы, стало быть, тоже актер? — сухо, с холодным презрением спросила канонисса.

—

Актер, шут, к вашим услугам, illustrissima[26], — без всякого смущения отвечал Андзолетто.

---

[26] Примечания: 26
Ваша светлость (*итал.*).

— И у него есть талант? — спросил у Консуэло старый граф Христиан со свойственным ему добродушным спокойствием.

— Ни малейшего, — промолвила Консуэло, с сожалением глядя на своего противника.

— Если это так, то ты себя же порочишь, — сказал Андзолетто, — ведь я твой ученик. Однако надеюсь, — продолжал он по-венециански, — что у меня хватит таланта, чтобы смешать твои карты.

— Вы навредите только самому себе, — возразила Консуэло на том же наречии, — дурные намерения загрязняют сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите меня потерять в сердцах других.

— Очень рад, что ты принимаешь мой вызов. Начинай же, прекрасная воительница! Как ни опускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.

— Увы! Вы можете прочесть в них лишь глубокое огорчение. Я думала, что смогу забыть, какого презрения вы достойны, а вы стараетесь мне это напомнить.

— Презрение и любовь зачастую отлично уживаются.

— В низких душах.

— В душах самых гордых, так было и будет всегда.

Так прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, желая, по-видимому, потешиться наглостью Андзолетто, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя упрашивать и, ударив сильными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из тех залихватских песен, которыми оживлял интимные ужины Дзустиньяни. Слова были малопристойны, и канонисса не поняла их, но ее забавлял пыл, с каким пел Андзолетто. Граф Христиан не мог не восхититься красивым голосом певца и необычайной легкостью исполнения и теперь простодушно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил Андзолетто спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего, казалось, не слышал и не проронил ни слова. Андзолетто вообразил, будто молодой граф раздосадован и сознает, что над ним, наконец, одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойными ариями и, убедившись, что, либо из-за наивности хозяев, либо из-за их незнания венецианского наречия, это совершенно напрасный труд, поддался соблазну покрасоваться и запел ради удовольствия петь; кроме того,

ему хотелось показать Консуэло свои успехи. Он и в самом деле подвинулся вперед в тех пределах, какие были для него доступны. Голос его, быть может, потерял свою первоначальную свежесть, разгульная жизнь лишила его юношеской мягкости, зато теперь Андзолетто лучше владел им и с большим умением преодолевал трудности, к которым его всегда влекло. Он пел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, канониссы и даже капеллана, любителя виртуозных пассажей, не способного оценить манеру Консуэло, слишком простую и естественную, чтобы, на его взгляд, быть изысканной.

— Вы говорили, что у него нет таланта, — сказал граф, обращаясь к Консуэло, — вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и наконец-то я вижу в нем что-то общее с вами.

Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолетто загладить унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за его выходок. Он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, да и скверная роль, навязанная им самому себе, начала уже надоедать ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более задумчив, Андзолетто снова сел за

клавесин. Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкальных пьес, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку, и на этот раз Андзолетто выбрал более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло особенности венецианского наречия не звучали так естественно и отчетливо, как у этого сына лагун, прирожденного певца и мима.

Он так чудесно изображал то грубоватую вольность рыбаков Истрии, то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса слушать его и смотреть на него. Его красивое, подвижное и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых. Его безвкусный, кокетливый наряд, от которого за милю отдавало Венецией, еще усиливал впечатление и в данный момент не только не портил его, но, напротив, ему шел. Консуэло, вначале безразличная, вскоре вынуждена была притвориться холодной и рассеянной. Волнение все более и более охватывало ее. В Андзолетто она узнавала всю Венецию, а в этой Венеции — всего Андзолетто прежних дней, с его беспечным нравом, целомудренной

любовью и ребяческой гордостью. Глаза ее наполнились слезами, а забавные пассажи Андзолетто, смешившие других, будили в ее сердце глубокую нежность.

После народных песен граф Христиан попросил Андзолетто исполнить духовные.

— О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сестра — а она тоже их знает — не захочет петь со мной, то я не смогу исполнить желание ваших сиятельств.

Все тотчас стали упрашивать Консуэло. Она долго отказывалась, хотя ей самой очень хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего Христиана, стремившегося примирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он совершенно примирился с ним, она села подле Андзолетто и с трепетом начала одну из длиннейших духовных песен на два голоса, разделенных на строфы по три стиха, которые в Венеции во время Великого поста поются по целым ночам перед каждой статуей Мадонны, поставленной на перекрестке. Ритм этих песен скорее веселый, чем грустный, но в монотонности припева и поэтичности слов чувствуется какое-то языческое благочестие, звучит сладостная меланхолия, которая ма-

ло-помалу овладевает вами и, наконец, совсем зачаровывает.

Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным, приглушенным голосом, а Андзолетто — резким, гортанным, как поют тамошние юноши, При этом он импровизировал на клавесине аккомпанемент, тихий, непрерывный и легкий, напоминавший его подруге журчание воды у каменных плит и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что она в Венеции в волшебную летнюю ночь, одна под открытым небом у какой-нибудь часовенки, увитой виноградом, освещенной трепетным сиянием лампады, отражающимся в слегка подернутых рябью водах канала. О, какая разница между зловещим, душераздирающим волнением, которое испытала она утром, слушая скрипку Альберта у других вод — неподвижных, черных, молчаливых, полных призраков, и этим видением Венеции — с ее дивным небом, нежными мелодиями, лазурными волнами, где мелькают то блики от быстро скользящих огней, то лучезарные звезды! Андзолетто как бы возвращал ей это чудное зрелище, воплощавшее для нее жизнь и свободу, тогда как пещера, странные и суровые напевы древней Чехии, кости, освещенные зловещим светом фа-

келов, отражающихся в воде, где таились, быть может, такие же наводящие ужас реликвии, аскетическое, бледное, восторженное лицо Альберта, мысли о неведомом мире, символические картины, мучительное возбуждение от непонятных чар — все это было слишком тяжело для мирной и простой души Консуэло. Чтобы проникнуть в эту область отвлеченных идей, ей пришлось сделать усилие, на которое ее живое воображение было вполне способно, но при этом все существо ее надломилось, истерзанное таинственными муками, непосильным очарованием. Пылкая натура Консуэло, уроженки юга, больше даже, чем воспитание, восставала против сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт олицетворял для нее дух Севера, суровый, могучий, порой величественный, но всегда печальный, как ветер ледяных ночей, как приглушенный голос зимних потоков. Его мечтательная, пытливая душа все вопрошала, все превращала в символы — и бурные грозовые ночи, и путь метеоров, и строгий, гармоничный шум леса, и полустертые подписи древних могил. Андзолетто, напротив, был олицетворением юга, природы, распаленной и оплодотворенной горячим солнцем и ярким светом, природы, вся поэзия которой за-

ключалась в пышном цветении, а гордость — в богатстве жизненных сил. Он жил только чувством, стремился к наслаждениям, в нем были беспечность и бесшабашность артистической натуры, своего рода неведение или равнодушие к понятию о добре и зле, умение ловить счастье, презрение к голосу рассудка или неспособность рассуждать — словом, то был враг и противник всего духовного.

Между этими двумя людьми, из которых каждый был связан со средой, враждебной другому, Консуэло оказалась так же бессильна, так же не способна проявить энергию и действовать, как душа, отделенная от тела. Она любила прекрасное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрасным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, чье развитие было задержано недугом, слишком отдавался духовной жизни. Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что часто терял способность ощущать собственное существование. Он не представлял себе, что мрачные идеи и предметы, с которыми он сжился, могут под влиянием любви и добродетели внушить его невесте иные чувства, кроме восторженной веры и нежной привязанности. Он не предвидел, не понимал, что увлекает ее в

атмосферу, где она погибла бы, как тропическое растение в полярном холоде. Словом, он не понимал, какое насилие она должна была совершить над собой, чтобы всецело проникнуться его думами и чувствами.

Андзолетто, напротив, раня душу Консуэло и возмущая во всех отношениях ее ум, в то же время вмещал в своей могучей груди, развившейся под дуновением благотворных ветров юга, живительный воздух, в котором Цветок Испании (как он, бывало, называл Консуэло) нуждался, чтобы ожить. Он воскресил перед ней жизнь, полную чудесного бездумного созерцания, мир простых мелодий, светлых и легких, спокойное, беззаботное прошлое, где было так много движения, наивного целомудрия, честности без усилий, набожности без размышления. Это было подобно существованию птицы. А разве артист не похож на птицу и разве не следует человеку испить немного от кубка жизни, общего для всех творений, чтобы самому стать совершеннее и направить к добру сокровища своего ума!

Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по мере того, как она невольно поддавалась влиянию тех смутных сил, о которых я упомянул вместо нее и которым уделил, быть может,

слишком много времени. Да простится мне это! Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой изменчивости чувств эта девушка, такая разумная, такая искренняя, за четверть часа перед тем с полным основанием ненавидевшая коварного Андзолетто, забылась до того, что с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, ощущала его дыхание. Гостиная, как уже известно читателям, была слишком велика, чтобы быть достаточно светлой, да и день уже клонился к вечеру. Пюпитр клавесина, на который Андзолетто поставил толстую нотную тетрадь, скрывал их от тех, кто сидел на некотором расстоянии, и головы певцов все более и более сближались. Андзолетто, аккомпанируя уже только одной рукой, другой обнял гибкий стан своей подруги и незаметно привлек ее к себе. Шесть месяцев негодования и горя исчезли из памяти молодой девушки, как сон. Ей казалось, будто она в Венеции и просит Мадонну благословить ее любовь к красавцу жениху, который был предназначен ей ее матерью, а теперь молился вместе с ней, рука об руку, сердце к сердцу. Она не заметила, как Альберт вышел из комнаты, но самый воздух показался ей теперь легче, сумерки — мягче. Внезапно, по окончании одной строфы,

она почувствовала на своих губах горячие губы своего первого жениха. Сдержав крик, она склонилась над клавиатурой и разрыдалась.

В эту минуту вернулся граф Альберт; он услышал ее рыдания, увидел оскорбительную радость Андзолетто. Волнение, прервавшее пение юной артистки, не удивило остальных свидетелей этой мимолетной сцены. Никто не видел поцелуя, и каждый полагал, что воспоминания детства и любовь к своему искусству вызвали у Консуэло слезы. Графа Христиана несколько огорчила эта чувствительность, говорившая о глубокой привязанности девушки к тому, чем он просил ее пожертвовать. Канонисса же и капеллан ликовали, надеясь, что подобная жертва не сможет осуществиться. Альберт еще не задумывался над тем, возможно ли будет графине Рудольштадт снова стать артисткой или же ей придется отказаться от сцены. Он готов был на все согласиться, все разрешить, даже потребовать, лишь бы она была счастлива и свободна, будь то в уединении, в свете или в театре — по ее собственному выбору. Отсутствие предрассудков и эгоизма доходило в нем до того, что он не предвидел самых простых вещей. Так, ему и в голову не приходило, что у Консуэло могла явиться мысль пожертво-

вать собой ради него, не желавшего ни единой жертвы. Но, не видя того, что было рядом, он, как всегда, увидел скрытое; он словно проник в самую сердцевину дерева и обнаружил там червя. В один миг ему стало ясно, чем на самом деле был Андзолетто для Консуэло, какую цель преследовал и какое чувство внушал ей. Альберт внимательно посмотрел на этого неприятного ему человека, к которому до сих пор не хотел приглядываться, не желая ненавидеть брата Консуэло. И он увидел в нем любовника — дерзкого, настойчивого, коварного. Благородный Альберт не подумал о себе; ни сомнение, ни ревность не коснулись его сердца. Он понял только, что Консуэло грозит опасность, ибо своим глубоким, ясным взором этот человек, чье слабое зрение не выносило солнечного света и не различало цвета и формы, читал в глубине душ, проникал благодаря таинственной силе предвидения в самые тайные помыслы негодяев и обманщиков. Я не в силах объяснить естественным путем этот странный, временами проявлявшийся в нем дар. Некоторые его свойства, не расследованные и не описанные наукой, так и остались непонятными ни для его близких, ни для повествующего о них рассказчика, который по прошествии ста лет со

времени описываемых событий столь же мало знает о подобных вещах, как и великие умы того века. Альберт, увидев во всей наготе эгоистическую, тщеславную душу своего соперника, не сказал себе: «Вот мой враг», а подумал: «Вот враг Консуэло», и, ничем не выдавая своего открытия, дал себе слово следить за ней и оберегать ее.

Глава LXI

Едва представился к тому случай, Консуэло вышла из гостиной и спустилась в сад. Солнце село, и бледные ранние звезды мирно сияли в небе, еще розовом на западе и уже темном на востоке.

Юной артистке хотелось вдохнуть чистого прохладного воздуха первых осенних вечеров. Страстное томление теснило ей грудь, пробуждая в то же время угрызения совести, и она призывала все силы души на помощь своей воле. Она могла бы задать себе вопрос: «Ужель не знаю я, люблю иль ненавижу?». Консуэло трепетала, словно чувствуя, что мужество покидает ее в опаснейшую минуту ее жизни; и впервые она не находила в себе той правоты начального побуждения, той священной веры в чистоту своих намерений, которые всегда поддерживали ее в испытаниях. Она покинула гостиную, чтобы уйти от чар Андзолетто, и в то же время смутно желала, чтобы он пошел за ней. Листья уже начинали осыпаться; когда, задеваемые краем ее платья, они шелестели позади нее, ей чудились чьи-то шаги. Готовая бежать, боясь оглянуться, она останавливалась,

словно прикованная к месту волшебной силой.

За ней действительно кто-то шел, но не смея и не желая обнаружить свое присутствие. То был Альберт. Чуждый мелкого притворства, именуемого приличием, чувствуя себя в силу своей великой любви выше всякого ложного стыда, он через минуту вышел вслед за ней, решив без ее ведома охранять ее и не дать соблазнителю приблизиться к ней. Андзолетто заметил эту наивную поспешность, но не очень встревожился: он слишком хорошо видел смущение Консуэло и считал свою победу обеспеченной; так велико было его раздутое легкими успехами самомнение, что он решил не ускорять событий, не раздражать больше свою возлюбленную, не приводить в ужас семью. «Теперь мне незачем спешить, — говорил он себе. — Гнев только придал бы ей силы, тогда как мой скорбный, подавленный вид уничтожит остаток ее злобы против меня. У нее гордый ум — обратимся к ее чувствам. Она, без сомнения, стала менее сурова, чем была в Венеции, здесь нрав ее смягчился. Не беда, если сопернику выпадет лишний счастливый денек — завтра она будет моей, а быть может, еще и сегодня ночью! Увидим! Не будем ее запугивать, а то она еще примет какое-нибудь отчаянное решение. Она

не выдала меня. Из жалости или из страха она предоставила старикам считать меня ее братом, и они, несмотря на все мои выходки, решили терпеть меня из любви к ней. Итак, переменим тактику. Я добился своего быстрее, чем надеялся; можно и передохнуть».

И граф Христиан, и канонисса, и капеллан были чрезвычайно удивлены, заметив, как внезапно изменились к лучшему манеры Андзолетто, как скромен сделался его тон, как тихо и предупредительно стал он держать себя. Андзолетто весьма ловко пожаловался шепотом капеллану на сильнейшую головную боль, прибавив, что вообще очень воздержан в отношении вина, а тут выпил за обедом венгерского, не имея понятия о его крепости, и оно ударило ему в голову. Минуту спустя признание это было сообщено по-немецки канониссе и графу, принявшему попытку молодого человека оправдаться с великодушной готовностью. Венцеслава сначала была менее снисходительна, но усилия комедианта понравиться ей, почтительное восхваление знати, восторженные отзывы о порядке, царившем в замке, — все это не замедлило обезоружить ее благожелательную, незлобивую натуру. Сначала она его слушала от нечего делать, но под конец

приняла живое участие в разговоре и согласилась с братом, что Андзолетто прекрасный, очаровательный молодой человек.

Консуэло вернулась с прогулки через час, и это время не пропало даром для Андзолетто. Он успел расположить к себе всю семью и был уверен, что сможет остаться в замке столько дней, сколько ему понадобится для достижения его цели. Он не понял, что говорил по-немецки старый граф Консуэло, но догадался по взглядам, обращенным на него, и по удивленному и смущенному виду молодой девушки, что старый граф рассыпался в похвалах по его адресу и даже слегка пожурил ее за недостаток внимания к такому милому брату.

— Послушайте, синьора, — обратилась к ней канонисса, которая, несмотря на всю свою неприязнь к Порпорине, все-таки желала ей добра да к тому же считала это долгом благочестия, — вы за обедом сердились на своего брата, и, надо сказать правду, тогда он этого заслуживал; но он лучше, чем показался нам вначале. Он нежно любит вас и только что много говорил о вас с глубоким чувством, даже с почтением. Не будьте же к нему более строги, чем мы. Если он выпил лишнее за обедом, то, я уверена, глубоко огорчен этим, особенно из-за вас. Поговорите же с ним, не будь-

те холодны с человеком, столь близким вам по крови. Что касается меня, то хотя мой брат, барон Фридрих, в юности и любил меня поддразнивать и даже часто очень сердил, я никогда не могла и часа быть с ним в ссоре.

Консуэло, не смея ни разубеждать добрую старушку, ни поддерживать ее заблуждение, была сражена этой новой искусной атакой Андзолетто, значение которой было для нее очевидно.

— Вы не поняли, что сказала моя сестра? — спросил Христиан молодого человека. — Сейчас переведу вам все в двух словах: она упрекает Консуэло за то, что она слишком по-матерински строга с вами. А я уверен, что сама Консуэло жаждет примирения. Поцелуйтесь же, дети мои! Ну, милый юноша, сделайте первый шаг и, если вы в прошлом и были в чем-либо виноваты перед ней, попросите, чтобы она вас простила.

Андзолетто не заставил повторить это дважды. Схватив дрожащую руку Консуэло, не решавшейся отнять ее, он проговорил:

— Да, я был страшно виноват перед нею и так горько раскаиваюсь, что все мои попытки забыться только еще больше разбивают мне сердце. Она прекрасно знает это, и, не будь у нее железной воли, не будь она так горда своей силой и

беспощадна в своей добродетели, она поняла бы, что я и так уже достаточно наказан угрызениями совести. Прости меня, сестра, и верни мне свою любовь, не то я сейчас же уеду и буду скитаться по белу свету в отчаянии, одиночестве и тоске. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности, я не смогу больше верить в Бога, и мои заблуждения падут на твою голову.

Эта покаянная речь чрезвычайно растрогала графа и вызвала слезы у доброй канониссы.

— Слышите, Порпорина! — воскликнула она. — То, что он говорит, прекрасно и справедливо. Господин капеллан, вы должны, во имя нашей религии, приказать синьоре примириться с братом.

Капеллан уже собирался было вмешаться, но Андзолетто, не дождавшись его проповеди, схватил в объятия Консуэло и, несмотря на ее сопротивление и испуг, страстно поцеловал перед самым носом капеллана и в назидание всем присутствующим.

Консуэло, в ужасе от столь наглого обмана, не могла больше его поддерживать.

— Довольно! — проговорила она. — Господин граф, выслушайте меня…

Она хотела уже все рассказать, но тут вошел

Альберт. И тотчас мысль о Зденко сковала страхом ее душу, готовую открыться. Неумолимый покровитель Консуэло был способен без шума и без лишних слов освободить ее от врага, если бы она указала на него.

Она побледнела, с горестным упреком взглянула на Андзолетто, и слова замерли на ее устах.

Ровно в семь часов вечера все снова уселись за стол — ужинать. Если упоминание о столь частых трапезах способно лишить аппетита моих изящных читательниц, я принужден им сказать, что мода воздерживаться от пищи была не в чести в те времена и в той стране. Кажется, я уже упомянул о том, что в замке Исполинов ели медленно, плотно, и часто — чуть ли не половина дня проходила за обеденным столом; и, признаюсь, Консуэло, с детства вынужденная довольствоваться в течение дня несколькими ложками вареного риса, находила эти лукулловские трапезы смертельно длинными. Впрочем, на этот раз она не заметила, сколько времени длился ужин — час, мгновение или столетие. Она так же мало сознавала, что существует, как и Альберт, когда он бывал один в своем гроте. Ей казалось, что она пьяна, — до такой степени стыд за себя, любовь и ужас возмущали все ее

существо. Она ничего не ела, ничего не слышала и не видела вокруг себя. В смятении, подобно человеку, летящему в пропасть и видящему, как одна за другой ломаются непрочные ветки, за которые он пытается удержаться, она глядела на дно бездны, и голова ее кружилась, в ушах шумело. Андзолетто сидел подле нее, касался ее платья, внезапно прижимался локтем к ее локтю, ногой — к ее ноге. Стремясь ей услужить, он дотрагивался до ее рук и на миг удерживал их в своих, но этот миг, это жгучее пожатие заключали в себе целый мир наслаждений… Тайком он шептал ей слова, от которых захватывало дух, пожирал ее глазами… Пользуясь мгновением, мимолетным, как молния, он менялся с ней стаканом и прикасался губами к хрусталю, до которого только что дотрагивались ее губы. Ему удавалось быть пламенем для нее и казаться холодным, как мрамор, всем остальным. Он премило держал себя, учтиво разговаривал, был чрезвычайно внимателен к канониссе, преисполнен почтения к капеллану, предлагал ему лучшие куски мяса и сам нарезал их с грациозной ловкостью человека, привыкшего к хорошему столу. Он заметил, что благочестивый отец был лакомкой, но из скромности ограничивал свое чревоугодие. Капеллану

пришлась весьма по вкусу предупредительность молодого человека, и он пожелал даже, чтобы этот новый кравчий до конца своих дней пробыл в замке Исполинов.

Все заметили, что Андзолетто пил только воду, и когда капеллан, как бы в ответ на его любезность, предложил ему вина, ответил так громко, чтобы все могли слышать:

— Тысячу раз благодарю, но больше я уже не попадусь! Ваше, прекрасное вино коварно: я недавно пытался найти в нем забвение, но теперь мои горести миновали и я возвращаюсь к воде, своему обычному напитку и верному другу.

Вечер затянулся несколько дольше обычного. Андзолетто вновь пел, и на этот раз — для Консуэло. Он выбирал произведения ее любимых старинных композиторов, которым она сама обучила его, и исполнял их с той тщательностью, с тем безупречным вкусом и тонким пониманием, каких она всегда от него требовала. То было новое напоминание о самых дорогих, самых чистых минутах ее любви и увлечения искусством.

Когда стали расходиться, Андзолетто, улучив подходящий момент, шепнул ей:

— Я знаю, где твоя комната: меня поместили в том же коридоре. В полночь я брошусь на колени

у твоей двери и простою так до утра. Не откажи выслушать меня хотя бы одно мгновение. Я не порываюсь снова завоевать твою любовь — я ее не стою. Знаю, что ты больше не можешь любить меня, знаю, что другой осчастливлен тобой и что мне надо уехать. Я уеду с омертвелой душой, и остатком дней моих будут владеть фурии. Но не прогоняй меня, не сказав сочувственного слова, не сказав «прости»! Если ты откажешь мне в этом, я с рассветом покину замок и тогда погибну навсегда.

— Не говорите так, Андзолетто. Мы должны расстаться с вами сейчас, проститься навеки. Я вам прощаю и желаю…

— Доброго пути, — с иронией докончил он, но, тотчас возвращаясь к своему лицемерному тону, продолжил: — Ты безжалостна, Консуэло. Ты хочешь, чтобы я окончательно погиб, чтобы во мне не осталось ни единого доброго чувства, ни единого хорошего воспоминания. Чего ты боишься? Не доказывал ли я тебе тысячу раз свое уважение, чистоту своей любви? Когда любишь безумно, разве не становишься рабом? Неужели ты не знаешь, что одного твоего слова достаточно, чтобы укротить, поработить меня? Во имя неба, если только ты не любовница того человека, за

которого выходишь замуж, если он не хозяин в твоей комнате и не разделяет с тобой все твои ночи…

— Он не любовник мой и никогда им не был, — прервала его Консуэло тоном оскорбленной невинности.

Ей следовало бы сдержать этот гордый порыв, естественный, но сейчас слишком откровенный. Андзолетто не был трусом, но он любил жизнь, и если бы знал, что найдет в комнате Консуэло отважного стража, то преспокойно остался бы у себя. Искренность, прозвучавшая в ответе молодой девушки, окончательно придала ему смелости.

— В таком случае я не погублю твоего будущего, — сказал он, — я буду так осторожен, так ловок, войду так бесшумно и буду говорить так тихо, что не запятнаю твоей репутации. Да к тому же не брат ли я тебе? Что удивительного в том, что, уезжая на рассвете, я пришел с тобой проститься?

— Нет, нет, не приходите! — в ужасе проговорила Консуэло. — Покои графа Альберта находятся рядом, быть может, он уже обо всем догадался. Андзолетто, если вы придете… я не ручаюсь за вашу жизнь. Говорю вам серьезно, у меня кровь

стынет в жилах от страха!..

И в самом деле, Андзолетто, державший ее руку в своей, почувствовал, как она стала холоднее мрамора.

— Если ты заставишь меня стоять у твоей двери и препираться с тобой, то в самом деле подвергнешь меня опасности, — с улыбкой прервал он ее, — но если дверь твоя будет открыта, а наши поцелуи немы, нам нечего бояться. Вспомни, как сидели мы целыми ночами у тебя на Корте-Минелли, не потревожив никого из твоих многочисленных соседей. Что до меня, то если нет иного препятствия, кроме ревности графа, и иной опасности, кроме смерти…

В эту минуту Консуэло увидела, как взор графа Альберта, обычно затуманенный, остановившись на Андзолетто, вдруг стал ясным и глубоким. Слов их он слышать не мог, но казалось — он слышит глазами. Консуэло высвободила свою руку из руки Андзолетто и сдавленным голосом проговорила:

— Ах! Если ты любишь меня, не раздражай этого страшного человека!

— Ты за себя боишься? — быстро спросил Андзолетто.

— Нет, но за всех тех, кто соприкасается со мной

и угрожает мне.

— И за тех, кто тебя обожает, конечно? Ну что ж, пусть так! Умереть на твоих глазах, умереть у твоих ног! О, я только этого и хочу! Я приду к тебе в полночь; попробуй не впустить меня, ты только ускоришь мою гибель.

— Как! Вы уезжаете завтра и ни с кем не прощаетесь? — спросила Консуэло, увидав, что он, раскланявшись с графом и канониссой, ничего не сказал им о своем отъезде.

— Нет, — ответил он, — меня стали бы удерживать, а я, видя, что все кругом словно сговорились продлить мои мучения, мог бы уступить против воли. Ты передашь всем мои извинения и прощальный привет. Я приказал проводнику держать лошадей наготове к четырем часам утра.

Последнее было чистейшей правдой. Странные взгляды, которые Альберт бросал на него вот уже несколько часов, не ускользнули от Андзолетто. Он решил идти на все, но был готов и к бегству. На всякий случай его лошади стояли оседланными на конюшне, и проводник получил приказ не ложиться.

Когда Консуэло вернулась к себе в комнату, ее охватил настоящий ужас. Она не хотела видеть у себя Андзолетто и в то же время боялась, как

бы что-нибудь не помешало ему прийти. Двойственное, обманчивое, непреодолимое чувство не переставало терзать ее и заставляло ее сердце биться в разлад с совестью. Никогда еще не казалась она себе такой несчастной, покинутой, такой одинокой.

«О! Мой учитель Порпора, где вы? — воскликнула она в душе. — Вы один могли бы спасти меня, вам одному известен мой недуг и грозящие мне опасности. Только вы, резкий, строгий, недоверчивый, каким должен быть отец и друг, могли бы удержать меня от падения в бездну, куда я лечу. Но разве вокруг меня нет друзей? Разве граф Христиан не готов стать мне отцом? Разве не стала бы матерью для меня канонисса, имей я мужество, не боясь ее предрассудков, раскрыть ей свое сердце? А Альберт, разве он не опора моя, не брат, не муж, согласись я только произнести одно слово? Да! Он может быть моим спасителем, а я боюсь его, отталкиваю!.. Надо пойти к ним, ко всем троим, — прибавила она, вставая и начиная в волнении ходить по комнате, — я должна соединить свою судьбу с ними, искать у них защиты, укрыться под крыльями этих ангелов-хранителей. С ними обитают покой, достоинство, честь; унижение и отчаяние ждут меня подле Андзолет-

то. О да! Надо идти к ним, покаяться в том, что произошло в этот ужасный день, рассказать, что творится со мной, чтобы они могли удержать, защитить меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой, надо произнести это страшное «да», которое поставит неодолимую преграду между мной и моим мучителем. Сейчас иду. Иду к ним!..».

Но, вместо того чтобы идти, она без сил упала на стул и в отчаянии стала рыдать над своим утраченным покоем, над своей сокрушенной силой.

«Но как, — говорила она себе, — как идти к ним с новой ложью, как предлагать им себя, когда в сердце своем я заблудшая дева, неверная жена, и на устах моих, которые произнесли бы обет неизменной верности честнейшему из людей, горит еще поцелуй другого, а сердце мое трепещет нечистой радостью при одном воспоминании о нем! Ах! Самая любовь моя к презренному Андзолетто изменилась, как и он сам. Это уже не спокойная, святая привязанность тех дней, когда я, счастливая, спала, осененная крылами матери, распростертыми надо мной в вышине небес. Это страсть — столь же бурная и низкая, как и тот человек, который возбудил ее. В душе моей не

осталось уже ничего великого, ничего правдивого. С сегодняшнего утра я лгу самой себе так же, как лгу другим. Ужели я буду лгать им теперь постоянно, в каждый час своей жизни? Здесь или вдалеке — Андзолетто всегда будет предо мной. Одна мысль о завтрашней разлуке с ним мучительна для меня, и на груди у другого я буду грезить только о нем. Что же делать, как быть?».

А время шло — и страшно быстро и страшно медленно.

«Мы встретимся, — говорила она себе, — я скажу ему, что ненавижу, презираю его, что не хочу больше его видеть. Но нет, я опять лгу: я не скажу ему этого, а если у меня и хватит на это духа, я сейчас же откажусь от своих слов. Я даже не знаю, сохраню ли свое целомудрие, — Андзолетто уже не верит в него и не станет щадить меня. Да я и сама больше не верю в себя, не верю ни во что, я могу уступить ему скорее из страха, чем от слабости. О! Лучше умереть, чем пасть так низко, позволить хитрости и распутству восторжествовать над заветными устремлениями и благородными помыслами, вложенными в меня Богом!».

Она подошла к окну и в самом деле подумала, не броситься ли ей вниз, чтобы смерть избавила

ее от бесчестья, которым она уже считала себя запятнанной. Борясь с этим мрачным искушением, она перебирала в уме те пути к спасению, которые еще оставались. В сущности, в них недостатка не было, но ей казалось, что все они влекут за собой другие опасности. Прежде всего она заперла на задвижку дверь, в которую мог войти Андзолетто. Но она лишь наполовину знала этого холодного эгоиста и, много раз наблюдая его физическую храбрость, не подозревала, что он совершенно лишен того духовного мужества, когда человек ради удовлетворения своей страсти готов идти на смерть. Она думала, что он дерзнет прийти к ней, будет добиваться объяснения, поднимет шум, а между тем было достаточно малейшего шороха, чтобы привлечь внимание Альберта. В стене смежной комнаты, как почти во всех помещениях замка, была потайная лестница, которая вела на нижний этаж, прямо к покоям канониссы. Это было единственное убежище, где Консуэло могла бы укрыться от безрассудной дерзости Андзолетто. Но, чтобы канонисса впустила ее, ей пришлось бы покаяться и даже сделать это заранее, дабы не подать повода к переполоху, который от испуга легко могла бы поднять добрейшая Венцеслава. Оставался еще

сад, но Андзолетто — а он, видимо, уже хорошо изучил весь замок — мог тоже явиться туда, и это означало бы идти прямо навстречу гибели.

Обдумывая все это, Консуэло увидела из своего окна, выходившего на задний двор, свет у конюшен; разглядела она там и человека: он, не будя других слуг, то входил, то выходил из дверей и, по-видимому, готовился к отъезду. По одежде она узнала в нем проводника Андзолетто, седлавшего по его приказанию коней. Увидела она также свет у сторожа подъемного моста и не без основания подумала, что тот был предупрежден проводником об отъезде, точное время которого еще не было назначено. Пока Консуэло наблюдала за всем происходившим у конюшни, перебирая в уме тысячи предположений и проектов, ей пришел в голову довольно странный и очень смелый план. Но поскольку он являлся своего рода выходом между двумя крайними, устрашающими ее решениями, и в то же время открывал перед ней новые пути в жизни, он показался ей настоящим откровением свыше. Ей некогда было обдумывать ни способы его осуществления, ни его последствия. Способы, казалось, посылало ей само провидение, а последствий она надеялась избежать. И Консуэло принялась за нижеследу-

ющее письмо, страшно спеша, что легко можно себе представить, ибо на часах замка уже пробило одиннадцать.

Альберт! Я вынуждена уехать. Я предана вам всей душой – вы это знаете. Но во мне живут противоречивые, мучительные, мятежные чувства, которые я не в состоянии объяснить ни вам, ни себе самой. Будь вы со мной в эту минуту, я сказала бы, что вручаю себя вам, вверяю вам свою судьбу, согласна быть вашей женой, быть может, даже сказала бы вам, что хочу этого. Однако я обманула бы вас или дала бы безрассудный обет, так как сердце мое недостаточно еще очистилось от прежней любви, чтобы принадлежать сейчас вам без страха и принять вашу любовь без угрызений совести. Поэтому я бегу. Я отправляюсь в Вену, чтобы встретиться с Порпорой или дождаться его, – судя по письму, которое он прислал вашему батюшке, он уже должен находиться там или приедет туда через несколько дней. Клянусь, я еду к нему, чтобы забыть ненавистное

прошлое и жить надеждой на будущее, в котором вы для меня незыблемая опора. Не следуйте за мной, я запрещаю вам это во имя нашего будущего; ваше нетерпение сможет лишь испортить его, а может быть, и разрушить. Ждите меня и будьте верны клятве, которую вы мне дали – не ходить без меня в… Вы понимаете, о чем я говорю! Положитесь на меня, я приказываю вам это, так как ухожу со священной надеждой скоро вернуться или призвать вас к себе. Сейчас я словно вижу страшный сон, и мне кажется, что, оставшись наедине с собой, я проснусь достойной вас. Я не хочу, чтобы брат следовал за мной. Я обману его, направив по ложному пути. Во имя всего самого для вас дорогого, не мешайте ни в чем моему замыслу и верьте в мою искренность. Тогда я увижу, что вы истинно любите меня и что я могу, не краснея, принести в дар вашему богатству свою бедность, вашему титулу – свое скромное происхождение, вашей учености – свое невежество. Прощайте!.. Нет, до свидания, Альберт! Чтобы доказать вам, что я уезжаю не навсегда,

поручаю вам склонить вашу уважаемую и дорогую тетушку с благосклонностью отнестись к нашему союзу и сохранить доброе отношение ко мне вашего отца, лучшего и достойнейшего из людей. Откровенно расскажите ему обо всем. Я напишу вам из Вены.

Надежда, что подобным письмом можно убедить и успокоить человека, столь одержимого страстью, как Альберт, была, несомненно, очень смела, но не безрассудна. По мере того как она писала, Консуэло чувствовала, как к ней возвращается и сила воли и свойственное ей прямодушие. Она писала то, что думала. Она готова была выполнить все, что обещала. Она верила в глубокую проницательность, почти ясновидение Альберта, знала, что не сумела бы обмануть его, была убеждена, что он ей поверит и, в силу своего характера, беспрекословно послушается ее. В этот миг она судила о жизни и о графе Альберте столь же возвышенно, как и он сам.

Сложив письмо, но не запечатав его, она накинула дорожный плащ, покрыла голову густой черной вуалью, надела грубые башмаки, захватила имевшуюся у нее небольшую сумму денег,

немного белья и, спустившись на цыпочках, с невероятными предосторожностями, по лестнице, прошла по комнатам нижнего этажа до покоев графа Христиана и проскользнула в его молельню, куда, как ей было известно, он неизменно входил ровно в шесть утра. Она положила письмо на подушку, на которую граф, прежде чем опуститься на колени, обычно клал свой молитвенник, затем, сойдя во двор и никого не разбудив, направилась прямо к конюшням.

Проводник, чувствовавший себя не особенно спокойно глухой ночью в большом замке, где все спало мертвым сном, в первую минуту перепугался, увидев черную женщину, приближавшуюся к нему, словно привидение. Он отступил в глубь конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло. Как только она убедилась, что ее никто не может ни увидеть, ни услышать (ей было известно, что окна Альберта и Андзолетто не выходят на этот двор), она сказала проводнику:

— Я сестра молодого человека, которого ты привез сюда нынче утром. Он похищает меня. Это только что решено между нами. Скорей замени седло на его лошади дамским — их здесь несколько — и следуй за мной до Тусты, не проронив ни

слова, не сделав ни шага, который мог бы выдать прислуге замка мое бегство. Тебе будет заплачено вдвойне. Ты удивлен? Ну, живо! Как только мы доберемся до города, ты тотчас же, на этих же лошадях вернешься сюда за братом.

Проводник покачал головой.

— Тебе будет заплачено втрое.

Проводник кивком головы показал, что согласен.

— И ты во весь дух привезешь его в Тусту, где я буду ждать вас.

Проводник опять покачал головой.

— Ты получишь за вторую поездку вчетверо больше, чем за первую.

Проводник повиновался. В один миг он переседлал лошадь, на которой должна была ехать Консуэло.

— Это еще не все, — проговорила Консуэло, вскочив на лошадь, когда та еще не была окончательно взнуздана, — дай мне твою шляпу и накинь свой плащ поверх моего. На один миг.

— Понятно, — сказал проводник, — надо обмануть сторожа. Ну, это не трудное дело! Я не впервые похищаю знатных девиц! Надеюсь, ваш возлюбленный хорошо заплатит, хоть вы и сестра ему, — усмехаясь, добавил он.

— Прежде всего я сама хорошо заплачу тебе. Ну, помалкивай! Ты готов?

— Я в седле.

— Поезжай вперед и вели опустить мост.

Они проехали по мосту шагом, сделали крюк, чтобы не скакать вдоль стен замка, и через четверть часа были уже на большой, усыпанной гравием дороге. Консуэло до того ни разу в жизни не ездила верхом. К счастью, ее лошадь, хотя и сильная, была смирного нрава. Проводник подбадривал ее, прищелкивая языком, и она, несясь ровным непрерывным галопом по лесам и вересковым пустошам, через два часа доставила амазонку к месту ее назначения.

При въезде в город Консуэло остановила лошадь и спрыгнула на землю.

— Я не хочу, чтобы меня здесь видели, — сказала она проводнику, давая ему условленную плату за себя и за Андзолетто. — По городу я пойду пешком, достану здесь у знакомых людей экипаж и поеду по Пражской дороге. Я поеду быстро, чтобы до рассвета как можно дальше отъехать от мест, где меня знают в лицо. На рассвете я сделаю остановку и буду ждать брата.

— А в каком месте?

— Не знаю еще. Скажи ему, что на одной из

почтовых станций. Пусть только никого не расспрашивает, пока не отъедет на десять миль отсюда. Тогда пусть справляется о госпоже Вольф — это первое имя, которое пришло мне в голову. Смотри не забудь его. Скажи, в Прагу ведет только одна дорога?

— Одна до…

— Ну ладно! Остановись в предместье и дай передохнуть лошадям. Постарайся, чтобы не заметили дамского седла, набрось на него свой плащ. Не отвечай ни на какие вопросы и пускайся в обратный путь. Постой, еще одно слово: передай брату, пусть он не колеблется, не задерживается и уезжает так, чтобы его никто не видел. В замке ему грозит смерть.

— Господь с вами, красотка, — ответил проводник, успевший уже ощупать полученные монеты. — Да околей даже от этого мои бедные лошадки, я и то рад услужить вам.

«Досадно, однако, — подумал он, когда девушка исчезла в темноте, — мне не удалось увидеть и кончика ее носа. Хотелось бы знать, так ли она красива, чтобы стоило ее похищать. Сперва она напугала меня своим черным покрывалом и решительной походкой, — ну, да чего только не наговорили мне там, в людской, я уж не знал, что

и думать. До чего суеверны и темны эти люди со своими привидениями да с черным человеком у дуба Шрекенштейна! Эх! Больше сотни раз бывал я там и никогда его не видал. Правда, проезжая у подножия горы, я всегда старался опустить голову и смотреть вниз, в лощину».

Занятый столь бесхитростными рассуждениями, проводник задал овса лошадям, а сам, чтобы разогнать сон, хорошенько подкрепился в соседнем трактире пинтой медовой шипучки и отправился обратно в замок Исполинов, отнюдь не спеша, как надеялась и предвидела Консуэло, наказывая ему торопиться. Все больше удаляясь от нее, добрый малый терялся в догадках относительно романтического приключения, в котором был посредником. Мало-помалу, благодаря ночному мраку, а пожалуй, и парам крепкого напитка приключение это стало рисоваться ему в еще более необычайном виде. «А забавно, — думалось ему, — если б эта черная женщина оказалась мужчиной, а мужчина — привидением замка, мрачным призраком Шрекенштейна! Говорят же, что он злобно подшучивает над ночными путниками, а старый Ганс даже клялся мне, будто видел его раз десять в конюшне, когда задавал перед рассветом корм лошадям старого барона

Фридриха. Черт побери! Не очень-то оно приятно! Встретиться и побыть с такими тварями всегда к беде! Если мой бедный Серко возил на себе этой ночью сатану, он, наверно, подохнет. Сдается мне, что из его ноздрей уже пышет пламя. Как бы он еще не закусил удила! Эх! Скорей бы добраться до замка да взглянуть, уж не сухие ли листья в моем кармане вместо денег этой чертовки. А вдруг мне скажут, что синьора Порпорина, вместо того чтобы мчаться по дороге в Прагу, преспокойно почивает в своей кроватке? Кто тогда останется в дураках — черт или я? Что верно, то верно, она и вправду неслась как ветер, а когда мы с ней расстались, исчезла так быстро, словно провалилась сквозь землю».

Глава LXII

Андзолетто не преминул встать в полночь, взять свой стилет, надушиться и загасить свечу. Но в ту минуту, когда он собирался тихонько отпереть дверь (а он уже раньше приметил, что замок в ней открывается мягко и бесшумно), его крайне удивило, что ключ не поворачивается. Возясь с ним, он изломал себе все пальцы и вконец измучился, да к тому же боялся, слишком сильно толкая дверь, кого-нибудь разбудить. Но все оказалось напрасно. Другой двери из его комнаты не имелось. Окно выходило в сад на высоте пятидесяти футов от земли: стена была совершенно гладкая и неприступная, и при одной мысли о спуске по ней кружилась голова.

«Это не случайность, — сказал себе Андзолетто, еще раз тщетно попытавшись открыть дверь. Будь то Консуэло (а это хороший признак: ее страх говорил бы о ее слабости), будь то граф Альберт, все равно — они оба у меня поплатятся!».

Он решил было снова уснуть, но ему мешала досада, а быть может, какое-то беспокойство, близкое к страху. Если такую предосторожность

предпринял Альберт, значит, он один во всем доме не заблуждался относительно братских отношений между Андзолетто и Консуэло. А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегаться этого страшного человека. Как ни убеждал себя Андзолетто, что молодой граф, будучи не в своем уме, вряд ли может быть последовательным в своих действиях, и, кроме того, принадлежа к знаменитому роду и подчиняясь предрассудкам своего времени, он не пожелает драться на дуэли с комедиантом, все же эти доводы были малоуспокоительны. Альберт произвел на него впечатление человека хоть и помешанного, но тихого и вполне владеющего собой; что же касается предрассудков, то, по-видимому, они были не очень-то сильны в нем, раз он собирался жениться на актрисе. Поэтому Андзолетто стал не на шутку опасаться, что, добиваясь своей цели, нарвется, пожалуй, на столкновение с молодым графом и наживет себе совершенно попусту массу неприятностей. Такая развязка не столько пугала его, сколько казалась постыдной. Он научился владеть шпагой и льстил себя надеждой, что не отступит перед противником, как бы искусен тот ни был. Тем не менее успокоиться он не мог и так и не сомкнул

глаз всю ночь.

Около пяти часов утра ему послышались шаги в коридоре, и вскоре дверь легко и бесшумно открылась. Еще не вполне рассвело, а потому, увидав человека, столь бесцеремонно входящего в его комнату, Андзолетто подумал, что настала решительная минута. Он бросился к своему стилету и, словно бык, ринулся вперед. Но тотчас же в предрассветной мгле он узнал своего проводника, который делал ему знаки говорить потише и не шуметь.

— Что означают твои ужимки и что тебе надо, дурень? — раздраженно спросил Андзолетто. — Как ты умудрился пробраться сюда?

— Да как же иначе, если не через дверь, мой добрый синьор.

— Дверь была заперта на ключ.

— Но ключ-то вы оставили снаружи.

— Не может быть! Вот он здесь, на столе.

— Подумаешь, что за диво, — там, значит, другой.

— Кто же так подшутил надо мной, заперев меня? Вчера вечером был только один ключ; уж не ты ли проделал это, когда приходил за моим чемоданом?

— Клянусь Богом, не я, и другого ключа я не

видел.

— Ну, стало быть, это черт! Но что у тебя за озабоченный и таинственный вид и зачем ты сюда явился? Я не посылал за тобой.

— Вы не даете мне слова вымолвить. Впрочем, вы меня видите и, уж наверно, сами понимаете, что мне надо. Синьора благополучно доехала до Тусты, и вот я, по ее приказанию, вернулся с лошадьми за вами.

Понадобилось несколько мгновений, прежде чем Андзолетто сообразил, в чем дело: однако он понял все достаточно быстро, чтобы проводник, чьи суеверные страхи улетучились вместе с ночными тенями, не заподозрил снова проделок дьявола. Плут первым делом разглядел деньги, данные ему Консуэло, проверил, как они звенят на мощеном полу конюшни, и остался доволен своей сделкой с адом. Андзолетто понял все с полуслова и подумал, что беглянка, находясь, как и он, под бдительным надзором, не смогла предупредить его о своем решении. Быть может, доведенная до крайности угрозами своего ревнивца, она воспользовалась удобной минутой, чтобы расстроить все его замыслы, сбежать и вырваться на свободу.

«Как бы там ни было, — сказал он себе, — нечего

сомневаться и раздумывать. Указания, которые она прислала с человеком, доставившим ее до Пражской дороги, ясны и точны. Победа! Только бы мне выбраться вслед за ней отсюда, не скрестив ни с кем шпаги!».

Он вооружился до зубов и, поспешно собираясь, послал проводника разведать, свободен ли путь. Когда тот сообщил что, по-видимому, в доме все еще спят, кроме сторожа у подъемного моста, только что впустившего его, Андзолетто бесшумно сошел вниз, вскочил на коня и, встретив во дворе только одного конюха, подозвал его и дал ему на чай, чтобы отъезд его не показался бегством.

— Клянусь святым Венцеславом, — сказал тот проводнику, — вот странное дело! Лошади вышли из конюшни все в мыле, словно скакали ночь напролет.

— Видно, ваш черный дьявол приходил чистить их, — ответил проводник.

— Вот оно что! — подхватил конюх. — То-то я слышал всю ночь ужасный шум в той стороне, да боялся выйти посмотреть; но вот, как я вас перед собой вижу, так я слышал, как скрипела решетка и опускался подъемный мост. Я даже решил, что это вы уезжаете, и уже не думал вас встретить

нынче утром.

Сторож у подъемного моста сделал другого рода замечание.

— Ваша милость, стало быть, изволит двоиться? — спросил он, протирая глаза. — Я видел, как вы уехали в полночь, а вы опять здесь.

— Это приснилось тебе, любезный, — сказал Андзолетто, также давая ему на чай, — да я и не уехал бы, не попросив тебя выпить за мое здоровье.

— Ваша милость делает мне слишком много чести, — ответил сторож на ломаном итальянском языке. — Как бы там ни было, — прибавил он по-чешски проводнику, — а я видел в эту ночь двойников.

— Смотри, как бы будущей ночью не увидеть четверых, — ответил тот, поскакав вслед за Андзолетто по мосту. — Черный дьявол любит выкидывать штучки с такими сонями, как ты.

Итак, Андзолетто, руководясь советами и указаниями своего спутника, добрался до Тусты, или Тауса, ибо, кажется, это один и тот же город.

Отпустив проводника и взяв почтовых лошадей, он поехал дальше, воздерживаясь от каких бы то ни было расспросов на протяжении первых десяти миль, а проехав их, остановился

позавтракать, ибо умирал от голода, и справился относительно госпожи Вольф, которая должна была ждать его здесь с каретой. Понятно, никто не мог дать о ней никаких сведений.

Правда, в городке имелась одна госпожа Вольф, но она жила здесь уже пятьдесят лет и держала галантерейную лавку. Андзолетто, разбитый, измученный, решил, что Консуэло, очевидно, не нашла возможности остановиться на этом месте. Он хотел было взять наемную карету, но таковой не оказалось. И волей-неволей пришлось ему вновь взобраться на лошадь и мчаться во весь опор дальше. Он нисколько не сомневался, что вот-вот встретит заветную карету, куда бросится и тотчас будет вознагражден за все трудности и треволнения. Но путешественников встречалось очень мало, и ни в одной карете не видно было Консуэло. Наконец, в полном изнеможении, не находя нигде наемной кареты, до смерти раздосадованный, Андзолетто решил остановиться в небольшом селении у дороги и подождать Консуэло — ему уже казалось, что он опередил ее. Весь остаток дня и всю последующую ночь у него было достаточно времени, чтобы проклинать женщин, постоялые дворы, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось достать место в

проезжавшем дилижансе, и он продолжал путь в Прагу, но не с большим успехом. Предоставим же ему с бешенством и нетерпением, смешанным с надеждой, продвигаться на север, а сами вернемся на минуту в замок и посмотрим, какое впечатление произвел отъезд Консуэло на его обитателей.

Можно легко представить, что графу Альберту спалось не лучше, чем двум другим участникам этого внезапного приключения. Заручившись вторым ключом от комнаты Андзолетто, он запер дверь снаружи и перестал беспокоиться о поползновениях своего противника, прекрасно зная, что никто не пойдет его освобождать, если не вмешается сама Консуэло. Альберт содрогался при одной мысли о такой возможности, но со свойственной ему утонченной деликатностью не хотел никаких неосторожных разоблачений.

«Если Консуэло до такой степени любит его, — думал граф, — мне нечего бороться, да свершится судьба моя! А узнаю я об этом незамедлительно, ибо Консуэло правдива и завтра же открыто откажется от предложения, сделанного мною сегодня. Если же этот опасный человек только преследует ее и угрожает ей, то она хоть на сегодняшнюю ночь будет ограждена от его домогательств. Ка-

кой бы ни послышался мне теперь таинственный шорох, я не шевельнусь — не сделаю гнусности, не подвергну бедняжку мукам стыда, явившись к ней без зова. Нет! Я не буду играть роль низкого шпиона, подозрительного ревнивца, ибо до сих пор ее отказ и колебания не дали мне никаких прав на нее. Одно только успокаивает мою честь, хотя и страшит мою любовь — это сознание, что я не буду обманут. О, душа моей любимой! Ты одновременно пребываешь в груди совершеннейшей из женщин и в лоне вечного Бога. Если сквозь тайны и тени человеческой мысли тебе дано в эту минуту читать в моем сердце, внутреннее чувство должно подсказать тебе, что я люблю слишком сильно, чтобы не верить твоему слову!».

Мужественный Альберт свято выполнил принятое им на себя обязательство, и, хотя во время бегства Консуэло ему и показалось, будто на нижнем этаже он слышит ее шаги, а затем какой-то менее понятный стук со стороны подъемной решетки, он все стерпел, молился и благоговейно сложенными руками сдерживал трепетавшее в груди сердце.

Когда стало светать, он услышал шаги и стук открывшейся двери в комнате Андзолетто.

«Негодяй, — подумал он, — покидает ее самым бесстыдным образом и без всяких предосторожностей! Он точно хочет выставить напоказ свою победу. Ах, я почитал бы ничтожным зло, которое он причиняет мне, если б своей любовью он не осквернял другой души, более драгоценной и дорогой для меня, чем моя собственная».

В тот час, когда граф Христиан обычно вставал, Альберт отправился к нему — не для того, чтобы предупредить его о происходящем, а чтобы просить еще раз поговорить с Консуэло. Он был уверен, что она не солжет. Ему казалось, что она сама должна желать этого объяснения, и он готов был облегчить ее горе, даже утешить ее и притвориться покорным судьбе, чтобы смягчить горечь их расставания. Альберт не спрашивал себя, что будет потом с ним самим. Он чувствовал, что либо рассудок его, либо жизнь не вынесут такого удара, но не страшился мук, превышающих его силы.

Он встретил отца в ту минуту, когда старик входил в молельню. Письмо, положенное на подушку, одновременно бросилось в глаза обоим. Вместе они схватили его, вместе прочли. Старый граф был сражен, он испугался, что сын не перенесет удара, но Альберт, готовый к большему

несчастью, был спокоен, исполнен покорности и непоколебимого доверия.

— Она чиста, — проговорил он, — и хочет любить меня. Она чувствует, что любовь моя к ней истинна и доверие нерушимо. Господь оградит ее от опасности! Будем уповать на это, отец мой, и будем спокойны. Не бойтесь за меня, я сумею пересилить свое горе и побороть сомнения, если они овладеют мной.

— Сын мой, — сказал растроганный старик, — мы стоим с тобой перед образом Бога; это Бог твоих предков. Ты перешел в другую веру, и, как ни страдал я в сердце своем, ты знаешь, что я ни разу не упрекнул тебя. Я паду ниц перед тем самым распятием, перед которым прошлой ночью дал тебе клятву сделать все от меня зависящее, чтобы любовь твоя была услышана и освящена достойным уважения союзом. Я сдержал свое обещание и теперь возобновляю его. Я снова буду молить Всевышнего, чтобы он исполнил твои желания, и чувства мои будут в согласии с моей мольбой, Не присоединишься ли и ты к моей молитве в этот торжественный час, когда, быть может, решается на небесах судьба твоей земной любви? О! Мой благородный сын, в коем Предвечный сохранил все добродетели, вопреки

испытаниям, ниспосланным твоей прежней вере! Я видел, как ты ребенком, преклонив рядом со мной колена на могиле твоей матери, словно юный ангел, еще чуждый сомнениям, молился Верховному Владыке! Неужели ты и сегодня не вознесешь к нему своего голоса, дабы мой не звучал напрасно?

— Отец, — ответил Альберт, обнимая старца, — пусть обряды и догматы нашей веры различны, но души наши всегда сходятся на одном и том же вечном Божественном начале. Вы служите Богу премудрому, милосердному, идеалу совершенства, познания и добра, — ему я никогда не переставал поклоняться. О Иисусе Христе, распятый за нас! — произнес он, становясь на колени рядом *с* отцом перед изображением Спасителя. — Ты, коему люди поклоняются как Богу и перед коим я благоговею, как перед самым благородным и чистым проявлением всеобъемлющей любви среди нас! Услышь мою молитву ты, чья мысль вечно живет в Боге и в нас! Благослови праведные влечения и честные намерения! Пожалей порок, который торжествует, и поддержи невинность, которая борется. Предаю счастье свое в руки Господни. О милосердный Боже! Пусть направит и вдохновит твоя воля сердца,

не знающие иной силы и иного утешения, кроме пребывания твоего и деяний твоих на земле!

Глава LXIII

Андзолетто совершенно впустую продолжал путь в Прагу, так как Консуэло, дав проводнику ложные указания, необходимые, по ее мнению, для успеха задуманного плана, повернула влево по знакомой дороге — она два раза ездила с баронессой Амалией в замок, распложенный по соседству с маленьким городком Таусом. Замок этот был самым отдаленным пунктом, где ей случалось бывать во время своих редких выездов из замка Исполинов. Естественно, что местность эта и проходившие по ней дороги всплыли в ее памяти, как только она задумала и поспешно осуществила свое смелое бегство. Ей вспомнилось, что хозяйка замка, гуляя с ней по террасе и указывая на широко расстилавшийся перед глазами пейзаж, сказала:

— Эта красивая, обсаженная деревьями дорога, которая теряется, как видите, за горизонтом, ведет к Южному тракту — по ней мы ездим в Вену.

Итак, Консуэло, хорошо помня это указание, была уверена, что не заблудится и через некоторое время попадет на дорогу, по которой она приеха-

ла в Чехию. Она добралась до знакомого ей замка Бьела, прошла вдоль парка, невзирая на темноту, без труда нашла эту обсаженную деревьями дорогу и еще до рассвета очутилась почти в трех милях, считая по прямой от того места, которое ей так хотелось покинуть. Молодая, крепкая, привыкшая с детства к большим пешим переходам, к тому же побуждаемая отважной волей, она встретила зарю, не ощущая особой усталости. Небо было безоблачно, идти по сухому, довольно мягкому песку было приятно. Непривычная для Консуэло скачка верхом несколько ее утомила, но известно, что ходьба в таком случае лучше чем отдых, а у сильных, энергичных людей одна усталость заставляет забывать о другой.

Однако, когда звезды стали бледнеть, а сумрак рассеиваться, Консуэло испугалась своего одиночества. В темноте она чувствовала себя так спокойно; держась все время настороже, она была уверена, что в случае погони успеет вовремя спрятаться. Но при дневном свете, вынужденная идти по открытой местности, она не смела следовать по проезжему пути, тем более что вскоре вдали показались группы людей, разбросанные точно черные точки по белеющей среди еще темных полей полосе тракта. На таком близком расстоянии

от замка Исполинов ее мог узнать первый встречный, и потому она решила перейти на тропинку, которая, пересекая под прямым углом дорогу, огибающую холм, казалось, сокращала путь. По этой тропинке она прошла, никого не встретив, и через час очутилась в лесистой местности, где надеялась легко скрыться от людских взоров.

«Если бы мне удалось, — думала она, — никем не замеченной пройти миль восемь-десять, я могла бы спокойно выйти на большой тракт и при первом удобном случае нанять экипаж и лошадей».

Эта мысль заставила ее сунуть руку в карман и достать кошелек, чтобы сосчитать, сколько же у нее осталось денег для предстоящего ей длинного и трудного путешествия после того, как она щедро вознаградила проводника, вывезшего ее из замка Исполинов. Пока у нее еще не было времени об этом подумать, да и вряд ли она вообще решилась бы на столь отважный побег, обдумай она все с должной осторожностью. Но каковы же были ее удивление и испуг, когда кошелек оказался гораздо более легким, чем она предполагала. В спешке она, видно, захватила не больше половины имевшихся у нее денег или же впотьмах дала проводнику вместо серебряных золотые монеты,

а возможно, что, открыв кошелек для уплаты ему, она выронила часть своего состояния на пыльную дорогу, — как бы то ни было, но, пересчитав не раз и не два свои скудные средства, она более не могла заблуждаться и поняла, что весь путь до Вены ей придется проделать пешком.

Это открытие несколько обескуражило Консуэло — не из-за усталости (она нисколько ее не боялась), а из-за опасностей, подстерегающих молодую женщину во время столь долгого пешего путешествия. Страх, который она до того превозмогала, думая, что вот-вот сможет сесть в карету и избавиться от случайностей большой дороги, теперь, когда возбуждение ее улеглось, заговорил в ней с большей силой, чем она могла предвидеть. И вот, кажется, впервые в жизни испугавшись своей бедности и слабости, она быстро зашагала вперед, выбирая самые густые перелески, чтобы укрыться там в случае нападения.

Вскоре — и это еще увеличило ее тревогу — она заметила, что идет уже не по проторенной тропинке, а пробирается наугад по лесу, все более густому и дикому. Если это мрачное уединение и успокаивало ее в некотором отношении, то, с другой стороны, она была совсем не уверена, что идет в нужном направлении, и боялась, уж не

возвращается ли она назад и не приближается ли, того сама не ведая, к замку Исполинов. Андзолетто, возможно, был еще там: какое-нибудь подозрение, какая-нибудь случайность, желание отомстить Альберту могли удержать его в замке. Да разве и самого Альберта не следовало опасаться в первые минуты его смятения и отчаяния? Консуэло была убеждена, что он подчинится ее решению, но если бы она появилась в окрестностях замка и молодому графу сообщили, что ее можно догнать и вернуть обратно, разве он не примчался бы, чтобы своими мольбами и слезами добиться ее возвращения? А разве ее неудавшийся побег не поставил бы в смешное и неловкое положение и благородного молодого человека, и его семью, и саму Консуэло? К тому же через несколько дней Андзолетто мог возвратиться, а это возобновило бы те непреодолимые затруднения и опасности, которые она так смело устранила своим отважным, великодушным поступком. Нет, лучше было все претерпеть, подвергнуться любой опасности, нежели возвращаться в замок Исполинов.

Итак, она решила во что бы то ни стало найти дорогу на Вену и следовать по ней, а пока остановилась в укромном, таинственном месте, где

среди скал, под сенью старых деревьев, пробивался ручеек. Кругом виднелись маленькие следы каких-то животных. Были ли то окрестные стада или лесные звери, приходившие на водопой к источнику, скрытому среди чащи, Консуэло не знала. Она подошла к ручью, стала на колени на влажные камни и напилась студеной чистой воды, обманув этим голод, уже дававший себя чувствовать; затем, все еще стоя на коленях, призадумалась над своим положением.

«Я была бы безрассудной и пустой женщиной, если бы не смогла осуществить того, что затеяла, — сказала она себе. — Может ли быть, чтобы дочь моей матери до того изнежилась от беззаботной жизни, что не в состоянии больше переносить зной, голод, усталость, опасности? Я так мечтала о бедности и свободе среди подавляющего меня благосостояния, так жаждала избавиться от него! И вот я прихожу в ужас после первого же шага! Разве не мое врожденное призвание — устремляться вперед, страдать, дерзать? Что изменилось во мне с тех пор, как мы с моей бедной матушкой еще до зари частенько шагали натощак, подкрепляя силы водой из маленьких придорожных источников? Хороша цыганка, что может лишь распевать в театрах, спать на пуху да

путешествовать в каретах! А чего нам с матерью было опасаться? Не говаривала ли она мне при встрече с подозрительными людьми: «Ничего не бойся — тем, у кого ничего нет, ничто не угрожает, бедняки не воюют между собой». В то время она была еще молода и красива, а приходилось ли мне когда-либо видеть, чтобы ее оскорбляли прохожие? Злейшие из людей, и те щадят беззащитных. А как же существуют бедные девушки, нищенки, бродящие по дорогам, не имея иного покровителя, кроме Бога? Неужели я вроде тех девиц, что не смеют сделать шагу из дома, не вообразив, что весь мир, опьяненный их прелестями, бросится их преследовать? Разве, когда ты одна идешь по общей для всех земле, это значит, что ты будешь опозорена и утратишь честь, так как у тебя нет средств окружить себя стражами? Впрочем, моя мать была сильна, как мужчина; она стала бы защищаться как львица. А я разве не могу быть такой же мужественной и сильной? Ведь в моих жилах течет одна только добрая плебейская кровь! Разве нельзя покончить с жизнью, если тебе грозит потерять нечто более ценное? Да и, кроме того, я иду пока по спокойной стране, где жители кротки и милосердны, а когда попаду в неизвестные края, то неужели мне так не повезет

и в минуту опасности я не встречу одно из тех простых, великодушных созданий, каких Господь посылает всюду, чтобы они помогали слабым и угнетенным! Ну, будем мужественны! Сегодня, во всяком случае, мне придется бороться только с голодом. Я не зайду, чтобы купить себе хлеба, ни в одну хижину до самого вечера, пока совсем не стемнеет и я не буду далеко, далеко… Голод знаком мне, и я умею переносить его, несмотря на бесконечные пиршества, к которым хотели приучить меня в замке Исполинов. День ведь быстро проходит. Когда наступит жара, а ноги мои устанут, я припомню философскую истину, так часто слышанную мною в детстве: «Кто спит — тот обедает», запрячусь куда-нибудь в углубление скалы и ты увидишь, дорогая матушка, в эту минуту незримо идущая рядом со мной и охраняющая меня, что я умею отдыхать без диванов и без подушек».

Беседуя таким образом сама с собой, бедная девушка понемногу забывала о своих сердечных муках. Сознание большой победы, одержанной над собой, уменьшило ее страх перед Андзолетто. Ей даже казалось, что с той минуты, как ей удалось расстроить план соблазнителя, душа ее освободилась от пагубной привязанности к нему,

и в трудностях своего романтического похождения она находила какую-то грустную радость, то и дело повторяя про себя: «Тело мое страдает, зато душа спасена. Птица, не имея сил защититься, обладает крыльями, чтобы улететь, и, очутившись в воздушных просторах, смеется над ловушками и западнями».

Вспоминая Альберта, представляя себе его ужас и горе, она испытывала иные чувства, но всеми силами боролась против сострадания, овладевавшего ею при этом. Она твердо решила отстранять его образ до тех пор, пока не ощутит себя огражденной от слишком поспешного раскаяния и неосторожной нежности.

«Дорогой Альберт, благородный друг, — думала она. — Я не могу не вздыхать, представляя себе твои муки. Но только в Вене я решусь разделить их с тобой, пожалеть тебя. Только в Вене позволю я своему сердцу признаться, как оно чтит тебя и скорбит о тебе!».

«А теперь вперед!» — сказала себе Консуэло, пробуя встать. Но тщетно два или три раза пыталась она подняться, чтобы покинуть этот дикий, красивый источник, чье сладкое журчание, казалось, манило ее продлить минуты отдыха. Сон, который ей хотелось отложить до полудня,

смыкал ей веки, а голод — она не думала, что настолько отвыкла переносить его — вызывал непреодолимую слабость. Напрасно старалась она обмануть себя. Накануне она почти не притронулась к пище — слишком много было у «ее беспокойств и волнений. Какой-то туман заволакивал ей глаза; холодный, изнуряющий пот расслаблял тело. Она бессознательно поддалась усталости и в ту минуту, когда уже совсем было решила подняться и продолжать путь, тяжело опустилась на траву, голова ее склонилась на дорожный узелок, и она заснула крепким сном. Солнце, красное и жаркое, каким подчас оно бывает в короткое чешское лето, весело поднималось в небе. Ключ журчал по камешкам, словно желая своим монотонным напевом убаюкать путницу, а птицы летали над ее головой, щебеча свои нескончаемые песенки.

Глава LXIV

Консуэло проспала часа три, как вдруг шум, непохожий ни на журчание ручья, ни на щебетание птиц, вывел ее из забытья. Не имея сил подняться и еще не понимая, где она находится, девушка приоткрыла глаза и увидела в двух шагах от себя человека, нагнувшегося над камнем и пьющего воду у источника точно так, как делала она сама, — попросту подставив рот под струю. Вначале Консуэло испугалась, но, взглянув еще раз на пришельца, появившегося в ее убежище, успокоилась, так как он, казалось, почти не обращал на нее внимания — то ли потому, что уже вволю нагляделся на путницу во время ее сна, то ли потому, что вообще не особенно интересовался подобной встречей. К тому же это скорее был мальчик, чем мужчина. На вид ему было не больше пятнадцати-шестнадцати лет; он был небольшого роста, худой и очень загорелый. Лицо его — ни красивое, ни безобразное — в эту минуту ничего не выражало, кроме мирной беззаботности.

Инстинктивно Консуэло опустила на лицо

вуаль, но не изменила позы, считая, что если путник и дальше будет уделять ей так же мало внимания, как до сих пор, то лучше притвориться спящей и тем самым избегнуть неудобных для нее расспросов. Однако сквозь вуаль она не переставала следить за каждым движением незнакомца, выжидая, чтобы тот взял свою котомку и палку, лежавшие на траве, и пошел своей дорогой.

Но вскоре она увидела, что юноша тоже решил отдохнуть и даже позавтракать, так как он раскрыл свою дорожную сумку и, вынув оттуда большую краюху черного хлеба, принялся, не торопясь, резать ее и уписывать за обе щеки, застенчиво поглядывая время от времени на спящую и стараясь как можно осторожнее действовать своим складным, с пружинкой, ножом, словно боясь неожиданно разбудить ее. Этот знак внимания совсем успокоил Консуэло, а хлеб, который юный путник уплетал с таким явным удовольствием, пробудил в ней муки голода. Убедившись по изношенной одежде юноши и его запыленной обуви, что он беден и пришел издалека, она решила, что провидение посылает ей неожиданную помощь, которой следует воспользоваться. Краюха хлеба была огромная, и незнакомец мог без особого ущерба для своего

аппетита уделить ей кусочек. Консуэло встала, делая вид, что протирает глаза, как будто только что проснулась, и спокойно взглянула на юношу, чтобы внушить ему уважение на тот случай, если бы он вдруг утратил проявленную им до сих пор почтительность.

Но такая предосторожность была излишней. Как только юноша увидел ее на ногах, он слегка смутился, опустил глаза, несколько раз попытался поднять их и, наконец, ободренный выражением лица Консуэло — неотразимо доброго и привлекательного, несмотря на ее старание придать себе строгий вид, — заговорил таким приятным, благозвучным голосом, что юная музыкантша сразу почувствовала к нему расположение.

— Ну вот, сударыня, наконец-то вы проснулись, — проговорил он, улыбаясь, — вам здесь так славно спалось, что, не бойся я поступить невежливо, я последовал бы вашему примеру.

— Если вы так же любезны, как учтивы, окажите мне маленькую услугу, — сказала Консуэло покровительственным тоном старшей.

— Все, что вам будет угодно, — ответил юный путник, которому ее голос тоже показался приятным и задушевным.

— Тогда продайте мне часть вашего завтрака, —

сказала Консуэло, — если, конечно, это не будет для вас лишением.

— Продать?! — воскликнул, краснея, изумленный юноша. — О! Будь у меня настоящий завтрак, я бы не продал его вам! Разве я трактирщик? Я с удовольствием предложил бы вам его!

— Ну, так поделитесь со мной, а я взамен дам вам, на что купить себе лучший завтрак.

— Нет! Нет! — возразил он. — Вы, должно быть, смеетесь надо мной? Неужели вы так горды, что не можете принять от меня жалкого куска хлеба? Увы! Как видите, больше я ничего не могу предложить вам.

— Хорошо! Принимаю ваш хлеб, — сказала Консуэло, протягивая руку. — Вы так добры, что гордиться мне было бы стыдно.

— Берите! Берите, милая барышня! — радостно воскликнул юноша. — Вот вам хлеб, вот нож, режьте сами! Да не церемоньтесь! Едок я небольшой, а тут запасено на целый день.

— Но сможете ли вы купить еще хлеба на сегодня?

— Да ведь его везде можно достать. Ну, кушайте же, если хотите доставить мне удовольствие!

Консуэло не заставила себя больше просить, чувствуя, что было бы сущей неблагодарностью

по отношению к братски угощавшему ее юноше отказаться позавтракать с ним. И, усевшись неподалеку от него, она принялась уписывать хлеб, и по сравнению с ним все изысканные блюда, когда-либо отведанные ею за столом богачей, показались ей безвкусными и грубыми.

— Какой у вас хороший аппетит, — сказал незнакомец, — просто смотреть приятно. Ну и повезло же мне, что я вас встретил, я очень доволен! Знаете что? Давайте съедим весь хлеб: как здесь ни пустынно, набредем же мы сегодня на какое-нибудь жилье.

— Значит, местность эта вам незнакома? — равнодушным тоном спросила Консуэло.

— Я здесь впервые, но путь, только что пройденный мною от Вены до Пильзена, мне знаком, и теперь я возвращаюсь обратно той же дорогой.

— Куда обратно? В Вену?

— Да, в Вену. А вы тоже туда направляетесь?

Консуэло, не зная, брать ли юношу в спутники или уклониться от его общества, притворилась, что не расслышала, чтобы не отвечать сразу.

— Но что я говорю, — продолжал он, — разве такая красавица отправится в Вену одна? А между тем вы, видно, путешествуете: у вас такой же узелок, как у меня, и вы идете пешком, как я.

Консуэло, решив избегать расспросов юноши, пока не убедится, насколько можно доверять ему, предпочла ответить вопросом на вопрос.

— Вы из Пильзена? — спросила она.

— Нет, — ответил молодой человек, не имевший ни склонности, ни повода быть недоверчивым, — я из Рорау, из Венгрии; мой отец — каретник.

— А как же вы ушли так далеко от дома? Разве вы не занимаетесь тем же ремеслом, что и отец?

— И да и нет. Отец мой каретник, а я нет. Но в то же время он музыкант, а я страстно хочу стать музыкантом.

— Музыкантом? Браво! Это чудесная профессия.

— Может, она и ваша?

— Однако не учиться же музыке направлялись вы в Пильзен? Это, говорят, очень унылый военный город.

— О нет! У меня было поручение туда, а теперь я возвращаюсь в Вену, чтобы, найдя там себе какой-нибудь заработок, продолжать вместе с тем занятия музыкой.

— Что же вы избрали? Игру на каком-либо инструменте или пение?

— Пока и то и другое. У меня довольно хороший голос, а вот тут у меня скрипочка — хоть и пло-

хонькая, но я пытаюсь передать на ней то, что чувствую. Однако я честолюбив и мне хотелось бы достичь большего.

— Сочинять, быть может?

— Вы угадали. У меня из головы не выходит это проклятое сочинительство. Сейчас покажу вам, какой у меня в дорожной котомке добрый спутник — объемистая книга; я разорвал ее на части, чтобы можно было брать отрывки с собой в дорогу. Когда устану, я сажусь в каком-нибудь уголке, немного позанимаюсь — и усталость как рукой снимет.

— Весьма похвально. Бьюсь об заклад, что это «Gradus ad Parnassum»[27] Фукса!

— Именно! Я вижу, вы хорошо знакомы с музыкой; теперь я уверен, что вы сами тоже музыкантша. Сейчас, когда вы спали, я, глядя на вас, говорил себе: «Совсем не похожа на немку, по лицу — настоящая южанка, вполне возможно, что итальянка, и, безусловно, артистка». Поэтому-то вы и доставили мне такое удовольствие, попросив у меня хлеба. А теперь я вижу, что, хоть вы как нельзя лучше говорите по-немецки, выговор у вас все-таки иностранный.

---

[27] Примечания: 27
«Шаг на Парнас» (*лат.*).

— А что, если вы ошибаетесь? Вы тоже мало похожи на немца, и лицо у вас смуглое, как у итальянца, а между тем…

— О! Вы слишком любезны, сударыня! Лицо у меня как у африканца, и товарищи мои по хору в соборе святого Стефана прозвали меня мавром. Но вернемся к нашему разговору. Я был немало удивлен, увидев, что вы спите в лесу совсем одна, и начал строить тысячи предположений относительно вас. Быть может, думалось мне, моя счастливая звезда привела меня сюда, чтобы встретить добрую душу, которая мне поможет. Одним словом… сказать уж вам все?

— Говорите, не бойтесь.

— Мне показалось, что вы слишком хорошо одеты и слишком белы лицом для бедной странницы, а увидев у вас дорожный мешок, я вообразил, что вы состоите при некой особе, иностранке и… артистке! О! При той великой артистке, которую я жажду увидеть и чье покровительство было бы моим спасением и счастьем. Ну, мадемуазель, признайтесь, вы из какого-нибудь соседнего замка и шли с поручением куда-нибудь или возвращаетесь домой? И вы, конечно, знаете… О да! Вы должны знать замок Исполинов?

— Замок Исполинов? Вы идете в замок Испо-

линов?

— По крайней мере пытаюсь туда пробраться. Несмотря на все указания, данные мне в Клатау, я так заблудился в этом проклятом лесу, что не представляю себе, как и выбраться отсюда. К счастью, вы знаете замок Исполинов и будете так добры сказать мне, далеко ли еще до него.

— Но что же вам надо в замке Исполинов?

— Я хочу повидаться с Порпориной.

— В самом деле?

Но тут Консуэло, боясь выдать себя путнику, который мог упомянуть о ней в замке Исполинов, спохватилась и равнодушно спросила:

— А скажите, пожалуйста, кто такая эта Порпорина?

— Как, вы не знаете? Увы! Я вижу, вы совсем чужая в этих краях. Но раз вы музыкантша и знаете Фукса, то, конечно, знакомы и с именем Порпоры.

— А вы знакомы с Порпорой?

— Нет еще, но, как раз желая познакомиться с ним, я и ищу покровительства его любимой ученицы, знаменитой синьоры Порпорины.

— Расскажите же мне, как вам это пришло в голову? Быть может, я найду способ помочь вам проникнуть в этот замок и к этой Порпорине.

— Сейчас расскажу вам все. Как я уже говорил, я сын честного каретника, уроженец маленького местечка на границе Австрии и Венгрии. Отец мой — церковный ризничий и органист в нашей деревне. У моей матери, бывшей ранее поварихой у владельца наших мест, прекрасный голос, и отец вечерами, отдыхая от работы, аккомпанировал ей на арфе. Так я, естественно, пристрастился к музыке, и, помнится, с самого раннего детства для меня не было большего удовольствия, как принимать участие в наших семейных концертах. Держа в руках кусок дерева, я пилил по нему обломком рейки, воображая, что это скрипка со смычком и что я извлекаю из нее волшебные звуки. Да, да! Мне и теперь еще кажется, что мои милые щепки не были немы и дивный голос, неслышимый для других, возникал из-под моего смычка и опьянял меня неземными мелодиями.

Однажды наш родственник Франк, школьный учитель в Гаймбурге, зашел к нам, когда я играл на своей воображаемой скрипке, и его поразил охвативший меня экстаз. Он заявил, что это свидетельствует о необычайном таланте, и увез меня с собой в Гаймбург, где в течение трех лет со всей строгостью, смею вас уверить, обучал меня музыке. Какие чудесные пассажи с руладами и

фиоритурами разыгрывал он палочкой для отбивания такта на моих пальцах и ушах! Однако я не падал духом. Я учился читать и писать, у меня была настоящая скрипка, я учился простейшим приемам игры на ней, а также основным правилам пения и латинского языка. Я продвигался вперед настолько быстро, насколько это было возможно с таким нетерпеливым преподавателем, как мой родственник Франк.

Было мне около восьми лет, когда случай, или, вернее, провидение, в которое я, как добрый христианин, всегда верил, привело к нам в дом господина Рейтера, капельмейстера венского собора. Меня представили ему как чудо-ребенка, и когда я свободно разобрал с листа пьесу, то настолько понравился ему, что он увез меня в Вену, где устроил в хор мальчиков при соборе святого Стефана.

Там мы занимались всего два часа в день, а остальное время, предоставленные самим себе, могли делать все, что хотели. Но любовь к музыке подавляла во мне и детскую лень и детскую непоседливость. Стоило мне, бывало, играя с товарищами на площади, услышать звуки органа, как я бросал все и возвращался в церковь, где упивался пением и музыкой. По вечерам я

часами простаивал на улице под окнами, из которых доносились отрывки концерта или просто слышался приятный голос. Я был любознателен, я жаждал узнать, понять все, что поражало мой слух. Но особенно мне хотелось сочинять. В тринадцать лет, не зная ни единого правила, я отважился написать мессу и показал партитуру нашему учителю Рейтеру. Он поднял меня на смех и посоветовал немного поучиться, прежде чем браться за сочинительство. Ему легко было так говорить. А у меня не было возможности платить учителю, ибо родители мои слишком бедны, чтобы посылать деньги и на мое содержание и на образование. Наконец, однажды я получил от них шесть флоринов, на которые и купил себе вот эту книгу и еще книгу Маттезона. С большим жаром принялся я изучать их и находил в этом громадное удовольствие. Голос мой окреп и считался лучшим в хоре. Несмотря на сомнения и неясности, порождаемые моим невежеством, которое я силился рассеять, я все же чувствовал, что развиваюсь и в голове моей возникают музыкальные мысли. Но я с ужасом видел, что приближаюсь к тому возрасту, когда по правилам капеллы мне придется покинуть детскую певческую школу. Не имея ни средств, ни покровителей, ни учителей,

я спрашивал себя: неужели восемь лет занятий в соборе — это последние годы моего учения и я должен буду вернуться в родительский дом, чтобы обучаться каретному ремеслу? В довершение горестей я стал замечать, что маэстро Рейтер, вместо того чтобы принимать во мне участие, стал обходиться со мной весьма сурово и думал только о том, как бы приблизить час моего исключения из школы. Я не понимал причины столь незаслуженной неприязни. Некоторые из моих товарищей легкомысленно уверяли меня, что он мне завидует, находя в моих сочинительских попытках проявление музыкального гения, что он вообще ненавидит и лишает надежды молодых людей, в которых обнаруживает талант, превосходящий его собственный. Я далек от столь лестного для моего самолюбия толкования его немилости, но мне все-таки кажется, что не следовало мне показывать ему мои сочинительские опыты, он принял меня за безмозглого честолюбца и самонадеянного нахала.

— К тому же, — перебила рассказчика Консуэло, — старые учителя вообще не любят учеников, которые явно опережают их в понимании того, что им преподается. Но как вас зовут, дитя мое?

— Йозеф.

— Йозеф… а дальше?

— Йозеф Гайдн.

— Непременно запомню ваше имя, чтобы со временем, если из вас что-нибудь выйдет, понять, почему ваш учитель так неприязненно относился к вам и почему меня так заинтересовал ваш рассказ. Пожалуйста, продолжайте.

Юный Гайдн снова принялся за свое повествование, и Консуэло, пораженная сходством их судьбы — судьбы двух бедняков и артистов, внимательно вглядывалась в черты юного певчего. Его худенькое, с желтизной, лицо необыкновенно оживилось в порыве излияний, голубые глаза сверкали умом, одновременно лукавым и добродушным, и все в его манере держать себя и в способе выражаться говорило о натуре незаурядной.

Глава LXV

— Каковы бы ни были причины неприязненного отношения ко мне маэстро Рейтера, — продолжал свой рассказ Йозеф, — он доказал мне это весьма жестоко и в связи с поступком самым незначительным. У меня были новые ножницы, и я, как настоящий школьник, пробовал их на всем, что только попадалось мне под руку. Случилось так, что сидевший впереди меня мальчик-певчий, очень гордившийся своей длинной косицей, то и дело стирал ею записи, которые я делал мелом на аспидной доске. И вот в голове моей мелькнула внезапная роковая мысль. Один миг — и... крак! Ножницы мои раскрылись, и косица очутилась на полу! Учитель своим ястребиным взором следил за каждым моим движением. Прежде чем мой бедный товарищ успел заметить свою горестную утрату, меня уже разбранили, обвинили в низости и без дальнейших церемоний выгнали вон.

Вышел я из детской певческой школы в ноябре прошлого года в семь часов вечера и очутился на площади без гроша в кармане и не имея иной

одежды, кроме бывшего на мне жалкого платья. Тут на меня нашла минута отчаяния. Меня так злобно разбранили и выгнали с таким скандалом, что я вообразил, будто и в самом деле совершил немыслимый проступок. Горько оплакивал я пук волос и обрывок ленты, упавшие под моими злополучными ножницами. Товарищ, чью главу я так опозорил, прошел мимо меня, тоже плача. Никогда еще не было пролито столько слез, не испытано столько сожалений и угрызений совести из-за какой-то прусской косицы! Мне хотелось броситься моему товарищу на шею, стать перед ним на колени, но я не посмел и стыдливо спрятался в темном углу. А ведь, может быть, бедный мальчик оплакивал мою опалу еще больше, чем собственные волосы.

Я провел ночь на улице; а утром, когда я, вздыхая, размышлял о том, как необходим и вместе с тем недостижим для меня сейчас завтрак, ко мне подошел Келлер, парикмахер при певческой школе святого Стефана. Он только что причесал маэстро Рейтера, и тот, продолжая на меня злиться, ни о чем другом не мог говорить, кроме ужасного происшествия — отрезанной косицы. Поэтому шутник Келлер, заметив мою жалкую фигуру, покатился со смеху и принялся осыпать

меня язвительными насмешками. «Вот он, бич парикмахеров! — закричал он еще издали, завидев меня. — Вот он, враг всех и всякого, кто, подобно мне, поддерживает красоту шевелюры! Ах! Мой юный обрезчик волос! Милейший мой истребитель косиц! Пожалуйте-ка сюда, дайте я остригу ваши прекрасные черные кудри, чтобы наделать из них косиц взамен тех, что падут под вашими ножницами!» Я был в отчаянии, в ярости. Закрыв лицо руками, считая себя предметом всеобщей ненависти, я кинулся было бежать, но добряк Келлер остановил меня. «Куда ты, бедняга? — спросил он более мягким тоном. — Куда ты денешься без хлеба, без одежды, без друзей, да еще с таким преступлением на совести? Ну вот что, мне жаль тебя, особенно из-за твоего красивого голоса, которым я не раз наслаждался в соборе. Идем ко мне. У меня с женой и детьми всего одна комната на шестом этаже. Но и этого нам более чем достаточно, так что мансарда, которую я снимаю на седьмом, пустует. Живи в ней и кормись у нас до тех пор, пока не найдешь работы. Но чур! К волосам моих клиентов относись с должным уважением и париков моих ножницами не касайся!».

И я пошел за великодушным Келлером, мо-

им спасителем, моим отцом! Он был так добр, этот бедный труженик, что, помимо квартиры и стола, уделил мне еще немного денег, чтобы я мог продолжать учение. Я взял напрокат скверненький клавесин, весь источенный жучком, и, забившись на чердак со своими Фуксом, и Маттезоном, всецело предался своей страсти — сочинительству. С этой минуты я могу считать, что провидение стало покровительствовать мне. Всю зиму я с наслаждением изучал первые шесть сонат Эммануила Баха и, как мне кажется, хорошо их понял. В то же время небо, как бы в награду за мое усердие и настойчивость, послало мне небольшую работу, давшую мне возможность существовать и расплатиться с моим дорогим хозяином. По воскресеньям я играл на органе в домовой церкви графа Гаугвица, а перед тем по утрам исполнял партию первой скрипки в церкви Святых отцов милосердия. Кроме того, у меня нашлись два покровителя. Один из них — аббат, который написал множество стихов на итальянском языке, как говорят, очень хороших. Он в большой милости у его величества и у королевы-императрицы. Зовут его господин Метастазио; он живет в одном доме с Келлером и со мной, и я даю уроки молодой девице, которая слывет его

племянницей. Другой мой покровитель — его превосходительство венецианский посланник.

— Синьор Корнер? — с живостью спросила Консуэло.

— Ах! Вы знаете его? — воскликнул Гайдн. — Господин аббат Метастазио ввел меня к нему в дом. Мой скромный талант пришелся там по вкусу, и его превосходительство обещал устроить меня учеником к маэстро Порпоре, который сейчас вместе с госпожой Вильгельминой, супругой или возлюбленной его превосходительства, находится на водах в Маненсдорфе. Это обещание страшно обрадовало меня. Подумать только — стать питомцем такого великого учителя, лучшего в мире преподавателя пения! Изучить композицию, истинные, подлинные основы итальянского искусства! Я уже считал себя спасенным от всех невзгод, благословлял свою счастливую звезду и воображал себя великим музыкантом. Но увы! Несмотря на добрые намерения господина Корнера, ему не так просто оказалось выполнить свое обещание, как я думал, и, если я не найду более солидной рекомендации, боюсь, что не смогу даже близко подойти к Порпоре. Говорят, знаменитый маэстро — большой чудак, и насколько он может быть предан, вни-

мателен и великодушен в отношении некоторых своих учеников, настолько же бывает капризен и жесток. По-видимому, даже маэстро Рейтер меркнет перед Порпорой, и я дрожу при одной мысли увидеть его. Однако ж, хотя он сначала и отказал наотрез его превосходительству, объясняя свой отказ нежеланием брать новых учеников, я знаю, что господин посланник будет еще настаивать и поэтому не теряю надежды. Я решил терпеливо выносить самые жестокие оскорбления со стороны Порпоры, лишь бы он, браня, научил меня чему-нибудь.

— Вы приняли благое решение, — заметила Консуэло. — Рассказ о резкости великого музыканта и его суровом обращении не преувеличен. Но вы можете надеяться, ибо если вы терпеливы, способны слепо повиноваться и обладаете настоящим музыкальным дарованием, — а мне кажется, что это так, — если вы не потеряете голову при первом же налетевшем шквале и вам удастся проявить перед маэстро свою смышленость и быстроту соображения, то, поверьте мне, после трех-четырех уроков он станет для вас самым внимательным и добросовестным учителем. А если вы так же добры, как умны, в чем я почти уверена, то Порпора станет вам верным другом,

справедливым, благожелательным отцом.

— О! Вы бесконечно радуете меня. Я вижу, что вы его знаете и должны также знать его знаменитую ученицу, новую графиню Рудольштадт… Порпорину…

— Но где же вы слышали об этой Порпорине и чего хотите от нее?

— Я хочу от нее письма к Порпоре и ее деятельной поддержки, когда она будет в Вене; ведь она, конечно, поедет туда после своей свадьбы с богатым сеньором, владельцем замка Исполинов.

— А откуда вы знаете об этой свадьбе?

— Благодаря величайшей в мире случайности. Надо вам сказать, что мой друг Келлер узнал месяц тому назад, что в Пильзене умер его родственник, завещавший ему небольшое имущество. У Келлера не было ни времени, ни средств на такое путешествие, и он все не решался предпринять его, боясь, что наследство не покроет дорожных расходов и потери времени. Как раз перед этим я получил немного денег за свою работу и предложил ему съездить в Пильзен в качестве его доверенного. Вот я и отправился в этот город и в одну неделю, к своему великому удовольствию, закончил дело о наследстве Келлера. Конечно, оно не Бог весть как велико, но и

этим немногим ему не приходится пренебрегать. Я везу ему документы на владение небольшой усадьбой, и теперь он по своему усмотрению сможет либо продать ее, либо пользоваться доходами с нее. Возвращаясь из Пильзена, я очутился вчера в местечке Клатау, где и заночевал. День был базарный, и постоялый двор оказался битком набит народом. Я сидел за столом, где закусывал толстяк, которого величали доктором Вецелиусом; в жизни не встречал я большего обжоры и болтуна. «Знаете новость? — спросил он соседей. — Граф Альберт Рудольштадт, этот сумасшедший, архисумасшедший, чуть ли не бешеный, женится на учительнице, дававшей уроки музыки его двоюродной сестре. Эта авантюристка, нищая, говорят, была актрисой в Италии, и старик музыкант Порпора похитил ее, но скоро она ему опротивела и он отправил ее в замок Исполинов. Событие это держалось в величайшем секрете, и сначала, не понимая ничего в болезни и судорогах девицы, считавшейся весьма добродетельной, Рудольштадты вызвали меня для лечения злокачественной лихорадки. Но едва я успел пощупать пульс больной, как граф Альберт, по-видимому, знавший кое-что о ее добродетели, бросился на меня, словно одержимый, оттолкнул

и больше не впустил в комнату. Все было окружено полнейшей тайной. Старушка канонисса, по-моему, играла роль повитухи. Никогда уважаемой даме не приходилось переживать такого конфуза. Ребенок исчез. Но удивительнее всего, что молодой граф, не имеющий, как вы знаете, представления о времени и принимающий месяцы за годы, вообразил себя отцом ребенка и так энергично поговорил со своей семейкой, что та, боясь, как бы им снова не овладело безумие, согласилась на этот блестящий брак».

— О, какой ужас! Какая гнусность! — воскликнула Консуэло вне себя от гнева. — Это страшная, нелепая, возмутительная клевета! Целая паутина клеветы!

— Не думайте только, что я хоть на секунду поверил этому, — возразил Йозеф Гайдн. — Физиономия старого доктора так же глупа, как и зла, и, еще прежде чем его изобличили во лжи, я был уверен, что он клевещет и несет вздор. Но едва успел он докончить свою выдумку, как пять или шесть окружавших его молодых людей встали на защиту девушки, и я таким образом узнал правду. Все наперебой превозносили красоту, прелесть, скромность, ум и несравненный талант Порпорины. Всем им была понятна любовь к ней

графа Альберта, все завидовали его счастью и восхищались старым графом, согласившимся на их брак. Доктора Вецелиуса обозвали вралем и безумцем. Так как при этом упоминалось о глубоком уважении маэстро Порпоры к его юной питомице, которой он пожелал даже дать свое имя, то мне пришла в голову мысль отправиться в замок Исполинов, пасть к ногам будущей или, может быть, уже настоящей графини (говорят, будто свадьба состоялась, но это держат пока в секрете, боясь вызвать неудовольствие императорского двора), рассказать Порпорине свою историю и просить ее, чтобы она помогла мне стать учеником ее знаменитого учителя.

Несколько минут Консуэло молчала, последние слова Йозефа относительно императорского двора поразили ее. Но вскоре она снова обратилась к нему.

— Дитя мое, — проговорила она, — не ходите в замок Исполинов, вы не застанете там Порпорины. Она не вышла замуж за графа Рудольштадта, и неизвестно, состоится ли этот брак вообще. Правда, речь о том шла, и мне кажется, жених и невеста достойны друг друга. Но Порпорина, несмотря на свою преданность и дружеское расположение к графу Альберту, несмотря на

глубокое уважение и безграничное почтение к нему, не нашла возможным отнестись опрометчиво к столь серьезному делу. Она взвесила, с одной стороны, какой ущерб нанесла бы этой знатной семье, лишив ее расположения и, быть может, даже покровительства императрицы, а также уважения других знатных вельмож и жителей всего края, с другой стороны — какой вред нанесла бы она себе, отказавшись служить дивному искусству, которое с любовью изучала и которому смело решила посвятить себя. Она сказала себе, что жертва была бы велика как с той, так и с другой стороны и, прежде чем очертя голову пойти на нее, она должна посоветоваться с Порпорой, а молодому графу дать время убедиться в прочности своего чувства. И вот она взяла и отправилась в Вену пешком, без провожатого и почти без денег, унеся с собой из всех предложенных ей богатств лишь чистую совесть и гордость быть артисткой. Ушла с надеждой вернуть покой и рассудок тому, кто ее любит.

— О, тогда это настоящая артистка! Какая она умница, и какая у нее благородная душа, если она так поступила! — воскликнул Йозеф, глядя на Консуэло блестящими глазами. — И, если не ошибаюсь, с ней-то я и говорю, перед ней и

падаю ниц!

— Да, она сама протягивает вам руку и предлагает свою дружбу, советы и поддержку у Порпоры. Мы, я вижу, вместе будем продолжать путь и, если Бог поможет, как он до сих пор помогал нам обоим и как помогает всем уповающим только на Него, скоро доберемся до Вены и будем там брать уроки у одного и того же учителя.

— Слава Богу! — со слезами радости, в восторге воздевая руки к небу, воскликнул Гайдн. — То-то я почувствовал, глядя на вас, когда вы спали, что в вас есть что-то необыкновенное и что моя жизнь, моя будущность в ваших руках!..

Глава LXVI

После того как молодые люди познакомились ближе, дружески обсудив подробности своего положения, они стали думать, как им лучше добраться до Вены и какие меры предосторожности следует принять. Прежде всего они вынули кошельки и сосчитали свои деньги. Консуэло все-таки оказалась богаче своего спутника. Но их соединенных капиталов хватало только на то, чтобы без особых лишений проделать путь пешком, не страдая от голода и не проводя ночи под открытым небом. Ни о чем другом нечего было и мечтать, и Консуэло примирилась с этим. Однако, невзирая на философскую веселость девушки, Йозеф был озабочен и задумчив.

— Что с вами? — спросила она. — Вы, быть может, боитесь, что я окажусь для вас обузой в пути? А я готова биться об заклад, что хожу лучше вас.

— Вы, конечно, все делаете лучше, чем я, — ответил он, — но меня тревожит вовсе не это. Меня печалит и пугает мысль, что вы молоды и красивы, что взоры встречных будут с вожделением останавливаться на вас и я мал ростом и тщеду-

шен — при всем желании отдать за вас жизнь, быть может, не в силах буду защитить вас.

— Есть о чем думать, бедный мой мальчик! Будь я даже так хороша, чтобы привлекать взоры прохожих, я полагаю, что уважающая себя женщина всегда сможет внушить почтение, если умеет держать себя.

— Будь вы уродливы или красивы, молоды или стары, дерзки или скромны — вы не в безопасности на этих дорогах, запруженных солдатами и разного рода бездельниками. С тех пор как заключен мир, страна наводнена военными, возвращающимися по своим гарнизонам, особенно волонтерами — любителями приключений, которые, очутившись без дела и не зная, где теперь поживиться, грабят прохожих, берут поборы с крестьян и вообще ведут себя, как в завоеванной стране. Бедность наша является для нас в некотором роде защитой, но довольно того, что вы женщина, чтобы пробудить в них звериные инстинкты. Я серьезно думаю об изменении нашего маршрута. Вместо того чтобы идти на Писек и Будвейсс — укрепленные города, через которые постоянно проходят расформированные войска и прочий сброд, — мы поступим благоразумнее, спустившись по течению Влтавы горными, более

или менее пустынными ущельями, где ничто не возбуждает жадности этих господ и где некого грабить. Мы пройдем вдоль реки до Рейхенау и попадем в Австрию через Фрейштадт. А очутившись на имперской земле, мы будем под защитой полиции, не столь беспомощной, как чешская.

— Вы, значит, знакомы с этой дорогой?

— Я даже не знаю, существует ли она, но у меня в кармане есть маленькая карта. Покидая Пильзен, я предполагал — для разнообразия — возвратиться через горы и пострансствовать…

— Что ж, пусть будет так. Мысль ваша мне по душе, — сказала Консуэло, рассматривая развернутую Йозефом карту. — Везде есть тропинки для пешеходов и хижины, готовые приютить скромных людей с тощим карманом. Да, я вижу горную цепь; она идет к истокам Влтавы, а потом тянется вдоль реки.

— Это главная горная цепь Богемского леса. Там расположены ее самые высокие хребты — она служит границей между Баварией и Чехией. Придерживаясь этих высот, мы без труда доберемся до нее. Они указывают на то, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Раз теперь, слава Богу, ничто не влечет меня в этот замок Исполинов, который никак не найти,

я не сомневаюсь, что сумею провести вас верной и кратчайшей дорогой.

— Так в путь! — сказала Консуэло. — Я вполне отдохнула. Сон и ваш чудесный хлеб вернули мне силы, и я думаю, что сегодня смогу пройти еще добрых две мили. К тому же мне хочется как можно скорее уйти из этих мест, где я все-таки боюсь встретить кого-нибудь, кто меня знает.

— Постойте, — проговорил Йозеф, — у меня мелькнула интересная мысль!

— Посмотрим какая!

— Если вам не претит переодеться мужчиной, ваше инкогнито будет обеспечено и вы избежите во время наших ночлегов всех дурных предположений, какие могут возникнуть относительно девушки, которая путешествует вдвоем с молодым человеком.

— Мысль недурна, но вы забываете, что мы не так богаты, чтобы делать покупки. Кроме того, где найти одежду по моему росту?

— Видите ли, мысль эта, пожалуй, не пришла бы мне в голову, не имей я с собой всего, что нужно для ее выполнения. Мы с вами одного роста, что делает больше чести вам, чем мне, а у меня в мешке есть новый, с иголочки, костюм, который совершенно изменит вашу внешность.

Вот история этого костюма: мне прислала его моя добрая матушка. Думая сделать мне полезный подарок и желая, чтобы я был прилично одет, когда явлюсь в посольство давать уроки барышням, она решила заказать для меня в своей деревне изящнейший костюм по нашей тамошней моде. Правда, костюм живописен и материя хорошая, вы увидите. Но представляете, какое впечатление я произвел бы в посольстве и каким взрывом смеха встретила бы меня племянница господина Метастазио, покажись я в деревенском казакине и широчайших сборчатых штанах! Я поблагодарил мою бедную матушку за доброе намерение, а сам решил продать костюм какому-нибудь крестьянину или странствующему актеру. Вот почему я и захватил его с собой, но, к счастью, не нашел случая сбыть. Здешние жители утверждают, что костюм старомоден, и спрашивают, польский он или турецкий.

— А вот случай и нашелся! — воскликнула, смеясь, Консуэло. — Мысль ваша превосходна, и странствующая актриса вполне удовольствуется вашими турецкими штанами, которые, кстати, очень похожи на юбку. Покупаю у вас костюм, правда, в долг, а еще лучше — с условием, что вы отныне становитесь кассиром нашей шкатулки,

как выражается, говоря о своей казне, прусский король, и будете оплачивать мои путевые расходы до Вены.

— Там видно будет, — проговорил Йозеф и положил кошелек в карман с твердым намерением не брать за костюм денег. — Теперь остается узнать, подойдет ли вам костюм. Я заберусь вон в ту рощу, а вы идите за эти скалы: там вы найдете для себя просторную и надежную комнату для переодевания.

— В таком случае выходите на сцену, — ответила Консуэло, указывая на рощу, — а я удалюсь за кулисы.

И в то время как ее почтительный спутник добросовестно углублялся в рощу, она, спрятавшись за скалу, занялась переодеванием. Когда Консуэло вышла из убежища и взглянула в воду источника, послужившего ей зеркалом, она не без некоторого удовольствия увидела в ней прелестнейшего крестьянского мальчика.

Ее тонкую и гибкую, как тростник, талию опоясывал широкий красный кушак, а стройная, словно у серны, ножка скромно выглядывала из-под широких складок шаровар, едва доходивших ей до щиколотки. Черные волосы, которые она никогда не пудрила, были острижены во

время болезни и теперь кольцами вились вокруг лба. Она растрепала их рукой, придав прическе небрежный вид, подобающий юному пастушку. Умея, как актриса, носить любой костюм, умея даже благодаря мимическому таланту мгновенно придавать своему лицу простодушное и простоватое выражение, она почувствовала себя настолько преображенной, что к ней сразу вернулись мужество и спокойствие. Как бывает с актерами, облачившимися в театральное платье, она не только вошла в роль, но до того перевоплотилась в изображаемый персонаж, что невольно ощутила беспечность и прелесть невинного бродяжничества, задор, силу и живость мальчишки, вырвавшегося на свободу.

Ей пришлось трижды свистнуть, прежде чем Гайдн, ушедший в глубь рощи дальше, чем было нужно, не то из почтительности, не то из опасения перед соблазном заглянуть в расщелину скалы, вернулся к ней. Увидев преобразившуюся девушку, он вскрикнул от удивления и восторга; хоть он и ожидал найти ее изменившейся, однако в первое мгновение едва поверил собственным глазам. Это превращение поразительно красило Консуэло, и юному музыканту она показалась совсем иной.

К наслаждению, какое испытывает подросток, любуясь женской красотой, всегда примешивается некоторое чувство страха, и одежда, придающая женщине даже в глазах людей искушенных известную таинственность и загадочность, играет немалую роль в его беспокойстве и смущении. Йозеф, чистый душой, что бы ни говорили некоторые его биографы, был юношей целомудренным и робким. Он был ослеплен, когда увидел Консуэло, спящую у источника, раскрасневшуюся от заливающих ее солнечных лучей, неподвижную, точно прекрасная статуя. Говоря с нею и слушая ее, он ощутил дотоле не испытанное им сердечное волнение, которое приписывал восторгу и радости от столь счастливой встречи. Но сердце его учащенно билось все те четверть часа, которые он провел вдали от нее в роще, во время ее таинственного переодевания. Сейчас первоначальное волнение снова охватило его, и, подходя к Консуэло, он делал величайшее усилие, чтобы скрыть под маской беспечности и веселости смертельную тревогу, пробуждавшуюся в его душе.

Столь удачная перемена одежды, словно в самом деле превратившая девушку в юношу, внезапно изменила также и душевное состояние Йозефа. Теперь он ощутил к ней порыв только

братской живейшей дружбы, неожиданно возникшей между ним и его милым попутчиком. То же стремление нестись вперед, видеть новые места, то же презрение к дорожным опасностям, та же заразительная веселость — все, что воодушевляло в эту минуту Консуэло, захватило и его, и они легко, как две перелетные пташки, пустились в путь по лесам и долинам.

Однако, пройдя несколько шагов и видя, как она несет на плече привязанный к палке узелок с вещами, к которым прибавилось только что снятое женское платье, Йозеф позабыл, что должен считать ее мальчиком. Между ними по этому поводу разгорелся спор: Консуэло доказывала, что он и так более чем достаточно нагружен своей дорожной котомкой, скрипкой и тетрадью «Gradus ad Parnassum»; Йозеф же решительно объявил, что положит узелок Консуэло в свою котомку, а она ничего нести не будет. Ей пришлось уступить, но, для того чтобы выглядеть правдоподобнее и для соблюдения между ними мнимого равенства он согласился, чтобы Консуэло несла на перевязи его скрипку.

— Знаете, — говорила она ему, добиваясь этой уступки, — необходимо, чтобы у меня был вид вашего слуги или по крайней мере проводника,

ибо я крестьянин, это ясно, а вы горожанин.

— Какой там горожанин, — отвечал, смеясь, Гайдн, — ни дать ни взять подмастерье парикмахера Келлера!

Славный юноша был немного огорчен, что не может показаться перед Консуэло в более изящном одеянии, чем его выцветший от солнца и несколько истрепавшийся в дороге костюм.

— Нет, — сказала Консуэло, желая утешить его, — у вас вид юноши из зажиточной семьи, который промотал денежки и теперь возвращается в отчий дом с подручным садовника, соучастником его похождений.

— Мне кажется, нам лучше всего взять на себя роли, которые наиболее подходили к нашему положению, — возразил Йозеф. — Мы оба, а особенно вы, можем казаться только тем, чем являемся в данную минуту, — то есть бедными странствующими актерами. А так как обычно такого рода люди одеваются как могут, в то, что найдется или что придется по карману, то нередко можно встретить трубадуров вроде нас, которые бродят по дорогам в обносках какого-нибудь маркиза или солдата. Вот и мы можем носить: я — черный потертый костюм скромного учителя, а вы — необычное в этих краях платье венгерского

крестьянина. Хорошо даже в случае расспросов сказать, что мы недавно странствовали в тех местах. Я могу с видом знатока распространяться о знаменитом селе Рорау, никому не ведомом, и о великолепном городе Гаймбурге, до которого никому нет дела. Ну, а вас всегда выдаст ваше милое итальянское произношение, и вы хорошо сделаете, если не будете отрицать, что вы итальянец и певец по профессии.

— Кстати, нам надо придумать себе прозвища, таков обычай. Ваше уже найдено: поскольку я итальянец, я буду звать вас Беппо, это уменьшительное от Йозеф.

— Зовите как хотите. У меня то преимущество, что я не известен ни под каким именем. Вы — другое дело: вам непременно надо прозвище. Какое же вы себе выберете?

— Да первое попавшееся уменьшительное венецианское имя, хотя бы Нелло, Мазо, Ренцо, Дзото… О нет, только не это! — воскликнула она, когда у нее по привычке сорвалось с языка уменьшительное имя Андзолетто.

— Почему же не это? — спросил Йозеф, уловивший, с какою страстностью она произнесла эти слова.

— Оно принесет мне несчастье. Говорят, есть

такие имена…

— Ну, так как же мы окрестим вас?

— Бертони. Это распространенное итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от имени Альберт.

— Синьор Бертони! Хорошо звучит, — проговорил Йозеф, силясь улыбнуться. Но то, что Консуэло вспомнила о своем знатном женихе, кинжалом вонзилось в его сердце. И, глядя, как она идет впереди него легкой, непринужденной походкой, он сказал себе в утешение: «А я было совсем привык, что она мальчик!».

Глава LXVII

Вскоре они вышли на опушку леса и направились на юго-восток. Консуэло шла с непокрытой головой, а Йозеф, видя, как солнце опаляет ее белое, нежное лицо, не решался высказать ей по этому поводу свое огорчение. Шляпа на нем была далеко не новая, он не мог предложить ее девушке и, чувствуя, что ничем не в состоянии ей помочь, не хотел упоминать о своей напрасной тревоге; он только сунул шляпу под мышку таким резким движением, что оно было замечено его спутницей.

— Вот странная фантазия! — заметила она. — Вы, должно быть, находите погоду пасмурной, а равнину тенистой? Это напоминает мне о том, что моя собственная голова не покрыта. А поскольку я не всегда была избалована благами жизни, то знаю множество способов, как добывать их себе без особых расходов. — Говоря это, она сорвала ветку дикого винограда и, скрутив ее жгутом, сделала себе шляпу из зелени.

«Вот теперь она похожа на музу, — подумал Йозеф, — и опять перестала быть мальчиком».

Они преходили селом; заметив лавку, где продается всякая всячина, Йозеф поспешно вошел в нее и, прежде чем Консуэло могла угадать его намерение, появился, держа в руке простенькую соломенную шляпу с широкими, приподнятыми с боков полями, какие носят крестьяне придунайских равнин.

— Если вы начнете так роскошествовать, — сказала она, надевая новый головной убор, — то к концу нашего путешествия мы, пожалуй, останемся без хлеба.

— Вам остаться без хлеба! — с живостью воскликнул Йозеф. — Да я лучше стану просить милостыню у прохожих, за медяки кувыркаться на площадях... и не знаю, что еще! Нет! Нет! Со мной вы ни в чем не будете нуждаться! — И, видя, что его жар несколько удивляет Консуэло, он прибавил, стараясь умалить свои пылкие чувства: — Подумайте только, синьор Бертони, ведь вся моя будущность зависит от вас, судьба моя в ваших руках, и в моих интересах доставить вас целой и невредимой к маэстро Порпоре. Мысль о том, что ее спутник может внезапно в нее влюбиться, даже не возникала у Консуэло: целомудренным и простодушным женщинам редко приходят в голову такие предположения,

появляющиеся зато у кокеток при каждой новой встрече, — быть может, потому, что те сами стремятся вызвать подобные чувства. Кроме того, очень молодая женщина обычно смотрит на мужчину своего возраста, как на мальчика. Консуэло была на два года старше Гайдна, а он был так мал и тщедушен, что ему с трудом можно было дать лет пятнадцать. Она прекрасно знала, что на самом деле он старше, но ей и на ум не приходило, что его воображение и чувства уже пробудились для любви. Однако, остановившись передохнуть и полюбоваться чудесным видом, какие встречаются на каждом шагу в этой горной местности, она заметила, что Йозеф смотрит на нее в каком-то экстазе.

— Что с вами, друг Беппо? — наивно спросила она. — Вы как будто чем-то встревожены, и я не могу отделаться от мысли, что я вас стесняю.

— Не говорите так! — горестно воскликнул он. — Неужели вы такого плохого мнения обо мне и отказываете мне в доверии и дружбе, за которые я охотно отдал бы жизнь.

— В таком случае не грустите, если только у вас нет иного повода к печали, которым вы не поделились со мной.

Йозеф впал в мрачное молчание, они шли, а он

все не находил в себе силы прервать его. И чем дольше длилось это молчание, тем все в большее и большее смущение приходил юноша: он боялся, что тайна его будет разгадана, но никак не мог найти темы для возобновления разговора. Наконец, сделав над собой огромное усилие, он проговорил:

— Знаете, о чем я серьезно подумываю?

— Нет, не догадываюсь, — ответила Консуэло; все это время она была погружена в собственные мысли и не находила ничего странного в его молчании.

— Я шел и думал: вот бы хорошо поучиться у вас итальянскому языку, если только это не будет вам в тягость. Прошлой зимой я начал изучать этот язык по книгам, но так как никто не занимался со мной произношением, то я не смею выговорить при вас ни слова. Между тем я понимаю все, что читаю, и, если бы во время нашего путешествия вы были бы так добры и заставили меня стряхнуть ложный стыд, поправляя меня на каждом слове, мне кажется, что при моем музыкальном слухе труд ваш не пропал бы даром.

— О! С огромным удовольствием! — воскликнула Консуэло. — Мне нравится, когда люди не теряют в жизни ни одной минуты, чтобы на-

учиться чему-либо, а так как, уча, учишься, то нам обоим будет очень полезно поупражняться в произношении этого в высшей степени музыкального языка. Вы считаете меня итальянкой, но на самом деле это не так, хотя я и говорю по-итальянски почти без акцента. По-настоящему же хорошее произношение у меня только в пении. И когда мне за-хочется донести до вас всю гармонию итальянских звуков, я буду петь трудные слова. Убеждена, что плохое произношение лишь у тех, кто не имеет слуха. Если ухо ваше в совершенстве улавливает оттенки, то вам останется только запомнить их, чтобы правильно повторять.

— Значит, это будет одновременно и урок итальянского языка и урок пения! — воскликнул Йозеф.

«И урок, который будет длиться целых пятьдесят лье! — с восторгом подумал он. — Если так — да здравствует искусство, наименее опасное и наименее неблагодарное из всех страстей!».

Урок начался тотчас же, и Консуэло, которая сперва с трудом удерживала смех всякий раз, как Йозеф произносил что-нибудь по-итальянски, вскоре стала восхищаться легкостью и тщательностью, с какими он исправлял свои ошибки.

Между тем юный музыкант, страстно желая услышать голос знаменитой певицы и видя, что повода к этому все не появляется, прибегнул к маленькой хитрости. Притворившись, будто ему не удается придать итальянскому «а» должную ясность и четкость, он пропел мелодию Лео, где слово «felicita»[28] повторялось несколько раз. Консуэло тотчас же, не останавливаясь и продолжая дышать так же ровно, как если бы сидела у себя за клавесином, пропела эту фразу несколько раз подряд. При звуке ее голоса, такого сильного, такого проникающего в душу, с которым не мог сравниться ни один голос того времени, дрожь пробежала по телу Йозефа, и он с возгласом восторга судорожно сжал руки.

— Теперь ваш черед, попробуйте! — проговорила Консуэло, не замечая его возбужденного состояния.

Гайдн пропел фразу, да так хорошо, что его юный профессор захлопал в ладоши.

— Превосходно! — сказала ему Консуэло искренним, сердечным тоном. — Вы быстро усваиваете, и голос у вас чудесный.

— Можете говорить обо мне все, что угодно,

---

[28] Примечания: 28
Счастье (*итал.*).

но сам я никогда не смогу вымолвить о вас ни единого слова.

— Да почему же? — спросила Консуэло.

Тут, повернувшись к нему, она заметила, что глаза его полны слез и он все еще сжимает руки, хрустя суставами, как шаловливый ребенок или страстно увлеченный мужчина.

— Давайте прекратим пение, — сказала она, — вон навстречу нам едут всадники.

— Ах, Боже мой! Да, да! Молчите! — воскликнул вне себя Йозеф. — Только бы они вас не услышали, а то сейчас спрыгнут с коней и падут ниц перед вами!

— Ну, этих страстных любителей музыки я не боюсь — это мясники, которые везут с собой телячьи туши.

— Ах! Надвиньте ниже шляпу, отвернитесь! — ревниво вскричал Йозеф, подходя к ней еще ближе. — Пусть они вас не видят, пусть они вас не слышат! Пусть никто, кроме меня, не видит и не слышит вас!

Остаток дня прошел то в серьезных занятиях, то в ребяческой болтовне. Упоительная радость заливала взволнованную душу Йозефа, и он никак не мог решить, кто же он — самый ли робкий из поклонников красоты или самый пылкий из

друзей искусства. Консуэло, казавшаяся ему то лучезарным кумиром, то чудесным товарищем, заполняла всю его жизнь, преображала все его существо. Под вечер он заметил, что она едва плетется и что усталость взяла верх над ее веселым нравом. Невзирая на частые привалы под тенью придорожных деревьев, она вот уже несколько часов чувствовала себя совсем разбитой. Но именно этого она и добивалась, и даже если бы ей не надо было как можно скорей покинуть этот край, она и тогда стремилась бы усиленным движением, напускной веселостью отвлечься от своих душевных мук. Первые вечерние тени, навевая грусть на окружающую природу, вновь пробудили в душе Консуэло мучительные чувства, с которыми она так мужественно боролась. Ей рисовался мрачный вечер в замке Исполинов и предстоящая ночь, быть может, ужасная для Альберта. Подавленная такими мыслями, она невольно остановилась у подножия большого деревянного креста, отмечавшего на вершине голого холма место свершения какого-либо чуда или злодейства, память о котором сохранило предание.

— Увы! Вы гораздо больше устали, чем хотите в этом сознаться, — сказал ей Йозеф. — Но наш

путь близится к концу: я уже вижу там, в глубине ущелья, огоньки какой-то деревушки. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит сил понести вас, а между тем, если б вы только пожелали…

— Дитя мое, — улыбаясь, ответила она ему, — вы уж очень гордитесь тем, что вы мужчина. Пожалуйста, не презирайте так сильно мой пол и поверьте — сейчас у меня больше сил, чем осталось у вас для самого себя. Я запыхалась, взбираясь по этой тропинке, вот и все, а если я остановилась, то потому лишь, что мне захотелось петь.

— Слава Богу! — воскликнул Йозеф. — Пойте же здесь, у подножия креста, а я стану на колени… Ну, а если пение еще больше утомит вас?..

— Это будет недолго, — сказала Консуэло, — у меня явилась фантазия пропеть здесь одну строфу из гимна, который я пела с матерью утром и вечером, когда нам попадалась на пути часовня или крест, водруженный, как вот этот, на перекрестке четырех дорог.

Однако истинная причина, побуждавшая Консуэло запеть, была еще романтичнее. Думая об Альберте, она вспомнила о его почти сверхъестественной способности видеть и слышать на расстоянии. Она живо вообразила себе, что в эту

самую минуту он думает о ней, а быть может, даже видит ее. И, полагая, что сможет облегчить его муку, общаясь с ним через пространство и ночь словами заветной песни, Консуэло взобралась на камни, служившие основанием кресту, и, повернувшись в ту сторону, где должен был находиться замок Исполинов, полным голосом запела стих из испанского духовного гимна. «О, consuelo de mi alma…».

«Боже мой, Боже мой! — сказал себе Гайдн, когда она умолкла. — До сих пор я не слышал пения, я не знал, что значит петь! Неужели существуют другие человеческие голоса, подобные этому? Услышу ли я когда-нибудь что-либо равное тому, что открылось мне сегодня? О музыка! Святая музыка! О гений искусства! Как ты воспламеняешь меня и как устрашаешь!».

Консуэло спустилась с камня, на котором она, словно Мадонна, стояла, выделяясь стройным силуэтом в прозрачной синеве ночи. В порыве вдохновения она, в свою очередь, подобно Альберту, вообразила, что сквозь леса, горы и долины видит его сидящим на скале Ужаса, спокойным, покорным, преисполненным святой надежды. «Он слышал меня, — подумала она, — узнал мой голос и свою любимую песню; он понял меня и

теперь вернется в замок, поцелует отца и, быть может, спокойно уснет».

— Все хорошо, — сказала она Йозефу, не замечая его неистового восторга.

Потом, обернувшись, она прикоснулась губами к грубому дереву креста. Быть может, в этот самый миг Альберт, в силу странного, непонятного совпадения, ощутил как бы удар электрического тока, разрядивший напряженность его мрачной воли и внесший в самые таинственные глубины его души блаженное умиротворение. Возможно, что именно в этот миг он впал в тот глубокий, благотворный сон, в котором и застал его, к своей великой радости, встревоженный отец на рассвете следующего дня.

Селение, чьи огоньки наши путники заметили в темноте, в действительности оказалось обширной фермой, где их гостеприимно встретили. Семья добрых землепашцев ужинала под открытым небом, у порога своего дома, за грубым деревянным столом, куда их усадили со спокойным радушием. Их ни о чем не спрашивали, на них едва взглянули. Эти славные люди, утомленные долгим и знойным рабочим днем, ели молча, наслаждаясь простой, обильной пищей. Консуэло нашла ужин превосходным, а Йозеф

забывал о еде, глядя на бледное, благородное лицо Консуэло, выделявшееся среди крупных, загорелых крестьянских лиц, таких же кротких и тупых, как морды волов, что паслись на траве вокруг них и, медленно пережевывая жвачку, работали челюстями с не меньшим шумом, чем их хозяева.

Каждый из сотрапезников, насытившись и сотворив крестное знамение, уходил спать, предоставляя более крепким предаваться застольным радостям, сколько им заблагорассудится. Как только мужчины встали из-за стола, ужинать сели прислуживавшие им женщины вместе с детьми. Более живые и любопытные, они задержали юных путешественников и засыпали их вопросами. Йозеф взял на себя труд рассказать им заранее заготовленные на такой случай басни, которые, в сущности, не так далеки были от истины: он выдавал себя и своего товарища за бедных странствующих музыкантов.

— Какая жалость, что сегодня не воскресенье, — заметила одна из самых молоденьких девушек, — мы поплясали бы под вашу музыку.

Женщины заглядывались на Консуэло, принимая ее за красавца юношу, а та, чтобы получше сыграть свою роль, кидала на них смелые, вызы-

вающие взгляды. Вначале она было вздохнула, представив себе всю прелесть этих патриархальных нравов, столь далеких от ее беспокойной бродячей жизни. Но, увидев, как бедные женщины, стоя позади мужей, почтительно прислуживают им, а затем весело доедают остатки, одни — кормя грудью малюток, другие, словно прирожденные рабыни, ублажая своих сыновей-мальчуганов, заботясь прежде всего о них, а потом уже о дочерях и о себе, она поняла, что эти добрые земледельцы всего лишь рабы голода и нужды: самцы — прикованные к земле, плугу и скотине батраки, а самки — прикованные к хозяину, то есть к мужчине, затворницы, вечные служанки, обреченные трудиться без отдыха среди тягот и мук материнства. С одной стороны, над ними стоит владелец земли, угнетающий или грабящий работника, не оставляя ему даже самого необходимого из плодов его тяжкого труда; с другой — скупость и страх, передающиеся от хозяина к арендатору, обрекающие последнего сурово и скаредно относиться к собственной семье и собственным нуждам. И тут это мнимое благополучие стало казаться Консуэло лишь следствием отупения от невзгод или оцепенения от усталости; и она сказала себе, что лучше быть артистом или бродягой,

чем хозяином или крестьянином, ибо обладание землей, так же как и снопом ржи, связано либо с несправедливой тиранией, либо с мрачной, все подавляющей алчностью.

— Viva la liberta![29] — сказала она Йозефу по-итальянски, в то время как женщины шумно мыли и убирали посуду и немощная старуха размеренно, как машина, вертела колесо прялки.

К своему удивлению, Йозеф услышал, что некоторые крестьянки кое-как болтают по-немецки. Он узнал от них, что глава семьи, которого он видел в одежде землепашца, дворянин по происхождению, что он в молодости обладал небольшим состоянием и получил кое-какое образование, но война за австрийское наследство совершенно его разорила и, не видя другого выхода, чтобы поднять свое многочисленное семейство, он стал фермером соседнего аббатства. Это аббатство страшно обирало его, он только что выплатил сбор за митру — то есть налог, взимаемый имперской казной с религиозных общин при каждой смене епископа. Фактически этот налог уплачивали ленники и арендаторы церковных владений сверх собственных повинностей и мел-

---

[29] Примечания: 29
Да здравствует свобода! (*итал.*)

ких поборов. Работники, трудившиеся на ферме, были крепостными, но отнюдь не считали себя более несчастными, чем их хозяин. Коронным откупщиком был еврей. Из аббатства, которое он донимал, его отсылали к землепашцам, которых он донимал еще больше, и как раз этим утром он потребовал и получил от фермера сумму, составлявшую сбережения последнего за несколько лет. Притесняемый и католическими священниками и лихоимцами-евреями, бедняга не знал, кого из них больше ненавидеть и бояться.

— Видите, Йозеф, — сказала Консуэло своему товарищу, — не была ли я права, когда говорила, что мы одни с вами богаты в этом мире? Мы не платим налогов за свои голоса и работаем лишь тогда, когда нам вздумается.

Настало время ложиться спать. Консуэло была до того утомлена, что заснула на скамейке у входа. Йозеф воспользовался этой минутой и попросил хозяйку предоставить им кровати.

— Кровати, мой милый? — воскликнула она, улыбаясь. — Хорошо, если мы сможем дать вам хоть одну, а вы уж как-нибудь устройтесь на ней вдвоем.

Этот ответ заставил бедного Йозефа покраснеть. Он взглянул на Консуэло, но, увидев, что она

ничего не слыхала, преодолел свое смущение.

— Мой товарищ очень устал, и, если вы сможете уступить ему хоть какую-нибудь кровать, мы за нее заплатим, сколько вы пожелаете. Мне же довольно угла в риге или в коровнике.

— Ну, если этому мальчику нездоровится, то мы по доброте своей дадим ему кровать в общей комнате — три наших дочки улягутся на одной. Только скажите вашему товарищу, чтобы он вел себя смирно и прилично, а то мой муж и зять спят в той же комнате и быстро сумеют его образумить.

— Я отвечаю за скромность и порядочность моего товарища, только надо узнать, не предпочтет ли он спать на сене, нежели в комнате, где так много народу.

Бедному Йозефу поневоле пришлось разбудить синьора Бертони, чтобы сообщить ему о предложении хозяйки. Против его ожидания Консуэло вовсе не испугалась. Она нашла, что раз девушки спят в одной комнате с отцом и зятем, то ей будет там безопаснее, чем где-либо в другом месте, и, пожелав Йозефу покойной ночи, она проскользнула за четыре коричневые шерстяные занавески, скрывавшие указанную ей кровать, а там, едва успев раздеться, заснула крепчайшим сном.

Глава LXVIII

Проспав несколько часов в тяжелом оцепенении, Консуэло проснулась от какого-то непрерывного шума. С одной стороны старуха бабушка, чья кровать почти касалась ее кровати, надрывалась от пронзительного, раздирающего грудь кашля; с другой — молодая женщина кормила грудью ребенка и убаюкивала его пением; храп мужчин напоминал звериное рычание; маленький мальчик плакал, ссорясь со своими тремя братьями, лежавшими на одной с ним постели; женщины поднялись, чтобы утихомирить их, и своими уговорами и угрозами наделали еще больше шума. Это беспрерывное движение, детские крики, грязь, вонь, удушливый воздух, наполненный густыми, смрадными испарениями, стали до того противны Консуэло, что терпеть дольше она была не в силах. Одевшись потихоньку, она воспользовалась минутой, когда все угомонились, выскользнула из дома и принялась отыскивать уголок, где могла бы поспать до утра: ей казалось, что она лучше заснет на свежем воздухе. Всю прошлую ночь она шагала по дорогам и потому

не заметила холода; к тому же теперь она была в подавленном состоянии, сменившем то возбуждение, в котором убегала из замка, да и самый климат этого горного края был гораздо суровее, чем в окрестностях замка Исполинов. Консуэло почувствовала озноб и ужасное недомогание. Со страхом стала она думать о том, что если с самого начала ей так плохо, то, пожалуй, она не сможет вынести предстоящих ей пеших переходов и бессонных ночей. Хоть она и упрекала себя в том, что стала принцессой, привыкнув к беззаботной жизни в замке, но в этот миг за час хорошего сна она готова была бы отдать остаток жизни.

Не смея вернуться в дом из боязни разбудить и потревожить хозяев, она принялась разыскивать вход в какой-нибудь сарай, наткнулась на полуоткрытую дверь коровника и ощупью пробралась в него. Там царила глубочайшая тишина. Считая помещение пустым, Консуэло растянулась в яслях, полных соломы, тепло и здоровый запах коровника показались ей восхитительными.

Она начинала уже засыпать, как вдруг почувствовала на лбу чье-то горячее, влажное дыхание, потом оно исчезло, затем послышалось громкое сопение и какое-то сдавленное ворчание. Когда прошел первый испуг, Консуэло разглядела в

предрассветных сумерках длинную фигуру с двумя огромными рогами над головой — то была красавица корова, которая, просунув морду в ясли и удивленно обнюхав девушку, со страхом отшатнулась. Консуэло забилась подальше в угол, чтобы не мешать животному, и преспокойно заснула. Ухо ее скоро привыкло ко всем звукам коровника: к лязгу цепей, задевающих о кольца, к мычанию коров, к трению рогов о перекладины ясель. Она не проснулась даже, когда работницы пришли выгонять коров во двор, чтобы на открытом воздухе подоить их. Коровник опустел. В углу, куда забилась Консуэло, было так темно, что ее не заметили, и солнце уже встало, когда она открыла глаза. Утопая в соломе, Консуэло еще несколько минут наслаждалась блаженным покоем и радовалась, чувствуя себя отдохнувшей и окрепшей, готовой снова легко и беззаботно пуститься в путь.

Первое, что она увидела, выскочив из яслей, чтобы разыскать Йозефа, был он сам, сидящий на краю ясель напротив.

— Вы причинили мне немало беспокойства, милый синьор Бертони, — сказал он. — Когда девушки сообщили мне, что вас нет в комнате и они не знают, куда вы девались, я принялся

повсюду вас искать и, только вернувшись в отчаянии сюда, где провел ночь, к своему великому удивлению, увидел вас. Я выбрался отсюда в предрассветной мгле и не воображал, что найду вас тут, прямо напротив себя, в куче соломы, под носом у этих животных, которые могли вас поранить. Право, синьора, вы слишком отважны и совсем не думаете об опасностях, которым себя подвергаете.

— Какие опасности, милый мой Беппо? — с улыбкой спросила Консуэло, протягивая ему руку. — Эти славные коровы не такие уж свирепые животные, и я причинила им больше страха, чем они могли бы причинить мне вреда.

— Но, синьора, — понизив голос, возразил Йозеф, — вы среди ночи забираетесь в первое попавшееся помещение. Другие люди, кроме меня, могли быть в этом коровнике — какой-нибудь грубый батрак или бродяга, менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппо. Что, если бы вместо тех яслей, где вы спали, вы попали в соседние и в них вместо меня разбудили бы какого-нибудь солдата или мужлана!

Консуэло покраснела при мысли, что спала так близко от Йозефа и совершенно наедине с ним в потемках, но это смущение только усилило ее

доверие и дружбу к славному юноше.

— Видите, Йозеф, — промолвила она; — небо не покидает меня и в моем безрассудстве, раз оно привело меня к вам. Это оно вчера утром послало мне встречу с вами у источника, когда вы предложили мне свой хлеб, свое доверие и свою дружбу. Оно же этой ночью отдало под вашу братскую защиту мой беспечный сон.

Тут она со смехом рассказала ему, как скверно провела ночь в общей комнате с шумной семьей фермера и как хорошо и покойно чувствовала себя среди коров.

— Значит, правда, — заметил Йозеф, — что у скота и жилье лучше и нравы мягче, чем у человека, который за ним ухаживает.

— Так думала и я, засыпая в яслях. Эти животные не возбудили во мне ни страха, ни отвращения, и я упрекала себя за то, что привыкла к роскоши и теперь общество мне подобных и соприкосновение с нуждой стали для меня невыносимы. Почему это, Йозеф? Тот, кто рожден в нищете, не должен бы, встретившись с ней снова, чувствовать то презрительное отвращение, которому я поддалась. Ведь сердце мое не развратилось в атмосфере богатства, откуда же эта изнеженность, которая понудила меня сегодня ночью сбежать от

зловония и жары, суетни и гомона этого жалкого человеческого выводка?

— Да потому, что опрятность, чистый воздух и порядок в доме — законная настоятельная потребность всех избранных натур, — ответил Йозеф. — Кто рожден артистом, тому свойственно чувство прекрасного, доброго и неприязнь ко всему грубому, безобразному. А нищета безобразна. Я тоже крестьянин, и родители произвели меня на свет под соломенной крышей, но они были врожденные артисты. В нашем скромном домике царили чистота и порядок. Правда, наша бедность приближалась к довольству, тогда как крайняя нужда, быть может, заглушает все, даже самое стремление к чему-то лучшему.

— Несчастные люди! — проговорила Консуэло. — Будь я богата, сейчас бы выстроила им дом, а если бы была королевой, то избавила бы их от всех налогов, всех монахов и всех евреев, которые их разоряют.

— Будь вы богаты, вы и не подумали бы об этом, а родясь королевой, не захотели бы этого. Так уж устроен мир.

— Значит, мир устроен очень плохо.

— К несчастью, да! И без музыки, уносящей душу в мир совершенства, человеку, сознающе-

му скудость земной юдоли, пришлось бы убить себя.

— Убить себя легко, но это пойдет на пользу только самоубийце. Нет, Йозеф, нужно и богатому оставаться человечным.

— А так как это, по-видимому, невозможно, то следовало бы, по крайней мере, всем беднякам стать артистами.

— Совсем неплохая мысль, Йозеф! Если бы все несчастные понимали и любили искусство настолько, что смогли бы опоэтизировать страдания и украсить нищету, тогда сами собой исчезли бы грязь, отчаяние, самоуничижение и богачи не позволяли бы себе так презирать бедняков и попирать их права. Ведь к артистам всегда чувствуют некоторое уважение.

— Ах! Вы впервые заставляете меня над этим задуматься! — воскликнул Гайдн. — Стало быть, искусство может иметь очень серьезные, очень важные для человечества цели?..

— А вы думали до сих пор, что оно является только развлечением?

— Нет, я думал, что это болезнь, страсть, гроза, бушующая в сердце, пламя, загорающееся в нас и переходящее от нас к другим… Если вы знаете, что такое искусство, скажите мне…

— Скажу тогда, когда это мне самой станет ясно. Но можете не сомневаться, Йозеф: искусство — это нечто великое. А теперь идем. И смотрите не забудьте скрипку: она ваше единственное достояние, друг Беппо, источник вашего будущего богатства.

Они начали с того, что запаслись провизией для скромного завтрака, решив насладиться им на травке в каком-нибудь романтическом уголке. Но когда Йозеф вытащил кошелек, чтобы расплатиться, хозяйка улыбнулась и сдержанно, однако решительно отказалась от денег. Как ни уговаривала ее Консуэло, та была непреклонна и даже следила, как бы ее юные гости не сунули потихоньку детям какой-нибудь монетки.

— Не забывайте, — сказала она, наконец, с некоторым высокомерием Йозефу, продолжавшему настаивать, — что мой муж дворянского рода и, поверьте, несчастье не унизило его до того, чтобы брать деньги за оказанное гостеприимство.

— Такая гордость кажется мне несколько преувеличенной, — заметил Йозеф своей спутнице, когда они вышли на дорогу, — у этих людей, пожалуй, больше спеси, чем доброты.

— А я вижу в них одну доброту, — ответила Консуэло, — и мне очень грустно и стыдно при

мысли, что я, видите ли, не смогла примириться с неудобствами дома, где не побоялись обременить и унизить себя присутствием такого бродяги, как я. Ах ты, проклятая разборчивость! Дурацкая изнеженность баловней жизни! Ты недуг, ибо даешь здоровье одним в ущерб другим!

— Вы слишком большая артистка, чтобы так близко принимать к сердцу все земное, — проговорил Йозеф. — Мне кажется, что артист должен относиться хладнокровнее и безразличнее ко всему, что не имеет отношения к его искусству. В трактире в Клатау, где я услышал о вас и о замке Исполинов, говорили, что граф Альберт Рудольштадт, при всех своих странностях, большой философ. Вы почувствовали, синьора, что нельзя одновременно быть артистом и философом — вот почему вы и обратились в бегство. Не принимайте же так близко к сердцу человеческие страдания и давайте вернемся к нашим вчерашним занятиям.

— Охотно, Беппо, но, прежде чем начать, знайте, что граф Альберт хотя и философ, но еще более великий артист, чем мы с вами.

— Правда? Значит, у него есть все, чтобы быть любимым? — вздохнув, проговорил Йозеф.

— Все, на мой взгляд, кроме бедности и низкого

происхождения, — ответила Консуэло.

Незаметно для себя, подкупленная вниманием Йозефа, побуждаемая его наивными вопросами, которые он задавал дрожащим голосом, она увлеклась и с удовольствием долго рассказывала ему о своем женихе. Каждый ответ ее неминуемо требовал объяснения, и так, переходя от одной подробности к другой, она постепенно поведала ему о всех особенностях чувства, внушенного ей Альбертом. Быть может, такая полная откровенность с юношей, с которым она познакомилась лишь накануне, была бы неуместна при всяких других условиях, и только столь странное стечение обстоятельств могло вызвать подобное доверие. Как бы то ни было, Консуэло поддалась непреодолимой потребности припомнить все достоинства своего жениха и поверить их дружескому сердцу. И, рассказывая, она с такой же радостью, с какой пробуют свои силы после тяжелой болезни, почувствовала, что любит Альберта больше, чем думала, когда обещала ему приложить все старания, чтобы любить только его одного. По мере того как она удалялась от Альберта, Консуэло могла без страха дать волю своему воображению, и теперь, когда ее уже не пугала необходимость принять слишком скоро бесповоротное решение,

все, что было в характере Альберта прекрасного, благородного, достойного, представало перед ней в более ярком свете. Гордость Консуэло не страдала больше при мысли о том, что ее могут обвинить в честолюбии. Раз она бежала, тем самым как бы отказываясь от земных благ, связанных с этим браком, она могла, не стесняясь и не краснея, отдаться чувству, владеющему ее душой. Имя Андзолетто ни разу не сорвалось с ее языка, и она с радостью заметила, что ей даже в голову не пришло упомянуть о нем, когда она рассказывала Йозефу о своем пребывании в Чехии.

Излияния эти, быть может, неуместные и безрассудные, оказались чрезвычайно полезными. Йозеф понял, насколько Консуэло в сердце своем серьезно предана другому, и смутные надежды, невольно зародившиеся в нем, рассеялись как сон, — юноша постарался заглушить в себе даже самое воспоминание о них. После одного или двух часов молчания, наступившего вслед за оживленной беседой, Йозеф твердо решил не видеть впредь в Консуэло ни очаровательной сирены, ни опасного, загадочного товарища, а только великую артистку и благородную женщину, чья дружба и советы могли самым благотворным образом повлиять на всю его жизнь.

Желая ответить откровенностью на откровенность, а также стремясь создать двойную преграду собственным пылким чувствам, он открыл ей свою душу и рассказал, что также не свободен и даже, можно сказать, считается женихом. Роман Гайдна был не столь поэтичен, как роман Консуэло, но тому, кто знает его завершение, известно, что он был не менее чист и не менее благороден. Юноша питал дружеские чувства к дочери своего великодушного хозяина, парикмахера Келлера, и тот, видя их невинную взаимную привязанность, сказал ему однажды:

— Йозеф, я доверяю тебе. Ты, кажется, любишь мою дочь, и она, вижу, неравнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то, став на ноги, будешь моим зятем.

Преисполненный горячей благодарности, Йозеф дал слово, поклялся хранить верность и, хотя нисколько не был влюблен в свою невесту, считал себя связанным на всю жизнь.

Рассказывал он об этом с грустью, которую был не в силах победить, сравнивая свое истинное положение с упоительными мечтами, от которых ему приходилось отказаться. Консуэло же увидела в этой грусти признак глубокой, непреодолимой любви его к дочери Келлера. Гайдн не

посмел разубеждать Консуэло, а ее уважение, ее уверенность в порядочности и чистоте Беппо только выросли благодаря его признанию.

Итак, их путешествие не было омрачено ни одной из тех опасных вспышек, каких можно ожидать, когда юноша и девушка, милые, умные и питающие друг к другу симпатию, отправляются в двухнедельное странствование в условиях полной свободы. Хотя Йозеф и не любил дочери Келлера, он не стал разубеждать Консуэло, которая принимала его верность данному слову за верность любящего сердца, и, хотя подчас в груди его и бушевала буря, он так хорошо умел с нею справляться, что целомудренная его спутница, покоясь в чаще леса на ложе из вереска, в то время как он охранял ее сон, точно верный пес, или шагая с ним рядом по пустынной местности, вдали от человеческого взора, неоднократно ночуя с ним то в риге, то в пещере, ни разу не заподозрила ни его внутренней борьбы, ни величия его победы над собой. Когда в старости Гайдн прочел первые книги «Исповеди» Жан-Жака Руссо, он улыбнулся сквозь слезы, вспомнив свое путешествие с Консуэло по Богемскому лесу, где спутниками их были робкая любовь и благоговейное целомудрие.

Но однажды добродетель юного музыканта все же подверглась тяжкому испытанию. Когда погода была хорошей, дорога легкой и луна ярко светила, они шли ночью, избирая этот наилучший и самый надежный способ пешего путешествия, избавлявший их от риска набрести на неудачный ночлег; а днем они делали привал в каком-нибудь тихом, укромном местечке, где и проводили время, высыпаясь, обедая, болтая и занимаясь музыкой. Как только с наступлением вечера начинало тянуть холодком, они, поужинав и собрав вещи, пускались в путь и шли до рассвета. Таким образом они избегали утомительной ходьбы в жару, любопытных взоров, грязи постоялых дворов и траты денег. Но когда дождь, зачастивший в возвышенной части Богемского леса, где берет свое начало Влтава, вынуждал их искать прибежища, они укрывались где могли — то в хижине крестьянина, то в сарае какой-нибудь усадьбы. Они старательно избегали харчевен, хотя легче могли бы найти там приют, опасаясь неприятных встреч, грубых намеков и скандалов.

И вот однажды вечером, укрываясь от грозы, они зашли в хижину к козьему пастуху, все гостеприимство которого проявилось в том, что он,

зевая и указывая на овчарню, сказал им:

— Ступайте на сеновал.

Консуэло, по обыкновению, проскользнула в самый темный угол, а Йозеф собирался устроиться поодаль, в другом углу, как вдруг наткнутся на ноги спящего человека, который разразился грубой бранью. В ответ на его проклятия послышались другие ругательства, и Йозеф, напуганный подобной компанией, приблизился к Консуэло и схватил ее за руку, боясь, как бы кто-нибудь не лег между ними. Сначала они хотели тотчас же уйти, но дождь лил как из ведра, стуча по дощатой крыше сарая, да к тому же все снова заснули.

— Подождем, пока пройдет дождь, — прошептал Йозеф. — Вы можете спать спокойно: я не сомкну глаз и буду рядом. Никому в голову не придет, что тут женщина. Но как только погода станет более или менее сносной, я вас разбужу и мы выберемся отсюда.

Консуэло далеко не успокоилась, но уйти теперь было, пожалуй, еще опаснее, чем оставаться. Пастух и его гости могли обратить внимание на то, что молодые люди боятся ночевать с ними. Это возбудило бы подозрение насчет пола наших путников или наличия у них большой суммы денег и, будь это люди злонамеренные, они после-

довали бы за нашими путниками, чтобы напасть на них. Сообразив это, Консуэло притихла, но под влиянием вполне понятного страха продела руку под руку Йозефа с чувством глубокого доверия к его неусыпной заботливости.

Оба не спали и, когда дождь перестал, собрались уже уходить, как вдруг услышали, что их неизвестные соседи зашевелились, встали и принялись тихонько переговариваться на каком-то непонятном наречии. Подняв и взвалив на плечи тяжелый груз, они вышли, обменявшись с пастухом несколькими словами по-немецки, из которых Йозеф заключил, что они занимаются контрабандой и хозяин посвящен в их дела. Было не больше полуночи, всходила луна, и Консуэло при свете ее лучей, косо падавших в полуоткрытую дверь, уловила блеск оружия в тот момент, когда незнакомцы прятали его под плащи. Затем сарай опустел, пастух оставил ее вдвоем с Гайдном — он ушел вместе с контрабандистами, чтобы проводить их по горным тропинкам и указать переход через границу, известный, по его словам, ему одному.

— Не вздумай обмануть нас! При первом же подозрении я всажу тебе пулю в лоб, — сказал ему один из этих людей, человек с энергичным,

суровым лицом.

То были последние слова, слышанные Консуэло. Гравий хрустел еще несколько минут под мерным шагом контрабандистов, затем шум соседнего ручья, вздувшегося от ливня, заглушил удалявшийся топот ног.

— Мы напрасно боялись их, — проговорил Йозеф, не выпуская, однако ж, руки Консуэло, которую он все еще прижимал к груди, — эти люди больше нашего избегают человеческих глаз.

— Вот потому-то мы с вами и подвергались опасности, — ответила Консуэло. — Вы хорошо сделали, что, наткнувшись на них в темноте, не ответили на их ругательства; они приняли вас за одного из своих. Иначе они, пожалуй, сочли бы нас за шпионов и расправились с нами. Но теперь, слава Богу, бояться нечего, наконец-то мы одни.

— Спите же, — сказал Йозеф, с сожалением чувствуя, что Консуэло отпустила его руку. — Я не засну, и с зарей мы уйдем отсюда.

Консуэло устала больше от страха, чем от ходьбы; она так привыкла спать под защитой своего друга, что сейчас же уснула. Но Йозеф, также привыкший после многих волнений засыпать подле нее, на этот раз не смог ни на минуту забыться. Ру-

ка Консуэло, целых два часа подряд дрожавшая в его руке, возбуждение, вызванное страхом и ревностью и вновь пробудившее всю силу его любви, последние слова, которые, засыпая, пробормотала Консуэло: «Наконец-то мы одни», — все это зажгло в нем пылкую страсть. Вместо того чтобы из уважения к Консуэло уйти, по обыкновению, в глубь сарая, он, видя, что сама она не думает от него отдаляться, остался сидеть подле нее; сердце его так громко колотилось, что, не усни Консуэло, она слышала бы его удары. Все тревожило Йозефа: унылый шум ручья, стон ветра в елях, лунные лучи, пробивавшиеся сквозь щели крыши и слабо освещавшие бледное, обрамленное черными кудрями лицо Консуэло, и, наконец, то жуткое и грозное, что проникает из внешнего мира в сердце человека, когда он окружен дикой природой. Йозеф начал было успокаиваться и засыпать, как вдруг почувствовал на своей груди словно прикосновение чьих-то рук. Он вскочил и наткнулся на крошечного козленка, который прижимался к нему, чтобы погреться. Йозеф приласкал его и, сам не зная почему, принялся целовать, орошая слезами. Наконец, рассвело, и, увидев более отчетливо благородное чело и серьезные, спокойные черты Консуэло, юноша

устыдился своих мук. Он вышел, чтобы освежить лицо и голову в ледяных водах ручья. Ему словно хотелось очиститься от греховных мыслей, затуманивших его мозг.

Консуэло скоро присоединилась к нему и стала умываться так же весело, как проделывала это каждый день, стараясь стряхнуть с себя тяжесть сна и храбро освоиться с утренним холодом. Ее удивил расстроенный и грустный вид Гайдна.

— О! На этот раз, друг Беппо, вы хуже моего справляетесь с усталостью и волнениями; вы бледны, как эти цветочки, которые точно плачут, склонившись над водой.

— Зато вы свежи, как эти чудные дикие розы, которые будто смеются на берегах ручья, — ответил Йозеф. — С усталостью-то я умею бороться, хотя вид у меня и тщедушный, а вот волнения, синьора, я в самом деле не умею переносить.

Все утро он был грустен. Когда же они сделали привал на чудесном отлогом лугу под сенью дикого винограда, чтобы подкрепиться хлебом и орехами, Консуэло, желая выяснить причину его мрачного расположения духа, закидала его таким множеством наивных вопросов, что он не смог удержаться от соблазна поведать ей о глубоком недовольстве собой и своей судьбой.

— Ну, если уж вам так хочется знать, извольте: я думаю о том, что очень несчастен, так как с каждым днем понемногу приближаюсь к Вене, где живет моя невеста, с которой я связал себя обетом на всю жизнь, в то время как сердце мое не лежит к ней. Я не люблю и чувствую, что никогда не полюблю ее. Однако я дал слово и сдержу его.

— Да может ли это быть! — воскликнула пораженная Консуэло. — В таком случае, мой бедный Беппо, наши участи, казавшиеся мне во многом такими схожими, на самом деле совершенно различны: вы бежите к невесте, которую не любите, а я бегу от жениха, которого люблю. Странная судьба, одним она дает то, что их страшит, а у других отнимает то, что им дорого!

Говоря так, она дружески пожала ему руку, и Йозеф прекрасно понял, что слова эти были внушены ей отнюдь не зародившимися подозрениями насчет его безрассудства или желанием проучить его. Именно поэтому урок оказался особенно полезным. Консуэло сочувствовала его несчастью, горевала вместе с ним и в то же время искренним восклицанием, вырвавшимся из самой глубины ее сердца, показала, что любит другого беззаветно и непоколебимо.

То была последняя вспышка страсти у Йозефа.

Он схватил скрипку и, с силой ударив по ней смычком, постарался забыть эту бурную ночь.

Когда они снова пустились в путь, он уже совсем отрешился от своей несбыточной любви и во время последующих событий испытывал к молодой девушке только самую сильную, самую преданную дружбу.

Когда Консуэло, видя Йозефа сумрачным, пыталась утешить его ласковыми словами, он говорил ей:

— Не беспокойтесь обо мне. Хоть я и обречен не любить свою жену, я буду по крайней мере чувствовать к ней дружбу, а дружба все-таки утешение, когда нет любви, я понимаю это лучше, чем вы можете думать.

Глава LXIX

Гайдну никогда впоследствии не приходилось жалеть об этом путешествии и о тех душевных страданиях, с которыми ему приходилось бороться, ибо никогда за всю свою жизнь он не получал больше таких чудесных уроков итальянского языка и такого совершенного представления о музыке. Во время продолжительных привалов, в хорошую погоду, под тенистой листвой пустынного Богемского леса, наши юные артисты обнаружили друг перед другом весь свой ум, весь свой талант. Хотя у Йозефа Гайдна был прекрасный голос и он, как певчий, умел отлично владеть им, хотя он мило играл на скрипке и еще на нескольких инструментах, тем не менее, слушая пение Консуэло, он скоро понял, насколько она выше его по мастерству, понял, что и без помощи Порпоры она могла бы сделать из него хорошего певца. Но честолюбие и способности Гайдна не ограничивались этим родом искусства, и Консуэло, заметив, что он, будучи слабым певцом, так правильно и так глубоко понимает теорию, сказала ему однажды с улыбкой:

— Не знаю, хорошо ли я делаю, обучая вас пению, ведь если вы увлечетесь профессией певца, то, чего доброго, загубите в себе более высокое дарование. А ну-ка посмотрим ваше произведение! Невзирая на продолжительные и серьезные занятия контрапунктом с таким великим учителем, как Порпора, я научилась лишь хорошо понимать великие творения, а сама, даже набравшись смелости, не сумела бы создать серьезную вещь. Вы же — другое дело, и, если у вас есть дар творить, вы должны идти именно по этому пути, а к пению и к игре на инструментах относиться как к средствам вспомогательным.

В самом деле, с тех пор как Гайдн встретил Консуэло, он думал только о том, чтобы сделаться певцом. Следовать за нею, жить подле нее, всюду встречаться с нею в ее бродячей жизни — вот что стало его пламенной мечтой за эти дни. Поэтому ему не хотелось показывать ей свое последнее произведение, хотя он окончил его перед отъездом в Пильзен и захватил с собой. Йозеф одинаково боялся и показаться ей посредственностью и обнаружить талант, ибо тогда она воспротивилась бы его стремлению стать певцом. В конце концов частью охотой, частью против воли он уступил и дал вырвать у себя

таинственную тетрадь. То была небольшая фортепианная соната, предназначавшаяся для его юных учеников. Консуэло начала с того, что прочитала музыку про себя, и Йозеф с изумлением увидел, что она так же хорошо понимает ее, как если бы слышала в исполнении. Затем Консуэло заставила его сыграть некоторые пассажи на скрипке и сама пропела те, что были доступны для голоса. Не знаю, предугадала ли она в Гайдне по этой безделке будущего творца «Сотворения мира» и стольких других крупных произведений, но она явно почувствовала в нем большого музыканта и, возвращая ему ноты, сказала:

— Мужайся, Беппо, — ты выдающийся артист и можешь стать великим композитором, если будешь работать. У тебя, несомненно, есть творческие замыслы. А с замыслами и знаниями можно далеко пойти. Приобретай же знания, и постараемся преодолеть тяжелый характер Порпоры, — он именно тот учитель, который тебе нужен. А о сцене забудь — твое место не там. Твое оружие — перо. Ты должен не повиноваться, а приказывать. Когда можешь быть душой произведения, зачем превращаться в одно из его орудий? Так-то, будущий маэстро! Бросьте упражнять свое горло трелями и каденциями. Вам надо

знать, куда их поставить, а не как исполнять. Это уж предоставьте мне, вашей покорной и подвластной вам служанке, которая претендует на первую женскую роль, какую вы соблаговолите написать для меццо-сопрано.

— О, Consuelo de mi alma! — в восторге воскликнул окрыленный надеждами Йозеф. — Писать для вас! Быть понятым вами, переданным в вашем исполнении! Какой путь славы и честолюбивых мечтаний вы открываете передо мною! Но нет! Это грезы! Это безумие! Учите меня петь. Я лучше постараюсь передать чужие мысли так, как чувствуете и понимаете их вы, чем вкладывать в ваши божественные уста звуки, недостойные вас!

— Ну, ну, довольно церемоний, — проговорила Консуэло, — попробуйте сымпровизировать что-нибудь на скрипке или голосом так, чтобы душа трепетала на устах и на кончиках пальцев, и я узнаю, есть ли в вас искра Божья или вы только ловкий ученик, бессознательно заимствующий чужое.

Гайдн повиновался. Консуэло с радостью убедилась, что музыкальное его образование не так уж велико и что в его собственных идеях много молодости, простоты и свежести. Она все больше

и больше подбадривала его и с этих пор решила заниматься с ним пением лишь для того, чтобы он мог пользоваться им для своей работы.

Затем они стали забавляться исполнением маленьких итальянских дуэтов, которым она научила его и которые он быстро запомнил.

— Если до конца путешествия у нас не хватит денег, нам придется распевать на улицах, — сказала она. — Да и полиция, быть может, пожелает проверить наши таланты, приняв нас за бродяг, карманных воришек, а сколько их, несчастных, позорящих наше ремесло! Будем же готовы ко всему! Мой голос на низких, контральтовых нотах может сойти за мальчишеский. Вам же следует разучить на скрипке аккомпанемент к нескольким моим песенкам. Вы увидите, что это совсем неплохое упражнение. В таких шуточных народных куплетах много огня и самобытного чувства, а мои старинные испанские романсы — создания чистого гения, нешлифованные алмазы. Маэстро, воспользуйтесь ими! От старых идей рождаются новые!

Занятия эти были полны прелести для Гайдна. Может быть, уже тогда зародилась в нем мысль создать чудесные детские пьески, которые он впоследствии написал для театра марионеток

маленьких принцев Эстергази. Консуэло вносила в свои уроки столько веселости, грации, оживления и остроумия, что к милому юноше вернулись его детская резвость и беззаботное счастье детства. Забыв любовные мечты, лишения и беспокойства, он желал одного — чтобы эти дорожные уроки никогда не закончились.

Мы не собираемся приводить здесь точный маршрут всего путешествия Консуэло и Гайдна. Малознакомые с тропами Богемского леса, мы могли бы, полагаясь лишь на свои смутные воспоминания, дать неверные сведения. Достаточно сказать, что первая половина пути, в общем, была более приятна, чем трудна, вплоть до того момента, когда случилось происшествие, которое мы не можем обойти молчанием.

Начиная от самого истока Влтавы, наши путники все время придерживались северного берега реки, так как он казался им менее людным и более живописным. В течение целого дня они шли по глубокому ущелью, полого спускавшемуся в том же направлении, что и Дунай, но, дойдя до Шенау, заметили, что горная гряда понижается, переходя в плоскогорье, и пожалели, что не пошли по противоположному берегу, вдоль другой горной гряды, которая, постепенно повышаясь, уходит в

сторону Баварии. Эти лесистые горы изобиловали естественными убежищами и поэтическими уголками в гораздо большей мере, чем долины Чехии. Во время своих дневных привалов в лесу Гайдн и Консуэло забавлялись ловлей птичек силками и на клей. И когда, после полуденного сна, они находили в ловушках мелкую дичь, то тут же, под открытым небом, жарили ее на костре и находили свою стряпню великолепной. Жизнь они даровали одним лишь соловьям, на том основании, что эти певчие птички — их собратья.

Наши милые путники принялись искать брод, но никак не могли найти его: река была быстрая, сжатая крутыми берегами, глубокая и к тому же вздувшаяся от пролившихся за последние дни дождей. Наконец, они наткнулись на перевоз, где у причала стояла небольшая лодка под присмотром подростка. Некоторое время они колебались, не решаясь подойти, так как видели, что несколько человек уже опередили их и уславливаются относительно переправы. Люди эти, попрощавшись друг с другом, расстались: трое собирались идти вдоль северного берега Влтавы, а двое других вошли в лодку. Это обстоятельство заставило Консуэло принять решение.

— Пойдем ли мы направо или налево, нам все

равно не избежать встречи, — сказала она Йозефу, — так уж лучше переправиться на тот берег, как мы хотели.

Гайдн все еще колебался, уверяя, что у этих людей подозрительный вид, резкий тон и грубые манеры, но тут один из них, как бы желая опровергнуть столь неблагоприятное мнение, остановил лодочника и, поманив Консуэло добродушно-шутливым жестом, обратился к ней по-немецки:

— Эй, мальчик, идите сюда, лодка не очень нагружена, и, если хотите, можете переехать с нами.

— Очень признателен вам, сударь, — ответил Гайдн, — мы воспользуемся вашим приглашением.

— Ну, дети мои, прыгайте! — продолжал тот, что первый обратился к Консуэло, — спутник называл его господином Мейером.

Йозеф, едва усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца очень внимательно и с большим любопытством поглядывают то на Консуэло, то на него. Но лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивые, а седеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэло доверие.

— Вы музыкант, дитя мое? — спросил ее господин Мейер немного спустя.

— К вашим услугам, сударь, — ответила Консуэло.

— Вы тоже? — спросил господин Мейер Йозефа и, указывая на Консуэло, прибавил: — Это, конечно, ваш брат?

— Нет, сударь, мой друг, — сказал Йозеф. — Мы даже не одной с ним национальности, и он плохо понимает по-немецки.

— Из какой же он страны? — продолжал расспрашивать господин Мейер, все поглядывая на Консуэло.

— Из Италии, сударь, — ответил опять Гайдн.

— Кто же он — венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или калабриец? — допытывался господин Мейер, с необыкновенной легкостью произнося каждое из этих названий на соответствующем диалекте.

— О сударь, вы, я вижу, можете говорить с любым итальянцем, — ответила, наконец, Консуэло, боясь упорным молчанием обратить на себя внимание. — Я из Венеции.

— А! Чудный край! — продолжал Мейер, тотчас же переходя на родное для Консуэло наречие. — Вы давно оттуда?

— Всего полгода.

— И странствуете по свету, играя на скрипке?

— Нет, он аккомпанирует мне на скрипке, — ответила Консуэло, указывая на Йозефа, — а я пою.

— И вы не играете ни на каком инструменте? Ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?

— Нет, мне это не нужно.

— Но если вы музыкальны, вы легко научились бы играть на них, не правда ли?

— Конечно, если бы это понадобилось.

— А вы об этом не думаете?

— Нет, я предпочитаю петь.

— И вы правы, однако вам придется взяться за инструмент или хотя бы на время переменить профессию.

— Почему же, сударь?

— Да потому, что голос ваш если уже не начал, то скоро начнет ломаться: сколько вам лет — четырнадцать, пятнадцать, не больше?

— Да, около этого.

— Ну, так не пройдет и года, как вы запоете лягушкой, и еще неизвестно, обратитесь ли вы снова в соловья. Для мальчика всегда опасен переход от детства к юности. Иногда бывает так: вырастет борода, а голос пропадет. На вашем месте я учился бы играть на флейте, с ней всегда

заработаешь на кусок хлеба.

— Там видно будет.

— А вы, любезный, играете только на скрипке? — обратился господин Мейер к Йозефу по-немецки.

— Простите, сударь, — ответил Йозеф, который, видя, что добрый Мейер ничуть не смущает Консуэло, в свою очередь проникся к нему доверием, — я играю понемножку на нескольких инструментах.

— На каких же, к примеру?

— На клавесине, арфе, флейте — понемногу на всех, когда есть случай поучиться.

— С такими талантами вы совершенно напрасно бродите по большим дорогам — это тяжелое ремесло. Товарищу вашему, который и моложе и слабее вас, это совсем не под силу, он уже хромает.

— Вы заметили? — сказал Йозеф, тоже прекрасно видевший это, хотя спутница его и не хотела признаваться, что ноги у нее опухли и болят.

— Я хорошо видел, с каким трудом он дотащился до лодки, — сказал Мейер.

— Что поделаешь, сударь! — проговорил Гайдн, скрывая под видом философского равнодушия свое огорчение. — Родишься ведь не для одних

только радостей и, когда приходится страдать — страдаешь!

— А разве нельзя жить и счастливее и приличнее, обосновавшись на одном месте? Мне грустно, что такие умные и скромные юнцы, какими вы мне кажетесь, занимаются бродяжничеством. Поверьте доброму человеку, у которого у самого есть дети и который, по всей вероятности, никогда больше не встретится с вами, дружочки мои. Такая жизнь, полная приключений, убивает и развращает человека. Запомните мои слова.

— Спасибо за добрый совет, сударь, — проговорила, приветливо улыбаясь, Консуэло, — быть может, мы им воспользуемся.

— Да услышит вас Господь, мой маленький гондольер, — сказал господин Мейер Консуэло, которая машинально, по народной венецианской привычке, схватила весло и начала грести.

Лодка, довольно далеко унесенная быстрым течением, причалила, наконец, к берегу. Господин Мейер дружески попрощался с молодыми музыкантами, пожелав им доброго пути, а его молчаливый товарищ не позволил им заплатить перевозчику. Вежливо поблагодарив своих спутников, Консуэло и Йозеф стали подыматься по тропинке, ведущей в горы, тогда как оба

незнакомца пошли в том же направлении, но по низкому берегу реки.

— Этот господин Мейер, кажется, хороший человек, — проговорила Консуэло, в последний раз оглянувшись на него сверху, когда тот уже исчезал из виду. — Я уверена, что он прекрасный отец семейства.

— Он любопытен и болтлив, — заметил Йозеф, — и я очень рад, что вы избавились от его расспросов.

— Он разговорчив, как все много путешествовавшие люди. Судя по той легкости, с какой он владеет разными языками, этот Мейер — настоящий космополит. Откуда он может быть родом?

— Произношение у него саксонское, хотя и на нижнеавстрийском наречии он говорит очень хорошо. Мне кажется, он из Северной Германии, верно — пруссак.

— Тем хуже для него — не люблю пруссаков, а короля Фридриха, после всего, что я о нем слышала в замке Исполинов, еще меньше, чем его народ.

— В таком случае вы хорошо будете чувствовать себя в Вене: у этого воинственного короля-философа там нет приверженцев ни при дворе, ни среди населения.

Беседуя таким образом, они добрались до лесной чащи и пошли тропинками, которые то терялись среди сосен, то извивались по изрезанному горному амфитеатру. Консуэло находила эти Герцинские Карпаты скорее красивыми, чем величественными. Она много раз путешествовала в Альпах и потому не приходила от окружающего в такой восторг, как Йозеф, впервые видевший столь гордые вершины. И если в юноше все вызывало восхищение, то спутница его была более склонна к задумчивости. К тому же Консуэло в тот день чувствовала большую усталость и делала огромные усилия, чтобы скрыть ее, боясь огорчить Йозефа, и без того уж чересчур беспокоившегося за нее.

Они поспали несколько часов, а потом, перекусив и позанимавшись музыкой, на закате снова пустились в путь. И хотя Консуэло, словно идиллическая пастушка, подолгу омывала свои изящные ножки в кристальных струях источников, вскоре она вынуждена была признаться, что ноги ее истерзаны камнями и ночной переход ей не под силу. К несчастью, местность по эту сторону Влтавы оказалась совершенно пустынной — ни хижины, ни монастыря, ни шалаша. Йозеф пришел в отчаяние. Было слишком холодно,

чтобы ночевать под открытым небом. Наконец, сквозь узкий проход между двумя холмами они увидели долину и на противоположном склоне ее — огоньки. Долина эта, куда они начали спускаться, находилась уже в Баварии, но видневшийся город оказался гораздо дальше, чем они предполагали, и бедному Йозефу чудилось, что с каждым шагом город этот все более отодвигается от них. В довершение несчастья тучи обложили все небо, и вскоре зарядил мелкий холодный дождь. Дождевая завеса совсем скрыла огоньки от взоров наших странников, так что, достигнув не без труда и риска подножия горы, они не знали, в какую сторону идти. Дорога, впрочем, оказалась довольно ровной, и они продолжали, все время спускаясь, тащиться по ней, как вдруг услышали шум ехавшей навстречу кареты. Йозеф, не колеблясь, окликнул проезжающих, чтобы узнать, что это за местность и где тут можно найти приют.

— Кто там? — раздался ему в ответ грубый голос, и вслед за этим послышался звук взводимого курка. — Прочь! Или я стреляю!

— Нас нечего бояться, — ответил Йозеф, не смущаясь, — посмотрите сами: мы двое детей и просим лишь указать нам дорогу.

— Эге! — воскликнул другой голос, в котором

Консуэло сейчас же узнала голос любезного господина Мейера. — Да ведь это мои утренние сорванцы! Узнаю выговор старшего. И вы тоже тут, гондольер? — прибавил он по-венециански, обращаясь к Консуэло.

— Да, — ответила она на том же наречии. — Мы заблудились и просим вас, добрый господин, указать нам, если вы знаете, какой-нибудь приют, все равно — дворец или конюшню, где мы могли бы укрыться.

— Эх, бедные мои ребята, — ответил Мейер, — вы по меньшей мере в двух милях от какого-либо жилья. В этих горах вам не найти и собачьей конуры. Но мне жаль вас, садитесь ко мне в карету. Я могу, не стесняя себя, дать вам два места. Ну, не церемоньтесь же, влезайте!

— Вы, право, слишком добры, сударь, — сказала Консуэло, тронутая радушием этого хорошего человека, — но вы едете на север, а нам надо в Австрию.

— Нет, я еду на запад. Не больше чем через час я довезу вас до Биберека. Там вы переночуете, а завтра сможете добраться до Австрии. Это даже сократит вам путь. Ну, решайтесь же, если не хотите мокнуть под дождем и задерживать нас.

— Смелей, нечего колебаться! — шепнула Кон-

суэло Йозефу, и они сели в карету.

Там они увидели трех человек: двое сидели спереди, причем один из них правил, а третий, господин Мейер, занимал заднее место. Консуэло забилась в уголок, Йозеф сел посередине. Карета была шестиместная, просторная, прочная. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая энергичной рукой, снова пустилась рысью, нетерпеливо тряся головой и звеня бубенчиками упряжи.

Глава LXX

— Что я вам говорил! — воскликнул господин Мейер, возобновляя разглагольствования, прерванные утром. — Ну, может ли быть ремесло более тяжелое и неприятное, чем ваше? Когда светит солнце, все как будто прекрасно, но оно ведь не всегда светит, и ваша доля так же изменчива, как погода.

— А чья доля не изменчива и не опасна? — проговорила Консуэло. — Когда небо немилостиво, провидение посылает на нашем пути добрых людей, так что в данную минуту нам не приходится на него жаловаться.

— У вас хорошая голова, мой дружок, — ответил Мейер, — вы из той чудной страны, где все умны; но, поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам погибнуть от голода в унылых австрийских провинциях. На вашем месте я бы стал искать счастья в богатой, цивилизованной стране, под покровительством великого государя.

— Какого же? — спросила удивленная подобным намеком Консуэло.

— Да не знаю, право; их немало.

— Но разве королева Венгрии не великая монархиня? — вмешался в разговор Гайдн. — Разве в ее владениях нельзя найти покровительства?

— Ну конечно, — ответил Мейер, — но вы не знаете, что ее величество Мария-Терезия ненавидит музыку, а бродяг — еще больше, и что если вы появитесь в виде трубадуров на улицах Вены, то будете тотчас изгнаны.

В эту минуту Консуэло снова увидела невдалеке, в темной лощине близ дороги, огоньки, которые и раньше уже мелькали перед ними, и сообщила об этом Йозефу, а тот сейчас же выразил господину Мейеру желание сойти и добраться до этого жилья, более близкого, чем Биберек.

— Как! Вы принимаете это за огоньки? Это, конечно, в самом деле огни, но только они освещают не жилье, а опасные болота, где немало путешественников заблудилось и погибло. Приходилось вам когда-нибудь видеть блуждающие болотные огни?

— Да, много раз на венецианских лагунах и часто на маленьких озерах в Чехии, — ответила Консуэло.

— Так вот, дети мои, то, что вы видите там вдали, — такие же блуждающие огни.

Господин Мейер долго еще убеждал молодых людей в необходимости где-нибудь твердо обосноваться, говорил о том, как мало у них будет возможностей устроиться в Вене, не указывая, однако, места, куда он советовал бы им отправиться. Сначала Йозеф, пораженный его настойчивостью, испугался, не догадывается ли их спутник о том, что Консуэло — женщина. Но его чистосердечное обращение с ней как с мальчиком, вплоть до того, что он советовал ей, придя в возраст, поступить на военную службу, вместо того чтобы шататься по дорогам, успокоили его на этот счет, и он решил, что добрейший Мейер — один из тех ограниченных людей с навязчивыми идеями, которые повторяют целый день какую-нибудь одну, с утра пришедшую им в голову мысль. Консуэло же принимала его не то за школьного учителя, не то за лютеранского пастора, у которого в голове только одно — воспитание, нравственность и обращение ближних на путь истинный.

Через час, в полнейшей темноте, они прибыли в Биберек. Карета въехала на постоялый двор, где тотчас же два каких-то человека, отозвав Мейера в сторону, вступили с ним в разговор. Когда они вошли затем в кухню, где Консуэло с Йозефом грелись у очага и сушили одежду, юноша

узнал в них тех самых двух субъектов, которые расстались с Мейером у перевоза, когда тот переправился через реку, оставив их на левом берегу Влтавы. Один из них был кривой, а у другого, хотя и имелись оба глаза, лицо от этого отнюдь не выглядело привлекательнее. Тот, кто переправился вместе с Мейером и ехал с молодыми людьми в карете, также присоединился к ним, четвертый же не показывался. Они переговаривались на наречии, непонятном даже Консуэло, знавшей столько языков. Господин Мейер, по-видимому, пользовался среди них авторитетом и, во всяком случае, влиял на их решения, ибо после довольно оживленного совещания вполголоса он, видимо, приказал им что-то, и все удалились, за исключением одного, которого Консуэло в разговоре с Йозефом назвала Молчальником, — того самого, что не расставался с Мейером.

Гайдн собирался скромно поужинать со своей спутницей на краешке кухонного стола, когда господин Мейер, подойдя к ним, пригласил их разделить его трапезу и так при этом добродушно настаивал, что они не решились отказаться.

Он увел их в столовую, где они попали на настоящий пир, — так по крайней мере показалось бедным молодым людям, лишенным подобных

лакомств во время своего пятидневного, далеко не легкого странствования. Однако Консуэло была за ужином очень сдержана: роскошный стол Мейера, подобострастное отношение к нему прислуги, большое количество вина, поглощаемого как им, так и его немым спутником, — все это начинало изменять мнение девушки о пасторских добродетелях их амфитриона. Особенно неприятно поразили ее старания, с какими Мейер заставлял Йозефа и ее пить больше, чем того требовала жажда, и та грубая веселость, с которой он не позволял им разбавлять вино водой. С еще большим беспокойством заметила она, что Йозеф, по рассеянности или в самом деле желая восстановить силы, пил больше, чем следовало, и делался общительнее и оживленнее, чем ей того хотелось. Наконец, раздосадованная тем, что Йозеф, как ни подталкивает она его локтем, чтобы удержать от чрезмерных возлияний, не обращает на нее никакого внимания, она отняла у него стакан в тот момент, когда господин Мейер собирался снова наполнить его.

— Нет, сударь, нет! — проговорила она. — Позвольте не подражать вам! Нам это совсем не пристало.

— Странные вы музыканты! — воскликнул

Мейер, смеясь все с тем же чистосердечным и беззаботным видом. — Музыканты — и не пьют! Первых таких встречаю!

— А вы, сударь, тоже музыкант? — обратился к нему Йозеф. — Ручаюсь, что да! Черт меня побери, если вы не капельмейстер при дворе какого-нибудь саксонского принца!

— Возможно, — ответил, улыбаясь, Мейер. — Вот почему, дети мои, я и чувствую к вам симпатию.

— Если сударь — большой музыкант, то разница между его талантом и талантом бедных уличных певцов слишком велика, чтобы они могли особенно интересовать его, — возразила Консуэло.

— Среди бедных уличных певцов встречается больше талантов, чем принято думать, — сказал на это Мейер, — и много есть великих музыкантов, даже капельмейстеров при дворе первейших государей мира, которые начали с того, что распевали на улицах. А если я вам скажу, что не далее как сегодня утром, между девятью и десятью часами, я слышал два прелестных голоса, исполнявших на левом берегу Влтавы красивый итальянский дуэт под прекрасный и очень умелый аккомпанемент на скрипке? Случилось это в

то время, когда я завтракал с друзьями на холме. Когда же с горы стали спускаться очаровавшие меня музыканты, я был поражен, увидев двух бедных детей, одного — в одежде крестьянского мальчика, другого… очень милого, простого, но не слишком преуспевающего на вид… Не смущайтесь же и не удивляйтесь, юные друзья мои, той симпатии, которую я вам выказываю, и докажите мне свою, выпив со мной за муз, наших общих божественных покровительниц.

— О маэстро! — радостно воскликнул совсем покоренный Йозеф. — Я хочу выпить за ваше здоровье. Да, вы настоящий музыкант, раз пришли в восторг от таланта… синьора Бертони, моего друга.

— Нет, пить вы больше не будете! — сказала выведенная из терпения Консуэло, вырывая у него из рук стакан. — И я также, — прибавила она, перевернув свой вверх дном, — мы живем только нашими голосами, господин профессор, а вино портит голос. Вы должны, значит, поощрять нашу трезвость, а не спаивать нас.

— Ну что ж, вы рассуждаете здраво, — сказал Мейер, снова ставя на середину стола графин с водой, который он спрятал было за спиной. — Да, будем беречь голос. Отлично сказано! Вы благо-

разумны не по годам, друг Бертони, и я рад, что, испытав вас, убедился в вашей высокой нравственности. Вы далеко пойдете! Об этом говорят и ваше благоразумие и ваш талант. Да, вы далеко пойдете, и я хочу иметь честь и заслугу содействовать этому.

Тут мнимый профессор, отбросив всякое стеснение и говоря необычайно искренним и добрым тоном, предложил увезти их с собой в Дрезден, обещая там добиться для них уроков у знаменитого Гассе и снискать им особое покровительство польской королевы, курфюрстины Саксонской.

Принцесса эта, супруга Августа III, короля Польши, была, как мы уже знаем, ученицей Порпоры. Это-то соперничество между Порпорой и Sassone[30] из-за благоволения государыни-музыкантши и явилось первоначальной причиной их глубокой вражды. Если бы даже Консуэло и хотела искать счастье в Северной Германии, то она не выбрала бы для своего дебюта тот двор, где столкнулась бы со школой и партией, взявшей верх над ее учителем. Достаточно говорил ей об этом Порпора в минуты обиды и горечи, чтобы она, как бы ни оборачивались дела, могла усту-

[30] Примечания: 30

Так итальянцы прозвали Иоганна-Адольфа Гассе, по происхождению саксонца. (*Прим. автора*).

пить соблазну и последовать советам профессора Мейера.

Совершенно иначе был настроен Йозеф. Возбужденный выпитым вином и ужином, он вообразил, что встретил могущественного покровителя и вершителя своей судьбы. Он не помышлял покинуть Консуэло и следовать за этим новым другом, но, будучи немного навеселе, надеялся когда-нибудь снова встретиться с ним. Он верил в доброжелательство Мейера и горячо благодарил его. Опьяненный радостью, он схватил скрипку и прескверно заиграл на ней. Это, однако, не помешало Мейеру шумно аплодировать юноше — потому ли, что он не хотел обидеть его, обращая внимание на фальшивые ноты, или потому, думалось Консуэло, что сам был весьма посредственным музыкантом. Его искреннее заблуждение относительно пола Консуэло, хотя он слышал, как она пела, отсутствие у него тонкого развитого слуха свидетельствовало о том, что он не был преподавателем, поскольку он дал себя провести, словно какой-нибудь деревенский игрок на серпенте или учитель-трубач.

Между тем господин Мейер продолжал уговаривать молодых музыкантов ехать с ним в Дрезден. Отказываясь, Йозеф, однако, выслуши-

вал его предложения с таким сияющим лицом и так горячо обещал явиться к нему в самом ближайшем будущем, что Консуэло сочла нужным открыть глаза Мейеру на неисполнимость подобного обещания.

— В настоящее время и думать об этом нечего, — проговорила она решительным тоном. — Вы прекрасно знаете, Йозеф, что это невозможно, ведь у нас совершенно иные планы.

Мейер возобновил свои соблазнительные предложения, но был удивлен непоколебимостью не только Консуэло, но и Йозефа, который, как только в разговор вступил синьор Бертони, снова сделался благоразумным.

Тут молчаливый путешественник, ненадолго появившийся во время ужина, позвал господина Мейера, и они оба вышли. Консуэло воспользовалась этой минутой, чтобы побранить Йозефа и за легковерие, с каким он относился к радужным обещаниям первого встречного, и за увлечение хорошим вином.

— Неужели я сказал что-нибудь лишнее? — испуганно спросил Йозеф.

— Нет, — возразила она, — но находиться так долго в компании с неизвестными людьми — это само по себе уже неосторожно. Глядя на меня,

в конце концов можно заметить или хотя бы заподозрить, что я не мальчик. Как я ни старалась измазать карандашом руки и держать их по возможности под столом, вряд ли можно было не заметить, что они принадлежат женщине. К счастью, эти господа поглощены один — своей бутылкой, другой — своей болтовней. Сейчас нам было бы всего благоразумнее скрыться и отправиться ночевать на другой постоялый двор. Мне как-то не по себе с этими новыми знакомыми, которые словно преследуют нас по пятам.

— Что вы! — воскликнул Йозеф. — Уйти потихоньку, даже не попрощавшись и не поблагодарив такого хорошего человека и, быть может, знаменитого профессора? Кто знает, не беседовали ли мы с самим великим Гассе!

— Ручаюсь, что нет, и будь у вас ясная голова, вы заметили бы, как много банальных, общих суждений высказал он о музыке. Большие мастера так не рассуждают. Нет, это какой-нибудь второстепенный музыкант из оркестра, добрый малый, болтун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но по его физиономии мне кажется, что он только и делал, что дул в медные инструменты, а его косой взгляд словно ищет капельмейстера.

— Пусть он валторнист или второй кларнетист,

а все-таки он приятный собеседник! — воскликнул, покатываясь со смеху, Йозеф.

— Зато о вас этого никак нельзя сказать, — проговорила с некоторым раздражением Консуэло. — Ну, протрезвитесь же, простимся с ними и отправимся дальше.

— Дождь льет как из ведра. Слышите, как он стучит в окна?

— Надеюсь, вы не собираетесь заснуть за этим столом? — сказала Консуэло, расталкивая Йозефа, чтобы расшевелить его.

В эту минуту вернулся господин Мейер.

— Вот так история! — весело воскликнул он. — Я рассчитывал переночевать здесь и завтра выехать в Шамб, а друзья заставляют меня вернуться назад, уверяя, будто я им необходим для какого-то важного дела в Пассау. Придется уступить. И раз мне нужно отказаться от удовольствия увезти вас в Дрезден, так позвольте, дети мои, дать вам добрый совет: воспользуйтесь случаем. Я по-прежнему смогу уделить вам два места в своей карете, ибо эти господа поедут в другой. Завтра утром мы будем в Пассау — это всего в шести милях отсюда. Там я пожелаю вам доброго пути. Вы окажетесь у австрийской границы и сможете без всякого утомления за небольшую

плату спуститься на судне по Дунаю до Вены.

Йозеф нашел предложение превосходным, так как это позволило бы отдохнуть израненным ногам Консуэло. Случай, в самом деле, казался благоприятным, а путешествие по Дунаю было средством, еще не приходившим им в голову. Консуэло тоже согласилась, так как видела, что Йозеф на этот раз не способен позаботиться о надежном ночлеге. Впотьмах, забившись в угол кареты, она могла не опасаться наблюдательности своих спутников, а господин Мейер уверял, что в Пассау они приедут до рассвета. Йозеф был в восторге от ее решения. Однако Консуэло все-таки было не по себе, а друзья Мейера нравились ей все меньше и меньше. Она спросила, не музыканты ли его спутники.

— Все — более или менее, — лаконично ответил тот.

Кареты оказались заложенными, кучера — на своих местах, а трактирные слуги, очень довольные щедротами господина Мейера, суетились вокруг него, стараясь до последней минуты услужить ему. Когда среди всей этой суеты наступила минута затишья, Консуэло послышался стон, раздавшийся, казалось, где-то посреди двора. Она обернулась к Йозефу, но тот ничего не слышал.

Стон повторился, и дрожь пробежала по ее телу. Однако никто, видимо, ничего не заметил, и она решила, что это, должно быть, заскулила собака, томившаяся на цепи. Но как ни пыталась Консуэло забыться, какое-то жуткое чувство не покидало ее. Сдавленный стон, прозвучавший среди мрака, ветра и дождя в толпе озабоченных или безучастных людей, — она даже не могла бы сказать, был то человеческий голос или игра ее воображения, — поразил ее ужасом, и сердце ее заныло. Она тотчас вспомнила Альберта и, словно проникнувшись его даром таинственного прозрения, испугалась какой-то опасности, нависшей над головой ее жениха или над ее собственной.

А карета уже мчалась. Свежая лошадь, еще более сильная, чем первая, быстро везла ее. Другая карета, ехавшая столь же быстро, то отставала, то опережала их. Йозеф опять болтал с господином Мейером, а Консуэло пыталась заснуть, притворяясь спящей, чтобы оправдать свое молчание.

Усталость в конце концов взяла верх над ее грустью и тревогой, и она заснула глубоким сном. Когда она проснулась, Йозеф тоже спал, а господин Мейер наконец-то умолк. Дождь перестал, небо прояснилось, и начало светать. Местность

была совершенно незнакома Консуэло. Только время от времени вырисовывались на горизонте вершины горной цепи, похожей на Богемский лес.

По мере того как проходило ее сонное оцепенение, она все с большим удивлением замечала, что горы, которым надлежало быть слева от нее, находятся справа. Звезды уже погасли, но солнце, которое, как она полагала, должно было взойти впереди, еще не появлялось. Она решила, что горы перед ее глазами — не Богемский лес, а какие-то другие. Господин Мейер храпел, а с возницей, единственным, кто не спал в эту минуту, она заговорить не решалась.

Лошадь, взбираясь на довольно крутой косогор, пошла шагом, и колеса, погружаясь в сырой песок колеи, застучали слабее. Тут Консуэло явственно услышала тот же глухой, мучительный стон, который слышала уже на постоялом дворе в Бибереке. Голос, казалось, раздавался где-то сзади. Машинально она обернулась, но увидела только кожаную спинку кареты, на которую она опиралась. Консуэло сочла себя жертвой галлюцинации, и, поскольку мысли ее постоянно возвращались к Альберту, она с ужасом подумала, что в этот миг он, наверное, умирает и что

такова непостижимая сила любви этого странного человека, что до нее доносятся его страшные, душераздирающие предсмертные вздохи. Эта фантастическая мысль до того завладела ею, что ей стало дурно. Боясь совсем потерять сознание, она обратилась к вознице, когда тот остановился на половине подъема, чтобы дать лошади передохнуть, и попросила у него позволения подняться в гору пешком. Он согласился и, спрыгнув сам, пошел, посвистывая, подле лошади.

Человек этот был слишком хорошо одет для простого возчика. При каком-то его движении Консуэло показалось, что у него за поясом засунуты пистолеты. Подобная предосторожность в пустынном крае, каким они проезжали, была более чем естественна; к тому же форма кареты, которую Консуэло, идя у колеса, хорошо рассмотрела, говорила о том, что она предназначена для товаров. Кузов был настолько глубок, что за спинкой сиденья, очевидно, находился ящик, вроде тех, в которых возят ценности и депеши. На этот раз карета, видимо, была не слишком загружена, раз ее свободно везла одна лошадь. Но гораздо больше поразило Консуэло то, что перед ней внезапно возникла ее тень, и, обернувшись, она увидела, что солнце уже поднялось над

горизонтом, но не там, где оно взошло бы, если бы они направлялись в Пассау, а в точке прямо противоположной.

— Куда же мы едем? — спросила она возницу, поспешно подходя к нему. — Мы повернулись к Австрии спиной.

— Да, на полчаса, — весьма спокойно ответил тот, — мы возвращаемся назад, так как мост через реку, по которому нам надо ехать, разрушен и приходится делать крюк в полмили, чтобы попасть на другой.

Немного успокоившись, Консуэло села в карету и обменялась несколькими незначительными словами с господином Мейером, который проснулся было, но тотчас снова уснул (Йозеф же спал все время, не пробуждаясь). Так они добрались до вершины холма, и Консуэло увидела перед собой длинную, крутую и извилистую дорогу, а в глубине ущелья показалась река, о которой ей говорил возница. Но, насколько мог видеть глаз, не было никакого моста, а между тем они продолжали двигаться к северу. Встревоженная и удивленная, Консуэло больше не могла заснуть. Вскоре начался новый подъем; лошадь, по-видимому, очень устала. Все путешественники вышли из кареты, кроме Консуэло, у которой все еще

болели ноги. И вот тут-то она опять услышала стон. Он повторился несколько раз и так ясно, что девушка уже никак не могла приписать его обману своих чувств: шел он, без всякого сомнения, из потайного ящика. Консуэло тщательно осмотрела карету и обнаружила в том углу, где все время сидел Мейер, как бы небольшой глазок, ведущий в ящик и прикрытый кожаной створкой. Консуэло попыталась открыть ее, но не смогла, так как створка оказалась запертой на ключ, находившийся, вероятно, в кармане мнимого профессора.

Консуэло, решительная и мужественная в такого рода случаях, вытащила из кармана нож с твердым и острым лезвием: она захватила его с собой, повинуясь, быть может, голосу целомудрия и в смутном предчувствии опасностей, от которых самоубийство всегда может избавить смелую женщину. Воспользовавшись моментом, когда все путешественники ушли вперед, в том числе и возница, не опасавшийся больше, что лошадь проявит свой бойкий нрав, Консуэло быстрым уверенным движением расширила узкую щель между створкой и спинкой кареты настолько, чтобы можно было заглянуть во внутренность таинственного хранилища. Каковы же

были ее удивление и ужас, когда она увидела в тесном и темном ящике, куда воздух и свет проникали лишь через проделанную вверху щель, мужчину огромного роста, окровавленного, с заткнутым ртом и туго связанными руками и ногами; он лежал, согнувшись вдвое, в страшно неудобном, мучительном положении. Лицо его, насколько можно было разглядеть, было покрыто мертвенной бледностью и, казалось, искажено предсмертной судорогой.

Глава LXXI

Похолодев от ужаса, Консуэло выскочила из кареты, догнала Йозефа и украдкой сжала ему руку, давая понять, чтобы он отошел с ней подальше от остальных.

Когда они опередили других на несколько шагов, она чуть слышно проговорила:

— Мы погибли, если не убежим сию же минуту; люди эти — грабители и убийцы. Я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них куда глаза глядят. Им зачем-то нужно обманывать нас.

Йозеф подумал, что страшный сон расстроил воображение его спутницы. Он едва понимал, что она говорит. Сам он чувствовал какую-то непривычную вялость, а резь в желудке указывала на то, что к выпитому накануне вину хозяин харчевни подмешал какие-то вредные и опьяняющие снадобья. Йозеф знал, что пил не настолько больше обычного, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабленным.

— Дорогая синьорина, — ответил он, — вы во власти какого-то кошмара, и, когда я слушаю вас,

кажется, я и сам поддаюсь ему. Но даже если бы эти славные люди были бандитами, как вы себе вообразили, скажите, на какую богатую добычу они могут рассчитывать, захватив нас?

— Не знаю, но мне страшно. Вот если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в той самой карете, в которой мы едем…

Здесь Йозеф не мог не рассмеяться — до того это утверждение Консуэло в самом деле походило на галлюцинацию.

— Ах! Да неужели вы не замечаете и того, что они обманывают нас и везут к северу, оставляя и Пассау и Дунай позади? — с жаром продолжала она. — Посмотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы едем, вместо того чтобы приближаться к большому городу!

Справедливость этих замечаний поразила, наконец, Йозефа, и он стал выходить из того, можно сказать, летаргического спокойствия, в какое был погружен вначале.

— Ну что ж, идемте, — сказал он, — а если они против воли захотят удержать нас, мы сразу поймем их намерения.

— А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровия, Йозеф, слышите? Нужно будет перехитрить их и улучить другой

момент.

Тут она потянула его за руку и, притворяясь, будто хромает еще сильнее, чем вынуждали ее больные ноги, устремилась вперед. Не успели они сделать и десяти шагов, как их окликнул господин Мейер, сначала дружеским тоном, затем более строго, а так как они не обращали на него внимания, вслед им полетела грубая брань остальных спутников. Йозеф оглянулся и с ужасом увидел пистолет, направленный на них бежавшим сзади возницей.

— Они убьют нас, — сказал он, замедляя шаг.

— А разве мы еще на расстоянии выстрела? — хладнокровно спросила Консуэло, увлекая его вперед и пускаясь бегом.

— Не знаю, — ответил Йозеф, стараясь остановить ее, — поверьте мне, нужный момент еще не настал. Они выстрелят в вас.

— Остановитесь, или я уложу вас на месте! — крикнул возница, догонявший их с пистолетом в вытянутой руке.

— Теперь надо брать смелостью, — сказала Консуэло, останавливаясь, — делайте, Йозеф, и говорите то же, что я.

— Эх, черт возьми, — громко воскликнула она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей ак-

трисы, — если бы больные ноги не мешали мне бежать дальше, я показал бы вам, что над нами подшутить не удастся.

Глядя на смертельно бледного Йозефа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на его испуганную физиономию, закричала с прекрасно разыгранной веселостью:

— Он поверил! Бедный мой приятель поверил! Ах, Беппо! Я не считал тебя таким трусом. Ну, господин профессор, взгляните-ка на Беппо, он в самом деле вообразил, что в него хотят всадить пулю.

Консуэло нарочно говорила по-венециански, чтобы веселым тоном сдержать пыл парня с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Господин Мейер тоже притворно рассмеялся. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему, подмигивая, что прекрасно заметила Консуэло:

— Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей?

— Мне хотелось узнать, насколько они храбры, — ответил тот, засовывая пистолеты за пояс.

— Увы! Господа будут о тебе неважного мнения, друг Йозеф, — лукаво проговорила Консуэло. — А

вот я не испугался, отдайте мне в этом должное, синьор Пистолет.

— Вы молодец! — ответил Мейер. — Из вас вышел бы славный барабанщик, и вы, не сморгнув, били бы в барабан, идя на приступ и шагая во главе полка под градом картечи.

— О! Это еще неизвестно, — возразила она, — может, и испугался бы, поверь я, что этот господин вправду хочет нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие проказы, и нас не так-то легко провести.

— Все равно, это шутка дурного тона, — возразил Мейер и, обернувшись к вознице, сделал вид, что выбранил его.

Но не так-то легко было обмануть Консуэло, и по тону своих спутников она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив ее в желании убежать.

Усевшись снова вместе со всеми в карету, Консуэло, смеясь, обратилась к господину Мейеру:

— Согласитесь, что ваш возница с пистолетом — чудак. Я буду теперь звать его синьор Пистолет. Однако, господин профессор, сознайтесь, что его проделка не так уж нова.

— Милая немецкая шуточка, — заметил Мей-

ер. — В Венеции развлекаются остроумнее, не правда ли?

— А знаете, что на вашем месте, желая посмеяться над нами, проделали бы итальянцы? Они завезли бы карету за первый попавшийся придорожный куст, а сами спрятались бы. И вот мы, обернувшись и ничего не увидев, решили бы, что вас унес сам дьявол! Кто бы тогда остался в дураках? Прежде всего я, еле передвигающий ноги, да и Йозеф тоже, — он пуглив, как корова, что пасется в Богемском лесу, он подумал бы, что его бросили в этой пустыне!

Господин Мейер, смеясь над ее ребяческими выдумками, переводил все синьору Пистолету, который не менее, чем он сам, забавлялся наивностью гондольера.

— О, вы слишком хитры, мы больше не рискнем строить вам козни, — заявил Мейер.

Консуэло, заметив глубокую иронию, пробившуюся, наконец, сквозь веселый, отеческий тон мнимого добряка, продолжала, однако, разыгрывать простофилю, воображающего себя умником, — прием, применяемый во всех мелодрамах.

Но приключение их было спектаклем серьезным, и Консуэло, ловко ведя свою роль, чувство-

вала, что она словно в лихорадке. К счастью, в таком возбужденном состоянии действуют, а в подавленном — погибают.

Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержанна, и Йозеф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей. Притворившись, будто они нисколько не сомневаются в том, что действительно подъезжают к Пассау, молодые люди стали внимательно прислушиваться к предложению отправиться в Дрезден, которое господин Мейер не преминул возобновить. Таким способом они завоевали полное его доверие и дали ему возможность подыскать предлог честно признаться в том, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог скоро нашелся. Господин Мейер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами — господином Мейером, синьором Пистолетом и Молчальником. Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую беседу.

— Говорил же я вам, что мы сбились с пути! — воскликнул господин Мейер. — Спутники-то наши исчезли! Уже более двух часов, как они отстали от нас, и сколько я ни оглядывался с косогора, ничего не увидел.

— И я их не вижу, — подтвердил возница, высовываясь из кареты и с унылым видом снова садясь на место.

Консуэло еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другой кареты, с которой они одновременно выехали из Биберека.

— Я так и знал, что мы заблудились, — сказал Йозеф, — но не хотел говорить об этом.

— А почему же, черт побери, вы этого не сказали? — вмешался Молчальник, делая вид, будто крайне раздражен подобным открытием.

— Да потому, что меня это забавляло, — сказал Йозеф, вдохновленный невинным коварством Консуэло. — Вот смешно — заблудиться в карете! Я думал, заблудиться можно только пешком.

— Ну что ж, это в самом деле забавно, — прибавила Консуэло. — А теперь мне бы даже хотелось, чтобы мы оказались на дрезденской дороге!

— Знай я, где мы, — возразил господин Мейер, — я бы тоже порадовался вместе с вами, дети мои. Признаюсь, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау для одного только удовольствия моих друзей, и если мы действительно сбились, с пути, то я буду рад воспользоваться этим предлогом, чтобы не простирать дальше нашей любезности к ним.

— Право, господин профессор, — заговорил Йозеф, — поступайте как знаете, это уж ваше дело. Если мы вам не в тягость и вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?

— Да скажу то же, — ответила Консуэло. — Была не была!

— Славные вы ребята! — ответил Мейер, скрывая свое удовольствие под напускной озабоченностью. — Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся.

— Где бы мы ни были, а надо сделать привал! — заявил возница. — Лошадь совсем выбилась из сил. Ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела, а везла всю ночь. Да и все мы рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок. Кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!

Въехали в лес, распрягли лошадь. Йозеф и Консуэло с готовностью предложили свои услуги, что было принято весьма благосклонно. Оглобли кареты опустили на землю, и так как при этом положение спрятанного узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэло вновь донесся стон. Мейер также услыхал его и пристально посмотрел на Консуэло, желая убедиться,

заметила ли она что-либо. Но девушка сумела притвориться глухой и невозмутимой, хотя жалость и терзала ее сердце. Мейер обошел вокруг кареты, и удалившаяся в сторону Консуэло видела, как он открыл сзади маленькую дверцу, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман.

— Что, товар не поврежден? — крикнул Мейеру Молчальник.

— Все в порядке, — ответил тот с жестоким равнодушием и велел готовить завтрак.

— Теперь, — быстро проговорила Консуэло, проходя мимо Йозефа, — поступай, как я, и следуй за каждым моим шагом.

Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Йозеф подражал ей, притворяясь страшно веселым. Господин Мейер с удовольствием глядел, как усердно прислуживают ему эти добровольные слуги. Он любил блага жизни и принялся есть и пить, так же как и его товарищи, с еще большей жадностью и грубыми ухватками, чем накануне. Он поминутно протягивал стакан своим новоиспеченным пажам, а те поминутно то вставали, то садились, то пускались бегом в ту или другую сторону, подстерегая момент, когда можно будет сбежать окончатель-

но, но выжидая, чтобы вино и еда сделали менее бдительными их опасных стражей. Наконец, господин Мейер, растянувшись на траве, расстегнул куртку и выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Возница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а Молчальник отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого был сделан привал, подходящее место, где она могла бы напиться. Это послужило сигналом к побегу. Консуэло сделала вид, будто также разыскивает водопой. Йозеф зашел с ней поглубже в кусты, и, как только они почувствовали, что скрыты густой листвой, оба пустились, как два зайца, бежать по лесу. В чаще им уже нечего было опасаться пуль. И когда они услышали, что их зовут, то были уже далеко и решили, что могут без боязни бежать вперед.

— А все же лучше ответить, — сказала, останавливаясь, Консуэло, — это рассеет их подозрения и даст нам время убежать подальше.

И Йозеф отозвался:

— Сюда, сюда! Здесь вода!

— Источник! Источник! — кричала Консуэло.

И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку неприятеля, они понеслись как ветер. Консуэло уже не думала о своих больных, опух-

ших ногах. Йозеф преодолел действие наркотика, подбавленного накануне Мейером в его вино. Страх придал им крылья.

Так мчались они минут десять в направлении, противоположном взятому ими сначала, даже не прислушиваясь к голосам, звавшим их с двух сторон, и вдруг выскочили на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой и спускавшийся к проезжей дороге, а дальше — вересковая пустошь с разбросанными там и сям деревьями.

— Не будем выбираться из леса, — предложил Йозеф, — они явятся сюда и с этой высоты увидят нас, куда бы мы ни направились.

С минуту Консуэло колебалась, но, окинув быстрым взглядом окрестность, сказала Йозефу:

— Лес слишком мал, надолго мы не скроемся в нем. Впереди же дорога и надежда встретить кого-нибудь.

— Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали! — воскликнул Йозеф. — Смотрите, она огибает холм и поднимается справа к месту, откуда мы убежали. Стоит одному из троих сесть на лошадь, и он настигнет нас прежде, чем мы успеем спуститься.

— Это еще неизвестно, — сказала Консуэло. —

Под гору бежать ведь легко. А вон там на дороге кто-то едет в нашу сторону. Все дело в том, чтобы догнать его прежде, чем догонят нас. Бежим!

Некогда было терять время на размышления, и Йозеф положился на интуицию Консуэло. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первого перелеска, как услыхали у опушки голоса своих преследователей. На этот раз они уже не откликнулись, а снова помчались вперед под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за тех же деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Беглецы перебрались по ней, а затем сбросили ее в воду.

Очутившись на другом берегу, они понеслись вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что враги либо потеряли их след, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, думают, как бы захватить их врасплох. Но вскоре береговые заросли кончились, и путники остановились, боясь, что их заметят. Йозеф осторожно высунул голову из-за последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса, а другого (вероятно, то был синьор Пистолет, в быстроте его ног они успели убедиться) — у

подножия холма, неподалеку от ручья. В то время как Йозеф изучал расположение противника, Консуэло направилась к дороге, но почти тотчас же вернулась к своему спутнику.

— Карета, — проговорила она, — мы спасены! Надо добежать до нее раньше, чем наш враг сумеет перебраться через ручей.

Уже не остерегаясь, они устремились к дороге напрямик, по открытой местности. Карета во весь опор мчалась им навстречу.

— О Боже мой! — воскликнул Йозеф. — Что, если это вторая карета, та, где едут сообщники?

— Нет, — ответила Консуэло, — это карета шестериком, с двумя форейторами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены, еще немножко мужества!

Времени терять было нельзя: синьор Пистолет нашел их следы на песке у ручья. Он обладал быстротой и силой дикого кабана. Вскоре он разыскал место, где следы исчезали и видны были сваи, на которых раньше лежала доска. Он угадал хитрость беглецов, вплавь перебрался через ручей, нашел на другом берегу отпечатки их ног и, следуя по ним, уже показался из-за кустов. Тут он увидел Консуэло с Йозефом, бегущих по вереску… но увидел также карету. Он понял их

намерение, но, не имея возможности помешать ему, вернулся в кусты и стал ждать.

Крики двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановили кареты. Путешественники бросили им несколько жалких монет, а форейторы, видя, что наши беглецы, вместо того чтобы их поднять, продолжают, крича что-то, бежать у дверцы кареты, понеслись вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэло, запыхавшись и теряя последние силы (как обычно бывает в момент достижения цели), уже не в состоянии была произнести ни единого звука, а только гналась за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки, тогда как Йозеф, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом:

— Помогите! Помогите! За нами погоня! Разбойники! Убийцы!

Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец, удалось разобрать эти отрывистые слова. Он подал знак форейтору, и тот остановил кучеров. Тут Консуэло выпустила уздечку другого форейтора, на которой повисла, невзирая на то, что лошадь поднялась на дыбы, а всадник грозил ей хлыстом, и присоединилась к

Йозефу. Лицо ее, оживленное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры.

— Что это значит? — спросил один из них. — Новая манера выпрашивать милостыню? Вам подали, чего же вы еще хотите? Почему не отвечаете?

Консуэло, казалось, готова была испустить дух. Йозеф, задыхаясь, мог только выговорить:

— Спасите нас! Спасите! — и показал на лес и на холм, будучи не в силах прибавить ни единого слова.

— Они похожи на двух загнанных на охоте лисиц, — заметил другой путешественник, — подождем, пока к ним вернется дар речи.

И оба роскошно одетых вельможи посмотрели на них, спокойно улыбаясь, что служило резким контрастом возбужденному состоянию беглецов.

Наконец, Йозефу удалось произнести еще раз: «Грабители, убийцы». Тотчас знатные путешественники приказали открыть дверцы кареты и, спустившись на подножку, стали смотреть во все стороны, удивляясь, что не видят ничего, объясняющего подобную тревогу. Разбойники попрятались, и кругом все было пустынно и безмолвно.

Тут Консуэло, придя в себя, заговорила, останав-

ливаясь после каждой фразы, чтобы перевести дух.

— Мы бедные странствующие музыканты, — начала она. — Нас захватили незнакомые люди, которые, якобы желая помочь нам, предложили сесть к ним в карету и везли нас всю ночь. На заре мы заметили, что нас обманывают и едут на север, вместо того чтобы направляться в Вену. Мы хотели бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Наконец, они сделали привал вон в том лесу. Тут мы убежали от них и бросились навстречу вашей карете. Теперь, если вы покинете нас, мы погибли: они в двух шагах от дороги, один здесь, в кустах, остальные в лесу.

— Сколько же их? — спросил форейтор.

— Друг мой, — по-французски ответил ему тот из путешественников, к которому обратилась Консуэло, так как он стоял к ней ближе других на подножке, — знайте, что вас совершенно не касается, сколько их. Странный вопрос! Ваша обязанность — драться, когда я вам прикажу, а считать врагов я вам вовсе не поручаю.

— Вы в самом деле хотите для развлечения сделать выпад-другой? — спросил по-французски второй вельможа. — Но помните, барон, на это надо время.

— Времени надо не много, а ноги мы разомнем. Желаете присоединиться ко мне, граф?

— Пожалуй, если это вас забавляет. — И граф с величавой беспечностью взял в одну руку шпагу, а в другую два пистолета, усыпанных драгоценными камнями.

— О, вы благородно поступаете, господа! — воскликнула Консуэло, в пылу возбуждения позабыв на минуту свою скромную роль и пожимая обеими руками руку графа.

Граф, удивленный такой фамильярностью какого-то ничтожного мальчишки, с гадливой усмешкой посмотрел на свой рукав, встряхнул его и с презрением, медленно перевел взгляд на Консуэло, а та не могла не улыбнуться, вспомнив, с каким пылом граф Дзустиньяни и другие знаменитые венецианцы в былые времена добивались милости поцеловать ту самую руку, чье пожатие показалось сейчас таким дерзким. Отразилась ли в эту минуту на лице Консуэло спокойная, скромная гордость, столь противоречащая ее убогому виду, или легкость, с которой она изъяснялась на языке, считавшимся в немецких странах принадлежностью хорошего общества, заставила предположить в ней переодетого юного дворянина, или, наконец, инстинктивно почувствовалась

прелесть ее пола, но только выражение лица графа вдруг изменилось, и он улыбнулся ей уже не презрительно, а ласково. Граф был еще молод, красив, и внешность его могла бы показаться ослепительной, если бы барон не превосходил его молодостью, правильностью черт и статностью фигуры. Оба были красивейшими мужчинами своего времени, хотя, возможно, то же говорили и о многих других.

Консуэло, видя, что выразительные глаза молодого барона также с недоумением, удивлением и интересом устремлены на нее, отвлекла внимание обоих вельмож от своей особы, сказав:

— Идите, господа, или, вернее, пойдемте, мы будем вашими проводниками. В кузове кареты этих бандитов, как в темнице, запрятан какой-то несчастный. Он лежит, связанный по рукам и по ногам, умирающий, окровавленный, с кляпом во рту. Освободите его! Такое дело достойно ваших благородных сердец!

— Клянусь Богом, это прелестный мальчик! — воскликнул барон. — Я вижу, дорогой граф, что мы не потеряли даром время, выслушав его. Быть может, мы вырвем из рук этих бандитов какого-нибудь честного дворянина.

— Вы говорите — они там? — спросил граф,

указывая на лес.

— Да, — ответил Йозеф, — но они разбежались; и если вашим сиятельствам угодно будет узнать мое скромное мнение, то нам следует разделиться для нападения: надо как можно скорее подняться в карете по этому косогору и, обогнув холм, достигнуть его вершины. У самой опушки леса вы найдете карету с узником. Я же в это время проведу господ всадников напрямик. Бандитов всего трое. Они хорошо вооружены, но, когда увидят, что их обошли с двух сторон, не будут сопротивляться.

— Совет недурен, — промолвил барон. — Граф, оставайтесь в карете, и пусть с вами едет ваш слуга — я беру его лошадь. Один из мальчиков проводит нас и укажет, где остановиться. А я увожу вот этого и своего егеря. Поспешим, а то разбойники, вероятно, настороже и могут нас опередить.

— Карета их не уйдет от вас, — заметила Консуэло, — лошадь еле жива от усталости.

Барон вскочил на коня графского слуги, а тот поместился на запятках кареты.

— Садитесь, — сказал граф Консуэло, пропуская ее вперед и сам не отдавая себе отчета в этом почтительном жесте. Однако уселся он все же на

заднее сиденье, предоставив ей переднее. Кучера пустили лошадей вскачь, а граф, высунувшись из окна, не сводил глаз со своего спутника, который верхом перебирался через ручей в сопровождении слуги, во время переправы посадившего Йозефа к себе на лошадь. Консуэло далеко не была спокойна за своего бедного приятеля, рисковавшего получить первую же пулю, но горячность, с какою он взялся за это опасное дело, вызывала ее уважение и одобрение. Она видела, как он поднимается по косогору, а за ним следуют всадники, энергично пришпоривая коней. Затем все скрылись в лесу. Вдруг раздались два выстрела, потом еще один. Карета в это время огибала холм. Консуэло, не зная, чем все кончилось, стала горячо молиться. Граф, испытывавший такую же тревогу за своего благородного спутника, сердито закричал кучерам:

— Да погоняйте же, канальи! Вскачь!

Глава LXXII

Синьор Пистолет — мы не можем называть этого человека иначе, чем окрестила его Консуэло, ибо не находим его настолько интересным, чтобы наводить о нем более подробные справки, — видел из своего убежища, как карета, при криках беглецов, остановилась. Другой неизвестный, прозванный Консуэло Молчальником, стоя на вершине холма, сделал те же наблюдения и те же выводы. Поэтому он побежал к Мейеру, и они вместе стали обсуждать, как спастись. Прежде чем барон переправился через ручей, синьор Пистолет успел забежать вперед и притаиться в чаще леса. Он дал всадникам проехать, а потом пустил им вслед две пули: одна пробила шляпу барона, а другая слегка задела лошадь слуги. Барон круто повернул коня, увидел бандита, поскакал прямо на него и одним выстрелом свалил на землю. Затем, предоставив раненому с проклятиями кататься среди колючек, сам последовал за Йозефом, подоспевшим к карете Мейера почти одновременно с графской каретой. Граф успел уже спрыгнуть на землю. Мейер и Молчальник

исчезли вместе с лошадью, не тратя времени на то, чтобы спрятать свою карету. Первым делом победителей было взломать замок у ящика, где находился узник. Консуэло с жаром помогала разрезать веревки и вынуть кляп изо рта несчастного, а тот, как только почувствовал себя свободным, бросился в ноги своим избавителям и стал благодарить Бога. Но едва он взглянул на барона, как решил, что попал из огня да в полымя.

— Ох! Да это господин барон фон Тренк! — воскликнул он. — Не губите меня, не выдавайте! Сжальтесь, сжальтесь над несчастным дезертиром, отцом семейства! Ведь я пруссак не более, чем вы сами, господин барон, ведь я, как и вы, австрийский подданный; умоляю вас, не арестовывайте меня. Ох, смилуйтесь надо мной!

— Простите его, господин барон фон Тренк! — воскликнула Консуэло, не зная, ни с кем она говорит, ни о чем идет речь.

— Я тебя милую, — отвечал барон, — но с условием, что ты самой страшной клятвой поклянешься никогда не говорить, кому ты обязан жизнью и свободой.

С этими словами барон вынул из кармана носовой платок и тщательно закрыл им лицо, оставив на виду только один глаз.

— Вы ранены? — спросил граф.

— Нет, — ответил он, надвигая шляпу как можно ниже на лоб, — но попадись нам эти мнимые разбойники, мне не очень хотелось бы, чтобы меня узнали. Я и так не на слишком хорошем счету у своего милостивого монарха. Только этого мне еще недоставало!

— Понимаю, — заметил граф, — но будьте покойны: я беру все на себя.

— Это может спасти дезертира от розог и виселицы, но не спасет меня от немилости. Да все равно, почем знать, что может случиться, — надо, рискуя всем, оказывать услуги ближнему. Но, горемыка, можешь ты держаться на ногах? Что-то не очень, как видно. Ты ранен?

— Правда, меня страшно били, но теперь я ничего не чувствую.

— Короче говоря, ты в силах удрать?

— О да, господин адъютант!

— Не называй меня так, болван! Молчи и убирайся! Да и нам, любезный граф, не мешает сделать то же самое. Мне не терпится поскорее выбраться из этого леса. Я убил вербовщика, и, дойди это только до короля, мне бы не поздоровилось! Хотя в конце концов все это пустяки! — прибавил он, пожимая плечами.

— Увы! — сказала Консуэло, в то время как Йозеф протягивал свою фляжку дезертиру. — Если вы бросите его здесь, его сейчас же заберут снова. Ноги у него распухли от веревок, руками он с трудом владеет. Взгляните, как он бледен и изнурен.

— Мы не бросим его, — заявил граф, не сводивший глаз с Консуэло. — Спешься, Франц, — приказал он своему слуге и, обращаясь к дезертиру, сказал: — Садись на эту лошадь, я дарю ее тебе. И вот еще в придачу, — прибавил он, бросая ему кошелек. — А хватит у тебя сил добраться до Австрии?

— Да, да, ваше сиятельство!

— Хочешь ехать в Вену?

— Да, ваше сиятельство!

— И снова поступить на службу?

— Да, ваше сиятельство, только не в Пруссии.

— Так отправляйся к ее величеству королеве-императрице — она всех принимает раз в неделю, — скажи ей, что граф Годиц шлет ей в подарок красавца гренадера, в совершенстве выдрессированного на прусский лад.

— Лечу, ваше сиятельство!

— Но смотри, не смей упоминать о господине бароне, а то я велю своим людям схватить тебя и отправить обратно в Пруссию.

— Да лучше мне умереть на месте! Ох! Если б негодяи не связали мне рук, я убил бы себя, когда они меня снова захватили!

— Проваливай!

— Слушаю, ваше сиятельство!

Он дочиста опорожнил фляжку, возвратил ее Йозефу, обнял его, не подозревая, что тот оказал ему гораздо более важную услугу, и бросился в ноги графу и барону, но, остановленный на полуслове нетерпеливым жестом последнего, истово перекрестился, поцеловал землю и взобрался на лошадь с помощью слуг, так как еле шевелил ногами. Однако, очутившись в седле, он сразу приободрился, почувствовал прилив сил, пришпорил коня и умчался по дороге, ведущей на юг.

— Если когда-нибудь обнаружится, что я не удержал вас от этого поступка, — сказал барон графу, — то моя песенка спета. А впрочем, все равно, — добавил он, заливаясь смехом. — Идея подарить Марии-Терезии фридриховского гренадера просто великолепна. Этот плут, который стрелял в уланов императрицы, теперь будет стрелять в кадетов прусского короля! Нечего сказать, верные солдаты! Прекрасные войска!

— Государям от этого живется не хуже, — про-

ронил граф. — А что же нам делать с этими мальчуганами? — добавил он.

— Мы можем только повторить то, что сказали о гренадере, — ответила Консуэло. — Если вы покинете нас здесь, мы пропали!

— Мне кажется, до сих пор мы не давали вам повода сомневаться в нашей гуманности, — вымолвил граф, произносивший каждое слово с какой-то рыцарской рисовкой. — Мы довезем вас до места, где вам нечего будет опасаться. Мой слуга, оставшийся без лошади, сядет на козлы, — сказал он барону и, понизив голос, прибавил: — Разве вы не предпочитаете общество этих мальчиков обществу слуги, которого нам пришлось бы взять в карету, что гораздо больше стеснило бы нас?

— Да, конечно, — ответил барон, — артисты, как бы бедны они ни были, везде желанные гости. Кто знает, не окажется ли вот этот самый музыкантик, нашедший в кустах свою скрипку и схвативший ее с такой радостью, будущим Тартини? Ну, трубадур, — сказал он Йозефу, только что в самом деле подобравшему на поле боя свою сумку, скрипку и рукопись, — едем с нами, и на первом же привале вы нам воспоете это славное сражение, где не с кем было сражаться.

— Можете сколько угодно потешаться надо мной, — промолвил граф, когда оба удобно расположились на заднем, а мальчики — на переднем сиденье и карета быстро покатилась в сторону Австрии, — ведь вы, а не я подстрелили этого негодяя.

— В том-то и дело, что я не уверен, убил я его наповал или нет, и боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам честь этого подвига.

— А я, хоть мне не удалось даже видеть противника, искренне завидую вам, — возразил граф. — Я уже начал было входить во вкус приключения и с радостью наказал бы мерзавцев, как они того заслуживают. Подумайте только! Хватать дезертиров и набирать рекрутов в самой Баварии, верной союзнице Марии-Терезии! Неслыханная наглость!

— Вот вам готовый повод для войны, не будь мы утомлены сражениями и не живи в такое мирное время. Итак, вы очень обяжете меня, граф, если не станете разглашать это происшествие, не только из-за моего государя, который был бы крайне недоволен, узнав о моей роли в этой истории, но и ввиду поручений, данных мне к вашей императрице. Она приняла бы меня

весьма недоброжелательно, явись я к ней тотчас после дерзкого поступка, совершенного моим правительством.

— Можете быть совершенно спокойны, — ответил граф, — вы знаете, что я не особенно ревностный подданный, ибо во мне нет честолюбия царедворца.

— Да какие же еще честолюбивые чувства вы могли бы питать, дорогой граф? И любовь и богатство увенчали все ваши желания. А вот я… Ах! Как различна до сих пор наша судьба, несмотря на кажущееся на первый взгляд сходство!

Говоря это, барон вынул спрятанный на груди портрет, усыпанный бриллиантами, и стал нежно глядеть на него, тяжело при этом вздыхая, что показалось несколько смешным Консуэло. Она нашла, что столь открытое проявление чувства отнюдь не является показателем хорошего тона, и в глубине души посмеялась над манерами знатного вельможи.

— Милый барон, — проговорил граф, понизив голос (Консуэло сделала вид, будто ничего не слышит, и даже искренне старалась не слушать), — умоляю вас, не удостаивайте никого доверия, каким вы почтили меня, а главное — никому, кроме меня, не показывайте портрета.

Вложите его обратно в футляр и не забывайте, что этот мальчик так же хорошо понимает французский язык, как и мы с вами.

— Кстати, — воскликнул барон, пряча портрет, на который Консуэло постаралась не бросить ни единого взгляда, — что, черт возьми, собирались делать с этими мальчуганами наши вербовщики? Скажите, что они вам предлагали, уговаривая ехать с собой?

— В самом деле, — сказал граф, — я как-то об этом не подумал, да и теперь не могу объяснить себе эту их выходку: зачем людям, вербующим лишь мужчин зрелого возраста и богатырского сложения, понадобились двое детей?

Йозеф рассказал, что мнимый Мейер выдавал себя за музыканта и, не переставая, говорил о Дрездене и об ангажементе в капелле курфюрста.

— А! Теперь понимаю! — сказал барон. — Готов поручиться, что знаю этого Мейера. Это, должно быть, некий Н., бывший капельмейстер военного оркестра, а ныне вербовщик музыкантов в прусские полки. Наши соотечественники туповаты, они играют фальшиво и не в такт, а у его величества слух потоньше, чем у его батюшки, покойного короля, и потому он вербует своих

трубачей, флейтистов и горнистов в Чехии и в Венгрии. Милейший профессор трескотни и бренчания вздумал сделать хороший подарок своему властелину — привезти ему, помимо дезертира, пойманного на вашей земле, еще двух музыкантов со смышлеными рожицами. А соблазнять вас Дрезденом и придворными прелестями было совсем неплохо придумано для начала. Но вам бы Дрездена и в глаза не видать, дети мои, и вы волей-неволей были бы зачислены до конца дней своих в оркестр какого-нибудь пехотного полка.

— Теперь я себе ясно представляю ожидавшую нас участь, — ответила Консуэло. — Я слыхал рассказы об ужасах этого военного строя, об обманном и жестоком похищении рекрутов. По тому, как обошлись негодяи с несчастным гренадером, я вижу, что в рассказах этих не было преувеличений. О, великий Фридрих…

— Да будет вам известно, молодой человек, — проговорил барон с несколько иронической напыщенностью, — что его величеству неведомы средства для достижения цели, он знает только результаты их.

— Которыми и пользуется, не заботясь об остальном, — продолжала Консуэло, охваченная неудержимым негодованием. — О! Я прекрасно

знаю, господин барон, короли никогда не бывают виноваты, они неповинны во всем том зле, что совершается им в угоду!

— А плутишка не так глуп! — смеясь, воскликнул граф. — Но будьте осторожны, мой милый маленький барабанщик, и не забывайте, что говорите со старшим офицером полка, куда вы должны были, по-видимому, попасть.

— Умея молчать, господин граф, я никогда не сомневаюсь в скромности других.

— Слышите, барон! Он обещает вам свое молчание, о чем вы и не помышляли просить его. Ну, право, прелестный мальчик!

— И я вполне полагаюсь на него, — проговорил барон. — Граф, — продолжал он, — вам следовало бы завербовать его и предложить в пажи ее высочеству.

— Хоть сейчас, если он согласен, — смеясь, сказал граф. — Хотите занять эту должность, гораздо более приятную, чем прусская служба? Да, дитя мое, тут не придется ни дуть в медные трубы, ни бить утреннюю зарю еще до зари, ни получать удары шпицрутенами, ни есть хлеб из толченого кирпича, а только поддерживать шлейф и носить веер красивейшей и изящнейшей дамы, жить в волшебном замке, забавляться,

смеяться и выступать в концертах, не уступающих концертам великого Фридриха. Что? Вас это не соблазняет? Уж не принимаете ли вы меня за второго Мейера?

— А кто же это высочество? Кто эта блестящая и прелестная дама? — спросила, улыбаясь, Консуэло.

— Вдовствующая маркграфиня Байрейтская, принцесса Кульмбахская, а ныне моя прославленная супруга и владетельница замка Росвальд в Моравии, — ответил граф Годиц.

Сотни раз слышала Консуэло рассказы канониссы Венцеславы фон Рудольштадт о генеалогии и брачных союзах княжеских и дворянских родов, а также анекдотическую хронику их, больших и малых, как в Германии, так и в соседних с нею странах. Некоторые из биографий поразили Консуэло, и среди них биография графа Годица-Росвальда, богатейшего моравского вельможи. Изгнанный и отвергнутый отцом, возмущенным его распутством, этот авантюрист был известен всем европейским дворам; в дальнейшем он стал обер-шталмейстером и любовником вдовствующей маркграфини Байрейтской, потом тайно обвенчался с ней и увез ее сначала в Вену, а затем в Моравию, где, унаследовав состояние отца,

сделал свою супругу обладательницей огромного богатства. Канонисса часто возвращалась к этой истории, находя ее весьма скандальной, ибо маркграфиня была владетельной принцессой, а граф — простым дворянином; для канониссы это был лишний повод обрушиться на неравные браки и на браки по любви. Консуэло, стремившаяся понять и узнать предрассудки аристократической касты, делала свои выводы из этих разоблачений и не забывала их. Когда граф Годиц впервые назвал себя, у нее сразу возникли какие-то смутные воспоминания: теперь же перед ней ясно встали все обстоятельства жизни и романтического брака этого знаменитого авантюриста. Что до барона фон Тренка — для него тогда только начиналась его достопамятная опала, и ему не дано было предугадать свое ужасное будущее, — то о нем она прежде ничего не слыхала. Итак, она слушала рассказы графа, не без хвастовства рисовавшего картину своего недавно полученного богатства. Осмеянный и презираемый при маленьких надменных дворах Германии, Годиц не раз краснел, чувствуя, что на него смотрят как на бедняка, разбогатевшего благодаря жене. Унаследовав огромные имения и выставляя напоказ царскую роскошь своего моравского графства, он отныне

считал честь свою восстановленной и любил подчеркивать свои новые преимущества, в назидание или на зависть мелким, далеко не столь богатым владетелям. Проявляя утонченное внимание и нежную заботливость по отношению к маркграфине, он, однако, не считал необходимым хранить верность женщине, бывшей намного его старше. А принцесса — потому ли, что она обладала здравыми взглядами и тактом, свойственными ее эпохе и заставлявшими закрывать глаза на многое, или потому, что считала невозможным, чтобы возвеличенный ею супруг мог когда-либо заметить увядание ее красоты, — не препятствовала его похождениям.

Через несколько лье доехали до подставы, где заранее было приготовлено все для приема знатных путешественников. Консуэло и Йозеф хотели сойти здесь и распроститься со своими избавителями, но те воспротивились, ссылаясь на возможность новых покушений со стороны снующих в этой местности вербовщиков.

— Вы не знаете, — сказал им Тренк (и он нисколько не преувеличивал), — до чего это ловкий и страшный народ. В какое бы место просвещенной Европы вы ни попали, если вы бедны и беззащитны, но притом у вас есть физическая

сила или какие-либо способности, то хитростью или насилием, а они уж попытаются захватить вас. Им известны все переходы через границу, все горные тропинки, все проселочные дороги, все подозрительные притоны, им знакомы все мошенники, на чью поддержку и помощь они могут рассчитывать в случае надобности. Они знают все языки, все наречия, так как побывали во всех странах и перепробовали все профессии. Они превосходно ездят верхом, бегают, плавают, перепрыгивают через пропасти, как заправские бандиты. Они почти все поголовно смелы, неутомимы, лживы, ловки, бесстыдны, мстительны, изворотливы и жестоки. Это подонки рода человеческого, и из таких-то подонков военные заправилы покойного короля Вильгельма Толстого и набрали самых ценных пособников своего могущества, лучших столпов своей дисциплины. Они настигнут дезертира в дебрях Сибири, разыщут его под пулями вражеских войск ради одного удовольствия доставить его обратно в Пруссию, чтобы там его повесили в назидание прочим. Они вытащили из алтаря священника, служившего обедню, только потому, что он был ростом пять футов и десять дюймов; выкрали врача у супруги великого курфюрста; десятки раз приводили в

ярость старого маркграфа Байрейтского, угоняя его войско, состоявшее из двадцати — тридцати человек, причем он не смел даже открыто выразить свой протест; одного французского дворянина, ехавшего в окрестности Страсбурга на свидание с женой и детьми, они обратили в пожизненного солдата. Они хватали русских у царицы Елизаветы, улан — у маршала Саксонского, пандуров — у Марии-Терезии, венгерских магнатов, польских вельмож, итальянских певцов и, наконец, женщин всех национальностей — новых сабинянок, которых они насильно выдавали замуж за солдат. Они берут все, что попадется; помимо жалованья и щедро оплачиваемых путевых издержек, они получают премию с каждой головы, да нет, что я говорю — с каждого дюйма роста, с каждой десятой дюйма.

— Да, — проговорила Консуэло, — они поставляют человеческое мясо по столько-то за унцию! Ах, ваш великий король — настоящее чудовище! Но будьте покойны, господин барон, можете говорить, не стесняясь: вы совершили доброе дело, освободив бедного дезертира, и я предпочел бы вынести пытки, предназначенные ему, чем вымолвить слово, могущее вам повредить.

Тренк, человек по натуре горячий, не при-

знавал осторожности; в то время он уже был озлоблен непонятной суровостью и несправедливостью к нему Фридриха и находил горькое удовольствие, разоблачая перед графом Годицем беззакония того самого государственного строя, преступлений которого он был свидетелем и соучастником в дни своего благоденствия, когда взгляды его не были еще столь справедливы и строги. Теперь же, тайно преследуемый, хотя по видимости облеченный доверием короля и получивший важное дипломатическое поручение к Марии-Терезии, он начинал ненавидеть своего повелителя и слишком откровенно выказывал свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабство и отчаяние многочисленной прусской армии, неоценимой на поле боя, но настолько опасной в мирное время, что приходилось для обуздания ее прибегать к системе беспримерного террора и жестокости. Рассказал и об эпидемии самоубийств, свирепствующей в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, даже честными и набожными, с единственной целью добиться смертного приговора и избавиться таким путем от ужасов жизни, на которую их обрекли.

— Поверите ли, — говорил он, — что они

особенно стремятся попасть в ряды так называемых поднадзорных? Надо вам сказать, что эти поднадзорные пополняются за счет рекрутов-иностранцев (главным образом похищенных) или за счет прусской молодежи. В начале своего военного поприща, кончающегося для них только вместе с жизнью, все они предаются безмерному отчаянию. Их выстраивают рядами и, как в мирное, так и в военное время, заставляют маршировать впереди шеренги солдат более покорных или более решительных, получивших приказ стрелять в каждого идущего перед ним при малейшей попытке к бегству или неповиновению. Если эта шеренга не выполнит приказа, то следующая за ней, составленная из людей еще более бесчувственных и более жестоких (а такие встречаются среди старых, очерствелых вояк и добровольцев, почти сплошь негодяев), обязана стрелять в обе передние; если же оплошает и третья, то следующая за ней, и так далее. Таким образом, каждый солдат имеет во время боя врага перед собой и врага позади себя, но равных себе — товарищей или братьев по оружию — нигде. Повсюду насилие, смерть и ужас. Только таким способом, говорит великий Фридрих, создаются непобедимые солдаты. Так вот именно в первых

рядах и домогается места прусский рекрут, а добившись его и потеряв всякую надежду на спасение, он бросает оружие и бежит, чтобы навлечь на себя пули своих товарищей. Этот отчаянный порыв спасает некоторых; ценою крайнего риска и невероятных опасностей им порой удается бежать, а иногда и перейти к врагу. Король прекрасно знает, с каким ужасом относятся в армии к его железному игу. И вам, быть может, известна острота, которую он сказал своему племяннику, герцогу Брауншвейгскому, присутствовавшему на одном из его больших парадов и не переставшему восхищаться прекрасной выправкой и блестящими маневрами войск.

«Вас удивляет, — обратился к нему Фридрих, — такое сборище стольких молодчиков и их единодушие, а меня несравненно больше удивляет нечто другое».

«Что же?» — спросил молодой герцог.

«Да то, что мы с вами находимся среди них в полной безопасности», — ответил король.

— Барон, дорогой барон! — возразил граф Годиц. — Это оборотная сторона медали. Чудес в человеческом обществе не бывает. Как мог бы Фридрих быть величайшим полководцем своего времени, если бы отличался голубиной крото-

стью?.. Знаете что? Не говорите больше о нем. А то, пожалуй, вы вынудите меня, естественного врага Фридриха, вступиться за него против вас, его адъютанта и любимца!

— Из того, как он обращается со своими любимцами в те минуты, когда на него найдет каприз, можно судить о том, как он поступает со своими рабами. Но вы правы: не будем больше говорить о нем, а то у меня является дьявольское желание вернуться в лес и собственными руками передушить его усердных поставщиков человеческого мяса, которых я пощадил из-за глупой и трусливой осторожности.

Великодушная горячность барона пришлась по сердцу Консуэло. Она с интересом слушала его живые рассказы о прусской военной жизни и, не зная, что к смелому негодованию барона примешивается доля личной досады, видела в нем человека редкого благородства. Тренк в самом деле обладал благородной душой. Гордый молодой красавец не был рожден для низкопоклонства. Этим он резко отличался от своего случайного дорожного приятеля, надменного богача Годица. Последний, в детстве приводивший в ужас и отчаяние своих воспитателей, был в конце концов предоставлен самому себе, и, хотя теперь

он уже вышел из возраста буйных шалостей, все же в его манерах и разговорах оставалось что-то мальчишеское, противоречащее его исполинской фигуре и красивому лицу, немного поблекшему за сорок лет постоянных треволнений и излишеств. Поверхностные знания, которыми он подчас любил прихвастнуть, были почерпнуты им исключительно из романов, модных философских сочинений и посещения театров. Он называл себя знатоком искусства, но и в этом, как во всем остальном, ему не хватало тонкости и глубины понимания. Однако его величественный вид, изысканная любезность и веселые остроты пленили воображение юного Гайдна, и граф нравился ему гораздо больше, чем барон, быть может, еще потому, что к последнему с явным интересом относилась Консуэло.

Барон, напротив, получил хорошее образование. И хотя блеск придворной жизни и кипучая молодость часто заставляли его забывать об истинной ценности человеческого величия, в глубине души он сохранил ту независимость чувств и твердость убеждений, которые даются серьезным чтением и развитием благородных задатков. Его гордая натура могла очерстветь под влиянием лести и угодничества, порождаемых

властью, но не согнулась настолько, чтобы при малейшей несправедливости не проявить себя вновь запальчивостью и гневом. Красавец паж Фридриха омочил губы в кубке с ядом, но любовь — любовь безграничная, смелая, восторженная — вновь воскресила в нем отвагу и твердость. Пораженный в самое сердце, он поднял голову и бросил вызов тирану, желавшему поставить его на колени.

В то время, о котором мы повествуем, ему было на вид не больше двадцати лет. Густые темные волосы, которыми он не хотел жертвовать ради нелепых установлений Фридриха, осеняли его высокий лоб. Великолепно сложенный, с искрящимися глазами, черными как смоль усиками и белыми, как алебастр, но сильными, как у атлета, руками, он обладал голосом не менее свежим и мужественным, чем его лицо, мысли и любовные упования. Консуэло все думала об этой таинственной любви, о которой он не переставал говорить, но это чувство уже не казалось ей смешным с той минуты, как она подметила в порывах и недомолвках барона смесь прирожденной пылкости и, увы, вполне обоснованной недоверчивости, что заставляло его непрестанно бороться с самим собой и со своей участью. Консуэло, помимо

воли, с любопытством спрашивала себя, кто же владычица дум юного красавца, и ловила себя на том, что самым искренним образом желает успеха двум романтическим влюбленным. День показался ей не столь длинным, как она ожидала, боясь тягостного пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами из чуждого ей круга. В Венеции она узнала, а в замке Исполинов усвоила вежливое обращение, скромные манеры и изысканную речь, бывшие приятной особенностью того общества, которое в те времена принято было называть избранным. Не забывая об осторожности и не вступая в разговор, пока к ней не обратятся, она спокойно обдумывала на свободе все, о чем ей приходилось слышать. Ни барон, ни граф, по-видимому, не заметили, что она переодета. Первый не обращал никакого внимания ни на нее, ни на Йозефа: если он и бросал им несколько слов, то делал это между прочим, продолжая начатый разговор с графом; но вскоре, увлекшись, он забывал даже и о нем, беседуя, казалось, с собственными мыслями, как человек, чей ум питается внутренним огнем. Что же касается графа, он был то важен, как монарх, то резв, как французская маркиза. Он вынимал из кармана таблички из слоновой кости и что-то наносил на

них с сосредоточенным видом мыслителя или дипломата; затем, напевая, перечитывал написанное, и Консуэло видела, что это французские слащаво-любовные стишки. Порой он декламировал их барону, который, не слушая, находил их чудесными. Иногда граф покровительственным тоном обращался к Консуэло, спрашивая ее с деланной скромностью:

— Как вы находите эти стихи, мой юный друг? Ведь вы понимаете по-французски, не правда ли?

Консуэло надоела притворная снисходительность Годица, по-видимому, желавшего ее поразить; она не удержалась и указала ему на две-три ошибки в его четверостишии «К красоте». Мать научила ее правильной фразировке и произношению на тех иностранных языках, на которых сама пела с легкостью и даже с некоторым изяществом. Консуэло, трудолюбивая и музыкальная, а потому во всем искавшая гармонию, меру и ясность, впоследствии успела глубже изучить по книгам правила и основы различных языков. С особым старанием изучила она просодию, упражняясь в переводе лирических стихов и приноравливая иностранные слова к народным мелодиям, чтобы лучше понять ритм и ударения.

Таким путем она хорошо усвоила особенности стихосложения некоторых языков, а потому ей не стоило большого труда указать моравскому поэту на его погрешности.

Восхищенный познаниями Консуэло, но будучи не в силах усомниться в своих собственных, Годиц обратился к барону, и тот оказался настолько сведущим в данном вопросе, что согласился с мнением маленького музыканта. С этой минуты граф занялся исключительно Консуэло, не подозревая, по-видимому, ни ее настоящего возраста, ни пола. Он только спросил, где он получил образование, что так хорошо усвоил законы Парнаса.

— В бесплатной певческой школе в Венеции, — кратко ответила Консуэло.

— Видно, в этой стране преподают лучше, чем в Германии. А где учился ваш товарищ?

— В школе при венском соборе, — ответил Йозеф.

— Дети мои, — продолжал граф, — вы оба кажетесь мне и умными и способными. На первой же остановке я проэкзаменую вас по музыке, и, если оправдается то, что обещают ваши лица и ваши манеры, я приглашу вас в свой оркестр или в театр в Росвальде. Я в самом деле хочу рекомендовать вас маркграфине. Что вы на это скажете?

А? Это было бы большой удачей для таких мальчуганов, как вы.

Консуэло едва удержалась от смеха, услышав, что граф собирается экзаменовать по музыке ее и Гайдна. Она лишь почтительно наклонялась, делая неимоверные усилия, чтобы оставаться серьезной. Йозеф же, чувствуя, как велики для него выгоды нового покровительства, поблагодарил и не отказался. Граф снова взялся за свои таблички и прочел Консуэло половину маленького, удивительно скверного и полного грубых ошибок либретто итальянской оперы, к которому он сам собирался написать музыку; оперу эту он хотел поставить в день именин жены на собственном театре, с собственными актерами, в собственном замке, вернее — в собственной резиденции, ибо благодаря браку с маркграфиней он считал себя принцем и иначе не выражался.

Консуэло время от времени подталкивала Йозефа локтем, желая обратить его внимание на промахи графа, и, изнемогая от скуки, говорила себе, что если знаменитая красавица, владелица наследственного маркграфства Байрейтского и княжества Кульмбахского, дала увлечь себя подобными мадригалами, то, невзирая на свои титулы, любовные похождения и годы, она, долж-

но быть, особа крайне легкомысленная.

Читая и декламируя, граф ел конфеты, чтобы смягчить горло, и то и дело угощал ими своих юных спутников, а те, не имея со вчерашнего дня во рту ни крошки и умирая от голода, поглощали, за неимением лучшего, и эту пищу, способную скорее обмануть голод, чем удовлетворить его, и говорили про себя, что и леденцы и стихи графа весьма безвкусны.

Наконец, уже под вечер, на горизонте показались укрепления и шпили того самого Пассау, куда, как Консуэло думала еще утром, ей никогда не добраться. После пережитых опасностей и ужасов она почти так же обрадовалась этому городу, как в другое время обрадовалась бы Венеции. Когда они переправлялись через Дунай, она не удержалась и радостно пожала руку Йозефу.

— Он ваш брат? — спросил граф; до сих пор ему не приходило в голову задать подобный вопрос.

— Да, ваше сиятельство, — не задумываясь, ответила Консуэло, чтобы как-нибудь отделаться от расспросов любознательного графа.

— Однако вы совсем не похожи друг на друга, — заметил он.

— А сколько детей не похожи на своих отцов! — весело возразил Йозеф.

— Значит, вы не вместе воспитывались?

— Нет, ваше сиятельство. При нашем кочевом образе жизни воспитываешься где и как придется.

— Не знаю почему, но мне кажется, — сказал граф Консуэло, понижая голос, — что вы не простого происхождения. Все в вас самих и в вашей речи говорит о прирожденном благородстве.

— Я совсем не знаю, какого я происхождения, ваше сиятельство, — ответила, смеясь, Консуэло, — но, должно быть, мои предки были музыкантами, потому что я больше всего на свете люблю музыку.

— Отчего вы одеты моравским крестьянином?

— Да потому, что в пути платье мое износилось, и я купил на местной ярмарке то, что вы на мне видите.

— Так вы были в Моравии? Пожалуй, еще и в Росвальде?

— Да, ваше сиятельство, в его окрестностях, — шаловливо отвечала Консуэло, — я издали видел, не дерзнув приблизиться, ваше роскошное поместье, ваши статуи, ваши каскады, ваши сады, ваши горы и еще Бог весть что! Настоящие чудеса, волшебный дворец!

— Вы все это видели? — воскликнул граф, удив-

ляясь, что не знал этого раньше, и не догадываясь, что Консуэло, после того как он два часа подряд описывал прелести своей резиденции, могла со спокойной совестью повторить вслед за ним все слышанное. — О! В таком случае вы должны страстно желать вернуться туда, — сказал он.

— Просто горю нетерпением — особенно теперь, когда я имел счастье узнать вас, — ответила Консуэло, которой хотелось поиздеваться над графом, чтобы отомстить ему за чтение его либретто.

Тут она легко выпрыгнула из лодки, на которой путники переправились через реку, и воскликнула с утрированным немецким акцентом:

— О Пассау! Приветствую тебя!

Карета подвезла их к дому богатого вельможи, друга графа. Он сам находился в отсутствии, но все было приготовлено для временного пребывания гостей. Их ждали, и слуги хлопотали над ужином, который вскоре был подан. Граф, находивший особенное удовольствие в разговорах со своим маленьким музыкантом (так он называл Консуэло), охотно посадил бы его за свой стол, но побоялся, что подобное нарушение приличий может не понравиться барону. Консуэло же и Йозеф были очень рады, что поужинают в людской, и

охотно уселись рядом с лакеями. Гайдну вообще до сих пор не оказывали большого почета у вельмож, допускавших его на свои празднества. И хотя искусство и сделало его настолько чувствительным, что он прекрасно понимал, как обидно такого рода обращение, он без ложного стыда всегда помнил, что его мать когда-то была кухаркой у графа Гарраха, владельца их деревни. И позднее, когда талант его достиг своего расцвета и вся Европа высоко ценила его как композитора, покровители его обращались с ним не лучше. Он прослужил двадцать пять лет у князя Эстергази, и, говоря «прослужил», мы имеем в виду не только службу его как музыканта. Паэр видел его с салфеткой под мышкой и при шпаге: он стоял, согласно обычаю того времени и той страны, за стулом своего хозяина и исполнял обязанности дворецкого, то есть, попросту говоря, старшего лакея.

Консуэло с тех самых пор, как она ребенком бродила по дорогам с матерью-цыганкой, не приходилось есть в людской. Ее очень забавляли важные слуги знатного дома: считая себя униженными обществом двух юных фигляров, они посадили их отдельно, на конце стола, и оделяли самыми плохими кусками; однако благодаря

хорошему аппетиту и привычке к умеренности молодые люди все нашли превосходным. Своей веселостью они покорили надменные души слуг, и те попросили их за десертом развлечь музыкой господ лакеев. Йозеф в отплату за их презрение с большой готовностью сыграл на скрипке, а Консуэло, почти оправившаяся от своих утренних волнений и мук, начала было петь, как вдруг пришли сказать, что граф и барон требуют музыкантов к себе для собственного увеселения.

Отказаться было невозможно. После помощи, которую оказали им вельможи, Консуэло сочла бы всякую отговорку неблагодарностью, а сослаться на усталость или хрипоту было нельзя, ибо хозяева уже слышали ее пение, доносившееся из людской.

Она пошла вслед за Йозефом, который, так же как она, готов был с одинаковым благодушием относиться ко всем перипетиям их странствования. Войдя в роскошный зал, где при свете двадцати свечей оба вельможи, положив локти на стол, допивали последнюю бутылку венгерского, Консуэло и Йозеф остановились, как подобало скромным музыкантам, у дверей и приготовились исполнить маленькие итальянские дуэты, разученные ими в горах.

— Подожди! — лукаво сказала Консуэло Йозефу. — Вспомни, что господин граф собирается экзаменовать нас с тобой по музыке. Постараемся же не провалиться!

Граф был очень польщен этим замечанием. Барон положил на перевернутую тарелку портрет своей таинственной Дульцинеи и, казалось, совсем не был расположен слушать.

Консуэло старалась не обнаруживать ни своего голоса, ни своего умения петь. Ее мнимый пол не допускал бархатистых оттенков тембра, а в том возрасте, какой ей можно было дать в мальчишеском платье, она не могла иметь законченного музыкального образования. Консуэло пела детским голосом, несколько резким и как бы преждевременно разбитым благодаря частым выступлениям на открытом воздухе. Ей казалось забавным подражать наивной, неумелой манере и смелым коротким фиоритурам уличных мальчишек, которых она так часто слышала в Венеции. Но как ни чудесно разыгрывала она эту музыкальную пародию, в ее шутливом исполнении было столько прирожденного вкуса, дуэт был пропет с таким огнем и так дружно, а народная песня была так свежа и оригинальна, что барон, прекрасный музыкант и тонкий цени-

тель искусства, спрятал портрет на груди, поднял голову и, наконец, не в силах более сидеть спокойно, громко захлопал в ладоши, восклицая, что никогда в жизни не слыхивал такой настоящей, прочувствованной музыки. Графу же Годицу, напичканному произведениями Фукса, Рамо и других классических авторов, гораздо меньше понравились и самый жанр песни и исполнение. Он нашел, что барон — северный варвар, а оба опекаемые им мальчика — довольно смышленые ученики, но ему придется при помощи своих уроков вытаскивать их из мрака невежества. У него была мания самому обучать своих артистов, и он проговорил наставительным тоном, качая головой:

— Недурно, но придется многое переучивать. Ну, ничего! Не беда! Все это мы исправим!

Граф уже воображал, что Консуэло и Йозеф — его собственность и входят в состав его капеллы. Он попросил Гайдна сыграть на скрипке, и, так как у того не было никаких оснований скрывать свои способности, он чудесно исполнил небольшую, но удивительно талантливую вещь собственного сочинения. На этот раз граф остался весьма доволен.

— Ну, тебе место уже готово, — сказал он, — бу-

дешь у меня первой скрипкой, ты мне вполне подходишь. Но тебе придется также играть на виоле д'амур. Это мой любимый инструмент, и я сам выучу тебя игре на нем.

— Господин барон доволен моим товарищем? — спросила Консуэло Тренка, снова впавшего в задумчивость.

— Настолько доволен, — ответил барон, — что, если когда-нибудь мне придется жить в Вене, я не пожелаю иметь иного учителя, кроме него.

— Я сам буду учить вас на виоле д'амур, — предложил граф, — не откажите мне в предпочтении.

— Я предпочитаю скрипку и вот этого учителя, — ответил барон, проявлявший, несмотря на всю свою озабоченность, бесподобную откровенность.

Он взял скрипку и сыграл на память с большой чистотой и выразительностью несколько пассажей из только что исполненной Йозефом пьесы; потом, возвращая инструмент, сказал с неподдельной скромностью:

— Мне хотелось показать, что я гожусь вам только в ученики, но могу учиться прилежно и со вниманием.

Консуэло попросила его сыграть еще что-нибудь, и он согласился без всякого жеманства. У

него были и талант, и вкус, и понимание. Годиц рассыпался в преувеличенных похвалах самой вещи.

— Она не очень хороша, — ответил Тренк, — ибо это мое собственное сочинение. Но все-таки я люблю ее, так как она понравилась моей принцессе.

Граф скорчил ужасную гримасу, как бы желая сказать, что барон должен взвешивать свои слова. Но Тренк не обратил на это никакого внимания и, глубоко задумавшись, в течение нескольких минут продолжал водить смычком по струнам, потом, бросив скрипку на стол, встал и зашагал по комнате, потирая рукою лоб. Наконец, он подошел к Годицу и сказал:

— Желаю вам доброй ночи, дорогой граф. Я должен уехать отсюда до зари, так как заказанная карета прибудет за мной в три часа. Раз вы думаете провести здесь все утро, мы, по всей вероятности, увидимся только в Вене. Счастлив буду снова встретиться с вами и еще раз поблагодарить за приятное путешествие, которое вы дали мне возможность совершить в вашем обществе. Всем сердцем предан вам на всю жизнь.

Они несколько раз пожали друг другу руки; барон, выходя из комнаты, подошел к Йозефу и,

протягивая ему несколько золотых, сказал:

— Это аванс за уроки, которые я попрошу вас давать мне в Вене. Вы найдете меня в прусском посольстве.

Затем, слегка кивнув Консуэло, он прибавил:

— А ты, если когда-нибудь окажешься барабанщиком или трубачом в моем полку, так мы вместе с тобой сбежим, слышишь? — И, еще раз поклонившись графу, он вышел.

Глава LXXIII

Как только граф Годиц остался наедине со своими музыкантами, он почувствовал себя свободнее и стал очень разговорчив. Самой большой его страстью было корчить из себя капельмейстера и разыгрывать роль импресарио; а потому он пожелал немедленно заняться обучением Консуэло.

— Иди сюда и садись, — сказал он ей. — Мы здесь одни, а слушать внимательно нельзя, когда находишься на целое лье друг от друга. Садись и ты, — обратился он к Йозефу, — и извлекай пользу из урока.

— Ты не умеешь вывести ни одной трели, — продолжал он, снова обращаясь к знаменитой певице. — Слушайте оба хорошенько, вот как это делается.

И он пропел простейшую фразу, прибавив к ней самым вульгарным образом несколько трелей.

Консуэло, забавляясь, повторила фразу, намеренно пропев трель совсем не так, как он показал.

— Не то! — закричал граф громовым голосом, ударяя кулаком по столу. — Вы не слушали!

Он снова пропел фразу, а Консуэло еще более нелепо и безнадежно плохо оборвала трель, сохраняя серьезность и притворяясь, будто старается изо всех сил. Йозеф задыхался от судорожного смеха и нарочно кашлял, чтобы скрыть его.

— Ла-ла-ла-трала-тра-ла, — пел граф, передразнивая своего неумелого ученика и подпрыгивая на стуле, якобы в страшном гневе, на самом деле он его вовсе не испытывал, но считал необходимым такое проявление своего сильного характера и педагогического рвения. Консуэло потешалась над ним добрых четверть часа, а затем вдруг проделала трель со всею чистотой, на какую была способна.

— Браво! Брависсимо! — воскликнул граф, откидываясь на спинку стула. — Наконец-то! Чудесно! Я знал, что заставлю вас это проделать. Дайте мне первого попавшегося мужлана, и я за один день так поставлю ему голос, так научу его, как другим, пожалуй, не удастся и за целый год! Ну, повтори еще раз эту фразу и оттени все ноты, но легко, будто не касаясь их… А, вот так еще лучше! Превосходно! Да, мы кое-что из тебя сделаем!

И граф отер себе лоб, хотя на нем не было ни единой капельки пота.

— А теперь, — проговорил он, — перейдем к

трели на одном дыхании. — И он пропел ее с той шаблонной легкостью, какую приобретают заурядные хористы, все время слушающие первых исполнителей; восхищаясь только их техническими трюками и подражая им, они начинают считать себя не менее искусными певцами.

Консуэло еще раз позабавилась, вызвав у графа вспышку напускного гнева, который он считал должным проявлять, когда садился на своего любимого конька, а закончила такой совершенной и длительной трелью, что Годиц вынужден был закричать:

— Довольно! Довольно! Вышло! Наконец-то ты понял! Я был уверен, что открою тебе, в чем тут секрет. Ну, теперь займемся руладой. Ты усваиваешь все с удивительной легкостью, хотел бы я всегда иметь таких учеников.

Консуэло, которую уже начали одолевать сон и усталость, намного сократила урок. Она покорно проделала все рулады, какие приказывал ей великий педагог, какого бы дурного вкуса они ни были, и даже дала голосу зазвучать естественно, не боясь больше выдать себя, раз граф был склонен приписывать себе все ее успехи, не исключая внезапно появившихся силы и ангельской чистоты ее голоса.

— Насколько яснее становится тон по мере того, как я показываю ему, каким образом должно открывать рот и подавать звук! — с торжеством воскликнул граф, обращаясь к Йозефу. — Четкость в преподавании, настойчивость и пример — вот три условия, следуя которым можно в короткий срок создать певца и декламатора. Завтра мы опять займемся, так как надо пройти десять уроков, после чего вы научитесь петь. Придется проделать целый ряд сложных вокальных упражнений. А теперь ступайте отдыхать, я велел приготовить для вас комнаты во дворце. Пробуду я здесь по делам до полудня. Вы позавтракаете и поедете со мной в Вену. Отныне считайте, что вы у меня на службе. Для начала, Йозеф, пойдите и скажите моему камердинеру, чтобы он пришел посветить мне до моей комнаты. А ты, — обратился он к Консуэло, — останься и повтори последнюю руладу. Я не вполне доволен ею.

Не успел Йозеф выйти, как граф, взяв обе руки Консуэло в свои и очень выразительно глядя на нее, попытался привлечь ее к себе. Остановившись на прерванной руладе, Консуэло посмотрела на графа с большим удивлением, думая, что он хочет заставить ее отбивать такт, но, увидев его загоревшиеся глаза и похотливую

улыбку, она резким движением вырвала руки и отодвинулась к концу стола.

— Вот как! Вы желаете разыгрывать недотрогу! — сказал граф, возвращаясь к своему беспечно-надменному тону. — Значит, милочка, у нас имеется сердечный дружок?! Бедняга, он очень неказист, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы откажетесь от него. Судьба ваша будет обеспечена, если вы не станете колебаться, ибо я не люблю проволочек. Вы прелестная девочка, умная, кроткая, и очень мне нравитесь — я с первого взгляда увидел, что вы не созданы для того, чтобы шататься по дорогам с этим плутишкой. О нем я все-таки позабочусь. Отправлю в Росвальд и устрою там его судьбу. А вы останетесь в Вене, я поселю вас в прелестной квартирке, и, если вы будете благоразумны и скромны, даже введу вас в светское общество. Научившись музыке, вы станете примадонной моего театра, и, когда я отвезу вас в свою резиденцию, вы снова увидитесь со своим случайным дружком. Ну как, решено?

— Да, господин граф, — ответила Консуэло очень серьезным тоном, отвешивая глубокий поклон, — конечно, решено!

В эту минуту Йозеф вернулся с камердинером, несшим два канделябра, и граф вышел, слегка

потрепав по щеке Йозефа и многозначительно улыбнувшись Консуэло.

— До чего же он смешон! — сказал Йозеф своей спутнице, как только остался с ней наедине.

— Даже более смешон, чем ты полагаешь, — задумчиво отозвалась Консуэло.

— Но все это не так важно, — продолжал Йозеф, — а человек он прекраснейший и в Вене будет мне очень полезен.

— Да, в Вене сколько тебе угодно, Беппо, но в Пассау этому не бывать, предупреждаю тебя. Где наши вещи, Йозеф?

— На кухне. Сейчас схожу за ними и снесу в отведенные нам комнаты — мне сказали, что они прелестны. Наконец-то вы сможете отдохнуть!

— Какой ты добрый, Йозеф, — проговорила Консуэло, пожимая плечами. — А теперь, — прибавила она, — иди поскорей за вещами и простись со своей красивой комнатой и хорошей кроватью, где ты собирался так славно выспаться. Мы сейчас же уходим из этого дома, слышишь? Торопись, а то, вероятно, скоро запрут двери.

Йозефу все это показалось сном.

— Вот тебе и раз! — воскликнул он. — Неужели эти знатные вельможи тоже вербовщики?

— Годица я еще больше боюсь, чем Мейера, — с

нетерпением ответила Консуэло. — Ну, беги, не раздумывая, а то я брошу тебя и уйду одна.

В тоне и выражении лица Консуэло было столько решимости и энергии, что растерянный и взволнованный Гайдн немедленно повиновался. Через три минуты он вернулся с дорожной сумкой, где были его тетради и пожитки, а еще через три минуты они, никем не замеченные, вышли из дворца и уже шагали по дороге в предместье.

Здесь они зашли на какой-то жалкий постоялый двор и сняли две маленькие комнатки, уплатив за них вперед, чтобы иметь возможность без всякой задержки уйти как можно раньше утром.

— Не скажете ли вы мне хотя бы причину этой новой тревоги? — спросил Гайдн Консуэло, желая ей покойной ночи на пороге ее комнаты.

— Спи спокойно, — ответила она, — скажу тебе в двух словах, что теперь нам особенно бояться нечего. Господин граф своим орлиным взглядом разглядел, что я женщина, и оказал мне честь, сделав признание, удивительно польстившее моему самолюбию. Доброй ночи, друг Беппо. Удираем мы до света. Я постучу в твою дверь, чтобы разбудить тебя.

На другой день восходящее солнце озарило

наших юных путешественников, когда они уже плыли по Дунаю, быстро спускаясь вниз по течению, охваченные такой же чистой радостью и с сердцем таким же покойным, как воды этой красавицы реки. Их за плату взял на свое суденышко старый лодочник, везший товары в Линц. Славный старик очень пришелся им по душе и не мешал их разговору. Он не понимал ни слова поитальянски, а так как его лодка была порядком нагружена, то он не взял других пассажиров, и потому Консуэло и Гайдн почувствовали себя, наконец, в безопасности и отдыхали телом и душой, в чем очень нуждались, чтобы по-настоящему насладиться чудесными видами, ежеминутно мелькавшими перед их глазами. Погода стояла великолепная. В лодке был маленький, очень опрятный трюм, куда Консуэло могла спускаться, чтобы дать отдохнуть глазам от ослепляющего блеска вод. Но за последние дни она так привыкла быть под открытым небом и на солнцепеке, что предпочитала проводить почти все время, лежа на тюках с товарами и глядя на прибрежные скалы и деревья, словно убегавшие от нее назад. Ничто не мешало им с Гайдном заниматься музыкой, а забавное воспоминание о меломане Годице — Йозеф называл его маэстроманом — вносило

много веселья в их беспечную болтовню. Йозеф чудесно копировал графа и со злорадством думал о его разочаровании. Их смех и песни веселили и восхищали старого лодочника, который, как всякий немецкий простолюдин, страстно любил музыку. Он тоже спел им свои песни: от них словно веяло речным простором, и Консуэло тут же выучила их слова и мелодию. Окончательно же они завоевали сердце старика, щедро угостив его на первой же пристани, где накупили съестных припасов на целый день. Этот день был самым мирным и самым приятным за все время их путешествия.

— Что за прелесть барон фон Тренк! — воскликнул Йозеф, разменивая один из блестящих золотых, полученных от вельможи. — Ему я обязан тем, что, наконец, в состоянии избавить божественную Порпорину от усталости, голода, опасностей — словом, от всех зол, которые влечет за собою нищета. А ведь мне сперва не понравился этот благородный, доброжелательный барон!

— Да, — сказала Консуэло, — вы предпочли ему графа. Я рада, что он ограничился одними посулами и не загрязнил наших рук своими благодеяниями.

— В конце концов, мы ровно ничем ему не

обязаны, — продолжал Йозеф. — Кому первому пришла мысль сразиться с вербовщиками и кто решился на это? Барон. Графу это было совершенно безразлично, и он последовал за бароном только из любезности и честолюбия. Кто рисковал жизнью и кому пуля пробила шляпу у самого черепа? Опять-таки барону. Кто ранил, а быть может, и убил гнусного Пистолета? Барон. Кто спас дезертира, быть может, в ущерб себе и подвергая себя гневу своего страшного повелителя? Кто, наконец, отнесся к вам с уважением и сделал вид, будто не догадывается, что вы женщина? Кто постиг красоту ваших итальянских арий и прелесть вашей манеры петь?

— А также талант маэстро Йозефа Гайдна? — прибавила, улыбаясь, Консуэло. — Барон! Все тот же барон!

— Конечно! — продолжал Гайдн, желая отплатить девушке за ее лукавый намек. — И, быть может, к большому счастью для некоего дорогого отсутствующего, который кому-то дорог и о котором я кое-что слышал, объяснение в любви божественной Порпорине было сделано комичным графом, а не храбрым, обворожительным бароном!

— Беппо! — ответила с грустной улыбкой Кон-

суэло. — Отсутствующих забывают только люди с неблагодарным, низким сердцем. Вот почему великодушному, искреннему барону, влюбленному в таинственную красавицу, не могло прийти в голову ухаживать за мной. Спросите самого себя: пожертвовали бы вы так легко любовью к своей невесте и верностью к ней ради первого случайного увлечения?

Беппо тяжело вздохнул.

— Вы ни для кого не можете быть первым случайным увлечением, — сказал он, — и барону было бы вполне простительно, увидя вас, забыть все свои и прошлые и настоящие привязанности.

— Вы что-то становитесь, Беппо, слишком галантным и слащавым! Видно, общество господина графа не прошло для вас даром, но желаю вам никогда не жениться на маркграфине и никогда не узнать, во что превращается любовь, когда женятся на деньгах!

Добравшись к вечеру до Линца, молодые путники, наконец, уснули без страха и без забот о завтрашнем дне. Как только Йозеф проснулся, он тотчас побежал купить обувь, белье и некоторые изысканные мелочи мужского туалета для себя и главным образом для Консуэло, чтобы она,

превратившись в молодца и красавца, как она называла себя в шутку, могла осмотреть город и окрестности. Старик лодочник обещал, если найдет груз для доставки в Мелк, снова забрать их к себе на борт и провезти по Дунаю еще с двадцать лье. Они провели день в Линце, взбирались на холм, осматривали укрепленный замок у его подножия и другой — на вершине, откуда могли созерцать излучины величественной реки среди плодородных равнин Австрии. Отсюда же они увидели нечто весьма их развеселившее — карету графа Годица, торжественно въезжавшего в город. Они узнали карету и ливрею слуг и, поскольку граф, за дальностью расстояния, не мог их заметить, забавлялись, насмешливо кланяясь ему до земли. Наконец, вечером, спустившись на берег, они застали свою лодку нагруженной товарами для доставки в Мелк и с радостью договорились со старым кормчим относительно переезда. Отплыли они из Линца до рассвета; ясные звезды еще горели над их головами и отражались на зыбкой поверхности реки, разбегаясь по ней серебряными струйками. Этот день был не менее приятен, чем предыдущий. Одно только огорчало Гайдна — мысль о том, что они приближались к Вене и что путешествие, о муках и

опасностях которого он успел позабыть, помня только его восхитительные минуты, должно было скоро прийти к концу.

В Мелке им не без сожаления пришлось расстаться со своим славным кормчим. На других судах, которыми они могли бы воспользоваться, не было ни такого уединения, ни такой безопасности. Консуэло чувствовала себя отдохнувшей, свежей, готовой ко всяким неожиданностям, а потому предложила Йозефу продолжать путь пешком до нового подходящего случая. Им оставалось до Вены еще с двадцать лье, и этот способ передвижения был не из быстрых. Дело в том, что, хотя Консуэло и уверяла себя, будто жаждет снова облечься в женское платье и вернуться к жизненным удобствам, связанным с ее положением, надо признаться, в глубине души она, как и Йозеф, совсем не стремилась так скоро завершить свое путешествие. Она была слишком артистической натурой, чтобы не любить свободы, случайностей, возможности проявить мужество и ловкость, картин природы, постоянно сменяющих друг друга и по-настоящему доступных только для пешехода, и, наконец, всей бурной романтики, присущей бродячей и уединенной жизни.

Я называю эту жизнь уединенною, читатель, стремясь выразить то сокровенное и таинственное чувство, которое, пожалуй, вам легче понять, чем мне объяснить. Мне кажется, что для выражения этого состояния души в нашем языке не найдется определения, но вы поймете его, если вам приходилось путешествовать пешком где-нибудь далеко одному, или со своим вторым «я», или, наконец, подобно Консуэло, с приветливым товарищем, веселым, услужливым и мыслящим с вами заодно. В такие минуты, если у вас не было на душе какой-нибудь неотложной заботы или повода для тревоги, вы, без сомнения, испытывали странную, быть может, даже несколько эгоистическую радость, говоря себе: вот в этот час никто не беспокоится обо мне, и я ни о ком не беспокоюсь! Никто не знает, где я! Те, кто властвуют над моею жизнью, тщетно станут меня искать — они не найдут меня в этом никому не ведомом, новом для меня самого уголке земли, где я нашел приют. Те, кого моя жизнь затрагивает и волнует, отдыхают от меня, как и я от них. Я всецело принадлежу себе — и как повелитель и как раб. Ибо нет среди нас, о читатель, ни единого человека, который по отношению к некоторым лицам не был бы попеременно и одновременно и немного

рабом и немного повелителем, волей-неволей, не сознавая этого и не стремясь к этому.

Никто не знает, где я! Такое чувство одиночества, несомненно, имеет свою прелесть, невыразимую прелесть, жестокую на первый взгляд, законную и сладостную по существу. Мы рождены для взаимного общения. Путь долга длинен и суров, горизонтом ему служит смерть, которая, может статься, короче одной ночи отдыха. Итак, в путь! Вперед, не жалея ног! Но если нам представится один из тех редких удачных случаев, когда отдых может быть безобидным, а уединение не вызывает угрызений совести, и перед нами откроется утопающая в зелени тропинка — воспользуемся несколькими часами одиночества и созерцания! Такие часы безделья необходимы деятельному и мужественному человеку для восстановления сил. И я утверждаю, что чем ревностнее стремится ваше сердце служить дому Божию (то есть человечеству), тем более вы способны оценить немногие минуты уединения, когда вы всецело принадлежите себе. Эгоист всегда и везде одинок. Его душа никогда не бывает утомлена любовью, муками, постоянством; она безжизненна и холодна и нуждается во сне и покое не больше, чем мертвец. Тот же,

кто умеет любить, редко бывает одинок, а если бывает, то он рад этому. Душа его может наслаждаться перерывом в деятельности, и перерыв этот будет подобен крепкому сну здорового организма. Такой сон — красноречивое свидетельство прошедших трудов и предвестник новых испытаний. Я не верю ни в искреннюю печаль тех, кто не стремится развеять ее, ни в безграничную самоотверженность тех, кто никогда не нуждается в отдыхе. Либо их печаль — это упадок духа, свидетельствующий о том, что они надломлены, изможденны и уже не имеют сил любить то, что ими утрачено, либо под неослабевающей и неутомимой самоотверженностью скрывается какое-нибудь постыдное вожделение или эгоистический и преступный расчет.

Эти размышления, быть может слишком длинные, не являются неуместными в повествовании о жизни Консуэло с ее беспримерно деятельной и самоотверженной душой, хотя люди, не сумевшие понять ее, и могли бы порой обвинить ее в эгоизме и легкомыслии.

Глава LXXIV

В первый же день своего нового пути наши странники, переходя по деревянному мосту через реку, увидели изможденную женщину с крошечной девочкой на руках. Женщина сидела у перил и просила милостыню, дрожа от лихорадки. Ребенок был бледен и явно нездоров. Консуэло остановилась, охваченная глубокой жалостью и состраданием к несчастным, напомнившим ей мать и ее собственное детство.

— Вот в таком положении мы бывали не раз, — сказала она Йозефу, понявшему ее с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы взглянуть на нищенку и расспросить ее.

— Увы, — начала она свой рассказ, — еще недавно я была так счастлива! Я крестьянка из окрестностей Харманица в Чехии. Пять лет назад я вышла замуж за своего красивого и рослого двоюродного брата, он был лучшим работником в округе и лучшим из мужей. Через год после свадьбы мой бедный Карл отправился в горы за дровами и вдруг исчез, и никто так и не узнал, что с ним приключилось. Я осталась одна в горе

и в нужде. Все думала, что муж либо свалился в пропасть, либо его загрызли волки. Я могла снова выйти замуж, но у меня и в мыслях того не было — ведь я любила мужа и не знала, что с ним сталось. И как же была я вознаграждена, детки мои! Однажды вечером, в прошлом году, кто-то постучался в дверь. Я открыла и тут же упала на колени: передо мной стоял муж, но, Боже милосердный, в каком виде! Словно привидение: весь высохший, желтый, глаза блуждают, волосы смерзлись, ноги в крови, его бедные босые ноги, что прошли не знаю уж сколько сотен миль по самым ужасным дорогам и в самую жестокую зиму! Но он был так счастлив, что вернулся к жене и к бедной маленькой дочке, что вскоре воспрянул духом, поправился, принялся за работу и снова стал таким, как прежде. Рассказал он мне, что его схватили разбойники и увезли далеко-далеко, к морю, а там продали в солдатчину прусскому королю. Он прожил три года в самой унылой стране, нес там очень тяжелую службу и с утра до вечера получал побои. Наконец, милые мои дети, ему удалось бежать, дезертировать. Он как бешеный отбивался от своих преследователей, одного убил, а другому вышиб камнем глаз. Потом он шел много дней и много ночей, прятался, словно

дикий зверь, в болотах и лесах. Так пробрался он домой через Саксонию и Чехию. Он спасся! Он возвратился ко мне! Ах, как мы были счастливы всю зиму, несмотря на бедность и холод! Одно мучило нас: как бы снова не появились в наших краях эти хищные птицы, причина всех наших бед. Мы хотели отправиться в Вену, броситься к ногам императрицы, рассказать ей о нашем горе, просить ее покровительства, военной службы для мужа и кое-какой помощи для меня и ребенка. Но я захворала — очень уж потрясло меня возвращение моего Карла, и нам пришлось всю зиму и все лето провести в горах, выжидая, пока я смогу пуститься в путь. Все это время мы были постоянно настороже, даже ночью спали одним глазом. Наконец счастливая минута настала! Я почувствовала себя достаточно сильной для ходьбы, а нашу девчурку, тоже больную, понес на руках отец. Но злодейка-судьба поджидала нас, когда мы спустились с гор. Мы спокойно шли по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на карету, которая уже с четверть часа медленно ехала следом за нами. Вдруг карета эта остановилась и из нее вышли трое мужчин.

— Это на самом деле он? — воскликнул один из них.

— Да, — ответил другой, кривой. — Он! Он! Хватай его!

Муж обернулся при этих словах и сказал мне:

— Ой! Это те самые пруссаки! Вот кривой, которому я вышиб глаз, я узнаю его!

— Беги же! Беги! Спасайся! — прошептала я.

Он пустился бежать, но тут один из этих страшных людей бросился ко мне, повалил на землю и приставил пистолеты к моей голове и к головке моего ребенка. Не приди ему на ум эта дьявольская мысль, муж был бы спасен, так как бегал он лучше бандитов, да и был впереди них. Но у меня вырвался вопль, Карл обернулся, увидел свою дочь под дулом пистолета и, громко крича, чтобы не стреляли, побежал обратно. Когда изверг, наступивший на меня ногой, увидел мужа на таком расстоянии, что тот мог его услышать, он крикнул:

— Сдавайся, или я их убью! Сделай только один шаг назад, и я стреляю!

— Сдаюсь! Сдаюсь! Вот я! — ответил бедный мой муж и помчался к ним быстрее, чем убегал, несмотря на мои мольбы и знаки, чтобы он дал нам умереть.

Когда эти звери схватили, наконец, Карла, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась

было защищать мужа, но они избили и меня. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко причитать. Злодеи объявили, что, если я тотчас же не умолкну, они прикончат ребенка, и уже вырвали его у меня. Тогда Карл сказал мне: «Замолчи, жена, приказываю тебе! Подумай о нашей девочке!».

Я послушалась; но, когда я увидела, как эти чудовища вяжут мужа и затыкают ему рот кляпом, приговаривая: «Да, да, плачь! Больше ты его не увидишь, мы везем его на виселицу!», сердце у меня перевернулось и я замертво упала на дорогу.

Не знаю, сколько времени я пролежала в пыли. Когда я открыла глаза, была уже ночь. Бедная девочка, прижавшись ко мне, дрожала, надрываясь от рыданий. На дороге не осталось ничего, кроме кровавого пятна да следов от колес кареты, что увезла моего мужа. Я просидела там еще час-другой, пытаясь успокоить и отогреть Марию, окоченевшую и перепуганную до полусмерти. Наконец, собравшись с мыслями, я рассудила, что неразумно бежать за похитителями — догнать их я была не в силах, а лучше заявить обо всем полиции в ближайшем городе, Визенбахе. Так я и сделала, а затем решила продолжать свой путь в Вену, броситься к ногам императрицы и молить

ее, чтобы она не дала прусскому королю казнить моего мужа. А если не догонят вербовщиков, ее величество могла бы потребовать выдачи его, как своего подданного. И вот, на милостыню, собранную во владениях прусского епископа, где я рассказала о своем несчастье, доехала я в повозке до Дуная, а оттуда на лодке спустилась вниз по реке до Мелка. Но теперь мои деньги кончились. Люди, которым я рассказываю о случившемся, принимают меня, должно быть, за обманщицу, не верят мне и дают так мало, что остается только идти пешком. Хорошо, если через пять-шесть дней я доберусь до Вены и не умру от усталости, так как недуг и горе лишили меня последних сил. А теперь, милые мои детки, если вы можете что-нибудь дать мне, дайте поскорее; мне больше нельзя отдыхать, я должна идти и идти, как вечный жид, пока не добьюсь справедливости.

— О, моя милая, о, бедняжка! — воскликнула Консуэло, обнимая нищенку и плача от радости и сострадания. — Мужайтесь! Мужайтесь! Надейтесь! Успокойтесь! Муж ваш освобожден. Он сейчас скачет на добром коне по направлению к Вене с туго набитым кошельком в кармане.

— Что вы говорите! — воскликнула жена дезертира, и глаза ее загорелись, а губы судорожно

задергались. — Вы это знаете? Вы видели его? О Господи! Боже великий! Боже милосердный!

— Что вы делаете! — остановил Йозеф свою подругу. — А если эта радость ложная, если дезертир, которому мы помогли спастись, не муж ее?

— Это он, Йозеф! Говорю тебе, это он! Вспомни кривого, вспомни приемы синьора Пистолета. Вспомни, как дезертир говорил, что он человек семейный и австрийский подданный! Впрочем, в этом очень легко убедиться. Каков из себя ваш муж?

— Рыжий, с зелеными глазами, широколицый, ростом пять футов восемь дюймов. Нос немного приплюснутый, лоб низкий, — словом, красавец мужчина!

— Так, все верно! — сказала, улыбаясь, Консуэло. — А как он был одет?

— Плохонький зеленый дорожный плащ, коричневые штаны, серые чулки.

— И это похоже! А на вербовщиков вы обратили внимание?

— Обратила ли я внимание на вербовщиков! Пресвятая дева! Да их страшные лица всегда будут стоять перед моими глазами!

Тут бедная женщина с большой точностью описала синьора Пистолета, кривого и Молчаль-

ника.

— Был там еще четвертый, — добавила она, — он оставался при лошади и ни во что не вмешивался. У него было толстое равнодушное лицо, которое показалось мне даже более жестоким, чем у остальных. Когда я плакала, а мужа колотили и вязали веревками, словно какого-нибудь убийцу, этот толстяк преспокойно распевал и играл на губах, словно на трубе: брум, брум, брум. Ах! Что за каменное сердце!

— Ну, это Мейер! — воскликнула Консуэло, обращаясь к Йозефу. — Неужели ты и теперь еще сомневаешься? Это же его милая привычка все время петь, подражая трубе!

— Правда, — согласился Йозеф. — Значит, при нас в самом деле освободили Карла! Слава Богу!

— Да, да! Прежде всего надо возблагодарить Господа! — воскликнула бедная женщина, бросаясь на колени. — А ты, Мария, — обратилась она к своей девочке, — поцелуй землю вместе со мной, благодари ангелов-хранителей и пресвятую деву: твой папа нашелся, и мы скоро его увидим!

— Скажите мне, милая, — спросила Консуэло, — у Карла тоже есть обыкновение, когда он чем-нибудь обрадован, целовать землю?

— Да, дитя мое, он всегда так делает. Когда он

вернулся после своего побега, то не вошел в дом, пока не поцеловал порога.

— Что это, обычай вашей страны?

— Нет, его собственная привычка. Он и нас обучил тому же, и это всегда приносит нам счастье.

— Ну, значит, именно его мы и видели, — сказала Консуэло, — на наших глазах, поблагодарив своих избавителей, он поцеловал землю. Ты ведь заметил, Беппо?

— Конечно, заметил! Да, это он самый! Теперь не может быть никаких сомнений!

— Дайте же мне прижать вас к сердцу, ангелочки мои, — воскликнула жена Карла, — какую весть вы мне принесли! Но как же это случилось?

Йозеф рассказал все, как было. Когда бедная женщина излила весь свой восторг, всю благодарность небесам и Йозефу с Консуэло, которых справедливо считала главными спасителями мужа, она спросила, как же ей теперь разыскать его.

— Думаю, — сказала Консуэло, — что вам лучше всего продолжать свой путь. Вы найдете мужа в Вене, если не встретитесь с ним еще дорогой. Несомненно, первой его заботой, когда он попадет в Вену, будет доложить обо всем императрице, а

затем просить городские власти, чтобы по всей стране сообщили ваши приметы. Конечно, он не преминул просить о том же в каждом сколько-нибудь значительном городе, через который проезжал, и расспрашивал в пути, не видал ли кто вас. Если вы доберетесь до Вены раньше него — смотрите, сейчас же дайте знать о себе городским властям, чтобы Карлу, когда он появится в городе, тотчас передали это.

— Но что это за власти? Где они помещаются? Я тут ровно ничего не смыслю. Такой большой город! Я, бедная крестьянка, совсем там потеряюсь!

— Знаете, — сказал Йозеф, — у нас самих никогда не было таких дел, и мы тоже ничего не смыслим в них, но вы попросите первого встречного указать вам, где находится прусское посольство, а там спросите господина барона фон…

— Осторожно, Беппо, — прошептала Консуэло, напоминая Йозефу, что не следует компрометировать барона, вмешивая его в эту историю.

— Ну, а граф Годиц?

— Да, к графу можно обратиться. Он сделает из тщеславия то, что его спутник сделал бы по доброте. Разыщите дворец маркграфини Байрейтской, — сказала Консуэло женщине, — и передайте ее мужу записку, которую я сейчас

напишу.

Она вырвала листок из записной книжки Йозефа и карандашом написала следующее:

> *Консуэло Порпорина, примадонна театра Сан-Самуэле в Венеции, она же бывший синьор Бертони, странствующий певец в Пассау, поручает благородному сердцу графа Годица-Росвальда жену Карла, дезертира, которого ваше сиятельство вырвали из рук вербовщиков и осыпали своими милостями. Порпорина льстит себя надеждой отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии маркграфини, если господин граф окажет певице честь, разрешив ей выступить в малых покоях ее высочества.*

Консуэло старательно вывела свою подпись и посмотрела на Йозефа. Он ее понял и достал кошелек. По молчаливому соглашению и в едином порыве великодушия они отдали бедной женщине последние два золотых, оставшиеся от подарка Тренка, чтобы она могла доехать до Вены, и, доведя ее до ближайшей деревни, помогли ей нанять небольшую повозку. После этого они накормили ее, снабдили кое-какими пожитка-

ми, истратив на это остатки своего скромного достояния, и отправили в путь-дорогу счастливейшее создание, только что возвращенное ими к жизни.

Тут Консуэло, смеясь, спросила, осталось ли что-нибудь у них в кошельке. Йозеф, тряся над ухом скрипкой, ответил:

— Только звуки!

Консуэло попробовала голос и, блестящей руладой огласив окрестность, воскликнула:

— И сколько еще звуков! — Затем весело протянула руку своему товарищу и, горячо пожав его руку, сказала: — Ты молодец, Беппо!

— И ты тоже! — ответил Йозеф, смахивая набежавшую слезу и громко смеясь при этом.

Глава LXXV

Не так уж страшно очутиться без денег под конец путешествия, но, будь наши юные музыканты еще далеко от цели, они и тогда были бы не менее веселы, чем в ту минуту, когда оказались с пустым карманом. Нужно самому побывать в таком положении, испытать безденежье на чужбине (а Йозеф здесь, вдали от Вены, чувствовал себя почти таким же чужим, как и Консуэло), чтобы знать, какая чудесная беззаботность, какой дух изобретательности и предприимчивости, словно по волшебству, охватывают артиста, истратившего последнюю монету. До этого он тоскует, постоянно боится неудач, у него мрачное предчувствие всевозможных неприятностей, затруднений, унижений, но все это рассеивается, как только отдан последний грош. Тут для поэтических душ открывается новый мир, появляется святая вера в милосердие ближних, всякого рода пленительные иллюзии, жажда деятельности и приветливость, помогающие легко преодолевать первые же препятствия. Консуэло, находившая в этом возвращении к бедности своего детства

какое-то романтическое удовольствие и счастливая тем, что сделала доброе дело, отдав все свое достояние, сейчас же нашла средство добыть себе и своему спутнику ужин и ночлег.

— Сегодня воскресенье, — сказала она Йозефу, — в первом же поселке, который нам попадется на пути, начни играть танцы. Мы не пройдем и двух улиц, как найдутся люди, желающие поплясать, а мы с тобой изобразим деревенский оркестр. Ты не можешь сделать свирель? Я мигом выучусь на ней играть. И стоит мне извлечь из нее хоть несколько звуков — аккомпанемент тебе обеспечен.

— Могу ли я сделать свирель? — воскликнул Йозеф. — Сейчас увидите!

Вскоре на берегу реки они отыскали прекрасный стебель тростника. Йозеф искусно просверлил его — и он зазвучал чудесно. Свирель тут же была настроена, затем последовала репетиция, и наши герои преспокойно направились к деревушке, находившейся на расстоянии трех лье. Они вошли в нее под звуки своих инструментов, выкрикивая перед каждой дверью: «Кто хочет поплясать, кто хочет попрыгать? Вот музыка! Бал начинается!».

Когда они добрались до небольшой площади,

обсаженной красивыми деревьями, за ними неслись уже, крича и хлопая в ладоши, с полсотни детишек. Вскоре появились веселые парочки и, подняв первую пыль, начали танцы. Не успели они утоптать землю, как на площади собралось уже все население деревни, кольцом окружив неожиданно и беззаботно возникший сельский бал. Сыграв несколько вальсов, Йозеф сунул скрипку под мышку, а Консуэло, взобравшись на стул, произнесла перед присутствующими речь, в которой доказывала, что у голодных музыкантов и пальцы слабы и дыхания не хватает. Не прошло и пяти минут, как у них вволю было и хлеба, и сыра, и пива, и сладких пирожков. Что же касается денежного вознаграждения, то на этот счет быстро сговорились: решено было сделать сбор, и каждый даст, сколько пожелает.

Закусив, Консуэло и Йозеф взобрались на бочку, которую для этого торжественно выкатили на середину площади, и танцы возобновились. Но через два часа они были прерваны известием, которое взволновало всех и, переходя из уст в уста, дошло до наших путешественников. Оказалось, что местный сапожник, торопясь закончить ботинки для одной требовательной заказчицы, всадил себе в большой палец шило.

— Это ужасное несчастье! — проговорил какой-то старик, опираясь на бочку, служившую музыкантам пьедесталом. — Ведь сапожник Готлиб — органист нашей деревни, а завтра у нас храмовой праздник. Да, большой праздник, чудесный праздник! Такого не бывает на десять лье вокруг! Особенно хороша у нас месса, ее издалека приходят послушать. Наш Готлиб — настоящий капельмейстер: он и на органе играет, и управляет детским хором, и сам поет, и чего только не делает, особенно в этот день! Просто изо всех сил старается! Теперь без него все пропало! А что скажет господин каноник собора святого Стефана! В этот праздник он сам приезжает к нам служить торжественную мессу и всегда бывает так доволен нашей музыкой! Добрый каноник от музыки без ума! Великая честь для нас видеть его перед нашим алтарем — ведь он никогда не выезжает из своего бенефиция и не любит себя утруждать из-за пустяков.

— Ну что ж, — сказала Консуэло, — это легко уладить: мы с товарищем возьмем на себя и орган и детский хор, — словом, всю мессу, а если господин каноник останется недоволен… ну что ж, вы нам ничего не заплатите за труды.

— Да, да! Легко сказать, молодой человек! —

воскликнул старик. — Нашу обедню под скрипку и флейту не служат, да-с! Это дело серьезное, а вы не знаете даже наших партитур.

— Мы займемся ими сегодня же вечером, — проговорил Йозеф с видом снисходительного превосходства, который произвел большое впечатление на собравшихся вокруг слушателей.

— Так вот, — сказала Консуэло, — ведите нас в церковь, пусть кто-нибудь раздувает мехи, и, если наша игра придется вам не по вкусу, вы сможете отказаться от наших услуг.

— А как же с той партитурой, что так мастерски разработал Готлиб?

— Мы сходим к нему, и, если он будет недоволен нами, откажемся от своего намерения. К тому же раненый палец не помешает ему управлять хором и даже самому исполнить свою партию.

Деревенские старики, собравшись вокруг наших путников, посовещались и решили испытать их. Бал отменили — ведь месса каноника дело посерьезнее, чем какие-то там танцы!

После того как Гайдн и Консуэло поочередно сыграли на органе, а затем пропели вместе и каждый в отдельности, их, за неимением лучшего, признали довольно сносными исполнителями. Кое-кто из ремесленников осмелился даже утвер-

ждать, что они играют и поют лучше Готлиба и что исполненные ими отрывки из Скарлатти, Перголезе и Баха по меньшей мере так же хороши, как музыка Гольцбауэра, дальше которой Готлиб никак не хотел идти. А приходский кюре, прибежавший послушать их, принялся даже утверждать, будто канонику гораздо больше понравятся эти песнопения, чем те, которыми его обычно угощали. Пономарь, не разделявший это мнение, грустно покачал головой, и кюре, не желая вызывать недовольство своих прихожан, согласился, чтобы искусные исполнители, посланные самим провидением, сговорились, если возможно, с Готлибом относительно мессы.

Все толпой направились к дому сапожника, и тому пришлось каждому показать свою распухшую руку, чтобы его освободили от обязанностей органиста. Да, без сомнения, выступать он был совершенно не в состоянии. Готлиб обладал некоторой музыкальностью и довольно прилично играл на органе, но, избалованный похвалами односельчан и несколько шутливым одобрением каноника, относился с болезненным самолюбием ко всему, что касалось его руководства и исполнения. Вот почему он весьма недоброжелательно встретил предложение заменить его двумя слу-

чайными артистами — он предпочитал, чтобы праздник был испорчен и торжественная месса осталась совсем без музыки, только бы не делить ни с кем своей славы. Однако же ему пришлось уступить. Долго он делал вид, будто не может найти партитуры, и разыскал ее только тогда, когда кюре пригрозил, что предоставит юным артистам выбор и исполнение всей музыкальной программы. Консуэло и Гайдн должны были доказать свое умение, прочитав с листа самые трудные пассажи той из двадцати шести месс Гольцбауэра, которую предполагалось исполнять на следующий день. Музыка эта, не талантливая и не оригинальная, была все же хорошо написана, легка и понятна, особенно для Консуэло, привыкшей преодолевать несравненно большие трудности. Слушатели были очарованы, а Готлиб, становившийся все более удрученным и хмурым, заявил, что у него лихорадка и он немедленно ляжет в постель, а впрочем, очень рад, что все остались довольны.

Певцы и музыканты тотчас же собрались в церкви, и два наших юных импровизированных регента начали репетицию. Все шло прекрасно. Пивовар, ткач, школьный учитель и булочник играли ни скрипках; дети и их родители состав-

ляли хоры. Все это были добрые крестьяне и ремесленники, люди флегматичные, внимательные и добросовестные. Йозефу уже приходилось слышать музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в то время в чести, и он легко с ней справлялся. Консуэло же, поочередно участвуя во всех певческих выступлениях, так хорошо вела за собою хоры, что они превзошли самих себя. Два соло должны были исполнять сын и племянница Готлиба, его любимые ученики и лучшие певцы в приходе, но оба корифея на репетицию не явились под предлогом того, что они и так уверены в своих силах.

Йозеф и Консуэло отправились ужинать в дом кюре, где им был приготовлен ночлег. Добрый старик так и сиял; видно было, что он очень дорожил благолепием своей мессы, желая как можно лучше угодить господину канонику.

На следующий день вся деревня еще до света была на ногах. Трезвонили в колокола, по дорогам из окрестных деревень тянулись толпы верующих, чтобы присутствовать на торжественной службе. Карета каноника приближалась с величавой медлительностью. Церковь была разубрана самыми лучшими украшениями. Важность, которую каждый приписывал своей роли, очень

забавляла Консуэло. Здесь царило почти такое же тщеславие и соперничество, как за кулисами театра. Только выражалось оно более наивно и скорее смешило, чем вызывало негодование.

За полчаса до начала мессы явился растерянный пономарь и сообщил о страшном заговоре, подстроенном завистливым и вероломным Готлибом. Узнав, что репетиция прошла прекрасно и все участвовавшие в ней прихожане очарованы пришельцами, он притворился тяжело больным, запретил племяннице и сыну, двум главным корифеям, отходить от своей постели, и, таким образом, праздничная служба лишалась не только самого Готлиба, чье присутствие считалось необходимым, чтобы дать ход всему делу, но и двух сольных партий, лучших номеров мессы. Все хористы упали духом, и с большим трудом удалось старательному и энергичному пономарю собрать их для совещания в церкви.

Консуэло и Йозеф побежали туда же, заставили певцов повторить самые трудные места, поддерживая своими голосами более слабых, и вернули им уверенность и смелость. Что касается сольных партий, то они быстро сговорились и взялись исполнить их сами. Консуэло, порывшись в памяти, припомнила одно духовное песнопение Пор-

поры, по тону и словам подходящее к тому, что требовалось. Она тут же набросала его, положив клочок бумаги на колено, и прорепетировала с Гайдном, чтобы он мог ей аккомпанировать. Консуэло нашла и для него знакомый ему отрывок из произведения Себастьяна Баха, и они довольно удачно аранжировали его для данного случая.

Уже зазвонили к мессе, а они все еще репетировали и спевались, не обращая внимания на громкий трезвон большого колокола. Когда господин каноник в полном облачении предстал перед алтарем, хоры уже пели, несясь во весь опор и с многообещающей смелостью преодолевая фуги немецкого композитора. Консуэло с удовольствием глядела на серьезные лица добрых немецких простолюдинов и слушала их верные голоса, звучавшие с методической согласованностью и с никогда не ослабевающим, ибо неизменно сдержанным воодушевлением.

— Вот подходящие исполнители для такой музыки, — сказала она Йозефу во время паузы, — будь у них огонь, которого не хватило композитору, все было бы испорчено, но у них его нет, и музыка, созданная механически, воспроизводится механическими же исполнителями. Жаль, что здесь нет знаменитого маэстро Годица-Росвальда,

чтобы управлять этими машинами, — он старался бы изо всех сил, ничего не добился бы, но остался бы чрезвычайно доволен собою.

Мужское соло беспокоило многих, но Йозеф блестяще с ним справился. Когда же настал черед Консуэло, то ее итальянская манера сначала всех удивила, даже немного смутила, но в конце концов все-таки очаровала. Певица старалась петь так хорошо, как только могла, и выразительность ее дивного торжественного пения привела Йозефа в невыразимый восторг.

— Не поверю, — сказал он, — чтобы вы могли когда-либо петь лучше, чем пели сейчас для жалкой деревенской мессы.

— Во всяком случае, никогда я не пела с таким подъемом и с таким удовольствием, — отвечала она. — Эта публика мне больше по душе, чем публика театральной залы. Ну, а теперь дай мне посмотреть отсюда, сверху, доволен ли господин каноник. Да! У почтенного каноника совсем блаженный вид, и, судя по тому, как все ищут в выражении его лица воздаяния за свою старательность, я вижу, что единственно, о ком никто здесь не думает, — это о Боге.

— За исключением вас, Консуэло! Только вера и любовь к Богу могут вдохновить на такое пение!

Когда оба солиста после мессы вышли из церкви, прихожане чуть было не понесли их с триумфом на руках в дом кюре, где их ждал хороший завтрак. Хозяин представил музыкантов господину канонику, и тот, осыпав их похвалами, выразил желание еще раз, на десерт, прослушать соло Порпоры. Но Консуэло, не без основания дивившаяся тому, как никто не узнал ее женского голоса, и опасавшаяся прозорливости каноника, отказалась петь под тем предлогом, что репетиция и деятельное участие во всех партиях слишком утомили ее. Отговорка, однако, не была принята во внимание, и обоим пришлось явиться к завтраку каноника.

Господин каноник был человек лет пятидесяти, с добрым и красивым лицом, хорошо сложенный, хотя немного располневший. Манеры его были изысканны и даже, можно сказать, благородны. Он всем говорил по секрету, что в жилах его течет королевская кровь, так как он один из четырехсот незаконнорожденных сыновей Августа Второго, курфюрста Саксонского и короля польского.

Он был мил и любезен, насколько подобает быть светскому человеку и духовному сановнику. Йозеф заметил подле него какого-то мирянина, с которым он обращался одновременно и почти-

тельно и фамильярно. Йозефу казалось, что он уже видел этого человека где-то в Вене, но припомнить имени его он не мог.

— Итак, милые мои дети, — сказал каноник, — вы отказываете мне в удовольствии еще раз услышать произведение Порпоры? А вот мой друг, большой музыкант и во сто раз лучший судья в этом деле, чем я, был поражен тем, как вы исполнили этот отрывок. Но раз вы утомлены, — прибавил он, обращаясь к Йозефу, — я больше не стану вас мучить, однако вы будете так любезны и скажете нам свое имя, а также где вы учились музыке.

Йозеф понял, что ему приписывают исполнение соло, спетого Консуэло, и та выразительным взглядом приказала ему поддержать заблуждение каноника.

— Меня зовут Йозефом, — ответил он кратко, — а учился я в детской певческой школе святого Стефана.

— Я также, — заметил незнакомец, — учился в этой школе при Рейтере-отце; а вы, конечно, — при Рейтере-сыне?

— Да, сударь.

— Но потом вы, наверно, еще у кого-нибудь занимались? Вы учились в Италии?

— Нет, сударь.

— Это вы играли на органе?

— То я, то мой товарищ.

— А кто из вас пел?

— Мы оба.

— Прекрасно! Но тему Порпоры исполняли не вы? — проговорил незнакомец, искоса поглядывая на Консуэло.

— Во всяком случае, не этот мальчик, — сказал каноник, также взглянув на Консуэло, — он слишком юн, чтобы петь с таким мастерством.

— Да, это не я, это он, — быстро ответила Консуэло, указывая на Йозефа.

Она хотела как можно скорее избавиться от этого допроса и с нетерпением поглядывала на дверь.

— Почему вы говорите неправду, дитя мое? — наивно спросил кюре. — Я же вчера слышал и видел, как вы пели, и прекрасно узнал голос вашего товарища Йозефа, когда он исполнял соло Баха.

— По-видимому, вы ошиблись, господин кюре, — с лукавой улыбкой заметил незнакомец, — или же этот юноша чрезмерно скромен. Как бы то ни было, достойны похвал и тот и другой.

Потом, отведя кюре в сторону, незнакомец

проговорил:

— Ухо у вас верное, но глаз не проницательный — это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее я должен вывести вас из заблуждения: этот юный венгерский крестьянин — весьма искусная итальянская певица.

— Переодетая женщина! — воскликнул пораженный кюре.

Он внимательно посмотрел на Консуэло, в то время как та отвечала на благодушные вопросы каноника, и то ли от удовольствия, то ли от негодования, но добрый священнослужитель густо покраснел начиная от брыжей и до самой ермолки.

— Уверяю вас, что это так, — продолжал незнакомец. — Напрасно стараюсь я доискаться, кто бы она могла быть. А что до ее переодевания и того двусмысленного положения, в котором она сейчас оказалась, то это одно безрассудство. Все из-за любви, господин кюре! Но это нас не касается.

— Из-за любви! Хорошо вам говорить! — воскликнул взволнованный кюре. — Похищение, преступная связь с этим юнцом! Но ведь это отвратительно! А я-то как попался! Поместил их у себя в доме! Еще, по счастью, дал им отдельные комнаты, так что, надеюсь, под моей крышей

не совершилось греха. Ах! Какое происшествие! Воображаю, как вольнодумцы моего прихода (а такие имеются, сударь, и многие мне даже знакомы) потешались бы надо мной, если бы узнали эту историю.

— Если ваши прихожане не распознали женского голоса, то, по всей вероятности, не разглядели ни черт лица, ни походки. А между тем взгляните, что за красивые ручки, какие шелковистые волосы, до чего крошечная ножка, несмотря на грубую обувь!

— Ничего этого я не желаю видеть! — воскликнул, выходя из себя, кюре. — Какая гнусность — переодеваться в мужской костюм! В священном писании есть стих, осуждающий на смерть всякого, мужчину или женщину, который отказывается от одежды своего пола. На смерть — слышите, сударь?! Это в достаточной мере указывает на тяжесть греха. И она еще осмелилась проникнуть в храм Божий и бесстыдно воспевать хвалу Господу, в то время как душа и тело ее загрязнены таким преступлением!

— И воспевала эту хвалу божественно! Я был тронут до слез, никогда я не слыхивал ничего подобного! Таинственный случай! Кто эта женщина? Все, кого я мог бы заподозрить, гораздо

старше ее.

— Да это ребенок, совсем молоденькая девушка, — продолжал кюре, который не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на Консуэло с интересом, боровшимся в его сердце со строгостью его убеждений. — Экая змейка! Посмотрите только, с каким кротким и скромным видом она отвечает господину канонику. Ах! Если кто-нибудь догадается об этой проделке, я погибший человек! Придется мне тогда уехать отсюда!

— Как же вы сами и никто из ваших прихожан не распознали женского голоса? Ну и простаки же вы, скажу я вам!

— Что поделаешь! Мы, правда, находили нечто необыкновенное в ее пении, но Готлиб говорил, что это манера итальянская, он уже слышал подобное: это голос из Сикстинской капеллы. Не знаю, что он этим хотел сказать, я ведь ничего не смыслю в музыке, выходящей за пределы моего требника, мне и в голову не могло прийти… Как быть, сударь? Как быть?

— Если никто ничего не подозревает, мой совет вам — молчать обо всем. Выпроводите этих юнцов как можно скорее. Если хотите, я возьмусь избавить вас от них.

— О да! Вы окажете мне огромную услугу!

Стойте, стойте, я дам вам денег. Сколько им заплатить?

— Это меня не касается. Мы-то щедро платим артистам… Но ваш приход небогат, и церковь не обязана следовать примеру театра.

— Я не стану скупиться, я дам им шесть флоринов! Сейчас же иду… Но что скажет господин каноник? Он, по-видимому, ничего не замечает. Вот он разговаривает с ней совсем по-отечески… Святой человек!

— А что, по-вашему, он очень возмутился бы?

— Еще бы! Впрочем, я не столько боюсь его упреков, сколько насмешек. Вы ведь знаете, как он любит вышучивать, он так остроумен. Ох! Как он будет издеваться над моей наивностью!..

— Но поскольку он, видимо, продолжает разделять ваше заблуждение… то будет не вправе и насмехаться над вами. Ну, пойдемте же к ним. Делайте вид, будто ничего не случилось, и воспользуйтесь первым удобным моментом, чтобы выпроводить ваших музыкантов.

Они отошли от окна, где вели разговор, и кюре, приблизившись к Йозефу, который, казалось, гораздо меньше занимал каноника, чем синьор Бертони, сунул ему в руку шесть флоринов. Получив эту скромную сумму, Йозеф сделал знак

Консуэло, чтобы она скорей отделалась от каноника и вышла вслед за ним из дома. Но каноник подозвал к себе Йозефа и, продолжая на основании его ответов считать, что женский голос принадлежит ему, спросил:

— Скажите мне, почему вы выбрали этот отрывок Порпоры, вместо того чтобы исполнить соло господина Гольцбауэра?

— У нас его не было, и мы не знали его, — ответил Йозеф, — я спел единственную из пройденных мною вещей, которую хорошо помнил.

Тут кюре поспешил рассказать о маленькой хитрости Готлиба, и эта закулисная зависть очень рассмешила каноника.

— Ну что ж, — заметил незнакомец, — ваш милый сапожник оказал нам громадную услугу: вместо плохого соло мы насладились шедевром великого мастера. Вы доказали свой вкус, — прибавил он, обращаясь к Консуэло.

— Не думаю, — возразил Йозеф, — чтобы соло Гольцбауэра было так плохо. Те из его произведений, что мы исполняли, имели свои достоинства.

— Достоинства — это еще не талант, — ответил незнакомец; вздыхая и упорно обращаясь к Консуэло, он добавил: — А вы какого мнения,

дружок? Считаете ли вы, что это одно и то же?

— Нет, сударь, я этого не считаю, — ответила она кратко и холодно, так как взгляды этого человека все больше смущали и тяготили ее.

— Однако вам все же доставило удовольствие пропеть мессу Гольцбауэра? — вмешался каноник. — Ведь это прекрасная вещь, не правда ли?

— Мне она не доставила ни удовольствия, ни неудовольствия, — ответила Консуэло, ибо нетерпение вызвало у нее непреодолимое желание высказаться откровенно.

— Вы хотите сказать, что эта вещь ни хороша, ни дурна? — воскликнул, смеясь, незнакомец. — Ну-с, дитя мое, вы прекрасно ответили, и я вполне согласен с вашим мнением.

Каноник громко расхохотался, кюре казался очень смущенным, а Консуэло, нисколько не интересуясь этим музыкальным диспутом, скрылась вслед за Йозефом.

— Ну, господин каноник, как вы находите этих детей? — лукаво спросил незнакомец, как только те вышли.

— Очаровательны! Чудесны! Вы уж извините меня, что я говорю это после дерзкого ответа, которым наградил вас мальчуган.

— Да что вы! Я нахожу этого мальчика просто

восхитительным! Какой талант в столь юные годы! Поразительно! Что за сильные и рано развивающиеся натуры эти итальянцы!

— О таланте младшего я ничего не могу вам сказать, — возразил каноник самым естественным тоном, — я не нашел в нем ничего особенного. Но его старший товарищ — удивительный юноша, и он наш с вами соотечественник, не в обиду будь сказано вашей итальяномании.

— Ах, вот что! — проговорил незнакомец, подмигивая кюре. — Значит, Порпору исполнял старший?

— Полагаю, что так, — ответил кюре, совершенно смущенный тем, что его заставляют лгать.

— Я в этом вполне уверен: он сам мне сказал, — заметил каноник.

— А второе соло, значит, исполнял кто-либо из ваших прихожан? — продолжал допрашивать незнакомец.

— Должно быть, — ответил кюре, делая усилие, чтобы поддержать эту ложь.

Оба посмотрели на каноника, желая убедиться, удалось ли им провести его или он издевается над ними, но он, видимо, и не думал смеяться. Невозмутимость его успокоила кюре. Заговорили о другом. Однако четверть часа спустя каноник

снова вернулся к музыке и пожелал видеть Йозефа и Консуэло — с тем, объявил он, чтобы увезти их к себе и там на досуге еще раз хорошенько прослушать. Перепуганный кюре пролепетал какую-то малопонятную отговорку. Каноник, смеясь, спросил, уж не велел ли он бросить своих маленьких музыкантов в котел в дополнение к завтраку, который и так кажется ему великолепным? Кюре переживал настоящую пытку. На выручку ему пришел незнакомец.

— Сейчас приведу их, — сказал он канонику.

И он вышел, сделав знак добродушному кюре, что придумает какую-нибудь хитрость. Но придумывать ничего не понадобилось. Он узнал от служанки, что юные музыканты успели скрыться, щедро уделив ей один флорин из шести, только что полученных ими.

— Как? Ушли?! — воскликнул огорченный каноник. — Надо их догнать! Я хочу их видеть и слышать, хочу во что бы то ни стало!

Притворились, будто исполняют его желание, но никто и не подумал догонять юных артистов. Да это было бы и напрасно, так как они, боясь грозящего им любопытства, умчались как птицы. Каноник был очень огорчен и даже несколько рассержен.

— Слава Богу, он ничего не подозревает, — сказал кюре незнакомцу.

— А вы, господин кюре, — ответил тот, — вспомните историю с епископом, который как-то в пятницу кушал по недосмотру скоромное, и ему напомнил об этом его викарий. «Бессовестный, — воскликнул епископ, — неужели ты не мог помолчать до конца обеда!». Быть может, и нам следует предоставить канонику заблуждаться сколько ему угодно.

Глава LXXVI

Была тихая и ясная ночь. Полная луна сияла в небесном эфире, на башенных часах старинного монастыря громко и торжественно пробило девять, когда Йозеф и Консуэло, тщетно поискав звонок у ограды, стали обходить безмолвное обиталище, в надежде, что их услышит гостеприимный хозяин. Но надежды их не оправдались: все двери были на запоре, ни одна собака не лаяла, ни в одном окне мрачного здания не было видно даже слабого света.

— Это дворец молчания, — сказал, смеясь, Гайдн, — и если б часы дважды не пробили тихо и торжественно четыре четверти в «до» и «си» и девять ударов в «соль», я считал бы, что это жилище предоставлено совам и привидениям.

Местность вокруг была очень пустынна. Консуэло устала, к тому же эта таинственная обитель привлекала ее поэтическое воображение.

— Если даже нам придется спать в какой-нибудь часовне, — сказала она, — все равно я хочу переночевать здесь. Попробуем все-таки пробраться внутрь. В крайнем случае перелезем

через стену — это не так уж трудно.

— Ладно, — сказал Йозеф, — я подставлю вам спину, а когда вы окажетесь наверху, быстро перемахну на ту сторону и помогу вам спуститься.

Сказано — сделано. Стена была совсем невысока. Две минуты спустя юные нечестивцы с отважным спокойствием уже прогуливались внутри священной ограды. Они оказались в прекрасном саду, который содержался в большом порядке. Фруктовые деревья, расположенные шпалерами, протягивали к ним свои длинные ветви, отягощенные румяными яблоками и золотистыми грушами. Виноградные лозы, кокетливо изогнутые в виде арок, походили на высокие жирандоли, увешанные крупными гроздьями сочного винограда. Огромные грядки с овощами также отличались своеобразной прелестью. Спаржа с изящными стеблями и шелковистыми кудрями, блестевшими от вечерней росы, напоминали рощу карликовых елей, покрытых серебристой дымкой. Горох воздушными гирляндами вился по высоким тычинам, образуя длинные беседки, узкие и таинственные проходы, где тихо щебетали полусонные крошечные малиновки. Американские тыквы, гордые левиафаны этого моря зелени, выпячивали огромное

оранжевое брюхо, развалясь на широких темных листьях. Молодые артишоки, словно маленькие головки в коронах, толпились вокруг своего главы, августейшего стебля-родоначальника. Дыни сидели под стеклянными колпаками, как грузные китайские мандарины под паланкинами, и из каждого кристального купола луна высекала крупный голубой бриллиант, о который, трепеща крыльями, ударялись ветреные ночные бабочки.

Шпалеры из роз отделяли огород от цветника, примыкавшего к зданиям и окружавшего их поясом из цветов. Этот заповедный сад казался каким-то раем. Под сенью роскошных декоративных кустов ютились редкостные растения, источавшие чудесный аромат. Песок под ногами был мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли, и каждая клумба походила на громадную корзину цветов.

Удивительно влияние предметов на душевное и физическое состояние человека! Не успела Консуэло вдохнуть этот сладостный воздух, взглянуть на это святилище беспечного благоденствия, как почувствовала себя отдохнувшей, словно после крепкого сна.

— Как странно! — сказала она Беппо. — Я смотрю на этот сад и уже забыла о камнях дороги и о своих больных ногах. Мне кажется, что, видя эту красоту, я отдыхаю. Никогда прежде я не любила аккуратные, ухоженные сады и вообще все места, окруженные оградами, а вот этот сад, после стольких дней пути по пыльной дороге, после долгой ходьбы по твердой, утоптанной земле, представляется мне раем. Только что я умирала от жажды, а сейчас, когда я вижу эти прелестные растения, раскрывающиеся при вечерней росе, мне кажется, что я пью вместе с ними и уже утолила свою жажду. Посмотри, Йозеф, есть ли что-нибудь очаровательнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни на тот букет белых звезд как раз посреди лужайки и не смейся надо мной. Я не знаю их названия, кажется, Ночные Красавицы, но как удачно они названы! Они красивы и чисты, как звезды на небе. Малейшее дуновение ветерка — и они все вместе то склоняются, то выпрямляются; чудится, будто они смеются и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих подруг из певческой школы, когда по воскресеньям, одетые послушницами, они бегали вдоль высоких церковных стен. А теперь цветы замер-

ли в неподвижном воздухе, обратив головки к луне, точно смотрят на нее и любуются ею. И кажется, что и луна тоже ласково глядит на них и парит над ними, словно большая ночная птица. Ты думаешь, Беппо, что растения ничего не чувствуют? А мне кажется, что красивый цветок не только бессмысленно растет, но и испытывает чудесные ощущения. Я не говорю о несчастном, жалком чертополохе вдоль придорожных канав, где он чахнет в пыли и каждое проходящее стадо обгладывает его побеги. Это убогий нищий, вздыхающий о капле недоступной ему воды. Растрескавшаяся и жаждущая земля алчно вбирает в себя всю влагу, ничего не уделяя его корням. Но садовые цветы, за которыми так заботливо ухаживают, счастливы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на стеблях, а когда восходит на небе их милая подруга луна, они раскрываются ей навстречу и стоят так в полудремоте, предаваясь сладким грезам. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на луне цветы, подобно тому как мы спрашиваем себя, живут ли там люди. Я вижу, Йозеф, что ты смеешься надо мной, а между тем наслаждение, которое я испытываю, любуясь этими белыми звездами, вовсе не обман чувств. В воздухе, очи-

щенном и освеженном их ароматом, есть что-то возвышающее, и я ощущаю, что моя жизнь словно связана с жизнью всего, что меня окружает.

— Как мог бы я насмехаться над вами, — ответил, вздыхая, Йозеф, — когда все ваши впечатления сейчас же передаются мне, когда каждое ваше слово трепещет в моей душе, как звук на струнах инструмента. Но посмотрите, Консуэло, на это жилище и объясните мне, почему оно навевает на меня такую сладостную и глубокую грусть.

Консуэло взглянула на аббатство. То было небольшое здание XII века, некогда укрепленное зубчатыми парапетами, которые впоследствии были заменены остроконечными крышами из сероватых шиферных плит. Башенки, увенчанные галереями с навесными бойницами, были оставлены в виде украшения и походили на большие корзины. Красивые заросли плюща нарушали однообразие стен, а на обнаженных частях фасада, залитого лунным светом, ночной ветер колебал легкую расплывчатую тень молодых тополей. Длинные гирлянды виноградных лоз и жасмина обрамляли двери и вились вокруг окон.

— От жилища этого веет тишиной и грустью, — ответила Консуэло, — но оно не внушает мне

такой симпатии, как сад. Растения созданы, чтобы расти на одном месте, люди же — чтобы двигаться и общаться друг с другом. Будь я цветком, я хотела бы расти в этом цветнике — здесь хорошо, но я женщина и не желала бы жить в келье, запертая в каменной громаде. А ты хотел бы быть монахом, Беппо?

— Ну нет! Боже меня упаси! Но мне было бы приятно работать, не думая о крыше над головой и о хлебе насущном; мне хотелось бы вести жизнь покойную, уединенную, с некоторым достатком, без забот, присущих нищете. Словом, я желал бы прозябать в пассивной размеренной жизни, даже в некоторой зависимости от кого-либо, лишь бы разум мой был свободен, лишь бы у меня не было иных тревог, иных хлопот, иного долга, как только заниматься музыкой.

— Ну что ж, друг мой, творя спокойно, ты и творил бы спокойную музыку.

— А чем она плоха? Что может быть лучше спокойствия? Небеса спокойны, луна спокойна, эти цветы, чей мирный вид так прельщает вас…

— Их неподвижность нравится мне лишь потому, что она сменила волнение, вызванное порывом ветра. Ясность неба нас поражает единственно потому, что мы не раз видели, как его

бороздили молнии. А луна никогда не бывает так величественна, как тогда, когда сияет среди теснящихся вокруг нее темных туч. Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Постоянная неподвижность — это уже не отдых. Это небытие, это смерть. Ах! Если бы ты прожил, как я, целые месяцы в замке Исполинов, ты знал бы, что спокойствие — это не жизнь!

— Но что вы называете спокойной музыкой?

— Музыку слишком правильную, слишком холодную. Смотри, как бы не насочинять подобной музыки, избегая утомления и мирских тревог!

Беседуя таким образом, они подошли к самому зданию. Кристальная струя воды вырывалась из мраморного шара с позолоченным крестом наверху и, переливаясь из чаши в чашу, падала в большую гранитную раковину, где плескалось множество крошечных золотых рыбок, которыми так любят забавляться дети. Консуэло и Беппо, в сущности тоже еще дитя, принялись самым серьезным образом бросать им песчинки, чтобы раздразнить их прожорливость и полюбоваться быстрыми движениями рыбок, как вдруг увидели идущую прямо на них высокую белую фигуру с кувшином. Она приближалась к бассейну и вполне могла сойти за «ночную прачку» — одно

из тех сказочных существ, легенды о которых распространены почти во всех склонных к суеверию странах. Старательность и равнодушие, с какими она принялась наполнять водой кувшин, не выказывая при виде незнакомцев ни удивления, ни страха, таили в себе в самом деле нечто торжественное и странное. Но вскоре громкий крик, с которым она уронила свой сосуд на дно бассейна, доказал, что в ней не было ничего сверхъестественного. Просто у доброй старушки с годами ослабело зрение, но едва она заметила чужих, как страшно перепугалась и бросилась бежать к дому, призывая на помощь пресвятую деву Марию и всех святых.

— Что случилось, тетушка Бригитта? — раздался изнутри мужской голос. — Уж не встретились ли вы с нечистой силой?

— Два дьявола, или, скорее, два вора, стоят там у бассейна, — ответила тетушка Бригитта, подбегая к человеку, который появился в дверях и на несколько мгновений с нерешительным и недоверчивым видом остановился на пороге.

— Вам опять почудилось что-то страшное? Разве в такой час заберутся к нам воры?

— Клянусь своим вечным спасением, что там стоят две черные фигуры, неподвижные как

статуи! Да разве вы сами не видите их отсюда? Смотрите, они все еще там и не двигаются. Пресвятая дева! Побегу, спрячусь в погреб.

— В самом деле, я что-то вижу, — проговорил мужчина, стараясь говорить грубым голосом. — Сейчас позвоню садовнику, и с его двумя помощниками мы легко одолеем этих негодяев. Они могли пробраться сюда только через стену, так как я сам запер все ворота.

— Сначала закроем дверь, — заметила старуха, — а потом уж подымем тревогу.

Дверь захлопнулась, а наши двое юнцов продолжали стоять в недоумении, не зная, что делать. Бежать — значило подтвердить составившееся о них мнение, а оставаться — значило подвергнуться грубому нападению. Тем временем они увидели слабый луч, пробивавшийся сквозь ставню второго этажа. Луч расширился, и малиновая шелковая занавеска, из-за которой лился мягкий свет лампы, стала медленно приподниматься. Рука, казавшаяся при ярком лунном сиянии белой и полной, появилась у края занавески, осторожно поддерживая ее бахрому, в то время как чей-то незримый глаз, должно быть, рассматривал то, что происходило снаружи.

— Давай петь, — сказала своему товарищу Кон-

суэло. — Вот единственный выход. Я начну, а ты мне вторь. Или нет, возьми скрипку и сыграй любую ритурнель в любом тоне.

Йозеф повиновался, и Консуэло громко запела, импровизируя музыку и слова, нечто вроде ритмического речитатива на немецком языке:

— Мы двое бедных пятнадцатилетних детей; мы так малы — не сильнее и не страшнее соловушек, чьим сладким песням мы подражаем.

— Ну, Йозеф, — прошептала она, — еще аккорд, чтобы оттенить речитатив.

Затем она продолжала:

— Измученные усталостью, опечаленные мрачным одиночеством ночи, мы увидели издали этот дом, он показался нам необитаемым, и мы перекинули через стену одну ногу, а потом другую.

— Йозеф, еще аккорд в ля минор!

— Очутились мы в заколдованном саду, среди плодов, достойных земли обетованной. Мы умирали от жажды, умирали от голода, и все-таки, если не хватит хоть единого красного яблочка на шпалерах, если сорвали мы хоть единую ягодку с виноградной лозы, пусть нас выгонят и проучат как злодеев.

— Теперь, Йозеф, модуляцию, чтобы вернуться в до мажор.

— А между тем нас в чем-то подозревают, нам грозят, но мы не хотим бежать, не хотим прятаться, ибо не совершили ничего дурного… если не считать, что мы вошли в дом Божий через стену. Но когда дело идет о том, чтобы попасть в рай, то все дороги хороши, и кратчайшие — лучше всех.

Консуэло завершила свой речитатив одним из тех красивых хоралов на средневековой латыни, известной в Венеции как latino di frate[31], которые народ распевает по вечерам перед статуями мадонны. Когда она закончила, две белые руки, постепенно появившиеся из-за занавесей, бурно зааплодировали, и голос, показавшийся ей как будто знакомым, крикнул из окна:

— Добро пожаловать, питомцы муз! Входите, входите! Здесь ожидает вас гостеприимная встреча.

Юные музыканты приблизились, а минуту спустя лакей в красной с лиловым ливрее вежливо распахнул перед ними двери.

— Я было принял вас за жуликов. Прошу прощения, приятели мои, — смеясь сказал он, — но вы сами виноваты, что не запели раньше. С таким паспортом, как голос и скрипка, можете

---

[31] Примечания: 31
Монашеская латынь (*итал.*).

рассчитывать на самый радушный прием у моего хозяина. Пожалуйте. Похоже на то, что он уже знает вас.

С этими словами приветливый слуга поднялся впереди них по двенадцати ступенькам пологой лестницы покрытой превосходным турецким ковром. Не успел еще Йозеф спросить имя хозяина, как лакей открыл дверь, тотчас бесшумно за ним закрывшуюся, и, проведя их через уютную переднюю, ввел в столовую, где любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном и двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать первое блюдо, принимаясь с благодушным и одновременно величественным видом за второе. Вернувшись с вечерней прогулки, он приказал привести себя в порядок и освежить себе лицо, что и было исполнено его камердинером. Он был напудрен и выбрит, седеющие кудри, слегка осыпанные ирисовой, чудесно пахнущей пудрой, мягко вились вокруг его почтенной головы. Красивые руки покоились на коленях, обтянутых короткими черными шелковыми панталонами с серебряными пряжками. Красивые ноги, которыми он немного гордился, туго обтянутые прозрачными лиловыми шелковыми чулками,

покоились на бархатной подушке. Его статное, дородное тело, облаченное в роскошный, стеганный на вате халат из темно-красного шелка, утопало в большом мягком кресле, где локоть нигде не рисковал наткнуться на угол, до того кресло это было хорошо набито и округло. Тетушка Бригитта, домоправительница, сидя у пылающего и потрескивающего камина позади кресла хозяина, словно священнодействуя, варила кофе. Второй лакей, такой же опрятный и приветливый, как первый, стоя у стола, осторожно отрезал крылышко дичи, спокойно и терпеливо ожидаемое благочестивым отцом. Йозеф и Консуэло низко поклонились, узнав в любезном хозяине старшего каноника собора святого Стефана, того самого, в чьем присутствии они утром пели мессу.

Глава LXXVII

Не было на свете человека, жизнь которого сложилась бы так спокойно и удобно, как жизнь господина каноника. Благодаря многочисленным покровителям из королевского дома он уже в возрасте семи лет был объявлен совершеннолетним, согласно канонам церкви, каковые допускают, что человек в эти годы хотя еще не отличается здравым умом, однако в скрытой форме обладает им в достаточной степени, чтобы получать и тратить доходы от бенефиция. Вследствие этого нашего юнца постригли и возвели в сан каноника, несмотря на то что он был побочным сыном короля. Сделано это было в соответствии с церковным уставом, признающим по презумпции законнорожденным ребенка, если он представлен к получению бенефиция и опекаем коронованными особами, хотя тот же самый устав требовал, чтобы каждый претендент на церковное имущество происходил от бесспорного и законного брака, иначе его могли объявить неправоспособным, то есть недостойным и даже, если понадобится, лишенным чести. Но суще-

ствует столько средств для соглашения с небом! А потому в некоторых случаях каноническое право устанавливало, что подкинутый ребенок может считаться законнорожденным на том, впрочем, истинно христианском основании, что в случае неизвестного происхождения следует скорее предполагать хорошее, чем плохое. Итак, маленький каноник в качестве старшего каноника стал получать прекрасный доход с церковного имущества, а достигнув пятидесяти лет от роду и имея за собой сорок лет якобы действительной службы в капитуле, был признан каноником юбилейным, то есть каноником на пенсии, имеющим право жить, где ему заблагорассудится, не исполнять никаких обязанностей при капитуле и пользоваться в то же время всеми выгодами, доходами и привилегиями канониката. Правда, достойный каноник с юных лет оказывал капитулу очень большие услуги. Он объявил себя отсутствующим, что на языке канонического права означает разрешение под более или менее благовидным предлогом жить вдали от капитула, не теряя при этом доходов от бенефиция, связанных с действительным исполнением должности. Достаточно было одного случая чумы в его резиденции, чтобы это послужило основанием для отсутствия.

Могло быть причиной отсутствия слабое или расстроенное здоровье. Но самым надежным и уважительным поводом являлись научные занятия. Для этого объявлялось, что предпринимается какой-либо объемистый труд на тему о морали, об отцах церкви, о таинствах или, еще лучше, об устройстве своего капитула, о принципах его организации, о связанных с ним материальных выгодах, о претензиях, которые могли бы быть предъявлены другим капитулам, о тяжбе, которая ведется или которую можно завести с соперничающей общиной по поводу земельного участка, права попечительства или принадлежащего по бенефицию дома. И такого рода сутяжнические и финансовые хитросплетения были настолько интереснее духовному сословию, чем комментарии к основным положениям религии и разъяснение догматов, что стоило только какому-нибудь видному члену капитула пообещать, что он займется подобными поисками, начать рыться в старых пергаментах и строчить судебные записки, жалобы и даже пасквили на богатых противников, как ему предоставляли выгодное и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свои доходы либо путешествуя, либо сидя дома в своем бенефиции, у собственного камелька. Именно

так и поступил наш каноник.

Человек умный, одаренный красноречием и изящным слогом, он обещал себе, продолжал обещать и собирался обещать всю жизнь, что напишет книгу о правах, льготах и привилегиях своего капитула. Окруженный запыленными фолиантами, которые он ни разу не раскрыл, собственного фолианта он не написал, не писал, и ему так и не суждено было написать его. Два секретаря, приглашенные им за счет капитула, занимались тем, что опрыскивали его особу духами и готовили ему трапезы. О пресловутой книге много было толков; ее ожидали, на силе ее аргументов строили тысячи воздушных замков, мечтая о славе, мести и золоте. Эта несуществующая книга уже создала своему автору репутацию человека образованного, упорного в труде и красноречивого, чему он вовсе не спешил представить доказательства. И не потому, что он был не способен оправдать высокое мнение своих собратий, но потому, что жизнь коротка, за обедами и ужинами засиживаешься долго, следить за своей внешностью необходимо, а far niente[32] так восхитительно. Кроме того, у нашего

[32] Примечания: 32
Ничегонеделание (*итал.*).

каноника были две невинные, но неутолимые страсти: он обожал садоводство и музыку. Где же было ему при таком количестве дел и занятий найти время для написания книги? Наконец, так приятно говорить о книге, которую не пишешь, и, напротив, так неприятно слышать разговоры о труде, который уже написан!

Бенефиций этой святой особы представлял собою весьма доходное имение, приписанное к бывшему монастырю, где каноник проводил восемь-девять месяцев в году, предаваясь разведению цветов и ублажению своей утробы. Дом был обширным и весьма романтическим. Каноник обставил его не только комфортабельно, но даже роскошно. Предоставляя медленно разрушаться корпусу, где прежде жили монахи, он заботливо поддерживал и со вкусом украшал ту часть здания, которая наиболее соответствовала его сибаритским привычкам. Благодаря новым переделкам древний монастырь преобразился в настоящий маленький замок, где каноник вел жизнь помещика. Он был наиприятнейшим духовным лицом: снисходительный, остроумный, когда это требовалось, ортодоксальный и речистый с людьми своего сословия, обходительный, веселый в светском обществе, любезный,

радушный и щедрый с артистами. Слуги каноника, деля с ним приятную жизнь, которую он умел себе создать, помогали ему изо всех сил. Домоправительница была немного сварлива, но варила такое вкусное варенье, умела так хорошо сохранять фрукты, что он терпел ее скверный характер и спокойно выдерживал бури, говоря себе, что человек должен мириться с чужими недостатками, но не может обойтись без прекрасного десерта и чудесного кофе.

Наши юные музыканты были приняты им с самым милым радушием.

— Вы умные и изобретательные дети, — сказал он им, — и я полюбил вас всем сердцем. К тому же вы очень талантливы, а у одного из вас — уж не знаю теперь, у которого — голос самый нежный, самый приятный, самый волнующий изо всех, какие я когда-либо слышал. Голос этот — чудо, сокровище. И я очень огорчился сегодня, когда вы так внезапно покинули дом кюре. Я уж думал, что, должно быть, никогда больше не встречусь с вами, никогда не услышу вас. Право, я даже лишился аппетита, стал мрачным, озабоченным… Чудесный голос и чудесная музыка не выходили у меня из головы, продолжали звучать в ушах. Но провидение, благосклонное ко мне, а быть может,

и ваше доброе сердце, дети мои, снова привело вас ко мне, ибо вы, наверное, угадали, что я сумел вас понять и оценить.

— Должны сознаться, господин каноник, — ответил Йозеф, — что только случай привел нас сюда и мы далеки были от того, чтоб рассчитывать на такую удачу.

— Это удача для меня, — любезно возразил каноник, — и вы мне споете... Но нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны — вы устали, быть может, голодны... Сначала вы поужинаете, хорошенько выспитесь в моем доме, а завтра мы займемся музыкой. Да, весь день одной только музыкой! Андреас, сейчас же проводите молодых людей в буфетную и как можно лучше позаботьтесь о них... Впрочем, нет, поставьте им два прибора на конце стола — они будут ужинать со мной.

Андреас исполнил приказание с готовностью и даже с каким-то благожелательным удовольствием. Но Бригитта совсем иначе отнеслась к этому. Она покачала головой, пожала плечами и проворчала сквозь зубы:

— Нечего сказать, подходящие сотрапезники! Странное общество для человека вашего круга!

— Замолчите, Бригитта! — спокойно ответил

каноник. — Вы никогда, никем и ничем не бываете довольны, а как только увидите, что кто-то чему-то радуется, сейчас же приходите в ярость.

— Вы уж не знаете, что и выдумать для своего времяпрепровождения, — прибавила она, не обращая ни малейшего внимания на сделанное ей замечание. — Лестью, всякими россказнями и песенками вас можно провести, точно малого ребенка.

— Замолчите! — сказал каноник более строгим тоном, но не переставая весело улыбаться. — Голос у вас оглушительный, и если вы не перестанете ворчать, то совсем испортите мне кофе.

— Подумаешь, великая радость и большая честь, — отвечала старуха, — варить кофе для таких гостей!

— О! Я знаю, вам нужны важные персоны. Вы любите высокие титулы. Вы хотели бы иметь дело только с епископами, князьями да канониссами с родословной в шестнадцать поколений! А по мне, все это не стоит куплета хорошо исполненной песни.

Консуэло с удивлением слушала, как человек, казавшийся таким благородным, мог с каким-то наивным удовольствием препираться со своей экономкой; да и в продолжение всего ужина ее

изумляла ребячливость его интересов. Он болтал массу вздора — решительно по поводу всего, просто чтобы убить время и поддержать в себе хорошее настроение. Поминутно он обращался к слугам, то серьезно обсуждая вопрос о соусе к рыбе, то беспокоясь о какой-то заказанной им мебели, тут же давал противоречивые приказания, расспрашивал челядь о самых пустячных подробностях своего хозяйства, обдумывая эти пустяки с торжественностью, достойной более серьезной темы, выслушивал одного, останавливал другого, спорил с тетушкой Бригиттой, противоречившей ему на каждом шагу, и проделывал все это, пересыпая вопросы и ответы всевозможными шутками. Можно было подумать, что, вынужденный вследствие своей уединенной и бездеятельной жизни довольствоваться обществом своих слуг, он, с одной стороны, желая дать работу мозгу, а с другой стороны — способствовать пищеварению, занимался гигиены ради упражнением мысли — не слишком трудным и не слишком легким.

Ужин был превосходный и необыкновенно обильный. После жаркого господин каноник вызвал повара, благосклонно похвалил его за приготовление некоторых блюд, кратко и наставительно пожурил за другие, не достигшие

совершенства. Наши путешественники, словно свалившись с облаков, поглядывали друг на друга, думая, что им снится забавный сон, до того все эти тонкости казались им непостижимыми.

— Ну-ну! Не так уж плохо, — проговорил добродушный каноник, отпуская своего искусника-кулинара, — я научу тебя кое-чему, если будешь стараться и с любовью исполнять свой долг.

«Можно вообразить, — подумала Консуэло, — что дело идет об отеческом наставлении или религиозном поучении».

За десертом, отпустив также и домоправительнице ее долю похвал и замечаний, каноник, наконец, забыл об этих важных вопросах и перешел к музыке, где показал себя своим юным гостям совсем в ином свете. У него было хорошее музыкальное образование, серьезные познания, верные понятия и просвещенный вкус. Он довольно хорошо играл на органе. Усевшись после ужина за клавесин, он сыграл несколько отрывков из произведений старинных немецких композиторов, исполняя их с большой чистотой и согласно добрым традициям прошлого. Не без интереса слушала Консуэло его игру. Найдя на клавесине толстую нотную тетрадь со старинными пьесами, она принялась ее перелистывать

и, позабыв об усталости и о позднем времени, стала просить каноника сыграть в своей красивой, четкой и спокойной манере некоторые пьесы, особенно ей понравившиеся. Каноник был чрезвычайно польщен, что его слушают с таким удовольствием. Музыка, которую он знал, уже вышла из моды, и потому он не часто находил любителей, способных оценить то, что было ему по сердцу. Поэтому он почувствовал прилив необычайной нежности к Консуэло — тогда как Йозеф, измученный усталостью, заснул в большом, предательски удобном кресле.

— Браво! — воскликнул каноник в порыве увлечения. — Ты необычайно одарен, дитя мое, и умен не по годам. Тебя ожидает необыкновенная будущность. Впервые жалею я о безбрачии, налагаемом на меня моим саном.

Этот комплимент заставил Консуэло покраснеть и привел ее в трепет: она подумала, что каноник признал в ней женщину. Но вскоре она успокоилась, так как он наивно прибавил:

— Да, мне жаль, что у меня нет детей, ибо небо, быть может, послало бы мне такого сына, как ты, а это было бы счастьем моей жизни… будь его матерью хотя бы сама Бригитта! Но скажи мне, друг мой, какого ты мнения о Себастьяне Бахе?

Его сочинения сводят с ума современных ученых. Ты тоже считаешь его таким поразительным гением? У меня там лежит толстая книга его произведений; я их собрал и дал переплести, так как все надо иметь в доме... А впрочем, может статься, они действительно хороши... Но разбирать их стоит большого труда, и, признаться, после первой же неудачной попытки я поленился снова приняться за них... Притом у меня остается мало времени для самого себя. Ведь я занимаюсь музыкой в редкие минуты, оторванные от более серьезных дел. Ты видел, как я занят управлением моего маленького хозяйства, но из этого не следует заключать, что я человек свободный и счастливый. Наоборот, я раб огромного, страшного, добровольно возложенного на себя труда. Я пишу книгу и работаю над нею вот уже тридцать лет, но другой и в шестьдесят не написал бы ее. Труд этот требует бесконечных исследований, бессонных ночей, непоколебимого терпения и самых глубоких размышлений. Зато, мне кажется, книга заставит о себе говорить.

— А она скоро будет кончена? — спросила Консуэло.

— Не так скоро, не так скоро... — ответил каноник, стараясь скрыть от самого себя, что он еще

не приступал к работе. — Итак, мы говорили с тобой о музыке этого Баха… Она ужасно трудна и, кроме того, кажется мне очень странной.

— А я думаю, преодолей вы свое предвзятое мнение, вы убедились бы, что Бах — гений; он охватывает, объединяет и одухотворяет все достижения прошедшего и настоящего.

— Ну хорошо, — согласился каноник. — Если это так, то завтра мы втроем попробуем разобрать что-нибудь из его произведений. А теперь вам время спать, а мне — погрузиться в работу. Но завтрашний день вы проведете у меня, не правда ли, это решено?

— Целый день — пожалуй, много, сударь: нам надо спешить в Вену. Но все утро мы будем к вашим услугам.

Каноник запротестовал, стал настаивать, и Консуэло сделала вид, что сдается, решив несколько ускорить медлительные темпы великого Баха, с тем чтобы уйти не позднее одиннадцати или двенадцати часов дня.

Когда вопрос коснулся ночлега, горячий спор возник на лестнице между Бригиттой и главным камердинером. Усердный камердинер, стараясь угодить своему хозяину, приготовил для молодых музыкантов две хорошенькие келейки в недавно

отделанном здании, занимаемом каноником и его свитой. Бригитта же, напротив, упорно настаивала на том, чтобы поместить их в заброшенных кельях старого монастыря, так как та часть здания была отделена от новой прочными дверями и крепкими затворами.

— Как! — кричала она своим пронзительным голосом на гулкой лестнице. — Вы собираетесь поместить этих бродяг бок о бок с нами? Да разве вы не видите по их лицам, по их пальто, по их ремеслу, что это цыгане, бродяги, маленькие разбойники, которые сбегут отсюда до света, утащив с собой нашу серебряную посуду! Да еще неизвестно, не убьют ли они нас самих.

— Убьют! Эти-то дети! — воскликнул, смеясь, камердинер. — Вы с ума сошли, Бригитта. Хоть вы и старая и дряхлая, а пожалуй, сами еще обратите их в бегство, стоит вам только показать им зубы.

— Сами вы старый и дряхлый, слышите! — кричала в ярости старуха. — Говорю вам, они не будут здесь ночевать, я этого не хочу! Да ведь с ними всю ночь не сомкнешь глаз!

— И совершенно напрасно: я глубоко уверен, что у этих детей не больше моего охоты беспокоить ваш почтенный сон. Но довольно! Господин каноник приказал мне хорошенько позаботиться

о его гостях, и я не упрячу их в полную крыс лачугу, где гуляет ветер. Быть может, вы еще хотите уложить их там на голом полу?

— Я велела садовнику поставить для них две складные кровати. А вы считаете, что эта голь привыкла к пуховикам?

— Тем не менее эту ночь они будут спать на пуховиках, так как этого желает хозяин. А я, госпожа Бригитта, признаю его приказания. Предоставьте мне исполнять мои обязанности и помните, что ваш долг, так же как и мой, повиноваться, а не приказывать.

— Правильно, Йозеф! — проговорил, смеясь, каноник, слышавший через полуоткрытую дверь передней весь этот спор. — А вы, Бригитта, идите, приготовьте мне туфли и оставьте нас в покое. До свиданья, юные друзья мои. Ступайте за Йозефом и спите хорошенько. Да здравствует музыка! Да здравствует завтрашний прекрасный день!

Долго еще после того, как наши путешественники расположились в своих хорошеньких келейках, доносилось до них ворчание домоправительницы, словно зимний ветер завывал по коридорам. Когда же шум, сопровождавший торжественный отход ко сну каноника, совершенно затих, Бригитта подошла на цыпочках к дверям

юных гостей и заперла их, быстро повернув ключ в каждом замке. Йозеф, никогда в жизни не покоившийся на такой чудесной постели, уже крепко спал. Консуэло также последовала его примеру, немало посмеявшись в душе над ужасом Бригитты. Это она-то, дрожавшая от страха почти все ночи во время своего путешествия, теперь, в свою очередь, заставляла дрожать других. Она могла бы применить к себе басню о зайце и лягушках, но я не берусь утверждать, что ей были известны басни Лафонтена. В те времена достоинство их оспаривалось величайшими умами мира: Вольтер осмеивал их, а Фридрих Великий, подражая, как обезьяна, своему философу, тоже относился к ним с глубочайшим презрением.

Глава LXXVIII

Ранним утром Консуэло, увидав восходящее солнце и услышав веселое щебетание множества птиц, уже пировавших в саду, попыталась выйти из своей комнаты, но арест не был еще снят: госпожа Бригитта продолжала держать своих пленников под замком. Консуэло пришло в голову, что это, пожалуй, хитрая выдумка каноника: желая наслаждаться весь день музыкой, он прежде всего счел нужным обеспечить себя музыкантами. Молодая девушка, чувствовавшая себя в мужском костюме ловкой и смелой, выглянула в окно и убедилась, что вылезти из него не так уж трудно, ибо по всей стене вилась по крепким шпалерам большая виноградная лоза. И вот, спустившись медленно и осторожно, чтобы не попортить чудесного монастырского винограда, она очутилась на земле и углубилась в сад, смеясь в душе над удивлением и разочарованием Бригитты, когда та обнаружит, что все ее предосторожности оказались напрасными.

Консуэло опять увидела, уже при новом освещении, прелестные цветы и роскошные плоды,

которыми восхищалась накануне при лунном свете. Дыхание утра и косые лучи розового улыбающегося солнца придавали этим прекрасным творениям земли новое очарование. Атласно-бархатистый налет покрывал плоды, на всех ветвях кристальными бусинками висела роса, от посеребренных газонов шел легкий пар, словно страстное дыхание земли, стремящейся достигнуть неба и слиться с ним в нежном, любовном порыве. Но ничто в этот таинственный час рассвета не могло сравниться со свежестью и красотой цветов, когда они, еще влажные от ночной росы, приоткрылись как бы для того, чтобы обнаружить сокровища своей невинности, излить свои тончайшие ароматы. Только самый первый и чистый солнечный луч достоин был взглянуть на них, на мгновение обладать ими. Цветник каноника доставил бы истинное наслаждение любителю-садоводу, но в глазах Консуэло он был слишком симметричным, слишком аккуратным. И все же розы пятидесяти сортов, редкие и прелестные гибискусы, пурпуровый шалфей, разнообразные сорта герани, благоухающие датуры с глубокими опаловыми чашечками, наполненными амврозией богов, изящные ласточники (в их тонком яде насекомое, упиваясь

негой, находит смерть), великолепные кактусы, выставляющие напоказ свои яркие венчики на бугристых, причудливо изогнутых стеблях, и еще тысячи редкостных, чудесных, никогда не виданных Консуэло растений, названия и родины которых она не знала, надолго приковали ее внимание.

Наблюдая их различные особенности и пытаясь уловить те чувства, которые, казалось, выражал облик каждого, она стала искать связь между музыкой и цветами, стараясь понять, как эти два увлечения совмещаются в душе каноника. Ей уже и раньше приходило в голову, что гармония звуков отвечает каким-то образом гармонии красок. А наивысшей гармонией ей казался аромат. В эту минуту, погруженная в смутные сладкие мечтания, Консуэло словно слышала голоса, исходившие из каждого прелестного венчика, голоса, рассказывавшие ей о тайнах поэзии на языке, дотоле ей неведомом. Роза говорила о страстной любви, лилия — о небесной непорочности, пышная магнолия — о чистых наслаждениях невинной гордости, а крошечная фиалка шептала о радостях простой, скромной жизни. Некоторые цветы громко и властно заявляли: «Я красива и царствую». Другие лепетали еле внятно, но

таким нежным, в душу проникающим голосом: «Я мала и любима», и все вместе качались в такт с утренним ветерком, образуя воздушный хор, который постепенно замирал среди умиленных трав и листвы, жаждавших уловить таинственный смысл происходящего.

И вдруг эту идеальную гармонию, это восхитительное созерцание нарушили пронзительные, ужасные, мучительные человеческие крики, доносившиеся из-за купы деревьев, скрывавших монастырскую ограду. Вслед за криками, замершими в сельской тиши, послышался грохот кареты, затем карета, по-видимому, остановилась, и кто-то принялся колотить в чугунные решетчатые ворота, находившиеся в этой стороне сада. Но либо в доме все еще спали, либо никто не хотел ответить, только приезжие долго стучали впустую, а пронзительные крики женщины, прерывавшиеся энергичной бранью мужчины, взывавшего о помощи, разбивались о бесчувственные каменные стены, вызывая в них не больше отклика, чем в сердцах живущих за ними людей. Все окна фасада были так хорошо законопачены, дабы охранять сон каноника, что ни единый звук не мог проникнуть сквозь сплошные дубовые ставни, обитые кожей на конском

волосе. Слуги, занятые во внутреннем дворе позади дома, не слышали криков, а собак в усадьбе не имелось: каноник не любил этих назойливых стражей, которые под предлогом защиты от воров нарушают покой хозяев. Консуэло попробовала было проникнуть в дом, чтобы дать знать о прибытии путешественников, находившихся, видимо, в бедственном положении, но все было так крепко заперто, что она отказалась от этой мысли и в волнении бросилась к решетчатым воротам, из-за которых доносился шум.

Дорожная карета, нагруженная доверху багажом и побелевшая от пыли после долгого пути, стояла перед главной аллеей сада. Форейторы слезли с лошадей и старались расшатать негостеприимные ворота, а стоны и жалобы все неслись из кареты.

— Откройте, если вы христиане! — закричали подбежавшей Консуэло. — Тут умирает дама!

— Откройте! — закричала, высовываясь из окна кареты, женщина, чье лицо было незнакомо Консуэло, но чье венецианское произношение поразило ее. — Госпожа моя умрет, если ей сейчас же не дадут приюта. Откройте, если вы не звери!

Консуэло, не думая о последствиях своего порыва, бросилась открывать ворота, но на них висел

огромный замок, ключ от которого, вероятно, находился в кармане тетушки Бригитты. Звонок тоже не действовал, остановленный секретной пружиной. В этой спокойной и честной стране такие предосторожности принимались не против воров, а против шума и беспокойства, причиняемых слишком поздними или слишком ранними посетителями. Несмотря на страстное желание помочь, Консуэло была бессильна что-либо сделать и с горечью выслушивала брань горничной, которая, обращаясь к своей хозяйке, нетерпеливо выкрикивала по-венециански:

— Дурень! Неуклюжий мальчишка! Открыть ворота не умеет!

Немецкие форейторы, более терпеливые и спокойные, старались помочь Консуэло, но так же безуспешно. Тут больная дама, высунувшись из окна кареты, громко крикнула на ломаном немецком языке:

— А! Черт тебя подери! Да беги же за кем-нибудь, чтоб открыли, мерзкая скотина!

Столь энергичное обращение дамы успокоило Консуэло относительно возможности ее близкой кончины. «Если она и близка к смерти, то только к смерти насильственной», — подумала девушка и обратилась к путешественнице по-венециански,

ибо то, что дама, как и ее горничная, были венецианками, не подлежало никакому сомнению:

— Я не из этого дома, меня здесь приютили только на ночь. Постараюсь разбудить хозяев, но этого так скоро и просто не сделаешь. Неужели, сударыня, вы в такой опасности, что не можете немного обождать?

— Я рожаю, дурень! — заорала путешественница. — Мне некогда ждать! Беги, кричи, ломай все, но приведи людей и помоги мне войти в этот дом. Тебе хорошо заплатят…

Она снова принялась вопить, а у Консуэло задрожали колени: это лицо, этот голос были ей знакомы.

— Как зовут вашу хозяйку? — спросила она у горничной.

— А тебе что до этого? Беги же, негодный! — проговорила потерявшая голову служанка. — Если будешь медлить, ничего от нас не получишь!

— Да мне ничего и не надо от вас, — с жаром возразила Консуэло, — я хочу только знать, кто вы. Если ваша госпожа музыкантша, ее примут здесь без всяких разговоров, а она, если я не ошибаюсь, знаменитая певица.

— Иди, мальчик, — сказала роженица, находившая в себе силы в промежутках между схватками

быть хладнокровной и энергичной. — Ты не ошибся. Иди, скажи жителям этого дома, что знаменитая Корилла может умереть, если какая-нибудь христианская душа или душа артиста не сжалится над ее положением. Я заплачу… скажи, что я щедро заплачу. София, — обратилась она к горничной, — прикажи положить меня на землю; я буду меньше мучиться, лежа на дороге, чем в этой адской карете.

Консуэло уже мчалась к дому с твердой решимостью поднять страшный шум и во что бы то ни стало добраться до каноника. Она уже не думала удивляться или приходить в волнение от странной случайности, которая привела сюда ее соперницу, причину всех ее несчастий. Она хотела только одного — помочь ей. Стучать Консуэло не понадобилось, она встретила Бригитту — домоправительница каноника, привлеченная криками, выходила из дома в сопровождении садовника и камердинера.

— Хорошенькая история, нечего сказать! — сурово проговорила старуха, когда Консуэло изложила ей суть дела. — Не ходите туда, Андреас, не двигайтесь с места и вы, господин садовник. Разве вы не видите, что все подстроено этими бандитами для того, чтобы нас ограбить и убить?

Я ждала этого. Тревога эта — хитрость! Шайка злодеев шныряет вокруг дома, в то время как те, которых мы приютили, стараются под благовидным предлогом ввести их к нам. Ступайте за ружьями, господа, и будьте готовы прикончить эту мнимую роженицу с усами и в штанах. Ну хорошо! Пусть даже это роженица. Допустим! Она принимает наш дом за больницу, что ли? У нас тут нет повивальной бабки, я лично ничего не смыслю в таких делах, а господин каноник не любит писка новорожденных. Как же дама могла пуститься в дорогу, зная, что ей время родить? А раз она это сделала, кто же виноват? Можем ли мы избавить ее от страданий? Пусть родит в своей карете: ей там будет не хуже, чем у нас, где ничего не приспособлено для такого неожиданного подарка.

Эту речь, начатую для Консуэло, Бригитта, брюзжа, продолжала, пока они шли по аллее, и закончила у ворот — уже для горничной Кориллы.

В то время как путешественницы после тщетных переговоров с неуступчивой домоправительницей перешли к упрекам, поношениям и даже брани, Консуэло, надеясь на доброту каноника и любовь его к музыке, проникла в дом. Напрасно искала она комнату хозяина — она только

заблудилась в огромном здании с незнакомыми ей переходами. Наконец, она натолкнулась на Гайдна, который разыскивал ее, и он сказал, что видел, как каноник направился в оранжерею. Они вместе бросились туда и вскоре увидели в сводчатой жасминной аллее почтенного хозяина: он шел им навстречу с лицом свежим и веселым, как утро этого прекрасного осеннего дня. Взглянув на приветливого каноника, гулявшего в своем уютном стеганом ватном халате по дорожкам, где его нежная нога, ступая по тонкому, пройденному граблями песку, не могла наткнуться ни на единый камешек, Консуэло совершенно уверилась в том, что столь счастливый человек, человек с чистой совестью, удовлетворивший все свои желания, будет в восторге от возможности совершить доброе дело. Но едва она заговорила, передавая просьбу бедной Кориллы, как появилась Бригитта и перебила ее.

— Там у ворот, — начала старуха, — бродяга, певичка из театра. Она выдает себя за знаменитость, а вид у нее и разговор распутной девки. Она уверяет, что сейчас родит, а сама кричит и бранится, как тридцать чертей, вместе взятых. Хочет родить в вашем доме. Подумайте, подходящее ли это для вас дело?

Каноник с отвращением сделал жест, означающий отказ.

— Господин каноник, — обратилась к нему Консуэло, — кто бы ни была эта женщина, она страдает, жизнь ее, быть может, в опасности, так же как и жизнь невинного создания, которого Бог призывает в этот мир, и религия повелевает вам принять его по-христиански и по-отечески. Не правда ли, вы не покинете несчастную, не допустите, чтобы она погибла, стеная, у вашей двери?

— А что, она замужем? — холодно спросил каноник после минутного раздумья.

— Этого я не знаю, быть может, и замужем. Но что до того? Господь посылает ей счастье быть матерью. Он один имеет право ее судить…

— Она сказала свое имя, господин каноник, — энергично вмешалась Бригитта, — вы должны ее знать, вы водитесь со всеми комедиантами Вены. Ее зовут Корилла.

— Корилла! — воскликнул каноник. — Она бывала в Вене, и я много о ней слышал. Говорят, у нее прекрасный голос.

— Ну вот, ради ее прекрасного голоса прикажите открыть ворота! Она лежит на песке, на самой дороге, — настаивала Консуэло.

— Но ведь это женщина легкого поведения, —

возразил каноник. — Два года тому назад у нее была в Вене скандальная история.

— И без того многие завидуют вашему бенефицию, господин каноник, — продолжала Бригитта. — Если падшая женщина родит в вашем доме… в этом, поверьте, никто не усмотрит случайности, а еще меньше — дела милосердия. Вам известно, что каноник Герберт претендует на звание юбилейного каноника и уже лишил владений одного молодого священника под тем предлогом, будто тот пропускал церковные службы ради одной дамы, которая всегда в эти часы у него исповедовалась. Господин каноник, такой бенефиций, как ваш, легче потерять, чем добыть.

Эти слова оказали на каноника внезапное и решающее действие. Он воспринял их в святилище своего благоразумия, хотя и притворился, что едва слышал их.

— В двухстах шагах отсюда есть постоялый двор, — проговорил он, — пусть эту даму отвезут туда. Она найдет там все, что ей надо, и ей будет там гораздо удобнее и приличнее, чем в доме холостяка. Ступайте скажите ей это, Бригитта, и, прошу вас, сделайте это вежливо, как можно вежливее. Укажите форейторам, где находится

постоялый двор. А вы, дети мои, — обратился он к Консуэло и Йозефу, — пойдемте со мной разбирать фугу Баха, пока нам готовят завтрак.

— Господин каноник, — начала взволнованно Консуэло, — неужели вы покинете…

— Ах! — огорченно воскликнул каноник. — Зачахла самая красивая из моих волкамерий! Говорил же я садовнику, что он недостаточно часто ее поливает. Самое редкое, самое дивное растение моего сада! В этом есть нечто роковое! Взгляните, Бригитта! Позовите-ка садовника, я его проберу.

— Прежде всего я прогоню от наших ворот знаменитую Кориллу, — ответила, удаляясь, Бригитта.

— И вы согласны с этим? Вы это приказываете, господин каноник? — воскликнула с негодованием Консуэло.

— Я не могу поступить иначе, — ответил он кротко, но в тоне его прозвучала непоколебимая твердость, — и прошу, чтобы об этом больше не было речи. Идемте же, я вас жду, начнем музицировать!

— Больше никакой музыки здесь для нас быть не может! — взволнованно ответила Консуэло. — Вы бесчувственный человек и не способны

понять Баха. Пусть погибнут ваши цветы и ваши плоды! Пусть пропадут от мороза жасмин и ваши красивейшие деревья! Эта плодородная земля, приносящая вам все в таком изобилии, не должна была бы ничего родить, кроме терний, потому что вы бессердечны, вы похищаете дары неба и не умеете использовать их для гостеприимства!

В то время как Консуэло говорила, пораженный каноник озирался кругом, словно боясь, как бы проклятие небес, призываемое этой пылкой душой, не обрушилось на его драгоценные волкамерии и любимые анемоны. Высказав все, Консуэло бросилась к воротам — они по-прежнему были на запоре, — перелезла через них и пошла за каретой Кориллы, направлявшейся шагом к жалкому кабачку, которому каноник без всякого основания присвоил звание постоялого двора.

Глава LXXIX

Йозеф Гайдн уже привык подчиняться внезапным решениям своей подруги, но, более предусмотрительный и спокойный, чем Консуэло, он догнал ее лишь после того, как сбегал в дом за дорожной котомкой, нотами, а главное — за скрипкой, источником существования, утешительницей и веселой спутницей их путешествия. Кориллу положили на обычную в немецких харчевнях скверную кровать, такую короткую, что либо голова, либо ноги должны были торчать наружу. К несчастью, в этой жалкой лачуге не было женщин: хозяйка ушла на богомолье за шесть лье, а служанка погнала корову на пастбище; дома были старик и мальчик. Скорее испуганные, чем обрадованные прибытием столь богатой путешественницы, они всецело предоставили свой домашний очаг в распоряжение приезжих, не думая о вознаграждении, которое могли за это получить. Старик был глух; пришлось ребенку отправиться за повивальной бабкой в соседнюю деревню, отстоявшую чуть ли не на целое лье. Форейторы гораздо больше беспокоились о своих

лошадях, которых нечем было накормить, чем о путешественнице, и последняя, предоставленная попечениям горничной, окончательно потерявшей голову и кричавшей почти так же громко, как ее госпожа, оглашала воздух воплями, напоминавшими скорее рычание львицы, чем стоны женщины.

Консуэло, охваченная ужасом и состраданием, решила не покидать несчастную.

— Йозеф, — сказала она своему товарищу, — вернись к канонику, хотя бы тебе и пришлось встретить там плохой прием: не следует быть гордым, когда просишь за других. Скажи ему, что сюда нужно прислать белья, бульона, крепкого вина, матрацы, одеяла — словом, все необходимое больному человеку. Поговори с ним мягко, но решительно и обещай, если понадобится, что мы придем к нему играть и петь, лишь бы он оказал помощь этой женщине.

Йозеф отправился обратно, а бедной Консуэло пришлось быть невольной свидетельницей отвратительной сцены, когда женщина без веры и сердца, богохульствуя и проклиная, переносит священные муки материнства. Целомудренная и благочестивая девушка содрогалась, видя эти муки, которые ничто не могло смягчить, ибо

вместо святой радости и набожного упования сердце Кориллы было полно злобы и горечи. Она не переставая проклинала свою судьбу, путешествие, каноника с его домоправительницей и даже ребенка, которого собиралась произвести на свет. Она была так груба со своей горничной, что у той все валилось из рук. Наконец, совсем выйдя из себя, Корилла крикнула ей:

— Ну, погоди, я так же буду за тобой ухаживать, когда придет твой черед! Ведь я прекрасно знаю, что ты тоже беременна, и отправлю тебя рожать в больницу. Прочь с глаз моих! Ты только мешаешь мне и раздражаешь меня.

София, в ярости и отчаянии, со слезами выбежала из комнаты, а Консуэло, оставшись наедине с возлюбленной Андзолетто и Дзустиньяни, попыталась ее успокоить и облегчить ее страдания. Неистовствуя и испытывая адские муки, Корилла все же сохранила какое-то звериное мужество, дикую силу, в которых сказывалась вся нечестивость ее пылкой, здоровой натуры. Когда боли на минуту отпускали ее, она снова делалась бодрой и даже веселой.

— Черт возьми! — обратилась она вдруг к Консуэло, совершенно не узнавая ее, так как прежде видела ее только издали или на сцене в костюмах,

совсем не похожих на тот, который был на ней теперь. — Вот так приключение! А ведь многие не поверят мне, когда я расскажу, что родила в кабаке с таким доктором, как ты. Ты похож на цыганенка со своей смуглой мордочкой и большущими черными глазами. Кто ты? Откуда ты взялся? Как здесь очутился? И почему ухаживаешь за мной? Ах, нет, не отвечай мне, я все равно не услышу, уж слишком я страдаю! Ah, misera, me![33] Только бы не умереть! О нет, я не умру! Не хочу умирать! Цыганенок, ты ведь не бросишь меня? Не уходи! Не уходи! Не дай мне умереть! Слышишь?

И вновь возобновлялись вопли, прерываемые новыми богохульствами.

— Проклятый ребенок! — кричала она. — Так и вырвала бы тебя из утробы и швырнула б подальше!

— Ох, нет! Не говорите так! — воскликнула, вся похолодев от ужаса, Консуэло. — Вы будете матерью, будете счастливы и, когда увидите своего ребенка, не пожалеете, что страдали.

— Я? — проговорила с циничным хладнокровием Корилла. — Ты воображаешь, что я буду

---

[33] Примечания: 33
Ах, я несчастная! (*итал.*)

любить этого ребенка? Ах! Как ты ошибаешься! Великое счастье быть матерью, нечего сказать! Как будто я не знаю, что это значит: страдать рожая, работать, чтобы кормить этих несчастных, не признаваемых отцами, видеть, как сами они страдают, не знать, что с ними делать, страдать, бросая их… ведь в конце-то концов все-таки их любишь… Но этого я любить не буду. Клянусь Богом! Я буду ненавидеть его, как ненавижу его отца!..

Но внешнее горькое безразличие Кориллы не выдержало все возрастающих страданий, и она закричала в порыве неистовой злобы, вызываемой у женщины жестокими муками:

— Ах! Проклятый! Да будь он трижды проклят, отец этого ребенка!

Она задыхалась и, испуская нечленораздельные крики, разорвала в клочки косынку, которая прикрывала ее пышную грудь, клокотавшую от муки и злости. Схватив за руку Консуэло и от боли судорожно впившись в нее ногтями, она не прокричала, а скорее прорычала:

— Да будь он проклят! Проклят! Проклят! Подлый, бесчестный Андзолетто!

В эту минуту вернулась София и четверть часа спустя, умудрившись принять у своей госпожи

ребенка, бросила на колени Консуэло первую попавшуюся тряпку из театрального гардероба, выхваченную из наспех открытого сундука. Это был бутафорский плащ из выцветшего атласа, отделанный мишурной бахромой. В эту импровизированную пеленку благородная, целомудренная невеста Альберта завернула дитя Андзолетто и Кориллы.

— Ну, синьора, успокойтесь, — проговорила с искренней добротой бедная горничная, — родили вы благополучно, и у вас хорошенькая маленькая дочка.

— Девочка или мальчик — мне все равно, но я больше не страдаю, — ответила Корилла, приподнимаясь на локте и даже не глядя на ребенка. — Подай мне большой стакан вина!

Йозеф как раз принес от каноника вина, и притом самого лучшего. Каноник великодушно исполнил просьбу Консуэло, и вскоре у больной было в изобилии все, что нужно в таких случаях. Корилла твердой рукой подняла поданный ей серебряный кубок и осушила его, словно завзятая маркитантка; затем, откинувшись на мягкие подушки каноника, заснула с глубокой беспечностью, присущей железному организму и ледяной душе. Пока она спала, ребенка как следует запе-

ленали, а Консуэло сходила на соседний луг за овцой, которая и стала первой кормилицей новорожденной. Когда мать проснулась, она велела Софии помочь ей приподняться и, выпив еще стакан вина, на минуту задумалась. Консуэло, держа на руках дитя, ждала пробуждения материнской нежности, но у Кориллы было на уме совсем иное. Взяв «до», она с серьезным видом пропела до-мажорную гамму в две октавы и захлопала в ладоши.

— Браво, Корилла! — воскликнула она. — Голос у тебя ничуть не пострадал, можешь рожать детей, сколько тебе заблагорассудится!

Затем она расхохоталась, поцеловала Софию и, сняв со своей руки бриллиантовое кольцо, надела ей на палец.

— Это чтоб утешить тебя за брань, которой я тебя осыпала, — сказала она. — А где моя маленькая обезьянка? Ах! Бог мой! — воскликнула она, взглянув на ребенка. — Она блондинка, она на него похожа! Ну, тем хуже для нее! Горе ей! Не распаковывай столько сундуков, София! О чем ты думаешь? Неужели ты вообразила, что я здесь останусь? Как бы не так! Ты дура и не знаешь, что такое жизнь. Я намерена завтра же пуститься в путь. Ах, цыганенок, ты держишь ребенка совсем

как женщина. Сколько тебе дать за заботы обо мне и за труды? Знаешь, София, мне никогда не служили лучше, никогда так хорошо за мной не ухаживали. Ты, значит, из Венеции, дружочек? Приходилось тебе слышать мое пение?

Консуэло ничего не ответила, да, впрочем, ее все равно не стали бы слушать. Корилла внушала ей отвращение. Она передала ребенка только что возвратившейся служанке кабачка, которая казалась славной женщиной, затем позвала Йозефа, и они вместе вернулись в монастырскую усадьбу.

— Я не давал обещания канонику привести вас к нему, — сказал по дороге Йозеф. — Кажется, он сконфужен своим поведением, хотя старался быть любезным и даже веселым; при всем своем эгоизме он не злой человек и выказал искреннюю радость, посылая Корилле все, что могло ей понадобиться.

— На свете столько черствых и скверных людей, — ответила Консуэло, — что слабые духом должны внушать скорее жалость, чем отвращение. Я хочу загладить перед бедным каноником свои дерзкие слова, и, так как Корилла не умерла и, как говорится, мать и дитя чувствуют себя хорошо, а наш каноник способствовал этому сколько мог, не подвергая опасности свой драго-

ценный бенефиций, я хочу отблагодарить его. К тому же у меня есть свои причины остаться здесь до отъезда Кориллы. О них я скажу тебе завтра.

Оказалось, что Бригитта ушла на соседнюю ферму, и Консуэло, приготовившаяся смело выступить против этого цербера, очень обрадовалась, что их встретил добрый, услужливый Андреас.

— Пожалуйте, пожалуйте, друзья мои! — воскликнул он, провожая их в покои своего хозяина. — Господин каноник в ужасной меланхолии. Он почти ничего не кушал за завтраком и три раза просыпался во время полуденного отдыха. Сегодня у него было два больших огорчения: погибла его лучшая волкамерия, и он потерял надежду послушать музыку. К счастью, вы вернулись, и, значит, одним огорчением стало меньше.

— Над кем он насмехается — над нами или над своим хозяином? — спросила Консуэло Йозефа.

— И над ним и над нами! — ответил Гайдн. — Только бы каноник не сердился на нас, и мы тогда приятно проведем время.

Каноник не только на них не сердился, но, напротив, встретил их с распростертыми объятиями, настоял, чтобы они позавтракали, и потом вместе с ними уселся за клавесин. Консуэло на-

учила его постичь и оценить дивные прелюдии великого Баха, а чтобы окончательно привести его в хорошее расположение духа, пропела лучшие вещи из своего репертуара, не меняя голоса и не особенно беспокоясь о том, что каноник может догадаться о ее поле и возрасте. Он, видимо, предпочитал ни о чем не догадываться и с наслаждением упивался тем, что слышал. Он и в самом деле был страстным любителем музыки, и в его восторге было столько непосредственной искренности, что Консуэло невольно почувствовала себя растроганной.

— Ах! Дорогое дитя! Благородное дитя! Счастливое дитя! — восклицал добряк со слезами на глазах. — Ты превратил сегодняшний день в счастливейший день моей жизни! Но что будет со мной теперь? Нет! У меня не хватит сил перенести утрату такого счастья, и я зачахну от тоски. Больше я не смогу заниматься музыкой: в душе моей останется жить идеал, и я все время буду сожалеть о нем. И ничто больше не будет мне мило, даже мои цветы…

— И совершенно напрасно, господин каноник, — ответила Консуэло, — ваши цветы поют лучше меня.

— Что ты говоришь? Мои цветы поют? Я нико-

гда не слышал.

— Да потому, что вы их никогда не слушали. А я сегодня утром слушал их, постиг их тайну, уловил их мелодию.

— Странное ты дитя! Необыкновенное! — воскликнул каноник, отечески-целомудренно лаская темные кудри Консуэло. — Ты одет бедняком, а достоин всяческого поклонения. Но скажи мне, кто ты? Где научился ты тому, что знаешь?

— Случай, природа, господин каноник.

— Ох! Ты обманываешь меня, — с лукавым видом сказал каноник, у которого всегда было наготове шутливое словцо. — Ты, наверно, сын какого-нибудь Кафарелли или Фаринелли! Но послушайте, дети мои, — внезапно оживившись, самым серьезным тоном прибавил он, — я не хочу расставаться с вами. Я беру на себя заботу о вас, оставайтесь со мной. У меня есть состояние, я поделюсь им с вами. Я стану для вас тем, чем был Гравина для Метастазио. Это будет моим счастьем, моей славой. Свяжите свою судьбу с моею, для этого вам надо только принять младший монашеский чин. Я выхлопочу вам хорошие бенефиции, а после моей смерти вам останутся от меня в наследство недурные сбереженьица, которые я вовсе не намерен оставлять этой злюч-

ке Бригитте.

В то время как каноник говорил, вдруг вошла Бригитта и услышала его последние слова.

— А я не намерена дольше служить вам, — визгливо закричала она, плача от ярости, — довольно я жертвовала своей молодостью и своей репутацией неблагодарному хозяину!

— Твоей репутацией? Твоей молодостью? — насмешливо перебил ее каноник, нимало не смутившись. — Ну, ты себе льстишь, милая старушка, твоя «молодость» оберегает твою репутацию!

— Да, да, издевайтесь, — возразила она. — Но приготовьтесь распроститься со мной. Я сию же минуту покину дом, где не могу установить никакого порядка, никакой благопристойности. Хотела я помешать вам делать безрассудства, расточать ваше имущество, унижать ваш сан, да вижу, что все это ни к чему. Ваша бесхарактерность и несчастливая звезда ведут вас к погибели, и первые попавшиеся вам под руку скоморохи так ловко кружат вам голову, что того и гляди оберут вас. Давным-давно каноник Герберт зовет меня к себе служить и предлагает условия гораздо лучше ваших. Я устала от всего, что здесь вижу. Дайте мне расчет! Я больше ни одной ночи

не проведу под вашей кровлей.

— Так вот до чего дошло дело, — спокойно проговорил каноник. — Ну хорошо, Бригитта, ты доставишь мне большое удовольствие, если только не передумаешь! Я никогда никого не выгонял, и мне кажется, служи у меня сам дьявол, я не выставил бы его за дверь, настолько я добродушен. Но если бы дьявол пожелал расстаться со мной, я пожелал бы ему доброго пути и отслужил бы молебен после его ухода. Ступай же укладывай свои вещи, Бригитта; что до твоего расчета, то, милая моя, произведи его сама. Бери все, что пожелаешь, все, чем я владею, только поскорее убирайся отсюда!

— Ах, господин каноник, — проговорил Гайдн, взволнованный этой домашней сценой, — вы еще пожалеете о старой служанке, ведь она, как видно, очень привязана к вам...

— Она привязана к моему бенефицию, — ответил каноник, — а я буду жалеть только о ее кофе.

— Вы привыкнете обходиться без вкусного кофе, господин каноник, — твердо заявила строгая Консуэло, — и хорошо сделаете. А ты, Йозеф, молчи и ничего не говори в ее защиту. Я все ей скажу в лицо, потому что все это правда. Она злая и вредит своему хозяину. Сам он добрый

человек, природа сотворила его благородным и великодушным, а эта женщина делает его эгоистом. Она подавляет добрые порывы его души, и если он оставит ее у себя, то станет таким же черствым, таким же бесчеловечным, как она. Простите, господин каноник, что я так говорю с вами. Вы столько заставили меня петь и привели меня своим восторгом в такое возбужденное состояние, что я, быть может, не вполне владею собой и если чувствую сейчас что-то вроде опьянения, то это ваша вина. Но знайте, что человек в порыве такого вдохновения всегда говорит правду, ибо вдохновение это благородно и будит в нас лучшие чувства. В такие минуты то, что на сердце, то и на устах, и сейчас с вами говорит мое сердце. Когда же я успокоюсь, то стану более почтительным, но менее искренним. Поверьте, я не гонюсь за вашим состоянием, я вовсе не желаю его, не нуждаюсь в нем! Когда я захочу, у меня будет больше вашего, а жизнь артиста подвергнута стольким случайностям, что, пожалуй, вы еще меня переживете, и, быть может, я впишу вас в свое завещание в благодарность за то, что вы хотели составить свое в мою пользу. Завтра мы уходим и, может статься, больше никогда с вами не увидимся, но мы уйдем с сердцем, пере-

полненным радостью, уважением, почтением и благодарностью к вам, если вы рассчитаете госпожу Бригитту, у которой я прошу извинения за мой образ мыслей.

Консуэло говорила с таким жаром, искренность и прямота так ярко отражались на ее лице, что слова ее поразили каноника, словно молния.

— Уходи, Бригитта! — сказал он домоправительнице с важным и решительным видом. — Истина глаголет устами младенцев, а душа этого младенца полна благородства. Уходи, ибо сегодня утром ты заставила меня совершить дурной поступок и толкала бы меня на подобные и в дальнейшем, — ведь я слаб и подчас труслив. Уходи, ибо ты делаешь меня несчастным, а это не послужит твоему спасению. Уходи, — прибавил он, улыбаясь, — ибо ты стала пережаривать мой кофе, а все сливки, в которые ты суешь свой нос, скисают.

Последний упрек оказался для Бригитты чувствительнее всех других, — уязвленная в самое больное место, самолюбивая старуха лишилась языка. Она выпрямилась, кинула на каноника взгляд, исполненный сострадания, почти презрения, и удалилась с видом театральной королевы. Два часа спустя эта свергнутая королева покинула усадьбу, предварительно немножко обобрав

ее. Каноник сделал вид, что ничего не заметил, и по блаженному выражению его лица Гайдн понял, что Консуэло оказала ему истинную услугу. Для того чтобы каноник не испытал ни малейшего сожаления, юная артистка сама приготовила ему за обедом кофе по венецианскому способу — как хорошо известно, лучшему в мире. Андреас тотчас же стал под ее руководством изучать это искусство, и каноник объявил, что в жизни своей не пробовал кофе вкуснее. После обеда снова занимались музыкой, послав предварительно справиться о здоровье Кориллы, которая, как доложили, уже сидела в кресле, присланном ей каноником. Чудесным вечером при луне они гуляли в саду. Каноник, опираясь на руку Консуэло, не переставал уговаривать ее принять монашеский чин и стать его приемным сыном.

— Берегитесь! — сказал ей Йозеф, когда они вернулись к себе. — Этот добрый каноник не на шутку увлекся вами.

— В дороге ничем не надо смущаться, — отвечала она. — Я так же не стану аббатом, как не стала трубачом. Господин Мейер, граф Годиц и каноник — все они просчитались.

Глава LXXX

Консуэло пожелала Йозефу спокойной ночи и удалилась в свою комнату, не сказав ему, хотя он этого ожидал, что они должны уйти на заре. У нее были свои причины не спешить, и Гайдн ждал, что она ему их откроет; сам же он радовался возможности провести с ней еще несколько часов в этом красивом доме и пожить рядом с каноником, приятная жизнь которого была ему по душе. Консуэло на следующее утро разрешила себе поспать дольше обычного и появилась только ко второму завтраку. Каноник имел обыкновение вставать рано и после легкой и лакомой закуски прогуливаться с требником в руках по своим садам и оранжереям, оглядывая растения, а потом шел немножко вздремнуть перед более плотным завтраком.

— Наша путешественница чувствует себя хорошо, — объявил каноник своим юным гостям, как только они появились. — Я послал Андреаса приготовить ей завтрак. Она выразила большую признательность за наше внимание и, поскольку она собирается сегодня же ехать в Вену (призна-

юсь, вопреки всякому благоразумию), то просит вас навестить ее, чтобы вознаградить за вашу сердечную заботу. Итак, дети мои, скорее завтракайте и отправляйтесь туда. Наверное, она готовит вам какой-нибудь хороший подарок.

— Мы будем завтракать столько времени, сколько вы пожелаете, господин каноник, — ответила Консуэло, — но к больной не пойдем: мы ей больше не нужны, а в подарках ее не нуждаемся.

— Удивительное дитя! — сказал восхищенный каноник. — Твое романтическое бескорыстие, твое восторженное великодушие до того покорили мое сердце, что я никогда, кажется, не в силах буду расстаться с тобой!

Консуэло улыбнулась, и они сели за стол. Завтрак был превосходный и тянулся добрых два часа. Но десерт оказался таким, какого никак не ожидал каноник.

— Ваше преподобие, — доложил Андреас, появляясь в дверях, — пришла тетушка Берта из соседнего кабака и принесла вам от роженицы большую корзину.

— Это серебро, которое я ей посылал. Примите его, Андреас, это ваше дело. Значит, дама решительно уезжает?

— Она уже уехала, ваше преподобие.

— Уже! Да она сумасшедшая! Эта сумасбродка хочет убить себя!

— Нет, господин каноник, — сказала Консуэло, — она этого не хочет и не убьет себя.

— Ну, Андреас, что вы стоите с таким торжественным видом? — обратился каноник к лакею.

— Дело в том, ваше преподобие, что тетушка Берта не отдает мне корзину. Она говорит, что передаст ее только вам; ей надо что-то вам сказать.

— Это щепетильность или чрезмерная старательность при исполнении поручения? Впустите ее, и покончим с этим.

Старуху ввели. Отвесив несколько глубоких поклонов, она поставила на стол большую корзину, прикрытую кисеей. Каноник повернулся к Берте, а Консуэло торопливо протянула к корзине руку. «Немного приподняв кисею, она поспешно опустила ее и тихо сказала Йозефу:

— Вот чего я ожидала, вот для чего я осталась! О да! Я была уверена: Корилла должна была так поступить!

Йозеф, не успевший еще разглядеть, что было в корзине, с удивлением смотрел на свою спутницу.

— Итак, тетушка Берта, вы принесли мне вещи,

которые я одолжил вашей постоялице? Прекрасно! Прекрасно! Я и не беспокоился о них, и мне незачем проверять, все ли цело.

— Ваше преподобие, — ответила старуха, — моя служанка все принесла, все передала вашим служителям, и все в самом деле в целости; на этот счет я вполне спокойна. Но меня заставили поклясться, что эту корзину я передам только вам в руки, а что в ней находится, вы знаете не хуже меня.

— Пусть меня повесят, если я знаю это, — проговорил каноник, небрежно протягивая руку к корзине, но рука его застыла, словно парализованная, а рот так и остался полуоткрытым от удивления, когда покрывало как бы само собой зашевелилось и оттуда показалась крошечная розовая детская ручонка, инстинктивно порывавшаяся схватить палец каноника.

— Да, ваше преподобие, — доверчиво, с довольным видом заговорила старуха, — вот она — цела и невредима, такая хорошенькая, веселенькая и так хочет жить!

Пораженный каноник совсем онемел. Старуха продолжала:

— Ну как же, ваше преподобие, да ведь вы же изволили просить у матери разрешения удочерить

и воспитать младенца! Бедной даме не так-то легко было на это согласиться, но мы сказали ей, что дитя попадает в хорошие руки, и она, поручив его провидению, просила нас отнести его вам. «Скажите, пожалуйста, почтенному канонику, этому святому человеку, — говорила она, садясь в карету, — что я не стану долго злоупотреблять его милосердным попечением. Скоро я приеду за своей дочуркой и расплачусь с ним за все, что он на нее потратит. Раз он во что бы то ни стало сам хочет найти ей хорошую кормилицу, передайте ему от меня этот кошелек с деньгами: я прошу разделить их между кормилицей и маленьким музыкантом, что так чудесно ухаживал за мной вчера, если, конечно, он еще не ушел». Что касается меня, она хорошо мне заплатила, ваше преподобие, я ничего больше не прошу и вполне довольна.

— Ах, вы довольны! — воскликнул трагикомическим тоном каноник. — Ну что ж, я очень рад, но извольте унести обратно и кошелек и эту обезьянку. Тратьте деньги, воспитывайте ребенка — это меня нисколько не касается.

— Воспитывать ребенка? Вот уж нет! Я слишком стара, ваше преподобие, чтобы взять на себя заботу о новорожденной. Она кричит целые но-

чи. И моему бедному старику, хоть он и глух, не очень-то было бы по вкусу такое соседство.

— А мне? По-вашему, я должен мириться с ним? Благодарю покорно! Неужели вы рассчитывали на это?

— Но раз ваше преподобие сами просили ребенка у матери…

— Я? Просил? Откуда, черт побери, вы это взяли?

— Но раз ваше преподобие сегодня утром написали…

— Написал? Где же мое письмо? Пожалуйста, пусть мне его покажут!

— Ну, я, конечно, не видала вашего письма, и притом у нас никто и читать-то не умеет. Но господин Андреас приходил к роженице с поклоном от вашего преподобия, и она нам сказала, будто он передал ей письмо. А мы, простаки, и поверили. Да кто бы мог не поверить?!

— Это гнусная ложь! Только беспутница может пойти на такие проделки! — закричал каноник. — И вы сообщники этой ведьмы. Нет! Нет! Забирайте младенца, возвращайте его матери, оставляйте у себя, устраивайтесь как знаете, а я умываю руки. Если вы хотите вытянуть у меня деньги, я готов их дать. Никому не отказываю я

в милостыне, даже интриганам и плутам — это единственный способ избавиться от них. Но взять в свой дом ребенка — благодарю покорно! Убирайтесь вы все к черту!

— Ну, что до этого, — возразила старуха очень решительно, — так и я его не возьму, не прогневайтесь, ваше преподобие. Я не соглашалась смотреть за ребенком. Знаю я, как кончаются такие истории. Для начала дадут немножко блестящих золотых монет и наобещают с три короба, а там — поминай как звали, и ребенок остается на вашей шее. И никогда из таких детей ничего путного не выходит: они лентяи и гордецы уже по самой своей природе. Не знаешь, что с ними и делать. Если это мальчики, они становятся грабителями, а девочки кончают еще хуже. Ой, нет, нет! Ни я, ни мой старик не хотим брать этого ребенка. Нам сказали, что ваше преподобие просили его отдать вашему преподобию, — мы поверили, и вот вам ребенок. Извольте получить деньги, и мы в расчете. А что мы сообщники этой дамы, так уж простите, ваше преподобие, мы таких штук не знаем. Вы, верно, шутите, коли упрекаете нас в том, что мы хотим вас обмануть. Покорная слуга вашего преподобия! Ухожу домой. У нас сейчас паломники, что ходили по обету, и они, ей-Богу,

умирают от жажды.

Старуха несколько раз поклонилась и уже направилась было к выходу, но потом вернулась и сказала:

— Совсем было забыла: ребенок должен называться вроде бы Анджелой, но только по-итальянски. Ох, честное слово, не помню теперь, как это они мне сказали.

— Анджолина, Андзолета? — спросила Консуэло.

— Вот-вот, именно так, — подтвердила старуха и, еще раз поклонившись канонику, спокойно удалилась.

— Ну, как вам нравится эта выходка? — проговорил изумленный каноник, обращаясь к своим гостям.

— Я нахожу, что она достойна той, которая ее придумала, — ответила Консуэло, вынимая из корзины ребенка, начинавшего уже вертеться, и осторожно заставляя его проглотить несколько ложечек теплого молока, оставшегося после завтрака в японской чашке каноника.

— Что же, эта Корилла какой-то дьявол? — спросил каноник. — Вы раньше знавали ее?

— Только по слухам, но теперь я знаком с нею прекрасно, так же как и вы, господин каноник.

— Знакомство, без которого я охотно обошелся бы. Но что нам делать с этим несчастным, брошенным ребенком? — прибавил он, с состраданием глядя на крошку.

— Отнесу-ка я его к вашей садовнице, — сказала Консуэло. — Вчера я видел, как она кормила грудью чудесного мальчугана месяцев пяти-шести.

— Ну, ступайте, — сказал каноник, — или лучше позвоните, чтобы она пришла за ним сюда. Она нам укажет и кормилицу с какой-нибудь соседней фермы… только не в слишком близком соседстве от нас. Ведь один Бог знает, какое зло может принести духовному лицу внимание к ребенку, подобным образом свалившемуся с облаков в его дом.

— На вашем месте, господин каноник, я был бы выше таких пустяков. Не стал бы я ни думать о возможных нелепых клеветнических намеках, ни прислушиваться к ним. Я жил бы среди глупых сплетен так, будто их и не существует, и поступал бы так, будто они вообще невозможны. В чем же тогда смысл мудрой, достойной жизни, если она не обеспечивает спокойствия совести и свободы делать добрые дела? Подумайте, господин каноник, вам доверили ребенка. Если вдали от ваших глаз за ним будут плохо смотреть, если он захи-

реет, умрет, вы этого себе никогда не простите!

— Что ты там говоришь, будто мне доверили ребенка! Да разве я давал на это согласие? Разве каприз или плутовство других могут налагать на нас подобные обязательства? Ты увлекаешься, дитя мое, и говоришь вздор.

— Нет, дорогой господин каноник, — возразила Консуэло, все более и более оживляясь, — это не вздор. Злая мать, бросившая своего ребенка, не имеет на него никаких прав и не может ничего вам предписывать. Приказывать вам имеет право только тот, кто располагает судьбой рождающегося ребенка, тот, перед кем вы вечно будете ответственны, а это Бог. Да, Бог возымел особое милосердие к невинному крошечному созданию, внушив его матери смелую мысль — доверить его вам. Это Бог, по странному стечению обстоятельств, привел его в ваш дом, наперекор вашему желанию, и толкает его в ваши объятия вопреки вашей осторожности. Ах, господин каноник! Вспомните святого Винсента, подбиравшего на ступеньках домов несчастных, покинутых сирот, и не отталкивайте сиротку, которую вам посылает провидение. Мне кажется, что, поступив иначе, вы навлечете на себя несчастье. И свет, даже в злобе своей инстинктивно чувствующий

справедливость, пожалуй, стал бы говорить — и это походило бы на правду, — что у вас были причины удалить ребенка. Тогда как если вы оставите его у себя, никто не сможет предположить иных причин, кроме истинных: вашего милосердия и любви к ближнему.

— Ты не знаешь, что такое свет, — сказал, смягчаясь и начиная уже колебаться, каноник. — Ты маленький дикарь по своей прямоте и добродетели. И ты совсем не знаешь, что такое духовенство, а Бригитта, злая Бригитта, прекрасно знала это, когда говорила вчера, что некоторые завидуют моему положению и хотят меня лишить его. Я обязан своими доходами покровительству покойного императора Карла, который соблаговолил предоставить их мне. Императрица Мария-Терезия своим покровительством также способствовала тому, что меня объявили пенсионером раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным нам церковью, никогда не бывает безусловно обеспечено за нами. Над нами, над монархами, расположенными к нам, всегда стоит еще один властелин — церковь. Она по своему желанию объявляет нас правоспособными даже тогда, когда мы еще ни на что не способны, и она же, когда ей нужно, признает нас неправоспо-

собными, даже если мы оказали ей величайшие услуги. Глава епархии, то есть облеченный судебной властью епископ со своим советом, стоит только рассердить его и восстановить против себя, может обвинить нас, привлечь к своему суду, судить и лишить всего, ссылаясь на распутство, безнравственность или на то, что мы служим примером соблазна, — и все это с целью вырвать у нас те блага, которые даны были нам раньше, и вручить их новым любимцам. Небо свидетель, что жизнь моя так же чиста, как жизнь этого младенца, вчера родившегося! Не будь я во всех отношениях чрезвычайно осторожен с людьми, одна моя добродетель не смогла бы защитить меня от злобных наветов. Я не очень-то умею льстить прелатам: моя беспечность, а быть может, до некоторой степени и фамильная гордость всегда тому препятствовали. Есть у меня и завистники в капитуле…

— Но ведь за вас великодушная Мария-Терезия, благородная женщина, нежная мать, — возразила Консуэло. — Будь она вашим судьей, вы пришли бы и сказали ей с правдивостью, присущей только правде: «Королева, я колебался одно мгновение между боязнью дать оружие в руки врагов и потребностью проявить наибольшую

добродетель моего звания — любовь к ближнему; с одной стороны, я видел клевету, интриги, могущие погубить меня, с другой — несчастное, покинутое небом и людьми крошечное создание, которое могло найти убежище только в моем сострадательном сердце и чье будущее зависело лишь от моей заботливости. Я предпочел рискнуть своей репутацией, своим покоем и своим состоянием ради дела веры и милосердия». О! Я не сомневаюсь, что, скажи вы все это Марии-Терезии, всесильная королева дала бы вам вместо этой усадьбы дворец и сделала бы вас вместо каноника епископом. Разве не осыпала она почестями и богатством аббата Метастазио за его стихи? Чего не сделала бы она ради добродетели, если так вознаграждает талант! Нет, господин каноник, оставьте у себя в доме эту бедняжку Анджелину. Садовница ваша выкормит ее, а позже вы воспитаете ее в духе веры и добродетели. Мать вырастила бы из нее дьявола для ада, а вы создадите ангела для рая!

— Ты делаешь со мной все, что хочешь, — проговорил взволнованный и растроганный каноник, покорно принимая ребенка, которого его любимец положил ему на колени. — Ну хорошо, мы завтра же утром окрестим Анджелу, ты будешь ее

крестным. Не уйди отсюда Бригитта, мы заставили бы ее быть твоей кумой и потешились бы над ее злобой. Позвони, пусть приведут кормилицу, и да свершится все по воле Божьей. Что же касается кошелька, оставленного Кориллой (ого! пятьдесят венецианских цехинов), нам он ни к чему. Я беру на себя все теперешние расходы и все заботы о будущем ребенка, если его не потребуют обратно. Возьми эти золотые: ты вполне их заслужил за свою удивительную доброту и великодушие.

— Золото в уплату за великодушие и доброе сердце! — воскликнула Консуэло, с отвращением отталкивая кошелек. — Да еще золото Кориллы, полученное ценою лжи и, быть может, распутства! Ах, господин каноник, даже вид его мне омерзителен! Раздайте его бедным — это принесет счастье нашей бедняжке Анджеле.

Глава LXXXI

Быть может, впервые в жизни каноник плохо спал в эту ночь. Он испытывал странное беспокойство и возбуждение. Голова его была полна аккордов, мелодий и модуляций, поминутно обрывавшихся, как только он погружался в легкий сон. Просыпаясь, он каждый раз стремился, помимо воли и даже с какой-то досадой, снова поймать эти звуки, снова связать их, но это ему не удавалось. Он запомнил наиболее яркие фразы, пропетые Консуэло, они звучали в его голове, отдавались в диафрагме, и вдруг на самом красивом месте музыкальная нить обрывалась — сто раз подряд он мысленно начинал ее снова, но не мог припомнить дальше ни одной ноты. Утомленный этим воображаемым пением, он тщетно силился избавиться от него, но оно все звучало у него в ушах, и ему чудилось, будто в такт с ним колеблется отблеск от пламени камина на пурпурном атласе полога. Легкий треск горящих поленьев тоже как будто порывался повторять эти проклятые фразы, но конец их продолжал оставаться непроницаемой тайной для

утомленного мозга каноника. Ему все казалось, что, вспомни он хоть один отрывок целиком, он избавится от этих навязчивых воспоминаний. Но такова уж музыкальная память: она мучает и донимает нас, пока мы не насытим ее тем, чего она жаждет.

Никогда еще музыка не производила на каноника такого сильного впечатления, хотя всю свою жизнь он был страстным ее любителем. Никогда ни один человеческий голос не волновал его так глубоко, как голос Консуэло. Никогда облик, речь и манеры человека не пленяли его душу так, как в течение последних тридцати шести часов пленяли черты, манеры и речи Консуэло. Догадывался ли каноник о том, что мнимый Бертони женщина? И да и нет. Как объяснить вам это? Надо сказать, что мысли пятидесятилетнего каноника были так же чисты, как его нравы, а нравы — целомудренны, как у юной девушки. В этом отношении наш каноник был святой человек. Таким он был всегда, и самое удивительное то, что, будучи побочным сыном развратнейшего из всех известных истории королей, он почти без труда соблюдал обет целомудрия. Флегматичный от природы — мы называем теперь такие натуры апатичными, — он был воспитан в духе,

подобающем для будущего аббата, и так обожал благоденствие и спокойствие, так мало был приспособлен к тайной борьбе, на которую грубые страсти и тщеславие толкают духовных лиц, — короче говоря, так жаждал мира и счастья, что главным и единственным его правилом было ради безмятежного пользования бенефицием жертвовать всем: любовью, дружбой, честолюбием, энтузиазмом, а если понадобится, то и добродетелью. С ранних лет он приучил себя подавлять все чувства без усилий и почти без сожалений. Несмотря на столь ужасную теорию эгоизма, он оставался сердечным, гуманным, ласковым и восторженным во многих отношениях, так как от природы был добр, а подавлять свои лучшие инстинкты ему почти никогда не приходилось. Независимое положение всегда позволяло ему иметь друзей, снисходительно относиться к людям, заниматься искусством. Любовь была ему запрещена, и он убил в себе любовь, как самого опасного врага покоя и благополучия. Но так как любовь по природе своей божественна и, стало быть, бессмертна, то когда нам кажется, что мы ее убили, на самом деле мы только заживо похоронили ее в своем сердце. Она может дремать там в тиши долгие годы до

того дня, когда ей заблагорассудится проснуться. Консуэло появилась в осеннюю пору жизни каноника, и его долгое душевное безразличие сменилось томностью, нежной, глубокой и более стойкой, чем можно было предполагать. Апатичное сердце каноника не умело биться и трепетать ради любимого существа, но оно могло таять, как лед на солнце, быть преданным, покорным, забыть себя, познать то терпеливое самоотречение, какое мы с удивлением встречаем порой у эгоиста, когда любовь берет его крепость приступом.

Итак, наш бедный каноник любил. В пятьдесят лет он любил впервые и любил ту, которая никогда не могла полюбить его. Он слишком хорошо это знал, и потому хотел убедить себя, против всякой очевидности, что его чувство не было любовью, ибо внушено оно было не женщиной.

Тут он полностью заблуждался и по наивности своего сердца принимал Консуэло за юношу. В бытность свою каноником в венском соборе он в детской хоровой капелле перевидал много красавцев мальчиков. Он слышал их звонкие, серебристые голоса, почти женские по своей чистоте и гибкости. Голос Бертони был в тысячу раз более чистым и гибким. «Но ведь это голос итальянский, — думал каноник, — и к тому же

Бертони исключительная натура, он один из тех рано развивающихся детей, которые по своим способностям, таланту и трудолюбию — настоящее чудо». И вот, страшно гордясь и восторгаясь тем, что на большой дороге нашел такое сокровище, каноник уже мечтал, как он введет юношу в свет, создаст ему имя, поможет добиться успеха и славы. Он был охвачен порывом отеческой нежности и благожелательной гордости. И это отнюдь не смущало его совесть, ибо ему и в голову не приходила мысль о греховной, извращенной любви, вроде той, какую приписывали Гравине по отношению к Метастазио. Каноник понятия не имел о такой любви, никогда не думал о ней, даже не верил в ее существование; его чистому и здравому уму все это казалось омерзительной, чудовищной выдумкой злоречивых людей.

Никто не поверил бы, что человек с таким насмешливым умом, большой шутник, столь проницательный и даже тонкий во всем, что касается человеческих отношений, мог быть до того по-детски чист душой. А между тем целый мир идей, влечений и чувств был ему совершенно незнаком. Он заснул с радостью в сердце, строя тысячи планов насчет своего юного любимца, мечтая отныне проводить жизнь среди святых

наслаждений музыкой и умиляясь при мысли о том, как он будет развивать, немного умеряя их, добродетели, сверкающие в этой благородной, пылкой душе. Но, поминутно просыпаясь в каком-то странном волнении, преследуемый образом чудесного юноши, то беспокоясь и боясь, как бы тот не пожелал ускользнуть от его уже немного ревнивой нежности, то с нетерпением ожидая утра, чтобы серьезно повторить предложения, обещания и мольбы, которые мальчик, казалось, выслушивал смеясь, каноник, удивленный тем, что с ним происходит, строил тысячу предположений, кроме единственно верного.

«Видно, самой природой мне предназначено было иметь много детей и страстно любить их, — говорил он себе в простоте душевной, — раз одна мысль об усыновлении ребенка так волнует меня. Впервые в жизни в сердце моем пробудились подобные чувства, и в течение дня я прихожу в восторг от одного, чувствую симпатию к другому и жалость к третьему. Бертони! Беппо! Анджелина! Вот я и стал внезапно отцом семейства, а ведь я всегда жалел родителей, вынужденных заботиться о детях, и благодарил Бога за то, что мой сан обрекает меня на покой одиночества. Уж не чудесная ли музыка, которой я сегодня

так долго наслаждался, привела меня в неиспытанное до сих пор возбуждение? Нет, скорее это великолепный кофе по-венециански, которого я из чревоугодия выпил две чашки вместо одной… Все это так вскружило мне голову, что в течение целого дня я почти не вспоминал о своей волкамерии, засохшей по вине Петера!

Il mio cuore si divide![34]

Ну вот, опять эта проклятая фраза преследует меня! Черт бы побрал мою память!.. Что сделать, чтобы заснуть?.. Четыре часа утра, неслыханное дело!.. Прямо заболеть можно!..»

Блестящая мысль пришла на помощь добродушному канонику. Он встал, взял принадлежности для письма и решил поработать над своей знаменитой книгой, так давно задуманной и все еще не начатой. Для этого ему понадобился словарь канонического права. Однако не просмотрел он и двух страниц, как мысли его стали путаться, глаза смыкаться, книга тихонько сползла с перины на ковер, свеча погасла от блаженного сонного вздоха, вырвавшегося из могучей груди благочестивого отца, и он заснул, наконец, сном праведника и проспал до десяти часов утра. Но,

---

[34] Примечания: 34
Сердце мое разрывается! (*итал.*)

увы! Каким горьким было его пробуждение, когда еще онемевшей от сна рукой он небрежно развернул следующую записку, положенную Андреасом на ночной столик, рядом с чашкой шоколада.

Мы уходим, достопочтенный господин каноник, – писал Бертони, – *непреклонный долг призывает нас в Вену, а мы боялись, что не сможем устоять против ваших великодушных настояний. Мы бежим, но не сочтите нас неблагодарными – мы никогда не забудем ни вашего гостеприимства, ни вашего великого милосердия к брошенному ребенку. Мы скоро вернемся и отблагодарим вас за все это. Не пройдет и недели, как вы увидите нас снова. Соблаговолите отложить до того времени крестины Анджелы и верьте в почтительную и нежную преданность смиренных детей, удостоенных вашего покровительства.*

Бертони, Беппо.

Каноник побледнел, вздохнул и позвонил.

— Они ушли? — спросил он Андреаса.

— До рассвета, ваше преподобие.

— А что они сказали, уходя? Позавтракали они

по крайней мере? Сказали, в какой именно день вернутся?

— Никто не видел их, когда они уходили, ваше преподобие. Ушли, как пришли — через ограду. Проснувшись, я нашел их комнаты пустыми. Записка, которую вы держите в руках, лежала на столе, а все двери и калитки, как я запер их вчера вечером, так запертыми и остались. Но ни единой булавки они с собой не унесли, ни до единого плода не дотронулись, бедняжки…

— Еще бы! — воскликнул каноник, и глаза его наполнились слезами.

Чтобы разогнать его грусть, Андреас предложил ему составить меню обеда.

— Подай мне что хочешь, Андреас, — ответил каноник жалобным тоном и со стоном снова упал на подушку.

Вечером того же дня Консуэло и Йозеф под покровом темноты вошли в Вену. Честный парикмахер Келлер, которого они посвятили в тайну, принял их с распростертыми объятиями и приютил у себя благородную путешественницу, предоставив ей все, что мог. Консуэло была очень мила с невестой Йозефа, огорчаясь в глубине души тем, что девушка оказалась и неприветливой и некрасивой. На следующее утро Келлер

причесал растрепавшиеся кудри Консуэло, а его дочь помогла ей переодеться в женское платье и проводила до дома, где жил Порпора.

Глава LXXXII

Радость Консуэло, когда она обняла, наконец, своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, скрыть которое ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако этот год, полный неуверенности, тревог и огорчений, оставил на озабоченном челе маэстро глубокие следы страдания и дряхлости. У него появилась болезненная полнота, возникающая у слабых людей от бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица выдавала пагубные попытки найти в вине либо забвение горестей, либо возврат прежнего вдохновения, остывшего от старости и разочарований. Злосчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и удачах, а его встретила холодная почтительность. Он увидел, что его более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и благосклонностью публики. Метастазио писал драмы и оратории для Кальдары, для Предиери, для Фукса, для Рейтера и для Гассе. Но Метастазио, придворный

поэт (poeta cesareo), модный писатель, новый Альбани, любимец муз и дам, очаровательный, изысканный, сладкозвучный, мелодичный, божественный Метастазио, словом, тот из поваров драматургии, чьи блюда считались самыми вкусными и легче всего переваривались, ничего не написал для Порпоры и даже ничего не пообещал ему. А между тем у маэстро, пожалуй, могли еще появиться новые идеи, у него, во всяком случае, были глубокие познания, замечательное умение сочетать голоса, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий размах, смелые, полнозвучные речитативы, величавая красота которых оставалась непревзойденной. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался для себя либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него отталкивал.

Он внес раздражение даже в ласковую, отеческую встречу с Консуэло.

— А почему ты так поспешила покинуть Чехию? — спросил он, взволнованно расцеловав ее. — Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя

места, дочь моя! Твоего старого учителя публика презирает, и если ты хочешь пользоваться успехом, то последуй примеру других и притворись, будто вовсе не знаешь его или гнушаешься им, подобно всем тем, кто обязан ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.

— Как? Вы и во мне сомневаетесь? — воскликнула Консуэло, и глаза ее наполнились слезами. — Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрительность и пренебрежение, зароненные в вашу душу другими? О дорогой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Увидите это! Вот все, что я могу вам сказать.

Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, затем вернулся к Консуэло и, видя, что она плачет, но не зная, как и что сказать ей поласковей и понежней, взял из ее рук носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза, приговаривая:

— Ну полно! Полно!

Старик был бледен, и Консуэло заметила, как он с трудом сдержал в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он поборол волнение и, придвинув

стул, сел подле нее.

— Ну, — начал он, — расскажи мне, как ты жила в Чехии, и объясни, почему так внезапно оттуда уехала. Говори же! — прибавил он несколько раздраженным тоном. — У тебя, наверное, тьма новостей? Скажи, ты скучала там? Или Рудольштадты плохо обошлись с тобой? Да, да, они тоже могли оскорбить тебя и измучить. Богу известно, что это единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но Богу известно и то, что все люди способны на всяческое зло.

— Не говорите так, друг мой, — остановила его Консуэло. — Рудольштадты — ангелы, и произносить их имена я должна бы не иначе, как преклонив колена, но я вынуждена была покинуть их, вынуждена была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними.

— Что это значит? Ты в чем-либо провинилась перед ними? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим благородным людям?

— О нет! Нет! Слава Богу, маэстро, я ни в чем не виновата, и вам не придется за меня краснеть.

— Так в чем же дело?

Консуэло знала, что нужно быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желает познакомить-

ся с каким-нибудь фактом или мыслью, и потому в двух словах сообщила ему, что граф Альберт хотел жениться на ней, а она не могла ничего обещать ему, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом.

Злобная, ироническая гримаса исказила лицо Порпоры.

— Граф Альберт! — воскликнул он. — Наследник Рудольштадтов, потомок чешских королей, владелец замка Исполинов! И он хотел сделать тебя своей женой, тебя, цыганочку? Тебя, дурнушку из нашей школы, дочь неизвестного отца, комедиантку без денег и без положения? Тебя, которая босиком просила милостыню на перекрестках Венеции?

— Меня, вашу ученицу! Меня, вашу приемную дочь! Да, меня, Порпорину! — ответила Консуэло со спокойной и кроткой гордостью.

— Подумаешь, какая знаменитость, какая блестящая партия! Да, — прибавил с горечью маэстро, — в своем перечислении я забыл следующие твои заслуги: последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже забытого людьми! Есть чем хвастаться и кружить голову сыновьям знатнейших семейств!

— По-видимому, учитель, — сказала Консуэло с грустной и нежной улыбкой, — мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф желает на мне жениться, и я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему.

— Консуэло, — ответил Порпора холодным и строгим тоном, — я не люблю таких глупостей. Ты должна прекрасно знать, что я ненавижу романы для пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что ты способна вбить себе в голову подобный вздор, и мне просто стыдно за тебя. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся тобой и, снедаемый деревенской скукой, очарованный твоим пением, слегка приударил за тобой, но как хватило у тебя дерзости принять это всерьез, предположить подобную нелепость и вообразить себя принцессой из романа. Ты возбуждаешь во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса Амалия осведомлены о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю: я за вас краснею!

Консуэло знала, что не следует ни противоречить Порпоре, когда он примется разглагольствовать, ни прерывать его во время наставлений.

Она дала ему излить свое негодование, а когда он высказал ей все самое обидное и самое несправедливое, что только мог придумать, она рассказала ему правдиво и с щепетильной точностью о том, что произошло в замке Исполинов между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амалией, канониссой и Андзолетто. Порпора, который, давая волю своему раздражению и возмущению, умел также слушать и понимать, серьезно отнесся к ее рассказу. Когда Консуэло закончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы выяснить некоторые подробности и лучше разобраться в интимной жизни и чувствах всего семейства.

— Если так, — проговорил он, наконец, — ты хорошо поступила, Консуэло. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как я и ожидал от тебя. Это хорошо. Небо хранило тебя, и оно вознаградит тебя, избавив раз и навсегда от этого негодяя Андзолетто. Что касается молодого графа, то я запрещаю тебе и думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться на сцену, будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую спесь аристократов. Если ты на этот счет не строишь себе иллюзий, что было бы и ребячливо и глупо,

то я не думаю, чтобы ты хотя бы минуту колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Да ты и не слушаешь меня, клянусь Бахусом!

— Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала.

— Как это ничего не понял? По-твоему, я уже ничего больше не понимаю?

И узкие черные глаза маэстро снова злобно засверкали. Консуэло, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали.

— Да, вы меня не поняли, — возразила она уверенным тоном, — вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что зависть играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными заслугами человека. Вы сами воспитали меня в таких правилах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть нечто, помимо денег и тщеславия, и это нечто настолько драгоценно, что может возместить и

упоение славой и радости артистической жизни. Это любовь такого человека, как Альберт, это семейное счастье, семейные радости. Публика — властелин тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж — друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.

— Что за глупые речи! — воскликнул маэстро. — С ума ты сошла, что ли? Да ты просто ударилась в немецкую сентиментальность! Бог мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня! Вы сами только сейчас говорили, что ваш Альберт, как вы его позволяете себе называть, внушает вам больше страха, чем любви, и вы вся холодеете от ужаса подле него; кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы избавились от его преследований, когда вновь обрели свободу — единственное благо артиста, единственное условие его развития, вы являетесь ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец? Ну и прекрасно! Поступайте как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и

мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять время с особой, которая не знает сама, что говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Вот и все. Слуга покорный.

Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейшие модуляции. Консуэло, отчаявшись на этот раз поговорить с ним серьезно, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение духа. Ей это удалось, когда она начала петь народные песни, выученные в Чехии. Оригинальность мелодий привела в восторг старого маэстро. Потом она тихонько уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, не имея подле себя способных учеников и с недоверием относясь к каждому новому лицу, давно не испытывал радости слышать свои сочинения, исполняемые прекрасным голосом и понятые прекрасной душой! Он был до того растроган, когда услышал, как его талантливая и всегда покорная Порпорина исполняет созданные им произведения именно так, как он их задумал, что на глазах его показались слезы радости, и он,

прижимая Консуэло к груди, воскликнул:

— О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще раз, дочка, повтори мне эту тему. Впервые за много месяцев ты даешь мне минуты счастья!

Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Квартира Порпоры была очень плоха. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в хорошее расположение духа, решила заговорить с ним об Йозефе Гайдне. Единственное, что она скрыла от учителя, — это свое длинное пешее путешествие с молодым человеком и странные приключения, породившие между ними нежную и чистую дружбу. Она знала, что Порпора, по своему обыкновению, отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала, что, подъезжая к Вене, разговорилась в карете с одним бедным юношей, и он с таким почтением и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим

маэстро.

— А кто этот молодой человек? — спросил Порпора. — К чему он готовит себя? Уж конечно, он хочет стать артистом, раз он бедняк? Благодарю за таких клиентов! Больше я не намерен учить никого, кроме сынков богатых родителей. Эти по крайней мере платят, и хотя ничему не научаются, зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. Но артисты! Все они неблагодарные, все подлецы, все предатели и лгуны... И не заикайся мне о них. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно!

Консуэло пробовала было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от этого и, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала пальцем сначала один, а потом другой знак. Йозеф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял по первому знаку, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в ученики к Порпоре; второй знак предупреждал, что ему не следовало появляться раньше чем через полчаса.

Желая, чтобы Порпора забыл ее слова, Консуэло

заговорила о другом.

Когда прошли полчаса, Йозеф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Йозефа, вернулась доложить маэстро, что к нему желает наняться слуга.

— А ну, покажись! — крикнул Порпора дрожащему юноше. — Подойди сюда. Кто это тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно.

— Если вы не нуждаетесь в слуге, — ответил Йозеф, совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться молодцом, — это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине.

— Можно подумать, что я один могу дать тебе заработок! — возразил Порпора. — Взгляни на мою квартиру и мебель — разве, по-твоему, мне нужен лакей для уборки?

— Да, конечно, сударь, он очень был бы вам нужен, — ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, — ведь здесь ужасный беспорядок.

С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора чуть не расхохотался. Йозеф все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, запла-

тил бы ему палочными ударами.

— Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли! — проговорил Порпора, глядя на его старания. — Говорят тебе, дурень, у меня нет средств платить слуге. Ну что? Будешь усердствовать и дальше?

— За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали ваше старое платье да ежедневно по куску хлеба — больше мне ничего не нужно. Я так беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню.

— Но почему бы тебе не поступить в богатый дом?

— Немыслимо, сударь: все находят, что я слишком мал ростом и слишком некрасив. К тому же я ничего не смыслю в музыке, а теперь все вельможи хотят, чтобы их лакеи умели хоть немного играть на скрипке или флейте — для домашнего обихода. Я же никогда не мог вбить себе в голову ни единой мелодии.

— Ах, вот как! Значит ты ничего не смыслишь в музыке? Ну, так мне именно такой человек и нужен. Если ты удовольствуешься пищей и моим старым платьем, я тебя беру. Вот и дочери моей тоже понадобится старательный малый для поручений. Посмотрим, на что ты годен. Умеешь ты

чистить одежду и башмаки, мести пол, встречать и провожать посетителей?

— Да, сударь, все это я умею.

— Ну так начинай. Приготовь мне вот тот костюм, что лежит на кровати, так как я через час отправляюсь к посланнику. Ты пойдешь со мной, Консуэло. Я хочу представить тебя синьору Корнеру — ты его знаешь. Он только что вернулся с лечебных вод вместе со своей синьорой. У меня здесь есть еще одна маленькая комнатка, я тебе ее уступаю; пойди туда, приоденься немного, пока я буду собираться.

Консуэло повиновалась, прошла через переднюю в предоставленную ей темную комнатку и облеклась в свое вечное черное платье с неизменной белой косынкой, совершившее путешествие на плечах Йозефа.

«Не очень-то роскошный туалет для посещения посольства, — подумала она, — но ведь в нем я дебютировала в Венеции и это не помешало мне хорошо петь и иметь успех».

Переодевшись, она вышла в переднюю, где нашла Гайдна, с важностью завивавшего парик Порпоры, насаженный на палку. Взглянув друг на друга, оба чуть не расхохотались.

— Как это ты справляешься с таким велико-

лепным париком? — спросила она тихо, чтобы не услышал Порпора, одевавшийся в соседней комнате.

— Да знаешь, — ответил Йозеф, — это выходит само собой. Мне часто приходилось видеть, как это делает Келлер. А кроме того, сегодня он дал мне урок и обещал поучить еще, чтобы я и в завивке и в гладких прическах достиг совершенства.

— Мужайся, бедный мой мальчик, — сказала Консуэло, пожимая ему руку, — учитель в конце концов смягчится. Пути искусства полны терний, но на них удается срывать и прекрасные цветы.

— Спасибо за метафору, дорогая сестрица Консуэло. Будь уверена, я не паду духом, и, если ты, проходя мимо меня по лестнице или в кухне, будешь бросать мне время от времени дружеское, подбадривающее словечко, я все вынесу с радостью.

— А я помогу тебе выполнять твои обязанности, — сказала, улыбаясь, Консуэло. — Что же, ты думаешь, я не начинала, как ты? Девочкой я часто прислуживала Порпоре. Не раз я исполняла его поручения, взбивала для него шоколад, гладила брыжи. Для начала я покажу тебе, как надо чистить платье, — я вижу, ты в этом ровно ни-

чего не смыслишь: ломаешь пуговицы и мнешь отвороты.

Тут она взяла из его рук щетку и, действуя ею проворно и ловко, показала, как надо чистить. Но, услышав, что идет Порпора, она быстро передала Йозефу щетку и в присутствии хозяина важно проговорила:

— Ну, мальчик, поторапливайся!

Глава LXXXIII

Порпора повел Консуэло не в венецианское посольство, а к посланнику, вернее — в дом его возлюбленной. Вильгельмина была красивая женщина, увлекавшаяся музыкой и находившая больше всего удовольствия и удовлетворения своему тщеславию в том, чтобы собирать у себя интимный кружок артистов и ценителей искусства, не компрометируя при этом чрезмерной пышностью дипломатическое достоинство синьора Корнера. Появление Консуэло в первую минуту вызвало удивление, даже сомнение, но оно тотчас сменилось радостными возгласами и дружескими приветствиями, как только присутствующие убедились, что это действительно Zingarella, прошлогоднее чудо из театра Сан-Самуэле. Вильгельмина, знавшая Консуэло еще ребенком, когда та приходила к ней с Порпорой, за которым, неся его ноты, следовала по пятам, словно маленькая собачка, впоследствии очень охладела к юной певице, видя, каким восторгом и поклонением окружают ее в аристократических гостиных и как забрасывают ее букетами

на сцене. И не потому, что наша красавица была злой от природы или снисходила до зависти к девушке, так долго слывшей уродом. Но Вильгельмина, как все выскочки, любила разыгрывать из себя знатную даму. Она пела у Порпоры самые модные арии, ибо учитель, считая ее лишь способной любительницей, разрешал ей исполнять все, что угодно, в то время как бедная Консуэло корпела над пресловутыми страничками упражнений, составленных по методу знаменитого маэстро, на которых он пять-шесть лет держал учеников, подающих серьезные надежды. Итак, Вильгельмина не представляла себе, что можно питать к Консуэло иное чувство, кроме снисходительного участия. Оттого, что когда-то она угостила девочку конфетами или дала ей посмотреть книжку с картинками, чтобы та не скучала в передней, она считала себя одной из самых деятельных покровительниц юного таланта и находила весьма странным и даже неприличным, что Консуэло, в один миг поднявшаяся на вершину славы, не выказывала себя по отношению к ней смиренной, заискивающей и преисполненной благодарности. Она рассчитывала, что Консуэло мило и безвозмездно будет служить украшением ее маленьких вечеров для

избранных, распевая для нее и вместе с ней так часто и так долго, как ей заблагорассудится, и хотела сама представить девушку своим друзьям, намекая, что это она помогла ей при первых шагах и чуть ли не научила по-настоящему понимать музыку. Но все сложилось иначе: Порпора, для которого было гораздо важнее сразу создать своей ученице Консуэло достойное положение в артистическом мире, нежели угождать своей покровительнице Вильгельмине, потихоньку посмеивался себе в бороду над притязаниями этой особы. Он запретил Консуэло принимать от фиктивной госпожи посланницы приглашения, сперва слишком бесцеремонные, затем слишком повелительные. Маэстро сумел найти тысячу причин, чтобы не водить ее к Вильгельмине, и та, в величайшей обиде на юную певицу, принялась всюду твердить, что Консуэло недостаточно красива, чтобы когда-либо добиться бесспорного успеха, что голос ее, приятный в гостиной, недостаточно звучен для сцены и как оперная певица она не оправдала надежд, возлагавшихся на нее с детства, а также множество других колкостей в том же роде, известных во все времена и у всех народов.

Но вскоре восторженные крики публики заглу-

шили все эти нашептывания, и Вильгельмина, желавшая прослыть тонкой ценительницей музыки, просвещенной ученицей Порпоры и великодушной женщиной, не посмела продолжать тайную борьбу против самой блестящей ученицы маэстро и кумира публики. Она присоединила свой голос к голосу настоящих любителей, восторгавшихся пением Консуэло, и если порой и порицала ее за гордость и тщеславие, проявлявшиеся в нежелании предоставить свой голос в распоряжение «госпожи посланницы», то «госпожа посланница» позволяла себе шептать об этом на ухо лишь очень немногим.

Теперь, когда она увидела Консуэло в скромном платьице прежних дней и Порпора официально представил ей свою ученицу, чего раньше не хотел сделать, тщеславная и пустая Вильгельмина все простила и стала играть роль великодушной покровительницы. Целуя цыганочку в обе щеки, она подумала: «Должно быть, ее постигла неудача, она совершила какое-нибудь безумство или, быть может, потеряла голос — уж очень давно о ней ничего не было слышно. Теперь она в нашей власти. Вот подходящий момент пожалеть ее, оказать поддержку, проверить ее талант или извлечь из него пользу».

У Консуэло был такой кроткий и миролюбивый вид, что Вильгельмина, не находя в ней больше той порожденной успехом гордости, какую приписывала ей в Венеции, почувствовала себя с ней легко и рассыпалась в любезностях. Несколько итальянцев, друзей посланника, находившихся в гостиной, присоединились к хозяйке, забрасывая Консуэло комплиментами и вопросами, которые она сумела ловко и шутливо обойти. Но вдруг ее лицо стало серьезным, и на нем отразилось легкое волнение, ибо на другом конце гостиной, среди группы немцев, с интересом рассматривавших ее, она увидела человека, уже однажды смутившего ее в другом месте. То был незнакомец, друг каноника, который так упорно разглядывал и расспрашивал ее три дня тому назад у кюре в деревне, где она вместе с Йозефом Гайдном пела мессу. Незнакомец и теперь всматривался в нее с необыкновенным любопытством, и легко можно было догадаться, что он осведомляется о ней у своих соседей. Озабоченность Консуэло не ускользнула от внимания Вильгельмины.

— Вы смотрите на господина Гольцбауэра, — сказала она. — Вы его знаете?

— Я его не знаю и не подозревала, что смотрю на него, — ответила Консуэло.

— Он стоит справа от стола, — сказала посланница. — Теперь он директор придворного театра, а жена его — примадонна того же театра. Он злоупотребляет своим положением, угощая двор и венценосцев своими операми, которые, между нами говоря, никуда не годятся, — прибавила Вильгельмина вполголоса. — Хотите, я вас с ним познакомлю? Очень, очень любезный господин.

— Тысячу раз благодарю вас, синьора, — ответила Консуэло, — но я слишком мало значу здесь, чтоб быть представленной такой особе, и заранее уверена, что он не пригласит меня в свой театр.

— Почему же, дорогая моя? Разве ваш чудесный голос, не имеющий себе равного в Италии, пострадал от пребывания в Чехии? Говорят, вы все это время жили в Чехии, самой холодной и самой печальной стране на свете. Это очень вредно для легких, и я не удивлюсь, если вы на себе испытали влияние тамошнего климата. Но это не беда, голос к вам вернется на нашем дивном венецианском солнце.

Консуэло, видя, что Вильгельмина слишком уж спешит заявить о том, что она потеряла голос, не стала, однако, опровергать ее, тем более что посланница, задав вопрос, сама же на него ответила. Консуэло смутило не это сострадательное предпо-

ложение, а то, что она могла вызвать неприязнь Гольцбауэра за чересчур резкую и чересчур откровенную оценку его произведений, вырвавшуюся у нее за завтраком у кюре. Придворный маэстро не преминет, конечно, отомстить ей, рассказав, в каком виде и в чьем обществе он ее встретил, и Консуэло боялась, как бы этот рассказ, дойдя до ушей Порпоры, не вооружил учителя против нее, а главное — против бедного Йозефа.

Но все произошло иначе: Гольцбауэр не заикнулся о приключении по причине, о которой будет сказано впоследствии, и не только не проявил какой-либо враждебности к Консуэло, но подошел к ней и посмотрел на нее лукавым и игривым взглядом, в котором сквозило одно лишь доброжелательство. Консуэло сделала вид, будто не понимает этого взгляда. Она боялась, как бы он не подумал, что она просит его сохранить ее тайну, и была настолько горда, что спокойно шла навстречу всем последствиям их знакомства, каковы бы они ни были.

Ее отвлекло от этого происшествия лицо старика с суровым и высокомерным выражением, который, однако, усиленно стремился завязать разговор с Порпорой; но тот, верный своему дурному характеру, едва отвечал, ежеминутно

порываясь избавиться от собеседника под каким-нибудь предлогом.

— Это прославленный маэстро Буонончини, — пояснила Вильгельмина, которая была не прочь перечислить Консуэло всех знаменитостей, украшавших ее гостиную. — Он только что вернулся из Парижа, где в присутствии короля исполнял партию виолончели в мотете собственного сочинения. Как вам известно, он долго гремел в Лондоне и после упорной борьбы с Генделем, борьбы одного театра против другого, в конце концов одержал над ним победу на оперной сцене.

— Не говорите так, синьора, — с живостью воскликнул Порпора, который только что отделался от Буонончини и, подойдя к двум женщинам, слышал последние слова Вильгельмины. — Не произносите подобного богохульства! Никто не победил Генделя, никто не победит его! Я знаю моего Генделя, а вы еще не знаете его. Он первый среди нас, и я признаюсь в этом, хотя в дни безумной юности тоже имел дерзость бороться с ним. Я потерпел поражение, но так и должно было быть, это было справедливо. Буонончини, более счастливый, чем я, но не более скромный и не более искусный, восторжествовал в глазах дураков и

благодаря ушам варваров. Не верьте же тем, кто говорит об этом триумфе. Они навеки сделают моего собрата Буонончини предметом насмешек, и Англии когда-нибудь придется краснеть за то, что она предпочла его оперы операм такого гения, такого гиганта, как Гендель. Мода, fashion, как там говорят, дурной вкус, удачное местоположение театра, связи, интриги, а больше всего талантливые, чудесные певцы, исполнявшие его произведения, — вот что создало ему видимость удачи. Зато в духовной музыке Гендель одержал над ним колоссальную победу… Что же касается лично господина Буонончини, его я не ставлю высоко. Не люблю я пройдох и открыто говорю, что успех своей оперы он стянул на таком же законном основании, как успех своей кантаты.

Порпора намекал на скандальный плагиат, взволновавший весь музыкальный мир. Буонончини, будучи в Англии, присвоил себе славу произведения, написанного за тридцать лет до того композитором Лотти, что последнему и удалось доказать самым блестящим образом после долгих споров с наглым маэстро. Вильгельмина пробовала было защищать Буонончини, но ее заступничество только обозлило Порпору.

— Я вам говорю и утверждаю, — воскликнул

он, не думая о том, что его может услышать сам Буонончини, — что Гендель даже в оперных своих произведениях выше всех композиторов прошедшего и настоящего. Сейчас докажу вам это. Консуэло, иди к клавесину и спой нам арию, которую я тебе укажу.

— Я умираю от желания услышать дивную Порпорину, — сказала посланница, — но умоляю вас, пусть она не исполняет в присутствии Буонончини и господина Гольцбауэра произведений Генделя — им не польстит такой выбор…

— Еще бы, — прервал ее Порпора, — это их живое осуждение, их смертный приговор!

— В таком случае, маэстро, — продолжала она, — предложите ей спеть что-нибудь из ваших произведений.

— Да, это, разумеется, не возбудит ни в ком зависти! Но я хочу, чтоб она спела именно Генделя. Я этого хочу!

— Учитель, не заставляйте меня сегодня петь, — сказала Консуэло. — Я только что с дороги…

— Конечно, это значило бы злоупотребить ее любезностью, — заявила Вильгельмина, — и я отказываюсь от своей просьбы. В присутствии находящихся здесь ценителей, в особенности господина Гольцбауэра, директора императорского

театра, лучше не рисковать репутацией вашей ученицы. Будьте осторожны!

— Рисковать! Да что вы говорите! — резко оборвал ее Порпора, пожимая плечами. — Я слышал ее сегодня утром и знаю, рискует ли она своей репутацией, выступая перед вашими немцами.

Этот спор, к счастью, был прерван появлением нового гостя. Все поспешили приветствовать его, и Консуэло, еще в детстве видевшая и слышавшая в Венеции этого тщедушного, спесивого и хвастливого человека с женственным лицом, хотя и нашла его постаревшим, увядшим, подурневшим, смешно завитым и одетым с безвкусием престарелого селадона, однако тотчас узнала — так глубоко запечатлелся он у нее в памяти — несравненный, неподражаемый сопранист Майорано, известный под именем Кафарелли, или, скорее, Кафариэлло, как его звали везде, за исключением Франции.

Не было на свете хлыща более дерзкого, чем этот милейший Кафариэлло. Женщины избаловали его своим поклонением, а овации публики вскружили ему голову. В юности он был так красив, или, вернее, так миловиден, что дебютировал в Италии в женских ролях. Теперь, когда ему было под пятьдесят (а на вид он казался гораздо

старше, как большинство сопранистов), трудно было без смеха представить его себе Дидоной или Галатеей. Как бы для того, чтобы возместить странности своего облика, он корчил из себя смельчака и по всякому поводу возвышал голос, тонкий и нежный, природу которого никак не мог изменить. Однако его жеманство и безграничное тщеславие имели и хорошую сторону. Он слишком высоко ставил свой талант, чтобы перед кем-либо рассыпаться в любезностях, и слишком ценил свое достоинство артиста, чтобы перед кем-либо раболепствовать. Безрассудно смело держал он себя со знатнейшими особами, даже с монархами, и потому его не любили пошлые льстецы, видевшие в его дерзости укор себе. Настоящие друзья искусства прощали ему все как гениальному виртуозу, и хотя упрекали его как человека во многих низостях, однако вынуждены были признать, что как артист он поступал порой и мужественно и великодушно.

Не по злому умыслу и не намеренно выказывал он пренебрежение и известного рода неблагодарность по отношению к Порпоре. Он хорошо помнил, что в течение восьми лет учился у него и был обязан ему всеми своими познаниями, но еще лучше помнил он тот день, когда маэстро ска-

зал ему: «Теперь мне нечему больше учить тебя! Va, figlio mio, tu sei il primo musico del mondo»[35]. И с этого дня Кафариэлло, который в самом деле был первым (после Фаринелли) певцом мира, перестал интересоваться всем, что не было им самим. «Раз я первый, — сказал он себе, — значит, я единственный. Мир создан для меня». Небо даровало таланты поэтам и композиторам только для того, чтоб пел Кафариэлло. Порпора — первый учитель пения в мире только потому, что ему было суждено создать Кафариэлло. Теперь дело Порпоры кончено, его миссия завершена, и для славы, для счастья, для бессмертия Порпоры достаточно, чтобы жил и пел Кафариэлло. Кафариэлло жил и пел, он был богат и знаменит, а Порпора был беден и заброшен, но Кафариэлло этим нисколько не тревожился, он говорил себе, что достаточно собрал золота и славы, и это вполне вознаграждает его учителя, давшего миру такое чудо.

---

[35] Примечания: 35

Иди, сын мой, ты первый музыкант мира (*итал.*).

Глава LXXXIV

Кафариэлло, входя в гостиную, сделал едва заметный общий поклон, но нежно и учтиво поцеловал руку Вильгельмины, после чего покровительственно-любезно поговорил со своим директором Гольцбауэром и с небрежной фамильярностью потряс руку своему учителю Порпоре. Колеблясь между негодованием, вызванным манерами его бывшего ученика, и необходимостью считаться с ним (ибо потребуй Кафариэлло, чтобы поставили оперу его учителя и возьми на себя главную роль, он мог бы поправить дела маэстро), Порпора принялся расточать ему похвалы и расспрашивать о его недавних победах во Франции, так тонко иронизируя при этом, что самодовольный певец не мог не поддаться обману.

— Франция! — воскликнул Кафариэлло. — Не говорите мне о Франции! Это страна мелкой музыки, мелких музыкантов, мелких любителей музыки и мелких вельмож. Представьте себе, что это нахал Людовик Пятнадцатый, прослушав меня в нескольких концертах духовной музы-

ки, вдруг передает мне через одного из своих знатнейших приближенных… догадайтесь что… какую-то скверную табакерку!

— Но, конечно, золотую и осыпанную бриллиантами? — заметил Порпора, нарочно вынимая свою табакерку из финикового дерева.

— Ну конечно, — ответил певец. — Но подумайте, какая дерзость: без портрета! Преподнести мне простую табакерку, словно я нуждаюсь в коробке для нюхательного табака. Фи! Истинно королевское мещанство! Я был просто возмущен!

— И надеюсь, — сказал Порпора, набивая табаком свой хитрый нос, — ты хорошенько проучил этого мелкого короля?

— Не преминул, черт побери! «Сударь, — сказал я важному придворному и открыл перед его ослепленным взором ящик, — вот тридцать табакерок. Самая плохая из них стоит в тридцать раз дороже, чем та, которую вы мне подносите, и к тому же, как видите, другие монархи не погнушались почтить меня своими миниатюрами. Скажите королю, нашему повелителю, что у Кафариэлло, слава Богу, нет недостатка в табакерках».

— Клянусь Бахусом! Вот, наверное, пристыжен был король! — воскликнул Порпора.

— Подождите, это еще не все! Вельможа имел дерзость заявить мне, что, когда речь идет об иностранцах, его величество дарует свой портрет только посланникам.

— Какой наглец! Что ж ты ему на это ответил?

— «Послушайте, сударь, — сказал я, — знайте, что из посланников всего мира не сделаешь одного Кафариэлло…»

— Прекрасно! Чудесный ответ! О! Как я узнаю моего Кафариэлло! И ты так и не принял от него табакерки?

— Нет, черт возьми! — ответил Кафариэлло, рассеянно вынимая из кармана золотую табакерку, усыпанную бриллиантами.

— Не она ли это ненароком? — спросил Порпора, с равнодушным видом глядя на табакерку. — А скажи, видел ли ты там нашу юную саксонскую принцессу? Ту, которой я впервые поставил пальчики на клавесин в Дрездене, еще в те времена, когда ее мать, польская королева, оказывала мне честь своим покровительством. Это была милая маленькая принцесса.

— Мария-Жозефина?

— Да, дофина Франции.

— Видел ли я ее? Даже в интимном кругу. Это добрейшая особа. Ах! Какая прекрасная женщи-

на! Мы с ней наилучшие друзья в мире, честное слово! Вот что она мне подарила. — И он показал на пальце кольцо с огромным бриллиантом.

— Говорят, она смеялась от души над тем, как ты ответил королю по поводу его подарка.

— Конечно, она нашла что я прекрасно ответил и что король, ее свекор, поступил как последний невежа.

— В самом деле? Она тебе это сказала?

— Она на это намекнула, передавая мне паспорт, который заставила подписать самого короля.

Все слушавшие этот диалог отвернулись, посмеиваясь исподтишка. Всего час тому назад Буонончини, описывая похождения Кафариэлло во Франции, рассказал, как дофина, передавая ему паспорт, украшенный собственноручной подписью монарха, заметила, что он действителен только в течение десяти дней, а это было равносильно приказу покинуть Францию в самый короткий срок.

Тут Кафариэлло, боясь, по-видимому, дальнейших расспросов об этом происшествии, переменил разговор.

— Ну как, маэстро, — обратился он к Порпоре, — много было у тебя за последнее время в Венеции

учеников, встречались ли среди них подающие надежды?

— Уж и не говори! — ответил Порпора. — После тебя небо было скупо и школа моя бесплодна. Бог, сотворив человека, почил от дел своих. А Порпора, создав Кафариэлло, сложил руки и томится в бездействии.

— Дорогой учитель, — продолжал Кафариэлло, в восторге от комплимента и принимая его за чистую монету. — Ты слишком снисходителен ко мне. Однако у тебя было несколько многообещающих учеников, когда я виделся с тобой в школе Мендиканти. Ты тогда уже вырастил Кориллу, которая очень понравилась публике. Красивая девушка, ей-Богу!

— Красивая и ничего больше.

— Правда? Ничего больше? — спросил Гольцбауэр, прислушивавшийся к разговору.

— Говорю вам, ничего больше, — авторитетным тоном повторил Порпора.

— Это полезно знать, — прошептал ему на ухо Гольцбауэр. — Она приехала сюда вчера вечером полубольная, как мне передавали, и, однако, уже сегодня утром я получил от нее прошение взять ее на императорскую сцену.

— Это не то, что вам нужно, — проговорил

Порпора. — Ваша жена поет… в десять раз лучше ее. — Он хотел было сказать, не так плохо, но сумел вовремя сдержаться.

— Благодарю вас за высокое мнение, — ответил директор.

— Неужели у вас не было других учеников, кроме толстой Кориллы? — вновь заговорил Кафариэлло. — Венеция, значит, иссякла? Мне хотелось бы побывать там будущей весной с Тези.

— За чем же дело стало?

— Тези увлечена Дрезденом. Но неужели я не найду в Венеции ни одной мяукающей кошки? Я не очень требователен, да и публика бывает снисходительна, когда в главной роли такой певец, как я, способный вынести всю оперу на своих плечах. Приятный голос, послушание и понятливость — вот все, что мне надо для дуэтов. А кстати, учитель, что ты сделал из маленькой смуглянки, которую я у тебя видел?

— Мало ли я учил смуглянок!

— О! У той был изумительный голос, и, помнится, прослушав ее, я тебе сказал: «Эта маленькая дурнушка далеко пойдет». Я даже тогда, забавы ради, пропел ей кое-что. Бедная девочка заплакала от восторга.

— Так, так, — произнес Порпора, глядя на Кон-

суэло, которая стала красной, как нос маэстро.

— Как ее звали, черт возьми? — продолжал Кафариэлло. — Странное имя… Ну, ты должен помнить, маэстро: она была дурна как смертный грех.

— То была я, — отозвалась Консуэло. Правдивость и добродушие помогли ей побороть смущение, и она с веселой почтительностью подошла приветствовать Кафариэлло.

Но подобный пустяк не мог привести его в замешательство.

— Вы! — игриво воскликнул он, беря ее за руку. — Вы лжете, ибо вы премиленькая девушка, а та, о которой я говорю…

— Нет, в самом деле, то была я, — повторила Консуэло. — Посмотрите на меня хорошенько. Вы должны меня узнать — это та же самая Консуэло.

— Консуэло! Да! Да! Дьявольски трудное имя. Но я вас совсем не узнаю и очень боюсь, что вас подменили. Дитя мое, если, приобретя красоту, вы потеряли голос и талант, столь много обещавшие, то лучше бы вы оставались дурнушкой.

— Я хочу, чтобы ты ее услышал, — сказал Порпора, горевший желанием показать свою ученицу Гольцбауэру.

И он потащил Консуэло к клавесину несколько

против ее воли, так как она давно уже не выступала перед знатоками и совсем не готовилась петь в этот вечер.

— Вы меня дурачите, — заявил Кафариэлло. — Это не та девушка, которую я видел в Венеции.

— Сейчас ты сам убедишься, — ответил ему Порпора.

— Право, учитель, это жестоко: вы заставляете меня петь, когда у меня в горле еще сидит пыль от пятидесяти лье дороги, — застенчиво сказала Консуэло.

— Все равно пой! — потребовал маэстро.

— Не бойтесь меня, дитя мое, — обратился к ней Кафариэлло, — я умею быть снисходительным, и, чтобы вы не робели, я спою вместе с вами, если хотите.

— В таком случае я повинуюсь, — ответила она, — и счастье, которое я испытаю, слушая вас, помешает мне думать о себе.

— Что можем мы спеть вместе? — спросил Кафариэлло у Порпоры. — Выберите нам дуэт.

— Выбери сам, — ответил тот, — нет ничего, чего она не могла бы спеть с тобой.

— Ну, тогда что-нибудь твое, маэстро, мне хочется нынче порадовать тебя. И к тому же я знаю, у синьоры Вильгельмины имеются все твои

произведения, переплетенные и украшенные позолотой с истинно восточной роскошью.

— Да, — проворчал сквозь зубы Порпора. — Произведения мои одеты богаче меня.

Кафариэлло взял ноты, перелистал их и выбрал дуэт из «Эвмены» — оперы, написанной маэстро в Риме для Фаринелли. Он спел первое соло с тем благородством, совершенством и мастерством, которые мгновенно заставляли забыть все смешные стороны певца, вызывая лишь восхищение и восторг. Могучий талант этого необыкновенного человека так оживил и воодушевил Консуэло, что она, в свою очередь, пропела женское соло так, как, пожалуй, никогда не пела в жизни. Кафариэлло, не дожидаясь, когда она закончит, несколько раз прерывал ее бурными рукоплесканиями.

— Ах, cara![36] — восклицал он. — Теперь-то я узнаю тебя! Это действительно то дивное дитя, на которое я обратил внимание тогда в Венеции. Но теперь, figlia mia[37], ты чудо (un portento)! Это говорит тебе сам Кафариэлло!

Вильгельмина была несколько удивлена и

---

[36] Примечания: 36
Дорогая! (*итал.*)

[37] Примечания: 37
Дочь моя (*итал.*).

несколько разочарована, увидев Консуэло на еще большей высоте, чем в Венеции. Несмотря на то что выступление в ее венском салоне такого таланта было ей очень приятно, она не без некоторого страха и огорчения видела, что после столь виртуозного исполнения сама она уже не посмеет петь для своих всегдашних гостей. Тем не менее она шумно выразила свой восторг. Гольцбауэр, продолжая ухмыляться себе в бороду, но опасаясь, что в его кассе не хватит денег, чтобы оплатить такой большой талант, проявлял среди всех этих восхвалений дипломатическую сдержанность. Буонончини заявил, что Консуэло выше и госпожи Гассе и госпожи Куццони. Посланник пришел в такой восторг, что Вильгельмина даже испугалась, особенно когда увидела, что он снимает кольцо с огромным сапфиром и надевает его на палец Консуэло, которая не решалась ни принять его, ни отказаться. Слушатели настойчиво стали требовать повторения дуэта, но дверь распахнулась, и лакей с почтительной торжественностью доложил о прибытии графа Годица. Все поднялись под влиянием невольного уважения, которое вызывает не самый знаменитый, не самый достойный, а самый богатый человек.

«Вот неудача! — подумала Консуэло. — Нужно же было мне встретить разом, и даже прежде, чем я успела предупредить их, двух лиц, видевших меня во время путешествия с Йозефом! Они, без сомнения, составили себе ложное представление и о моей нравственности и о моих отношениях с ним. Но все равно, мой добрый и честный Йозеф, как бы ни клеветали на нашу дружбу, я никогда не отступлюсь от нее ни в сердце, ни на словах».

Граф Годиц, с головы до ног разукрашенный золотым галуном и золотым шитьем, подошел к Вильгельмине, и по тому, как он поцеловал руку содержанки, Консуэло поняла разницу между такой хозяйкой дома и гордыми патрицианками, виденными ею в Венеции. С Вильгельминой были и милее, и любезнее, и веселее, но говорили быстрее, ступали менее тихо, ногу на ногу закладывали выше, бесцеремонно грели спину у камина — словом, вели себя иначе, чем в светском обществе. Быть может, гостям такая непринужденность была даже приятна, но в то же время в ней чувствовалось нечто оскорбительное, сразу бросившееся в глаза Консуэло, хотя это нечто, замаскированное светскими манерами и подобающим посланнику уважением, было почти неуловимо.

Граф Годиц выделялся своим умением тонко оттенить эту непринужденность, которая не только не оскорбляла Вильгельмину, но представлялась ей знаком особого почитания. Консуэло страдала за эту бедную женщину: удовлетворенная в своем мелком тщеславии, она казалась ей жалкой. Но себя Консуэло не считала униженной. Zingarella ни на что не претендовала, не требовала ни единого взгляда, и ей было совершенно безразлично, будет ли обращенный к ней поклон на несколько десятых дюйма выше или ниже. «Я здесь для того, чтобы петь, это мое ремесло, — говорила она себе. — Лишь бы остались довольны моим пением; а когда я закончу, то предпочитаю сидеть незамеченной в своем уголке. Но эта женщина, примешивающая тщеславие к своей любви (если только она примешивает к своему тщеславию хоть немного любви), как она покраснела бы, если бы видела, сколько презрения и иронии кроется под всеми этими любезностями и комплиментами».

Консуэло снова заставили петь, превознося ее до небес, и она в тот вечер буквально делила лавры с Кафариэлло. Каждую минуту она ждала, что с ней заговорит граф Годиц, и ей придется выдержать огонь его насмешливых похвал. Но

странная вещь: граф Годиц не подошел к клавесину, у которого она стояла отвернувшись, чтобы он не мог видеть ее лица. И когда он справлялся о ее имени и возрасте, казалось, он впервые слышит о ней. Дело в том, что он не получил неосторожной записки, которую Консуэло, осмелевшая во время своего путешествия, послала ему с женой дезертира. К тому же он был очень близорук, и так как в то время еще не было принято беззастенчиво лорнировать в гостиных, то он неясно различал бледное лицо певицы. Быть может, покажется странным, что, выдавая себя за ярого меломана, граф не полюбопытствовал взглянуть поближе на замечательную исполнительницу. Но не надо забывать, что моравский вельможа любил только свою собственную музыку, свою собственную методу и своих собственных певцов. Большие таланты не внушали ему никакого интереса и никакой симпатии; их требования и притязания он считал ни с чем не сообразными, и, когда ему говорили, что Фаустина Бордони получает в Лондоне пятьдесят тысяч франков в год, а Фаринелли — сто пятьдесят тысяч, он пожимал плечами и уверял, что за пятьсот франков жалованья он имеет в своем росвальдском театре в Моравии певцов, обученных им самим, которые столь же

искусны, как Фаринелли, Фаустина и даже сам синьор Кафариэлло.

Заносчивость последнего была ему особенно противна и невыносима именно потому, что в своем кругу граф Годиц отличался точно такими же странными и смешными повадками. Если хвастуны не нравятся скромным и разумным людям, они тем более неприятны и отвратительны таким же хвастунам, как они сами. Всякий тщеславный человек ненавидит себе подобных и высмеивает в них порок, присущий ему самому. Пока слушали пение Кафариэлло, никто не думал ни о богатстве, ни о любви к музыке графа Годица. Пока Кафариэлло бахвалился, не оставалось места для бахвальства графа Годица, — словом, они мешали друг другу. Ни один салон не был настолько обширен и ни одно общество — настолько внимательно, чтобы вместить и удовлетворить двух людей, терзаемых такой «жаждой апробации», как выражаются френологи наших дней.

Была и третья причина, помешавшая графу Годицу разглядеть и вспомнить своего Бертони из Пассау: дело в том, что там он почти не глядел на него, и теперь вряд ли мог бы узнать его в новом, преображенном виде. Перед ним тогда была

девочка «довольно миловидная», как принято было в то время говорить о сносной наружности; он услышал ее красивый, свежий, гибкий голос и решил, что она умна и легко поддастся обучению. Больше он ничего не почувствовал, не угадал, да больше ему ничего и не нужно было для его театра в Росвальде. Он был богат и привык покупать без особенного разбора и не торгуясь все, что ему подходило. Он захотел купить талант Консуэло и ее лично, как мы покупаем ножик в Шательро или стеклянные изделия в Венеции. Торговая сделка не состоялась, но так как граф ни одной минуты не был влюблен в Консуэло, то ни минуты и не жалел об этом. Правда, при своем пробуждении в Пассау он был несколько раздосадован, но люди, имеющие о себе высокое мнение, недолго страдают от подобной неудачи. Они скоро забывают о ней: разве им не принадлежит весь мир, в особенности если они богаты? «Ну что ж, — сказал себе благородный граф, — одна неудача, а за ней последует сто удач».

В то время как Консуэло пела свою последнюю арию, он пошептался с Вильгельминой и, заметив, что Порпора кидает на него яростные взгляды, вскоре ушел, не получив никакого удовольствия в обществе этих педантичных и

неотесанных музыкантов.

Глава LXXXV

Первым побуждением Консуэло по возвращении в свою комнату было написать Альберту, но скоро она обнаружила, что это не так легко сделать, как ей казалось. В первом же черновике она начала было ему рассказывать о всех приключениях своего путешествия, но тотчас испугалась, что описание пережитых ею опасностей и испытаний слишком взволнует его. Она помнила, в какое страшное исступление пришел Альберт, когда она рассказала ему в подземелье о тех ужасах, которые испытала по дороге к нему. И она разорвала письмо. Чтобы избавить глубокую душу и впечатлительную натуру Альберта от волнующих подробностей действительности, она решила высказать ему одну, основную мысль, одно, единое чувство — выразить в немногих словах привязанность, которую она ему обещала, и верность, в которой ему поклялась. Но эти немногие слова должны были быть совершенно ясными; малейшая неопределенность породила бы в нем невероятные страхи и муки. А как могла она утверждать, что, наконец, ощутила в себе

истинную любовь и неколебимую решимость, необходимые Альберту для того, чтобы жить, ожидая ее. Искренность и честность Консуэло не допускали полуправды. Строго вопрошая свое сердце и совесть, она находила в них силу и спокойствие, рожденные победой над любовью к Андзолетто. Она находила в себе также полное равнодушие ко всякому мужчине, кроме Альберта; к нему одному чувствовала она нежность и искреннее влечение. Но такого рода любовь, такое влечение испытывала она и тогда, когда была подле него. Мало было победить воспоминания об Андзолетто, устранить самое его присутствие, чтобы в душе девушки загорелась пламенная страсть к молодому графу! Она не могла без ужаса вспомнить о душевной болезни бедного Альберта, об удручающем величии замка Исполинов, об аристократических предубеждениях канониссы, об убийстве Зденко, о мрачной пещере Шрекенштейна — словом, о всей печальной и странной жизни в Чехии, казавшейся ей теперь сном. Подышав вольным воздухом бродяжничества на горах Богемского Леса и снова окунувшись в музыкальную стихию подле своего учителя, Консуэло вспоминала о Чехии не иначе, как о страшном кошмаре. Хотя

она и не соглашалась с суровыми афоризмами Порпоры об искусстве, но когда вернулась снова к жизни, столь соответствующей ее воспитанию, дарованию и привычному складу мыслей, то не представляла себе больше, что может стать хозяйкой замка Исполинов.

Что же могла она сообщить Альберту? Что могла она снова обещать ему? Разве ею не владели та же нерешительность, тот же страх, что и при бегстве из замка? Если она искала убежища в Вене, а не в ином месте, то только потому, что здесь ее ждало покровительство единственного человека, чей законный авторитет она должна была признавать. Порпора был ее благодетелем, отцом, ее поддержкой и учителем в самом святом смысле слова. Подле него она не чувствовала себя больше сиротой и не считала себя вправе распоряжаться собой только по велению своего сердца или рассудка. А Порпора осуждал, высмеивал и решительно отвергал мысль о браке, считая, что это убивает талант, приносит в жертву ее великое будущее ради каприза романтической самоотверженности. В замке Исполинов тоже был старик, великодушный, благородный и нежный, готовый стать отцом Консуэло. Но разве меняют отца сообразно обстоятельствам? И если

Порпора говорил «нет», то разве могла Консуэло принять «да» графа Христиана?

Этого не могло, не должно было быть, и следовало ждать, что скажет Порпора, когда он лучше разберется в фактах и чувствах. Но что ответить несчастному Альберту сейчас, как поддержать в нем надежду, призвать его к терпению до тех пор, пока учитель подтвердит свое решение или изменит его? Признаться, что первым ответом Порпоры была вспышка негодования, значило лишить Альберта всякого спокойствия; скрыть — значило обмануть его, а Консуэло не хотела кривить душой. Даже если бы жизнь благородного молодого человека зависела от лжи, то и тогда Консуэло не солгала бы. Есть люди, которых слишком уважают, чтобы обманывать, даже ради их спасения.

И вот она снова начала писать, но изорвала двадцать начатых писем, не доведя ни одного до конца. Как ни старалась она, но на третьем же слове или давала слишком смелые обещания, или, наоборот, высказывала сомнения, а это могло повести к самым пагубным последствиям. Она легла в постель, подавленная усталостью, грустью, беспокойством, и долго мучилась от холода и бессонницы, не в силах ни прийти к

какому-либо решению, ни представить себе ясно свое будущее, свою судьбу. В конце концов она все-таки заснула и проснулась так поздно, что Порпора, всегда рано встававший, уже успел уйти по делам. Как и накануне, она застала Гайдна за чисткой платья своего нового хозяина и за уборкой комнаты.

— Наконец-то, моя спящая красавица! — воскликнул юноша при виде своей приятельницы. — Я умираю от скуки, тоски и, пожалуй, больше всего от страха, когда между мной и этим свирепым профессором не вижу вас, моего ангела-хранителя. Мне кажется, что учитель проникнет в мои намерения, раскроет наш заговор и упрячет меня в свой старый клавесин, чтобы я задохнулся там от гармонического удушья. У меня волосы встают дыбом от твоего Порпоры, и я никак не могу избавиться от мысли, что это старый итальянский черт: ведь, говорят, дьявол в тех краях гораздо злее и хитрее нашего.

— Успокойся, друг мой, — ответила Консуэло, — наш маэстро всего лишь несчастлив. Он незлой человек. Постараемся дать ему хоть немного счастья, и он на наших глазах смягчится и станет прежним. Я помню, каким сердечным и жизнерадостным он был в годы моего детства. Все

повторяли его тонкие и остроумные шутки, но тогда у него был успех, были друзья, были надежды. Если бы ты знал его в то время, когда в театре Сан-Мозе шла его опера «Полифем»! Он брал меня с собой и ставил где-нибудь за кулисами, откуда я могла видеть только спины статистов и голову великана! Каким страшным и красивым казалось мне все это из моего уголка! Сидя на корточках за картонной скалой или взобравшись на лестницу, с которой зажигают кенкеты, я едва дышала и невольно, подражая актерам, повторяла головой и руками все их жесты, все их движения. А когда маэстро вызывали и он в ответ на аплодисменты партера по семь раз проходил перед занавесом вдоль рампы, он казался мне Богом, до того в эти минуты был прекрасен, горд и радостен. Увы! Он не так еще стар, а как изменился, как удручен! Давай, Беппо, приниматься за работу; пусть, вернувшись, он застанет свою убогую квартиру более привлекательной. Начну с осмотра его носильного платья, чтобы узнать, чего ему не хватает.

— Долго пришлось бы перечислять, чего ему не хватает, а что у него имеется — мигом увидишь, — ответил Йозеф. — Беднее и поношеннее его одежды разве только моя собственная.

— В таком случае я позабочусь и о тебе — ведь я твоя должница, Йозеф, всю дорогу ты и одевал и кормил меня. Но сперва подумаем о Порпоре. Открой-ка этот шкаф. Как! Один-единственный костюм — тот, в котором он был вчера у посланника?

— Увы, да! Коричневый костюм с резными стальными пуговицами, к тому же не особенно новый. Другой костюм до того стар и потрепан, что на него жалко смотреть. Хозяин надел его, уходя. Что же касается халата, сомневаюсь, чтобы он вообще когда-либо существовал: я его тщетно ищу вот уже целый час.

Консуэло и Йозеф после тщательных поисков, наконец, убедились, что халат существовал только в их воображении, так же как и пальто и муфта. Сорочек оказалось всего три, да и те рваные, с потрепанными манжетами; в таком же состоянии было и все остальное.

— Йозеф, — сказала Консуэло, — вот дорогое кольцо, мне его преподнесли вчера за мое пение. Я не хочу его продавать, чтобы не привлекать к себе внимания; люди, подарившие его, пожалуй, усмотрели бы в этом алчность. Но я могу его заложить и получить под него нужные нам деньги. Келлер честен и умен, он сумеет оценить кольцо

и, наверное, знает ростовщика, который возьмет его в заклад и даст за него порядочную сумму. Ступай же скорее и возвращайся.

— За этим дело не станет, — ответил Йозеф. — Скромный еврей-ювелир живет в том же доме, что и Келлер, а так как последний в подобного рода секретных делах служит посредником у многих прекрасных дам, то через какой-нибудь час он отсчитает вам денежки. Но мне самому ничего не надо, слышите, Консуэло! Вот вам следует приодеться. Ведь весь наш гардероб совершил путешествие на моих плечах. Завтра, а быть может, еще и сегодня вечером вы должны будете появиться в обществе и, конечно, в платье, менее потертом, чем это.

— Наши счеты мы сведем позднее, и так, как я захочу, Беппо. Принимая твои услуги, я имею право требовать, чтобы и ты не отказывался от моих. Ну, а теперь беги скорее к Келлеру!

Через час Гайдн в самом деле вернулся с Келлером и с тысячью пятьюстами флоринов. Консуэло объяснила Келлеру, что ей нужно; тот вышел и вскоре привел своего приятеля-портного, честного и проворного малого, который, сняв мерку с костюма Порпоры и других его носильных вещей, пообещал в ближайшие же дни доставить два

полных новых костюма, хороший, стеганный на вате халат и даже белье и другие необходимые принадлежности туалета, которые он взялся заказать добросовестным мастерицам.

— Теперь, — сказала Консуэло Келлеру, когда портной ушел, — я требую полнейшей тайны. Учитель мой столь же горд, сколь и беден и, несомненно, выбросил бы за окно все мои жалкие дары, заподозри он только, что они от меня.

— Как же вы умудритесь, синьора, — заметил Йозеф, — заставить его облечься в новый костюм и бросить старый так, чтобы он этого не заметил?

— О! Я его прекрасно знаю и ручаюсь вам, что он ничего не заметит. Это я беру на себя.

— А теперь, синьора, не подумаете ли вы о себе? — продолжал Йозеф, у которого, за исключением тех минут, когда они оставались наедине, хватало такта говорить с Консуэло очень церемонно, чтобы не создать ложного представления об их дружбе. — Вы почти ничего не привезли с собой из Чехии, к тому же ваши наряды сшиты не по здешней моде.

— Я совсем забыла об этом важном деле. Милый господин Келлер, будьте моим советчиком и руководителем.

— Охотно! — ответил Келлер. — Я кое-что в этом смыслю, и, если не доставлю вам самого изящного туалета, можете мне сказать, что я невежда и хвастун.

— Вполне полагаюсь на вас, милый Келлер. Только хочу предупредить вас, что я люблю простоту, а вещи, бросающиеся в глаза, и кричащие краски не идут ни к моей обычной бледности, ни к моим скромным вкусам.

— Вы меня обижаете, синьора, полагая, что я нуждаюсь в таких указаниях. Разве в силу своего ремесла я не знаю, какие цвета следует подбирать к лицу, и разве на вашем лице я не вижу отражения вашего характера? Будьте покойны, вы останетесь довольны мною и вскоре сможете, если вам заблагорассудится, появиться при дворе, оставаясь по-прежнему и скромной и простой. Украсить человека, а не изменить его — вот в чем искусство парикмахера и портного.

— Еще одно слово на ушко, дорогой господин Келлер, — проговорила Консуэло, отходя с ним подальше от Йозефа. — Прошу вас, оденьте во все новое с головы до ног и господина Гайдна, а на оставшиеся деньги преподнесите от моего имени вашей дочери красивое шелковое подвенечное платье. Надеюсь, что свадьба ее с Йозефом не

за горами, ибо если я буду пользоваться здесь успехом, то смогу быть полезной нашему другу и помогу ему приобрести известность. У него талант, и большой талант, будьте в этом уверены.

— Так у него в самом деле талант, синьора? Счастлив слышать это от вас. Я всегда это подозревал. Да что я говорю? Я был убежден в этом с самого первого дня, когда заметил его, еще ребенком, в певческой школе.

— Он благородный юноша, — продолжала Консуэло, — и вознаградит вас своей благодарностью и верностью за все, что вы для него сделали. Я ведь знаю, Келлер, вы тоже человек достойный, у вас благородное сердце... А теперь скажите нам, — прибавила она, снова вместе с Келлером приближаясь к Йозефу, — сделали вы то, о чем мы условились относительно покровителей Йозефа? Это была ваша мысль, привели вы ее в исполнение?

— Ну конечно, синьора! — ответил Келлер. — Для вашего покорного слуги сказать — значит сделать. Отправившись сегодня утром обслуживать своих клиентов, я предупредил сначала господина венецианского посланника (я не имею чести лично причесывать его, но завиваю его секретаря), затем господина аббата Метастазио,

которого брею каждое утро, и его воспитанницу, девицу Марианну Мартинец, чья голова тоже находится в моих руках. Она, так же как и он, живет в моем доме… то есть я живу в их доме, ну, да это, впрочем, не важно! Напоследок я проник еще к двум-трем особам, которые знают Йозефа в лицо и рискуют встретить его у маэстро Порпоры. К другим особам, не моим клиентам, я являлся под каким-нибудь предлогом, например, говорил так: «Я слышал, что госпожа баронесса посылала к моим коллегам за настоящим медвежьим салом для волос, и поспешил принести вам великолепное сало, я за него ручаюсь. Предлагаю его знатным лицам бесплатно, как образец, и прошу их только стать моими клиентами, если им понравится мое снадобье». Или в таком роде: «Вот молитвенник — он найден в прошлое воскресенье в соборе святого Стефана, а так как я причесываю собор (то есть, собственно говоря, певческую школу при соборе), то мне поручили спросить ваше сиятельство, не ваша ли это книга». То была старая, ничего не стоящая книжка в кожаном позолоченном переплете с гербом. Подобрал я ее на скамье какого-то каноника, зная прекрасно, что никто не станет ее разыскивать… Наконец, когда мне удавалось под тем или иным

предлогом привлечь к себе внимание, я начинал болтать с развязностью и остроумием, которое прощают людям нашей профессии. «Мне, — говорил я, например, — много приходилось слышать о вашем сиятельстве от одного из моих друзей, искусного музыканта Йозефа Гайдна, вот почему я взял на себя смелость явиться в высокочтимый дом вашего сиятельства». — «Как, от маленького Йозефа?» — спрашивали меня. — «Это прелестный талант, юноша многообещающий». — «Да? В самом деле? — отзывался я в восторге от того, что мы перешли прямо к делу. — Тогда вас, ваше сиятельство, должно очень позабавить то, что с ним сейчас происходит, — нечто удивительное и весьма важное для его карьеры». — «А что же с ним происходит? Я ничего не знаю». — «Да, трудно придумать что-либо более комичное и вместе с тем любопытное: он сделался лакеем». — «Как! Лакеем! Фи! Какое унижение! Какое несчастье для такого таланта! Он, значит, в ужасном положении? Надо ему помочь». — «Дело не в том, ваше сиятельство, — отвечал я, — это любовь к искусству заставила его принять столь странное решение. Он хотел во что бы то ни стало брать уроки у знаменитого маэстро Порпоры…» — «Ах, да! Понимаю, а Порпора отказался выслушать и

принять его. Это гениальный человек, но очень своенравный и угрюмый». — «Это великий человек, с великодушным сердцем, — отвечал я, согласно желанию синьоры Консуэло, которая не хочет, чтобы во всей этой истории ее учитель был предметом насмешек и порицания. — Будьте уверены, — прибавлял я, — он скоро распознает большие способности маленького Гайдна и позаботится о нем; но, чтобы не рассердить старого ворчуна и пробраться к нему в дом, не возбуждая подозрений, Йозеф не нашел ничего более остроумного, как поступить к нему в лакеи и притвориться, будто он ничего не смыслит в музыке». — «Идея трогательная, прелестная, — отвечали мне в полном умилении, — это героизм истинного артиста. Однако он должен поторопиться и заслужить благосклонность Порпоры, прежде чем его узнают и скажут маэстро, что он уже известен как хороший музыкант, ибо молодого Гайдна любят и ему покровительствуют несколько лиц, как раз бывающих у Порпоры». — «Эти лица, — говорил я вкрадчивым тоном, — слишком добры, слишком великодушны, чтобы не сохранить маленькой тайны Йозефа, пока это необходимо; они притворяются, будто не знают его, чтобы не возбудить подозрение Порпоры». —

«О! — восклицал каждый в ответ на это. — Уж конечно, не я предам славного, искусного скрипача Йозефа! Можете от моего имени заверить его в том, а я строго накажу своим слугам не проговориться в присутствии маэстро». Тут меня отпускали либо с небольшим подарком, либо с заказом на медвежье сало. А господин секретарь посольства чрезвычайно заинтересовался этим приключением и обещал угостить им за завтраком господина Корнера, чтобы тот, особенно расположенный к Йозефу, прежде всего был сам настороже с Порпорой. Моя дипломатическая миссия закончена. Вы довольны, синьора?

— Будь я королевой, я немедленно назначила бы вас самого посланником, — ответила Консуэло. — Но я вижу в окно, что возвращается маэстро. Бегите, милый Келлер, он не должен вас видеть.

— А зачем бежать, синьора? Я начну вас причесывать, и он подумает, что вы послали своего лакея Йозефа за первым встречным парикмахером.

— Он во сто раз умнее нас с вами, — сказала Консуэло Йозефу и предоставила свои черные кудри ловким рукам Келлера, в то время как Йозеф, надев фартук, снова вооружился метелкой, а Порпора, тяжело ступая, поднимался по

лестнице, напевая музыкальную фразу из своей будущей оперы.

Глава LXXXVI

Порпора по природе был очень рассеян: целуя в лоб свою приемную дочь, он даже не заметил причесывавшего ее Келлера и принялся искать в своих нотах записанный им отрывок музыкальной фразы, бродившей у него в голове. Только увидев бумаги, обычно разбросанные по клавесину в невообразимом беспорядке, а теперь сложенные в аккуратные стопки, он очнулся от задумчивости и закричал:

— Несчастный дурак! Он позволил себе прикоснуться к моим рукописям. Вот они, лакеи! Валят все в кучу и думают, что убирают. Очень нужно мне было брать лакея, честное слово! Начались мои мучения!

— Простите ему, маэстро, — вмешалась Консуэло, — ваши ноты были в таком хаотическом состоянии…

— Я прекрасно разбирался в этом хаосе. Мог встать среди ночи и впотьмах ощупью найти любой отрывок из моей оперы. А теперь я ничего не знаю, я погибший человек. Месяц пройдет, прежде чем я что-либо смогу найти!

— Нет, маэстро, вы все сейчас же найдете. Это, кстати сказать, моя вина, и хотя страницы не были пронумерованы, мне кажется, что я положила каждый листок на свое место. Взгляните-ка! Я уверена, что вам удобнее будет читать по тетради, которую я из них сшила, чем по разрозненным листкам, — любой порыв ветра мог унести их в окно.

— Порыв ветра! Не принимаешь ли ты мою комнату за Фузинские лагуны?

— Ну, если не порыв ветра, так взмах метелки или веника.

— А зачем было убирать и мести комнату? Я в ней живу две недели и никому не позволял сюда входить.

«Я-то прекрасно это заметил», — подумал про себя Йозеф.

— Ну, маэстро, вам придется разрешить мне изменить этот обычай. Вредно спать в комнате, которая не проветривается и не убирается ежедневно. Я берусь каждый день аккуратно восстанавливать любезный вам беспорядок, после того как Беппо подметет и уберет комнату.

— Беппо! Беппо! Это еще что такое? Я не знаю никакого Беппо!

— Беппо — это он, — сказала Консуэло, указы-

вая на Йозефа. — У него такое неблагозвучное имя, что оно ежеминутно резало бы вам ухо. Я дала ему первое пришедшее мне в голову венецианское имя. Беппо — это хорошо, коротко и его даже можно пропеть.

— Как хочешь, — ответил уже мягче Порпора, перелистывая свою оперу, сшитую в одну тетрадь и найдя ее в полном порядке.

— Согласитесь, маэстро, — сказала Консуэло, увидев, что он улыбается, — так ведь удобнее?

— А! Ты всегда хочешь быть правой, — возразил маэстро. — Всю жизнь будешь упрямиться.

— Вы завтракали, маэстро? — спросила Консуэло, которой Келлер вернул, наконец, свободу.

— А сама ты завтракала? — переспросил, в свою очередь, Порпора, нетерпеливо и вместе с тем заботливо.

— Я завтракала. А вы, маэстро?

— А этот мальчик, этот… Беппо, он ел что-нибудь?

— Он завтракал. А вы, маэстро?

— Вы, значит, нашли здесь что перекусить. Я уже не помню, были ли у меня какие-нибудь припасы.

— Мы отлично позавтракали. А вы, маэстро?

— «А вы, маэстро! А вы, маэстро!» Да убирайся

ты к дьяволу с твоими вопросами! Какое тебе дело?

— Маэстро, ты не завтракал, — проговорила Консуэло, подчас позволявшая себе с венецианской фамильярностью говорить Порпоре «ты».

— Ах, я вижу, что в моем доме поселился дьявол. Она не оставит меня в покое! Ну иди сюда и спой мне эту фразу: постарайся, прошу тебя!

Консуэло подошла к клавесину и пропела требуемую фразу; Келлер, рьяный любитель музыки, так и застыл на другом конце комнаты, полуоткрыв рот и с гребнем в руке. Маэстро, недовольный своей фразой, заставил Консуэло повторить ее раз тридцать, требуя, чтобы она делала ударение то на одних, то на других нотах, и все добиваясь желаемого оттенка с упорством, которое могло сравниться только с терпением и покорностью самой Консуэло. Тем временем Йозеф, по данному ею знаку, пошел за шоколадом, который она приготовила, пока Келлер ходил по ее поручениям. Беппо принес шоколад и, угадав намерение Консуэло, тихонько поставил его на пюпитр, не привлекая внимания учителя; Порпора тотчас же машинально взял его, налил себе в чашку и выпил с большим аппетитом. Вторая чашка была принесена и выпита таким же обра-

зом, да еще с куском хлеба с маслом в придачу. Консуэло, которая любила иногда подразнить учителя и видела, с каким удовольствием он ест, сказала ему:

— Я прекрасно знала, маэстро, что ты не завтракал.

— Правда, — ответил он спокойно. — Кажется, просто забыл. Со мной это часто случается, когда я сочиняю, и замечаю я это уже днем, почувствовав резь и спазмы в желудке.

— И тогда ты пьешь водку, маэстро?

— Кто тебе сказал, дурочка?

— Я нашла бутылку.

— А какое тебе дело? Не запретишь ли ты мне пить водку?

— Да, запрещу! Ты не пил в Венеции и хорошо себя чувствовал.

— Ты права, — с грустью повторил Порпора, — там мне казалось, что все шло плохо, что здесь пойдет лучше. Между тем здесь все идет хуже и хуже — и положение мое, и здоровье, и сочинительство… все… — И он уронил голову на руки.

— Хочешь, я скажу, почему тебе так трудно здесь работать? — продолжала Консуэло, желая какими-нибудь мелочами отвлечь учителя от охвативших его грустных мыслей. — У тебя здесь

нет твоего славного кофе по-венециански, дающего столько сил и бодрости. Ты возбуждаешь себя, как немец, пивом и настойками, а тебе это вредно.

— Да, ты снова права. Чудесный мой кофе по-венециански! О, это был неиссякаемый источник остроумия и великих идей! Пробуждая гений и вдохновение, он живительной теплотой разливался по моим венам. А все, что пьешь здесь, либо наводит тоску, либо сводит с ума.

— Ну что ж, маэстро, пей кофе!

— Здесь? Кофе? Не хочу: с ним слишком много возни. Нужен огонь, прислуга, посуда, которую моют, передвигают, бьют с резким грохотом, когда ты весь во власти гармонии. Нет, не надо. Бутылка на полу, у ног — это и удобнее и скорее.

— Но бутылка тоже бьется. Я вот сегодня утром разбила твою, собираясь поставить ее в шкаф.

— Как! Ты разбила мою бутылку? Ах ты маленькая уродина! Не знаю, почему я до сих пор не сломал свою трость о твою спину!

— Ну да! Вы это говорите уже целых пятнадцать лет, а ни разу не дали мне и щелчка — очень я вас боюсь!

— Болтушка, будешь ты петь? Освободишь ты меня от этой проклятой фразы? Бьюсь об заклад,

что до сих пор ты еще не знаешь ее, ты так рассеянна сегодня.

— Сейчас убедитесь, знаю я ее на память или нет, — сказала Консуэло, быстро захлопывая ноты.

И она спела фразу так, как сама понимала ее, то есть совсем иначе, чем было у Порпоры. Она угадала с первого раза, что он запутался в своих замыслах и, разрабатывая тему, исказил основную мысль, но, зная характер своего учителя, не позволила себе дать ему совет: из духа противоречия он отверг бы его. Консуэло, однако, была убеждена, что, если пропоет фразу по-своему, якобы ошибаясь, это поразит его воображение.

Не успел он прослушать ее, как вскочил со стула, хлопая в ладоши, и закричал:

— Вот оно! Вот оно! Вот то, чего я хотел и никак не мог добиться! Как, черт возьми, тебе это пришло в голову?

— Разве это не то, что вы написали? Или я случайно… Да нет, это же ваша фраза.

— Нет! Твоя, плутовка! — воскликнул Порпора: он был так чистосердечен, что, несмотря на свою болезненную, безмерную любовь к славе, никогда не поступился бы истиной ради тщеславия. — Это ты ее нашла! Ну, повтори. Она прекрасна, и я

воспользуюсь ею.

Консуэло пропела фразу еще несколько раз, и Порпора записал ее под диктовку. Потом он прижал свою ученицу к груди и воскликнул:

— Ты дьявол! Я всегда говорил, что ты дьявол!

— Добрый дьявол, поверьте мне, маэстро! — ответила, улыбаясь, Консуэло.

Порпора, в восторге от того, что после целого утра бесплодных волнений и творческих мук фраза наконец удалась, стал машинально шарить на полу у своих ног, стараясь нащупать горлышко бутылки. Не найдя его, он принялся искать на пюпитре и по рассеянности хлебнул из стоявшей там чашки. Это был чудесный кофе, искусно и терпеливо приготовленный для него Консуэло одновременно с шоколадом. Йозеф, по новому знаку своей приятельницы, только что принес его совсем горячим.

— О нектар богов! О друг музыкантов! — воскликнул Порпора, наслаждаясь кофе. — Какой ангел, какая фея принесла тебя из Венеции под своим крылом?

— Дьявол! — ответила Консуэло.

— Ты ангел и фея, милое мое дитя, — ласково проговорил Порпора, возвращаясь к своему пюпитру. — Я прекрасно вижу, что ты любишь

меня, заботишься обо мне, хочешь сделать меня счастливым. Даже этот бедный мальчик, и тот интересуется моей судьбой, — прибавил он, заметив Йозефа, который, стоя на пороге передней, смотрел на него влажными, блестящими глазами. — Ах, бедные мои дети, вы хотите скрасить мою жалкую жизнь! Безрассудные! Вы сами не знаете, что делаете! Я обречен на отчаяние, и несколько дней любви и благополучия заставят меня еще острее почувствовать ужас моей доли, когда эти чудные дни улетят.

— Я никогда не покину тебя, всегда буду твоей дочерью, твоей служанкой! — воскликнула Консуэло, обвивая руками его шею.

Порпора скрыл свою плешивую голову за нотной тетрадью и разрыдался. Консуэло и Йозеф тоже заплакали, а Келлер — из любви к музыке он все еще стоял в передней и, чтобы оправдать свое присутствие, приводил в порядок парик Порпоры, — увидев через полуоткрытую дверь столь почтенную и трогательную сцену, как скорбь маэстро, дочернюю преданность Консуэло и умиление Йозефа, чье сердце тоже начинало биться любовью к знаменитому старцу, выронил из рук гребень и, приняв парик Порпоры за свой носовой платок, в благоговейной рассеянности

поднес его к глазам.

В продолжение нескольких дней Консуэло из-за простуды вынуждена была сидеть дома. Во время своего длинного и полного приключений путешествия она стойко переносила все перемены погоды, все капризы осени, то знойной, то дождливой и холодной, в зависимости от местности, по которой они проходили. Легко одетая, в соломенной шляпе, не имея на случай дождя ни плаща, ни смены одежды, она тем не менее ни разу не испытала даже легкой хрипоты. Но едва она оказалась заточенной в темную, сырую, плохо проветриваемую квартиру Порпоры, как и холод и простуда лишили ее и энергии и голоса. Помеха эта очень раздражала Порпору. Он знал, что его ученице следовало торопиться, чтобы получить приглашение в итальянскую оперу, так как госпожа Тези, прежде стремившаяся уехать в Дрезден, теперь, казалось, начала колебаться, прельщенная настойчивыми просьбами Кафариэлло и блестящими предложениями Гольцбауэра, желавшего привлечь на императорскую сцену столь знаменитую певицу. С другой стороны, Корилла, еще лежавшая после родов в постели, силилась с помощью друзей, оказавшихся у нее в Вене, склонить на свою сторону директора и

ручалась, что в случае надобности сможет дебютировать уже через неделю. Порпора страстно желал, чтобы Консуэло получила приглашение, как ради нее самой, так и ради успеха своей оперы, которую он надеялся продвинуть на сцену вместе со своей ученицей.

Сама же Консуэло не знала, на что решиться. Заключить ангажемент — значило отдалить минуту свидания с Альбертом, внести ужас и смятение в семью Рудольштадтов, которые, конечно, не ожидали, что она снова появится на подмостках. С их точки зрения она тем самым отвергала бы честь войти в их семью и давала понять молодому графу, что предпочитает ему славу и свободу. С другой стороны, не принять ангажемент — значило погубить последние надежды Порпоры, проявить, в свою очередь, ту же неблагодарность, которая уже наполнила его жизнь горечью и разочарованием, — словом, нанести ему последний удар. Консуэло, испуганная необходимостью сделать выбор и видя, что любое ее решение должно кого-то смертельно ранить, впала в глубокую тоску. Здоровый организм спас ее от серьезного недуга. Но в эти дни тревоги и страха Консуэло, охваченная лихорадочной дрожью и мучительной слабостью, то сидя на

корточках у жалкого огня, то бродя из одной комнаты в другую в хлопотах по хозяйству, даже хотела тяжело заболеть, с грустью надеясь, что болезнь избавит ее от выполнения сурового долга.

Порпора, на время повеселевший, снова стал мрачным, придирчивым и несправедливым, как только увидел, что Консуэло — источник его надежд, опора его мужества — впала в уныние и нерешительность. Вместо того чтобы поддержать, одушевить ее своей бодростью и нежностью, теперь он относился к ней с болезненным раздражением, и это окончательно привело ее в ужас. Старик — то безвольный, то резкий, то ласковый, то гневный, снедаемый той самой ипохондрией, которой вскоре суждено было погубить Жан-Жака Руссо, — всюду видел врагов, преследователей, неблагодарных, не замечая, что его собственная подозрительность, вспыльчивость и несправедливость вызывают и отчасти объясняют те дурные намерения и поступки, в которых он обвинял других. Оскорбленные им люди сначала принимали его за сумасшедшего, затем — за озлобленного и, наконец, решили, что лучше отступиться от него, обезопасить себя или даже отомстить ему. Между низким раболепством и угрюмой мизантропией есть нечто

среднее, чего Порпора не понимал, да так никогда и не понял.

Консуэло, после нескольких бесплодных попыток убедившаяся, что маэстро менее чем когда-либо склонен благословить ее на любовь и брак, безропотно покорилась и уже не вызывала больше своего несчастного учителя на откровенные разговоры, которые только усиливали его предубеждение. Она перестала упоминать даже имя Альберта и готова была подписать любой ангажемент, какой прикажет ей Порпора. Оставаясь наедине с Йозефом, она открывала ему свою душу, и это приносило ей облегчение.

— Странная у меня судьба, — часто говорила она ему, — небо наделило меня способностями и любовью к искусству, стремлением к свободе, к гордой, целомудренной независимости, но в то же время вместо холодного и жестокого эгоизма, который обеспечивает артистам силу, необходимую, чтобы пробить себе дорогу сквозь опасности и соблазны жизни, небесная воля вложила в мою грудь нежное, чувствительное сердце, бьющееся только для других, живущее только привязанностью и преданностью. И вот, раздираемая двумя враждебными силами, жизнь моя проходит напрасно, и я никак не могу достичь цели. Если

я рождена для преданности, пусть Бог отнимет у меня любовь к искусству, к поэзии и жажду свободы, превращающие преданность в мучение, в пытку. Если же я рождена для искусства и для свободы, пусть он вынет из моего сердца жалость, дружелюбие, заботливость, боязнь причинить страдания — словом, все то, что всегда будет отравлять мой успех и мешать моей карьере.

— Если бы мне было позволено дать вам совет, моя бедная Консуэло, — отвечал Гайдн, — я сказал бы: «Слушайтесь голоса своего таланта и заглушите голос сердца». Но теперь я хорошо узнал вас и вижу, что вы не сможете этого сделать.

— Да, не могу. И, кажется, никогда не смогу! Но подумай, как я несчастна! Подумай, какая у меня сложная, странная и печальная судьба. Даже на пути преданности меня окружают препятствия, раздирают противоречия, и я не могу идти туда, куда влечет меня сердце, не разбив этого сердца, жаждущего творить добро и правою и левою рукой. Посвяти я себя одному, я покидаю и обрекаю на гибель другого. У меня есть нареченный супруг, но я не могу стать его женой, ибо этим я убью моего приемного отца. С другой стороны, исполняя дочерний долг, я убиваю своего супруга! В Писании сказано: «Остави отца своего и матерь

свою и следуй за мужем своим...». Но на самом деле я и не жена и не дочь. В Законе ничего не сказано относительно меня, и общество не позаботилось о моей судьбе. Сердце мое само должно сделать выбор, но не страстная любовь управляет им, и мне не приходится выбирать между долгом и страстью. Альберт и Порпора одинаково несчастны, обоим одинаково угрожает потеря рассудка или смерть. Я одинаково необходима и тому и другому... Надо пожертвовать кем-либо из двух.

— А зачем? Выйди вы замуж за графа, почему бы Порпоре не жить подле вас? Тогда вы вырвали бы его из нищеты, воскресили своими заботами и одновременно выполнили бы обе свои обязанности.

— О! Если бы это было возможно, клянусь тебе, Йозеф, я отказалась бы и от искусства и от свободы! Но ты не знаешь Порпору — он жаждет славы, а не достатка и благополучия. Он живет в нищете, не замечая ее, он страдает от нее, не понимая причины этого страдания. К тому же, постоянно мечтая о славе и поклонении, он не смог бы снизойти до того, чтобы примириться с людским состраданием. Поверь мне, его бедственное положение в большей степени является

следствием его собственного пренебрежения и гордости. Скажи он только слово, и у него найдутся друзья и с радостью придут ему на помощь. Но, помимо того, что он никогда не замечал, полон или пуст его карман (ты видел, что это относится и к его желудку), он предпочел бы, запершись в своей комнате, умереть с голоду, чем пойти за милостью в виде обеда к своему лучшему другу. Ему казалось бы унизительным для музыки, если бы кто-нибудь мог заподозрить, что он, Порпора, нуждается в чем-либо, кроме своей гениальности, клавесина и пера. Вот почему посланник и его подруга, которые так любят и почитают маэстро, даже не подозревают о его нужде. Они знают, что старик живет в тесной и плохой комнате, но думают, будто ему нравятся темнота и беспорядок. Ведь он сам говорит им, что не мог бы сочинять в другой обстановке. Я же знаю, что это совсем не так. Я видела, как он в Венеции взбирался на крыши, ища вдохновения в созерцании неба и шуме моря. Если его принимают в потертом костюме, облезлом парике и дырявых башмаках, то считают, что оказывают ему любезность. «Он любит неряшливость, — говорят люди, — это слабость стариков и артистов. Его лохмотья ему милы, а в новых башмаках, пожалуй, он и ходить

не сумеет». Он сам это подтверждает. А я в свои детские годы видела его аккуратным, изысканно одетым, всегда надушенным, чисто выбритым, кокетливо потряхивающим над органом или клавесином кружевными манжетами — в то время он мог быть таким, никому не обязываясь. Никогда Порпора не согласится жить в праздности и безвестности где-то в глубине Чехии за счет своих друзей. Не прошло бы и трех месяцев, как он начал бы проклинать и ругать всех, воображая, что враги замыслили его погубить и заперли в глуши, чтобы помешать ему издавать и ставить на сцене свои произведения. И он, отряхнув прах от ног своих, сбежал бы в одно прекрасное утро в свою мансарду, к своему изъеденному крысами клавесину, к своей пагубной бутылке и драгоценным рукописям.

— А разве нельзя уговорить вашего графа Альберта переехать в Вену, в Венецию, в Дрезден или Прагу, словом, в какой-нибудь город, где процветает музыка? Ведь вы будете достаточно богаты, чтобы поселиться где угодно, окружить себя музыкантами, заниматься искусством и предоставить тщеславию Порпоры свободу действий, не переставая заботиться о нем.

— Как можешь ты задавать мне подобный во-

прос после того, что я рассказала тебе о характере и здоровье Альберта? Ему тягостно видеть равнодушное лицо, — так как же сможет он жить в толпе злых и глупых людей, именуемой светом? А с какой иронией, с какой холодностью и презрением отнесся бы свет к этому святому, этому фанатику, ничего не понимающему ни в его законах, ни в его нравах, ни в его привычках. Альберта столь же опасно подвергать таким испытаниям, как и стараться, чтобы он позабыл меня, хоть сейчас я и пробую это сделать.

— Однако любая беда покажется ему менее страшной, чем разлука с вами, уверяю вас. Если Альберт вас любит по-настоящему, он все перенесет. А если не любит настолько, чтобы все вынести и на все согласиться, он вас забудет.

— Вот почему я жду и ничего не решаю. Помогай мне, Беппо, и не оставляй меня, — пусть будет хоть одна душа, которой я могла бы излить свое горе и которая поддерживала бы во мне надежду.

— О сестра моя, будь спокойна! — воскликнул Йозеф. — Если мне дано принести тебе хоть маленькое облегчение, я безропотно буду терпеть все вспышки Порпоры; готов даже выносить его побои, если это может отвлечь его от желания

мучить и огорчать тебя.

Беседуя таким образом с Йозефом, Консуэло не переставала работать — то стряпая вместе с ним на всех троих, то приводя в порядок белье Порпоры. Она добавила необходимую для маэстро мебель, незаметно внося в комнату одну вещь за другой. Прекрасное кресло, широкое и набитое волосом, заменило соломенный стул, на котором он давал отдых своим старческим костям. Сладко поспав в нем после обеда, он удивился и, нахмурив брови, спросил, откуда взялось такое хорошее кресло.

— Хозяйка прислала его сюда — это старое кресло мешало ей, и я согласилась поставить его в угол, пока оно ей не понадобится.

Консуэло обновила также и тюфяки учителя, но он не сделал никаких замечаний относительно удобства своей постели, сказав только, что последние ночи перестал страдать от бессонницы. Консуэло ответила, что это следует приписать кофе и воздержанию от водки. Однажды утром Порпора, надев превосходный халат, с озабоченным видом спросил Йозефа, где он его разыскал. Йозеф, как было условлено, ответил, что, убирая старый сундук, нашел этот халат на дне.

— А я думал, что не привозил его сюда, — за-

метил Порпора. — Однако ж это тот самый, что был у меня в Венеции, во всяком случае он того же цвета.

— А какой же еще? — ответила Консуэло, позаботившись о том, чтобы цвет нового халата напоминал давно отживший свой век венецианский.

— А я считал его более поношенным, — сказал маэстро, осматривая свои локти.

— Еще бы, — продолжала Консуэло, — я вшила новые рукава.

— Из чего же?

— Из подкладки.

— А! Женщины удивительны, они умеют из всего извлечь пользу…

Когда был принесен новый костюм и Порпора поносил его два дня, то, хотя костюм и был одного цвета со старым, маэстро удивился его виду, особенно пуговицы, очень красивые, навели его на размышления.

— Это не мой костюм, — проворчал старик.

— Я велела Беппо отнести его в чистку: ты вчера вечером наделал на нем пятен. Его выутюжили, вот он и кажется более новым.

— Говорят тебе, это не мой костюм! — закричал Порпора, выходя из себя. — Его подменили в

чистке. Твой Беппо дурак!

— Его не могли подменить, я сделала на нем метку.

— А пуговицы? Думаешь, я не вижу, что это не те пуговицы?

— Я сама заменила их новыми. Старые никуда не годились.

— Все твои выдумки, они были еще очень хороши. Вот глупость! Что я, франт какой-нибудь, чтобы так рядиться и платить за пуговицы, наверное, не меньше двенадцати цехинов.

— Они и двенадцати флоринов не стоят, — возразила Консуэло, — я купила их по случаю.

— И это слишком дорого, — проворчал маэстро.

Все части его туалета были подсунуты ему таким же манером, при помощи ловких обманов, а Консуэло и Йозеф хохотали при этом как дети. Несколько вещей проскользнуло незаметно благодаря большой занятости Порпоры; кружева и белье проникали тайком в его шкаф маленькими порциями, а когда он рассматривал их на себе с некоторым недоумением, Консуэло обыкновенно говорила, что это она так искусно все заштопала. Для большего правдоподобия она чинила у него на глазах кое-какое старье, а потом укладывала

его вместе с другими вещами.

— Ну вот что! — воскликнул однажды Порпора, вырывая у нее из рук жабо, которое она зашивала. — Брось-ка эти пустяки! Артистка не должна быть служанкой, и я не желаю видеть, как ты, согнувшись в три погибели, сидишь с иглой в руках. Сейчас же убери это, иначе я швырну все в печку. Не хочу также видеть, как ты стряпаешь у плиты и вдыхаешь дым. Или ты хочешь потерять голос? Хочешь стать судомойкой? Хочешь окончательно измучить меня?

— Не мучайтесь больше, — ответила Консуэло, — ваша одежда теперь в порядке, а голос мой вернулся.

— В добрый час! — ответил маэстро. — В таком случае ты завтра поешь у графини Годиц, вдовы маркграфа Байрейтского.

Глава LXXXVII

Маркграфиня Байрейтская, вдова маркграфа Георга-Вильгельма, урожденная княгиня Саксен-Вессенфельд, во втором браке графиня Годиц, «была, говорят, когда-то хороша, как ангел. Но с тех пор она очень изменилась, и надо было чрезвычайно внимательно всматриваться в ее черты, чтобы найти в них следы былой прелести. Она отличалась высоким ростом и, по-видимому, обладала когда-то тонкой талией. Чтобы сохранить эту талию, она убила, сделав выкидыши, нескольких своих детей. У нее было длинное лицо и длинный нос, который ее очень безобразил, так как был отморожен и приобрел весьма неприятный цвет бурака. Глаза, привыкшие повелевать, большие, карие, с красивым разрезом, утратили вместе с зоркостью прежнюю живость. За неимением бровей она носила накладные, очень густые и черные, как чернила. Рот, большой, но красиво очерченный, имел приятное выражение; зубы были ровные, белые, точно слоновая кость; кожа на лице, хотя и гладкая, но уже дряблая, отличалась желтовато-свинцовым

оттенком. Вид у маркграфини был добродушный, но несколько жеманный. То была Лаиса своего века. Нравилась она только своей наружностью, ума же у нее не было и тени».

Если, дорогой читатель, вы найдете, что портрет этот сделан несколько жестоко и цинично, не пеняйте на меня. Он слово в слово написан собственной рукой принцессы, известной своими несчастьями, своими семейными добродетелями, своей гордостью и своей злостью, — принцессы Вильгельмины Прусской, сестры Фридриха Великого и жены наследного принца Байрейтского, племянника нашей графини Годиц. У принцессы был самый злой язык из всех, какие когда-либо имелись у лиц королевской крови, но все сделанные ею литературные портреты написаны мастерски, и, читая их, трудно усомниться в их верности.

Когда Консуэло, причесанная Келлером и одетая благодаря его усердию и заботам с элегантной простотой, вошла вместе с Порпорой в гостиную маркграфини, оба поместились за клавесином, отодвинутым в угол, чтобы не стеснять общество. Порпора оказался настолько пунктуален, что никого из гостей еще не было и лакеи зажигали последние свечи. Маэстро стал пробовать кла-

весин, но не успел он взять несколько аккордов, как в гостиной появилась удивительно красивая дама и подошла к нему с приветливой грацией. Так как Порпора поклонился ей с большим почтением и назвал ее принцессой, то Консуэло приняла ее за маркграфиню и, согласно обычаю, поцеловала ей руку. Холодная, бледная рука принцессы пожала руку девушки с сердечностью, какую редко можно встретить среди великих мира сего и которая сразу пленила сердце Консуэло. Принцессе казалось на вид лет тридцать. Фигура ее была изящна, но не совсем правильна; в ней замечалось даже некоторое искривление — по-видимому, следствие тяжких физических страданий. Лицо ее было прелестно, но страшно бледно, а выражение глубокой скорби делало его преждевременно поблекшим и изможденным. Туалет ее был очень изящен, но прост и до суровости благопристоен. Все ее прекрасное существо дышало добротой, грустью и робкой скромностью, а в голосе слышались кротость и нежность, тронувшие Консуэло. Прежде чем последняя сообразила, что ошиблась, появилась настоящая маркграфиня. Ей было тогда за пятьдесят, и если портрет, помещенный в начале этой главы и набросанный десятью годами раньше, казался

немного утрированным, то он вполне подходил к тому времени, когда ее увидела Консуэло. Даже при большой доброжелательности трудно было поверить, что графиня Годиц слыла когда-то одной из первых красавиц Германии, хотя она румянилась и одевалась с умелым, весьма изысканным кокетством. Со зрелым возрастом формы ее расплылись, но она упорно не замечала этого и продолжала выставлять напоказ обнаженную грудь и плечи с гордостью, подобающей разве что античной статуе. Голова ее была убрана цветами, бриллиантами и перьями, как у молодой женщины, а наряд сверкал драгоценными камнями.

— Матушка, — проговорила принцесса, введшая в заблуждение Консуэло, — вот молодая особа, о которой нам говорил Порпора. Она доставит нам удовольствие и даст возможность послушать его чудесную новую оперу.

— Но это еще не основание для того, чтобы вы держали ее за руку, — ответила маркграфиня, оглядывая Консуэло с головы до ног. — Ступайте, сударыня, и садитесь у клавесина, я рада вас видеть, вы нам споете, когда все общество будет в сборе. Маэстро Порпора, приветствую вас! Прошу меня извинить, если я не займусь вами: я только сейчас заметила, что в моем туалете кое-чего не

хватает. Дочь моя, побеседуйте немного с маэстро Порпорой; это человек большого таланта, он пользуется моим уважением.

Проговорив это хриплым, словно у солдата, голосом, толстая маркграфиня тяжеловесно повернулась и удалилась в свои покои.

Не успела она выйти, как принцесса, ее дочь, подошла к Консуэло и снова с деликатной, трогательной приветливостью взяла ее за руку, как бы желая показать, что не одобряет грубости своей матери. Затем она стала беседовать с Консуэло и Порпорой, мило и просто выказывая им свое внимание. Консуэло тем более оценила это ласковое обращение, что при появлении некоторых лиц заметила в манерах принцессы холодность и сдержанность, одновременно скромную и гордую, от которой она, очевидно, отрешилась исключительно ради маэстро и его ученицы.

Когда почти все уже были в сборе, вошел обедавший в гостях парадно одетый граф Годиц; он, словно посторонний, приблизился к своей благородной супруге, осведомился о ее здоровье и поцеловал у нее руку. Маркграфиня имела слабость считать себя особой нежного сложения. Она полулежала на кушетке, поминутно нюхая флакон с солями, и принимала гостей с видом,

который казался ей томным, но, в сущности, был только пренебрежительным; короче говоря, она выглядела так смешно, что Консуэло, сначала раздраженная и возмущенная ее грубостью, в конце концов стала находить ее крайне забавной и собиралась вдоволь потешиться над ней дома, описывая ее своему другу Беппо.

Принцесса подошла к клавесину и при каждом удобном случае, когда мать не глядела на нее, обращалась к Консуэло то с какими-нибудь словами, то с улыбкой. Это позволило Консуэло уловить сценку, раскрывшую ей тайну сокровенных семейных отношений. Граф Годиц подошел к падчерице, взял ее руку, поднес к губам и продержал так несколько секунд, сопровождая этот жест весьма выразительным взглядом. Принцесса отдернула руку, сказав несколько холодных, учтивых слов. Граф пропустил их мимо ушей, но не отводил глаз от падчерицы.

— Ну что, мой прекрасный ангел, — проговорил он, — все так же грустна, так же сурова, так же закутана до самого подбородка? Можно подумать, что вы собираетесь стать монахиней!

— Очень возможно, что тем я и закончу, — вполголоса ответила принцесса. — Светское общество поступило со мной так, что не внушило

мне большого влечения к его утехам.

— Общество обожало бы вас, было бы у ваших ног, если бы вы не стремились своей суровостью держать его на расстоянии. Что же касается монастыря — неужели в ваши годы и с вашей красотой вы могли бы вынести его ужасы?

— В годы, когда я была веселее и красивее, чем ныне, — ответила она, — я вынесла ужас еще более сурового заключения, разве вы забыли? Однако, граф, прекратите разговор со мной — матушка смотрит на нас.

Граф немедленно, словно его толкнули, отошел от падчерицы, приблизился к Консуэло и с важностью поклонился ей. Потом, сказав ей несколько общих слов о музыке, он открыл ноты, положенные Порпорой на клавесин, и, словно в поисках чего-то, что требовало особого объяснения, нагнулся над пюпитром и тихо проговорил:

— Вчера утром я видел дезертира, и жена его передала мне вашу записку. Я прошу прекрасную Консуэло забыть некую встречу, а взамен ее молчания я забуду некоего Йозефа, только что замеченного мной в передней.

— Некий Йозеф — талантливый артист, и ему недолго еще оставаться в передней, — ответила Консуэло. Обнаружив ревность маркграфини

и супружескую покорность графа, она совершенно успокоилась относительно последствий своего приключения в Пассау. — Йозеф — мой брат, — продолжала она, — мой товарищ, мой друг. Мне нечего краснеть за свои чувства к нему и нечего скрывать. Единственное, о чем я могу просить ваше сиятельство, — это о некотором снисхождении к моему голосу и о небольшом покровительстве Йозефу в будущих его дебютах на музыкальном поприще.

— Моя поддержка Йозефу обеспечена, а ваш чудесный голос уже привел меня в восторг. Но я льщу себя надеждой, что некая шутка с моей стороны не была принята вами всерьез.

— Я никогда не была настолько самоуверенна, господин граф, к тому же я знаю, что женщине не следует хвалиться, когда она становится предметом подобной шутки.

— Оставим это, синьора, — сказал граф; вдовствующая маркграфиня не спускала с него глаз, и ему не терпелось переменить собеседницу, чтобы не возбудить подозрений супруги. — Надеюсь, что знаменитая Консуэло сумеет простить веселую шутку, допущенную мною в путешествии, а в будущем она может рассчитывать на уважение и преданность графа Годица.

Он положил ноты обратно на клавесин и направился, раболепно улыбаясь, навстречу лицу, о котором доложили с большой торжественностью. То был маленький человечек, которого можно было принять за переодетую женщину, до того он был нарумянен, завит, разодет, нежен, мил и надушен. Это о нем Мария-Терезия говорила, что хотела бы оправить его в перстень; о нем же она сказала, что сделала из него дипломата, не имея возможности сделать что-либо лучшее. То был всесильный первый министр Австрии, любимец и даже, как уверяли, возлюбленный императрицы, — словом, не кто иной, как знаменитый Кауниц, государственный муж, державший в своей белой руке, украшенной многоцветными перстнями, все хитросплетения европейской политики.

Он, казалось, с серьезным видом выслушивал так называемых серьезных людей, подходивших к нему потолковать о серьезных делах. Но вдруг он прервал свою речь на полуслове.

— Кто это там у клавесина? — спросил он графа Годица. — Не та ли это девочка, о которой мне говорили, — любимица Порпоры? Бедняга Порпора! Мне бы хотелось что-нибудь сделать для него, но он так требователен, так взбалмошен,

что все артисты или боятся, или ненавидят его. Когда заговоришь о нем, то словно показываешь голову Медузы. Одному он заявляет, что тот поет фальшиво, другому — что его произведения никуда не годятся, третьему — что успехом он пользуется только благодаря интригам. И он еще хочет, чтобы после таких слов, уместных в устах Гурона, его слушали и отдавали справедливость его таланту! Черт возьми! Не в лесной же глуши мы живем! Откровенность больше не в моде и правдой ничего не добьешься. А девочка эта недурна, мне нравятся такие лица. Она совсем юная, не правда ли? Говорят, она пользовалась большим успехом в Венеции. Пусть Порпора приведет ее завтра ко мне.

— Он хочет, чтоб ее услышала императрица, — сказала принцесса, — вы можете устроить это, и я надеюсь, не откажете ему в такой милости. Я тоже прошу вас об этом.

— Устроить, чтобы ее услышала императрица — да нет ничего легче, и достаточно желания вашего высочества, чтобы я поспешил исполнить его. Но в театре есть некто более могущественный, чем императрица. Это госпожа Тези! И если бы даже императрица взяла эту девушку под свое покровительство, я сомневаюсь, чтобы ангаже-

мент был подписан без верховного одобрения Тези.

— Говорят, вы ужасно балуете этих дам, господин граф, и не будь вы столь снисходительны, они не пользовались бы такой властью.

— Что поделаешь, принцесса! Каждый — хозяин в своем доме. Ее величество прекрасно понимает, что, вмешайся она в дела оперы со своими королевскими указами, там все пошло бы вкривь и вкось. А ее величество желает, чтобы опера была хороша и доставляла всем удовольствие. Но возможно ли это, если у примадонны в день дебюта объявится насморк, а тенор, вместо того чтобы в сцене примирения броситься в объятия баса, даст ему пощечину! Довольно с нас и того, что мы ублажаем господина Кафариэлло. Мы счастливы с тех пор, как госпожа Тези и госпожа Гольцбауэр ладят между собой. Если же нам бросят на театральные подмостки яблоко раздора, это снова смешает все наши карты.

— Но третий женский голос совершенно необходим, — заметил венецианский посланник, горячо покровительствовавший Порпоре и его ученице, — и вот появляется дива…

— Если она дива, тем хуже для нее. Она возбудит зависть госпожи Тези, которая тоже дива и

желает быть единственной. Приведет она в бешенство и госпожу Гольцбауэр, также желающую быть дивой…

— Ну, ей-то далеко до этого, — вставил посланник.

— Но она очень хорошего происхождения. Эта особа из знатной семьи, — лукаво заметил господин Кауниц.

— Но она не в состоянии исполнить сразу две роли, и ей волей-неволей придется уступить кому-либо партию меццо-сопрано.

— У нас есть некая Корилла, предлагающая свои услуги, красивейшая женщина в мире.

— Ваше сиятельство уже видели ее?

— В первый же день ее приезда. Но я ее не слышал: она была больна.

— Вы сейчас услышите ученицу Порпоры и, не задумываясь, отдадите ей предпочтение.

— Очень возможно. И признаюсь даже, что ее лицо, менее красивое, чем у той, мне кажется более приятным. У нее очень кроткий и скромный вид. Но мое предпочтение ничего не даст бедняжке! Надо, чтобы она понравилась госпоже Тези, не раздражая в то же время госпожу Гольцбауэр, а до сих пор, несмотря на нежнейшую дружбу этих двух дам, все, что одобряла одна, энергично

отвергала другая.

— Да, тяжелый случай! Трудная задача! — не без лукавства проговорила принцесса, видя, какое значение придают два государственных мужа закулисным интригам. — Наша милая протеже является соперницей госпожи Кориллы. Бьюсь об заклад, что перевесит та чаша весов, на которую положит свою шпагу господин Кафариэлло.

Когда Консуэло спела, все в один голос заявили, что со времен госпожи Гассе не слыхали ничего подобного, а господин фон Кауниц, подойдя к ней, торжественно произнес:

— Сударыня, вы поете лучше госпожи Тези. Но да будет это сказано вам здесь всеми нами по секрету, ибо, если подобное мнение выйдет за пределы этого дома, вы пропали и в этом сезоне вам не дебютировать в Вене. Будьте же осторожны, очень осторожны, — прибавил он, понижая голос и усаживаясь подле нее. — Вам придется преодолеть большие препятствия, и победить вы сможете, только проявив большую ловкость.

Тут великий Кауниц, входя во все подробности театральных интриг и раскрывая перед Консуэло все мелкие страстишки труппы, прочитал ей целый трактат о дипломатической науке в применении к закулисному миру.

Консуэло слушала его, широко раскрыв глаза от удивления, и так как, в течение своей речи, он раз двадцать повторил «моя последняя опера», «опера, поставленная мной месяц тому назад», то она решила, что ослышалась, когда о нем докладывали, и лицо, столь глубоко посвященное в тайны театрального мира, могло быть только директором оперного театра или модным композитором. Поэтому она отбросила всякое стеснение и стала говорить с ним, как с человеком своей профессии. Непринужденность придала ей еще больше простоты и живости, чем дозволило бы почтение, подобающее при разговоре с особой всесильного первого министра. Господин фон Кауниц нашел ее очаровательной. В течение целого часа он занимался исключительно ею. Маркграфиня пришла в крайнее негодование от подобного нарушения приличий. Она ненавидела вольность больших дворов, привыкнув к церемонной торжественности малых. Но разыгрывать из себя маркграфиню, перестав ею быть, она уже не могла. Она пользовалась снисхождением и даже благосклонностью императрицы, так как отреклась от лютеранского вероисповедания и перешла в католичество. За такой лицемерный поступок при австрийском дворе готовы были

простить любой неравный брак, даже любое преступление. В этом отношении Мария-Терезия следовала примеру своих родителей и принимала всех, кто, желая избежать преследований и глумлений в протестантской Германии, искал прибежища в лоне римско-католической церкви. Но, будучи и принцессой и католичкой, маркграфиня ничего не значила в Вене, а господин фон Кауниц был там всесилен.

После того как Консуэло пропела свою третью арию, Порпора, хорошо знакомый с этикетом, сделал ей знак, свернул ноты и вышел вместе с ней через маленькую боковую дверь, не обеспокоив своим уходом благородных особ, соблаговоливших внимать ее божественному пению.

— Все идет как по маслу, — проговорил маэстро, потирая руки, когда они очутились на улице в сопровождении Йозефа, несшего перед ними факел. — Кауниц, старый дурак, знает толк в музыке. Благодаря ему ты далеко пойдешь!

— А кто он такой, этот Кауниц? Я его не видела, — сказала Консуэло.

— Не видела, дурочка! Да ведь он с тобой говорил больше часа.

— Как? Маленький человечек в розовом жилете с серебром? Мне казалось, будто я слушаю старую

билетершу — столько он наболтал мне сплетен.

— Он самый. Что же тут странного?

— А я нахожу это очень странным, — ответила Консуэло, — у меня было совсем иное представление о государственных людях.

— Потому что ты не видишь, как действует государственная машина, а если бы видела, то не удивилась бы, что государственные люди — не что иное, как старые кумушки. Ну, довольно об этом, займемся лучше нашим ремеслом на этом маскараде высшего света.

— Увы, маэстро, — задумчиво промолвила молодая девушка, когда они пересекали большую площадь у городского вала, направляясь в предместье, где находилось их скромное жилище, — я как раз спрашиваю себя; во что превращается наше ремесло среди этих равнодушных и лживых масок?

— А во что ты хочешь, чтобы оно обратилось? — продолжал Порпора своим резким, отрывистым тоном. — Оно не может обратиться во что-либо иное: счастливое или несчастливое, торжествующее или презираемое, оно всегда остается тем, что оно есть — самым прекрасным, самым благородным ремеслом на свете!

— О да! — сказала Консуэло, беря учителя под

руку и замедляя его обычно быстрый шаг. — Я понимаю, что величие и достоинство нашего искусства не могут быть ни унижены, ни возвышены по прихоти пустых капризов или дурного вкуса управляющих миром; но почему позволяем мы унижать свою личность, почему подвергаем себя презрению невежд или их поощрению, порой еще более унизительному? Если искусство священно, разве не священны и мы, его жрецы и законодатели? Почему не живем мы в своих мансардах, счастливые тем, что понимаем и умеем чувствовать музыку, зачем должны мы бывать в их гостиных, где нас слушают, перешептываясь, где нам аплодируют, думая о другом, и где стыдятся признать нас хоть на минуту людьми, после того как мы перестали быть комедиантами?

— Эх! Эх! — проворчал Порпора, останавливаясь и стуча палкой по мостовой. — Что за глупое тщеславие, что за ложные идеи бродят нынче у тебя в голове! Да что мы такое, как не комедианты, и зачем нам быть чем-либо иным? Они называют нас так из чувства презрения. А не все ли нам равно? Ведь мы комедианты по склонности, по призванию, по воле неба, точно так же, как они вельможи по прихоти случая, по необходимости или по выбору дураков! Да,

мы комедианты! А это не каждому дано! Ну-ка, пусть попробуют: посмотрим, как они возьмутся за наше дело, эти пигмеи, воображающие себя великанами! Пусть-ка маркграфиня Байрейтская облечется в тогу трагической актрисы, наденет на свои уродливые толстые ножищи котурны и сделает два-три шага по сцене — воображаю, какую диковинную принцессу увидим мы пред собой! А что, ты думаешь, она делала при своем маленьком дворе в Эрлангене в те времена, когда воображала, будто царствует там? Она строила из себя королеву и лезла из кожи вон, чтобы играть роль, которая была ей не по силам. Рождена она быть маркитанткой, а по странной оплошности судьба сделала из нее высочество. Вот и оказалась она тысячу раз освистанной, представляя высочество навыворот. А тебя, глупое дитя, Бог сотворил королевой! Он возложил на твое чело венец красоты, разума и силы. Очутись ты среди народа свободного, разумного, восприимчивого (предположим, что такой существует) — и ты королева, ибо тебе стоит лишь появиться и спеть, чтобы доказать, что ты королева милостью Божьей. Но все это не так. Мир устроен иначе. Он таков, каков есть; что тут поделаешь? Им управляют случай, каприз, заблуждение и безумие. Разве мы можем

это изменить? Большинство власть имущих безобразно, бесчестно, глупо и невежественно. Вот и приходится нам либо покончить с собой, либо приспособиться к общему ходу жизни. Не имея возможности быть монархами, мы становимся актерами и все-таки царствуем! Мы передаем язык небес, недоступный простым смертным, мы облекаемся в одежды царей и героев, поднимаемся на подмостки, восседаем на бутафорском троне, разыгрываем комедию. Мы комедианты! Клянусь Богом, земные владыки все это видят и ничего не смыслят. Они не замечают, что мы настоящие властители земли и только наше царство истинно, в то время как их царство, их могущество, их действия, их величие — пародия, над которой смеются ангелы на небе, а народы ненавидят их и втихомолку проклинают. Самые могущественные государи приходят смотреть на нас, учиться в нашей школе и, восхищаясь нами в душе, как образцами истинного величия, стараются подражать нам, когда выступают перед своими подданными. Да, мир выворочен наизнанку; это прекрасно чувствуют его владыки, и если они не вполне отдают себе в этом отчет, если они в этом не признаются, то нетрудно заметить по их презрению к нам и нашему ремеслу,

что они невольно завидуют нашему истинному превосходству. О! Когда я бываю в театре, мне все становится ясно! Музыка открывает мне глаза, и я вижу за рампой настоящий королевский двор, настоящих героев, великие порывы, в то время как подлинные скоморохи и жалкие комедианты с важностью восседают в ложах на бархатных креслах. Свет — комедия, вот что несомненно; и вот почему я только что говорил тебе: благородная дочь моя, пройдем с достоинством через этот убогий маскарад, именуемый светом… Черт побери этого дурака! — закричал маэстро, отталкивая Йозефа, который, жадно вслушиваясь в восторженную речь учителя, незаметно приблизился и толкнул его локтем. — Он наступает мне на ноги, заливает меня смолой от факела! Пожалуй, подумаешь, что он понимает, о чем мы говорим, и хочет почтить нас своим одобрением!

— Иди справа от меня, Беппо, — сказала девушка, делая Гайдну знак. — Ты своей неловкостью раздражаешь маэстро. — И, обращаясь к Порпоре, продолжала: — Все, что вы говорите, друг мой, благородный бред. Это ничего не поясняет мне, а упоение собственной гордостью не облегчает даже самой маленькой сердечной раны. Меня мало трогает, что, родившись королевой, я не

царствую. Чем больше я вижу великих мира сего, тем больше внушают они мне сожаления.

— Ну, не то ли самое я тебе говорил?

— Да, но я не о том вас спрашивала. Они жаждут что-то изображать собой и властвовать. В этом их безумие и их ничтожество. Но если мы выше, лучше и умнее их, зачем же противопоставляем мы свою гордость их гордости, свою царственность их царственности? Если мы обладаем достоинствами более значительными, если владеем сокровищами более завидными и более драгоценными, к чему ведем мы с ними эту жалкую борьбу, зачем ставим наши таланты и наши силы в зависимость от их прихотей и низводим себя до их уровня?

— Этого требуют достоинство, святость искусства, — воскликнул маэстро. — Они превратили подмостки, именуемые миром, в поле сражения, а нашу жизнь — в мученичество. И вот, мы должны сражаться, должны источать кровь из всех наших пор, чтоб доказать им, умирая от непосильного труда, изнемогая от их свистков и презрения, что мы боги или по меньшей мере законные короли, а они жалкие смертные, наглые и низкие узурпаторы!

— О маэстро, как вы их ненавидите! — вос-

кликнула Консуэло, содрогаясь от изумления и ужаса. — А между тем вы склоняетесь перед ними, льстите им, задабриваете их и удаляетесь через маленькую боковую дверь, почтительно угостив их двумя или тремя блюдами вашего гения.

— Да, да, — ответил маэстро, потирая руки с горьким смехом, — я издеваюсь над ними, раскланиваюсь перед их бриллиантами и орденами, подавляю их двумя или тремя мощными аккордами и поворачиваю им спину в восторге, что могу уйти, спеша избавиться от их глупых физиономий.

— Значит, — продолжала Консуэло, — апостольская миссия искусства — битва?

— Да, битва: слава храброму!

— Насмешка над дураками?

— Да, насмешка: слава умному человеку, чья насмешка может уязвить до крови.

— Затаенная ненависть, непрерывная злоба?

— Да, ненависть и злоба: слава энергичному человеку, который не устает ненавидеть и никогда не прощает!

— И ничего больше?

— Ничего больше в этой жизни! Слава для истинного гения приходит только после смерти.

— Ничего больше в этой жизни? Уверен ли ты в этом, маэстро?

— Я уже сказал тебе!

— В таком случае это очень мало, — вздохнув, промолвила Консуэло и подняла глаза к звездам, блестевшим в чистом глубоком небе.

— Мало? Ты смеешь говорить, жалкая душа, что этого мало? — закричал Порпора, снова останавливаясь и с силой тряся свою ученицу за руку, в то время как Йозеф от страха выронил факел.

— Да, я говорю, что это очень мало, — спокойно и твердо ответила Консуэло, — я уже говорила вам то же самое в Венеции в очень тяжелую для меня и решающую минуту. С тех пор я не переменила мнения. Мое сердце не создано для борьбы, оно не может вынести тяжесть ненависти и гнева. В душе моей нет уголка, где могли бы приютиться злопамятство и месть. Прочь, злобные страсти! Лихорадочные волнения, прочь от меня! Если, только допустив вас в свою душу, могу я обрести талант и славу, то прощайте навек, талант и слава! Венчайте лаврами другие головы, воспламеняйте другие сердца! Я о вас даже не пожалею!

Йозеф ожидал, что Порпора разразится ужасной и в то же время комичной вспышкой гнева,

как всегда, когда ему долго противоречили, и уже схватил Консуэло за руку, чтобы отдалить ее от учителя и предохранить от одного из тех яростных жестов, какими тот часто грозил ей, но которые, правда, никогда ничем не кончались… кроме улыбки или слез. Однако и этот шквал пронесся подобно другим: Порпора топнул ногой, глухо прорычал, как старый лев в клетке, и, сжав кулак, в запальчивости поднял его к небу, но тотчас же опустил руку, тяжело вздохнул, уронил голову на грудь и продолжал упорно молчать до самого дома. Отважное спокойствие Консуэло, ее стойкое прямодушие невольно внушили ему уважение. Он, быть может, с горечью сожалел о сказанном, но не хотел в этом сознаться: слишком он был стар, слишком уязвлен и ожесточен в своей артистической гордости, чтобы признать свою неправоту. И только когда Консуэло поцеловала его, пожелав покойной ночи, он с глубокой грустью посмотрел на нее и проговорил упавшим голосом:

— Итак, все кончено! Ты больше не артистка, потому что маркграфиня Байрейтская — старая негодяйка, а министр Кауниц — старая сплетница!

— Нет, маэстро, я этого вовсе не говорила, —

ответила, смеясь, Консуэло, — я сумею стойко перенести и грубые и смешные стороны света. Для этого мне не надо ни злобы, ни ненависти, а достаточно чистой совести и доброго расположения духа. Я артистка и всегда останусь артисткой. Я вижу другую цель, другое назначение искусства — не соревнование в гордости и не месть за унижение. У меня иная побудительная причина, и она меня поддержит.

— Но какая же, какая? — закричал Порпора, ставя на стол в передней подсвечник, поданный ему Йозефом. — Я хочу знать: какая?

— Моя цель — заставить людей понять искусство, полюбить его, не возбуждая страха и ненависти к личности артиста.

Порпора пожал плечами.

— Юношеские мечты, они были знакомы и мне! — проговорил старик.

— Ну, если это мечта, — возразила Консуэло, — то торжество гордости тоже мечта, и из двух я предпочитаю свою. Затем у меня есть еще вторая цель — желание повиноваться и угождать тебе, маэстро.

— Ничему, ничему не верю! — закричал Порпора, сердито беря подсвечник и поворачиваясь к девушке спиной. Но, уже взявшись за ручку

своей двери, он вернулся и поцеловал Консуэло, которая, улыбаясь, ожидала этой перемены настроения.

В кухне, примыкавшей к комнате Консуэло, была маленькая лестница, ведущая на крышу, к крошечной террасе в шесть квадратных футов. Тут Консуэло, выстирав жабо и манжеты Порпоры, обычно сушила их. Сюда же она взбиралась иногда вечером поболтать с Йозефом, когда учитель рано засыпал, а ей еще не хотелось спать. Не имея возможности заниматься в своей комнате, такой низкой и тесной, что в ней негде было поставить стол, и боясь расположиться в передней, чтобы не разбудить своего старого друга, она взбиралась на террасу помечтать в одиночестве, глядя на звезды, или поведать своему товарищу, такому же самоотверженному и преданному, как она сама, о мелких происшествиях дня. В тот вечер им надо было рассказать друг другу тысячу вещей. Консуэло закуталась в плащ, накинула на голову капюшон, чтобы не простудить горло, и поднялась к Беппо, с нетерпением ожидавшему ее. Эти ночные беседы на крыше напоминали ей детство и время, проведенное с Андзолетто. Правда, луна была не такая, как в Венеции, не было ни живописных венецианских крыш, ни ночей,

горящих любовью и надеждой. Здесь была немецкая ночь, мечтательная и холодная, немецкая луна, подернутая дымкой и строгая, — словом, здесь была нежная и благодетельная дружба, без опасностей и трепета страсти.

Когда Консуэло рассказала все, что ее заинтересовало, оскорбило или позабавило у маркграфини, наступил черед Йозефа.

— Ты видела, — сказал он, — только конверты с печатями и гербами, скрывающие придворные тайны, но так как лакеи имеют обыкновение читать письма своих господ, то в передней я узнал содержание жизни великих мира сего. Не буду тебе передавать и половины злословия, излитого на вдовствующую маркграфиню. Ты содрогнулась бы от ужаса и отвращения. Ах! Если бы светские люди знали, что говорят о них лакеи! Если бы из этих великолепных гостиных, где они так важно восседают, они могли бы услышать, что говорится за стеной об их нравах и характерах! Когда Порпора только что на городском валу излагал нам свою теорию борьбы с великими мира сего и говорил о ненависти к ним, он был не совсем на высоте. Горечь заставляла его судить неверно. Ах! Как ты была права, говоря ему, что он роняет свое достоинство, ставя себя на один

уровень с вельможами и воображая, что подавляет их своим презрением! Да, маэстро не слышал злословия лакеев в передней, иначе он понял бы, что личная гордость и презрение к другим, прикрытые показным почтением и покорностью, свойственны душам низким и развращенным. Зато как хорош был Порпора, как оригинален, как велик, когда, стуча палкой по мостовой, он кричал: «Мужество! Ненависть! Язвительная ирония! Вечное мщение!» Но твоя мудрость была прекраснее его бреда, и она тем более поразила меня, что я только перед тем слышал, как лакеи — угнетенные, трусливые, развращенные рабы — тоже жужжали мне в уши с глухой и глубокой злобой: «Мщение, хитрость, вероломство, вечная вражда, вечная ненависть! Наши хозяева мнят себя выше нас, но мы разоблачаем их мерзости!». Я никогда не был лакеем, Консуэло, но раз я стал им (подобно тому как ты стала мальчиком во время нашего путешествия), я, как видишь, задумался над обязанностями, каких требует мое теперешнее положение.

— И хорошо поступил, Беппо, — ответила Порпорина. — Жизнь — большая загадка, и не надо пропускать ни одного, самого мелкого факта, не объяснив себе его и не поняв. Так познается

жизнь. А скажи мне, слышал ли ты там, в передней, что-нибудь относительно принцессы, дочери маркграфини? Она одна среди всех этих жеманных, накрашенных и легкомысленных особ показалась мне естественной, доброй и серьезной.

— Слыхал ли я о ней? Конечно! И не только сегодня вечером, но и раньше, много раз от Келлера: он причесывает экономку принцессы, и ему многое известно. То, что я тебе расскажу, не сплетни передней, не лакейские пересуды — это истинная, всем известная, но страшная история — хватит ли у тебя мужества ее выслушать?

— Да, меня тронула эта женщина, отмеченная печатью горя. Я услышала из ее уст несколько слов, из которых поняла, что она жертва людской несправедливости.

— Лучше скажи: жертва подлости и ужасающей извращенности! Принцесса Кульмбахская (это ее титул) была воспитана в Дрездене своей теткой, польской королевой. Там Порпора с ней познакомился и, кажется, давал ей уроки, так же как и ее двоюродной сестре, дофине Франции. Юная принцесса Кульмбахская была красива и умна. Воспитанная строгой королевой вдали от распутной матери, она, казалось, должна была

всю жизнь прожить счастливой, уважаемой женщиной. Но вдовствующая маркграфиня, ныне графиня Годиц, не пожелала этого. Она вызвала дочь к себе и для вида принялась сватать ее то за одного родственника, тоже маркграфа Байрейтского, то за другого — принца Кульмбахского, ибо это княжество — Байрейт-Кульмбах — насчитывает больше принцев и маркграфов, чем подвластных деревень и замков. Но красота и целомудрие принцессы возбудили в ее матери смертельную зависть. Ей хотелось унизить дочь, отнять у нее любовь и уважение отца, Георга-Вильгельма (третьего маркграфа — не моя вина, если их так много в этой истории). Однако среди всех этих маркграфов для принцессы Кульмбахской не нашлось ни одного. Тогда мать обещала одному придворному своего мужа, Вобсеру, четыре тысячи дукатов в награду за то, чтобы он обесчестил ее дочь, и сама ввела этого негодяя ночью в комнату принцессы. Слуги были предупреждены и подкуплены, дворец оказался глух к воплям девушки, мать держала дверь… Консуэло, ты содрогаешься, между тем это еще не все. Принцесса Кульмбахская родила близнецов. Маркграфиня взяла их на руки, показала своему супругу и пронесла по всему дворцу, крича своей

челяди: «Смотрите, смотрите, вот дети, которых эта развратница произвела на свет!» Во время этой ужасной сцены близнецы погибли почти на руках маркграфини. Вобсер имел неосторожность написать маркграфу, требуя от него четыре тысячи дукатов, обещанных ему маркграфиней. Он ведь заработал их, он обесчестил принцессу! Несчастный отец, уже и так наполовину слабоумный, окончательно лишился рассудка и вскоре после этой катастрофы умер от ужаса и горя. Вобсеру пригрозили другие члены семьи, и он сбежал. Польская королева приказала заключить принцессу Кульмбахскую в Плассенбургскую крепость. Ее привезли туда, едва оправившуюся после родов. Она провела там в строгом заключении несколько лет и оставалась бы там поныне, если бы католические священники, пробравшись в тюрьму, не обещали ей покровительство императрицы Амалии при условии отречения от лютеранства. Жажда вернуть себе свободу заставила принцессу уступить их увещеваниям. Но освобождена она была только после смерти польской королевы. Свою независимость она прежде всего использовала для того, чтоб вернуться к вере своих отцов. Молодая маркграфиня Байрейтская, Вильгельмина Прусская, оказала ей

радушный прием при своем маленьком дворе. Здесь принцесса благодаря своим добродетелям, кротости и уму заслужила всеобщую любовь. Душа ее разбита, но все еще прекрасна, и, несмотря на то что принцесса, как лютеранка, не пользуется благосклонностью венского двора, никто не смеет издеваться над ее несчастьем. Никто, даже лакеи, не решаются злословить о ней. Здесь она проездом по какому-то делу, постоянная же ее резиденция — Байрейт.

— Вот почему, — заметила Консуэло, — она столько говорила мне об этом городе и так уговаривала поехать туда. О! Какая история, Йозеф! И что за женщина графиня Годиц! Никогда, никогда больше Порсюра не заставит меня пойти к ней, никогда больше не буду я для нее петь!

— И, однако, там можно встретить самых добродетельных, самых уважаемых придворных дам. Так уж, говорят, повелось в мире: имя и богатство все покрывают. Лишь бы вы посещали церковь — и к вам отнесутся здесь с величайшей терпимостью.

— Значит, венский двор страшно лицемерен? — проговорила Консуэло.

— Боюсь, между нами будь сказано, — ответил, понизив голос, Йозеф, — что немного лицемерна

даже наша великая Мария-Терезия.

Глава LXXXVIII

Несколько дней спустя, после того как Порпора много хлопотал, много старался на свой лад, то есть угрожал, бранился или рассыпал налево и направо насмешки, маэстро Рейтер (бывший учитель и старинный враг юного Гайдна) провел Консуэло в императорскую капеллу, где в присутствии Марии-Терезии она спела партию Юдифи в оратории «Освобожденная Бетулия» (стихи Метастазио, а музыка того же Рейтера). Консуэло была восхитительна, и Мария-Терезия соблаговолила остаться ею довольной. По окончании концерта духовной музыки Консуэло была приглашена вместе с другими певцами (Кафариэлло в том числе) в одну из зал дворца к столу с угощением, за которым председательствовал Рейтер. Едва уселась она между ним и Порпорой, как внезапный и вместе с тем торжественный шум в соседней галерее заставил вздрогнуть всех гостей, исключая Консуэло и Кафариэлло, увлеченных жарким спором о темпе исполнения хора: один находил его слишком медленным, а другая — слишком быстрым.

— Решить этот вопрос сможет только сам маэстро, — сказала Консуэло, оборачиваясь к Рейтеру.

Но она не нашла ни Рейтера справа от себя, ни Порпоры — слева: все встали из-за стола и чинно выстроились в ряд. Консуэло очутилась лицом к лицу с очаровательной женщиной лет тридцати, одетой в черное, как требовал этикет при посещении церкви, и окруженной семью детьми, из которых одного она держала за руку. То был наследник престола, будущий император Йозеф II, а прелестная женщина с легкой походкой, любезным и умным выражением свежего и энергичного лица — Мария-Терезия.

— Ecco la Giuditta?[38] — спросила императрица, обращаясь к Рейтеру. — Я очень довольна вами, дитя мое, — прибавила она, осматривая Консуэло с головы до ног. — Вы доставили мне истинное удовольствие, и никогда я так живо не чувствовала, сколь возвышенны стихи нашего дивного поэта, как сейчас, когда услышала их в вашем превосходном исполнении. У вас прекрасное произношение, а это я ценю выше всего. Сколько вам лет? Вы ведь венецианка, не правда ли? Ученица знаменитого Порпоры, которого я рада

---

[38] Примечания: 38
Это Юдифь? (*итал.*)

здесь видеть. Вы хотите поступить на императорскую сцену? Вы созданы, чтобы на ней блистать, и господин фон Кауниц покровительствует вам.

Закидав Консуэло всеми этими вопросами и не ожидая на них ответа, Мария-Терезия, поочередно глядя то на Метастазио, то на Кауница, сопровождавших ее, сделала знак одному из своих камергеров, и тот преподнес Консуэло довольно ценный браслет. Прежде чем та догадалась поблагодарить, императрица уже прошла через зал, и сияние ее монаршего чела скрылось из глаз Консуэло. Мария-Терезия удалялась со своим царственным выводком принцев и эрцгерцогинь, даря благосклонными и милостивыми словами каждого из артистов, стоявших на ее пути, и словно оставляя позади себя сверкающий след во всех взорах, ослепленных ее славой и могуществом.

Один лишь Кафариэлло сохранил, или сделал вид, что сохранил, хладнокровие. Он возобновил спор с того же места, на котором его прервал. А Консуэло положила браслет в карман, даже не подумав поглядеть на него, и продолжала как ни в чем не бывало отстаивать свое мнение, к великому удивлению и возмущению остальных музыкантов, пораженных чарами царственного

видения и не представлявших себе, как можно было в тот день думать о чем-либо ином. Излишне говорить, что один только Порпора составлял исключение, и душой и рассудком восставая против столь неистового низкопоклонства. Он умел, не роняя достоинства, склоняться перед монархами, но втайне насмехался над рабами и презирал их. Когда Кафариэлло спросил Рейтера, каков должен быть темп хора, о котором у них с Консуэло шел спор, тот с лицемерным видом поджал губы и только после повторных вопросов холодно ответил:

— Признаюсь, сударь, я не слышал вашего разговора. Когда я вижу Марию-Терезию, то забываю весь мир и долго после того, как она исчезает, пребываю в таком волнении, что не в силах думать о самом себе.

— По-видимому, та исключительная честь, которую синьора только что снискала для нас, не вскружила ей головы, — вставил находившийся здесь господин Гольцбауэр, чье раболепство выражалось несколько сдержаннее, чем у Рейтера. — Вы, синьора, должно быть, привыкли говорить с коронованными особами. Можно подумать, что вы ничего иного не делали всю свою жизнь.

— Я никогда не говорила ни с одной коронованной особой, — спокойно ответила Консуэло, не улавливая язвительности в намеках Гольцбауэра, — и ее величество не оказала мне этого благодеяния, ибо, задавая мне вопросы, казалось, избавила меня от чести и труда отвечать ей.

— А тебе, видно, хотелось поболтать с императрицей? — насмешливо заметил Порпора.

— Нет, мне этого не хотелось, — наивно ответила Консуэло.

— Очевидно, у синьоры больше беспечности, чем честолюбия, — заметил Рейтер с ледяным презрением.

— Маэстро Рейтер, — доверчиво и простодушно обратилась к нему Консуэло, — вам, может быть, не понравилось, как я спела вашу ораторию?

Рейтер признался, что никогда никто лучше не исполнял ее даже в царствование августейшего и незабвенного Карла Шестого.

— В таком случае, — сказала Консуэло, — не упрекайте меня в беспечности. Мое честолюбие в том, чтобы угождать своим учителям, в том, чтобы хорошо выполнять свое дело. Какое же еще честолюбие может быть у меня? Всякое иное было бы с моей стороны и смешным и неуместным.

— Вы слишком скромны, синьора, — возразил

Гольцбауэр, — при таланте, подобном вашему, никакое честолюбие не будет чрезмерным.

— Принимаю ваши слова за комплимент, — ответила Консуэло, — но я поверю, что немного угодила вам, только в тот день, когда вы пригласите меня на императорскую сцену.

Гольцбауэр, несмотря на всю свою осторожность, пойманный на слове, закашлялся, чтобы иметь возможность не отвечать, и вышел из положения, любезно и почтительно склонив голову. Потом, возвращаясь к первоначальному разговору, сказал:

— Вы в самом деле обладаете беспримерными спокойствием и бескорыстием. Вы даже не взглянули на браслет, подаренный вам ее величеством!

— Ах, правда! — ответила Консуэло, вынимая браслет из кармана и передавая его соседям, которым было любопытно рассмотреть и оценить его.

«Будет на что купить дров для учителя, если на эту зиму я не получу ангажемента, — подумала Консуэло. — Самое незначительное пособие было бы нам гораздо нужнее всяких украшений и безделушек».

— Ее величество божественно прекрасна! —

проговорил Рейтер, с умилением вздыхая и искоса строго поглядывая на Консуэло.

— Да, она мне показалась очень красивой, — ответила девушка, совершенно не понимая, почему Порпора толкает ее локтем.

— Показалась! — повторил Рейтер. — Трудно же вам угодить!

— Но я едва успела ее рассмотреть. Она прошла так быстро.

— А ее ослепительный ум, а гениальность, проявляющаяся в каждом слове, которое слетает с ее уст!

— Но я едва успела расслышать ее: она говорила так мало.

— Ну, синьора, вы, значит, созданы из стали или из алмаза! Уж не знаю, что нужно для того, чтобы взволновать вас.

— Я была очень взволнована, исполняя партию вашей Юдифи, — ответила Консуэло, умевшая при случае быть лукавой и начинавшая понимать, как недоброжелательно относятся к ней венские музыканты.

— Эта девушка, при всей своей наивности, вовсе не глупа, — шепотом сказал Гольцбауэр маэстро Рейтеру.

— Школа Порпоры, — ответил тот, — презрение

и насмешка.

— Если не принять мер, то старинный речитатив и стиль osservato[39] заполнят нас еще больше прежнего, — продолжал Гольцбауэр, — но будьте покойны, у меня есть средства помешать этому «порпорианству» повысить голос.

Когда все встали из-за стола, Кафариэлло сказал на ухо Консуэло:

— Видишь ли, дитя мое, все эти люди — сущие канальи. Тебе трудно будет добиться здесь чего-либо. Они все против тебя, а если бы посмели, то были бы и против меня.

— Что же мы им сделали? — спросила с удивлением Консуэло.

— Мы ученики величайшего в мире учителя пения. Они и их ставленники — наши естественные враги. Они восстановят против тебя Марию-Терезию, и все, что ты говорила, будет ей передано со злобными добавлениями. Ей будет доложено, что ты не считаешь ее красавицей, а подарок ее нашла жалким. Я хорошо знаю все их происки. Однако мужайся! Я буду защищать тебя от всех и вопреки всем, и полагаю, что мнение Кафариэлло в музыкальном мире стоит, конечно, мнения

---

[39] Примечания: 39
Задумчивый (*итал.*).

Марии-Терезии.

«Я попала в довольно скверное положение: с одной стороны — злоба, с другой — безрассудство, — подумала, уходя, Консуэло. — О Порпора, — мысленно воскликнула она, — я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сцену! О Альберт, я надеюсь, что мне это не удастся!».

На следующее утро маэстро, собираясь весь день заниматься в городе делами и находя, что его ученица немного бледна, посоветовал ей совершить загородную прогулку к Spinnerin am Kreutz[40] вместе с женой Келлера, готовой сопровождать Консуэло, когда только она пожелает.

Не успел маэстро выйти, как молодая девушка обратилась к Йозефу:

— Беппо, ступай поскорее, найми скромную карету — мы едем проведать Анджелу и поблагодарить каноника. Мы обещали сделать это раньше, но моя простуда послужит нам извинением.

— А в каком костюме явитесь вы к канонику? — спросил Беппо.

— Вот в этом самом, — ответила она, — нужно же, чтобы он знал, кто я, и примирился с тем, что

---

[40] Примечания: 40
Пряхе у креста (*нем.*).

я женщина.

— Чудесный каноник! Я так рад, что снова его увижу.

— Я тоже.

— Бедный, славный каноник! Мне грустно подумать…

— О чем?

— О том, что он совсем потеряет голову.

— Почему? Разве я так божественно хороша? А я и не знала.

— Вспомните, Консуэло, он ведь уже на три четверти был без ума от вас, когда мы расстались с ним.

— А я тебе говорю: как только он узнает, что я женщина и увидит меня такой, как я есть, он сразу опомнится и снова станет тем, чем сотворил его Господь, — благоразумным человеком.

— Это правда, одежда кое-что значит. Когда вы опять превратились здесь в барышню, после того как я за две недели привык обращаться с вами как с мальчишкой… я почувствовал какой-то страх, какую-то неловкость, в которой и сам не могу разобраться. А во время путешествия… если бы мне было позволено влюбиться в вас… Но вы скажете, что я несу вздор…

— Конечно, Йозеф, ты несешь вздор, да к тому

же еще теряешь время на болтовню. Ведь нам надо сделать десять лье, чтобы добраться до монастырской усадьбы и вернуться оттуда. Теперь восемь часов утра, а мы должны быть дома в семь вечера, к ужину учителя.

Три часа спустя Беппо и его спутница сошли у ворот аббатства. День был чудесный. Каноник с меланхолическим видом созерцал свои цветы. Увидев Йозефа, он радостно вскрикнул и бросился ему навстречу, но вдруг остолбенел, узнав своего дорогого Бертони в женском платье.

— Бертони, мое милое дитя, — воскликнул он с целомудренной наивностью, — что значит это переодевание? И почему ты являешься ко мне в таком наряде? Ведь теперь не карнавал…

— Уважаемый друг мой, — ответила Консуэло, целуя ему руку, — ваше преподобие должны простить меня, что я вас обманула. Никогда не была я мальчиком. Бертони никогда не существовал, а когда я имела счастье познакомиться с вами, тогда я в самом деле была переодета.

— Мы полагали, — заговорил Йозеф, боявшийся, чтобы изумление каноника не сменилось возмущением, — что вы, ваше преподобие, не заблуждались относительно нашего невинного притворства. Эта хитрость была придумана от-

нюдь не для того, чтобы обмануть вас, она была вызвана необходимостью; и мы всегда думали, что вы, господин каноник, великодушно и деликатно закрывали на это глаза.

— Вы так думали? — со смущением и страхом спросил каноник. — А вы, Бертони… то есть, я хочу сказать — сударыня, вы тоже так думали?..

— Нет, господин каноник, — ответила Консуэло, — ни одной минуты я этого не думала. Я прекрасно видела, что ваше преподобие нисколько не подозревает истины.

— И вы воздаете мне должное, — сказал каноник голосом несколько строгим, но вместе с тем глубоко печальным. — Я не умею идти на сделки со своей совестью, и, угадай я, что вы женщина, я никогда не стал бы настаивать, чтобы вы у меня остались. Правда, в соседней деревне и даже между моими слугами ходили смутные слухи, были некоторые подозрения, но они вызывали у меня только улыбку, до того упорно я заблуждался на ваш счет. Говорили, будто один из маленьких музыкантов, певших мессу в день храмового праздника, — переодетая женщина. А потом стали уверять, что это просто злобная выдумка сапожника Готлиба, желавшего испугать и огорчить кюре. Да наконец, я сам настойчиво

опровергал этот слух. Как видите, я совершенно поддался обману, трудно было быть более одураченным, чем я.

— Произошло большое недоразумение, господин каноник, — твердо и с достоинством, ответила Консуэло, — но никто не был одурачен. Я ни на минуту не уклонилась от должного к вам уважения и честно соблюдала условности, требуемые приличием. После долгого пути пешком я очутилась ночью на дороге, без крова, изнемогая от жажды и усталости. Вы не отказали бы в гостеприимстве нищенке. Мне вы оказали его во имя музыки, и я музыкой оплатила свой счет. Если, вопреки вашему желанию, я не ушла от вас на следующий же день, то лишь благодаря непредвиденной случайности, заставившей меня выполнить долг, который я считала выше всякого другого. Мой враг, моя соперница, моя преследовательница словно с неба свалилась у ваших дверей. Лишенная всякого попечения и помощи, она имела право на мою помощь и мое попечение. Вы помните, что было потом, ваше преподобие, и прекрасно знаете, что если я воспользовалась вашей добротой, то не для себя. И вы знаете также, что я исчезла сразу после того, как исполнила свой долг. А если сегодня я верну-

лась, чтобы лично поблагодарить вас за милости, которыми вы осыпали меня, то это потому, что честность обязывала меня вывести вас из заблуждения и дать вам объяснения, необходимые и для вашего и для моего достоинства.

— Все это очень таинственно и совершенно необычайно, — произнес наполовину побежденный каноник, — вы говорите, что несчастная, ребенка которой я усыновил, была вашим врагом, вашей соперницей… А кто же вы сами, Бертони? Простите, это имя все вертится у меня на языке. Скажите, как отныне я должен звать вас?

— Меня зовут Порпорина, — ответила Консуэло, — я ученица Порпоры, оперная певица.

— А! Прекрасно! — сказал каноник с глубоким вздохом. — Я должен был сам об этом догадаться по тому, как вы сыграли свою роль. Что же до вашего дивного музыкального таланта, мне не приходится больше ему удивляться. Вы прошли хорошую школу. Могу ли я задать вам вопрос: господин Беппо — ваш брат… или ваш муж?

— Ни то, ни другое. Он мой брат по духу, и только брат, господин каноник. Поверьте, не будь я так же целомудренна душой, как ваше преподобие, я не осквернила бы своим присутствием святости вашего жилища.

В голосе Консуэло звучала такая убедительность, что каноник поддался его очарованию, как всегда поддаются голосу искренности чистые, правдивые сердца. Он почувствовал, как с души его словно свалилась огромная тяжесть, и, медленно прогуливаясь со своими юными друзьями, принялся расспрашивать Консуэло с прежней нежностью и симпатией, которые мало-помалу вновь овладели его сердцем. Она вкратце рассказала ему, не называя имен, о главных происшествиях своей жизни; о помолвке с Андзолетто у постели умирающей матери, об измене жениха, о ненависти Кориллы, об оскорбительных намерениях Дзустиньяни, о советах Порпоры, об отъезде из Венеции, о любви к ней Альберта, о предложении семьи Рудольштадт, о собственной своей нерешительности и сомнениях, о бегстве из замка Исполинов, о встрече с Йозефом Гайдном, об их путешествии, о своем ужасе и сочувствии у одра страдающей Кориллы, о своей благодарности канонику за покровительство, оказанное ребенку Андзолетто, наконец, — о приезде в Вену и даже о встрече с Марией-Терезией, состоявшейся накануне. Йозеф до этого не знал всей истории Консуэло. Она никогда не говорила ему об Андзолетто, и то немногое, что

она рассказала теперь о своей бывшей любви к этому негодяю, не особенно поразило его, но ее великодушие по отношению к Корилле и забота о ребенке произвели на него такое сильное впечатление, что он отвернулся, чтобы скрыть слезы, а каноник своих и не удерживал. Рассказ Консуэло, сжатый, живой и искренний, оказал на него такое действие, словно он прочитал прекрасный роман, а так как до тех пор он не прочел ни одного романа, то этот оказался для него первым, приобщившим его к бурным переживаниям чужой жизни. Чтобы внимательно слушать Консуэло, каноник сел на скамейку и, когда она закончила, воскликнул:

— Если все рассказанное вами — истина, а я думаю и, как мне кажется, чувствую это в своем сердце по воле Всевышнего, то вы святая… святая Цецилия, вернувшаяся на землю! Откровенно признаюсь вам: у меня никогда не было предубеждения против театра, — прибавил он после минутного молчания и раздумья, — и вы доказали мне, что и там можно спасти душу, как в любом другом месте. Несомненно, если вы останетесь такой же чистой и благородной, как были до сих пор, дорогой мой Бертони, то заслужите царство небесное! Говорю вам то, что думаю,

дорогая моя Порпорина!

— А теперь, господин каноник, — сказала, вставая, Консуэло, — прежде чем я расстанусь с вами, расскажите мне о маленькой Анджеле.

— Анджела здорова и отлично себя чувствует, — ответил каноник. — Моя садовница неусыпно заботится о ней, и я постоянно вижу, как она гуляет с ней в цветнике. Девочка вырастет среди цветов, сама как цветок, на моих глазах, а когда наступит время позаботиться об образовании и воспитании ее в христианском духе, я сам займусь этим. Положитесь в этом на меня, дети мои. То, что мною было обещано перед лицом Всевышнего, будет свято исполнено. По-видимому, ее мать не станет оспаривать у меня этих забот, ибо, живя в Вене, она ни разу даже не прислала узнать о своей дочери.

— Она могла это сделать и окольным путем, без вашего ведома, — заметила Консуэло. — Я не верю, чтобы мать была до такой степени равнодушна. Но Корилла домогается приглашения на императорскую сцену. Она знает, что ее величество очень строга и не оказывает покровительства лицам с запятнанной репутацией. Для Кориллы важно скрыть свои грехи хотя бы до подписания контракта. Будем же хранить ее

тайну!

— Но ведь Корилла — ваша соперница! — воскликнул Йозеф. — Говорят, она восторжествует над вами благодаря своим интригам и уже злословит по всему городу, изображая вас любовницей графа Дзустиньяни. Об этом шла речь в посольстве, как рассказывал мне Келлер… Там негодовали на эту клевету, но боялись, что Корилла сумеет убедить Кауница, который охотно слушает подобного рода сплетни и не перестает восторгаться красотой Кориллы.

— Она говорила такие вещи? — вырвалось у Консуэло, покрасневшей от негодования; потом, успокоившись, она добавила: — Впрочем, так должно было быть, этого следовало ожидать…

— Но ведь стоит сказать одно слово, чтобы рассеять эту клевету, — возразил Йозеф. — И я скажу его, это слово! Я скажу, что…

— Ты ничего не скажешь, Беппо: это было бы низко и жестоко. Вы также ничего не скажете, господин каноник, а если я сама захочу что-нибудь сказать, ведь вы меня удержите, не правда ли?

— О, истинно христианская душа! — воскликнул каноник. — Но подумайте сами, такой секрет недолго сможет оставаться секретом. Достаточно кому-либо из слуг или крестьян, знающих эту

историю, проболтаться, и через какие-нибудь две недели станет известно, что целомудренная Корилла произвела здесь на свет незаконного ребенка и в довершение всего еще бросила его.

— Но позже чем через две недели либо я, либо Корилла подпишем контракт. Я не хотела бы одержать победу с помощью мести. До тех пор, Беппо, ни слова, или я лишаю тебя моего уважения и дружбы. А теперь прощайте, господин каноник. Скажите, что простили меня, протяните мне еще раз по-отечески руку, и я уеду, прежде чем ваши слуги увидят меня в этом платье.

— Пусть мои слуги говорят что хотят, а бенефиций пусть провалится к черту, если так угодно небу! Я получил недавно наследство, и это дает мне мужество пренебречь гневом своего епископа. Дети мои, не принимайте меня за святого! Я устал повиноваться и принуждать себя. Я хочу жить честно, без всяких нелепых страхов. С тех пор как подле меня нет этого страшилища Бригитты, а особенно с тех пор как я обладаю независимым состоянием, я чувствую себя храбрым как лев. Итак, пойдемте со мной завтракать; а потом мы окрестим Анджелу и займемся музыкой до обеда.

И он потащил их к себе.

— Эй, Андреас! Йозеф! — крикнул он, входя в дом. — Идите, поглядите на синьора Бертони, превратившегося в даму. Что, не ожидали, не правда ли? И я также. Ну, скорее удивляйтесь вместе со мной и живо накрывайте на стол!

Завтрак был превосходен, и наши юные друзья убедились, что если в образе мыслей каноника и произошли большие перемены, то это совершенно не коснулось его привычки хорошо покушать. Затем в монастырскую часовню принесли ребенка. Каноник сбросил свой стеганный на вате халат, надел сутану и стихарь и совершил обряд крещения. Консуэло и Йозеф были восприемниками, и девочку назвали Анджелой. Остаток дня посвятили музыке, а затем настало время прощаться. Каноник очень огорчился, узнав, что его друзья не могут с ним пообедать, но в конце концов согласился с их доводами и утешил себя надеждой вскоре увидеть их в Вене, куда он собирался переехать на зиму.

Пока запрягали, он повел молодых людей в оранжерею полюбоваться новыми растениями, которыми он обогатил свою коллекцию. Надвигались сумерки; каноник, у которого было очень тонкое обоняние, не пройдя и нескольких шагов под стеклянной крышей своего прозрачного

дворца, воскликнул:

— Я чувствую какое-то необычайное благоухание. Не зацвел ли уже ванильный шпажник? Нет, это не его аромат. А стрелиция совсем не пахнет… У цикломенов запах менее чистый, менее волнующий. Что же здесь происходит? Не погибни, увы, моя волкамерия, я сказал бы, что вдыхаю ее благоухание. Бедное растение! Лучше не вспоминать о нем.

Вдруг каноник вскрикнул от удивления и восторга: перед ним стояла в ящике самая чудесная волкамерия, какую он когда-либо видел, сплошь покрытая гроздьями белых с розовой сердцевиной розочек, сладкий аромат которых наполнял всю оранжерею, заглушая все остальные разлитые в воздухе запахи.

— Что за чудо? Откуда это предвкушение рая, этот цветок из сада Беатриче? — воскликнул каноник в поэтическом восторге.

— Мы со всевозможными предосторожностями привезли эту волкамерию с собой в карете, — ответила Консуэло, — позвольте преподнести ее вам как искупление за ужасное проклятие, сорвавшееся однажды с моих уст, в чем я буду раскаиваться всю жизнь.

— О дорогая дочь моя! Какой подарок! И с какой

деликатностью он преподнесен! — проговорил растроганный каноник. — О бесценная волкамерия, я дам тебе особое имя, как обычно даю прекраснейшим экземплярам моей коллекции: ты будешь называться Бертони, чтоб освятить память существа, уже не существующего, но которое я любил настоящей отцовской любовью.

— Дорогой мой отец, — сказала Консуэло, пожимая ему руку, — вы должны привыкнуть любить своих дочерей так же, как сыновей. Анджела не мальчик…

— И Порпорина тоже моя дочь, — ответил каноник, — да, моя дочь! Да! Да! Моя дочь! — повторил он, попеременно глядя то на Консуэло, то на волкамерию Бертони полными слез глазами.

В шесть часов Йозеф и Консуэло были уже дома. Карету они оставили при въезде в предместье, и ничто не выдало их невинной проделки. Порпора только удивился, почему у Консуэло не разыгрался аппетит после прогулки по прекрасным лугам, окружающим столицу империи. Завтрак каноника заставил, быть может, Консуэло полакомиться в тот день немного сверх меры. Зато свежий воздух и движение дали ей прекрасный сон, и на другой день она почувствовала себя в голосе и такой бодрой, какой ни разу еще не была в Вене.

Глава LXXXIX

Неуверенность в будущем, а быть может, желание оправдать или объяснить то, что творится в ее сердце, побудили, наконец, Консуэло написать графу Христиану, рассказать ему о своих отношениях с Порпорой, об усилиях, которые тот прилагает, чтобы снова вернуть ее на сцену, и о том, как она надеется, что его хлопоты ни к чему не приведут. Она откровенно сообщила старому графу, сколь многим обязана своему учителю, как должна быть ему предана и покорна, как тревожит ее состояние Альберта, и умоляла научить ее, что написать молодому графу, чтобы поддержать в нем спокойствие и веру. Закончила она так:

Я просила вас, ваша милость, дать мне время проверить себя и принять решение. И я сдержала свое слово: клянусь перед Богом, что чувствую в себе силы оградить свое сердце и разум от всякой вредной фантазии или новой привязанности. А между тем, возвращаясь на сцену, я тем самым как будто нарушаю данное мной обещание, отказываюсь от самой надеж-

ды его выполнить. Судите же меня или, скорее, судьбу, мной управляющую, и долг, мной руководящий. Я не вижу возможности уклониться от них, не совершив преступления. Я жду от вашей милости совета более мудрого, чем советы моего собственного разумения, и верю, что он не будет противоречить голосу моей совести.

Запечатав письмо и поручив Йозефу отправить его, Консуэло почувствовала себя спокойнее, как бывает всегда, когда человек, оказавшийся в трудном положении, находит способ выиграть время и отдалить решительную минуту. Она согласилась поэтому нанести вместе с Порпорой визит весьма знаменитому и весьма восхваляемому придворному поэту, господину аббату Метастазио; этому визиту ее учитель придавал огромное значение.

Прославленному аббату было тогда около пятидесяти лет. Он был очень хорош собой, обаятелен в обращении, чудесный собеседник, и Консуэло, наверное, почувствовала бы к нему большую симпатию, если бы, перед тем как они направились к дому, где в разных этажах обитали придворный

поэт и парикмахер Келлер, не произошел у нее с Порпорой следующий разговор.

— Консуэло, — начал маэстро, — сейчас ты увидишь совершенно здорового на вид человека с живыми черными глазами, румяным лицом и свежими, улыбающимися устами, который во что бы то ни стало хочет считать себя жертвой изнурительной, тяжелой и опасной болезни. Он ест, спит, работает и толстеет, как всякий другой, а уверяет, будто у него бессонница, угнетенное состояние духа, упадок сил, что он должен соблюдать диету. Смотри же не сделай оплошности и, когда он начнет при тебе жаловаться на свои недуги, не вздумай говорить ему, что он не похож на больного, очень хорошо выглядит или что-нибудь в этом роде, ибо он жаждет, чтобы его жалели, беспокоились о нем и заранее оплакивали. Упаси тебя Бог также заговорить с ним о смерти или о ком-нибудь умершем: он боится смерти и не хочет умирать. Но вместе с тем не сделай глупости, сказав ему на прощание: «Надеюсь, что ваше драгоценное здоровье скоро поправится», так как он желает, чтобы его считали умирающим, и будь он в состоянии уверить всех, что уже мертв, он был бы в восторге, при условии, однако, что сам не будет этому верить.

— Какая глупая мания у великого человека, — заметила Консуэло. — Но о чем же с ним говорить, если нельзя заикнуться ни о выздоровлении, ни о смерти?

— Говорить надо о его болезни, задавать ему тысячу вопросов, выслушивать все подробности о его недомоганиях и муках, а в заключение сказать, что он недостаточно заботится о своей особе, не думает о себе, не щадит себя, слишком много работает. Таким способом мы заслужим его расположение.

— Однако мы идем к нему с просьбой написать поэму, которую вы положили бы на музыку, а я могла бы исполнять. Как же мы можем советовать ему не писать и в то же время упрашивать как можно скорее написать что-то для нас?

— Все устроится само собой во время беседы. Надо только уметь кстати ввернуть словечко.

Маэстро хотел, чтобы его ученица понравилась поэту, но в силу присущей ему язвительности не мог не высмеять своего ближнего и, таким образом, сам допустил ошибку, пробудив в Консуэло то критическое отношение и внутреннее презрение, которые делают нас малолюбезными и малоприятными для лиц, жаждущих безграничных похвал и восхищения. Неспособная к лести и

притворству, Консуэло положительно страдала, видя, как Порпора потворствует слабостям поэта и в то же время жестоко издевается над ним под видом благоговейного сочувствия его воображаемым недугам. Не раз она краснела и невольно хранила тягостное молчание, несмотря на знаки учителя, призывавшего ее вторить ему.

Консуэло начинала уже приобретать известность в Вене. Она пела во многих салонах, и возможность ее приглашения на императорскую сцену несколько волновала музыкальный мир. Метастазио был всемогущ. Стоило Консуэло завоевать расположение поэта, вовремя польстить его самолюбию, и он мог бы поручить Порпоре переложить на музыку свое либретто «Attilio Regole»[41], уже несколько лет лежавшее у него в портфеле. Итак, крайне важно было, чтобы ученица выступила в защиту своего учителя, ибо сам учитель совсем не пришелся по вкусу придворному поэту.

Метастазио недаром был итальянцем, а итальянцы редко ошибаются относительно друг друга. Он в достаточной мере обладал чуткостью и проницательностью, отлично знал, что

---

[41] Примечания: 41
«Атилий Регул» (*итал.*).

Порпора — весьма умеренный поклонник его драматического таланта и не раз резко отзывался (справедливо или нет — другое дело) о его трусости, эгоизме и притворной чувствительности. Ледяную сдержанность Консуэло и то отсутствие интереса, которое она, казалось, проявляла к его болезни, поэт истолковал по-своему, не угадав, что это просто смущение, вызванное почтительной жалостью. Он усмотрел в этом нечто почти оскорбительное для себя и, не будь он рабом вежливости и обходительности, наотрез отказался бы выслушать ее пение. Однако, поломавшись, ссылаясь на возбужденное состояние своих нервов и боязнь чересчур взволноваться, он все же согласился. Метастазио слышал уже Консуэло, когда та исполняла ораторию Юдифь, но следовало дать ему представление о ней как об оперной певице, на чем Порпора особенно настаивал.

— Но как же быть? Как петь, — прошептала ему Консуэло, — если нельзя волновать его?

— Наоборот, надо взволновать его, — также шепотом ответил маэстро. — Он очень рад, когда его выводят из апатии, так как после сильных переживаний на него находит поэтическое вдохновение.

Консуэло спела арию из «Ахилла на Скиросе»,

лучшего драматического произведения Метастазио, положенного на музыку композитором Кальдарой в 1736 году и поставленного на сцене во время свадебных торжеств Марии-Терезии. Метастазио был так же поражен голосом и мастерством Консуэло, как и в первый раз, но решил хранить такое же натянутое и холодное молчание, как и она, когда он рассказывал о своих недугах. Однако это ему не удалось, ибо, вопреки всему, почтенный поэт был истинным художником, и если прекрасное исполнение трогает сердце поэта, возрождая голос его музы и память о его триумфах, то для неприязни не остается места.

Аббат Метастазио пробовал бороться с всемогущими чарами искусства. Он кашлял, вертелся в кресле, как человек, терзаемый болью, но вдруг, охваченный воспоминаниями еще более волнующими, чем вспоминания о славе, закрыл лицо платком и разрыдался. Порпора, сидя за креслом Метастазио, делал знаки Консуэло не щадить его чувствительности и с лукавым видом потирал руки.

Эти слезы, обильные и искренние, сразу примирили девушку с малодушным аббатом. Едва окончив арию, она подошла к нему, поцеловала

ему руку и проговорила на этот раз с искренней сердечностью:

— Ах, сударь, как я была бы горда и счастлива, что так растрогала вас, если бы меня не мучила совесть. Боязнь, что я повредила вам, отравляет мою радость.

— О! Дорогое дитя мое! — воскликнул совершенно покоренный аббат. — Вы не знаете, вы не можете знать, какое благо вы доставили мне и какое причинили зло! Никогда до сих пор я не слышал женского голоса, до того похожего на голос моей дорогой Марианны. А вы так напомнили мне ее манеру петь, ее выразительность, что мне казалось, будто я снова слышу ее. Ах! Вы разбили мне сердце!

И он снова зарыдал.

— Их милость говорит о прославленной певице, которая всегда должна служить для тебя образцом, — о знаменитой несравненной Марианне Бульгарини, — пояснил своей ученице Порпора.

— Ах, Romanina![42] — воскликнула Консуэло. — Я слышала ее, когда была ребенком, в Венеции. Это было мое первое сильное впечатление в жизни, и я никогда его не забуду!

---

[42] Примечания: 42
Римляночка (*итал.*).

— Да, я вижу, что вы слышали ее и сохранили неизгладимую память о ней, — проговорил Метастазио. — Ах, дитя! Подражайте ей во всем — подражайте ее игре, ее пению, ее доброте, ее благородству, силе ее духа, ее преданности! О, как она была хороша в роли божественной Венеры в первой опере, написанной мною в Риме! Ей я обязан своим первым триумфом.

— А она обязана вашей милости своими самыми блестящими успехами, — заметил Порпора.

— Это правда, мы содействовали успеху друг друга. Но я никогда не мог полностью отблагодарить ее за все. Никогда столько любви, столько героической преданности и нежной заботливости не обитало в душе смертной! Ангел моей жизни, я буду вечно оплакивать тебя и мечтаю только о том, чтобы соединиться с тобой!

Тут аббат снова залился слезами. Консуэло была чрезвычайно взволнована. Порпора делал вид, что он также растроган, но, вопреки его стараниям, лицо его выражало иронию и презрение. Консуэло заметила это и решила впоследствии упрекнуть его в недоверии или черствости. Что касается Метастазио, он видел лишь тот эффект, который стремился вызвать, — трогательное восхищение доброй Консуэло. Он был из породы

настоящих поэтов, то есть охотнее проливал слезы на людях, чем наедине у себя в комнате, и никогда так сильно не чувствовал своих привязанностей и горестей, как в те минуты, когда красноречиво говорил о них. Увлеченный воспоминаниями, он рассказал Консуэло о той поре своей юности, когда Романина играла такую большую роль в его жизни, рассказал, сколько услуг оказала ему его благородная подруга, каким поистине дочерним попечением окружила она его престарелых родителей, какую чисто материнскую жертву она принесла, расставаясь с ним и отправляя его в Вену искать счастья. А когда он дошел до сцены прощания, когда передал в самых трогательных выражениях, как его Марианна, с истерзанным сердцем подавляя рыдания, убеждала его покинуть ее и думать только о самом себе, он воскликнул:

— О! Если бы Марианна могла угадать, какое будущее ждало меня вдали от нее, если бы она могла предвидеть все муки, всю борьбу, все страхи, все тревоги, все превратности судьбы, наконец, ужасную болезнь — все, что должно было выпасть здесь на мою долю, она отказалась бы и за себя и за меня от такого страшного самопожертвования. Увы! Я был далек от мысли, что мы

расстаемся навеки и что нам не суждено больше встретиться на земле!

— Как? Вы больше не виделись? — спросила Консуэло с глазами, полными слез, ибо речь Метастазио необычайно умиляла слушателей. — Она так и не приехала в Вену?

— Так никогда и не приехала! — ответил Метастазио с подавленным видом.

— Как, при такой преданности у нее не хватило мужества приехать к вам сюда? — снова воскликнула Консуэло, на которую Порпора тщетно кидал свирепые взгляды.

Метастазио ничего не ответил; казалось, он был погружен в свои думы.

— Но она ведь может еще приехать? — продолжала простодушно Консуэло. — И она, конечно, приедет. Это счастливое событие вернет вам здоровье.

Аббат побледнел, и на лице его изобразился ужас. Маэстро изо всех сил стал кашлять, и Консуэло вдруг вспомнила, что Романина умерла больше десяти лет тому назад, и поняла, что допустила огромную оплошность, напомнив о смерти ее другу, жаждущему, по его словам, только одного — соединиться в могиле со своей возлюбленной. Она закусила губу и почти

тотчас же удалилась вместе со своим учителем, который, как обычно, ничего не вынес из этого посещения, кроме неопределенных обещаний и массы любезностей.

— Что ты наделала, дурочка! — напал он на Консуэло, как только они вышли.

— Большую глупость, сама вижу. Я совсем позабыла, что Романины давно нет в живых. Но неужели вы думаете, учитель, что аббат, такой любящий и такой безутешный, настолько дорожит жизнью, как вы утверждаете? Мне скорее кажется, что скорбь о потере подруги — единственная причина его болезни, и если некий суеверный страх и заставляет его бояться смертного часа, он все же искренне тяготится жизнью.

— Дитя, — сказал Порпора, — жизнью никогда не тяготится тот, кто богат, уважаем, обласкан и здоров. Если же у человека не было никогда иных забот и иной страсти, как пользоваться этими благами, то, проклиная свое существование, он лжет и разыгрывает комедию.

— Не говорите, что у него не было других страстей. Он любил Марианну, и я понимаю, почему он назвал этим дорогим именем свою крестницу и племянницу Марианну Мартинец.

Консуэло чуть не прибавила: «ученицу Йозе-

фа», но вовремя спохватилась.

— Доканчивай, — сказал Порпора, — свою крестницу, племянницу или свою дочь.

— Так говорят, но что мне до этого?

— По крайней мере это доказало бы, что милый аббат, расставшись со своей возлюбленной, довольно скоро утешился. Но когда ты его спросила (да простит тебе Господь Бог твою глупость!), почему его дорогая Марианна не последовала за ним сюда, он ничего тебе не ответил. Так вот я отвечу за него. Романина в самом деле оказала ему величайшие услуги, какие только мужчина может принять от женщины. Она приютила его, хорошо кормила, одевала, выручала, во всем поддерживала. С ее помощью он добился звания poeta cesareo[43]. Она стала служанкой, другом, сиделкой, благодетельницей его престарелых родителей. Все это верно. У Марианны было великодушное сердце. Я ее хорошо знал. Но верно также и то, что она страстно желала соединиться с аббатом, поступив на императорскую сцену. А еще вернее, что господин аббат не только не хотел, но и не допустил этого. Правда, между ними существовала самая нежная переписка. Не

[43] Примечания: 43
Первого придворного поэта (*итал.*).

сомневаюсь, что послания поэта были шедеврами. Их напечатают, и он это прекрасно знал. Но, уверяя свою dilettissima arnica[44], что он горит желанием соединиться с ней и неустанно хлопочет о приближении счастливого дня их встречи, хитрый лис устраивал дела таким образом, чтобы злополучная певица не застигла его врасплох в самом разгаре его знаменитой и весьма выгодной связи с третьей Марианной (ибо это имя было счастливой звездой его жизни) — высокородной и всемогущей графиней Альтханн, фавориткой последнего императора. Говорят даже, что связь эта завершилась тайным браком. Вот почему я нахожу весьма неуместным с его стороны рвать на себе волосы при упоминании о бедной Романине, которой он предоставил умирать с горя, в то время как сам сочинял мадригалы в объятиях придворных дам.

— Вы все истолковываете и обо всем судите с жестоким цинизмом, дорогой учитель, — сказала опечаленная Консуэло.

— Я говорю то же, что все, я ничего не выдумываю. Таково всеобщее мнение. Поверь, не все комедианты попадают на сцену. Это старинная

---

[44] Примечания: 44
Любезнейшую подругу (*итал.*).

поговорка.

— Всеобщее мнение не всегда самое верное и никогда не бывает самым доброжелательным. Да, маэстро, я не могу поверить, чтобы человек с таким именем и талантом был только комедиантом. Я видела его неподдельные слезы, и если он может упрекнуть себя в том, что слишком скоро забыл свою первую Марианну, то его раскаяние только подтверждает искренность его теперешних сожалений. Во всем этом я предпочитаю видеть скорее слабость, чем низость. Его сделали аббатом. Его осыпали милостями. Двор отличался набожностью. Его связь с актрисой произвела бы большой скандал. Он не хотел сознательно изменить Марианне Бульгарини, обмануть ее, он боялся, колебался, стремился выиграть время… А она умерла.

— И он возблагодарил провидение, — добавил беспощадный маэстро. — А теперь наша императрица шлет ему шкатулки и кольца с его вензелем из бриллиантов, писчие перья из ляпис-лазури, украшенные бриллиантовыми лаврами, массивные золотые вазы с испанским табаком, печатки из крупного цельного бриллианта, и все это так ярко сверкает, что глаза поэта не перестают слезиться…

— Да разве это может утешить его в том, что он разбил сердце Романины?

— Весьма возможно, что нет. Но жажда получить все это побудила его поступить так. Жалкое тщеславие! Мне трудно было удержаться от смеха, когда он показывал нам свой золотой подсвечник с золотым колпаком гасильника, на котором по повелению императрицы было выгравировано остроумное изречение: «Perche possa risparmiare i suoi occhi»[45].

Это было, в самом деле, так трогательно, что заставило его высокопарно воскликнуть: «Affettuosa espressione valutabile piu assai dell'oro!»[46]. О, ничтожный человек!

— О, бедный человек! — со вздохом произнесла Консуэло.

Она вернулась домой очень печальная, так как с невольным страхом сопоставляла поведение Метастазио по отношению к Марианне со своим собственным по отношению к Альберту.

«Ждать и, не дождавшись, умереть — неужели такова судьба всех тех, кто умеет страстно любить? Заставить ждать, заставить умереть от горя

---

[45] Примечания: 45

«Дабы он мог сберечь свои очи» (*итал.*).

[46] Примечания: 46

«Изъявление дружеских чувств гораздо ценнее золота» (*итал.*).

— неужели таков удел всех тех, кто гонится за призраком славы?» — говорила она себе.

— О чем ты задумалась? — спросил ее маэстро. — Мне кажется, все идет хорошо и, несмотря на твою оплошность, ты покорила Метастазио.

— Не велика победа над слабой душой, — ответила она, — и мне кажется, что тот, у кого не хватило мужества устроить на императорскую сцену Марианну, вряд ли найдет его для меня.

— Метастазио в вопросах искусства теперь руководит императрицей.

— Метастазио в вопросах искусства посоветует императрице только то, что ей самой будет угодно, и сколько бы ни говорили о фаворитах и советниках ее величества… я видела лицо Марии-Терезии и уверяю вас, маэстро, что Мария-Терезия слишком большой политик, чтобы иметь любовников, и слишком самовластная монархиня, чтобы иметь друзей.

— Ну, тогда надо завоевать расположение самой императрицы, — озабоченно проговорил Порпора. — Надо, чтобы ты как-нибудь утром спела в ее покоях и она побеседовала бы с тобой. Говорят, она любит людей только добродетельных. Если у нее в самом деле тот орлиный взор, какой ей приписывают, она поймет, какова ты, и

окажет тебе предпочтение. Я пущу в ход все для того, чтобы императрица увидела тебя с глазу на глаз.

Глава XC

Однажды утром Йозеф, натирая пол в передней Порпоры, совершенно забыл, что перегородка тонка, а сон маэстро чуток, и машинально стал напевать вполголоса какую-то музыкальную фразу, пришедшую ему в голову, сопровождая пение ритмическими движениями щетки. Порпора, недовольный, что его разбудили раньше времени, заворочался в кровати, попытался снова заснуть, однако, преследуемый звуками красивого, свежего голоса, легко и верно повторяющего весьма изящную, прекрасно отделанную музыкальную фразу, маэстро накинул халат и, очарованный мелодией, хотя в то же время немного досадуя на артиста, который, не дождавшись его пробуждения, бесцеремонно явился к нему сочинять свои арии, встал и поглядел в замочную скважину. Каково же было его удивление: пел Беппо, пел и мечтал, развивая свою музыкальную идею и продолжая с озабоченным видом уборку комнаты.

— Что ты там поешь? — громовым голосом крикнул маэстро, неожиданно открывая дверь.

Йозеф, ошеломленный, как человек, внезапно разбуженный от сна, чуть было не бросил щетку с метелкой и не убежал со всех ног из дома. Однако, давно уже потеряв надежду стать учеником Порпоры, он все-таки считал за счастье слушать, как Консуэло занимается с маэстро, и пользовался втихомолку, в отсутствие учителя, уроками своей великодушной приятельницы. Поэтому он больше всего на свете боялся, как бы его не выгнали, и поспешил солгать, чтобы рассеять подозрения.

— Что я пою? — повторил он, совершенно растерявшись. — Да я сам не знаю, маэстро.

— Разве поют то, чего не знают? Ты лжешь!

— Уверяю вас, маэстро, право не знаю! Вы так меня напугали, что я все забыл. Конечно, я страшно виноват, что пел подле вашей комнаты. Очень уж я рассеян; мне показалось, что я где-то далеко отсюда, совсем один, и я подумал: «Теперь ты можешь петь, никого нет, никто не скажет: «Замолчи, невежда, ты поешь фальшиво. Замолчи, скотина: ты так и не мог научиться музыке».

— Кто сказал тебе, что ты поешь фальшиво?

— Да все говорили.

— А я говорю тебе, — закричал строгим голосом маэстро, — что ты поешь не фальшиво. Кто же пробовал учить тебя музыке?

— Ну… например, маэстро Рейтер, — его бреет мой друг Келлер. И Рейтер прогнал меня с урока, говоря, что как я есть осел, так им и останусь.

Йозеф уже хорошо знал антипатии маэстро, знал, какого невысокого мнения он был о Рейтере, и рассчитывал войти в милость к Порпоре, если Рейтер дурно отзовется при нем о своем бывшем ученике. Но Рейтер во время своих редких посещений этого дома, встречая Йозефа в прихожей, не желал даже узнавать его.

— Маэстро Рейтер сам осел, — сквозь зубы пробормотал Порпора. — Но дело не в том, — добавил он уже громко, — я хочу знать, откуда ты выудил свою музыкальную фразу.

Он пропел ту фразу, которую по рассеянности Йозеф заставил его прослушать десять раз подряд.

— Ах, эту! — сказал Гайдн: ему показалось, что маэстро уже несколько лучше настроен, хоть он и боялся еще верить этому. — Я слышал, как ее пела синьора.

— Консуэло? Моя дочь? А я и не знал. Ах! Так ты, значит, подслушиваешь у дверей?

— О нет, сударь! Но музыка разносится из комнаты в комнату и доходит до кухни — невольно слышишь…

— Мне не нравятся слуги с такой памятью, слуги, которые будут распевать на улице наши еще неизданные произведения. Ты сегодня же уложишь свои вещи и вечером отправишься искать себе другое место.

Приговор маэстро как громом поразил бедного Йозефа, и он отправился плакать на кухню, куда вскоре пришла к нему Консуэло и, выслушав рассказ о его злоключениях, успокоила его, пообещав все уладить.

— Как, маэстро? — обратилась она к Порпоре, подавая ему кофе. — Ты хочешь выгнать бедного мальчика, трудолюбивого и добросовестного, только за то, что ему первый раз в жизни удалось спеть, не сфальшивив?

— Говорю тебе, что этот малый интриган и наглый лгун. Его подослал ко мне кто-нибудь из врагов, дабы выведать мои еще неизданные произведения и присвоить их себе раньше, чем они увидят свет. Ручаюсь, что этот плут знает уже наизусть мою новую оперу и за моей спиной переписывает мои рукописи. Сколько раз предавали меня подобным образом! Сколько моих замыслов находил я в красивых операх, привлекавших всю Венецию, в то время как на моих публика зевала, говоря: «Этот старый болтун Порпора потчует нас

новинками, затасканными на всех перекрестках». И вот дуралей себя выдал: сегодня утром он спел отрывок, который может исходить только от господина Гассе и который я хорошо запомнил. Я запишу его и из мести помещу в свою новую оперу, чтобы отплатить Гассе за шутки, которые он не раз проделывал со мной.

— Берегитесь, маэстро, фраза эта, может быть, уже напечатана. Вы ведь не знаете на память всех современных произведений.

— Но я слышал их и говорю тебе, что эта фраза слишком значительна, я не мог бы не обратить на нее внимания.

— В таком случае, маэстро, благодарю вас. Я горжусь похвалой, ибо фраза эта моя!

Консуэло лгала: музыкальная фраза, о которой шла речь, только этим утром родилась в голове Гайдна, но Консуэло сговорилась с ним и уже успела выучить мелодию наизусть, чтобы не попасть впросак перед недоверчивым, пытливым учителем. Порпора не преминул потребовать от нее эту злополучную фразу. Консуэло тотчас спела ее и заявила, что накануне, желая угодить Метастазио, попробовала положить на музыку первые строфы его красивой пасторали:

Gia riede la primavera

Col suo fiorito aspetto:
Gia il grato zeffiretto
Scherza fra l'erbe e i fior.

Tornan le frondi algli alberi,
L'herbette al prato tornano,
Sol non ritorna a me
La pace del mio cor[47].

— Много раз повторяла я свою первую фразу, — прибавила она, — а потом услышала, как маэстро Беппо, словно настоящая канарейка, распевает в передней эту самую фразу вкривь и вкось. Это вывело меня из терпения, и я попросила его замолчать. Но через час он принялся повторять мою мелодию на лестнице в таком искаженном виде, что отбил у меня всякую охоту продолжать мое сочинительство.

---

[47] Примечания: 47

Весна настала снова,
Природа вся в цвету,
И веет тихий ветер
И шелестит в лесу.

Деревья зеленеют,
И травка на лугу,
Лишь я в печальном сердце
Покоя не найду (итал.).

— А почему он так хорошо поет ее сегодня? Что случилось с ним, пока он спал?

— Сейчас объясню, учитель: я заметила, что у малого красивый и даже верный голос, а поет он фальшиво из-за недостатка слуха, развития и памяти. И вот я, забавы ради, занялась постановкой его голоса: заставила его петь гаммы по твоему методу, чтобы убедиться, выйдет ли из него толк даже при слабых музыкальных способностях.

— Толк должен выйти при любых способностях! — воскликнул Порпора. — Не существует фальшивых голосов, и никогда слух, упражняемый…

— Так я и думала, — прервала его Консуэло, стремившаяся как можно скорее прийти к намеченной цели, — так оно и вышло. Я дала ему первый урок по твоей системе, и мне удалось объяснить этому дуралею то, что он, учась всю жизнь у Рейтера и у всех этих немцев, так бы никогда и не понял. После этого я пропела ему свою фразу, и она впервые дошла до его слуха по-настоящему. Он тут же сумел повторить ее и так поразился, пришел в такой восторг, что, пожалуй, всю ночь потом не сомкнул глаз. Это явилось для него просто откровением. «О, синьора! — говорил он мне. — Если бы меня так учили, я, пожалуй,

смог бы научиться, как и всякий другой. Но признаюсь, я никогда и ничего не в состоянии был понять из того, чему обучали меня в певческой школе святого Стефана».

— Так он в самом деле был в певческой школе?

— Его оттуда с позором выгнали. Тебе стоит только спросить о нем у маэстро Рейтера, и тот тебе скажет, что это шалопай, лишенный каких бы то ни было музыкальных способностей, из которого ровно ничего нельзя сделать.

— Ну, ты, иди-ка сюда! — закричал Порпора Йозефу, проливавшему за дверью горькие слезы. — Стань здесь, подле меня: я хочу убедиться, понял ли ты вчерашний урок.

Тут лукавый маэстро принялся объяснять Йозефу основы музыки многословно, педантично и запутанно — словом, по тому способу, который Порпора иронически приписывал немецким педагогам.

Если бы Йозеф, знавший слишком много, чтобы не понять этих основных начал, несмотря на все старания маэстро сделать их неясными, обнаружил свою смышленность, все пропало бы. Но юноша был достаточно хитер, чтобы не попасться в ловушку, и после долгих и упорных испытаний выказал явную тупость, которая пол-

ностью успокоила учителя.

— Я вижу, ты очень недалек, — сказал он, вставая и продолжая притворяться равнодушным, что, однако, не могло обмануть ни Консуэло, ни Йозефа. — Берись за свою метлу и старайся больше не петь, если хочешь оставаться у меня в услужении.

Но прошло два часа, и Порпора не удержался: его снова захватила любовь к делу, которым он занимался столько лет, не имея соперников, в нем снова заговорил преподаватель пения, и он позвал Йозефа, чтобы еще раз испытать его. Старик изложил ему те же основы, но на этот раз с той ясностью, с той могучей и глубокой логикой, которая все объясняет, все ставит на свое место, — словом, с той необыкновенной простотой, на какую способен только гений.

На этот раз Гайдн понял, что теперь он может понять, и Порпора был в восторге от своего успеха. Хотя маэстро преподал Йозефу то, что тот долго изучал и знал в совершенстве, однако урок оказался для него чрезвычайно интересным и принес ему весьма ощутимую пользу: он научился учить. А так как в часы, когда Порпора не нуждался в его услугах, Йозеф, чтобы не потерять своей скудной клиентуры, давал несколько уро-

ков в городе, он решил тотчас же применить на деле столь блестящие указания.

— Вот и отлично, господин профессор, — сказал он Порпоре в конце урока, продолжая притворяться простачком, — эта музыка куда лучше той, другой, и я, пожалуй, смогу выучиться ей. Ну, а та, о которой вы говорили сегодня утром, так непонятна, что я согласен лучше вернуться в певческую школу, чем ломать себе голову.

— А между тем тебя именно этому и обучали в певческой школе. Да разве есть две музыки, глупец? Музыка едина, как един Господь Бог!

— Ох! Прошу извинения, сударь! Есть музыка маэстро Рейтера — скучная, а вот ваша — не скучная.

— Много чести для меня, господин Беппо, — смеясь, сказал Порпора, ибо комплимент пришелся ему по вкусу.

Начиная с этого дня Гайдн стал брать уроки у Порпоры, и вскоре они приступили к изучению итальянской школы и основ музыкальной композиции, то есть того именно, чего так жаждал достойный юноша и к чему так мужественно стремился. Он делал такие быстрые успехи, что маэстро одновременно был очарован, удивлен, а подчас даже испуган. Когда Консуэло замечала,

что у Порпоры могут пробудиться прежние подозрения, она учила своего юного друга, как вести себя, чтобы избежать этого. Немного непонятливости и притворная рассеянность были порой необходимы для того, чтобы в душе учителя пробудился страстный дух преподавания, что всегда случается с высокоодаренными людьми, ибо препятствия и борьба придают им еще более энергии и силы. Часто Йозефу приходилось притворяться вялым, недовольным и якобы с неохотой приступать к драгоценным урокам, лишиться которых он так боялся. Жажда противоречить и потребность поставить на своем возбуждали задорную и воинственную душу старого профессора, и никогда Беппо не получал более ценных понятий о музыке, чем в те минуты, когда он почти вырывал их у раздраженного и иронически настроенного маэстро вместе с его четкими, красноречивыми и пылкими объяснениями.

В то время как дом Порпоры служил ареной таких, казалось бы, ничтожных происшествий, результаты которых, однако, сыграли огромную роль в истории искусства, ибо гений одного из самых плодовитых и знаменитых композиторов прошлого века получил здесь свое развитие и утверждение, вне дома Порпоры совершались

события, имевшие более ощутимое влияние на течение жизни Консуэло. Корилла, более энергичная в борьбе за собственные интересы и более ловкая в достижении цели, день ото дня завоевывала новые позиции и, уже совсем оправившись после родов, вела переговоры о своем поступлении на императорскую сцену. Искусная певица, но посредственная в музыкальном отношении артистка, она гораздо больше, чем Консуэло, нравилась директору и его жене. Все прекрасно понимали, что ученая Порпорина отнесется свысока, хотя и не выкажет этого, и к операм маэстро Гольцбауэра и к таланту его супруги. Все знали также, что выдающиеся артисты, выступая с плохими партнерами в ничтожных произведениях и вынужденные насиловать собственный вкус и совесть, не всегда способны на тот банальный подъем и наивный жар, какой посредственные актеры развязно вносят в исполнение самых низкопробных опер, полных мучительной какофонии, плохо разученных и плохо понятых исполнителями.

И даже в тех случаях, когда, проявив чудеса воли и мужества, талантливые артисты высоко поднимаются и над своей ролью и над своим окружением, это завистливое окружение отнюдь

не чувствует к ним благодарности. Композитор, догадываясь об их душевных муках, дрожит и боится, как бы это искусственное вдохновение вдруг не остыло и не подорвало его успеха. Даже удивленная публика испытывает безотчетное смущение, угадывает чудовищное несоответствие, сочувствует гениальному актеру, порабощенному вульгарной идеей, рвущемуся из тесных оков, в которые он позволил заковать себя, и, чуть не вздыхая, аплодирует его мужественным усилиям. Господин Гольцбауэр прекрасно отдавал себе отчет в том, как мало Консуэло ценила его музыкальные произведения. К несчастью, она однажды сама сообщила ему об этом. Переодетая мальчиком, думая, что имеет дело с одним из тех лиц, которых встречаешь во время путешествия в первый и последний раз, она высказалась откровенно, никак не предполагая, что вскоре ее судьба артистки окажется в руках незнакомца, друга каноника. Гольцбауэр не забыл этого и, оскорбленный до глубины души, но с виду спокойный, сдержанный, учтивый, поклялся закрыть ей путь к артистическому поприщу. Но так как ему не хотелось, чтобы Порпора, его ученица и те, кого он называл их сторонниками, могли обвинить его в мелочной мстительности и низкой обидчи-

вости, он только своей жене рассказал о встрече с Консуэло и о разговоре за завтраком в доме кюре. Эта встреча, казалось, не оставила никакого следа в памяти господина директора, по-видимому он забыл черты маленького Бертони и совершенно не подозревал, что этот странствующий певец и Порпорина могли быть одним и тем же лицом. Консуэло терялась в догадках, размышляя об отношении к ней Гольцбауэра.

— Очевидно, я была очень хорошо переодета во время нашего путешествия, — говорила она Беппо, оставаясь с ним наедине, — и прическа очень изменила мое лицо, раз этот человек, так пристально глядевший на меня там своими ясными, проницательными глазами, совершенно не узнает меня здесь.

— Граф Годиц тоже не узнал вас, увидя первый раз у посланника, — заметил Йозеф, — и, быть может, не получи он вашей записки, так никогда и не признал бы вас.

— Да, верно! Но у графа Годица привычка смотреть на людей каким-то поверхностным, небрежно-гордым взглядом, поэтому он, в сущности, никого не видит. Я уверена, что в Пассау он так бы и не догадался, что я женщина, не сообщи ему этого барон фон Тренк. А Гольцбауэр, как

только увидел меня здесь, да и каждый раз, что мы с ним встречаемся, смотрит на меня с таким же вниманием и любопытством, как тогда, в доме кюре. По какой же причине он великодушно сохраняет в тайне мое сумасбродное приключение, которое, перетолкуй он его в дурную сторону, могло бы повредить моей репутации и даже поссорить меня с учителем, считающим, что я прибыла в Вену без всяких забот, препятствий и романтических происшествий. А в то же время этот самый Гольцбауэр втихомолку поносит и мой голос и мою манеру петь и всячески злословит на мой счет, чтобы только не приглашать меня на императорскую сцену. Он ненавидит и хочет отстранить меня, но, имея в руках самое мощное против меня орудие, почему-то не пускает его в ход. Я просто в недоумении!

Загадка эта вскоре была разгадана Консуэло. Но, прежде чем читать о дальнейших ее приключениях, надо припомнить, что многочисленная и сильная группа лиц действовала против нее, что Коралла была красива и доступна и могущественный министр Кауниц часто навещал ее, что он любил вмешиваться в закулисные дела, а Мария-Терезия, отдыхая от государственных забот, заставляла его болтать о них и, в душе смеясь над

маленькими слабостями великого человека, сама находила удовольствие в театральных сплетнях: они показывали ей в миниатюре, но с откровенным бесстыдством то, что представляли тогда три самых влиятельных двора Европы, управляемые интригами женщин: ее собственный двор, двор русской царицы и двор госпожи Помпадур.

Глава XCI

Известно, что Мария-Терезия давала аудиенцию раз в неделю каждому желающему с ней говорить. Этот лицемерно-отеческий обычай, которого впоследствии свято придерживался и ее сын Иосиф II, еще и поныне сохранился при австрийском дворе. Помимо того, Мария-Терезия очень легко давала особые аудиенции лицам, желающим поступить к ней на службу, да и вообще не было на свете государыни, более доступной для своих подданных, чем она.

Порпора получил, наконец, аудиенцию, которой добивался. Он надеялся, что императрица, увидав вблизи открытое, честное лицо Консуэло, быть может, проникнется особым расположением к ней. Зная, как требовательна Мария-Терезия в отношении нравственности и благопристойности, он говорил себе, что она, без сомнения, будет поражена скромностью и непорочностью, которыми дышало все существо его ученицы. Их ввели в одну из маленьких гостиных дворца, куда был перенесен клавесин и куда через полчаса явилась императрица. Она только что

принимала высокопоставленных особ и была еще в парадном туалете, такой, какою она изображена на золотых цехинах: в парчовом платье, в императорской мантии, с короной на голове и с маленькой венгерской саблей на боку. Императрица была в самом деле хороша в таком виде, но отнюдь не величественна и не царственно благородна, как утверждали ее придворные, а свежа, весела, с открытым, счастливым лицом и с доверчивым, смелым взглядом. То был и вправду «король» Мария-Терезия, которую венгерские магнаты в порыве энтузиазма возвели на престол с саблей в руке. Но на первый взгляд это был скорее добрый, чем великий король. В ней не было никакого притворства, и простота ее обращения говорила о ясности души, лишенной женского коварства. Когда она пристально смотрела на кого-нибудь, особенно когда настойчиво расспрашивала, можно было уловить в этом смеющемся, приветливом лице лукавство и даже холодную хитрость. Но хитрость мужскую, если хотите — королевскую, ни в коем случае не кокетство.

— Я прослушаю вашу ученицу немного погодя, — сказала она Порпоре, — мне уже известно, что у нее большие познания, великолепный голос, и я не забыла, какое удовольствие она доставила

мне при исполнении оратории «Освобожденная Бетулия». Но сначала я хочу поговорить с ней. Мне надо задать ей несколько вопросов, и так как я рассчитываю на ее откровенность, то надеюсь, что смогу оказать ей покровительство, которого она у меня просит.

Порпора поспешил выйти, прочитав в глазах ее величества желание остаться наедине с Консуэло. Он удалился в соседнюю галерею, где ужасно продрог, ибо при дворе, разоренном расходами на войну, соблюдали чрезвычайную экономию, которую Мария-Терезия, по свойству своего характера, в достаточной мере поддерживала.

Очутившись с глазу на глаз с дочерью и матерью императоров, героиней Германии и самой великой женщиной Европы того времени, Консуэло, однако, не почувствовала ни робости, ни смущения. Беспечность ли артистки делала ее равнодушной к воинственной пышности, блиставшей вокруг Марии-Терезии и отражавшейся на самом ее туалете, или же, обладая благородной и чистой душой, Консуэло сознавала свою собственную нравственную высоту, только она спокойно, без всякого волнения ждала, пока ее величеству угодно будет обратиться к ней с вопросом.

Императрица опустилась на диван, слегка поправила усыпанную драгоценными камнями перевязь, стеснявшую ее и царапавшую ее белое круглое плечо, и начала так:

— Повторяю, дитя мое, я очень высокого мнения о твоем таланте и не сомневаюсь в том, что ты прилежно училась и прекрасно знаешь свое ремесло, но, как тебе, наверное, говорили, в моих глазах талант — ничто без хорошего поведения, и я ценю чистую, благочестивую душу выше блестящего дарования.

Консуэло, стоя, почтительно выслушала это вступление, но не поняла, что в ответ она должна была сама расхвалить себя, а так как она терпеть не могла выставлять напоказ свои добродетели, следовать которым ей казалось вполне естественным, то она молча ждала, чтобы императрица стала расспрашивать ее более подробно о ее взглядах и намерениях. А между тем тут-то и представился удобный случай обратиться к монархине с ловко составленным комплиментом об ангельском благочестии, высокой нравственности ее величества и о невозможности дурно вести себя, имея перед глазами пример самой императрицы. Бедной Консуэло и в голову не пришло использовать такую возможность. Чуткие души

боятся оскорбить великого человека банальной похвалой. А монархи, если и не заблуждаются относительно расточаемой им грубой лести, тем не менее так привыкли вдыхать этот фимиам, что он нужен им как простое проявление почтительности, как этикет. Марию-Терезию удивило молчание молодой девушки, и она снова заговорила, уже менее ласково и не таким ободряющим тоном:

— Однако мне известно, моя милочка, что вы ведете себя довольно легкомысленно и, не будучи замужем, живете в недозволенной близости с молодым человеком вашей профессии — имени его я не помню.

— Я могу ответить вашему величеству только одно, — промолвила, наконец, Консуэло, взволнованная несправедливостью этого грубого обвинения, — я не совершила в своей жизни ни одного проступка, который помешал бы мне сейчас выдержать взгляд вашего величества со смиренным достоинством и благодарной радостью.

Марию-Терезию поразило выражение благородства и силы, появившееся в этот момент на лице Консуэло. Пять-шесть лет тому назад императрица, несомненно, заметила бы это с

удовольствием и сочувствием, но теперь Мария-Терезия была уже королевой до мозга костей, и привычка повелевать приучила ее к упоению властью, к желанию все согнуть перед собой, все сломать. Мария-Терезия желала быть и как государыня и как женщина единственной сильной личностью в своем государстве. Поэтому ей показались оскорбительными и гордая улыбка и смелый взгляд юной девушки, ничтожнейшего червячка у ее ног; она хотела лишь позабавиться Консуэло, как рабыней, ради минутного любопытства заставив ее высказаться откровенно.

— Я спросила вас, сударыня, имя молодого человека, живущего с вами у маэстро Порпоры, а вы мне не ответили, — проговорила императрица ледяным топом.

— Его зовут Йозеф Гайдн, — не смущаясь, промолвила Консуэло.

— Итак, из склонности к вам он поступил в услужение к маэстро Порпоре в качестве лакея, причем маэстро Порпора не подозревает действительных побуждений молодого человека, тогда как вы, зная их, поощряете его.

— Меня оклеветали перед вашим величеством: этот молодой человек никогда не питал ко мне никакой склонности (Консуэло была уверена,

что говорит правду), я даже знаю, что он любит другую. А если мы и обманываем немного моего почтенного учителя, то по причине невинной и, быть может, весьма уважительной. Только любовь к искусству заставила Йозефа Гайдна поступить в услужение к Порпоре, и поскольку ваше величество изволит судить поступки своих самых ничтожных подданных, а я считаю невозможным что-либо скрыть от вашей всевидящей справедливости, то я уверена, что ваше величество поверит в мою искренность, если соблаговолит выслушать мои объяснения.

Мария-Терезия была слишком проницательна, чтобы не почувствовать истины. Она еще не совсем утратила идеалы своей юности, хотя уже скользила по роковому пути самовластья, мало-помалу убивающего доверие даже в самых великодушных сердцах.

— Дитя мое, вы кажетесь мне правдивой и целомудренной, но я замечаю в вас большую гордость и недоверие к моей материнской доброте, а потому боюсь, что ничего не смогу для вас сделать.

— Если я обращаюсь к материнской доброте Марии-Терезии, — ответила Консуэло, растроганная этими словами (их банального оттенка бедняжка, увы, не поняла), — то я готова прекло-

нить перед ней колена и молить ее, но если…

— Продолжайте, дитя мое, — промолвила Мария-Терезия, которой почему-то безотчетно хотелось поставить эту странную девушку перед собой на колени, — говорите все, что думаете.

— Если же я обращусь к справедливому суду вашего императорского величества, то как чистое дыхание не может заразить воздух, которым дышат сами боги, так и я, не зная за собой вины, чувствую себя достойной вашего покровительства.

— Порпорина, — проговорила императрица, — вы умная девушка, и ваша оригинальность, способная оскорбить любую другую женщину, мне нравится. Я уже сказала, что считаю вас искренней, и тем не менее знаю, что у вас есть в чем исповедоваться передо мной. Почему вы колеблетесь? Ведь вы любите Йозефа Гайдна. Ваши отношения чисты — я не хочу в этом сомневаться, но вы любите его, так как ради одного удовольствия чаще видеться с ним, допустим — даже ради заботы о его музыкальных успехах у Порпоры вы рискуете своей репутацией, то есть самым священным, самым важным в нашей женской доле. Но, быть может, вы боитесь, что ваш учитель, ваш приемный отец не согласится на

ваш брак с бедным, неизвестным музыкантом? Быть может, также, ибо я хочу верить всему, что вы говорили, молодой человек любит другую, а вы, как я вижу, девушка гордая и скрываете свою любовь, великодушно жертвуя своим добрым именем и не извлекая из этой преданности ничего для себя самой? Так вот, моя милая, будь я на вашем месте, представься мне случай, как вам сейчас, — случай, какой, быть может, никогда больше не повторится, — я открыла бы сердце перед своей государыней и сказала бы ей: «Вы все можете и хотите одного добра, вам вручаю я свою судьбу — уничтожьте все препятствия. Одним словом вы можете изменить намерения и моего опекуна и моего возлюбленного. Вы можете осчастливить меня, вернуть мне всеобщее уважение и дать положение, достаточно почтенное для того, чтобы я могла надеяться поступить на императорскую сцену». Вот какое доверие вы должны были бы питать к материнской заботливости Марии-Терезии, и мне прискорбно, что вы этого не поняли.

«Я прекрасно понимаю, — думала про себя Консуэло, — что по какому-то странному капризу, по деспотической прихоти избалованного ребенка тебе хочется, великая государыня, чтобы

Zingarella обняла твои колени, ибо тебе кажется, что ее колени не хотят сгибаться перед тобой, а это для тебя случай небывалый. Но ты не дождешься этого удовольствия, разве только докажешь мне, что сама заслуживаешь моего уважения».

Все это и многое другое промелькнуло в ее голове, пока Мария-Терезия читала ей наставления. Консуэло сознавала, что в эту минуту ставит на карту судьбу Порпоры, ставит ее в зависимость от фантазии императрицы, а будущность маэстро стоит того, чтобы немного унизиться. Но она не хотела унижаться напрасно. Она не хотела разыгрывать комедию с коронованной особой, которая, конечно, умела играть роль не хуже ее самой. Она ждала, чтобы Мария-Терезия показала себя действительно великой, и тогда готова была искренне преклониться перед ней.

Когда императрица кончила свое поучение, Консуэло сказала:

— Я отвечу на все, что ваше величество соблаговолили мне высказать, если вашему величеству угодно будет приказать мне это.

— Да, говорите, говорите, — произнесла императрица, раздосадованная невозмутимым спокойствием девушки.

— Тогда я скажу вашему величеству: впервые

в жизни я слышу из ваших царственных уст, что моя репутация страдает из-за присутствия Йозефа Гайдна в доме моего учителя. Я считала себя слишком ничтожной, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать осуждение общества, и если бы мне сказали, когда я отправлялась во дворец, что сама императрица судит и порицает мое поведение, я подумала бы, что мне это снится.

Мария-Терезия прервала ее. В словах Консуэло ей почудилась ирония.

— Что же удивительного в том, — проговорила она несколько напыщенным тоном, — что я вхожу в малейшие подробности жизни людей, за которых отвечаю перед Богом.

— Как не удивляться тому, что вызывает восхищение! — ловко ответила Консуэло. — И если возвышенные поступки велики своей простотой, они так редки, что в первую минуту невольно поражают нас.

— Кроме того, — продолжала императрица, — вы должны знать, почему я уделяю особое внимание вам, как и всем артистам, которыми люблю украшать свой двор. Театр в других странах — школа соблазна, бездна всяческих мерзостей. Я имею притязание, несомненно похвальное, хотя, возможно, и невыполнимое, обелить пред

людьми и оправдать пред Богом сословие комедиантов — предмет слепого презрения и даже религиозных гонений у многих народов. В то время как во Франции церковь закрывает перед актерами двери, я хочу, чтобы здесь церковь приняла их в свое лоно. Я допускала в свою Итальянскую оперу, в свою Французскую комедию, в свой Национальный театр лишь людей испытанной нравственности или тех, кто твердо решил изменить свое поведение. Вы должны знать, что я устраиваю браки среди своих артистов и даже бываю восприемницей их детей при крещении, стремясь всеми возможными милостями поощрять законное потомство и супружескую верность.

«Если бы мы это знали, — подумала Консуэло, — то попросили бы ее величество быть крестной матерью Анджелы вместо меня».

— Ваше величество сеет, чтобы собрать урожай, — сказала она вслух. — Будь у меня на совести грех, я почитала бы за счастье приобрести в лице вашего величества исповедника столь же милосердного, как сам Господь Бог. Но…

— Договаривайте то, что вы собирались сказать, — высокомерно проговорила Мария-Терезия.

— Я хотела сказать, — продолжала Консуэло, — что не проявила никакой особенной самоотверженности по отношению к Йозефу Гайдну, ибо не имела понятия об обвинениях, возводимых на меня из-за его пребывания в том доме, где я живу.

— Понимаю, — сказала императрица, — вы все отрицаете!

— Как могу я сознаться в том, чего нет, — ответила Консуэло, — я не питаю склонности к ученику маэстро Порпоры и не имею ни малейшего желания выйти за него замуж.

«А будь это иначе, — подумала она про себя, — я не хотела бы получить его сердце по императорскому указу».

— Итак, вы хотите остаться в девицах? — сказала императрица поднимаясь. — Тогда заявляю вам, что подобное положение не обеспечивает в моих глазах желательной нравственности. К тому же молодой особе не приличествует появляться в некоторых ролях и изображать страсти, если она не состоит в браке и не находится под покровительством мужа. От вас зависело победить в моем мнении вашу соперницу — госпожу Кориллу. Мне говорили о ней много хорошего, но ее итальянское произношение гораздо хуже

вашего. Однако госпожа Корилла замужем, она мать семейства, а это ставит ее в положение более, на мой взгляд, достойное, чем то, в котором вы упорно желаете оставаться.

— Замужем? — невольно прошептала бедная Консуэло; она была потрясена, узнав, что за добродетельную особу предпочла ей добродетельнейшая и прозорливейшая из императриц.

— Да, замужем, — ответила Мария-Терезия тоном, не допускающим возражений и уже раздраженная тем, что Консуэло выразила сомнение насчет ее избранницы. — Она недавно произвела на свет ребенка, которого препоручила почетному и ревностному служителю церкви, господину канонику, дабы он воспитал дитя в христианском духе. И, без всякого сомнения, достойный аббат не взял бы на себя столь тяжелой обязанности, если бы не знал, что мать заслуживает полного его уважения.

— Я также в этом нисколько не сомневаюсь, — ответила молодая девушка, возмущенная в душе, но утешаясь тем, что каноник заслужил похвалу, а не порицание за усыновление ребенка — поступок, к которому она сама его принудила.

«Вот как пишется история и в каком виде все доходит до королей! — сказала она себе, когда

императрица с величественным видом вышла из гостиной, слегка кивнув ей головой на прощание. — Ну что ж, даже в самом плохом всегда есть что-то хорошее, и людские заблуждения приводят подчас к благим последствиям. Каноника не лишат его прекрасного бенефиция, Анджелу не лишат ее доброго каноника, Корилла исправится, раз за дело берется сама императрица, а я все-таки не стала на колени перед женщиной, которая вовсе не лучше меня!».

— Ну что? — сдавленным голосом воскликнул Порпора, который ждал в галерее, дрожа от холода и в волнении нервно потирая руки. — Надеюсь, мы победили?

— Напротив, дорогой учитель, мы потерпели поражение, — ответила Консуэло.

— С каким спокойствием ты это говоришь, черт тебя побери!

— Здесь не надо произносить таких слов, маэстро. Черт не в милости при дворе! Когда мы переступим порог последней двери дворца, я все расскажу вам.

— Ну, в чем же дело? — нетерпеливо спросил Порпора, когда они оказались на валу.

— Помните, учитель, что мы с вами сказали о великом министре Каунице, выйдя от марк-

графини?

— Мы сказали, что он старая сплетница. А что? Он навредил нам?

— Вне всякого сомнения. А теперь я прибавлю: ее величество императрица австрийская и королева венгерская — точно такая же сплетница.

Глава XCII

Консуэло рассказала Порпоре только то, что ему надлежало знать о причинах, навлекших на нашу героиню немилость Марии-Терезии. Остальное огорчило бы маэстро, обеспокоило бы его и, пожалуй, вооружило бы против Гайдна, ничего при этом не исправив. Не хотела Консуэло также говорить и своему юному другу о том, о чем умолчала перед Порпорой. Она правильно сделала, что пренебрегла теми неопределенными обвинениями, которые, видимо, были переданы императрице двумя-тремя недоброжелателями, но отнюдь не выражали мнения общества. Посланник Корнер, которому Консуэло нашла нужным все рассказать, посмотрел на дело так же, как она, и, чтобы злые языки не могли подхватить эти семена клеветы, принял очень разумные и великодушные меры: он уговорил Порпору переехать вместе с Консуэло в его дворец, а Гайдна устроил на службу в посольство в качестве одного из секретарей. Таким образом старый маэстро избавлялся от нужды, Йозеф продолжал оказывать ему кое-какие личные услуги, что давало

ему возможность часто видеться с учителем и брать у него уроки, а Консуэло была ограждена от злобных обвинений.

Несмотря на эти предосторожности, не Консуэло, а Корилла была приглашена на императорскую сцену. Консуэло не сумела понравиться Марии-Терезии. Великая королева, забавляясь закулисными интригами, о которых ей с недомолвками и милым остроумием рассказывали Кауниц и Метастазио, в то же время желала играть роль олицетворенного венценосного провидения для своих актеров, а те разыгрывали перед нею кающихся грешников и демонов, обращенных на путь истинный. Само собой разумеется, что в числе этих лицемеров, получавших за свое мнимое благочестие маленькие пособия и маленькие подарки, не состояли ни Кафариэлло, ни Фаринелли, ни госпожа Тези, ни госпожа Гассе и никто из тех великих виртуозов, которые поочередно посещали Вену и которым многое прощалось за их талант и известность. Второстепенных же ролей добивались лица, решившие потворствовать ханжеским и душеспасительным прихотям ее величества, и ее величество, вносившая во все дух политической интриги, поднимала дипломатическую суетню по поводу

брака или обращения на стезю добродетели кого-либо из своих комедиантов. Читая «Мемуары» Фавара (этот интересный роман в самом деле разыгрался за кулисами), мы видим, с каким трудом выполнял он поручения по доставке в Вену актрис и оперных певиц. Их хотели заполучить по дешевой цене и к тому же целомудренными, как весталки. Кажется, этот хитроумный придворный поставщик, после усердных поисков, так и не смог найти в Париже ни одной подходящей особы, что делает больше чести откровенности, чем добродетели наших оперных девиц, как их тогда называли.

Итак, Мария-Терезия стремилась придать своим развлечениям характер поучительный, достойный ее благодетельного величия. Монархи всегда играют роль, а великие монархи, быть может, больше, чем все другие. Порпора всегда это утверждал, и он не ошибался. Великая императрица, ревностная католичка, примерная мать, не считала для себя унизительным разговаривать с проституткой, наставлять ее, вызывать на необычайные признания, и все это ради того, чтобы привести кающуюся Магдалину к стопам Спасителя. Личная шкатулка ее величества — посредница между грехом и раскаянием — была в

руках императрицы верным и чудодейственным средством для спасения многих заблудших душ. И Корилла, плачущая и поверженная к ее ногам, если не самолично (я сомневаюсь, чтобы она могла переломить свой необузданный нрав для подобной комедии), то через посредство господина Кауница, ручавшегося за ее вновь обретенную добродетель, должна была неминуемо взять верх над такой решительной, гордой и мужественной девушкой, как непорочная Консуэло. Мария-Терезия ценила в своих театральных любимицах лишь ту добродетель, творцом которой считала одну себя, а добродетель, которую девицы сумели сохранить сами, мало ее интересовала. Она не верила им, хотя ее собственная высокая нравственность и должна была бы пробуждать в ней такую веру. Наконец, манера Консуэло держать себя оскорбила императрицу, она сочла девушку вольнодумкой и резонеркой. Слишком много гордости и самоуверенности проявила цыганочка, желая быть уважаемой и целомудренной без помощи ее величества. Когда господин фон Кауниц, притворявшийся совершенно беспристрастным, но в то же время чернивший Консуэло к выгоде Кориллы, спросил Марию-Терезию, соблаговолила ли она удовлетворить просьбу этой девочки,

та ответила: «Мне не понравились ее убеждения. Больше не говорите мне о ней». И этим все было сказано. Голос, лицо, самое имя Порпорины были совершенно забыты.

Одного слова оказалось достаточно, чтобы Порпора понял причину немилости, в которую он впал. Консуэло была вынуждена ему сказать, что императрица считает невозможным допустить ее на императорскую сцену из-за того, что она не замужем.

— А Корилла? — воскликнул Порпора, узнав о ее приглашении. — Разве императрица уже успела выдать ее замуж?

— Насколько я могла понять или догадаться из слов ее величества, Корилла слывет здесь вдовой.

— О да, конечно, трижды вдова! Десять раз! Сто раз вдова! — повторял Порпора с горьким смехом. — Но что скажут, когда узнают правду и будут свидетелями новых бесчисленных случаев ее вдовства? А ребенок, которого, как я слышал, она оставила под Веной у одного каноника? Ребенок, которого она хотела навязать графу Дзустиньяни, а тот посоветовал ей препоручить его отеческим ласкам Андзолетто! Ну и потешится она со своими приятелями, рассказывая им об

этом с присущим ей цинизмом, и посмеется же в тиши своего алькова над тем, как ловко провела императрицу!

— Но если императрица узнает правду?

— Императрица ее не узнает. Монархи, кажется мне, окружены ушами, которые служат как бы преддверием к их собственным. Многое не доходит до императорского слуха, в это святилище проникает лишь то, что пожелают пропустить стражи. К тому же, — добавил Порпора, — у Кориллы всегда останется в запасе исповедь и раскаяние, а господину Кауницу будет поручено следить за выполнением наложенного на нее покаяния.

Бедный маэстро изливал свою желчь в этих язвительных шутках, но был глубоко опечален. Он терял надежду на постановку законченной им новой оперы, тем более что либретто к ней было написано не Метастазио, а монополия придворной поэзии принадлежала именно последнему. Порпора, видно, догадывался, что Консуэло не проявила достаточной ловкости, не сумела заслужить милости императрицы, и не мог удержаться, чтобы не высказать ей по этому поводу свое неудовольствие. В довершение несчастья, венецианский посланник, заметив

однажды, как восторгается и гордится Порпора быстрым развитием и успехами, достигнутыми под его руководством Йозефом Гайдном, имел неосторожность открыть маэстро всю правду относительно юноши и показать ему первые изящные опыты его музыкального сочинительства, начинавшие ходить по рукам и обратившие уже на себя внимание любителей. Маэстро закричал, что его обманули, и пришел в неистовую ярость. К счастью, он не заподозрил участия Консуэло в этой хитрости, а господин Корнер, видя, какую он вызвал бурю, поспешил искусной ложью пресечь всякое подозрение на этот счет. Но он не мог помешать изгнанию Йозефа на несколько дней из комнаты учителя, и понадобилось все влияние Корнера, обусловленное его покровительством и оказанными услугами, чтобы маэстро смилостивился над юношей. Однако Порпора долго не мог забыть обмана и, говорят, находил удовольствие в том, что заставлял Йозефа оплачивать уроки унизительной лакейской службой, более тщательной и продолжительной, чем было нужно, ибо теперь в распоряжении маэстро имелись посольские лакеи. Гайдн, однако, не падал духом и, кроткий, терпеливый и преданный, постоянно побуждаемый и поощряемый

доброй Консуэло, всегда прилежный и внимательный на уроках, в конце концов обезоружил своего сурового учителя и получил от него все, что хотел и мог воспринять.

Но гений Гайдна заставлял его мечтать об иных, еще неизведанных путях, и будущий создатель симфонической музыки поверял Консуэло свои мысли об инструментальных ансамблях гигантских размеров. Эти гигантские ансамбли, кажущиеся нам теперь такими естественными, несложными и скромными, сто лет тому назад могли считаться утопией безумца или началом новой эры, возведенной гением. Йозеф еще сомневался в себе и не без страха потихоньку открывал Консуэло мучившие его честолюбивые замыслы. Сначала они немного пугали Консуэло. До сих пор инструментовка играла в музыке второстепенную роль и, обособляясь от человеческого голоса, обходилась самыми простыми приемами. Однако у ее юного собрата было столько спокойствия, столько настойчивой мягкости, во всем его поведении, во всех убеждениях чувствовалась такая подлинная скромность, такое беспристрастное, добросовестное искание истины, что он не мог показаться Консуэло слишком самонадеянным, она поверила в его правоту и

решила поддерживать его начинания. Именно в ту пору Гайдн написал серенаду для трех инструментов и решил сыграть ее вместе с двумя друзьями под окнами любителей музыки, желая привлечь внимание к своим сочинениям. Начал он с Порпоры, который, не зная ни имени автора, ни исполнителей, подошел к окну, с удовольствием слушал и громко аплодировал. На этот раз посланник, посвященный в тайну и также слушавший серенаду, оказался осторожнее и не выдал молодого композитора. Порпора не желал, чтобы лица, бравшие у него уроки пения, отвлекались чем-либо иным.

Приблизительно в это же время Порпора получил письмо от своего бывшего ученика, великолепного контральтиста Уберти, прозванного Порпорино и состоявшего на службе у Фридриха Великого. Этот знаменитый певец не был, как другие ученики маэстро, настолько ослеплен собственными успехами, чтобы забыть, чем он обязан своему учителю. Порпорино никогда не стремился изменить то, что приобрел у него — умение петь свободно и чисто, без фиоритур, придерживаясь разумных традиций, — и это неизменно удавалось ему. Особенно хорошо получалось у него адажио. Порпора питал к

нему слабость, которую с трудом скрывал перед фанатическими поклонниками Фаринелли и Кафариэлло. Маэстро соглашался, что искусство, блеск и гибкость исполнения великих виртуозов производят больший эффект и вызывают больший восторг у публики, обожающей всяческие изощрения. Но потихоньку он говорил, что его Порпорино никогда не согласится потворствовать дурным вкусам и, хотя поет всегда в одной и той же манере, его никогда не надоест слушать. И, видимо, в Пруссии пение Порпорино в самом деле не надоело, ибо он блистал там в течение всей своей артистической карьеры и умер в преклонных годах, прожив в этой стране более сорока лет.

В своем письме Уберти сообщал, что музыку Порпоры очень ценят в Берлине и что, если бы учитель пожелал приехать к нему, он уверен, что добьется постановки его новых опер. Он горячо убеждал Порпору покинуть Вену, где артисты были жертвами вечных интриг со стороны разных партий; в то же время он просил завербовать для прусского двора выдающуюся певицу, которая смогла бы вместе с ним петь в операх маэстро. Порпорино с большой похвалой отзывался о просвещенном вкусе своего короля и о почетном

покровительстве, какое тот оказывает музыкантам. «Если этот план вам улыбается, — писал он в конце письма, — скорее отвечайте, каковы ваши условия. Ручаюсь, что через три месяца я добьюсь для вас положения, которое обеспечит вам, наконец, спокойное существование. Что касается славы, дорогой учитель, то достаточно будет вам написать, а нам спеть написанное вами, чтобы вас оценили, и я надеюсь, что слух об этом дойдет до самого Дрездена».

Последняя фраза заставила Порпору навострить уши, как старого боевого коня: то был намек на успех Гассе и его певцов при саксонском дворе. Мысль сравняться славой со своим соперником на севере Германии настолько улыбалась маэстро, к тому же в данную минуту он был в такой обиде на Вену, венцев и их двор, что без всяких колебаний поручил Порпорино хлопотать за него в Берлине. Он сообщил ему свои требования, стараясь быть как можно скромнее, дабы не потерпеть неудачи. О Порпорине он отозвался с самой большой похвалой, говоря, что она не только по имени, но и по образованию, и по таланту, и по сердцу может считаться истинной сестрой Порпорино, и просил устроить ей ангажемент на наилучших условиях. Все было сделано без

ведома Консуэло — она узнала о новом решении маэстро, когда письмо уже было отправлено.

Бедная девушка страшно испугалась самого слова Пруссия, а имя великого Фридриха привело ее в содрогание. Со времени приключения с дезертиром Консуэло представляла себе этого прославленного монарха не иначе, как в образе людоеда и вампира. Порпора очень бранил ее за то, что она проявила слишком мало радости, узнав о возможности нового ангажемента, а так как Консуэло не могла рассказать ему о злоключениях Карла и о выходках господина Мейера, то, опустив голову, предоставила учителю журить ее.

Однако, поразмыслив, она нашла, что новый проект даже облегчает ее положение: это была отсрочка для ее возвращения на сцену, так как дело могло еще провалиться, да и Порпорино просил по крайней мере три месяца на устройство его. До тех пор она могла мечтать о любви графа Альберта и о том, чтобы найти в себе твердую решимость ответить на нее, а также могла честно и искренне выполнить взятое на себя обязательство — обдумать тщательно и без принуждения, может ли она связать свою судьбу с ним или чувствует, что не в силах пойти на это.

Консуэло хотела, прежде чем сообщать что-либо владельцам замка Исполинов, дождаться ответа графа Христиана на свое первое письмо. Но ответа все не было, и Консуэло начала уже думать, что старый Рудольштадт взял назад свое согласие на этот неравный брак и сумел уговорить Альберта отказаться от него, как вдруг Келлер передал ей украдкой короткое письмецо такого содержания:

Вы обещали мне писать и сделали это косвенно, сообщив моему отцу о трудностях своего теперешнего положения. Вижу, что над вами тяготеет иго, от которого я счел бы преступным избавить вас. Вижу, что мой добрый отец страшится для меня последствий вашего подчинения Порпоре. Но я, Консуэло, я ничего не страшусь, раз вы написали моему отцу, с каким сожалением и страхом покоряетесь воле своего учителя. Для меня это достаточное доказательство того, что вам не легко произнести приговор, который обрек бы меня на вечное отчаяние. Нет! Вы не измените своему слову, вы попытаетесь полюбить меня! Не все ли

мне равно, где вы и чем заняты, какое положение создадут вам в обществе слава или предрассудки, как долго и какие препятствия будут держать вас вдали от меня, если в сердце моем живет надежда и вы позволяете мне надеяться! Правда, я очень страдаю, но я в состоянии страдать еще больше и не падать духом, пока вы не погасите во мне искры надежды.

Я жду, я умею ждать! Не бойтесь напугать меня, замедлив с ответом. Не пишите мне под влиянием опасения или жалости – я не хочу никакого снисхождения. Взвесьте мою судьбу в своем сердце, испытайте мою душу в своей душе, а когда настанет время, когда вы будете уверены в себе, – будь то в келье монахини или на подмостках театра, – велите мне никогда больше не беспокоить вас или явиться к вам... и, в зависимости от вашей воли, я буду у ваших ног или замолчу навсегда.

Альберт.

— О мой благородный Альберт! — воскликнула Консуэло, целуя письмо. — Я чувствую, что люб-

лю тебя! Да и невозможно было бы не любить! Я хочу сейчас же, без колебаний, сказать тебе это. Своим обещанием я вознагражу постоянство и самоотверженность твоей любви.

Она тут же начала писать, но, услышав голос Порпоры, поспешно спрятала на груди и письмо Альберта и начатый ответ. В течение всего дня она не смогла выбрать ни одной свободной минуты, ни одного укромного местечка. Казалось, хитрый старик догадался о ее желании остаться одной и задался целью помешать ей. Когда наступила ночь, Консуэло, немного успокоившись, поняла, что такое важное решение требовало более продолжительной проверки ее собственных чувств. Не следовало подавать Альберту надежды, которая могла и не осуществиться. Сотню раз перечла она письмо молодого графа и увидала, что он равно боится как горестного отказа, так и слишком поспешного обещания. Консуэло решила обдумать ответ в течение нескольких дней. Казалось, сам Альберт этого требовал.

Жизнь, которую она вела в это время в посольстве, протекала спокойно и размеренно. Чтобы не давать повода злобным наветам, Корнер был настолько деликатен, что никогда не заходил в отведенное ей помещение и никогда не пригла-

шал ее к себе, даже вместе с Порпорой. Встречался он с нею только у госпожи Вильгельмины, где Консуэло охотно пела в интимном кругу и где посланник мог говорить с нею, не компрометируя ее. Йозеф также был принят в салоне Вильгельмины в качестве музыканта. Кафариэлло бывал там часто, граф Годиц — иногда, а аббат Метастазио — изредка. Все трое очень сожалели о постигшей Консуэло неудаче, но ни один не имел ни мужества, ни настойчивости, чтобы заступиться за нее. Порпора возмущался и с трудом скрывал это. Консуэло старалась смягчить его и убеждала относиться терпимо к людям со всеми их недостатками и слабостями. Она побуждала его работать, и благодаря ей в душе маэстро время от времени мерцали проблески надежды и вдохновения. Она поддерживала в нем раздражение лишь против светского общества, ибо тогда он не возил ее туда петь. Радуясь, что о ней забыли великие мира сего, вызывавшие в ней ужас и отвращение, она серьезно занималась, предавалась сладким мечтам, продолжала дружбу с добрым Гайдном, чья привязанность приобрела теперь спокойный и безмятежный характер, и ухаживала за своим старым учителем, каждый день говоря себе, что если природа не создала ее для

жизни тихой и уравновешенной, то еще меньше — для волнений, порождаемых тщеславием, и для деятельности, основанной на честолюбии. Правда, она мечтала раньше и теперь продолжала помимо воли мечтать о жизни более кипучей, о радостях любви более пылких, о более широких и живых умственных интересах. Но мир искусства, рисовавшийся ее воображению столь чистым, прекрасным и благородным, предстал перед ее взором в таком страшном обличье, что она предпочла ему существование безвестное и замкнутое, теплые дружеские привязанности и одиночество, заполненное трудом.

Консуэло не приходилось вновь обдумывать предложение Рудольштадтов. Их великодушие, нерушимая, возвышенная любовь сына, снисходительная нежность отца не вызывали у нее сомнений. Ей не нужно было вопрошать ни свой ум, ни свою совесть — они говорили в пользу Альберта. На этот раз без всяких усилий она отогнала от себя воспоминания об Андзолетто. Победа над любовью дает силы для победы над всеми другими страстями, и Консуэло не боялась больше соблазна, отныне ей не опасны были никакие чары. И все же страсть к Альберту не разгоралась в ее душе с достаточным пылом. Она снова и

снова вопрошала свое сердце, в глубине которого в таинственном спокойствии жило ожидание совершенной любви. Сидя у окна, простодушная девушка часто смотрела на проходивших мимо молодых людей — дерзких студентов, благородных вельмож, меланхолических артистов, горделивых дворян — и всех подвергала наивному и по-детски серьезному разбору. «Посмотрим, — говорила она себе, — насколько своенравно и легкомысленно мое сердце. Способна ли я влюбиться вдруг, безумно и безудержно, с первого взгляда, как многие из моих школьных подруг, хваставшие своими увлечениями или каявшиеся в моем присутствии? Неужели правда, что любовь — волшебная молния, поражающая нас, грубо отрывающая от законных привязанностей и нарушающая наше мирное неведение? Способен ли взгляд хоть одного из мужчин, иногда поднимающих глаза к моему окну, взволновать и очаровать меня? Вот этот высокий человек с горделивой походкой, неужели он благороднее и красивее Альберта? А тот, другой, с пышной шевелюрой, в изящном костюме, разве заслоняет он образ моего жениха? Наконец, хотела ли бы я оказаться на месте вон той разодетой дамы, едущей в собственной карете вместе с надменным

господином, который держит ее веер и подает ей перчатки? Разве все это заставляет меня дрожать, краснеть, трепетать, мечтать? Нет!.. Право же, нет! Говори, мое сердце, выскажись, — я вопрошаю тебя и даю тебе волю. Но увы! Я совсем не знаю тебя. С минуты рождения у меня было так мало времени заняться тобой! Я ни в чем не стесняла тебя. Я предоставляла свою жизнь твоей власти, не разбирая, насколько благоразумны твои порывы. Тебя разбили, мое бедное сердце, а теперь, когда разум усмирил тебя, ты не смеешь жить, ты не умеешь ответить. Говори же, проснись и выбирай! Ах, так ты можешь оставаться спокойным и ничего не хочешь из того, что тебе предлагают? Тебе больше не нужен Андзолетто? Значит, ты призываешь Альберта? Мне кажется, ты говоришь «да!». И Консуэло ежедневно отходила от окна, бодро улыбаясь, с кротким и мягким блеском в глазах.

Спустя месяц, чувствуя себя совершенно спокойной, она ответила Альберту, не спеша и проверяя себя чуть ли не на каждой букве, которую выводило ее перо:

Я не люблю никого, кроме вас, и почти уверена, что вас люблю. Дайте мне по-

мечтать о возможности нашего брака. Мечтайте и вы о нем. Давайте вместе найдем способ, не огорчая ни вашего отца, ни моего учителя, стать счастливыми, не становясь эгоистами.

К этой записке она приложила коротенькое письмо графу Христиану, где рассказала ему, какую ведет спокойную жизнь и сообщала об отсрочке, создавшейся вследствие новых планов Порпоры. Она просила графа подумать о том, как заставить сдаться маэстро, и сообщить ей об этом через месяц. Таким образом, до выяснения дела, затеянного в Берлине, у нее оставался еще целый месяц, чтобы подготовить Порпору.

Консуэло, запечатав оба письма, положила их на стол и заснула. Чудесный покой снизошел на ее душу, давно она не спала таким крепким, безмятежным сном. Проснулась она поздно и поспешила встать, чтобы повидаться с Келлером, обещавшим прийти за письмом в восемь часов. Было уже девять. Консуэло принялась поспешно одеваться и вдруг с ужасом увидела, что письма на том месте, куда она его положила, нет. Всюду искала она его, но так и не нашла. Наконец, она вышла посмотреть, не ждет ли ее Келлер в перед-

ней, но ни Келлера, ни Йозефа там не было.

Возвращаясь к себе, чтобы снова приняться за поиски письма, она увидела Порпору, который строго смотрел на нее.

— Что ты ищешь? — спросил он.

— Я потеряла ноты.

— Ты лжешь: ты ищешь письмо.

— Маэстро…

— Замолчи, Консуэло! Ты еще не умеешь лгать, не учись этому.

— Маэстро, что ты сделал с письмом?

— Я передал его Келлеру.

— А почему?.. Почему ты его передал Келлеру?

— Да потому, что он за ним пришел, как ты ему вчера приказала. Не умеешь ты притворяться, Консуэло, или у меня тоньше слух, чем ты думаешь.

— Скажи, наконец, что ты сделал с моим письмом? — решительно спросила Консуэло.

— Я же тебе сказал. Что ты меня еще спрашиваешь? Я нашел неприличным, что молодая и порядочная девушка, какой, я полагаю, ты рассчитываешь оставаться и дальше, тайно передает письма своему парикмахеру. А чтобы этот человек не мог дурно судить о тебе, я со спокойным видом отдал ему письмо, поручив от твоего

имени его отправить. По крайней мере он не подумает, что ты скрываешь от своего приемного отца какую-то преступную тайну.

— Ты прав, маэстро, ты хорошо поступил… Прости меня!

— Прощаю. Не будем больше об этом говорить.

— И… ты прочел мое письмо? — прибавила Консуэло ласково и боязливо.

— За кого ты меня принимаешь? — грозно воскликнул Порпора.

— Прости меня за все, — проговорила Консуэло, опускаясь перед ним на колени и порываясь взять его руку, — позволь открыть тебе мою душу…

— Ни слова больше!.. — вскричал маэстро, отталкивая ее, и ушел к себе в комнату, с шумом захлопнув за собой дверь.

Консуэло надеялась, что, когда пройдет эта первая вспышка гнева, ей удастся его успокоить и окончательно объясниться с ним. Она чувствовала себя в силах высказать ему все, что думала, и надеялась этим ускорить осуществление своих замыслов. Но Порпора отказался от всяких объяснений, и его суровость в этом отношении осталась непоколебимой и твердой. В остальном же он относился к Консуэло по-прежнему дружески и с этого дня стал даже как-то весе-

лее и добрее. Консуэло увидела в этом хорошее предзнаменование и доверчиво ждала ответа из замка Исполинов.

Порпора не солгал: он сжег письма Консуэло, не читая их, но сохранил конверт и вложил в него собственное послание к графу Христиану. Он думал этим смелым поступком спасти свою ученицу и избавить старика Рудольштадта от жертвы, превышающей его силы. Он считал, что исполнил по отношению к нему долг верного друга, а по отношению к Консуэло — долг энергичного и разумного отца. Маэстро не предвидел, что мог нанести смертельный удар графу Альберту. Едва зная его, он полагал, что Консуэло преувеличивает и молодой человек не так уж влюблен и не так болен, как она воображала. Наконец, как все старики, он считал, что любовь не вечна, а горе никого не убивает.

Глава XCIII

В ожидании ответа, которому не суждено было прийти, поскольку Порпора сжег ее письма, Консуэло продолжала вести спокойную, трудолюбивую жизнь. Ее появление в доме Вильгельмины привлекло туда несколько выдающихся лиц, и ей доставляло большое удовольствие с ними встречаться. В числе их был барон Фридрих фон Тренк, внушавший ей истинную симпатию. Он был настолько скромен, что при первой встрече отнесся к ней не как к старой знакомой, а после того, как она спела, просил, чтобы его представили ей в качестве почитателя, глубоко тронутого ее пением. Когда Консуэло увидала красивого, великодушного молодого человека, спасшего ее так мужественно от господина Мейера и его шайки, первым ее побуждением было протянуть ему руку. Барон, не желавший, чтобы она из чувства признательности к нему выказала неосторожность, поспешил почтительно подать ей свою, как бы для того, чтобы проводить ее на место, и тут в знак благодарности слегка пожал ей руку. Потом она узнала от Йозефа, у которого барон

брал уроки музыки, что тот всегда с интересом справлялся и с восторгом говорил о ней, но из чувства необычайной деликатности никогда не спрашивал, чем вызвано было ее переодевание, почему предприняли они с Йозефом столь отважное путешествие и какими были тогда и остаются теперь их отношения друг к другу.

— Не знаю, что он об этом думает, — добавил Йозеф, — но, уверяю тебя, ни об одной женщине он не говорит с большим почтением и уважением, чем о тебе.

— В таком случае, друг, я разрешаю тебе, если хочешь, рассказать ему всю нашу историю, а также и мою, не называя, однако, фамилии Рудольштадт. Я хочу быть достойной доверия в глазах человека, которому мы обязаны жизнью и который всегда так благородно вел себя со мной.

Несколько недель спустя, едва успев выполнить свою миссию в Вене, господин фон Тренк был внезапно отозван Фридрихом и однажды утром явился в посольство, чтобы наскоро проститься с господином Корнером. Консуэло, спускаясь по лестнице, встретилась с ним в галерее. Так как они были одни, он подошел к ней, взял ее руку и нежно поцеловал.

— Позвольте мне, — сказал он, — в первый и,

быть может, в последний раз высказать вам чувства, переполняющие мое сердце. Мне не нужно было слышать от Беппо вашей истории, чтобы проникнуться уважением к вам. Есть лица, в которых не ошибаешься, и мне достаточно было одного взгляда, чтобы почувствовать и угадать в вас большой ум и большое сердце. Знай я тогда, в Пассау, что наш милый Йозеф так беспечен, я защитил бы вас от легкомысленных поползновений графа Годица. Я их предвидел и изо всех сил старался внушить ему, что он метит мимо цели и только поставит себя в смешное положение. Впрочем, добряк Годиц сам рассказал мне, как вы над ним посмеялись; он бесконечно благодарен вам за то, что вы сохранили все в тайне. Я же никогда не забуду романтического приключения, которое дало мне счастье узнать вас, и, если бы мне пришлось даже заплатить за это своим состоянием и своей будущностью, я все-таки буду считать тот день одним из лучших в своей жизни.

— Неужели вы думаете, господин барон, что это приключение может иметь такие последствия?

— Надеюсь, что нет, но при прусском дворе все возможно.

— Вы заставляете меня очень бояться Пруссии,

а между тем, господин барон, возможно, что в недалеком будущем мы с вами там встретимся. Идут переговоры о приглашении меня в Берлин.

— В самом деле? — воскликнул Тренк, и лицо его вдруг просияло. — Ну, дай Бог, чтобы это осуществилось. В Берлине я смогу быть вам полезен, и вы должны рассчитывать на меня как на брата. Да, я люблю вас, как брат, Консуэло, и, будь я свободен, я, быть может, не смог бы побороть в себе чувства более пылкого… Но вы также не свободны, и узы священные, вечные… не позволяют мне завидовать счастливцу, добивающемуся вашей руки. Кто бы он ни был, сударыня, знайте, что он найдет во мне друга, если пожелает, а если понадобится, то и соратника в борьбе против предрассудков общества. Увы! И передо мной, Консуэло, стоит ужасная преграда, отделяющая предмет моей любви от меня. Но тот, кто любит вас, — мужчина, и он может разрушить эту преграду, в то время как любимая мною женщина — она выше меня по положению — не имеет ни власти, ни права, ни силы, ни свободы, чтобы помочь мне преодолеть препятствие.

— Стало быть, я ничего не смогу сделать ни для нее, ни для вас? — сказала Консуэло. — Впервые я сожалею о бессилии своего скромного поло-

жения.

— Кто знает! — с жаром воскликнул барон. — Возможно, вы будете в состоянии сделать больше, чем думаете, если не для нашего союза, то хотя бы для того, чтобы облегчить порой тяжесть нашей разлуки. Хватит ли, однако, у вас мужества пренебречь некоторой опасностью ради нас?

— О! Я сделаю это с радостью! Ведь и вы подвергали опасности свою жизнь, чтобы спасти меня!

— Хорошо! Я буду на вас рассчитывать! Не забывайте своего обещания, Консуэло! Быть может, я неожиданно напомню вам о нем…

— В какую бы минуту моей жизни это ни случилось, я никогда не забуду своего обещания, — ответила она, протягивая ему руку.

— Тогда дайте мне в залог какую-нибудь малоценную вещицу, которую я мог бы вам послать в случае надобности, ибо мне предстоит серьезная борьба — я это чувствую — и обстоятельства могут так сложиться, что моя подпись и даже печать способны будут скомпрометировать и ее и вас.

— Хотите взять ноты, которые я как раз несу одному человеку по поручению моего учителя? Ему я достану другие, а на этих сделаю пометку, чтобы признать их, когда понадобится.

— Почему бы и нет? Ноты действительно можно

скорее всего послать, не возбуждая подозрений. И на случай, если придется воспользоваться ими несколько раз, я разорву их на отдельные листы. А вы на каждом из них сделайте значок.

Консуэло, прислонившись к перилам лестницы, написала на каждом листке имя Бертони. Барон свернул ноты и унес, поклявшись нашей героине в вечной дружбе.

Как раз в ту пору госпожа Тези захворала, и это грозило отменой спектаклей на императорской сцене, так как она исполняла главные роли. В крайнем случае ее могла заменить Корилла. Она пользовалась большим успехом и при дворе и в городе. Ее красота и вызывающее кокетство кружили головы простодушным немецким вельможам, и никто не думал предъявлять большие требования к ее немного хриплому голосу и несколько истеричной игре. Все казалось великолепным у такой красавицы — ее белоснежные плечи звучали изумительно, ее круглые, обольстительные руки пели всегда верно, ее великолепные позы преодолевали самые смелые пассажи. Несмотря на музыкальный пуризм, которым здесь так кичились, многие, как и в Венеции, подпадали под очарование томных очей, и госпожа Корилла в своем будуаре

вскружила не одну крепкую голову, подготовляя восторженных поклонников для своих предстоящих выступлений.

Итак, она смело взялась временно заменить госпожу Тези, но затруднение заключалось в том, что надо было найти заместительницу для нее самой. О слабом голосе госпожи Гольцбауэр нечего было и думать. Приходилось выпустить на сцену Консуэло или удовольствоваться кем попало. Порпора прилагал дьявольские усилия. Метастазио, страшно недовольный ломбардским произношением Кориллы и возмущенный тем, что она, вопреки смыслу и действию оперы, всеми силами старалась затмить других исполнителей, не скрывал своего охлаждения к ней и симпатии к добросовестной и умной Порпорине. Кафариэлло, ухаживающий за госпожой Тези (которая от всей души ненавидела Кориллу за то, что та осмелилась оспаривать у нее эффектные выходы и первенство красоты), громко ратовал за приглашение Консуэло. Гольцбауэр, ревниво оберегавший честь своего театра, но в то же время боявшийся влияния, которое приобрел бы Порпора, попав хотя бы одной ногой за кулисы, просто терял голову. Скромное поведение Консуэло привлекло к ней столько приверженцев,

что трудно было дольше вводить в заблуждение императрицу. Благодаря всему этому Консуэло получила приглашение. Ей, однако, были предложены жалкие условия — в надежде, что она их отвергнет. Порпора сразу на все согласился, как всегда не спросив мнения своей ученицы. В одно прекрасное утро Консуэло узнала, что ангажирована на шесть спектаклей. Не имея возможности отказаться и не понимая в то же время, почему после полуторамесячного ожидания она не имеет никаких вестей от Рудольштадтов, Консуэло, по настоянию Порпоры, вынуждена была отправиться на репетицию оперы Метастазио «Антигона» (музыка Гассе).

Консуэло уже прошла эту роль с Порпорой. Для маэстро было мукой изучать с ней произведение своего соперника, самого неблагодарного из учеников, врага, которого он теперь особенно ненавидел. Но не говоря о том, что через все это необходимо было пройти, чтобы раскрыть двери своим собственным операм, Порпора был слишком добросовестным преподавателем, обладал слишком честной душой артиста, чтобы не вложить в эту работу все свои знания и усердие. Консуэло также старалась изо всех сил, что одновременно и восхищало его и приводило

в отчаяние. Вопреки своему желанию, бедная девушка находила Гассе великолепным, и душа ее испытывала больший подъем от нежных и страстных мелодий Sassone, чем от величественных и подчас немного холодных и сухих произведений своего учителя. Она привыкла, изучая с ним других композиторов, свободно отдаваться своему восторгу, но на этот раз была принуждена сдерживаться, видя, как печально бывает его лицо и подавлен дух после этих занятий.

Когда Консуэло вышла на сцену репетировать с Кафариэлло и Кориллой, она была так взволнована, хотя и знала прекрасно свою партию, что ей стоило большого труда приступить к сцене Исмены с Береникой, начинавшейся словами:

No, tutto, o Berenice,
Tu non apri il tuo cor…[48]

Корилла ответила следующей фразой:

E ti par poco,
Quel che sai de'miei casi?[49]

---

[48] Примечания: 48
Нет, Береника, всего твоего сердца ты не открываешь… (*итал.*)

[49] Примечания: 49
А тебе мало того, что ты знаешь о моих приключениях? (*итал.*)

На этом месте Кориллу прервал громкий хохот Кафариэлло, и она, повернувшись к нему со сверкающими от гнева глазами, спросила:

— Что вы находите тут смешного?

— Ты так чудесно это сказала, моя толстая Береника! — ответил, еще громче смеясь, Кафариэлло. — Трудно было высказаться откровеннее.

— Эти слова так забавляют вас? — спросил Гольцбауэр, который был не прочь передать Метастазио, как сопранист потешается над его стихами.

— Слова-то прекрасны, — сухо ответил Кафариэлло, хорошо знавший, с кем имеет дело, — но здесь они были сказаны так кстати, что я не мог удержаться от смеха.

И он, надрываясь от хохота, повторил, обращаясь к Порпоре:

E ti par poco,
Quel che sai di tanti caci?[50]

Корилла, понимая, какая жестокая обида заключается в намеках на ее поведение и дрожа от ярости, ненависти и страха, чуть не бросилась на Консуэло, чтобы исцарапать ее лицо, но у

---

[50] Примечания: 50

А тебе мало того, что ты знаешь о стольких приключениях? (*итал.*)

той был такой кроткий и спокойный вид, что она не посмела этого сделать. К тому же слабый свет, проникавший на сцену, упал на лицо ее соперницы, и Корилла остановилась, пораженная какими-то смутными воспоминаниями и охваченная непонятным ужасом. В Венеции она никогда не видела Консуэло ни вблизи, ни при дневном свете. Во время родовых мук она едва могла рассмотреть черты цыганенка Бертони, суетившегося вокруг нее, и так и не поняла, почему он столь трогательно заботится о ней. Теперь она пыталась припомнить все происшедшее, но ей это не удавалось, и в течение всей репетиции она не могла избавиться от чувства беспокойства и неловкости. Совершенство, с каким Консуэло провела свою партию, немало способствовало дурному настроению Кориллы, а присутствие Порпоры, ее бывшего учителя, слушавшего ее, как строгий судья, молча и почти презрительно, превратило для нее репетицию в настоящую пытку. Господин Гольцбауэр был не менее уязвлен, когда маэстро заявил, что все темпы неправильны, а верить ему поневоле приходилось, так как он присутствовал на репетициях, которые проводил сам Гассе во время первой постановки его оперы в Дрездене. Советы маэстро были

настолько ценными, что Гольцбауэру пришлось смириться и скрыть досаду. Порпора провел таким образом всю репетицию, давал указания каждому и делал замечания даже самому Кафариэлло, а тот, желая поднять авторитет Порпоры перед другими, притворился, будто с почтением слушает его. Кафариэлло стремился унизить в тот день дерзкую соперницу госпожи Тези и готов был на все, даже на то, чтобы притвориться покорным и скромным учеником. Ведь у актеров, так же как и у дипломатов, на сцене, так же как и в кабинете монархов, самыми прекрасными и самыми некрасивыми поступками движут скрытые, бесконечно мелкие и пустые причины.

Вернувшись домой, Консуэло застала Йозефа исполненным радости, которой он, однако, пытался не показывать. Когда им удалось поговорить наедине, она узнала, что добрый каноник переехал в Вену и что первой его мыслью было вызвать своего милого Беппо и угостить его прекрасным завтраком, во время которого он не переставал с нежностью расспрашивать о дорогом его сердцу Бертони. Они уже сговорились, каким образом завязать знакомство с Порпорой, чтобы иметь возможность видеться по-семейному, честно и не таясь. На следующий же день

каноник представился Порпоре как покровитель Йозефа Гайдна и ярый поклонник самого маэстро, явившийся поблагодарить за уроки, которые тот соблаговолил давать его юному другу. Консуэло сделала вид, будто встречает каноника впервые, а вечером маэстро с обоими учениками уже дружески обедал у его преподобия. Несмотря на весь стоицизм Порпоры, — а в те времена даже самые крупные музыканты не могли таковым похвастаться, — он не мог не проникнуться сразу симпатией к славному канонику, угощавшему таким прекрасным обедом и столь высоко ценившему произведения маэстро. После обеда занялись музыкой. Затем стали видеться почти ежедневно.

Это успокаивающе действовало на Консуэло, начинавшую уже волноваться по поводу долгого молчания Альберта. Каноник был человек веселого нрава, целомудренный и в то же время свободомыслящий, очаровательный во многих отношениях, справедливый и весьма просвещенный в различных областях. Словом, это был прекрасный друг и чрезвычайно милый собеседник. Его общество оживляло и ободряло маэстро, настроение последнего заметно улучшилось, а вследствие этого и домашняя жизнь Консуэло

стала легче.

Однажды, когда не было репетиций (за два дня до первого представления «Антигоны»), Порпора отправился за город с одним из своих коллег, а каноник предложил Йозефу и Консуэло нагрянуть всем вместе в аббатство, чтобы захватить врасплох оставленных там слуг и, словно свалившись на них с неба, самим убедиться, хорошо ли ухаживает садовница за Анджелой, а садовник — за волкамерией. Молодые люди охотно согласились. Карету каноника нагрузили пирожками и бутылками, ибо нельзя совершить путешествие в четыре лье, не нагуляв аппетита. Подъезжая к усадьбе, путники сделали небольшой крюк и, оставив экипаж на некотором расстоянии от ворот, пошли пешком, так как хотели явиться совершенно неожиданно.

Волкамерия чувствовала себя превосходно: она стояла в тепле, и корни ее освежала влага. С наступлением холодов она перестала цвести, но ее красивые листья, нимало не тронутые увяданием, красиво ложились вокруг ее стройного ствола. Оранжерея содержалась в полном порядке, голубые хризантемы, не боясь зимы, казалось, смеялись за стеклянными перегородками. Анджела, прильнув к груди кормилицы, начинала

уже смеяться, когда с ней заигрывали, и каноник весьма разумно заметил, что не следует злоупотреблять этой забавой, так как вызываемый слишком часто насильственный смех развивает у малюток чрезмерную нервозность.

Так они сидели, непринужденно болтая, в хорошеньком домике садовника. Каноник, закутавшись в меховую душегрейку, грел ноги у очага, где пылали сухие корни и сосновые шишки. Йозеф играл с прелестными детьми красивой садовницы, а Консуэло, сидя посреди комнаты с маленькой Анджелой на руках, смотрела на нее со смешанным чувством нежности и скорби: ей казалось, что этот ребенок принадлежит ей больше, чем кому бы то ни было, и таинственный рок связывает его судьбу с ее собственной. Вдруг дверь отворилась, и перед ней, словно видение, вызванное ее грустными думами, предстала Корилла.

Впервые после родов Корилла почувствовала если не прилив материнской любви, то нечто вроде угрызений совести и украдкой явилась проведать своего ребенка. Она знала, что каноник живет в Вене. Приехав через полчаса после него и не видя у ворот следов его коляски, так как он сошел раньше, она тайком, никого не встретив,

пробралась садами до домика, где, по ее сведениям, жила у своей кормилицы Анджела — ибо Корилла все-таки навела кое-какие справки на этот счет. Она очень потешалась над замешательством и христианским смирением каноника, но совершенно не знала, какое участие принимала в этом приключении Консуэло, поэтому с удивлением, к которому примешались страх и смущение, увидела она здесь свою соперницу. Не зная и не смея догадываться, чье дитя та укачивает, она чуть было не обратилась в бегство. Но Консуэло, невольно прижавшая ребенка к груди, точно куропатка, прячущая птенца под крыло при появлении коршуна, Консуэло, артистка того же театра, способная на следующий день представить всем известную тайну Кориллы совсем не в том свете, в каком та сама ее изображала, наконец — Консуэло, смотревшая на нее со страхом и негодованием, потрясла ее своим присутствием до такой степени, что Корилла, словно пригвожденная или зачарованная, остановилась посреди комнаты.

Однако она была слишком опытной актрисой и потому быстро пришла в себя и обрела дар слова. Ее тактика заключалась в том, чтобы, оскорбляя других, самой избежать унижения. И тут же,

входя в роль, она наглым, резким голосом обратилась к Консуэло на венецианском наречии:

— Черт возьми! Бедная моя цыганочка! Что ж, этот дом — приют для подкидышей, что ли? Ты тоже явилась сюда, чтобы взять или оставить здесь своего детеныша? Видно, у нас с тобой одно счастье, одна судьба. Без сомнения, у наших детей и отец один и тот же: ведь наши с тобой приключения начались в Венеции одновременно. И я убедилась, сокрушаясь о тебе, что красавец Андзолетто сбежал от нас в прошлом сезоне, прервав свой ангажемент, вовсе не для того, чтобы погнаться за тобой, как все думали.

— Сударыня, — ответила Консуэло, бледная, но спокойная, — если бы я имела несчастье быть в таких же близких отношениях с Андзолетто, как вы, и вследствие этого имела бы счастье стать матерью (так как это всегда счастье для женщины, умеющей чувствовать), дитя мое не было бы здесь.

— А! Понимаю! — продолжала та с мрачным огнем в глазах. — Его воспитывали бы на вилле Дзустиньяни. У тебя хватило бы ума, которого у меня не нашлось, уверить милого графа, что его честь требует признания ребенка. Но ты не имела несчастья, как уверяешь, быть любовницей Ан-

дзолетто, а Дзустиньяни был настолько счастлив, что не оставил тебе доказательств своей любви. Говорят, Йозеф Гайдн, ученик твоего учителя, утешил тебя во всех твоих злоключениях, и, без сомнения, дитя, которое ты укачиваешь…

— Ваше, сударыня! — воскликнул Йозеф, который теперь прекрасно понимал венецианское наречие, и встал между Консуэло и Кориллой с таким грозным видом, что заставил последнюю отступить. — Вам это свидетельствует Йозеф Гайдн, ибо он присутствовал при том, как вы производили на свет этого ребенка.

Лицо Йозефа, не встречавшегося Корилле с того злосчастного дня, тотчас воскресило в ее памяти все подробности, которые она тщетно силилась припомнить, а в цыганочке Консуэло она узнала, наконец, черты цыганенка Бертони. У Кориллы невольно вырвался возглас удивления, и с минуту в душе ее шла борьба между стыдом и досадой. Но вскоре цинизм снова вернулся к ней, и из ее уст вновь посыпались оскорбления.

— По правде сказать, дети мои, я вас сразу и не признала! — воскликнула она до нельзя слащавым тоном. — Оба вы были очень милы, когда я встретила вас во время ваших похождений, а переодетая Консуэло была в самом деле краси-

вым мальчиком. Так, значит, здесь, в этой святой обители, она и провела благочестиво в обществе толстого каноника и молоденького Йозефа целый год после того, как убежала из Венеции? Ну, цыганочка, не беспокойся, дитя мое! Теперь каждая из нас знает тайну другой, а императрица, желающая все знать, ничего не узнает ни об одной из нас!

— Предположим даже, Корилла, что у меня есть тайна, — холодно проговорила Консуэло, — но она оказалась в ваших руках только сегодня, а я уже знала вашу тогда, когда целый час говорила с императрицей за три дня до подписания вами ангажемента.

— И ты наговорила обо мне всяких гадостей? — закричала Корилла, краснея от злости.

— Если бы я рассказала то, что знаю о вас, вы не получили бы ангажемента, а раз вы получили его, значит, я не захотела воспользоваться случаем.

— Почему же ты этого не сделала? Уж очень ты глупа, должно быть! — воскликнула Корилла, невольно обнаруживая всю свою порочность.

Консуэло и Йозеф, переглянувшись, не могли не улыбнуться друг другу. Улыбка Йозефа была исполнена презрения к Корилле, но ангельская улыбка Консуэло словно возносилась к небу.

— Да, сударыня, — ответила она с подавляющей кротостью, — я именно такая, как вы сказали, и считаю это благом для себя.

— Не такое уж это благо, бедняжка, раз я ангажирована, а ты нет! — возразила озадаченная и несколько встревоженная Корилла. — Мне говорили еще в Венеции, что у тебя не хватает ума и ты никогда не сумеешь вести свои дела! Это единственно верное из всего, что рассказывал о тебе Андзолетто. Но что поделаешь! Не моя вина, что ты такова… На твоем месте я рассказала бы все, что знала о Корилле, а себя выставила бы целомудренной, святой… Императрица поверила бы всему: ее нетрудно убедить… и я вытеснила бы всех своих соперниц. Но ты ничего не сказала!.. Это странно, и мне жаль тебя: ты не умеешь устраиваться.

На этот раз презрение оказалось сильнее негодования. Консуэло и Йозеф расхохотались, а Корилла, почувствовав, что ее соперница не столь бессильна, потеряла свою задорную язвительность, которой вооружилась было на первых порах, отбросила всякое стеснение, придвинула стул к очагу и собралась спокойно продолжать разговор, чтобы лучше выведать сильные и слабые стороны своих противников. Но в этот мо-

мент она очутилась лицом к лицу с каноником, которого до сих пор не заметила, ибо, руководясь инстинктивной осторожностью духовного лица, он сделал знак дебелой кормилице и ее двум детям заслонить его, пока он не разберется в происходящем.

Глава XCIV

После только что брошенного грязного намека на отношения Консуэло и толстого каноника появление этого последнего ошеломило Кориллу, словно она увидела голову Медузы. Но она успокоилась, вспомнив, что говорила на венецианском наречии, и поздоровалась с каноником по-немецки с той смесью смущения и наглости, какими отличаются взгляд и лицо женщины легкого поведения. Каноник, обычно столь вежливый и любезный, тут, однако, не только не встал, но даже не ответил на ее поклон. Корилла, много расспрашивавшая о нем в Вене и слышавшая от всех, что он чрезвычайно хорошо воспитан, большой любитель музыки, человек, не способный читать строгие наставления женщине, особенно певице, все собиралась повидаться с ним и пустить в ход свои чары, чтобы помешать ему дурно отзываться о ней. Но если в подобных делах она обладала сметливостью, которой не хватало Консуэло, то вместе с тем ей присущи были беспечность и безалаберность, порожденные распущенностью, ленью и даже, хоть это может

показаться здесь неуместным, нечистоплотностью. У грубых натур все эти слабости цепляются одна за другую. Изнеженность души и тела парализует осуществление задуманного, и у Кориллы, по природе своей способной на любое коварство, редко хватало энергии довести интригу до конца. Со дня на день откладывала она посещение каноника, и теперь, когда он оказался таким холодным и строгим, она, видимо, смутилась.

И вот, стремясь смелой выходкой поправить дело, она обратилась к Консуэло, продолжавшей держать на руках Анджелу:

— Послушай, почему ты не даешь мне поцеловать мою дочку и положить ее к ногам господина каноника, чтобы…

— Госпожа Корилла, — прервал ее каноник тем сухим, насмешливо-холодным тоном, каким он прежде говорил «госпожа Бригитта», — будьте добры, оставьте этого ребенка в покое.

И, выражаясь по-итальянски с большой изысканностью, хотя и немного медленно, он продолжал, не снимая шапочки, надвинутой на уши:

— Вот четверть часа, как я вас слушаю, и, хотя не очень хорошо знаком с вашим наречием, все же понял достаточно, и скажу вам, что вы самая наглая негодяйка, какую я встречал в своей жиз-

ни. Но все-таки я думаю, что вы скорее глупы, чем злы, скорее достойны презрения, чем опасны. Вы ничего не смыслите в прекрасных поступках, и мы напрасно пытались бы объяснить их вам. Одно могу вам сказать: говоря с этой девушкой, этой девственницей, этой святой, как вы сейчас в насмешку назвали ее, вы оскверняете ее! Не говорите же с ней! Что касается ребенка, рожденного вами, то, прикоснувшись к нему, вы замарали бы его. Не троньте же его! Ребенок — существо священное. Консуэло это сказала, и я понял ее. Только по просьбе и благодаря уговорам этой самой Консуэло я рискнул взять на свое попечение вашу дочь, не убоявшись того, что в один прекрасный день дурные наклонности, которые она может унаследовать от вас, заставят меня раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость Божья дает возможность всякому существу познать и творить добро, и мы обещали себе преподать ей добро и помочь ей творить его легко и радостно. Останься ребенок у вас, все было бы совсем иначе. Соблаговолите же с сегодняшнего дня не считать больше Анджелу своей дочерью. Вы покинули ее, уступили, отдали — она больше вам не принадлежит. Вы передали нам известную сумму денег — как плату за ее воспитание…

Он сделал знак кормилице, и та, предупрежденная им за несколько минут до того, вынула из шкафа перевязанный и запечатанный мешочек, тот самый, который прислала Корилла канонику вместе с дочерью и который так и не был открыт. Каноник взял его и, бросив к ногам Кориллы, прибавил:

— Мы не нуждаемся в ваших деньгах и не хотим их. А теперь я прошу вас оставить мой дом и никогда, ни под каким предлогом, больше сюда не являться. При этих условиях, а также если вы обещаете, что никогда не позволите себе сказать ни единого слова о тех обстоятельствах, которые заставили нас войти с вами в сношения, мы, со своей стороны, обещаем вам полное молчание по поводу всего, что вас касается. В противном случае предупреждаю: у меня больше средств, чем вы думаете, довести всю правду до сведения ее императорского величества, и тогда очень возможно, что лавровые венки и восторженные овации ваших театральных поклонников сменятся на несколько лет монастырем для кающихся грешниц.

Сказав это, каноник встал, сделал знак кормилице взять на руки ребенка, а Консуэло с Йозефом — удалиться в глубь комнаты. Затем он указал

Корилле пальцем на дверь, и та в ужасе, бледная, дрожащая, вышла, словно помешанная, не зная, куда идет, и не сознавая, что вокруг нее происходит.

Произнося это своего рода заклятие, каноник был охвачен благородным негодованием, постепенно сообщившим ему необычайную силу. Консуэло и Йозеф ни разу не видели его таким. Привычка считать себя облеченным властью, никогда не покидающая духовное лицо, и царственная манера повелевать, таившаяся у него в крови и выдававшая в эту минуту побочного сына Августа II, придали канонику, быть может, не осознаваемые им, какое-то неотразимое величие. Корилла, которой никогда ни один мужчина не говорил с подобным спокойствием столь суровой правды, почувствовала такой страх и трепет, какого не внушал ей ни один взбешенный любовник, из мести или презрения осыпавший ее грубой бранью. Будучи итальянкой, да к тому же еще суеверной, она и в самом деле испугалась этого аббата и его анафемы и, как безумная, пустилась бежать через сад, а каноник, сраженный усилием, столь не свойственным его веселому и доброму нраву, упал на стул, бледный, почти без чувств.

Бросившись ему на помощь, Консуэло невольно продолжала следить взглядом за несчастной Кориллой, удалявшейся поспешной, неверной походкой. Она видела, как та в конце аллеи споткнулась и упала на траву, то ли оступившись от волнения, то ли не имея больше сил держаться на ногах. Консуэло, добрая от природы, считала, что актриса получила слишком суровый урок, — сама она не в силах была бы так проучить ее, — и, оставив каноника на попечении Йозефа, побежала к своей сопернице, бившейся в жестоком нервном припадке. Не зная, как успокоить Кориллу и не смея привести ее обратно в аббатство, она старалась помешать ей кататься по земле и обдирать себе руки о песок. Несколько минут Корилла вела себя как безумная. Но когда она увидела, кто оказывает ей помощь и старается ее утешить, она вдруг пришла в себя и только мертвенно побледнела. Сжав губы, устремив в землю потухший взор, она хранила упорное молчание. Однако она позволила проводить себя до кареты, ждавшей ее у ворот, и, не проронив ни единого слова, села в нее, поддерживаемая своей соперницей.

— Вам очень плохо? — спросила Консуэло, испуганная ее исказившимися чертами. — Позвольте мне проводить вас часть пути, а обратно я

вернусь пешком.

Вместо ответа Корилла грубо оттолкнула девушку, потом секунду как-то загадочно смотрела на нее и, вдруг зарыдав, закрыла лицо одной рукой, а другой махнула кучеру, чтобы он ехал, и опустила занавеску кареты между собой и своей великодушной соперницей.

На следующий день, к началу последней репетиции «Антигоны», Консуэло была на своем посту и ожидала Кориллу. Но та приказала передать через слугу, что опоздает на полчаса. Кафариэлло послал ее ко всем чертям и, объявив, что не намерен подчиняться прихотям такой дуры и не станет ее ждать, притворился, будто собирается уйти. Госпожа Тези, бледная и больная, заранее выразила желание присутствовать на репетиции, чтобы позабавиться над Кориллой. Она велела принести диван и улеглась на него за первой кулисой, разрисованной в виде подобранного занавеса, что на театральном жаргоне зовется «плащом арлекина». Тези стала успокаивать своего друга, а сама решила упорно ждать Кориллу, уверенная, что та медлит, желая избежать ее критики. Наконец, появилась Корилла, более бледная и изможденная, чем сама Тези, а та, увидев ее в таком жалком состоянии, порозовела

и приободрилась. Вместо того чтобы, как обычно, сбросить с себя накидку и шляпу с величественной развязностью, Корилла в изнеможении опустилась на деревянный позолоченный трон, забытый в глубине сцены, и угасающим голосом обратилась к Гольцбауэру:

— Господин директор, заявляю вам, что я страшно больна, совсем без голоса и провела ужасную ночь…

— С кем? — томно спросила Тези у Кафариэлло.

— Поэтому, — продолжала Корилла, — я совершенно не в состоянии репетировать сегодня и петь завтра, разве только снова возьму роль Исмены, а роль Береники вы дадите другой.

— Да что вы, сударыня! — воскликнул Гольцбауэр, словно громом пораженный. — Можно ли накануне спектакля, время которого назначено самим двором, принимать какие-либо отговорки? Это немыслимо, и я ни в коем случае не могу этого сделать.

— А все-таки вам придется согласиться, — возразила Корилла уже своим обычным, далеко не кротким тоном. — Я приглашена на вторые роли, и ничто в моем контракте не обязывает меня исполнять первые. Я только из любезности согласилась заменить синьору Тези, чтобы не

прерывать развлечений двора. Теперь я заболела и не могу сдержать свое обещание, а насильно петь вы меня не заставите.

— Ну, милая моя, тебе просто прикажут петь, — заявил Кафариэлло, — и ты споешь плохо, как мы и предвидели. Ко всем бедам, которые ты сама навлекала на свою голову, прибавится еще одна небольшая неприятность. Но раскаиваться теперь поздно. Надо было думать обо всем раньше. Слишком ты понадеялась на свои силы. Ты провалишься, но нам-то какое до этого дело! Я спою так, что все забудут о самом существовании Береники. Порпорина тоже в своей маленькой роли Исмены вознаградит публику, и будут довольны все, кроме тебя. Это послужит тебе уроком, а сумеешь ли ты использовать его в другой раз, этого уж я не знаю.

— Вы очень ошибаетесь, я отказываюсь совсем по другой причине, — уверенным тоном ответила Корилла. — Не будь я больна, я, вероятно, спела бы свою партию не хуже любой примадонны. Но так как я не в состоянии петь, то споет ее другая, и споет так хорошо, как никто еще не пел ее в Вене, и притом не позже, чем завтра. Таким образом, спектакль состоится в свое время, а я с удовольствием снова исполню партию Исмены:

она меня не утомляет.

— Вы, стало быть, рассчитываете, — сказал удивленный Гольцбауэр, — что госпожа Тези настолько поправится к завтрашнему дню, что будет в состоянии петь свою партию?

— Я прекрасно знаю, что госпожа Тези еще долго не сможет петь, — проговорила Корилла так громко, что с трона, где она восседала, ее могла слышать Тези, возлежавшая на диване в десяти шагах от нее. — Взгляните, как она изменилась: на нее просто страшно смотреть! Но я сказала, что у нас есть великолепная Береника, несравненная, превосходящая всех нас. Вот она! — прибавила, поднимаясь, Корилла и, взяв за руку Консуэло, вывела ее и поставила посреди встревоженной и взволнованной группы актеров.

— Я? — воскликнула Консуэло, которой казалось, что она видит сон.

— Ты! — закричала Корилла, судорожным движением толкая ее к трону. — Вот ты и царица, Порпорина! Вот ты и на первом месте! И это я возвожу тебя на него. Таков был мой долг по отношению к тебе. Помни это!

В полном отчаянии, боясь, что если он не исполнит своей обязанности, то может лишиться директорского поста, Гольцбауэр не мог отверг-

нуть эту неожиданную помощь. Он прекрасно видел по тому, как Консуэло провела роль Исмены, что она будет на высоте и в партии Береники. Несмотря на всю свою неприязнь к Консуэло и к Порпоре, теперь он мог бояться лишь одного: что она не согласится.

И она в самом деле стала решительно отказываться. Дружески пожимая руку Кориллы, она шепотом умоляла ее не приносить этой жертвы, столь ненужной для самолюбия Консуэло, тогда как для ее соперницы это было самым ужасным из всех искуплений, самым страшным самоунижением, к какому она могла себя принудить. Но Корилла оставалась непреклонной в своем решении.

Госпожа Тези, испуганная грозящим ей серьезным соперничеством, очень хотела попробовать голос и снова взяться за свою роль, хотя бы с риском для жизни, ибо она была больна не на шутку, но не решилась на это: тогда на императорской сцене не дозволялись капризы, с которыми столь терпеливо мирится снисходительный и добродушный владыка нашего времени — публика. Двор ожидал увидеть новую исполнительницу роли Береники: это было обещано, этого ожидала императрица.

— Ну, соглашайся! — сказал Кафариэлло Порпорине. — Вот первый умный поступок Кориллы за всю ее жизнь; воспользуемся же им!

— Но я не знаю роли, я не проходила ее, — говорила Консуэло, — я не смогу выучить ее к завтрашнему дню.

— Ты слышала ее, следовательно, знаешь и завтра споешь, — заявил, наконец, громовым голосом Порпора. — Хватит ломаться, кончайте споры! Больше часа мы потеряли на болтовню. Господин дирижер, прикажите скрипкам начинать. А ты, Береника, марш на сцену! Не нужно нот, долой ноты! Кто участвовал в трех репетициях, должен знать все роли на память. Говорю тебе — роль ты знаешь.

— No, tutto, o Berenice, — запела Корилла, снова став Исменой. — Tu non apri il tuo cor…

«А теперь, — подумала женщина, судившая о тщеславии Консуэло по своему собственному, — она забудет все, что знает о моих делишках».

Консуэло, чья изумительная память и необычайная легкость усвоения были прекрасно известны Порпоре, в самом деле спела всю партию — и музыку и слова — без единой запинки. Госпожа Тези была так поражена ее игрой и пением, что почувствовала себя совсем плохо и

после первого же действия приказала отвезти себя домой. На следующий день Консуэло нужно было к пяти часам приготовить себе костюм, отработать музыкальные пассажи и еще раз внимательно повторить всю партию. Успех ее был столь бесспорен, что императрица, выходя из театра, сказала:

— Что за чудесная девушка! Надо непременно выдать ее замуж — я позабочусь об этом.

Со следующего же дня начали репетировать «Зенобию» — слова Метастазио, музыка Предиери. Корилла опять настояла на том, чтобы уступить Консуэло главную роль. Вторую роль на этот раз взяла на себя госпожа Гольцбауэр, и так как она была музыкальнее Кориллы, то оперу разучили намного лучше, чем первую. Метастазио был в восторге, видя, что его лира, заброшенная и забытая во время войны, снова входит в милость при дворе и имеет шумный успех в Вене. Он почти перестал думать о своих болезнях и, побуждаемый благосклонностью Марии-Терезии и своим долгом писателя творить все новые и новые либретто для опер, готовился, изучая греческие трагедии и латинских классиков, к созданию одного из трех шедевров, которые итальянцы в Вене, а немцы в Италии бесцеремонно

ставили выше трагедий Корнеля, Расина, Шекспира, Кальдерона, словом, говоря откровенно и без ложного стыда, — превыше всего.

Но в нашем повествовании, и без того уже достаточно долгом и перегруженном подробностями, мы не станем злоупотреблять, быть может, давно истощившимся терпением читателя и делиться с ним своими мыслями относительно гениальности Метастазио. Читателю это малоинтересно. Мы только сообщаем ему то, что Консуэло потихоньку говорила по этому поводу Йозефу:

— Милый мой Беппо, ты не можешь себе представить, до чего мне трудно играть эти роли, а они еще считаются такими возвышенными, такими трогательными! Правда, рифмы подобраны хорошо, петь их легко, но зато персонажи… Где уж тут взять вдохновение! Едва сохраняешь серьезность, изображая их. Какая нелепая условность — попытка передать античный мир средствами нашего времени! Все эти интриги, страсти, нравоучения, пожалуй, были бы уместны в мемуарах маркграфини Байрейтской, барона фон Тренка или принцессы Кульмбахской, но в устах Радамиста, Береники или Арсинои они сущая бессмыслица. Когда я поправлялась после болезни в замке Исполинов, граф Альберт часто читал

мне вслух, чтобы усыпить меня, но я не спала и слушала, затаив дыхание. Читал он греческие трагедии Софокла, Эсхила и Еврипида, читал их по-испански, медленно, но ясно, не задумываясь, несмотря на то что перед глазами у него был греческий текст. Он так хорошо знает древние и новые языки, что казалось, будто он читает превосходный перевод. По его словам, он стремился сделать его как можно более точным, чтобы в его тщательной передаче я могла постичь гениальные произведения греков во всей их простоте. Боже! Какое величие! Какие образы! Сколько поэзии! Какое чувство меры! Какого исполинского размаха люди! Какие характеры, цельные и могучие! Какие трагические положения! Какие глубокие, истинные горести! Душераздирающие, страшные картины проходили перед моими глазами! И я, еще слабая, возбужденная страшными переживаниями, вызвавшими мою болезнь, была так взволнована его чтением, что воображала себя то Антигоной, то Клитемнестрой, то Медеей, то Электрой, воображала, что переживаю эти кровавые, мстительные драмы не на сцене, при свете рамповых ламп, а среди страшных пустынь, у входа в зияющие пещеры или под колоннадами античных храмов, где при слабом свете жерт-

венников люди оплакивали мертвых, составляя заговоры против живых. Я слышала жалобные хоры троянок и дарданских пленниц. Эвмениды плясали вокруг меня… но в каком диком ритме, под какие адские мелодии! Воспоминание о них еще и теперь вызывает у меня дрожь наслаждения и ужаса. Никогда на сцене, воплощая свои мечты, я не почувствую в себе той силы, не испытаю тех волнений, какие бушевали тогда в моем сердце и в моем сознании. Именно тогда впервые ощутила я себя трагической актрисой и в душе моей сложились образы, которых не подсказал мне ни один художник. Именно тогда я поняла, что такое драма, трагическое действие, поэзия театра. В то время как Альберт читал, я мысленно импровизировала напев и воображала, будто сама повторяю все то, что слышала от него. Не раз я ловила себя на том, что принимаю позы тех героинь, чьи слова произносил Альберт, что на лице моем появляется их выражение, и часто, бывало, он останавливался в испуге, думая, что видит перед собой Андромаху или Ариадну. О, поверь, я большему научилась и больше постигла за месяц этого чтения, чем смогу постичь за всю жизнь, если мне придется разучивать стихи господина Метастазио. И если бы композиторы не вкладыва-

ли в свою музыку того чувства правды, которого нет в действии, мне кажется, я изнемогла бы от отвращения, заставляя великую герцогиню Зенобию беседовать с ланд-графиней Аглаей и слушая, как фельдмаршал Радамист ссорится со знаменосцем пандуров Зопиром. О, как все это фальшиво, чудовищно фальшиво, милый мой Беппо! Фальшиво, как наши костюмы, фальшиво, как белокурый парик Кафариэлло в роли Тирида-та, фальшиво, как пеньюар в стиле Помпадур на госпоже Гольцбауэр в роли армянской пастушки, как облаченные в розовое трико икры царевича Деметрия, как декорации, которые мы видим сей-час вблизи и которые похожи на Азию не больше, чем аббат Метастазио — на старца Гомера.

— То, что ты говоришь, — отвечал Гайдн, — объ-ясняет мне, почему, ощущая потребность писать оперы для театра (конечно, если когда-нибудь я буду в силах это сделать), я чувствую, однако, больше вдохновения и больше надежды на успех при мысли о создании ораторий. Там, где жалкие сценические эффекты не мешают правдивости чувств, то есть в симфонии, где все — музыка, где душа говорит с душой звуками, а не зрительными образами, там, мне кажется, композитор может дать простор своему вдохновению и увлечь вооб-

ражение слушателей в истинно высокие сферы.

Беседуя так в ожидании, пока все соберутся на репетицию, Йозеф и Консуэло прогуливались вдоль большой декорации заднего плана — вечером ей предстояло изображать реку Араке, а сейчас в полусвете театра она была всего лишь длинной полосой синего цвета, натянутой между другими полотнами, размалеванными охрой и долженствующими изображать Кавказские горы. Известно, что декорации заднего плана, приготовленные для спектакля, помещаются друг за другом таким образом, чтобы по мере надобности их можно было поднять с помощью блока. В промежутках между ними во время представления снуют актеры, дремлют или обмениваются понюшками табака статисты, сидя или лежа в пыли под медленно стекающими из плохо укрепленных кенкетов каплями масла. Днем по этим темным, узким проходам прогуливаются актеры, повторяя роли или разговаривая друг с другом о своих делах. Подчас они подслушивают чужие секреты, обнаруживают сложные интриги других гуляющих, которые, не видя их, беседуют тут же, позади какого-нибудь морского залива или городской площади.

По счастью, Метастазио не стоял на другом бе-

регу Аракса в то время, когда неопытная Консуэло изливала Гайдну свое негодование. Репетиция началась. Это была вторая репетиция «Зенобии», и шла она так хорошо, что оркестранты даже зааплодировали, ударяя, как обычно, смычками по скрипкам. Музыка Предиери была очаровательна, и Порпора дирижировал ею с гораздо большим подъемом, чем оперой Гассе. Роль Тиридата была одной из коронных ролей Кафариэлло, и актер не находил ничего предосудительного в том, что, нарядив его в одежду сурового парфянского воина, его заставили ворковать, словно Селадона, и говорить, как Клитандра. Консуэло хотя и чувствовала, что слова ее роли звучат фальшиво и напыщенно в устах античной героини, не могла не признать, что самый образ Зенобии пришелся ей чрезвычайно по сердцу. Она даже находила в нем некоторое сходство с тем душевным состоянием, какое испытала, когда очутилась между Альбертом и Андзолетто. И, совершенно позабыв то, что мы называем теперь «местным колоритом», и живя лишь человеческими чувствами, она поняла, что достигла наивысшего подъема в арии, столь близкой ее собственному сердцу:

Voi leggete in ogni core:

Voi sapete, o giusti Dei,
Se son puri i voti miei,
Se innocente e la pieta[51].

В этот миг ее охватил настоящий душевный трепет, и она осознала, что триумф ею заслужен. Ей не надо было, чтобы Кафариэлло, не стесненный на сей раз присутствием Тези и чистосердечно восхищавшийся, подтвердил взглядом то, что она сама чувствовала — веру в неотразимую власть, какую эта блестящая ария будет иметь над любой публикой и при любых обстоятельствах. В этот миг Консуэло полностью примирилась со своей ролью, с этой оперой, со своими партнерами, с самой собой, одним словом — с театром. И как ни проклинала она свое положение всего час тому назад, теперь она испытывала такое глубокое, такое внезапное и могучее внутреннее волнение, какое может ощутить только истинный художник — в какой бы области он ни работал. Только он способен понять, сколько лет труда, разочарований и мук может искупить одно мгновение.

---

[51] Примечания: 51

Вам открыты тайны сердца,
И вы знаете, о боги,
Как чисты мои желанья
И безвинно состраданье (итал.).

Глава XCV

В качестве ученика, да к тому же полуслуги Порпоры, Гайдн, всегда жадно стремившийся слушать музыку и изучать строение опер вплоть до их постановки на сцене, получил позволение бывать за кулисами всякий раз, когда пела Консуэло. Но вот уже два дня он замечал, что Порпора, сначала неохотно допускавший его в недра театра, теперь разрешал ему это с добродушным видом еще прежде, чем юноша осмеливался попросить у него позволения. Дело в том, что в голове профессора возникла новая идея. Мария-Терезия, разговаривая о музыке с венецианским посланником, снова вернулась к своей матримониальной мании, как выражалась Консуэло. Ее величество сказала, что ей было бы очень приятно, если бы талантливая певица обосновалась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика Порпоры. Сведения о Гайдне она получила от того же посланника, и так как Корнер очень хвалил юношу, говоря, что у него выдающиеся музыкальные способности, а главное — что он усердный католик, ее величество

поручила своему собеседнику устроить этот брак, обещая устроить судьбу юной пары. Мысль эта улыбалась Корнеру: он нежно любил Йозефа, назначил ему ежемесячное пособие в семьдесят два франка, чтобы тот мог спокойно продолжать занятия, и горячо ратовал за него перед Порпорой. Боясь, как бы Консуэло не настояла на своем и не оставила бы сцену, выйдя замуж за знатного вельможу, Порпора, после долгих колебаний и упорного сопротивления, наконец дал себя уговорить, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы его ученица жила, не зная ни замужества, ни любви. Для вящей убедительности посланник решил показать Порпоре произведения Гайдна и открыл ему, что серенада для трио, очень понравившаяся маэстро, сочинена Беппо. Порпора признал, что в ней есть зародыш большого таланта, что он сам мог бы обеспечить юноше хорошее руководство и помочь ему своими советами в сочинительстве пьес для голоса и что судьба певицы, вышедшей замуж за композитора, может сложиться весьма удачно: чрезвычайная молодость этой пары и скудные средства вынудят обоих работать, не питая никаких тщеславных надежд, и, таким образом, Консуэло будет прикована к театру. Словом, маэстро сдался. Он, как и Консуэло, не

получал ответа из замка Исполинов. Он опасался, как бы это молчание не помешало его планам, и страшился какой-либо выходки со стороны молодого графа. «Если бы мне удалось даже не выдать ее замуж, а хотя бы обручить с другим, — думал он, — тогда бы мне нечего было бояться».

Труднее всего было получить согласие самой Консуэло. Начать убеждать ее — значило внушить ей мысль о сопротивлении. Неаполитанская хитрость подсказала маэстро, что сила обстоятельств должна незаметно изменить образ мыслей молодой девушки. Она питала дружбу к Беппо, а Беппо, хотя и победил любовь в своем сердце, проявлял по отношению к Консуэло столько внимания, восхищения и преданности, что Порпора вполне мог предположить с его стороны страстную влюбленность. Маэстро решил не вмешиваться в отношения Йозефа и Консуэло, а предоставить юноше возможность добиться взаимности и, сообщив ему в удачный момент о планах императрицы и своем собственном согласии, придать смелости его красноречию и жара его убеждениям. Словом, он вдруг перестал грубо обращаться с ним, унижать его и предоставил юным друзьям полную свободу проявлять свою братскую привязанность, льстя себя надеждой,

что таким образом дела пойдут скорее, чем если бы он вмешался открыто.

Почти не сомневаясь в успехе своей затеи, Порпора сделал, однако, большую ошибку: он подверг репутацию Консуэло злословию. Стоило только два раза кряду увидеть за кулисами подле нее Йозефа, чтобы весь театральный люд заговорил о ее нежных отношениях с молодым человеком. Бедная Консуэло, доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные души, не предвидела опасности и не подумала оберегать себя. И вот со дня репетиции «Зенобии» взгляды стали бдительными и все языки развязались. За каждой кулисой, за каждой декорацией актеры, хористы и другие служащие театра обменивались злобными или игривыми, порицающими или благожелательными замечаниями о неприличии зарождающейся связи или о наивности счастливой помолвки.

Консуэло вся ушла в свою роль, в свои артистические переживания и ничего не видела, не слышала, не предчувствовала. Мечтательный Йозеф, всецело поглощенный оперой, репетировавшейся на сцене, и той, которую он вынашивал в душе, иногда, правда, слышал какие-то мельком брошенные слова, но не понимал их, настолько

он был далек от каких бы то ни было надежд. Когда до него мимоходом долетал двусмысленный намек или язвительное замечание, он поднимал голову и оглядывался, ища, к кому они относятся, и, не найдя никого, глубоко равнодушный к подобного рода злословию, снова погружался в свои думы.

В антрактах оперы часто ставилась какая-нибудь интермедия-буфф, и в тот день репетировали «Импрессарио с Канарских островов» — сценки Метастазио, очень веселые и забавные. Корилла, исполняя в них роль примадонны, требовательной, властной и взбалмошной, была замечательно естественна, и успех, которым она обыкновенно пользовалась в этой остроумной безделке, несколько утешал ее в том, что она пожертвовала большой ролью Зенобии. Пока репетировали последнюю часть интермедии, Консуэло, в ожидании третьего акта, несколько утомленная волнениями своей роли, зашла в глубь сцены и очутилась между двух декораций — страшной долиной, изрезанной горами и пропастями, из первого акта и прекрасной рекой Араксом, окаймленной радующими взор холмами, которая должна была появиться в третьем акте, чтобы дать отдых глазам чувствительного

зрителя. Консуэло быстро прохаживалась взад и вперед, когда к ней подошел Йозеф и подал оставленный ею на суфлерской будке веер, которым она тут же с наслаждением стала обмахиваться. Влечение сердца, равно как и намеренное поощрение Порпоры, невольно побуждали Йозефа разыскивать свою подругу. Консуэло же, привыкшая относиться к нему с доверием и изливать ему свою душу, неизменно с радостью встречала его. И вот эту взаимную симпатию, которой не постыдились бы и ангелы на небесах, судьба решила превратить в источник и причину невероятных несчастий… Мы знаем, что читательницы романов спешат скорее узнать самое волнующее и требуют от нас только драк и ссор, — умоляем их немного потерпеть.

— Ну, друг мой, — сказал Йозеф, улыбаясь и подавая руку Консуэло, — мне кажется, ты уже не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата и нашла в мелодии молитвы то открытое окно, через которое гениальный дух, владеющий тобой, вырвался, наконец, на волю!

— Ты, значит, находишь, что я хорошо спела молитву?

— Разве ты не видишь, как у меня покраснели глаза?

— Ах да! Ты плакал! Ну что ж! Прекрасно! Очень рада, что заставила тебя плакать.

— Точно это впервые! Но, милая Консуэло, ты становишься именно такой актрисой, какой Порпора хочет тебя видеть. Тебя охватила лихорадка успеха. Когда, бывало, ты пела, шагая по тропинкам Богемского Леса, ты видела мои слезы и плакала сама, умиленная красотой своего пения. Теперь другое дело: ты смеешься от счастья и трепещешь от гордости, видя вызванные тобой слезы. Итак, вперед, Консуэло! Ты теперь prima donna[52] в полном смысле этого слова!

— Не говори мне этого, друг мой, я никогда не буду такой, как она... — И Консуэло указала жестом на Кориллу, певшую на сцене по ту сторону декорации.

— Не пойми меня дурно, — возразил Йозеф, — я хочу сказать, что тобой овладел бог вдохновения. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминания о замке Исполинов боролись с пифийским духом. Он проник в тебя и бьет через край. Признайся, ты задыхаешься от счастья. Твоя рука дрожит в моей, твое лицо возбуждено, и я никогда еще не видал у тебя такого

---

[52] Примечания: 52
Примадонна (*итал.*).

взгляда, как в эту минуту. Нет! Когда граф Альберт читал тебе греческие трагедии, ты не была так взволнована, преисполнена такого вдохновения, как сейчас!

— Боже, какую ты причинил мне боль! — воскликнула Консуэло, внезапно бледнея и вырывая у Йозефа свою руку. — Зачем ты произносишь здесь его имя? Имя это священно и не должно раздаваться в этом храме безумия. Это грозное имя ужасно, как удар грома. Оно уносит в ночную тьму все иллюзии и все призраки золотых снов!

— Если так, Консуэло, сказать тебе правду? — снова заговорил Йозеф после минутного молчания. — Никогда ты не решишься выйти замуж за этого человека.

— Замолчи! Замолчи! Я обещала ему!..

— Если же ты сдержишь обещание, то никогда не будешь счастлива с ним. Покинуть театр? Отказаться от артистической карьеры? Теперь уже поздно! Ты только что вкусила такую радость, что воспоминание о ней способно отравить всю твою жизнь.

— Ты меня пугаешь, Беппо. Почему именно сегодня ты говоришь мне подобные вещи?

— Не знаю, я говорю словно помимо своей воли. Твое возбуждение передалось моему мозгу, и мне

кажется, что, вернувшись домой, я напишу нечто великое. Это будет, возможно, какая-нибудь безвкусица, но все равно! В эти минуты я чувствую себя гениальным…

— Как ты весел, как спокоен, а я, опьяненная, по-твоему, гордостью и счастьем, испытываю острую муку, и мне одновременно хочется и смеяться и плакать.

— Ты страдаешь, я вижу, ты не можешь не страдать. В тот момент, когда проявляется твоя сила, мрачные мысли охватывают и леденят тебя.

— Да, правда. Что же это значит?

— Это значит, что ты артистка, а взяла на себя как долг жестокое обязательство, противное Богу и тебе самой, — отказаться от искусства!

— Вчера еще мне казалось, что нет, а сегодня мне кажется, что да. Потому что у меня расстроены нервы, потому что такие волнения ужасны и гибельны. Я всегда отрицала их влияние и власть, всегда выходила на сцену, сохраняя спокойствие, внимание и скромность. Сегодня я собой не владею, и, если бы в эту минуту мне надо было играть, я была бы способна и на гениальные безумства и на жалкие сумасбродства. Бразды моей воли вырываются из моих рук. Надеюсь, завтра я буду иною — ведь в этом волнении одно-

временно и восторг и мучительная тоска.

— Бедный друг, боюсь, что отныне всегда будет так, или, вернее, надеюсь на это, ибо ты станешь действительно великой только в огне такого волнения. Я слышал от всех музыкантов, от всех актеров, с которыми мне приходилось встречаться, что без этого восторженного состояния, без этого смятения они ни на что не способны, и вместо того чтобы с годами успокоиться, привыкнуть, они каждый раз, когда вдохновение посещает их, делаются все более и более восприимчивыми.

— Это великая тайна, — проговорила, вздыхая, Консуэло. — Не думаю, чтобы тщеславие, зависть, низкая жажда успеха могли овладеть мной так внезапно и в один день изменить все мое существо. Нет, уверяю тебя, когда я пела молитву Зенобии и дуэт с Тиридатом, где страсть и мощь Кафариэлло захватили меня как вихрь, я не помнила ни о публике, ни о своих соперниках, ни о себе самой — я была Зенобией, я думала о бессмертных богах Олимпа с чисто христианским жаром и пылала любовью к этому добряку Кафариэлло, на которого после заключительного аккорда я не могу смотреть без смеха. Все это очень странно, и мне начинает казаться, что

драматическое искусство — вечная ложь и Бог в наказание насылает на нас безумие, побуждающее верить в искусство и считать, что мы делаем высокое дело, вызывая иллюзии и в других. Нет, непозволительно человеку злоупотреблять всеми страстями и волнениями действительной жизни, превращая их в игру! Богу угодно, чтобы мы сохраняли нашу душу здоровой и сильной для настоящей любви, для полезных дел, а когда мы ложно понимаем его волю, он карает нас и лишает нас разума.

— Бог! Да, Бог! Воля Божья! Вот где кроется тайна, Консуэло! Кто может постичь его намерения? Разве вложил бы он в нас с колыбели потребность, непреодолимое влечение к искусству, если бы запрещал служить тому, к чему мы призваны? Почему с детства не любил я играть со своими сверстниками? Почему, как только был предоставлен самому себе, я стал заниматься музыкой с такой страстью, что ничто не могло меня оторвать от нее, с такой усидчивостью, какая убила бы другого ребенка моих лет? Отдых меня утомлял, труд вливал в меня жизненные силы. То же было и с тобой, Консуэло. Ты мне сто раз говорила об этом; когда один из нас рассказывал другому свою историю, казалось, что он слышит повесть о

себе самом. Поверь, во всем рука Божья, и всякая способность, всякая склонность к чему-либо есть воля Господа, даже если нам не ясна его цель. Ты родилась артисткой, значит, так и должно быть, и тот, кто помешает тебе, убьет тебя или сделает жизнь твою хуже смерти.

— Ах, Беппо! — воскликнула Консуэло, потрясенная до крайности. — Я знаю, что бы ты сделал, будь ты действительно моим другом!

— Что же именно, дорогая Консуэло? Разве моя жизнь не принадлежит тебе?

— Ты убил бы меня завтра, как только опустился бы занавес, и я в первый и последний раз в своей жизни проявлю себя истинной и вдохновенной артисткой!

— Ах! Я предпочел бы убить твоего графа Альберта или себя самого, — с горькой улыбкой промолвил Йозеф.

В эту минуту Консуэло подняла глаза на открывшийся перед нею проход между кулисами и устремила туда тревожный и грустный взгляд. Внутренность театра днем настолько не похожа на ту, какою она кажется издали при вечернем освещении, что тот, кто не видел ее, даже не может себе этого представить. Нет ничего более унылого, мрачного и страшного, чем пустынный

зал, погруженный во мрак и тишину. Появись с одной из театральных лож, закрытых словно гробницы, какая-нибудь человеческая фигура, она показалась бы привидением, и самый бесстрашный актер попятился бы от ужаса. Слабый, тусклый свет, падающий сверху из слуховых окон в глубине сцены, косо стелется по лесам, сероватым лохмотьям, пыльным подмосткам. На самой сцене глаз не может привыкнуть к тесноте лишенного перспективы пространства, где должно действовать столько людей, изображая величественные движения, пылкие страсти, массовые сборища, необузданные порывы; такими они будут казаться зрителям, а на самом деле они заучены, точно размерены, чтобы актеры не запутались, не смешались, не наткнулись на декорации. Но если сцена кажется маленькой и жалкой, то, напротив, помещения, где теснится столько декораций и движется столько машин, кажутся огромными, особенно когда сцена освобождена от холстов, изображающих облака, архитектурные карнизы или зеленые ветви, скрывающие от зрителя ее подлинную высоту. Эта высота, в самом деле несоразмерная, таит в себе нечто суровое, и если внизу нам кажется, что мы в темнице, то, глядя наверх, можно по-

думать, что мы в готическом храме, но в храме разрушенном или недостроенном — так все там тускло, бесформенно, причудливо, нескладно… Лестницы, нужные рабочим, висят без всякого порядка, переплетаясь по прихоти случая и перебрасываясь без видимого смысла к другим лестницам, еле различимым среди нагромождения всякого бесцветного хлама. Груды досок причудливой формы, куски декораций неизвестного назначения, которые с изнанки кажутся без всякого смысла размалеванными, веревки, перепутанные, точно иероглифы, обломки, которым не подберешь названия, блоки и колеса, словно предназначенные для неведомых пыток, — все, вместе взятое, напоминает сны, которые снятся перед пробуждением, когда видишь какие-то нелепости и делаешь тщетные усилия, чтобы понять, где ты. Все туманно, все расплывчато, все как будто готово рассыпаться. Человек, спокойно работающий на балках, кажется висящим на паутине. Его можно принять и за моряка, карабкающегося по снастям корабля, и за гигантскую крысу, подтачивающую и грызущую прогнившие срубы. Слышны слова, доносящиеся неизвестно откуда. Они произносятся в восьмидесяти футах над вами, и необычайно звучное эхо, притаивше-

еся во всех углах этого фантастического купола, доносит их до вашего слуха отчетливо или неясно, смотря по тому, сделаете ли вы шаг вперед или шаг в сторону, отчего меняются акустические условия.

Ужасающий шум, за которым следует продолжительный свист, внезапно потрясает подмостки. Что это? Рушатся своды? Трещит и падает хрупкий балкон, погребая под своими обломками бедных рабочих? Нет, это чихнул пожарный или кошка бросилась в погоню за добычей через пропасти висячего лабиринта. Пока вы не привыкнете ко всем этим предметам и ко всем этим шумам, вам страшно: вы не знаете, в чем дело, не знаете, против каких невероятных призраков вам нужно вооружиться хладнокровием. Вы ничего не понимаете, а то, чего нельзя различить глазом или познать рассудком, то, что неясно и неизвестно, нарушает логику восприятия. Впервые очутившись среди подобного хаоса, вы не знаете, что и думать, и скорее всего ожидаете, что вот-вот перед вами начнется безумный шабаш в

таинственной лаборатории алхимика{1}.

Взгляд Консуэло рассеянно бродил по странному помещению, и впервые в этом беспорядке она обнаружила поэзию. В обоих концах прохода, образованного задними декорациями, открывались глубокие черные кулисы, где от времени до времени, словно тени, проскальзывали человеческие фигуры. Вдруг она увидела, что одна из этих фигур остановилась, словно в ожидании, и, как ей показалось, поманила ее.

— Это Порпора? — спросила она Йозефа.

— Нет, — ответил тот, — это, наверно, кто-нибудь пришел предупредить тебя, что начинают репетировать третий акт.

Консуэло поспешно направилась к человеку, чье лицо она не могла разглядеть, так как он от-

---

{1} Примечания: 64

Однако поскольку для глаз, умеющих видеть, все имеет свою красоту, то и это театральное чистилище обладает красотой, поражающей воображение намного сильнее, чем пресловутые эффекты на сцене, освещенной и разукрашенной во время представления. Я часто спрашивал себя: в чем заключается эта красота и удастся ли мне описать ее, если я захочу передать эту тайну чужой душе? «Как? — скажут мне. — Разве могут вещи, лишенные красок, формы, порядка и ясности, говорить что-либо глазам и уму?». Только художник способен ответить на это: «Да, могут». И он вспомнит картину Рембрандта «Философ в раздумье»: огромная комната, погруженная во мрак, бесконечные витые лестницы, уходящие неизвестно куда, слабые проблески света, то вспыхивающие, то потухающие неизвестно почему на разных планах картины, одновременно и неясной и четкой, повсюду разлитый густой коричневый колорит то более темного, то более светлого тона, волшебство светотени, игра лучей, падающих на самые незначительные

предметы — на стул, на кувшин, на медную вазу. И вдруг все эти вещи, не заслуживающие внимания, а тем более изображения в живописи, становятся такими интересными, даже своеобразно красивыми, что вы не в силах оторвать от них взора. Они наполнились жизнью, они существуют, они достойны существования, ибо художник прикоснулся к ним своей волшебной палочкой, заронил в них искру солнечного луча, сумел протянуть между ними и собою тот прозрачный, таинственный покров — тот воздух, который мы видим и вдыхаем и в который как бы входим, погружаясь воображением в глубину нарисованного. И когда нам случается в жизни натолкнуться на подобную картину, хотя бы составленную из еще более ничтожных предметов — разбитых досок, изодранных лоскутьев, закопченных стен, — и если бледный свет осторожно бросает на них свои блики, если светотень придает им художественный эффект, таящийся в слиянии и гармонии всего существующего без всякого человеческого участия, — человек сам сумеет найти и постичь эту гармонию, восхититься и насладиться ею, словно великой победой, одержанной им самим. // Почти невозможно передать словами ту тайну, которую кисть великого мастера раскрывает перед нашими взорами. Созерцая интерьеры Рембрандта, Тенирса, Джорджа Доу, самый заурядный зритель вспомнит какую-нибудь сцену из жизни, никогда, однако, не производившую на него поэтического впечатления. Для того чтобы воспринять поэтически эту реальность и мысленно превратить ее в картину Рембрандта, достаточно обладать тем чувством живописного, которое свойственно многим. Но чтобы словесным описанием воссоздать эту картину в чужом воображении, нужно обладать такою силой таланта, что, должен признаться, я поддаюсь в данном случае своей фантазии без всякой надежды на успех. Даже гению, одаренному подобной силой и притом говорящему стихами (попытка еще более удивительная), это не всегда удавалось. И все же не думаю, чтобы в наш век другой писатель-художник мог достичь хотя бы приблизительно таких же результатов. Перечитайте стихотворение под названием «Индийские колодцы» — вы воспримете

его или как шедевр, или как буйство разыгравшегося воображения, в зависимости от того, связывают ли вас с поэтом духовные узы или нет. Что касается меня, то при первом чтении оно меня возмутило. Беспорядочность и разгул фантазии в описании претили мне. Но потом, когда я закрыл книгу, в мозгу моем упорно держались картины тех колодцев, подземелий, лестниц и пропастей, по которым заставил меня пройти поэт. Я видел их наяву, я не в силах был вырваться оттуда, я был словно заживо погребен. Я был так подавлен, что мне страшно было перечитать эти стихи, я боялся обнаружить, что столь великий живописец и поэт — писатель не без недостатков. Между тем в моей памяти долго сохранялись последние восемь строк, которые во все времена и для всякого вкуса останутся творением глубоким, возвышенным и безупречным, независимо от того, как мы будем воспринимать их — сердцем, слухом или рассудком. (*Прим. автора*).

ступил к стене. Но когда она была в трех шагах от него и хотела уже обратиться к нему с вопросом, он быстро проскользнул мимо соседних кулис в глубь сцены, за задние декорации.

— Кто-то, по-видимому, следил за нами, — сказал Йозеф.

— И, по-видимому, сбежал, — добавила Консуэло, пораженная быстротой, с какою этот человек скрылся. — Не знаю почему, но он испугал меня.

Консуэло вернулась на сцену и прорепетировала последний акт, к концу которого ее снова охватило прежнее восторженное состояние. Когда, уходя, она стала искать свою накидку, то внезапно остановилась, ослепленная ярким светом: над ее головой распахнули слуховое окно, и косой луч заходящего солнца упал прямо перед нею. Резкий переход от окружавшего ее мрака к свету на миг затмил ее взор, два-три шага она сделала наугад, как вдруг очутилась возле того самого человека в черном плаще, который напугал ее за кулисами. Она видела его неясно, но ей показалось, что она узнает его. С криком бросилась она к нему, но он уже исчез, и она напрасно искала его глазами.

— Что с тобой? — спросил Йозеф, подавая ей накидку. — Ты наткнулась на какую-нибудь де-

корацию? Ушиблась?

— Нет, — ответила она, — я видела графа Альберта.

— Графа Альберта? Здесь? Ты уверена в этом? Возможно ли?

— Это возможно! Это несомненно! — воскликнула Консуэло, увлекая его за собой.

И она обежала все кулисы, осматривая их и не пропуская ни единого уголка. Йозеф помогал ей в поисках, уверенный, однако, что она ошиблась. А в это время Порпора с нетерпением звал ее, чтобы отвести домой. Консуэло не нашла никого, кто хоть сколько-нибудь напоминал бы ей Альберта. Когда же, вынужденная, наконец, выйти из театра со своим учителем, она увидела всех, кто одновременно с нею был на сцене, то заметила несколько плащей, похожих на тот, который так ее поразил.

— Все равно, — шепотом сказала она Йозефу, указавшему ей на это, — я его видела, он был здесь.

— Просто у тебя была галлюцинация, — возразил Йозеф. — Будь то на самом деле граф Альберт, он заговорил бы с тобой, а ты уверяешь, что этот человек два раза убегал при твоем приближении.

— Я не говорю, что это в самом деле он, но я его видела, и теперь думаю, как ты, Йозеф, — это было видение. Должно быть, с ним случилось какое-нибудь несчастье. О! Как я хотела бы сейчас же уехать, бежать в Чехию! Я уверена, что он в опасности, он зовет меня, он меня ждет!

— Вижу, бедная моя Консуэло, что, помимо прочих плохих услуг, он еще наградил тебя безумием. Возбуждение, испытанное тобой, когда ты пела, предрасположило тебя к таким галлюцинациям. Опомнись, умоляю тебя, и будь спокойна: если граф Альберт в Вене, он еще сегодня, живехонький, прибежит к тебе.

Эта надежда ободрила Консуэло. Она ускорила шаг, увлекая за собой Беппо и оставив позади старого Порпору, который на этот раз был даже доволен, что, увлеченная разговором с юношей, она забыла о нем. Консуэло, однако, так же мало думала о Йозефе, как и о маэстро. Она спешила, запыхавшись прибежала домой, поднялась в свою комнату — и никого не нашла. Йозеф осведомился у слуг, не спрашивал ли ее кто-либо в ее отсутствие. Но никто не приходил, никто так и не пришел: Консуэло напрасно прождала целый день. Вечером и почти до глубокой ночи она вглядывалась во всех запоздалых прохожих,

появлявшихся на улице. Ей все казалось, что кто-то направляется к ее дому и останавливается у дверей. Но все проходили мимо — один распевая, другой по-стариковски кашляя — и терялись во мраке. Консуэло легла спать, убежденная в том, что ей просто привиделось что-то, а на следующее утро, когда странное наваждение рассеялось, она призналась Йозефу, что, в сущности, не рассмотрела ни одной черты неизвестного. Общее впечатление от фигуры, покрой плаща и манера его носить, бледность, чернота на подбородке, которая могла быть и бородкой и падавшей от шляпы тенью, особенно резкой благодаря странному освещению театра, — все это смутно напоминало Альберта и до того поразило воображение Консуэло, что она убедила себя, будто видела молодого графа.

— Если бы граф, каким ты мне его не раз описывала, очутился в театре, — сказал Йозеф, — его небрежная одежда, длинная борода, черные волосы не могли бы не привлечь всеобщего внимания. А я всех расспрашивал, не исключая и швейцаров театра, которые не пропускают за кулисы никого, не известного им лично или не имеющего особого разрешения. Но никто в тот вечер не видел за кулисами постороннего человека.

— Ну, значит, все это мне показалось. Я была взволнована, вне себя, думала об Альберте и ясно себе его представляла. Кто-то появился передо мной, и я вообразила, будто это Альберт. Неужели моя голова так ослабела? Знаю только, что крик вырвался у меня из глубины сердца, и со мной произошло что-то очень странное и непонятное.

— Забудь об этом, — посоветовал ей Йозеф, — не утомляй себя пустыми мечтами. Повторяй свою роль и думай о сегодняшнем вечере.

Глава XCVI

Днем Консуэло увидела из своих окон весьма необычную толпу людей, направлявшихся к площади. То были коренастые, здоровенные, загорелые парни с длинными усами, с голыми ногами, обутыми в подобие античных котурн с перекрещивающимися ремнями, в остроконечных шапках, с четырьмя пистолетами за поясом, с обнаженными руками и шеей, с длинным албанским карабином в руках; и все это эффектно оттеняли широкие красные плащи.

— Это что, маскарад? — спросила Консуэло каноника, зашедшего ее навестить. — Но ведь сейчас не карнавал, насколько мне известно.

— Всмотритесь в них хорошенько, — ответил каноник, — ибо нам с вами не скоро придется увидеть их снова, если Богу будет угодно продлить царствование Марии-Терезии. Поглядите, с каким любопытством, хотя и не без примеси отвращения и страха, разглядывает их народ. Вена видела, как они стекались сюда в тяжкие и горестные для нее дни, и тогда она встречала их более радостно, чем сегодня; теперь она сму-

щена и пристыжена тем, что обязана им своим спасением.

— Это не те ли славонские разбойники, о которых мне так много рассказывали в Чехии, где они натворили столько бед? — спросила Консуэло.

— Да, они самые, — ответил каноник, — это остатки тех полчищ рабов и хорватских разбойников, которые знаменитый барон Франц фон Тренк, двоюродный брат вашего друга барона Фридриха фон Тренка, освободил или, скорее, поработил с невероятной смелостью и ловкостью, дабы создать из них нечто вроде регулярного войска для Марии-Терезии. Смотрите, вот он, наводящий ужас герой, этот Тренк — Опаленная Пасть, как прозвали его наши солдаты, знаменитый партизан, самый хитрый, самый предприимчивый, самый необходимый в те печальные годы войны, что недавно прошли, величайший хвастун и величайший хищник своего века, но в то же время самый смелый, самый сильный, самый энергичный, самый сказочно отважный человек новейших времен! Это он, Тренк-пандур, дикий пастырь кровожадной стаи голодных волков.

Франц фон Тренк, почти шести футов роста, был еще выше, чем его прусский кузен. Ярко-красный плащ, застегнутый у шеи рубиновым

аграфом, распахиваясь на груди, обнаруживал у него за поясом целый арсенал турецкого оружия, усыпанного драгоценными камнями. Пистолеты, кривые сабли, кортики — все было тут, чтобы придать ему вид самого ловкого и самого решительного головореза. Вместо султана на его шапке красовалось подобие маленького древка с четырьмя отточенными лезвиями, спускавшимися на лоб. Лицо его было страшно. Взрыв бочонка с порохом[53] изуродовал его, придав ему нечто дьявольское. «Невозможно смотреть на него без содрогания», — говорят все мемуары того времени.

— Так вот это чудовище, этот враг человечества! — сказала Консуэло, с ужасом отводя глаза. — Чехия долго будет помнить его поход: сожженные, разрушенные города, замученные старики и дети, опозоренные женщины, истощенные поборами деревни, опустошенные поля, уведенные или истребленные стада, повсюду разорение, отчаяние, убийства, пожары… Бедная

---

[53] Примечания: 53

Спустившись в подвал во время грабежа одного чешского города в надежде первым обнаружить бочки с золотом, о существовании которых ему говорили, Тренк стремительно поднес огонь к одной из этих драгоценных бочек, но в ней оказался порох. Взрыв обрушил на него часть сводов, и его извлекли из-под обломков умирающим; тело его было покрыто страшными ожогами, а лицо — глубокими, страшными ранами. (*Прим. автора*).

Чехия! Вечное поле брани, место действия стольких трагедий.

— Да, бедная Чехия! Жертва всяческих неистовств, арена всяческих битв, — добавил каноник. — Франц фон Тренк возродил в ней страшные зверства времен Яна Жижки. Непобедимый, как и Жижка, он никому не давал пощады, и страх перед его именем был так велик, что его авангарды брали приступом города в то время, когда он сам находился еще на расстоянии четырех лье от них, в схватке с другими врагами. Про него можно сказать, как говорили про Аттилу: «Трава уж никогда не вырастет там, где ступил его конь. Побежденные будут проклинать его до четвертого поколения».

Франц фон Тренк скрылся вдали, но долго еще Консуэло и каноник смотрели, как шли хорватские великаны-гусары, ведя под уздцы великолепных коней в богатых попонах.

— То, что вы видите, может дать вам лишь слабое представление о его богатстве, — заметил каноник. — Мулы, телеги, нагруженные оружием, картинами, драгоценностями, слитками золота и серебра, беспрестанно тянутся по дорогам, ведущим к его землям в Славонии. Там прячет он сокровища, которых хватило бы на выкуп трех

королей. Ест он на золотой посуде, похищенной им у прусского короля в Зооре, когда он чуть было не захватил и самого короля. Одни уверяют, что он опоздал на четверть часа, а другие — что король был в его руках и дорого заплатил за свою свободу. Подождем! Быть может, Тренк-пандур уже недолго будет пользоваться такой славой и таким богатством. Говорят, ему грозит уголовный суд, самые ужасные обвинения тяготеют над его головой, а императрица смертельно боится его; и говорят также, что те из его хорватов, которые не догадались, как обычно, вовремя разойтись по домам, будут зачислены в регулярные войска и зажаты в кулак на прусский манер. Что касается его самого… Я довольно печального мнения об ожидающем его при дворе приеме и наградах.

— Но пандуры, говорят, спасли австрийскую корону!

— Несомненно. От границ Турции до границ Франции они навели ужас, взяли приступом самые защищенные города, выиграли самые отчаянные битвы. Всегда первые в атаке, первые у укрепленных мостов, первые при взятии крепостей, они приводили в восхищение наших лучших генералов, а врагов обращали в бегство. Французы всюду отступали перед ними, да и

сам великий Фридрих, говорят, побледнел, как простой смертный, услыхав их воинственный клич. Нет таких быстрых рек, дремучих лесов, топких болот, отвесных скал, такого града пуль и моря пламени, которых не преодолели бы они во всякие часы ночи, в самые суровые времена года. Да! Поистине, скорее это они спасли корону Марии-Терезии, а не старая военная тактика всех наших генералов и хитрости наших дипломатов.

— В таком случае их преступления останутся безнаказанными и грабежи будут оправданы.

— Напротив, возможно, они будут чрезмерно наказаны.

— Но нельзя же отступиться от людей, оказавших подобные услуги.

— Простите, — ядовито заметил каноник, — когда больше в них не нуждаются…

— Но разве им не были разрешены любые насилия как в империи, так и на землях союзников?

— Конечно, им все было дозволено, поскольку они были необходимы.

— А теперь?

— А теперь, когда в них нет больше надобности, им ставят в вину все, что было дозволено прежде.

— А душевное благородство Марии-Терезии?

— Они осквернили храмы!

— Понимаю, господин каноник: Тренк погиб!

— Тсс! Об этом можно говорить только шепотом.

— Видела ты пандуров? — воскликнул запыхавшийся Йозеф, входя в комнату.

— Без особого удовольствия, — ответила Консуэло.

— Ну, а ты их не узнала?

— Да ведь я вижу их впервые.

— Нет, Консуэло, не в первый раз ты их видишь. Мы уже встречали их в Богемском Лесу.

— Слава Богу, насколько мне помнится, ни одного из них я не встречала.

— Значит, ты забыла сарай, где мы провели ночь на сене и вдруг разглядели человек десять-двенадцать, спавших вокруг нас?

Тут Консуэло вспомнила ночь, проведенную в сарае, и встречу с этими свирепыми людьми, которых она тогда, так же как Йозеф, приняла за контрабандистов. Но иные волнения, которых она не разделяла и о которых даже не догадывалась, запечатлели в памяти Йозефа все обстоятельства той грозной ночи.

— Так вот, — сказал он, — те мнимые контрабандисты, не заметившие нашего присутствия и

покинувшие сарай до рассвета со своими мешками и тяжелыми узлами, это и были пандуры. У них было такое же оружие, такие же лица, усы и плащи, какие я только что видел; провидение без нашего ведома спасло нас от самой страшной встречи, какая могла произойти с нами в пути.

— Вне всякого сомнения, — сказал каноник, которому Йозеф не раз рассказывал подробности их путешествия, — эти молодчики, набив себе карманы, самовольно освободились от службы, как это у них в обычае, и направились на родину, предпочитая сделать крюк, чем идти с добычей по имперским владениям, где они всегда рискуют попасться. Но будьте уверены, что не всем им удается благополучно добраться до границы. В продолжение всего пути они не перестают грабить и убивать друг друга, и только сильнейший из них, нагруженный долей товарищей, достигает своих лесов и пещер.

Приближался час спектакля. Это отвлекло Консуэло от мрачных воспоминаний о пандурах Тренка, и она отправилась в театр. Собственной уборной для одевания у нее не было — до сих пор госпожа Тези уступала ей свою. Но на этот раз обозленная успехами Консуэло и уже ставшая ее заклятым врагом, Тези унесла с собой ключ, и

примадонна этого вечера была в большом затруднении, не зная, где приютиться. Такие мелкие козни в большом ходу в театре, они раздражают и приводят в волнение соперницу, которую хотят обессилить. Она теряет время на поиски уборной, боится не найти ее, а время идет, и товарищи бросают ей на ходу: «Как! Еще не одета? Сейчас начинают!» Наконец, после бесконечных просьб и бесконечных усилий, тревог и угроз она добивается, чтобы ей открыли какую-нибудь уборную, где нет даже самого необходимого. Хотя костюмершам и заплачено, но костюм не готов, или плохо сидит.

Горничные, помогающие одеваться, — к услугам всякой другой, кроме жертвы, обреченной на это маленькое истязание. Колокольчик звенит, бутафор визгливым голосом кричит по коридорам: «Signore e signori, si va cominciar!»[54] — страшные слова, которые дебютантка не может слышать без содрогания. Она не готова, она торопится, она обрывает шнурки, рвет рукава, криво надевает мантилью, а диадема ее упадет при первых же шагах на сцене. Вся трепещущая, негодующая, расстроенная, с глазами, полными

[54] Примечания: 54
Синьорины и синьоры, сейчас начинают! (*итал.*).

слез, она должна появиться с небесной улыбкой на устах. Голос ее должен звучать чисто, громко, уверенно, а тут сжимается горло и сердце готово разорваться... О! Все эти венки, дождем сыплющиеся на сцену в минуту триумфа! Под ними таятся тысячи шипов.

К счастью, Консуэло встретила Кориллу, и та, взяв ее за руку, сказала:

— Идем в мою уборную. Тези надеялась проделать с тобой ту же штуку, какую на первых порах выкинула со мной. Но я помогу тебе хотя бы для того, чтобы ее взбесить. По крайней мере отомщу ей. А ты, Порпорина, ты так идешь в гору, что я рискую оказаться побежденной всюду, где буду иметь несчастье встретиться с тобой. Тогда ты, конечно, забудешь, как я отношусь к тебе теперь, а будешь помнить лишь то зло, которое я тебе причинила.

— Зло? Да какое же зло вы мне причинили, Корилла? — спросила Консуэло, входя в уборную своей соперницы и начиная одеваться за ширмой, в то время как немецкие горничные хлопотали вокруг обеих артисток, которые без опаски могли говорить между собой по-венециански. — Право, не знаю, какое зло вы мне причинили — я ничего не помню.

— Уже одно то, что ты говоришь мне «вы», словно презирающая меня герцогиня, доказывает, что ты сердишься на меня.

— Да я, право, не припомню, какие ты мне причиняла неприятности, — проговорила Консуэло, пересиливая отвращение, вызванное необходимостью дружески обращаться к женщине, так мало имевшей с ней общего.

— И ты говоришь правду? — спросила Корилла. — Неужели ты совсем забыла бедного Дзото?

— Я была свободна и имела право его забыть, — ответила Консуэло, подвязывая к ноге королевский котурн с мужеством и присутствием духа, которые дает подчас увлечение любимым делом; затем, пробуя голос, она вывела блестящую руладу.

Корилла, не желая отставать от нее, ответила другой руладой, но, вдруг оборвав ее, бросила горничной:

— Да не затягивайте же меня так, черт возьми! Уж не думаете ли вы, что одеваете нюрнбергскую куклу? Эти немки, — продолжала она по-венециански, — совсем не знают, что такое плечи. Позволь им только, они сделают тебя неуклюжей, как их вдовствующие герцогини. Порпорина, не давай закутывать тебя до ушей, как в прошлый

раз, это было просто нелепо.

— Ах, моя милая, таков приказ императрицы. Он известен этим девицам, и из-за таких пустяков я не хочу спорить.

— Пустяки! Это наши-то плечи? Хороши пустяки!

— Я не говорю о тебе, ты сложена лучше всех женщин на свете, а я…

— Лицемерка! — вздыхая, проговорила Корилла. — Ты на десять лет моложе меня, и скоро мои плечи будут держаться только былой славой.

— Это ты лицемерка, — возразила Консуэло; ей ужасно надоел этот разговор, и, чтобы прервать его, она, причесываясь, стала петь гаммы и выводить рулады.

— Замолчи! — сказала ей вдруг Корилла, невольно слушавшая ее. — Ты вонзаешь мне в горло тысячу кинжалов… Ах! Я охотно уступила бы тебе всех своих любовников, так как уверена, что найду других, но с твоим голосом, с твоим мастерством я никогда не смогу соперничать. Замолчи, а то мне хочется задушить тебя!

Консуэло, прекрасно видя, что Корилла шутит только наполовину и под ее насмешливой лестью скрывается настоящая мука, умолкла, но минуту спустя Корилла снова заговорила:

— Как ты делаешь эту руладу?

— Ты хочешь спеть ее? Я тебе ее уступаю, — ответила Консуэло, смеясь с присущим ей поразительным добродушием, — давай я тебя научу. Введи ее куда-нибудь в свою партию, а я найду для себя какую-нибудь другую.

— И та будет еще более блестящей. Ничего я от этого не выиграю.

— Ну, так я никакой рулады не сделаю, тем более что Порпора против этого, и сегодня я получу от него одним упреком меньше. Возьми! Вот она! — И, вынув из кармана сложенный лоскуток бумаги с записанной музыкальной фразой, она передала его поверх ширмы Корилле, которая тут же принялась разучивать руладу. Консуэло спела ее несколько раз, чтобы помочь Корилле, и та в конце концов запомнила ее. Одевание шло своим чередом.

Но прежде чем Консуэло накинула на себя платье, Корилла стремительно отодвинула ширму и бросилась ее целовать за то, что она пожертвовала своей руладой. Этот порыв благодарности был не совсем искренен. К нему примешивалось вероломное желание увидеть фигуру своей соперницы в корсете, чтобы обнаружить в ней какой-нибудь скрытый недостаток. Но Консуэло

не носила корсета. Ее стан, гибкий, как тростник, и девственные благородные формы не нуждались в искусственных средствах. Она поняла намерение Кориллы и улыбнулась.

«Можешь сколько угодно рассматривать меня, можешь проникать в мое сердце, — подумала она, — ничего фальшивого ты там не найдешь».

— Значит, Цыганочка, ты больше совсем не любишь Андзолетто? — спросила Корилла, невольно снова принимая враждебный вид и возвращаясь к резкому тону.

— Совсем не люблю, — ответила, смеясь, Консуэло.

— А он очень любил тебя?

— Совсем не любил, — снова проговорила Консуэло, так же уверенно, с тем же сознательным и искренним равнодушием.

— Он так и говорил мне! — воскликнула Корилла, глядя на нее своими голубыми глазами, ясными и горящими, и надеясь уловить сожаление в голосе соперницы и растравить ее старую рану.

Консуэло не умела хитрить, но в ее честной душе порой пробуждалось лукавство, придающее силу в борьбе против коварных замыслов. Она почувствовала удар и спокойно выдержала его.

Андзолетто она больше не любила, а муки самолюбия были ей незнакомы, и она предоставила торжествовать тщеславной Корилле.

— Андзолетто сказал тебе правду, — ответила она, — он не любил меня.

— А ты, стало быть, тоже никогда его не любила? — допрашивала Корилла, скорей удивленная, чем обрадованная таким признанием.

Консуэло почувствовала, что ей не следует быть откровенной наполовину. Корилла хотела одержать верх над ней, надо было позволить ей это, и Консуэло ответила:

— Я очень его любила.

— И ты так просто признаешься в этом? Значит, у тебя нет гордости, бедняжка!

— У меня хватило ее, чтобы излечиться.

— То есть ты хочешь сказать, что у тебя хватило рассудительности, чтобы утешиться с другим. Скажи мне, с кем, Порпорина! Не может же это быть Гайдн, у которого нет ни гроша за душой!

— Это не послужило бы помехой. Но так, как предполагаешь ты, я ни с кем не утешилась.

— Ах, знаю. Я и забыла, что ты претендуешь… Только не говори подобных вещей здесь, моя милая, а то ты станешь всеобщим посмешищем!

— Да я и не стану ничего говорить, если меня

не спросят, а спрашивать себя я не каждому позволю. Я позволила это тебе, Корилла, но если ты не враг мне, то не злоупотребишь этим.

— Вы притворщица! — закричала Корилла. — Вы очень умны, хотя и разыгрываете простушку. Настолько умны, что я почти готова поверить, будто вы так же невинны, как была я в двенадцать лет. Однако ж это невозможно! Ах, как ты ловка, Цыганочка! Ты сможешь уверить мужчин во всем, в чем захочешь.

— Я не стану ни в чем их уверять, ибо не позволю им вмешиваться в мои дела и расспрашивать меня.

— Это умнее всего: мужчины всегда злоупотребляют нашей откровенностью и, едва успев вырвать у нас признание, унижают нас своими упреками. Вижу, что ты знаешь, как себя вести. Ты хорошо делаешь, не желая возбуждать страстей, — таким образом ты избежишь и хлопот и бурь, будешь действовать открыто, никого не обманывая. Играя в открытую, ты скорей найдешь любовников, скорей разбогатеешь. Но для этого нужно больше мужества, чем у меня. Нужно, чтобы тебе никто не нравился и чтобы тебе не хотелось быть любимой, так как внушать сладость любви можно только прибегая к предосторож-

ностям и лжи. Я восхищаюсь тобой, Цыганочка, и проникаюсь к тебе уважением, видя, как ты, несмотря на свою юность, побеждаешь любовь, ибо нет ничего более пагубного для нашего спокойствия, нашего голоса, нашей красоты, нашего состояния, наших успехов, чем любовь, не правда ли? О да, я знаю это по опыту! Если бы я всегда могла довольствоваться холодным ухаживанием, то не перенесла бы столько страданий, не потеряла бы двух тысяч цехинов и двух верхних нот. Признаюсь тебе смиренно: я бедное существо, несчастное от рождения. Всякий раз, когда дела мои были в самом блестящем состоянии, я делала какую-нибудь глупость и все портила. Я поддавалась безумной страсти к какому-нибудь бедняку — и тут уж прощай все блага! Было время, когда я могла выйти замуж за Дзустиньяни, да, могла. Он обожал меня, а я его не выносила. Участь его была в моих руках. Но мне понравился этот подлый Андзолетто… и я потеряла свое положение. Послушай, ты будешь давать мне советы, будешь мне другом, не правда ли? Удерживай меня от увлечений, от легкомысленных поступков. И для начала… надо тебе признаться, что вот уж неделя, как я влюблена в человека, который заметно теряет благоволение двора и в ближайшее время

будет более опасен, чем полезен. Человек этот владеет миллионами, но может быть разорен по мановению руки. Да, я хочу развязаться с ним, прежде чем он увлечет меня в пропасть. Но я уже слышу, что он идет: видно, дьявол хочет поймать меня на слове, я чувствую, как пламя ревности уже зажигает мои щеки. Хорошенько задвинь ширму, Порпорина, и не шевелись: я не хочу, чтобы он видел тебя.

Консуэло поспешила тщательно задвинуть ширму. Ей не надо было просьбы Кориллы, она и так не желала попадаться на глаза ее любовникам. Мужской голос достаточно звучный, хотя и лишенный свежести, довольно верно напевал в коридоре. Для виду постучали, но вошли, не дожидаясь разрешения.

«Ужасное ремесло! — подумала Консуэло. — Нет, я не позволю себе увлечься опьянениями сцены: слишком уж гнусна ее закулисная сторона».

Она забилась в свой угол, возмущенная и пораженная тем, как превратно поняла ее Корилла, и впервые постигая, в какую бездну разврата ее может затянуть.

Глава XCVII

Заканчивая наспех свой туалет из боязни быть застигнутой врасплох, Консуэло услышала такой диалог на итальянском языке:

— Что вам тут нужно? Я ведь не разрешила вам входить в мою уборную. Императрица нам запретила под страхом самых строгих взысканий принимать в уборных мужчин, кроме товарищей по сцене, и только тогда, когда в этом есть срочная необходимость по театральным делам. Видите, чему вы подвергаете меня! Не понимаю, почему так плохо поставлен надзор за уборными!

— Запретов не существует для людей, которые щедро платят, моя красавица. Только трусы встречают на своем пути отпор или доносы. Ну, принимайте меня получше, или, черт побери, вы больше меня не увидите.

— Это самое большое удовольствие, какое вы можете мне доставить. Уходите! Ну, что же вы не уходите?

— Ты, по-видимому, так искренно этого желаешь, что я останусь, чтобы тебя взбесить.

— Предупреждаю, что сейчас вызову режиссе-

ра, и он избавит меня от вас.

— Пусть явится, если ему надоела жизнь. Ничего не имею против.

— С ума вы, что ли, сошли? Говорят вам, что вы меня компрометируете, заставляете нарушить правило, недавно введенное приказом ее величества, подвергаете риску большого штрафа, быть может даже увольнения.

— Штраф я берусь уплатить твоему директору палочными ударами. Что же касается увольнения, лучшего я и не желаю — сейчас же увезу тебя в свое поместье, и мы с тобой превесело заживем там.

— Поехать с таким грубияном? Никогда! Ну, выйдем вместе, раз вы упорно не желаете оставить меня одну.

— Одну? Одну ли, прелесть моя? В этом-то я и хочу убедиться раньше, чем вас покинуть. Вот ширма, которая, по-моему, занимает слишком много места в такой комнатушке. Мне кажется, отшвырни я ее добрым пинком к стене, я оказал бы вам услугу.

— Погодите, сударь, погодите: там одевается дама. Вы хотите убить или ранить женщину, этакий разбойник!

— Женщина! Ну, это другое дело, но я хочу

взглянуть, нет ли у нее шпаги!

Ширма заколебалась…

Консуэло, уже совершенно одетая, набросила на плечи плащ и, в то время как открывали первую створку ширмы, попыталась толкнуть последнюю и проскользнуть в дверь, находившуюся от нее в двух шагах. Но Корилла, угадавшая намерение девушки, остановила ее, сказав:

— Останься, Порпорина: не найди он тебя здесь, он был бы способен вообразить, что здесь был мужчина, и убил бы меня.

Перепуганная Консуэло решила было показаться, но Корилла, уцепившись за ширму, помешала ей. Быть может, она надеялась, возбудив ревность своего возлюбленного, так воспламенить его страсть, чтобы он не обратил внимания на трогательную прелесть ее соперницы.

— Если там дама, — заявил он, смеясь, — пусть она мне ответит. Сударыня, вы одеты? Можно засвидетельствовать вам свое почтение?

— Сударь, — ответила Консуэло, заметив, что Корилла делает ей знаки, — соблаговолите приберечь изъявления своего почтения для другой, а меня избавьте от них. Я не могу показаться вам.

— Значит, это наилучший момент на вас поглядеть, — проговорил возлюбленный Кориллы,

делая вид, что хочет раздвинуть ширму.

— Подумайте, прежде чем действовать! — принужденно смеясь, остановила его Корилла. — Как бы вместо полураздетой пастушки вы не наткнулись на почтенную дуэнью!

— А, черт побери!.. Да нет же! Ее голос слишком свеж, ей никак не больше двадцати лет, а будь она не красива, ты бы показала мне ее!

Ширма была очень высока, и, несмотря на свой огромный рост, возлюбленный Кориллы не мог заглянуть поверх нее, разве только сбросив со стульев туалеты актрисы. Притом с того момента, как его перестала беспокоить мысль о присутствии за ширмой мужчины, он находил игру забавной.

— Сударыня! — воскликнул он. — Если вы стары и уродливы, молчите, и я пощажу ваше убежище, но если, черт возьми, вы молоды и красивы, не давайте Корилле себя оклеветать. Скажите только слово, и я войду, несмотря на запрещение.

Консуэло ничего не ответила.

— Нет, ей-Богу, я не позволю водить себя за нос! — закричал любопытный посетитель после минутного ожидания. — Будь вы стары или плохо сложены, вы бы так спокойно не признались в

этом; но, видно, вы прекрасны как ангел, поэтому и смеетесь над моими сомнениями. Так или иначе, я должен вас увидеть, ибо вы либо чудо красоты, способное внушить страх самой красавице Корилле, либо настолько умны, что сознаете свое безобразие, и я рад буду встретить впервые в жизни некрасивую женщину без претензий.

Он схватил руку Кориллы всего двумя пальцами и согнул ее, как соломинку. Она громко вскрикнула, притворяясь, будто он причинил ей невероятную боль. Но он не обратил на это ни малейшего внимания, и, когда ширма открылась, перед глазами Консуэло предстала страшная физиономия барона Франца фон Тренка. Богатейший и изысканнейший вечерний костюм заменил дикое одеяние воина, но по гигантскому росту и большим черно-багровым пятнам, испещрявшим его смуглое лицо, трудно было тотчас же не узнать неустрашимого и безжалостного предводителя пандуров.

Консуэло невольно вскрикнула от ужаса и, бледнея, опустилась на стул.

— Не бойтесь меня, сударыня, — проговорил барон, опускаясь на одно колено, — простите мою смелость, в которой я должен был бы раскаяться, но, увидев вас, я не в силах это сделать. Позвольте

мне верить, что только из жалости ко мне вы отказывались показаться, прекрасно зная, что, увидев вас, я не могу не влюбиться. Не огорчайте меня мыслью, что я страшен вам. Я в достаточной мере уродлив, я сам сознаю это. Но если война превратила довольно красивого молодого человека в чудовище, поверьте, это еще не значит, что она сделала его более злым.

— Более злым? Да, это, конечно, было бы невозможно! — ответила Консуэло, поворачиваясь к нему спиной.

— Как видно, — ответил барон, — вы дитя довольно дикое, а ваша нянька, наверно, изобразила вам меня в своих россказнях настоящим вампиром, как это делают здесь все старухи. Но молодые женщины ко мне более справедливы: они знают, что если я и суров с врагами родины, то дамам легко меня приручить, когда они берут на себя этот труд.

И, наклонившись к Консуэло, которая притворилась, будто смотрится в зеркало, он метнул ее изображению тот сладострастный и в то же время свирепый взгляд, грубому очарованию которого и поддалась Корилла. Консуэло увидела, что только рассердившись сможет избавиться от него.

— Господин барон, — сказала она, — не страх

внушаете вы мне, а отвращение, омерзение. Вы любите убивать — я не боюсь смерти; но я ненавижу кровожадных людей, а вас я знаю. Я только что приехала из Чехии, где видела следы вашего пребывания…

Барон изменился в лице и проговорил, пожимая плечами и оборачиваясь к Корилле:

— Что это за чертовка? Баронесса Лесток, стрелявшая в меня в упор из пистолета, и та казалась не такой разъяренной. Не задавил ли я по неосторожности, несясь галопом, ее любовника у какого-нибудь куста? Ну, красотка моя, успокойтесь — я пошутил с вами. Если вы такого несговорчивого нрава, откланиваюсь. Впрочем, я заслужил это, на минуту отвлекшись от моей божественной Кориллы.

— Ваша божественная Корилла, — ответила та, — очень мало заботится о том, внимательны вы или нет, и просит вас удалиться: сейчас будет делать обход директор, и если вы не желаете вызвать скандал…

— Ухожу, — сказал барон, — я не хочу огорчать тебя и лишать публику удовольствия, так как ты потеряешь чистоту голоса, если начнешь плакать. После спектакля буду ждать тебя в своей карете у выхода из театра. Решено, не так ли?

И он, насильно расцеловав ее в присутствии Консуэло, вышел. Корилла тут же бросилась на шею к товарке и стала благодарить ее за то, что она так решительно отвергла пошлые любезности барона. Консуэло отвернула голову — красавица Корилла, осквернённая поцелуями этого человека, внушала ей почти такое же отвращение, как он сам.

— Как можете вы ревновать такое отталкивающее существо? — сказала она ей.

— Ты в этом ничего не смыслишь, Zingarella, — ответила, улыбаясь, Корилла. — Барон нравится женщинам более высокопоставленным и якобы более добродетельным, чем мы с тобой. Сложен он превосходно, а в лице его, хотя и попорченном шрамами, есть нечто притягательное, против чего ты не устояла бы, вздумай он убедить тебя, что красив.

— Ах, Корилла! Не лицо Тренка главным образом отталкивает меня. Душа его еще более отвратительна! Ты, стало быть, не знаешь, что у него сердце тигра…

— Это-то и вскружило мне голову! — беззастенчиво ответила Корилла. — Выслушивать комплименты всяких изнеженных пошляков — подумаешь, велика радость! А вот укротить

тигра, поработить льва, водить его на поводу, заставлять вздыхать, плакать, рычать и дрожать того, чей взгляд обращает в бегство войска и чей удар сабли сносит голову быка с такой легкостью, словно это цветок мака, — вот наслаждение более острое, чем все испытанное мною до сих пор! У Андзолетто было нечто в этом роде: я любила его злость; но барон злее. Тот был способен избить свою любовницу, а этот в состоянии ее убить. О! Я предпочитаю второго!

— Бедная Корилла! — промолвила Консуэло, бросая на нее взгляд, полный сожаления.

— Ты жалеешь меня за то, что я люблю его, и ты права, но у тебя больше оснований завидовать этой любви. А впрочем, лучше питать ко мне сожаление, чем отбивать у меня Тренка.

— О, будь покойна! — воскликнула Консуэло.

— Signora, si va cominciar![55] — крикнул бутафор у дверей.

— Начинаем! — повторил другой, мрачный и глухой голос внизу лестницы, ведущей в глубь театра. И последние слоги, передаваясь слабым эхом от кулисы к кулисе, достигли, замирая, будки суфлера, который стукнул три раза об пол, чтобы

---

[55] Примечания: 55
Синьора, сейчас начинают! (*итал.*)

предупредить дирижера; тот, в свою очередь ударил смычком по пульту, и после минуты молчания и сосредоточенности, предшествующих увертюре, раздались мощные звуки оркестра, заставившие умолкнуть и ложи и партер.

С первого же акта «Зенобии» Консуэло произвела то чудесное, неотразимое впечатление, которое Гайдн предсказывал ей накануне. Самые великие таланты не всякий день выступают на сцене с одинаковым успехом. Даже допустив, что силы их ни на минуту не ослабевают, не все роли, не все положения в равной мере способствуют проявлению их блестящих способностей. Впервые Консуэло встретилась с образом, где могла быть сама собой, могла проявить всю свою чистоту, всю силу, нежность и искренность, не затрачивая труда для работы над ролью, чтобы отождествиться с чуждой ей личностью. Она могла забыть этот ужасный труд, отдаться переживаниям минуты, ощутить глубокие душевные движения, не изученные ранее, а сообщенные ей теперь магнетическим общением с сочувственно настроенной публикой. И она испытывала то же неизъяснимое наслаждение, какое уже познала, правда, в меньшей степени, на репетиции, в чем чистосердечно призналась тогда Йозефу. И

теперь не рукоплескания зрителей опьянили ее радостью, а счастье, что она сумела проявить себя, торжествующая уверенность в том, что она достигла совершенства в своем искусстве. До сих пор Консуэло всегда с беспокойством спрашивала себя, не могла ли она при своем даровании еще лучше исполнить ту или иную роль. На этот раз она поняла, что проявила всю свою мощь, и, почти не слыша восторженных криков толпы, в глубине души аплодировала самой себе.

После первого акта она осталась за кулисами, чтобы прослушать интермедию и подбодрить искренними похвалами Кориллу, которая в этой роли была в самом деле прелестна. Но после второго акта Консуэло почувствовала, что ей нужен минутный отдых, и поднялась в уборную. Порпора был занят в другом месте и не пошел за нею, а Йозеф, внезапно приглашенный благодаря тайному покровительству императрицы исполнять партию скрипки в оркестре, понятно, остался на своем месте.

Итак, Консуэло вошла одна в уборную Кориллы, от которой та передала ей ключ, выпила стакан воды и на минуту бросилась на диван. Но вдруг воспоминание о пандуре Тренке почему-то встревожило ее, и, подбежав к двери, она заперла ее.

Однако, казалось, не было никаких оснований беспокоиться о том, что он явится сюда. Перед поднятием занавеса он направился в зрительный зал, и Консуэло даже видела его на балконе среди своих самых восторженных поклонников. Тренк страстно любил музыку. Он родился и получил воспитание в Италии, говорил по-итальянски так же мелодично, как чистый итальянец, недурно пел и, родись он в иных условиях, мог бы сделать карьеру на сцене, как утверждают его биографы.

Каков же был ужас Консуэло, когда, возвращаясь к дивану, она увидела, что злополучная ширма задвигалась, приоткрылась и из-за нее показался проклятый пандур!

Она бросилась к двери, но Тренк опередил ее и, прислонившись спиной к замку, проговорил с отвратительной улыбкой:

— Успокойтесь, моя прелесть! Раз вы пользуетесь уборной совместно с Кориллой, вам следует привыкнуть к встречам с любовником этой красотки — ведь вы не могли не знать, что второй ключ находится у него в кармане. Вы угодили в самое логово льва… О! Не вздумайте только кричать! Никто не явится. Всем известно, что Тренк — человек хладнокровный, что у него сильный кулак и он мало ценит жизнь глупцов. Если ему

беспрепятственно, вопреки императорскому запрету, позволяют входить сюда, то ясно, что между всеми нашими фиглярами нет ни одного смельчака, который решился бы взглянуть ему прямо в глаза. Ну, чего вы бледнеете и дрожите? Неужели вы так мало уверены в себе, что не в состоянии выслушать трех слов, не потеряв головы? Или вы считаете меня человеком, способным совершить насилие, оскорбить вас? Вы наслушались бабьих сплетен, дитя мое! Тренк не так уж зол, как о нем говорят, и именно чтобы убедить вас в этом, он и хочет минутку побеседовать с вами.

— Сударь, я не стану слушать вас, прежде чем вы не откроете дверь, — ответила, набравшись решимости, Консуэло. — Только при этом условии я разрешу вам говорить со мной. Если же вы будете держать меня взаперти, я подумаю, что этот мужественный и сильный человек не уверен в себе и боится встречи с моими товарищами-фиглярами.

— А вы правы, — сказал Тренк, открывая настежь дверь. — Если вы не боитесь простудиться, я предпочитаю дышать чистым воздухом, чем задыхаться в мускусе, которым Корилла пропитала всю эту комнатушку. Вы даже оказываете

мне услугу.

Сказав это, он вернулся к Консуэло и, схватив ее за руки, принудил сесть на диван, а сам стал перед ней на колени, не выпуская ее рук, которых она не могла бы высвободить, не вступив с ним в борьбу, бессмысленную и, пожалуй, даже опасную для ее чести. Барон, казалось, ждал и как бы вызывал сопротивление, которое разбудило бы в нем необузданные инстинкты и заставило бы его забыть всякую деликатность, всякую почтительность. Консуэло поняла это и безропотно покорилась необходимости пойти на такую постыдную и опасную уступку. По ее смуглой, бескровной щеке скатилась слеза, которую она не могла удержать. Барон увидел ее, но она не смягчила, не обезоружила его — напротив, жгучая радость блеснула из-под его кровавых век, оголенных ожогом.

— Вы очень несправедливы ко мне, — заговорил он ласкающим, нежным голосом, в котором чувствовалась лицемерная радость. — Вы ненавидите меня и не хотите выслушать мои оправдания, хотя совсем меня не знаете. А я не стану, как дурак, мириться с вашим отвращением. Час тому назад это было мне безразлично, но с тех пор, как я слышал божественную Порпорину, с тех пор,

как я ее обожаю, я чувствую, что надо жить для нее или умереть от ее руки!

— Избавьте меня от этой смешной комедии… — проговорила с негодованием Консуэло.

— Комедии? — прервал ее барон. — Постойте, — сказал он, вытаскивая из кармана пистолет, который тут же зарядил и подал ей, — вы будете держать это оружие в своей прелестной ручке и, если я невольно оскорблю вас хоть словом, если по-прежнему буду ненавистен вам, — убейте меня, коли вам это заблагорассудится. А другую ручку я решил не выпускать до тех пор, пока вы не позволите мне поцеловать ее. Но этой милостью я хочу быть обязанным только вашей доброте, я буду молить вас о ней и терпеливо ждать под дулом смертоносного оружия, которое вы можете обратить против меня, когда моя настойчивость станет вам невыносима.

Тут Тренк действительно вложил в правую руку Консуэло пистолет, а левую удержал силой, продолжая стоять перед нею на коленях с неподражаемой фатовской самонадеянностью. С этого мгновения Консуэло почувствовала себя очень сильной и, держа пистолет так, чтобы его можно было пустить в ход при малейшей опасности, сказала с улыбкой:

— Можете говорить, я вас слушаю.

В то время как она произнесла эти слова, ей показалось, что в коридоре раздались шаги и даже чья-то тень мелькнула в дверях. Но тень тотчас же исчезла, потому ли, что пришелец удалился, или потому, что вообще все это было плодом воображения. Теперь, когда Консуэло угрожала только огласка, появление всякого лица, и безразличного и могущего оказать помощь, было скорее страшно, чем желательно. Если она будет молчать, барон, застигнутый на коленях перед нею в комнате с открытой дверью, неминуемо будет принят за явно преуспевшего поклонника, а если она закричит, будет звать на помощь, барон, несомненно, убьет первого, кто покажется. С полсотни подобных случаев украшало путь его частной жизни, и жертвы его страстей не становились от этого более податливыми и не слыли более опороченными. В этот страшный миг Консуэло желала только одного — чтобы объяснение скорее кончилось, надеясь своим собственным мужеством вразумить Тренка, не прибегая к помощи свидетелей, которые могли бы по-своему понять и истолковать эту странную сцену.

Тренк отчасти угадал ее мысль и слегка прикрыл дверь.

— Право, сударыня, — сказал он, возвращаясь к ней, — было бы безумием подвергать вас злословию проходящих; спор должен кончиться у нас с глазу на глаз. Выслушайте же меня. Вы боитесь, и вам мешает дружба с Кориллой, это мне понятно. Честь ваша, ваша незапятнанная репутация мне дороже даже этих драгоценных минут, когда я без свидетелей любуюсь вами. Я прекрасно знаю, что эта пантера, в которую я был влюблен еще час назад, обвинила бы вас в предательстве, застань она меня здесь у ваших ног. Но она не получит этого удовольствия. Я высчитал время. Ей еще минут десять придется развлекать публику своим кривляньем, и я успею сказать вам, что если любил ее, то забыл уже об этом, как о первом сорванном мною яблоке. Не бойтесь отнять у нее сердце, которое больше не принадлежит ей и откуда отныне ничто не может изгнать ваш образ. Вы одна, сударыня, властны надо мной, вы одна можете располагать моей жизнью. Что же заставляет вас колебаться? У вас, говорят, есть любовник, — одним щелчком я избавлю вас от него! Вы под постоянным надзором старого опекуна, злого и ревнивого, — я увезу вас из-под самого его носа! Вы подвергаетесь в театре тысячам козней. Правда, публика вас обожает, но

публика неблагодарна и изменит вам в первый же день, когда вы охрипнете. Я несметно богат и в состоянии сделать вас принцессой, чуть ли не королевой — в стране дикой, но где я могу в мгновение ока воздвигнуть вам дворцы и театры, более величественные и красивые, чем дворцы венского двора. Если вы нуждаетесь в публике, я одним мановением вызову ее из-под земли, притом преданную, покорную, верную, не чета венской. Я некрасив — знаю, но шрамы, украшающие мое лицо, более почтенны и славны, чем белила и румяна, покрывающие бледные лица ваших скоморохов. Я суров с моими рабами, неумолим по отношению к врагам, но добр со своими преданными слугами, и те, кого я люблю, наслаждаются счастьем, славой, богатством. Наконец, я бываю подчас свиреп, вам сказали правду: не может человек столь храбрый и сильный не пользоваться своим могуществом, когда месть и гордость призывают его к этому. Но женщина чистая, застенчивая, кроткая и прелестная, как вы, может обуздать мою силу, сковать мою волю и держать меня у своих ног, точно ребенка. Попробуйте: доверьтесь мне на какое-то время тайком от всех, а когда узнаете меня, вы увидите, что можете вручить мне заботу о своем будущем

и последовать за мной в Славонию. Вы улыбаетесь, название этого края созвучно со словом раб[56]. Так вот, божественная Порпорина, я буду твоим рабом! Взгляни на меня и привыкни к моему безобразию, которое твоя любовь могла бы украсить! Скажи только слово, и ты увидишь, что красные глаза Тренка-австрийца могут проливать радостные слезы, слезы умиления, так же как и красивые глаза Тренка-пруссака, моего дорогого кузена, которого я люблю, хотя мы и дрались с ним во враждебных лагерях и хотя ты, как уверяют, была неравнодушна к нему. Но тот Тренк — мальчик, а я, пусть еще молод (мне только тридцать четыре года, хотя лицо мое, опаленное порохом, и кажется вдвое старше), однако уже пережил возраст прихотей и могу дать тебе долгие годы счастья. Говори, говори же, скажи «да», и ты увидишь, что любовь может преобразить меня и превратить Тренка — Опаленную Пасть в светозарного Юпитера! Ты не отвечаешь мне, трогательное целомудрие удерживает тебя, не правда ли? Ну хорошо! Не говори ни слова, дай мне только поцеловать твою руку, и я уйду с душой, полной веры и счастья. Видишь, я не такой

---

[56] Примечания: 56

Esclavonie (*Slavonic*) — Славония, esclave — раб (*фр.*).

грубиян, не такой тигр, каким меня изобразили тебе. Я прошу у тебя только невинной милости и молю тебя о ней на коленях, а ведь я мог бы одним дуновением сокрушить тебя и, несмотря на твою ненависть, испытать счастье, которому позавидовали бы сами боги!

Консуэло с удивлением рассматривала этого страшного человека, соблазнившего стольких женщин. Она старалась постигнуть чары, которые в самом деле, несмотря на его безобразие, могли бы действовать неотразимо, будь это лицо хорошего человека, воодушевленного движениями сердца; но то было безобразие отчаянного сластолюбца, а страсть его — только причуда дерзкого, самонадеянного фанфарона.

— Вы все сказали, господин барон? — спокойно спросила Консуэло.

Но она тут же покраснела и побледнела, когда славонский деспот бросил ей на колени целую пригоршню крупных бриллиантов, огромных жемчужин и ценнейших рубинов. Она быстро поднялась, сбросив на пол все эти драгоценности, которые должны были достаться Корилле.

— Тренк! — воскликнула она, охваченная сильнейшим негодованием и презрением. — При всей твоей храбрости ты последний трус: сра-

жался ты только с ягнятами и ланями, которых безжалостно истреблял. Выступи против тебя настоящий мужчина, ты убежал бы, как лютый, но трусливый волк. Твои славные шрамы, я знаю, получены тобой в подвале, где ты среди трупов искал золото побежденных. Твои дворцы и твое ничтожное царство — кровь благородного народа, и только деспотизм навязывает тебя ему в качестве соотечественника. Это гроши, вырванные у вдов и сирот, золото предательства, грабеж церквей, где ты, притворяясь, падаешь ниц и творишь молитву (в довершение всех своих великих достоинств ты еще и ханжа!). Твоего двоюродного брата Тренка-пруссака, так нежно тобой любимого, ты предал и собирался умертвить. Женщин, которых ты прославил и осчастливил, ты изнасиловал, предварительно убив их мужей и отцов. Твоя только что разыгранная нежность ко мне нечто иное, как каприз пресыщенного развратника. Рыцарское изъявление покорности, которое ты проявил, отдавая свою жизнь в мои руки, — это тщеславие глупца, воображающего себя неотразимым, а та пустая милость, о которой ты просишь, была бы для меня пятном, которое можно смыть только самоубийством. Вот мое последние слово, пандур — Опаленная Пасть! Прочь

с моих глаз! Беги, ибо если ты не освободишь моей руки, которую уже четверть часа леденишь в своей, я очищу землю от негодяя, размозжив тебе голову!

— И это твое последнее слово, исчадие ада? — воскликнул Тренк. — Ну, хорошо же! Горе тебе! Пистолет, который я гнушаюсь выбить из твоей дрожащей руки, заряжен только порохом. Одним маленьким ожогом больше или меньше — что за важность! Этим не напугаешь человека, закаленного в огне. Стреляй, наделай шума! Мне только того и нужно. Я буду рад найти свидетелей своей победы, так как теперь уже ничто не сможет избавить тебя от моих объятий: своим безумием ты зажгла во мне огонь страсти, который могла бы сдержать, будь ты немного поосторожней.

Говоря так, Тренк схватил в свои объятия Консуэло, но в то же мгновение дверь отворилась, и человек, чье лицо было закрыто черной маской, опустил руку на пандура, — тот сразу согнулся и зашатался, как тростник в бурю, — и с силой бросил его на пол. Это было делом нескольких секунд. Ошеломленный в первое мгновение, Тренк поднялся и, дико вращая глазами, с пеной у рта, выхватил шпагу и ринулся на своего врага, который отступил к двери, по-видимому желая

исчезнуть. Консуэло также устремилась к выходу — ей показалось, что по росту и силе рук этот замаскированный человек не кто иной, как граф Альберт. Она увидела его в конце коридора, где очень крутая винтовая лестница вела на улицу. Тут он остановился, подождал Тренка, быстро нагнулся — так, что шпага барона царапнула стену, и, схватив его в охапку, швырнул через плечо вниз по лестнице, головой вперед. Консуэло слышала, как великан покатился, и с криком: «Альберт!» кинулась было вслед за своим избавителем. Но он исчез раньше, чем у нее хватило сил сделать три шага. Страшная тишина воцарилась кругом.

— Signora, cinque minuti[57], — отеческим тоном обратился к ней бутафор, вынырнув из театрального люка, выходившего на ту же площадку. — Каким образом эта дверь оказалась открытой? — прибавил он, глядя на дверь лестницы, с которой был сброшен Тренк. — Право, ваша милость рисковали простудиться в этом коридоре.

Он закрыл и запер дверь на ключ, как полагалось, а Консуэло ни жива ни мертва вернулась

---

[57] Примечания: 57
Синьора, через пять минут начинают (*итал.*).

в уборную, выбросила за окно пистолет, валявшийся под диваном, засунула ногой под мебель драгоценности Тренка, сверкавшие на ковре, и отправилась на сцену, где наткнулась на Кориллу, еще разгоряченную и запыхавшуюся от бесконечных выходов на аплодисменты, только что доставшиеся на ее долю после интермедии.

Глава XCVIII

Несмотря на страшное волнение, Консуэло и в третьем акте превзошла себя. Она и сама этого не ожидала, ни на что не рассчитывала и вышла на сцену с отчаянной решимостью провалиться с честью, считая, что во время своей мужественной борьбы лишилась вдруг и голоса и умения. Это ее не пугало: что значили даже тысячи свистков по сравнению с опасностью и позором, которых она только что избежала благодаря чьему-то чудесному вмешательству. За этим чудом последовало другое. Добрый гений Консуэло, казалось, покровительствовал ей: голос ее звучал как никогда, пела она с еще большим мастерством и играла с большим подъемом и страстью, чем когда-либо. Все ее существо было до крайности возбуждено; ей казалось, что вот-вот что-то порвется в ней, как чересчур туго натянутая струна. И это лихорадочное возбуждение уносило ее в волшебный мир: она играла точно во сне и удивлялась сама, что находит в себе силы действовать наяву.

К тому же одна радостная мысль поддерживала ее всякий раз, когда она боялась, что не выдер-

жит. У нее теперь не было сомнений, что Альберт здесь. Он в Вене. По крайней мере со вчерашнего дня. Он наблюдает за ней, следит за каждым ее шагом, оберегает ее, — иначе кому же приписать нежданную помощь, только что оказанную ей, и ту почти сверхъестественную силу, которой должен был обладать человек, чтобы победить Франца фон Тренка, славонского геркулеса? И если благодаря одной из тех странностей, которых так много в характере молодого графа, он не хочет с ней говорить и как будто желает остаться незамеченным, тем не менее он явно по-прежнему страстно любит ее, раз охраняет так заботливо и защищает с такой энергией.

«Ну что ж, — подумала Консуэло, — если Господу угодно, чтобы силы не изменили мне, пусть Альберт видит меня на высоте в моей роли и пусть из того уголка залы, откуда он, без сомнения, в эту минуту следит за мной, насладится моим триумфом — ведь я добилась его не интригами и не хитростью».

Продолжая играть Зенобию, она искала Альберта глазами, но нигде не могла найти; она искала его и тогда, когда уходила за кулисы, но столь же безуспешно. «Где бы он мог быть? — спрашивала она себя. — Где прячется? Быть может, он убил

пандура, сбросив его с лестницы и принужден теперь скрываться от преследований? Попросит ли он убежища у Порпоры? Встречу ли я его на этот раз, вернувшись в посольство?». Но все ее волнения исчезали, как только она снова появлялась на сцене: словно по волшебству, забывала она обстоятельства своей действительной жизни, и ее охватывало лишь чувство какого-то смутного ожидания, восторга, страха, благодарности, надежды… И все это было в ее роли и выливалось в чудесных звуках, полных нежности и искренности.

По окончании спектакля ее без конца вызывали. Императрица первая бросила ей из своей ложи букет, к которому был прикреплен ценный подарок. Двор и жители Вены последовали примеру своей государыни, засыпав певицу цветами. Консуэло увидела, как среди всех этих благоухающих венков к ее ногам упала зеленая ветка, невольно привлекшая ее внимание. Как только занавес опустился в последний раз, она ее подняла. То была ветка кипариса. Тут она сразу забыла обо всех знаках успеха и стала искать объяснения этой эмблемы скорби и ужаса, этого погребального символа, быть может, выражавшего последнее «прости». Смертельный холод сменил в ней ли-

хорадочное волнение, непреодолимый страх застлал, словно облаком, глаза. Ноги Консуэло подкосились, и ее почти без чувств отнесли в карету венецианского посланника, где Порпора тщетно старался добиться от нее хотя бы одного слова. Губы ее похолодели, а безжизненная рука держала под плащом кипарисовую ветку, точно принесенную к ней ветром смерти.

Спускаясь по театральной лестнице, она не заметила кровавых следов, да и мало кто обратил на них внимание в сутолоке разъезда. Но в то время как Консуэло возвращалась в посольство, погруженная в свои мрачные думы, весьма печальная сцена происходила в артистической при закрытых дверях. Незадолго до окончания спектакля служащие театра, раскрывая все двери, наткнулись на окровавленного барона фон Тренка, лежавшего без чувств у подножия лестницы. Его перенесли в одну из комнат, предоставленных артистам, и, во избежание огласки и смятения, потихоньку предупредили директора, театрального врача и полицию, чтобы те явились удостоверить свершившееся. Таким образом, и труппа и публика покинули зрительный зал и театр, не узнав о происшествии, и только кое-кто из служителей искусства, государственные

чиновники и несколько сострадательных свидетелей постарались оказать помощь пандуру и добиться от него объяснений. Корилла, ожидавшая карету любовника и уже несколько раз посылавшая на розыски свою горничную, наконец, потеряла терпение и решила спуститься вниз сама, рискуя отправиться домой пешком. Она встретила господина Гольцбауэра, и тот, зная о ее отношениях с Тренком, повел ее в фойе, где она увидела своего любовника с проломленным черепом и со столькими ушибами на теле, что он не мог пошевельнуться. Корилла огласила все помещение воплями и стенаниями. Гольцбауэр удалил лишних свидетелей и велел закрыть двери. Примадонна на все вопросы не могла ни ответить что-либо, ни дать какие-либо объяснения, способные выяснить дело. Наконец, Тренк, придя немного в себя, заявил, что, проникнув без разрешения за кулисы театра, чтобы поглядеть поближе на танцовщиц, он поспешил уйти оттуда до окончания спектакля, но, не зная всех переходов этого лабиринта, оступился на первой же ступеньке проклятой лестницы, неожиданно упал и скатился до самого низа. Этим объяснением удовлетворились и отнесли Тренка домой, где Корилла так ревностно за ним ухаживала, что

даже лишилась благосклонности графа Кауница, а впоследствии и благоволения ее величества. Но она отважно пожертвовала всем этим, и Тренк, чей железный организм выносил и более жестокие испытания, отделался недельным недомоганием и лишним шрамом на голове. Он не заикнулся ни перед кем о своем злоключении и только дал себе слово, что Консуэло дорого за него заплатит. Он и осуществил бы это, конечно, самым жестоким образом, если бы приказ об аресте не вырвал его из объятий Кориллы и не бросил, едва оправившегося от падения и еще дрожавшего от лихорадки, в военную тюрьму[58]. Те неясные слухи, которые народная молва донесла до ушей каноника, начали оправдываться. Богатства пандура возбудили во влиятельных людях и разного рода ловкачах жгучую, неутолимую алчность, и он пал жертвой этой алчности. Обвиненный во всевозможных преступлениях, и совершенных им и навязанных ему лицами, заинтересованными в его гибели, он начал испытывать на себе всякие проволочки, придирки,

[58] Примечания: 58

Ради исторической правды мы должны упомянуть о дерзких выходках Тренка, вызвавших такое бесчеловечное обращение с ним. С первого же дня своего прибытия в Вену он по приказу императрицы был подвергнут домашнему аресту. Но в тот же вечер он появился в опере и в антракте хотел сбросить в партер графа Госсау. (*Прим. автора*).

наглые нарушения закона, утонченные несправедливости долгого и скандального судебного процесса. Скупой, несмотря на свое тщеславие, и гордый, невзирая на свои пороки, он не пожелал ни платить за усердие своих защитников, ни подкупать совесть своих судей. Мы оставим барона на время в темнице, где после какой-то буйной выходки он, к великому своему негодованию, оказался прикованным за ногу. Постыдный и бесчестный поступок! Именно за ту самую ногу, в которую попал осколок бомбы, взорвавшейся во время одного из самых доблестных его боевых подвигов. У него тогда выскоблили пораженную гангреной кость, и, едва оправившись, он снова сел на коня, дабы с геройской выдержкой продолжать службу. И вот теперь на этот ужасный шрам наложили железное кольцо с тяжелой цепью. Рана открылась, и он выносил новые муки уже не за службу императрице, а за то, что слишком хорошо служил ей когда-то. Великая государыня охотно мирилась с Тренком, подавлявшим и раздиравшим злополучную и опасную Чехию, едва ли могущую, вследствие старинной национальной розни, быть оплотом против врагов; но «король» Мария-Терезия, не нуждаясь больше ни в преступлениях Тренка, ни в жестокостях

пандуров, чтобы прочно сидеть на престоле, начинала находить их поступки чудовищными, непростительными и даже делала вид, что никогда не знала об их варварствах, — совсем как великий Фридрих, притворявшийся, будто не имеет понятия об утонченных жестокостях, цепях, весящих шестьдесят восемь фунтов, и пытках голодом, которыми несколько позже терзали другого барона фон Тренка, его красавца пажа, блестящего ординарца, спасителя и друга нашей Консуэло. Льстецы, донесшие до нас слух об этих возмутительных происшествиях, приписывали всю их гнусность мелкому должностному люду и неизвестным чиновникам, чтобы смыть пятно с памяти монархов. Но монархи эти, якобы так плохо осведомленные о злоупотреблениях в своих тюрьмах, на самом деле настолько хорошо знали о всем происходящем, что, к примеру, Фридрих Великий собственноручно сделал рисунок цепей, которые Тренк-пруссак целых девять лет влачил в своем магдебургском склепе. И хотя Мария-Терезия прямо и не приказывала заковать искалеченную ногу Тренка-австрийца, своего доблестного пандура, однако она всегда оставалась глуха и к его жалобам и к его разоблачениям. К тому же при постыдном дележе богатств Трен-

ка, учиненном ее приближенными, она сумела выделить себе львиную долю и отказать в правосудии его наследникам.

Вернемся теперь к Консуэло, ибо долг романиста обязывает нас лишь бегло касаться деталей, принадлежащих истории. Однако нам кажется невозможным совершенно отделить приключения нашей героини от событий, происходивших в ее время и на ее глазах. Узнав о несчастье пандура, Консуэло не вспоминала больше о нанесенных ей оскорблениях и, глубоко возмущенная несправедливостью по отношению к нему, помогла Корилле снабдить его деньгами в тот момент, когда ему было отказано в средствах, которые могли бы смягчить суровость его заточения. Корилла, умевшая тратить деньги гораздо быстрее, чем добывать их, как раз была без гроша в тот день, когда посланец ее любовника тайно явился просить у нее нужную сумму. Консуэло была единственным лицом, к помощи которого эта женщина из инстинктивного чувства доверия и уважения решилась прибегнуть. Консуэло тотчас же продала подарок, брошенный ей императрицей на сцену по окончании «Зенобии» и передала Корилле деньги, похвалив ее при этом за то, что она не оставляет в горе несчастного

Тренка. Усердие и мужество, с какими Корилла служила своему любовнику, пока это было возможно, вплоть до того, что она подружилась даже с баронессой, его признанной любовницей, к которой смертельно ревновала, внушили Консуэло какое-то уважение к этому развращенному, но не окончательно испорченному созданию, сохранившему еще добрые побуждения сердца и порывы бескорыстного великодушия.

— Падем ниц перед промыслом Божьим, — говорила она Йозефу, подчас упрекавшему ее за близость с Кориллой. — Человеческая душа даже в заблуждении сохраняет нечто благостное и великое, к чему чувствуешь уважение и в чем с радостью находишь те священные следы, которые являются как бы печатью Божьей десницы. Там, где можно пожалеть, найдется и что простить, а где есть что простить, будь уверен, добрый мой Йозеф, там есть и что полюбить. Эта бедная Корилла, живущая как животное, иногда поступает как ангел. Видишь ли, я чувствую, что если останусь артисткой, то должна привыкнуть без ужаса и гнева смотреть на все эти гнусности, среди которых протекает жизнь погибших женщин. Ведь и они, эти падшие, колеблются между жаждой добра и влечением ко злу, между

опьянением и раскаянием. И даже, признаюсь, мне кажется, что роль сестры милосердия была бы полезнее для моей добродетели, чем жизнь более чистая и отрадная, чем блистательные связи и спокойное существование среди людей сильных, счастливых, уважаемых. Чувствую, что сердце мое создано наподобие рая доброго Иисуса, где с большей радостью, с большим приветом встретят одного раскаявшегося грешника, чем сто торжествующих праведников. Мое сердце призвано сочувствовать, жалеть, помогать и утешать. Мне кажется, что имя, данное мне матерью при крещении, налагает на меня этот долг и указывает мою судьбу. У меня, Беппо, нет другого имени. Общество не дало мне права с гордостью носить имя отца, и если, по мнению света, я унижаю себя, отыскивая крупинки чистого золота в грязи чужих дурных нравов, то ведь я не обязана отчитываться перед светом. Я только Консуэло — ничего больше. И этого достаточно для дочери Розамунды, ибо Розамунда была бедной женщиной, и о ней отзывались еще хуже, чем о Корилле, а я должна была и могла ее любить, какой бы она ни была. Ее не почитали, как Марию-Терезию, но она не приказала бы приковать за ногу Тренка, чтобы умертвить его в муках, а самой

завладеть его деньгами. Корилла также не сделала бы этого, а ведь, вместо того чтобы драться за нее, тот самый Тренк, которому она помогает в несчастье, частенько бивал ее. Йозеф! Йозеф! Господь своим величием превосходит всех наших монархов: и раз Мария-Магдалина восседает у него на почетном месте, рядом с непорочной девой, то, пожалуй, и Корилла при том дворе будет иметь преимущество перед Марией-Терезией. А о себе скажу: если бы мне пришлось в те дни, которые мне еще предстоит провести на земле, покинуть виновных и страждущих, чтобы сидеть на пиру праведников, среди благоденствующей добродетели, то я не считала бы, что путь этот приведет меня к спасению. О, благородный Альберт смотрел на это так же, как я, и, конечно, не стал бы порицать меня за мое доброе отношение к Корилле.

Консуэло говорила все это своему другу Беппо через две недели после первого представления «Зенобии» и происшествия с бароном фон Тренком. Шесть представлений, на которые ее пригласили, уже состоялись. Госпожа Тези снова появилась в театре. Императрица при посредстве посланника Корнера потихоньку воздействовала на Порпору и продолжала ставить брак Консуэло

с Гайдном условием ее поступления на императорскую сцену по окончании ангажемента Тези. Йозеф ничего не знал об этом. Консуэло ничего не подозревала. Она думала только об Альберте, который больше не появлялся и не давал о себе знать. В голове у нее бродила тысяча предположений, она принимала тысячу противоположных решений и даже прихворнула от пережитого нервного потрясения и тревог. Она не покидала своей комнаты с тех пор, как покончила с театром, и без конца смотрела на кипарисовую ветку, сорванную, как ей казалось, на одной из могил в гроте Шрекенштейна.

Беппо, единственный друг, которому она могла раскрыть свое сердце, сначала хотел было разубедить ее в том, что Альберт приезжал в Вену. Но когда она показала ему кипарисовую ветку, он глубоко задумался над этой тайной и в конце концов сам уверовал в то, что молодой граф принимал участие в истории с Тренком.

— Послушай, — сказал он, — мне кажется, я понял, что происходит. Альберт в самом деле приезжал в Вену. Он тебя видел, слышал, наблюдал за всеми твоими поступками, следовал за тобой по пятам. В тот день, когда мы с тобой беседовали на сцене у декорации, изображающей реку Аракс,

он мог быть по ту сторону этой декорации и слышать, как я сожалел, что тебя хотят похитить с подмостков на пороге славы. У тебя самой при этом вырвались какие-то восклицания, из которых он мог заключить, что ты предпочитаешь блеск театральной карьеры печальной торжественности его любви. На следующий день он видел, как ты вошла в уборную Кориллы, и раз он все время наблюдал за тобой, то мог заметить, как туда же за несколько минут перед этим вошел пандур. Альберт так долго не являлся к тебе на помощь потому, что считал твой приход добровольным, и, только поддавшись искушению подслушать у двери, понял, как необходимо его вмешательство.

— Прекрасно! Но зачем действовать так таинственно, зачем скрывать под маской свое лицо? — промолвила Консуэло.

— Ты знаешь, как подозрительна венская полиция. Быть может, его оговорили при дворе или у него были секретные причины скрываться. Возможно, что лицо его было знакомо Тренку. Кто знает, не виделся ли граф Альберт с Тренком в Чехии во время последних войн, не столкнулся ли он с ним, не грозил ли ему, не заставил ли его выпустить из рук какую-нибудь невинную

жертву? Граф Альберт мог тайно совершать в своей стране великие подвиги храбрости и человеколюбия, в то время как его считали спящим в пещере Шрекенштейна. И если он совершал эти подвиги, то, разумеется, не стал бы рассказывать о них тебе. Ты же сама не раз отзывалась о нем как о самом смиренном, самом скромном из людей. И он поступил мудро, закрыв лицо, в то время как расправлялся с пандуром, ибо если сегодня императрица наказывает пандура за то, что он опустошил ее дорогую Чехию, то, поверь, это вовсе не значит, что она будет склонна оставить безнаказанным открытое сопротивление, оказанное ее пандуру в прошлом со стороны чеха.

— Ты совершенно прав, Йозеф, и твои слова наводят меня на размышления. Многое теперь начинает меня страшно беспокоить. Альберта могли узнать, арестовать, и это так же осталось бы неизвестным публике, как падение с лестницы Тренка. Увы! Быть может, Альберт в эти минуты томится в тюрьме Арсенала, рядом с темницей Тренка. И терпит это несчастье из-за меня!

— Успокойся, я этого не думаю. Граф Альберт, должно быть, сейчас же покинул Вену, и ты скоро получишь от него письмо из замка Исполинов.

— У тебя такое предчувствие, Йозеф?

— Да, я предчувствую это. Но, если хочешь знать все, что я думаю, так, мне кажется, письмо это будет совсем иным, чем ты ожидаешь. Я убежден, что он не будет больше настаивать на великодушной жертве, которую ты собиралась принести ради него, покинув артистическую карьеру, что он отказался от мысли жениться на тебе и скоро вернет тебе свободу. Если он так умен, благороден, справедлив, как ты говоришь, то должен посовеститься вырвать тебя из театра, который ты страстно любишь. Не отрицай, я убедился в этом, и он, слушая «Зенобию», должен был понять это не хуже меня. Итак, он откажется от жертвы, превышающей твои силы, — я перестал бы его уважать, поступи он иначе.

— Но перечти его последнюю записку! Вот она, Йозеф. Ведь он говорит в ней, что будет так же любить меня на сцене, как в свете или в монастыре. Разве он не мог допустить мысли — женившись, предоставить мне свободу?

— Говорить и делать, думать и жить — не одно и то же. В страстных мечтаниях все кажется возможным, но, когда действительность вдруг предстает перед глазами, мы с ужасом возвращаемся к прежним взглядам. Никогда не поверю, чтобы какой-нибудь знатный человек мог без

отвращения видеть, как его супруга переносит капризы и оскорбления публики. Попав — конечно, впервые в жизни — за кулисы, граф увидел в поведении Тренка по отношению к тебе печальный пример бед и опасностей, ожидающих тебя на театральном поприще. И он, как видно, ушел — правда, в отчаянии, зато излечившись от своей страсти и отрешившись от пустых мечтаний. Прости, что я так говорю с тобой, сестрица Консуэло. Это мой долг, ибо разрыв с графом Альбертом — твое счастье. Ты почувствуешь это позднее, хотя сейчас глаза твои и полны слез. Будь справедлива к своему жениху и не обижайся на перемену, происшедшую в нем. Когда он говорил тебе, что не питает отвращения к театру, он идеализировал его, и все это рухнуло при первом же испытании. Он понял тогда, что либо сделает тебя несчастной, вырвав из театра, либо, следуя за тобой туда, отравит собственное существование.

— Ты прав, Йозеф. В твоих словах — истина, я это чувствую: но дай мне поплакать. Сердце сжимается у меня вовсе не от обиды, что меня покинули и пренебрегли мной, а от утраченной веры в любовь, в ее могущество, которые я идеализировала так же, как граф Альберт идеализировал мою жизнь на подмостках. Теперь

он понял, что, избрав такой путь, я не могу быть достойна его, по крайней мере в глазах света. А я вынуждена признать, что любовь не настолько сильна, чтобы победить все препятствия, все предрассудки.

— Будь справедлива, Консуэло, и не требуй большего, чем сама могла бы дать. Ты его не настолько любила, чтобы без колебаний и печали отречься от своего искусства, — не ставь же в вину графу Альберту, что он не смог порвать со светским обществом без ужаса и душевной муки.

— Но какова бы ни была моя тайная скорбь (теперь могу сознаться в этом), я решилась всем ему пожертвовать, а он, напротив…

— Подумай, ведь страсть пылала в нем, а не в тебе. Он молил, а ты соглашалась, насилуя себя. Он прекрасно видел жертву с твоей стороны и почувствовал, что не только имеет право, но обязан избавить тебя от любви, которую ты не хотела вызвать и в которой не нуждалась твоя душа.

Разумный вывод Йозефа убедил Консуэло в мудрости и великодушии Альберта. Она боялась, предаваясь горестным чувствам, поддаться голосу уязвленного самолюбия, а теперь, согласившись с объяснениями Гайдна, покорилась

и успокоилась. Но по странности, столь свойственной человеческому сердцу, едва она обрела свободу следовать своему влечению к театру безраздельно и без угрызений совести, как испугалась одиночества, окружающего разврата и ужаснулась при мысли о будущем, полном тяжкого труда и борьбы. Подмостки — это пылающая арена. Актер на сцене приходит в такое возбуждение, что все жизненные тревоги по сравнению с ним кажутся холодными и бледными. Но когда, разбитый усталостью, он сходит с подмостков, то со страхом думает, как он прошел через это испытание огнем, и к желанию снова вернуться на сцену примешивается ужас. Мне кажется, что акробат — самый яркий пример этой трудной, исполненной горения и опасностей жизни. Он испытывает первое, жуткое наслаждение на канатах и лестницах, где совершает чудеса, превосходящие человеческие силы. Но, спустившись с них победителем, он едва не лишается чувств при одной мысли, что ему надо снова взобраться на них, снова видеть перед собой смерть и торжество — этот двуликий призрак, непрестанно парящий над его головой.

Замок Исполинов и даже Шрекенштейн, этот кошмар многих ее ночей, показались Консуэло

сквозь завесу свершившегося изгнания потерянным раем, обителью покоя и чистоты, которые до конца дней будут жить в ее памяти как нечто величественное и достойное почитания. Она прикрепила кипарисовую ветку — последнее воспоминание, последний дар пещеры гуситов — к распятию, оставленному ей матерью, и таким образом, соединив две эмблемы — католичества и ереси, она мысленно вознеслась к религии единой, вечной и абсолютной. В ней почерпнула она чувство покорности перед своими собственными страданиями и веру в промысл Божий, руководящий Альбертом и всеми людьми, добрыми и злыми, среди которых ей отныне предстояло идти в одиночестве и без наставника в жизни.

Глава XCIX

Однажды утром Порпора позвал Консуэло в свою комнату раньше обычного. Вид у него был сияющий, в одной руке он держал объемистое письмо, в другой — очки. Консуэло затрепетала, задрожала всем телом, вообразив, что это, наконец, ответ из замка Исполинов. Но вскоре она поняла, что ошиблась. Письмо было от Уберти-Порпорино. Знаменитый певец сообщал своему учителю, что все условия ангажемента Консуэло приняты и он посылает ему подписанный бароном фон Пельницем, директором берлинского королевского театра, контракт, на котором не хватает только подписей Консуэло и самого маэстро. К документу было приложено весьма дружеское и почтительное письмо барона, в котором тот сообщал, что Порпора сможет занять должность дирижера капеллы прусского короля, одновременно представив для просмотра и исполнения все новые оперы и фуги, какие пожелает привезти. Порпорино выражал радость, что скоро будет петь вместе со своей сестрой по учителю, и горячо упрашивал учителя бросить

Вену и приехать в прелестный Сан-Суси, местопребывание Фридриха Великого.

Письмо это чрезвычайно обрадовало Порпору, но вместе с тем вызвало в нем колебания. Ему казалось, что судьба, так долго хмурившаяся, наконец, начинает улыбаться ему и милость обоих монархов (в то время столь необходимая для карьеры артиста) сулит ему благоприятные перспективы. Фридрих призывал его в Берлин. Мария-Терезия открывала ему заманчивые возможности в Вене. В обоих случаях Консуэло предстояло быть орудием его славы: в Берлине — выдвигая на сцену его произведения, в Вене — выйдя замуж за Йозефа Гайдна.

Итак, настала минута вручить свою судьбу в руки приемной дочери. Он предложил ей на выбор — замужество или отъезд. Обстоятельства изменились, и он далеко не так горячо предлагал ей руку и сердце Беппо, как сделал бы это еще накануне. Ему надоела Вена, а мысль, что его будут ценить и чествовать во враждебном лагере, улыбалась ему как маленькая месть, причем он преувеличивал впечатление, какое может произвести на австрийский двор. К тому же Консуэло перестала с некоторых пор говорить с ним об Альберте, словно отказавшись от него,

а Порпора предпочитал, чтобы она вовсе не выходила замуж.

Консуэло тотчас же положила конец его колебаниям, объявив, что никогда не выйдет замуж за Йозефа Гайдна по многим причинам, и прежде всего потому, что сам он никогда не думал на ней жениться, так как помолвлен с дочерью своего благодетеля, Анной Келлер.

— Вот твой контракт на выступления в Берлине. Подпиши его, и будем собираться в путь-дорогу, ибо здесь нам надеяться не на что, если ты не подчинишься матримониомании императрицы. Ведь покровительство ее можно было получить только такой ценой, а после решительного отказа мы станем для нее хуже дьяволов.

— Дорогой учитель, — ответила Консуэло с твердостью, какой еще никогда не проявляла по отношению к нему, — я готова повиноваться вам, как только совесть моя успокоится по поводу одного важного вопроса. Принятые мной сердечные обязательства и глубокое уважение связывают меня с графом Рудольштадтом. Не скрою от вас, что, невзирая на ваше недоверие, упреки и насмешки, все три месяца, которые мы с вами провели здесь, я упорно не связывала себя никакими контрактами, могущими служить

помехой этому браку. Но после решительного письма, написанного мною полтора месяца тому назад — оно прошло через ваши руки, — что-то случилось и, как я полагаю, побудило семью Рудольштадтов отказаться от меня. Каждый новый день убеждает меня, что данное мною слово возвращено мне и я свободна всецело посвятить вам и свои заботы и свой труд. Как видите, я иду на это без сожалений и колебаний. Однако после написанного мною письма совесть моя не может быть спокойна, пока я не получу на него ответа. Жду я его каждый день, и в ближайшее время ответ должен прийти. Позвольте мне подписать ангажемент с Берлином только по получении этого…

— Эх! Бедное дитя мое, — прервал ее Порпора, с первых же слов своей ученицы готовый пустить в ход заранее приготовленную уловку, — долго пришлось бы тебе его ждать. Ответ прислан мне уже месяц тому назад…

— И вы мне его не показали! — воскликнула Консуэло. — Вы оставляли меня в такой неизвестности! Учитель! Ты странный человек! Какое может быть у меня доверие к тебе, если ты так обманываешь меня?

— Чем же я обманул тебя? Письмо адресовано

мне, и в нем было приказано показать его тебе только тогда, когда я увижу, что ты излечилась от своей безумной любви и способна внимать голосу благоразумия и благопристойности.

— Именно в таких словах оно и составлено? — спросила, краснея, Консуэло. — Не может быть, чтобы граф Христиан или граф Альберт могли так назвать мою дружбу, столь спокойную, скромную и гордую!

— Слова не имеют значения, — сказал Порпора, — светские люди всегда выражаются изысканно, а мы уж сами должны понимать их. Старый граф ни в какой мере не желал иметь невестку из актрис, и, узнав, что ты появилась здесь на подмостках, он заставил сына отказаться от такого унизительного брака. Альберт образумился, и тебе возвращают слово. С удовольствием вижу, что тебя это не огорчает. Стало быть, все к лучшему. Едем в Пруссию.

— Маэстро, покажите мне письмо, и я тотчас же подпишу контракт.

— Ах да! Письмо, письмо! Но зачем оно тебе? Ты только огорчишься. Есть безумства, которые надо уметь прощать и другим и себе самой. Забудь все это.

— Нельзя забыть одним усилием воли, — воз-

разила Консуэло, — размышление помогает нам, причины многое разъясняют. Если Рудольштадты отталкивают меня с презрением, я скоро утешусь. Если же мне возвратили свободу, уважая меня и любя, я утешусь иначе, и мне будет легче. Покажите письмо. Чего вам опасаться, раз и в том и в другом случае я готова повиноваться вам.

— Ну хорошо! Я тебе его покажу, — проговорил хитрый профессор, открывая свою конторку и делая вид, будто ищет письмо.

Он выдвинул все ящики, перерыл все свои бумаги и, конечно, не нашел никакого письма, так как никакого письма не получал. Он даже притворился, будто раздражен, не находя его. Консуэло же на самом деле потеряла терпение и принялась за поиски; маэстро не мешал ей. Она перевернула вверх дном все ящики, пересмотрела все бумаги, но найти письмо оказалось невозможным. Порпора сделал вид, что припоминает содержание письма, и тут же выдумал версию, очень вежливую и решительную. Консуэло никак не могла заподозрить своего учителя в столь умелом притворстве. Будем думать, к чести старого профессора, что в данном случае он был не особенно находчив, но и не много надо было, чтобы убедить такое искреннее существо, как Консуэло. В

конце концов она решила, что Порпора в минуту рассеянности раскурил этим письмом трубку. Выйдя затем в свою комнату, чтобы помолиться и поклясться над кипарисовой веткой, несмотря ни на что, в вечной дружбе к графу Альберту, она спокойно вернулась и подписала двухмесячный контракт с берлинским театром, который вступал в силу в конце месяца. Времени было более чем достаточно для приготовлений к отъезду и для самого путешествия. Когда Порпора увидел на документе еще не высохшие чернила подписи, он расцеловал свою ученицу и торжественно провозгласил ее артисткой.

— Это день твоей конфирмации, — сказал он, — и, если бы в моей власти было заставить тебя дать обет, я внушил бы тебе отказаться навсегда от любви и брака, ибо ты теперь жрица бога гармонии. Музы — девственницы, и та, которая посвящает себя Аполлону, должна была бы блюсти обет весталок…

— Мне не следует давать обет безбрачия, — ответила Консуэло, — хотя в данную минуту, мне кажется, для меня ничего не было бы легче, как дать этот обет и сдержать его. Однако взгляды мои могут перемениться, и тогда мне пришлось бы раскаяться в решении, которого я уже не смог-

ла бы нарушить.

— Ты, стало быть, раба своего слова? Да, ты, кажется, отличаешься в этом отношении от остальных представителей человеческого рода, и, если бы в жизни тебе пришлось дать торжественное обещание, ты бы выполнила его.

— Учитель, мне кажется, что я уже доказала это: ведь с тех пор, как я существую, я всегда находилась во власти какого-либо обета. Матушка научила меня этому роду религии и подавала мне пример, порой доходивший до фанатизма. Когда мы, странствуя, приближались к большому городу, она обыкновенно говорила: «Консуэлита, беру тебя в свидетельницы: если дела мои здесь будут удачны, я даю обет пойти босиком в часовню, слывущую самой святой в округе, и молиться там два часа кряду». И вот, когда дела бедной моей матери бывали, по ее мнению, хороши, то есть ей удавалось заработать своим пением несколько талеров, мы всегда совершали паломничество, какова бы ни была погода, как бы далеко ни находилась эта почитаемая часовня. То было благочестие ни особенно просвещенное, ни особенно возвышенное, но на эти обеты я смотрела как на нечто священное. И когда моя мать на смертном одре взяла с меня слово, что я не буду принад-

лежать Андзолетто иначе, как повенчавшись с ним, она знала, что может умереть спокойно, веря моему обету. Позднее я дала обещание графу Альберту не думать ни о ком другом, кроме него, и всеми силами души стараться полюбить его так, как он хотел. Я не изменила своему слову и, не освободи он меня сейчас от него, могла бы остаться ему верной всю жизнь.

— Оставь ты своего графа Альберта, о нем больше нечего думать, и, если уж тебе надо быть всегда во власти какого-нибудь обета, скажи, каким ты свяжешь себя по отношению ко мне?

— О учитель! Доверься моему благоразумию, моей честности и моей преданности тебе. Не требуй от меня клятв, ибо они налагают страшное ярмо. Страх нарушить обет отравляет радость благих побуждений и добрых дел.

— Я не понимаю таких отговорок, — возразил Порпора полустрогим, полушутливым тоном, — ты давала обеты всем, кроме меня. Не будем касаться того, которого потребовала от тебя мать. Он принес тебе счастье, бедное дитя мое. Без него ты, пожалуй, попалась бы в сети этого негодяя Андзолетто. Но поскольку ты могла без любви, а только по доброте сердечной надавать потом таких серьезных обещаний этому Рудольштадту,

совершенно для тебя чужому человеку, было бы очень дурно с твоей стороны, если бы в такой день, как сегодня — день счастливый и достопамятный, когда тебе возвращена свобода и ты обручилась с богом искусства, — ты не захотела дать самого маленького обета своему старому учителю и лучшему другу.

— О да! Лучший друг мой, благодетель, опора моя, отец! — воскликнула Консуэло, порывисто бросаясь в объятия Порпоры, который был так скуп на ласковые слова, что только два-три раза в жизни открыто высказал ей свою отеческую любовь. — Я могу без страха и колебаний дать вам обет посвятить себя вашему счастью и славе до последнего моего вздоха!

— Мое счастье — это слава, Консуэло, ты же знаешь, — проговорил Порпора, прижимая ее к своему сердцу. — Иного я себе не представляю. Ведь я не похож на тех старых немецких мещан, чье счастье заключается лишь в том, чтобы иметь при себе внучку для набивания трубок и приготовления им сладких пирожков. Мне, слава Богу, не нужно ни туфель, ни лечебных отваров. А когда мне понадобится только это, я не позволю тебе посвящать мне свое время, да и теперь ты слишком усердно ухаживаешь за

мной. Нет, ты прекрасно знаешь, не такая преданность мне нужна: я требую, чтобы ты была настоящей, великой артисткой. Обещаешь ли ты мне это? Обещаешь ли побеждать в себе лень, нерешительность, своего рода отвращение, какие чувствовала вначале? Обещаешь ли отклонять любезности и ухаживания вельмож, которые гоняются за актрисами — одни потому, что льстят себя надеждой обратить их в хороших хозяек, а заметив в них иное призвание, без церемонии их бросают, другие — потому, что разорены и ради удовольствия иметь карету и хороший стол за счет доходов дражайшей половины идут на бесчестье, каким в их сословии считается неравный брак? И еще: обещаешь ли, что не дашь вскружить себе голову какому-нибудь теноришке с сочным голосом и курчавыми волосами, вроде негодяя Андзолетто, который может гордиться только своими икрами и чей успех объясняется только наглостью?

— Обещаю, даю вам торжественную клятву! — ответила Консуэло, добродушно смеясь над поучениями Порпоры, всегда, помимо его воли, немного язвительными, но к которым она давно привыкла. — И даже больше, — добавила она, снова становясь серьезной, — клянусь, что пока я

живу, вам никогда не придется пожаловаться на мою неблагодарность!

— О, так много я не прошу, — ответил с горечью маэстро, — это не под силу человеческой природе. Когда ты станешь певицей, известной всем народам Европы, в тебе проснутся тщеславие, честолюбие, сердечные прихоти — все, от чего не смог предохранить себя ни один великий артист. Ты захочешь добиться успеха любой ценой. Ты не станешь добиваться его терпеливо или рисковать им ради дружбы или ради истинной красоты. Ты подчинишься игу моды, как и все. В каждом городе будешь петь то, что больше всего нравится, не обращая внимания на дурной вкус публики и двора. Короче говоря, ты пойдешь своей дорогой и, несмотря ни на что, будешь великой, ибо в глазах большинства нет иного способа быть великой. Лишь бы ты не забывала выбирать хорошие произведения и хорошо петь, выступая перед судом небольшого кружка стариков вроде меня. Лишь бы перед великим Генделем и старым Бахом ты сделала честь и методу Порпоры и себе самой — вот все, о чем я прошу тебя, вот все, на что надеюсь! Ты видишь, я не такой отец-эгоист, каким, без сомнения, некоторые из твоих поклонников меня считают. Я не требую от тебя ничего, что не

послужило бы для твоего успеха и твоей славы.

— А я нисколько не забочусь о собственной выгоде, — ответила растроганная и опечаленная Консуэло. — Успех может невольно опьянить меня, но я не в состоянии хладнокровно думать о том, чтобы всю жизнь добиваться триумфа и своими руками сплетать себе лавры. Я хочу славы ради вас, маэстро! Вопреки вашему недоверию я хочу вам показать, что только для вас Консуэло работает и путешествует. И чтобы сейчас же убедить вас в том, что вы ее оклеветали, она клянется вам, раз вы верите ее клятвам, доказать все, что сейчас говорила!

— А чем же ты поклянешься мне? — спросил Порпора с нежной улыбкой, в которой все еще проглядывала подозрительность.

— Седыми волосами, священной головой Порпоры! — ответила Консуэло, обнимая и благоговейно целуя учителя в лоб.

Беседа их была прервана появлением графа Годица, о котором доложил громадный гайдук. Испрашивая для своего господина позволения засвидетельствовать почтение маэстро Порпоре и его воспитаннице, этот лакей посмотрел на Консуэло с таким вниманием, недоумением и замешательством, что даже удивил ее, однако ей

никак не удалось припомнить, где она видела эту добродушную, несколько странную физиономию. Граф был принят и изложил свою просьбу в самых изысканных выражениях. Он едет в свое имение Росвальд в Моравии и, стремясь сделать приятное своей супруге маркграфине, готовит к ее приезду сюрприз в виде великолепного празднества. Ввиду этого он предлагает Консуэло петь три вечера подряд в Росвальде и просит также, чтобы Порпора согласился сопровождать ее и помог ему в устройстве концертов, спектаклей и серенад, которыми он собирается угощать маркграфиню.

Маэстро сослался на только что подписанный контракт и обязательство быть в назначенный день в Берлине. Граф пожелал взглянуть на контракт, а так как он всегда прекрасно относился к Порпоре, то старик охотно доставил ему это маленькое удовольствие и посвятил во все подробности, предоставив Годицу обсуждать условия контракта, разыгрывать роль знатока, давать советы. После этого граф стал настаивать на своей просьбе, уверяя, что времени имеется больше, чем надо, чтобы, исполнив ее, попасть к сроку в Берлин.

— Вы можете покончить со своими приготов-

лениями в три дня, — заявил он, — и отправиться в Берлин через Моравию.

Правда, это было не совсем по пути, но, вместо того чтобы медленно двигаться через Чехию, страну мало благоустроенную и разоренную недавней войной, маэстро со своей ученицей могли очень скоро и удобно доехать до Росвальда в хорошей карете, которую граф отдавал в их распоряжение, обещая позаботиться и о подставах, причем брал на себя все дорожные хлопоты и издержки. Граф предложил им таким же образом перевезти их из Росвальда в Пардубиц, если бы они пожелали спуститься по Эльбе до Дрездена, или в Хрудим — если бы они решили ехать через Прагу. Все, что он предлагал, в самом деле сокращало время их путешествия, а довольно кругленькая сумма, которую он к этому добавлял, давала им возможность остальную часть пути совершить в лучших условиях. И Порпора согласился, несмотря на слегка недовольную мину Консуэло, которой хотелось, чтобы он отклонил предложение. Сделка состоялась, и отъезд был назначен на последний день недели.

Когда Годиц, почтительно поцеловав руку Консуэло, оставил их вдвоем, она стала упрекать маэстро в том, что он так скоро позволил себя

уговорить. Хотя ей нечего было опасаться дерзких выходок графа, она продолжала относиться к нему неприязненно и отправлялась в его поместье без всякого удовольствия. Ей не хотелось рассказывать Порпоре о приключении в Пассау, но она напомнила ему его собственные насмешки над музыкальным творчеством графа.

— Разве вы не видите, — сказала она, — что я буду обречена исполнять его музыкальные творения, а вам придется с серьезным видом дирижировать кантатами и, пожалуй, даже целыми операми его изделия? Так-то вы заставляете меня блюсти обет верности культу прекрасного!

— Полно тебе! — смеясь, ответил Порпора. — Я вовсе не стану проделывать это так серьезно, как ты думаешь. Напротив, я предвкушаю удовольствие хорошенько потешиться, и так, что знатный маэстро ровно ничего не заподозрит. Проделывать такие вещи всерьез и перед публикой, достойной уважения, было бы поистине кощунством и позором, но немного позабавиться позволительно; и артист был бы очень несчастлив, если бы, зарабатывая себе на хлеб, не имел права посмеяться втихомолку над теми, кто дает ему заработок. К тому же ты увидишь там свою любезную принцессу Кульмбахскую, которая в

самом деле прелестна. Она вместе с нами посмеется над музыкой своего отчима, хотя ей вовсе не до смеха.

Пришлось покориться, начать укладываться, делать необходимые покупки, прощальные визиты. Гайдн был в отчаянии. Но в это время неожиданное счастье, великая для артиста радость выпала на его долю и отчасти вознаградила или, вернее, вынудила его отвлечься от горести предстоящей разлуки. Исполняя серенаду своего сочинения под окном чудесного мима Бернадоне, знаменитого арлекина театра у Каринтийских ворот, он привел в изумление этого милого и умного актера, завоевав вместе с тем его симпатию. Йозефа пригласили в дом и спросили, кто автор только что исполненного прекрасного, оригинального трио. Узнав, что это он, подивились его юности и таланту и тут же вручили ему либретто балета «Хромой бес». Гайдн немедленно принялся писать к нему музыку, стоившую ему стольких усилий, что, будучи уже почти восьмидесятилетним старцем, он не мог вспомнить о ней без смеха. Консуэло старалась рассеять его грусть, то и дело заговаривая с ним о буре, которая, по настоянию Бернадоне, должна была вызывать у слушателей ужас, меж тем как Беппо, в жизни не

видевший моря, никак не мог себе представить, каково оно. Консуэло описывала ему бушующее Адриатическое море, изображала жалобные стоны волн и смеялась вместе с ним над этой подражательной музыкой, одновременно с которой в театре раскачивают руками голубые полотна, натянутые от одной кулисы до другой.

— Послушай, — сказал в утешение Порпора своему ученику, — работай ты хоть сто лет с лучшими инструментами в мире, прекрасно зная шум моря и ветра, тебе все равно не передать божественной гармонии природы. Музыка не в состоянии этого сделать. Композитор наивно заблуждается, прибегая к звуковым фокусам и эффектам. Музыка выше этого, ее область — душевные волнения. Цель музыки — возбуждать эти волнения и самому вдохновляться ими. Представь себе переживания человека во время бури. Представь себе зрелище страшное, величественное и грозную, неминуемую опасность. И ты, музыкант, то есть человеческий голос, человеческий стон, живая, трепещущая душа, мечешься, потрясенный этим бедствием, этой сумятицей, растерянностью, этими ужасами… Передай в звуках свои смертельные муки — и слушатели, каковы бы они ни были, будут переживать их

вместе с тобой. Им будет казаться, что они видят море, слышат скрип корабля, крики матросов, отчаянные вопли пассажиров… Что сказал бы ты о поэте, который, желая изобразить битву, сообщил бы тебе в стихотворной форме, что пушка делает бум-бум, а барабан там-там? Это была бы подражательная гармония, более близкая к происходящему, чем изображение величественных картин природы, но это не была бы поэзия. Даже живопись, это наиболее яркое искусство изображения, не является рабски подражательной. Напрасно будет пытаться художник написать темно-зеленое море, черное грозное небо, разбитый остов корабля! Если он не сумеет вложить в это чувство ужаса, поэзию всего зрелища в целом, картина его выйдет бесцветной, будь она так же ярка, как вывеска пивной. Итак, юноша, проникнись сам ощущением великого бедствия — и тогда ты заставишь и других почувствовать его.

Маэстро все еще давал ему свои отеческие наставления, а между тем в заложенную коляску, стоявшую во дворе посольства, уже укладывали вещи. Йозеф внимательно слушал поучения учителя, черпая их, так сказать, из самого источника. Но когда Консуэло в накидке и меховой шапочке бросилась ему на шею, он побледнел,

подавил готовый вырваться крик и, не в силах видеть, как она сядет в карету, убежал и забился в заднюю комнатку парикмахерской Келлера, чтобы скрыть ото всех свои слезы. Метастазио полюбил Йозефа, помог ему усовершенствоваться в итальянском языке и своими добрыми советами и великодушной заботой несколько облегчил юноше разлуку с Порпорой. Но долго еще Йозеф грустил и горевал, прежде чем свыкся с отсутствием Консуэло.

Она также была огорчена и жалела о таком милом, таком верном друге; но по мере того как путешественники продвигались в глубь Моравских гор, к ней снова возвращались мужество, задор и поэтическая впечатлительность. Новое солнце всходило над ее жизнью. Освобожденная от всяких уз, от всякого влияния, чуждого ее искусству, она считала, что теперь должна отдаться ему всецело. Порпора к которому вернулись былые надежды и веселое настроение молодости, приводил ее в восторг своим красноречием, и благородная девушка, не переставая любить Альберта и Йозефа, как двух братьев, которых она надеялась вновь обрести в царстве Божьем, почувствовала себя легкой, словно жаворонок, поднимающийся с песней к небу на заре прекрас-

ного дня.

Глава С

Уже на втором перегоне Консуэло узнала в слуге, который сопровождал ее и, сидя на козлах, расплачивался с проводниками или распекал за медлительность форейторов, того самого гайдука, который доложил им о прибытии графа Годица, когда владелец Росвальда приезжал предложить ей увеселительную поездку в свое поместье. Этот высокий, крепкий парень, все смотревший на нее украдкой и, по-видимому, желавший и в то же время боявшийся с нею заговорить, в конце концов обратил на себя ее внимание. Однажды утром Консуэло завтракала на уединенном постоялом дворе у подножия гор, а Порпора, пока отдыхали лошади, пошел прогуляться в надежде найти какую-нибудь музыкальную фразу. Внезапно она повернулась к сопровождавшему их слуге, когда тот подавал ей кофе, и строго и сердито в упор посмотрела на него. Но гайдук взглянул на нее так жалобно, что она не могла удержаться от смеха. Апрельское солнце сверкало на снегу, еще покрывавшем горы, и наша юная путешественница была в чудесном настроении.

— Вот беда! Ваша милость, стало быть, не удостаивает признать меня, — заговорил, наконец, таинственный гайдук. — А уж я всегда узнал бы вашу милость, будь вы переодеты турком или прусским ефрейтором, хоть и видел-то я вашу милость всего какую-нибудь минуту, зато в какую минуту моей жизни!

С этими словами он поставил на стол принесенный им поднос, подошел к Консуэло, степенно перекрестился, а затем опустился на колени и поцеловал пол у ее ног.

— Ах! — воскликнула Консуэло. — Дезертир Карл, не так ли?

— Да, синьора, — ответил Карл, целуя протянутую ему руку. — По крайней мере, мне так велели называть вас, хотя я все еще не могу разобрать хорошенько, кто вы — мужчина или дама.

— Правда? Почему же у тебя такие сомнения?

— Да потому что я видел вас мальчиком, а с тех пор — хоть и признал вас сразу — вы стали настолько походить на молоденькую девушку, насколько раньше походили на мальчика. Но это ничего не значит: будьте кем хотите! Вы оказали мне такую услугу, которую я никогда не забуду. И прикажи вы мне броситься вниз вон с той вершины, я брошусь, если это доставит вам

удовольствие.

— Мне ничего не надо, милый мой Карл, кроме того, чтобы ты был счастлив и наслаждался своею свободой. Ты ведь свободен и, полагаю, снова полюбил жизнь?

— Свободен, да, это правда, — проговорил Карл, покачивая головой, — но счастлив ли?.. Я схоронил мою бедную жену.

Глаза отзывчивой Консуэло стали влажными при виде того, как слезы заструились по грубым щекам несчастного Карла.

— Ах! — сказал он, шевеля рыжими усами, с которых слезы скатывались, как дождь с куста. — Уж слишком она исстрадалась, бедняжка! Горе, которое она испытала, когда меня вторично увезли пруссаки, длинное путешествие пешком, когда она уже была очень больна, потом радость свидания со мной — все это подорвало ее силы, и она умерла через неделю по прибытии в Вену, где я разыскивал ее, а она благодаря вашей записке нашла меня с помощью графа Годица. Этот великодушный вельможа послал ей своего доктора и дал денег, но ничего не помогло: она, понимаете, устала жить и отправилась отдыхать на небо, к милосердному Господу Богу.

— А твоя дочка? — спросила Консуэло, думая

навести его на более утешительные мысли.

— Дочка? — переспросил он с мрачным, несколько растерянным видом. — Прусский король убил и ее.

— Как убил? Что ты говоришь?

— Да разве не прусский король убил ее мать? Ведь это он причинил ей столько горя. Ну вот дочка и ушла вслед за матерью. С того самого вечера, когда вербовщики у них на глазах избили меня в кровь, связали и увели, а мать и дочь остались полумертвыми на дороге, малютку не переставала трясти лихорадка. Усталость и нужда в пути доконали обеих. Когда вы повстречали их на мосту при въезде в какую-то австрийскую деревушку, у них уже два дня ни крошки во рту не было. Вы дали им денег, сообщили о моем спасении, вы все сделали, чтобы их утешить и вылечить, — они рассказали мне об этом, — но было слишком поздно. После того как мы встретились, им становилось все хуже и хуже, и как раз тогда, когда мы могли быть счастливы, их обеих унесли на кладбище. Не осела еще земля на могиле моей жены, как пришлось разрывать ее, чтобы опустить туда наше дитя. И вот теперь по милости прусского короля Карл один-одинешенек на свете!

— Нет, бедный мой Карл, ты не всеми покинут,

у тебя остались друзья, которым всегда будут близки твои несчастья и твое доброе сердце.

— Да, я знаю. Есть на свете хорошие люди, и вы из их числа. Но что мне теперь нужно, когда у меня больше нет ни жены, ни ребенка, ни отчизны! Ведь я никогда не буду чувствовать себя в безопасности у себя на родине. Эти разбойники, которые два раза приходили за мной, слишком хорошо знают мои горы. Оставшись один на свете, я сразу же стал справляться, нет ли у нас сейчас войны, не предвидится ли она в скором времени. В моей голове крепко засела мысль сражаться против Пруссии, чтобы убить как можно больше пруссаков. О! Святой Венцеслав, покровитель Чехии, уж направил бы мою руку, и я уверен, что ни одна пуля из моего ружья не пропала бы даром. Я говорил себе: авось Бог поможет мне встретить в каком-нибудь ущелье прусского короля, и тогда… будь он закован в латы, как сам архангел Михаил… приведись мне даже гнаться за ним, как собаке по следу волка… Но я узнал, что мир упрочился надолго. И тогда мне все опостылело, и я отправился к его сиятельству графу Годицу, чтобы поблагодарить его и попросить не хлопотать за меня перед императрицей, как он собирался сделать. Я хотел было убить себя, но

граф был так добр ко мне, а принцесса Кульмбахская, его падчерица, — он по секрету рассказал ей всю мою историю — наговорила мне столько прекрасных слов про долг христианина, что я остался жить и поступил к ним на службу, где, по правде сказать, меня слишком хорошо кормят и слишком хорошо обращаются со мной за то немногое, что мне приходится делать.

— А теперь скажи мне, милый Карл, как мог ты меня узнать? — спросила Консуэло, утирая глаза.

— Да ведь вы приезжали однажды петь к моей новой хозяйке, маркграфине. Я видел, как вы прошли вся в белом, и тотчас признал вас, хоть вы и превратились в барышню. Видите ли, я не очень-то хорошо помню места, по которым когда-то проходил, имена людей, с которыми встречался, а вот лица я никогда не забываю. Я только хотел было перекреститься, как увидел, что за вами идет молодой паренек — я узнал в нем Йозефа, — но вместо того, чтобы быть вашим хозяином, каким я видел его в минуту своего освобождения (ведь тогда малый был одет получше вас), он превратился в вашего слугу и остался в передней. Он не узнал меня, а так как господин граф запретил мне хоть единым словом обмолвиться кому бы то ни было о том, что со мной случилось (я так

никогда и не узнал и не спрашивал, почему), я не заговорил с добрейшим Йозефом, хотя мне и очень хотелось броситься ему на шею. Почти сейчас же он ушел в другую комнату. Мне же было приказано оставаться в той, где я находился, — а хороший слуга исполняет то, что ему велено. Но когда все разъехались, камердинер его сиятельства — а граф ему во всем доверяет — сказал мне: «Карл, ты не разговаривал с этим маленьким лакеем Порпоры, хотя и узнал его, и хорошо сделал. Господин граф будет тобой доволен. Что же касается барышни, которая пела сегодня...» — «Ой, ее я тоже узнал! — воскликнул я. — И тоже ничего не сказал». — «Ну, и опять-таки ты хорошо поступил, — прибавил камердинер. — Господин граф не хочет, чтобы знали, что она ездила с ним в Пассау». — «Это меня не касается, — возразил я, — но тебя-то я могу спросить, каким образом освободила она меня из рук пруссаков?». Тогда Генрих (а он ведь там был) рассказал мне, как все произошло, как вы бежали за каретой господина графа и как, когда вам нечего было уже бояться за самих себя, вы настояли на том, чтобы он освободил меня. Вы также кое-что говорили об этом моей бедной жене, а она передала мне. Умирая, жена благословляла вас, препоручала вас Богу.

«Эти бедные дети, — сказала она, — с виду почти такие же несчастные, как и мы, отдали мне все, что имели, и плакали так, будто мы им родные». Ну, и вот, когда я увидел, что Йозеф служит у вас, и мне было поручено отнести ему деньги от его сиятельства, у которого он как-то вечером играл на скрипке, я вложил в конверт еще несколько дукатов — первые заработанные мною в этом доме. Он не узнал об этом, да и меня не признал. Но если мы вернемся в Вену, я сделаю так, чтобы он никогда не нуждался, пока я зарабатываю деньги.

— Йозеф больше не служит у меня, милый Карл; он мой друг и теперь уже не терпит нужды: он музыкант и будет легко зарабатывать себе на жизнь. Не обделяй же себя ради него.

— Что касается вас, синьора, то я так мало могу сделать, чтобы доказать вам свою благодарность, — ведь вы, говорят, великая актриса; но знайте, если когда-нибудь вам понадобится слуга, а вы не будете в состоянии ему платить, обратитесь к Карлу и рассчитывайте на него. Он будет служить вам даром, и для него будет счастьем работать на вас.

— Ты уже достаточно заплатил мне своей признательностью, и больше мне ничего не надо.

— Вот идет господин Порпора. Помните, синьора: я имею честь вас знать только как слуга, которого к вам приставил мой хозяин.

На следующий день наши путешественники, поднявшись рано утром, не без затруднений добрались к полудню до замка Росвальд. Он был расположен высоко, на склоне самых красивых гор в Моравии, и так хорошо защищен от холодных ветров, что здесь уже чувствовалась весна, в то время как вокруг за полмили от замка еще царила зима. Хотя погода по тому времени и стояла прекрасная, дороги были еще мало пригодны для езды. Но графа Годица ничто не могло остановить, и невозможное было для него шуткой; он уже прибыл и распорядился, чтобы сотня землекопов выровняла дорогу, по которой на следующий день должен был проследовать величественный поезд его благородной супруги. Быть может, он выказал бы себя более внимательным и заботливым мужем, поехав вместе с нею, но суть заключалась вовсе не в том, чтобы она по пути не сломала себе ноги и руки, а в том, чтобы устроить празднество в ее честь. Живая или мертвая, но вступая во владение росвальдским дворцом, она должна была встретить пышный прием и не менее пышные увеселения.

Едва наши путешественники успели переодеться, как граф приказал подать роскошный обед в гроте, убранном мхом и раковинами, где большая печь, скрытая меж искусственных скал, распространяла приятную теплоту. На первый взгляд место это показалось Консуэло очаровательным. Вид, открывавшийся из грота, был действительно великолепен. Природа ничего не пожалела для Росвальда. Крутые живописные горы, вечнозеленые леса, обильные источники, чудесный пейзаж, необъятные луга — всего этого, с комфортабельным замком в придачу, было совершено достаточно, чтобы получилась идеальная загородная резиденция. Но вскоре Консуэло заметила, какими причудливыми затеями граф ухитрился исказить божественную природу. Грот был бы прелестен, если бы его не портили окна, делавшие его похожим на какую-то несуразную столовую. Так как каприфолий и вьюнки едва начинали пускать почки, двери и оконные рамы были увиты искусственной листвой и цветами, и это выглядело претенциозно и безвкусно. Среди раковин и сталактитов, несколько пострадавших от зимних холодов, проглядывали прикреплявшие их к скалам штукатурка и замазка, от жара печки остаток влаги скапливался на сводах и

капал на головы гостей в виде грязного, нездорового дождя, чего граф, по-видимому, вовсе не замечал. Порпору это раздражало, и он два-три раза брал шляпу, не решаясь, однако, несмотря на большое желание, нахлобучить ее на голову. Особенно боялся он, как бы не простудилась Консуэло, и торопился покончить с едой, объясняя свою поспешность тем, что сгорает от нетерпения познакомиться с произведениями, которыми ему предстоит дирижировать на следующий день.

— О чем вы так беспокоитесь, дорогой маэстро? — сказал ему граф, большой любитель покушать и охотник до бесконечности рассказывать, как он заказал и приобрел те или иные роскошные и редкие предметы своей сервировки. — Таким искусным и опытным музыкантам, как вы, нужно не больше получаса, чтобы войти в курс дела. Музыка моя проста и естественна. Я не принадлежу к тем композиторам-педантам, которые стремятся поразить вас сложными и причудливыми гармоническими сочетаниями. В деревне требуется простая музыка, пасторальная. Я поклонник только безыскусственных и легких песен, они по вкусу и маркграфине. Увидите, все пойдет как по маслу. Притом мы не теряем времени. Пока мы завтракаем, мой дворецкий

подготавливает все согласно моим приказаниям: хористы будут на месте и все музыканты — на своем посту.

В то время как его сиятельство говорил, ему доложили, что два иностранных офицера, путешествующие в здешних местах, просят разрешения войти и приветствовать графа, желая с его соизволения осмотреть дворец и сады Росвальда.

Граф привык к такого рода посещениям, и ничто не могло доставить ему большего удовольствия, как самому служить cicerone[59] любопытным посетителям, показывая им прелести своей резиденции.

— Пусть войдут! Милости просим! — воскликнул он. — Поставьте приборы и проведите их сюда.

Несколько минут спустя вошли два офицера. На них была прусская форма. Тот, что шел первым, — следовавший за ним спутник хотел, казалось, полностью стушеваться — был человек небольшого роста с довольно хмурым лицом. Его длинный, тяжелый, далеко не аристократический нос еще более подчеркивал запавший рот и почти полное отсутствие подбородка. Некоторая

---

[59] Примечания: 59
Проводником (*итал.*).

сутуловатость придавала стариковский вид его фигуре, затянутой в неуклюжий форменный мундир, придуманный Фридрихом. А между тем человеку этому было никак не больше сорока лет. У него была уверенная походка, а когда он снял безобразную шляпу, закрывавшую лицо до самого носа, обнаружился большой, умный лоб мыслителя, подвижные брови и удивительно ясные и живые глаза. Взгляд этих глаз преображал его, как солнечные лучи, что окрашивают и придают красоту самым мрачным прозаическим ландшафтам. Казалось, он вырастал на целую голову, когда на его бескровном, изможденном и беспокойном лице сверкали глаза.

Граф Годиц принял гостей сердечно, без излишних церемоний и пространных приветствий, велел поставить им два прибора и начал с истинно патриархальным добродушием потчевать их самыми вкусными блюдами. Ибо Годиц был добрейший человек, и тщеславие не только не развратило его сердца, но даже способствовало развитию в нем таких качеств, как доверчивость и великодушие. Рабство царило еще во владениях Росвальда, и все чудеса его были созданы без особых затрат — оброчным трудом и барщиной, но он украшал ярмо своих рабов цветами и лаком-

ствами. Он заставлял их забывать о необходимом, в избытке одаряя бесполезным, и, убежденный в том, что только в развлечениях — счастье, так веселил их, что они и не помышляли о свободе.

Прусский офицер (в сущности, он был один, ибо другой казался только его тенью) сначала был как будто удивлен, даже несколько шокирован простотой обращения графа и напустил на себя сдержанную учтивость, но тут граф сказал:

— Господин капитан, прошу вас отбросить всякие стеснения и чувствовать себя как дома. Я знаю, что в армии Фридриха Великого вы приучены к суровой дисциплине, и нахожу ее чудесной на своем месте, но здесь вы в деревне, а если в деревне не веселиться, к чему же и приезжать сюда! Я вижу, вы люди воспитанные, умеющие себя держать. Как офицеры прусского короля вы, несомненно, выказали большие познания в военных науках и проявили беззаветную храбрость. И я считаю, что вы делаете честь моему дому своим пребыванием в нем. Прошу вас без церемоний располагать им и оставаться у меня до тех пор, пока вам это будет приятно.

Офицер как человек умный, тотчас же понял его и, в том же тоне поблагодарив хозяина, налег на шампанское, что, однако, ни на йоту не заста-

вило его потерять хладнокровие и не помешало оценить превосходный паштет, относительно которого он пустился в гастрономические рассуждения, не внушившие Консуэло, весьма умеренной в пище, высокого мнения о нем. Но ее поразил, хотя и не очаровал, его огненный взгляд. Она почувствовала в нем нечто высокомерное, испытующее, недоверчивое, что было ей не по сердцу.

За едой офицер сообщил графу, что его имя барон фон Крейц и что он уроженец Силезии, куда послан закупить лошадей для кавалерии. Попав в Нейс, добавил он, он не мог противостоять желанию осмотреть столь восхваляемые сады и дворец Росвальда, — вот почему он перебрался утром через границу, причем и здесь, пользуясь случаем, закупил некоторое количество лошадей. Он даже выразил желание осмотреть конюшни, если у графа имеются лошади для продажи. Путешествует он верхом и вечером уезжает обратно.

— Этого я не допущу, — сказал граф. — В данную минуту у меня нет лишних лошадей. Мне самому не хватает их для усовершенствований, задуманных мною в моих садах. Но мне хотелось бы как можно дольше пробыть в вашем обществе.

— Когда мы приехали сюда, то узнали, что вы

с часу на час ждете графиню Годиц. Нам не хотелось бы быть вам в тягость, и, услышав о ее приближении, мы тотчас исчезнем.

— Я только завтра жду маркграфиню, — ответил граф, — она прибудет сюда со своей дочерью, принцессой Кульмбахской. Вам, верно, известно, господа, что я имел честь заключить благородный союз…

— С вдовствующей маркграфиней Байрейтской, — несколько резко перебил его барон фон Крейц, казалось, менее ослепленный этим титулом, чем ожидал граф.

— Она тетка прусского короля, — с некоторой напыщенностью проговорил Годиц.

— Да, да, знаю! — ответил прусский офицер, беря большую понюшку табаку.

— И так как графиня — удивительно милая и любезная дама, — продолжал граф, — то я не сомневаюсь, что она будет бесконечно рада принять у себя храбрых слуг короля, своего именитого племянника.

— Мы были бы очень тронуты такой великой честью, — сказал, улыбаясь, барон, — но у нас нет времени этим воспользоваться. Долг настойчиво призывает нас нести службу, и мы сегодня же вечером распростимся с вашим сиятельством. А

пока что мы были бы счастливы полюбоваться вашим прекрасным поместьем: у нашего повелителя короля нет ни одной резиденции, которая могла бы сравниться с вашей.

Этот комплимент вернул пруссаку расположение моравского вельможи.

Когда встали из-за стола, Порпора, более заинтересованный репетицией, чем прогулкой, хотел было от нее уклониться.

— Нет! Нет! — настаивал граф. — И прогулка и репетиция — все произойдет одновременно; вот увидите, маэстро!

Граф предложил руку Консуэло и, проходя с нею вперед, сказал:

— Извините, господа, что я завладел единственной присутствующей среди нас дамой — это уж право хозяина! Будьте добры следовать за мной: я буду вашим проводником.

— Осмелюсь вас спросить, сударь, — сказал барон Крейц, впервые обращаясь к Порпоре, — кто эта милая дама?

— Я, сударь, итальянец, — ответил бывший не в духе Порпора, — и плохо понимаю немецкий язык, а еще меньше французский.

Барон, до сих пор говоривший с графом по-французски, как обычно разговаривали между

собой в то время светские люди, повторил свой вопрос по-итальянски.

— Эта милая дама, не проронившая в вашем присутствии ни единого слова, не маркграфиня, не вдовствующая графиня, не принцесса и не баронесса, — сухо ответил Порпора. — Она итальянская певица, не лишенная таланта.

— Тем интереснее мне с нею познакомиться и узнать ее имя, — возразил барон, улыбаясь резкости маэстро.

— Это Порпорина, моя ученица, — ответил Порпора.

— Я слышал, что она очень талантливая особа, — заметил пруссак, — ее с нетерпением ожидают в Берлине. Раз это ваша ученица, значит, я имею честь говорить со знаменитым Порпорой.

— К вашим услугам, — кратко ответил Порпора, нахлобучивая на голову шляпу, которую приподнял в ответ на глубокий поклон барона фон Крейца.

Барон, видя, до чего малообщителен старик, пропустил его вперед, а сам пошел за ним в сопровождении следовавшего за ним лейтенанта. Порпора, у которого словно и на затылке были глаза, каким-то образом увидел, что оба смеются, поглядывая на него и говоря о нем на своем язы-

ке. Это еще меньше расположило маэстро в их пользу, и он не подарил их ни единым взглядом во все время прогулки.

Глава CI

Все общество сошло по небольшому, но довольно крутому склону к речке, прежде представлявшей собой красивый поток, чистый и бурный; но понадобилось сделать ее судоходной, и вот русло выровняли, аккуратно срезали берега и этим замутили прозрачную воду. Рабочие и сейчас были заняты очисткой речки от огромных камней, сваленных в нее зимней непогодой и еще придававших ей кое-какую живописность, которую спешили уничтожить. Здесь гуляющих ожидала гондола — настоящая гондола, выписанная графом из Венеции и заставившая забиться сердце Консуэло, вызвав у нее столько милых и горьких воспоминаний. Все разместились в гондоле и отчалили. Гондольеры тоже были настоящие венецианцы, говорившие на своем родном наречии, — их выписали с гондолой, как в наши дни выписывают негров, находящихся при жирафе. Граф Годиц, много путешествовавший, воображал, что знает все языки, но как ни самоуверенно, как ни громко и выразительно отдавал он приказания своим гондольерам, те с трудом поняли бы

их, если бы Консуэло не служила переводчиком. Им велено было спеть стихи Тассо, но бедняги, охрипшие от снегов севера, оторванные от своей родины и от смущения все позабывшие, показали пруссакам довольно жалкий образец своего искусства. Консуэло пришлось подсказывать им каждую строфу, и она обещала своим землякам прорепетировать с ними те отрывки, которые им на следующий день предстояло исполнить перед маркграфиней.

После пятнадцатиминутного плавания, покрыв за это время расстояние, которое можно было пройти в три минуты, если бы бедному, сбитому с пути потоку не устроили тысячу предательских изгибов, путники дошли до открытого моря. То был довольно обширный бассейн, куда гондола пробралась сквозь кущи кипарисов и елей и где, против ожидания, было правда довольно красиво. Однако полюбоваться этим видом им не пришлось. Надо было перейти на крошечный кораблик, снабженный решительно всем — мачтами, парусами, такелажем. Это была превосходная модель корабля, оснащенного по всем правилам, но он едва не пошел ко дну из-за слишком большого количества матросов и пассажиров. Порпора очень озяб. Ковры были влажны;

хотя граф, прибывший накануне, произвел тщательный осмотр флота, суденышко, по-видимому, давало течь. Всем было не по себе; исключение составляли только Консуэло, которую начинало не на шутку забавлять сумасбродство хозяина, и граф, который, благодаря счастливому своему характеру, никогда не придавал значения маленьким неприятностям, сопровождавшим его увеселения. Флот, соответствовавший адмиральскому судну, встал под его команду и начал проделывать разные маневры, которыми граф, вооруженный рупором и стоя на корме, управлял самым серьезным образом, причем выходил из себя, когда дело шло не так, как ему хотелось, и заставлял повторять все сначала. Затем все суда двинулись вперед под звуки духовых инструментов, страшно фальшививших, и это окончательно вывело из себя Порпору.

— Ну, куда бы ни шло заставлять нас мерзнуть и простуживаться, — ворчал он сквозь зубы, — но до такой степени терзать нам уши — это слишком!

— Курс на Пелопоннес! — отдал команду граф, и весь флот пошел к берегу, усеянному крошечными постройками, сооруженными наподобие греческих храмов и древних гробниц.

Корабли вошли в маленькую бухточку, скрытую в скалах, и в десяти шагах от берега были встречены залпом из ружей. Двое матросов упали при этом замертво, а маленький, очень проворный юнга, сидевший высоко на мачте, громко вскрикнув, спустился, или, скорее, ловко соскользнул, на палубу и стал по ней кататься, вопя, что он ранен, и закрывая руками голову, в которую якобы попала пуля.

— Сейчас, — сказал граф Консуэло, — вы мне потребуетесь для маленькой репетиции, которую я хочу проделать со своим экипажем. Будьте добры на минуту изобразить маркграфиню и прикажите этому умирающему юноше, так же как и тем двум убитым, которые, кстати сказать, упали просто по-дурацки, подняться, моментально выздороветь, взяться за оружие и защищать ее высочество от дерзких пиратов, засевших вон там.

Консуэло тотчас согласилась взять на себя роль маркграфини и сыграла ее с большим благородством и грацией, чем сделала бы это сама госпожа Годиц. Убитые и умирающие привстали и, стоя на коленях, поцеловали ей руку. Тут же им было приказано графом не прикасаться на самом деле своими холопскими губами к благородной руке

ее высочества, а только делать вид, что целуют ее, и целовать собственную руку. Затем убитые и умирающие бросились к оружию, проявляя при этом бурный энтузиазм. Маленький скоморох, изображавший юнгу, вскарабкался, как кошка, обратно на мачту и выстрелил из легкого карабина по бухте пиратов. Флот сомкнулся вокруг новой Клеопатры, и маленькие пушки произвели ужасающий шум. Граф, боясь испугать Консуэло, предупредил ее, и она не была введена в заблуждение, когда началась эта нелепая комедия. Но прусские офицеры, по отношению к которым он не счел нужным проявить такую же любезность, видя, как после первых выстрелов упали два человека, бледнея, прижались друг к другу. Тот, что все молчал, казалось, очень испугался за своего капитана, чье смятение также не укрылось от спокойного наблюдательного взора Консуэло. Однако не испуг отразился на лице капитана, а наоборот, возмущение, пожалуй, гнев, — как будто эта шутка оскорбила его лично, показалась обидной для его достоинства пруссака и офицера. Годиц не обратил на это никакого внимания, а когда загорелся бой, оба офицера уже громко хохотали и как нельзя лучше отнеслись к потехе. Они даже сами взялись за шпаги и, фехтуя, как

бы приняли участие в этой сцене.

Пираты, одетые греками, вооруженные большими мушкетами и пистолетами, заряженными одним порохом, выйдя на своих легких челнах из-за красивых маленьких рифов, сражались как львы. Им дали возможность броситься на абордаж, и тут их всех перебили, чтобы добрая маркграфиня имела удовольствие их воскресить! Единственная жестокость, проявленная при этом, состояла в том, что некоторые из пиратов были сброшены в море. Вода была чрезвычайно холодна, и Консуэло пожалела было их, но тотчас увидела, что они даже рады похвастать перед товарищами-горцами своим умением плавать.

Когда флот, возглавляемый Клеопатрой (ибо корабль, на который должна была вступить маркграфиня, в самом деле носил это громкое имя), одержал победу, он, конечно, увел в плен флот пиратов и под звуки триумфальной музыки (по мнению Порпоры, годной только для похорон дьявола) отправился обозревать берега Греции. Затем подошли к неизвестному острову, где виднелись землянки и экзотические деревья, прекрасно приспособившиеся к здешнему климату или же искусно сделанные, — ибо в этом трудно было разобраться, до того настоящее и

поддельное на каждом шагу смешивалось друг с другом. У берега острова стояли на привязи пироги. Туземцы бросились в них с невероятно дикими криками и поплыли навстречу флоту: они везли цветы и плоды, только что срезанные в теплицах графской резиденции. Дикари были взъерошены, татуированы, курчавы, похожи больше на чертей, чем на людей. Костюмы их были не очень-то выдержаны. Одни из дикарей были украшены перьями, как перуанцы, другие закутаны в меха, как эскимосы. Но этому не придавалось значения, лишь бы они выглядели поуродливее и порастрепаннее, чтобы их можно было принять по меньшей мере за людоедов.

Все эти добрые люди страшно кривлялись, а их предводитель, великан с приклеенной бородой, доходившей до пояса, выступал с речью, которую на языке дикарей соблаговолил сочинить сам граф Годиц. То было сочетание каких-то хрипящих и шипящих звуков, размещенных как попало, чтобы изобразить причудливый варварский говор. Граф заставил предводителя произнести до конца всю тираду и взял на себя труд перевести эту замечательную речь Консуэло, все еще игравшей роль маркграфини в ожидании настоящей супруги графа.

— Вот что означают, сударыня, эти слова, — начал он, отвешивая низкие поклоны в подражание царьку дикарей, — племя людоедов, у которых в обычае пожирать всех иноплеменников, высадившихся на их остров, так восхищено и покорено вашей волшебной красотой, что слагает к ногам вашим свою жестокость и предлагает вам стать королевой этих неведомых земель. Соблаговолите ступить на них без страха, и хотя они бесплодны и не возделаны, тем не менее цветы цивилизации вскоре зацветут под вашими стопами.

Суда причалили к берегу под песни и пляски юных дикарок. Набитые соломой чучела, изображавшие невиданных и свирепых зверей, внезапно, с помощью вделанных в них пружин преклонили колена, приветствуя появление Консуэло на острове. Затем недавно посаженные деревья и кусты повалились — их потянули веревками, — скалы из картона обрушились и появились домики, убранные цветами и листьями. Пастушки, гнавшие настоящие стада (у Годица в них не было недостатка), поселяне, хотя и одетые по последней моде оперного театра, но весьма неопрятные вблизи, даже прирученные косули и лани явились выразить верноподданнические

чувства новой государыне и приветствовать ее.

— Завтра вам придется играть перед ее высочеством, — обратился граф к Консуэло. — Вам будет доставлен костюм языческой богини, весь в цветах и лентах, и вы будете находиться вот в этой пещере. Маркграфиня войдет сюда, и вы ей споете кантату (она у меня в кармане), в которой выражена мысль, что вы уступаете маркграфине свои божественные права, ибо там, где она благоволит появиться, может быть только одна богиня.

— Посмотрим кантату, — проговорила Консуэло, беря из рук графа его произведение.

Ей не стоило большого труда прочесть и пропеть с листа наивную, избитую мелодию, где слова и музыка вполне соответствовали друг другу. Оставалось только выучить их наизусть. Две скрипки, арфа и флейта, спрятанные в глубине пещеры, аккомпанировали ей вкривь и вкось. Порпора заставил их повторить. Через каких-нибудь четверть часа все пошло на лад. Не только эту роль должна была исполнять на празднестве Консуэло, и не единственной была эта кантата в кармане графа Годица. К счастью, произведения его были коротки: не следовало утомлять маркграфиню слишком большой дозой музыки.

Корабли, стоявшие у острова дикарей, снова

подняли паруса и теперь причалили к китайскому берегу: башни, казавшиеся фарфоровыми, беседки, сады карликовых деревьев, мостики, джонки и чайные плантации — все было налицо. Ученые и мандарины, довольно хорошо костюмированные, явились приветствовать маркграфиню на китайском языке, а Консуэло, успевшая переодеться в трюме одного из кораблей супругой мандарина, спела куплеты на китайском языке, также сочиненные графом Годицем в свойственном ему стиле:

Пинг-панг-тионг,

Хи-хан-хонг.

Припев этот, благодаря сокращениям, свойственным этому удивительному языку, должен был означать следующее:

«Прекрасная маркграфиня, великая принцесса, кумир всех сердец, царите вечно над вашим счастливым супругом и над вашей ликующей росвальдской империей в Моравии».

Покидая «Китай», гости уселись в роскошные паланкины и на плечах китайских рабов и дикарей поднялись на вершину небольшой горы, где оказался город лилипутов. Дома, леса, озера, горы — все доходило только до колен или до щи-

колотки человека, и надо было нагнуться, чтобы увидеть внутри домов мебель и хозяйственную утварь, по величине соответствовавших всему остальному. На городской площади, под звуки дудочек, варганов и бубен, плясали марионетки. Люди, управлявшие ими и исполнявшие музыку лилипутов, были спрятаны под землей, в специально вырытых подвалах.

Спустившись с горы лилипутов, граф Годиц и его гости очутились на небольшом пустыре, размером в какую-нибудь сотню шагов, загроможденном огромными скалами и могучими деревьями, предоставленными своему естественному росту. Это было единственное место, которое граф не испортил и не изуродовал. Он удовольствовался тем, что оставил его таким, каким нашел.

— Долго ломал я себе голову над тем, как использовать это глубокое ущелье, — поведал он своим гостям, — и все не мог придумать, каким способом избавиться от громадных скал и какую форму придать этим великолепным, но беспорядочно растущим деревьям. Вдруг меня осенила мысль окрестить это место пустыней, хаосом. Я представил себе, какой получится эффектный контраст, когда, отойдя от этих ужасов природы,

попадешь в роскошный, находящийся в прекрасном состоянии цветник. Чтобы дополнить иллюзию, я вам сейчас покажу нечто очень интересное.

С этими словами граф завернул за огромную скалу, возвышавшуюся у дорожки (нельзя же было, на самом деле, не провести в страшной пустыне хотя бы одной гладенькой, усыпанной песком дорожки), и Консуэло очутилась у входа в обитель пустынника, высеченную в скале, над которой возвышался грубо обтесанный деревянный крест. Из пещеры вышел пустынник. То был добродушный крестьянин, чья поддельная длинная седая борода плохо гармонировала с молодым лицом, сиявшим румянцем юности. Он произнес прекрасную проповедь (неправильные выражения тут же поправлялись графом), дал свое благословение и поднес Консуэло кореньев и молока в деревянной чашке.

— Я нахожу, что пустынник слишком юн, — заметил барон фон Крейц, — вы могли бы, пожалуй, поместить сюда настоящего старца.

— Это не понравилось бы маркграфине, — простодушно пояснил граф Годиц. — Она весьма справедливо находит, что старость не радует глаз и на празднествах надо смотреть только на

молодых актеров.

Избавлю читателей от дальнейшей прогулки. Не было бы конца, если бы я стал описывать различные страны, жертвенники друидов, индийские пагоды, крытые дороги и каналы, девственные леса, подземелья, где можно было видеть высеченное на скалах изображение страстей господних; искусственные пещеры с бальными залами, Елисейские Поля, гробницы, водопады, серенады, хороводы наяд и шесть тысяч фонтанов, которые, как впоследствии рассказывал Порпора, он должен был «переварить». Были тут еще тысячи других прелестей, о которых подробно и с восторгом передают нам мемуары того времени: например, полутемный грот, куда вы вбегали и налетали на зеркало, которое, отражая в полумраке ваш собственный образ, неминуемо должно было страшно испугать вас; монастырь, где под страхом пожизненного заточения вас обязывали клясться в вечной покорности маркграфине и вечном обожании ее; дерево, с которого, благодаря спрятанному в ветвях насосу, лились на вас в виде дождя чернила, кровь или розовая вода, — в зависимости от того, хотели вас почтить или поиздеваться над вами; словом, масса прелестного, таинственного,

остроумного, непонятного, а главное — стоящего бешеных денег, всего, что Порпора имел дерзость находить невыносимым, идиотским, возмутительным. Только ночь положила конец этой прогулке вокруг света, во время которой гости то верхом, то в крытых носилках, на ослах, в каретах или в лодках отмахали добрых три мили.

Привычные к холоду и усталости прусские офицеры хоть и посмеивались над ребяческими забавами и сюрпризами Росвальда, однако не были так поражены смехотворной стороной этой чудесной резиденции, как Консуэло. Дитя природы, она родилась среди полей и привыкла, с тех пор как у нее открылись глаза, смотреть на все созданное Богом не в лорнет и не через газовое покрывало. А барон фон Крейц, не являясь новичком в аристократическом обществе, где царила привычка к роскошному убранству и модным украшениям, все-таки был человек своего круга и своего времени. Он не питал отвращения ни к гротам, ни к уединенным беседкам в парке, ни к статуям. В общем, барон развлекался с величайшим благодушием, смеялся и острил, и, когда его спутник, входя в столовую, почтительно выразил ему сочувствие по поводу того, что пришлось поскучать во время несносной прогулки, возра-

зил ему:

— Скучать? Нимало. Я двигался, нагулял себе аппетит, насмотрелся на тысячу безумств, отдохнул от серьезных дел, — нет, нет, я не потерял даром времени.

Все были крайне удивлены, увидев в столовой одни лишь стулья, стоявшие вокруг пустого места. Граф попросил своих гостей сесть и приказал лакеям подавать.

— Увы! Ваше сиятельство, — заявил тот, которому надлежало отвечать, — у нас не было ничего достаточно хорошего, чтобы предложить столь избранному обществу, и мы даже не накрыли на стол.

— Вот это мило! — воскликнул хозяин с наигранной свирепостью и, помолчав немного, добавил: — Ну хорошо! Если люди отказывают нам в ужине, я взываю к аду и требую, чтобы Плутон прислал ужин, достойный моих гостей!

Сказав это, он трижды постучал об пол, и пол немедленно скользнул в пазах, раздвинулся, а в образовавшемся отверстии показалось ароматное пламя. Затем при звуках веселой и причудливой музыки под локтями гостей появился роскошно сервированный стол.

— Недурно! — промолвил граф, приподняв

скатерть и обращаясь к кому-то. — Одно только меня очень удивляет: ведь господину Плутону известно, что в моем доме нет даже воды, а между тем он не прислал ни одного графина.

— Граф Годиц, — отвечал из глубины хриплый голос, вполне достойный преисподней, — вода — большая радость в аду, ибо все наши реки пересохли с тех пор, как глаза ее высочества маркграфини зажгли страстью самые недра земли; тем не менее, если вы требуете воды, мы пошлем одну из Данаид на берег Стикса, быть может, она и найдет там воду.

— Пусть поспешит, но главное — дайте ей бочку без пробоин.

И сейчас же из прекрасной яшмовой чаши, стоявшей посреди стола, забил фонтан родниковой воды, в течение всего ужина рассыпавшийся снопом бриллиантов, которые блестели, отражая множество свечей. Столовый сервиз был шедевром роскоши и безвкусицы, а вода Стикса и адский ужин послужили графу поводом для бесконечной и неостроумной игры слов, всяких намеков и вздорной болтовни, но все прощалось ему ради его наивной ребячливости. Вкусный сытный ужин, поданный юными сатирами и более или менее хорошенькими нимфами, привел

в веселое настроение барона фон Крейца. Однако он едва обратил внимание на красивых рабынь Амфитриона; бедные крестьянки были одновременно служанками, любовницами, хористками и актрисами своего господина. Он сам преподавал им манеры, танцы, пение и декламацию. Консуэло еще в Пассау видела пример его обращения с ними, и, припоминая, какую славную участь сулил он ей тогда, она дивилась почтительной непринужденности, с какой он обращался с ней теперь, не выказывая ни удивления, ни смущения за свой бывший промах. Консуэло прекрасно знала, что на другой день, при появлении маркграфини, все примет иной оборот: она будет обедать с учителем в своей комнате и не удостоится чести быть допущенной к столу ее высочества. Это нисколько не смущало ее. Но она не подозревала, — а это очень позабавило бы ее, — что ужинает с особой неизмеримо более высокой, и особа эта ни за что на свете не пожелает ужинать на следующий день с маркграфиней.

Барон фон Крейц, улыбавшийся довольно холодно при виде доморощенных нимф, выказал несколько больше внимания Консуэло после того, как заставил ее прервать молчание, вызвав на разговор о музыке. Он был просвещенным,

почти страстным любителем этого дивного искусства, по крайней мере, говорил о нем с большим пониманием, что вместе с ужином, вкусными блюдами и теплом, наполнявшим комнаты, смягчило угрюмое настроение Порпоры.

— Было бы желательно, — сказал маэстро барону, перед тем учтиво похвалившему его произведения, не называя его по имени, — чтобы государь, которого мы постараемся развлечь, оказался таким же хорошим ценителем, как вы.

— Все уверяют, — ответил барон, — что мой государь довольно сведущ в этой области и истинный любитель искусств.

— Так ли это, господин барон? — спросил маэстро, который вообще не мог не противоречить всем и во всем. — Я не очень льщу себя этой надеждой. Короли — первые во всех областях знания, по мнению своих подданных, но часто случается, что подданные знают гораздо больше, чем они.

— В военном деле, так же как и в инженерном, и в науках, прусский король понимает больше любого из нас, — горячо заметил лейтенант, — а что касается музыки, несомненно…

— То вы ровно ничего об этом не знаете, как и я, — сухо перебил его капитан Крейц. — Маэстро

Порпора в этом отношении может полагаться только на самого себя.

— А мне в сфере музыки королевское достоинство никогда не внушало особого почтения, — продолжал маэстро, — и, когда я имел честь давать уроки владетельной принцессе Саксонской, ей, так же как и всякому другому, я не спускал ни единой фальшивой ноты.

— Как! — сказал барон, иронически глядя на своего спутника. — Неужели и венценосцы берут когда-нибудь фальшивые ноты?

— Точно так же, как и простые смертные, сударь, — ответил Порпора. — Однако должен признать, что владетельная принцесса проявила большие способности и под моим руководством очень скоро перестала фальшивить.

— Так, значит, вы простили бы кое-какие фальшивые ноты нашему Фрицу, если бы он дерзнул взять их при вас?

— При условии, чтобы он в дальнейшем исправился.

— Но головомойки вы ему все-таки не задали бы? — смеясь, вмешался в разговор граф Годиц.

— Задал бы, даже если бы он снял за это с плеч мою собственную голову, — ответил, бравируя, старый профессор, которого небольшое

количество выпитого шампанского сделало экспансивным.

Консуэло была надлежащим образом предупреждена каноником о том, что Пруссия — это одно огромное полицейское управление, что малейшее слово, произнесенное шепотом на границе, переносится в несколько минут благодаря какому-то таинственному и безошибочному эху в кабинет самого Фридриха и что никогда не следует обращаться к пруссаку, особенно к военному или чиновнику, даже со словами «как вы поживаете», не взвесив каждого слога и предварительно не отмерив семь раз, прежде чем отрезать, как говорится в пословице. Вот почему ей не особенно понравилось, что ее учитель впал в свой обычный насмешливый тон, и она постаралась дипломатически загладить его неосторожность.

— Если бы даже король Пруссии и не был первым музыкантом своего века, — сказала она, — ему позволительно пренебрегать искусством, ничтожным, конечно, по сравнению с его познаниями в других областях.

Но она не подозревала, что Фридрих жаждал быть великим флейтистом не меньше, чем великим полководцем и великим философом. Барон фон Крейц заметил, что раз его величество

смотрит на музыку как на искусство, достойное изучения, то, вероятно, он и занимался ею с должным вниманием и прилежанием.

— Э! — сказал, все больше и больше оживляясь, Порпора. — Внимание и прилежание ничего не открывают в музыке тому, кого небо не наградило врожденным талантом. Музыкальность отнюдь не является уделом всех людей, и легче выиграть сражение и назначить пособия литераторам, чем похитить у муз священный огонь. Говорил же нам барон Фридрих фон Тренк, что когда его прусское величество сбивается с такта, виноваты бывают его придворные. Но, положим, со мной подобного не случится!

— Так барон Фридрих фон Тренк говорил это? — спросил барон фон Крейц, и глаза его вдруг загорелись жгучей злобой. — Ну хорошо, — проговорил он, усилием воли заставив себя сдержаться и переходя на безразличный тон, — бедняга теперь, должно быть, потерял охоту шутить, ибо до конца своих дней заключен в Глацскую крепость.

— Неужели! — воскликнул Порпора. — А что же он сделал?

— Это государственная тайна, — ответил барон, — но все заставляет предполагать, что он

обманул доверие своего государя.

— Да, — прибавил лейтенант, — он продал австрийцам планы укреплений Пруссии, своего отечества.

— О! Это невозможно! — вырвалось у побледневшей Консуэло. Она с величайшим вниманием следила за каждым своим движением, за каждым словом, но тут не смогла удержаться от горестного восклицания.

— Это и невозможно и неверно! — закричал с негодованием Порпора. — Те, кто уверил в этом короля, гнусно солгали!

— Полагаю, что вы не желаете косвенно уличать и нас во лжи, — проговорил лейтенант, тоже бледнея.

— Надо быть до нелепости щепетильным, чтобы понять это таким образом, — отрезал барон фон Крейц, бросая на своего спутника суровый, повелительный взгляд. — Разве это нас касается? И какое нам дело до того, что маэстро Порпора так горячо относится к своему молодому другу?

— И буду так же горячо относиться к нему даже в присутствии самого короля, — заявил Порпора. — Я скажу королю, что его обманули и что нехорошо с его стороны было поверить этому, а Фридрих фон Тренк — достойный, благородный

молодой человек, не способный на подлость.

— А я думаю, учитель, — прервала его Консуэло, которую все больше и больше тревожила физиономия капитана, — что вы будете более воздержаны, когда удостоитесь чести предстать перед королем Пруссии. Я слишком хорошо знаю вас и потому уверена, что ни о чем другом, кроме музыки, вы говорить с ним не станете.

— Синьора, кажется, чрезвычайно осторожна, — снова заговорил барон, — а между тем, по-видимому, она была очень дружна в Вене с молодым бароном фон Тренком.

— Я, сударь? Да я почти не знаю его, — ответила Консуэло с отлично разыгранным равнодушием.

— Но если благодаря какой-нибудь непредвиденной случайности сам король спросил бы вас о том, что думаете вы о предательстве этого Тренка?.. — пытливо глядя на нее, спросил барон.

— Я ответила бы ему, господин барон, что не верю ни в чье предательство, ибо вообще не могу понять, как можно предавать, — промолвила Консуэло, спокойно и скромно выдерживая его инквизиторский взгляд.

— Вот прекрасные слова, синьора! И в них сказалась прекрасная душа! — вырвалось у барона, чье лицо сразу прояснилось.

Тут он заговорил о другом и очаровал собеседников изяществом и силою своего ума. И в течение всего ужина, когда он обращался к Консуэло, на лице у него появлялось доброе, доверчивое выражение, которого она не замечала прежде.

Глава CII

Когда покончили с десертом, призрак, закутанный во все белое, с опущенным на лицо покрывалом, явился гостям и произнес: «Следуйте за мной». Консуэло, вынужденная при репетировании этой новой сцены еще раз исполнить роль маркграфини, встала первая и в сопровождении прочих гостей поднялась по большой лестнице замка. Призрак, шедший впереди, открыл наверху лестницы большую дверь, и все очутились в темной старинной галерее, в конце которой мерцал слабый свет. Пришлось идти по этой галерее под звуки медленной, торжественной и таинственной музыки, исполняемой словно обитателями загробного мира.

— Господин граф, ей-Богу, ни в чем нам не отказывает! — воскликнул Порпора восторженным тоном, в котором сквозила ирония. — Мы слышали сегодня музыку турецкую, морскую, музыку дикарей, китайскую, лилипутскую и вообще всякого рода диковинную музыку, но эта настолько превзошла их, что ее действительно можно назвать музыкой с того света!

— И вы еще не все слышали! — воскликнул граф в восторге от комплимента.

— От вашего сиятельства всего можно ожидать! — сказал барон так же иронически, как и профессор. — Но после этого, по правде сказать, не знаю, что вы еще можете нам показать.

В конце галереи призрак ударил по инструменту, напоминавшему восточный тамтам, послышался какой-то заунывный звук, после чего приподнялся большой занавес и открылся вид на зрительный зал, разукрашенный и иллюминованный, каким ему надлежало быть на следующий день. Не стану его описывать, хотя тут и было бы уместно сказать:

Повсюду мишура, фестоны, украшенья!

Занавес поднялся. Сцена изображала не более и не менее, как Олимп. Богини оспаривали одна у другой сердце Париса, и состязание между тремя главными богинями составляло все содержание пьесы. Она была написана по-итальянски, что заставило Порпору шепотом сказать Консуэло:

— Язык дикарей, китайский, лилипутский языки — ничто не сравнится с этой галиматьей.

И стихи и музыка были сфабрикованы графом. Актеры и актрисы стоили своих ролей. После

получаса метафор и игры слов по поводу отсутствия богини, самой очаровательной и самой могущественной из всех, но не удостоившей принять участие в состязании красоты, Парис, наконец, решается отдать первенство Венере, а та, взяв яблоко и спустившись по ступенькам со сцены, кладет его у ног маркграфини, признавая себя недостойной в присутствии ее сиятельства даже домогаться победы. Венеру должна была изображать Консуэло, а так как это была главная роль и в конце надо было спеть очень эффектную каватину, то граф Годиц, не имея возможности поручить ее на репетиции какой-либо из своих корифеек, решился сам провести ее — отчасти, чтобы не провалить репетицию, а отчасти, чтобы Консуэло вникла в дух, тонкость и красоту роли. Он был до того комичен, изображая всерьез Венеру и так напыщенно распевая пошлости, понадерганные им из дрянных модных опер и плохо пригнанные, которые он имел претензию называть своей партитурой, что никто не мог удержаться от смеха. Но он был слишком возбужден, непрерывно муштруя своих актеров, и слишком увлечен торжественной выразительностью, которую вкладывал в свою игру и пение, чтобы заметить веселое настроение слушателей.

Ему неистово аплодировали, а Порпора, дирижировавший оркестром, по временам украдкой затыкал себе уши, а затем объявил, что все чудесно — и либретто, и партитура, и голоса, и музыканты, а лучше всего — лицо, временно исполнявшее роль Венеры.

Решили, что Консуэло в тот же вечер и на следующее утро просмотрит вместе с учителем этот «шедевр». Он был не длинен и не труден для изучения, и оба были уверены, что на следующий вечер окажутся на той же высоте, что пьеса и труппа. Затем все прошли в бальную залу, которая не была еще готова, так как танцы назначены были только на послезавтра, а празднества должны были продолжаться два дня и состоять из непрерывного ряда разнообразных увеселений.

Пробило десять часов вечера. Стояла ясная погода, ярко светила луна. Прусские офицеры настаивали на том, чтобы в ту же ночь снова перебраться через границу, ссылаясь на высочайший приказ, не позволявший им ночевать в чужой стране. И графу пришлось уступить; отдав приказание седлать лошадей, он увел своих гостей распить прощальный кубок — то есть выпить кофе и отведать прекрасных настоек в изящном будуаре, куда Консуэло не сочла удоб-

ным за ними последовать. Она простилась со всеми и, тихонько посоветовав Порпоре быть осторожнее, чем за ужином, направилась в свою комнату, находившуюся в другой части замка.

Но вскоре она заблудилась в переходах этого большого лабиринта и очутилась в какой-то крытой галерее, где сквозной ветер задул ее свечу. Боясь еще больше запутаться и провалиться в какую-нибудь западню с сюрпризами, которыми изобиловал замок, она решила ощупью идти назад, пока не доберется до освещенной части здания. В суматохе, вызванной приготовлениями к такому множеству бессмысленных затей, в этом богатейшем доме очень мало заботились о необходимом удобстве. Здесь были дикари, призраки, небожители, пустынники, нимфы, боги веселья и игр, но ни одного слуги, который подал бы свечу, ни единого здравомыслящего существа, к которому можно было бы обратиться с вопросом.

Вдруг ей послышалось, что кто-то осторожно пробирается в темноте, как бы желая проскользнуть незамеченным. Это показалось ей подозрительным, и она не решилась ни окликнуть идущего, ни назвать себя, тем более что, судя по тяжелым шагам и дыханию, это был мужчина. Она подвигалась дальше, крадучись вдоль стены,

несколько встревоженная, как вдруг услышала недалеко от себя звук отворяемой двери, и лунный свет, проникнув в галерею, упал на высокую фигуру и блестящий костюм Карла.

Она тотчас окликнула его.

— Это вы, синьора? — проговорил он изменившимся голосом. — Вот уж сколько часов я ищу случая поговорить с вами минутку, да теперь, пожалуй, уже поздно!

— Что тебе надо сказать мне, милый Карл, и почему ты так взволнован?

— Выйдите из коридора, синьора, я поговорю с вами в таком уединенном месте, где, надеюсь, никто нас не услышит.

Консуэло пошла следом за Карлом и очутилась на открытой террасе, которая венчала башенку, прилепившуюся к стене замка.

— Синьора, — с опаской поглядывая по сторонам, заговорил дезертир (впервые приехав этим утром в Росвальд, он не лучше Консуэло знал жителей замка), — вы ничего не говорили сегодня такого, что могло бы навлечь на вас недовольство прусского короля или возбудить его недоверие? Вам не пришлось бы в Берлине раскаиваться, если бы королю точно передали ваши слова?

— Нет, Карл, ничего такого я не говорила. Я

знаю, что всякий незнакомый пруссак — опасный собеседник, и потому взвешивала каждое свое слово.

— Ах! Как порадовали вы меня этим ответом — я так беспокоился! Два-три раза я подходил к вам на корабле, когда вы катались по озеру, — я разыгрывал роль одного из пиратов, которые делали вид, будто берут вас на абордаж, — но вы меня не узнали, я ведь был переряжен. Сколько ни смотрел я на вас, сколько ни делал знаков, вы ни на что не обращали внимания, и мне не удалось перемолвиться с вами ни единым словом. Этот офицер был постоянно возле вас. Все время, пока вы плавали по озеру, он ни на шаг от вас не отходил. Он словно догадывался, что вы служите для него как бы прикрытием, и прятался за вас на тот случай, если бы какая-нибудь шальная пуля таилась в одном из наших безвредных ружей.

— Что ты хочешь этим сказать, Карл? Не понимаю! Кто этот офицер? Я его не знаю.

— Мне незачем говорить вам: скоро вы сами узнаете, раз едете в Берлин.

— Но почему же теперь делать из этого тайну?

— Да потому, что это ужасная тайна, и мне нужно еще в течение часа не выдавать ее.

— У тебя какой-то особенно взволнованный

вид, Карл. Что с тобой происходит?

— О! Нечто ужасное! У меня в сердце ад!

— Ад? Можно подумать, что у тебя на уме какие-то злые намерения.

— Быть может!

— В таком случае я хочу, чтобы ты откровенно признался мне во всем, Карл. Ты не имеешь права скрывать что-либо от меня! Ты ведь обещал мне быть беззаветно преданным и покорным.

— Эх, синьора! Что вы сказали! Да, правда, я обязан вам больше, чем жизнью, ибо вы сделали все, чтобы сохранить мою жену и дочку. Но они были обречены, они погибли… И нужно отомстить за их смерть!

— Карл! Именем твоей жены и ребенка, которые молятся за тебя на небесах, приказываю тебе говорить. Ты задумал какое-то безумное дело. Ты хочешь отомстить? Ты вне себя при виде этих пруссаков.

— Вид их доводит меня до безумия, приводит в ярость… Но нет! Я спокоен! Я истый праведник! Видите ли, синьора, Бог, а не ад толкает меня на это! Ну, близок час! Прощайте, синьора! Быть может, мы никогда больше не увидимся, так прошу вас, раз вы едете через Прагу, закажите мессу по мне в часовне святого Яна Непомука — это один

из самых великих покровителей Чехии.

— Карл, вы скажете, вы признаетесь мне в преступных замыслах, которые терзают вас, или я никогда не буду за вас молиться и, наоборот, призову на вас проклятие вашей жены и дочери — этих ангелов, которые теперь в ложе милосердного Иисуса Христа. Как вы можете ожидать прощения на небе, если сами не прощаете на земле? У вас под плащом карабин, Карл, и вы здесь подкарауливаете этих пруссаков…

— Нет, не здесь, — проговорил, дрожа и уже немного колеблясь, Карл. — Я не хочу проливать кровь ни в доме моего хозяина, ни на ваших глазах, добрая моя, святая праведница, но там… Понимаете, среди гор, в лощине, есть дорога, которую я хорошо изучил, так как был там, когда они проезжали по ней сюда нынче утром… Но я оказался в лощине случайно, при мне не было оружия, да и его я узнал не сразу. Но сейчас он снова проедет по этой дороге, там буду и я. Мигом проберусь туда парком и опережу его, хоть у него и добрый конь… И вы изволили верно сказать, синьора, — карабин при мне, мой славный карабин, и в нем славная пуля для его сердца! Карабин заряжен, — ведь я не шутил, когда выслеживал его, переодетый пиратом. Случай казался мне

удачным, и я раз десять нацеливался в него, но вы были рядом с ним, все время рядом, и я не выстрелил. А вот сейчас вас рядом не будет, и он не сможет прятаться за вашей спиной, как трус… Ведь он трус! Я-то хорошо его знаю! Я видел, как однажды во время битвы он побледнел и показал спину, а сам яростно требовал от нас, чтобы мы шли против своих земляков, против своих братьев-чехов. Какой ужас! Ведь я чех по крови, по сердцу, а такое не прощается! И хоть я и бедный чешский крестьянин и научился в своих лесах владеть только топором, он сделал из меня прусского солдата, и, благодаря его капралам, теперь я умею метко стрелять из ружья!

— Карл! Карл! Замолчите! Вы бредите. Вы не знаете этого человека, я уверена в этом. Его зовут барон фон Крейц. Бьюсь об заклад, что вы не знаете его имени и принимаете за другого. Он не вербовщик и не сделал вам ничего худого.

— Это не барон фон Крейц, нет, синьора, и я прекрасно его знаю. Больше сотни раз видел я его на парадах. Это главный вербовщик, главный господин тех, кто похищает людей и разрушает семейные очаги, это главный бич Чехии, мой личный враг!.. Он враг нашей церкви, нашей религии и всех наших святых! Он осквернил сво-

ими нечестивыми насмешками статую святого Яна Непомука на Пражском мосту! Он выкрал из пражского замка барабан, сделанный из кожи Яна Жижки, славного воителя прежних лет. Барабан этот был нашей охраной, нашей угрозой врагу, честью нашей страны. О нет! Я не ошибусь, я хорошо знаю этого человека! К тому же святой Венцеслав только что явился мне в часовне, когда я там молился. Видел я его, как вижу вас, синьора, и он сказал мне: «Это он, порази его в сердце». Я поклялся в этом святой деве на могиле своей жены, и я должен сдержать клятву… А! Смотрите, синьора, ему подают лошадь к крыльцу. Этого-то я и ждал! Иду… Молитесь за меня, ибо рано или поздно я поплачусь за свой поступок головой; но это не беда, только бы Бог спас мою душу.

— Карл! — воскликнула Консуэло, чувствуя в себе прилив какой-то необыкновенной силы. — Я считала тебя человеком великодушным, добрым и богобоязненным, а теперь вижу, что ты безбожник, изверг и негодяй. Кто бы ни был человек, которого ты собираешься убить, я запрещаю тебе идти за ним и причинить ему какое бы то ни было зло. Дьявол принял облик святого с целью помутить твой разум, и Господь, в наказание за принесенную тобой святотатственную

клятву на могиле твоей жены, допустил, чтобы дьявол опутал тебя своими сетями. Ты подлый, неблагодарный человек! Ты не думаешь о том, что твой хозяин граф Годиц, осыпавший тебя благодеяниями, такой честный, такой добрый, такой ласковый к тебе, будет обвинен за твое преступление и поплатится за него жизнью. Иди, скройся в каком-нибудь подземелье, ибо ты недостоин смотреть на свет Божий, Карл. Наложи на себя покаяние за то, что у тебя явилась подобная мысль! Знаешь, я вижу в эту минуту подле тебя твою жену. Она плачет и пытается удержать твоего ангела-хранителя, готового уступить тебя духу зла…

— Жена! Жена! — закричал растерявшийся, побежденный Карл. — Я не вижу ее! Жена! Если ты здесь, скажи мне слово, сделай так, чтобы еще раз я мог увидеть тебя, а там — умереть!..

— Видеть ее ты не можешь: в сердце твоем — преступление, в глазах — мрак. Стань на колени, Карл! Ты можешь еще искупить свой грех! Дай мне ружье, оскверняющее твои руки, и молись!

С этими словами Консуэло взяла карабин — он был отдан ей без всякого сопротивления — и поспешила убрать его подальше от Карла, пока тот в слезах опускался на колени. Потом она ушла с

террасы, чтобы поскорее запрятать куда-нибудь оружие. Она чувствовала себя совсем разбитой: ей стоило больших усилий овладеть воображением этого фанатика, вызвав в нем призраки, имевшие над ним власть. Каждая минута была дорога; тут уж было не до внушения ему более гуманной и просвещенной философии. Она говорила все, что приходило ей в голову, воодушевленная какой-то симпатией к исступленному состоянию несчастного Карла, которого она хотела во что бы то ни стало спасти от безумного поступка. Притворно браня его, она в то же время жалела его, видя его заблуждение, которое он не в силах был побороть в себе.

Консуэло торопилась спрятать злополучный карабин и сейчас же вернуться к Карлу, чтобы удержать его на террасе, пока пруссаки не отъедут подальше. Отворяя маленькую дверь, ведущую с террасы в коридор, она вдруг очутилась лицом к лицу с бароном фон Крейцем. Он приходил в свою комнату за плащом и пистолетами. Консуэло едва успела поставить карабин позади себя в угол, образуемый дверью, и бросилась в коридор, закрыв за собою дверь, отделявшую ее от Карла. Она испугалась, как бы вид врага снова не привел беднягу в ярость.

Стремительность движений и волнение, заставившее ее прислониться к двери, точно из боязни потерять сознание, не ускользнули от проницательных глаз барона фон Крейца. Держа свечу и улыбаясь, он остановился перед Консуэло. Лицо его было совершенно невозмутимо, однако Консуэло показалось, что рука барона дрожит, заставляя колебаться пламя свечи. Позади него стоял смертельно бледный лейтенант с обнаженной шпагой в руке. Все это, а также и то, что окно комнаты, куда барон приходил за своими вещами, выходило, как она впоследствии убедилась, на террасу башенки, позволило Консуэло предположить, что от обоих пруссаков не ускользнуло ни одно слово из ее разговора с Карлом. Тем не менее барон поклонился ей чрезвычайно любезно и спокойно, но она была настолько потрясена, что забыла ответить на его поклон и даже лишилась дара речи; Крейц взглянул на нее скорее с участием, чем с удивлением.

— Дитя мое, — ласково сказал он, взяв ее за руку, — успокойтесь! Вы очень взволнованы. Очевидно, мы напугали вас своим внезапным появлением у двери в тот момент, когда вы открыли ее. Но знайте, что мы ваши покорные слуги и друзья. Надеюсь, мы с вами еще увидимся

в Берлине и, быть может, сможем быть вам в чем-либо полезны.

Барон потянул было немного к себе руку Консуэло, как бы желая поднести ее к губам, но ограничился тем, что слегка пожал ее. Он еще раз раскланялся и удалился в сопровождении лейтенанта, который, казалось, даже не заметил Консуэло, до того он был растерян и вне себя. Его состояние подтвердило уверенность молодой девушки в том, что лейтенант знал об опасности, только что угрожавшей его начальнику.

Но кем же мог быть этот человек, если ответственность за его жизнь таким тяжким бременем ложилась на другого, и кого Карл стремился убить, видя в этом высшую справедливую месть? Консуэло вернулась на террасу, чтобы, продолжая наблюдать за Карлом, выпытать его тайну. Но она застала его в обмороке и, будучи не в силах поднять такого колосса, спустилась позвать на помощь слуг.

— Ну, это ничего! — сказали они, направляясь к указанному ею месту. — Видно, он малость перехватил сегодня вечером медовой шипучки; сейчас мы снесем его на кровать.

Консуэло хотела было пойти наверх вместе с ними: она боялась, как бы Карл, очнувшись, не

выдал себя, но ей помешал граф Годиц, проходивший мимо. Он взял ее под руку, обрадовавшись тому, что она еще не легла спать и он может показать ей новое зрелище. Пришлось идти за ним на крыльцо, и тут она увидела над одним из пригорков парка, в той стороне, куда указывал Карл, как на цель своих устремлений, большую светящуюся арку, словно паривщую в воздухе, на которой смутно вырисовывались буквы из цветного стекла.

— Какая прекрасная иллюминация! — рассеянно промолвила она.

— Это тонкая любезность, скромный почтительный прощальный привет только что покинувшему нас гостю, — пояснил Годиц. — Он через четверть часа будет у подножия холма, в лощине, которую нам отсюда не видно, а там, как по волшебству, над его головой засветится триумфальная арка.

— Господин граф! — воскликнула Консуэло, выйдя из своей задумчивости. — Кто этот человек, только что уехавший отсюда?

— Вы узнаете позднее, дитя мое.

— Если я не должна спрашивать, умолкаю, господин граф. Однако у меня есть подозрения, что на самом деле это не барон фон Крейц.

— Я ни на минуту не был введен в заблуждение, — продолжал Годиц, немного прихвастнув при этом. — Тем не менее я отнесся с благоговейным уважением к его инкогнито. Я знаю, что это его мания и он считает оскорблением, если его не принимают за того, за кого он себя выдает. Вы заметили, что я обращался с ним как с простым офицером, а между тем…

Графу смертельно хотелось все выболтать, но светские приличия не позволяли ему произнести имя, по-видимому, столь священное. Он избрал нечто среднее и, подавая Консуэло свою зрительную трубу, сказал:

— Взгляните, как удачно сделана эта импровизированная арка. До нее отсюда не меньше полумили, а я уверен, что в мою превосходную зрительную трубу вы сможете прочесть, что на ней написано. В каждой букве по двадцать футов, хотя они и кажутся вам совсем крохотными. Но все-таки вглядитесь хорошенько…

Консуэло посмотрела и без труда разобрала надпись, раскрывшую ей тайну всей этой комедии:

«Да здравствует Фридрих Великий!»

— Ах! Господин граф! — воскликнула она со страшной тревогой. — Опасно подобному лицу путешествовать таким образом, да, пожалуй, еще

опаснее принимать его у себя!

— Я вас не понимаю, — сказал граф, — мы живем в мирное время. Никому теперь на землях империи не пришло бы в голову причинить ему малейшее зло, и уж никто не счел бы нарушением патриотического долга любезный прием, оказанный такому гостю.

Консуэло погрузилась в свои думы. Годиц нарушил их, сказав, что у него есть к ней нижайшая просьба. Он, правда, боится злоупотреблять ее добротой, но это так важно, что он все-таки решается затруднить ее. После долгих разглагольствований он, наконец, проговорил с таинственным и серьезным видом:

— Дело вот в чем: не согласились ли бы вы взять на себя роль призрака?

— Какого призрака? — спросила Консуэло, все мысли которой были заняты Фридрихом и событиями того вечера.

— Призрака, который приходит во время десерта за маркграфиней и ее гостями, чтобы проводить их по галерее преисподней, через обитель мертвецов, в театральный зал, где их должны встретить олимпийские боги. Венера на сцене появляется не сразу, и вы имели бы время сбросить за кулисами саван призрака, под

которым у вас будет надет совершенно готовый великолепный наряд матери амуров — из розового атласа с маленькими фижмами, серебряными бантами и золотым позументом. Волосы не напудрены, убраны жемчугом, перьями и розами — туалет очень скромный и неподражаемый по изяществу. Увидите сами! Ну что, согласны вы изображать призрак? Ведь тут надо выступать с большим достоинством, а ни одна из моих робких актрис не дерзнула бы сказать ее высочеству повелительным и вместе с тем почтительным тоном: «Следуйте за мной». Слова эти нелегко произнести, и я подумал, что только актриса большого таланта может оказаться тут на высоте. Что вы думаете об этом?

— Слова чудесные, и я с удовольствием возьму на себя роль призрака, — смеясь, ответила Консуэло.

— Да вы просто ангел! Настоящий ангел! — воскликнул граф, целуя ей руку.

Но увы! Столь долгожданный день, празднество, блестящее празднество, мечта, лелеемая графом в течение целой зимы и заставившая его предпринять для ее осуществления более трех путешествий в Моравию, — все это должно было рассеяться как дым, так же как и суровая,

мрачная месть Карла… На следующий день к полудню все было готово. Росвальдцы были во всеоружии: нимфы, гении, дикари, карлики, великаны, мандарины, призраки, дрожа от холода, ждали каждый на своем посту нужного момента, чтобы начать действовать. Горная дорога была очищена от снега и усыпана мхом и фиалками. Многочисленные гости, съехавшиеся из соседних замков и даже из довольно отдаленных городов, составляли достойную свиту хозяину замка, как вдруг, увы, нежданная, словно громовой удар, весть разом все перевернула! Гонец, прискакавший во весь опор, сообщил, что карета маркграфини опрокинулась в ров, ее высочество при этом повредила себе два ребра и вынуждена была остановиться в Ольмюце, куда и просит графа приехать за ней. Толпа рассеялась. Граф в сопровождении Карла, который уже успел прийти в себя, вскочил на лучшего своего коня и помчался, сказав предварительно несколько слов дворецкому.

«Забавы», «ручьи», «часы», «реки» снова облеклись в свои меховые сапоги и суконные кафтаны и отправились на работы по хозяйству, вперемешку с китайцами, пиратами, друидами и людоедами. Гости уселись в кареты, и карета, в ко-

торой приехал Порпора со своей ученицей, снова была предоставлена в их распоряжение. Дворецкий, согласно полученному приказу, вручил им условленную сумму и настоял на том, чтобы они ее приняли, хотя она и была заработана ими только наполовину. В тот же день они покатили по пражской дороге. Профессор был в восторге от того, что избавился от разноплеменной музыки и многоязычных кантат графа, а Консуэло, поглядывая в сторону Силезии, горевала, что, уезжая в противоположную сторону от глацского узника, не имеет ни малейшей надежды облегчить его тяжелую участь.

В тот же день барон фон Крейц, переночевав в деревне неподалеку от моравской границы, отправился оттуда утром в большой дорожной карете в сопровождении своих пажей, ехавших верхом, и свитского экипажа, в котором находился его казначей и «шкатулка»[60]. Приближаясь к городу Нейсу, он вступил в разговор со своим офицером, или, вернее сказать, адъютантом, бароном фон Будденброком. Надо заметить, что, недовольный его вчерашней бестактностью, барон впервые со времени отъезда из Росвальда

---

[60] Примечания: 60
Дорожная казна (*Прим. автора*).

заговорил с ним.

— А что это была за иллюминация? — начал он. — Я издали заметил ее над холмом, у подножия которого мы должны были проезжать, огибая парк этого графа Годица.

— Государь, — ответил, дрожа, Будденброк, — я не заметил иллюминации.

— Напрасно! Человек, сопровождавший меня, должен все видеть.

— Ваше величество должны простить меня, принимая во внимание смятение, в какое повергло меня намерение этого злодея.

— Вы ничего не понимаете! Этот человек — фанатик, несчастный католический святоша, ожесточенный проповедями, в которых чешские священники поносили меня во время войны. До крайности же его довело какое-то горе, по-видимому личного свойства. Вероятно, это крестьянин, схваченный для моей армии, один из тех дезертиров, которых мы иногда вылавливаем, несмотря на все их предосторожности.

— Ваше величество, можете быть уверены, что завтра же этот злодей будет снова схвачен.

— Вы уже отдали приказание, чтоб его похитили из дома графа Годица?

— Пока еще нет, государь, но как только приеду

в Нейс, сейчас же пошлю за ним четырех людей, очень ловких и очень решительных.

— Запрещаю вам это. Напротив, соберите сведения о нем, и если в самом деле его семья стала жертвой войны, как это можно было понять из его бессвязных речей, то вы позаботитесь о выдаче ему тысячи талеров и сообщите силезским вербовщикам, чтобы те навсегда оставили его в покое. Слышите? Его зовут Карлом, он очень высокого роста, чех, в услужении у графа Годица. Всех этих данных совершенно достаточно, чтобы легко разыскать его, узнать его фамилию и его положение.

— Приказание вашего величества будет исполнено.

— Надеюсь! А какого вы мнения об этом профессоре музыки?

— Маэстро Порпоре? На меня он произвел впечатление человека глупого, ограниченного, с очень тяжелым характером.

— А я вам говорю, что это человек выдающийся в области искусства, чрезвычайно умный и одаренный забавной иронией. Когда он достигнет вместе со своей ученицей прусской границы, вы вышлете ему хорошую карету.

— Слушаю, ваше величество.

— И пусть он сядет в нее один. Вы слышите? Один! И это должно быть предложено ему очень почтительно.

— Слушаю, ваше величество.

— А дальше…

— А дальше вашему величеству угодно, чтоб его доставили в Берлин?

— Вы сегодня ничего не смыслите! Мне угодно, чтобы его доставили в Дрезден, а оттуда в Прагу, пожелай он этого, и даже в Вену, если таковы его намерения; и все это за мой счет. Раз я отвлек столь уважаемого человека от занятий, я обязан доставить его туда, откуда взял, не вводя ни в какие издержки. Но я желаю, чтобы ноги его не было в моих владениях: он слишком умен для нас.

— Каковы же будут приказания вашего величества относительно певицы?

— Ее отвезут под конвоем, захочет она этого или нет, в Сан-Суси и отведут ей помещение в замке.

— В замке, государь?

— Что вы? Оглохли, что ли? В комнатах Барберини.

— А с Барберини, государь, как же мы поступим?

— Барберини уже нет в Берлине. Она уехала.

Вы разве этого не знали?

— Не знал, государь.

— Что же вы, наконец, знаете? И как только эта девица приедет, сейчас же доложите мне об этом, в какой бы час дня или ночи это ни было. Вы меня поняли? Вот первые приказы, которые вы велите вписать в реестр за номером один хранителю моей шкатулки: пособие Карлу, отправка обратно Порпоры, передача Порпорине всех почестей и доходов Барберини. Ну, вот мы и у городских ворот! Развеселись же, Будденброк, и постарайся быть чуточку менее глупым, когда мне снова вздумается путешествовать с тобой инкогнито!

Глава CIII

Порпора и Консуэло прибыли в Прагу с наступлением темноты. Стояла довольно холодная погода. Луна заливала светом старинный город, сохранивший религиозный и воинственный дух своего прошлого. Наши путешественники въехали через так называемые Росторские ворота и, миновав часть города, расположенную на правом берегу Влтавы, благополучно добрались до середины моста. Тут карету сильно тряхнуло, и она сразу остановилась.

— Господи Иисусе Христе! — воскликнул возница. — Нужно же было лошади упасть как раз перед статуей! Плохая примета! Да поможет нам святой Ян Непомук!

Консуэло, видя, что пристяжная запуталась в постромках и кучеру придется немало времени провозиться, прежде чем он поднимет ее и приведет в порядок сбрую — при падении лопнуло несколько ремней, — предложила своему учителю выйти из кареты, чтобы размять ноги и согреться. Порпора согласился, и Консуэло подошла к перилам моста, желая осмотреть

окружающую местность. Отсюда были видны два разных города, составляющие Прагу: один — так называемый новый, построенный в 1348 году Карлом IV, и другой — старый, основанный в глубочайшей древности. Оба, расположенные амфитеатром, казались двумя черными каменными грядами, над которыми там и сям, на самых высоких местах, поднимались стройные шпили старинных зданий и мрачные зубцы укреплений. Влтава, темная и быстрая, устремлялась под мост строгой архитектуры — место действия стольких трагических событий в истории Чехии, — а луна, отражаясь в водах Влтавы, бледными бликами убеляла сединой голову благоговейно почитаемой статуи. Консуэло стала всматриваться в лицо святого мудреца, казалось, с грустью взиравшего на волны. Легенда о святом Непомуке прекрасна, а имя его почитается каждым, кто ценит независимость и верность. Исповедник императрицы Иоанны, он отказался выдать тайну ее исповеди, и пьяница Венцеслав, пожелавший узнать помыслы своей жены, будучи не в силах что-либо выведать у знаменитого ученого, приказал утопить его под Пражским мостом. Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва сомкнувшейся

пучиной, словно венец мученика еще с минуту носился по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд были врезаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.

Мать Консуэло, Розамунда, женщина очень набожная, всегда с умилением вспоминала легенду об Яне Непомуке, и в числе святых, чьи имена она каждый вечер заставляла ребенка произносить своими чистыми устами, она никогда не забывала этого главного покровителя странников, всех тех, кто подвергался опасности, а главное — защитника доброго имени. Подобно тому как бедняки мечтают о богатстве, идеалом цыганки на старости лет стало доброе имя — сокровище, о котором она отнюдь не помышляла в юные годы. Благодаря такой перемене, Консуэло была воспитана в правилах чрезвычайной чистоты. В эту минуту она вспомнила молитву, с какой когда-то обращалась к этому апостолу истины; взволнованная видом мест — свидетелей его трагического конца, она невольно опустилась на колени среди богомольцев, которые в те времена днем и ночью склонялись перед изображением святого. Тут были бедные женщины, паломники, старики, нищие, быть может и цыгане — по-

клонники мандолины и хозяева большой дороги. Однако набожность не поглощала их настолько, чтобы помешать им протянуть руку Консуэло. Она щедро раздала им милостыню, с радостью вспоминая те времена, когда сама была не лучше обута и не более уважаема, чем все эти люди. Щедрость ее растрогала паломников, и они, потихоньку посовещавшись между собой, поручили одному из своих сказать Консуэло, что сейчас споют ей древний церковный гимн блаженному Непомуку, дабы святитель отклонил плохое предзнаменование, из-за которого ей пришлось сделать остановку на мосту. Они уверяли, будто музыка и латинские слова гимна сочинены во времена пьяницы Венцеслава.

Suscipe quas dedimus,
lohannes beate,
Tibi preces supplices, noster advocate:
Fieri, dum vivimus, ne sinas infames
Et nostros post obitum coelis infer

manes[61].

Порпора с интересом послушал их и решил, что гимну не больше ста лет; но другой гимн, исполняемый паломниками, показался ему проклятием, призываемым на голову Венцеслава его современниками, и начинался он так:

Saevus, piger imperator,
Malorum clarus patrator... etc.[62]

Хотя преступления Венцеслава и были совершены в отдаленные времена, по-видимому, бедные чехи находили неиссякаемое удовольствие, проклиная в лице этого тирана ненавистный титул императора, сделавшийся для них символом чужеземного владычества. Австрийские часовые охраняли ворота, расположенные по обоим концам моста. Им было приказано непрестанно ходить от ворот к середине моста. Тут они встре-

---

[61] Примечания: 61

Нашим молитвам внемли,
Ян преподобный!
Ты наш заступник святой, и к тебе мы взываем:
Да не впадем мы во грех, на земле пребывая,
К праведным нас сопричти после тихой кончины (лат.).

[62] Примечания: 62

Злой, ленивый император,
Преступлений всех диктатор... и т. д. (лат.).

чались у статуи святого, поворачивались друг к другу спиной и продолжали свою невозмутимую прогулку. Они слышали гимны, но так как были не столь сведущи в церковной латыни, как пражские богомольцы, то полагали, конечно, что слушают славословия в честь Франца Лотарингского, супруга Марии-Терезии.

Наивные песнопения при лунном свете, среди красивейшего в мире ландшафта, навеяли грусть на Консуэло. Ее путешествие до сих пор было удачным, веселым, и эта внезапная грусть являлась как бы естественной реакцией. Кучер, приводивший в порядок экипаж с чисто немецкой медлительностью, каждый раз, как что-то у него не ладилось, повторял: «Вот уж плохая примета!» — и это в конце концов не могло не подействовать на воображение Консуэло. А всякое тяжелое переживание, всякая продолжительная задумчивость наталкивали ее на мысль об Альберте. Тут ей припомнился один вечер, когда он, услыхав, как канонисса в своей молитве громко взывает к святому Непомуку, покровителю доброго имени, заметил: «Хорошо вам, тетушка, молиться ему, когда вы с присущей вам осторожностью обеспечили примерной жизнью свое доброе имя, но мне не раз приходилось слышать,

как запятнанные пороками души призывали чудодейственную помощь этого святого лишь для того, чтобы скрыть от людей свои беззакония. Вот так и ваши религиозные обряды столь же часто служат прикрытием грубого лицемерия, сколь и защитой невинности». В этот миг Консуэло почудилось, что в вечернем ветерке и в мрачном ропоте волн Влтавы она слышит голос Альберта. Консуэло подумала: что сказал бы о ней Альберт, если бы увидел ее сейчас распростертой перед этой католической статуей; пожалуй, он счел бы ее уже погибшей. И она, словно испугавшись, поднялась с колен. Как раз в этот момент Порпора сказал ей:

— Ну, садимся в карету, все в порядке.

Она пошла за ним и собиралась уже сесть в карету, когда тяжеловесный всадник, сидевший на еще более тяжеловесной лошади, вдруг остановился, спешился и, подойдя к Консуэло, стал разглядывать ее с невозмутимым любопытством, показавшимся ей весьма дерзким.

— Что вам нужно, сударь? — сказал Порпора, отстраняя его. — На дам так не смотрят. Быть может, это и принято в Париже, но я не намерен подчиняться вашему обычаю.

Толстяк, высвободив подбородок из мехового

воротника и продолжая держать лошадь под уздцы, ответил Порпоре по-чешски, не замечая, что тот совершенно его не понимает. Но Консуэло, пораженная голосом всадника, наклонилась, чтобы при свете луны рассмотреть черты его лица, и вдруг, бросившись между ним и Порпорой, воскликнула:

— Вы ли это, господин барон фон Рудольштадт?!

— Да, это я, синьора, — ответил барон Фридрих, — я, брат Христиана и дядя Альберта. Я самый. А это на самом деле вы! — проговорил он, тяжко вздыхая.

Консуэло была поражена его печальным видом и холодностью, проявленной при встрече с ней. Он, всегда так рыцарски-любезно обращавшийся с ней, не поцеловал ей руки и даже не подумал прикоснуться к своей меховой шапке, чтобы приветствовать ее, а удовольствовался только тем, что, глядя на нее с растерянным видом, все повторял:

— Да, это вы, в самом деле вы!

— Расскажите же, что происходит в замке Исполинов? — с волнением спросила Консуэло.

— Расскажу, синьора, мне самому не терпится обо всем рассказать вам.

— Так говорите же, господин барон! Расскажите мне о графе Христиане, о госпоже канониссе, о…

— Да, да, сейчас расскажу, — ответил Фридрих, теряясь все больше и больше и как будто совсем ошалев.

— А граф Альберт? — снова спросила Консуэло, испуганная его поведением и растерянным видом.

— Да! Да! Альберт… увы! Да! — бормотал барон. — Сейчас расскажу вам о нем…

Он так ничего и не сказал и, несмотря на все расспросы молодой девушки, оставался почти столь же нем, как статуя Непомука.

Порпора начинал терять терпение: маэстро прозяб и жаждал поскорее добраться до хорошего убежища, к тому же он был немало раздосадован этой встречей, которая могла произвести сильное впечатление на Консуэло.

— Господин барон, — обратился он к нему, — завтра мы засвидетельствуем вам свое почтение, а теперь разрешите нам отправиться поужинать и обогреться… Мы нуждаемся в этом больше, чем в приветствиях, — прибавил старик сквозь зубы, влезая в карету, куда он уже втолкнул Консуэло против ее воли.

— Но, друг мой, — проговорила она волнуясь, —

дайте мне узнать…

— Оставьте меня в покое! — грубо оборвал он ее. — Этот человек — идиот, если только он не мертвецки пьян, и, проведи мы на мосту хоть целую ночь, он не был бы способен изречь ни одного путного слова.

Консуэло была в страшной тревоге.

— Вы безжалостны, — сказала она маэстро, в то время как карета съезжала с моста в старый город. — Еще миг, и я узнала бы то, что интересует меня больше всего на свете…

— Вот как! Значит, все по-прежнему? — сердито проговорил Порпора. — Этот Альберт так и будет вечно торчать у тебя в голове? Хорошенькую, нечего сказать, заполучила ты семейку — такую веселенькую, такую благовоспитанную, судя по этому дуралею, у которого шапка, по-видимому, приклеена к голове, ибо, встретившись с тобой, он даже не удостоил тебя чести приподнять ее.

— Это та самая семья, о которой вы еще недавно были столь высокого мнения, что отправили меня туда как в спасительную гавань, наказывая как можно больше уважать и любить всех ее членов.

— Что касается последней части моего наказа, ты, как я вижу, даже слишком хорошо ее выпол-

нила…

Консуэло собиралась было возразить, но успокоилась, заметив барона Фридриха, едущего верхом рядом с каретой: он, видимо, решил сопровождать их. Когда она выходила из кареты, старый барон стоял у подножки, протягивая ей руку. Барон любезно просил ее принять его гостеприимство, ибо еще раньше приказал кучеру везти их не на постоялый двор, а к себе в дом. Напрасно пытался Порпора отказаться от этой чести, — барон настаивал, а Консуэло, сгоравшая от нетерпения поскорее рассеять свои тревожные опасения, поспешила согласиться и войти с хозяином в залу, где их ждал жарко натопленный камин и хороший ужин.

— Как видите, синьора, — обратился к ней барон, указывая на три прибора, — я рассчитывал вас встретить.

— Это очень удивляет меня, — ответила Консуэло, — мы никому не сообщали о нашем приезде, да и сами два дня тому назад думали быть тут не раньше, чем послезавтра.

— Все это удивляет меня не меньше, чем вас, — уныло промолвил барон.

— А баронесса Амалия, — спросила Консуэло: ей было неловко, что она до сих пор не подумала

о своей бывшей ученице.

Лицо барона омрачилось, и его румяные щеки, побагровевшие от холода, стали вдруг такими бледными, что Консуэло пришла в ужас. Но он довольно спокойно ответил:

— Дочь моя в Саксонии, у нашей родственницы. Она будет очень сожалеть, что не видела вас.

— А другие члены вашей семьи, господин барон, — продолжала спрашивать Консуэло, — не могла бы я узнать…

— Да, вы все узнаете… — перебил ее Фридрих. — Все узнаете… Кушайте, синьора, вы, наверное, голодны.

— Я не в состоянии есть, пока вы не успокоите меня. Господин барон, ради Бога, скажите мне, не оплакиваете ли вы утрату кого-нибудь из близких?

— Никто не умер, — ответил барон таким мрачным тоном, словно сообщал ей о том, что вымер весь их род.

И он принялся разрезать мясо с такой же медлительной торжественностью, с какой проделывал это в замке Исполинов. У Консуэло не хватило больше мужества задавать ему вопросы. Ужин показался ей смертельно длинным. Порпора, который был более голоден, чем встревожен,

силился поддерживать разговор с хозяином дома, а тот старался отвечать ему так же любезно и даже расспрашивал о его делах и планах. Но такое напряжение было, очевидно, не под силу барону. Он то и дело отвечал невпопад или снова спрашивал о том, на что только что получил ответ. Он нарезал себе громадные куски, доверху наполняя свою тарелку и стакан, но делал это лишь по привычке. Он не ел и не пил; уронив вилку на пол и уставившись на скатерть, он явно находился в самом плачевном состоянии. Консуэло, наблюдавшая за ним, прекрасно видела, что он не пьян. Она спрашивала себя, что могло вызвать эту внезапную расслабленность — несчастье, болезнь или старость? Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин закончен, сделал знак слугам удалиться, а сам, с растерянным видом порывшись в карманах, после длительных поисков извлек распечатанное письмо и подал его Консуэло. Оно было от канониссы, она писала:

Мы погибли, брат! Больше нет никакой надежды. Доктор Сюпервиль, наконец, приехал из Байрейта. Несколько дней он щадил нас, а затем объявил мне, что

нужно привести в порядок семейные дела, так как, быть может, через неделю Альберта уже не будет в живых. Христиан, которому я не решилась сообщить этот приговор, питает надежду, но слабую; он совсем упал духом, и это приводит меня в отчаяние, так как я далеко не уверена, что смерть племянника – единственный грозящий мне удар. Фридрих, мы погибли! Переживем ли мы оба такие бедствия? Перенесу ли я их – не знаю. Да будет воля Божья, вот все, что я могу сказать, но я не чувствую в себе силы устоять перед таким ударом. Приезжайте, братец, и постарайтесь привезти нам немного бодрости, если она еще сохранилась в вас после вашего собственного горя – горя, которое мы считаем своим и которое довершает несчастья нашей словно проклятой семьи. Какие же мы совершили преступления, чем заслужили такую кару? Избави меня Бог потерять веру и покорность воле его, но, право же, бывают минуты, когда я говорю себе: «Это уж слишком!».

Приезжайте же, братец, мы ждем вас,

вы нам нужны. И тем не менее не покидайте Праги до одиннадцатого. У меня к вам странное поручение. Мне кажется, что, передавая его, я схожу с ума. Но я уже перестала понимать, что у нас творится, и слепо подчиняюсь требованиям Альберта. Одиннадцатого числа, в семь часов вечера будьте на Пражском мосту, у подножия статуи. Остановите первую проезжающую карету и особу, которую вы увидите в ней, везите к себе, и если эта особа сможет в тот же вечер выехать в замок Исполинов, Альберт, быть может, еще будет спасен. Во всяком случае, он уверяет, что ему откроется тогда вечная жизнь. Я не знаю, что он под этим подразумевает. Но его откровения в течение этой недели относительно самых непредвиденных для всех нас событий сбывались таким непостижимым образом, что я больше не могу сомневаться: либо у него дар пророчества, либо он ясновидящий. Нынче вечером Альберт призвал меня и своим угасшим голосом, который теперь можно скорее угадывать, нежели слышать, поручил мне передать вам то,

что я в точности привела здесь. Будьте же одиннадцатого числа, в семь часов, у подножия статуи, и кем бы ни оказалось лицо, которое вы найдете в карете, как можно скорее везите его сюда.

Прочитав письмо, Консуэло, такая же бледная, как барон, внезапно вскочила, но тотчас снова упала на стул и несколько минут просидела не шевелясь, беспомощно опустив руки и стиснув зубы. Вскоре, однако, силы вернулись к ней, и она сказала барону, опять впавшему в какое-то оцепенение:

— Так что же, господин барон, готова ваша карета? Я готова, едемте!

Барон машинально поднялся и вышел. У него хватило сил заранее обо всем подумать: карета была приготовлена, лошади ждали во дворе, но действовал он как автомат, и, если бы не Консуэло, он бы уже забыл об отъезде.

Едва барон вышел из комнаты, как Порпора схватил письмо и быстро пробежал его. В свою очередь, он тоже побледнел, не смог произнести ни слова и в тяжелом, подавленном состоянии стал расхаживать перед камином. Маэстро имел основания упрекать себя в том, что случилось.

Правда, он этого не предвидел, но теперь говорил себе, что должен был бы предвидеть. И, терзаемый угрызениями совести, охваченный ужасом, пораженный удивительной силой предвидения, открывшей больному способ снова увидеть Консуэло, он думал, что ему снится странный и страшный сон…

Но так как в некоторых отношениях он был чрезвычайно расчетлив и упорен, то вскоре стал обдумывать, возможно ли осуществить внезапное решение Консуэло и каковы будут его последствия. Он страшно взволновался. Начал бить себя по лбу, стучать каблуками, хрустеть всеми суставами, считать на пальцах, вычислять, размышлять и, наконец, вооружившись мужеством и рискуя вызвать вспышку гнева со стороны Консуэло, сказал, встряхнув ее, чтобы она опомнилась:

— Ты хочешь ехать туда — согласен, но я еду с тобой. Ты хочешь видеть Альберта — что ж! Быть может, ты нанесешь ему последний удар, но отступать немыслимо, и мы поедем. В нашем распоряжении есть два дня. Мы рассчитывали провести их в Дрездене, а теперь отдыхать там не придется. Нам надо быть у прусской границы восемнадцатого, иначе мы нарушим договор.

Театр открывается двадцать пятого. Если ты не окажешься в это время на месте, я принужден буду уплатить огромную неустойку. У меня нет и половины нужной суммы, а в Пруссии того, кто не платит, бросают в тюрьму. А когда ты попадаешь туда — о тебе забывают, оставляют на десять — двенадцать лет, умирай там от горя или от старости, уж как тебе угодно. Вот какая судьба ждет меня, если ты забудешь, что из замка Исполинов надо выехать четырнадцатого, не позднее пяти часов утра.

— Будьте спокойны, маэстро, — решительным тоном ответила Консуэло, — я уже думала обо всем этом. Только не огорчайте меня в замке Исполинов, — вот все, о чем я вас прошу. Мы выедем оттуда четырнадцатого в пять часов утра.

— Поклянись!

— Клянусь, — ответила она, нетерпеливо пожимая плечами. — Раз вопрос идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, зачем вам нужна моя клятва.

Барон вернулся в эту минуту в сопровождении старого, верного и толкового слуги, который закутал его в шубу, точно ребенка, и свел в карету. Они быстро добрались до Берауна и на рассвете были уже в Пильзене.

Глава CIV

Путь от Пильзена до Тусты, как они ни спешили, потребовал у них много времени, ибо дороги были скверные, пролегали они по почти непроходимым пустынным лесам, проезд по которым был далеко не безопасен. Наконец, делая в час чуть ли не по одной миле, добрались они к полуночи до замка Исполинов. Никогда еще Консуэло не приходилось так утомительно, так уныло путешествовать. Барон фон Рудольштадт, казалось, был близок к параличу — в такое безразличное и неподвижное состояние он впал. Не прошло и года с тех пор, как Консуэло видела его настоящим атлетом, но этот железный организм не был одушевлен сильной волей. Барон всю жизнь повиновался только своим инстинктам, и первый же удар неожиданного несчастья сокрушил его. Жалость, которую он вызывал в Консуэло, еще больше усиливала ее тревогу. «Неужели в таком же состоянии найду я всех обитателей замка Исполинов?» — думала она.

Подъемный мост был опущен, решетчатые ворота стояли открытыми настежь, слуги ожи-

дали во дворе с горящими факелами. Никто из трех путешественников не обратил на все это ни малейшего внимания. Ни у одного из них не хватило духу спросить слуг о чем-либо. Порпора, видя, что барон едва волочит ноги, повел его под руку, а Консуэло бросилась к крыльцу и стала быстро подниматься по ступеням.

Тут она столкнулась к канониссой, и та, не теряя времени на приветствия, схватила ее за руку со словами:

— Идемте: время не терпит! Альберт ждет вас. Он точно высчитал часы и минуты, объявил, что вы въезжаете во двор, — и через секунду мы услышали стук колес вашей кареты. Он не сомневался в вашем приезде, но сказал, что, если случайно что-либо задержит вас в пути, будет уже поздно. Идемте же, синьора, и, ради Бога, не противоречьте ни одной из его фантазий, не противьтесь ни одному из его чувств. Обещайте ему все, о чем он будет просить вас, притворитесь, что любите его. Лгите, увы, если это понадобится. Альберт приговорен, настает последний его час. Постарайтесь смягчить его агонию! Вот все, о чем мы вас просим.

Говоря это, Венцеслава увлекала за собой Консуэло в большую гостиную.

— Значит, он встал? Выходит из своей комнаты? — торопливо спрашивала Консуэло.

— Он больше не встает, ибо больше не ложится, — ответила канонисса. — Вот уже месяц, как он сидит в кресле в гостиной и не хочет, чтобы его беспокоили, перенося на другое место. Доктор сказал, что не надо ему перечить в этом отношении, так как он может умереть, если его станут двигать. Синьора, мужайтесь: сейчас вы увидите страшное зрелище!

И, открыв дверь гостиной, канонисса прибавила:

— Бегите к нему, не бойтесь его испугать, — он ждет вас и видел, как вы ехали, когда вы были более чем за две мили отсюда.

Консуэло бросилась к своему жениху, бледному как смерть, — он сидел в большом кресле у камина. Это был не человек, а призрак. Лицо его, все еще прекрасное, несмотря на изнурительную болезнь, приобрело неподвижность мрамора. На его губах не появилось улыбки, в глазах не засветилось радости. Доктор, который держал его руку, считая пульс, словно в сцене из «Стратоники», тихонько опустил ее и взглянул на канониссу, как бы говоря: «Слишком поздно».

Консуэло упала перед Альбертом на колени; он

глядел на нее пристально и молча. Наконец, ему удалось слабым движением пальца сделать знак канониссе, научившейся угадывать его малейшие желания, и та взяла обе его руки — у него уже не хватало сил поднять их — и положила их на плечи Консуэло, потом опустила голову девушки на его грудь. И, так как голос умирающего совсем угасал, он прошептал ей на ухо только два слова: «Я счастлив».

Минуты две прижимал он к груди голову любимой, прильнув губами к ее черным волосам, затем взглянул на тетку и чуть заметным движением дал ей понять, чтобы она и отец также поцеловали его невесту.

— О! От всей души! — воскликнула канонисса, горячо обнимая Консуэло.

Затем она подняла ее, чтобы подвести к графу Христиану, которого Консуэло еще не заметила.

Старый граф, сидевший в кресле против Альберта, по другую сторону камина, казался почти таким же ослабевшим и изможденным, как его сын. Однако он еще вставал и делал несколько шагов по гостиной, но приходилось каждый вечер относить и укладывать его в постель, которую он велел поставить в соседней комнате. Старый Христиан в эту минуту держал в одной руке руку

брата, а в другой руку Порпоры. Он отпустил их и горячо поцеловал Консуэло несколько раз. Капеллан замка, желая сделать приятное Альберту, в свою очередь подошел и поздоровался с ней. Он тоже походил на призрак и, несмотря на все увеличивающуюся полноту, был бледен как смерть. Он был слишком изнежен беспечной жизнью, и нервы его не могли переносить даже чужое горе. Только канонисса сохраняла энергию. Лицо ее покрылось густым румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Один Альберт казался спокойным. На челе его отражалась безмятежность прекрасного умирания. В его физической слабости не было ничего, что говорило бы об упадке духовных сил. Он был серьезен, но не подавлен, как его отец и дядя.

Среди всех этих людей, сокрушенных болезнью или горем, спокойствие и здоровье доктора выделялись особенно ярко. Сюпервиль был француз, когда-то состоявший врачом при Фридрихе, в то время еще наследнике престола. Он одним из первых предугадал деспотический и недоверчивый нрав наследного принца, перебрался в Байрейт и поступил на службу к сестре Фридриха, маркграфине Софии-Вильгельмине Прусской. Честолюбивый и завистливый, Сюпервиль обладал

всеми качествами царедворца. Посредственный врач, он, несмотря на известность, приобретенную при этом маленьком дворе, был светским человеком и проницательным наблюдателем, довольно хорошо разбиравшимся в нравственных причинах болезней. Поэтому он усиленно уговаривал канониссу выполнять все желания племянника и возлагал некоторые надежды на возвращение той, из-за которой умирал Альберт. Но как ни старался он с момента появления Консуэло прислушаться к пульсу большого, всматриваясь в его лицо, он только повторял себе, что время упущено, и уже стал подумывать об отъезде, не желая быть свидетелем тяжелых сцен, предотвратить которые было не в его силах.

Доктор решил, однако, вмешаться в деловые интересы семейства, не то надеясь на какую-то личную выгоду, не то из врожденной любви к интригам. Видя, что семья растерялась и никто не думает о необходимости использовать последние минуты, он увлек Консуэло в амбразуру окна и сказал ей по-французски:

— Мадемуазель, врач — тот же исповедник. И я очень скоро узнал тайну страсти, от которой умирает этот молодой человек. Как врач, привыкший смотреть в глубь вещей и не очень-то

верящий в возможность отклонений от законов физического мира, признаюсь, я не могу верить и в странные видения и экстатические откровения молодого графа. По крайней мере, в данном случае они очень просто объясняются тем, что у него была с вами тайная переписка и он знал о вашем путешествии в Прагу и вашем скором приезде сюда.

Консуэло отрицательно покачала головой, но он продолжал:

— Я не задаю вам никаких вопросов, мадемуазель, и в моих предположениях нет ничего для вас оскорбительного. Напротив, вы должны были бы довериться мне и считать, что я полностью предан вашим интересам.

— Я не понимаю вас, сударь, — ответила Консуэло с искренностью, не разубедившей, однако, придворного медика.

— Вы сейчас поймете меня, мадемуазель, — хладнокровно проговорил он. — Семья молодого графа до сегодняшнего дня всеми силами восставала против вашего брака с ним. Но сопротивлению их пришел конец. Альберт умирает, и, так как он хочет оставить вам свое состояние, они теперь не будут возражать против того, чтобы церковный обряд навсегда закрепил его за вами.

— Ах! Какое мне дело до состояния Альберта! — воскликнула пораженная Консуэло. — Что общего между тем, о чем вы говорите, и положением, в котором я его застаю? Я, сударь, приехала сюда не для того, чтобы заниматься делами, — я приехала, чтобы попытаться его спасти. Неужели нет никакой надежды?

— Никакой! Болезнь его всецело мозговая. Такого рода недуги разбивают все наши предположения и не поддаются никаким усилиям науки. Месяц тому назад молодой граф, после двухнедельного исчезновения, которого никто не мог мне объяснить, вернулся домой пораженный внезапной неизлечимой болезнью. Все жизненные функции у него были приостановлены. Вот уже целый месяц, как он не в состоянии проглотить никакой пищи, — это то редкое явление природы (случающееся только у душевнобольных), когда человек может так долго поддерживать себя несколькими каплями воды днем и несколькими минутами сна ночью. Вы видите его: все его жизненные силы истощены. Еще два дня, самое большее, и он перестанет страдать. Вооружитесь мужеством, не теряйте головы. Я готов поддержать вас и помогу вам добиться цели.

Консуэло продолжала удивленно смотреть

на доктора, но тут канонисса по знаку больного прервала их беседу и подвела Сюпервиля к Альберту.

Подозвав Сюпервиля, Альберт сказал ему что-то на ухо дольше, чем, казалось, позволяла его слабость. Доктор то краснел, то бледнел. Канонисса с беспокойством наблюдала за ними, горя нетерпением узнать, чего именно желает Альберт.

— Доктор, — шептал Альберт, — все, что вы только что сказали этой молодой девушке, я слышал. (Сюпервиль, говоривший с Консуэло на другом конце гостиной и так же тихо, как в эту минуту говорил с ним больной, смутился, и его твердое убеждение в том, что сверхъестественных способностей не существует, было до того поколеблено, что ему стало казаться, будто он сам сходит с ума). Доктор, — продолжал умирающий, — вы ничего не понимаете в этой душе и вредите моим желаниям, оскорбляя ее деликатность. Она ничего не смыслит в ваших денежных соображениях и всегда отказывалась и от моего титула и от моего состояния. Она никогда меня не любила: она может уступить лишь одному чувству — жалости. Обратитесь же к ее сердцу. Конец мой ближе, чем вы предполагаете. Не теряйте времени. Я не смогу возродиться счастливым,

если не унесу с собой в ночь отдохновения звание ее супруга.

— Что вы хотите сказать этими последними словами? — спросил Сюпервиль, пытавшийся в ту минуту понять, какой род безумия владеет его больным.

— Вам не понять их, — с усилием произнес Альберт, — а она поймет. Ограничьтесь тем, чтобы передать их ей точно.

— Послушайте, господин граф, — сказал, несколько повышая голос, Сюпервиль, — я вижу, что не смогу ясно передать ваши мысли. Вы же говорите сейчас лучше, чем за всю последнюю неделю, и я усматриваю в этом благоприятный признак. Поговорите с мадемуазель сами. Одно ваше слово будет для нее убедительнее всех моих речей. Вот она здесь, рядом. Пусть она займет мое место и выслушает вас.

Сюпервиль действительно уже ничего не понимал из того, что до сих пор казалось ему понятным; к тому же он считал, что достаточно сказал Консуэло и обеспечил себе ее благодарность, в случае если она будет домогаться наследства; и он отошел, после того как Альберт сказал ему:

— Подумайте о том, что вы мне обещали. Минута настала — поговорите с моей семьей. Устройте

так, чтобы они согласились и не колебались больше. Говорю вам — время не терпит…

Альберт настолько устал от усилия, какого стоил ему разговор с Сюпервилем, что, когда Консуэло приблизилась к нему, он прислонил свой лоб ко лбу любимой и замер, словно умирая. Его белые губы посинели, и перепуганному Порпоре показалось, что он уже умер. В это время Сюпервиль, собрав в другом конце комнаты графа Христиана, барона, канониссу и капеллана, горячо уговаривал их. Один только капеллан сделал робкое с виду возражение, говорившее, однако, об упорстве священника.

— Если ваши сиятельства потребуют, — сказал он, — я благословлю этот брак, но так как граф Альберт не примирен с церковью, следовало бы, чтобы он предварительно через покаяние и соборование примирился с нею.

— Соборование! Господи, да неужели дошло уже до этого? — произнесла, сдерживая стон, канонисса.

— Да, дошло, — ответил Сюпервиль, который как светский человек и философ-вольтерьянец с презрением относился к самому капеллану и к его возражениям, — и нельзя терять ни минуты, если господин капеллан настаивает на подобном

условии и намерен мучить больного мрачной обстановкой предсмертного обряда.

— А не думаете ли вы, доктор, что обряд более радостный и желанный может вернуть его к жизни? — спросил граф Христиан, в котором происходила борьба между благочестием и отцовской любовью.

— Я ни за что не ручаюсь, — ответил Сюпервиль, — но смею сказать, что возлагаю на это большие надежды… Было время, когда ваше сиятельство давали свое согласие на этот брак…

— Я всегда был согласен на него, никогда не был против, — прервал его граф, намеренно повышая голос. — Но маэстро Порпора, опекун этой молодой девушки, написал мне, что он никогда не даст своего согласия на ее брак с моим сыном и что его воспитанница сама отказывается от него. Увы! Это и нанесло смертельный удар молодому графу, — прибавил он, понизив голос.

— Вы слышите, что говорит отец? — прошептал Альберт на ухо Консуэло. — Но пусть угрызения совести не мучают вас. Я поверил тому, что вы покидаете меня, и поддался отчаянию, но с неделю назад ко мне вернулся разум — они зовут это безумием, — и я смог читать в сердцах, находящихся вдали от меня, подобно тому как другие читают

распечатанные письма. Я увидел одновременно прошедшее, настоящее и будущее. Я, наконец, узнал, Консуэло, что ты была верна своей клятве, делала все возможное, чтобы полюбить меня, и действительно любила в течение нескольких часов. Но нас обоих обманули. Прости своему учителю так же, как прощаю ему я.

Консуэло взглянула на Порпору. Он не мог слышать слов Альберта, но, смущенный тем, что сказал граф Христиан, в волнении ходил перед камином. Она посмотрела на него с глубоким упреком, и маэстро так хорошо понял ее, что в немом порыве ударил себя по лбу кулаком. Альберт знаком показал Консуэло, чтобы она подвела к нему маэстро и помогла протянуть ему руку. Порпора поднес эту ледяную руку к своим губам и зарыдал. Совесть мучила его, нашептывала, что он убил человека, но раскаяние искупило его безрассудный поступок.

Альберт опять показал знаком, что хочет слышать, о чем говорят его родные с Сюпервилем, и он расслышал их, хотя те говорили так тихо, что Консуэло и Порпора, стоявшие подле него на коленях, не могли уловить ни единого слова.

Капеллан отбивался от едкой иронии доктора. Канонисса старалась, сочетая суеверие с терпи-

мостью, христианское милосердие с материнской любовью, примирить взгляды, непримиримые с католическими догматами. Спор касался только формальной стороны дела, а именно: капеллан не считал возможным совершить таинство брака над еретиком, пока тот не пообещает немедленно вслед за тем принять католичество. Сюпервиль, не стесняясь, лгал, утверждая, что граф Альберт якобы обещал ему после совершения обряда принять любую религию. Капеллан не поддавался обману. Наконец, граф Христиан на мгновение вновь обрел ту спокойную, твердую и простую способность логически рассуждать, с какой после долгих сомнений и уступок он всегда разрешал все домашние разногласия, и положил конец спору.

— Господин капеллан, — сказал он, — нет такого закона, который определенно запрещал бы вам венчать католичку с еретиком. Церковь допускает подобные браки. Считайте же Консуэло правоверной, а сына моего — еретиком и немедленно обвенчайте их. Вы ведь знаете, что обручение и исповедь — не более как обряды, освященные обычаем, и могут быть обойдены в некоторых крайних случаях. Этот брак может вызвать благоприятный поворот в состоянии

здоровья Альберта, а когда он выздоровеет, мы с вами подумаем об его обращении.

Капеллан никогда не противился воле старого Христиана, — в делах совести он был для него большим авторитетом, чем сам Папа римский. Оставалось только убедить Консуэло. Один Альберт подумал об этом, и, притянув к себе любимую, он смог без посторонней помощи обнять ее за шею своими иссохшими, легкими, как тростник, руками.

— Консуэло, — прошептал он, — в эту минуту я читаю в твоей душе: ты готова отдать свою жизнь, чтобы воскресить мою. Это уже невозможно, но ты в состоянии одной своей доброй волей спасти меня для вечной жизни. Я ненадолго покину тебя, а там снова вернусь на землю путем нового рождения. И если теперь, в мой последний час, ты оставишь меня, я вернусь отмеченный проклятием, отчаявшийся. Ты знаешь, преступления Яна Жижки еще не вполне искуплены, и одна ты, сестра моя Ванда, можешь очистить меня в этой фазе моей жизни. Мы брат и сестра. Для того чтобы мы стали любовниками, надо, чтобы смерть еще раз прошла между нами. Но нас должен связать брачный обет. Чтобы я смог возродиться спокойным, сильным и, как

другие люди, свободным от памяти о моих прежних существованиях, составляющей мою пытку, мое наказание в течение уже стольких веков, согласись произнести этот обет. Такая клятва не свяжет тебя со мной в этой жизни, которую я покину через час, но соединит нас в вечности и будет печатью, которая поможет нам узнать друг друга, когда тень смерти погасит свет наших воспоминаний. Согласись, Консуэло! Пусть совершится католический обряд, я принимаю его, так как он один может узаконить в глазах людей наше обладание друг другом. Мне необходимо унести в могилу это высшее соизволение. Брак без одобрения родителей, на мой взгляд, брак несовершенный. А форма обряда имеет для меня мало значения. Наш союз будет так же нерасторжим в наших сердцах, как священны наши помыслы. Согласись, Консуэло!

— Я согласна! — воскликнула Консуэло, прижимая губы к холодному, бескровному челу своего жениха.

Эти слова были услышаны всеми.

— Поспешим, — сказал Сюпервиль и стал торопить капеллана, который тут же позвал слуг и немедленно принялся готовить все для совершения обряда. Граф, несколько приободрившись,

подошел и сел подле сына и Консуэло. Добрая канонисса так горячо благодарила невесту за согласие, что даже стала перед нею на колени и поцеловала ей руки. Барон Фридрих тихо плакал, казалось, не понимая даже, что происходит вокруг него. В мгновение ока перед камином гостиной был сооружен алтарь. Слуг отпустили. Те решили, что дело идет только о соборовании и что состояние здоровья больного требует, чтобы в комнате было как можно тише и как можно больше чистого воздуха. Порпора с Сюпервилем были свидетелями. Альберт вдруг почувствовал такой прилив сил, что смог произнести ясным и звучным голосом решительное «да» и все слова брачного обряда. Семья стала горячо надеяться на выздоровление. Едва успел капеллан прочитать над головами новобрачных последнюю молитву, как Альберт поднялся, бросился в объятия отца; так же стремительно и с необычайной силой обнял он тетку, дядю и Порпору. Затем снова опустился в кресло, прижал к своей груди Консуэло и воскликнул:

— Я спасен!

— Это последнее проявление жизненных сил, последние предсмертные конвульсии, — сказал, обращаясь к Порпоре, Сюпервиль, который

несколько раз во время венчания щупал пульс умирающего и вглядывался в его лицо.

В самом деле, руки Альберта раскрылись, вытянулись и упали на колени. Старый Цинабр, в продолжение всей болезни спавший у ног своего хозяина, поднял голову и начал жалобно выть. Взгляд Альберта был устремлен на Консуэло, рот его оставался полуоткрытым, словно он собирался сказать ей что-то; легкий румянец появился на его щеках, затем тот особый оттенок, та невыразимая, неописуемая тень, что медленно сползает от лба к губам, покрыла его белой пеленой. В течение минуты лицо его принимало различные выражения все более и более суровой сосредоточенности и покорности, пока не застыло в величавом спокойствии и строгой неподвижности.

Безмолвие ужаса, царившее над трепещущей семьей, было нарушено голосом доктора, который с мрачной торжественностью произнес беспощадный приговор:

— Это смерть!

Глава CV

Граф Христиан упал в кресло, словно пораженный громом. Канонисса истерически зарыдала и бросилась к Альберту, точно надеялась своими ласками оживить его. Барон Фридрих пробормотал несколько бессвязных и бессмысленных слов, как человек, впавший в тихое помешательство. Сюпервиль подошел к Консуэло, чья напряженная неподвижность пугала его больше, чем бурное отчаяние других.

— Не заботьтесь обо мне, сударь, — сказала она ему. — И вы тоже, друг мой, — убеждала она Порпору, который в первую минуту все свое внимание обратил на нее. — Лучше уведите несчастных родственников. Займитесь ими, думайте только о них, а я останусь здесь. Мертвым нужны лишь почтение и молитва.

Графа и барона увели без всякого сопротивления с их стороны. Канониссу, холодную и неподвижную как труп, унесли в ее комнату, куда за ней последовал Сюпервиль, чтобы оказать ей помощь. Порпора, не зная сам, что с ним творится, спустился в сад и зашагал там как безумный.

Он задыхался. Его душа была как бы скована броней черствости, скорее внешней, чем истинной, но уже вошедшей у него в привычку. Сцены смерти и ужаса поразили его воображение, и он долго бродил при лунном свете, преследуемый зловещими голосами, певшими над самым его ухом страшное погребальное песнопение «Dies irae»[63].

Консуэло осталась одна подле Альберта, ибо не успел капеллан приступить к молитве за усопших, как свалился без чувств, и его также пришлось унести. Бедняга во время болезни Альберта упорно просиживал подле него вместе с канониссой все ночи, и теперь силы изменили ему. Графиня фон Рудольштадт, стоя на коленях у тела своего мужа, держа его ледяные руки в своих, положив голову на сердце, которое уже не билось, погрузилась в глубокую, сосредоточенную задумчивость. То, что она испытывала в эту прощальную минуту, нельзя назвать настоящим горем. По крайней мере, она не испытывала той щемящей тоски и сожаления, которые неизбежны при потере существа, нужного нам каждый миг для нашего счастья. Любовь ее к Альберту не

---

[63] Примечания: 63
«День гнева» (*лат.*).

носила характера такой близости, и смерть его не создавала ощутимой, видимой пустоты в ее жизни. К нашему отчаянию при потере тех, кого мы любим, нередко тайно примешивается любовь к самому себе и малодушие перед новыми обязанностями, налагаемыми на нас утратой. Отчасти такое чувство законно, но только отчасти, и с ним должно бороться, хотя оно и естественно. Ни одно из этих чувств не могло примешиваться к торжественной печали Консуэло. Жизнь Альберта была чужда ее жизни во всех отношениях, кроме одного — он вызывал в ней необходимые для ее души чувства восхищения, поклонения и привязанности. Она примирилась с мыслью жить без него, отрешилась от всякого проявления любви, которую еще два дня тому назад считала потерянной. У нее оставалась лишь потребность быть верной его священной памяти. Альберт уже раньше как бы умер для Консуэло, и теперь был не более, а быть может, в некотором отношении даже менее мертв для нее, ибо она, давно привыкшая к общению с его возвышенной натурой, сама пришла путем размышлений к поэтической уверенности Альберта в переселении душ. Эта уверенность утвердилась в ней из-за невольного отвращения к идее бога-мстителя, наказующего человека

после его смерти адом, и на основе христианской веры в бессмертие души. Альберт, живой, но предубежденный против нее обманчивыми внешними признаками, изменивший любви к ней или снедаемый подозрениями, представлялся ей точно в тумане, живущим такой неполной жизнью в сравнении с той, которую он хотел посвятить возвышенной любви и непоколебимому доверию. А Альберт, снова доверяющий ей, снова восторженный, Альберт, испустивший на ее груди последний вздох, не был мертв для нее. Да разве не жил он всей полнотой жизни, пройдя под триумфальной аркой прекрасной смерти, которая ведет либо к таинственному временному отдыху, либо к немедленному пробуждению в более чистом и более блаженном окружении? Умереть, борясь с собственной слабостью, чтобы возродиться сильным, умереть, прощая злым, чтобы возродиться под влиянием и покровительством великодушных сердец, умереть, терзаясь искренними угрызениями совести, чтобы возродиться прощенным и очищенным со всеми изначальными добродетелями, — разве это не является Божественной наградой? Консуэло, посвященная Альбертом в учение, источником которого были идеи гуситов древней Чехии и

таинственные секты былых веков (а те основывались на глубоком толковании мыслей самого Христа и его предшественников), Консуэло, если не сознательно, то в сердце своем убежденная, что душа ее супруга не сразу оторвалась от ее души, чтобы забыть ее в недосягаемых сказочных эмпиреях, примешивала к этому новому для нее восприятию мира суеверные воспоминания своего отрочества. Она верила в привидения, как верят в них дети народа. Не раз ей во сне являлся призрак матери, покровительствовавший ей и охранявший от опасности. То было своего рода верование в вечный союз умерших душ с миром живых, ибо это суеверие простодушных народов, по-видимому, существовало всегда как протест против церковного учения об окончательном исчезновении человеческой сущности, либо поднимающейся на небо, либо спускающейся в ад.

И Консуэло, прижавшись к груди безжизненного тела, не представляла себе, что Альберт мертв, и не сознавала всего ужаса этого слова, этого зрелища, этой идеи. Она не верила, что духовная жизнь могла так скоро исчезнуть и что этот мозг, это сердце, переставшее биться, угасли навсегда.

«Нет, — думала она, — Божественная искра, быть может, еще тлеет, прежде чем раствориться

в лоне Бога, который приемлет ее для того, чтобы отослать в жизнь вселенной под новым обликом. Быть может, существует еще какая-то таинственная, неведомая жизнь в этой едва остывшей груди. Да и где бы ни находилась душа Альберта, она видит, она понимает, она знает, что происходит вокруг его бренных останков. Быть может, в моей любви он ищет источник для новой деятельности, в моей вере — силу, побуждающую искать в Боге стремление к воскресению».

И, погруженная в эти неясные думы, она продолжала любить Альберта, открывала ему свою душу, обещала свою преданность, повторяла клятву в верности, только что данную ему перед Богом и его семьей; словом, она продолжала относиться к нему и мысленно и в сердце своем не как к покойнику, которого оплакивают, ибо расстаются с ним, а как к живому, чей сон охраняют до тех пор, пока не встретят с улыбкой его пробуждение.

Придя в себя, Порпора с ужасом вспомнил о том, в каком состоянии он оставил свою воспитанницу, и поспешил к ней. Он был удивлен, застав ее совсем спокойной, как будто она сидела у изголовья больного друга. Маэстро хотел было уговорить, убедить ее пойти отдохнуть.

— Не говорите ненужных слов пред этим уснувшим ангелом, — ответила она. — Идите отдохните сами, дорогой мой учитель, а я отдыхаю здесь.

— Ты, стало быть, хочешь уморить себя? — с каким-то отчаянием проговорил Порпора.

— Нет, друг мой, я буду жить, — отвечала Консуэло, — и выполню свой долг и перед ним и перед вами, но в эту ночь я не покину его ни на минуту.

Так как в доме ничего не делалось без приказания канониссы, а слуги относились к молодому графу с суеверным страхом, то никто из них в течение ночи не посмел приблизиться к гостиной, где Консуэло оставалась одна с Альбертом. Порпора же и доктор все время переходили из графских покоев то в комнату канониссы, то в комнату капеллана. Время от времени они заходили сообщить Консуэло о состоянии этих несчастных и осведомиться о ней самой. Им было совершенно непонятно ее мужество.

Наконец, под утро все затихло. Тяжелый сон одолел сильнейшую скорбь. Доктор, выбившись из сил, пошел прилечь. Порпора уснул в кресле, прислонившись головой к краю кровати графа Христиана. Одна Консуэло не чувствовала по-

требности забыться. Погруженная в свои думы, то усердно молясь, то восторженно мечтая, она имела только одного бессменного товарища — опечаленного Цинабра; верный пес время от времени смотрел на своего хозяина, лизал ему руку, раскидывая хвостом пепел в очаге, и, отвыкнув уже от ласки этой иссохшей руки, снова покорно укладывался, положив голову на неподвижные лапы.

Когда солнце, поднимаясь из-за деревьев сада, озарило своим пурпурным светом чело Альберта, приход канониссы вывел Консуэло из задумчивости. Граф не смог подняться с постели, но барон Фридрих машинально прошел помолиться перед алтарем вместе с сестрой и капелланом; потом заговорили о погребении, и канонисса, находя снова силы для житейских забот, велела позвать служанок и старого Ганса. Тут доктор и Порпора потребовали, чтобы Консуэло пошла отдохнуть, и она покорилась, побывав у постели графа Христиана, который взглянул на нее, словно не замечая. Нельзя было сказать, спит он или бодрствует. Глаза его были открыты, дышал он ровно, но в лице отсутствовало всякое выражение.

Когда Консуэло, проспав несколько часов, проснулась и спустилась вниз, сердце ее сжалось

при виде опустевшей гостиной. Альберта уложили на пышные носилки и перенесли в часовню. Его пустое кресло стояло на том же месте, где Консуэло видела его накануне. Это было все, что осталось от Альберта в этой комнате, бывшей в течение стольких горьких дней жизненным средоточием для всей семьи. Даже собаки его здесь не было больше. Весеннее солнце оживляло печальные стены, и с дерзкой веселостью свистели в саду дрозды.

Консуэло тихонько прошла через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату. Граф Христиан продолжал лежать, на вид все такой же безучастный к страшной утрате. Его сестра, перенеся на него всю заботу, какую до того уделяла Альберту, неусыпно ухаживала за ним. Барон бессмысленно смотрел на пылавшие в камине поленья; только слезы, невольно катившиеся по его щекам, которых он и не думал утирать, говорили о том, что, к несчастью, он не лишился памяти.

Консуэло подошла к канониссе и хотела поцеловать ей руку, но та отдернула эту руку с непреодолимым отвращением. Бедная Венцеслава видела в молодой девушке роковую причину гибели своего племянника. С самого начала она с негодованием относилась к проекту их брака и

изо всех сил противилась ему; потом, увидев, что, несмотря на разлуку, нет возможности заставить Альберта от него отказаться и что от этого зависит его здоровье, рассудок и самая жизнь, она стала даже желать этого брака и торопила его с той же горячностью, с какою прежде выказывала ужас и отвращение. Отказ Порпоры, страстное влечение Консуэло к театру, ибо маэстро не постеснялся приписать ей подобное чувство, — словом, все угодные Рудольштадтам пагубные измышления, которыми он наполнил несколько писем к графу Христиану, ни разу не упомянув тех, что были написаны самою Консуэло и уничтожены им, — все это причинило старому графу мучительную боль и привело в страшное негодование канониссу. Она возненавидела и стала презирать Консуэло, которой, по ее словам, она могла бы простить роковую любовь, помутившую рассудок Альберта, но не могла примириться с ее бесстыдной изменой ему. Она не подозревала, что истинным убийцей Альберта был Порпора. Консуэло прекрасно все понимала и могла бы оправдаться, но она предпочла принять на себя все укоры, нежели обвинить своего учителя и лишить его уважения и дружбы этой семьи. К тому же она догадывалась, что если Венцеслава накануне и

могла благодаря материнской любви отрешиться от злобы и отвращения к ней, то эти чувства вернулись теперь, когда оказалось, что жертва была принесена напрасно. Каждый взгляд бедной старухи, казалось, говорил: «Ты погубила наше дитя, не сумела вернуть ему жизнь, а теперь нам остался только позор заключенного с тобой брака».

Это немое объявление войны побудило Консуэло ускорить уже раньше принятое ею решение утешить, насколько возможно, канониссу в ее горе.

— Смею ли я просить ваше сиятельство назначить мне время для разговора с вами с глазу на глаз? — покорно проговорила она. — Я должна уехать завтра до восхода солнца и не могу покинуть замка, не высказав вам со всею почтительностью своих намерений.

— Ваших намерений! Впрочем, я уже догадываюсь о них, — колко заметила канонисса. — Успокойтесь, синьора, все будет в порядке, и ваши законные права будут тщательно соблюдены.

— Напротив, сударыня, я вижу, что вы совершенно не понимаете меня, — возразила Консуэло. — И я хочу как можно скорее…

— Ну хорошо! Раз я должна испить и эту чашу, — перебила ее канонисса, поднимаясь, — пусть это

будет сейчас, пока у меня еще есть мужество. Следуйте за мной, синьора. Брат мой, по-видимому, дремлет. Господин Сюпервиль, который дал мне обещание еще день поухаживать за ним, будет так любезен, что на полчаса заменит меня подле него.

Она позвонила и приказала позвать доктора. Потом, обернувшись к барону, сказала:

— Братец, ваши заботы излишни, так как к Христиану до сих пор не вернулось сознание его горя. Оно, быть может, и не вернется, к счастью для него и к несчастью для нас! Возможно, что то состояние, в котором он находится, — начало конца. У меня нет никого на свете, кроме вас, братец: позаботьтесь же о своем здоровье, и без того очень подорванном мрачным бездействием, в которое вы впали. Вы привыкли к свежему воздуху и движению — ступайте прогуляйтесь, захватите с собой ружье; ловчий будет сопровождать вас с собаками. Я знаю, что это не рассеет вашего горя, но по крайней мере принесет пользу здоровью — в этом я уверена. Сделайте это для меня, Фридрих. Таково предписание доктора, такова просьба вашей сестры. Не отказывайте мне. Этим вы больше всего утешите меня сейчас, ибо вы — последняя надежда моей печальной старости.

Барон поколебался, но кончил тем, что уступил и позволил своим слугам увести себя, как ребенка, на свежий воздух. Доктор осмотрел графа Христиана, который словно окаменел от горя, хотя отвечал на все вопросы и, казалось, с кротким и равнодушным видом узнавал всех.

— Жар не очень большой, — тихо сказал Сюпервиль канониссе, — если к вечеру он не усилится, то, быть может, все обойдется благополучно.

Несколько успокоенная, Венцеслава поручила ему наблюдать за братом, а сама увела Консуэло в обширные покои, убранные в старинном вкусе, где Консуэло никогда еще не бывала… Тут стояла большая парадная кровать, занавеси которой не раздвигались более двадцати лет. На ней скончалась Ванда Прахалиц, мать графа Альберта, это были ее покои.

— Здесь, — торжественно проговорила канонисса, закрыв предварительно дверь, — нашли мы Альберта ровно тридцать два дня тому назад, после его исчезновения, длившегося две недели. С той минуты он больше не входил сюда и не покидал кресла, в котором вчера вечером скончался.

Сухие слова этого посмертного бюллетеня были произнесены с горечью и вонзились, как иглы, в сердце бедной Консуэло. Затем канонисса сняла

с пояса связку ключей, с которой никогда не расставалась, подошла к большому шкафу резного дуба и открыла обе его дверцы. Консуэло увидела в нем целую гору драгоценностей, потускневших от времени, причудливой формы, большей частью старинных, украшенных алмазами и драгоценными камнями.

— Вот фамильные драгоценности, — сказала канонисса, — принадлежавшие моей невестке до ее брака с графом Христианом, вот, в глубине, те, что достались нам от моей бабушки и были подарены мной и братьями невестке, и вот, наконец, купленные ей супругом. Все это принадлежало сыну ее Альберту, а отныне принадлежит вам, как его вдове… Возьмите их и не бойтесь, никто здесь не станет оспаривать их у вас. Мы ими не дорожим. Они нам не нужны. Что же касается документов на материнское наследство моего племянника, то через час они будут в ваших руках. Все в порядке, как я вам уже сказала, а ждать документов на отцовское наследство вам, увы, быть может, придется недолго. Такова была последняя воля Альберта. Данное мною слово было равносильно в его глазах духовному завещанию.

— Сударыня, — ответила Консуэло, с отвращением захлопывая дверцы шкафа, — я порвала

бы такое духовное завещание, а вас прошу взять обратно данное вами слово. Эти драгоценности нужны мне не больше, чем вам. Мне кажется, моя жизнь была бы навек осквернена ими. Если Альберт и завещал их мне, то, конечно, думая, что я, сообразно его чувствам и привычкам, раздам их бедным. Но я не сумела бы как следует распорядиться его благородным даянием. У меня нет ни деловых способностей, ни необходимых знаний, чтобы раздать их по-настоящему с пользой. У вас, сударыня, к этим качествам присоединяется христианская душа, такая же великодушная, как у Альберта, вам и надлежит употребить это наследство на дела милосердия. Уступаю вам все свои права, если таковые в самом деле у меня имеются, чего я не знаю и никогда не пожелаю знать. Молю вас только об одной милости — никогда больше не оскорблять моей гордости подобными предложениями.

В лице канониссы что-то изменилось. Слова Консуэло невольно вызвали в ней уважение к девушке, но, не решаясь еще восхищаться ею, старуха попробовала было настаивать.

— Что же вы думаете делать? — спросила она, пристально глядя на Консуэло. — У вас ведь нет состояния?

— Извините, сударыня, я достаточно богата — я довольствуюсь малым и люблю труд.

— Так вы намерены вернуться… к тому, что вы называете своим трудом?

— Как ни убита я горем, сударыня, но вынуждена это сделать. На это у меня есть серьезные причины, и совесть не позволяет мне колебаться.

— И вы не желаете иным путем поддерживать свое новое положение в обществе?

— Какое положение, сударыня?

— То, какое приличествует вдове Альберта.

— Я никогда не забуду, сударыня, что я вдова благородного Альберта, и поведение мое всегда будет достойно супруга, которого я потеряла.

— Однако графиня фон Рудольштадт снова появится на подмостках!

— Другой графини фон Рудольштадт, кроме вас, госпожа канонисса, нет и никогда не будет, если не считать, конечно, вашей племянницы, баронессы Амалии.

— Не в насмешку ли надо мной вы заговорили о ней, синьора? — воскликнула канонисса; имя Амалии подействовало на нее, словно внезапный ожог.

— Что означает этот вопрос, сударыня? — спро-

сила Консуэло с удивлением, в искренности которого не могла усомниться Венцеслава. — Ради Бога, скажите мне, почему я не вижу здесь молодой баронессы? Боже мой! Неужели она также скончалась?

— Нет, — с горечью сказала канонисса, — дай Бог, чтобы это было так! Не будем больше говорить об Амалии, речь идет не о ней.

— Однако, сударыня, я принуждена напомнить вам то, о чем не подумала раньше, а именно — что она является единственной и законной наследницей поместий и титулов вашей семьи. Вот что должно успокоить вашу совесть в вопросе о порученных вам Альбертом драгоценностях, раз закон не разрешает вам распорядиться ими в свою пользу.

— Ничто не может отнять у вас право на вдовью часть и на титул, они предоставлены вам предсмертной волей Альберта.

— Ничто не может помешать мне и отказаться от этих прав, и я отказываюсь. Альберт прекрасно знал, что я не желаю быть ни богатой, ни графиней.

— Но общество не дает вам права от этого отказываться.

— Общество, сударыня! Вот о нем-то мне и хо-

телось поговорить с вами. Общество не поймет ни любви Альберта, ни снисходительности его семьи к такой бедной девушке, как я. Оно сочтет это посрамлением его памяти и пятном на вашей жизни. А для меня это было бы источником насмешек и, быть может, даже позора, так как, повторяю, общество не поймет того, что произошло здесь между нами. Стало быть, обществу никогда не следует этого знать, как не знают и ваши слуги, ибо мой учитель и господин доктор — единственные посторонние свидетели нашего тайного брака — еще не разгласили его и не разгласят. За молчание учителя я вам ручаюсь, а вы можете и должны заручиться молчанием доктора. Будьте же спокойны на этот счет, сударыня! От вас будет зависеть унести тайну с собой в могилу, и никогда по моей вине баронесса Амалия не заподозрит, что я имею честь быть ее кузиной. Забудьте же о последнем часе графа Альберта, — это мне надо помнить о нем, благословлять его и молчать. У вас и без того довольно причин для слез, зачем же прибавлять к ним горе и унижение, напоминать вам о существовании вдовы вашего племянника?

— Консуэло! Дочь моя! — воскликнула, рыдая, канонисса. — Оставайтесь с нами! У вас великая

душа и великий ум! Не покидайте нас!..

— Этого хотело бы и мое всецело преданное вам сердце, — ответила Консуэло, с радостью принимая ее ласки, — но я не могу так поступить, ибо тогда наша тайна была бы открыта или заподозрена — это одно и то же, — а я знаю, что честь семьи вам дороже жизни. Позвольте же мне, вырвавшись сразу и без колебаний из ваших объятий, оказать вам единственную услугу, которая в моей власти!

Слезы, пролитые канониссой в конце этой сцены, облегчили страшную тяжесть, давившую ее. То были первые ее слезы после смерти племянника. Она приняла жертву Консуэло, и доверие, с каким старушка отнеслась к ее решению, доказало, что она, наконец, оценила благородство характера девушки. Венцеслава рассталась с ней, спеша сообщить обо всем капеллану и переговорить с Порпорой и Сюпервилем о необходимости хранить вечное молчание.

Заключение

Консуэло почувствовала себя свободной и посвятила весь день обходу замка, сада и окрестностей, чтобы еще раз увидеть места, напоминавшие ей о любви Альберта. В благоговейном порыве она добралась до самого Шрекенштейна и присела на камень в той страшной, пустынной местности, где так долго и мучительно страдал Альберт. Но вскоре мужество покинуло ее, воображение разыгралось, и ей почудилось, будто из-под скалы доносится глухой стон. Она даже не посмела признаться себе, что явственно слышит этот стон: Альберта и Зденко уже не было в живых, и такой обман слуха мог быть лишь чем-то болезненным, губительным. Консуэло поспешила стряхнуть с себя это наваждение и уйти оттуда.

Подходя в сумерках к замку, она встретила барона Фридриха, который уже стал крепче держаться на ногах и немного оживился во время страстно любимой им охоты. Сопровождавшие его егеря усердно загоняли дичь, стремясь вызвать в нем желание ее подстрелить. Он все еще

целился верно, добычу же подбирал вздыхая.

«Вот он будет жить и утешится», — подумала молодая вдова.

Канонисса ужинала или делала вид, что ужинает, в спальне брата. Капеллан, вставший с постели, чтобы пойти в часовню помолиться у тела покойного, попробовал было сесть за стол, но у него был жар, и после первого же куска он почувствовал себя плохо. Это несколько раздосадовало доктора. Он был голоден и, вынужденный оставить горячий суп и вести капеллана в его комнату, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Бывают же такие слабые, лишенные мужества люди! Здесь только двое мужчин — канонисса и синьора!

Вскоре он вернулся, решив не слишком беспокоиться из-за нездоровья бедного священника, и вместе с бароном воздал должное ужину. Порпора, страшно подавленный, хотя он и скрывал это, был не в состоянии открыть рот ни для разговоров, ни для еды. А Консуэло думала лишь о последнем ужине за этим самым столом, когда она сидела между Альбертом и Андзолетто…

Затем вместе с учителем она занялась приготовлениями к отъезду. Лошади были заказаны

на четыре часа утра. Порпора не хотел было ложиться, но сдался на просьбы и уговоры своей приемной дочери, боявшейся, как бы он не захворал. Для большей убедительности она сказала, что сама тоже ляжет спать.

Перед тем как разойтись по комнатам, они заглянули к графу Христиану. Он спокойно спал, и Сюпервиль, стремившийся как можно скорее покинуть эту печальную обитель, уверял, что у больного нет больше жара.

— Это правда, сударь? — потихоньку спросила его Консуэло, испуганная его торопливостью.

— Клянусь вам, — ответил доктор, — на этот раз он спасен. Однако должен вас предупредить, что долго он не протянет. В этом возрасте не чувствуют так остро горя в первую минуту, но несколько позже тоска и одиночество убивают. Это временная отсрочка. Итак, будьте настороже; ведь не серьезно же, в самом деле, отказались вы от своих прав?

— Вполне серьезно, уверяю вас, сударь, — ответила Консуэло. — И меня удивляет, что вы никак не можете поверить такой простой вещи.

— Разрешите мне, сударыня, сомневаться в этом до смерти вашего свекра. А пока вы сделали большую ошибку, отказавшись от драгоценно-

стей и титула. Ну, ничего! У вас есть на это свои причины, в которые я не вхожу, но думаю, что такая уравновешенная особа, как вы, не может поступить легкомысленно. Я дал честное слово хранить семейную тайну и буду ждать, когда вы освободите меня от нее. В свое время и в своем месте мои показания будут вам полезны. Можете на них рассчитывать. Вы всегда найдете меня в Байрейте, если Богу угодно будет продлить мою жизнь, и в надежде на это, графиня, целую ваши ручки.

Сюпервиль простился с канониссой, уверил, что ручается за жизнь больного, написал последний рецепт, получил крупную сумму денег, показавшуюся ему, однако, ничтожной по сравнению с той, какую он надеялся вытянуть у Консуэло, служа ее интересам, и в десять часов вечера покинул замок, поразив и приведя в негодование Консуэло своим корыстолюбием.

Барон отправился спать, чувствуя себя гораздо лучше, чем накануне. Канонисса велела поставить для себя кровать подле Христиана. Две горничные остались дежурить в этой комнате, двое слуг — у капеллана, и старый Ганс — у барона.

«К счастью, нищета и лишения не усугубляют

их горя, — подумала Консуэло. — Но кто же будет подле Альберта в эту мрачную ночь под сводами часовни? Я — ведь это моя вторая и последняя брачная ночь!».

Она выждала, пока все стихло и опустело в замке, и, когда пробило полночь, засветила маленькую лампу и пошла в часовню.

В конце ведущей в нее галереи она наткнулась на двух слуг замка. Сначала ее появление очень их испугало, но затем они признались ей, почему они тут. Им велено было дежурить всю ночь у тела господина графа, но страх помешал им, и они предпочли дежурить и молиться у дверей.

— Какой страх? — спросила Консуэло; ее оскорбило, что такой великодушный хозяин уже не возбуждает в своих слугах иного чувства, кроме ужаса.

— Что поделаешь, синьора, — ответил один из слуг; им и в голову не приходило, что перед ними вдова графа Альберта, — у нашего молодого господина были непонятные знакомства и сношения с миром духов. Он разговаривал с умершими, находил скрытые вещи, не бывал никогда в церкви, ел вместе с цыганами… Словом, трудно сказать, что может случиться с тем, кто проведет нынешнюю ночь в часовне. Хоть убейте, а мы не

остались бы там. Взгляните на Цинабра! Его не впускают в священное место, и он целый день пролежал у двери, не евши, не двигаясь и не воя. Он прекрасно понимает, что там его хозяин и что он мертв. Потому-то пес ни разу и не просился к нему. Но как только пробило полночь, тут он стал метаться, обнюхивать, скрестись в дверь и подвывать, словно чувствуя, что хозяин его там не один и не лежит покойно.

— Вы жалкие глупцы! — с негодованием ответила Консуэло. — Будь у вас сердце погорячее, ваши головы не были бы так слабы! — И она вошла в часовню, к великому изумлению и ужасу трусливых сторожей.

Днем Консуэло не хотела заходить к Альберту. Она знала, что он окружен всей пышностью католических обрядов, и боялась разгневать его душу, продолжавшую жить в ее душе, принимая хотя бы внешнее участие в церемониях, которые он всегда отвергал. Консуэло ждала этой минуты. Приготовившись к мрачной обстановке, какою должна была окружить покойного католическая церковь, она подошла к катафалку и стала глядеть на Альберта без страха. Она сочла бы, что оскорбляет дорогие, священные останки, проявляя чувство, которое было бы так тяжело

умершим, если бы они могли узнать о нем. А кто может поручиться, что их душа, оторвавшись от тела, не видит нашего страха и не испытывает из-за этого горькой скорби? Бояться мертвых — это отвратительная слабость. Это самое обыденное и самое жестокое кощунство. Матери этой боязни не знают.

Альберт лежал на ложе из парчи, украшенном по четырем углам фамильными гербами. Голова его покоилась на подушке черного бархата, усеянного серебряными блестками. Из такого же бархата был сооружен балдахин. Тройной ряд свечей освещал его бледное лицо, спокойное, чистое, мужественное; казалось, будто он мирно спит. Последнего из Рудольштадтов, по обычаю их семьи, одели в древний костюм его предков. На голове была графская корона, сбоку — шпага, в ногах — щит с гербом, а на груди — распятие. Длинные волосы и черная борода довершали его сходство с древними рыцарями, чьи изваяния, распростертые на могилах его предков, покоились вокруг. Пол был усыпан цветами, и благовония медленно сгорали в позолоченных курильницах, стоявших по четырем углам его смертного ложа…

В течение трех часов Консуэло молилась за

своего супруга, созерцая его величественное спокойствие. Смерть, придав его лицу некоторую строгость, мало изменила его, и Консуэло, любуясь его красотой, порою забывала, что он перестал жить. Ей чудилось даже, что она слышит его дыхание, а когда она отходила на минуту, чтобы подбросить благовоний в курильницы и поправить свечи, ей казалось, будто она слышит слабый шорох и видит легкое колебание занавесей и драпировок. Тотчас же она возвращалась к нему, но, глядя на холодные уста и застывшую грудь, отрешалась от мимолетных надежд.

Когда часы пробили три, Консуэло поднялась и поцеловала в губы своего супруга; это был ее первый и последний поцелуй любви.

— Прощай, Альберт! — проговорила она громко, охваченная религиозным экстазом. — Ты теперь, не имея более сомнений, читаешь в моем сердце. Нет больше туч между нами, и ты знаешь, как я люблю тебя. Ты знаешь, что если я и покидаю твои священные останки и предоставляю их заботам твоей семьи, которая завтра, поборов свою слабость, придет взглянуть на тебя, то это не значит, что я отказываюсь от вечной памяти о тебе и перестаю думать о твоей нерушимой любви. Ты знаешь, что не забывчивая вдова, а

верная жена уходит из твоего дома и уносит тебя навеки в своей душе. Прощай, Альберт! Ты верно сказал: «Смерть проходит между нами и как бы разлучит нас, но лишь для того, чтобы соединить в вечности». Преданная вере, которую ты преподал мне, убежденная, что ты заслужил любовь и благодать твоего Бога, я не плачу о тебе, и никогда в моих мыслях не явишься ты мне в ложном и нечестивом образе мертвеца. Нет смерти, Альберт! Ты был прав, сердце мое чувствует это, ибо теперь я люблю тебя больше чем когда-либо.

Когда Консуэло произносила последние слова, занавеси позади балдахина вдруг заколебались, приоткрылись, и показалось бледное лицо Зденко. В первую минуту она испугалась, привыкнув смотреть на него как на своего смертельного врага. Но в глазах Зденко светилась кротость, и, протягивая ей поверх смертного ложа свою жесткую руку, которую она, не колеблясь, пожала, он, улыбаясь, сказал:

— Бедняжка моя! Давай помиримся над ложем его сна! Ты доброе Божье создание, и Альберт доволен тобой. Поверь, он счастлив в эту минуту; он так хорошо спит, наш дорогой Альберт! Я простил его, ты видишь. Я снова пришел к нему, как только узнал, что он спит. Теперь я больше его не

покину, уведу его завтра в пещеру, и там мы снова будем говорить с ним о Консуэло — Consuelo de mi alma! Иди отдохни, дочь моя! Альберт не один: Зденко тут, всегда тут. Ему ничего не нужно. Ему так хорошо со своим другом. Несчастье отвращено, зло уничтожено, смерть побеждена… Трижды счастливый день настал… «Обиженный да поклонится тебе!..».

Консуэло была больше не в силах выносить детскую радость несчастного безумца. Она нежно простилась с ним, и, когда она снова открыла дверь часовни, Цинабр бросился к своему старому другу, которого еще раньше учуял и призывал радостным лаем.

— Бедный Цинабр, иди сюда! Я спрячу тебя под кроватью твоего хозяина, — говорил Зденко, лаская пса с такой нежностью, словно он был его ребенком. — Иди, иди, мой Цинабр! Вот мы все трое и соединились! И не расстанемся больше!

Консуэло пошла будить Порпору. Потом на цыпочках вошла в комнату графа Христиана и стала между его кроватью и кроватью канониссы.

— Это вы, дочь моя? — спросил старик, не выказывая при этом никакого удивления. — Очень рад вас видеть. Не будите мою сестру, — она, слава Богу, крепко спит. Идите отдохните и вы. Я

совсем спокоен. Сын мой спасен; теперь поправлюсь и я.

Консуэло поцеловала его седые волосы, его морщинистые руки и скрыла от него слезы, которые могли, быть может, вывести его из заблуждения. Она не решилась поцеловать канониссу, заснувшую, наконец, впервые после месяца бессонных ночей.

«Бог положил предел их горю в самой чрезмерности его, — подумала Консуэло. — О! Если б эти несчастные могли подольше оставаться во власти благодетельной усталости!».

Полчаса спустя решетка подъемного моста замка Исполинов опустилась за Порпорой и Консуэло, чье сердце разрывалось на части оттого, что ей пришлось покинуть этих благородных стариков. И она даже не подумала, что грозный замок, где за столькими рвами и решетчатыми воротами было скрыто столько богатств и столько страданий, стал теперь достоянием графини фон Рудольштадт…

Конец «Консуэло»

Примечание. Те из наших читателей, которые слишком устали, следя за бесконечными приключениями и опасностями, грозившими Консуэло, могут теперь отдохнуть. Те же, несомненно менее многочисленные, у которых еще осталось мужество, узнают из следующего романа о дальнейших странствованиях Консуэло и о том, что случилось с графом Альбертом после его смерти.

1842–1843